

ТБ

ПРОЗА  
ВЕКА

Ушангу  
АЙТМАТОВ

---

ТАВРО  
КАССАНДРЫ



проза века



Чингиз  
Айтматов

---

---

ТАВРО  
КАССАНДРЫ

МОСКВА  
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ  
2003

УДК 821.512.154  
ББК 84(5Ки)  
А 36

*Вступительное слово  
заслуженного деятеля искусств  
Российской Федерации,  
профессора А. А. ЗОЛотова*

*Художник  
В. С. КАРАСЁВ*

**ISBN 5-235-02607-1**

© Айтматов Ч. Т., 2003  
© Золотов А. А., вступительное слово, 2003  
© Издательство АО «Молодая гвардия»,  
художественное оформление, 2003

## Чингиз Айтматов — строки жизни

*Люди ищут судьбу, а судьба людей... И катится  
жизнь по тому кругу...*

Плаха

*И вращалась Земля на пути своем неизменном, и  
приближался тот час...*

Тавро Кассандры

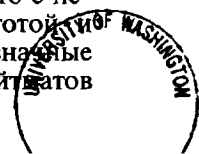
Строки Айтматова — музыка. Их надо расслышать. Их звучащие волны несут в себе тайну любви и божественную тревогу. Тайну той любви, что препоручает людей друг другу и человека Богу в испытаниях жизни на грешной земле под голубыми небесами — взыскующе-спасительным взглядом Создателя.

Ту божественную тревогу несут в себе строки Айтматова, что изначально свойственна подлинному искусству, озаренному духовным поиском смысла личного и всеобщего существования, сознанием вины и ответственности искусства перед жизнью и жизни перед искусством, их не механического — органического воссоединения в единстве личности, творящей, воспринимающей, сочувствующей.

Строки Айтматова чудодейственно сопрягают снизошедшую с высот Поэзии божественную тревогу и высокую тайну любви, вознесенную народным сознанием из глубины народной жизни к высотам национального и, стало быть, мирового духа, являя образы реальных людей в их столкновении с неумолимостью бытия. Образы реальных людей, угадывающих в самих себе людей «не от мира сего».

Строки Айтматова, как проявило их время, — не просто исключительный авторский литературный «продукт» (хотя это неоспоримо). Им суждено совсем иное: мы воспринимаем их как строки, рожденные самою жизнью. Жизнь внушила их писателю, чей уникальный дар — воспринимать из ее космоса духовную энергию и самому творить энергию художественную — открывает ему сердца человеческие поистине повсюду в мире.

Для родной киргизской литературы Чингиз Айтматов — классик, равновеликий разве что творцам народного эпоса «Манас» и тем талантливейшим народным певцам, что с непостижимой проникновенностью, величавой простотой, личным достоинством поют символически многозначные стихи из «Манаса». Однако киргизский писатель Айтматов



стал еще и русским писателем, и частью художественного сознания народов исторического Советского Союза, и явлением мировой литературы.

О ранней повести Айтматова «Джамиля», опубликованной в 1958 году в журнале «Новый мир», восторженно отозвался выдающийся французский писатель Луи Арагон. В предисловии ко французскому изданию он писал: «Прежде чем сказать все, что я думаю о «Джамиле», я должен отметить, что считаю это произведение самой прекрасной в мире историей о любви... Здесь, в этом горделивом Париже, Париже Вийона, Гюго и Бодлера, в Париже королей и революций, Париже — вечном городе искусства, где каждый камень связан с легендой или историей, в городе влюбленных... в этом Париже, который все видел, все читал, все испытал, я прочитал «Джамилю» — не «Вертера» и «Беренку», не «Антония и Клеопатру» и не «Сентиментальное воспитание»... И образы Ромео и Джульетты, Паоло и Франчески, Эрнани и Доньи Соль померкли... ибо я встретился с Данияром и Джамилей, которые перенесли меня в третий год войны, в августовскую ночь 1943 года, куда-то в Куркурейскую долину, к мажарам с зерном и мальчугану Сеиту, рассказывающему их историю...

У каждого человека лишь одна жизнь. Чингиз Айтматов ее лишь начинает. Но кажется, что он вобрал в свое сердце, познал разумом огромный опыт всего человечества. Ибо этот молодой человек говорит о любви так, как никто другой. О, Мюссе, можешь пожалеть, мой друг, об этой августовской ночи на далекой киргизской земле! И можешь ревновать того, кто в тридцать лет может сказать, что не потерял ни силу, ни жизнь!..»

Из написанного и сказанного об Айтматове крупнейшими авторитетами отечественной и зарубежной культуры можно составить целый том. Среди авторов этого тома были бы и Габриель Гарсиа Маркес, и Умберто Эко, и Артур Миллер, Фридрих Дюрренматт, Питер Устинов, японский мыслитель Дайсаку Икеда, классик современной казахской литературы Мухтар Ауэзов, и великие композиторы XX века Дмитрий Шостакович и Георгий Свиридов, классик современной русской литературы Валентин Распутин.

Хорошо помню свои разговоры об Айтматове с Виктором Петровичем Астафьевым. Знаю и о том добром внимании, с каким относится к творчеству Айтматова Александр Солженицын. Айтматов, наряду с Виктором Астафьевым, был любимейшим современным писателем великого русского ди-

рижера Евгения Александровича Мравинского, который знал толк в литературе, близко общался с Михаилом Пришвиным и сам прекрасно владел русским словом.

Книги Айтматова (изданный в свое время «Молодой гвардией» трехтомник) я видел и в строго отобранной, небольшой домашней библиотеке Святослава Рихтера и Нины Дорлиак...

Айтматов — не цеховое явление. Став профессиональным писателем, он так и не стал частью профессиональной среды. Он ощущает свою зависимость от своей совести, от тенденций мирового развития, от реальной жизни народа в Киргизии и России, от которой себя ни на секунду не отделяет. Но он не зависит от состояния умов литературной среды, в которой и сегодня чувствует себя не слишком уютно. Зато среди простых читателей в разных концах мира Айтматову всегда дышится легко. Недаром его сочинения изданы на ста пятидесяти четырех языках, в том числе языках малочисленных народов.

Писатель из далекой Киргизии, Айтматов воспринимается сегодняшним культурным миром в ряду классиков современной литературы. При этом всем ясно, как глубоко он связан с русской культурой, русским словом, русской литературой, русским читателем. Писатель в совершенстве владеет родным киргизским языком, но русский для него куда больше, чем «язык межнационального общения». Он для него — язык творчества, язык его книг, язык, на котором писатель Айтматов «дышит» в мировом культурном пространстве, оставаясь самим собой и ощущая себя причастным к великой русской литературе, охраняющей и спасающей душу во всех испытаниях художественного существования в непридуманной Действительности — «И в разъяренном океане, средь грозных волн и бурной тьмы, И в аравийском урагане, И в дуновении Чумы»...

Творчество Айтматова — это одновременно философская проза и стихийно-лирическое поэтическое повествование. Его новаторство заключается в редкостно естественном сопряжении глубоко народной природы воплощенных им человеческих характеров, глубинного ощущения надмирной целостности живой природы и ее обитателей, и, наконец, интонационного авторского присутствия-участия, присутствия-сострадания в объективном одушевленном мире живых страстей и божественных установлений.

Айтматов предложил читающему миру оригинальную структуру осмысления современной действительности как надысторической целостности национальной художествен-

ной мифологии и реально действующих нравственных, духовных установлений, закрепляющихся всякий раз заново в новой исторической повседневности и тесно соприкасающихся с новейшими социальными и общественно-государственными, политическими, религиозными условностями, сопровождающими и поддерживающими человека, который существует в одной действительности с Автором-писателем, размышляющим о мире «на будущее», таинственно подключенном к «прошлому».

Айтматов часто предстает в своих произведениях как провидец. Он раньше, точнее и тоньше многих других в современной литературе разглядел опасные тенденции жизни современного человечества.

В заметке 1821 года «О вдохновении и восторге» Пушкин написал: «Спокойствие — необходимое условие прекрасного». Именно Спокойствия остро не достает сегодня в жизни и в литературе, если рассматривать ее как Высокое искусство. Чингиз Айтматов — источник Спокойствия, художественного равновесия и той настоящей правды о жизни и людях, что возвышает язык людей, язык литературы.

Чингиз Айтматов принадлежит к писателям толстовского типа, в которых, по слову Пруста, живет внутренний закон и которых отличают величие, спокойствие и поразительная зоркость. Можно назвать это проявлением божественного дара, еще точнее — божественной воли, которая через слово является нам в образе людей и событий, в образе времени. Автор как проводник высшей воли одновременно властен и не властен над своими героями. Он их увидел раньше, чем мы, но мы видим их не вслед за ним, а одновременно с ним, даже безотносительно к нему.

Сегодня, перечитывая хорошо знакомые айтматовские книги или впервые открывая их, мы испытываем объединяющее нас всех живое волнение, которое рождается подлинностью переживаний автора, ведь Айтматов никогда не ощущает себя выше события и не остается рядом с ним, он пребывает внутри него.

Проза Айтматова оригинальна, узнаваема, неповторима. Она будто бы непричастна «авторству». Автор рассказывает нам о событиях, людях, трагедии и радости жизни, о любви, что соединяет человека и человечество. И если герой Достоевского утверждает, что «красота спасет мир», то герои Айтматова будто говорят: «Мир спасет Любовь». И одно другому не противоречит, одно с другим связано глубинной связью...



Настоящее издание открывается повестью «Материнское поле». В этой повести обозначено эпическое начало жизни — символический образ Поля, Голос матери. Земля как бы говорит человеческим голосом. Голос матери слышен из некоей нереальности. Однако за всем этим стоит реальная и очень правдивая жизнь.

Когда-то Дмитрий Шостакович, горячо любивший Айтматова, высказал в беседе с писателем мысль о том, что новое время может родить художников не меньшего масштаба, чем Шекспир, важно только заключить весь мир в одном себе (у Айтматова есть этюд о Шостаковиче — «Весь мир в одном себе»). Но способен ли художник вместить весь мир, разве душа его равна миру? Звучит, пожалуй, чересчур высокопарно и даже высокомерно. Видно, смысл все-таки в чем-то другом. «Весь мир в одном себе» — означает сочувствие всему в мире, всем, кто встречается в пути, ибо каждый из живущих имеет собственное мировое значение.

С детства жизнь открыла Айтматову трагическое и лирическое в емком, романтически сильном восприятии. Она поразила его своей многозначностью. Явились вместе ощущения конца и начала, обозначились человеческая злоба и человеческая вечная доброта, несправедливость и высшая справедливость. Читатели, знакомые с биографией писателя, знают, что его отец, один из руководителей Киргизии той поры, в период жестоких репрессий эпохи «культы личности», предчувствуя свою гибель, успел отправить семью из Москвы, где он учился в академии, в родную Киргизию, в горы, где они должны были затеряться и выжить. Чингиз Торекулович не раз рассказывал и писал о своей бабушке, подобно пушкинской Арине Родионовне рассказывавшей ему прекрасные сказки, разбудившей и почувствовавшей в нем поэтическую душу. В ранней юности, в 14 лет, грамотный и образованный подросток служил в сельсовете: собирал налоги и разносил извещения о павших на полях войны. Уже потом молодой зоотехник Айтматов приехал в Москву учиться на Высших литературных курсах. Здесь, в общестии на Тверском бульваре он завершал свою «Джамилю»...

Айтматов удивительный писатель. Сила его не только в мощном эмоциональном токе, которым пронизаны все его произведения, не только в глубокой пронизательности и наблюдательности. Айтматов — настоящий мудрец, а художник и мудрец — не одно и то же. Его творческая фантазия открывает реальность. Реальность, которая по сути своей фантастична.

Айтматов — писатель от Бога. У Айтматова все естественно, органично. Он не просто мыслитель — он народный человек, что бывает не со всяким художником. Как публичный оратор он, может быть, не такой уж сильный, найдутся посильнее, если исходить из формальных критериев. Но когда он начинает говорить своим чуть монотонным голосом, вы сразу начинаете чувствовать биение его сердца. Он по-настоящему добр, ибо искренен и талантлив. Я помню, как во время одного из «Иссык-кульских форумов» в Женеве, во время заключительной пресс-конференции во Дворце наций было объявлено, что Иосифу Бродскому присуждена Нобелевская премия. Айтматова обступили журналисты, и он сказал, что судьба Бродского необычна, и он искренне рад тому, как высоко отмечен труд и талант писателя из России. И хотя на сегодняшний день Бродского, возможно, лучше знают на Западе, чем на Родине, присуждение Нобелевской премии станет импульсом к новой жизни поэта в своем народе. Что-то непременно будет переосмыслено. Он говорил искренне, доброжелательно и серьезно — ему изначально свойственно ощущение серьезности жизни.

У Льва Толстого в дневниках есть запись, которая была особенно дорога композитору Валерию Гаврилину: «Вышел, посмотрел на закат и понял, что жизнь человеческая — это не шутка». Ощущение, что жизнь человеческая не шутка, очень характерно для Айтматова.

Стендаль говорил о Моцарте: «Моцарт не умел шутить с любовью». И Айтматов не умеет шутить с любовью. Для него это слишком серьезно. И коль серьезно, значит, смело. Потому у него такая смелая Джамия, потому такая неожиданная история разворачивается в «Первом учителе», когда акт насилия вдруг рождает состояние очищения.

У Айтматова исключительно развито чувство, которое Бахтин определил как чувство «вины и ответственности». У него интуитивно глубокое ощущение того, что происходит в мире с людьми. Отсюда такие безысходно трагические финалы его сочинений. Герой «И дольше века длится день» погибает, герой «Плахи», совершая свой акт отмщения (Бостон), повергает и себя в гибельную бездну отчаяния: никто не знает, придет ли он сдаваться властям, или покончит с собой, отпустив коня и вглядываясь с высоты в летящие воды Иссык-Куля, что зовут его; как мальчика из «Белого парохода». Герой романа «Тавро Кассандры» космический монах Филофей обрекает себя на гибель в космосе, ибо со-знает свою вину перед людьми.

Соединение вины и ответственности и у самого Айтматова, и у его героев вполне органично. Писатель чувствует себя виноватым в том, в чем он совершенно не виноват. Он чувствует вину человечества, вину других, вообще вину искусства перед жизнью. Будучи художником, он понимает, что искусство не может переделать мир, оно пытается только его украсить, смягчить его восприятие. Но и жизнь виновата перед искусством, потому как она не в состоянии обеспечить условия для его органического развития.

Айтматов человек исключительных качеств. Уже много лет я счастлив близко общаться с ним и могу сказать, что это человек покоряющей интуиции и человеческой теплоты. За тысячи километров он может почувствовать ваше настроение, состояние души. Он словно подключен если не к каждому из нас, то к близким людям, и через них ко многим, многим другим. Он доверчив, пытлив, умеет собирать опыт разных людей и, концентрируя его, присовокуплять к своему опыту.

Чингиз Айтматов — по-настоящему честный художник. Он не думает о значении своего творчества. Он думает только о том, чтобы продолжить разговор с людьми и не наговорить им пустых слов. Он все время пишет новое и откладывает, и начинает нечто другое. Если бы это был просто профессиональный беллетрист, он писал бы одно сочинение за другим. Но Айтматов — художник, который должен выносить свой замысел, поверить, что его новое кому-то нужно. Иногда ему кажется, что другим не интересно то, что дорого ему. Со строгим вниманием наблюдает он современный литературный процесс. Не все ему в нем близко. Но он пристально всматривается в него, стараясь не изменить самому себе. Его чувство ответственности перед самим собой чрезвычайно велико.

Творчество Айтматова вдохновлено идеями и образами XX века, и оно вдохновляет людей разных культур. Одним из лучших театральных спектаклей для меня остается инсценировка по роману «И дольше века длится день» литовского режиссера Эймунтаса Некрошюса. Айтматов — соавтор пьес «Восхождение на Фудзияму» и «Размышления о Сократе». По произведениям Айтматова написаны музыкальные сочинения, поставлены балеты, снято множество фильмов. Он внес большой вклад в развитие национального кинематографа, несколько лет возглавлял Союз кинематографистов Киргизии.

Но главное в его творчестве — напоенность поэзией. Он наблюдает реалистическую жизнь и осмысляет ее душой. А душа эта — поистине душа поэта, в которой все пронизывает

и объединяет лирическая стихия. Думаю, именно поэтическая сущность Айтматова — ключ к его интуиции и ее источник. Он в высшей степени тактичен в отношениях с людьми, он их любит. И пробуждает у читателя ответную любовь.

Особая ценность выходящей в «Молодой гвардии» книги заключается еще и в том, что новые поколения читателей смогут заново прочесть произведения писателя разных лет. Каждый великий художник, в сущности, всю жизнь пишет одно сочинение, говорит об одном и том же, не задумываясь о материальных благах и рыночной конъюнктуре.

В Айтматове есть ощущение живого процесса жизни и ее проблем. Поэтому не случайно этот Поэт оказался столь актуальным писателем. Он первым ощутил болевую область кровоточащих проблем жизни. Дезертир с фронта Великой Отечественной и отношение к нему близких людей в повести «Лицом к лицу» — тема, развитая в дальнейшем другими писателями, и прежде всего Валентином Распутиным. Айтматов резко и смело заговорил о вырождении личности у людей, пользовавшихся данной им властью для собственной выгоды. Он одним из первых почувствовал гибельность проблемы наркомании, ощутил великую роль религии в современной жизни. Не случайно известный проповедник протоиерей Александр Мень высоко ценил Айтматова и в своих лекциях о мировой культуре подробно разбирал «Плаху», весьма убедительно сопоставляя Айтматова, с одной стороны, с Михаилом Булгаковым, а с другой — с Томасом Манном.

Айтматов мыслит сущностно, он обладает способностью наполнить новым могучим содержанием поэтический образ. Так, строку из стихотворения Бориса Пастернака («И дольше века длится день») Айтматов наполнил таким могучим вселенским содержанием, что она дала имя роману. Сколько поэзии и величия в его простых словах о поездах, идущих с Востока на Запад и с Запада на Восток! Они звучат, как музыка. Мы словно ощущаем ход времени, как в свиридовской музыке к фильму «Время, вперед!», где есть ощущение и страха быстротечности жизни, и радости неостановимого движения.

Книги Айтматова выражают неумолимость бытия, но одновременно они проникнуты ощущением нашей причастности к Бытию, а не просто к каждому прожитому дню. Потому айтматовская неумолимость бытия и трагична, и прекрасна.

Творчество Айтматова тесно сопрягается, на мой взгляд, с творчеством великого русского писателя Андрея Платонова. И там, и здесь особый язык. Язык, сложившийся по по-

этическим законам, не вычитанным из книг по стиховедению, но идущим от строя души.

Потрясение от айтматовских книг происходит не от того, что он хочет нас напугать, погрузить в море страха и безысходности, но от того, что он сильно чувствует, и также сильно уповает на то, что человек достоин лучшей участи. Вопрос Петра Ильича Чайковского самому себе в одной из его дневниковых записей: «Так ли я живу? Справедливо ли поступаю?» — владеет душой писателя и его героев.

И мы тоже ждем от Айтматова продолжения жизни его героев и нового рассказа о нашей жизни. Мы верим, что он о нас узнает что-то такое, чего мы сами не знаем. А перечитывание того, что он уже сделал, позволяет нам еще раз осознать, увидеть себя в самом неожиданном материале, не просто в зеркале, где мы узнаем свои черты, а в каком-то отражении на небесном своде, где каждому есть место, где все отличны друг от друга, и все друг на друга похожи.

Это ощущение единения людей не по принципу места проживания, европейства, азиатства или евразийства, а по одному-единственному критерию: «человек — не человек».

Айтматов утверждает право человека на жизнь, духовную свободу, но и его великую ответственность за жизнь на земле, за жизнь своего народа и других народов в не меньшей степени.

Незабываем скрип снега под ногами женщины, что в романе «Тавро Кассандры» тайно оставляет своего младенца, рожденного в войну от пришельца-завоевателя, на крыльце чужого дома. — И герой этот, Андрей Крыльцов (найденный на крыльце), становится человеком невероятного ума, но при этом на какое-то время теряет свой внутренний человеческий облик, и обретает — уже ценою собственной жизни. Мысль, высказанная в романе, неожиданна — свобода умирать, свобода не жить, свобода выбора между жизнью и смертью.

Если Чайковский или, к примеру Шостакович оставил и нам неотразимые художественные свидетельства страха перед смертью и жалости к людям, то другие художники, такие, как Мусоргский, Свиридов, воспринимали тему крушения жизни в совершенно ином, эпическом плане. Мусоргский не знал страха смерти. Самосожжение в финале «Хованщины» — это возвышение через смерть, возвращение к небесной жизни в другой ипостаси. Почему соплеменники отказались от Христа и требовали от Пилата: «Распни его»? Они ожидали, что Христос непременно должен изменить их

жизнь на Земле. Они не понимали, что он свидетельствовал им об иной жизни, о жизни на Небе. Но пока они живут на Земле, они должны охранять в себе то, что способно открыть им небесную жизнь, царство небесное. Книги Чингиза Айтматова сферой своей повергают душу человека в то состояние, в котором он способен думать о жизни в мире ином.

Симптоматическая черта творчества Айтматова как уже сложившегося целостного явления в литературе XX столетия состоит в том, что его проза предполагает существование не конкретного читателя, а образа читателя, конгениального и адекватного образам автора и его героев.

В прозе Айтматова есть определенное магическое начало, которое улавливается не столько из слов, сколько из музыки слова, из интонации, из выстраданного (страдание — это, по сути, звук) отношения автора к своему придуманному герою, который становится для него реальным человеком, хотя и может нести в себе черты идеи, даже обретать облик идеи.

У Айтматова есть эта способность — идея придать портрет, облик, живые черты, от чего идея не перестает быть идеей. Но идея эта выстрадана живым человеком и извлечена из человеческих взаимоотношений, из наблюдений человека-писателя за другими людьми, из наблюдений человека очень доброго и способного ошутить ход вещей в современном мире как нечто неумолимое, но при этом сотканное из плоти и крови и душевных мук, из живых переживаний. Идеи Айтматова — это идеи, которые рождаются в душах живых людей и движутся живыми людьми, с ними же умирая.

В его книгах мысль — боль, а не пространство, в котором можно смоделировать и проявить ту или иную художественную, литературную, структурную или даже философскую тенденцию, дать волю не фантазии, а разгулу мастерства, «полистилистики», «монохромности» или какой-либо иной «игры».

Настоящих писателей, которые суть писатели изначально, от Бога, в отличие от ставших писателями от «культурности», от владеющих пером и языком внутренне беззастенчивых в обращении со словом, временем и сознанием читателя людей — можно было бы разделить на реалистов в самом высоком смысле этого слова и тех, кто привержен условному, «знаковому» письму. Айтматов не может быть отнесен ни к тем, ни к другим.

Он Поэт, и в этом его сила и главная отличительная особенность. Но его поэтическая сущность, его поэтика связаны не только и не столько с процессом сочинения, с про-

цессом художественного самовыявления, сколько с моментом наблюдения за жизнью, участия в жизни, с отношением к людям и проблемам, которые люди пытаются решить, но которые изначально неразрешимы.

Я полагаю, что Айтматов — один из самых трагических современных писателей, ибо все, о чем он говорит, он «выводит» из житейской ситуации в ситуацию рока, ситуацию, по сути, космическую, даже когда дело с космосом не связано. С высоты человеческого космоса он видит мировой космос, как в романе «Тавро Кассандры», где авторский космос и космос как среда обитания героя соединились, слились и поглотили друг друга.

Есть в прозе Айтматова оглушительно трагическая и шемящая интонация. В страдании и сострадании она может соединить все доступные авторскому и читательскому сознанию миры в нечто единое и целостное — в цельное ощущение мира как средоточия экспериментального безумия, веками выработанных норм человеческой и религиозной морали и неумолимой стихии, именуемой «свобода».

В романе Айтматова «Тавро Кассандры» свобода уже не только обнажила грудь, как на полотне Делакруа. Она не только победила на баррикадах. Она победила и тех, кто победил, держа Ее в своих руках, как знамя. Свобода раскрепостила человека, раскрепостила героя романа — ученого Андрея Крыльцова. Она дала ему возможность почувствовать себя гением, сотворить нечто гениально ужасное. И оставила возможность освободиться от самой себя, уйти в космос, внутренний и буквальный, совершить уникальное самопострижение в монахи, обрести дар прозрения человеческой преджизни, жизни от зарождения до рождения, познать и объявить миру о фантастической способности еще не родившегося человека распорядиться собой, решая, хочет ли он жить в нынешнем мире (фантазия «Из ересей XX века», как явствует из подзаголовка романа).

Этот приговор жизни из уст еще не родившегося человека принуждает айтматовского героя обратиться к миру словонапутствие и слово-прощание, мольбу об искуплении собственной земной вины. Так он обретает право уйти в небытие, остаться в космосе вне космического корабля, стать ничем, сохранив для людей свободу существования в жизни и смерти, свободу от гнета цивилизаций, от безликой участи «иксродов».

После романа «И дольше века длится день» в язык, в

обиход и в наше сознание вошло айтматовское слово-понятие «манкурт». В новом романе «Тавро Кассандры» Айтматов оперирует еще одним новым словом-понятием «иксрод». Это человек, который получает жизнь от неизвестного отца и неизвестной матери и вынашивается, рождается на свет неизвестной женщиной.

Наверное, все-таки дело не в тайне «генетического сознания», но во внутреннем устройстве человека, пусть и родившегося от вполне реальных родителей. Его внутренний мир может быть столь же загадочным, и под влиянием мощных внешних сил может преодолеть зависимость и от жизни отца, и от жизни матери. Слишком велики и сильны влияния на всякого нового человека в этом то ли пышно расцветающем, то ли пышно угасающем мире...

«Слово как слепок вечности» — есть такая строка у Айтматова.

Слово его будто доносится к нам издалека, из Мира вечных истин. Но, может быть, это сам сегодняшний день выискует к истинам вечности, и они говорят сегодня с людьми его — Чингиза Айтматова — дивным, негромким, сотрясающим совестливую память голосом, мудро внушающим доверие к людям и веру в естественную божественность хода будущей жизни.

Книги Айтматова и всю его писательскую, общественную и государственную жизнь органически сопрягает его природная народность, чисто народная призванность служению людям. Его голос можно расслышать сердцем. А сердце человеческое в высокие минуты жизни обращено к Богу. И об этом тоже свидетельствует творчество Чингиза Айтматова — писателя, состоявшегося в мировой литературе как явление художественное, но и духовное.

Строки Айтматова — музыка. Их надо расслышать. Их звучащие волны несут в себе тайну любви и божественную тревогу...

*Андрей Золотов, профессор,  
заслуженный деятель искусств  
Российской Федерации*



# МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ

---

---

*Повесть*



*Отец, я не знаю, где ты похоронен...  
Посвящаю тебе, Торекулу Айтматову.*

*Мама, ты вырастила всех нас, четверых...  
Посвящаю тебе, Нагиме Айтматовой.*

1

**В** белом свежевystиранном платье, в темном стеганом бешмете, повязанная белым платком, она медленно идет по тропе среди жнивья. Вокруг никого нет. Отшумело лето. Не слышно в поле голосов людей, не пылят на проселках машины, не видно вдали комбайнов, не пришли еще стада на стерню.

За серым большаком далеко, невидимо простирается осенняя степь. Бесшумно кочуют над ней дымчатые гряды облаков. Бесшумно растекается по полю ветер, перебирая ковыль и сухие былинки, бесшумно уходит он к реке. Пахнет подмокшей в утренние заморозки травой. Земля отдыхает после жатвы. Скоро начнется ненастье, польют дожди, запорошит землю первым снегом, и грянут бураны. А пока здесь тишина и покой.

Не надо мешать ей. Вот она останавливается и долго смотрит вокруг потускневшими, старыми глазами.

— Здравствуй, поле, — тихо говорит она.

— Здравствуй, Толгонай. Ты пришла? И еще постарела. Совсем седая. С посошком.

— Да, старею. Прошел еще один год, а у тебя, поле, еще одна жатва. Сегодня день поминовения.

— Знаю. Жду тебя, Толгонай. Но ты и в этот раз пришла одна?

— Как видишь, опять одна.

— Значит, ты ему ничего еще не рассказала, Толгонай?

— Нет, не посмела.

— Думаешь, никто никогда не расскажет ему об этом? Думаешь, не обмолвится кто ненароком?

— Нет, почему же? Рано или поздно ему станет все известно. Ведь он уже подрос, теперь он может узнать и от других. Но для меня он еще дитя. И боюсь я, боюсь начать разговор.

— Однако человек должен узнать правду, Толгонай.

— Понимаю. Только как ему сказать? Ведь то, что знаю я, то, что знаешь ты, поле мое родимое, то, что знают все,

не знает только он один. А когда узнает, то что подумает он, как посмотрит на былое, дойдет ли разумом и сердцем до правды? Мальчишка ведь еще. Вот и думаю, как быть, как сделать, чтобы не повернулся он к жизни спиной, а всегда прямо смотрел ей в глаза. Эх, если бы можно было просто, в двух словах, взять, да и рассказать, будто сказку! В последнее время только об этом и думаю, ведь, не ровен час, — помру вдруг. Зимой как-то заболела, слегла, думала — конец. И не столько боялась смерти — пришла бы, я противиться бы не стала, — а боялась я, что не успею открыть ему глаза на самого себя, боялась унести с собой его правду. А ему и невдомек было, почему так маялась я... Жалел, конечно, даже в школу не ходил, все крутился возле постели — в мать весь. «Бабушка, бабушка! Может, воды тебе или лекарства? Или укрыть потеплее?» А я не решилась, язык не повернулся. Уж очень он доверчивый, бесхитростный. Время идет, и никак не найду я, с какого конца приступить к разговору. По-всякому прикидывала, и так и этак. И сколько ни думаю, прихожу к одной мысли. Чтобы он правильно рассудил то, что было, чтобы он правильно понял жизнь, я должна рассказать ему не только о нем самом, не только о его судьбе, но и о многих других людях и судьбах, и о себе, и о времени своем, и о тебе, мое поле, о всей нашей жизни, и даже о велосипеде, на котором он катается, ездит в школу и ничего не подозревает. Быть может, только так будет верно. Ведь тут ничего не выкинешь, ничего не прибавишь: жизнь замесила всех нас в одно тесто, завязала в один узел. А история такая, что не всякий даже взрослый человек разберется в ней. Пережить ее надо, душой понять... Вот и раздумываю... Знаю, что это мой долг, если бы удалось его исполнить, то и умирать не страшно было бы...

— Садись, Толгонай! Не стой, ноги-то у тебя больные. Присядь на камень, подумаем вместе. Ты помнишь, Толгонай, когда ты первый раз пришла сюда?

— Трудно припомнить, столько воды утекло с тех пор.

— А ты постарайся вспомнить. Вспомни, Толгонай, все с самого начала.

## 2

Смутно очень припоминаю: когда я была маленькой, в дни жатвы меня приводили сюда за руку и сажали в тени, под копной. Мне оставляли ломоть хлеба, чтобы я не пла-

кала. А потом, когда я подросла, я прибежала сюда стеречь посевы. Весной тут скот прогоняли в горы. Тогда я была быстроногой, косматой девчушкой. Взбалмошное, беззаботное время — детство! Помню, скотоводы шли с низовий Желтой равнины. Гурты за гуртами спешили на новые травы, в прохладные горы. Глупая я тогда была, как подумаю. Табуны мчались со степи лавиной, подвернешься — растопчут вмиг, пыль на версту оставалась висеть в воздухе, а я пряталась в пшенице и выскакивала вдруг, как зверек, пугала их. Лошади шарахались, а табунщики гнались за мной.

— Эй, косматая, вот мы тебе!

Но я увертывалась, убегала по арыкам.

Рыжие отары овец проходили здесь день за днем, курдюки колыхались в пыли, как град, стучали копыта. Гнали овец черные охрипшие пастухи. Потом шли кочевья богатых айлов с караванами верблюдов, с бурдюками кумыса, притороченными к седлам. Девушки и молодайки, разнаряженные в шелка, покачивались на резвых иноходцах, пели песни о зеленых лугах, о чистых реках. Дивилась я и, забыв обо всем на свете, долго бежала за ними. «Вот бы и мне когда такое красивое платье и платок с кистями!» — мечтала я, глядя на них, пока они не скрывались из виду. Кем была я тогда? Босоногой дочкой батрака-джатака. Деда моего оставили за долги пахарем, так и пошло в нашем роду. Но хотя никогда не носила я шелкового платья, выросла приметной девушкой. И любила смотреть на свою тень. Идешь и поглядываешь, как в зеркало любуешься... Чудная была я, ей-богу. Лет семнадцать мне было, когда на жатве я и встретила Суванкула. В тот год он пришел батрачить с Верхнего Таласа. А я и сейчас — закрою глаза и точь-в-точь вижу его, каким он был тогда. Совсем молодой еще, лет девятнадцати... Рубахи на нем не было, ходил, накинув на голые плечи старый бешмет. Черный от загара, как прокопченный; скулы блестящие, как темная медь; с виду казался он худым, тонким, но грудь у него была крепкая и руки словно железные. И работник он был — такого не скоро сыщешь. Пшеницу жал легко, чисто, только слышишь рядом, как серп звенит да колосья подрезанные падают. Бывают такие люди — либо смотреть, как работают. Вот и Суванкул был таким. На что я считалась быстрой жницей, а всегда отставала от него. Далеко уходил вперед Суванкул, потом, бывало, оглянется и вернется, чтобы помочь мне сравняться. А меня это задевало, я сердилась и гнала его:

— Ну кто тебя просил? Подумаешь! Оставь, я и сама управлюсь!

А он не обижался, усмехнется и молча делает свое. И зачем я сердилась тогда, глупая?

Мы всегда первыми приходили на работу. Рассвет только-только наливался, все еще спали, а мы уже отправлялись на жатву. Суванкул всегда ожидал меня за аилом, на тропинке нашей.

— Ты пришла? — говорил он мне.

— А я думала, что ты давно ушел, — отвечала я всегда, хотя знала, что без меня он никуда не уйдет.

И потом мы шли вместе.

А заря разгоралась, золотились первыми самые высокие снежные вершины гор, и ветер со степи струился навстречу синей-синей рекой. Эти летние зори были зорями нашей любви. Когда мы шли с ним вдвоем, весь мир становился иным, как в сказке. И поле — серое, истоптанное и перепаханное — становилось самым красивым полем на свете. Вместе с нами встречал восходящую зарю ранний жаворонок. Он взлетал высоко-высоко, повисал в небе, как точка, и бился там, трепыхался, словно человеческое сердце, и столько раздольного счастья звенело в его песнях...

— Смотри, запел наш жаворонок! — говорил Суванкул.

Чудно, даже жаворонок был у нас свой.

А лунная ночь? Быть может, никогда больше не повторится такая ночь. В тот вечер мы остались с Суванкулом работать при луне. Когда луна, огромная, чистая, поднялась над гребнем вон той темной горы, звезды в небе все разом открыли глаза. Мне казалось, что они видят нас с Суванкулом. Мы лежали на краю межи, подстелив под себя бешмет Суванкула. А подушкой под головой был привалок у арыка. То была самая мягкая подушка. И это была наша первая ночь. С того дня всю жизнь вместе... Натруженной, тяжелой, как чугуна, рукой Суванкул тихо гладил мое лицо, лоб, волосы, и даже через его ладонь я слышала, как буйно и радостно колотилось его сердце. Я тогда сказала ему шепотом:

— Суван, ты как думаешь, ведь мы будем счастливыми, да?

И он ответил:

— Если земля и вода будут поделены всем поровну, если и у нас будет свое поле, если и мы будем пахать, сеять, свой хлеб молотить — это и будет нашим счастьем. А большего счастья человеку и не надо, Толгон. Счастье хлебороба в том, что он посеет да пожнет.

Мне почему-то очень понравились его слова, стало так хорошо от этих слов. Я крепко обняла Суванкула и долго целовала его обветренное, горячее лицо. А потом мы искупались в арыке, брызгались, смеялись. Вода была свежая, искристая, пахла горным ветром. А потом мы лежали, взявшись за руки, и молча, просто так смотрели в небо на звезды. Их было очень много в ту ночь.

И земля в ту синюю светлую ночь была счастлива вместе с нами. Земля тоже наслаждалась прохладой и тишиной. Над всей степью стоял чуткий покой. В арыке лепетала вода. Голову кружил медовый запах донника. Он был в самом цвету. Иногда набегал откуда-то горячий полынный дух суховея, и тогда колосья на меже качались и тихо шелестели. Может быть, всего один раз и была такая ночь. В полночь, в бамую полную пору ночи, я глянула на небо и увидела Дорогу Соломщика — Млечный Путь простирался через весь небосклон широкой серебристой полосой среди звезд. Я вспомнила слова Суванкула и подумала, что, может быть, и в самом деле этой ночью прошел по небу какой-то могучий добрый хлебобор с огромной охапкой соломы, оставляя за собой след осыпавшейся мякины, зерен. И я вдруг представила себе, что когда-нибудь, если исполнятся наши мечты, и мой Суванкул вот так же понесет с гумна солому первого обмолота. Это будет первая охапка соломы своего хлеба. И когда он будет идти с этой пахучей соломой на руках, то за ним останется такая же дорожка растрясенной соломы. Вот так я мечтала сама с собой, и звезды мечтали вместе со мной, и мне вдруг так захотелось, чтобы все это сбылось, и тогда я первый раз обратилась к матери-земле с человеческой речью. Я сказала: «Земля, ты держишь всех нас на своей груди; если ты не дашь нам счастья, то зачем тебе быть землей, а нам зачем рождаться на свет? Мы твои дети, земля, дай нам счастья, сделай нас счастливыми!» Вот какие слова я сказала в ту ночь.

А утром я проснулась и смотрю — нет Суванкула со мной рядом. Не знаю, когда он встал, пожалуй, очень рано. Вокруг на жнивье всюду лежали вповалку новые снопы пшеницы. Обидно мне стало — как бы я поработала рядом с ним в ранний час...

— Суванкул, что же ты меня не разбудил? — крикнула я.

Он оглянулся на мой голос; помню, какой он был в то утро — голый по пояс, черные сильные плечи его блестели от пота. Он стоял и как-то радостно, удивленно смотрел,

будто не узнавал меня, а потом, утирая ладонью лицо, сказал улыбаясь:

— Я хотел, чтобы ты поспала.

— А сам? — спрашиваю.

— Я ведь теперь за двоих работаю, — ответил он.

И тут я совсем вроде обиделась, чуть не разревелась даже, хотя на душе было очень хорошо.

— А где же твои вчерашние слова? — укорила я его. — Ты говорил, что мы во всем будем равными, как один человек.

Суванкул бросил серп, подбежал, схватил меня, поднял на руки и, целуя, говорил:

— Отныне вместе во всем — как один человек. Жаворонки ты мой, родная, милая!..

Он носил меня на руках, что-то еще говорил, называл меня жаворонком и другими забавными именами, а я, обхватив его за шею, хохотала, болтала ногами, смеялась — ведь жаворонком называют только маленьких детей, и все же как хорошо было слышать такие слова!

А солнце только-только всходило, поднималось краем глаза из-за горы. Суванкул отпустил меня, обнял за плечи и вдруг крикнул солнцу:

— Эй, солнце, смотри, вот моя жена! Смотри, какая она у меня! Плати мне за смотрины, лучами, светом плати!

Не знаю, всерьез или в шутку он так сказал, только я вдруг расплакалась. Так просто, не удержалась от хлынувшей радости, переполнилась она в груди...

И сейчас вот вспоминаю и плачу зачем-то, глупая. Ведь то были слезы другие, они даются человеку только раз в жизни. И разве не удалась наша жизнь так, как мы мечтали? Удалась. Мы с Суванкулом жизнь эту своими руками сделали, трудились, кетмень ни летом, ни зимой не выпускали из рук. Много пота пролили. Много труда ушло. Было это уже в новое время — дом поставили, скотом кое-каким обзавелись. Словом, стали жить, как люди. А самое великое — сыновья родились у нас, трое, один за другим, как на подбор. Теперь иной раз такая досада душу палит и такие несурзные мысли приходят в голову: зачем рожала их, как овца, через каждые год-полтора, нет бы, как у других, через три-четыре года — может, тогда и не случилось бы этого. А может, лучше было бы, если бы они совсем не родились на свет. Дети мои, это я от горя, от боли так говорю. Мать ведь я, мать...

Помню, как все они первый раз появились здесь. Это было в тот день, когда Суванкул привел сюда первый трак-

тор. Всю осень и зиму Суванкул ходил в Заречье, на тот берег, учился там на курсах трактористов. Мы и не знали тогда толком, что такое трактор. И когда Суванкул задерживался до ночи — ходить-то было далеко, — мне и жалко, и обидно становилось за него.

— Ну чего ради ты связался с этим делом? Худо тебе, что ли, было бригадиром... — упрекала я его.

А он, как всегда, спокойно улыбался:

— Ну, не шуми, Толгон. Подожди, вот настанет весна — и тогда убедишься. Потерпи малость...

Говорила я это не со зла — нелегко приходилось одной с детьми в доме по хозяйству; опять же работа в колхозе. Но отходила я быстро: гляну на него, а он замерз с дороги, не евши, а я еще заставляю его оправдываться — и самой становится неловко.

— Ладно уж, садись к огню, еда простыла давно, — ворчала я, вроде бы прощая.

В душе-то я понимала, что Суванкул не в игрушки играл. В аиле тогда не нашлось грамотного человека для учебы на курсах, так Суванкул сам вызвался. «Я, — говорит, — пойду и грамоте буду обучаться, освобождайте меня от бригадирских дел».

Вызваться-то вызвался, зато трудов хлебнул по горло. Как вспомню сейчас — интересное было время, дети отцов учили. Касым и Маселбек ходили уже в школу, они-то и были учителями. Бывало, по вечерам в доме — настоящая школа. Столов тогда не было. Суванкул, лежа на полу, выводил буквы в тетради, а сыновья лезли все трое с трех сторон, и каждый учил. «Ты, — говорят, — отец, прямой держи карандаш да гляди — строка-то вкривь пошла, да за рукой следи — дрожит она у тебя, вот так пиши, а тетрадь вот так держи». А то вдруг заспорят между собой, и каждый доказывает, что он лучше знает. В другом бы деле отец цыкнул на них, а тут слушал с уважением, как настоящих учителей. Пока одно слово напишет, замучается вконец: пот градом льет с лица Суванкула, будто он не буквы писал, а на молотилке у барабана подавальщиком стоял. Колдуют они всей кучей над тетрадью или букварем, гляжу на них, и меня смех разбирает.

— Дети, да оставьте вы в покое отца. Что вы из него, муллу собираетесь сделать, что ли? А ты, Суванкул, не гонись за двумя зайцами, выбирай одно — или тебе муллой быть, или трактористом.



Сердился Суванкул. Не глянет, покачает головой и тяжело вздохнет:

— Эх ты, тут такое дело, а ты с шутками.

Одним словом — и смех, и горе. Но как бы ни было, а все-таки Суванкул добился своего.

Ранней весной — только сошел снег и установилась погода — за аиллом однажды что-то затарахтело, загудело. По улице сломая голову промчался вспугнутый табун. Я выскочила со двора. За огородами шел трактор. Черный, чугунный, в дыму. Он быстро приближался к улице, а вокруг трактора народу сбежалось со всего аила. Кто на коне, кто пеший, шумят, толкаются, как на базаре. Я тоже кинулась вместе с соседями. И первое, что я увидела, — мои сыновья. Все трое стояли на тракторе возле отца, крепко ухватившись друг за дружку. Мальчишки свистали им, шапки кидали, а они такие гордые, куда там, словно герои какие, и лица их сияли. Вот ведь сорванцы эдакие, спозаранку еще убежали на реку, оказывается, трактор отцовский встречали, а мне ничего не сказали: побоялись, что не отпущу. А оно и правда, испугалась я за детей — а вдруг что случится? — и крикнула им:

— Касым, Маселбек, Джайнак, вот я вам! Слезьте сейчас же! — Но в грохоте мотора и сама не услышала свой голос.

А Суванкул понял меня, улыбнулся и кивнул головой — мол, не бойся, ничего не случится. Он сидел за рулем гордый, счастливый и очень помолодевший. Да он и в самом деле был тогда еще молодым черноусым джигитом. И вот тогда, словно бы впервые, я увидела, как похожи были сыновья на отца. Их всех четверых можно было принять за братьев. Особенно старшие — Касым и Маселбек — точь-в-точь, не отличить от Суванкула, такие же поджарые, с крепкими коричневыми скулами, как темная медь. А младшенький мой — Джайнак, тот больше походил на меня, светлее обликом, глаза у него были черные, ласковые.

Трактор, не останавливаясь, вышел за околицу, и мы все гурьбой повалили следом. Нам любопытно было, как же трактор будет пахать? И когда три огромных лемеха легко врезались в целину и пошли отваливать тяжелые, как гривы жеребцов, пласты, все заликовали, загалдели и толпой, обгоняя друг друга, нахлестывая приседающих на запятки, храпящих коней, двинулись по борозде. Не понимаю, почему я тогда отделилась от других, почему я отстала от людей, но вдруг очутилась одна, да так и осталась стоять, не могу

идти. Трактор уходил все дальше и дальше, а я стояла, бессиленная, и смотрела вслед. Но не было в тот час на свете человека счастливее меня! И не знала я, чему больше радоваться: тому ли, что Суванкул привел в аил первый трактор, тому ли, что в тот день я увидела, как подросли наши дети и как здорово они были похожи на отца. Я смотрела им вслед, плакала и шептала: «Всегда бы вам так рядышком с отцом, сынки мои! Если бы выросли вы такими же людьми, как он, то ничего мне больше не надо!..»

То была самая лучшая пора моего материнства. И работа спорилась в моих руках, я всегда любила работать. Если человек здоров, если руки-ноги целы — что может быть лучше работы? Время шло, сыновья как-то незаметно, дружно поднялись, словно тополя-одногодки. Каждый стал определять свою дорогу. Касым пошел по отцовскому пути: трактористом стал, а потом на комбайнера выучился. Одно лето ходил в штурвальных по ту сторону реки — в колхозе Каинды, под горами. А через год вернулся комбайнером в свой аил.

Для матери все дети равны, всех одинаково носишь под сердцем, и все же Маселбека я вроде больше любила, гордилась им. Может, оттого, что тосковала о нем в разлуке. Ведь он, как рано оперившийся птенец, первым улетел из гнезда, рано ушел из дому. В школе он с самого детства учился хорошо, все книгами зачитывался — хлебом не корми, только книгу дай. А когда закончил школу, то сразу уехал в город на учебу, учителем решил стать.

А младший — Джайнак — красивый, ладный вышел собою. Одна беда: дома почти не жил. Избрали его в колхозе секретарем комсомольским, вечно у него то собрания, то кружки, то стенгазета, то еще что. Посмотрю, как парнишка пропадает днем и ночью, зло берет.

— Слушай, непутевый, ты бы уж взял гармонь свою, подушку да поселился бы в конторе колхозной, — говорила я ему не раз. — Тебе все равно, где жить. Ни дома, ни отца, ни матери тебе не надо.

А Суванкул заступался за сына. Переждет, пока я пошумлю, а потом скажет как бы между делом:

— Ты не расстраивайся, мать. Пусть учится жить с людьми. Если бы он болтался без толку, я бы ему и сам шею намылил.

Суванкул к тому времени вернулся снова на свою прежнюю бригадирскую работу. На тракторы села молодежь.

А самое важное вот что: Касым женился вскоре, первая невестка порог перешагнула в дом. Как там у них было, не расспрашивала, но когда Касым проходил лето штурвальным в Заречье, там, видать, и приглянулись они друг другу. Он привез ее из Каинды. Алиман была молоденькой девушкой, горянка смуглая. Сначала я обрадовалась тому, что невестка попалась пригожая, красивая и проворная. А потом как-то быстро полюбила ее, очень она мне по душе пришлась. Может, оттого, что втайне я всегда мечтала о дочери, хотелось мне иметь дочку свою. Но не только поэтому, просто она была толковая, работающая, ясная такая, как стеклышко. Я и полюбила ее, как свою родную. Многие, случается, не уживаются между собой, а мне посчастливилось: такая невестка в доме — это большое счастье. К слову сказать, настоящее, неподдельное счастье, как я понимаю, — это не случай, оно не обрушивается вдруг на голову, будто ливень в летний день, а приходит к человеку исподволь, смотря как он к жизни относится, к людям вокруг себя; по крупице, по частице собирается, одно другое дополняет, и получается то, что мы называем счастьем.

В тот год, когда пришла Алиман, памятное лето выдалось. Хлеба созрели рано. Рано начался и разлив на реке. За несколько дней до жатвы прошли в горах сильные ливни. Даже издали заметно было, как там, наверху, снег таял, словно сахар. И забурила в поймище гремучая вода, понеслась в желтой пене, в мыльных хлопьях, приносила с гор огромные ели с комлем, била их в щепки на перепадах. В особенности в первую ночь страшно до самого рассвета ухала и стонала река под кручей. А утром глянули — старых островов как не было, начисто смыло за ночь.

Но погода стояла жаркая. Пшеница подходила ровно, зеленеватая понизу, а поверху желтизной наливалась. В то лето конца-краю не было спеющим нивам, хлеба колыхались в степи до самого небосклона. Уборка еще не начиналась, но мы загодя выжинали вручную по краям загонов проезд для комбайна. На работе мы с Алиман держались рядышком, так что некоторые женщины вроде бы стыдили меня:

— Ты бы уж сидела дома припеваючи, чем соревноваться с невесткой своей. Уважение имей к себе.

А я думала иначе. Какое к себе уважение — дома сидеть... Да и не усидела бы я дома, люблю жатву.

Так мы и работали вместе с Алиман. И вот тогда заметила я то, чего никогда не забуду. На краю поля среди коло-

сьев цвела в ту пору дикая мальва. Она стояла до самой макушки в крупных белых и розовых цветах и падала под серпами вместе с пшеницей. Смотрю, Алиман наша набрала букет мальвы и как бы тайком от меня понесла куда-то. Я поглядываю незаметно, думаю: что ж она будет делать с цветами? Добежала она до комбайна, положила цветы на ступеньки и молча побежала назад. Комбайн стоял наготове с дороги, со дня на день ждали начала уборки. На нем никого не было, Касым куда-то отлучился.

Я прикинулась, будто ничего не заметила, не стала смущать — застенчивая она еще была, но в душе крепко обрадовалась: значит, любит. Вот и хорошо, спасибо тебе, невестушка, благодарила я про себя Алиман. И до сих пор вижу, какая она была в тот час. В красной косыночке, в белом платье, с большим букетом мальвы, а сама раздумянулась, и глаза блестят — от радости, от озорства. Что значит молодость! Эх, Алиман, невестушка моя незабвенная! Охотница была до цветов, как девчонка. По весне снег лежит еще сугробами, а она приносила из степи первые подснежники... Эх, Алиман!

На другой день началась жатва. Первый день страды — всегда праздник, никогда в этот день не видела я сумрачного человека. Никто не объявляет этот праздник, но живет он в самих людях, в их походке, в голосе, в глазах... Даже в тархтенье бричек и в резвом беге сытых коней живет этот праздник. По правде говоря, в первый день жатвы никто толком и не работает. То и дело шутки, игры загораются. В то утро тоже, как всегда, было шумно илюдно. Задорные голоса перекликались из одного края в другой. Но веселей всех было у нас, на ручной жатве, потому что молодаек и девушек здесь целый табор был. Бедовый народ. Касым, как на грех, проезжал тем часом на своем велосипеде, полученном в премию от МТС. Озорницы перехватили его на пути.

— А ну, комбайнер, слезай с велосипеда. Ты почему не здороваешься со жницами, зазнался? А ну, кланяйся нам, кланяйся своей жене!

Насели со всех сторон, заставили Касыма поклониться в ноги Алиман, прощения просить. Он и так и этак:

— Извините, любезные жницы, промашка получилась. Огньне буду вам кланяться за версту.

Но этим Касым не отделался.

— Теперь, — говорят, — давай прокати нас на велосипеде, как барышень городских, да чтоб с ветерком!

И наперебой пошли подсаживать друг дружку на велосипед, а сами следом бегут, со смеху покатываются. Сидели бы уж смирно, так нет — крутятся, визжат.

Касым от смеха еле на ногах держится.

— Ну, хватит, довольно, отпустите, черти! — умоляет он.

А те нет, только одну прокатит — другая цепляется.

Наконец Касым осерчал не на шутку:

— Да вы что, посбесились, что ли! Роса просохла, мне комбайн выводить, а вы! Работать пришли или в шутки играть! Отстаньте!

Ох и смеху было в тот день! А небо какое было в тот день — голубое-голубое, а солнце как ярко светило!

Приступили мы к работе, замелькали серпы, солнце жарче припекло, и застрекотали на всю степь цикады. С непривычки всегда тяжело, пока не втянешься, но весь день не покидало меня утреннее настроение. Широко, светло было на душе. Все, что видели глаза мои, все, что я слышала и ощущала, все, казалось мне, создано для меня, для моего счастья, и все, казалось мне, полно необыкновенной красоты и радости. Отраднo было видеть, как кто-то скакал куда-то, ныряя в высоких волнах пшеницы, — может, то был Суванкул? Отраднo было слышать звон серпов, шелест падающей пшеницы, слова и смех людей. Отраднo было, когда неподалеку проходил комбайн Касыма, заглушал собой все другое. Касым стоял у штурвала, то и дело подставлял пригоршни под бурю струю обмолота, падающего в бункер, и каждый раз, поднеся зерно к лицу, вдыхал его запах. Мне казалось, что я сама дышу этим теплым, еще молочным запахом спелого зерна, от которого голова идет кругом. А когда комбайн приостановился напротив нас, Касым крикнул, словно бы с вершины горы:

— Эй, ездовой, торопись! Не задерживай!

А Алиман схватила кувшин с айраном.

— Побегу, — говорит, — пить отнесу ему!

И пустилась бежать к комбайну. Она бежала по новой комбайновой стерне, стройная, молодая, в красной косынке и белом платье, и казалось, несла в руках не кувшин, а песню любящей жены. Все в ней говорило о любви. А я как-то невольно подумала: «Вот бы и Суванкулу испить айрана», — и оглянулась по сторонам, но где там. С началом страды не найдешь бригадира, день-деньской он в седле, скачет из конца в конец, хлопот у него по горло.

К вечеру на полевом стане для нас был уже готов хлеб из

пшеницы нового урожая. Эту муку приготовили заранее, обмолотив снопы с обкоса, который мы начали неделю назад. Много раз за свою жизнь приводилось мне есть первый хлеб нового урожая, и всякий раз, когда я подношу ко рту первый кусок, мне кажется, совершаю святой обряд. Хлеб этот хотя и темного цвета, и немного клейкий, словно бы испеченный из жидко замешенного теста, но ни с чем на свете не сравним его сладковатый привкус и необыкновенный дух: пахнет он солнцем, молодой соломой и дымом.

Когда проголодавшиеся жнецы пришли на полевой стан и расположились на траве у арыка, солнце уже садилось. Оно пылало в пшенице на дальнем краю. Вечер обещал быть светлым и долгим. Мы собрались подле юрты, на траве. Правда, Суванкула еще не было, он должен был скоро подоспеть, а Джайнак, как всегда, исчез. Укатил на братнином велосипеде в красный уголок листок какой-то вывешивать.

Алиман расстелила на траве платок, высыпала яблоки-скороспелки, принесла горячих лепешек, налила в чашки квасу. Касым вымыл в арыке руки и, сидя у скатерти, неторопливо разломил лепешки на куски.

— Горячие еще, — сказал он, — бери, мама, ты первой отведай нового хлеба.

Я благословила хлеб и, когда откусила от ломтя, ощутила во рту вроде бы какой-то незнакомый вкус и запах. Это был запах комбайнерских рук — свежего зерна, нагретого железа и керосина. Я брала новые ломти, и все они припахивали керосином, но никогда не ела я такого вкусного хлеба. Потому что это был сыновний хлеб, его держал в своих комбайнерских руках мой сын. Это был народный хлеб — тех, кто вырастил его, тех, кто сидел в тот час рядом с сыном моим на полевом стане. Святой хлеб! Сердце мое переполнилось гордостью за сына, но об этом никто не знал. И я подумала в ту минуту о том, что материнское счастье идет от народного счастья, как стебель от корней. Нет материнской судьбы без народной судьбы. Я и сейчас не отрекусь от этой своей веры, что бы ни пережила, как бы круто жизнь ни обошлась со мной. Народ жив, потому и я жива...

В тот вечер Суванкул долго не появлялся, некогда было ему. Стемнелось. Молодежь жгла костры на обрыве у реки, песни пела. И среди многих голосов я узнавала голос своего Джайнака... Он там у них гармонистом был, заводилой.

Слушала я знакомый голос сына и говорила ему про себя: «Пой, сынок, пой, пока молод. Песня очищает человека, сблизает людей. А потом услышишь когда-нибудь эту песню и будешь вспоминать о тех, кто вместе с тобой пел ее в этот летний вечер». И снова я стала думать о своих детях — такова, наверно, природа материнская. Думала я о том, что Касым, слава богу, стал уже самостоятельным человеком. Весной они с Алиман отделятся, дом уже начали строить, хозяйством своим обзаведутся. А там и внуки пойдут. За Касыма я не беспокоилась: работник он вышел в отца, покоя не знал. Темно уже было в тот час, но он еще кружил на комбайне — осталось немного закончить. Трактор и комбайн при фарах шли. И Алиман там с ним. В страдное время минутой вместе побыть — и то дорого.

Вспомнила я Маселбека и затосковала. На прошлой неделе прислал он письмо. Писал, что нынешним летом не удастся ему приехать домой на каникулы. Отправили его с детьми куда-то на озеро Иссык-Куль в пионерлагерь на практику. Ну что ж, ничего не поделаешь, раз он такую работу себе выбрал — значит, по душе. Где бы ни был, главное, чтоб здоров был, рассуждала я.

Суванкул вернулся поздно. Он наспех поел, и мы с ним поехали домой. Утром надо было по хозяйству управиться. На вечер приглядеть за скотиной я попросила соседку нашу Айшу. Она, бедняжка, часто болела. День поработает в колхозе, а два дома. Болезнь у нее была женская, поясницу ломило, потому и осталась с одним сынишкой — Бекташем.

Когда мы ехали домой, уже стояла ночь. Дул ветерок. Лунный свет качался на колосьях. Стремена задевали метелки созревшего курая, и в воздух бесшумно поднималась терпкая, теплая пыльца. По запаху слышно было — цвел донник. Что-то очень знакомое было в этой ночи. На душе защемило. Я сидела на коне сзади Суванкула, на седельной подушке. Он всегда предлагал мне садиться впереди, но я любила так ездить, ухватившись за его ремень. И то, что он ехал в седле усталый, неразговорчивый — намотался ведь за день, и то, что он временами клевал носом, а потом вздрагивал и ударял каблуками коня, — все это было мне дорого. Я смотрела на его сутулившуюся спину и, прислонив голову, думала, жалела: «Стареем мы понемногу, Суван. Ну что ж, время-то идет. Но недаром, кажется, жизнь проживаем. Это самое главное. А ведь, сдастся, совсем недавно мы были мо-

лодыми. Как быстро пролетают годы. И все-таки жить еще интересно. Нет, рано нам сдаваться. Дел еще много. Хочется долго жить с тобой...»

И я распрямилась, подняла голову, глянула на небо, и в груди что-то дрогнуло: высоко среди ясных звезд, через весь небосклон, как тогда, широкой серебристой полосой простиралась Дорога Соломщика. И мне опять почудилось, что и в самом деле кто-то только что прошел там с огромной охапкой соломы нового урожая и растряс ее по пути. Там, наверху, золотистые соломинки, ость и мякина шевельнулись, будто от прикосновения ветра. Можно было даже разглядеть просыпавшиеся вместе с мякиной зерна. «Боже мой!» — подивилась я, и разом мне вспомнилось: и та первая ночь, и наша любовь, и молодость, и тот могучий хлебоборо, о котором я грезила. Значит, все сбылось, все, о чем мы мечтали! Да, земля и вода стали нашими, мы пахали, севали, молотили свой хлеб — значит, исполнилось то, о чем мы думали в первую ночь. Конечно, не знали мы, что придут новые времена, что наступит новая жизнь, но земная мечта простого человека, выходит, совпала с желанием времени, желанием добра и справедливости. Охваченная этими мыслями, я сидела не шелохнувшись и молчала. Суванкул оглянулся и сказал:

— Ты что, уснула, Толгонай? Устала. Ну, ничего, сейчас доберемся до дому. Я тоже намаялся. — Потом он помолчал и спросил: — А может, на новую улицу завернем?

— Завернем, — согласилась я.

Новая улица строилась на пустыре, что примыкал к окраине аила. Улицы-то самой еще не было. Весной только усадьбы нарезали для молодых. Кое-где стены уже стояли. Касым и Алиман тоже здесь усадьбу получили. Вот нам и захотелось взглянуть по пути, что там у них делается. Днем-то в уборочное время не всегда бывает свободная минута отлучиться по своим делам. Касым, Алиман и Джайнак еще с весны кирпичей саманных наделали, теперь они просыхали, сложенные в штабеля. Канавы прокопали под фундамент да на прошлой неделе навозили с реки бутового камня. Хорошо, что успели до разлива. Камень лежал сваленный посреди двора большой кучей. Суванкул остался доволен работой молодых.

— Ну что ж, начало есть. Камня вполне хватит, еще и останется, — сказал Суванкул. — Закончим уборку — стены поставим, крышу наведем, а остальное по мелочи потом до-



кончим весной. До зимы все равно не управиться. Как ты думаешь, правильно я говорю, Толгонай?

— Правильно, — ответила я, — главное — стены под крышу подвести, а остальное успеется. — И, вспомнив о Джайнаке, я засмеялась. — Вот Джайнак наш все не понимает, говорит, на собрании они постановление записали: называть новую улицу Комсомольской. А Алиман подшучивает над ним. «Ты, — говорит, — Джайнак, как Насреддин, ребенок не родился еще, а имя даешь. Ты, мол, женись сначала, дом поставь, улицу построй, тогда и придумывай название». А Джайнак спорит. «Ты, — говорит, — ничего не понимаешь».

Суванкул тогда покачал головой, усмехнулся:

— Верно, такой уж он нетерпеливый уродился. А название улицы он таки правильно придумал. Ведь это стройки новых, молодых хозяев. Растем, прибавляется народ из года в год. В аиле уже не вмещаемся, новые улицы застраиваем. Это хорошо. Ну а когда улица станет, то посмотришь, сын твой будет прав...

В тот час, когда мы вели этот разговор, мы не подозревали, что ночь эта была самая проклятая из всех ночей...

### 3

— Подними голову, Толгонай, возьми себя в руки.

— Хорошо. Что же мне остается делать? Постараюсь. Ты помнишь, земля родная, тот день?

— Помню... Я ничего не забываю, Толгонай. С тех пор как стоит мир, следы всех веков во мне, Толгонай. Не вся история в книгах, не вся история в людской памяти — она вся во мне. И жизнь твоя, Толгонай, тоже во мне, в моем сердце. Я слышу тебя, Толгонай. Сегодня твой день.

### 4

На другое утро солнце еще не всходило, мы приступили к работе. В тот день мы начали жать новую полосу хлеба на самом обрыве у реки. Полоска была такая, что комбайну не развернуться, а колос уже сухой стоял — с краю всегда раньше поспевают. Только мы развернулись цепочкой, сжали снопа по два, как вдруг на той стороне показался скачущий всадник. Он выскочил из-за крайних дворов Заречья и, оставляя за собой хвост пыли, поскакал напрямиком, через кустарники, через камыши, точно за ним кто гнался. Конь вы-

нес его на прибрежный галечник. Но он, не сворачивая, погнался коня прямо по камням к реке. Мы удивленно разогнули спины: что за нужда гонит этого человека, почему он не сворачивает к мосту, который был ниже верстах в двух по течению? Всадник оказался русским парнем. Он с ходу понукал рыжего жеребца к воде, и мы все замерли: что он, ищет гибели? Разве можно в такое время шутить с рекой: при разливе не то что коня — верблюда унесет, костей не соберешь.

— Э-эй, куда ты, остановись, остановись! — закричали мы.

Он что-то кричал нам, размахивая руками, но из-за гула реки ничего не разобрать, слышно было только протяжное:

— ...а-а-а-а...

Мы ничего не поняли. И тогда он вздыбил рыжего жеребца и, нахлестывая плетью, бросил его в стремнину. Вода сразу подхватила всадника. Среди бурунов только мелькала голова коня с прижатыми ушами и оскаленной мордой. Всадник обеими руками уцепился за гриву. Фуражку снесло с его головы, она закружилась в волнах. Мы метались по обрыву. Вода быстро уносила всадника, но он, приноровясь к течению, наискось пробивался к берегу. Его снесло далеко, и вышел он на берег ниже мельницы. Все мы облегченно вздохнули. Одни восхитились смелостью всадника, хвалили его: «Молодец!» Кто-то сказал, что неспроста это, надо бы разузнать, а другой недовольно вставил:

— Пьяный дурак какой-то куражится, а вы будете бегать следом!

На том успокоились. Надо было работать. «Оно и правда, — подумала я, — трезвый человек не стал бы так рисковать собой».

Когда комбайн Касыма вдруг сразу заглох и остановился, — а он в тот день обкашивал загон возле мельницы, — я не придавала этому значения: ремень приводной соскочил или цепь порвалась, мало ли какая поломка могла быть на работе. Алиман жала пшеницу недалеко от меня, и вдруг она вскрикнула пронзительным, страшным голосом:

— Мама!

Я встрепенулась. Она стояла бледная-бледная, выронив серп из руки.

— Что с тобой? Змея, что ли? — бросилась я к ней.

Она молчала. Я глянула в ту сторону, куда смотрели ее широко раскрытые, испуганные глаза, и обмерла. Возле комбайна раздавались какие-то крики, со всех сторон пря-

мо по пшенице бежали люди, скакали конные, а иные, стоя в рост на бричках, нахлестывали кнутами коней.

— Что-то случилось, мама! — закричала Алиман и бросилась бежать.

Чьи-то слова резанули ухо:

— Под нож кто-то попал! Или в барабан закрутило! Бежим!

И все жнецы кинулись вслед за Алиман.

«Сохрани, боже! Сохрани, боже!» — взмолилась я, вздевая на бегу руки, прыгая через арык, с маху упала, вскочила и снова пустилась бежать. Ох как я бежала тогда по пшенице! Крикнуть хочу, чтобы подождала меня, но не могу, голос пропал.

Когда я добежала наконец, то вокруг комбайна шумела толпа. Я ничего не расслышала, не разобрала. Рванулась через толпу: «Стойте! Отойдите!» — люди расступились, а когда я увидела подле комбайна Касыма и Алиман, стоящих рядом, я потянулась к сыну, как незрячая, с дрожащими руками. Касым шагнул навстречу, подхватил меня.

— Война, мама! — услышала я его голос будто издали.

Я глянула на него, словно не понимала, что это за слово такое.

— Война? Ты говоришь, война? — переспросила я.

— Да, мама, война началась, — ответил он.

А до меня все еще неясно доходило, что таилось за этим словом.

— Как война? Почему война? Ты говоришь, война? — повторяла я это странное, это страшное слово и потом вдруг ужаснулась и тихо заплакала от пережитого страха и этой неожиданной вести.

Слезы потекли по моему лицу, а женщины, глядя на меня, заголосили, запричитали.

— Тише! А ну, замолчите! — раздался в толпе чей-то мужской голос.

Все разом примолкли, словно ожидая, что он, человек этот, скажет что-то такое, что, мол, это неправда. Но он ничего не сказал. И никто ничего не сказал. Только стало так тихо в степи, что явственно донесся с реки гроыхающий гул воды. Кто-то шумно вздохнул, шевельнулся. Все опять насторожились, но никто не проронил ни слова. И опять стало так тихо в степи, что слышна стала жара, как тонкий писк комара над ухом. И тогда, оглядывая стоящих вокруг людей, Касым негромко пробормотал, словно бы для себя:

— Теперь надо быстрее управляться с хлебом, а не то под снегом останется. — Он помолчал и вдруг, резко вскинув голову, приказал штурвальному: — Что стоишь? Заводи мотор! А вы все что смотрите? Не успеем с уборкой, вам же придется туго! Давай за работу!..

Народ зашевелился. И только тогда я заметила русского парня из Заречья. Он стоял в мокрой с головы до ног одежде, держа под уздцы потемневшего жеребца. Когда люди задвигались, нарочный словно очнулся, медленно поднял поникшую русую голову и стал подтягивать подпруги седла. И я увидела, что он был совсем молодецкий парень, ровесник моему Джайнаку, только рослый, широкий в плечах. Мокрые пряди волос прилипли ко лбу, на губах и лице — свежие ссадины, а глаза его, совсем еще мальчишеские, в тот час смотрели с таким суровым страданием, что я поняла: только что он оставил юность, только что возмужал, сегодня, в одно утро. Он тяжело вздохнул и, садясь в седло, сказал одному из наших айльских ребят:

— Слушай, друг, ты скачи сейчас, разыщи председателя, бригадиров, передай, чтоб немедленно отправлялись в райком. А я поеду, мне еще в два колхоза. — С этими словами он сел на коня и тронул поводья.

Но тот, к кому он обращался, остановил коня:

— Пстой, шапку-то у тебя унесло. На, надень мою. Жарко сегодня.

Мы долго смотрели вслед юному гонцу и слушали, как тревожно рокотала сухая дорога под копытами рыжего, уносящегося птицей жеребца. Пыль вскоре скрыла всадника. А мы еще стояли у дороги, каждый, видимо, думая о чем-то своем, и, когда разом взревели моторы комбайна и трактора, люди вздрогнули и посмотрели друг другу в лица.

С этой минуты началась новая жизнь — жизнь войны...

Мы не слышали грохота сражений, но слышали наши сердца и крики людей. Сколько жила я на свете, не знала такой палящей жары, такого зноя. Плюнешь на камень — и слюна кипит. А хлеба созрели сразу, за три-четыре дня: сплошь стояли сухие и желтые, простирались под самый поллог неба и ждали жатвы. Какое богатство было! И тяжело мне было смотреть, сколько добра пропадало в спешке. Сколько было потоптано, растеряно, растрясено по дорогам. Мы так спешили, что не успевали вязать снопы, кидали пшеницу вилами в мажары — и быстрее за молотилку, на тока, а колосья сыпались и сыпались по пути. Но и это лад-

но, еще тяжелее было смотреть на людей. Каждый день уходили по повесткам в армию, а те, что оставались, работали. И в полуденную жару, и в душные суховейные ночи — на жатве, на молотье, на обозах все работали, не зная сна, не покладая рук. А работы прибавлялось и прибавлялось, потому что мужчин оставалось все меньше и меньше. Касым, бедный сын мой, неужто думал он сам одолеть то, чего было невпроворот: жатва безнадежно затягивалась, а он, как одержимый, гонял свой комбайн по полю. И комбайн его не смолкал ни днем ни ночью, снимал хлеб полосу за полосой, метался в тучах раскаленной пыли с загона на загон. Все эти дни Касым не сходил с комбайна, не отходил от штурвала. Днями стоял он на мостике под жгучим ветром, как коршун, всматривался в мутное зарево, за которым скрывались еще не убранные хлеба. Жутко и жалко мне было смотреть на сына, на его черное лицо, на его ввалившиеся, заросшие бородой щеки. Сердце обливалось кровью. «Ой, пропадет он, свалится на солнце», — думала я, но сказать не решалась. Знала я по злому блеску в его глазах, что не отступится он, до последнего часа будет стоять на жатве.

И час тот пришел. Как-то побежала Алиман к комбайну и вернулась оттуда с поникшей головой.

— Повестку прислали ему, — тихо сказала она.

— Когда?

— Только что, с нарочным сельсовета.

Я знала, что рано или поздно придет черед Касыму идти в армию, как и многим другим. И все же, когда услышала я эту весть, ноги мои подогнулись. И такая боль заняла в намаявшихся руках, что я выронила серп и сама села на землю.

— Что ж он там делает, собираться надо, — проговорила я, с трудом совладав с дрожащими губами.

— К вечеру, говорит, приду. Я пойду, мама, а вы скажите отцу. И Джайнака не видно сегодня. Где он пропадает?..

— Иди, Алиман, иди. Да тесто поставь. Я подойду скоро, — сказала я ей.

А сама как сидела, так и осталась сидеть на жнивье. Долго сидела так. Сил не было поднять с земли платок, упавший с головы. И вот тогда, смотрю я, муравьи цепочкой бегут по тропке. Они тоже трудились, тащили солому, зерна и не подозревали, что рядом сидел человек со своим горем, тоже труженик, во всяком случае, не меньше, чем они, труженик, который завидовал в ту минуту даже им, муравьям,

этим крошечным работягам. Они могли спокойно делать свое дело. Если бы не война, разве стала бы я завидовать муравьиной жизни, стыдно говорить...

Тем временем Джайнак прикатил на своей бричке. Он в те дни на комсомольском обозе работал по вывозке хлеба на станцию. Видно, узнал о повестке брата и приехал за мной. Джайнак соскочил с брочки, поднял платок и накиннул мне на голову.

— Поедем, мама, домой, — сказал он и помог мне встать на ноги.

И мы молча поехали. За последние дни Джайнак неузнаваемо изменился, посерьезнел. Чем-то он очень напоминал мне того русского парня, нарочного. Такая же суровая душа поселилась в его детских глазах. В эти дни он также распростился с юностью. Многие тогда распростились с ней... Думая о Джайнаке, вспомнила, что давно уже нет вестей от Маселбека. «Что там с ним? В армию взяли или что? Почему не пишет, почему не может прислать хоть бы коротенькую весточку? Знать, отвык от дома, позабыл отца-мать, зачерствел там, в городе. Да и какая сейчас учеба, лучше бы уж приезжал домой, что там теперь делать», — уныло думала я, сидя на бричке, и потом спросила у Джайнака:

— Джайнак, ты вот едешь на станцию, как там, не слышать случайно, скоро закончится война?

— Нет, мама, не скоро, — ответил тогда Джайнак. — Плохи сейчас наши дела. Немец все гонит и гонит. Вот если бы нашим удалось где-нибудь удержаться да обломать им разок бока, тогда мы пошли бы. Думаю, скоро это случится. — Он замолчал, погоняя коней, потом оглянулся и сказал мне: — А ты, мама, боишься? Очень, да? А ты не думай, не надо, мама, тебе думать, не беспокойся. Все будет хорошо, вот посмотришь.

Эх, глупый мой мальчишка, это он решил успокоить меня так, пожалел. Да разве же можно было не думать? Закрой я глаза, заткни уши — и все равно думать не перестала бы.

Приехала домой, а там Алиман сидит, плачет: тесто еще не замесила. Зло взяло меня, хотела было пристыдить ее: «Что, мол, ты, лучше других, что ли, все идут, не один твой муж. Разнюнилась, руки опустила. Нельзя так. Как же мы будем жить дальше?» Но раздумала, не стала выговаривать. Пожалела молодость ее. А может, напрасно, может, надо было сразу с первых дней опалить ей душу, чтобы потом ей легче было. Не знаю, только я тогда ничего не сказала.

Касым пришел к вечеру, почти на закате солнца. Как только он появился в воротах, Алиман бросила подтапливать очаг, в слезах кинулась к нему, повисла на шее:

— Не останусь, не останусь я без тебя, умру!

Касым пришел прямо с комбайна, как был, в пыли, в грязи, в мазуте. Он снял с плеч руки жены и сказал:

— Постой, Алиман. Грязный я очень. Ты бы дала мне мыла, полотенце, пойду искупаюсь в реке.

Алиман обернулась, глянула на меня, я поняла. Сунула ей ведро порожнее:

— Принеси заодно воды.

В тот вечер они вернулись с реки поздно, луна уже на три четверти поднялась. Дома я управлялась сама да Джайнак помогал. А к полуночи и Суванкул заявился. Я-то все ждала, думала, куда он запропастился. А он, оказывается, еще днем поскакал в горы, иноходца саврасого привел из табуна. Мы его еще жеребенком покупали для Касыма, когда он трактористом начал работать. Добрый был иноходец, резвый на побегу, с крепкими, гулками копытами, в белых чулках задние ноги. На весь аил был известный, девушки в песнях пели:

...Как заслышу иноходца по дороге,  
Выбегаю глянуть со двора...

Отец решил, видно, чтобы сын поездил на своем саврасом иноходце хоть день-два на прощанье.

Рано утром мы все выехали из аила в военкомат. Мы с Алиман на бричке Джайнака, а Касым с отцом на своих конях. То было время самых больших мобилизаций. Народу было еще много. Как глянула я на шоссе на дорогу — черным-черно, один конец в Большом ущелье, а другого не видно. Понаехало народу со всех поселков на конях, на быках. А в райцентре двинуться некуда от людей, от бричек. И детишки здесь, и старики, и старухи. И все возле своих толкуются, ни на шаг не отстают. Кто плачет, а кто уже и подвыпил. Но недаром говорится: народ — море, в нем есть глубины и мели. Так же и здесь, в этих гомонящих проводах на войну, были твердые, ясные джигиты, которые держались, говорили к слову и даже веселили народ, пели и плясали под гармонь. Киргизские и русские песни сменяли друг друга, «Катюшу» пели все. Вот тогда-то я и узнала эту песню.

Мобилизованные не вместились в широком дворе военкомата, их построили рядами посреди главной улицы села и

стали выкликать каждого по фамилии и имени. Народ сразу затих, затаил дыхание. Глянула я на тех, кто уходил на войну, — горячая волна подкатила к горлу. Все они были как на подбор молодые, здоровые джигиты. Им бы только жить да жить, да работать. Каждый раз, когда выкликали кого-нибудь по списку, он отвечал «я» и бросал взгляд в нашу сторону. Я невольно вся вздрогнула, когда услышала «Суванкулов Касым», и новая волна горячей боли застлала мне глаза. «Я», — ответил Касым. А Алиман крепко стиснула мою руку. «Мама», — прошептала она. Что ж я могла поделаться, понимала я: трудно, страшно было ей расставаться, но кто может стоять в стороне от народа, да еще в лихие дни. Эх, Алиман моя, Алиман, и она понимала, что это нужда военная, нужда всей страны, но не знала я в жизни женщины, которая бы так любила своего мужа, как она.

В тот день мы вернулись в аил, узнали, что отправка будет через сутки. Касым уговорил нас уехать домой: незачем, мол, здесь томиться, забегу по дороге попрощаться. Благо, колхоз наш лежит у большака. Мы оставили для Алиман лошадь Суванкула, а сами поехали вместе с другими на телеге. Джайнак тоже оставался в районе, он должен был везти на своей бричке мобилизованных на станцию.

Ночью, войдя в опустевший дом, я дала себе волю, зашлась слезами. Суванкул вскипятил чай, налил мне погуще, заставил выпить и потом сказал, сидя рядом:

— Кто мы были с тобой, Толгонай? Вот с этим народом мы стали людьми. Так давай поровну будем делить с ним все — добро и беды. Когда хорошо было, все были довольны, а теперь, выходит, каждый будет думать только о себе да на судьбу свою плакаться? Нет, так будет нечестно. Завтра держи себя в руках. Если Алиман убивается — так это дело другое, она не видела в жизни того, что мы видели. А ты — мать. Запомни это. А потом, учти, если война подзатянется, то и я уйду, и у Маселбека годы выходят, и его могут призвать. Если потребуется, все уйдем. Так что, Толгонай, готовь себя ко всему, привыкай.

На другой день после полудня началась отправка. Касым и Алиман опередили колонну, прискакали на рысях. Касыму разрешили заехать домой попрощаться. Глаза Алиман опухли, как волдыри, видно, всю дорогу плакала. Касым старался держаться, крепился, но ему было нелегко. Вот уж не знаю, что заставило Касыма придумать такое: то ли он побоялся за Алиман, решил как-то облегчить ей расставание, то ли и



вправду было сказано так, но он, как только сошел с коня, сразу попросил нас не ехать на станцию. Касым сказал, что, может быть, еще вернется домой, потому что трактористов и комбайнеров решили пока не призывать до конца уборки. И если приказ поспеет, то их могут вернуть со станции. Теперь-то я понимаю, что он пожалел Алимана, пожалел нас. До станции почти день езды, а каково возвращаться назад — ведь дорога станет нескончаемой, слез не хватит. А тогда я поверила: говорят, надежда живет в человеке до смерти. И когда мы вышли провожать его к большаку, я уже сомневалась.

По дороге с Касымом прощались все, кто работал на уборке. Прибежали жнецы, возчики, молотильщики с гумна, и комбайн оказался неподалеку. Помощники Касыма остановили комбайн поблизости и тоже прибежали проститься.

Говорят, кузнец, уходя на войну, прощается с наковальной и молотом. А Касым мой был мастером, кузнецом своего дела. Когда комбайн остановился, Касым, разговаривая с односельчанами, глянул на дорогу. В тот момент растянувшаяся колонна мобилизованных с обозом, с конями, с красным знаменем во главе только показывалась на повороте.

— На, отец, поддержи! — Касым отдал поводья саврасого Суванкулу, а сам направился к комбайну. Он обошел его, оглядел со всех сторон. И потом вдруг взбежал на мостик. — Давай, Эшенкул, гони! Гони, как тогда! — крикнул он трактористу.

Моторы, что чуть слышно работали на пол-оборотах, зарокотали, взревели, комбайн загрохотал, залязгал цепями и, выбрасывая на молотилки соломенный буран, пошел захлестывать пшеницу мотовилами. А Касым подставил лицо горячему ветру, смеялся, расправляя плечи, и, казалось, обо всем забыл. Они с трактористом о чем-то перекрикивались, кивали головами, развернулись в конце загона и снова пошли. Комбайн летел по полю, как степная птица. И мы все забыли на минуту о войне. Люди стояли со счастливыми глазами, но больше всех горда была Алимана. Она тихо шла навстречу комбайну и тихо смеялась. Комбайн остановился. Мы снова помрачнели. А Бекташ — сынишка соседки нашей Айши, ему было тогда лет тринадцать, он в то лето соломошником работал на комбайне — кинулся к Касыму и стал целовать его, плакать. Я губы себе искусала, хотела закричать в голос, но, помня наказ Суванкула, не посмела. Касым поднял на руки Бекташа, поцеловал его, поставил парнишку к штурвалу и медленно сошел по лесенке вниз. Мы его

обступили. Здесь он простился с помощниками своими, со штурвальным и трактористом. Надо было поторапливаться. Колонна на большаке поравнялась уже с нами.

Вот так мы провожали Касыма. А когда настала минута садиться ему на коня, то Алиман, бедная Алиман, не посмотрела ни на старших, ни на малых — крикнула и замертво повисла у него на плечах. А сама без кровинки в лице, только глаза горят. Мы ее силком оторвали. Но она вырвалась и снова бросилась к мужу. И вот так каждый раз, как дитя малое, тащила Касыма за руку, не давала ему ногу вдеть в стремя. Молила его:

— Постой! Минутку! Еще одну минутку!

Касым целовал ее, уговаривал:

— Да не плачь ты так, Алиман! Вот увидишь, я завтра же вернусь со станции. Поверь мне!

И тогда Суванкул сказал снохе:

— Ты иди, Алиман, проводи его сама до дороги. А мы простимся здесь. Не будем задерживать. — Суванкул взял сына за руку и тихо сказал: — Посмотри мне в глаза.

Они посмотрели друг другу в глаза.

— Ты меня понял? — спросил отец.

— Да, отец, понял, — ответил сын.

— Ну, отправляйся с богом! — Суванкул сел на коня и, не оглядываясь, поскакал прочь.

Прощаясь со мной, Касым сказал:

— Если будет письмо от Маселбека, пришлите его адрес.

Касым и Алиман пошли к дороге, ведя на поводу саврасого иноходца. Я не спускала с них глаз. Колонна на большаке уже уходила. Сначала Алиман бежала, ухватившись за стремя, потом Касым нагнулся с седла, поцеловал ее в последний раз и пустил саврасого большой иноходью. А Алиман все бежала и бежала за пылью копыт. Я пошла следом, привела ее домой.

На другой день к вечеру со станции вернулся Джайнак, расседланный иноходец был привязан к заднику брички.

## 5

Вдали шла битва, лилась кровь, а нашей битвой была работа. Правильно предупреждал Касым: сколько мы ни старались, а последние хлеба снег прихватил на корню и на гумнах. Картошка кое-где осталась под снегом, не успели выкопать. Мужчины уходили один за другим, изо дня в день

все на фронт. А мы с утра до вечера в колхозе, разговоры только о войне — как там да что там, и самым желанным человеком в домах стал почтальон.

После того как проводили Касыма, неделю спустя пришло письмо от Маселбека. В первом письме он писал, что его с товарищами по учебе призвали в армию, местопребывание пока там же, в городе. Он просил не печалиться, что не пришлось увидеться, попрощаться, — кто мог знать, что так случится, жальте об этом не надо, самое главное — вернуться с победой. Второе письмо он прислал уже из Новосибирска. Писал, что учится там в командирском училище, и фотокарточку свою прислал. Эта карточка и сейчас висит под стеклом, потускнела уже. Красивая фотография: военная форма ему идет, густые волосы зачесаны назад, а глаза смотрят чуточку печально, задумчиво. Таким он мне и снится до сих пор... Алиман только раз видела Маселбека, когда он приезжал на денек на свадьбу брата.

— Смотри, мама, а Маселбек наш красивый парень, оказывается, — говорила она, разглядывая фотографию. — В тот раз я его и не разглядела толком из-за занавесок, неудобно мне было, невесте, плять оттуда глаза, постеснялась. Вот хорошо было бы, если бы он вернулся и нашел себе девушку, такую же образованную, как он сам, и красивую. Правда, хорошо было бы, да, мама?

Я соглашалась и сама начинала мечтать об этом дне.

До середины зимы более или менее спокойно было у меня на душе, письма получала от сыновей и довольствовалась этим. Но тут пришло письмо от Касыма, что направляются они в сторону фронта. И затаился в душе страх, сердце замирать стало. А тут еще Суванкула начали то и дело вызывать по повесткам в военкомат. Что ни день — то на комиссию, то на учет, то на переучет. Он прямо извелся, разрываясь между поездками в военкомат и бригадирскими делами в колхозе. Я почему-то не думала, что Суванкула возьмут в армию: ведь без бригадира в колхозе все равно что без рук. Однако призвали и его. Узнала я об этом на току, где мы домолачивали прихваченный снегом хлеб. Я как узнала — уткнула вилы в солому, прислонилась лицом к холодному черенку и стояла так, с мыслями не могла собраться. Как быть, как жить дальше? Двое сыновей уже там, теперь муж уходит туда же, на фронт...

Тут и сам Суванкул прискакал, молча слез с коня, подошел ко мне и сказал:

— Пошли домой, собираться надо.

Я ехала на лошади, а он шел рядом, сказал, что разговаривать на ходу будет удобнее. Но разговор наш не клеился, больше молчали. Не оттого, что не о чем было, а оттого, что тяжело было, сковывалось все внутри, слово выдавить страшно. Так мы и двигались — я на коне, а он пешком. Мутные, серые тучи застилали небо. С Желтой равнины тянуло сиверком, поземка пошевеливалась, кураи посвистывали к бурану. Я глянула по сторонам — поле лежало унылое и пустое. Без людей, без звуков, без движения, холодное и сумрачное.

Суванкул шел, курил сигарку за сигаркой. Потом взял меня за руку.

— Замерзла? — спросил он.

Я ничего не сказала. И он, собираясь что-то сказать, промолчал. Может, хотел поделиться думкой: «Вот, мол, уйду вслед за сыновьями. Как оно там будет, суждено ли вернуться домой или же нет... Может, нынче навеки распрощаемся. Если так, то что ж, столько лет прожили мы в дружбе и согласии. Если что, простим друг другу. Неизвестно ведь, как обернется судьба». Хотел ли он сказать эти слова или другие, кто его знает, только тогда, глядя мне в лицо, он стоял молча, прикусив губы. Мне бросилось в глаза, что в бурых усах его начал пробиваться седой волос. Раньше я этого как-то не замечала.

Вспомнила я, как мы с Суванкулом встретились на этом поле молодыми, как двадцать два года вместе трудились здесь, проливали пот, детей растили, хлеб растили, и вся наша жизнь в мгновение предстала перед глазами. Не думала — не гадала я никогда, что придется нам так разлучаться, быть может, навсегда. Вспомнила, как мы летом, в первый день жатвы, ночью ехали на коне по этой же дороге. Увидела, что новая улица на краю аила осталась заброшенной и недостроенной, увидела на усадьбе Алимана и Касыма кучу камней и кирпичей, упала на гриву коня и зарыдала. Долго плакала я. Суванкул молча терпеливо ждал, а потом сказал:

— Ты, Толгон, выплачь сразу все, что на душе, тут ничего нет, но отныне при людях не показывай слез. Ты теперь остаешься не только хозяйкой дома, не только головой над Алиманом и Джайнаком, тебе придется и бригадиром остаться вместо меня. Больше никому.

Я еще пуше залилась слезами:

— На кой черт мне твое бригадирство? Как ты можешь говорить об этом в такой час? Не нужно мне ничего. Слышать даже не хочу!

Но вечером меня вызвали в контору правления колхоза. Здесь были наш новый председатель — раненый фронтовик Усенбай, Суванкул и еще несколько стариков, айльных аксакалов. Усенбай сразу сказал мне:

— Что ни говори, тетушка Толгонай, а придется по-мужски, крепко подпоясаться и сесть на бригадирского коня. Землю, и воду, и народ нашего айла никто лучше вас не знает. Мы вам верим еще и потому, что вам верит наш лучший бригадир, которого мы теперь, стиснув зубы, провожаем на фронт. Ничего не подделаешь. С завтрашнего дня беритесь за работу, тетушка Толгонай.

Аксакалы тоже стали советовать. В общем, уговорили меня, согласилась я быть бригадиром. Да и как было не согласиться? Разве я не понимала, какое время мы переживали? Правильно я поступила, хотя бы даже потому, что это была последняя воля моего Суванкула. В ту ночь он до утра не спал, все наказывал мне давал. Начинай готовиться к весне, тягло поставь на отдых, ремонтируй плуги, бороны, брички... Присмотри за многодетными семьями, за стариками... То делай так, это этак... Эх, беспокойный человек мой, милый муж мой, друг сердечный...

И до самого утра не утихала на дворе метель, ветер гудел в трубе.

Суванкула мы провожали тоже на большаке. Он сел в бричку Джайнака вместе с такими же пожилыми людьми, и они укатили по бурану, скрылись в снежной мгле. Ох как холодно было, лютый ветер лицо обжигал! Я шла медленно, часто оглядывалась и всхлипывала, плакала.

С того дня, как сказал наш председатель Усенбай, туго подпоясалась я, села на коня и вступила в свои обязанности бригадира. И сейчас эта работа не из легких, не каждому по плечу, а тогда и подавно — мука одна. Здоровых мужчин не осталось — больные да хромые, а остальные работники — женщины, девушки, дети, старики. Все, что добывали, отдавали фронту. А в хозяйстве телеги без колес, упряжь — обрывки веревочные, хомуты разбитые, в кузнице и угля нет. Стали мы жечь джерганак колючий по суходолу в поймище, тем и не давали гаснуть горну. А житье не прежнее, голод застучался в дома. И все же мы делали все, чтобы не оставилось хозяйство колхозное, тянули его, сколько хватало

сил. Как вспомню теперь: ради дела к кому с добрым словом подойдешь, к кому с выговором, а то чуть и не за волосы таскались, всякое бывало, чего я только не натерпелась тогда... А все равно и сейчас в ноги кланяюсь народу за то, что в те дни народ не разбрелся, остался народом. Тогдашние женщины — теперь старухи, дети — давно отцы и матери семейств, верно, они и забыли уже о тех днях, а я всякий раз, как увижу их, вспоминаю, какими они были тогда. Встают они перед глазами такими, какими были, — голые и голодные. Как они работали тогда в колхозе, как они ждали победы, как плакали и как мужали! Не знают они, что бессмертные дела совершили. И никогда, что бы ни приходилось, как бы ни сгибались плечи мои, никогда не пожалею я, что работала бригадиром. С самого рассвета я была уже на ногах, на колхозном дворе, потом целый день в седле, то туда надо, то сюда, то в степь, то в горы, с вечера до поздней ночи в конторе — вот так и не замечала, как пролетали дни. Быть может, меня это и спасло? И пусть иной раз с досады, с горя ругали меня, хватали за горло, бросали работу — не в обиду я. Нет, в таких случаях я больше наваливала работу на Джайнака и Алимана, днем и ночью не было им покоя, и тоже не каюсь, что гоняла их безжалостно. А не то тягостные мысли, страх задавили бы нас — ведь три человека из одной семьи на войне, разве можно было не думать? От Касыма второй месяц не было ни слуху ни духу. Мы с Алиманом прячем глаза, чтобы не заговорить о том, что и без того страшно, — о Касыме. Если разговаривали, то о том о сем, о работе, о хозяйстве, по дому. Как дети, старались не напоминать. В один из зимних дней с утра побежала я в кузницу помочь. Там перековывали наших рабочих коней. Смотрю, председатель наш Усенбай летит на рысях, а в руке у него бумажка небольшая, с ладонь. Телеграмма, говорит, вам срочная. У меня дух перехватило. Слышу только, как в кузнице молоты стучат по наковальне, точно бьют меня по груди. Видно, лица на мне не было.

— Да вы что, тетушка Толгонай! — вскричал председатель. — Это же телеграмма от Маселбека, из Новосибирска. Да подойдите же, возьмите, не бойтесь! — И, нагнувшись с седла, отдал мне эту бумажку. — Вы, — говорит, — немедленно отправляйтесь на станцию, сын ваш будет проезжать, хочет увидаться, просит встретить. Я там велел заложить вам бричку, сена, овса лошадям велел прихватить. Не стойте, собирайтесь в дорогу.

И такая радость обуяла меня! Засуетилась я, забегала по кузнице и не знаю, что делать. Кузнецы прогнали меня.

— Сами, — говорят, — управимся, бригадир, ездай быстреей на станцию, чтобы не опоздать.

И побежала я домой. Сама толком не понимаю, что к чему. Знаю только одно: что Маселбек просит приехать на станцию, что Маселбек просит увидеться. Бегу по улице, жарко от мороза, пот прошиб. Бегу и сама с собой разговариваю, как ненормальная:

— Что значит просит? Да я, сынок мой, пешком тысячу верст буду бежать к тебе, как на крыльях долечу!

Эх, мать, мать... Не подумала я в тот час, куда же проезжает мой сын, в какую сторону.

Прибежала домой, наспех всякой снеди наделала, мяса наварила, ведь там небось Маселбек не один, а с товарищами, пусть угостит их домашней стряпней. Уложила все это в переметный курджун, и в тот же день мы с Алиман выехали на станцию. Сперва я хотела поехать с Джайнаком. Но он сам отказался.

— Нет, — говорит, — мама, лучше будет, если поедет Алиман, а я дома останусь по хозяйству. Так оно будет вернее.

Потом-то я поняла, правильно поступил мой младший сын. Хоть и мальчишка он был, а неглупый. Он-то, оказывается, догадывался, что творилось на душе Алиман в те дни, как она переживала и страдала. Джайнак сам сбегал на сеной двор, где работала Алиман, сам позвал жену брата. Давно я не видела невестку такой радостной. Засветилась вся, загорелась, захопотала больше, чем я, и стала торопить меня:

— Быстреей, мама, быстреей собирайся. Вот твоя шуба, вот платок пуховый, одевайся, поехали!

И в дороге тоже места себе не находила.

— Погоняй, погоняй быстреей! — торопила она возчика, а иногда выхватывала у него из рук вожжи и сама, гикая, нахлестывала лошадей.

Бричка ходко катила по наезженному насту, лошади шли бодро, мягко гремели, мягко постукивали колеса на смазанных осях. Всю дорогу шел снег — ровный такой, веселый. Стоял легкий морозец. Алиман была в снегу, но она не знала, как это ей идет. Снег густо налипал ей на голову, на полшалок, на выбившиеся пряди волос, на воротник, и ее пшеничная смуглость, с разлившимся на щеках румянцем, ее сияющие, черные быстрые глаза и белые зубы казались еще красивее. В молодости человеку все идет — даже снег.

Алиман не умолкала всю дорогу. То она просила меня молчать, когда сойдет с поезда Маселбек, не говорить о ней: узнает он ее или нет? То собиралась незаметно подойти к Маселбеку сзади и закрыть ему глаза: что скажет он, перепугается, наверно, скажет, кто это еще здесь с шутками глупыми? И сама смеялась, хохотала над своими придумками. Эх, Алиман, Алиман, невестушка моя сердечная! Неужто думала она, что не догадываюсь я, почему она вела себя так. Да она и сама проговорилась. Замолчала вдруг, перестала смеяться и тихо пробормотала:

— Маселбек очень похож на Касыма. Они как близнецы, правда ведь?

Я сделала вид, будто не расслышала. А она помолчала, думая о чем-то своем, и потом снова выхватила вожжи у паренька и снова, гикая, погнала лошадей.

К вечеру мы были уже на станции. Только остановили мы бричку — сразу же побежали с Алиман на пути, словно Маселбек должен тотчас же прибыть. Там никого не было. Мы огляделись по сторонам и приуныли, стоим, как сироты, куда идти, что делать — не знаем. Между рельсами по шпалам бежала поземка. Паровоз ползал взад и вперед, со скрежетом и лязгом страгивал заиндеветшие, примерзшие к месту вагоны. В проводах посвистывал ветер.

Нам не приходилось раньше встречать поезда, мы даже не догадались расспросить кого-нибудь, что к чему — когда поезд надо ждать. Тем временем издали послышался гудок паровоза, показался поезд.

— Идет, мама! — сказала Алиман.

У меня коленки задрожали, страшно стало. Поезд быстро приближался. Вот и паровоз прошел в снежной пыли. Поезд остановился. Мы бросились бежать вдоль состава. В вагонах было битком народу. Женщины, дети, но много и солдат. Кто его знает, кто они были и куда ехали. Мы останавливались возле каждого вагона и спрашивали:

— Здесь Суванкулов Маселбек? Скажите, пожалуйста, нет здесь Суванкулова Маселбека?

Одни отвечали, что не знают, другие молчали, а иные усмехались. Пока мы бегали, поезд тронулся и ушел. Всего-то три минуты, оказывается, остановка на нашей станции. Мы остались стоять, словно птицу выпустили из рук. Тут к нам подошел пожилой русский железнодорожник в черном полушубке, в валенках. Я заметила его, как он выходил навстречу поезду. Он спросил нас, кого мы ожидаем. Мы рас-



сказали ему, дали почитать телеграмму Маселбека. Он надел очки, долго шевелил губами и сказал затем:

— Сын ваш едет воинским эшелоном. А какой эшелон и в какой час он будет проходить по станции — неизвестно. Если не опоздает, то должен сегодня ночью или завтра прибыть. А может быть, эшелон уже прошел. Сколько теперь эшелонов каждый день в ту или другую сторону проносится, иные и не останавливаются даже, напролет идут.

Мы совсем повесили головы.

— Эх, война, война, — вздохнул железнодорожник, — перевернула всех вверх дном! Ну что ж вы будете стоять на ветру? Идите на станцию, там комнатка для ожидающих есть. Сидите там, а когда поезда будут проходить, выходите встречать... Другого выхода нет.

В станционной комнатке было человек десять. Они лежали на скамейках. Жизнь, должно быть, погоняла их по дорогам, по станциям, привыкли, наверно, чувствовали себя здесь как дома. Одни спокойно спали, другие переговаривались, курили, в углу двое пили из жестяных кружек горячий кипяток — обжигались, дули на воду, а один тихо наигрывал на гитаре и что-то тихо напевал себе под нос. Десятилитровая лампа с разбитым нечищеным стеклом помигивала, коптила. Оглядевшись в полутьме, мы с Алиман тоже примостились с краю скамейки. Посидели немного, но тут слышался шум поезда, и мы опрометью кинулись к двери. Ветер во тьме рванул за полы и рукава. Поезд был сплошь из товарных вагонов. Солдат в них не видно было, но мы бежали вдоль поезда и выкрикивали:

— Здесь Суванкулов Маселбек?

— Суванкулов Маселбек здесь?

Никто не откликнулся, никого не было. Когда мы вернулись на станцию, там уже все спали.

— Мама, приляг немного, отдохни, а я постерегу поезд, — сказала Алиман.

Я прислонила голову к плечу невестки, думала, вздремну, но где там. Какой мог быть сон? Да и как можно думать о сне, если не только слухом — сердцем, разумом угадываешь приближение поездов, но даже чувствуешь под ногами за тридевять земель первое неуловимое содрогание пола и сразу спохватываешься. С какой бы стороны поезд ни шел, мы вскакивали, хватали курджун и выбегали на пути.

Эшелоны шли, но ни в одном из них Маселбека не было. В полночь снова заходила земля под ногами, мы спохва-

тились, выскочили наружу. С обоих концов ущелья одновременно послышались раскатистые гудки паровоза, поезда шли сразу с двух сторон. Растерялись мы, заметались и очутились посреди двух колеи. С оглушительно нарастающими гудками сошлись поезда и, не останавливаясь, все быстрее и быстрее набирая бег, пошли напролет. И застучали колеса, заревел ветер, замотал нас в снежном вихре, норовя кинуть под вагоны.

— Мама! — закричала Алиман и, обхватив меня, прижала к столбу фонаря, крепко стиснула в объятиях и не отпустила.

Я всматривалась в пронсящиеся, как молнии, окна: а вдруг увижу Маселбека, а вдруг мой сын там и я узнаю об этом? Рельсы стонали под бегущими колесами, так же как сердце мое, охваченное страхом за сына. Поезда промчались мимо, унося за собою тучи снега, а мы долго еще стояли, прижавшись у фонаря.

До самого рассвета мы с Алиман не присели, то и дело бегали взад-вперед вдоль эшелонов. Перед рассветом, когда буран вдруг стих, на станцию подошел с запада еще не виданный нами эшелон: вагоны все обгорелые, с сорванными крышами и выбитыми дверями. Во всем эшелоне — ни живой души. В пустых вагонах тишина, как на кладбище. Пахло дымом, горелым железом, обуглившимися досками и краской.

Наш вчерашний железнодорожник в черном полушубке подошел с фонарем.

Алиман спросила у него шепотом:

— Что это за эшелон?

— Бомбили его, — шепотом ответил железнодорожник.

— А куда теперь эти вагоны?

— На ремонт, — так же тихо ответил он.

Я слушала этот разговор и думала о тех, кто ехал в этих вагонах, кто в дыму, криках и пламени расстался с жизнью, о тех, кому оторвало руки и ноги, кто оглох и ослеп навеки... А ведь эти бомбы — лишь отголосок войны. Что же тогда сама она?

Долго стоял разбитый эшелон на станции, потом тихо тронулся и, печально погромыхивая, укатил куда-то. Смотрела я ему вслед с черной тоской в душе: вот и Маселбек отправится туда, откуда пришел разбитый эшелон. А что с Касымом? Как Суванкул? Он писал, что находятся где-то под Рязанью. Ведь это, наверно, не так уж далеко от фронта...

Настало утро. Пора было уезжать — сено у лошадей кончилось. А вдруг Маселбек не проезжал еще, тогда как? Столько ждали, разве не обидно будет? По-всякому думали, решали мы с Алиман. Но уехать не посмели.

Погода была, как и вчера, ветреная, холодная. Недаром называют станционное ущелье караван-сараем ветров. Вдруг тучи развеялись, и солнышко проглянуло. «Эх, — подумала я, — вот бы и сын мой блеснул вдруг, как солнышко из-за туч, появился бы на глаза хоть разок...» И тут послышался вдали шум поезда. Он шел с востока. Мощный двукратный гудок паровоза прокатился по ущелью.

Земля затряслась под ногами, рельсы загудели. С грохотом, в дыму, в пару, с красными колесами, с жаркими огнями пронеслись два черных паровоза, за ними на платформах — танки, пушки, укрытые брезентом, подле них часовые в шубах, с винтовками в руках, мелькнули солдаты в приоткрытых дверях теплушек, и пошли — вагон за вагоном — проноситься на мгновение лица, шинели, обрывки песен, слов, звуки гармоней и балалаек. Засмотрелись мы. Тем временем прибежал какой-то человек с красными и желтыми флажками в руках, закричал на ухо:

— Не остановится! Не остановится! Прочь! Прочь с путей! — И стал отталкивать нас. В эту минуту раздался рядом крик:

— Мама-а-а! Алима-а-ан!

Он! Маселбек! Ах ты, боже мой, боже! Он пронесился мимо нас совсем близко. Всем телом перегнулся из вагона, держась одной рукой за дверь, а другой махал нам шапкой и кричал, прощался. Я только помню, как вскрикнула: «Маселбек!» И в тот короткий миг увидела его точно и ясно: ветер растрепал ему волосы, полы шинели бились, как крылья, а на лице и в глазах — радость, и горе, и сожаление, и прощание! И, не отрывая от него глаз, я побежала вдогонку. Мимо прошумел последний вагон эшелона, а я еще бежала по шпалам, потом упала. Ох как я стонала и кричала! Сын мой уезжал на поле битвы, а я прощалась с ним, обнимая холодный железный рельс. Все дальше и дальше уходил перестук колес, потом и он стих.

И сейчас еще порой кажется мне, будто сквозь голову проносится этот эшелон и долго стучат в ушах колеса.

Алиман добежала вся в слезах, опустила рядом, хочет поднять меня и не может, захлебывается, руки трясутся. Тут подоспела русская женщина, стрелочница. И тоже: «Мама!

Мама!» — обнимает, плачет. Они вдвоем вывели меня на обочину, и, когда мы шли к станции, Алиман дала мне солдатскую шапку.

— Возьми, мама, — сказала она. — Маселбек оставил.

Оказывается, он бросил мне свою шапку, когда я бежала за вагоном.

Я ехала домой с этой шапкой в руках; сидя в бричке, крепко прижимала ее к груди.

Она и сейчас висит на стене. Обыкновенная солдатская серая ушанка со звездочкой. Иногда возьму в руки, уткнувшись лицом и слышу запах сына.

## 6

— Скажи, земля родная, когда, в какие времена так страдала, так мучилась мать, чтобы только один раз, только мельком увидеть своего сына?

— Не знаю, Толгонай. Такой войны, как в твое время, мир не знал.

— Так пусть я буду последней матерью, которая так ждала сына. Не приведи бог никому обнимать железные рельсы и биться головой о шпалы.

— Когда ты возвращалась домой, еще издали можно было догадаться, что ты не встретишься с сыном. Ты была желтая, с запавшими, измученными глазами, как после долгой болезни.

— Уж лучше бы я действительно пролежала месяц в горячке.

— Бедная моя Толгонай. В тот год седина побила твою голову. А какие были прежде тяжелые и густые твои косы... Молчаливой ты стала тогда, суровой. Молча приходила сюда и уходила, стиснув зубы. Но мне-то понятно было, по глазам видела, с каждым разом трудней и трудней становилось тебе.

— Да, мать-земля, поневоле станешь такой. Если бы только я одна была — ведь не осталось ни одной семьи, ни одного человека, не схваченного за горло войной. И когда приходили черные бумаги — похоронные, и в аиле в один день сразу в двух-трех домах поднимался плач и проклятья, вот тогда закипала кровь, и месть темнила глаза, сжигала сердце. Я горжусь, что именно в те дни я была бригадиром, хлебала свое и чужое горе, делила с народом все невзгоды, голод и холод. Потому и выстояла я, за других выстояла, а

иначе упала бы я, и война растоптала бы меня в пыль. Поняла я тогда, что на войну только одна управа — биться, бороться, побеждать. Иначе смерть! Вот потому-то, поле мое родимое, я появлялась здесь всегда на коне и не тревожила тебя, молча здоровалась и молча поворачивала назад.

## 7

Настал день, когда от Касыма пришло письмо. Я вскочила на коня и пошла галопом, не разбирая пути, через арыки, через сугробы, с письмом в руке. Алиман и Джайнак разбрасывали здесь кучи навоза, и я закричала им на скаку: — Суюнчу, суюнчу — радость!

Как же было не порадовать их! Ведь от Касыма два месяца подряд не было ни строчки, не знали мы, что с ним. А в письме он писал, что два раза стоял в обороне под Москвой и оба раза вышел живым. Писал, что немцы остановились, что сломали им зубы, и о том, что полк ихний отвели на передышку.

А Алиман как обрадовалась! Спрыгнула с брочки и наперегонки с Джайнаком, обогнала его.

— Мама, масла в твои уста! — Схватила письмо дрожащими руками, зашлась от счастья, читать не может. Только твердит одно: — Жив! Жив-здоров!

Тут подбежали женщины, обступили ее.

— А ну, прочти, Алиман, что пишет муж? Может, о наших что знает?

А она:

— Сейчас, милые, сейчас! — И ни строчки не может прочесть.

Джайнак не утерпел:

— Дай-ка сюда, людям надо прочесть. — Взял письмо и стал читать вслух.

А Алиман присела на корточки, хватает снег горстями и прикладывает ко лбу. Джайнак кончил читать, она встала и даже лицо забыла утереть, стоит с тающими ручейками на лице, разгоряченная, радостная.

— Ну, теперь пойдем работать! — тихо сказала она и медленно пошла по снегу.

Шла и тихо оглядывалась по сторонам. О чем она думала в тот час — кто ее знает, может, о том, как летом бежала она здесь по жнивью к мужу с кувшином в руке. А может, о том, что Касым прощался здесь с комбайном. Алиман, каза-

лось мне, заново переживала все дорогое ей, памятное. Глаза ее то улыбались, то меркли. Она долго смотрела в сторону большака, вспоминала, наверное, как уходил по дороге саврасый иноходец, как гудели его копыта и как она бежала за Касымом.

А Джайнак шел рядом и стал дразнить ее, тормошить:

— Да ты очнись наконец, приди в себя. Ты понимаешь, что над тобой теперь будет смеяться весь аил. Письмо не могла прочитать, эх ты! Я вот напишу Касыму, скажу, что жену твою отдал в школу, снова в первый класс, азбуку учить!

Алиман принялась колотить его, а потом они побежали к бричке и гонялись друг за другом.

А я шла и думала. Конечно, кому же и защищать народ, если не таким джигитам, как мои сыновья! Только бы они живыми вернулись, с победой. А все остальное переживем, перетерпим, пусть кожа да кости останутся, только бы до победы дожить. Скорей бы уж, скорей бы победа! И потому что это было не только моим желанием, а мечтой и целью всего народа, ради этого на все шла, со всем соглашалась.

Даже когда самый младший и последний мой сын Джайнак ушел на фронт, а ему и восемнадцати еще не было, стиснула я зубы, смолчала, стерпела.

К концу зимы частенько стали его вызывать в военкомат. Не его одного, а многих ребят, обучали их там военному строю. Ну, это было дело привычное, я и не очень беспокоилась. Погоняют, погоняют их там дней десять и отпускают по домам. Однажды он что-то быстро вернулся домой, на второй же день.

— Что это тебя так скоро отпустили? — удивилась я. — Или совсем освободили?

— Нет, мама, — ответил Джайнак, — завтра я снова уйду. Разрешили денек побыть дома. В этот раз нас подольше задержат, так что ты не беспокойся.

А я и поверила, нет чтобы догадаться. Ведь он как-то странно вел себя в тот день, словно собирался в дальний путь. С молотком, с гвоздями ходил целое утро, что-то подбивал, приколачивал. А потом, смотрю, дров наколот кучу, навоз убрал на задворье, сено, что было сложено на крыше сарая, перебрал, подсушил. К вечеру пришла, смотрю — он двор вымел, привел в порядок развалившиеся конские ясли. Они нужны были, когда отец был дома, он любил коня держать при себе.

— Зачем ты возишься с ними, сынок, летом успеешь починить, — сказала я ему.

Но он ответил, что надо сделать тогда, когда время есть, а потом некогда будет. И тогда не домыслила я, не подумала ни о чем. Ведь он добровольно ушел на фронт, по комсомольскому призыву. А узнали мы об этом, когда Джайнак был уже в пути. Письмо передал он с товарищем со станции. Вот ведь, негодник этакий, сынок мой бедный, хоть ты и написал письмо, но разве можно было так уходить, не простившись? Да пусть я с ума сойду, все равно надо было сказать. Он просил в том письме у нас с Алиман прощения за то, что молча ушел. Так, говорит, легче, отрубить одним разом. Я, говорит, хотел, чтобы вы меньше переживали, чтобы сразу узнали о моем решении и, узнав, примирились, согласились со мной. Кто его знает, может, он и прав. Конечно, трудно ему было сказать мне в лицо, а может, побоялся, что я стану плакать, отговаривать, упрашивать...

И сейчас, когда я уже лишилась его и прошло уже столько лет, я веду с ним разговор так же, как с матерью-землей. Джайнак, послушай меня! Пусть тебя не мучит совесть, не в обиде я, нет. Я тогда еще простила тебя, Джайнак, сынок мой младшенький, жеребенок мой, весельчак мой! Думаешь, я не понимала, почему ты ушел не простившись, почему ты оставил меня одну, почему ты оставил юность, молодость, жизнь свою будущую? Ты был озорной, шумный парень, и не все знали, как ты любил людей. Не смог ты спокойно смотреть на наши страдания и ушел. Ты очень хотел, чтобы люди оставались людьми, чтобы война не калечила в людях живую человеческую душу, чтобы она не вытравляла из них доброту и сострадание. И ты все сделал для этого. На свете остаются жить только добрые дела, все остальное исчезает. И твое доброе дело осталось жить. Ты давно погиб, пропал без вести. Ты писал, что ты парашютист. Что три раза ходил в тыл врага. И вот в какую-то темную ночь сорок четвертого года ты спрыгнул с самолета вместе со своими товарищами, чтобы помогать партизанам, и пропал без вести. Погиб ли ты в бою, шальная пуля настигла, или попал в плен, или в болоте утонул — никто не ведает. Но если б ты был жив, то хоть маленькая весточка объявилась бы за эти годы. Да, Джайнак, вот так и не стало тебя. Ты ушел совсем молодым, восемнадцати лет, и не очень крепко остался в памяти людей. Но я помню тебя и всякий раз вспоминаю, как ты ушел на фронт, не посмевав сказать

мне об этом, что ты любил и жалел меня. Вспоминаю, как ты отдал мальчику на станции свой полушубок. Увидел на станции семью эвакуированную — мать и четверых детей, и отдал старшему мальчишке, совсем раздетому, полушубок, а сам вернулся домой в одном пиджачке — зуб на зуб не попадает. Может быть, и он, став взрослым человеком, иногда вспоминает тебя, мальчишку, потому что теперь ты моложе его, а он намного старше. Но ты был его учителем. Ведь добро не лежит на дороге, его случайно не подберешь. Добру человек у человека учится.

Эх, что теперь говорить, словами не поможешь. Сколько людей война погубила. Если бы не война, каким красивым, душевным человеком жил бы на свете мой Джайнак!

Сын мой, обидно мне, из двенадцати цветов жизни ты не сорвал ни одного. Ты только начинал жить, и я даже не знаю, какую девушку ты любил...

Последняя свеча горит в душе моей, скоро она погаснет. Но я все помню и тот злосчастный день, когда приехал за мной тот старик на пахоту.

Было это ранней весной. Подснежники еще не всходили, бороньба только началась. С Желтой равнины шел понижу теплый ветер, зябь просыхала, трава на солнце пошла зеленеть.

В тот день мы как раз только начали пахоту. Я ехала на коне шагком вслед за трактором, вдыхала земной дух борозды и подумывала про себя, что очень давно нет вестей от Суванкула и Касыма.

Тем временем приехал сюда старик наш один, вроде бы не по очень срочному делу. Я ему сказала:

— Кстати приехали, аксакал, благословите с добрым началом пахоты.

Он развернул ладони, сидя на коне, и, поглаживая бороду, прошептал:

— Пусть покровитель хлеборобов Дыйкан-баба побудет здесь, пусть урожай будет, как половодье. — А потом сказал мне: — Тебя, Толгонай, вызывает начальник какой-то из района. Приказал, чтобы ты явилась в контору. Я за тобой приехал.

— Хорошо, сейчас поедem, аксакал.

Подъехала я к плугарям, предупредила, что к вечеру приеду проверить работу, и мы направились к айлу. В том, что меня вызвал уполномоченный, ничего удивительного не было. Обычное дело, особенно с началом посевной много их



разных наезжает в аил. Ехали не торопясь, разговаривали о том о сем, о житье-бытье нашем, и старик в разговоре как-то осторожно вставил:

— Спасибо тебе, Толгонай, что в такое лихолетье служишь ты на коне народу. Хотя и женщина ты, но всем нам голова. Так и держись, Толгонай, крепче держись в седле. Если что, мы все тебе опора, а ты нам. Конечно, и тебе нелегко, знаем. Судьба человеческая, как горная тропа: то вверх, то вниз, то вдруг пропасть впереди. Одному, случается, не под силу, а всем миром одолеть можно... Так-то оно в жизни нашей суетной...

Мы ехали уже по улице, и я заметила возле нашего двора вроде бы толпу людей. Я увидела их головы за дувалом. Но почему-то не придавала этому значения. Старик вдруг взял за повод моего коня и сказал мне, не глядя в глаза:

— Слезай, Толгонай, ты должна спешиться.

Я удивленно уставилась на него. Только он сам слез с лошади и, беря меня под руку, повторил:

— Ты должна слезть с седла, Толгонай.

Все еще не соображая, в чем дело, но уже охваченная каким-то страшным предчувствием, уже мертвая, я медленно спешилась и увидела Алимана, идущую к дому вместе с тремя женщинами. Они в тот день работали на очистке арыков. Алимана несли кетмень на плече. Одна из женщин взяла ее кетмень с плеча. И тут я все разом поняла.

— Что вы? Что вы надумали? — закричала я на всю улицу.

Когда я закричала, из двора соседки Айши выбежали женщины. Молча, быстро подошли ко мне, схватили за руки и сказали:

— Крепись, Толгонай, лишились мы наших соколов, погибли Суванкул и Касым.

Я услышала в ту минуту, как вскрикнула Алимана, как заголосили все разом:

— Боорумой — братья наши! Боорумой!

И больше уже ничего не слышала, оглохла сразу. Оглохла, наверное, от своего крика. И закачалась улица, чудилось мне, деревья падают, дома падают. В жуткой тишине мелькали перед глазами то облака в небе, то какие-то искаженные немые лица. Я вырывалась, силилась освободить зажатые в чьих-то руках свои руки. Я не понимала, кто меня держит, что за толпа у ворот. Я видела только Алимана. Видела ее с беспощадной ясностью. Она была страшна, с изодраным в кровь лицом, с разлохмаченными волосами, в изо-

рванном платье. Ее удерживали женщины, закрутив руки за спину, а она вырывалась изо всех сил ко мне и кричала так сильно, что я ничего не слышала. Я тоже рвалась к ней. У меня было только одно желание — быстрее прийти к ней на помощь. Но прошла, казалось, целая вечность, пока мы наконец сошлись. И только тогда, когда Алиман бросилась ко мне на шею, я наконец услышала ее надсадный, хриплый крик:

— Мама, вдовы мы, мама! Несчастные вдовы! Погасло наше солнце. Черный день! Мама! Черный день!

Да, мы были вдовами. Две вдовы — свекровь и невестка, мы оплакивали свою судьбу, обнимаясь и обливая друг друга горячими слезами.

Но нам с Алиман не пришлось вволю поголосить. На седьмой день пришли колхозники, чтобы еще раз почтить память погибших, и сказали нам:

— Год круглый траур держать и то было бы мало. Мы будем их помнить, но живой человек должен жить. То, что они не дожили, пусть доживут Маселбек и Джайнак. (От Джайнака мы тогда еще почти каждую неделю получали письма.) Пусть они вернуться с победой. А вам мы разрешаем выходить на работу. Время сейчас посевное, земля не ждет. Зажмите сердца в кулак. Будьте с нами. И пусть это будет нашей мстью врагу.

Посоветовались мы с Алиман и согласились с народом.

Утром, когда мы собирались на работу, председатель Усенбай принес две бумажки. Это, говорит, похоронные, сберегите их. Похоронная Касыма прибыла в колхоз, оказывается, еще полмесяца тому назад. Он погиб в наступлении под Москвой, в деревне Ореховка. Пока собирались сообщить об этом, подоспела и похоронная Суванкула. Он тоже погиб в большом наступлении под Ельцом. Односельчанам нашим ничего не оставалось, как сказать правду. И пришлось им сделать это в один и тот же день. Ну а дальше рассказывать нечего. Снова крепко подпоясалась я и снова села на бригадирского коня.

Ведь если бы я стала сетовать, судьбу проклинать, руки опустила, то что было бы с Алиман? Она так убивалась, что мне страшно становилось. Горя у меня было не меньше, я потеряла сразу мужа и сына, утрата была двойная, и все-таки положение мое было иное. Мало ли, много ли, мы с Суванкулом прожили большую жизнь. Всякое видели, всякое испытали — и трудно жили, и счастливо. Детей имели, семью имели, вместе трудились. И если бы не война, вместе

были бы до конца дней. А много ли познали Алиман и Касым? Жизнь для них вся была в будущем, вся в мечтах. В самую пору молодости срубила их война топором. Конечно, со временем затянулись бы раны в душе Алиман. Свет не без людей, нашла бы, может быть, человека, которого и полюбила бы даже. И жизнь вернулась бы с новыми надеждами. Другие солдатки так и поступили. Кончилась война, они вышли замуж. Кто удачно, кто не совсем удачно, но они не остались одинокими, все они теперь матери, жены. Многие из них нашли свое счастье. Но не все люди одинаковы. Есть такие, что быстро забывают о горе, быстро переступают на новую дорогу — другие мучительно, отчаянно топчутся на месте, не находя в себе сил уйти от памяти прошлого. Вот и Алиман, на беду свою, оказалась такой. Не сумела она забыть былое, не смогла примириться с судьбой. Здесь есть и моя непростительная вина. Слаба я оказалась, не осилила жалость свою.

Весной бригада наша копала головные арыки. Я тоже была там. Однажды закончили мы работу рано, до захода солнца, и народ стал расходиться по домам. Мне надо было еще завернуть к плугарям, и я сказала Алиман, чтобы она не ждала меня. Шалаш плугарей был неподалеку. Они как раз ужинали. Я потолковала с ними о делах и, выйдя из шалаша, собиралась было сесть на коня, как увидела Алиман. Она, оказывается, не ушла. Осталась одна и ходила по перелогу, собирала тюльпаны. Ведь она, как девчонка какая, любила цветы. Эх, Алиман, Алиман, горемычная моя невестушка! В руках у нее было штук десять больших тюльпанов. Она их собралась, наверное, домой понести. Я как увидела ее с цветами, пот горячий проступил на лбу. Вспомнила, как она тогда на обкосе загона набрала дикой мальвы и тоже стояла с цветами вот так же. Только тогда косынка на ней была красная, а цветы белые, а теперь она повязана черным платком и в руках держала красные цветы. Вот и вся разница. Но как это резануло по сердцу! А Алиман подняла голову, огляделась по сторонам, потом понурилась, уныло уставилась на цветы, вроде бы: кому их теперь и куда?..

И вдруг встрепенулась вся, упала лицом вниз и стала рвать свои цветы в клочья, хлестала ими землю, потом утихла, уткнулась в руки и лежала так, передергивая плечами. Я спряталась за шалаш. Не стала ее тревожить. Пусть, думаю, поплачет, может, легче ей станет. А она вскочила на ноги и помчалась по перелогу к большаку. Я перепугалась, на ко-

ня — и за ней. Страшно мне было видеть, как убегала моя невестка, как бежала она в черном платке по красному полю.

— Алиман! Остановись! Что с тобой? Остановись, Алиман! — кричала я ей, а она не останавливалась.

Добежала до дороги, по которой уходил когда-то саврский иноходец, тут лишь я догнала ее.

— Мама! Не говори мне ничего! Мама, не говори мне ничего. Не надо!

Я натянула поводья, а она подбежала, схватилась за гриву коня, ткнулась к моей ноге и зарыдала. Я молчала. А что мне было ей говорить? Потом она подняла голову, а лицо все в глине, в слезах, и сказала, всхлипывая:

— Посмотри, мама, как светит солнце. Посмотри, какое небо, а степь какая, в цветах! А Касым не вернется, да? Никогда не вернется?

— Нет, не вернется, — ответила я.

Алиман тяжело вздохнула.

— Прости меня, мама, — тихо сказала она. — Хотела добежать туда и умереть там вместе с ним.

И я не выдержала, заплакала, ничего не сказала. Но если бы я была мудрой, дальновидной матерью, я должна была ей твердо сказать: «Ты что, дитя маленькое? Не ты одна, сколько овдовело таких, как ты, — не сосчитать. Перетерпи. Как тебе ни дико это слышать — забудь Касыма. Что прошло, того не вернешь. Придет время — найдется человек по душе. Если не возьмешь себя в руки, тебе же будет хуже. Не смей так убивать себя. Ты еще молода и должна жить». И как я каюсь теперь, что не посмела сказать этой грубой, этой единственной правды. И потом сколько раз подходили удобные случаи, на языке стояли эти слова, я так и не решилась их высказать. Какая-то неодолимая сила удерживала меня. Да и сама Алиман не хотела меня выслушать. Есть, оказывается, у каждого слова свое время, когда оно ковкое, как раскаленное железо, а если упустишь время — слово остывает, каменеет и лежит на душе тягостным грузом, от которого не так-то просто освободиться. Это я говорю теперь, когда прошло столько лет, а тогда в каждодневной суматохе, в каждодневных заботах и нехватках колхозных некогда было одуматься, сообразить толком, что к чему. Все ожидания, все помыслы были только об одном — скорей бы победа, скорей бы конец войне, а все остальное потом. Думалось: кончится война — и все само собой станет на свое место. А оно, оказывается, не совсем так...

— Мать-земля, почему не падают горы, почему не разливаются озера, когда погибают такие люди, как Суванкул и Касым? Оба они — отец и сын — были великими хлеборобами. Мир извечно держится на таких людях, они его кормят, поят, а в войну они его защищают, они первые становятся воинами. Если бы не война, сколько бы еще дел сделали Суванкул и Касым, сколько бы людей одарили они плодами своего труда, сколько еще полей засеяли бы, сколько еще зерна намолотили бы. И сами, сторицею вознагражденные трудами других, сколько еще радостей жизни увидели бы! Скажи мне, мать-земля, скажи правду: могут ли люди жить без войны?

— Ты задала трудный вопрос, Толгонай. Были народы, бесследно исчезнувшие в войнах, были города, сожженные огнем и засыпанные песками, были века, когда я мечтала увидеть след человеческий. И всякий раз, когда люди затевали войны, я говорила им: «Остановитесь, не проливайте кровь!» Я и сейчас повторяю: «Эй, люди за горами, за морями! Эй, люди, живущие на белом свете, что вам нужно — земли? Вот я — земля! Я для всех вас одинакова, вы все для меня равны. Не нужны мне ваши разговоры, мне нужна ваша дружба, ваш труд! Бросьте в борозду одно зерно — и я вам дам сто зерен. Воткните прутик — и я выращу вам чинару. Посадите сад — и я засыплю вас плодами. Разводите скот — и я буду травой. Стройте дома — и я буду стеной. Плодитесь, умножайтесь — я для всех вас буду прекрасным жилищем. Я бесконечна, безгранична, я глубока и высока, меня для всех вас хватит сполна!» А ты, Толгонай, спрашиваешь, могут ли люди жить без войны. Это не от меня — от вас, людей, зависит, от вашей воли и разума.

— Как подумаешь, земля родная, ведь самых лучших тружеников твоих, самых лучших мастеров убивает война. А я не согласна с этим, всей жизнью своей не согласна! Могут люди, должны люди преградить путь войне.

— А ты, Толгонай, думаешь, я не страдаю от войн? Нет, я очень страдаю. Я очень тоскую по крестьянским рукам, я вечно оплакиваю детей своих, хлеборобов, мне всегда не хватает Суванкула, Касыма, Джайнака и всех погибших солдат. Когда я остаюсь непаханой, когда нивы остаются нежатыми, а хлеба необмолоченными, я зову их: «Где вы, мои пахари, где вы, мои сеятели? Встаньте, дети мои, хлебороб-

бы, придите, помогите мне, задыхаюсь я, умираю!» И если бы тогда пришел Суванкул с кетменем в руках, если бы Касым привел свой комбайн, если бы Джайнак пригнал свою бричку! Но они не откликаются...

— Спасибо тебе, земля, на том. Значит, ты так же тоскуешь о них, как и я, так же оплакиваешь их, как и я. Спасибо тебе, земля.

## 9

Третий и четвертый годы войны и радовали, и омрачали: врага изгоняли шаг за шагом — душа ликовала, но, что ни день, все трудней и трудней становилась жизнь. Осенью еще куда ни шло, колоски собирали по жнивью, картошку копали в огородах, а с середины зимы начинался голод. Особенно весной да в жаркие летние дни туго приходилось, иные едва-едва пробивались дикими кореньями, травой да чуть забеленной молоком водичкой. Мы с Алиман обе работали, и за подол нам детишки не цеплялись. Но лучше бы они цеплялись. Невыносимо становилось на душе, когда у других, у многодетных, детишки с раздутыми животами и опухшими лицами глядели в руки, безмолвно прося хлеба. Если бы мне сказали: «Иди и ты на фронт, умри там — и война кончится, дети будут сытыми», — я не задумалась бы. Только бы не видеть их голодных глаз. Как-то поделилась этими мыслями с Алиман, она посмотрела на меня и потом сказала:

— Я бы тоже так поступила. Ведь самое страшное то, что дети не понимают, почему они должны голодать. Взрослые-то хоть утешают себя, знают причины, знают, что будет этому когда-нибудь конец. А дети не понимают. Пока не вернутся их отцы, мы должны хлеб добывать им. Нам с тобой, мама, только это и осталось. А то ведь и жить не стоит...

Все безраздельно принадлежало только войне: и жизнь, и труд, и воля, и даже детская кашка — все, все до единой крупицы уходило в ненасытную утробу войны. Однако были и такие, что не хотели делиться с войной ничем; да зачем скрывать: были такие люди. Они тоже урывали от нашего куска.

Как-то я заблудилась. Это произошло в сорок третьем году, кажется, в середине зимы, или нет, к концу зимы дело было. В степи уже темнели прогалины голой земли, но окна еще замерзали по ночам.

Кто его знает, в какой час ночи — все давно спали, — только вдруг заколотил кто-то в окно, думала, стекла полетят.

— Толгонай! Бригадир! Вставай! Проснись! — кричал кто-то с улицы.

Мы перепугались, и обе, я и Алиман, вскочили с постелей.

— Мама! — прошептала Алиман в темноте, и так тревожно, словно ждала какого-то чуда.

Эх, проклятая, никогда не покидающая надежда! У меня тоже сердце зашлось от страха и смутной радости: «Может, вернулся кто из наших?» — и я приникла к окну:

— Кто тут? Кто ты?

— Выходи, Толгонай! Быстрее! Лошадей увели! — ответил голос за окном.

Пока Алиман зажигала лампу, я быстро натянула сапоги, надела чапан и выскочила на улицу. Прибежали на конюшню, там были уже люди и сам председатель. Оказалось, что воры трех лошадей увели, в том числе и нашего саврасого иноходца — я его в колхоз передала. Это были лучшие мерины нашей бригады, мы их готовили к пахоте. Конюх говорил, что пошел на сеновал задать лошадям полночное сено, вернулся, а в конюшне темно, фонарь не горит. Решил, что ветер задул, потому не спеша зажег свет, глянул — с краю три стойла свободные.

В то время для колхоза потерять трех рабочих лошадей — все равно, что сейчас десять тракторов потерять. А если подумать поглубже, то это все равно, что у каждого солдата на фронте отнять по куску хлеба. Мы оседлали лошадей, некоторые прихватили ружья, и все кинулись в погоню. И если бы догнали воров, то не пожалели бы. Честное слово, не пожалели бы!

За аилом мы разделились на кучки по несколько человек и поехали в разные стороны. У меня под седлом был племенной жеребец, горячий, поджимистый, в побегу просился. Я дала ему повод. Помню, перемахнула через большак и направилась в сторону гор. За мной скакали еще двое наших. Вдруг оглянулась — нет их. То ли они свернули в сторону, то ли я свернула. Ошибиться было немудрено: луна хоть и не сворачивала, но свет ее был обманчив — шагах в двадцати все сливалось в темную мглу. Но не об этом думала я тогда: только бы догнать конокрадов: так досадно и обидно было, что не замечала, куда уносит меня конь, и когда он внезапно остановился, смотрю — впереди глубокий овраг. Под самыми горами очутилась. Луна осторожно шла над темным хребтом, звезды туманились. Вокруг ни огонька. Понизу скользил порывистый ветерок, шевелил сухо-

стойные кураи, тонко посвистывал. На развалинах старой глинобитной гробницы перекликались совы.

Я спустилась на коне в овраг. Ничего не слышно. Только вспугнула лисицу. Она выскочила из камыша и понеслась — сизо-голубая в лунном свете. Больше никого не видеть кругом.

Я повернула в аил. Ехала над обрывом и вспоминала: поговаривают, что Дженшенкул — был у нас такой в аиле — сбежал из армии, что с ним двое таких же, как сам он, дружков откуда-то с Желтой равнины и что прячутся они в горах. Я не очень-то верила этим слухам. Не понимала я, как можно прятать свою голову, когда все в опасности. Выходит, что кто-то должен идти сражаться, погибать, а кто-то может отсиживаться за его спиной? Нет, вряд ли кто пойдет на такое бесстыдство, думала я. А тут вдруг усомнилась. В аиле мы все знаем друг друга как пять своих пальцев. Вроде не было людей, которые могли пойти на конокрадство. Да и конь не иголка, в воротнике его не припрядешь. Тем более сразу трех лошадей. Значит, воры пришли откуда-то. Должно быть, сейчас, как волки, рыскают в горах и в степи. Если правда, что Дженшенкул в бегах, то, пожалуй, это дело его рук, думалось мне. Однако уверенности в этом не было: как-никак не пойман — не вор, а видеть — никто не видел.

Три лошади — упряжка одного двухлемешного плуга. Упряжь эту мы восстановили с горем пополам, объездили молодняк, четверку, запрягли в плуг. Жаль, но ничего не поделаешь. А тут нагрязнула посевная, и началось такое, что не до воров было и не до самого бога. Это была, пожалуй, самая тяжелая весна в моей жизни. Народ что — народ не виноват. Люди хотели работать и старались, но с пустым желудком не очень-то наработаешь. Того, что прежде за день делали, теперь на неделю хватало. Запаздывали работы, затягивалась посевная. А тут еще беда — семян в колхозе нет. Уж мы до зернышка вымели, выскребли закрома, кое-как свели концы с концами, но план бригады все же выполнили.

В эти дни я крепко призадумалась над нашей жизнью. На трудодни мы ничего не получали, что было из прежних запасов, давно съели. Как быть? По миру расходиться, разбредиться куда глаза глядят? Нет, это значит потерять себя. Ну что же дальше? Хорошо, дотянем до осени, перебьемся зимой, а там опять же весна и опять же придется заставлять работать полуголодных, ослабевших людей. И не работать нельзя.



По-всякому думала я, ночей не спала, и осенила меня мысль такая: распахать залежь — была у нас небольшая на отшибе — с тем чтобы урожай поделить по семьям. Посоветовалась с председателем, до района дошла, объяснила, что план мы свой выполнили, а это сверх плана, своими силами, специально для себя на трудодни, поддержать чтобы народ. Кто-то мне из-за стола бросил:

— Ты сталинский Устав колхоза нарушаешь!

Я не утерпела:

— А пусть он провалится, этот Устав! Если мы будем голодными, кто вас будет кормить?

— А ты, — говорит, — знаешь, куда Макар телят не гонял?

— Знаю. Отправляйте, если от этого легче станет. Только подумайте сначала, кто будет хлеб сеять для солдат на фронте?

Зашумели, в райком толкнулись. В общем, разрешили, сказали: под личную ответственность. А дело-то было не в ответственности, а в семенах. В колхозе — хоть шаром покати: что было — все высеяли. Помозговала я и собрала свою бригаду, всех от мала до велика. Не то что собрание, а так, вроде семейный совет устроили.

— Давайте подумаем, как быть нам? — сказала я. — На то, что посеяно на полях, не надо надеяться. Сами знаете, там все для фронта, а если что останется — на семена. Но у нас, если найдем семена, есть возможность посеять хлеб для помощи многодетным, старикам и сиротам. Если верите мне, я беру на себя эту ответственность. Дело сейчас стоит за тем, чтобы каждый из нас отдал на семена золотые крупы, то, что еще приберегаем мы на дне мешочков и сусеков. Не гневайтесь на меня, пусть мы оторвем кусок от своего рта, мы будем голодать — дотянем как-нибудь на молоке до жатвы, но зато каждое зернышко вернется нам сторицей. Поднатужьтесь, родные, стисните зубы, отважьтесь на такой подвиг ради себя, ради детей своих. Не пожалеете. Поверьте моему материнскому слову. Помогите мне, пока есть еще время посеять...

На сходке вроде бы все поддержали меня. Но когда коснулось дела, пришлось туго, просто страшно. Особенно страшно было мне, когда выбегали из дворов многодетные матери, когда они проклинали все на свете: и войну, и жизнь такую, и детей, и колхоз, и меня. И все же люди с кровью отрывали от сердца, давали каждый сколько мог и что мог: кто полпуда, а кто пригоршню. Понимала я, что люди отдавали свое последнее, и все же я брала. Собирала

все, высыпала в мешки по горсточке. И так обходила я с бричкой двор за двором, умоляла, просила, ругалась, выхватывала из рук. И только одно утешение было, что осенью каждая горсточка вернется пудом.

Никогда не забыть мне, как я обошлась с соседкой своей, Айшой. Она ведь болезненная была. Рано овдовела, муж ее, Жаманбай, умер еще до войны. И осталась она одна, хворающая, с единственным сыном — Бекташем. Если не болела, работала в колхозе, у себя на огороде, коровенку имела — тем и кормилась и растила сына. Бекташ в ту пору был уже работником, надежный вырос парнишка. В тот день как раз на его бричке и ездили мы по дворам. Когда поравнялись с их двором, я спросила его:

— Бекташ, есть у вас дома что-нибудь?

— Есть немного, — ответил, помедлив, парнишка. — В торбочке, за печкой.

— Ну, так иди принеси, — сказала я.

— Нет, тетушка Толгонай, сами пойдите, — попросил он.

Айше нездоровилось в те дни. Она сидела на кошме, укутав поясницу теплым платком.

— Айша, я пришла получить то, что все дают, — сказала я.

— Все, что у нас есть, вон там, — показала она на торбу за печкой.

— Сколько есть. Не для утехи отдаешь. Для семян, поле готово, сева ждет, не задерживай, Айша, — поторопила я.

А она прикусила губу и молча опустила голову. Ох, нужда проклятая, до чего доводит людей!

— Айша, подумай, ну десять-пятнадцать дней тебе легче было бы перебиваться. Но подумай о будущей зиме, о весне подумай. Ради сына твоего прошу, Айша. Он ждет на улице с бричкой.

Она подняла глаза и с мольбой посмотрела на меня:

— Если бы было что, думаешь, жалко? Ты же знаешь, Толгонай, соседка ведь я твоя...

Я почувствовала, что не устоять мне перед ее мольбой, но тут же отбросила в сторону жалость.

— Я сейчас тебе не соседка, а бригадир! — отрезала я. — От имени народа забираю у тебя это зерно! — Встала и взяла в руки торбу.

Айша отвернулась.

В торбе было килограммов семь пшеницы. Я хотела унести все, но не посмела. И отсыпала половину зерна в порожнее ведро. И сказала ей:

— Смотри, Айша, я половину только беру. Не обижайся.

Она обернулась. И я увидела слезы, стекавшие по ее лицу к подбородку. Мне стало не по себе. Я опрометью кинулась из дома. Ах, почему я не поставила эту торбу на место? Но откуда же мне было знать, что случится с собранными мною семенами?

Зерна набралось два больших мешка. Мы его пропустили через решето, провеяли, очистили от сорняков, по зернышку перебирали. И я сама свезла семена к пашне. Повременить бы мне в тот день. Но ведь оставалось еще допахать край загона. А мне не терпелось быстрее засеять это поле. С рассветом сама собралась сеять вручную. Все было готово — семена, пашня, все получалось так, как задумала.

Вечером вернулась я с работы домой, и что-то беспокойно стало на душе, места себе не находила. Днем я велела Бекташу и еще одному пареньку отвезти на бричке бороны к полю. Дети, как ни говори, это дети. Не совсем уверена была я, выполнили ли они мое поручение. И я сказала Алиман: — Съезжу-ка я к ребятам. Погляжу, что они делают.

Села на коня и поехала.

За аилом пошла рысью: сумерки сгущались, темнеть начинало уже. Подъезжаю к месту, смотрю — быки стоят на пашне в ярме. И рядом никого нет. Зло взяло на мальчишку-плутаря: до сих пор тягло не распряжено, томится в ярме. Ну, думаю, подожди у меня, парень, я тебе дам нагоняй. Двинулась я разыскивать его, смотрю — бричка с боронами опрокинута набок. И тут тоже никого нет.

— Эй, ребята! Где вы? Откликнитесь! — позвала я.

Никто не отозвался, ни души вокруг. Да что с ними? Куда они запропастились? Перепугалась я. Поскакала к шалашу, спрыгнула с лошади. Засветила спичку. Ребята лежали в шалаше связанные, избитые в кровь, ободранные, во ртах тряпье какое-то набито. Я вырвала кляп изо рта Бекташа.

— Семена? Где семена? — закричала я не своим голосом.

— Забрали! Избили! — прохрипел он и мотнул головой в ту сторону, куда исчезли воры.

А дальше не помню, что было. Сроду не гнала я так коня, как в ту ночь. Что там ночь — тьма могильная была ни почем. Если бы дом мой сожгли и разграбили, ничего не сказала бы. Если бы осенью с гумна похитили десять мешков хлеба — стерпела бы: мыши тоже утаскивают. Но за эти семена, за этот хлеб наш будущий — да я придушила бы своими руками.

Оказывается, я гналась по следам воров и вскоре увидела их. Искры заметила из-под копыт. Мешки воров везли перед собой на седлах. Уходили в сторону гор.

Увидев их, я стала кричать, просить:

— Оставьте мешки, это семена! Оставьте, это семена! Семена это!

Они не оборачивались. Расстояние между нами быстро сокращалось, и я увидела, что один из них, тот, что с краю, ехал на иноходце. Я сразу узнала его. Как было не узнать саврасого иноходца? По побежке узнала, по белым чулкам на задних ногах. И тогда я крикнула:

— Стой, я знаю тебя! Ты Дженшенкул! Ты Дженшенкул! Теперь ты не уйдешь от меня! Стой!

Он и в самом деле оказался Дженшенкулом. Отделившись от других, он повернул ко мне навстречу. Огонь вспыхнул во тьме, что-то прогрехотало. И, уже падая с коня, я поняла, что это был выстрел. А сначала я подумала, что просто споткнулась лошадь.

Придя в себя, я почувствовала тупую, тяжелую, ломившую спину боль. Из головы сочилась кровь, она затекала к затылку холодным студнем. Рядом со мной хрипела, издавая, лошадь, она еще сучила ногами, пытаясь встать. Клокочущий предсмертный вздох вырвался из ее груди, голова глухо стукнулась о землю, и лошадь утихла. И все вокруг утихло — утихла вся жизнь. Я лежала не шелохнувшись, не пытаясь даже встать. Все теперь было для меня безразлично. И жизнь не имела смысла. Я думала о том, как убить себя. Была бы поблизости круча, доползла бы и бросилась вниз головой. Я не представляла себе, как, какими глазами теперь буду глядеть на людей. И тут я увидела на небе Дорогу Соломщика. Тусклая, туманная река Млечного Пути напоминала мне мутные слезы, стекавшие по лицу Айши. И я встала на колени, потом на ноги, пошатнулась, снова упала и, рыдая от горя и обиды, стала выкрикивать проклятья:

— Чтoб тебя кровь войны прокляла, Дженшенкул! Убитые пусть проклянут тебя, Дженшенкул! Дети пусть проклянут тебя, Дженшенкул!

Я плакала и кричала, пока не обессилела.

Долго лежала я. Потом послышались чьи-то шаги, и кто-то позвал меня:

— Тетушка Толгонай! Где вы? Тетушка Толгонай!

По голосу узнала Бекташа и отозвалась. Бекташ прибежав запыхавшись, упал на колени, приподнял мою голову.

— Тетушка Толгонай, что с вами, вы ранены?

— Нет, расшиблась, — успокоила я его. — Лошадь вот убило пулей.

— Ну, это не так страшно, мы вам сейчас поможем! — обрадовался Бекташ. И добавил: — А мясо не пропадет. Раздадим по дворам.

Ребята привезли меня домой на бричке. Дня три провалялась я в постели, спину не отпускало. И сейчас, когда непогодит, ломит порой. В те дни многие приходили навестить меня, справиться о здоровье. Спасибо за это людям, но больше всего спасибо за то, что никто не укорил меня, никто не напомнил, будто ничего не случилось. Может быть, люди догадывались, что мне и так было тяжело. Как вспомню, что труды наши пропали даром, что пашня осталась незасеянной, а зерно, которое я оторвала от плачущих детей, стало добычей этих подлых бандитов, — такая горечь жгла душу, что в глазах меркло.

## 10

— Да, Толгонай, не только ты, но и я, земля, чувствовала эту боль. То пустое поле саднило все лето, как зияющая рана. Долго не утихала боль. Самые страшные раны наносятся мне тогда, когда поля остаются незасеянными, Толгонай. А сколько полей осталось бесплодными из-за войны! Самый смертельный враг мой тот, кто начинает войну.

— Ты права, мать-земля. Не об этом ли писал мой сын Маселбек? Ты помнишь, земля, письмо Маселбека?

— Помню, Толгонай.

— Да, мы с тобой помним. Сегодня день поминовения, мать-земля. Сегодня мы снова все вспомним.

— Вспомним, Толгонай. Ведь Маселбек был не только твоим сыном, он и мой сын — сын земли. Повтори мне его письмо, Толгонай.

## 11

Когда приходили люди проведать о моем здоровье, я думала, что они из сочувствия ко мне старались как-то умолчать о случившемся и поэтому говорили большей частью о новостях, о работе, о погоде; но была, оказывается, еще одна причина. Я потом догадалась об этом. А они-то знали, что меня ждет.

Как-то заглянула к нам Айша, принесла мне чашку сметаны. Когда она переступила порог, мне стало очень стыдно. Я не знала, что говорить, молчала, сидя на постели. А она сказала мне:

— Ты не думай, Толгонай, о том, что было. И прости мою слабость. А я обиды не держу. За тебя, если надо, и жизнь отдать мне не жалко. Бекташ мой теперь у нас помощник на два двора. Он тебя, Толгонай, больше даже любит, чем меня. А я рада этому. Значит, вырастет он приятливым человеком.

Я только промолвила:

— Спасибо на слове, Айша.

Утром другого дня мне было уже легче, и я вышла во двор кое-что по хозяйству присмотреть. Но быстро утомилась я и села возле окна на солнышке посидеть. Алиман тоже была дома. Она стирала белье во дворе. Я ей говорила, чтобы она выходила на работу, но она ответила, что сам председатель предложил ей остаться на денек дома, чтобы я не была одна.

В ту весну большая старая яблоня — ее еще сам Суванкул сажал — так густо зацвела, словно заново набралась сил и помолодела. А когда сады цветут, воздух чист, все дали открываются. Сидела я так, любовалась всем вокруг, а тем временем почтальон наш, старик Темирчал, пожаловал. Здравствуй, мол, Толгонай, как поживаешь? А сам против обыкновения что-то очень заторопился, что-то очень ему не по себе было, кашлял надсадно и жаловался на кашель; на прошлой неделе, говорит, простыл, замучился совсем; а потом как бы между прочим говорит:

— Кажется, тебе письмо есть какое-то. — И достает его из сумки.

Я даже обиделась на такое равнодушие:

— Да что же ты сразу не сказал? От кого?

— Да вроде от Маселбека, — пробормотал он.

От радости я сначала не обратила внимания на то, что письмо это было не такое, как всегда, треугольником, а в твердом белом конверте с печатными буквами. Тут пришел на костылях фронтовик Бектурсун, сосед наш. Я подумала, что у него с раненой ногой хуже стало — еле притащился. Он иногда приходил к нам посидеть, поговорить. Бектурсун поздоровался, взял конверт. От Маселбека, говорит.

— А что у тебя руки дрожат? Да ты не стой на костылях, садись, прочти мне, — попросила я.

Он с трудом сел на кошму, нога у него не подгибалась. Дрожащими пальцами открыл конверт и начал читать. Эх, сынок мой, ведь я с первых слов все понял.

*«Понимаешь, мама, — писал он, — пройдет время, и ты поймешь меня, убедишься, что я сделал правильно. Да, ты обязательно скажешь, что сын твой поступил честно. И все-таки, хотя ты и поймешь, где-то в глубине твоего сердца останутся не высказанные мне слова: «Как же ты мог, сынок, так просто уйти из этого светлого мира? Зачем я тебя родила, зачем растила?» Да, мама, ты мать и вправе спросить с меня, но на твои вопросы ответит потом история. А я сейчас могу лишь сказать, что не мы выпросили себе войну и не мы ее затеяли, это огромная беда всех нас, всех людей. И мы должны проливать свою кровь, отдавать свои жизни, чтобы сокрушить, чтобы уничтожить это чудовище. Если мы этого не сделаем, то недостойны будем имени Человека. Я никогда не жаждал совершать геройства на войне. Я готовил себя к самой скромной профессии — я хотел быть учителем. Я очень хотел им быть. Но вместо мела и указки мне пришлось взять в руки оружие и стать солдатом. Не моя в этом вина. Время мое оказалось такое. Я не успел дать детям ни одного урока.*

*Через час я иду выполнять задание Родины. Вряд ли я вернусь живым. Я иду туда, чтобы сохранить в наступлении жизнь многим своим товарищам. Я иду ради народа, ради победы, ради всего прекрасного, что есть в человеке.*

*Это мое последнее письмо, это мои последние слова. Мама! Да, тысячу раз я буду повторять твое материнское имя и все-таки останусь перед тобой в неоплаченном долгу. Прости меня, мама, за горе, которое я приношу тебе. Но ты пойми, мама, это не безрассудная жертвенность, нет. Так учила меня жить сама жизнь. И это мой первый и последний урок детям, которых я должен был учить. Я иду по своей воле и убеждению. Я горжусь, что выполняю свой самый высокий долг перед людьми.*

*Не плачь, мама, пусть никто не плачет. В таких случаях никто не должен плакать.*

*Прости, мама, и прощай.*

*Прощайте, горы мои — Ала-Тоо! Как я любил вас!*

*Твой сын — учитель,  
лейтенант Маселбек Суванкулов.  
Фронт, 9 марта 1943 г. 12 часов ночи».*

Как во сне я подняла тяжелую голову. Во дворе безмолвной толпой стояли люди. Никто не плакал. Маселбек просил, чтобы никто не плакал. Женщины подняли меня под руки. И когда я встала, то ветер набежал на яблоню и посыпались тучей белые лепестки цветов. Они бесшумно падали нам на головы. За белой нашей яблоней, за белыми вершинами далеких гор синело бесконечно чистое и бездонное небо. А во мне, в душе моей, поднимался крик. Мне хотелось кричать на весь белый свет. Но я молчала. Я выполняла последнюю волю моего сына, он просил, чтобы я не плакала. Я не знаю, что делала Алиман. Я увидела, как она медленно шла ко мне с вытянутыми руками. Она подошла совсем близко, посмотрела мне в глаза, отвернулась и пошла, закрыв лицо ладонями.

Вот так я лишилась и своего среднего сына. Осталась мне шапка его.

## 12

— А мне осталось имя его, Толгонай. Я его родина. Народу остались слова его, Толгонай. Они его земляки.

— Да, мать-земля, все это так. И колхоз наш называется его именем. Письмо Маселбека прислали в сельсовет его однопольчане вместе со своим письмом. Они писали, что никогда не забудут своего товарища, будут гордиться его подвигом и что Родина будет всегда чтить его память. Они писали, что Маселбек перед большим наступлением наших войск взорвал вражеский склад боеприпасов, от взрыва смело все живое вокруг. Я склоняю голову перед героями и перед сыном своим Маселбеком, славой которого горжусь. Но ничто, никакая слава не может мне возместить его живого. Пусть спросят любую мать, никакая мать не мечтает о такой славе. Матери рожают детей для жизни, для простого, земного счастья...

— Ты права, Толгонай. Я всегда помню ту весну, когда пришла победа, я всегда помню тот день, когда вы, люди, встречали солдат с фронта, но я до сих пор не могу сказать, Толгонай, чего было больше — радости или горя.

## 13

В тот день нам пришел черед пахать свой огород колхозным плугом. Мы заканчивали пахоту, когда вдруг на улице послышались какая-то беготня и шум. Алиман побежала узнать, в чем дело, и вернулась мигом.



— Мама, собирайся быстрее, — заторопила она меня. — Народ идет солдат встречать.

Плуг, быки в ярме так и остались на пашне. Действительно, весь аил — конные, пешие, согорбленные старики и старухи, дети, раненые на костылях, — все куда-то бежали. На бегу передавали, что какой-то проезжий (зареченский как будто) сказал кому-то, что солдаты возвращаются по домам, что на станцию прибыли два эшелона, там ребята со всех аилов и что они уже в дороге и с часу на час должны подоспеть. Никто не спрашивал, правда ли это. Люди хотели этой правды, люди мечтали об этом долгожданном дне, поэтому ни у кого не было никаких сомнений.

Мы сбежались на окраину аила, туда, где закладывалась до войны новая улица. Конные не слезали с седел, пешие поднялись на пригорок у арыка, мальчишки забрались на развалины недостроенных стен, а иные вскарабкались на деревья. И все ждали и смотрели на дорогу. Одни, нетерпеливо перебивая друг друга, рассказывали о добрых снах, виденных накануне, другие собрали по пригоршне камешков, стали гадать на них. И во всем этом — и в снах, и в гаданиях, и в других предчувствиях и приметах — видели люди хорошие, желанные предзнаменования. Вспоминаю я теперь и думаю, что если бы люди во всем мире всегда так ждали, охваченные одним чувством, всегда так любили своих сыновей, братьев, отцов и мужей, как мы их ждали и любили, то на земле, может быть, не было бы войны.

Когда разговоры в толпе утихали, каждый молча думал о своем, опустив голову. Люди ждали решения судьбы. Каждый спрашивал себя: кто вернется, а кто нет? Кто дождется, а кто нет? От этого зависела жизнь и дальнейшая судьба.

Вот в такую минуту один мальчишка вдруг крикнул с дерева: «Идут!» И все замерли, натянулись, как струны комуза, а потом все разом глухо повторили: «Идут!» — и снова замолчали в ожидании, снова стало тихо. Очень тихо. Но затем, словно опомнившись, все зашумели: «Где? Где идут? Где?» — и снова замолчали. Впереди на большаке показалась бричка. Она резво катила по дороге, остановилась на развилке, где отходит проселок к нашему аилу, и с брички соскочил солдат. Он взял свою шинель, вещевого мешок, распрощался с возницей и зашагал в нашу сторону. В толпе никто не проронил ни слова, все молча и удивленно смотрели на дорогу, по которой шел всего лишь один солдат с шинелью и вещевым мешком, перекинутым через плечо. Он

приближался, но никто из нас не двинулся с места. На лицах людей застыло недоумение. Мы все еще ждали какого-то чуда. Мы не верили своим глазам, потому что мы ожидали не одного, а многих.

Солдат подходил все ближе и ближе, потом остановился в нерешительности — тоже оробел, увидев на окраине аила безмолвную толпу людей. Он, наверно, подумал: что это за люди, почему они молчат, почему они стоят как вкопанные? Может быть, они кого-то ждут? Солдат раза два оглянулся на дорогу, но, кроме него, на ней не было ни души. Он снова зашагал к нам, и снова остановился, и снова оглянулся назад. Босоногая девчонка, что стояла впереди нас, неожиданно выкрикнула:

— Это мой брат! Аширалы! Аширалы! — И, сорвав с головы косынку, кинулась к нему со всех ног.

Бог ее знает, как она его узнала, только крик ее, как выстрел, вывел нас из оцепенения. За ней побежали мальчишки, девушки.

— Да ведь это он, Аширалы! Это он! — зашумели голова, и тогда все, старые и малые, все мы хлынули толпой к солдату.

Какая-то могучая сила подхватила всех нас и понесла, как на крыльях. Когда мы бежали к солдату, раскрыв объятия, то мы несли вместе с собой всю свою жизнь, все пережитое и выстраданное, наши муки ожидания и наши бессонные ночи, наши поседевшие волосы, наших постаревших девушек, наших вдов и сирот, наши слезы и стоны, наше мужество несли мы солдату-победителю. И он, вдруг поняв, что это встречают его, тоже побежал нам навстречу.

И когда мы бежали всей толпой, мне почудилось, что мимо проносится с грохотом эшелон; ветер бьет в лицо, я слышу крик: «Мама-а! Алима-ан!» — и в ушах стучат, стучат колеса...

Конные первыми доскакали до солдата, на лету подхватили его шинель и вещевого мешок, а самого взяли за руки с двух сторон.

О, Победа! Мы так долго ждали тебя! Здравствуй, Победа! Здравствуй! Прости наши слезы! Прости мою невестку Алиман за то, что она билась головой на груди Аширалы и спрашивала его, трясая за плечи: «Где? Где мой Касым?» Прости всех нас, Победа. Столько жертв мы принесли ради тебя. Прости за наши крики. «Где остальные? Где мой? Где мой? Где же все другие? Когда вернутся все?» Прости сол-

дата Аширалы за то, что он отвечал всем нам: «Вернутся, родные мои, все вернутся. Скоро вернутся, завтра вернутся». Прости нас, Победа, прости. Обнимая и целуя Аширалы, я думала в ту минуту о Джайнаке, о Маселбеке, о Касыме, о Суванкуле: из них никто не вернулся. Прости меня, Победа...

Мы шли молча. Алиман все еще изредка и неожиданно всхлипывала, тяжело, шумно вздыхала, словно ей не хватало воздуха. Лицо ее было сумрачно, она смотрела только под ноги себе и, понутив голову, о чем-то напряженно думала. Я догадывалась: мрачные мысли одолевают ее. Да, Алиман очень страдала. Я это видела по ее лицу, по ее тоскливым взглядам и прикушенной губе. Я знала, о чем она думала, и говорила ей про себя: «Ну что ж, невестушка, верно, придется нам расстаться. Теперь-то уж небось ты окончательно похоронила Касыма. А что ж делать? Не умирать же за умершим и не вечно тебе куковать вдовой. Все кончено. Ты уйдешь. Ничего не поделаешь — уйдешь, конечно. Ну что ж, я не в обиде. Не по воле своей и не по прихоти уходишь. Судьба такая. Эх, судьба, судьба... Знала бы ты, Алиман, как жалко мне разлучаться. Жили мы с тобой, как мать с дочерью. Будешь уходить, благословлю тебя, как дочь свою, буду молиться за твое счастье. Тебе еще жить, молодая ты и красивая, найдется кто-нибудь. Главное, чтобы человек хороший попался. А сможет ли он быть для тебя таким, как Касым? Кто его знает. И помочь тебе я ничем не могу. Одна лишь просьба: когда уйдешь, то вспоминай меня хоть изредка. Никого у меня нет теперь, кроме тебя. Ведь я остаюсь в доме совсем одна, одна в целом свете. Подумать страшно. И нет мне утешения на старости лет: не успела ты родить мне внука. Но для тебя это, может быть, к лучшему. И ты не смотри на меня. Не губить же тебе молодость свою из-за меня, старухи. Я свое отжила. А тебе жить. Когда надумаешь, тогда и скажешь. Ты свободна уйти в любой день. Уйдешь со спокойной совестью. А я буду всегда тебя помнить, любить и благодарить тебя...»

Так я шла, думала и готовилась сказать эти слова. И Алиман, оказывается, знала, что у меня на уме. Когда люди живут душа в душу, они понимают друг друга с полуслова, с полунамека. И все-таки она сказала не то, чего я ожидала.

Мы шли мимо заброшенной улицы. И я на беду свою глянула на бывшую стройку Алиман и Касыма: на дворе там все так же, как пять лет тому назад, серой громадной кучей лежали навезенные камни, а кирпичи давно превратились в

грудю обломков. С тех пор как началась война, недостроенная улица совсем заглохла. Каждое лето усадьбы зарастали репьем и лебедой. Стены осели, пообвалились, и даже внутри домов росли колючки, выглядывали из пустых глазниц окон. До самой осени здесь бродили лишь телята на приколе да грустно куковали удоны. Эти хохлатые птицы любят запустение кладбищ. Они и в тот час сидели на развалинах, как на могильниках, нежились тихой теплыню весны и вполголоса, уныло перекликались.

«Боже! — подивилась я пустоте. — Где же остались люди, кто хотел здесь жить, иметь свой дым над очагом? И бедному Касыму моему не довелось построить здесь свой первый дом!» Пусто, горестно стало на душе. А Алиман, придерживая меня за руку, жалеючи улыбнулась.

— Мама, — сказала она, — ну что ты так поникла? Или совсем уж разуверилась в жизни? Не надо, мама. Понимаю, тяжело. Но ты крепкая у меня. Ты у меня... — Она запнулась, собираясь что-то сказать, и, наверно, раздумав, виновато улыбнулась. — Ты у меня просто хорошая. Давай сядем здесь на бугорок, поговорим, мама.

«Ну вот, сейчас скажет, скажет, что уйдет», — подумала я. Горячей волной нахлынула жалость к себе и к ней, и я отвела, стараясь унять задрожавший голос:

— Хорошо, сядем, поговорим.

Мы присели на бугорок на краю дороги. Да, сели мы с ней так, вдвоем — свекровь и невестка, чтобы решить свою судьбу, как нам дальше быть.

Алиман потупилась и, вздохнув, заговорила:

— Ну вот, мама, война проклятая кончилась. И ты теперь думаешь, наверное, как нам жить дальше. — Она замолчала, и я молчала. Алиман подняла глаза, серьезно и прямо посмотрела мне в лицо. — Не печалься, мама, — грустно улыбнулась она. — Думаешь, не осталось нам от счастья ничего, ну маленько, чуточку хотя бы. Не может быть, чтобы из четырех человек не вернулся ни один. Нет, ты постой, мама, не перебивай, послушай меня. Честно говорю, не мне тебя утешать, и обманывать тебя я не стала бы. Ты поверь мне, мама, сердце мне подсказывает так: Джайнак должен вернуться. Пропал без вести — это значит, что живой. Ведь никто не видел его убитым. А может, он в плену или с партизанами скрывается в лесах, а теперь вдруг объявится. Или лежит где тяжелораненый и не может сообщить об этом. Всякое может быть. Вот увидишь — возьмет да вернется,

упадет как снег на голову. Давай подождем, мама, не будем хоронить прежде времени. Были же случаи — ты же сама слышала — живыми оказывались не то что там без вести пропавшие, а даже те, на которых приходила черная бумага. Вот в соседнем аиле и еще где-то у казахов Желтой равнины уже оплакивали, поминки справили, а мертвые оказались живыми, вернулись. А я верю, точно знаю, Джайнак наш живой, вернется скоро. Никак не должно быть, чтобы из четырех человек ни один не вернулся. Давай повременим, мама, долго ждали, подождем еще. А обо мне не беспокойся, если раньше я была тебе невесткой, то теперь я тебе как сын, вместо всех сыновей...

Алиман замолчала, и мы долго еще сидели молча. Была уже середина мая. Далеко-далеко от нас собирались в тучу облака и словно бы наливались черным дымом. Там погромыхивал гром. Оттуда тянуло прохладным духом дождя. В той дали шел светлый ливень. Он проливался струящимися потоками, блистал на солнце и незримыми широкими шагами ходил по земле: то уходил в горы, то спускался вниз, то снова поднимался в горы, то снова опускался к степи. Я смотрела в ту сторону, не отрывая глаз. Далеким дождевым ветром обдавало мое горячее лицо. Я ничего не говорила Алиман. Слова мои для нее были там: такие же щедрые и светлые, как этот светлый далекий ливень.

Да, будут идти дожди, будут расти хлеба, будет жить народ — и я с ним буду жить. Я так думала не потому, что Алиман пожалела меня, не потому, что она из милосердия сказала, что не оставит меня одну. Нет, я радовалась другому. Кто говорит, что война делает людей жестокими, низкими, жадными и пустыми? Нет, война, сорок лет ты будешь топтать людей сапогами, убивать, грабить, сжигать и разрушать — и все равно тебе не согнуть человека, не принизить, не покорить его.

А моя Алиман была человеком! Ради кого крепила она в себе веру в то, что наш Джайнак, спрыгнувший темной ночью с парашютом в стан врагов и бесследно пропавший той же ночью, непременно жив и непременно вернется? Ради кого убеждала она себя, что мир не так уж несправедлив, как нам кажется? И я не посмела разрушить эту веру, я не посмела смутить ее надежды на лучшее и даже поверила ей. А что, если правда Джайнак жив? Значит, не будет никакого чуда, если в один прекрасный день он вернется. Я поверила, как дитя. Я этого хотела. И уже мечтала об этом дне.

когда Алимман нарушила молчание. Она первая вспомнила, что огород остался недопаханным.

— Мама, а ведь у нас плуг простаивает. Пошли живей! Земля пересохнет, — заторопила она.

Мы прибежали на огород. Быки, волоча за собой плуг, давно уже паслись на траве за огородом. Алимман пригнала их назад, мы снова установили плуг в борозду и продолжали пахоту. Странно, как мало надо человеку! Порой одного доброго слова ему хватит, чтобы воскреснуть из мертвых. Так случилось и с Алимман. Или мне так казалось? Но она вдруг превратилась в прежнюю, довоенную Алимман. Все в ней засветилось, и каждое слово ее, каждая улыбка и движение — все было таким, как когда-то. Она забросила на между свой коротенький бешмет, подоткнула платье, засучила рукава, косынку сбила на затылок и ловко погоняла быков.

— Эй, белоголовый, цоб-цобе! Эй, куцехвостый, цоб-цобе! — покрикивала она на них, хлестко хлопая длинным кнутом.

Алимман хотела, чтобы я немного приободрилась, чтобы я работала, жила. Потому-то она и вела себя так в тот памятный день. Она оборачивалась на ходу и, смеясь, говорила мне:

— Мама, полегче налегай на чапыги — камень пойдет наверх. Побереги свою силушку!

Когда осталось нам еще два-три круга пройти по огороду, и дождь подоспел. Это был шумный, веселый ливень. Дождь сначала потрогал спины волов первыми редкими каплями, призадумался — и затанцевал сразу всеми струями, заиграл, будто в ладоши захлопал, вмиг всполошил весь аил. Закудахтав, растопырив крылья, побежали куры с цыплятами. Женщины срывали белье с веревок и тоже бежали к домам. На улицу выскакивали детвора и собаки. Они носились в дождевой кутерьме наперегонки. Ребятишки пели песенку:

Дождик, дождик, подожди,  
Мне с тобою по пути...

— Намокнем! Побежим переждем! — сказала я Алимман. Она мотнула головой:

— Ничего, мама, не раскиснем! — и, как девочка, захохотав от шекотки дождя, стала быстрее погонять быков.

И я заразилась ее весельем. Любовалась ею и шептала про себя: «Светлая моя, дождевая! Какая бы ты счастливая

была!.. Эх, жизнь, жизнь...» Теперь-то я понимаю, что все это она делала для меня. Она очень хотела, чтобы я забыла о войне, о горе, чтобы я веселей глянула на жизнь. Алиман подставляла руки и лицо струям дождя и говорила мне:

— Смотри, мама, какой дождь! Смотри, какой чистый дождь! Год будет урожайный! Цоб-цобе, дождь, лей, поливай щедрей, цоб-цобе! — И хлестала кнутом струи дождя и парные спины волов.

Смеялась она и не знала, наверно, какая она была красивая под дождем, в намокшем платье, тонкая, с крутыми грудями и сильными бедрами, с сияющими от счастья глазами и с разгоряченным румянцем на щеках. Будь же ты еще раз трижды проклята, война!

Когда ливень поредел и ушел гулять дальше, Алиман примолкла. С сожалением смотрела она вслед уходящему дождю, прислушивалась к его стихающему за рекой шуму, быть может, думая о том, что и дождь не вечен, что и он быстро проходит. Она печально вздохнула. Вспомнила ли она о Касыме или еще что, но, глянув на меня, снова улыбнулась.

— Вот, кстати, по дождю и засеем кукурузу! — сказала она и побежала домой.

Алиман принесла в ведерке намоченную кукурузу. Взяла полную пригоршню набухших, крупных зерен.

— Мама, — сказала она мне. — Пусть Джейнак вернется, пока поспеют молочные початки! — И швырнула по огороду первую горсть.

Никогда не забыть мне этот день. Как новорожденный ребенок, выглянуло из-за облаков омытое дождем чистое солнце. По темной влажной пашне Алиман шла босая и, улыбаясь, разбрасывала через каждый шаг семена. Она сеяла не просто зерна, а зерна надежды, добра, ожидания.

— Вот посмотришь, мама, — говорила она при этом. — Сбудутся мои слова. Я еще сама испеку Джайнаку молочную кукурузу в горячей золе. Помнишь, он всегда дрался со мной из-за початков? Однажды он вытащил из золы горячий початок, сунул за пазуху — и бежать от меня. А початок как припечет ему живот. Он завертелся, словно ужаленный. Целое ведро воды выплеснул себе на грудь. А я нет чтобы ему помочь как-то, со смеху покатываюсь и приговариваю все одно: «Так тебе и надо! Так тебе и надо!» Помнишь, да, мама? — смеялась она, вспоминая этот забавный случай.

И за это спасибо ей...

## 14

— Да, Толгонай, долго вы ждали Джайнака.

— Долго, мать-земля. Кукуруза поспела не один раз, а два, три раза поспела, а Джайнак наш так и не вернулся. И никаких известий о нем не объявилось. Ты же помнишь, сколько раз я приходила к тебе со слезами, горем своим делилась...

— Приходила, Толгонай. Да, много раз приходила ты ко мне. Плакала, спрашивала, как быть с невесткой, не погубить бы ее молодую жизнь. Но ничем я не могла помочь тебе, Толгонай. И сейчас вот уже прошло столько лет, но и сейчас ничего не скажу тебе.

## 15

Жизнь шла своим чередом, колхоз стал понемногу налаживаться, житье полегчало, и вместе с этим тускнела память о войне, стирались ее следы в душах людей.

Мы с Алиман все так же работали в колхозе. Работу бригадирскую я передала молодым сразу же, как солдаты вернулись с фронта.

— Три года без вас поработала, походила по мукам, а теперь вы вернулись, беритесь за дело сами, — сказала я ребятам. — А меня увольте, постарела я за эти годы, буду вам и так помогать.

Тогдашняя молодежь меня и сейчас зовет «бригадир-апа», стало быть, уважают еще...

Хотя жизнь и вошла в свою колею, мы с Алиман так и не обрели покоя. Никто этого не замечал, но в душе мы постоянно страдали, постоянно думали об одном и том же. На первый взгляд, казалось бы, чего легче — с глазу на глаз откровенно потолковали: так и так, мол, пусть каждый пойдет по своей дороге, пусть каждый устраивает свою жизнь. Да, суть была очень проста. Если бы невесткой моей была не Алиман, а какая-нибудь другая женщина, если бы не была она так добра со мной, я, недолго думая, сказала бы ей в глаза, что, мол, нечего засиживаться — пока не поздно, найди себе мужа и уходи. А ей, Алиман, не решалась сказать этих слов. Ведь как ни подстилай слова помягче, как их ни выбирай, а смысл остается тот же — грубый и жестокий смысл. Я не имела права гнать ее поневоле. Однажды как-то заехали к нам по пути ее родственники из Каиндов. Что-



бы совесть моя была чиста, я заставила себя сказать им, что, мол, Алиман свободна и я готова благословить ее. Но Алиман им так отрезала, что мне было неудобно перед людьми и за себя, и за нее. Она и говорить им запретила об этом. У меня, мол, своя голова есть, уйду я или не уйду, когда уйду — это дело мое, и не вмешивайтесь в нашу жизнь. Каялась я потом, что поспешила. Глаза прятала от Алиман. А она, умница моя, все поняла, словом не обмолвилась, как будто бы ничего и не было. Вот так мы и жили, жалели друг друга, обманывались надеждами на возвращение Джайнака; потом и эти надежды иссякли, а время шло, и уже стало поздно...

Как это получилось, я и сама не знаю. Аил-то наш на скотопрогоне. Издавна гоняют здесь скот — весной в горы, а осенью — с гор, в степь. Бывает, что задерживаются у нас скотоводы по нескольку дней. Отдых дают себе и отарам.

Осенью сорок шестого года гонял здесь свою отару по сучодолу в поймище один молодой чабан из соседнего аила. Видно, солдат бывший, на нем еще была серая шинель, ездил он на хорошем коне, с ружьем через плечо, шубу возил с собой, притороченную к седлу. Часто он проносился рысью по аилу. Ну, носится — и ладно, мало ли людей ездит по дорогам, кому какое дело. Я его и знать-то не знала.

В ту осеннюю пору свадьбы шли в аиле. Кто-то устроил в честь свадьбы сына козлодранье на конях. Чабан этот оказался ловким наездником. Мы с Алиман собирались на свадьбу сходить. Пока она принаряживалась, по улице проскакал кто-то и словно упал у ворот. Я выбежала глянуть. Это был тот чабан. Конь с запала горячился под ним, приплясывал, сам он ладно красовался в седле, с плетью в зубах, с подвернутыми рукавами гимнастерки. А у самых ворот лежала туша козла. Победитель игры волен бросить его в любой двор. Только я почему-то так растерялась, что и не знала, что сказать.

— Ты к чему это, сынок? — сорвалось у меня с языка.

А он спросил:

— Дома кто?

— А кого тебе надо? — говорю.

Тогда он пробормотал: мол, уронил козла, подхватил его с земли и, развернув коня, умчался вверх по улице. Тут подросла погоня за ним. Увидели, что он ушел с козлом, и тоже следом помчались на конях. Вот и все. После этого я его не встречала. А тогда вроде обидно было. Раз уж привез в дом козла, должен его оставить хозяевам — обычаем такой.

А может быть, и в самом деле уронил случайно? Так почему же козел лежал не на улице, а под воротами? Что это могло значить?

Когда из дома вышла Алиман, я сразу все поняла. На ней был цветастый полушалок, шелковое платье. Она окинула меня быстрым взглядом, опустила голову, застыдилась.

— Пойдем, мама, — тихо сказала она.

Без слов стало ясно, почему прискакал сюда этот чабан. Я вспомнила, что вот уже несколько дней по вечерам Алиман ходит по воду на реку, хотя за двором в арыке полно воды, и возвращается поздно. Больно стало на сердце. Не потому, что я ревновала ее — а может быть, и ревновала, — но дело было в другом. Ведь я сама молила бога, чтобы Алиман не засиделась во вдовах, чтобы она быстрее нашла себе мужа, я желала ей этого, как счастья, а тут страх вдруг охватил меня. Забеспокоилась я, будто не невестку, а дочь родную должна выдать замуж. Боялась я, как бы она не ошиблась, каково-то ей будет в новом доме, да к каким людям попадет, да что за муж окажется. И на свадьбе, и по дороге, когда возвращались домой, и дома не выходило у меня это из головы.

«Ты хорошо узнала его, Алиман? Что он за человек? Не торопись, доченька Алиман, смотри не ошибись. Узнай хорошенько человека», — просила я ее про себя. И думала, как бы не оказаться помехой на пути молодых. Как бы так сделать, чтобы Алиман не стеснялась меня, как бы осторожно дать ей знать, что она вольна поступать, как считает сама нужным. И я старалась скрыть свою тревогу, разговаривала с ней, как обычно, даже шутила, смеялась, чтобы она не насторожилась и, не дай бог, не подумала, что я не одобряю ее. И все-таки знала она, оказывается, о чем я тревожилась.

Вечером, когда Алиман взяла ведро и пошла по воду, я облегченно вздохнула, словно гора свалилась с плеч. Вот и хорошо: пусть встретится с ним, подумала я. Но она быстро вернулась назад. На реку не пошла, а принесла воды из арыка.

— Мама, — сказала она, ставя ведро на место. — Я воды согрею; помой себе голову.

— Успеется, — говорю, — доченька, завтра есть день, если тебе куда надо...

Но она перебила меня:

— Завтра на работу, некогда будет. Ты помой, мама, я тебе волосы расчешу гребнем.

Нагрев котел воды, Алиман принялась возиться со мной, как с маленькой девочкой, которая сама не может вымыть себе голову. Сперва она заставила меня мыть волосы кислым молоком, потом душистым мылом, потом водой и снова мылом, и все время не отходила ни на шаг, то и дело меняла воду, горячую мешала с холодной и ковшом поливала мне на голову. В другой раз я бы не утерпела, сказала, чтобы она оставила меня в покое, но в тот вечер я не могла так поступить. Я чувствовала себя виноватой, потому что из-за меня она не пошла на свидание. «Вот ведь беда, ну зачем она это сделала?» — досадовала я и на себя, и на нее. А Алиман как будто была очень довольна всем и лишь, расчесывая мне гребнем косы, сказала грустно:

— Мама, когда-то косы твои были густые, наверно, и ты ведь молода была.

Она тихонько погладила меня по голове и ласково коснулась ладонями моего лица. Я не поднимала глаз — слезы навертывались. «Стало быть, прощается со мной», — думала я с тоской. Потом она заплела мне косы и достала из сундука свои давнишние духи. Касым их покупал, а она все бергла. Я стала отмахиваться:

— Да что ты, Алиман, бог с тобой! Зачем мне это? Стыдно на старости-то лет, люди засмеют!

А она и слушать не хотела, смеялась, развеселившись, надушила мне лицо, шею, голову, вылила все, что оставалось в пузырьке. А потом стала обнимать меня, рассматривать со всех сторон.

— Ну вот смотри, какая ты у меня молодая и красивая стала! — радовалась она своей затее.

Я тоже повеселела. После чая Алиман сказала:

— А теперь будем отдыхать, мама. Я тебе сейчас постелю.

В ту ночь мы обе не спали. Алиман думала о чем-то своем, вздыхала в углу, ворочалась с боку на бок. А у меня душа была полна ею. То мне виделось, как Алиман бежала по пшенице к комбайну с букетом дикой мальвы. Как она положила мальву на ступеньки комбайна и как озорно побежала назад. То мне виделось, как она не давала Касыму сесть на коня, как она, словно малое дитя, с плачем цеплялась за его руку. То вспоминалась наша поездка на станцию. Чудилось, мы быстро едем на бричке, Алиман сидит со мной рядом с морозным румянцем во всю щеку и вся запорошена снегом. Снег налип на полушалок, на выбившиеся пряди волос, на воротник, и она от этого кажется еще кра-

сивей. То мне виделось, как она кинулась ко мне с распротертыми руками: «Мама-а! Вдовы мы, несчастные вдовы!» То виделось, как она убегала от меня в черном платке по красному полю тюльпанов. Все, что связывало нас, перебрала я в памяти и вдруг представила себе, как она уходит с тем чабаном, угоняя его отару по суходолу. Будто слышу ее голос: «Прости, мама, ухожу я. Не поминай лихом, прощай, мама!» Я бежала за ней по крутояру, махала рукой и тоже прощалась: «Прощай, свет мой! Закатилась звезда моя. Прощай, Алиман! Будь счастлива, прощай!.. Эй, парень! — кричала я чабану. — Смотри не обижай ее, береги мою невестку. А не то проклянущу тебя, страшной клятвой проклянущу!» Слезы стекали по лицу на подушку. Я тихо плакала, укрывшись с головой, чтобы не услышала Алимана.

На другой день, вернувшись с работы, Алиман никуда не пошла. Осталась вечером дома. После этого чабан угнал куда-то отару и больше не появлялся. Алиман, видно, переживала это, ходила хмурая.

«Плюнула бы на меня и ушла с ним, коли он по душе тебе, — ругала я ее про себя и жалела: — Эх, бедняжка ты моя, горемычная! И на что ты уродилась такая на беду свою!» Но дни шли, и понемногу все это забылось.

Ранней весной тот чабан снова появился у нас. Я заметила его в поймище, где он пас овец. И снова Алиман стала уходить по вечерам и возвращаться поздней ночью. Я ей ничего не говорила. Сама она должна была решать свою судьбу.

Как-то ночью я долго ждала Алимана. Аил весь спал, а я прилегла было, прикрутила лампу, но не спалось. Неспкойно, тяжело было на душе. Ожидая Алимана, я прислушивалась к каждому шороху за окном. На дворе стояла луна, тучи иногда задевали ее краем, погода была тихая, весенняя. Знобило меня. Не от холода, а от одиночества. Укуталась я в шубу и задремала сидя. А потом проснулась, испугавшись чего-то; смотрю — Алиман появляется в дверях. Пуговицы на платье сорваны, видна голая грудь, волосы растрепаны и глаза помутневшие. Первый раз я видела ее пьяной. Переступив порог, она зашаталась, едва не упав, схватилась за печку и замотала головой. У меня мороз пробежал по коже.

— Что смотришь? — спросила она, подняв голову. — Ну что ты смотришь на меня? Да, я пьяна. Да, я пила водку. А что мне остается делать? Кому же пить, если не мне, а? Что молчишь?

Онемела я, слово не в силах была выдать. Жутко было

глядеть, до чего невестка моя докатилась. Алиман стояла все так же, держась за печь. Опустив голову, она вдруг зашептала:

— Мама, ты ничего не знаешь... А я... я сегодня... Помнишь, когда провожали Касыма, мы ходили на реку. Вот там... — И, не договорив, вскрикнула, схватилась за голову, упала на пол и забилась в плаче.

И только тогда я пришла в себя. Кинулась я к ней, схватила ее, прижала к груди.

— Что с тобой, Алиман? Что ты плачешь? Ну скажи? Опечалилась? Или обидел кто? Скажи, скажи мне! Или на меня в обиде? Если в обиде, выскажи все, что на душе...

— Нет, нет, мама, мамочка! — захлебывалась Алиман в слезах. — Бедная моя, несчастная, одинокая моя! Ничего-то ты не знаешь... А если бы и знала, что бы ты могла сделать? Ой, мама, мама, ой, мама!

Долго еще она стонала, уткнувшись в меня мокрым лицом. А потом понемногу успокоилась и уснула. Но и во сне она продолжала всхлипывать и жалобно стонать. До самого рассвета просидела я у ее изголовья и все думала: как нам быть дальше? Что делать? Решила поговорить с ней начистоту. Но утром она не стала разговаривать со мной. И без того ей было тошно. Молча, глазами просила не напоминать ей о том, что случилось ночью, только, когда мы выходили на работу, тихо сказала в воротах:

— Прости меня, мама.

И я не стала больше тревожить ее.

Прошло месяца три. Летом было следствие по делу того самого дезертира Дженшенкула. После войны он не решался открыто вернуться в аил, но украдкой по ночам, оказывается, бывал дома. Скрывался он где-то в Казахстане, промышлял там спекуляцией, перепродавал ворованный скот и вот попался. Выяснились его прошлые дела, и Дженшенкула привезли к нам в аил на очное дознание. Ко мне тоже прискавал рассыльный из сельсовета, говорит:

— Вызывают тебя свидетелем.

Я пошла. На улице встретила Алиман. Она возвращалась с работы. Усталая, понурая, шла она в сторонке от всех. Потемнела она лицом в то лето. Мне стало жалко ее, и, чтобы не сидела она дома одна, я сказала ей:

— Идем, детка, ходим в контору. Домой вернемся вместе.

А она ответила:

— Нет, мама. Что мне там делать? Я пойду домой, голова что-то болит.

— Ну, иди, — сказала я ей. — Да приляг, отдохни. Коро-  
ву я сама буду доить.

Возле сельсовета стояла глухо крытая машина. На крыль-  
це толпились люди, вызванные как свидетели, и те, что за-  
вернули сюда по пути с работы. Давненько я не видела  
Дженшенкула, почитай, лет семь. Видно, дурная жизнь шла  
ему впрок. Здоровенный, толсторожий, сидел он на скамей-  
ке у окна, угрюмо поглядывая исподлобья, и огрызался в от-  
вет кому-то:

— Ты говоришь, что вор, а вы меня ловили руками, вы  
меня видели глазами? Нет! Так вот не возводи напрасно по-  
клеп. Можешь говорить сто раз, и все это пустое. Факты,  
факты нужны!

Услышав это, я рванула приоткрытое окно и крикнула с  
улицы:

— Ты врешь, сволочь! Тебе факты нужны — вот я —  
факт!

— Мамаша, войдите сюда, — попросил меня следователь,  
привстав из-за стола.

Я вошла и сразу заговорила:

— Да, мы тебя не ловили на месте преступления. Да нам  
и некогда было гоняться за тобой. Мы тогда ногтями пахела  
землю, мы тогда хлеб добывали для фронта. Мы тогда коло-  
ски собирали, чтобы прокормить детей. А ты угонял наших  
лошадей — с плуга срывал тягло рабочее. Ты тогда вырывал  
из рук последние семена, собранные по зернышку, от детей  
отрывали мы, а ты от нас. Значит, ты был врагом. И когда я  
догнала тебя, я крикнула: «Стой! Я тебя знаю, Дженшенкул,  
стой!» Ты обернулся и выстрелил в меня. Вот тебе факты!

Я замолчала, и следователь сказал мне:

— Спасибо вам, мамаша. Теперь вы свободны. Можете  
идти домой.

Я выходила из сельсовета, как вдруг к двери выскочила  
жена Дженшенкула. Она, как бешеная, накинулась на меня  
с криком:

— Ах ты, карга одинокая! Ты все правды ищешь, и прав-  
да карает тебя. Так тебе и надо! Мало было, теперь попла-  
чешь. Откуда живот у твоей невестки, а? Под носом у тебя  
твоя шлюха забрюхатела, а ты правды ищешь. Вот и поищи-  
те теперь вместе, бесстыжие твари!

Люди оттащили ее от меня в угол, зажали ей рот, но я  
сказала им:

— Отпустите ее, не троньте! — И молча пошла домой.

То ли пыль по дороге была такая горячая, то ли стыд жег мои ноги, но сначала я чуть не бежала. А потом медленно побрела, стала собираться с мыслями. Никогда мне в голову не приходило такое, а ведь можно было догадаться. В последнее время Алиман как-то странно изменилась, неразговорчивой стала, нелюдимой, сторонилась даже подруг своих. Я приписывала это тому, что с чабаном тем у нее ничего не получилось. Он еще весной ушел в горы, и след его простыл. Думала, что не поладили они, вот она и переживает. Однако дело-то оказалось совсем другое. Ах, какая беда! Но кто мог знать, что так получится. Растерялась я, не представляла, что делать. На другой день вечером Айша позвала меня к себе заглянуть на огонек. За чаем и разговорами она сказала между прочим:

— А жена Дженшенкула ночью переехала куда-то из айла.

Я промолчала. Какое мне было дело? Переехала, ну и пусть. Каждый волен себе. И только потом, года через два, я узнала: пришли ночью люди к жене Дженшенкула, погрузили все ее добро на брички и сказали: «Езжай куда хочешь. Тебе у нас в айле нет места». После этого никто никогда не напоминал мне о нашей с Алиман беде. Может быть, самой ей и говорили что-нибудь, может быть, люди всякое думали про себя, кто жалел, а кто осуждал ее, но мне никто не намекал об этом, и за это людям великое спасибо. Прошло столько лет, но все по-прежнему уважают меня.

После того как я узнала, что Алиман беременна, у нас с ней ничего не изменилось. Жили, работали, советовались обо всем, как и раньше. О своем будущем материнстве Алиман не заговаривала. То ли не решалась, то ли откладывала до поры до времени. Я тоже молчала об этом, щадила ее гордость. А главное — в душе я не осуждала ее. Права такого не имела, потому что вся ее жизнь проходила на моих глазах, все я видела, все я понимала и в чем-то сама была виновата. И поэтому я сразу сказала себе: если Алиман совершила грех, то это и мой грех, если она родит, то это и мой ребенок, и весь стыд, все тяготы и муки возьму на себя. Я знала, так же как и она, что рано или поздно наступит день, когда мы поневоле заговорим и простим друг другу долгое молчание. И все же мы откладывали разговор сегодня на завтра, завтра на послезавтра. Однажды я все-таки проговорила.

К концу лета, когда Алиман носила уже пятый или шестой месяц, как-то рано утром я погнала корову к стаду.

Мальчишка-пастушок звенел в то утро, как кочеток. Стадо поравнялось с нашим двором. Погоняя коров, пастушок улыбался мне во всю рожицу.

— Тетушка Толгонай! — сказал он. — Суйунчу — давайте мне плату за хорошую весть! Сноха деда Джоробека родила!

— Да ну! Когда родила?

— На рассвете.

— Мальчик или девочка?

— Девочка, тетушка Толгонай. Сказали, что имя ее будет Жаворонок. Потому что родилась она на заре, как жаворонок!

— Вот и хорошо. Пусть долго живет. Спасибо за добрую весть.

Очень тронуло меня, что этот мальчишка-сирота так радовался тому, что кто-то родился на свет. Довольная этим, я пошла домой. И как это могло случиться, что в ту минуту я забыла о том, о чем думала днем и ночью? Я крикнула в воротах:

— Алиман, ты слышала новость? Сноха Джоробека родила. Девочку. Слышала? Бедняжка так тяжело переносила; слава богу, благополучно... — И, не договорив, осеклась, словно камень попал на больной зуб.

Алиман стояла молча, опустив глаза и добела прикусив губу. Что подумала она в тот миг? Может, у нее мелькнула мысль, что, когда она родит, никто не будет с такой радостью оповещать об этом людей. Мне стало невыносимо жарко от стыда за свою неловкость. Не смея взглянуть ей в глаза, я подседа к очагу и принялась подкладывать кизяки в огонь, хотя в этом не было никакой нужды. Когда я обернулась, Алиман все так же, опустив глаза, стояла у стены. Сердце защемило от жалости. Я заставила себя встать и пойти к ней.

— Что с тобой, тебе нездоровится? — спросила я.

— Нет, мама, — ответила она.

— Может, тебе трудно на работе — полежала бы дома.

— Да нет, не трудно, мама. Табак низать — какая же трудность, — сказала она и пошла на работу.

Тогда я решила, что больше тянуть нельзя. Надо сейчас же сказать, что ей нечего стыдиться, что все новорожденные одинаковы и что ее ребенок будет для меня родным. Буду нянчить его, как нянчила своих детей. Пусть она поймет это. Пусть не вешает головы. Пусть живет гордо. Смотрит людям в глаза смело — она имеет право быть матерью.

С этими мыслями я выбежала за ней, окликнула ее:



— Алиман, подожди минутку. Разговор есть, постой!

Она сделала вид, что не услышала, ушла не оглянувшись.

Весь день переживала я, думала: «Нет, так дальше нельзя. Вечером скажу обязательно. Так будет легче ей и мне». Но не пришлось мне исполнить свое намерение. Вечером, когда я вернулась с работы, Алиман не было дома. Подождала и забеспокоилась. Что с ней? Почему так долго не возвращается? Собралась идти искать и, выйдя из дому, увидела Бекташа. Он молча вошел в калитку с большой охапкой зеленой травы. Так же молча бросил траву в кормушку корове и только тогда сказал негромко:

— Тетушка Толгонай, Алиман передала, чтобы вы ее не искали. Она сказала, что уезжает к себе в Каинды.

Ноги мои подкосились, я села на порог:

— Когда уехала?

— После обеда. Часа два тому назад. Уехала на попутной машине.

Я сидела как побитая. Так тошнило, так беспросветно было на душе, точно час мой смертный настал. Бекташ стал успокаивать меня:

— Да вы не волнуйтесь, тетушка Толгонай. Шофер посадил ее в кабину. В кабине хорошо, — говорил он.

«Эх, Бекташ, Бекташ, если бы дело было только в этом», — думала я про себя. И все же я была благодарна ему за его бесхитрое утешение. В ту пору он был уже рослым парнем. Работал в колхозе ездовым. Посмотрела я на него и удивилась, как быстро он вытянулся, раздался в плечах. И походка, и голос стали уже мужскими. И лицо спокойное, приветливое. Я его мальчишкой еще любила, и в такой горький для меня час хорошо было, что он пришел ко мне. Бекташ принес воды из арыка, поставил самовар, полил водой двор и стал подметать.

— Вы отдыхайте, тетушка Толгонай, — сказал он. — Я сейчас кошму постелю под яблоней. Мама придет. Говорит, соскучилась по вашему чаю. Она сейчас придет.

После того как ушла Алиман, дни стали бесконечными. И как я могла до этого считать себя одинокой? Вовсе не знала я, оказывается, что такое настоящее одиночество. Потерпела дня три, а потом стало невмоготу. Дом не дом, и жизнь не жизнь. Впору хоть уйти куда-нибудь скитаться по свету. А как подумаю, что там с Алиман, — еще тяжелей становилось. Хорошо, если родственники в Каиндах приняли ее подобру, а что, если издеваются: когда-то слушать не же-

лала, не ваше, мол, дело, сама знаю, не вмешивайтесь, а теперь пришла опозоренная приют искать, теперь мы тебе нужны стали. Могли ей так сказать, конечно, могли. И если сказали, каково-то ей там? Гордая она, снесет ли эти упреки? Не дай бог, руки еще наложит на себя. Эх, Алиман, Алиман, была бы ты рядом со мной, сама бы весь позор приняла, но в обиду никому не дала! Всякое думала, по-всякому гадала. А потом сказала себе: «Нет, так не годится. Поеду, узнаю, посмотрю сама. Буду спрашивать, может, послушается, вернется домой. Какое счастье было бы, если бы она снова вернулась. А если не захочет вернуться, ну что ж, ничего не поделаешь. Благословлю ее, поплачу и приеду назад». Так я решила и на другой день собралась в путь. Дом и корову поручила Айше. Бекташ остановил на улице попутную машину, села я в кузов и отправилась в Каинды.

Когда мы выехали за аил и двинулись по проселку, я заметила женщину, идущую по тропинке в жнивье. Сразу узнала — Алиман! Родная, ненаглядная моя, она возвращалась ко мне домой. Я заколотила кулаками по кабине: «Стой! Стой! Остановись!» Машина с разгона прошла еще немного, остановилась, я схватила курджун и скатилась с кузова. В налетевшей пыли все вдруг сразу скрылось, как в густом тумане. Я подумала даже, не во сне ли видела мою Алиман. Когда пыль ушла вслед за машиной, я снова увидела ее.

— Алима-ан! — крикнула я изо всей мочи.

Не помню, как добежала. Помню только, обнимались мы, целовались, плакали. И так истосковались, оказывается, друг по дружке, что и слов-то не находили, как сказать обо всем, что думано и передумано было за эти дни. Ласкала я, гладила лицо Алиман и все говорила одно и то же:

— Вернулась, да? Вернулась, доченька моя. Вернулась ко мне, к матери своей! Вернулась!

Алиман отвечала:

— Да, вернулась! Вернулась, мама, к тебе. Вернулась!

И когда мы стояли так, обнявшись, ребенок ее вдруг шевельнулся внутри и раза два толкнул ножкой в живот. Мы обе услышали эти толчки. Алиман положила руки на живот и стала осторожно гладить его ладонями. И глаза ее в ту минуту будто перевернули всю мою жизнь. И как мне могли приходиться в голову скверные мысли о ней! О святое материнство! Одна лишь такая капля счастья окупит море твоих страданий. Я прижалась к ее щеке и, не удержавшись, заплакала:

— Ненаглядная моя, сердечная, ласковая! Как я боялась за тебя!

Она успокаивала:

— Не плачь, мама. Прости меня, глупую. Не уйти мне никогда от тебя. Попробовала, ничего не получилось: не вытерпела я, все время тосковала о тебе.

Я решила, что подошел самый удобный случай для нашего откровенного разговора, и сказала ей:

— Ты почему ушла, обиделась?

Она молчала, точно обдумывая свой ответ, а потом со вздохом сказала:

— Не спрашивай меня об этом, мама! Зачем тебе это? Ты мне ничего не говори, и я ничего не буду тебе говорить. Не мучай меня, мама, и так мне тошно.

Опять она уклонилась от разговора. И вот так всякий раз. Как она не понимала, что этим делала себе только хуже.

Осень в том году была затяжная и очень дождливая. Не было дня, чтобы не капало сверху. И в эти серые, долгие, ненастные дни мы большей частью сидели дома. И так же, как сама осень, томилась Алиман. Все больше мрачнела, все перестала разговаривать и смеяться. Все думала о чем-то. Сдавалось мне: последние дни донашивала она ребенка. Как ни старалась я расшевелить немного ее, подбодрить шуткой, лаской, ничего из этого не получалось. Не дитя же она маленькое, чтобы ее печаль можно было развеять шуткой. Да не только я — и другие пытались как-то помочь ей в беде, но что можно было сделать? Бекташ однажды привез нам соломы. Говорит, мать снова слегла. И я пошла попрощать Айшу. Жар был у нее, кашляла. Я ее пожарила немного.

— Сама, — говорю, — ты виновата. Знаешь, что беречься тебе надо, так нет, куда там, разъезжать стала по гостям, да в такую погоду.

Она виновато улыбнулась. Возразить-то ей было трудно, потому что до этого ездили они, четыре женщины, на бричке Бекташа в соседний аил в гости к кому-то, на свадьбу. Когда я собиралась было уже уходить, Айша задержала меня.

— Постой, — говорит, — Толгонай, если не осерчаешь, разговор есть у меня к тебе.

— Ну говори. — Я вернулась от дверей.

— В нижний аил мы ездили на свадьбу. Родственников там у меня нет, ты это и сама знаешь. Задумали мы одно дело, хотя и без разрешения на то от тебя, так ты прости нас,

Толгонай, хотели как лучше. Нашли мы этого парня, чабана, ну и взяли его в оборот. Говорим: так и так, Алиман уже на сносях, последние дни, а ты и глаз не кажешь. Как же так получается? Нехорошо вроде! Однако ничего у нас не вышло из этого. Во-первых, жена у него есть, а во-вторых, совести у него нет. Отрекса: не знаю ничего и знать не хочу. Ни в какую. Да, тут еще жена его пронюхала, в чем дело. Да такая скандальная баба оказалась, накричала, наорала на нас, срам один. Обесчестила и прогнала. А в пути дождь застиг холодный, промокли до ниточки, вот и слегла я. Но и это ладно, как же теперь с Алиман-то, а? — И Айша, зажимая рот, заплакала.

— Не плачь, Айша, — сказала я ей. — Пока я жива, в обиду ее не дам! — И вышла. А что я еще могла сказать?

Потянулись трудные дни, роды приближались, и тут уже я не спускала глаз с Алиман. Она во двор — и я за ней. Ни на шаг не отставала. Боялась, как бы не упустить схватки. А не то стала бы я разве ей надоедать?

А однажды смотрю — оделась она тепло, платком укуталась.

— Ты куда, — говорю, — доченька?

— На реку пойду, — ответила она.

— Не ходила бы ты, что там делать на реке в такую сырость? Посиди лучше дома.

— Нет, пойду.

— Ну, тогда и я пойду. Одну тебя не отпущу, — сказала я.

А она так глянула на меня — и все, что наболело у нее на душе за эти дни, всю свою злобу сорвала на мне:

— Да что ты привязалась ко мне? Чего тебе надо от меня? Что ты ходишь по пятам, как тень? Оставь меня в покое. Думаешь, подохну я, что ли? Не подохну! — Хлопнула дверью и ушла.

Будто по сердцу моему хлопнула она дверью. Очень обиделась я. И, однако, не усидела, опять же вышла на задворье глянуть, где Алиман. Не видно было ее, ушла она в поймище.

Дождь моросил мелкий-мелкий, почти невидимый, будто холодным паром обдавало. Ветер таскал за космы седые тучи. В саду было неуютно. Деревья стояли голые, озябшие, с мокрыми, потемневшими ветвями. Народ весь сидел по домам. Безлюдно кругом. За дымной мглой вдали едва угадывались гребни темного хребта.

Подождала я немного и потом пошла следом: пусть как хочет ругает меня, но хуже будет, если ляжет где-нибудь в

сырости, когда начнутся схватки. Выйдя на тропу за огородом, я увидела Алимана. Она возвращалась. Шла медленно, едва передвигая ноги и понуро опустив голову. Поспешив домой, я поставила чай, быстренько наделала оладий на сметане и яйцах. Потом расстелила на кошке чистую скатерть и принесла яблок-зимовок, выбрала самые красивые. Алимана вошла и, увидев скатерть, молча грустно улыбнулась мне.

— Замерзла, доченька? Садись, чай попей, покушай оладий, — сказала я ей.

— Нет, ничего мне не хочется кушать, мама. Дай вот одно яблоко. Попробую, — ответила она.

— Может, у тебя где болит, Алимана, ты скажи мне, — стала допытываться я.

Но она опять сказала:

— Не спрашивай меня, мама. Я какая-то сама не своя. Ненавижу себя. И тебя обругала ни за что. Лучше оставь меня в покое. — И махнула рукой.

Наступила ночь, и, укладываясь спать, я с обидой думала, что теперь Алимана не нравится все, что бы я ей ни сказала, и с этой обидой уснула. Обычно я часто просыпалась по ночам, поглядывала, как там Алимана, а тут сон придавил меня, словно камнем. Если бы я знала, разве сомкнула бы я глаза — да десять ночей подряд не прислонила бы голову к стене...

Не помню, когда и отчего я вдруг проснулась. Глянула, — а Алимана нет на месте. Спросонья-то не сразу сообразишь. Подумала сначала, что вышла во двор. Подождала немного. Нет, не слышно. Потом потрогала постель Алимана. Постель холодная, и у меня сердце похолодело: давно уже она встала! Кое-как оделась и выскочила во двор. Обошла все углы, сбегала на огород, выскочила на улицу. Стала звать ее: «Алимана! Алимана!» — не отзывалась. Только собаки всполошились, залаяли по дворам. Муторно стало мне: значит, ушла! Куда же она ушла в такую темную ночь? Что делать теперь? Может, догоню? Бросилась снова в дом, фонарь засветила и с фонарем в руках пошла искать. Но, выходя из дверей, услышала, будто застонал кто и вскрикнул в сарае. Кинулась через двор, рванула двери сарая — и фонарь чуть не выронила из рук, застыла, не веря своим глазам: Алимана лежала на соломе навзничь. Рожала. Металась в горячке.

— Да что же ты это?! Почему не сказала?! — закричала я и бросилась к ней.

Хотела помочь, стала приподнимать ее и содрогнулась, когда на руку мне навернулся пропитанный кровью подол платья. Алиман горела, как огонь. Она тяжело и с хрипом выдыхала:

— Умираю. Умираю.

Видно, давно уже она маялась.

— Упаси боже! Упаси боже! — взмолилась я, поняв, что ей самой не разродиться, что спасти ее может только доктор.

Я оставила ее и побежала к Айше, заколотила в окно изо всех сил:

— Вставайте, вставайте быстрее! Бекташ, запрягай бричку. Плохо с Алиман. Быстрее, милый, плохо с ней!

Разбудила их, прибежала назад, дала Алиман воды. Зубы ее стучали по кружке, било ее, как в лихорадке, кое-как сделала она два глотка и снова скрутилась, заохала. Тут подошла Айша, запыхалась, на ногах едва держится, больная ведь лежала. Как увидела, что с Алиман — с лица сошла, запричитала:

— Алиман, милая, да что ж это такое? Алиман, деточка моя! Не бойся. В больницу повезем.

К счастью, Бекташ в тот день вернулся домой поздно и потому лошадей не отвел на конюшню, а поставил у себя под навесом. Он быстро пригнал бричку во двор. Мы набросали в нее сена, постель постелили, подушки подложили и втроем кое-как вынесли Алиман из сарая, положили в бричку. И тут же, не медля, поехали в больницу.

Ах, эта разбитая осенняя дорога, ах, эта темная проклятая ночь... Больница была тогда только в Заречье, а мост через реку в объезд далеко внизу.

Как только мы выехали из аила, у Алиман снова начались схватки, она закричала, стала сбрасывать с себя все. Я держала ее голову у себя на коленях. То и дело укрывала одеялом, то и дело подносила к лицу фонарь — все смотрела ей в глаза, успокаивала. И Бекташ успокаивал:

— Потерпи, Алиман. Скоро приедем. Вот увидишь, сейчас приедем. До моста уже рукой подать.

До моста было еще кто его знает сколько. Погнать бы лошадей вскачь, да никак нельзя — растрясет Алиман. А тут дождь припустил сильнее. Все будто сошлось одно к одному — тьма непроглядная, холодный дождь, грязь да ухабы. Алиман билась в судорогах, стонала, кричала и вдруг как-то сразу затихла, захрипела.

— Алиман! Алиман! Что с тобой? — всполошилась я, обняла ее, осветила фонарем.

На меня глядели ее горящие глаза.

— Остановитесь! Умираю я! Остановитесь! — проговорила она черными, запекшимися губами и стала задыхаться.

Мы остановили бричку.

— Подними мне голову выше, — попросила она. — Воздуху не хватает. — И заплакала. И, торопяся, глотая слезы, стала говорить: — Мама, роденькая... Горит у меня все внутри, сил нет... Умираю я... Спасибо тебе за все, мама. Прости меня... Если бы Касым был жив... О-ой, Касым, умираю я... Прости меня...

Я взмолилась перед ней:

— Нет, доченька, не умрешь ты. Потерпи, потерпи, роденькая. Вот уже до моста недалеко. Слышишь, не умрешь ты!

Ее снова скрутило. Стиснув зубы и теряя сознание, она забилась из последних сил.

— Бекташ, — приказала я. — Бери ее под руки, подними! Быстрее! Да не стыдись ты, ради бога!

Бекташ поднимал Алиман, а я старалась помочь ребенку. Потом Бекташ заплакал навзрыд, и тут снова вдруг вспомнил мне грохот эшелона, и пошли, пошли стучать в ушах колеса; ветер донес крик: «Мама-а! Алима-ан!» И сейчас же раздался крик новорожденного. О жизнь, почему ты так жестока, почему ты так слепа! Ребенок родился, а Алиман умирала. Я успела только завернуть в подол мокрое, голое тельце, глянула, а она, мать Алиман, уже безжизненно висела на руках Бекташа. Голова откинулась набок, руки болтались, как плети.

— Алиман! — вскрикнула я не своим голосом и схватила ее руку: пульс пропадал.

В одно мгновение на глазах у меня столкнулись жизнь и смерть.

Когда мы повернули назад, рассвет уже занимался. В сумеречном свете кружились крупные белые снежинки. Они мягко опускались на дорогу. Вокруг была тишина — ни звука, во всем мире была белая тишина. И в этой белой тишине бесшумно тащились усталые лошади с белыми гривами и белыми хвостами, беззвучно рыдал Бекташ, сидя на бричке. Он не погонял лошадей, лошади сами шли. Он всю дорогу плакал. А я шла рядом по обочине дороги, укрыв ребенка под чапан у себя на груди, и белый снег на земле казался мне черным.

Вот так война в последний раз напомнила о себе. Дорога, по которой я шла в то утро, была самой трудной дорогой в моей жизни, и мне казалось, что лучше умереть, чем так жить... А младенец, пригревшийся у меня на руках, пошевеливался теплым, мякони́ким комочком и не переставал плакать. Несла его и говорила: «Какой же ты несчастный родился, с первым криком своим распрощался с матерью». И вдруг, откуда-то издалека, донеслась мысль: «А ведь жизнь не совсем погибла, остался росточек». Но тут же подумала: «Да какой же он жилец, если не попробовал даже материнского молока. Нет, надолго не хватит его». Но так хотелось, чтобы ребенок остался жив, что я взмолилась судьбе: «Ну оставь в живых хоть этого! Не дай ему умереть. Может, выживет? Может, выкарабкается как-нибудь?» Вот так и шла, отчаивалась, надеялась и снова отчаивалась, и незаметно наступило утро, когда мы добрались до айла.

Снег все так же бесшумно и густо валил, все так же стояла вокруг белая тишина. И среди этой тишины заброшенные развалины недостроенной улицы показались еще более страшными. От того, что здесь было начато семь лет назад, остались лишь жалкие следы. Снег кружил над безжизненной улицей, заметая сугробами зияющие пустотой руины и унылые заросли сухих колючек и кураев. На бывшем дворе Алиман и Касыма, точно в память их забот и мечтаний, все так же лежали груда камней и куча кирпичей.

Навсегда успокоенная, Алиман лежала бледная, с закрытыми глазами. Голова моталась из стороны в сторону, снег падал на ее лицо и не таял.

У первых же дворов айла Бекташ спрыгнул с брички и первый раз в жизни громким мужским плачем оповестил людей о смерти человека. Из дворов стал выбегать народ, нас обступили со слезами. Прибежала Айша, заголосила на всю улицу, взяла у меня ребенка и понесла его к себе домой.

Через день мы похоронили Алиман. По обычаю, женщине не положено идти на кладбище, но я пошла, и никто ничего не сказал мне: в доме у меня не было мужчин, чтобы я могла соблюсти обычай. Я сама схоронила Алиман, сама уложила ее на дно могилы и сама бросила первую горсть земли. В тот день тоже шел густой, пушистый снег. Красная куча глины быстро стала белой горкой.

Весной я посадила на могиле Алиман цветы. Каждую весну сажаю. Ведь она очень любила цветы.



Ну а дальше снова началась жизнь. В первые дни Жанболота кормила грудью сноха деда Джоробека, а потом я стала давать ему козье молоко. Хватили мы с ним горя вдосталь, стоит ли об этом говорить. Одним словом, было ему написано на роду остаться в живых, и он выжил. И за это благодарю судьбу. Теперь ему двенадцать лет. Доктор, что лечил его маленького, — нынче известный в округе человек, и сейчас при встрече спрашивает:

— Ну как, бабушка, внучек-то растет?

— Слава богу, — говорю, — джигит уже!

Он смотрит на меня и улыбается:

— Вот и хорошо, расти его человеком.

Знает он нас с Жанболотом давно. Жанболоту было тогда года полтора. Конечно, болезненным рос он. Однажды простыл сильно и занемог не на шутку. Смотрю, губы посинели, глаз не открывает и дышит еле-еле. Схватила я его — и бегом в больницу. И опять же ночью да в зимнее время вброд перешла реку. Доктор оказался молоденьким парнем, недавно, наверное, учение кончил. Как увидел меня, что дрожу я от холода в мокрой одежде, перепугался, замахал руками:

— Да вы с ума сошли, кто вам разрешил ходить по воде? Где его родители?

— Я ему и отец, и мать, сынок. Не дай ему помереть. Если помрет, жить не буду, — сказала я ему.

Всю ночь он возился с малышом, через каждые два часа уколы делал. Мне дал сухую одежду, лекарствами поил, однако утром свалилась я в жару, кровью захаркала. Лежала я в горячем тумане, в забытьи. Помню только, что доктор подходил к изголовью, клал мне руку на лоб и говорил:

— Не сдавайся, мамаша, держись. Внучек твой смеется уже, выздоровел.

— Коли так, и я вытяну, — прошептала я.

Может, потому и выжила я, что внук остался жив.

Летом в этом году интересный случай был. В каникулы бегал он по улицам, а потом смотрю — выволок во двор велосипед Касыма. Тот самый, двадцать лет висел он в сарае под крышей. Да, вытащил, стало быть, и давай ремонтировать. Ну, я ничего не сказала, мальчишка ведь, думала, повозится, повозится и бросит. Ремонтировать-то там было нечего: железо все в ржавчине и резина полопалась. Прибегали друзья его и тоже смеялись. Это, говорят, рухлядь, допотопная машина. А он упрямый, сопит и делает свое. Не знаю, получилось бы у него что-нибудь или нет, если бы не Бекташ. Он тоже ввязал-

ся в это дело. И тоже с самым серьезным видом, как мальчишка, хотя он и отец семейства. Бекташ любит Жанболота, если что — и в школу ходит к учителям. Женился он, когда Айша была еще жива. Умерла она года через три после Алиман. Крепко убивалась я по подруге своей. Сколько мы с ней повидали горя. А Бекташ хорошим вышел человеком. Разумный, работающий. Трое детей у него, жена — Гульсун — добрая соседка. А сам он давно уже комбайнером работает.

Так вот, однажды Жанболот появился с велосипедом, начищенным, смазанным, и сам весь в масле.

— Бабушка, — сказал он, — смотри, какой стал отцовский велосипед!

У меня и руки отнялись: радостно и горько мне стало от этих слов. А он загордился.

— Я, — говорит, — ездить уже умею. Вот смотри!

На седло сесть — ноги не достают педaley, так он прицепился сбоку к велосипеду, перегнулся весь и поехал, завихлял из стороны в сторону: вот-вот свалится.

— Слезь, упадешь! — прикрикнула я.

А он еще пуше. В ворота — и на улицу. Я за ним. Разогнался по дороге да как полетит с размаху вместе с велосипедом. Сильно ушибся. Я добежала, подняла его с земли, стала ругать:

— Убиться хочешь, что ли? Ишь что выдумал! Не смей больше ездить!

А он говорит:

— Я больше не буду падать, бабушка. Это я попробовать хотел, я ведь еще не падал с велосипеда.

Я рассмеялась. Смотрю, Бекташ стоит у калитки. Вроде бы так просто, стоит и поглядывает. Он ничего не сказал, и я ничего не сказала. Но мы без слов поняли друг друга.

А тут вскоре жатва началась. Бекташ как-то зашел к нам вечером.

— Хочу, — говорит, — вашего Жанболота в помощники взять на комбайн.

— Если подходит — бери, — согласилась я.

Разрешить-то разрешила, а через два дня пошла проводить. Дитя ведь еще: может, трудновато будет на уборке.

Жанболот мой работал на комбайне соломушкой. Он увидел меня и закричал, будто с вершины горы:

— Бабушка! Я здесь!

А Бекташ, стоя у штурвала, помахал мне рукой, поклонился.

До самого вечера сидела я в тени под деревом у арыка и смотрела на жатву. Машины пылили взад-вперед по дороге, отвозя обмолот на тока.

В сумерках пришли комбайнеры отдохнуть. Жанболот шагал устало и гордо, подражая Бекташу, и, так же молча и так же фыркая, стал умываться по пояс в арыке. А когда увидел узелок в моих руках, обрадовался:

— Бабушка, ты яблоки принесла?

— Принесла, — ответила я.

И тогда он подбежал, обнял меня и поцеловал.

Бекташ прыснул со смеху.

— Что ж ты важничал? Давно бы так. Ну, поласкайся, поласкайся, а то некогда будет.

Ужинать сели мы на траву подле полевого вагона. Хлеб был горячий, только что испеченный. Жанболот разломил лепешки и сказал:

— Бери, бабушка!

Я благословила хлеб и, откусив от ломтя, услышала знакомый запах комбайнерских рук. Хлеб припахивал керосином, железом, соломой и спелым зерном. Да-да, в точности, как тогда! Я проглотила хлеб со слезами и подумала: «Хлеб бессмертен, ты слышишь, сын мой Касым! И жизнь бессмертна, и труд бессмертен!»

Домой меня комбайнеры не отпустили. Говорят, вы у нас гостя, оставайтесь ночевать в поле. Мне постелили на соломе. Глядела я в ту ночь в небо, и чудилось мне, что Млечный Путь усеян свежей золотистой соломой, рассыпанными зернами и шелухой обмолота. И в той звездной выси, сквозь Дорогу Соломщика, как далекая песня, уходит эшелон, удаляется стук его колес. Засыпала я под этот затихающий стук и думала, что сегодня пришел на свет новый хлебороб. Пусть долго живет он, пусть будет у него столько зерна, сколько звезд на небе.

А на рассвете я поднялась и, чтобы не мешать комбайнерам, пошла в аил.

Давно я не видела такой великой зари над горами. Давно я не слышала такой песни жаворонка. Он взлетал все выше и выше в ясное небо, повис там серым комочком и, словно человеческое сердце, неустанно бился, трепыхался, неумолчно звенел на всю степь. «Смотри, запел наш жаворонок!» — говорил когда-то Суванкул. Чудно, даже жаворонок был у нас свой. И ты бессмертен, жаворонок мой!

## 17

— О поле мое заветное, ты сейчас отдыхаешь после жатвы. Не слышно здесь голосов людей, не пылят на дорогах машины, не видно комбайнов, не пришли еще стада на стерню. Ты отдало людям свои плоды и теперь лежишь, как женщина после родов. Ты будешь отдыхать до взмета зяби. Сейчас здесь нас двое — ты да я, и больше никого. Ты знаешь всю мою жизнь. Сегодня день поминовения, сегодня я поклоняюсь памяти Суванкула, Касыма, Маселбека, Джайнака и Алиман. Пока жива, я их никогда не забуду. А как же быть с другими, со всеми людьми, живущими на белом свете? У меня есть разговор к ним. Как дойти до сердца каждого человека?

Эй, солнце, сияющее в небе, ты ходишь вокруг земли, скажи ты людям!

Эй, туча дождевая, пролейся над миром светлым ливнем и каждой каплей своей скажи!

Земля, мать-кормилица, ты держишь всех нас на своей груди, ты кормишь людей во всех уголках света. Скажи ты, родная земля, скажи ты людям!

— Нет, Толгонай, ты скажи. Ты — Человек. Ты выше всех, ты мудрее всех, ты — Человек. Ты скажи!

## 18

— Ты уходишь, Толгонай?

— Да, ухожу. Если жива буду, приду еще. До свидания, поле.

# ЛИЦОМ К ЛИЦУ

---

---

*Повесть*



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Повесть «Лицом к лицу» написана более тридцати лет назад. Пожалуй, именно с этой небольшой вещи и начался мой литературный путь. Если же она до сих пор сохраняет в себе некий смысл, интересный для современного читателя, то это говорит, мне думается, прежде всего о том, что была она задумана искренне. Я пытался вложить в нее тот жизненный опыт, который тогда у меня за плечами имелся, — ведь мои отрочество и юность совпали с войной и первыми послевоенными годами. В четырнадцать лет я стал секретарем айльного (сельского) Совета, затем был налоговым агентом, то есть собирал с семей денежный налог. Все это прошло через меня, через мою юношескую психологию как очень большое испытание. Я увидел людей в экстремальной ситуации тех военных и послевоенных лет и сам нес посильную ношу.

Казалось, теперь можно было бы и не вспоминать о прошлом, однако ныне нам стало особенно ясно, что далеко не весь урожай собрали мы с литературных нив в свое время. Да, многое было под запретом, многое подавалось тенденциозно, но были и своего рода установившиеся взгляды на то, как, допустим, надо изображать войну, человека на войне, — ведь мы победители, значит, соответственно этому должен выступать и литературный герой. И вот теперь, по прошествии многих-многих лет, пожалуй, к чести совсем еще молодого прозаика, каким был я тогда, можно отметить, что я обратился к теме, насколько мне известно, в ту пору почти никем еще не затронутой, — судьбе дезертира, его жены и его матери.

Повесть «Лицом к лицу» была напечатана в журнале «Октябрь», она получила читательское признание, и критика не обделила ее своим вниманием, но, повторяю, много времени прошло с тех пор, и все же я решил вернуться к ней и вспомнить то, от чего мне в свое время пришлось отказаться-

ся по цензурным соображениям, — от каких-то глав, каких-то поступков моих героев, которые прежде весьма осложнили бы судьбу моего произведения.

Думается, теперь мне удалось полнее показать всю глубину трагедии тогдашних людей, связанную с тем, что война стала для нас не только победоносным историческим событием, но она послужила и тяжелейшим испытанием для каждого человека в отдельности. Уже тогда осознавалось то, о чем мы печемся сейчас, война как таковая является страшной разрушительной силой, так или иначе она несет даже побеждающей стороне огромные бедствия и многие жертвы. Уже тогда происходил конфликт отдельной личности, отдельного человека с общепринятым пониманием долга — в частности, воинского долга.

В прежней редакции эта коллизия оказалась несколько обойденной по той причине, что определенную роль тут играла тема раскулачивания, которая, как мы некогда полагали, являлась фактором классово-борьбы. Оно и на самом деле было классово-борьбой, так как велась та борьба против здоровых крестьянских сил, против работающих крестьян и более того — против самой психологии крестьянина-труженика, которая воспитывалась многими и многими поколениями. Именно этот конфликт, это столкновение, это противоречие и повлияли на судьбу моего героя, который оказался дезертиром. Я попытался рассказать читателю, что это значило с общественной точки зрения, с точки зрения народной морали, с точки зрения гражданского долга, но одновременно мне хотелось показать трагедию этого человека и его семьи, людей, которые тщетно пытались уклониться от этого конфликта, уйти от неразрешимого спора между личностью и долгом.

Думается, мне более или менее удалось восстановить первоначальный замысел в той его полноте, с которой следовало бы написать мою повесть, хотя прошли — повторюсь еще раз — многие и многие годы. Кстати, жизненная коллизия, сходная с той, в которой оказались мои герои, нашла позднее, а именно почти два десятка лет спустя, свое отображение, причем, по-моему, более яркое, в повести Валентина Распутина «Живи и помни». После того как я прочитал ее, я уже не возвращался к своей вещи, не перечитывал ее пристально, а вот теперь, при переделке, вдруг обнаружил, что был у меня тот же мотив, правда, буквально в двух-трех фразах о том, как моя героиня испугалась, что забере-

менела. Но, видно, опасения не подтвердились, страх забылся, она успокоилась, а у Распутина на этом построена вся его великолепная повесть. Впрочем, я не жалею — один пишет так, другой видит по-своему. Сейчас я вспомнил то, чего не сумел сказать прежде, потому что тогда это не было бы принято и понятно.

В свое время я обдумывал одно сюжетное событие, которое не решился включить в повесть именно из-за его связи с темой раскулачивания. Теперь же восстановлена целая большая глава о том, как умирает мать моего героя, а он не может даже похоронить ее, хотя находится совсем неподалеку. Незадолго до своей смерти мать, видя безвыходное положение сына, предлагает ему уйти туда, куда некогда бежали ее братья-кулаки. Вот тут и возникла важная связь трагических тем.

И в заключение мне хотелось бы выразить признательность Люсьену Лейтесу, моему швейцарскому издателю, моему доброжелательному другу и вообще замечательнейшему человеку за то, что он побудил меня вернуться к моей первой повести. Без него это вряд ли бы случилось. Я благодарен ему, ибо, написав три десятка страниц, почувствовал, что это сделано не зря.

*Чингиз Айтматов*



Мимо единственного на полустанке фонаря косяками пронеслись охапки сырых тополиных листьев. В эту ночь тополя роняли листву. Прямые и стройные, как шомпола, упруго раскачивались они на ветру, и шум их высоких вершин напоминал отдаленный рокот моря.

Темна ночь в ущелье Черной горы. Но еще непроглядней она на маленьком полустанке под горой. Время от времени темнота словно колышется от света и грохота поездов; поезда пронесутся дальше, и снова на полустанке темно и безлюдно.

Эшелоны идут на запад. Вот и сейчас подошел длинный состав с пропыленными вагонами. В приоткрытой топке паровоза сверкнуло огне-красное пламя; лягнув буферами, вагоны остановились. Никто не сошел на полустанке, никто не крикнул: «Какая это станция?» Люди, истомленные дальней дорогой, спали в вагонах. Только неостывшие оси колес продолжали еще тонко поскрипывать.

Когда дежурный по станции, размахивая фонарем и тяжело топя сапогами, пробежал в голову состава, из предпоследнего вагона высунулся дневальный. За плечом у него смутно блеснул штык винтовки.

Дневальный, вытянув шею, стоял у двери, напряженно всматриваясь в темноту и прислушиваясь. В ущелье, как всегда, дул резкий ветер, за приземистой станционной улочкой, где-то под обрывом, натруженно, подспудно гудела река. По лицу дневального скользнул холодный тополиный лист — словно коснулась щеки дрожащая ладонь человека. Дневальный отпрянул, поглядел внутрь вагона. Потом снова выглянул: безлюдье, ветер, ночь...

Спустя минуту вороватой тенью отделился от вагона человек в шинели, отошел к кустам у арыка и скрылся в них. Раздался пронзительный свист. Человек в кустах рванулся бежать, но тут же притих, прижался к земле. Он понял: это

дежурный давал свисток к отправлению. Вагоны тяжело закрипели, и поезд тронулся в свой дальний путь.

Отгудели над рекой пролеты моста. Дальше — туннель. Паровоз, прощаясь, заревел во всю мощь своей глотки.

Когда стихло эхо в скалах, когда наконец успокоились растревоженные галки на станционных деревьях, человек приподнялся в кустах и начал дышать шумно и жадно, словно перед этим долго сидел под водой.

Все глуше и реже постукивали рельсы, откликаясь на бег удаляющихся колес.

Бурно вздыхали тополя. С гор тянуло запахом осенних выпасов.

Темна ночь в ущелье Черной горы...

С тех пор как Сейде родила, сон у нее чуток, как у птицы. Перепеленав ребенка в сухое, она сидела при свете фитиля, приткнувшись боком к бешику<sup>1</sup>. Ее смуглая гладкая грудь, выпростанная наружу, мягко нависла над детской головкой.

В углу, накрывшись поверх одеяла чапанами, спала свекровь. Старая она, слабая, кашляет со стоном, как больная овца. Сил хватает лишь на то, чтобы молиться Богу. Даже во сне бормочет: «О Создатель, вручаю тебе судьбы наши...» Когда Сейде уходит на работу, старуха нянчит внука. Все-таки помощь! Она и в поле носит ребенка, чтобы мать покормила его грудью, а сама дышит с хрипом, и руки мелко трясутся. Старухе очень трудно, но она никогда не жалуется: кому, как не ей, нянчить первенца своей единственной снохи?

Давно уже за полночь, а все не спится. Да и можно ли спокойно уснуть? Кто бы мог подумать, кто мог ждать, что настанут такие времена? Появились слова, ранее не слышанные: «герман», «фашист», «повестка»... В айле что ни день, то проводы. С курджунами, с мешками за спинами собираются мужчины на большой дороге, набиваются в брички и кричат на прощанье: «Э, полно вам слезы лить!» Брички трогаются, мужчины машут тебетями: «Кош! Кайыр, кош...»<sup>2</sup> Заплаканные женщины и дети, сбившись в кучу, стоят на бугре, пока брички не скрываются из глаз, потом

<sup>1</sup> Бешик — детская кочевая люлька.

<sup>2</sup> Кош! Кайыр, кош — до свидания, прощайте.

молча расходятся. Что-то будет дальше, что ждет их впереди? Вернутся ли с войны аскеры<sup>1</sup>?

Прошлым летом, когда Сейде, чабанская дочь, вошла в семью мужа, их дом еще не был достроен: стены не засаманены и не оштукатурены, крыша не залита глиной. Если бы снова вернуть те дни! Урывками достраивали они свой дом, и, может быть, так же урывками Сейде грелась в лучах своего короткого счастья. Помнится, из арыка бежала теплая струйка воды, а они с мужем, высоко взмахивая кетменями, перемешивали полову с землей и, заголив ноги до бедер, месили звучно чмокавшую глину. Это была тяжелая работа: новое сатиновое платье Сейде полиняло за несколько дней, но они совсем не замечали усталости. Муж тогда казался очень довольным, он то и дело хватал жену за полные смуглые руки, обнимал и, балуясь, наступал ей в глине на ногу. Сейде вырывалась, со смехом бегала вокруг ямы. Когда муж догонял ее, она сердилась для виду:

— Ну, оставь, оставь же! Ведь мать увидит — и не стыдно? — А сама тут же пряталась за плечи мужа, на мгновение прижимаясь к его спине сильными, упругими грудями. — Ну, довольно, говорю, ой, ты посмотри только на себя, на кого ты похож, все лицо в глине!

— А ты сама-то? Сперва на себя посмотри!

И Сейде доставала из карманчика бешмета, брошенного в тени под деревом, маленькое круглое зеркальце. Это она не ленилась делать и всякий раз, застенчиво отворачиваясь от мужа, с восхищением смотрела в зеркальце на свое раскрасневшееся лицо, заляпанное глиной. Но ведь глина не испортит красоты — стоит только смыть ее. Сейде смеялась перед зеркальцем, смеялась от счастья. Пусть себе брызжется глина!

Вечером, искупавшись в арыке, она ложилась под урючиной в постель, тело ее долго сохраняло запах и прохладу проточной воды. А в темной синеве ночи над головой матовым перламутром светились иззубренные вершины снежного хребта, на люцернике, за арыком, цвела свежая, душистая мята, и где-то совсем рядом в траве пел перепел. Ее охватывало отрадное ощущение светлой спокойной красоты в себе самой и во всей окружающей ее жизни, и она еще ближе поддвигалась к мужу, мягко закидывала руку за его шею. А сколько они мечтали в ту пору! О том, как достроят

<sup>1</sup> Аскер — солдат, воин.

дом, как обзаведутся хозяйством, как пригласят к себе ее родителей и какие приготовят для них подарки... Все это было счастьем. Время тогда летело стремглав — не заметишь, как день сменяется ночью.

Когда засаманили стены, началась война. Кое-как, наспех, оштукатурили стены внутри дома, и тут начали брать джигитов в армию.

Никогда не забыть того дня, не остыло еще горе разлуки. Словно вчера все это было. Мобилизованных провожали всем аилом за околицей. Сейде постыдилась людей и не посмела проститься с мужем так, как ей хотелось: ведь она была здесь совсем новенькой келин<sup>1</sup>. Она неловко сунула мужу руку, потупилась, боясь показать слезы; так они и расстались. Но когда джигиты скрылись в степи, Сейде вдруг поняла до боли, что надо было послушаться сердца, отбросить стыдливость перед старшими, и, может быть, в последний раз крепко обнять, крепко поцеловать мужа. Как горько упрекала она себя! Не успела даже шепнуть ему на ухо о своей смутной догадке: кажется, она забеременела. Но было уже поздно. Потерянного не воротишь. Там, далеко в степи, пыль застилала дорогу. С той поры потянулись гнетущие дни, и все, чего она не сумела выполнить, теперь спеклось кровью в груди; она всегда ощущала в своей груди этот жгучий, мучительный комок.

Фитиль догорал. Жалко было отнять грудь у маленького: он так хорошо уснул с соском во рту; иногда вдруг шевельнется и опять нежно зачмокает. Далеко отсюда кочевали мысли Сейде.

Со двора кто-то осторожно постучал в окно. Сейде вскинула голову, насторожилась. Снова повторился негромкий прерывистый стук. Сейде быстро отняла грудь, сбросила с плеч чапан и легкими шагами подошла к окну, бессознательно застегивая на груди пуговицы платья. Через низкое окно во дворе ничего не видать — мрак.

Сейде зябко передернула плечами, чуть слышно звякнули подвески на косах.

— Кто там? — подозрительно спросила она.

— Я... Открой... Сейде! — приглушенно и нетерпеливо ответил хриплый голос.

— Да кто ты? — неуверенно переспросила она, отпрянула в сторону и метнула испуганный взгляд на детский бешик.

---

<sup>1</sup> Келин — молодка, невестка.

— Я... Это я, Сейде, открой!

Сейде наклонилась к окну, тихо вскрикнула и, схватившись за голову, опрометью кинулась к двери.

Дрожащей рукой нащупала она в темноте крючок, рванула дверь и беззвучно припала к груди стоящего перед ней человека.

— Сын свекрови! Сын моей свекрови! — сдавленным шепотом выговорила она по привычке и, уже больше не в силах сдерживаться, назвала его по имени: «Исмаил!» Сейде заплакала. Какое счастье, какое неожиданное счастье — ее муж вернулся живой и невредимый! Вот он стоит, Исмаил, и от него пахнет крепкой махоркой. Ворот шинели грубым ворсом царапает ей лицо, словно волосяной аркан.

Что же он молчит? Или это от радости? Дышит тяжело и, как слепец, торопливо шарит, гладит руками ее плечи и голову.

— Зайдем-ка в дом! — быстро прошептал Исмаил, сгреб ее в охапку, шагнул через порог. Только теперь опомнилась Сейде.

— Ой, да что ж это я, глупая? Мать, суюнчу<sup>1</sup>: сын вернулся!

— Чш! — Исмаил схватил ее за руку. — Стой, кто дома?

— Мы одни, сын твой в бешике!

— Постой, дай отдышаться!

— Мать обидится...

— Подожди, Сейде!

Все еще не веря в то, что муж вернулся, Сейде порывисто обняла его, истово прижалась. В темноте они не видели друг друга, да надо ли видеть? Она слышала, как под сукном шинели отрывистыми, неровными толчками билось его сердце. Не во сне, а наяву она целовала его обветренные жесткие губы.

— Истосковалась я! Когда вернулся-то? Насовсем? — спрашивала она.

Исмаил снял с плеч руки Сейде и сказал глухо:

— Прямо со станции... Подожди, я сейчас...

Он вышел во двор и, оглядываясь по сторонам, прокрался к сараю. Через минуту вернулся. В руках у него была винтовка. Нащупав ногой кучу курая<sup>2</sup> в углу, засунул винтовку под самый низ.

<sup>1</sup> Суюнчу — радостная весть.

<sup>2</sup> Кураи — растение, сорняк.

- Что делаешь? — удивилась Сейде. — Поставь в комнате!  
— Тише, Сейде, тише!  
— Почему?  
Не ответив на вопрос, Исмаил взял ее за руку:  
— Идем, показывай сына.

Почти каждый день, в сумерках, с дальних лугов, густо поросших чийняком и кураем, Сейде таскает вязанки хвороста. Долго бредет она по неприметным овечьим тропам с увала на увал и, когда аил уже близко, присаживается на бугре отдохнуть в последний раз. Ослабив петлю веревки, переброшенную через грудь, она вздыхает с облегчением и прислоняется спиной к вязанке. Хорошо сидеть так, на минуту забыв обо всем, и спокойно смотреть в небо. Внизу в аиле тархтят брички, слышны голоса верховых, разьежающих по улице. Ветер доносит знакомый запах кизячного дыма, прелой соломы и пережаренной кукурузы.

Но сегодня Сейде не удалось отдохнуть. Издалека донеслось эхо паровозного гудка. Сейде встрепенулась, натянула веревку, с раскачкой стронула с земли вязанку и, взвалив ее на себя, быстро пошла, сгибаясь под тяжестью. Гудок паровоза напомнил ей о побеге Исмаила. Беспокойно заняло сердце.

Сейде шла по улице, опасаясь, как бы не встретился кто-нибудь, не остановил бы ее. «Скорей бы кончились лунные ночи», — думала она. Тогда бы ей не приходилось каждый день ходить за хворостом, готовить Исмаилу еду и потом носить ее к нему в убежище. «Не дай бог, а вдруг заподозрят!» Женщины уже не раз приставали, чтобы она показала им курайное место. Но брать их с собой нельзя: там Исмаил. Днем он отлеживался в пещере, а в темные ночи пробирается домой. Когда он приходит, они завешивают окна, запирают двери. На всякий случай под конулом<sup>1</sup> Сейде вырыла яму и прикрыла ее циновкой из чия и кошмой.

Так и живут. Старуха-мать никак не может привыкнуть к такой жизни — туговатая на ухо, она напряженно прислушивается к каждому шороху, поминутно вздрагивает, с жалостью и страхом поглядывает на Исмаила слезящимися красновекими глазами. Кажется, она думает, украдкой вздыхая: «Эх, сынок ты мой, бедный сынок!»

---

<sup>1</sup> Конул — пространство под нарами, на которые складывают тюки одеяла и кошмы.

Исмаил начинает иногда расспрашивать, как идут дела в аиле. Но это ни к чему. Ему не по себе, чаще он сидит молча, угрюмый, устало опустив плечи, и с нетерпением поглядывает на кипящий казан. Надо побыстрее накормить его, чтобы до рассвета он успел вернуться в свою пещеру. Сейде суетливо возится у очага и думает свои думы. Ей и жалко Исмаила, и она боится потерять его, боится остаться одна с большой старухой и сыном на руках. Исмаил очень изменился. В пещере он не видит солнца, не дышит ветром, лицо его приняло землистый оттенок, на отекавших щеках торчит взъерошенная борода. Иной раз он смотрит жалостно, беспомощно, как загнанная лошадь, а иной раз глаза его твердеют, черные точки зрачков поблескивают в щелях век со скрытой жестокостью и яростью, бледнеет прикушенная губа. Жуть берет, глядя на него! В такие минуты Исмаил даже забывает о сыне, которого держит на руках.

Таким ли был Исмаил в прошлое лето? Черный от загара, жилистый, как журавль, он работал не покладая рук, не зная усталости. Тогда они строили дом. Тогда все было ясно и просто в их жизни, ничто не смущало и не тревожило их. Надо было только жить и трудиться. «Вот построимся, обнесу усадьбу дувалом — от чужого глаза», — часенко говорил Исмаил, по-хозяйски оглядывая двор. А теперь он дезертир. Теперь он приходит в собственный дом украдкой, по ночам. И как только придет, уже торопится уйти.

Сейде старается не замечать этого. В те редкие ночи, когда муж приходит и сидит перед нею с сыном на руках, ей смертельно хочется забыть обо всем, забыть, забыть и хоть на один короткий час по-настоящему быть счастливой.

«Пусть он дезертир, пусть! — утешает она себя, раскатывая на доске тесто. — Мужчина знает, как ему поступать. Ведь Исмаил говорит: «Каждому своя жизнь дорога, а в эту войну только тот и уцелеет, кто сам позаботится о своей голове». Не мне его учить, значит, так надо, ему виднее, разве стану я собственными руками отрывать его от себя? Да ни за что! Он и сам говорит: «Будь что будет, но под пулю не пойду. Хоть день да мой — у себя, дома. Что мне делать там, на фронте, где-то на краю света? Отцы-деды и во сне не видели тех краев... Кому как, а мне никакой нужды в этом нет, я не желаю... А если бы пошел, что изменится? Один я врага не одолею, и без меня обойдутся...»

Оно и правда, может, обойдутся. Одним Исмаилом казна не обеднеет. Ну сбежал, и что ж из этого? Никому ника-

кого вреда, пусть себе бережется, подумашь, разве ему охота погибать?... Лишь бы зиму перебиться, — в доме кукурузы мало, дотянуть бы до весны... Да у других в аиле не лучше, народ теперь живет не так, как прежде, — хлеба у всех в обрез. До весны то ли хватит, то ли нет... Тяжко придется...»

По утрам полынь над арыками покрывалась бородками инея и густо посыпала землю примороженными шариками семян. Временами выпадал снег. Овцы ходили с мокрой шерстью, дымящейся буроватым навозным паром. За ними неотступно летали сороки, нагло высматривая облезлые бока овец. Зима приближалась, туманная, хмурая... А войне не видать ни конца ни края, все больше народу уходило на фронт.

На этот раз отправляли самых молодых, которым только что вышел срок, совсем еще безусых ребят.

— Ботом<sup>1</sup>, еще вчера они бегали босоногими сорванцами, а гляди, как быстро вошли в рост. Теперь вот едут на войну, не вкусив радостей жизни. О пропащей герман, смерти на тебя нет! — горестно приговаривали старики и старухи, постукивая клюками возле бричек, остановившихся у двора, где пили бозо<sup>2</sup>. Здесь в последний раз собрались призывники с девушками и молодыми келин. Бесперывно хлопотали двери бозокерской кибитки, слышны были пьяные голоса поющих. Их пение хватало за сердце: слышались в нем и печаль, и решимость, и пьяная удаль, и раздумье.

Старухи отжимали слезы с ресниц:

— Эх, родненькие, пусть скорей придет день, когда мы снова услышим ваши песни!..

Сейде тоже была здесь, среди молодых. Еще утром ее любимый кайни<sup>3</sup> Джумабай пришел навеселе.

— Собирайся, джене<sup>4</sup>, мы заказали бозо, повеселимся напоследок. Идем!..

Не хотелось Сейде обидеть парня, но все же она попыталась отказаться: молола в это время на джаргылчак<sup>5</sup> талкан<sup>6</sup> для Исмаила.

<sup>1</sup> Ботом — выражение удивления, изумления.

<sup>2</sup> Бозо (буза) — род домашнего алкогольного хлебного напитка.

<sup>3</sup> Кайни — младший брат в роду по мужу.

<sup>4</sup> Джене — жена старшего брата.

<sup>5</sup> Джаргылчак — каменная ручная мельница.

<sup>6</sup> Талкан — молотое жареное зерно.



— Неудобно мне идти туда, ты не обижайся. Я провожу вас на улице...

— Как это неудобно? Ты же меня провожаешь, своего кайни... Нет, пойдем, ради Исмаил-аке пойдем... Может быть, он сейчас в самом пекле войны... Если придется встретиться на фронте, скажу: сама меня провожала, привет передам... Чем я хуже других? Всех провожают родные, а я что?..

Сейде не нашлась, что ответить, смутилась — даже Джумабай это заметил:

— А что, стыдно стало? Ну то-то! Идем...

И вот она сидит в доме бозокера<sup>1</sup>, не смея поднять глаз, словно провинилась перед всеми. Забившись подальше в угол, она прикрыла рот платком и молчит.

Насколько дорог тебе человек, это со всей остротой чувствуешь только при расставании. Вот эти парни, которые завтра глянут в глаза смерти, сейчас гомонят, перекидываются шутками, поют и, может быть, именно поэтому близки как никогда. В эти минуты они думали не столько о себе, о своей судьбе, сколько о людях, остающихся в айле, и желали им на прощанье здоровья и счастья: и только за это одно хотелось сделать для них что-то большое и хорошее, всю душу свою отдать.

Вот Джумабай, пунцовый, забавно хмельной от бозо, поднялся с кошмы. Поглядеть на него — все еще нескладный, угловатый подросток. Он взял в руку чашу с бозо — пришел его черед спеть на прощанье.

Брат Джумабая, Мырзакул-ырчи<sup>2</sup>, недавно вернулся с фронта без руки. Сейчас он председатель сельсовета. Даже ребятишки распевают его песни, слушаешь — за душу берет.

Джумабай запел одну из самых любимых песен брата с протяжной задумчивой мелодией:

Эй-и-и!  
Шестьдесят вагонов на прицепе  
Подхватил крылатый паровоз,  
Я покидаю свой аил —  
Прощайте, мои родные...  
Семьдесят вагонов на прицепе  
Вскачь уносит резвый паровоз.  
Я покидаю свой аил,  
Прощайте, мои дженелер...

<sup>1</sup> Бозокер — человек, продающий бозо.

<sup>2</sup> Ырчи — айльный певец.

— Бау, джигит! — послышались дружные одобрительные возгласы. — Возвращайся с победой!..

Джумабай преобразился на глазах — словно посуровел и возмужал. Горделиво расправив плечи, смотрел он в окно на любимые горы; казалось, только теперь понял, что не пройдет и часа, как родной аил останется далеко позади. Он продолжал петь:

...Мы уезжаем в сторону Арыси,  
Не отрывая взора от тебя, Ала-Тоо,  
Долго, долго нас провожали  
Твои сине-белые снега...

— Бау, джигит! — кричали ему. — Где еще есть такие горы, как наш Ала-Тоо!..

Теперь пели все: и юноши, и келин, и девушки.

А Сейде, уйдя в свои думы, забыла в эту минуту обо всем на свете. Ей казалось, она видит: далеко за туннельной горой по бескрайней казахской степи мчится на всех парах воинский эшелон, и джигиты, столпившись у дверей вагонов, поют и прощально машут в сторону сине-белых снеговых вершин Ала-Тоо, караванной цепью растянувшихся на горизонте. И горы удаляются, покрываясь дымкой. Ей казалось, что она тоже бежит, догоняя поезд, а потом, оставшись в степи одна, устало прислоняется к телеграфному столбу. Ее ухо слышит его гудение: словно темир-комуз<sup>1</sup> выводит тоскливый «Плач верблюдицы»<sup>2</sup>.

Растроганная этим прощальным пением, Сейде осторожно подняла голову. Джигиты уже собирались в путь. Иные плакали, иные смеялись спяну, но все, как один, были исполнены решимости. Они громко желали друг другу вернуться с победой. Они были как родные братья. И в душе женщины родилась и засияла материнская любовь к ним, сострадание, боль и гордость. Если бы она могла помочь!.. Мысленно она представила себе, как сейчас встанет и скажет во всеуслышание: «Остановитесь, джигиты! В самом расцвете сил вы собираетесь уйти, покинуть родной аил. А вам только жить да жить! Пустите меня, я пойду и умру за вас!..»

И тут Сейде вспомнила: сегодня нужно отнести Исмаилу талкан. Исмаил ее ждет. И снова Сейде уронила голову;

<sup>1</sup> Темир-комуз — киргизский музыкальный инструмент.

<sup>2</sup> «Плач верблюдицы» — народная киргизская песня о верблюдице, потерявшей верблюжонка.

мысли ее перенеслись к дому: «Талкан недомолот, да и ребенок некормлен... Засиделась...»

Джигиты вышли на улицу, народ, ожидавший у бричек, колыхнулся, повалил навстречу.

— Благословим их! — срывающимся голосом крикнул с седла табунщик Барпы, скуластый, седой старик. Попридержав лошадь, он первым раскрыл свои натруженные дрожащие ладони:

— Оомин! Да поможет вам дух предков, возвращайтесь с победой!

Вслед за тем он взмахнул камчой и, согнув могучую шею, подрагивая плечами, зарысил прочь: мужчина не должен показывать своих слез.

Среди суеты и шума брички покатали под гору и вскоре скрылись в тумане. Некоторое время было слышно, как стучат колеса по мерзлой дороге и поют джигиты:

— Я покидаю свой аил, прощайте, мои дженелер...

Женщины плакали навзрыд, безутешно. Кто из этих цветущих юношей вернется, а кто ляжет в могилу на чуждальной земле? В горестном молчании стоял на бугре народ. И, глядя на скорбные лица айльчан, Сейде сказала себе: «Не буду гневить Бога, не буду мучиться тем, что мой муж — беглец. Лишь бы он был жив, лишь бы уберег себя!..»

Когда в аиле стихли голоса, Сейде засунула под чапан мешочек с талканом и несколько лепешек, взяла веревку и серп и задами, крадучись, отправилась за кураем.

Туман лежал на пустынных увалах и в логах. Стояла гнетущая тишина — ворон не каркнет. И только кусты чия, нармертво вцепившись дернистыми кочками в землю, ловили слабый ветерок, и каждый стебель посвистывал осторожно и тонко, по-змеиному. Боязливо озираясь в тумане, женщина спешила к самому дорогому своему, самому близкому человеку.

Еще с осени почтальон Курман стал объезжать стороной два крайних на улице двора. Он делал вид, что спешит с какой-то срочной доставкой, и пускал лошадь вскачь. Но Той почти всякий раз замечала почтальона. Она уже не надеялась, что получит письмо, и все-таки, бросив ступу, которой обмолачивала собранные на поле колосья, выбегала на улицу и махала вслед почтальону жилистой худой рукой.

— Ай, почточу-аке, нет ли мне письма? — кричала она робким, неуверенным голосом.

Заслышав голос матери, трое мальчишек вырывались из-за дувала — они играли там весь день на солнцепеке — и, обгоняя друг друга, кидались что есть духу к почтальону.

— Письмо, письмо от отца!

Пока старый Курман соображал, что ему ответить, ребятишки уже окружали лошадь и хватались за стремяна:

— Где письмо?

— Дай мне!

— Нет, мне, мне, Курмаке! Я возьму письмо!

— О-ой, чтобы враг вас сразил, письма-то ведь нет! О-о, кокуй-ой<sup>1</sup>, что это за дети! — возмущался растерявшийся Курман. — Сперва узнать надо, что и как, а потом уж кричать на весь айл!..

Дети усиленно сопели носами, недоверчиво поглядывая на его толстую сумку, и не уходили: все еще ждали чего-то. Курману было жалко их, босоногих глупышей, и обидно за себя. Ну что ты им скажешь?

— Или вы думаете, родненькие мои, что я спрятал ваше письмо? — бормотал он и в доказательство лез к себе за пазуху и потом показывал пустую руку. — Не верите, что ли? Да если б моя власть, я заставил бы его писать каждый день по три раза — все лучше, чем смотреть сейчас в ваши глаза... Сегодня нет, зато в другой раз обязательно будет. Бог даст, привезу в базарный день... Сон такой видел... А теперь бегите... Да передайте Сейде: для нее тоже нет письма, в базарный день привезу...

Старик, сдвинув на морщинистый бурый лоб заношенный тебетей и недовольно покачивая головой, трюхает дальше.

Тем временем лошадь его по привычке заворачивает на какой-нибудь двор, где почтальону появляться уже ни к чему. Он впопыхах резко дергает повод, лошадь спотыкается, и обозленный почтальон бьет ее камчой по шее:

— Ах ты, чертова кляча! Чтоб копытам твоим не ступать по земле! Поганный конь — дурные вести вскачь... Да будь у меня письмо, я и сам пустил бы тебя вскачь...

Каждый раз, когда Сейде возвращалась с хворостом, ее встречал Асантай, средний сын соседки Тотой, мальчишка лет семи, одетый в старую отцовскую телогрейку с обтрепанными рукавами. У него удивительно чистые, выразитель-

---

<sup>1</sup> Кокуй — возглас удивления, досады.

ные глаза, взгляд немного наивный, мечтательный. Он всегда улыбается, обнажая передние зубы, среди которых уцелели не все; Асантай больше нравится женщинам, а вот старший брат его — мужчинам. Старший брат на Асантая не похож — упрямый и своенравный.

— Сейде-джене, от Исмаке опять нет писем, и нам тоже нет, — сообщал Асантай со своей неизменной, чуть виноватой улыбкой и потуже запахивал телогрейку, мешком висящую на его шуплых плечах. — Курмаке сказал, что привезет письмо в базарный день. Он сон такой видел!

Из-под нахлобученной заячьей шапки смотрели на Сейде доверчивые детские глаза. Взгляд их обещал многое, даже то, что невозможно. Если бы мальчик знал, как тяжело Сейде выслушивать его бесхитростные слова! Огромная вязанка, которую она тащила так долго, не щадя себя, в эту минуту начинала неимоверно гнуть ее спину, словно она взвалила на себя камни. До двора оставалось каких-нибудь пять-шесть шагов; чтобы не упасть, Сейде шла, опираясь о дувал. Потом с размаху она бросила вязанку на землю и, прислонившись к дувалу, стояла с опущенными руками, не в силах поправить волосы, прилипшие к потному лицу. «О Боже, хоть бы какая-нибудь весточка от отца этих детей!» — думала она. Ей казалось почему-то, что если соседка Тотой получит письмо от мужа, то это и ей принесет какое-то облегчение. Иной раз ночью она вспоминала слова Асантая, и страх нападал на нее — давно уже не спрашивала она у Курмана, нет ли письма от Исмаила. А Исмаил все время внушал ей, чтобы она спрашивала. «Спрошу в следующий раз, — обещала она себе, но каждый раз передумывала: — Нет, уж лучше не спрашивать!»

Тотой жила рядом.

Несколько дней назад, ближе к ночи, когда жизнь в аиле замерла, Сейде принялась за стирку белья для Исмаила. Стирка затянулась до рассвета, белье пришлось сушить над огнем. Ранним утром Сейде собралась по воду. Вышла на порог и сразу же зажмурилась: за ночь густо выпал снег. Унылая, однотонная белизна снега была ей неприятна. Она почувствовала тошноту и головокружение. «Неужели забеременела? — Сейде покачнулась, выронила ведро. — Что скажут люди? — Но тут же успокоила себя: — Нет, не может быть. Это от бессонной ночи». Она старалась больше не думать об этом, она думала об Исмаиле. «Как он там сегодня? — спрашивала она себя, и у нее тоскливо сжималось

сердце. — Легла зима, скоро ударят морозы, каково-то ему будет в пещере?»

Да, зима легла по-настоящему. Еще только вчера земля была черная, а сегодня даже горы от гребней до подошвы покрыты свежим снегом. Сизые иззябшие вербы согнулись над арыками. Вяло волокутся в небе тяжелые, сумрачные тучи. Небо, казалось, опустилось ниже, мир как бы сузился, уменьшился. Снег все еще порошил, ветер, набегая порывами, взметал поземку. Люди еще не вставали: никому не хотелось выходить на холод в такую рань.

Сейде шла, опустив голову, и размышляла, как бы переправить Исмаилу большую кошму, ала кийиз: «Без нее не выдержать ему таких холодов...» Мысли ее внезапно оборвались, она увидела следы на снегу. Следы вели к реке. «Это, наверно, Тотой», — догадалась она и тут же увидела ее. Тотой шла навстречу с ведрами. На ее ногах — большие тяжелые сапоги, а сама она тонкая, со впалыми щеками, по углам рта морщины, чапан подвязан веревкой по-мужски, тугим узлом. Увидев Сейде, Тотой поставила ведра на землю и стала поджидать ее, растирая посиневшие от холода руки.

— Или ты всю ночь не спала? Вон как глаза ввалились и лицо пожелтело, — сказала соседка.

— Да нет, что-то голова болит, — ответила Сейде, потом поспешно добавила: — А что мне делать ночью, если не спать? — И сама испугалась своих слов, чувствуя, как у нее холодеет под ложечкой. «Может, Тотой выходила ночью на улицу и догадалась, что я стирала? Сейчас спросит...»

— Правда, сегодня ночью мне не спалось, сын плакал, — попыталась она как-то сгладить свои необдуманные слова.

Тотой понимающе покачала головой.

— И-и, — протяжно проговорила она, — ты такая же одинокая, как и я! Старуха твоя — тень в доме, только и знает, что сидеть у очага. Хорошо еще, если вынырчит внука. Совсем одряхлела... И родители твои не близко чабанят... Вот ведь как складывается в жизни, все одно к одному! — Тотой замолчала, с искренним сочувствием поглядывая на притихшую Сейде. Ей по-настоящему было жаль ее. Опушенные густыми ресницами глаза Тотой, всегда строгие, пронзительные, сейчас смотрели мягко, спокойно, с каким-то щемлящим, милым бабьим раздумьем. Давно Сейде не видела ее такой. «В девичестве она, наверно, была красивая. И у Асан-тая тоже красивые глаза, материнские», — подумала Сейде.

Тотой глубоко вздохнула и сказала:

— Все убиваешься, писем нет... Что ж, судьба наша такая! Я осталась с тремя детьми, а ты и полгода не пожила с мужем. Самая пора ваша была, а тут война... Сына родила — отец не видел... Обидно, конечно... Эх, все бы ничего, все переживется и перемелется. Да вот писем нет!.. Как подумаю, руки виснут... Вот и зима пришла, а у меня ребятишки голые... Кукурузы осталось всего два мешка... А что это для нас? — Она в сердцах махнула рукой, стряхнула слезы и, сурово блеснув глазами, подхватила ведра.

Испуганная и в то же время обрадованная тем, что Тотой ни о чем не догадывается, Сейде растерянно смотрела ей вслед. Она ничего не сумела сказать Тотой. Отзывчивость этой маленькой женщины, ее бабья жалостливость, ее мужество и слабость растрогали Сейде, и в то же время она чувствовала себя так, словно Тотой, сама того не зная, обвинила ее в чем-то, упрекнула. Она сказала, что их судьбы одинаковы и, значит, Сейде не имеет права роптать. Сейде не могла разобраться в своих противоречивых, неясных чувствах и, оправдывая себя, думала: «А что ж мне делать? У каждого своя судьба. Что написано на роду, тому и быть. Если детям Тотой уготовано счастье, отец их вернется...»

Байдалы, муж соседки Тотой, всю жизнь был поливальщиком. По вечерам, возвращаясь с работы, можно было видеть его на поливе. Размашисто, уверенно вышагивал он по полю, направляя воду в арыки.

Темно-густым багрянцем полыхало зарево по верхам клевера, и при каждом взмахе ослепительно ярко блеснул в руках Байдалы отполированный землей зеркальный кетмень.

«Умеет беречь воду, рука у него золотая!» — говорили о нем в аиле. Он раскатисто хохотал, когда женщины, подоткнув платья и держась за руки, переходили через бурлящий полноводный арык:

— Э-эй, что вы там? Бойтесь, вода утащит? Все равно в мои руки попадете. Не упушу!

— Чтоб твои арыки размыло, черт ненасытный! Чтоб тебе водой захлебнуться! — крикливо отвечали ему женщины-сверстницы.

А он, очень довольный, продолжал хохотать все так же раскатисто.

Потом оглянешься и видишь: в надвигающихся сумерках идет Байдалы по полю, рослый, с покатыми сильными плечами, идет как странствующий добрый богатырь. Он идет через все поле, примечая огрехи, и удаляется все дальше и дальше...

Иной раз, забежав к соседям, Сейде заставляла такую сцену. Тотой, недовольная чем-то, поджав губы, ожесточенно гремела скребнем по дну казана, а Байдалы мастерил ребятам игрушки и говорил спокойно:

— Зря ты ругаешься, байбиче. Живем не хуже других... Ну-ка, поди, в каждой ли семье по три сына? Ты мне их родила, а другого богатства мне не надо... Вот они, мои богоданные молодцы!

С фронта Байдалы часто писал домой, а с осени писем не стало... Не было писем и от Исмаила. Как мы видели, почтальон Курман, проезжая мимо, приударял гнедка каблуками и норовил проскочить незаметно. Не мог он явиться с пустыми руками! Он испытывал чувство вины, как если бы должен был вернуть долг, а денег у него не было. Зато Мырзакул, председатель сельсовета, стал наезжать чаще. Уж одно это пугало Сейде до смерти. Может быть, Мырзакул подзревает и хочет выследить Исмаила? Однако по его виду ничего пока не заметно. Откуда Мырзакулу знать? До сих пор о побеге Исмаила не знает ни одна душа в аиле. Исмаил очень осторожен.

— Сейде, времена смутные, народ ненадежный, смотри, чтоб никому ни слова! — предупреждает он каждый раз. — Если даже отец мой подымется из могилы, и ему не доверяй! Слышишь?

Проезжая по айлу, Мырзакул мимоходом заглядывает к ним как бы по делу. До ухода в армию он был молодой джигит. Черный каракулевый тебетей носил лихо, набекрень. Любил скачки и никогда не расставался с комузом. В аиле его считали лучшим певцом; сам слагал песни. Вернулся с фронта без одной руки — не узнать его теперь, совсем не тот. И характером не тот: вспыльчивый, крутой. Похож на дерево, искалеченное бурей: левое плечо опустилось вниз, шея вытянулась, на ней задубели шрамы, резче обозначились крупные неправильные черты лица, взгляд хмурый, цепкий. Теперь Мырзакул поет больше о том, что видел на фронте: то приглушенно, сурово, то с гневной страстью звенит его голос, а когда Мырзакул забывается, то глаза его сверкают, как у сказочных батыров, и он встряхивает единственной рукой, будто бьет по струнам комуза. Но теперь уж ему никогда не играть на комузе...

Обычно Мырзакул въезжает во двор к Тотой.

— Э-эй, Тотой, где вы там? Живы? — Потом, заглядывая со стремян через высокий дувал, издали окликает Сейде: —



Здоров ли твой малыш, Сейде?.. Сверни мне сигарку из табака, что у тебя припрятан дома. Да иди сюда, к соседке... Дело есть... Потом справишься...

Мырзакул никогда не спрашивал, получают ли они письма от мужей. Не хотел лишний раз расстраивать женщин, да к тому же он всегда сам просматривал аильную почту и знал все дела айла. И все же всякий раз, встречаясь с ним, Сейде волновалась. Ей казалось подозрительным, почему он не спрашивает, есть ли письма от Исмаила. Значит, что-то знает. Значит, это неспроста...

Свернув сигарку из табака, который она припасла еще летом на плантации, Сейде раскуривает ее и идет к соседке, изо всех сил стараясь подавить в себе нарастающий страх. Мырзакул, завидя ее, слезает с лошади и, с наслаждением затягиваясь дымом, заводит безразличную речь: о том да о сем...

— Хороший табак припасла, Сейде! — похвалил он ее однажды. — Пошли Исмаилу в посылке, пусть покурит. Вспомнится ему наш Талас. Ведь такого табака, как у нас, нигде нет.

— Пошлю, — с трудом выговорила Сейде. Надо бы еще что-нибудь сказать, но ничего не приходило на ум. Ей показалось даже, что Мырзакул угадал по лицу, как мечутся ее мысли, и от этого еще больше покраснела. Она притворно закашлялась: — Фу, какой горький дым, горло дерет... И что в нем хорошего?..

Сказала как будто к месту, но всю ночь терзалась: не выдала ли себя? «Пронеси бог и на этот раз. Нельзя, нельзя мне краснеть и голос надо сдерживать! Неужели он заметил? Сама виновата, смелости мне не достает, — ругала она себя. — А для чего это он сказал о посылке? Попросту или с умыслом?..»

В другой раз Мырзакул осмотрел деревья, высаженные на огороде Тотой вдоль арыка, и упрекнул ее:

— Байдаке каждую осень обрубал сучья и ветки, а в этом году вы этого не сделали... Старший-то твой уже работник... Обрубить надо ветки, а то деревья перестанут расти. Да и лишние дрова пригодятся...

Тотой с досадой глянула на Мырзакула, тяжело вздохнула:

— А если и перестанут расти, плакать не стану: кому они нужны! Разве дерево — опора человеку?.. Если самого нет дома, ничего не мило... Поди-ка попробуй: и в колхозе работай, и колосья собирай, и детей корми... Вот и живем две соседки — ни слуха, ни весточки от наших, живы или мерт-

вы, бог их знает! — Она отвернулась, прикусив губу. — А ты еще тут про деревья толкуешь...

Сейде оробела, сжалась, боясь, что Мырзакул сейчас выложит всю правду. «А ты не равняй себя с ней, — скажет Мырзакул, — ее Исмаил давно уже прячется. Здесь он, беглец!..» Да, это казалось неотвратимым в ту минуту. Но Мырзакул сказал другое.

— А ты знаешь, Тотой, может, не только деревья, но и тень их пригодится, — спокойно произнес он и вдруг вспыл, закричал, будто давно собирался высказать им все это в глаза: — Вы бросьте эти свои бабьи хныканья! Как чуть задержка с письмами, так они уж голосить готовы. Лучше вон переберите бодылья на крыше — навалили кучей не знай как, сгниет корм до весны! Хочешь, чтобы дети без молока остались? Да я вам за это головы поотрываю! Если одной не под силу, кликни соседку, здесь двое вас, соседок... Вдвоем-то вы одного мужика стоите... Русские женщины в окопах с винтовками сидят, не хуже мужчин, сам видел... А вы у себя дома — ноете, что писем нет!..

Тотой промолчала, не возразила ни слова. А Сейде ответила неожиданно для себя:

— Мы сделаем, сегодня же ветки обрубим и бодылья перекладем!

Может быть, она сказала это слишком поспешно? Но сейчас у нее не было никакой задней мысли, она говорила искренне, ей хотелось отвести разговор о письмах и в то же время было стыдно за себя и Тотой. Мырзакул больше ничего не сказал. Все еще возбужденный и злой, он как-то странно, внимательно посмотрел на нее — кажется, с одобрением. Потом сел на лошадь и уехал.

В этот день, помогая Тотой по хозяйству, Сейде испытывала безотчетную, тихую радость, она успокоилась, будто искупила свою вину. Давно уже не было у нее такого ясно-го света в душе, такого подъема, когда все хочется сделать непременно сегодня же, когда работа спорится в руках. Она задорно покрикивала на ребятишек Тотой: они не столько помогали, сколько мешали. Но это не сердило ее. Хотелось петь, хотелось смеяться. Но всякий раз, вспоминая поразивший ее непонятный взгляд Мырзакула, она вдруг обмирала вся, и руки у нее опускались.

«Почему он так поглядел на меня? Значит, что-то подозревает? А может быть, мне просто показалось?»

И так повелось: каждый раз, когда навевывался Мырза-

кул, смятение и страх охватывали Сейде. Все ждала, когда он спросит: «Где твой Исмаил? Куда ты его спрячешь?..» И сердце билось так гулко, что она боялась, не услышал бы он.

Когда Мырзакул уезжал, Сейде бежала домой, хватала трясущимися руками ковш с ледяной водой, пила, захлебываясь, обливала себе грудь и только позже, утолив нестерпимую жажду, могла собраться с мыслями. «Нет, он не знает! — уверяла она себя. — Если бы он приезжал подсмотреть или испытать меня, разве бы я этого не заметила? Ведь он просто спросил, как мы живем, и уехал. А если бы подозревал... Все равно от меня он ничего не узнает. Пусть хоть тысячу раз выпытывает. Исмаила я не выдам — никогда! Другие вон слезно молят Бога: только бы муж вернулся, только бы живой! А разве мне не дорог мой муж, разве я не просила об этом Бога ради нашего сына! Бог вернул мне Исмаила, чтобы я сама оберегала его...»

С буранами и трескучими морозами подошла самая холодная пора зимы — чилде. Всю неделю не утихал ветер, стогнал снег в крутые, плотные сугробы. Тропинки, прокаленные морозом, звенели под ногами, как железо.

Опустел аил, приткнулся в затишке, дымя глиняными трубами, а над ним в мутной блеклой выси безмолвно стыли на ветру величавые вершины гор.

Жить изо дня в день становилось труднее.

В наружной, холодной комнате, нахохлившись, сбились в угол куры. Не выходят они во двор, жмутся друг к дружке. Наполовину прикрыв глаза белыми пленками век, сошурившись, печально смотрят они на человека. Покормить бы их зерном, да что поделаешь! В простенке за печкой в большом домотканом мешке хранится кукуруза, что ни день, то ниже оседает мешок — казалось, кукуруза убывает от одного взгляда. Сберегая зерно, Сейде еще с осени перестала ходить на мельницу. Там за помол берут зерном, так уж лучше молоть дома, вручную. Другой раз ночами не спит: днем на работе, а с вечера садится за джаргылчак. Горячей окалиной дышал тяжелый каменный жернов, огнем горели растертые ладони. В глазах темнело от щемящей боли в пояснице, но Сейде не бросала джаргылчак. Исмаил не должен сидеть завтра голодным. Просеяв помол, она откладывала горсточку на кашу для ребенка, а из остальной муки пекла Исмаилу лепешки. Сейде и старуха довольствовались дертью, что оставалась в сите. Из нее варили похлебку. Откуда же взять зерна для кур? Только бы самим дотянуть до весны.

Сейде держала кур, чтобы весной были яйца для малыша, но, видать, плохо рассчитала. Мяса нет. Когда приходит Исмаил, Сейде варит ему курицу. Была бы живность покрупнее, Сейде накормила бы мужа вдоволь настоящим мясом. Вот бы хорошо! Все, что есть в доме, что удавалось добыть, Сейде приберегала для мужа. «Сами-то мы у себя дома, хоть на воде да перебьемся», — говорила она старухе, которая и без ее слов готова всем пожертвовать ради сына. И все же, когда Исмаил приходил домой, сердце Сейде сжималось в горячий комок от стыда и жалости.

Прикрыв лицо грязным платком, в заселенной пролежалой шубе поверх шинели, прокоптившийся, как бродяга, появлялся он у порога в буранные ночи. Немножко отойдет с мороза, тяжелым духом так и пахнет от него. Стряхивая над огнем вшей с его рубахи, Сейде незаметно бросала на него жалостливые взгляды и думала в отчаянии: «Ох, что станется с тобой в такие холода? Был бы ты дома, пылинке бы не позволила сесть на тебя!..» А он сидел у огня сычом, мутно и зло поблескивали его одичалые глаза. Лицо, как кошма, загрузело от холодов.

Сейде понимала: тяжело ему; она старалась обласкать мужа, развлечь его разговорами. «Муж и жена всегда вместе: в беде и горе, — убеждала она себя. — Что бы ни свалилось мне на голову, все должна я вынести. Только бы Исмаил уцелел... Переживется, перемелется, стерплю... Вот Тотой одна с тремя детьми, по горсточке делит между ними талкан, и то держится, вида не подает...»

Позавчера, когда Сейде возвращалась с работы в табачном сарае, у моста ее догнал Мырзакул.

— Постой, Сейде! — окликнул он ее.

Казалось бы, ничего подозрительного не было в его голосе, но Сейде в один миг насторожилась, ожидая самого страшного, и быстро прикрыла платком задрожавшие губы. Мырзакул подъехал к ней на рыси, нагнул с седла и пристально всмотрелся в лицо. «Узнал! — ужаснулась Сейде. — Так и есть? Чего тянешь? Да говори же!» — чуть было не крикнула она. Так мучительно долго, так каменно-спокойно смотрел на нее Мырзакул.

— Я хочу по-родственному предупредить тебя, Сейде, — проговорил он.

— О чем? — спросила Сейде, но не услышала звука своего голоса. Вслух она произнесла это или только подумала?

— Да ты что! Что с тобой? — встревожился Мырзакул и

смутился от своей неловкости: ведь напугал женщину, от мужа писем нет, всякое может подумать, вон как побелела. — Да ты не бойся, ничего плохого не случилось... Просто хотел сказать тебе: завтра будем выдавать понемногу зерна семьям фронтовиков... Так вот, не все попали в список. Тебя тоже нет, Сейде. Ты же понятливая, не обидишься. Кое-как разделили по пять, по десять кило на многолетних, таких, как Тотой... Только не шуми завтра, всем бы нужно дать, да не из чего.

У Сейде отлегло от сердца...

— Ну что же, нет так нет, — ответила она, приходя в себя. «Мне не надо, это верно: лучше помочь таким, как Тотой, а я перебьюсь», — хотела она сказать, но не посмела, не хватило духу.

Мырзакул понял это по-своему.

— Но ты, Сейде, смотри, не думай плохое, — как бы оправдываясь, заговорил он. — В другой раз и тебе дадим... Обязательно... это я обещаю... Ты и старухе так скажи, а то будет ворчать: «Мырзакул нашего рода, а что от него толку, хоть он и сельсовет...» Я рад бы сделать для своих, да сама видишь... — Мырзакул задумался, оглядел заснеженные айльные кибитки, тронул лошадь, но тут же придержал. Что-то еще собирался он сказать, но, видно, не решился. Он снова посмотрел ей в глаза странным, непонятым взглядом, как тогда, во дворе Тотой, только на этот раз более откровенно. Да, теперь было ясно: с нежностью и восхищением смотрел он на Сейде, и глаза его говорили: «Я знал, что ты поймешь меня... Я всегда верил тебе... Ты самая лучшая на свете, я люблю тебя... Давно уже люблю...»

Пугливо прикрываясь платком, бледная от страха и волнения, Сейде невольно отпрянула назад. В ее широко раскрытых глазах застыло удивление, она была сейчас очень хороша.

— Я пойду! — тихо, но твердо сказала она.

— Постой! — Мырзакул колебался. Он взялся за поводья, потом опять опустил их. — Постой, Сейде! — повторил он. — Если тебе туго придется, ты от меня не скрывай... Для сынишки твоего на кашу... шинель с себя продам, но достану...

Сейде, слушая, молча кивала головой, не знала, что и подумать. Она испытывала благодарность к нему. Но глаза ее были холодны и отталкивали: «Не тронь меня! Не смотри так, я тебя боюсь! Отпусти, я уйду!»

Мырзакул медленно опустил веки, а когда, распрямив-

шись в седле, снова взглянул на Сейде, глаза у него были такие же, как всегда. Он сказал ровным голосом:

— Ну, иди, сын-то, наверное, плачет...

Сейде круто повернулась и пошла, едва удерживаясь, чтобы не побежать. Отойдя немного, она оглянулась через плечо, остановилась. Понурился голову, не оглядываясь, Мырзакул ехал по-над берегом. Лошадь шла тихим шагом, он не понукал ее. Может быть, потому, что Мырзакул поднял ворот шинели, сейчас особенно бросалось в глаза, как он похудел, ссутулился, как низко опущено его искалеченное безрукое плечо. «Говорит, шинель с себя продам... А ему же холодно!..» — подумала Сейде, и вдруг что-то небывалое кольнулось в ее душе. Горячая нежность, жалость неожиданно переполнили сердце. Хотелось побежать, остановить его, согреть ласковым словом, попросить прощения... «Что же ты нашел во мне, замужней? Разве мало в айле хороших девушек? А ты и не знаешь, что муж мой при мне...»

Все перепуталось в ее голове, сухой звон снега под ногами резко отдавался в висках. Вплоть до самого дома Сейде испуганно оглядывалась и прикрывала платком дрожащие губы.

Вчера аил облетела черная весть. Женщины в табачном сарае перешептывались между собой, а когда мимо проходила Тотой с тюком табака на спине, они скорбно замолкали. Одна из них, в черной шали, с еще не зажившими на лице следами глубоких царапин, не удержалась и шумно всхлипнула:

— Несчастные сироты! Пусть ваше горе падет на голову германа!..

В сельсовет пришло извещение о том, что Байдалы погибли под Сталинградом.

В последнее время то на том, то на другом краю айла часто слышались траурные крики мужчин. «Боорумой! Боорумой! Боорумой!»... — кричат они, раскачиваясь в седлах из стороны в сторону. А в ответ им из кибитки, окруженной толпой народа, доносятся надсадные вопли женщин. Они садятся спиной к двери, ногами раздирают лица в кровь и голосят:

Уздечка твоя из серебра,  
А сам ты был храбрый, как лев,  
Уздечка пустая висит на стене, —  
Черный платок на моей голове, —  
Сын твой отомстит врагам!..  
О-о-о-ха, э-э-эй-и!

<sup>1</sup> Боорумой — брат мой родной.

До самой полуночи, до изнеможения и хрипоты причитают женщины, оплакивая погибших на фронте. И каждый раз, когда всем айлом собирались голосить в доме погибшего, Сейде становилось страшно, она боялась показаться на глаза айльчанам и, сама того не замечая, пряталась за спиной других. В такие скорбные дни ей хотелось убежать куда-нибудь в горы, в безлюдное место и причитать там в одиночестве, чтобы никто ее не видел и не слышал.

Вот теперь дошла очередь и до Тотой. Возле ее дома тоже будет толпиться народ, она тоже будет голосить и раздирать лицо ногтями, а ее малыши обязаны, как настоящие мужчины, крепко повязаться кушаками, выйти во двор и, опираясь на палки, встречать мужчин громким плачем: «Атамой<sup>1</sup>, эсил кайран<sup>2</sup> Атамой!..» Бедная Тотой, она еще не знает, какое горе свалилось на ее плечи! Извещение о смерти Байдалы хранилось пока у Мырзакула. У киргизов не принято говорить о таких вещах сразу. Время, когда сказать, должны определить старики. Вместе с похоронной бумагой в адрес правления колхоза пришло письмо от командира полка.

Он писал, что подразделение пошло в атаку и оказалось зажатым в узкой полосе между берегом Волги и заминированным проволочным ограждением. Положение оказалось безвыходное, люди гибли под пулеметным огнем, никто не осмеливался первым приблизиться к минному полю. И вот тогда Байдалы по своему почину бросился на проволоку. Мины взорвались, образовав проход. Враг был выбит с позиций.

Выслушав это письмо, аксакалы, собравшиеся в доме Мырзакула, почтили память земляка молчанием. Долго длилось это молчание. Молча читали молитву.

— Ииех! — наконец вздохнул почтальон Курман и насунул тебетей на глаза. — Умел он беречь воду, руки были золотые... Где Байдалы проведет воду, там всегда хлеб родит... Да, вот! А детишки его проходу мне не давали: «Курмаке, когда привезешь письмо от отца?» Я все обещал в базарный день, и они верили. А оно вон как обернулось... Ну что ж, судьба народа — судьба батыра!

Мырзакул спросил у аксакалов совета, как поступить с извещением о смерти Байдалы. «Раз уж пришла бумага начальника, что погиб, тут ничего не поделаешь, — ответили стари-

<sup>1</sup> Атамой — от слова «ата» — отец.

<sup>2</sup> Эсил кайран — выражение, употребляемое мужчинами при оплакивании ближнего.

ки. — Но ты, Мырзакул, послушайся нас. В такую тяжелую годину, когда Тотой носит детишек в зубах, как щенят, спасая их от голода, не смеем мы сказать ей о смерти мужа. Если у Тотой опустятся руки, что будет с ее детьми? Нет, не можем мы лишить ее последней надежды. Лучше отложить это дело до осени: соберем урожай, пусть народ немного насытится. Вот тогда известим округу о гибели нашего батыра и всем аилом справим поминки с подобающими почестями...»

Весь аил нашел это решение стариков разумным. До осени никто не имел права заговорить о смерти Байдалы. Но женщины в табачном сарае не утерпели, всплакнули украдкой: ведь Тотой ничего не знает.

Ночью пришел Исмаил, и Сейде рассказала ему о судьбе их соседа Байдалы. Исмаил на это ничего не сказал, только непонятно пожал плечами. Бог знает, о чем он думал. Может быть, в душе пожалел Байдалы, а может быть, и нет. Даром он, что ли, в бегах, даром, что ли, бережет свою жизнь? А Байдалы, очертя голову, бросился на мину. Ну и погиб. Так оно и должно было случиться. Нет, лицо Исмаила непроницаемо, он не скажет ничего.

Молча выхлебав большими, гулками глотками полную чашу похлебки, Исмаил недовольно буркнул:

— Еще есть?

«Куда уж ему тут горевать по другим? Сам день и ночь на холоде, глаз не смеет показать, да к тому же день сыт, день голоден...» — думала Сейде, оправдывая Исмаила.

Проводив его, она долго не могла уснуть. Ветер свирепо швырял в окно снежную крупу, продрогшая собака где-то на окраине плаксиво тьякнула раза два и загнусавила: «Су-у-у-ук! Су-у-у-ук»<sup>1</sup>. Сейде бросило в дрожь. Ей жутко было представить, как сейчас в морозном поле, по зарослям чия кружится с посвистом злой ветер, а Исмаил, один среди ночи, пробирается к себе в убежище. А тут еще сын расплакался. Плохо спалось в эту ночь.

Утром прискакал почтальон Курман. Одновременно он исполнял обязанности рассыльного при сельсовете. Полы его шубы разметались в стороны, он был чем-то сильно встревожен.

— Сейде! — застучал Курман в дверь. — Из района при-  
был инкуу<sup>2</sup>, срочно требует тебя! Собирайся живей!

<sup>1</sup> Суук — холодно.

<sup>2</sup> Инкуу — от слова «НКВД».



Сейде выбежала на стук и все сразу поняла. Даже не спросила, зачем ее требуют. Молча стиснула зубы. «Исмаил, родимый, как же быть теперь?» — пронеслось в ее голове. Тут прибежал Асантай... Кажется, он думал, что Курман привез письмо от Исмаила.

— Суюнчу, Сейде-джене, письмо от Исмаке! — радостно крикнул он, но, увидев побледневшую Сейде, смолк на полуслове. Виногато поглядывая на нее, мальчик отошел в сторону, поеживаясь то ли от холода, то ли от стыда.

— Вот еще несчастье-то! — с досадой проговорил Курман. Неизвестно, к кому относились эти слова: к Сейде или к мальчику. Не сказав больше ни слова, он стегнул лошадь и ускакал.

Сейде не помнила, как она добралась до сельсовета. Дрожащей рукой отворила дверь. За столом сидел человек в шинели, с кобурой на боку. Разглядеть его Сейде не могла, голова ее кружилась, земля уходила из-под ног. Пока шла, в мозгу лихорадочно колотилась безысходная мысль: «Поймают Исмаила, увезут!» Но сейчас, когда Сейде вошла в сельсовет, в ней вдруг проснулась отчаянная решимость, в которой потонули все ее колебания: «Не отдам Исмаила! Не отдам!» Для Сейде уже не существовало страха, она стояла перед столом и мысленно твердила себе эти слова, как клятву: «Не отдам Исмаила! Не отдам!»

— Садитесь, — сказал оперуполномоченный НКВД. Сейде не слышала. — Садитесь, — повторил он.

Сейде, как во сне, нащупала табуретку и села.

Закончив расспросы, уполномоченный долго писал, испытующе поглядывая на нее и о чем-то раздумывая. Потом сообщил, что ее муж дезертировал из эшелона, прихватив с собой винтовку с патронами.

— Где он сейчас? — спросил уполномоченный.

— Не знаю, я ничего не знаю, — ответила Сейде.

— Вы не скрывайте, мы его все равно найдем. Если желаете ему добра, пусть объявится по своей воле. Вы должны нам помочь.

— Не знаю, я ничего не знаю. Его взяли в армию, а больше мне ничего не известно. Сбежал он или не сбежал, я этого не знаю...

Что бы уполномоченный ни спрашивал, как бы ни убеждал, Сейде на все отвечала коротко: «Не знаю». А сама думала: «Не враг я себе. Делайте, что хотите, хоть убейте, ничего не скажу!»

— Ничего я не знаю! — твердила она.

Когда допрос кончился, Сейде пошла к дверям, напрягая все силы, чтобы не упасть, чтобы идти прямо. У выхода на улицу ей встретился Мырзакул. Он порывисто шагал от конюязи, на ходу докуривая сигарку. Напряженный и какой-то нездоровый был он сегодня. Лицо осунулось, на скулах расплылся неяркий, тусклый румянец, под вытертым сукном шинели, угловато выпирая, подергивалось безрукое плечо, тебетей был плотно надвинут на брови.

Увидев Сейде, Мырзакул остановился. Окинул ее цепким взглядом исподлобья.

— Была там? — кивнул он на дверь. — Сказала?..

— А что мне сказывать? Я ничего не знаю, — ответила Сейде.

— Во-он как? — Мырзакул помолчал, горько усмехнулся, потом бросил окурок, растоптал его сапогом и резко вскинул брови. — Ты думаешь, доброе дело делаешь для него? — спросил он в упор. — А совесть перед народом? Куда ты ее денешь? Мы все мужчины из потомков Давлета, все, кто носит тебетей на голове, — мы все пошли, ни один не остался. В добрые, в лихие ли дни — упаси бог отойти от народа! Позор всем нам! Ты понимаешь это? Отвечай мне: ты понимаешь?.. Пока не поздно, приведи Исмаила, пусть он воюет там, где все.

Сейде стиснула запрокинутые на шею руки, каждое слово Мырзакула вырывало из этих обессиленных рук то, чем они никогда не могли поступиться. Еще одно его слово, и все будет кончено: она не выдержит, упадет на землю и признается во всем...

— Ты... ты меня совестью не бей! — иступленно крикнула она.

И это было все, что она могла сделать. Ослепленная отчаянием и яростью, она рванулась к Мырзакулу:

— Может, он и сбежал! Откуда мне знать? Каждому своя жизнь дорога, каждый себя бережет. А тебе-то что? Или он перебежал тебе дорожку? Или тебе мало места в аиле? Или ты хочешь, чтобы все вернулись такими же калеками, как ты?

Мырзакул оцепенел, культя его судорожно взметнулась, выдернув порожний рукав из кармана шинели, лицо исказилось болью и гневом. Он долго хватал ртом воздух.

— З-значит, я в-вернулся калекой потому, что я д-дурней твоего Исмаила? — Мырзакул кинулся в сторону, нагнувшись,

словно ища что-то на земле, потом подбежал к Сейде, занес над головой камчу и начал хлестать Сейде по плечам. Она не вскрикнула, не отшатнулась. Над головой свистела камча, а Сейде как завороченная смотрела на куцый обрубок его руки, который тоже вздрагивал и дергался в мотающемся рукаве. На какую-то долю секунды мелькнули перед ней до крови прикушенные губы Мырзакула, его страшные горящие ненавистью глаза. Потом она увидела, как он тщетно пытается сломать камчу о свое колено. И опять обрубок его руки беспомощно дергался взад и вперед.

Широко размахнувшись, Мырзакул закинул камчу на крышу и побежал прочь, прижимая к груди, как к кровотокающей ране, скомканный в кулаке рукав шинели. Он бежал, не оглядываясь, по огородам, через сугробы и арыки. Потрепанная полевая сумка отчаянно хлопала его по бедру.

Все еще не понимая, что произошло, Сейде с ужасом смотрела ему вслед. Только теперь она почувствовала, как горят ее избитые плечи. Обида душила ее, хотелось закричать, громко заплакать.

Потом она шла по улице, ничего не видя перед собой; режущий ветер слепил ее сухие, немигающие глаза, ноги пугались в поземке. Мысли были так же жгучи, как и рубцы на шее. «Он избил меня, опозорил! Я скажу Исмаилу, он отомстит! — твердила она. Но тут же изменяла решение: — Нет, не скажу: Исмаил кинется в аил, и его могут поймать. Лучше промолчу, стерплю, но в душе никогда не прошу, до самой смерти... Недаром говорят: «Брат брату враг»<sup>1</sup>. Мырзакул ненавидит Исмаила за то, что он живой и невредимый... Будь проклят ты, Мырзакул! Я никогда больше не погляжу тебе в глаза...»

Вернувшись домой, Сейде ткнулась лицом в худые колени свекрови и, обнимая безответную, безропотную старушку, зарыдала:

— Бил меня Мырзакул, мама, бил...

Она плакала долго и безутешно. Сквозь слезы смутно слышала прерывистый голос свекрови:

— Родимая ты моя, дитя мое, кормилица... Вся надежда на тебя, ты наша опора... Все вижу, все знаю. Век мне молиться на тебя... Стерпи уж эту обиду, смолчи... А нас с Мырзакулом пусть Бог рассудит, забыл Мырзакул родовой долг...

---

<sup>1</sup> У киргизов все мужчины одного рода считаются братьями.

Ночью Сейде встретила Исмаила у оврага. Он вернулся в пещеру, не заходя в аил.

К весне у многих айльчан хлеб подошел к концу — остатки выскребали. Только и речи было — поскорее бы уж отелились коровы да дожждаться бы молодого ячменя, а там пшеница подойдет. Но сказать легко, а попробуй дождись.

«Весной скот тошает, кость гнется». Человеку тоже не легче...

Сейде переживала самые тяжелые дни. После ее столкновения с Мырзакулом Исмаил перестал ходить домой, ни днем ни ночью он не покидал пещеры. Отправляясь за хвостом, Сейде сама приносила ему пропитание, а если не удавалось днем, шла ночью. Все бы ничего, но одно ее очень тревожило: Исмаил стал ненасытный. Сколько ни принеси, все подберет до крошки: может, и наелся уже, а глаза попрежнему голодные, жадные.

— Дома-то осталось еще или придется подыхать с голоду? Ты не скрывай, говори правду! — допрашивал он.

— Зачем так говоришь! — упрекала Сейде. — Лишь бы ты жив был, а для живого человека всегда найдется кусок хлеба...

Теперь Сейде вставала с рассветом и отправлялась на прошлогодние гумна. Там она расстилала на снегу мешковинный полог и до самого вечера перевеивала полову, перекидывала солому. То, что осенью ушло в охвостья, сейчас она вывеивала, собирая по зернышку. За день набирался кулек сморщенных, щуплых зерен. По ночам Сейде молола их на джаргылчаке, пекла Исмаилу хлеб. Но до каких же пор можно так перебиваться? Была у Сейде заветная мечта — о телке. Пошли корове Бог благополучно отелиться, тогда и молоко будет у Исмаила, и масло. Замкнулся Исмаил в себе, озверел, будто весь мир ненавистен ему, всегда тупо молчит, ни одного хорошего слова от него не услышишь... Что у него на уме? О чем он неотступно думает? А если откроет рот, больше всего говорит о еде и думает, вероятно, только об этом. Когда речь заходит о мясе, во рту у него собирается слюна, и он сплевывает со злостью. Иногда ни с того ни с сего мрачно заявит:

— Кровь у меня стала холодная: воды в ней много... Очень много...

Что-то недоброе всколыхнется в глубине его глаз, и опять молчит, упорно молчит. О чем он думает в такие минуты? Как бы не потерял рассудка...

«Может, он тоскует по сыну?» — подумала однажды Сейде. На другой же день, выкупав ребенка, она надела на него чистую одежку, укутала и вышла с ним на улицу.

— В гости к своим схожу, в Малое ущелье, — отвечала она на вопросы соседей.

А сама пошла к Исмаилу. В этот день Сейде была счастлива. В аил вернулась через сутки...

Весна обещала быть ранней. Сегодня с самого утра теплынь. Снег, точно квелия кошма, сразу расползся рваными прогалинами, земля дышала паром. Над долиной стелился оттепельный ветерок, талая вода журчала в арыках, подтачивая осевшие, набрякшие влагой сугробы.

С гумна на краю поля несет горячим, слежавшимся духом: кто-то ворошит там солому. Это Сейде. Набив мешок половой, она тащит его на бугорок и посвистом вызывает покровителя ветров. Как крупницы золота в песке, выискивает она хлебные зерна. Утомительная, нудная работа. Но для Сейде это не в тягость: что бы там ни случилось, а она должна прокормить Исмаила до конца весны. А там, Бог даст, откроется перевал...

Вон за тем неприступным хребтом, за нетронутыми синими-белыми снегами лежит Чаткал.

Скорей бы пришла весна, скорей бы дожждаться начала лета...

Так ожидает человек того круговорота времени в природе, когда после зимы он жаждет тепла и новой энергии, как возвращения утраченной свободы, ибо воскресала природа, умиравшая на зиму, и воскресал дух... Но то, что ждала Сейде, заключало в себе гораздо большее. С открытием пути через неприступный в другие времена года снежный перевал — открывался путь на Чаткал, путь к спасению мужа и всей семьи. И она хорошо понимала: то была для них единственная возможность, единственный выход...

Теперь она постоянно думала об этом, думала упорно, с надеждой, страхом, — и все-таки надежды было больше, — думала с благодарностью к свекрови, ибо именно она, старая Бексаат, истомленная и измученная судьбой сына, первая пришла к мысли — надоумила молодых уходить в Чаткал...

Сейде и прежде доводилось слышать в аилах удалую песню конокрада:

Я коня увожу,  
Как огонь из костра,  
Я в Чаткал ухожу,  
Через льды и снега...

Никогда не придавала она значения этой песенке и никогда не предполагала, что Чаткал станет для нее обетованной землей, самой желанной на всем свете...

И для Исмаила, одичавшего, оглохшего от собственного плена, свет забрезжил впереди, — как в той песне конокрада, — через льды и снега в Чаткал рвалась душа, и только об этом были теперь его помыслы.

Мать Исмаила — тихая, болезненная старушка Бексаат в ту зиму жила жизнью крота, затаившегося в норке под кучкой земли и лишь изредка высовывающегося, чтобы глянуть — стоит ли мир на месте. При том положении, что приходилось скрывать от других сына-дезертира, чуть подсаживало ей никуда не выходить со двора, нигде не показываться, избегать лишних встреч и разговоров с односельчанами. Иного образа поведения трудно было придумать. Сидела с внучонком дома, с нее и спрос был не более того. Самое же главное — такая жизнь матери вполне устраивала сына и невестку. На нее они могли положиться. Не будь старухи, как бы они выходили из положения, как бы Сейде могла оставить ребенка дома, чтобы сходить за хворостом, а заодно и в убежище мужа в предгорьях.

Сколько раз, бывало, до случая избиения ее Мырзакулом, предупреждала Сейде сама свою свекровь уметь держать себя, если вдруг кто спросит о сыне, как и что, мол, не прятать глаза, а посетовать на судьбу, откуда, мол, знать мне, старой и темной, что происходит в теперешнем мире. Исмаила, мол, как забрали в армию да отправили на фронт, так и никаких вестей. То ли письма где-то теряются по дороге, кто его знает. Молю Бога, мол, чтобы единственный сыночек, единственный отроду, жив бы остался, а тогда, рано или поздно, вернется. Доживу ли, одному Богу ведомо, — ну и прочее в этом же духе.

Старая Бексаат понимающе кивала при этом. Одряхлевшие щеки ее увлажнялись неприметно сочившимися слезами, и такая несчастная становилась старушка, эдакая маленькая, худенькая, сникшая, что Сейде не находилась как быть — то ли пожалеть ее, то ли образумить.

— Да ты что, эне<sup>1</sup>, зачем слезы понапрасну льешь? Не гневи Бога! — укоряла сноха. — Как бы то ни было, радуйся, что жив, пусть и в бегах. Ночью, на часок, да приходит домой. Пусть тяжко, пусть стыло, в дождь да снег, но все же

---

<sup>1</sup> Эне — мать, мама.

лучше, чем там, на войне, вон сколько народу гибнет... Сам же он и говорит, сын твой, зачем мне голову класть на чужбине. С чего мне воевать там, когда краев я тех в глаза не видел, и никогда и никто в роду моем там не бывал. Кто начал войну, пусть сам и воюет. А я пережду, мое дело сторона, перетерпим, посмотрим...

Слова эти пересказывала и повторяла Сейде всякий раз, как возникал неизбежный разговор, особенно по вечерам, когда в аиле угасали огни один за другим в обледеневших окнах, утихали озябшие собаки, устраиваясь в укромные места на ночь, и каждый дом, каждая семья уединялись сами по себе у догоравших печек и очагов, отъединившись от внешнего мира до утра, до первых петухов и мычания коровенок. То были часы полной самоизоляции всех ото всех, и потому по вечерам больше думалось и больше переживалось. Старушка Бексаат обычно молча слушала невестку, когда они, усыпив малыша, невольно начинали разговор все о том — как быть, что будет... Свекровь при этом тяжело вздыхала, покорно покачивала головой в ответ, и когда разговор подходил к концу, всякий раз с одним и тем же исходом, в неопределенных выражениях: поживем, мол, увидим, — старушка не могла скрыть своего страха. Безысходно хваталась за голову, шептала едва слышно бескровными губами, точно бы кто-то мог услышать:

— Боюсь, боюсь, Сейде, чем все это кончится!

Сейде при этом отчаивалась в душе, но виду не подавала, приходилось делать над собой усилие.

— Успокойся, эне, зачем плакать заранее. Вот теплеет, снег сойдет, земля просохнет, все легче станет и ему, и нам, — приговаривала она, чтобы только не всплакнуть самой. — А там придумаем что-нибудь, живые люди ведь мы, как-нибудь, что-нибудь придумаем. Только бы не узнал никто из айльных о нем, ты уж смотри, если что, ни слова: не знаю, мол, и все...

И они замолкали, каждая думая о том же самом, и не видели выхода, не знали, как же быть дальше. Но в ожидании Исмаила — он появлялся обычно к полуночи — принимались за дела, чтобы накормить и согреть его с дороги и чтобы к рассвету он снова покинул аил. Перед приходом мужа Сейде выходила во двор, закутавшись в тулуп, и поджидала его за сараем, чтобы предупредить, все ли в порядке, чтобы входил он в дом без опасений. Вглядываясь вокруг и прислушиваясь к доносящимся звукам, Сейде ждала с тревогой

появления Исмаила и тем временем обращалась мысленно к звездам и луне, мерцающим над стылými снежными горами вдаль. Только звездам и луне могла она излить изболевшую душу, только к ним обратиться, чтобы они, каким-то чудом услышав ее, повлияли бы на земные события, оберегали бы ее мужа, ее малыша, старуху и саму ее от тех, кто как только узнает, что Исмаил дезертировал из армии, так повяжет их всех и погонит в Сибирь на издыхание. «Услышите меня, — творила она свою звездную молитву, — только вам скажу. Вы там, на своем месте, и ничто вам не грозит, никто никого не преследует и никаких войн между вами не происходит. А мы тут не знаем, куда себя девать от войны. А на войне сколь народу — видимо-невидимо гибнет. В нашем аиле уже и мужчин не осталось, все там. Сказали — воевать, сказали — биться, и все пошли как один. В душе-то никто не хочет умирать, но все идут. Отчего так? И если мой муж сбежал с эшелона, то он сам так решил — говорит, каждый хозяин своей голове, все равно где погибать. Так-то оно так, но чем все это кончится? Вот и молюсь на вас, звезды и луна. А кроме вас у нас никого нет. Мы со старушкой нашей только об этом и думаем. А дите еще мало, что с него, какой спрос? Но как-то обернется и его дитячья судьба? Говорю об этом мужу, а он свое — как я, так и вы. Когда, говорит, поженились — что было? А было то, что поклялись во всем быть вместе — и в беде, и в радости. Да я-то готова. Только как жить дальше? Сколько будет длиться эта большая страшная война в тех краях, куда всех гонят воевать? Сколько можно так, как мы теперь, жить, скрываясь ото всех, а вдруг узнают, тогда что?.. И его жалко, одичал уже, один, как волк без стаи. Тяжко ему. Кашляет крепко, простыл. И дома, почитай, все на исходе. Картошки в погребе едва-едва, той, что на семена оставляли, да и та прорастает. А с мукой еще хуже. Уж как мы бережем каждую горсточку, а хлеб печем только для него, а сами только на кукурузной каше... А в колхозе у многих, можно сказать, уже голод настоящий в домах. Едва-едва перебиваются и все ждут весну, когда коровы отелятся, когда молоко пойдет... Неужто и в прошлые времена людям жилось так худо? Говорят, что и прежде бедности было много, но войны такой не было. Лучше быть бедняком, но только не бежать ни от кого и ни от чего...»

Если Исмаил запаздывал почему-либо, — иногда он долго выжидал, чтобы во всех домах погасли окна, чтобы ни с



кем не столкнуться невзначай, — то и Сейде оставалась ждать его за сараем терпеливо и верно и все время думала думу свою, изливала небесным светилам свою молитву. Эти размышления и много других мыслей прерывались лишь тогда, когда, наконец, Исмаил возникал поодаль в темноте. Сейде подходила к нему, холодная, намерзшаяся, позабыв обо всем, о чем только что думала, и уводила его домой... А на рассвете он снова исчезал. Пусть на короткое время, но были вместе...

Обстирывать его было не трудно, но сушить мужнины рубахи и штаны во дворе Сейде не решалась. Вдруг кто-нибудь заглянет и спросит — что тогда сказать? И потому выстиранное белье сушила у очага старая Бексаат. Терпеливо и долго держала она по ночам у тлеющих огней мокрую стирку.

И вот однажды, сидя у очага с просушкой на слабеющих старческих руках, заплакала она тихо и сказала, обращаясь к снохе:

— Сейде, все хочу сказать тебе — что-то у меня внутри, болезнь какая-то нехорошая. Все время боль в боку, как камень давит. Сплю — давит камень, хожу — давит. Чувствую, силы уходят.

— А что же ты молчала? И давно? — Сейде теперь только убедилась, как сильно сдала старуха, как померкли глаза, и поняла, чего той стоило молча, безропотно сносить снедающий изнутри недуг. И ей стало не по себе. — А я и не замечала, — сказала Сейде виновато. — Надо же что-то делать, если так.

— А что делать? Ты только Исмаилу ничего не говори. Только ему ничего не говори. Сама понимаешь. Не надо. Потому я и молчала. Не до меня ему.

— Ну как же так? Надо ведь что-то делать!

— Да я не об этом, доченька. Есть другая боль, которую я с собой не унесу. Моя боль, что внутри, уйдет со мной. Но, как подумаю, что будет с вами, как же жить, сколько можно терпеть и ему, и тебе такую жизнь, что глаз нигде не поднять... — И она расплакалась, еще больше комкая в руках полусухое белье и, всхлипывая, дергаясь худыми выступающими плечами, продолжала срывающимся то и дело на плач голосом: — Ведь человек не может жить без людей. Он потому и человек, что с людьми. И его, единственного моего, жалко, не могу пересилить; если женщина змею родит, то и змея для нее своя плоть, как своя печень, не отделишь от себя. А он для меня все, ради чего жила на свете. Мне ли

тебе рассказывать. Ты сама уже мать. И вот хочу тебе сказать, только ты мужу ничего не говори, ни слова. А перед этим вот что. Ты для меня, Сейде, ближе всех на свете, буду умирать — буду Бога молить о твоём счастье и больше ни о чем. И скажу Богу, что всем довольна. И скажу, что и на том свете буду просить только об одном. Вот и думаю, часом, за что нам такое наказание? Сама знаешь, родом мы не здешние, хотя для здешних свои люди давно. Передвинулись мы сюда потому, что как ни рожу, так помирает дитя. Слаб был здоровьем мой хозяин-то, как сюда передвинулись, совсем хворым стал. И не знаю, что мы выиграли. А до этого троих младенцев похоронили. Ну так вот, а я на сносях твоим Исмаилом, четвертый он у меня. А мой-то муж и говорит: не везет нам здесь, дети мрут, давай переберемся в соседний аил, дальняя родня там вроде есть. А я так уж боялась: а если и этот помрет... Готова была хоть на край света. И переехали мы тогда сюда. Сынок родился и вроде зажили, а муж мой — все хуже и хуже ему со здоровьем. Кашлял сильно, легкими страдал. И через пять лет он умер. И осталась я одна с пятилетним сыночком. И тогда после поминок приехали мои братья, ты их не знаешь, ты их никогда не видела.

— Слышала, знаю. Сама как-то говорила. В Чаткал они подались, — подсказала Сейде.

— Верно, верно. Я же тебя сама предупредила, чтобы ты об этом никому не говорила. А братья мои были люди крепкие, работающие. Приехали и говорят, мол, давай мы тебя к себе поближе переселим, что тут одна вдовствуешь с сынком. Ты еще не старая. А вдруг да нового мужа найдешь. Всякое бывает. Здесь ты одна, а при братьях вернее будет, если кто надумает свататься. Переезжай, мы тебе поможем, а там как судьба... А я им говорю: спасибо, братья мои. Вы старшие, я младшая. Послушалась бы вас, да дайте срок. Годовщину покойника отмечу здесь, где он похоронен, как и полагается, а там видно будет. Скажете: «Приезжай» — так мы с сыночком подадимся к вам поближе. Да, Сейде, сношенька моя, был такой разговор с братьями моими — с Усенкулом и Арыном. А через год, после поминок, пока я думала да собиралась, начали народ кулачить. Ну, и тут уж им не до нас было. Оба мои брата — Усенкул и Арын догадались вовремя оседлать коней да махнуть за перевал в самый Чаткал. А с ними и семьи перекинулись туда же. Ну, и осели там, стали тамошними жителями. В тех Чаткальских

горах только летом на один месяц открывается перевал, верхом или пешком если, а в другое время туда только птица разве может пролететь, да и то замерзнет на лету, пока одолеет те хребты да горы. Вот они туда и ушли, чтобы с глаз долой. Сама-то я там никогда не бывала, но сказывали люди...

Задумавшись, старуха Бексаат примолкла, поправила обгоревшей кочерыжкой кизячные угли в очаге, снова принялась просушивать рубаху сына, держа ее над жаром. Глаза ее были сухи, заплакалась, должно быть. «Боже, только бы она не померла, — со страхом подумала Сейде, глянув на ее бледное, изможденное лицо. Совсем неважно выглядела свекровь — как полуживой кузнечик, замерзший на тропке по осенней поре. — Только бы была жива. Как-то мне будет тогда одной?»

И тут ее осенила какая-то смутная догадка, но настолько неопределенная, что она и не стала додумывать ту мысль до конца, а лишь спросила старуху:

— Так что, эне, что ты хотела сказать — о Чаткале ты говорила?

— А то вот, что сказываю, — ответила та. — Так вот, братья мои подались с семьями в самый Чаткал. Как в воду глядели. В тех далеких горах никто никому не власть. Горы там всему власть: сумеешь прижиться, скотом обзавестись — выживешь: не сумеешь — никто не виноват: иди дальше, к узбекам спустишься с гор. Братья снялись да ушли — или выжить, или с концом, а дома их соседи, те, что победнее, разорили дотла. Да только проку никакого не видели, хоть и награбили. А потом голод нагрязнул. Ну а перед этим маломальски хозяйственных людей всех покулачили тогда. По всем аилам как метлой прошлись. Многие так и сгнули в Сибири. А мои братья уцелели. Больше мы не виделись, правда. Говорят, и там они корни пустили, зажили неплохо. Перед самой войной, помнишь, летом, когда на базар ездили на станцию, там ко мне подходил один человек, лицо у него черное, а сам из здешних был когда-то, тоже в кулаки был прописан? Ну, так вот, приветы передал от братьев. Правда, разговаривали мы не долго. Пока ты с мужем платок выбирала себе, а мы говорили, рассказал он, что братья Усенкул и Арын живы-здоровы. Правда, постарели. Там они теперь чаткальские аксакалы. А живут вроде неплохо. Я тоже приветы передала. И сказала, что сына женила, что невестка у нас, это я про тебя.

— Ну и что? Ты к чему все это, эне?

— Да к чему? А к тому, что думаю я вот над судьбой своей, над жизнью вашей. Ведь вроде все обошлось. Когда братья в Чаткал ушли, осталась я одна. И одолела судьбу, как бы трудно ни было. В колхозе работала. Сына вырастила. Трактористом он стал. Зарабатывал неплохо. И ты тут, свет мой, пришла в наш дом. И вроде наладилась жизнь, а тут война! А дальше тебе известно. Вот и думаю, сколько же можно страдать, всю жизнь судьба против нас. То дети умирали, муж умер, братьев раскулачили, в колхозе от зари до зари работала, теперь стара и больна. Но страшнее всего война, а сын несчастный в бегах, и проклясть его не могу, не он затеял эту войну, не хочет он погибать, и ты мыкаешь теперь горе, и ребеночек ваш, внучонок мой, спит, как птенчик, а что будет с ним? И никто не должен знать, и все надо скрывать...

— Это все верно, — тяжело вздохнула Сейде, перебирая при свете лампы чашку зерна на помол. — Что ж, значит, мы с тобой такие горемычные. Ну, мы-то как-нибудь дома сидим, в тепле. А каково ему, в пещере? Огня не зажги, особенно ночью, чтобы кто не заметил. Сама знаешь, он ведь не очень разговорчивый, мужики все такие, при себе держат мысли. А недавно, я уж не стала тебе пересказывать, говорит: иду по полю и вспомнил, что это то самое поле, где он первый раз на тракторе землю пахал. Говорит, с трактора слезать не хотел, работа кипела, и думалось ему тогда, что всю жизнь бы только и пахал, чтобы хлеб сеять... А теперь шел по тому же полю, как мышь — то ли сверху птица сцапает, то ли сбоку зверь придавит. Да, так и говорит.

— Вот и я об этом, — вставила старуха Бексаат, отворачиваясь сама от своих же слез, вытирая их бельем. — За что нам судьба такая? Чем неуютны? Не могу я собственного сына проклясть, но и помочь тебе с ним тоже нечем, вот совсем разболелась, камень давит в боку, а была бы я молода да здорова, как прежде, когда молоком своим вскармливала сыночка, разве бы я сидела дома у очага. Да я на руках своих унесла бы его за снежный перевал, через вечный снег пробилась бы в Чаткальские горы, где каждый сам по себе жизнь свою делает, сумеет — хорошо, не сумеет — на себя пеняй. Вон ушли наши, когда кулачить начали, и головы сберегли. Вот и думаю я, часом, а не двинуться ли вам, коли дотянем до лета, в Чаткал. Берите дитенка и уходите, там вы найдете моих братьев или их детей, а мне куда — я уж останусь умирать...

— Постой, эне, постой! — перебила ее Сейде. — В Чаткал, говоришь, — и сама обрадовалась: ведь и она подумала где-то об этом. — Только давай поразмыслим как следует, — предложила Сейде, и они невольно замолчали. Свекровь принялась досушивать белье над огнем, а невестка сосредоточенно выбирала сор из кучки пшеничных зерен. Потом они снова заговорили.

В ту же ночь, не откладывая, когда пришел Исмаил домой, Сейде поведала ему о чаткальском замысле. И это явилось поистине великим событием. Впечатление было такое, точно бы перед взором Исмаила вдруг открылась дверь в глухой крепостной стене. Он был потрясен и удивлен тем, что дома мать и жена нашли верный ход, путь к спасению, ибо ему открылся выход из собственного плена.

— Вот это да! Как вы могли придумать такое?! — не переставал Исмаил удивляться и восхищаться. — Да ведь на Чаткале у меня, выходит, и в самом деле родные дядья живут. Да это же сам Бог послал, сам Бог велел, тут и думать нечего. Только бы теперь дожить до лета, дотянуть, а там, как только откроется перевал, не терять ни одного дня, ни одного часа... И как это мне в голову не приходило. Так я и не знал толком. Когда это было, я и помнить не помню. Ну, конечно, ты не говорила. боялась, скрывала. Кулаки они. А хорошо, что кулаками оказались. Теперь они в Чаткале, пойдй сыщи их. Кулаки! Для кого они кулаки, а для кого и нет! А на Чаткале, как только доползем, не у одного, так у другого человека узнаем, где они, мои дядья — Усенкул и Арын! Не так ли, мать! Ой, слава богу, что есть у тебя такие братья...

Радости Исмаила не было предела. Его охватило ошеломляющее озарение. Еще ничего не произошло, стояла стылая зима, впереди предстояла слякотная, дождливая весна, еще далеко было до лета, еще не сошли снега в предгорьях, еще не забушевали дикие паводки с Великих гор, еще не сошли грозные обвалы и оползни на пути, еще ничего не было готово для такого тяжелого похода, все еще было впереди, а Исмаил уже не находил себе места. Он то вставал, подходил к окну, вглядывался нетерпеливо в небо, в ту сторону, где находился Чаткал, где в полночи сияли звезды над сизыми островершиными вершинами, и мысленно представлял себе, какой должна быть Чаткальская долина там, за обступившими ее неприступными горами; потом он возвращался к очагу, к простывшей еде; в другие дни, кроме чашки с едой, его

ничего и не занимало, сидел, как на похоронах, а теперь преобразился, и как в былые дни, зазвенел у него голос, и взор его снова обрел себя. Пусть это происходило с ним лишь на тот час, лишь ненадолго, пусть через пару дней снова впадет он в тоску, в глухой клокочущей ярости пусть будет поносить зиму, горы, холод — весь свет будет он проклипать и будет плакаться, плевать в лицо судьбе и всерьез сожалеть, что он не птица, чтобы на крыльях перелететь через перевал в Чаткальскую сторону, — жена и мать понимали его и полностью разделяли его чувства, потому что они знали, чего стоит каждая минута его дезертирской жизни, ибо человек в его положении, спасая свою голову, по сути дела вступал на смертельный путь, как и на войне. Там его могли убить враги, здесь его могли убить свои...

А они, две женщины — мать и жена, — были сомученицами его бед и несчастий, жертвами своей верности и долга. Это они, оберегая его, брали на себя самое тяжкое и унижительное, куда более страшное, чем голод и холод, они брали на себя самые чувствительные удары судьбы — людскую молву и жестокость закона, они знали, что соседи уже шепчутся и только щадя их, без вины виноватых, беззащитных и сирых, не говорят им в лицо то, что в другой раз открыто бросили бы в глаза. И то, что однорукий фронтовик Мырзакул, пусть и дальний родственник, но будучи председателем сельсовета, позволил себя поднять руку, то, что он избил кнутом Сейде, в ярости и обиде, это тоже было молча пережито и похоронено ими, женой и матерью, в их изболевших, исстрадавшихся бабьих сердцах ради него, Исмаила. Все это они знали, понимали, переносили, и теперь, когда появилась маленькая надежда на спасение Исмаила, они испытывали неведомое прежде облегчение и счастье и радовались тому, что были сопричастны этому событию.

А он уже строил планы перехода через Чаткальский перевал, точно бы могло это совершиться буквально с наступлением нового дня. И они, мать и жена, радовались тому от души, ибо засветился узенький краешек жизни, захватывающий, приобщающий их всех вместе к спасительному замыслу — уходу в Чаткал. Но в душе они также понимали, и мать, и жена, что не так просто будет осуществить задуманное дело, это легко сказать, но какие опасности ждут путника на штурме снежного перевала, где нередко люди погибали под лавинами, задыхались от высоты и стужи, об этом они предпочитали не затрагивать разговора. Да и по прибы-

тии на Чаткал как все сложится, одному Богу известно. Однако в тот час, как сговорившись, они охотно откликались и поддакивали Исмаилу. И больше всего старалась мать. Старая Бексаат, перебарывая себя, пряча одышку, делала вид, что нестихающие боли в боку ей не помеха, что она не так уже страдает, и потому держалась, как обычно, вроде бы не обращая внимания, держалась изо всех сил, так как не хотела омрачать эту встречу, не хотела отвлекать молодых своими жалобами, хотя в душе молила Бога, чтобы ей продержаться до рассвета, когда с уходом сына в укрытие она могла бы дать себе волю — плакать и стонать и в голос молила бы Бога не терзать ее плоть страшными муками, затмевающими свет и разум, чтобы внял он ей и вошел в положение, потому как не ко времени ей болеть, не ко времени тем более обращаться к знахаркам да лекарям, чтобы не приковывать лишний раз чужого любопытства к дому, не ко времени вдруг слечь в постель, когда судьба сына висит на волоске. И далее, сказала бы она тому, кто должен ее услышать наверху, что если ей суждено умереть, то позволили бы ей срок небольшой — дотянуть до того дня, когда сын благополучно преодолет Чаткальский перевал. Пусть тогда Тот, кто властен, забирает ее душу, коли пришел ей неминуемый предел. Но пока следовало бы повременить, и не ради себя просит она этой отсрочки, а только ради сына и невестки своей, которая ей дороже всех на свете. А если уж судить-рядить о жизни, выяснять, зачем было человеку жить на свете и что он нашел хорошего на своем веку, то сказала бы она, старая Бексаат, несчастная и горемычная, у которой сын — государственный беглец, что рада и довольна она тем, какого человека судьба ей подарила — ее невестку, ее Сейде. И если ее невестке будет отказано в счастье, если она окажется такой же горемычной, то чему тогда служит счастье, кому, какой женщине оно будет даровано? Зачем оно блуждает среди людей? Ведь без этого так трудно жить на свете...

Эти мысли одолевали старуху. Одна скликая другую, эти мысли кружились в ту ночь, как стая птиц, собиравшихся к осеннему отлету. И не думать она не могла, боль в боку подпирала, понуждала думать о том, о чем обычно не думалось. Болезнь всегда ведет разговор, другим не слышный. Старая Бексаат крепилась, чтобы не выдать того, что происходило на душе. И когда Исмаил стал мечтать и решать, как и каким образом они двинутся с началом лета на Чаткал, когда

он сказал: «На Чаткал уйдем всей семьей. Надо готовиться, надо все продумать», мать ответила:

— Да я уже стара, сынок, вы уж сами добирайтесь, а я останусь. Буду за вас молиться.

Исмаил на это горячо и искренне возразил:

— Да что ты, мать, как ты можешь такое говорить? Как это мы тебя оставим? Никогда такого не будет. Без тебя мы не двинемся. Нет-нет, как я могу родную мать бросить. Такого я не понимаю. На себе понесу тебя, мама.

— Ой, да услышит Бог твои слова, родимый. Я бы и сама из последних сил поползла, если бы не слабость, стара я уже и больна, — робко вставила Бексаат, чтобы не очень обидеть сына. — А не то какой разговор. Конечно, мне лучше с вами, да вот как оно обернется.

— Ах, ты моя беспокойная эне! Я тебя понимаю, эне, но пока еще рано об этом говорить. — Сейде ободряюще улыбнулась свекрови. — Бог даст, тебе станет лучше к тому времени. Вот посмотришь. Тогда и порешим и двинемся. И скажем твоим братьям на Чаткале: «А вот и мы, принимайте! Вот привезли вашу сестрицу и сами с ней к вам на поселенье...»

И все вместе невольно рассмеялись над ее словами. Свекровь же поняла, что невестка уводит разговор от ее болезни. Да, так было вернее.

За этой беседой, взаимно обнадеживающей, предупредительной и потому облегчающей души, проходила ночь. Особенно Исмаил был в ударе. Раза два брал на руки спящего Амантура, тискал его, целовал и шептал ему: «Вот мы с тобой двинем на Чаткал, к дядьям нашим. И будем там как люди, как все. Приучу тебе маленького лошаденка, чтобы скакал ты на нем по горам. То-то будет весело, бабка и мать перепугаются, а?»

Он уже подробно расписывал, как следует действовать, чтобы двинуться на Чаткал.

«Конечно, перво-наперво дожждаться лета, дожждаться, когда откроется путь. А пока затаиться и ждать, чтобы никто не заподозрил. И сразу затем, не мешкая, в горы. А для этого все предусмотреть. На перевале будет еще зима. Сказывают, что и выюги случаются в ту пору. Значит, одежду теплую готовить. Особенно обувь. Пешком по камням, по тропам, по сугробам без крепкой обуви не доберешься. Конец придет. Затем пища, наготовить на неделю. Талкана побольше, и мяса вареного и сырого, котелок соли, дровишек.



На перевале, кроме снега и ветра, ничего не найдешь. Я много рассказов об этом слышал. Правильно говорит мать — мясо нужно жирное, с салом. Чабаны только на этом и живут. Они-то знают, как на перевалы ходить. И всю поклажу, одежду и кое-что из постели для ребенка в курджуну уместить. Два больших переметных курджуна надо. А курджуны нагрузить вьюком на ослів. А где взять ослів? Это верно. Два осла надо. На одном груз повезем. Да на другом, оседлаем, мать поедет с внучонком на руках, с Амантурчиком. А сами пешком пойдем. Не торопись, Сейде. Сейчас скажу насчет ослів. Так вот, сам Бог послал нам помощь. Ты, наверное, забыла, я тебе говорил как-то, что в балке Кой-Таша бродит штук семь драных ишаков, покинутых добытчиками золота. Кто знает, золото или что другое добывали они, эти пришлые, но когда дела свои покончили, ослів бросили, а сами уехали, должно быть, поездом. С осени они там, эти бесхозные ослы, перебиваются на подножном корму, да объедают скирды, солому ворошат прошлогоднюю. Может, их кто видел, да только кому они и на что нужны, своих ослів в айле хватает. Я к чему? А к тому, что присмотрю парочку, соли им понесу, буду потихонечку выхаживать. А настанет день, пригоню их ночью. Погрузимся и в полночь двинемся в ту, чаткальскую, сторону, чтобы к утру удалиться от айла, чем дальше, тем лучше...»

Вскоре запели дальние петухи, а потом и у соседей. Исмаилу пора было уходить. Он засобирился и перед выходом склонился над малышом, потом сказал матери несколько слов на прощанье. Было уже сумеречное предраcсвeтьe. И все в айле еще спали. И, кажется, собирился снег — тучи на западе наплывали сплошным темным покровом. Сейде вышла его проводить и во дворе сказала мужу:

— Слушай, Исмаил, если завтра ночью я не буду тебя поджидать вот здесь, то ты не заходи домой, сразу возвращайся к себе.

— А что, что такое? — встревожился Исмаил.

— Мне кажется, мать тяжело больна. Она не показывала вида, это чтобы тебя не расстраивать. А лечить ее надо. Лекарю надо ее показать. А как же иначе?

— Вон оно в чем дело, — протянул Исмаил. — Больна, говоришь, тяжело. Ладно, учту. Лечи. Может, травы какие помогут.

На том они попрощались. Сейде долго еще провожала его взглядом. Он шел задами по своей знакомой тропке, вот

он миновал соседские дворы с краю — Сатымкула и тетки Тотой, свернул к большому арыку и скрылся из виду. Сейде представила себе, как в полном безлюдье, скрываясь среди зарослей чия, дойдет он до своего укрытия в предгорьях и ляжет спать, укрывшись тяжелой шубой. В этот раз, однако, на душе у нее было полегче, ибо появилась цель, ради которой им стоило жить, — готовиться к уходу на Чаткал.

Когда же Сейде вернулась в дом, то буквально с порога навалилась поджидавшая беда — свекровь тихо стонала в забытьи. Сейде кинулась к ней, опустила на колени, обняла ее, прижала к себе. Старушка была плоха. Прижимая ее к себе, Сейде почувствовала, как легка была она, хрупка и костлява. В чем только душа держалась. И если бы не седые космы, выбившиеся из-под платка, можно было подумать, что то был подросток. Дышалось ей худо. Сейде боялась заглянуть свекрови в глаза, боялась увидеть нечто непоправимое.

— Эне, энекебай, успокойся. Сейчас тебе станет легче, возьми себя в руки. Сейчас я тебе помогу! — приговаривала в растерянности Сейде. — Покажи мне, где у тебя болит. Вот здесь, да? Что же нам делать? Я сейчас приложу сюда горячую кошму, а потом раскаленные зерна. И чаю горячего... Ты только потерпи.

Мечась по дому, вздувая огонь, чтобы раскалить на сковородке зерна кукурузы, которые она затем в узелке приложит к больной свекрови, в качестве горячего компресса, Сейде лихорадочно думала, как же ей быть теперь. Следовало в таких случаях незамедлительно показать больную знающим людям, выслушать совета, а затем — и это было главное — пригласить какого-то известного в округе знахаря-лекаря. Но все это несло с собой потенциальную опасность, непредвиденность, неожиданность для скрывавшегося Исмаила, опасность, связанную с присутствием чужих людей в доме. Сокрытие мужа оставалось при всех случаях главным делом.

И заметались мысли, заметалась несчастная душа Сейде между мужем и свекровью. И так, и этак думалось. И потом, когда уложила старуху в постель, и та, пригревшись, стала чуть меньше стонать да охать, Сейде решила.

Было уже утро. Быстренько накормив ребенка, Сейде понесла его к соседке Тотой, чтобы та час-другой присмотрела за малышом заодно со своими, а сама пошла к старухе-

повитухе, той, что год назад принимала у нее роды, посоветоваться, как быть. Повитуха обещала захватить с собой знакомую знахарку и только к полудню появились они, когда терпению Сейде приходил уже конец. Но их посещение носило чисто сострадательный характер. Посидели, пораспросили, чай попили, успокаивали старую Бексаат добрыми пожеланиями и посоветовали призвать большего лекаря — старца Эмчи-Мусу, того, что жил за рекой, в маленьком аиле Арча. Опять пришлось Сейде упрашивать соседку Тотой посидеть у постели свекрови, и хорошо, та согласилась присмотреть за больной, заодно и за ребенком, и своих детей привела.

А сама Сейде побежала то дорогой, то тропкой в аил за рекой в Арчу, к лекарю Эмчи-Мусе. Она обрадовалась, что застала его на месте. Тот обещал прибыть к вечеру. И снова Сейде поспешила домой, снова переходила обмелевшую на зиму реку бродом, а вода доходила выше колен, и ледяной обжигающий холод пронизывал до костей. Быстро обувшись, Сейде согрелась скорой ходьбой на косогор, а потом ей стало даже жарко.

И всю дорогу, в ту и другую сторону, думала она о том, чтобы смилился Тот, по чьей воле происходит все на свете, не дал бы свекрови помереть, ибо с каждым часом ей становилось все хуже и хуже... Но не только это терзало ее душу. Думалось о том, как быть теперь, когда свекровь больна и, судя по всему, надолго; как быть с ребенком, на кого его оставлять, как быть с мужем — теперь ему не сунуться в дом, а ей самой не сбегать к нему в укрытие в горах. Голова шла кругом. И больше всего молила она Бога, чтобы исцелил он ее свекровь, чтобы она могла, как прежде, передвигаться и что-то делать по дому, и самое главное — смогла бы держаться верхом на оседланном осле, когда они всей семьей в один прекрасный день двинутся в заветный запретельный Чаткал, где смогут жить вольно и безбоязненно. И думала она: ведь столько людей болеют и выздоравливают, неужто не суждено ей встать на ноги? А если свекровь останется лежачей больной, то как тогда они двинутся в Чаткал — не бросать же ее одну на произвол судьбы? А если оставаться возле больной, то как быть Исмаилу? Ведь со дня на день его могут несомненно обнаружить: вот начнутся всякие весенние работы на полях, скот выгонят на пастьбу, так никуда ему не деться, не один, так другой заметит его, и тогда всему конец...

Быстро шагая по кочковатой, смерзшейся земле, тяжкую думу несла в себе Сейде, и тяжкую, и мятущуюся в поисках выхода из безвыходного, отчаянного положения.

И все надежды ее были теперь на исцелителя Эмчи-Мусу. Старец был знаменит в округе, лечил травами и молоком. И теперь Сейде молила бога, чтобы он осенил Эмчи-Мусу таким исцелительным таинством, когда бы за несколько дней старая Бексаат распрощалась с хворью и снова приглядывала за домом, и снова ждали бы они ночами Исмаила и вели разговоры о сборах, считали бы дни, когда им суждено будет с поклажей на двух ослах двинуться всем в Чаткал...

Как и обещал старец Эмчи-Муса, он прибыл к вечеру. А перед этим Сейде вышла из дома и стояла на пригорочке, поджидая лекаря, чтобы старец безошибочно нашел их двор.

Она завидела его фигуру в лисьем малахае еще издали, едущего на сером ослике, и опять помолилась Богу, чтобы все образовалось лучшим образом для больной, которая, узнав, что приедет сам Эмчи-Муса, немного взбодрилась, хотя боли в боку не отпускали ее весь день с утра и до вечера.

Эмчи-Муса был крупным стариком, смуглолицым, с крючковатым большим носом, с белой бородой и очень внимательным, внушительным взором. И в этом взгляде и в голосе была его сила.

— Что же ты мерзнешь здесь, доченька, я бы и сам нашел дорогу, спросил бы, где дом старухи Бексаат, — пробасил он, приближаясь к тому месту, где ждала его Сейде.

— Не беда, не беспокойтесь, я не мерзла, — ответила Сейде. — Кого же ждать нам, если не такого человека, как вы, Эмчи-ата! — промолвила она, улыбаясь старику.

— Ну-ну, — продолжал тот, — так веди меня, где она там, бедняжка Бексаат, что там с ней? Вот беда-то. Сын на войне, сама больная, холод и голод кругом...

Старец семенил на ослике, приближаясь к дому, она шла рядом.

— От мужа-то есть вести какие? — поинтересовался Эмчи-Муса.

— Нет, давно нет никаких вестей, — проговорила Сейде, чувствуя, как стало ей не по себе от этого вопроса. Старец помолчал и потом добавил:

— Что же, война есть война. Однако каждому свое написано на роду.

«Что хотел он этим сказать? — подумала Сейде и вся

съежилась изнутри, напряглась в ожидании, что старик вдруг скажет: «А правда ли, что Исмаил твой в бегах?»

Но тот ничего не сказал, и тем временем они были уже во дворе. Сейде помогла старцу сойти с седла и повела его в дом. И когда они подходили к дверям, Эмчи-Муса приостановился.

— Доченька, я понимаю, как тебе тяжело, — промолвил он, внушительно и даже сурово глядя ей в лицо. — Будем надеяться, что все обойдется к лучшему. Но когда я буду осматривать и скажу, как лечить, — травы я с собой привез, вот они в сумке, — то запомни, ни о чем не допытывайся и не спрашивай сверх того, что я сам скажу. Ты поняла меня?

— Да, Эмчи-ата, я поняла вас.

Вначале, когда Эмчи-Муса переступил порог, он улыбнулся из-под седых усов больной, лежащей в углу:

— Что это ты надумала, Бексаат, не ко времени разболелась. Повременила бы.

У свекрови не хватило сил ответить лекарю в этом тоне.

— Тяжко мне, Эмчи-Муса, — с усилием, с надрывом простонала старушка. — Может, снадобье какое подскажешь.

— Ну-ну, сейчас, сейчас подумаем.

Сейде молча стояла в углу, чтобы не мешать. И пока Эмчи-Муса занимался своим делом у постели больной, Сейде думала о том, что придется на ночь позвать кого-то из айльных старух или соседей, чтобы не быть одной в такую ночь, и очень переживала за Исмаила, которому теперь не следовало и близко подходить сюда. Обидно и горько было за мужа, за свекровь, которая лишена возможности видеть единственного сына, находящегося не где-нибудь вдали, а рядом с айлом, в полудне ходьбы.

А тем временем Эмчи-Муса, сосредоточившись, точно бы он улавливал неведомые другим звуки, хмурия брови, прошупывал пульс больной — в его мохлястой, длинной длани запястье старушки Бексаат, исхудавшей на глазах, казалось детской ручонкой. Затем лекарь долго водил ладонью, то слегка прикасаясь, то вдавливая пальцы, по животу, по бокам больной и, находясь подле нее, молча обдумывал нечто, только ему известное, и чем дальше, тем больше мрачнели его глаза. От Сейде это не прошло незамеченным. Она стояла в углу за печкой и как бы читала на расстоянии мысли лекаря по выражению его лица и глаз. Холодело на душе.

Все тревожней становилось затянувшееся молчание старца Эмчи-Мусы. Сейде понимала, что в этот час испытывает и сама больная, пытаясь угадать, что ей грядет. Думала она, не сходя с этого места, и о том, что постоянно угнетало и омрачало ее душу — об Исмаиле. Как-то он в этот час, что думает, тревожится, поди, о матери, но куда денешься, и сказать ему об этом она не имела права. За всех переживала, за всех страшилась, готова была взять на себя все беды и мучения, но перед смертью, дававшей уже знать о себе в заострившихся чертах свекрови, она была бессильна. Слезы напрашивались, замутняя взор, и ей стоило большого усилия унять себя.

Старый Эмчи-Муса не сразу ушел, не сразу взгромоздился на своего ослика, было уже темно, когда он попрощался с Сейде на дворе.

— В доме теперь одна не оставайся, — сказал он ей. — Меня больше не ждите.

Она поняла с полуслова, о чем шла речь. И когда старый знахарь округа Эмчи-Муса скрылся на своем ослике во тьме, ни разу не оглянувшись, она почувствовала охватившее ее великое, безмерное одиночество перед лицом некоей бестрепетной силы, вторгшейся в ее жизнь, как резкий ветер в окно. И то, что повеяло холодом, незримо прошло в дом. И она пошла следом, чтобы быть на месте и не уклоняться от новых страданий. Теперь ей предстояло взять на себя роль главного действующего лица. И она сказала себе, что будет находиться у изголовья свекрови до последнего ее дыхания и за себя, и сына, и за родных ее братьев Усенкула и Арына, убежавших от раскулачивания в Чаткал. За всех и за все брала она теперь на себя последний долг живых перед умирающей свекровью. И она вошла в дом, сделав для себя открытие — смерть могла принять от людей только примирение и ничего иного.

С этого часа Сейде ни на шаг не отходила от умирающей свекрови. Измученная, исстрадавшаяся старушка медленно угасала, постепенно теряла дар речи и, собравшись с силами, тяжело дыша, тоскливо, жалостливо вглядывалась в лицо невестки и хотела напоследок что-то сказать ей — быть может, самое сокровенное и главное, то, что является напоследок, на самый конец судьбы и никак не раньше, но сил не хватало, и в доме было уже много людей, прослышавших от соседей о последнем часе старой Бексаат. Люди тихо приходили и скорбно уходили, сочувствуя, сострадавая, вы-

ражая свое отношение в тяжелых вздохах, иные без лишнего шума принимались делать по дому то, о чем следовало заранее позаботиться в таких случаях: приносили дрова, кто чашку муки, кто ломоть топленого сала, собирали по соседям посуду, раскидывали по двору солому под ноги...

А ночь уже близилась к половине урочного времени. Глоточками воды с ложечки облегчала Сейде последние часы и минуты свекрови. Умиравшая Бексаат знала, что истекает отпущенный ей срок на веку, и потому, утрачивая силы, пыталась сохранить в себе речь, но это уже ей не удавалось, и тогда она пыталась говорить глазами. Эти прощальные взгляды пронзительно прорывались на мгновение сквозь пелену забвения и предсмертного тумана, выражавшие мучительные всплески избывающего духа, говорили Сейде о многом, что могла знать только она. И никто не слышал, как плакали они в один голос на прощание, песню горестную пели о том, что порушилось задуманное дело, как несбывшаяся мечта, что не двинутся они всей семьей на Чаткал, как очень того хотели, — и сын, и невестка, как мечтали увезти ее к покинутым братьям, чаткальским отшельникам, что не свидится теперь она с ними никогда. И более всего страдала Сейде, что не усадит она старую свекровь свою верхом на ослицу, не подаст ей на руки укутанного внучонка и не двинутся они в путь темной ночью. Нет, такого исхода не будет. Не придется им переживать ночь-шикаму<sup>1</sup> перед штурмом Чаткальского перевала, согреваясь в затишке между скал и снегов маленьким костерком, и не будут они заклинять над огнем перевальных духов, чтобы духи гор смилоствились, отвели бы гибель на горном пути, ибо нет от них зла никому, а идут они на перевал потому, что Исмаил военный беглец, оттого и гонимый самим собой от закона и наказания; с ним и они — мать и жена, а у них бабья доля — за всех страдать и терпеть...

И на этом кончалась последняя песня — потому как смерть отбирала будущее, — не ходить было расстояния, не испить было воды на пути, не увидеть было уходящей в мир иной братьев родных из Чаткала, не поведать им, с чем и как вслед за ними пришла...

Так протекала та скорбная ночь у изголовья свекрови.

Среди многих дум, передуманных Сейде, то и дело вкрадывалась как бы со стороны тревога за мужа. Как-то он там,

---

<sup>1</sup> Шикама — накапливание сил перед перевалом.

ее Исмаил. Как ему быть теперь, когда мать умирает, а ему ни прийти, ни показаться нельзя... Отчего же все так? Оттого, что он хочет жить по-своему, а закон, людской стговор, велит по-иному. А сила на стороне закона, большинства, а он бежит от закона. Потому и хотели податься на Чаткал, где бы его никто не знал и не ведал...

\* \* \*

Он шел в ту ночь, как всегда, по хорошо изученному пути, вначале под малыми увалами предгорий, потом среди зарослей чия в суходоле, выходил краем поля к обрыву, откуда уже виднелся аил в лунную погоду: крыши, трубы, освещенные окна. И Исмаил отсюда с крайней осторожностью двигался огородами, прислушиваясь, оглядываясь, к своему двору.

Последний отрезок пути и в этот раз он проделал с тщательной осмотрительностью, но чем ближе подходил к дому, тем тревожней и неуверенней становилось на душе Исмаила. Что-то подозрительное, а что именно — приходилось вникать: какие-то шевеления, какие-то негромкие, неразборчивые голоса насторожили Исмаила, и он остановился под тополем на огороде тетки Тотой. Дальше он не пошел. Долго унимал зачастившее вдруг дыхание, хотя и не испытывал напряжения в ходьбе. Сердцебиение не успокаивалось, сердце чувствовало какую-то беду. Значит, Сейде была права — с матерью плохо.

При этой обжигающей мысли Исмаилу стало не по себе. Он сдавленно застонал, прижимаясь к стволу дерева. И, прислушиваясь, убеждался — на дворе хождения, голоса, в доме люди. Значит, дело гиблое. Сердцем он был готов кинуться в дом, растолкать собравшихся, перепугать их своим диким видом и неожиданным появлением, броситься к матери — быть может, она умирает! — и разрыдаться, целуя ее холодеющие руки, утонуть, уплыть в плаче, в покаянии за то, что заставлял ее так страдать, как никакая другая мать не страдала, зайтись в плаче так, чтобы все померкло, исчезло в мире, чтобы все развеялось по свету — и война, охватившая кровавым бредом земли и страны, и сам он, рискнувший избежать той фронтовой участи и теперь прозябающий за это в страхе, в ничтожестве, в низости. Да, да, да — плакать и рыдать до умопомрачения, до тех пор, пока Сейде, его верная жена, не оторвет его от грязного, заплаканного



пола и, обтирая его лицо от слез, не оттащит в сторону, где он мог бы забыться, раствориться, исчезнуть навсегда, чтобы никто не смел бы схватить его за руку и спросить — а ты почему не на фронте?

Но разум охлаждал эти сиюминутные слабодушные порывы. И он не сдвигался с места, казнил себя, проклинал, но не собирался объявиться на людях столь сумасшедшим образом, даже если мать была при смерти. Утешал же он себя тем, что мать простит ему, что она молила Бога, чтобы он уберегся, ушел бы и не появлялся ни в каком случае. И потому надо уходить, пока не поздно — говорил он себе, но и уйти не хватало решимости. Наоборот, какая-то неодолимая тягостная сила не отпускала его и заставляла шаг за шагом приближаться к дому. Он остановился за сараем и тут уже наяву услышал хождения и людские голоса. Вот кто-то кашлянул, кто-то выплеснул воду из ведра. Послышался конский топот и кто-то кого-то спросил:

— Ну что, Мырзакул, плохо, что ли?

— Да, надежды мало, — ответил тот.

Потом звякнуло стремя, ударившись о что-то железное, и топот копыт удалился со двора.

Исмаил понял, что то был Мырзакул, дальний родственник, которого он не видел давно, по крайней мере, тогда у него обе руки были на месте, а теперь, сказывают, потерял руку на фронте, и теперь его зовут «Чолок Мырзакул» — однорукий Мырзакул. Ну, председатель сельсовета. Ну и что? А без руки, это же представить себе, как жить без одной руки! А он, Исмаил, не захотел оставаться без руки, тем более без головы. За это вот расплачивается, за это казнит себя и бережет...

Но лучше бы он не подходил ко двору и не прислушивался к тому, что делается там. Совсем расстроился, извелся духом. И ничего иного не оставалось Исмаилу, как потихоньку возвращаться назад. Было уже далеко за полночь, когда он последний раз обернулся на оставшийся внизу аил — все было во мраке и только в одном месте светились, не угасая, два окошка рядышком. То был его дом, а в доме том умирала его мать.

Рано утром Исмаил уже шел, прячась по неприметным местам, снова в направлении аила. Нет, не улеглась встревоженная накануне душа, тянуло его поскорее к аилу, к дому, хотя что это могло дать, каким образом что-то прояснить — Исмаил не мог ответить себе. И, однако, он шел.

День обещал быть холодным. Ветер настойчиво дул с гор. Приходилось прятать голову в ворот шубы, нахлобучив шапку поглубже, — так он и шел, в полном одиночестве, с тревогой и болью в глазах, в огромных кирзовых сапогах, засунув руки в карманы.

У обрыва, где обычно открывался вид на аил, он остановился, учащенно дыша, прилег за кустом и стал всматриваться, насколько хватило видимости, — что происходило в аиле. И ничего толком рассмотреть не мог. Дымы поднимались над крышами, смутно доносились голоса детворы возле школы, ржание коня, лай собак... Но его интересовало в первую очередь, что дома, что в собственном дворе, и опять же толком ничего не различил, не рассмотрел. Хотя, как показалось ему, какое-то оживление, какие-то снующие люди... кажется, можно было угадать. А что к чему, что там происходило, сказать было трудно. Ему бы поближе подвинуться, возможно, тогда картина стала бы яснее, но он не решался на такой риск. Так и промаялся он, затаившись в кустах до полудня, лежал, продрогший, угрюмо прислушиваясь и тщетно вглядываясь. Потом ушел в укрытие и к вечеру, зло озираясь по сторонам, снова вернулся на прежнее место наблюдения. И в этот раз он понял, чутье подсказало, что мать скончалась, — оживление и голоса во дворе, какой-то рыдающий выкрик свидетельствовали, что смерть наступила в тот промежуток времени, когда он уходил в укрытие, где была у него какая-то пища про запас и находилось его оружие.

Теперь сомнений не оставалось. Матери пришел конец. Точно тяжелый камень лег на душу. Он лежал за кустом, как убитый зверь страшного обличия.

А с наступлением темноты, уже поздним вечером, Исмаил оказался на аильских огородах, возле корявых зимних садов, потом передвинулся к тому самому тополию, где выжидал прошлой ночью. И здесь замер. Теперь уже не оставалось никаких сомнений — мать была мертва. Во дворе горел костер, должно быть, грели воду в большом котле. Голоса разные доносились. И снова расслышал он голос однорукого Мырзакула. Что-то он там советовал, распоряжался. Ему что-то ответили. Приезжали и уезжали верховые. Значит, хоронить будут завтра. С утра подготовятся, оплакивать будут, молитвы совершать, а к полудню понесут на кладбище, что на косогоре, над аилом. И тут только подумал Исмаил, что надо ведь заранее выкопать могилу. Кто же это сделал?

Откопали яму или на утро оставили? Решил на обратном пути заглянуть на кладбище и удостовериться, готова ли могила. Так стоял он под топодем удрученный, растерянный и подавленный.

Потом он тихо побрел окраиной в сторону большого айльского кладбища на косогоре. Шел наугад, во тьме, то проваливаясь в какие-то колдобины, то спотыкаясь, и больше потому, что взор его был мутен от душивших исподволь слез. Он даже подумал: кто я, куда я иду, и что со мной, зачем я живу на свете?

На старом косогорном кладбище он не бывал так давно, что и не помнил, когда он тут ступал в последний раз. Помнится, еще до войны, после курсов трактористов, посадили его вначале на конную сенокосилку, а сенокос был возле кладбища, и тогда он в полуденную жару, выпрыгнув коней, ходил с парнями ловить перепелов. А перепела паслись в неприкасаемых густых кладбищенских зарослях, поскольку никто, конечно, не посмел бы косить сено среди могил. Сейчас он вспомнил об этом, о тех безмятежных летних днях, о душистых травах, о стрекозущих кузнечиках, о птицах, samozабвенно поющих и на небе, и на земле, о солнце, которое столь обильно, что его никто и не замечал, о медовом пьянящем настое воздуха. Думал ли он тогда, что пройдут годы, и будет он, как затравленный зверь, пробираться темной зимней ночью на кладбищенский косогор, полный жгучей обиды, страха, ненависти ко всему, что привело его в это состояние. Не верилось Исмаилу, что это то самое место. В тусклом лунном свете чернели между снежными проталинами могильные холмики. Одиноко, пусто, холодно. Могила для матери оказалась уже готовой, начисто отрытой. Это нетрудно было обнаружить по свежей глиняной насыпи возле зияющей ямы.

Значит, позаботились хорошие люди, значит, похороны завтра к полудню.

Исмаил остановился возле будущей материнской могилы, стоял, опустив голову, уперев неподвижный взгляд в темную глубокую яму. Если бы он мог каким-то образом умертвить себя, он хотел лечь на дно этой могилы и умереть здесь, чтобы на другой день похоронили и его вместе с матерью... Но умертвить себя было так же трудно, как явиться с повинной к людям...

На другое утро Исмаил снова потащился в сторону айла. Продрогший в своей пещере, он брел, зябко поеживаясь и

кашляя, прикрывал рот ладонью. В этот раз он шел в сторону кладбища с тем, чтобы если и не участвовать на похоронах матери, то хотя бы издали наблюдать, как другие будут ее хоронить. По пути он приглядел удобную для себя балочку, двигаясь по дну которой, он мог незаметно сопровождать процессию, так чтобы оставаться незамеченным и в то же время быть достаточно близко к кладбищу.

Потом он спрятался среди больших камней-валунов неподалеку и стал ждать.

Время тянулось медленно. И теперь, уже успокоившись и примирившись с тем, что произошло, вспомнил он последний день, когда в последний раз виделся он с матерью, с женой и сыночком. Прошло с тех пор два дня, две ночи, а казалось, что было очень давно. Больше всего горевал теперь Исмаил, что задуманное дело ухода в Чаткал сразу же столкнулось с неудачей, и все, на что он рассчитывал, теперь следовало передумать, и если доберется он с женой и сыночком в Чаткал, то как рассказать дядьям-братьям о смерти и похоронах их сестры, поймут ли они его...

Похоронную процессию Исмаил увидел еще издали. Большая толпа людей, многие среди них были верхом на лошадях и ослах, показалась в боковой улице, как и ожидал того Исмаил. Толпа шла медленно с подъемом на косогор; впереди на конных носилках, устроенных на седлах между двумя лошадьми, покоилось тело усопшей, завернутое в плотную кошму. Вот и все. В последний путь провожали старушку Бексаат односельчане. О чем говорили люди при этом, Исмаилу не дано было знать. Процессия подходила все ближе и ближе к тому месту, где он притаился. Женщин среди провожающих не было и не полагалось, потому что в этих местах женщины не ходили на кладбище, а оставались дома, чтобы встретить траурным плачем вернувшихся с похорон мужчин. По всем правилам Исмаил должен был возглавить с кладбища верховых сородичей и первым возглавить плач после погребения в доме усопшей, должен был громко причитать и, рыдая, припадать к луке седла, а Сейде полагалось затянуть в ответ поминальную песню... Но это не дано было им, оказавшимся в жерновах между законом и поступком беглеца...

Но вот толпа остановилась на кладбище возле вырытой накануне могилы. Исмаил видел из-за соседнего пригорка, где он укрылся, как протекали похороны. Судя по всему, распорядился погребением Мырзакул. Он шел к месту захо-

ронения от кучи лошадей, повязанных в стороне между собой, и все люди, расступившись, дали ему дорогу.

Покойницу в кошме сняли с носилок, уложили на краямы и, собравшись все в большой круг, долго слушали молитвы муллы, люди повторяли за ним отдельные возгласы, и казалось, то был улей пчел. Потом толпа снова зашевелилась — покойницу опустили на дно могилы и стали быстро засыпать яму.

Все это он видел со стороны и молча кусал губы до крови.

Когда народ ушел с кладбища, когда не осталось ни одной души, но голоса еще были слышны на отдалении, Исмаил пополз к могиле матери. Он полз с обезумевшим лицом, опираясь на дрожащие руки. И здесь он упал на свежую насыпь и, обнимая кучу глины, зарыдал удушливым, хриплым плачем. Трудно было разобрать, что он выкрикивал, кого и что он проклинал, задыхаясь от горести и ярости, как обезумевший, осиротевший волк. А потом, как пьяный, он стал орать во весь голос: «Мама, мама, прости! Прости меня! Прокляни меня! Прокляни на том свете! Прокляни войну! Прокляни! Прокляни войну!»

Потом стих на минутку, точно бы обдумывал что-то, и затем грозно и яростно прокричал: «Ненавижу! Отомщу, отомщу, всем вам отомщу! Никого не пожалею!»...

«Совсем недолго осталось, вот и весна пришла. Больше терпела, а теперь-то и вовсе стерплю! — думает замечтавшаяся Сейде, пересыпая горстку зерен с ладони на ладонь. — Только бы Исмаила уберечь. Ладно еще, в айле поговаривают, будто Исмаил не здесь прячется, а на казахской стороне, у свояков... Вот и хорошо, пусть говорят... Продадим телку, припасем муки на дорогу и ночью выберемся из айла, уйдем... Да, уйдем отсюда...»

Пьянит пригретый весенний воздух... А хорошо мечтать: забываешь, что сосет под ложечкой.

Вечером, когда Сейде молола талкан, зашел Асантай. Мальчик заметно отошал за последнее время: под глазами густая синева, из засученных рукавов отцовской фуфайки высовываются тоненькие ручонки.

— Мама послала меня за огнем, — сказал он, застенчиво переступая с ноги на ногу, то и дело поглядывая на кучку талкана у жернова.

Дети есть дети! Кого не тронет невинный взгляд мальчи-

ка, говорящий с мольбой, что он хочет есть! Сейде положила ему в ладошки горсть талкана. Мальчик запрокинул голову, насыпал талкана полный рот и, очень довольный, шмыгнул носом. Ему хотелось отблагодарить Сейде, сказать ей что-нибудь хорошее. Он доверчиво улыбнулся губами, измазанными талканом:

— Сейде-джене, когда отелится корова, мама сварит молозива. И я принесу кусочек вашему Амантурчику. Ведь он уже умеет кушать, да? Молозиво вкусное, как творог!

— Сердечный ты мой, да сбудутся твои желания! — расстроганная Сейде привлекла его к себе, поцеловала в глаза. — Бог даст, будет и молозиво, будет и каймак, пусть только отелится корова! Вот тогда и принесешь нашему малышу, у него уже зубки есть!

Она вспомнила, что и Тотой, и ее дети все еще ничего не знают о гибели отца, все еще ждут писем. Ей показалось, что мальчик догадывается, о чем она думает. Спросила как бы между делом:

— Матери-то лучше стало? Вчера; кажется, ходила по воду.

— Сегодня опять лежит, голова болит. Я хотел остаться дома, чтобы помогать ей, а она не позволила, говорит: если не перейдешь во второй класс, отец, когда вернется, ругать будет.

— А то как же? Конечно, будет ругать. Вот вернется и...

Мальчик часто замигал длинными ресницами и как-то не по-детски безысходно и тяжело вздохнул.

— Ты что это, разве можно так вздыхать! — прикрикнула она на него. — Ваш отец вернется, только не вздыхай так, это нехорошо!

После того как мальчик, взяв тлеющую кизячину, ушел, Сейде долго сидела подле джаргылчака, обессиленно опустив руки. Этот вздох мальчика, почти ребенка, потряс ее. Сам с ноготок, а все понимает сердцем. «Сирота! — думала она подавленно. — Да и Тотой, конечно, догадывается, только молчит... И что ж ей делать, бедняжке? Ну-ка, попробуй прокорми трех сирот. Колхоз помогает понемногу, только этим и живы. Недавно принесла со склада овса полмешка — все лучше, чем ничего... Только одна надежда у них теперь — на корову. Должна была скоро отелиться, да что-то затягивает, должно быть, перегуливали в прошлое лето. Тотой по утрам ругается на дворе. «Чтоб ты, — кричит, — околела! Сколько еще ждать, да когда же ты отелишься? Ребятишки извелись без молока, а тебе и дела нет, ходишь се-

бе, даром корм жрешь!» Оно и верно, дожждаться бы им милока, тогда уже не так страшно. Да-а, как-то сложится теперь у них жизнь? Тотой часто стала прибалывать. Жалко Байдалы, ведь сам бросился на мины, знал, что погибнет, и бросился... Это он по доброте своей... Судьба... Ничего... как-нибудь будут жить, дети подрастут. Трудно, конечно... У каждого горе-горькое. У них свое, у нас свое. Вот уйдем в Чаткал, может, легче будет... Тотой как-то спросила, словно невзначай: «Правду говорят, что Исмаил сбежал?» А что я ей отвечу? «Не знаю, может, и сбежал, да только у нас он не показывался». Кто верит, кто нет... Только Мырзакул не попался бы на глаза, Мырзакул не пожалеет: он враг! Боже, охрани нас от Мырзакула!..» Долго еще сидела Сейде, погруженная в свои раздумья, и чем дальше бежали минуты, тем сильнее охватывала ее смутная тревога, из головы не выходил мальчишка, его недетский вздох, его голодные просящие глаза. Сейде мучило предчувствие беды.

Она вышла во двор. Погода к ночи испортилась. Сырой, промозглый ветер гнал тучи с запада. Мрачно наплывали они на небо. Гор уже не видать. Луна катилась против ветра, увязая в тучах. Иногда она совсем исчезала и где-то мельтешилась там, во тьме, ее зыбкий свет едва пробивался сквозь слой туч. «Скоро снег пойдет... Как-то там Исмаил?»

Утром Сейде пошла по воду. Тучи уже плотно затянули небо, большими хлопьями валил мокрый весенний снег. Только вышла за огород, как во дворе Тотой слышались крики, плачущие голоса. Разбрызгивая слякоть, галопом проскакали по улице верховые. «Что там у них стряслось?» — встревожилась Сейде. Бросив ведра, она побежала ко двору Тотой. «Решили, что Байдалы будут оплакивать осенью, неужели кто-нибудь проговорился?» — строила она догадки.

Обогнув дувал, Сейде сунулась во двор и сразу остановилась ошеломленная. Из гомонящей толпы вырвалась Тотой: волосы ее были растрепаны, чапан, надетый на один рукав, волочился по земле. Она побежала к дверям сарая и закричала истошно, колотя себя в грудь:

— Да вот же, милые мои, вот, родимые, посмотрите: сорвали замок и увели! О-о, горе мое, о-о, покарал меня Аллах! О-о, горе мое!

Кто-то крикнул, пересиливая голоса:

— А вечером ты сама ее привязывала? Сама запирала дверь?

— А то как же, родимые, сама, сама! И даже вымечко шупала, наливала она вымечко... Ребята совсем извелись, только и ждали молочка! Как же мне не приглядеть за коровкой, хоть и больная я была! А чтоб руки у меня отсохли!

Когда Сейде поняла, что случилось, ее охватил ужас. Вспомнила она, как вчера прибежал Асантай и как он говорил о молозиве, ждал молока, словно необыкновенного сказочного чуда. Он встал сейчас перед ее глазами: худенький, с тоненькой шеей, в отцовской телогрейке с засученными обтрепанными рукавами — стоял и доверчиво улыбался измазанными в талкане губами.

«Кто это мог решиться на это, какая подлая, черная душа?» — негодуя, думала Сейде. В лицо били мокрые хлопья снега и струйками стекали за шею, она все стояла и не могла сдвинуться с места, смотрела, как ребятишки Тотой с ревом цепляются за полы ее чапана. Самый меньшой вскочил, видно, прямо с постели. Он бегал за матерью босиком по снежной жиже и в страхе кричал: «Мама, мама!» Но Тотой будто не замечала его, металась по двору, выкрикивая осипшим, надорванным голосом:

— Если бы Байдалы был дома, какой вор посмел бы зайти во двор! Будь проклят дом без мужчины!

«Дитя застудится совсем, посинел весь!» — прошептала Сейде. Она хотела подбежать к ребенку, взять его на руки, но тут из толпы вышел почтальон Курман. Остановив малыша, он молча посмотрел на его покрасневшие ноги в снегу и грязи, потом быстро развязал кушак, стрёб мальчика в охапку и, прикрыв чапаном, понес к себе. Кто-то поднял с земли брошенный Курманом кушак, поднял его, бережно обтер рукавом. Когда Курман проходил мимо Сейде, она видела, как он, прижимая ребенка к груди, согревал его своим дыханием.

— Всех вас разберем по домам, прокормим, вырастим, не бросим, не оставим вас! — говорил он сам с собой. Его мокрая борода подрагивала, в глазах стояли слезы.

Почти весь аил сбежался во двор к Тотой. Неслыханное дело! Правда, случалось и раньше — уводили со двора коров или овец. Бывало это. Но сейчас народ сбежался не только потому, что украли скотину, а потому, что вор поднял руку на самое святое для всех людей в аиле: «Кто посмел тронуть сиротскую семью Байдалы?» Люди угрюмо молчали, но в душе у каждого звучали проклятия. Мырзакул уже несколько раз пронесся мимо двора на коне, кружил где-то по ули-



цам и наконец прискакал вместе с табунщиком Барпы. Как вихрь, ворвался он во двор в шинели с мотающимся из стороны в сторону рукавом, жестко осадил коня.

— Давай собирайся, народ! — закричал Мырзакул. — Кто может, на лошади, а кто пеший, рассыпайтесь по всем логам и оврагам, ищите! Корова — поддела, а вот эту подлую собаку мы должны найти.

— Верно говоришь! — зашумел народ. — Вор не мог далеко уйти. Если зарезал корову, мясо найдется, а нет, значит, спрятал корову где-нибудь в старом кургане!

— Так оно и должно быть! Пошли по курганам!..

На улице Мырзакул подозвал к себе фронтовиков:

— Вы, ребята, солдаты... Вам задание: садитесь на коней и просмотрите дорогу в город!

— Мы-то готовы, да лошадей нет.

— Берите на конюшне! — приказал Мырзакул.

— Председатель скорее повесится, чем даст лошадей с конюшни в такую даль скакать. Кони к пахоте готовятся!

— А, чтоб его... председателя! — взревел разъяренный Мырзакул, и культия его вскинулась, мотнув рукавом шинели: — Сейчас же седлайте коней, я отвечать буду!..

Вместе с другими Сейде кинулась на поиски. За аилом люди разбрелись в разные стороны. Коршуном, пригибаясь к шее коня, промчался за бугор Мырзакул, а в другую сторону, надвинув малахай на грозное скуластое лицо, поскакал табунщик Барпы. И Сейде вдруг ошеломила страшная догадка. Как она не подумала об этом раньше? «Что, если они найдут Исмаила?» Обезумев, она бросилась в сторону дальних лугов, поросших чием.

Туман, словно больной, белесым жидким дымом волочился по лощинам, бессильный оторваться от них и подняться ввысь. Земля расплзлась под ногами, мокрый снег пропитал одежду, и она тяжело давила на плечи.

Как птица, оберегающая свое гнездо, кружила Сейде по чийнякам, боясь навести кого-нибудь на убежище Исмаила. Растерянная и жалкая, металась она во все стороны, пули-во осматриваясь вокруг: не видно ли кого, не идет ли кто-нибудь по ее следу?

«О Боже, отведи руку и на этот раз, пронеси стороной! — молила она небо и прижимала руки к груди. — Как быть, что делать, научи! Если бы корова нашлась, на счастье этих

---

<sup>1</sup> Курган — заброшенное глинобитное строение.

детишек, то люди вернулись бы в аил! О Создатель, верни сиротам корову, молю тебя, я тоже мать, у меня тоже сын, молю тебя ради сына!»

С бугра на бугор, по оврагам бежала Сейде, и страстные заклинания срывались с ее губ. Вскоре ею целиком завладела мысль: если сейчас найдут корову, то народ вернется в аил. В этом ее единственное спасение, единственный для нее выход. Значит, надо найти корову, и как можно скорее, дорога каждая минута.

Собрав силы, она побежала дальше. Заглядывала под каждый куст чия, за каждый уступ, лазила по колючкам, изодрала платье. Но нигде не было видно следов коровы. Во-он, в тумане зачернели развалины старого кургана. Может, корова спрятана там? Подожди, что это виднеется? Похоже на скотину. Да, да, в самом деле похоже! Ты же видишь: это небольшая черно-пестрая коровка! Ну да, боже мой, так оно и есть!

От внезапно нахлынувшей радости Сейде задохнулась. Она остановилась: отнялись ноги. И сразу же пришло решение: «Сейчас взбегу на большой бугор и буду сзывать народ, пусть все возвращаются в аил. Приведу корову во двор к Тотой и привяжу в сарае. Только бы это в самом деле была корова... или мне только мерещится?»

В один дух добежала Сейде до кургана и... помертвела. Эта не корова, это глыба дувала, обвалившаяся внутрь двора.

Туман все так же вяло стелился по земле. В развалинах дувала весенний снег густо облепил шишковатые макушки прошлогоднего репейника, мелкими белыми наростами покрыл стебельки молоденькой зелени, только что пробившейся на свет.

Вечером, когда Сейде, едва передвигая ноги, дотащилась до аила, кособокие двери коровника во дворе Тотой были по-прежнему распахнуты настежь. В коровнике зияла унылая пустота.

Дома, надрываясь, кричал ребенок. Должно быть, он плакал весь день: глаза закатывались, были видны одни белки, дыхание перебивалось резкой икотой. И, как назло, переполненные, отвердевшие груди Сейде долго не пропускали молока, как ни старалась она сдаивать и выжимать. Она чувствовала себя такой же перенапряженной, скованной, челюсти сводила судорога, словно у лошади, которую расседлали и в поту оставили на ночь под ветром.

Не было никакого желания затопить печь, на душе холодно и неудобно, как и в доме. Сейде томила сонливость. Кое-как она уложила сына в бешик и, не раздеваясь, тут же свалилась на пол.

Ночью Сейде проснулась от стука в окно. Спросонок она чуть было не крикнула: «Кто там?», но спохватилась, поняв, что это пришел Исмаил. Она еще больше испугалась: «В аиле переполох, принесла же тебя сегодня нелегкая, боже мой!»

Сейде вскочила с места, открыла дверь, торопливо прошептала:

— Скорей, в аиле плохо!

Быстро накинув крючок, она впотьмах повела Исмаила в комнату. Завесила окна и уже собиралась засветить фитиль, как что-то увесистое, шмякнув, выпало из рук Исмаила. Сейде похолодела: ей показалось, что это сердце ее оборвалось и упало на пол. Дрожа, она присела, пошарила вокруг себя рукой и нащупала что-то мягкое: это была торба с мясом.

— Так это ты! — сдавленно вскрикнула Сейде. Спазма перехватила ей горло.

— Тише! — Глаза Исмаила блеснули в темноте. Он придвинулся ближе и тяжело задышал ей в лицо. — Молчи, не твое дело!

Сейде молчала. В голове помутилось, будто кто-то грубо толкнул ее в грудь. Она сидела на полу и, чтобы не свалиться ничком, опиралась на руки. Было одно желание: выскокить из дома и с воплем бежать куда глаза глядят, лишь бы не видеть, лишь бы не знать, что есть на свете такие люди. Но подняться не хватило сил. И даже на то, чтобы закричать, не хватило сил. Она очнулась, когда Исмаил глухо прикрикнул:

— Что сидишь, зажигай свет!

Сейде не шевельнулась.

— Зажигай, говорю, свет!

Исмаил наклонился и увидел, что Сейде ползет к нему на коленях...

— Ты... ты лучше бы зарезал нашу телку!

— Дура! — Исмаил схватил ее за плечо, рванул к себе. — Ты что болтаешь, не тебе меня учить! Если жизнь волчья, то и сам будь волком! Всяк для себя!.. Лишь бы самому нажраться... Какое твое дело до других? Хоть подыхай с голоду, никто тебе и ложки ко рту не поднесет. Всяк для себя! Кто рвет, тот и ест!

Сейде ничего не отвечала. Рука Исмаила сползла с ее

плеча, нащупала ворот платья, туго сжала. Он с силой затряс жену, захрипел, изо рта его пахнуло полусырым недожаренным мясом.

— Ты что ж молчишь, а? Я тебя спрашиваю, что ты молчишь? Если бы я зарезал свою телку, откуда бы ты взяла молока для ребенка? Или чужие дети тебе дороже своего? А как бы мы добирались до Чаткала? Ты думаешь об этом или нет, а? Считанные дни остались, а ты хочешь, чтобы я сдох с голоду в этой пещере? Или другие тебе ближе, чем я? Ну нет, всю зиму я дрог на холоде, теперь хватит... Буду воровать, буду грабить; не для того я сбежал из армии, чтобы здесь околевать как собака! Я не дурак и подыхать не собираюсь!

Во дворе прокричал петух. Пора было уходить. Исмаил подошел к окну, прислушался, спрятав сигарку в кулаке, и проговорил:

— Ну, что онемела? Припрячь мясо, вари его по ночам, а кости закапывай в сарае, да поглубже, чтобы собаки не разрыли! — Он еще раз затыкнулся сигаркой, нижняя часть его лица озарилась красноватым, зловещим отсветом, из мрака выступили мокрые губы, хищные ноздри. Потом он бросил окурок на пол, придавил ногой и вышел.

Чем светлее становилось за окном, тем пристальней вглядывалась во двор молодая седоволосая женщина. Казалось, она выслеживает, куда прячется ночной мрак от света занявшегося дня. Обняв детский бешик, Сейде все смотрела, смотрела в окно, не отводя глаз. Там, за этим маленьким оконцем, целый мир, аил, народ. Там живут Курман, Тотой со своими тремя детьми, однорукий Мырзакул и Исмаил тоже... Да-а, Исмаил тоже... «Нет, ты не похож на них... Тот, кто в беде покидает свой народ, волей-неволей становится его врагом! Не сумела я уберечь тебя от этого, да и не смогла бы уберечь!..»

Сейде собиралась. Уложила в узелок пеленки, надела чапан, туго подвязалась веревкой, как это делала соседка Тотой.

Возле дверей Сейде остановилась и задумалась, держа на руках сына. Он спал, ничего не ведая, только поморщился и повертел головкой, когда на лицо капнула слеза матери. Потом Сейде подняла с земли торбу с мясом, взвалила ее на плечо и решительно шагнула за порог.

Сейде шла по едва приметной в чийнях овечьей тропке. За ней следовали Мырзакул — он ехал верхом на лошади — и двое солдат с винтовками.

Часа два назад командир воинской охраны туннеля приказал солдатам отправиться в соседний кишлак в распоряжение председателя сельсовета. Сейде шла в Малое ущелье, к чабанам. Больше она никогда не вернется в этот аил.

Солдаты тихо переговаривались между собой.

— Слушай, это та самая, у которой свели корову?

— Да, по всему видать, она.

— Выходит, выследила его. Молодец баба! Только на кой черт она тащит с собой дите на руках?

— А кто ее знает! Чудная какая-то, ей-богу! Давеча председатель ей говорит: садись, мол, на лошадь, ты же с ребенком. А она ни слова в ответ, повернулась и пошла... Гордая, видать..

Когда они добрались до обрывистой балки, поросшей камышом и дикой талой, Сейде спустилась вниз и приостановилась на повороте.

— Вон там, за камышами! — показала она рукой, и кровь отхлынула от ее лица. Не сознавая, что делает, развязала узелок платка на шее, присела и сунула ребенку грудь.

Солдаты осторожно двинулись вслед за Мырзакулом. Приближаясь к камышам, Мырзакул занес ногу, собираясь соскочить с лошади. И в эту минуту впереди раздался окрик:

— Эй, Мырзакул! Назад! Мне один конец, но и тебе несдобровать! Уложу! Убирайся!

— Руки вверх! Сдавайся! — крикнул Мырзакул и пустил лошадь вперед.

В балке грохнул выстрел. Сейде вскочила на ноги. Она увидела, как Мырзакул привалился к шее коня, как он судорожно цеплялся одной рукой за гриву и как обрубок другой руки беспомощно дергался в рукаве шинели. Потом тело Мырзакула обмякло, и он кулем свалился на землю.

Тем временем солдаты открыли стрельбу. Исмаил отвечал частыми, беглыми выстрелами. В горах загремело эхо.

И вдруг один солдат вскрикнул не своим голосом:

— Эй, маржа!<sup>1</sup> Куда ты? Назад, говорю! Назад! Убьет!

С сыном на руках, в платке, упавшем ей на плечи, Сейде шла к камышам, в которых засел Исмаил. Она шла спокойно и твердо, шла так, будто ей ничего не угрожало.

Губы ее были тесно сомкнуты, глаза широко открыты и взгляд их тверд. В ней чувствовалась огромная внутренняя сила. Это была женщина, которая верит в справедливость и

---

<sup>1</sup> Маржа — от слова «Мария», обращение к женщине.

в свою правоту. Шаг за шагом приближалась она к камышам. Солдаты растерялись. Не зная, что делать, они кричали ей вслед:

— Назад! Повертывай назад!

Но Сейде даже не оглянулась на крики, будто не слышала их.

На какую-то минуту звенящая, бездонная тишина сковала горы. Солдаты, укрывшиеся за камнями, Мырзакул, расprostертый на земле с судорожно сведенными пальцами единственной руки, нависшие скалы и далекие вершины гор — все оцепенело в напряженном ожидании. Вот-вот раздается выстрел, и женщина с ребенком на руках рухнет на землю.

Страшную эту тишину нарушил ветер. Волной прокатился он по верхам камышей, ударил Сейде в лицо и сорвал платок с ее плеч. Но и теперь ни один мускул не дрогнул на ее лице. Гнев и решимость вели ее вперед. Высоко подняв голову, прижимая сына к груди, она шла, не страшась смерти, во имя высокого долга.

— Стой! Стой! — с отчаянием кричали солдаты.

Сжимая винтовки, они кинулись за Сейде. И в эту минуту из камышей выскочил Исмаил. Был он в рваной серой шинели. С перекошенного, измученного лица, заросшего бородой, катился грязный пот. Задыхаясь от ярости, он поднял винтовку для удара и грозно двинулся к жене.

Все больше сокращалось расстояние между ними. Вот они сблизились вплотную, лицом к лицу. И он не узнал прежней Сейде. Это была другая, не знакомая ему женщина: седоволосая, с непокрытой головой, она бесстрашно стояла перед ним, держа на руках сына, и ему вдруг показалось, что она стоит высоко, очень высоко, недоступная в своем скорбном величии, а он бессилен и жалок перед нею.

Исмаил пошатнулся, с силой швырнул винтовку навстречу подбегавшим солдатам и поднял руки.

# ДЖАМИЛЯ

---

---

*Повесть*



**Вот** опять стою я перед этой небольшой картиной в простенькой рамке. Завтра с утра мне надо ехать в аил, и я смотрю на картину долго и пристально, словно она может дать мне доброе напутствие.

Эту картину я еще никогда не выставлял на выставках. Больше того, когда приезжают ко мне из аила родственники, я стараюсь запрятать ее подальше. В ней нет ничего стыдного, но это далеко не образец искусства. Она проста, как проста земля, изображенная на ней.

В глубине картины — край осеннего, поблекшего неба. Ветер гонит над далекой горной грядой быстрые пегие тучки. На первом плане — красно-бурая полынная степь. И дорога, черная, еще не просохшая после недавних дождей. Теснятся у обочины сухие, обломанные кусты чия. Вдоль размытой колеи тянутся следы двух путников. Чем дальше, тем слабее проступают они на дороге, а сами путники, кажется, сделают еще шаг — и уйдут за рамку. Один из них... Впрочем, я забегая немного вперед.

Это было в пору моей ранней юности. Шел третий год войны. На далеких фронтах, где-то под Курском и Орлом, бились наши отцы и братья, а мы, тогда еще подростки лет по пятнадцати, работали в колхозе. Тяжелый повседневный крестьянский труд лег на наши неокрепшие плечи. Особенно жарко приходилось нам в дни уборки. По целым неделям не бывали мы дома и дни и ночи пропадали в поле, на току или по дороге на станцию, куда свозили зерно.

В один из таких знойных дней, когда серпы, казалось, раскалились от жатвы, я, возвращаясь на порожней бричке со станции, решил завернуть домой.

Возле самого брода, на пригорке, где кончается улица, стоят два двора, обнесенные добротным саманным дувалом. Вокруг усадьбы возвышаются тополя. Это наши дома. С давних пор живут по соседству две наши семьи. Я сам из Боль-



шого дома. У меня два брата, оба они старше меня, оба холостые, оба ушли на фронт, и давно уже нет от них никаких вестей.

Отец мой, старый плотник, с рассветом совершал намаз и уходил на общий двор, в плотницкую. Возвращался он уже поздним вечером.

Дома оставались мать и сестренка.

В соседнем дворе, или, как называют его в аиле, в Малом доме, живут наши близкие родственники. Не то наши прадеды, не то наши прапрадеды были родными братьями, но я называю их близкими потому, что жили мы одной семьей. Так повелось у нас еще с времен кочевья, когда деды наши вместе разбивали стойбища, вместе гуртовали скот. Эту традицию сохранили и мы. Когда в аил пришла коллективизация, отцы наши построились по соседству. Да и не только мы, а вся Аральская улица, протянувшаяся вдоль аила в междуречье, — наши одноплеменники, все мы из одного рода.

Вскоре после коллективизации умер хозяин Малого дома. Жена его осталась с двумя малолетними сыновьями. По старому обычаю родового адата, которого тогда еще придерживались в аиле, нельзя отпускать на сторону вдову с сыновьями, и наши одноплеменники женили на ней моего отца. К этому его обязывал долг перед духами предков: ведь он доводился покойному самым близким родственником.

Так появилась у нас вторая семья. Малый дом считался самостоятельным хозяйством: со своей усадьбой, со своим скотом, но, по существу, мы жили вместе.

Малый дом тоже проводил в армию двух сыновей. Старший, Садык, ушел вскоре после того, как женился. От них мы получали письма, правда с большими перерывами.

В Малом доме остались мать, которую я называл «кичи-апа» — младшей матерью, и ее невестка — жена Садыка. Обе они с утра до вечера работали в колхозе. Моя младшая мать, добрая, покладистая, безобидная женщина, в работе не отставала от молодых, будь то рытье арыков или полив, — словом, прочно держала в руках кетмень. Судьба, словно в награду, послала ей работающую невестку. Джамия была под стать матери — неутомимая, сноровистая, только вот характером немного иная.

Я горячо любил Джамию. И она любила меня. Мы очень дружили, но не смели друг друга называть по имени. Будь мы из разных семей, я бы, конечно, звал ее Джамия. Но я называл ее «джене», как жену старшего брата, а она ме-

ня — «кичине бала» — маленьким мальчиком, хотя я вовсе не был маленьким, и разница у нас в годах совсем невелика. Но так уж заведено в аилах: невестки называют младших братьев мужа «кичине бала» или «мой кайни».

Домашним хозяйством обоих дворов занималась моя мать. Помогала ей сестренка, смешная девочка с ниточками в косичках. Мне никогда не забыть, как усердно она работала в те трудные дни. Это она пасла за огородами ягнят и телят обоих дворов, это она собирала кизяк и хворост, чтобы всегда было в доме топливо. Это она, моя курносая сестренка, скрашивала одиночество матери, отвлекая ее от мрачных дум о сыновьях, пропавших без вести.

Согласием и достатком в доме наше большое семейство обязано моей матери. Она полновластная хозяйка обоих дворов, хранительница семейного очага. Совсем молоденькой вошла она в семью наших дедов-кочевников и потом свято чтит их память, управляя семьями по всей справедливости. В аиле с ней считались, как с самой почтенной, совестью и умудренной опытом хозяйкой. Всем в доме ведала мать. Отца, по правде говоря, жители аила не признавали главой семьи. Не раз приходилось слышать, как люди по какому-либо поводу говорили: «Э-э, да ты лучше не иди к устаке, — так почительно у нас называют мастеровых людей, — он только и знает что свой топор. У них старшая мать всему голова — вот к ней и иди, так оно вернее будет...»

Надо сказать, что я, несмотря на свою молодость, частенько вмешивался в хозяйственные дела. Это было возможно только потому, что старшие братья ушли воевать. И меня чаще в шутку, а порой и серьезно называли джигитом двух семей, защитником и кормильцем. Я гордился этим, и чувство ответственности не покидало меня. К тому же мать поощряла мою самостоятельность. Ей хотелось, чтобы я был хозяйственным и смекалистым, а не таким, как отец, который день-деньской молча строгаёт и пилит.

Так вот, я остановил бричку возле дома, в тени под вербой, ослабил постромки и, направляясь к воротам, увидел во дворе нашего бригадира Орозмата. Он сидел на лошади, как всегда, с подвязанным к седлу костылем. Рядом с ним стояла мать. Они о чем-то спорили. Подойдя ближе, я услышал голос матери.

— Не быть этому! Побойся Бога, где это видано, чтобы женщина возила мешки на бричке? Нет, милый, оставь мою невестку в покое, пусть она работает, как работала. И так

света белого не вижу, ну-ка, попробуй управься в двух дворах! Ладно, еще дочка подросла... Уж неделю разогнуться не могу, поясницу ломит, словно кошму валяла, а кукуруза вон томится — воды ждет! — запальчиво говорила она, то и дело засовывая конец тюрбана за ворот платья. Она делала это обычно, когда сердилась.

— Ну что вы за человек! — проговорил в отчаянии Орозмат, покачнувшись в седле. — Да если бы у меня нога была, а не вот этот обрубок, разве стал бы я вас просить? Да лучше бы я сам, как бывало, накидал мешки в бричку и погнал лошадей!.. Не женская это работа, знаю, да где их взять, мужчин-то?.. Вот и решили солдаток упросить. Вы своей невестке запрещаете, а нас начальство последними словами кроет... Солдатам хлеб нужен, а мы план срываем. Как же так, куда это годится?

Я подходил к ним, волоча по земле кнут, и когда бригадир заметил меня, он необычайно обрадовался, — видно, его осенила какая-то мысль.

— Ну, если вы так уж боитесь за свою невестку, то вот ее кайни, — с радостью указал он на меня, — никому не позволит близко к ней подойти. Уж можете не сомневаться! Сеит у нас молодец. Эти вот ребятки — кормильцы наши, только они и выручают.

Мать не дала бригадиру договорить.

— Ой, да на кого же ты похож, бродяга ты мой! — запримечала она. — А голова-то, зарос весь... Отец-то наш тоже хорош, побрить голову сыну никак не найдет времени...

— Ну вот и ладно, пусть сыночек побалуется сегодня у стариков, — ловко подхватил Орозмат в тон матери. — Сеит, оставайся сегодня дома, лошадей подкорми, а завтра с утра дадим Джамиле бричку: будете вместе работать. Смотри у меня, отвечать будешь за нее! Да вы не тревожьтесь, Сеит ни за что не даст ее в обиду. И если уж на то пошло, отправлю с ними Данияра. Вы же его знаете: безобидный такой малый... ну, тот, что недавно с фронта вернулся. Вот и будут втроем на станцию зерно возить. Кто же посмеет тогда тронуть вашу невестку? Верно ведь, Сеит? Ты как думаешь, — вот хотим Джамилю возницей поставить, да мать не соглашается, уговори ты ее.

Мне польстила похвала бригадира и то, что он советуется со мной, как со взрослым человеком. К тому же я сразу представил себе, как будет хорошо вместе с Джамилей ездить на станцию. И, сделав серьезное лицо, я сказал матери:

— Ничего ей не сделается, что ее, волки съедят, что ли?

И, как завзятый ездовой, деловито сплюнув сквозь зубы, я поволок за собой кнут, степенно покачивая плечами.

— Ишь ты! — изумилась мать и вроде бы обрадовалась, но тут же сердито прикрикнула: — Я вот тебе покажу волков! Тебе-то откуда знать, умник какой нашелся!

— А кому же знать, как не ему, он у вас джигит двух семейств, гордиться можете! — вступился за меня Орозмат, опасливо поглядывая на мать: как бы она опять не заупрямилась.

Но мать не возразила ему, только как-то сразу поникла и проговорила, тяжело вздохнув:

— Какой уж там джигит, дитя еще, да и то день и ночь пропадает на работе... Джигиты-то наши ненаглядные бог знает где! Опустели наши дворы, точно брошенное стойбище...

Я уже отошел далеко и не расслышал, что еще говорила мать. На ходу хлестнул кнутом угол дома так, что пыль пошла, и, не ответив даже на улыбку сестренки, которая, прихлопывая ладошками, лепила во дворе кизяки, важно прошел под навес. Тут я присел на корточки и не спеша вымыл руки, поливая себе из кувшина. Войдя затем в комнату, я выпил чашку кислого молока, а вторую отнес на подоконник и принялся крошить в нее хлеб.

Мать и Орозмат все еще были во дворе. Только они уже не спорили, а вели спокойный, негромкий разговор. Должно быть, они говорили о моих братьях. Мать то и дело вытирала припухшие глаза рукавом платья и, задумчиво кивая головой в ответ на слова Орозмата, который, видно, утешал ее, смотрела затуманенным взором куда-то далеко-далеко, поверх деревьев, будто надеялась увидеть там своих сыновей.

Поддавшись печали, мать, кажется, согласилась на предложение бригадира. А он, довольный, что добился своего, стегнул лошадь камчой и выехал со двора быстрой иноходью.

Ни мать, ни я не подозревали тогда, конечно, чем все это кончится.

Я несколько не сомневался, что Джамия управится с пароконной бричкой. Лошадей она знала, ведь Джамия — дочь табунщика из горного аила Бакаир. Наш Садык тоже был табунщиком. Однажды весной, на скачках, он будто не сумел догнать Джамию. Кто его знает, правда ли, но гово-

рили, что после этого оскорбленный Садык похитил ее. Другие, впрочем, утверждали, что женились они по любви. Но как бы там ни было, а прожили они вместе всего четыре месяца. Потом началась война, и Садыка призвали в армию.

Не знаю, чем объяснить, может, оттого, что Джамия с детства гоняла с отцом табуны, — она у него была одна, и за дочь и за сына, — но в характере у нее проявлялись какие-то мужские черты, что-то резкое, а порой даже грубоватое. И работала Джамия напористо, с мужской хваткой. С соседками ладить умела, но если ее понапрасну задевали, никому не уступала в ругани, и бывали случаи, что и за волосы кое-кого таскала.

Соседи не раз приходили жаловаться:

— Что это у вас за невестка такая? Без году неделя как переступила порог, а языком так и молотит! Ни тебе уважения, ни тебе стыдливости!

— Вот и хорошо, что она такая! — отвечала на это мать. — Невестка у нас любит правду в глаза говорить. Это лучше, чем скрытничать да исподтишка жалить. Ваши тихонями прикидываются, а такие вот тихони — что протухшие яйца: снаружи чисто да гладко, а внутри — нос заткни.

Отец и младшая мать никогда не обходились с Джамией с той строгостью и придирчивостью, как это положено свекру и свекрови. Относились они к ней по-доброму, любили ее и желали только одного: чтобы она была верна Богу и мужу.

Я понимал их. Проводив в армию четырех сыновей, они находили утешение в Джамиле, единственной невестке двух дворов, и потому так дорожили ею. Но я не понимал своей матери. Не такой она человек, чтобы просто любить кого-нибудь. У моей матери властный и суровый характер. Она жила по своим правилам и никогда не изменяла им. Каждый год с приходом весны она ставила во дворе и окуривала можжевельником нашу кочевую юрту, которую отец сладил еще в молодости. Она и нас воспитала в строгом трудолюбии и почтении к старшим. Она требовала от всех членов семьи беспрекословного подчинения.

А вот Джамия с первых же дней, как пришла к нам, оказалась не такой, какой положено быть невестке. Правда, она уважала старших, слушалась их, но никогда не склоняла перед ними голову, зато и не язвила шепотком, отвернувшись в сторону, как другие молодухи. Она всегда прямо говорила то, что думала, и не боялась высказывать свои суждения.

Мать часто поддерживала ее, соглашаясь с ней, но всегда решающее слово оставляла за собой.

Мне кажется, что мать видела в Джамиле, в ее прямодушии и справедливости, равного себе человека и втайне мечтала когда-нибудь поставить ее на свое место, сделать ее такой же полновластной хозяйкой, такой же байбиче<sup>1</sup>, хранительницей семейного очага.

— Благодарю Аллаха, дочь моя, — поучала мать Джамилю, — ты пришла в крепкий, благословенный дом. Это — твое счастье. Женское счастье — детей рожать да чтобы в доме достаток был. А у тебя, слава богу, останется все, что назвали мы, старики, в могилу ведь с собой не возьмем. Только счастье — оно живет у того, кто честь и совесть свою бережет. Помни об этом, соблюдай себя!..

Но кое-что в Джамиле все-таки смущало свекровей: уж слишком откровенно была она весела, точно дитя малое. Порою, казалось бы совсем беспричинно, начинала смеяться, да еще так громко, радостно. А когда возвращалась с работы, то не входила, а вбегала во двор, перепрыгивая через арык. И ни с того ни с сего принималась целовать и обнимать то одну свекровь, то другую.

А еще любила Джамилю петь, она постоянно напевала что-нибудь, не стесняясь старших. Все это, конечно, не вязалось с устоявшимися в аиле представлениями о поведении невестки в семье, но обе свекрови успокаивали себя тем, что со временем Джамиля остепенится: ведь в молодости чего только не бывает. А для меня лучше Джамиле никого не было на свете. Нам было вместе очень весело, мы могли хохотать без всякой причины и гоняться друг за другом по двору.

Джамиля была хороша собой. Стройная, статная, с прямыми жесткими волосами, заплетенными в две тугие, тяжелые косы, она ловко повязывала свою белую косынку, чуть наискосок спуская ее на лоб, и это очень шло ей и красиво оттеняло смуглую кожу гладкого лица. Когда Джамиля смеялась, ее иссиня-черные миндалевидные глаза вспыхивали молодым задором, а когда она вдруг начинала петь соленые айильные песенки, в ее красивых глазах появлялся недевичий блеск.

Я часто замечал, что джигиты, в особенности фронтовики, вернувшись домой, заглядывались на нее. Джамиля и сама любила пошутить, но, правда, давала по рукам тем, кто

---

<sup>1</sup> Байбиче — уважительное обращение к пожилой женщине, хозяйке дома.

забывался. И все-таки это всегда задевало меня. Я ревновал ее, как ревнуют младшие братья своих сестер, и если замечал возле Джамии молодых людей, то старался хоть чем-нибудь помешать им. Я пыжился и смотрел на них с такой злостью, что как бы говорил своим видом: «Вы не больно тут гогочите. Она жена моего брата, и не думайте, что некому вступиться за нее!»

В такие минуты я с нарочитой развязностью, к месту и не к месту, встревал в разговор, пытался высмеять ее ухажеров, а когда из этого ничего не получалось, терял самообладание и, набычившись, сопел.

Парни прыскали со смеху:

— Ой, ты только погляди на него! Да, никак, она его джене! Вот потеха-то, а мы и не знали!

Я крепился, но чувствовал, как предательски загорались у меня уши и от обиды слезы навертывались на глаза. А Джамия, моя джене, понимала меня. Едва сдерживая рвущийся наружу смех, она делала серьезное лицо.

— А вы думали, что джене на дороге валяются? — приосанившись, говорила она джигитам. — Может, у вас и валяются, а у нас нет! Пошли отсюда, кайни мой, ну вас! — И, красясь перед ними, Джамия гордо вскидывала голову, вызываяще поводила плечами и, уходя вместе со мной, молча улыбалась.

И досаду, и радость видел я в этой улыбке. Может быть, она думала тогда: «Эх ты, глупенький! Если только захочу дать себе волю, кто меня удержит! Всей семьей следите — не уследите!» Я в таких случаях виновато молчал. Да, я ревновал Джамилю, боготворил ее, гордился тем, что она моя джене, гордился ее красотой и независимым, вольным характером. Мы с ней были самыми задушевными друзьями и ничего не таили друг от друга.

В те дни в аиле было мало мужчин. Пользуясь этим, некоторые парни вели себя с женщинами нагло и относились к ним пренебрежительно: чего, мол, с ними канителиться, только помани пальцем — любая побежит!

Однажды на сенокосе к Джамиле стал приставать Осмон, наш дальний родственник. Он тоже был из тех, которые считали, что перед ними ни одна не устоит. Джамия неприязненно оттолкнула его руку и встала из-под стога, где она отдыхала в тени.

— Отстань! — проговорила она с болью и отвернулась. — Хотя чего от вас еще ждать, жеребцы вы табунные!

Осмон, развалившись под стогом, презрительно скривил мокрые губы:

— Для кошки то мясо вонючее, что высоко на шесте висит... Чего ломаешься, небось самой до смерти хочется, а то же — нос воротить.

Джамиля резко обернулась:

— Может, и хочется! Да только судьба нам выпала такая, а ты, дурак, смеешься. Сто лет буду солдаткой, а на таких, как ты, и плевать не захочу: противно. Посмотрела бы я, если бы не война, кто бы стал с тобой разговаривать!

— Вот и я говорю! Война — ты и бесишься без мужниной камчи! — Осмон ухмыльнулся. — Эх, была бы ты моей бабой, тогда бы ты не то запела.

Джамиля кинулась было к нему, хотела что-то сказать, но промолчала: поняла, что не стоит связываться. Она смотрела на него долгим ненавидящим взглядом. Потом, брезгливо сплюнув, подняла с земли вилы и зашагала прочь.

Я стоял на можаре за скирдой. Увидев меня, Джамиля круто повернула в сторону. Она поняла, в каком я был состоянии. У меня было такое ощущение, что не ее, а меня оскорбили, что именно меня опозорили. С душевной болью я упрекал ее:

— Зачем ты связываешься с такими, зачем ты с ним разговариваешь?

До самого вечера Джамиля ходила, мрачно насупившись, ни словом не обмолвилась со мной и не смеялась, как прежде. Когда я подгонял к ней можару, Джамиля, чтобы не дать мне заговорить о той страшной обиде, которую она таила в себе, с размаху втыкала вилы в копну и, разом приподняв ее всю, несла перед собой, пряча за ней лицо. Она скидывала сено рывком и тут же бросалась к другой копне. Можара быстро наполнялась. Удаляясь, я оборачивался и видел, как она понуро стояла минутку-другую, опираясь на черенок вил, и о чем-то думала, а потом, спохватившись, снова бралась за работу.

Когда мы загрузили последнюю можару, Джамиля, словно позабыв обо всем на свете, долго смотрела на закат. Там, за рекой, где-то на краю казахской степи, отверстием горячего тандыра<sup>1</sup> пламенело разомлевшее вечернее солнце косовицы. Оно медленно уплывало за горизонт, обагрив заре-

---

<sup>1</sup> Тандыр — устроенная в земле возле дома печь с круглым отверстием, в котором пекут лепешки.



вом рыхлые облачка на небе и бросая последние отсветы на лиловую степь, уже подернутую в низинах просинью ранних сумерек. Джамия смотрела на закат с таким тихим восторгом, словно ей явилось сказочное видение. Лицо ее светилось нежностью, по-детски мягко улыбались ее полураскрытые губы. И тут Джамия, точно отвечая на мои невысказанные упреки, которые все еще просились у меня с языка, повернулась и заговорила таким тоном, будто мы продолжали разговор:

— А ты не думай о нем, кичине бала, ну его! Разве это человек?.. — Джамия умолкла, провожая взглядом угасающий край солнца, и, вздохнув, задумчиво продолжала: — Откуда им знать, таким, как Осмон, что у человека на душе? Никто этого не знает... Может, и нет таких мужчин на свете...

Пока я разворачивал лошадей, Джамия уже успела подбежать к женщинам, что работали в стороне от нас, и до меня донеслись их громкие, веселые голоса. Трудно сказать, что с ней произошло, — может, просветлело у нее на душе, когда она глядела на закат, может, просто развеселилась от того, что хорошо поработала. Я сидел на можаре, на высокой копне сена, и смотрел на Джамию. Она сорвала с голы свою белую косыночку и побежала за подружкой по затененному скошенному лугу, широко раскинув руки. На ветру трепетал подол ее платья. И от меня тоже вдруг отлетела грусть: «Стоит ли думать о болтовне Осмона!»

— Но-о, пошли! — зашпешил я, подхлестывая лошадей.

В тот день, как мне и наказывал бригадир, я решил дожидаться отца, чтобы побрить голову, а тем временем принялся писать ответ на письмо Садыка. И тут у нас были свои правила: братья писали письма на имя отца, айльский почтальон вручал их матери, читать письма и отвечать на них было моей обязанностью. Еще не начав читать, я наперед знал, что писал Садык. Все его письма походили одно на другое, как ягнята в отаре. Садык постоянно начинал со слов «Послание о здравии» и затем неизменно сообщал: «Посылаю это письмо по почте моим родным, живущим в благоухающем, цветущем Таласе, премного любимому, дорогому отцу Джолчубаю...» Далее шла моя мать, затем его мать, а потом уже все мы в строгой очередности. После этого следовали непременно вопросы о здоровье и благополучии аксакалов рода, близких родственников, и только в самом конце, вроде бы второпях, Садык приписывал: «А также шлю привет моей жене Джамиле...»

Конечно, когда живы отец с матерью, когда здравствуют в аиле аксакалы и близкие родственники, называть жену первой, а тем более писать письма на ее имя просто неудобно, даже неприлично. Так считает не только Садык, но и каждый уважающий себя мужчина. Да тут и толковать нечего, так уж было заведено в аиле, и это не только не подлежало обсуждению, но мы просто над этим не задумывались, да и не до того было. Ведь каждое письмо — желанное, радостное событие.

Мать заставляла меня по нескольку раз перечитывать письмо, потом с набожным умилением брала его в свои потрескавшиеся руки и держала листок так неловко, словно птицу, которая вот-вот выпорхнет. С трудом шевеля негнущимися пальцами, она складывала наконец письмо в треугольник.

— А-а, дорогие мои, как талисман мы будем хранить ваши письма! — приговаривала она дрожащим от слез голосом. — Вот ведь справляется, как там отец, мать, родичи... Да куда мы денемся, мы-то ведь у себя в аиле. А каково-то вам? Хоть одно словечко черкните, жив, мол, я, и все — нам большего не надо...

Мать еще долго смотрела на треугольник, потом прятала его в кожаный мешочек, где хранились все письма, и запирала в сундук.

Если в это время Джамия оказывалась дома, то и ей давали прочитать письмо. Каждый раз, когда Джамия брала в руки треугольник, я замечал, как она вспыхивала. Она читала про себя, жадно, торопливо перебегая глазами по строчкам. Но чем ближе подходила к концу, тем ниже опускались ее плечи, и огонь на щеках медленно угасал. Она хмурила свои упрямые брови и, не дочитав до последних строк, возвращала письмо матери с таким холодным равнодушием, словно отдавала то, что брала в долг.

Мать, видно, по-своему понимала настроение невестки и старалась подбодрить ее.

— Ты что это? — говорила она, запирая сундук. — Вместо того чтобы радоваться, поникла вся! Или только у тебя у одной муж в солдатах? Не ты одна в беде — горе народное, с народом и терпи. Думаешь, есть такие, что не скучают, что не тоскуют по мужьям по своим... Тоскуй, но виду не показывай, в себе таи!

Джамия молчала. Но ее упрямый, тоскливый взгляд, кажется, говорил: «Ничего-то вы не понимаете, матушка!»

Письмо Садыка и на этот раз пришло из Саратова. Он лежал там в госпитале. Садык писал, что, бог даст, осенью вернется домой по ранению. Об этом он сообщал и раньше, и мы все радовались скорой встрече с ним.

Я все-таки не остался в тот день дома, а поехал на ток. Там я ночевал обычно. Лошадей отвел на люцерник и спутал их. Председатель не разрешал пасти скот на люцерне, но, чтобы лошади у меня были справными, я нарушал запрет. Я знал одно укромное местечко в низине, к тому же ночью никто ничего не мог заметить, но в этот раз, когда я выпряг лошадей и повел их, оказалось, что кто-то уже пустил на люцерник четырех лошадей. Это меня возмутило. Ведь я был хозяином пароконной брички, что давало мне право возмущаться. Не раздумывая, я решил отогнать чужих лошадей куда-нибудь подальше, чтобы проучить наглеца, вторгшегося в мои владения. Но вдруг я узнал двух коней Данияра, того самого, о котором говорил днем бригадир. Вспомнив, что с завтрашнего дня мы будем вместе с Данияром возить зерно на станцию, я оставил его лошадей в покое и вернулся на ток.

Данияр, оказывается, был здесь. Он только что кончил смазывать колеса своей брички и сейчас подкручивал гайки на осях.

— Данике, это твои лошади в низине? — спросил я.

Данияр медленно повернул голову:

— Две мои.

— А другая пара?

— Это, как ее, Джамили, что ли, это ее лошади. Она тебе кем доводится, джене твоя?

— Да, джене.

— Бригадир сам их тут оставил, приказал присмотреть...

Как хорошо, что я не отогнал лошадей!

Наступила ночь, улегся вечерний ветерок, дувший с гор. На току тоже утихло. Данияр расположился возле меня, под скирдой соломы, но спустя немного времени поднялся и пошел к реке. Он остановился неподалеку, над обрывом, да так и остался стоять, заложив руки за спину и чуть склонив на плечо голову. Он стоял спиной ко мне. Его длинная, угловатая фигура, словно вытесанная топором, резко выделялась в мягком лунном свете. Казалось, он чутко прислушивался к шуму реки, все отчетливее нарастающему ночью на перекатах. А может, он прислушивался еще к каким-то неуловимым для меня звукам и шорохам ночи. «Опять он задумал ночевать у реки, вот чудак!» — усмехнулся я.

Данияр недавно появился в нашем аиле. Как-то на сенокос прибежал мальчишка и говорит, что в аил пришел раненый солдат, а кто и чей, он не знает. Ох, что тут было! Ведь в аиле-то как: вернется кто-нибудь из фронтовиков, так все до единого, и старые и малые, гуртом бегут поглядеть на прибывшего, за ручку поздороваться, расспросить, не видал ли близких, послушать новости. Тут крик поднялся невообразимый, каждый гадал: может, наш брат вернулся, а может, сват? Ну и помчались косари узнать, в чем дело.

Оказывается, Данияр был коренным нашим земляком, уроженцем аила. Рассказывали, что в детстве он остался сиротой, года три мыкался по дворам, а потом подался к казахам в Чакмакскую степь — родственники по материнской линии у него казахи. Близких родных не было, чтобы вернуть мальчонку назад, так и позабыли о нем. Когда его спрашивали, как жилось ему после ухода из дому, Данияр отвечал уклончиво. И все-таки можно было понять, что он с лихвой хлебнул горюшка, вдоволь познал сиротскую долю. Жизнь гоняла Данияра, как перекасти-поле, по разным краям. Он долгое время пас овец в Чакмакских солончаках, а когда подрос, рыл каналы в пустынях, работал в новых хлопкосовхозах, потом — на Ангренских шахтах, под Ташкентом, и оттуда ушел в армию.

Возвращение Данияра в родной аил народ встретил с одобрением. «Сколько ни мотало его по чужим краям, а вернулся — значит, суждено пить воду из родного арыка. И ведь не забыл своего языка, на казахский чуть сбивается, а так говорит чисто!»

«Тулпар<sup>1</sup> за тридевять земель отыщет свой косяк. Кому не дорога своя родина, свой народ! Молодец, что вернулся. И мы довольны, и духи твоих предков. Вот, бог даст, добьем германа, заживем мирно, и ты, как и другие, обзаведешься семьей, и у тебя взвоется свой дымок над очагом!» — говорили старые аксакалы.

Припомнив предков Данияра, они точно установили, из какого он рода. Так появился в нашем аиле «новый родич» — Данияр.

И вот бригадир Орозмат привел к нам на сенокос высокого сутуловатого солдата, прихрамывающего на левую ногу. Перекинув шинель через плечо, он порывисто шагал, стараясь не отставать от семенящей иноходью приземистой кобыленки

---

<sup>1</sup> Тулпар — сказочный скакун.

Орозмата. А сам бригадир рядом с длинным Данияром своим небольшим росточком и подвижностью чем-то напоминал беспокойного речного кулика. Ребята даже рассмеялись.

Раненая нога Данияра, тогда еще не совсем зажившая, не сгибалась в коленке, потому в косари он не годился, и его назначили к нам, ребятам, на сенокосилки. Скажу по чести, не очень-то он нам понравился. Прежде всего не пришлась нам по душе его замкнутость. Говорил Данияр мало, а если и говорил, то чувствовалось, что думает он в это время о чем-то другом, постороннем, что у него какие-то свои мысли, и не поймешь, видит он тебя или не видит, хотя и глядит прямо тебе в лицо своими задумчиво-мечтательными глазами.

— Бедный парень, видать, все еще не может опомниться после фронта! — говорили про него.

Но что интересно — при такой вот постоянной задумчивости Данияр работал быстро, точно, и со стороны можно было подумать, что он общительный и открытый человек. Может быть, трудное сиротское детство приучило его скрывать свои чувства и мысли, выработало в нем такую сдержанность? Возможно и так.

Тонкие губы Данияра с твердыми морщинками по углам всегда были плотно сомкнуты, глаза смотрели печально, спокойно, и только гибкие, подвижные брови оживляли его худощавое, всегда усталое лицо. Иногда он настораживался, словно услышал что-то недоступное другим, и тогда взлетали у него брови и глаза загорались непонятым восторгом. А потом он долго улыбался и радовался чему-то. Нам все это казалось странным. Да и не только это, у него были и другие странности. Вечером мы выпрягали лошадей, собирались у шалаша и ждали, когда кухарка сварит еду, а Данияр взбирался на караульную сопку<sup>1</sup> и просиживал там дотемна.

— Что он там делает, на дозор поставлен, что ли? — смеялись мы.

Однажды и я ради любопытства полез за Данияром на сопку. Казалось бы, ничего особенного здесь не было. Широко простиралась окрест предгорная степь, погруженная в сиреневые сумерки. Темные, смутные поля, казалось, медленно растворялись в тишине.

---

<sup>1</sup> Караульная сопка — возвышенность, откуда обозревается вся окрестность. Это название осталось у киргизов со времен набегов кочевых племен.

Данияр даже не обратил внимания на мой приход; он сидел, обхватив колено, и смотрел куда-то перед собой задумчивым, но светлым взглядом. И опять мне показалось, что он напряженно вслушивается в какие-то не доходящие до моего слуха звуки. Порой он настораживался и замирал с широко раскрытыми глазами. Его что-то томило, и мне думалось, что вот сейчас он встанет и распахнет свою душу, только не передо мной — меня он не замечал, — а перед чем-то огромным, необъятным, неведомым мне. А потом я глянул и не узнал его: понуро и вяло сидел Данияр, будто просто отдыхал после работы.

Сенокосы нашего колхоза разбросаны по угодьям в пойме реки Куркуреу. Недалеко от нас Куркуреу вырывается из ущелья и несется по долине необузданным, бешеным потоком. Пора косовицы — это пора половодья горных рек. С вечера начинала прибывать вода, замутненная, пенистая. В полночь я просыпался в шалаше от могучего содрогания реки. Синяя, отстоявшаяся ночь заглядывала звездами в шалаш, порывами налетал холодный ветер, спала земля, и только ревушая река, казалось, угрожающе надвигалась на нас. Хотя мы находились и не у самого берега, ночью вода была так близко ощутима, что невольно нападал страх: а вдруг снесет, вдруг смочет нас? Товарищи мои спали непробудным сном косарей, а я не мог уснуть и выходил из шалаша.

Красива и страшна ночь в поймище Куркуреу. Там и здесь темнеют на лугу стреноженные лошади. Они напаслись вдоволь на росистой траве и сейчас, изредка пофыркивая, чутко дремлют. А рядом, сгибаемая исхлестанный мокрый тальник, набегая на берег, глухо перекатывает камни Куркуреу. Неистовым, грозным шумом наполняет ночь неумолчная река. Жуть берет. Страшно.

В такие ночи я всегда вспоминал о Данияре. Он обычно ночевал в копнах у самого берега. Неужели ему не страшно? Как только он не глохнет от шума реки? Спит он или нет? Почему он ночует один у реки? Что он находит в этом? Смотрю по сторонам — никого не видать. Пологими холмами уходят вдаль берега, в темноте проступают гребни гор. Там, в верховьях, тихо и звездно.

Казалось бы, пора было уже Данияру завести в аиле друзей. Но он по-прежнему оставался одиноким, словно ему было чуждо понятие дружбы или вражды, симпатии или зависти. А ведь в аиле тот джигит на виду, который может постоять за себя и за других, кто способен сделать добро, а по-

рой и зло причинить, кто, не уступая аксакалам, распоряжается на пиршествах и поминках, — такие и у женщин на примете.

А если человек, подобно Данияру, держится в стороне, не вмешиваясь в повседневные дела аила, то одни его просто не замечают, а другие снисходительно говорят:

— Никому от него ни вреда, ни пользы. Живет, бедняга, перебивается кое-как, ну и ладно...

Такой человек, как правило, является предметом насмешек или жалости. А мы, подростки, которым всегда хотелось казаться старше своего возраста, чтобы быть на равной ноге с истинными джигитами, конечно, не прямо в лицо, а между собой постоянно смеялись над Данияром. Мы смеялись даже над тем, что он сам стирал свою гимнастерку в реке. Выстирает — и еще не просохшую наденет: она у него была одна.

Но странное дело, казалось бы, тихий и безобидный был Данияр, а мы так и не решались обходиться с ним запанибрата. И не потому, что он был старше нас, — подумаешь, три или четыре года разницы, с такими мы не церемонились и называли их на «ты», — и не потому, что он был суров или важничал, что подчас внушает подобие уважения, нет, что-то недоступное таилось в его молчаливой, угрюмой задумчивости, и это сдерживало нас, готовых поднять на смех кого угодно.

Возможно, поводом для нашей сдержанности послужил один случай. Я был очень любопытным малым и нередко надоедал людям своими вопросами, а расспрашивать фронтовиков о войне было моей настоящей страстью. Когда Данияр появился у нас на сенокосе, я все искал подходящий случай выведать что-нибудь у нового фронтовика.

Вот сидели мы как-то вечером после работы у костра, поели и спокойно отдыхали.

— Данике, расскажи что-нибудь о войне, пока спать не легли, — попросил я.

Данияр сперва промолчал и вроде бы даже обиделся. Он долго смотрел на огонь, потом поднял голову и глянул на нас.

— О войне, говоришь? — спросил он и, будто отвечая на свои собственные раздумья, глухо добавил: — Нет, лучше вам не знать о войне!

Потом он повернулся, взял охапку сухого бурьяна и, подбросив ее в костер, принялся раздувать огонь, не глядя ни на кого из нас.

Больше Данияр ничего не сказал. Но даже из этой короткой фразы, которую он произнес, стало понятно, что нельзя вот так, просто говорить о войне, что из этого не получится сказка на сон грядущий. Война кровью запеклась в глубине человеческого сердца, и рассказывать о ней нелегко. Мне было стыдно перед самим собой. И я никогда уже не спрашивал у Данияра о войне.

Однако тот вечер быстро забылся, так же как и пропал в аиле интерес к самому Данияру.

На другой день рано утром мы с Данияром привели лошадей на ток, а к тому времени и Джамиля пришла. Еще издали, увидев нас, она крикнула:

— Ой, кичине бала, а ну, веди моих коней сюда! А где мои хомуты? — И, будто всю жизнь была ездовым, принялась с деловым видом осматривать брички, пробуя ногой, хорошо ли подогнаны колесные втулки.

Когда мы с Данияром подъехали, вид наш показался ей потешным. Длинные худые ноги Данияра болтались в готовых вот-вот соскочить кирзовых сапогах с широченными голенищами. А я понукал лошадь босыми, задубелыми до черноты пятками.

— Ну и пара! — Джамиля весело вскинула голову. И, не мешкая, начала командовать нами: — Поживей давайте, чтоб до жары степь проехать!

Она схватила коней под уздцы, уверенно подвела их к бричке и принялась запрягать. И ведь сама запрягла, только один раз попросила меня показать, как налаживать вожжи. Данияра она не замечала, будто его и вовсе не было рядом.

Решительность и даже вызывающая самоуверенность Джамили, видно, поразили Данияра. Недружелюбно, но в то же время со скрытым восхищением он смотрел на нее, отчужденно сомкнув губы. Когда он молча поднял с весов мешок с зерном и поднес его к бричке, Джамиля накинулась на него:

— Это что же, каждый так и будет сам по себе тужиться? Нет, друг, так не пойдет, а ну давай сюда руку! Эй, кичине бала, что ты смотришь, лезь на бричку, укладывай мешки!

Джамиля сама схватила руку Данияра, и когда они вместе — на сомкнутых руках — подхватили мешок, он, бедняга, покраснел от смущения. И потом каждый раз, когда они подносили мешки, крепко сжимая друг другу руки, а голо-



вы их почти соприкасались, я видел, как мучительно неловко Данияру, как напряженно он кусает губы, как старается не глядеть в лицо Джамиле. А Джамиля хоть бы что, она, казалось, и не замечала своего напарника, перекидываясь шутками с весовщицей. Потом, когда брички были нагружены и мы взяли вожжи в руки, Джамиля, лукаво подмигнув, сказала сквозь смех:

— Эй ты, как тебя, Данияр, что ли? Ты же мужчина с виду, давай первым открывай путь!

Данияр опять молча рванул бричку с места. «Ох ты, горемыка, какой же ты ко всему еще и стыдливый!» — подумал я.

Путь нам предстоял дальний: километров двадцать по степи, потом через ущелье, к станции. Одно было хорошо: как выедешь и до самого места дорога все время идет под гору, лошадям не в тягость.

Наш аил Куркуреу раскинулся по берегу реки на склоне Великих гор. Пока не въедешь в ущелье, аил с его темнеющими купами деревьев всегда на виду.

За день мы успевали сделать только один рейс. Мы выезжали утром, а приезжали на станцию после полудня.

Солнце немилосердно палило, а на станции толчeya, не пробьешься: брички, можары с мешками, съехавшиеся со всей долины, навьюченные ишаки и волю из дальних горных колхозов. Пригнали их мальчишки и солдатки, черные, в выгоревших одеждах, с разбитыми о камни босыми ногами и в кровь потрескавшимися от жары и пыли губами.

На воротах «Заготзерна» висело полотнище: «Каждый колос хлеба — фронту!». Во дворе — сутолока, толкотня, крики погонщиков. Рядом, за низеньким дувалом, маневрирует паровоз и, выбрасывая тугие клубы горячего пара, пышет угарным шлаком. Мимо с оглушительным ревом проносятся поезда. Раздирая слюнявые пасти, злобно и отчаянно орут верблюды, не желая подниматься с земли.

На приемном пункте под железной накаленной крышей горы зерна. Мешки надо было нести по дощатому трапу наверх, под самую крышу. Густая хлебная духота, пыль спирaет дыхание.

— Эй ты, парень, смотри у меня! — орет внизу приемщик с красными от бессонницы глазами. — Наверх тащи, на самый верх! — Он грозит кулаком и раздражается бранью.

Ну чего он ругается? Ведь мы и так знаем, куда тащить, и дотащим. Ведь несем мы этот хлеб на своих плечах с са-

мого поля, где по зернышку выращивали и собирали его женщины, старики и дети, где и сейчас, в горячую страдную пору, комбайнер бьется у истерзанного, давно отслужившего свой век комбайна, где спины женщин вечно согнуты над раскаленными серпами, где маленькие ребячьи руки бережно собирают каждый оброненный колос.

Я и сейчас еще помню, как тяжелы были мешки, которые я носил на плечах. Такая работа под стать самым крепким мужчинам. Я шел наверх, балансируя, по скрипучим, прогибающимся доскам трапа, намертво закусив зубами край мешка, чтобы только удерживать его, не выпустить. В горле першило от пыли, на ребра давила тяжесть, перед глазами стояли огненные круги. И сколько раз, ослабев на полпути, чувствуя, как неумолимо сползает со спины мешок, мне хотелось бросить его и вместе с ним скатиться вниз. Но сзади идут люди. Они тоже с мешками, они мои ровесники, такие же юнцы, или солдатки, у которых такие дети, как я. Если бы не война, разве позволили бы им таскать такие тяжести? Нет, я не имел права отступить, когда такую же работу выполняли женщины.

Вон Джамиля идет впереди, подоткнув платье выше колен, и я вижу, как напрягаются крутые мускулы на ее смуглых красивых ногах, вижу, с каким усилием держит она свое гибкое тело, пружинисто сгибаясь под мешком. Иногда только приостанавливается Джамиля, словно чувствуя, что я слабею с каждым шагом.

— Крепись, кичине бала, немного осталось!

А у самой голос незвонкий, придушенный.

Когда мы, высыпав зерно, возвращались назад, навстречу нам попался Данияр. Он шел по трапу, чуть прихрамывая, сильным, мерным шагом, как всегда одинокий и молчаливый. Поравнявшись с нами, Данияр окидывал Джамилю мрачным, жгучим взглядом, а она, разгибая натруженную спину, оправляла измятое платье. Он так глядел на нее каждый раз, словно видел впервые, а Джамиля продолжала не замечать его.

Да, так уж повелось: Джамиля или смеялась над ним, или вовсе не обращала на него внимания. Это зависело от ее настроения. Вот едем мы по дороге, вдруг вздумается ей, и она крикнет мне: «Айда, пошли!» И, гикая и наворачивая над головой кнут, погонит лошадей вскачь. Я за ней. Мы обгоняли Данияра, оставляя его в густых облаках долго не оседающей пыли. Хотя это делалось в шутку, но не каждый бы

стал такое терпеть. А вот Данияр, казалось, не обижался. Мы пронеслись мимо, а он с угрюмым восхищением смотрел на хохочущую Джамилю, стоявшую на бричке. Я оборачивался. Данияр смотрел на нее даже сквозь пыль. И было что-то доброе, всепрощающее в его взгляде, но еще я угадывал в нем упрямую, затаенную тоску.

Как насмешки, так и полное равнодушие Джамили ни разу не вывели из себя Данияра. Он словно бы дал клятву — сносить все. Вначале мне было жалко, и я несколько раз говорил Джамиле:

— Ну зачем ты смеешься над ним, джене, ведь он такой безобидный!

— А ну его! — смеялась Джамилиа и махала рукой. — Я ведь так просто, в шутку, ничего с этим бирюком не случится!

А потом и я стал подшучивать и подсмеиваться над Данияром не хуже самой Джамили. Меня начали беспокоить его странные упорные взгляды. Как он смотрел на нее, когда она взваливала себе мешок на плечи! Да и право, в этом гомоне, толкотне, в этой базарной сутолоке двора, среди мятущихся, охрипших людей Джамилиа бросалась в глаза своими уверенными, точными движениями, легкой походкой, словно бы все это происходило на просторе.

И нельзя было не заглядеться на нее. Чтобы взять с борта брочки мешок, Джамилиа вытягивалась, изгибаясь, подставляла плечо и закидывала голову так, что обнажалась ее красивая шея и бурые от солнца косы почти касались земли. Данияр, как бы между делом, приостанавливался, а потом провожал ее взглядом до самых дверей. Наверно, он думал, что делает это незаметно, но я все примечал, и мне это начинало не нравиться и даже вроде бы оскорбляло мои чувства: ведь уж Данияра-то я никак не мог считать достойным Джамили.

«Подумать только, даже он заглядывается, а что же говорить о других!» — возмущалось все мое существо. И детский эгоизм, от которого я еще не освободился, разгорался жгучей ревностью. Ведь дети всегда ревнуют своих близких к чужим. И вместо жалости к Данияру я испытывал теперь к нему чувство такой неприязни, что злорадствовал, когда над ним смеялись.

Однако наши проделки с Джамилей окончились однажды весьма печально. Среди мешков, в которых мы возили зерно, был один огромный, на семь пудов, сшитый из шерстяного рядна. Обычно мы вдвоем управлялись с ним, одно-

му это не под силу. И вот как-то на току мы решили подшутить над Данияром. Мы свалили этот огромный мешок в его бричку, а сверху завалили его другими. По пути мы с Джамилей забежали в русском селе в чей-то сад, нарвали яблок и всю дорогу смеялись; Джамилия кидалась яблоками в Данияра. А потом мы, как обычно, обогнали его, подняв тучу пыли. Нагнал он нас за ущельем, у железнодорожного переезда: путь был закрыт. Отсюда мы уже вместе прибыли на станцию, и как-то так получилось, что мы совершенно забыли об этом семипудовом мешке и вспомнили о нем, когда уже кончали разгрузку. Джамилия озорно толкнула меня в бок и кивнула в сторону Данияра. Он стоял на бричке, озабоченно рассматривая мешок, и, видно, обдумывал, как с ним быть. Потом огляделся по сторонам и, заметив, как Джамилия подавилась смешком, густо покраснел: он понял, в чем дело!

— Штаны подтяни, а то потеряешь на полдороге! — крикнула Джамилия.

Данияр метнул в нашу сторону злой взгляд, и не успели мы одуматься, как он передвинул мешок по дну брички, поставил его на ребро борта, спрыгнул, придерживая мешок одной рукой, и, взвалив его на спину, пошел. Сначала мы сделали вид, будто ничего особенного в этом нет. А другие и подавно ничего не заметили: идет человек с мешком, так ведь все идут. Но когда Данияр подходил к трапу, Джамилия догнала его:

— Брось мешок, я же пошутила!

— Уйди! — раздельно сказал он и пошел по трапу.

— Смотри, тащит! — вроде бы оправдываясь, проговорила Джамилия.

Она все еще тихонько посмеивалась, но смех ее становился каким-то неестественным, словно она вынуждала себя смеяться.

Мы заметили, что Данияр стал сильнее припадать на раненую ногу. Как же мы не подумали об этом раньше? До сих пор не могу простить себе этой дурацкой шутки, ведь это я, глупец, такое выдумал!

— Вернись! — крикнула Джамилия сквозь невеселый смех.

Но вернуться Данияр уже не мог: позади него шли люди.

Я толком не помню, что было дальше. Я видел Данияра, согнувшегося под большущим мешком, его низко склоненную голову и прикушенную губу. Он шел медленно, осторожно занося раненую ногу. Каждый новый шаг, видно,

причинял ему такую боль, что он дергал головой и на секунду замирал. И чем выше он взбирался по трапу, тем сильнее качался из стороны в сторону. Его раскачивал мешок. И мне до того было страшно и стыдно, что даже в горле пересохло. Оцепенев от ужаса, я всем своим существом ощущал тяжесть его груза и нестерпимую боль в его раненой ноге. Вот опять его качнуло, он мотнул головой, и в глазах у меня все закачалось, потемнело, земля поплыла из-под ног.

Я очнулся от оцепенения, когда вдруг кто-то сильно, до ломоты в костях, сжал мою руку. Я не сразу узнал Джамилю. Белая-белая, с огромными зрачками в широко раскрытых глазах, а губы все еще вздрагивают от недавнего смеха. Тут уж не только мы, а и все, кто был, и приемщик тоже, сбежались к подножию трапа. Данияр сделал еще два шага, хотел поправить на спине мешок — и начал медленно опускаться на колено. Джамиля закрыла лицо руками.

— Бросай! Бросай мешок! — крикнула она.

Но Данияр почему-то не бросал мешок, хотя давно можно было свалить его боком с трапа в сторону, чтобы он не сбил идущих сзади. Услышав голос Джамили, он рванулся, выпрямил ногу, сделал еще шаг, и снова его замотало.

— Да бросай же ты, собачий сын! — заорал приемщик.

— Бросай! — закричали люди.

Данияр и на этот раз выстоял.

— Нет, он не бросит! — убежденно прошептал кто-то.

И, кажется, все — и те, что шли следом по трапу, и те, что стояли внизу, — поняли: не бросит он мешок, если только сам не свалится вместе с ним. Наступила мертвая тишина. За стеной, снаружи, отрывисто свистнул паровоз.

А Данияр, покачиваясь, как оглушенный, шел вверх под раскаленной железной крышей, прогибая доски трапа. Через каждые два шага он приостанавливался, теряя равновесие, и, снова собрав силы, шел дальше. Те, что шли сзади, старались подладиться к нему и тоже приостанавливались. Это выматывало людей, они выбивались из сил, но никто не возмутился, никто не обругал его. Будто связанные невидимой веревкой, люди шли со своей ношей, как по опасной, скользкой тропе, где жизнь одного зависит от жизни другого. В их согласном безмолвии и однообразном покачивании был единый тяжелый ритм. Шаг, еще шаг за Данияром и еще шаг. С каким состраданием и мольбой, стиснув зубы, смотрела на него солдатка, что шла за ним следом! У нее самой подкашивались ноги, но она молилась о нем.

Уже осталось немного, скоро кончится наклонная часть трапа. Но Данияр опять зашатался, раненая нога уже не подчинялась ему. Он, того гляди, сорвется, если не выпустит мешок.

— Беги! Поддержи сзади! — крикнула мне Джамиля, а сама растерянно протянула руки, будто могла этим помочь Данияру.

Я бросился вверх по трапу. Протискиваясь между людьми и мешками, я добежал до Данияра. Он глянул на меня из-под локтя. На потемневшем мокром лбу его вздулись жилы, налитые кровью глаза обожгли меня гневом. Я хотел поддержать мешок.

— Уйди! — грозно прохрипел Данияр и двинулся вперед.

Когда Данияр, тяжело дыша и прихрамывая, сошел вниз, руки у него висели, как плети. Все молча расступились перед ним, а приемщик не выдержал и закричал:

— Ты что, парень, сдурел! Разве я не человек, разве я не разрешил бы тебе высыпать внизу? Зачем ты таскаешь такие мешки?

— Это — мое дело, — негромко ответил Данияр.

Он сплюнул в сторону и пошел к бричке. А мы не смели поднять глаза. Стыдно было и зло брало, что Данияр так близко к сердцу принял нашу дурацкую шутку.

Всю ночь мы ехали молча. Для Данияра это было естественно. Поэтому мы не могли понять, обижен он на нас или уже забыл обо всем. Но нам было тяжело, совесть мучила.

Утром, когда мы грузились на току, Джамиля взяла этот злополучный мешок, наступила ногой на край и разодрала с треском.

— На свою дерюгу! — Она швырнула мешок к ногам удивленной весовщицы. — И скажи бригадиру, чтоб второй раз не подсовывал таких!

— Да ты что? Что с тобой?

— А ничего!

Весь следующий день Данияр ничем не проявлял своей обиды, держался ровно и молчаливо, только прихрамывал больше обычного, особенно когда носил мешки. Видно, крепко разбередил вчера рану. И это все время напоминало нам о нашей вине перед ним. Вот если бы он засмеялся или пошутил, стало бы легче — на том и забылась бы наша размолвка.

Джамиля тоже делала вид, что ничего особенного не произошло. Гордая, она хоть и смеялась, но я видел, что весь день ей было не по себе.

Мы поздно возвращались со станции. Данияр ехал впереди. А ночь выдалась великолепная. Кто не знает августовских ночей с их далекими и в то же время близкими, необыкновенно яркими звездами! Каждая звездочка на виду. Вон одна из них, будто заиндевшая по краям, вся в мерцании ледяных лучиков, с наивным удивлением смотрит на землю с темного неба. Мы ехали по ущелью, и я долго глядел на нее. Лошади в охотку рысили к дому, под колесами поскрипывала шебенка. Ветер доносил из степи горькую пыльцу цветущей полыни, едва уловимый аромат остывающего спелого жита, и все это, смешиваясь с запахом дегтя и потной конской сбруи, слегка кружило голову.

С одной стороны над дорогой нависли поросшие шиповником, затененные скалы, а с другой, далеко внизу, в зарослях тальника и диких топольков, бурунилась неугомонная Куркуреу. Изредка где-то позади со сквозным грохотом пролетали через мост поезда и, удаляясь, долго уносили за собой перестук колес.

Хорошо было ехать по прохладе, смотреть на колышущиеся спины лошадей, слушать августовскую ночь, вдыхать ее запахи! Джамиля ехала впереди меня. Бросив вожжи, она смотрела по сторонам и что-то тихонько напевала. Я понимал: ее тяготило наше молчание. В такую ночь невозможно молчать, в такую ночь хочется петь!

И она запела. Запела, быть может, еще и потому, что хотела как-то вернуть прежнюю непосредственность в наших отношениях с Данияром, хотела заглушить чувство своей вины перед ним. Голос у нее был звонкий, задорный, и пела она обыкновенные айльные песенки, вроде «Шелковым платочком помашу тебе» или «В дальней дороге милый мой». Знала она много песенок и пела их просто и душевно, так что слушать ее было приятно. Но вдруг она оборвала песню и крикнула Данияру:

— Эй ты, Данияр, спел бы хоть что-нибудь! Джигит ты или кто?

— Пой, Джамиля, пой! — смущенно отозвался Данияр, попридержав лошадей. — Я слушаю тебя, оба уха наострил!

— А ты думаешь, у нас, что ли, ушей нет! Подумаешь, не хочешь — не надо! — И Джамиля снова запела.

Кто знает, зачем она просила его петь! Может, просто так, а может, хотела вызвать его на разговор? Скорее всего, ей хотелось поговорить с ним, потому что спустя немного времени она снова крикнула:

— А скажи, Данияр, ты любил когда-нибудь? — и засмеялась.

Данияр ничего не ответил. Джамия тоже умолкла.

«Нашла кого просить петь!» — усмехнулся я.

У речушки, пересекавшей дорогу, лошади, цокая подковами по мокрым серебристым камням, замедлили ход. Когда мы миновали брод, Данияр подстегнул коней и неожиданно запел скованным, прыгающим на выбоинах голосом:

Горы мои, сине-белые горы,  
Земля моих делов, моих отцов!

Он вдруг запнулся, закашлялся, но уже следующие две строчки вывел глубоким, грудным голосом, правда, чуть с хрипотцой:

Горы мои, сине-белые горы,  
Колыбель моя...

Тут он снова осекся, будто испугался чего-то, и замолчал. Я живо представил себе, как он смутился. Но даже в этом робком прерывистом пении было что-то необыкновенно взволнованное, и голос, должно быть, у него был хороший, просто не верилось, что это Данияр.

— Ты смотри! — не удержался я.

А Джамия даже воскликнула:

— Где же ты был раньше? А ну, пой, пой как следует!

Впереди обозначился просвет — выход из ущелья в долину. Оттуда подул ветерок. Данияр снова запел. Начал он так же робко, неуверенно, но постепенно голос его набрал силу, заполнил собой ущелье, отозвался эхом в далеких скалах.

Больше всего меня поразило, какой страстью, каким горением была насыщена сама мелодия. Я не знал, как это назвать, да и сейчас не знаю, вернее, не могу определить: только ли это голос или еще что-то более важное, что исходит из души человека, что-то такое, что способно вызвать у другого такое же волнение, способно оживить самые сокровенные думы.

Если бы я только мог хоть в какой-то мере воспроизвести песню Данияра! В ней почти не было слов, без слов раскрывала она большую человеческую душу. Ни до этого, ни после — никогда я не слышал такой песни: она не походила ни на киргизские, ни на казахские напевы, но в ней было и то и другое. Музыка Данияра вобрала в себя все самые лучшие мелодии двух родных народов и по-своему сплела их



в единую, неповторимую песню. Это была песня гор и степей, то звонко взлетающая, как горы киргизские, то раздольно стелющаяся, как степь казахская.

Я слушал и диву давался: «Так вот он, оказывается, какой, Данияр! Кто бы мог подумать?»

Мы уже ехали степью по мягкой, наезженной дороге, и напев Данияра теперь разворачивался вширь, новые и новые мелодии с удивительной гибкостью сменяли одна другую. Неужели он так богат? Что с ним произошло? Словно он только и ждал своего дня, своего часа!

И мне вдруг стали понятны его странности, которые вызывали у людей и недоумение, и насмешки: его мечтательность, любовь к одиночеству, его молчаливость. Я понял теперь, почему он просиживал целые вечера на караульной сопке и почему оставался один на ночь у реки, почему он постоянно прислушивался к неуловимым для других звукам и почему иногда вдруг загорались у него глаза, взлетали обычно настороженные брови. Это был человек глубоко влюбленный. И влюблен он был, почувствовал я, не просто в другого человека: это была какая-то другая, огромная любовь — к жизни, к земле. Да, он хранил эту любовь в себе, в своей музыке, он жил ею. Равнодушный человек не мог бы так петь, каким был он ни обладал голосом.

Когда, казалось, угас последний отзвук песни, ее новый трепетный порыв словно пробудил дремлющую степь. И она благодарно слушала певца, обласканная родным ей напевом. Широким плесом колыхались спелые сизые хлеба, ждущие жатвы, и предутренние блики перебежали по полю. Могучая толпа старых верб на мельнице шелестела листвой, за речкой догорали костры полевых станов, и кто-то, как тень, бесшумно скакал по-над берегом, в сторону аила, то исчезая в садах, то появляясь опять. Ветер доносил оттуда запах яблок, молочно-парной медок цветущей кукурузы и теплый дух подсыхающих кизяков.

Долго, samozабвенно пел Данияр. Притихнув, слушала его зачарованная августовская ночь. И даже лошади давно уже перешли на мерный шаг, будто боялись нарушить это чудо.

И вдруг на самой высокой, звенящей ноте Данияр оборвал песню и, гикнув, погнал лошадей вскачь. Я думал, что и Джамия устремится за ним, и тоже приготовился, но она не шелохнулась. Как сидела, склонив голову на плечо, так и осталась сидеть, будто все еще прислушивалась к витающим где-то в воздухе неостывшим звукам. Данияр уехал, а мы до

самого аила не проронили ни слова. Да и надо ли было говорить? Ведь словами не всегда и не все выразишь...

С этого дня в нашей жизни, казалось, что-то изменилось. Я теперь постоянно ждал чего-то хорошего, желанного. С утра мы грузились на току, прибывали на станцию, и нам уже не терпелось побыстрее выехать, чтобы на обратном пути слушать песни Данияра. Его голос вселился в меня, он преследовал меня на каждом шагу: с ним по утрам я бежал через мокрый, росистый люцерник к стреноженным лошадям, а солнце, смеясь, выкатывалось из-за гор навстречу мне. Я слышал этот голос и в мягком шелесте золотистого дождя пшеницы, подкинутой на ветер стариками веяльщиками, и в плавном, кружащем полете одинокого коршуна в степной выси, — во всем, что видел я и слышал, мне чудилась музыка Данияра.

А вечером, когда мы ехали по ущелью, мне каждый раз казалось, что я переносусь в иной мир. Я слушал Данияра, прикрыв глаза, и передо мной вставали удивительно знакомые, родные с детства картины: то проплывало в журавлиной выси над юртами весеннее кочевье нежных, дымчато-голубых облаков; то проносились по гудящей земле с топотом и ржанием табуны на летние выпасы, и молодые жеребцы с нестриженными челками и черным диким огнем в глазах гордо и ошалело обегали на ходу своих маток; то спокойной лавой разворачивались по пригоркам отары овец; то срывался со скалы водопад, ослепляя глаза белизной вслокоченной кипени; то в степи за рекой мягко опускалось в заросли чия солнце, и одинокий далекий всадник на огнистой кайме горизонта, казалось, скакал за ним — ему рукой подать до солнца — и тоже тонул в зарослях и сумерках.

Широка за рекой казахская степь. Раздвинула она по обе стороны наши горы и лежит суровая, безлюдная...

Но в то памятное лето, когда грянула война, загорелись огни по степи, затуманили ее горячей пылью табуны строевых коней, поскакали гонцы во все стороны. И помню, как с того берега кричал скачущий казах гортанным пастушьим голосом:

— Садись, киргизы, в седла: враг пришел! — И мчался дальше в вихрях пыли и волнах знойного марева.

Всех подняла на ноги степь, и в торжественно-суровом гуле двинулись с гор и по долинам наши первые конные



*«Материнское поле».*



*«Лицом к лицу».*

полки. Звенели тысячи стремян, глядели в степь тысячи джигитов, впереди на древках колыхались красные знамена, позади, за копытной пылью бился о землю скорбно-величественный плач жен и матерей: «Да поможет вам степь, да поможет вам дух нашего богатыря Манаса!»

Там, где шел на войну народ, оставались горькие тропы...

И весь этот мир земной красоты и тревог раскрывал передо мной Данияр в своей песне. Где он этому научился, от кого он все это услышал? Я понимал, что так мог любить свою землю только тот, кто всем сердцем тосковал по ней долгие годы, кто выстрадал эту любовь. Когда он пел, я видел и его самого, маленького мальчика, скитающегося по степным дорогам. Может, тогда и родились у него в душе песни о родине? А может, тогда, когда он шагал по огненным верстам войны?

Слушая Данияра, я хотел припасть к земле и крепко, по-сыновьи обнять ее только за то, что человек может так ее любить. Я впервые почувствовал тогда, как проснулось во мне что-то новое, чего я еще не умел назвать, но это было что-то неодолимое, это была потребность выразить себя, да, выразить, не только самому видеть и ощущать мир, но и донести до других свое видение, свои думы и ощущения, рассказать людям о красоте нашей земли так же вдохновенно, как умел это делать Данияр. Я замирал от безотчетного страха и радости перед чем-то неизвестным. Но я тогда еще не понимал, что мне нужно взять в руки кисть.

Я любил рисовать с детства. Я срисовывал картинки с учебников, и ребята говорили, что у меня получается «точь-в-точь». Учителя в школе тоже хвалили меня, когда я приносил рисунки в нашу стенгазету. Но потом началась война, братья ушли в армию, а я бросил школу и пошел работать в колхоз, как и все мои сверстники. Я забыл про краски и кисти и не думал, что когда-нибудь вспомню про них. Но песни Данияра всполошили мою душу. Я ходил точно во сне и смотрел на мир изумленными глазами, будто видел все впервые.

А как изменилась вдруг Джамиля! Словно и не было той бойкой, языкастой хохотушки. Весенняя светлая грусть застилала ее притушенные глаза. В дороге она постоянно о чем-то упорно думала. Смутная, мечтательная улыбка блуждала на ее губах, она тихо радовалась чему-то хорошему, о чем знала только она одна. Бывало, взвалит мешок на плечи, да так и стоит, охваченная непонятной робостью, точно

перед ней бурный поток и она не знает, идти ей или не идти. Данияра она сторонилась, не смотрела ему в глаза.

Однажды на току Джамиля сказала ему с бессильной, вымученной досадой:

— Снял бы ты, что ли, свою гимнастерку. Давай постираю!

И потом, выстирав в реке гимнастерку, она разложила ее сушить, а сама села подле и долго, старательно разглаживала ее ладонями, рассматривала на солнце потертые плечи, покачивала головой и снова принималась разглаживать, тихо и грустно.

Только один раз за это время Джамиля громко, заразительно смеялась, и у нее, как прежде, сияли глаза. На ток шумной гурьбой завернули мимоходом со скирдовки люцерны молодые женщины, девушки и джигиты — бывшие фронтовики.

— Эй, баи, не вам одним пшеничный хлеб есть, угошайте, а не то в реку покидаем! — И джигиты шутя выставили вилы.

— Нас вилами не запугаешь! Подружек своих найду чем угостить, а вы сами промышляйте! — звонко отозвалась Джамиля.

— Раз так, всех вас в воду!

И тут схватились девушки и парни. С криком, визгом, смехом они толкали друг друга в воду.

— Хватай их, тащи! — громче всех смеялась Джамиля, быстро и ловко увертываясь от нападающих.

Но странное дело, джигиты точно и видели только одну Джамилю. Каждый старался схватить ее, прижать к себе. Вот трое парней разом обхватили ее и занесли над берегом.

— Целуй, а нет — бросим!

— Давай раскачивай!

Джамиля изворачивалась, хохотала, запрокинув голову, и сквозь смех звала на помощь подруг. Но те суматошно бежали по берегу, вылавливая свои косынки. Под дружный хохот джигитов Джамиля полетела в реку. Она вышла из воды с растрепанными мокрыми волосами, но даже еще красивее, чем была. Мокрое ситцевое платье прилипло к телу, облекая округлые сильные бедра, девичью грудь, а она, ничего не замечая, смеялась, покачиваясь, и по ее разгоряченному лицу стекали веселые ручейки.

— Целуй! — приставали джигиты.

Джамиля целовала их, но снова летела в воду и снова смеялась, откидывая кивком головы мокрые, тяжелые пряди волос.

Над затеей молодых все на току смеялись. Старики вяльщики, побросав лопаты, вытирали слезы, морщины на их бурых лицах лучились радостью и ожившей на миг молодостью. И я смеялся от души, забыв на этот раз о своем ревностном долге оберегать Джамилю от джигитов.

Не смеялся один Данияр. Я случайно заметил его и умолк. Он одиноко стоял на краю гумна, широко расставив ноги. Мне показалось, что он сорвется сейчас, побежит и выхватит Джамилю из рук джигитов. Он смотрел на нее, не отрываясь, грустным, восхищенным взглядом, в котором сквозили и радость и боль. Да, и счастье, и горе его были в красоте Джамили. Когда джигиты прижимали ее к себе, заставляя целовать каждого, он опускал голову, делал движение, чтобы уйти, но не уходил.

Между тем и Джамиля заметила его. Она сразу оборвала смех и потупилась.

— Побаловались, и хватит! — неожиданно осадил ее разошедшихся джигитов.

Кто-то еще попытался обнять ее.

— Отстань! — Джамиля отпихнула парня, вскинула голову, мельком бросила виноватый взгляд в сторону Данияра и побежала в кусты выжимать платье.

Мне не все еще было ясно в их отношениях, да я, признаться, и боялся думать об этом. Но почему-то мне было не по себе, когда я замечал, что Джамиля становится грустной оттого, что сама же сторонится Данияра. Лучше бы уж она по-прежнему смеялась и подшучивала над ним. Но в то же время меня охватывала необъяснимая радость за них, когда мы возвращались по ночам в аил и слушали пение Данияра.

По ущелью Джамиля ехала на бричке, а в степи слезала и шла пешком. Я тоже шел пешком, так лучше: идти по дороге и слушать. Сперва мы шли каждый около своей брички, но шаг за шагом, сами не замечая того, все ближе и ближе подходили к Данияру. Какая-то неведомая сила влекла нас к нему, хотелось разглядеть в темноте выражение его лица и глаз. Неужели это он поет, нелюдимый, утрюмый Данияр?!

И каждый раз я замечал, как Джамиля, потрясенная и растроганная, медленно тянула к нему руку, но он не видел этого, он смотрел куда-то вверх, далеко, подперев затылок ладонью, и покачивался из стороны в сторону, а рука Джамили безвольно опускалась на грядку брички. Тут она вздрагивала, резко отдергивала руку и останавливалась. Она сто-

яла посреди дороги, понурая, ошеломленная, долго-долго смотрела ему вслед, потом снова шла.

Порой мне казалось, что мы с Джамилей встревожены каким-то одним, одинаково непонятым чувством. Может быть, это чувство было давно запрятано в наших душах, а теперь пришел его день?

В работе Джамия еще забывалась, но в те редкие минуты нашего отдыха, когда мы задерживались на току, она не находила себе места. Она слонялась возле веяльщиков, бралась им помогать, высоко и сильно вскидывала на ветер несколько лопат пшеницы, потом вдруг бросала лопату и уходила прочь, к скирдам соломы. Здесь она садилась в холодке и, точно боясь одиночества, звала меня:

— Иди сюда, кичине бала, посидим!

‘Я всегда ждал, что она скажет мне что-то важное, объяснит, что тревожит ее. Но она ничего не говорила. Молча клала она мою голову к себе на колени, глядя куда-то вдаль, ерошила мои колючие волосы и нежно гладила меня по лицу дрожащими горячими пальцами. Я смотрел на нее снизу вверх, на это лицо, полное смутной тревоги и тоски, и, казалось, узнавал в ней себя. Ее тоже что-то томило, что-то копилось и созревало в ее душе, требуя выхода. И она страшилась этого. Она мучительно хотела и в то же время мучительно не хотела признаться себе, что влюблена, так же как и я желал и не желал, чтобы она любила Данияра. Ведь в конце-то концов она невестка моих родителей, она жена моего брата!

Но такие мысли лишь на мгновение пронизывали меня. Я гнал их прочь. Для меня тогда истинным наслаждением было видеть ее по-детски приоткрытые, чуткие губы, видеть ее глаза, затуманенные слезами. Как хороша, как красива она была, каким светлым одухотворением и страстью дышало ее лицо! Тогда я только видел все это, но не все понимал. Да и теперь я часто задаю себе вопрос: может быть, любовь — это такое же вдохновение, как вдохновение художника, поэта? Глядя на Джамию, мне хотелось убежать в степь и криком кричать, вопрошая землю и небо, что же мне делать, как мне побороть в себе эту непонятную тревогу и эту непонятную радость. И однажды я, кажется, нашел ответ.

Мы, как обычно, ехали со станции. Уже опускалась ночь, кучками роились звезды в небе, степь клонило ко сну, и только песня Данияра, нарушая тишину, звенела и угасала в мягкой темной дали. Мы с Джамилей шли за ним.



Но что случилось в этот раз с Данияром? В его напеве было столько нежной, проникновенной тоски и одиночества, что слезы к горлу подкатывались от сочувствия и сострадания к нему.

Джамиля шла, склонив голову, и крепко держалась за грядку брички. И когда голос Данияра начал снова набирать высоту, Джамиля вскинула голову, прыгнула на ходу в бричку и села рядом с ним. Она сидела окаменевшая, сложив на груди руки. Я шел рядом, забегая чуть вперед, и смотрел на них сбоку. Данияр пел, казалось, не замечая возле себя Джамилю. Я увидел, как ее руки расслабленно опустились и она, прильнув к Данияру, легонько прислонила голову к его плечу. Лишь на мгновение, как перебой подстегнутого иноходца, дрогнул его голос — и зазвучал с новой силой. Он пел о любви!

Я был потрясен. Степь будто расцвела, всколыхнулась, раздвинула тьму, и я увидел в этой широкой степи двух влюбленных. А они и не замечали меня, словно меня и не было здесь. Я шел и смотрел, как они, позабыв обо всем на свете, вместе покачивались в такт песне. И я не узнавал их. Это был все тот же Данияр, в своей расстегнутой, потрепанной солдатской гимнастерке, но глаза его, казалось, горели в темноте. Это была моя Джамиля, прильнувшая к нему, но такая тихая и робкая, с поблескивающими на ресницах слезами. Это были новые, невиданно счастливые люди. Разве это не было счастьем? Ведь всю эту вдохновенную музыку Данияр целиком отдавал ей, он пел для нее, он пел о ней.

Мной опять овладело то самое непонятное волнение, которое всегда приходило с песнями Данияра. И вдруг стало ясно, чего я хочу. Я хочу нарисовать их.

Я испугался собственных мыслей. Но желание было сильнее страха. Я нарисую их такими вот счастливыми! Да, вот такими, какие они сейчас! Но смогу ли я? Дух захватывало от страха и радости. Я шел в сладко-пьяном забытьи. Я тоже был счастлив, потому что не знал еще, сколько трудностей доставит мне в будущем это дерзкое желание. Я говорил себе, что надо видеть землю так, как видит ее Данияр, я красками расскажу песню Данияра, у меня тоже будут горы, степь, люди, травы, облака, реки. Я даже думал: «А где же я возьму краски? В школе не дадут: им самим нужны!» Будто все дело только и заключалось в этом.

Песня Данияра неожиданно оборвалась. Это Джамиля порывисто обняла его, но тут же отпрянула, замерла на

мгновение, рванулась в сторону и спрыгнула с брички. Данияр нерешительно потянул вожжи, лошади остановились. Джамия стояла на дороге, повернувшись к нему спиной, потом резко вскинула голову, глянула на него вполборота и, сдерживая слезы, проговорила:

— Ну что ты смотришь! — И, помолчав, сурово добавила: — Не смотри на меня, езжай! — И пошла к своей бричке. — А ты чего уставился? — накинулась она на меня. — Садись, бери свои вожжи! Эх, горе мне с вами!

«Что это она вдруг?» — недоумевал я, погоняя лошадей. А догадаться-то ничего не стоило: нелегко ей было, ведь у нее законный муж, живой, где-то в саратовском госпитале. Но мне решительно не хотелось ни о чем думать. Я сердился на нее и на себя и, быть может, возненавидел бы Джамилю, если бы знал, что Данияр больше не будет петь, что мне уже никогда не доведется услышать его голос.

Смертельная усталость ломила тело, хотелось быстрее добраться до места и повалиться на солому. Колыхались в темноте спины рысивших лошадей, невыносимо тряслась бричка, вожжи выскальзывали из рук.

На току я кое-как стянул хомуты, бросил их под бричку и, добравшись до соломы, упал. Данияр в этот раз сам отогнал лошадей пастишь.

Но утром я проснулся с ощущением радости в душе. Я буду рисовать Джамилю и Данияра! Я зажмурил глаза и очень точно представил себе Данияра и Джамилю такими, какими я их изображу. Казалось, бери кисть и краски и рисуй.

Я побежал к реке, умылся и бросился к стреноженным лошадям. Мокрая, холодная люцерна сочно стегала по босым ногам, щипало потрескавшиеся, в цыпках ступни, но мне было хорошо. Я бежал и отмечал на ходу, что делалось вокруг. Солнце тянулось из-за гор, а к солнцу тянулся подсолнух, что случайно вырос над арыком. Жадно обступили его белоголовые горчаки, но он не сдавался: ловил, перехватывал у них своими желтыми язычками утренние лучи, поил тугую, плотную корзинку семян. А вот развороченный колесами переезд через арык, вода сочится по колеям. А вот сиреневый островок вымахавшей по пояс пахучей мяты. Я бегу по родимой земле, над моей головой носятся наперегонки ласточки. Эх, были бы краски, чтобы нарисовать и утреннее солнце, и бело-синие горы, и росистую люцерну, и этот подсолнух-дичок, что вырос у арыка!

Когда я вернулся на ток, мое радужное настроение сразу омрачилось. Я увидел хмурую, осунувшуюся Джамилю. Она, наверно, не спала в эту ночь: темные тени залегли у нее под глазами. Мне она не улыбнулась и не заговорила со мной. Но когда появился бригадир Орозмат, Джамилия подошла к нему и, не поздоровавшись, сказала:

— Забирайте свою бричку! Посылайте куда угодно, а на станцию ездить не буду!

— Ты чего это, Джамалтай, овод тебя укусил, что ли? — добродушно удивился Орозмат.

— Овод у телят под хвостом! А меня не допытывайте! Сказала, не хочу, и все тут!

Улыбка исчезла с лица Орозмата.

— Хочешь не хочешь, а возить зерно будешь! — Он стукнул костылем о землю. — Если обидел кто, скажи — костыль на его шею обломаю! А нет — не дури: хлеб солдатский возишь, у самой муж там! — И, круто повернувшись, он запрыгал на своем костыле.

Джамилия смутилась, зарделась вся и, глянув в сторону Данияра, тихонько вздохнула. Данияр стоял чуть поодаль, спиной к ней, и рывками стягивал супонь на хомуте. Он слышал весь разговор. Джамилия постояла еще немного, тебя в руке кнут, потом отчаянно махнула рукой и пошла к своей бричке.

В этот день мы вернулись раньше обычного. Данияр всю дорогу гнал лошадей. Джамилия была мрачна и молчалива. А мне не верилось, что передо мною лежит выжженная, почерневшая степь. Ведь вчера она была совсем не такая. Будто в сказке я слышал о ней, и из головы не выходила перевернувшая мое сознание картина счастья. Казалось, я схватил какой-то самый яркий кусок жизни. Я представлял его себе во всех деталях, и только это волновало меня. И не успокоился я до тех пор, пока не выкрал у весовщицы плотный лист белой бумаги. Я забежал за скирды с колотящимся в груди сердцем и положил его на деревянную, гладко обструганную лопату, которую по пути стащил у веяльщиков.

— Благослови, Аллах! — прошептал я, как когда-то отец, впервые сажая меня на коня, и тронул карандашом бумагу. Это были первые, неумелые штрихи. Но когда на листе обозначились черты Данияра, я забыл обо всем! Мне уже казалось, что на бумагу легла та августовская ночная степь, мне казалось, что я слышу песню Данияра и вижу его самого, с запрокинутой головой и обнаженной грудью, и вижу Джа-

милю, прильнувшую к его плечу. Это был мой первый самостоятельный рисунок: вот бричка, а вот они оба, вот вожжи, брошенные на передок, спины лошадей колышутся в темноте, а дальше степь, далекие звезды.

Я рисовал с таким упоением, что не замечал ничего вокруг, и очнулся, когда надо мной раздался чей-то голос:

— Ты что, оглох, что ли?

Это была Джамиля. Я растерялся, покраснел и не успел спрятать рисунок.

— Брички давно нагружены, целый час кричим не докричимся! Ты что тут делаешь?.. А это что? — спросила она и взяла рисунок. — Гм! — Джамиля сердито вздернула плечи.

Я готов был провалиться сквозь землю. Джамиля долго рассматривала рисунок, потом подняла опечаленные, повлажневшие глаза и тихо сказала:

— Отдай мне это, кичине бала... Я спрячу на память... — И, сложив лист вдвое, она сунула его за пазуху.

Мы уже выехали на дорогу, а я никак не мог прийти в себя. Как во сне все это произошло. Не верилось, что я нарисовал нечто похожее на то, что видел. Но где-то в глубине души уже поднималось наивное ликование, даже гордость, и мечты — одна другой дерзновеннее, одна другой заманчивее — кружили мне голову. Я уже хотел написать множество разных картин, но не карандашом, а красками. И я не обращал внимания на то, что мы ехали очень быстро. Это Данияр так гнал лошадей. Джамиля не отставала. Она глядела по сторонам, порой чему-то улыбалась, трогательно и виновато. И я улыбался: значит, она уже не сердится на нас с Данияром, и если попросит, то Данияр споет сегодня.

На станцию мы приехали в этот раз намного раньше обычного, зато лошади были взмылены. Данияр с ходу начал таскать мешки. Куда он спешил и что с ним творилось, трудно было понять. Когда мимо проходили поезда, он останавливался и провожал их долгим, задумчивым взглядом. Джамиля тоже смотрела туда, куда и он, словно пыталась понять, что у него на уме.

— Подойди-ка сюда, подкова болтается, помоги оторвать, — позвала она Данияра.

Когда Данияр сорвал подкову с копыта, зажатого между колен, и распрямылся, Джамиля негромко заговорила, глядя ему в глаза:

— Ты что, или не понимаешь?.. Или на свете только я одна?..

Данияр молча отвел глаза.

— Думаешь, мне легко? — вздохнула Джамия.

Брови Данияра взлетели, он посмотрел на нее с любовью и грустью и что-то сказал, но так тихо, что я не расслышал, а потом быстро зашагал к своей бричке, даже довольный чем-то. Он шел и поглаживал подкову. Я глядел на него и недоумевал: чем могли утешить его слова Джамии? Какое уж тут утешение, если человек говорит с тяжелым вздохом: «Думаешь, мне легко?..» Мы уже кончили разгрузку и собирались уезжать, когда во двор зашел раненый солдат, худой, в помятой шинели, с вещевым мешком за плечами. За несколько минут до этого на станции остановился поезд. Солдат огляделся по сторонам и крикнул:

— Кто тут из айла Куркуреу?

— Я из Куркуреу! — ответил я, раздумывая, кто бы это мог быть.

— А ты чей будешь, браток? — Солдат направился было ко мне, но тут он увидел Джамилю и удивленно и радостно заулыбался.

— Керим, это ты? — воскликнула Джамия.

— Ой, Джамия, сестрица! — Солдат бросился к ней и сжал обеими руками ее ладонь.

Оказывается, это был земляк Джамии.

— Вот кстати-то! Как знал, завернул сюда! — возбужденно говорил он. — Ведь я только от Садыка, вместе лежали в госпитале, бог даст, и он через месяц-другой вернется. Когда прощались, сказал — напиши письмо жене, свезу... Вот оно, получай, в целости и сохранности. — И Керим протянул Джамиле треугольник.

Джамия схватила письмо, вспыхнула, потом побелела и осторожно покосилась на Данияра. Он одиноко стоял возле брички, как тогда на гумне, широко расставив ноги, и глазами, полными отчаяния, смотрел на Джамилю. Тут со всех сторон сбежались люди, сразу нашлись у солдата и знакомые и родные, посыпались расспросы. А Джамия не успела даже поблагодарить его за письмо, как мимо нее прогрохотала данияровская бричка, вырвалась со двора и, подпрыгивая на выбоинах, запылила по дороге.

— Очумел он, что ли! — закричали ему вслед.

Солдата уже куда-то увели, а мы с Джамией все еще стояли посреди двора и смотрели на удаляющиеся клубы пыли.

— Поедем, джене, — сказал я.

— Езжай, оставь меня одну! — с горечью ответила она.

Так, первый раз за все время мы ехали порознь. Горячая духота обжигала высохшие губы. Потрескавшаяся, выжженная земля, раскаленная за день добела, казалось, сейчас остывала, покрываясь соленой сединой. И в таком же соленом белесом мареве колыхалось на закате зыбкое, бесформенное солнце. Там, над смутным горизонтом, собирались оранжево-красные буревые тучки. Порывами налетал суховей, белой накипью оседая на конских мордах, и, тяжело откидывая гривы, уносился прочь, вороша по пригоркам метелки полыни.

«К дождю, что ли?» — думал я.

Каким бесприютным почувствовал я себя, какая тревога охватила меня! Я подстегивал лошадей, норовивших все время перейти на шаг. Тревожно пробежали куда-то в балку длинноногие сухопарые дрофы. На дорогу выносило пожухлые листья пустынных лопухов — таких у нас нет, их принесло откуда-то с казахской стороны. Закатилось солнце. Вокруг ни души. Только истомившаяся за день степь.

Когда я приехал на ток, было уже темно. Тишина, безветрие. Я крикнул Данияра.

— Он ушел к реке, — ответил сторож. — Духотища-то какая, все разошлись по домам. Без ветра на току и делать нечего!

Я отогнал лошадей пастись и решил завернуть к реке, — я знал излюбленное место Данияра над обрывом.

Он сидел ссутулившись, склонив голову на колени, и слушал ревушую под обрывом реку. Мне захотелось подойти, обнять его и сказать ему что-нибудь хорошее. Но что я мог ему сказать? Я постоял немного в сторонке и вернулся. А потом долго лежал на соломе, смотрел на темнеющее в тучах небо и думал: «Почему так непонятна и сложна жизнь?»

Джамиля все еще не возвращалась. Куда она запропастилась? Мне не спалось, хотя морила усталость. Далекие зарницы вспыхивали над горами, в глубине туч.

Когда пришел Данияр, я еще не спал. Он бесцельно бродил по току, то и дело поглядывая на дорогу. А потом повалился за скирдой на солому возле меня. «Уйдет он куда-нибудь, не останется теперь в аиле! А куда ему идти? Одинокый, бездомный, кому он нужен?» И уже сквозь сон я услышал медленное постукивание приближающейся брички. Кажется, приехала Джамиля...

Не помню, сколько я проспал, только вдруг у самого уха зашуршали по соломе чьи-то шаги, будто мокрое крыло лег-

ко задело меня по плечу. Я открыл глаза. Это была Джамия. Она пришла с реки в прохладном, отжатом платье. Джамия остановилась, беспокойно огляделась по сторонам и села возле Данияра.

— Данияр, я пришла, сама пришла, — тихо сказала она. Вокруг стояла тишина, бесшумно скользнула вниз молния. — Ты обиделся? Очень обиделся, а?

И опять тишина, только с мягким всплеском оборвалась в реку подмытая глыба земли.

— Разве я виновата? И ты не виноват...

Над горами вдаль прогромыхал гром. Профиль Джамии осветила молния. Она оглянулась и припала к Данияру. Плечи ее судорожно вздрагивали под руками Данияра. Вытянувшись на соломе, она легла рядом с ним.

Запаленный ветер набежал из степи, вихрем закружил солону, ударился в пошатнувшуюся юрту, что стояла на краю гумна, и кособоко заюлил волчком по дороге. И снова заветались в тучах синие всполохи, с сухим треском переломился над головой гром. Жутко и радостно стало — надвигалась гроза, последняя летняя гроза.

— Неужели ты думал, что я променяю тебя на него? — горячо шептала Джамия. — Да нет же, нет! Он никогда не любил меня. Даже поклон и то в самом конце письма приписывал. Не нужен мне он со своей запоздалой любовью, пусть говорят что угодно! Родимый мой, одинокий, не отдам тебя никому! Я давно любила тебя. И когда не знала — любила и ждала тебя, и ты пришел, будто знал, что я тебя жду!

Голубые молнии одна за другой, изламываясь, вонзались под обрыв в реку. Зашуршали по соломе косые студёные капли дождя.

— Джамиям, Джамалтай! — шептал Данияр, называя ее самыми нежными казахскими и киргизскими именами. — Повернись, дай мне поглядеть тебе в глаза!

Гроза разразилась.

Забилась, хлопая крыльями, как подбитая птица, сорванная с юрты кошма. Бурными порывами, словно целуя землю, хлынул дождь, подстегнутый понизу ветром. Наискось, через все небо раскатывался могучими обвалами гром. Весенним палом тюльпанов зажигались на горах яркие вспышки зарниц. Гудел, неистовствовал в яру ветер.

Дождь лил, а я лежал, зарывшись в солому, и чувствовал, как бьется под рукой сердце. Я был счастлив. У меня было такое ощущение, будто я вышел впервые после болезни по-

смотреть на солнце. И дождь, и свет молний доставали меня под соломой, но мне было хорошо, я засыпал, улыбаясь, и не понимал, то ли это шептались Данияр и Джамия, то ли это шелестел по соломе стихающий дождь.

Теперь пойдут дожди, скоро осень. В воздухе уже настаивался по-осеннему влажный запах полыни и намокшей соломой. А что ожидало нас осенью? Об этом я почему-то не думал.

В ту осень после двухлетнего перерыва я снова пошел в школу. После уроков я частенко ходил к реке на кручи и сидел возле прежнего гумна, теперь заглохшего и опустевшего. Здесь я писал свои первые этюды ученическими красками. Даже по тогдашним моим понятиям мне не все удавалось.

«Краски негодные! Вот были бы настоящие краски!» — говорил я себе, хотя и не представлял, какими же они должны быть.

Лишь значительно позднее мне довелось увидеть настоящие масляные краски в свинцовых тюбиках.

Краски красками, а все же учителя, кажется, были правы: этому надо учиться. Но об учебе не приходилось мечтать. Где там, когда от братьев так и не было никаких вестей, и мать ни за что не отпустила бы меня, своего единственного сына, «джигита и кормильца двух семей!». Об этом я и не смел заговорить. А осень, как назло, выдалась такая красивая, только пиши ее.

Обмелела студеная Куркуреу, обнаженные валуны на перекатах поросли темно-зеленым и оранжевым мхом. Краснел по ранним заморозкам голый нежный тальник, но топольки еще сберегли желтые плотные листья.

Прокопченные, омытые дождями юрты табунщиков чернели в поймище на порыжелой отаве, и над дымовыми отверстиями вились сизые пахучие струйки. По-осеннему голосисто ржали поджарые жеребцы — разбрелись матки, и теперь уже до самой весны нелегко их будет удержать в косяках. Скот, вернувшийся с гор, гуртами бродил по стерне. Побуревшую, сухостойную степь вдоль и поперек пересекли ископченные тропы.

Вскоре задул степняк, помутилось небо, пошли холодные дожди — предвестники снега. Как-то выдался сносный день, и я пошел к реке — уж очень приглянулся мне на отмели огненный куст горной рябины. Сел я неподалеку от брода, в тальнике. Вечерело. И вдруг я увидел двух людей, которые,



судя по всему, перешли реку вброд. Это были Данияр и Джамия. Я не мог оторвать глаз от их суровых, тревожных лиц. С вещевым мешком за плечами, Данияр шагал порывисто, полы распахнутой шинели хлестали по кирзовым голенищам его стоптанных сапог. Джамия повязалась белым платком, сбитым сейчас на затылок, на ней было ее лучшее цветастое платье, в котором она любила щеголять по базару, а поверх него — вельветовый стеганный жакет. В одной руке она несла небольшой узелок, а другой держалась за ляжку данияровского мешка. Они о чем-то переговаривались на ходу.

Вот они пошли тропой через лог по зарослям чия, а я смотрел им вслед и не знал, что делать. Может, окликнуть? Но язык точно присох к нёбу.

Последние багряные лучи скользнули по быстрой веренице пегих тучек вдоль гор, и сразу начало темнеть. А Данияр и Джамия, не оглядываясь, уходили в сторону железнодорожного разезда. Раза два еще мелькнули их головы в зарослях чия, а потом скрылись.

— Джамия-а-а! — закричал я что было силы.

«А-а-а-а!» — бесприютно откликнулось эхо.

— Джамия-а-а! — крикнул я еще раз и, не помня себя, бросился бежать за ними через реку, прямо по воде.

Тучи ледяных брызг летели мне в лицо, одежда намочилась, а я бежал дальше, не разбирая пути, и вдруг со всего размаху упал на землю, обо что-то зацепившись. Я лежал, не поднимая головы, и слезы заливали мне лицо. Тьма будто навалилась мне на плечи. Тонко, тоскливо посвистывали гибкие стебли чия.

— Джамия! Джамия! — всхлипывал я, захлебываясь слезами.

Я расставался с самыми дорогими и близкими мне людьми. И только сейчас, лежа на земле, я вдруг понял, что любил Джамию. Да, это была моя первая, еще детская любовь.

Долго лежал я, уткнувшись в мокрый локоть. Я расставался не только с Джамией и Данияром, я расставался со своим детством.

Когда я прибрел впотьмах домой, во дворе был переполох, звенели стремена, кто-то седлал лошадей, а пьяный Осмон, гарцуя на коне, орал во всю глотку:

— Давно надо было гнать из аила эту приبلудную собаку-полукровку! Срам, позор всему роду! Попадись он мне,

убью на месте, пусть судят — не позволю, чтобы каждый бродяга уводил наших баб! Айда, садись, джигиты, никуда ему не уйти, догоним на станции!

Я похолодел: куда они поскачут? Но, убедившись, что погоня пошла по большой дороге на станцию, а не на разезд, я незаметно прокрался в дом и завернулся с головой в отцовскую шубу, чтобы никто не видел моих слез.

Сколько разговор и пересудов было в аиле! Женщины наперебой осуждали Джамилю.

— Дура она! Ушла из такой семьи, растоптала счастье свое!

— На что позарилась, спрашивается? Ведь у него добра только шинелишка да дырявые сапоги!

— Уж конечно, не полон двор скота! Безродный скиталец, бродяга — что на нем, то и его. Ничего, опомнится красotka, да поздно будет.

— Вот то-то и оно! А чем Садык не муж, чем не хозяин? Первый джигит в аиле!

— А свекровь? Такую свекровь не каждому бог дает! Пойди сыщи еще такую байбиче! Погубила она себя, дура, ни за что ни про что!

Может быть, только я один не осуждал Джамилю, свою бывшую жене. Пусть на Данияре старая шинель и дырявые сапоги, но я-то ведь знал, что душой он богаче всех нас. Нет, не верилось мне, что Джамиля будет несчастна с ним. Только жалко мне было мать. Мне казалось, что вместе с Джамилей ушла ее былая сила. Она приуныла, осунулась и, как я теперь понимаю, никак не могла примириться с тем, что жизнь иной раз так круто ломает старые устои. Если могучее дерево выворотит буря, оно уже не поднимется. Раньше мать никого не просила вдеть ей нитку в иголку: гордость не позволяла. А вот вернулся я однажды из школы и вижу: дрожат руки у матери, и не видит она ушка иголки и плачет.

— На, вдень нитку! — попросила она и тяжело вздохнула. — Пропадет Джамиля. Эх, какой хозяйкой была бы она в семье! Ушла... Отреклась... А зачем ушла? Или худо ей было у нас?..

Мне захотелось обнять, успокоить мать, рассказать ей, что за человек Данияр, но я не посмел, я бы на всю жизнь оскорбил ее.

И все-таки мое невинное участие в этой истории перестало быть тайной...

Вскоре вернулся Садык. Он, конечно, горевал, хотя и говорил по пьянке Осмону:

— Ушла — туда ей и дорога. Подохнет где-нибудь. А на наш век баб хватит. Даже золотоволосая баба не стоит само-го что ни на есть никудышного парня.

— Это-то верно! — отвечал Осмон. — Только жаль, не попался он мне тогда: убил бы, и все тут! А ее за волосы да к конскому хвосту! Небось на юг подались, на хлопок, или по казахам пошли, ему-то не впервой бродяжничать! Только вот в толк не возьму, как все получилось, и знать никто не знал, да и подумать бы никто не мог. Это она все, подлая, сама устроила! Я б ее!..

Слушая такие речи, мне так и хотелось сказать Осмону: «Не можешь забыть, как она тебя отчитала на сенокосе. Подлая ты душонка!»

И вот сидел я как-то дома, рисовал что-то для школьной стенгазеты. Мать хлопотала у печи. Вдруг в комнату ворвался Садык. Бледный, со злобно прищуренными глазами, он кинулся ко мне и сунул мне под нос лист бумаги.

— Это ты рисовал?

Я оторопел. Это был мой первый рисунок. Живые Данияр и Джамиля глянули в тот миг на меня.

— Я.

— Это кто? — ткнул он пальцем в бумагу.

— Данияр.

— Изменник! — крикнул мне в лицо Садык.

Он разорвал рисунок на мелкие клочки и вышел, с треском хлопнув дверью.

После долгого гнетущего молчания мать спросила:

— Ты знал?

— Да, знал.

С каким укором и недоумением смотрела она на меня, прислонившись к печи! И когда я сказал: «Я еще раз их нарисую!» — она горестно и бессильно покачала головой.

А я смотрел на клочки бумаги, валявшиеся на полу, и нестерпимая обида душила меня. Пусть считают меня изменником. Кому я изменил? Семье? Нашему роду? Но я не изменил правде, правде жизни, правде этих двух людей! Я никому не мог рассказать об этом, даже мать не поняла бы меня. В глазах у меня все расплывалось, клочки бумаги, казалось, кружились по полу, как живые. В память так врезался тот миг, когда Данияр и Джамиля глянули на меня с рисунка, что мне вдруг почудилось, будто я слышу песню Данияра, которую пел он в ту памятную августовскую ночь. Я вспомнил, как они уходили из аила, и мне нестерпимо захо-

телось выйти на дорогу, выйти, как они, смело и решительно, в трудный путь за счастьем.

— Я поеду учиться... Скажи отцу. Я хочу быть художником! — твердо сказал я матери.

Я был уверен, что она начнет укорять меня и заплачет, вспоминая погибших на войне братьев. Но, к моему удивлению, она не заплакала. Только грустно и тихо сказала:

— Поезжай... Оперились вы и по-своему крыльями машете... Да откуда нам знать, высоко ли взлетите? Может, и ваша правда. Поезжай... А может, там одумаешься. Не ремесло это — рисовать да малевать... Поучись — узнаешь... Да не забывай дом свой.

С того дня Малый дом отделился от нас. А я вскоре уехал учиться.

Вот и вся история.

В академию, куда меня послали после художественного училища, я представил свою дипломную работу — это была картина, о которой я давно мечтал.

Нетрудно догадаться, что на этой картине изображены Данияр и Джамия. Они идут по осенней степной дороге. Перед ними широкая, светлая даль.

И пусть несовершенна моя картина — мастерство не сразу приходит, — но она мне бесконечно дорога, она мое первое, осознанное творческое беспокойство.

И сейчас бывают у меня неудачи, бывают и такие тяжелые минуты, когда я теряю веру в себя. И тогда меня тянет к этой родной мне картине, к Данияру и Джамиле. Подолгу я смотрю на них и каждый раз веду с ними разговор.

Где вы сейчас, по каким дорогам шагаете? Много у вас теперь в степи новых дорог — по всему Казахстану до Алтая и Сибири! Много смелых людей трудится там. Может, и вы подались в те края? Ты ушла, моя Джамия, по широкой степи, не оглядываясь. Может, ты устала, может, потеряла веру в себя? Прислонись к Данияру. Пусть он споет тебе свою песню о любви, о земле, о жизни! Пусть всколыхнется и заиграет всеми красками степь! Пусть вспомнится тебе та августовская ночь! Иди, Джамия, не раскаивайся, ты нашла свое трудное счастье!

Я смотрю на них и слышу голос Данияра. Он зовет и меня в путь-дорогу — значит, пора собираться. Я пойду по степи в свой аил, я найду там новые краски.

Пусть в каждом мазке моем звучит напев Данияра! Пусть в каждом мазке моем бьется сердце Джамии!

# БЕЛЫЙ ПАРОХОД

---

---

*Повесть*



У него были две сказки. Одна своя, о которой никто не знал. Другая та, которую рассказывал дед. Потом не осталось ни одной. Об этом речь.

В тот год ему исполнилось семь лет, шел восьмой. Сначала был куплен портфель. Черный дерматиновый портфель с блестящим металлическим замочком-зашелкой, проскальзывающей под скобу. С накладным кармашком для мелочей. Словом, необыкновенный самый обыкновенный школьный портфель. С этого, пожалуй, все и началось.

Дед купил его в заезжей автолавке. Автолавка, объезжая с товарами скотоводов в горах, заглядывала иной раз и к ним на лесной кордон, в Сан-Ташскую падь.

Отсюда, от кордона, по ущельям и склонам поднимался с верховья заповедный горный лес. На кордоне всего три семьи. Но все же время от времени автолавка навевывалась и к лесникам.

Единственный мальчишка на все три двора, он всегда первым замечал автолавку.

— Едет! — кричал он, подбегая к дверям и окошкам. — Машина-магазин едет!

Колесная дорога пробивалась сюда с побережья Иссык-Куля, все время ущельем, берегом реки, все время по камням и ухабам. Не очень просто было по такой дороге. Дойдя до Караульной горы, она поднималась со дна теснины на откос и оттуда долго спускалась по крутому и голому склону ко дворам лесников. Караульная гора совсем рядом — летом почти каждый день мальчик бегал туда посмотреть в бинокль на озеро. И там, на дороге, всегда все видно как на ладони — и пеший, и конный, и, конечно, машина.

В тот раз — а это случилось жарким летом — мальчик купался в своей запруде и отсюда увидел, как запыхлила по откосу машина. Запруда была на краю речной отмели, на галечнике. Ее соорудил дед из камней. Если бы не эта запру-

да, кто знает, может быть, мальчика давно уже не было бы в живых. И, как говорила бабка, река давно бы уже перемыла его кости и вынесла бы их прямо в Иссук-Куль, и разглядывали бы их там рыбы и всякая водяная тварь. И никто не стал бы его искать и по нем убиваться — потому что нечего лезть в воду и потому что не больно кому он нужен. Пока что этого не случилось. А случись, кто знает, — бабка, может, и вправду не кинулась бы спасать. Еще был бы он ей родным, а то ведь, она говорит, чужой. А чужой — всегда чужой, сколько его ни корми, сколько за ним ни ходи. Чужой... А что, если он не хочет быть чужим? И почему именно он должен считаться чужим? Может быть, не он, а сама бабка чужая?

Но об этом — потом, и о запруде дедовой тоже потом...

Так вот, завидел он тогда автолавку, она спускалась с горы, а за ней по дороге пыль клубилась следом. И так он обрадовался, точно знал, что будет ему куплен портфель. Он тотчас выскочил из воды, быстро натянул на тощие бедра штаны и, сам мокрый еще, посиневший — вода в реке холодная, — побежал по тропе ко двору, чтобы первым возвестить приезд автолавки.

Мальчик быстро бежал, перепрыгивая через кустики и обегая валуны, если не по силам было их перескочить, нигде не задержался ни на секунду — ни возле высоких трав, ни возле камней, хотя знал, что были они вовсе не простые. Они могли обидеться и даже подставить ножку. «Машина-магазин приехала. Я приду потом», — бросил он на ходу «Лежащему верблюду» — так он называл рыжий, горбатый гранит, по грудь ушедший в землю. Обычно мальчик не проходил мимо, не похлопав своего «Верблюда» по горбу. Хлопал он его по-хозяйски, как дед своего куцехвостого мерины — так небрежно, походя: ты, мол, обожди, а я отлучусь тут по делу. Был у него валун «Седло» — наполовину белый, наполовину черный, пегий камень с седловинкой, где можно было посидеть верхом, как на коне. Был еще камень «Волк», очень похожий на волка, бурый, с сединой, с мощным загривком и тяжелым надлобьем. К нему он подбирался ползком и прицеливался. Но самый любимый камень — это «Танк», несокрушимая глыба у самой реки на подмыгтом берегу. Так и жди, кинется «Танк» с берега и пойдет, и забурлит река, закипит белыми бурунами. Танки в кино ведь так и ходят: с берега в воду — и пошел... Мальчик редко видел фильмы и потому крепко запоминал виденное. Дед ино-

гда возил внука в кино на совхозную племферму в соседнее урочище за горой. Потому и появился на берегу «Танк», готовый всегда ринуться через реку. Были еще и другие — «вредные» или «добрые» камни, и даже «хитрые» и «глупые».

Среди растений тоже — «любимые», «смелые», «боязливые», «злые» и всякие другие. Колючий бодяк, например, — главный враг. Мальчик рубился с ним десятки раз на дню. Но конца этой войне не видно было — бодяк все рос и умножался. А вот полевые вьюнки, хотя они тоже сорные, — самые умные и веселые цветы. Лучше всех встречаются они утром солнцу. Другие травы ничего не понимают — что утро, что вечер, им все равно. А вьюнки, только пригреют лучи, открывают глаза, смеются. Сначала один глаз, потом второй, и потом один за другим распускаются на вьюнках все закрутки цветов. Белые, светло-голубые, сиреневые, разные... И если сидеть возле них совсем тихо, то кажется, что они, проснувшись, неслышно шепчутся о чем-то. Муравьи — и те это знают. Утром они бегают по вьюнкам, жмурятся на солнышке и слушают, о чем говорят цветы между собой. Может быть, сны рассказывают?

Днем, обычно в полдень, мальчик любил забираться в заросли стеблистых ширалджинов. Ширалджины высокие, цветов на них нет, а пахучие, растут они островками, собираются кучей, не подпуская близко другие травы. Ширалджины — верные друзья. Особенно, если обида какая-нибудь и хочется плакать, чтобы никто не видел, в ширалджинах лучше всего укрыться. Пахнут они, как сосновый лес на опушке. Горячо и тихо в ширалджинах. И главное — они не заслоняют неба. Надо лечь на спину и смотреть в небо. Сначала сквозь слезы почти ничего не различить. А потом приплывут облака и будут выделять наверху все, что ты думаешь. Облака знают, что тебе не очень хорошо, что хочется тебе уйти куда-нибудь или улететь, чтобы никто тебя не нашел и чтобы все потом вздыхали и ахали — исчез, мол, мальчишка, где мы теперь его найдем?.. И чтобы этого не случилось, чтобы ты никуда не исчезал, чтобы ты тихо лежал и любовался облаками, облака будут превращаться во все, чего ты ни захочешь. Из одних и тех же облаков получаются самые различные шутки. Надо только уметь узнавать, что изображают облака.

А в ширалджинах тихо, и они не заслоняют небо. Вот такие они, ширалджины, пахнувшие горячими соснами...

И еще разные разности знал он о травах. К серебристым



ковылям, что росли на пойменном лугу, он относился снисходительно. Они чудачки — ковыли! Ветреные головы. Их мягкие, шелковистые метелки без ветра жить не могут. Только и ждут — куда дунет, туда они и клонятся. И кланяются все, как один, весь луг, как по команде. А если дождь пойдет или гроза начнется, не знают ковыли, куда им приткнуться. Мечутся, падают, прижимаются к земле. Были бы ноги, убежали бы, наверное, куда глаза глядят... Но это они притворяются. Утихнет гроза, и снова легкомысленные ковыли на ветру — куда ветер, туда и они...

Один, без друзей, мальчишка жил в кругу тех нехитрых вещей, которые его обступали, и разве лишь автолавка могла заставить его позабыть обо всем и стремглав бежать к ней. Что уж там говорить, автолавка — это тебе не камни и не травы какие-то. Чего там только нет, в автолавке!

Когда мальчик добежал до дому, автолавка уже подъезжала ко двору, сзади домов. Дома на кордоне стояли лицом к реке, надворье переходило в пологий спуск прямо к берегу, а на той стороне реки, сразу от размытого яра, круто восходил лес по горам, так что подъезд к кордону был один — сзади домов. Не добеги мальчик вовремя, никто и не знал бы, что автолавка уже здесь.

Мужчин в тот час никого не было, все разошлись еще с утра. Женщины занимались домашними делами. Но тут он пронзительно закричал, подбегая к раскрытым дверям:

— Приехала! Машина-магазин приехала!

Женщины всполошились. Кинулись искать припрятанные деньги. И выскочили, обгоняя одна другую. Бабка и та его похвалила:

— Вот он у нас какой глазастый!

Мальчик почувствовал себя польщенным, точно сам привел автолавку. Он был счастлив оттого, что принес им эту новость, оттого, что вместе с ними ринулся на задворье, оттого, что вместе с ними толкался у открытой дверцы автофургона. Но здесь женщины сразу забыли о нем. Им было не до него. Товары разные — глаза разбежались. Женщин было всего три: бабка, тетка Бекей — сестра его матери, жена самого главного человека на кордоне, объездчика Орозкула, — и жена подсобного рабочего Сейдахмата — молодая Гульджамал со своей девочкой на руках. Всего три женщины. Но так суетились они, так перебирали и ворошили товары, что продавцу автолавки пришлось потребовать, чтобы они соблюдали очередь и не тараторили все разом.

Однако его слова не очень-то подействовали на женщин. Сначала они хватали все подряд, потом стали выбирать, потом возвращать отобранное. Откладывали, примеряли, спорили, сомневались, десятки раз расспрашивали об одном и том же. Одно им не нравилось, другое было дорого, у третьего цвет не тот... Мальчик стоял в стороне. Ему стало скучно. Исчезло ожидание чего-то необыкновенного, исчезла та радость, которую он испытал, когда увидел на горе автолавку. Автолавка вдруг превратилась в обычную машину, набитую кучей разного хлама.

Продавец нахмурился: не видно было, чтобы эти бабы собирались хоть что-нибудь купить. Зачем он ехал сюда, в такую даль, по горам?

Так оно и получилось. Женщины стали отступать, пыл их умерился, они как бы даже устали. Начали почему-то оправдываться — то ли друг перед другом, то ли перед продавцом. Бабка первая пожаловалась, что денег нет. А денег нет в руках — товар не возьмешь. Тетка Бекей не решалась на крупную покупку без мужа. Тетка Бекей — самая несчастная среди всех женщин на свете, потому что у нее нет детей, за это и бьет ее спьяну Орозкул, потому и дед страдает, ведь тетка Бекей его, дедова, дочь. Тетка Бекей взяла кое-что по мелочи и две бутылки водки. И зря, и напрасно — самой же хуже будет. Бабка не удержалась.

— Что ж ты беду на свою голову сама кличешь? — зашипела она, чтобы продавец ее не услышал.

— Сама знаю, — коротко отрезала тетка Бекей.

— Ну и дура, — еще тише, но со злорадством прошептала бабка. Не будь продавца, как бы она сейчас отчитала тетку Бекей. Ух, они и ругаются же!..

Выручила молодая Гульджамал. Она принялась объяснять продавцу, что ее Сейдахмат собирается скоро в город, в городе деньги нужны будут, потому не может она раскошелиться.

Вот так они потолкались возле автолавки, купили товара «на грош», так сказал продавец, и разошлись по домам. Ну разве это торговля? Плюнув вслед ушедшим бабам, продавец принялся собирать разворошенные товары, чтобы сесть за руль и уехать. Тут он заметил мальчишку.

— Ты чего, ушастый? — спросил он. У мальчишки были оттопыренные уши, тонкая шея и большая, круглая голова. — Купить хочешь? Так побыстрей, а то закрою. Деньги есть?

Продавец спрашивал так, просто от нечего делать, но мальчишка ответил уважительно:

— Нет, дядя, денег нет, — и помотал головой.

— А я думаю, есть, — с притворным недоверием протянул продавец. — Вы ведь здесь все богачи, только прикидываетесь бедняками. А в кармане у тебя что, разве не деньги?

— Нет, дядя, — по-прежнему искренне и серьезно ответил мальчик и вывернул драный карман. (Второй карман был наглухо зашит.)

— Значит, просыпались твои деньги. Поищи там, где бегал. Найдешь.

Они помолчали.

— Ты чей будешь? — снова стал расспрашивать продавец. — Старика Момуна, что ли?

Мальчик кивнул в ответ.

— Внуком ему доводишься?

— Да. — Мальчик опять кивнул.

— А мать где?

Мальчик ничего не сказал. Ему не хотелось об этом говорить.

— Совсем она не подает о себе вестей, твоя мать. Не знаешь сам, что ли?

— Не знаю.

— А отец? Тоже не знаешь?

Мальчик молчал.

— Что ж это ты, друг, ничего не знаешь? — шутливо прекнул его продавец. — Ну, ладно, коли так. Держи, — он достал горсть конфет. — И будь здоров.

Мальчик застеснялся.

— Бери, бери. Не задерживай. Мне ехать пора.

Мальчик положил конфеты в карман и собрался было бежать за машиной, чтобы проводить автолавку на дорогу. Он кликнул Балтека, страшно ленивого, лохматого пса. Орозкул все грозился пристрелить его — зачем, мол, держать такую собаку. Да дед все упрашивал повременить: надо, мол, завести овчарку, а Балтека увезти куда-нибудь и оставить. Балтеку дела не было ни до чего, — сытый спал, голодный вечно подлизывался к кому-нибудь, к своим и чужим без разбора, лишь бы кинули чего-нибудь. Вот такой он был, пес Балтек. Но иной раз от скуки бегал за машинами. Правда, недалеко. Только разгонится, потом вдруг повернется и потрусит домой. Ненадежная собака. Но все же бежать с соба-

кой в сто раз лучше, чем без собаки. Какая ни есть — все-таки собака...

Потихоньку, чтобы не увидел продавец, мальчик подбросил Балтеку одну конфетку. «Смотри, — предупредил он пса. — Долго будем бежать». Балтек повизгивал, хвостом повиливал — ждал еще. Но мальчик не решился кинуть еще конфету. Можно ведь обидеть человека, не для собаки же дал он целую пригоршню.

И тут как раз дед появился. Старик ездил на пасеку, а с пасеки не видно, что делается за домами. И вот получилось, что подоспел дед вовремя, еще не уехала автолавка. Случай. Иначе не было бы у внука портфеля. Повезло в тот день мальчишке.

Старика Момуна, которого многомудрые люди прозвали Расторопным Момун, знали все в округе, и он знал всех. Прозвище такое Момун заслужил неизменной приветливостью ко всем, кого он хоть мало-мальски знал, своей готовностью всегда что-то сделать для любого, любому услужить. И однако усердие его никем не ценилось, как не ценилось бы золото, если бы вдруг его стали раздавать бесплатно. Никто не относился к Момуну с тем уважением, каким пользуются люди его возраста. С ним обходились запросто. Случалось, на великих поминках какого-нибудь знатного старца из племени Бугу — а Момун был родом бугинец, очень гордился этим и не пропускал никогда поминок своих соплеменников — ему поручали резать скот, встречать почетных гостей и помогать им сходить с седла, подавать чай, а то и дрова колоть, воду носить. Разве мало хлопот на больших поминках, где столько гостей с разных сторон? Все, что ни поручали Момуну, делал он быстро и легко и главное — не отлынивал, как другие. Айльные молодайки, которым надо было принять и накормить эту огромную орду гостей, глядя, как управлялся Момун с работой, говорили:

— Что бы мы делали, если бы не Расторопный Момун!

И получалось, что старик, приехавший со своим внуком издалека, оказывался в роли подручного джигита-самоварщика. Кто другой на месте Момуна лопнул бы от оскорбления. А Момуну хоть бы что!

И никто не удивлялся, что старый Расторопный Момун прислуживает гостям — на то он и есть всю жизнь Расторопный Момун. Сам виноват, что он Расторопный Момун. И если кто-нибудь из посторонних высказывал удивление, почему, мол, ты, старый человек, на побегушках у женщин,

разве перевелись в этом аиле молодые парни, — Момун отвечал: «Покойный был моим братом. (Всех бугинцев он считал братьями. Но не в меньшей мере они приходились «братьями» и другим гостям.) Кто же должен работать на его поминках, если не я? На то мы, бугинцы, и в родстве от самой прародительницы нашей — Рогатой матери-оленихи. А она, пречудная мать-олениха, завещала нам дружбу и в жизни, и в памяти...»

Вот такой он был, Расторопный Момун!

И старый, и малый были с ним на «ты», над ним можно было подшутить — старик безобидный; с ним можно было и не считаться — старик безответный. Не зря говорят, люди не прощают тому, кто не умеет заставить уважать себя. А он не умел.

Он многое умел в жизни. Плотничал, шорничал, скирдо-правом был: когда был еще помоложе, такие в колхозе скирды ставил, что жалко было их разбирать зимой: дождь стекал со скирды, как с гуся, а снег крышей двускатной ложился. В войну трудармейцем в Магнитогорске заводские стены клал, стахановцем величали. Вернулся, дома срубил на кордоне, лесом занимался. Хотя и числился подсобным рабочим, за лесом-то следил он, а Орозкул, зять его, большей частью по гостям развезжал. Разве когда начальство нагрянет — тут уж Орозкул сам и лес покажет, и охоту устроит, тут уж он был хозяином. За скотом Момун ходил, и пасеку он держал. Всю жизнь с утра до вечера в работе, в хлопотах прожил Момун, а заставить уважать себя не научился.

Да и наружность Момуна была вовсе не аксакальская. Ни степенности, ни важности, ни суровости. Добряк он был, и с первого взгляда разгадывалось в нем это неблагоприятное свойство человеческое. Во все времена учат таких: «Не будь добрым, будь злым! Вот тебе, вот тебе! Будь злым», — а он, на беду свою, остается неисправимо добрым. Лицо его было улыбочивое и морщинистое-морщинистое, а глаза вечно вопрошали: «Что тебе? Ты хочешь, чтобы я сделал для тебя что-то? Так я сейчас, ты только скажи, в чем твоя нужда».

Нос мягкий, утиный, будто совсем без хряща. Да и ростом небольшой, шустренький старичок, как подросток.

На что борода — и та не удалась. Посмешище одно. На голом подбородке две-три волосинки рыжеватые — вот и вся борода.

То ли дело — видишь вдруг, едет по дороге осанистый старик, а борода, как сноп, в просторной шубе с широким

мерлушковым отворотом, в дорогой шапке, да еще при добром коне, и седло посеребренное — чем не мудрец, чем не пророк, такому и поклониться не зазорно, такому почет везде! А Момун уродился всего лишь Расторопным Момуном. Пожалуй, единственное преимущество его состояло в том, что он не боялся уронить себя в чьих-то глазах. (Не так сел, не то сказал, не так ответил, не так улыбнулся, не так, не так, не то...) В этом смысле Момун, сам того не подозревая, был на редкость счастливым человеком. Многие люди умирают не столько от болезни, сколько от неуемной, снедающей их вечной страсти — выдать себя за большее, чем они есть. (Кому не хочется слыть умным, достойным, красивым и к тому же грозным, справедливым, решительным?..)

А Момун был не таким. Он был чудачком, и относились к нему как к чудаку.

Одним можно было сильно обидеть Момуна: позабыть пригласить его на совет родственников по устройству чьих-либо поминок... Тут уж он крепко обижался и серьезно переживал обиду, но не оттого, что обошли его, — на советах он все равно ничего не решал, только присутствовал, — а оттого, что нарушалось исполнение древнего долга.

Были у Момуна свои беды и горести, от которых он страдал, от которых он плакал по ночам. Посторонние об этом почти ничего не знали. А свои люди знали.

Когда увидел Момун внука возле автолавки, сразу понял, что мальчик чем-то огорчен. Но поскольку продавец приезжий человек, то вначале старик обратился к нему. Быстро соскочил с седла, протянул сразу обе руки продавцу.

— Ассалам-алейкум, большой купец! — сказал он полусерьезно. — В благополучии ли прибыл твой караван, удачно ли идет твоя торговля? — Весь сияя, Момун тряс руку продавца. — Сколько воды утекло, как не виделись! Добро пожаловать!

Продавец, снисходительно посмеиваясь над его речью и неказистым видом — все те же расхоженные кирзовые сапоги, холщовые штаны, сшитые старухой, потрепанный пиджачок, побуревшая от дождей и солнца войлочная шляпа, — отвечал Момуно:

— Караван в целости. Только вот получается — купец к вам, а вы от купца по лесам да по долам. И женам наказываете держать копейку, как душу перед смертью. Тут хоть завали товарами, не раскошелится никто.

— Не взыщи, дорогой, — смущенно извинялся Момун. —

Знали бы, что приедешь, не разъезжались бы. А что денег нет, так ведь на нет и суда нет. Вот продадим осенью картошку...

— Сказывай! — перебил его продавец. — Знаю я вас, баев вонючих. Сидите в горах, земли, сена сколько хочешь. Леса кругом — за три дня не объедешь. Скот держишь? Пасеку держишь? А копейку отдать — жметесь. Купи вот шелковое одеяло, швейная машинка осталась одна...

— Ей-богу, нет таких денег, — оправдывался Момун.

— Так уж я и поверю. Скаредничаешь, старик, деньгу копишь. А куда?

— Ей-богу, нет, клянусь Рогатой матерью-оленихой!

— Ну, возьми вельвета, штаны новые сошьешь.

— Взял бы, клянусь Рогатой матерью-оленихой...

— Э-э, да что с тобой толковать! — махнул рукой продавец. — Зря приехал. А Орозкул где?

— С утра еще подался, кажется, в Аксай. Дела у чабанов.

— Гостит, стало быть, — понимающе уточнил продавец.

Наступила неловкая пауза.

— Да ты не обижайся, милый, — снова заговорил Момун. — Осенью, бог даст, продадим картошку...

— До осени далеко.

— Ну, коли так, не обессудь. Ради бога, зайди, чаю попьешь.

— Не за тем я приехал, — отказался продавец.

Он стал закрывать дверцу фургона и тут-то и сказал, глянув на внука, который стоял подле старика уже наготове, держа за ухо собаку, чтобы бежать с ней за машиной:

— Ну, купи хотя бы портфель. Мальчишке-то в школу пора, должно быть? Сколько ему?

Момун сразу ухватился за эту идею: хоть что-то он да купит у настырного автолавочника, внуку действительно нужен портфель, нынешней осенью ему в школу.

— А верно ведь, — засуетился Момун, — я и не подумал. Как же, семь, восьмой уже. Иди-ка сюда, — позвал он внука.

Дед порылся в карманах, достал припрятанную пятерку.

Давно она, наверно, была у него, слезалась уже.

— Держи, ушастый. — Продавец лукаво подмигнул мальчику и вручил ему портфель. — Теперь учишься. А не осилишь грамоту, останешься с дедом навек в горах.

— Осилит! Он у меня смышленный, — отозвался Момун, пересчитывая сдачу.

Потом глянул на внука, неловко державшего новенький портфель, прижал его к себе.

— Вот и добро. Пойдешь осенью в школу, — негромко сказал он. Твердая, увесистая ладонь деда мягко прикрыла голову мальчика.

И тот почувствовал, как вдруг сильно сдавило горло, и остро ощутил худобу деда, привычный запах его одежды. Сухим сеном и потом работающего человека пахло от него. Верный, надежный, родной, быть может, единственный на свете человек, который души в мальчике не чаял, был таким вот простецким, чудаковатым стариком, которого умники прозвали Расторопным Момуном... Ну и что ж? Какой ни есть, а хорошо, что все-таки есть свой дед.

Мальчик сам не подозревал, что радость его будет такой большой. До сих пор он не думал о школе. До сих пор он тодько видел детей, идущих в школу, — там, за горами, в иссык-кульских селах, куда они с дедом ездили на поминки знатных бугинских стариков. А с этой минуты мальчик не расставался с портфелем. Ликуя и хвалясь, он обежал тотчас всех жителей кордона. Сначала показал бабке — вот, мол, дед купил! — потом тетке Бекей — она тоже порадовалась портфелю и похвалила самого мальчика.

Редко когда тетка Бекей бывает в добром настроении. Чаше — мрачная и раздраженная — она не замечает своего племянника. Ей не до него. У нее свои беды. Бабка говорит: были бы у нее дети, совсем другой женщиной была бы она. И Орозкул, муж ее, тоже был бы другим человеком. Тогда и дед Момун был бы другим человеком, а не таким, какой он есть. Хотя у него были две дочери — тетка Бекей да еще мать мальчика, младшая дочь, — а все равно плохо, плохо, когда нет своих детей; еще хуже, когда у детей нет детей. Так говорит бабка. Пойми ее...

После тетки Бекей мальчик забежал показать покупку молодой Гульджамал и ее дочке. А отсюда пустился на сенокос к Сейдахмату. Опять бежал мимо рыжего камня «Верблюда» и опять не было времени похлопать его по горбу, мимо «Седла», мимо «Волка» и «Танка», а дальше все по берегу, по тропе, через облепиховый кустарник, потом по длинному прокоосу на лугу он добежал до Сейдахмата.

Сейдахмат сегодня здесь был один. Дед давно уже выкосил свою делянку, заодно и делянку Орозкула. И сено уже свезли они — бабка с теткой Бекей сгребали, Момун накладывал, а он помогал деду, подтаскивал сено к телеге. Сложили возле коровника две скирды. Дед их так аккуратно свершил, что никакие дожди не затекут. Гладкие, как греб-



нем очесанные скирды. Каждый год так. Орозкул сено не косит, все на тестя валит — начальник как-никак. «Захо-чу, — говорит, — в два счета повыгоняю вас с работы». Это он на деда и Сейдахмата. И то по пьяному делу. Деда ему не прогнать. Кто будет тогда работать? Попробуй без деда! В лесу работы много, особенно осенью. Дед говорит: «Лес не отара овец, не разбредется. Но присмотру за ним не меньше. Потому как пожар случится или с гор паводок ударит — дерево не отскочит, не сойдет с места, погибнет, где стоит. Но на то лесник, чтобы дерево не пропало». А Сейдахмата Орозкул не прогонит, потому что Сейдахмат смиренный. Ни во что не вмешивается, не спорит. Но хотя он парень смиренный и здоровый, а ленивый, поспать любит. Потому и прибился в лесничестве. Дед говорит: «Такие парни в совхозе машины гоняют, на тракторах пашут». А Сейдахмат на огороде своем картошку зарастил лебедой. Пришлось Гульджамал с ребенком на руках самой управляться с огородом.

И с началом покоса Сейдахмат затянул. Позавчера дед заругался на него. «Зимой прошлой, — говорит, — не тебя мне жалко стало, а скотину. Оттого поделился сеном. Если опять рассчитываешь на мое стариковское сено, то сразу скажи, я за тебя накошу». Проняло, с утра сегодня махал Сейдахмат косяй.

Заслышав за спиной быстрые шаги, Сейдахмат обернулся, утерся рукавом рубашки.

— Ты чего? Зовут меня, что ли?

— Нет. У меня портфель. Вот. Дед купил. Я в школу пойду.

— Из-за этого и прибежал? — Сейдахмат хохотнул. — Дед Момун такой, — повертел он пальцем возле виска, — и ты туда же! А ну, что за портфель? — Он пощелкал замочком, покрутил портфель в руках и вернул, насмешливо покачивая головой. — Постой, — воскликнул он, — в какую же школу ты пойдешь? Где она, твоя школа-то?

— Как в какую? В ферменскую.

— Это в Желесай ходить? — подивился Сейдахмат. — Так туда через гору километров пять, не меньше.

— Дед сказал, будет на лошади меня возить.

— Каждый день туда-сюда? Чудит старик... Впору ему самому в школу поступать. Посидит с тобой на парте, кончатся уроки — и назад! — Сейдахмат покатывался со смеху. Очень ему смешно стало, когда представил себе, как дед Момун сидит с внуком за школьной партой.

Мальчик озадаченно молчал.

— Да я это так, для смеха! — объяснил Сейдахмат.

Он небожно шелкнул мальчика по носу, надвинул ему на глаза козырек дедовской фуражки. Момун не носил форменную фуражку лесного ведомства, стыдился ее («Что, я начальник какой-нибудь? Я свою киргизскую шапку ни на какую другую не променяю»). И летом на Момуне была допотопная войлочная шляпа, «бывший» ак-колпак — белый колпак, отороченный черным облезлым сатином по полям, а зимой — тоже допотопный — овчинный тебетей. Зеленую форменную фуражку лесного рабочего он давал носить внуку.

Мальчику не понравилось, что Сейдахмат так насмешливо принял новость. Он хмуро поднял козырек на лоб и, когда Сейдахмат еще раз хотел шелкнуть его по носу, отдернул голову и огрызнулся:

— Не приставай!

— Ох ты, сердитый какой! — усмехнулся Сейдахмат. — Да ты не обижайся. Портфель у тебя что надо! — И потрепал его по плечу. — А теперь валяй. Мне еще косить и косить...

Поплевав на ладони, Сейдахмат снова взялся за косу.

А мальчик бежал домой опять по той же тропе и опять бегом мимо тех же камней. Некогда пока было забавляться с камнями. Портфель вещь серьезная.

Мальчик любил разговаривать сам с собою. Но в этот раз он сказал не себе — портфелю: «Ты не верь ему, дед у меня вовсе не такой. Он совсем не хитрый и потому над ним смеются. Потому что он совсем не хитрый. Он нас с тобой будет возить в школу. Ты еще не знаешь, где школа? Не так уж далеко. Я тебе покажу. Мы посмотрим на нее в бинокль с Караульной горы. И еще я тебе покажу мой белый пароход. Только сперва мы забежим в сарай. Там у меня спрятан бинокль. Мне бы надо смотреть за теленком, а я каждый раз убегаю смотреть на белый пароход. Теленок у нас уже большой — как потащит, не удержишь его, — а вот взял себе привычку высасывать молоко у коровы. А корова — его мать, и ей не жалко молока. Понимаешь? Матери никогда ничего не жалеют. Это Гульджамал так говорит, у ней своя девочка... Скоро корову будут доить, а потом мы погоним теленка пастись. И тогда мы полезем на Караульную гору и увидим с горы белый пароход. Я ведь с биноклем тоже так разговариваю. Теперь нас будет трое — я, ты и бинокль...»

Так он возвращался домой. Ему очень понравилось разговаривать с портфелем. Он собирался продолжить этот раз-

говор, хотел рассказать о себе, чего еще не знал портфель. Но ему помешали. Сбоку послышался конский топот. Из-за деревьев выехал всадник на сером коне. Это был Орозкул. Он тоже возвращался домой. Серый конь Алабаш, на котором он никому, кроме себя, не разрешал ездить, был под выездным седлом с медными стременами, с нагрудным ремнем со звякающими серебряными подвесками.

Шляпа Орозкула сбилась на затылок, обнажив красный, низко заросший лоб. Его разбирала дрема на жаре. Он спал на ходу. Вельветовый китель, не очень умело сшитый по образцу тех, что носило районное начальство, был расстегнут сверху донизу. Белая рубашка на животе выбилась из-под пояса. Он был сыт и пьян. Совсем еще недавно сидел в гостях,пил кумыс, ел мясо до отвала.

С приходом в горы на летние выпасы окрестные чабаны и табунщики частенько зазывали Орозкула к себе. Были у него старые друзья-приятели. Но зазывали и с расчетом. Орозкул — нужный человек. Особенно для тех, кто строит дом, а сам сидит в горах; стадо не бросишь, не уйдешь, а стройматериалы где сыщешь? И в первую очередь лес? А угодишь Орозкулу — смотришь, из заповедного леса два-три бревна на выбор и увезешь. А нет, так будешь скитаться со стадом в горах, и дом твой век будет строиться...

Подремывая в седле, отяжелевший и важный Орозкул ехал, небрежно упираясь носками хромовых сапог в стремяна.

Он чуть было не слетел с лошади от неожиданности, когда мальчик побежал ему навстречу, размахивая портфелем:

— Дядя Орозкул, у меня портфель! Я пойду в школу. Вот у меня портфель.

— О, чтоб тебя! — испуганно натягивая поводья, выругался Орозкул.

Он глянул на мальчика красными спросонья, набухшими, пьяными глазами:

— Ты чего, откуда?

— Я домой. У меня портфель, я показывал его Сейдахмату, — упавшим голосом сказал мальчик.

— Ладно, играй, — буркнул Орозкул и, неуверенно покачиваясь в седле, поехал дальше.

Какое ему было дело до этого дурацкого портфеля, до этого брошенного родителями мальчишки, племянника жены, если сам он был так обижен судьбой, если бог не дал ему сына собственного, своей крови, в то время как другим дарит детей щедро, без счета?..

Орозкул засопел и всхлипнул. Жалость и злоба душили его. Жалко ему было, что жизнь пройдет без следа, и разгоралась в нем злоба к бесплодной жене. Это она, проклятая, вот уже сколько лет ходит порожняя...

«Уж я тебе!» — мысленно пригрозил Орозкул, сжимая мясистые кулаки, и сдавленно застонал, чтобы не заплакать в голос. Он знал уже, что придет и будет бить ее. Так случилось всякий раз, когда Орозкул напивался; этот быкоподобный мужик одуревал от горя и злобы.

Мальчик шел по тропинке следом. Он удивился, когда вдруг впереди Орозкул исчез. А тот, свернув к реке, слез с лошади, бросил поводья и пошел сквозь мокрую траву напролом. Он шел, качаясь и сгибаясь. Он шел, сжимая руками лицо, вобрав голову в плечи. У берега Орозкул опустил ся на корточки. Пригоршнями хватал воду из реки, плескал себе в лицо.

«Наверно, у него голова разболелась от жары», — решил мальчик, увидев, что делает Орозкул. Он не знал, что Орозкул плакал и никак не мог остановить рыданий. Плакал оттого, что не его сын выбежал ему навстречу, и оттого, что не нашел в себе чего-то нужного, чтобы сказать хоть несколько человеческих слов этому мальчику с портфелем.

## 2

С макушки Караульной горы открывался вид во все стороны. Лежа на животе, мальчик примерял бинокль к глазам. Это был сильный полевой бинокль. Когда-то премировали деда за долгую службу на кордоне. Старик не любил возиться с биноклем: «У меня свои глаза не хуже». Зато внук его любил.

В этот раз он пришел на гору с биноклем и с портфелем. Вначале предметы прыгали, смещались в круглом окне, затем вдруг обретали четкость и неподвижность. Это было интересней всего. Мальчик затаивал дыхание, чтобы не нарушать найденный фокус. Потом он переводил взгляд на другую точку — и снова все смещалось. Мальчик снова принимался крутить окуляры.

Отсюда все было видно. И самые высокие снежные вершины, выше которых только небо. Они стояли позади всех гор, над всеми горами и над всей землей. И те горы, что пониже снежных, — лесистые горы, поросшие понизу лиственными чащами, а поверху темным сосновым бором. И го-

ры Кунгеи, обращенные к солнцу; на склонах Кунгеев ничего не росло, кроме травы. И горы еще поменьше, в той стороне, где озеро, — просто голые каменистые увалы. Увалы спускались в долину, а долина смыкалась с озером. В этой же стороне лежали поля, сады, селения... Сквозь зелень посевов уже проступала развodyями желтизна — близилась жатва. Как мыши, бегали по дорогам крошечные автомашины, а за ними вились длинные пыльные хвосты. И на самом дальнем краю земли, куда только достигал взор, за песчаной прибрежной полосой густо синела выпуклая кривизна озера. То был Иссык-Куль. Там вода и небо соприкасались. И дальше ничего не было. Озеро лежало неподвижно, сияющее и пустынное. Лишь чуть заметно шевелилась у берега белая пена прибоя.

Мальчик долго смотрел в эту сторону. «Белый пароход не появился, — сказал он портфелю. — Давай еще раз посмотрим на нашу школу».

Отсюда хорошо видна была вся соседняя лощина за горой. В бинокль можно было разглядеть даже пряжу в руках старушки, сидевшей подле дома, под окном.

Лощина Джелесай была безлесной, лишь кое-где остались после порубок старые одинокие сосны. Когда-то был здесь лес. Теперь стояли рядами скотные дворы под шиферными крышами, виднелись большие черные кучи навоза и соломы. Здесь выращивали племенной молодняк молочной фермы. Тут же, неподалеку от скотных дворов, примостилась куца улочка — поселок животноводов. Улочка спускалась с пологого пригорка. На самом краю ее стоял маленький дом, нежилой на вид. Это и была школа-четырёхлетка. Ребята старших классов уезжали учиться в совхоз, в школу-интернат. А в этой учились малыши.

Мальчик бывал в поселке с дедом у фельдшера, когда болело горло. Теперь он пристально рассматривал в бинокль маленькую школу под бурой черепицей, с одинокой покосившейся трубой, с самодельной надписью на фанерной вывеске: «Мектеп». Он не умел читать, но догадался, что написано именно это слово. В бинокль все было видно до мельчайших, неправдоподобно мелких подробностей. Какие-то слова, нацарапанные по штукатурке стены, подклеенное стекло в оконной шибке, погорбившиеся шербатые доски веранды. Он представил себе, как придет сюда со своим портфелем и шагнет в ту дверь, на которой сейчас висел большой замок. А что там, что будет там, за этой дверью?

Кончив рассматривать школу, мальчик снова направил бинокль на озеро. Но там все было по-прежнему. Белый пароход еще не показывался. Мальчик отвернулся, сел спиной к озеру и стал смотреть вниз, под гору, отложив бинокль в сторону. Внизу, прямо под горой, по дну продолговатой лощины серебрилась бурная, порожистая река. Вместе с рекой вилась берегом дорога, и вместе с рекой дорога скрывалась за поворотом ущелья. Противоположный берег был обрывистый и лесистый. Отсюда и начинался Сан-Ташский заповетный лес, уходящий высоко в горы, под самые снега. Выше всех взбирались сосны. Среди камней и снега топорщились они темными щеточками на гребнях горных цепей.

Мальчик насмешливо рассматривал дома, сараи и пристройки во дворе кордона. Маленькими, утлыми казались они сверху. За кордоном дальше по берегу он различил свои знакомые камни. Всех их — «Верблюд», «Волк», «Седло», «Танк» — он впервые разглядел отсюда, с Караульной горы, в бинокль, тогда же дал им названия.

Мальчик озорно улыбнулся, встал и запустил в сторону двора камень. Камень упал тут же, на горе. Мальчик снова сел на место и принялся разглядывать кордон в бинокль. Сначала через большие линзы в меньшие — дома убежали далеко-далеко, превратились в игрушечные коробочки. Валуну стали камешками. А запруда дедовская на речной отмели и вовсе показалась смешной — воробью по колено. Мальчик усмехнулся, покрутил головой и, быстро перевернув бинокль, подвел окуляры. Его любимые валуны, увеличенные до громадных размеров, казалось, уперлись лбами в стекла бинокля. «Верблюд», «Волк», «Седло», «Танк» были такие внушительные: в зазубринах, в трещинах, с пятнами ржавых лишай по бокам; и главное — действительно очень были похожи на то, что увидел в них мальчик. «Ух ты, «Волк» какой! А «Танк», вот это да!..»

За валунами на отмели была дедова запруда. В бинокль хорошо видно это место у берега. Сюда, на широкую галечную отмель, вода забегала мимоходом с быстрины и, вскипая на перекатах, убегала снова в стремнину. Вода на отмели доходила до колен. Но течение было такое, что поток мог запросто унести в реку такого мальчика, как он. Чтобы не снесло течением, мальчик хватывался за прибрежный тальник — куст рос на самом краю, одни ветки на суше, другие полоскались в реке — и окунался в воду. Ну что это за купание? Как конь на привязи. Да еще неприятностей сколько,

ругани! Бабка выговаривала деду: «Унесет в реку, пусть пьнет на себя — пальцем не шевельну. Больно нужен! Отец, мать бросили. А с меня других забот хватит, сил моих нет».

Что ей скажешь? Старая вроде и верно говорит. Но и парнишку жалко: река ведь рядом, почти у дверей. Как ни страшала старуха, а все равно мальчик лез в воду. Вот тогда и решил Момун соорудить на отмели запруду из камней, чтобы было где мальчишке купаться без опаски.

Сколько камней перетаскал старик Момун, выбирая те, что покрупнее, чтобы течением их не укатило! Носил их, прижимая к животу, и, стоя в воде, укладывал один к одному с таким расчетом, чтобы вода свободно втекала между камнями и так же свободно вытекала. Смешной, тощий, с реденькой своей бородашкой, в мокрых, облипших на теле штанах, целый день возился он с этой запрудой. А вечером лежал пластом, кашлял, и поясницу ему было не разогнуть. Вот тут уж бабка разошлась вовсю: «Малый дурак — он и есть малый, а что про старого дурака сказать? Какого ты черта надрывался? Кормишь, поишь, так чего еще? Всякой блажи потакаешь. Ох, не доведет это до добра!..»

Как бы то ни было, а запруда на отмели получилась отличная. Теперь мальчик купался не боясь. Ухватываясь за ветку, слезал с берега и бросался в поток. И непременно с открытыми глазами. С открытыми потому, что рыбы в воде плавают с открытыми глазами. Была у него такая странная мечта: он хотел превратиться в рыбу. И уплыть.

Глядя сейчас в бинокль на запруду, мальчик представил себе, как он сбрасывает рубашку, штаны и, голый, поживаясь, лезет в воду. Вода в горных реках всегда холодная, дух занимает, но потом привыкаешь. Представил себе, как, держась за ветку тальника, бросается в поток вниз лицом. Как с шумом смыкается вода над головой, как жгуче струится под животом, по спине, по ногам. Глохнут внешние звуки под водой, и в ушах остается лишь журчанье. И он, тараща глаза, старательно смотрит на все то, что можно увидеть под водой. Глаза щиплет, глазам больно, но он горделиво улыбається себе и даже язык показывает в воде. Это он бабке. Пусть знает, вовсе и не утонет он, и вовсе ничего не боится. Потом он выпускает ветку из рук, и вода тащит его, волочит до тех пор, пока он не упрется ногами в камни запруды. Тут и дыхание кончается. Он разом выскакивает из воды, вылезает на берег и снова бежит к тальниковому кусту. И так много раз. Хоть сто раз в день готов был купаться в

дедовой запруде. До тех пор, пока, в конце концов, не превратится в рыбу. А ему обязательно, во что бы то ни стало, хотелось стать рыбой...

Разглядывая берег реки, мальчик перевел бинокль на свой двор. Куры, индюшки с индюшатами, топор, прислоненный к чурбаку, дымящий самовар и разные разности на подворье оказались такими невероятно большими, так близко они находились, что мальчик невольно протянул к ним руку. И тут, к ужасу своему, он увидел в бинокль увеличенного до слоновых размеров бурого теленка, спокойно жующего развешанное на веревке белье. Теленок жмурил от удовольствия глаза, слюни стекали с губ — так ему хорошо было в полную пасть жевать бабкино платье.

— Ах ты дурак! — Мальчик привстал с биноклем и замаха́л рукой. — А ну, прочь! Слышишь, убирайся прочь! Балтек, Балтек! (Пес в объективе лежал себе преспокойно под домом.) Куси, куси его! — в отчаянье приказывал он собаке.

Но Балтек и ухом не повел. Он лежал себе как ни в чем не бывало.

В эту минуту из дома вышла бабка. Увидев, что творится, старуха всплеснула руками. Схватила метлу и кинулась к теленку. Теленок побежал, бабка за ним. Не сводя с нее бинокля, мальчик присел, чтобы не видно было его на горе. Отогнав теленка, старуха с руганью пошла к дому, задыхаясь от гнева и быстрой ходьбы. Мальчик видел ее так, как если бы был рядом с ней и даже ближе, чем рядом. Он держал ее в объективе крупным планом, как в кино, когда отдельно показывают лицо человека. Он видел ее желтые глаза, сузившиеся от ярости. Он видел, как сплошь покраснело ее морщинистое, в тяжелых складках лицо; как в кино, когда исчезнет вдруг звук, бабкины губы в бинокле быстро и беззвучно шевелились, обнажая шершавые, редкие зубы. Что выкрикивала старуха — не разобрать было издали, но слова ее мальчику слышались так точно и ясно, как если бы говорила она прямо под ухом. Ух, как она его бранила! Он наизусть знал: «Ну, подожди... Вернешься. Уж я тебе! И на деда не посмотрю. Сколько раз говорила, чтобы выкинул вон эту дурацкую гляделку. Опять убежал на гору. Чтоб провалился он, тот чертов пароход, чтоб он сгорел, чтоб он потонул!..»

Мальчик на горе тяжело вздохнул. Надо же было в такой день, когда купили портфель, когда он уже мечтал, как пойдет в школу, проглядеть телка!..



Старуха не умолкала. Продолжая браниться, она разглядывала свое изжеванное платье. К ней вышла Гульджамал с дочкой. Жалуясь ей, бабка разошлась еще больше. Потрясала кулаками в сторону горы. Ее костлявый темный кулак угрожающе маячил перед окулярами: «Нашел себе забаву. Чтоб провалился он, чертов пароход! Чтоб он сгорел, чтоб он потонул!..»

Самовар на дворе уже кипел. Видно было в бинокль, как из-под крышки выбивались струи пара. Тетка Бекей вышла за самоваром. И тут опять началось. Бабка чуть не в нос совала ей свое изжеванное платье. На, мол, смотри на проделки твоего племянничка!

Тетка Бекей стала успокаивать ее, уговаривать. Мальчик догадывался, что она говорила. Примерно то же, что и прежде: «Успокойся, энеке<sup>1</sup>. Мальчик еще несмышлениш, — какой с него спрос. Один он тут, друзей нет. Зачем кричать, зачем страх наводить на ребенка?»

На что бабка, несомненно, отвечала: «Ты мне не указывай. Ты сама попробуй роди, тогда узнаешь, какой спрос с детей. Чего торчит он там, на горе? Телка приарканить ему некогда. Чего он там высматривает? Своих непутевых родителей? Тех, что родили его да разбежались по разным сторонам? Хорошо тебе, бесплодной...»

Даже на таком расстоянии мальчик увидел в бинокль, как мертвенно посерели впалые щеки тетки Бекей, как вся она заколотилась, и как — он точно знал, чем должна была отплатить тетка, — она выпалила в лицо мачехе: «А ты сама-то, старая ведьма, сколько сыновей да дочерей вырастила? Ты сама-то кто есть?»

Что тут началось!.. Бабка взвывала от обиды. Гульджамал пыталась примирить женщин, уговаривала, обнимала бабу, хотела увести ее домой, но та распалаясь все больше, мечась по двору, как обезумевшая. Тетка Бекей схватила кипящий самовар, расплескивая кипяток, почти бегом унесла его в дом. А бабка устало опустила на колоду. Рыдая, горько жаловалась она на свою судьбу. Теперь мальчик был позабыт, теперь доставалось самому Господу Богу и всему белому свету. «Это я-то! Это меня ты спрашиваешь, кто я есть? — возмущалась бабка вслед падчерице. — Да если бы не наказал меня Бог, если бы не унес он моих пятерых младенцев, если бы сын мой, один-единственный, не упал восемнадца-

---

<sup>1</sup> Энеке — матушка.

ти лет под пулей на войне, если бы старик, мой ненаглядный Тайгара, не замерз в буране с отарой овец, разве была бы я здесь, среди вас, лесных людей? Да разве я такая, как ты, неродящая? Да разве жила бы я на старости лет с отцом твоим, придурковатым Момуном? За какие грехи-провинности наказал ты меня, распроклятый Бог?»

Мальчик отнял бинокль от глаз, опустил голову.

— Как мы теперь вернемся домой? — тихо сказал он портфелю. — Это все из-за меня и из-за теленка-дурака. И еще из-за тебя, бинокль. Ты всегда зовешь меня смотреть на белый пароход. Ты тоже виноват.

Мальчик огляделся по сторонам. Кругом горы — скалы, камни, леса. С высоты, с ледников бесшумно падали сверкающие ручьи, и только здесь, внизу, вода будто обретала наконец голос, чтобы вечно, неумолчно шуметь в реке. А горы стояли такие громадные и беспредельные. Мальчишка чувствовал себя в ту минуту очень маленьким, очень одиноким, совсем затерянным. Только он и горы, горы, всюду высокие горы.

Солнце уже склонялось к закату на озерной стороне. Стало не так жарко. На восточных склонах занялись первые, короткие тени. Солнце будет теперь опускаться все ниже, а тени поползут вниз, к подножию гор. В эту пору дня обычно появлялся на Иссык-Куле белый пароход.

Мальчик направил бинокль к самому дальнему видимому месту и затаил дыхание. Вот он! И все забылось сразу, там, впереди, на синей-синей кромке Иссык-Куля, появился белый пароход. Выплыл. Вот он! С трубами в ряд, длинный, мощный, красивый. Он плыл, как по струне, ровно и прямо. Мальчик поспешно протер стекла подолом рубашки, еще раз поправил окуляры. Очертания парохода стали еще четче. Теперь можно было заметить, как покачивается он на волнах, как за кормой остается светлый вспененный след. Не отрываясь, мальчик с восхищением смотрел на белый пароход. Была бы на то его воля, он упросил бы белый пароход подплыть поближе, чтобы можно было видеть людей, которые на нем плыли. Но пароход не знал об этом. Он медленно и величественно шел своей дорогой, неведомо откуда и неведомо куда.

Было долго видно, как плывет пароход, и мальчик долго думал о том, как он превратится в рыбу и поплывет по реке к нему, к белому пароходу...

Когда он впервые увидел однажды с Караульной горы бе-

лый пароход на синем Иссык-Куле, сердце его так загудело от красоты такой, что он сразу же решил, что его отец — иссык-кульский матрос — плавает именно на этом белом пароходе. И мальчик поверил в это, потому что ему этого очень хотелось.

Он не помнил ни отца, ни матери. Он ни разу не видел их. Никто из них ни разу не навестил его. Но мальчик знал: отец его был матросом на Иссык-Куле, а мать, после того как они разошлись с отцом, оставила сына у деда, а сама уехала в город. Как уехала, так и сгинула. Уехала в далекий город за горами, за озером и еще за горами.

Дед Момун как-то ездил в этот город продавать картошку. Целую неделю пропадал и, вернувшись, рассказывал за чаем тетке Бекей и бабке, что видел свою дочь, то есть его, мальчика, мать. Работала она на какой-то большой фабрике ткачихой. У нее новая семья — две дочери, которых она сдает в детсад и видит только раз в неделю. Живет в большом доме, но в маленькой комнатке, до того маленькой, что повернуться негде. А во дворе никто никого не знает, как на базаре. И все так живут — войдут к себе, и сразу двери на замок. Взаперти постоянно сидят, как в тюрьме. А муж ее будто бы шофер, возит в автобусе народ по улицам. Уходит с четырех утра и допоздна. Тоже работа тяжелая. Дочь, рассказывал он, все плакала, прощения просила. На очереди они на новую квартиру. Когда получают — неизвестно. Но когда получают, заберет сынишку к себе, если муж позволит. И просила старика пока подождать. Дед Момун сказал ей, чтобы она не печалилась. Самое главное, чтобы с мужем в согласии жила, остальное уладится. И насчет сына пусть не убивается. «Пока я жив, мальчишку никому не отдам, а умру — Бог его поведет, живой человек найдет свою судьбу...» Слушая старика, тетка Бекей и бабка то и дело вздыхали и даже всплакнули вместе.

Вот тогда как раз, за чаем и об отце зашла у них речь. Дед прослышал, будто его бывший зять, отец мальчика, все так же матросом служит на каком-то пароходе, и что у него тоже новая семья, дети, то ли двое, то ли трое. Живут возле пристани. Будто бы бросил он пить. А жена новая всякий раз выходит с ребятишками на пристань его встречать. «Стало быть, — думал мальчик, — они встречают вот этот, его пароход...»

А пароход плыл, медленно удаляясь. Белый и длинный, он скользил по синей глади озера с дымами из труб и не знал, что к нему плыл мальчик, превратившись в рыбу-мальчика.

Он мечтал превратиться в рыбу так, чтобы все у него было рыбе — тело, хвост, плавники, чешуя, — и только голова бы оставалась своя, на тонкой шее, большая, круглая, с оттопыренными ушами, с исцарапанным носом. И глаза такие же, какие были. Конечно, чтобы они при этом были не совсем такие, как есть, а глядели как рыбы. Ресницы у мальчика длинные, как у телка, и все время хлопают отчего-то сами по себе. Гульджамал говорит — вот бы ее дочке такие, какой бы она красавицей выросла! А зачем быть красавицей? Или красавцем? Очень нужно! Лично ему красивые глаза ни к чему, ему нужны такие, чтобы под водой глядеть.

Превращение должно было произойти в дедовой запруде. Раз — и он рыба. Затем он сразу перепрыгнул бы из запруды в реку, прямо в бурлящую стремнину, и пошел бы вниз по течению. И дальше так — выпрыгивая и оглядываясь по сторонам; неинтересно ведь плыть только под водой. Он несетя по быстрой реке вдоль большого красноглинистого обрыва, через пороги, по бурунам, мимо гор, мимо лесов. Он прощается со своими любимыми валунами: «До свидания, «Лежащий верблюд», до свидания, «Волк», до свидания, «Седло», до свидания, «Танк». А когда будет проплывать мимо кордона, он выпрыгнет из воды, помашет плавником деду: «До свидания, ата, я скоро вернусь». Дед оторопел бы от дива такого и не знал бы, как ему быть. И бабка, и тетка Бекей, и Гульджамал с дочкой — все стояли бы, разинув рты. Где это видано, чтобы голова была человечья, а тело рыбе? А он им машет плавником: «До свидания, я уплываю в Иссык-Куль, к белому пароходу. Там у меня мой папа — матрос». Балтек, наверно, кинется бежать по берегу. Собака ведь никогда такого не видела. И если Балтек решится броситься к нему в воду, он крикнет: «Нельзя, Балтек, нельзя! Утонешь!» — а сам поплывет дальше. Пронырнет под тросами висячего моста и дальше вдоль прибрежных тугаев, и потом вниз по грохочущему ущелью и выплывет прямо в Иссык-Куль.

А Иссык-Куль — это целое море. Проплывает он по волнам иссык-кульским, с волны на волну, с волны на волну — и тут навстречу белый пароход. «Здравствуй, белый пароход, это я! — скажет он пароходу. — Это я всегда смотрел на тебя в бинокль». Люди на пароходе удивились бы, сбежались смотреть на чудо. И тогда он скажет отцу своему, матросу: «Здравствуй, папа, я твой сын. Я приплыл к тебе». — «Какой же ты сын? Ты полурыба-получеловек!» — «А ты возь-

ми меня к себе на пароход, и я стану твоим обыкновенным сыном». — «Вот здорово! А ну, попробуем». Отец бросит сеть, выловит его из воды, поднимет на палубу. Тут он превратится в самого себя. А потом, потом...

Потом белый пароход поплывет дальше. Расскажет мальчик отцу про все, что знает, про всю свою жизнь. Про горы, среди которых он живет, про те самые камни, про реку и заповедный лес, про запруду дедову, где он учился плавать, как рыба, с открытыми глазами.

Расскажет, конечно, как ему живется у деда Момуна. Пусть отец не думает, что если прозвали человека Расторопный Момун, так, значит, он плохой. Такого деда нигде нет, самый лучший дедушка. Но он совсем не хитрый, потому все смеются над ним. А дядя Орозкул, так тот и покрикивает на него — на старика! Бывает, и при людях накричит на деда. А дед, вместо того чтобы постоять за себя, все прощает дяде Орозуку и даже работает за него в лесу, по хозяйству. Да что там, работает! Когда дядя Орозкул приезжает пьяный, так, вместо того чтобы плюнуть в его бессовестные глаза, дед подбегает к нему, ссаживает с лошади, отводит в дом, укладывает на кровать, шубой укрывает, чтобы не продрог, чтобы голова у него не болела, а коня расседлывает, чистит и задает ему корм. И все из-за того, что тетка Бекей нерождаящая. А почему так, папа? Было бы лучше: хочешь — роди, не хочешь — не надо. Деду жалко, когда дядя Орозкул бьет тетку Бекей. Лучше бы он бил самого деда. Так он мучается, когда кричит тетка Бекей. А что он может сделать? Хочет кинуться на выручку дочери, так бабка ему запрещает. «Не лезь, — говорит, — сами разберутся. Чего тебе, старому? Жена не твоя, ну и сиди». — «Так ведь дочь она моя!» А бабка: «А что бы ты делал, если б жил не рядом, дом к дому, а вдалеке? Каждый раз скакал бы верхом разнимать их? И кто бы после этого держал в женах твою дочь!»

Бабка, про которую говорю, — это не та, которая была. Ты ее, папа, наверное, и не знаешь. Это другая бабка. Родная бабушка умерла, когда я был маленький. А потом пришла эта бабка. У нас часто бывает погода непонятная — то ясно, то пасмурно, то дождь да град. Вот и бабка такая, непонятная. То добра, то зла, то совсем никакая. Когда злится — заест. Мы с дедом молчим. Она говорит, что чужого сколько ни корми, сколько ни пои, а добра от него не жди. Так ведь я же, папа, не чужой здесь. Я всегда жил с дедом. Это она чужая, она потом пришла к нам. И стала называть меня чужим.

Зимой у нас снег наваливает мне по шейку. Ох и сугробы наметает! Если в лес, только на сером коне Алабаше и проедешь, он грудью пробивает сугробы. И ветры очень сильные; на ногах не устоишь. Когда на озере волны ходят, когда пароход твой валится с боку на бок — знай, что наш ветер Сан-Таш качает озеро. Дед рассказывал, что очень-очень давно вражеские войска шли, чтобы захватить эту землю. И вот тогда с нашего Сан-Таша такой ветер подул, что враги не усидели в седлах. Послезали с коней, но и пешком идти не могли. Ветер сек им лица в кровь. Тогда они отвернулись от ветра, а ветер гнал их в спины, не давал остановиться и выгнал их с Иссык-Куля, всех до одного. Вот как было. А мы вот живем на этом ветру! От нас он начинается. Всю зиму лес за рекой скрипит, гудит, стонет на ветру. Страшно даже.

Зимой в лесу дел не так много. Зимой безлюдно у нас совсем, не то что летом, когда приходят кочевья. Очень люблю я, когда летом на большом лугу останавливаются на ночь с отарами или табунами. Правда, утром они уходят дальше в горы, но все равно хорошо с ними. Их ребятишки и женщины приезжают на грузовиках. В грузовиках юрты везут и разные вещи. Когда устроятся немного, мы с дедом идем поздороваться. Здравуемся со всеми за руку. И я тоже. Дед говорит, что младший всегда должен первым подавать руку людям. Кто не подает руки, тот не уважает людей. А потом дед говорит, что из семерых людей один может оказаться пророком. Это очень добрый и умный человек. И тот, кто поздоровается с ним за руку, станет счастливым на всю жизнь. А я говорю: если так, то почему этот пророк не скажет, что он пророк, и мы все поздоровались бы с ним за руку. Дед смеется: в том-то и дело, говорит он, что пророк сам не знает, что он пророк, — он простой человек. Только разбойник знает о себе, что он разбойник. Не совсем мне это понятно, но я всегда здороваюсь с людьми, хотя мне бывает немного стыдно.

А когда на луг приходим с дедом, я не стесняюсь.

«Добро пожаловать на летовки отцов и прадедов! В благополучии ли скот и души, в благополучии ли детвора?» — это дед так говорит. А я только здороваюсь за руку. Деда все знают, и он всех знает. Ему хорошо. У него свои разговоры, он спрашивает приезжих и сам рассказывает, как мы живем. А я с ребятами не знаю, о чем говорить. Но потом мы начинаем играть в прятки, в войну — и так разыграемся, что

не хочется уходить. Вот если бы всегда было лето, если бы всегда играть с ребятами на лугу!

Пока мы играем, загораются костры. Ты думаешь, папа, от костров становится совсем светло на лугу? Вовсе нет! Только у огня светло, а за кругом света темнее прежнего. А мы играем в войну, в этой тьме прячемся и наступаем; и кажется, что находишься в самом кино. Если ты командир, все тебя слушаются. Хорошо, наверно, командиру быть командиром...

А потом луна выходит над горами. При луне играть еще лучше, но дед уводит меня. Мы идем домой через луг, через кустарник. Овцы тихо лежат. Лошади пасутся вокруг. Мы идем и слышим — кто-то песню запекает. Чабан молодой, а может быть, и старый. Дед останавливает меня: «Слушай. Такие песни не всегда услышишь». Мы стоим, слушаем. Дед вздыхает. Кивает песне головой.

Дед говорит, что в прежние времена был у одного хана другой хан в плену. Вот этот хан и говорит хану-пленнику: «Если желаешь — будешь жить у меня рабом, или я исполню твое самое заветное желание и после убью тебя». Тот подумал и отвечает: «Жить рабом не желаю. Лучше убей меня, но перед этим позови с моей родины первого встречного пастуха». — «Зачем он тебе?» — «Хочу услышать перед смертью, как он поет». Дед говорит: за родную песню люди жизнь отдают. Какие это такие люди, увидеть бы их. Наверно, живут в больших городах?

— А слушать хорошо, а! — шепчет дед. — Какие песни пели, бог ты мой!..

Не знаю почему, мне становится так жаль моего деда, и я так люблю его, что хочется плакать...

Рано утром на лугу уже никого нет. Угнали овец и лошадей дальше, в горы, на все лето. Вслед за ними приходят другие кочевья, из других колхозов. Днем не задерживаются, проходят мимо. А на ночь останавливаются на лугу. И мы идем с дедом здороваться с людьми, и я от него научилась. Может быть, когда-нибудь и поздоровуюсь на лугу с настоящим пророком...

А зимой дядя Орозкул и тетка Бекей уезжают в город, к доктору. Говорят, что доктор может помочь, лекарства такие дать, чтобы ребенок родился. Но бабка всегда говорит, что лучше всего съездить на святое место. Это где-то там, за горами, где хлопок растет на полях. Так вот, есть там, на ровном месте, на таком ровном, где, казалось бы, и горы не

должны быть, есть там такая гора святая — Сулейманова гора. И если зарезать черную овцу у подножия ее и помолиться Богу, идти в гору и на каждом шагу кланяться и молиться Богу да попросить его хорошенько, он может сжалиться и дать ребенка. Тетка Бекей очень хочет съездить туда, на Сулейманову гору. А дядя Орозкул не очень. Далеко. «Денег, — говорит, — много надо. Туда ведь только самолетом через горы можно попасть. А до самолета сколько ехать, и тоже деньги...»

Когда они уезжают в город, мы остаемся на кордоне совсем одни. Мы и соседи наши — дядя Сейдахмат, его жена Гульджамал и их маленькая девочка. Вот и все мы.

Вечером, когда с делами покончено, дед рассказывает мне сказки. Я знаю, за домом темная-темная, морозная-морозная ночь. Ветер ходит злоющий. Самые великие горы и те в такие ночи робеют, жмутся кучей поближе к нашему дому, к свету в окошках. И от этого мне страшно и радостно. Был бы я великаном, надел бы великанью шубу и вышел бы из дому. Я бы им сказал, горам: «Не робейте, горы! Я здесь. Пусть ветер, пусть темно, пусть метель, я ничего не боюсь, и вы не бойтесь. Стойте на местах, не жмитесь в кучу». Потом я пошел бы по сугробам, перешагнул бы через реки — и в лес. Деревьям ведь очень страшно ночью в лесу. Они одни, и никто им слова не скажет. Стынут голые деревья на стуже, некуда им приткнуться. А я бы ходил в лесу и каждое дерево похлопал бы по стволу, чтобы ему не так страшно было. Наверно, те деревья, что весной не зеленеют, — это те, которые застыли от страха. Мы потом рубим этот сушняк на дрова.

Обо всем этом я думаю, когда дед рассказывает мне сказки. Он долго рассказывает. Разные есть — смешные есть, особенно про мальчика-с-пальчика по имени Чыпалак, которого проглотил волк-жадюга на свою беду. Нет, сначала его съел верблюд. Уснул Чыпалак под листом, а верблюд бродил вокруг, хап — и съел его вместе с листом! Потому и говорят: верблюд не знает, что он глотает. Стал Чыпалак кричать, на помощь звать. Пришлось старикам резать верблюда, чтобы выручить своего Чыпалака. А с волком приключилось еще того чище. Тоже проглотил он Чыпалака по глупости своей. А потом плакал горькими слезами. Наткнулся волк на Чыпалака. «Что за козявка под ногами путается? Слизну я тебя одним мигом». А Чыпалак говорит: «Не трогай меня, волк, а то сделаю тебя собакой». — «Ха-ха, — хохочет волк, —



где это видано, чтобы волк становился собакой! За дерзость твою я тебя съем». И проглотил его. Проглотил и позабыл. Но с этого дня лишился он жизни волчьей. Только волк начинает подкрадываться к овцам, а Чыпалак кричит у него в животе: «Эй, пастухи-и, не спите! Это я, серый волк, крадусь, чтоб овцу уволочь!» Волк не знает, как быть. Кусает себя за бока, катается по земле. А Чыпалак не унимается: «Эй, пастухи, бегите сюда, бейте меня, лупите!» Пастухи с дубьем на волка, волк — от них. Бегут пастухи, диву даются. С ума спятил волчище, сам бежит и сам кричит: «Догоняйте!» А волк-волчище тем временем ноги уносит. Но от этого ему не легче. Куда ни сунется, везде его подводит Чыпалак. Везде его гонят, везде над ним смеются. Отошал волк от голода, кожа да кости остались. Зубами шелкает, скулит: «Что же это за наказание мне такое? Почему я сам кличу на себя беду? Одурел на старости лет, ум отшибло». А Чыпалак шепчет ему на ухо: «Беги к Ташмату, у него овцы жирные! Беги к Баймату, у него собаки глухие. Беги к Эрмату, у него пастухи спят». А волк сидит и хнычет: «Никуда я не пойду, лучше пойду к кому-нибудь в собаки наниматься...»

Правда ведь, папа, смешная сказка? Есть у деда и другие сказки, грустные, страшные, печальные. Но самая любимая моя сказка про Рогатую мать-олениху. Дед говорит, что каждый, кто живет на Иссык-Куле, должен знать эту сказку. А не знать — грех. Может быть, ты ее знаешь, папа? Дед говорит, что все это правда. Что так было когда-то. Что все мы — дети Рогатой матери-оленихи. И я, и ты, и все другие...

Вот так мы живем зимой. Долго тянется зима. Если бы не дедовы сказки, очень мне скучно было бы зимой.

А весной у нас хорошо. Когда совсем потеплеет, снова приходят в горы чабаны. И тогда мы в горах не одни. Только за рекой, дальше от нас никого нет. Там только лес и все, что в лесу. Для того мы и живем на кордоне, чтобы никто туда ногой не ступил, чтобы никто не тронул ни одной ветки. К нам даже приезжали ученые люди. Две женщины, и обе в штанах, старичок и еще один молодой парень. Парень этот у них учится. Целый месяц жили. Травы собирали, листья и ветки. Они сказали, что таких лесов, как у нас на Сан-Таше, осталось на земле очень мало. Можно сказать, почти нет. И поэтому надо беречь каждое дерево в лесу.

А я думал, что дед наш просто так жалеет каждое дерево. Он очень не любит, когда дядя Орозкул дарит на бревна сосны...

## 3

Белый пароход удалялся. Уже не различить было в бинокль его труб. Скоро он скроется из виду. Мальчику теперь пора было придумать конец своего плаванья на отцовском пароходе. Все получилось хорошо, а вот конец не удавался. Он мог легко представить себе, как он превращается в рыбу, как плывет по реке к озеру, как встречается ему белый пароход, как он встречается с отцом. И все, что рассказывает он отцу. Но дальше не клеилось. Потому что вот, к примеру, уже виден берег. Пароход направляется к пристани. Матросы готовятся сходить на берег. Они пойдут по домам. Отцу тоже надо уходить домой. Жена и двое ребятишек ждут его на пристани. Как тут быть? Идти с отцом? Возьмет ли он его с собой? А если возьмет, жена его спросит: «Кто это такой, откуда он, зачем он?» Нет, лучше не идти...

А белый пароход уходил все дальше, превращаясь в едва видимую точку. Солнце уже ложилось на воду. В бинокль было видно, как ослепительно сияла огненно-лиловая поверхность озера.

Пароход ушел, исчез. Вот и кончилась сказка о белом пароходе. Надо домой.

Мальчик поднял портфель с земли, зажал бинокль под мышку. С горы спускался быстро, змейкой бежал со склона. И чем ближе подходил к дому, тем тревожней становилось на душе. Предстояло отвечать за изжеванное теленком платье. Уже ни о чем, кроме наказания, не думалось. Чтобы не совсем пасть духом, мальчик сказал портфелю: «Ты не бойся. Ну, поругают нас. Ведь я же не нарочно. Я просто не знал, что теленок убежал. Ну, дадут мне подзатыльник. Стерплю. А тебя швырнут на пол, ты не пугайся. Ведь ты не разобьешься, ты портфель. Вот если бинокль попадет в руки бабки, ему не поздоровится. Мы сначала спрячем бинокль в сарае, а потом пойдем домой...»

Так он и сделал. Боязно было перешагнуть порог.

Но в доме стояла настораживающая тишина. На дворе было так тихо и безлюдно, точно люди покинули это место. Оказывается, тетку Бекей опять бил муж. И опять деду Момуну пришлось унимать одуревшего зятя, опять пришлось старику умолять, упрашивать, виснуть на кулачищах Орозкула и видеть весь этот позор — избитую, растрепанную, вопящую дочь. И слышать, как при нем, при отце родном, последними словами бранят его дочь. Как обзывают ее сукон

бесплодной, трижды проклятой яловой ослицей и разными другими словами. И слышать, как диким, обезумевшим голосом кляла дочь судьбу свою. «Разве я виновата, что Бог лишил меня зачатия! Сколько баб на свете рожают, как овцы, а меня прокляло небо. За что? За что мне такая жизнь? Лучше убей меня, изверг! На, бей, бей!..»

Старик Момун скорбно сидел в углу, все еще тяжело дыша, смежив веки, и руки его, лежащие на коленях, дрожали. Он был очень бледен.

Момун глянул на внука, ничего не сказал, снова устало прикрыл глаза. Бабки не было дома. Она ушла мирить тетку Бекей с мужем, наводить у них порядок, подбирать разбитую посуду. Такая она вот, бабка: когда Орозкул бьет жену, бабка не вмешивается и деда удерживает. А после драки идет уговаривать, успокаивать. И за то спасибо.

Больше всего мальчику жалко было старика. Всякий раз в такие дни старик чуть не умирал. Как оглушенный, сидел он в углу, никому не показываясь на глаза. Никому, ни единой душе не высказывал он то, о чем думал. А думал Момун в такие минуты, что стар уже он, что был у него один сын, да и тот погиб на войне. Уже никто и не знает о нем, никто и не помнит. Был бы сын, может, и не так сложилась бы судьба. Тосковал Момун и о жене своей умершей, с которой прожил весь век. Но самой большой бедой было то, что дочерям не выпало счастья. Младшая, бросив ему внука, ушла в город и мыкается теперь там с большой семьей в одной комнате. Вторая мучается здесь с Орозкулом. И хотя он, старик, при ней, и хотя он все перетерпит ради дочери, счастья материнского ей все нет да нет... И уже много лет, как она живет с Орозкулом. И уже опостылила ей жизнь с ним, а куда денешься?.. И что будет потом — не ровен час, помрет сам, стар ведь уже, — как-то тогда придется ей, разнесчастной дочери?

Мальчик наскоро похлебал из чашки кислого молока, съел кусок лепешки и притих подле окна. Зажигать лампу не стал, не хотел тревожить деда, пусть себе сидит и думает.

Мальчик тоже думал о своем. Не понимал он, зачем тетка Бекей ублажает мужа водкой. Он ее кулаком, а она потом еще пол-литра достает...

Эх, тетка Бекей, тетка Бекей! Сколько раз избивал ее муж до полусмерти, а она все прощает ему. И дед Момун тоже прощает ему всегда. А зачем прощать? Не надо прощать таким людям. Он негодный, скверный человек. Не нужен он здесь. И без него обойдемся.

Ожесточенное детское воображение живо рисовало мальчику картину справедливой кары. Все они набрасывались на Орозкула и тащили его, толстого, огромного, грязного, к реке. И потом, раскачав, бросали в самые буруны. А он просил прощения у тетки Бекей и деда Момуна. Ведь он не мог стать рыбой...

Мальчику становилось легче. Ему даже было смешно, когда он в своих мечтах видел, как барахтается Орозкул в реке и как рядом плывет его вельветовая шляпа.

Но взрослые, к великому огорчению, не поступали так, как считал справедливым мальчик. Они делали все наоборот. Приедет Орозкул домой уже подвыпивший. Его встречают как ни в чем не бывало. Дед коня примет, жена бежит самовар ставить. Все вроде только его и ждали. А он начинает куражиться. Сначала грустит, плачет. Как же так, мол, каждый человек, даже самый никудышный человечиска, такой, что и руку ему не обязательно подавать, имеет детей, сколько его душа пожелает. Пять и даже десять. А чем он, Орозкул, хуже других? Чем он не удался? Или по должности не вышел? Так, слава богу, старший объездчик заповедного леса! Или он бродяга какой-нибудь? Так ведь у цыгана полно их, цыганят, хоть отбавляй. Или он безвестный какой, или уважения нет к нему? Все есть. Всем взял. И конь под седлом, и камча в руках, и встречают с почетом. Так почему же сверстники его детям своим уже свадьбы справляют, а он? Кто он без сына, без семени?

Тетка Бекей тоже плачет, суетится, хочет как-то угодить мужу. Достает припрятанную поллитровку. И сама выпивает с горя. Дальше — больше, и потом вдруг Орозкул звереет, и тогда всю свою злобу он вымещает на ней же, на жене своей. А она все прощает ему. И дед тоже прощает. Никто не вяжет Орозкула. Протрезвеет он, а утром жена, хотя и в синяках, самовар уже поставила. Дед коня уже овсом накормил, оседлал. Напьется Орозкул чаю, сядет на коня — и опять он начальник, хозяин всех лесов на Сан-Таше. А никто не догадывается, что такого, как Орозкул, давно уже пора бросить в реку...

Было уже темно. Ночь стояла на дворе.

Так заканчивался тот день, когда куплен был мальчику первый школьный портфель.

Укладываясь спать, он не мог придумать места для портфеля. Наконец положил его рядом с собой в изголовье. Мальчик не знал еще, узнает потом, что такие в точности

портфели будут почти у половины класса. Но и это все равно не смутит его, его портфель останется самым необыкновенным, совсем особенным портфелем. Он не знал также, что его ждут новые события в его маленькой жизни, что наступит день, когда он останется один на всем белом свете и с ним будет только портфель. И причиной всему явится его любимая сказка о Рогатой матери-оленихе...

И в этот вечер ему очень хотелось еще раз послушать эту сказку. Старый Момун сам любил эту историю и рассказывал ее так, будто сам все видел, вздыхая, плача, умолкая и думая о своем.

Однако мальчик не посмел тревожить деда. Он понимал, что деду не до сказки. «Мы попросим его в другой раз, — сказал мальчик портфелю. — А сейчас я сам расскажу тебе о Рогатой матери-оленихе, слово в слово, как дед. И рассказывать буду так тихо, что никто не услышит, а ты слушай. Я люблю рассказывать и видеть все как в кино. Дед говорит, что все это правда. Так было...»

## 4

Случилось это давно. В давние-предавние времена, когда лесов на земле было больше, чем травы, а воды в наших краях было больше, чем суши, жило одно киргизское племя на берегу большой и холодной реки. Энесай называлась та река. Протекает она далеко отсюда, в Сибири. На коне туда три года и три месяца скакать. Теперь эта река зовется Енисей, а в ту пору она называлась Энесай. Потому и песня была такая:

Есть ли река шире тебя, Энесай,  
Есть ли земля роднее тебя, Энесай?  
Есть ли горе глубже тебя, Энесай,  
Есть ли воля вольнее тебя, Энесай?

Нету реки шире тебя, Энесай,  
Нету земли роднее тебя, Энесай.  
Нету горя глубже тебя, Энесай,  
Нету воли вольнее тебя, Энесай.

Вот такая она была, река Энесай.

Разные народы стояли тогда на Энесае. Трудно приходилось им, потому что жили они в постоянной вражде. Много врагов окружало киргизское племя. То одни нападали, то другие, то киргизы сами ходили в набег на других, угоняли скот, жгли жилища, убивали людей. Убивали всех, кого уда-

валось убить, — такие были времена. Человек не жалел человека. Человек истреблял человека. Дошло до того, что некому стало хлеб сеять, скот умножать, на охоту ходить. Легче стало жить грабежом: пришел, убил, забрал. А за убийство надо отвечать еще большей кровью, и за месть — еще большей мезтью. И чем дальше, тем больше лилось крови. Помутился разум у людей. Некому было примирить врагов. Самым умным и лучшим считался тот, кто умел застигнуть врага врасплох, перебить чужое племя до последней души, захватить стада и богатства.

Появилась в тайге странная птица. Пела, плакала по ночам до рассвета человеческим жалобным голосом, приговаривала, перелетая с ветки на ветку: «Быть великой беде! Быть великой беде!» Так оно и случилось, настал тот страшный день.

В тот день киргизское племя на Энесае хоронило своего старого вождя. Много лет предводительствовал батыр Кульче, во многие походы ходил, во многих сечах рубился. В боях уцелел, но настал час его смертный. В великой печали пребывали соплеменники два дня, а на третий собрались предать земле останки батыра. По давнему обычаю тело вождя полагалось нести в последний путь берегом Энесая по обрывам и кручам, чтобы с высоты простилась душа умершего с материнской рекой Энесай, ведь «эне» — это мать, а «сай» — это русло, река. Чтобы душа его пропела в последний раз песню об Энесае.

Есть ли река шире тебя, Энесай,  
Есть ли земля роднее тебя, Энесай?  
Есть ли горе глубже тебя, Энесай,  
Есть ли воля вольнее тебя, Энесай?

Нету реки шире тебя, Энесай,  
Нету земли роднее тебя, Энесай.  
Нету горя глубже тебя, Энесай,  
Нету воли вольнее тебя, Энесай.

На погребальной сопке у открытой могилы полагалось батыра поднять над головами и показать ему четыре стороны света: «Вот твоя река. Вот твое небо. Вот твоя земля. Вот мы, рожденные от одного с тобой корня. Мы все пришли проводить тебя. Спи спокойно». В память далеким потомкам на могиле батыра ставилась каменная глыба.

В дни похорон юрты всего племени расставляли цепью по берегу, чтобы каждая семья могла проститься у своего порога с батыром, когда будет проносить его тело на погреб-

бение, склонить к земле белый флаг скорби, голосить и плакать при этом и затем идти дальше вместе со всеми к следующей юрте, где опять будут причитать и плакать и склонять белый флаг скорби, и так до конца пути, до самой погребальной сопки.

Утром того дня солнце уже выходило на дневной путь, когда закончены были все приготовления. Вынесены бунчуки с конскими хвостами на древках, вынесены бранные доспехи батыра — щит и копье. Конь его был покрыт погребальной попоной. Трубачи приготовились играть в боевые трубы — карнаи, барабанщики ударить в барабаны — добулбасы — так, чтобы тайга закачалась, чтобы птицы тучей взлетели к небу и закружились с гамом и стоном, чтобы зверь бежал по чащам с диким храпом, чтобы трава прижалась к земле, чтобы эхо зарокотало в горах, чтобы горы вздрогнули. Плакальщицы распустили волосы, чтобы воспеть в слезах батыра Кульче. Джигиты опустили на одно колено, чтобы на крепкие плечи поднять его брненное тело. Все были наготове, ожидая выноса батыра. А на опушке леса стояли на привязи девять жертвенных кобылиц, девять жертвенных быков, девять девяток жертвенных овец на поминальную тризну.

И тут случилось непредвиденное. Как бы ни враждовали энесайцы между собой, но в дни похорон вождей не принято было идти войной на соседей. А теперь полчища врагов, незаметно окруживших на рассвете погруженное в печаль становище киргизов, выскочили из укрытий сразу со всех сторон, так что никто не успел сесть в седло, никто не успел взяться за оружие. И началось невиданное побоище. Убивали всех подряд. Так было задумано врагами, чтобы одним ударом покончить с дерзким племенем киргизов. Убивали поголовно всех, чтобы некому было помнить об этом злодеянии, некому было мстить, чтобы время занесло сыпучим песком следы прошлого. Было — не было...

Человека долго рожать и растить, а убить — скорее скорого. Многие уже лежали порубленные, утопая в лужах крови, многие кинулись в реку, спасаясь от мечей и копий, и потонули в волнах Энесая. А вдоль берега, вдоль круч и обрывов пылали на целые версты киргизские юрты, объятые пламенем. Никто не успел убежать, никого не осталось в живых. Все было порушено и сожжено. Тела поверженных сбросили с круч в Энесай. Враги ликовали: «Теперь эти земли наши! Теперь эти леса наши! Теперь эти стада наши!»

С богатой добычей уходили враги и не заметили, как вернулись из леса двое детей — мальчик и девочка. Непослушные и озорные, они еще утром тайком от родителей побежали в ближайший лес драть лыко на лукошки. Заигрались они, не заметили, как зашли глубоко в чащу. А когда услышали шум и крики побоища и кинулись назад, то не застали в живых ни отцов, ни матерей своих, ни братьев, ни сестер. Остались дети без роду без племени. Побежали они с плачем от пепелища, и нигде ни единой души. Осиротели в час. В целом свете остались одни. А вдали клубилась туча пыли, враги угоняли в свои владения табуны и стада, захваченные в кровавом набеге.

Увидели дети пыль копытную и пустились вдогонку. Вслед за лютыми врагами бежали дети с плачем и зовом. Только дети могли так поступить. Вместо того чтобы скрыться от убийц, они пустились их догонять. Лишь бы не оставаться одним, лишь бы уйти прочь от погромоленного, проклятого места. Взявшись за руки, мальчик и девочка бежали за угоном, просили подождать, просили взять с собой. Но где было услышать их слабые голоса в гуле, ржанье и топоте, в жарком беге угона!

Долго в отчаянии бежали мальчик и девочка. Но так и не догнали. А потом упали на землю. Боялись оглянуться вокруг, боялись шевельнуться. Жутко им было. Прижались друг к дружке и не заметили, как уснули.

Недаром говорят — у сироты семь судеб. Ночь прошла благополучно. Зверь их не тронул, лесные чудовища не уволокли. А когда проснулись, было утро. Солнце светило. Птицы пели. Встали дети и снова побрели по следу угона. Собирали по пути ягоды и коренья. Шли они и шли, а на третий день остановились на горе. Смотрят, внизу на широком зеленом лугу великое пиршество идет. Сколько юрт поставлено — не счесть, сколько костров дымят — не счесть, сколько народу вокруг костров — не счесть. Девушки на качелях качаются, песни поют. Силачи на потеху народу, как беркуты, кружат, кидают друг друга наземь. То враги праздновали свою победу.

Стояли на горе мальчик и девочка, не решались подойти. Но очень уж хотелось очутиться возле костров, где так вкусно пахло жареным мясом, хлебом, диким луком.

Не выдержали дети, стали спускаться с горы. Удивились хозяева пришельцам, окружили их кучей.

— Кто вы? Откуда?



— Мы голодные, — отвечали мальчик и девочка, — дайте нам поесть.

Те догадались по их речи, кто они такие. Зашумели, загалдели. Стали спорить: убить их, недобитое вражеское семя, тотчас же или к хану вести? Пока спорили, какая-то сердобольная женщина успела сунуть детям по куску вареной конины. Их ташили к самому хану, а они не могли оторваться от еды. Повели их в высокую красную юрту, у которой стояла стража с серебряными топорами. А по становичу пронеслась тревожная весть, что неизвестно откуда появились дети киргизского племени. Что бы это значило? Все побросали свои игры и пиршества, сбежались огромной толпой к ханской юрте. А хан в тот час восседал на белой как снег кошме со своими знатными воинами. Пил кумыс, подслащенный медом, песни слушал хвалебные. Когда узнал хан, зачем к нему явились, в страшную ярость пришел: «Как вы смели тревожить меня? Разве не перебили мы племя киргизское начисто? Разве не сделал я вас владыками Энесая на вечные времена? Чего же вы сбежались, трусливые души? Посмотрите, кто перед вами! Эй, Рябая Хромая Старуха! — крикнул хан. И сказал ей, когда она выступила из толпы: — Уведи-ка их в тайгу и сделай так, чтобы на этом кончилось племя киргизское, чтобы в помине его не было, чтобы имя его забылось вовеки. Ступай, Рябая Хромая Старуха, сделай так, как я велю...»

Молча повиновалась Рябая Хромая Старуха, взяла мальчика и девочку за руки и повела их прочь. Долго шли они лесом, а потом вышли к берегу Энесая на высокую кручу. Здесь Рябая Хромая Старуха остановила детишек, поставила рядышком на краю обрыва. И перед тем, как столкнуть их вниз, проговорила:

— О великая река, Энесай! Если гору сбросить в твою глубину, канет гора, как камень. Если бросить сосну столетнюю, унесет ее, как щепку. Прими же в воды свои две маленькие песчинки — двух детей человеческих. Нет им места на земле. Мне ли тебе сказывать, Энесай? Если бы звезды стали людьми, им не хватило бы неба. Если бы рыбы стали людьми, им не хватило бы рек и морей. Мне ли тебе сказывать, Энесай? Возьми их, унеси их. Пусть покинут они наш постылый мир в младенчестве, с чистыми душами, с совестью детской, не запятнанной злыми умыслами и злыми делами, чтобы не знать им людского страданья и самим не причинять муки другим. Возьми их, возьми их, великий Энесай...

Плачут, рыдают мальчик и девочка. До речей ли им старухиных, когда вниз с обрыва страшно взглянуть. В глубине волны ярые перекатываются.

— Обнимитесь, детки, напоследок, попросайтесь, — сказала Рябая Хромая Старуха. А сама рукава засучила, чтобы сподручней было бросать их с обрыва. И говорит: — Ну, простите меня, детки. Значит, судьба такая. Хотя и не по своей воле совершу я сейчас это дело, — но для вашего блага...

Только сказала она эти слова, как рядом раздался голос: — Обожди, большая мудрая женщина, не губи безвинных детей.

Обернулась Рябая Хромая Старуха, глянула — диву далась, стоит перед ней олениха, матка маралья. Да такие глаза у нее большущие, смотрят с укором и грустью. А сама олениха белая, как молозиво первоматки, брюхо бурой шерсткой подбито, как у малого верблюжонка. Рога — красота одна — развесистые, будто сучья осенних деревьев. А вымя чистое да гладкое, как груди женщины-кормилицы.

— Кто ты? Почему ты говоришь человечьим языком? — спросила Рябая Хромая Старуха.

— Я мать-олениха, — отвечала ей та. — А заговорила так потому, что иначе ты не поймешь меня, не послушаешься.

— Чего ты хочешь, мать-олениха?

— Отпусти детей, большая мудрая женщина. Прошу тебя, отдай их мне.

— Зачем они тебе?

— Люди убили двойню мою, двух оленят. Я ищу себе детей.

— Ты хочешь их выкормить?

— Да, большая мудрая женщина.

— А ты хорошенько подумала, мать-олениха? — засмеялась Рябая Хромая Старуха. — Ведь они дети человеческие. Они вырастут и будут убивать твоих оленят.

— Когда они вырастут, они не станут убивать моих оленят, — отвечала ей матка маралья. — Я им буду матерью, а они — моими детьми. Разве станут они убивать своих братьев и сестер?

— Ох, не скажи, мать-олениха, не знаешь ты людей! — качала головой Рябая Хромая Старуха. — Не то что лесных зверей, они друг друга не жалеют. Отдала бы я тебе сироток, чтобы ты сама узнала, что правдивы мои слова, но ведь и этих детей люди убьют у тебя. Зачем же тебе столько горя?

— Я уведу детей в далекий край, где их никто не разы-

шет. Пощади детишек, большая мудрая женщина, отпусти их. Буду я им верной матерью... Вымя мое переполнилось. Плачет мое молоко по детям. Просит мое молоко детей.

— Ну что ж, коли так, — промолвила Рябая Хромая Старуха, подумав, — бери да уводи их быстрее. Уводи сирот в свой далекий край. Но если погибнут они в пути дальнем, если убьют их разбойники встречные, если черной неблагодарностью оплатят тебе твои дети людские, — пеняй на себя.

Благодарила мать-олениха Рябую Хромую Старуху. А мальчику и девочке сказала:

— Теперь я ваша мать, вы мои дети. Поведу я вас в далекий край, где лежит среди снежных гор лесистых горячее море — Иссык-Куль.

Обрадовались мальчик и девочка, резво побежали за Рогатой матерью-оленихой. Но потом они устали, ослабли, а путь далекий — из одного края света в другой. Не ушли бы они далеко, если бы Рогатая мать-олениха не кормила их молоком своим, не согревала телом своим по ночам. Долго шли они. Все дальше оставалась позади старая родина Эне-сай, но и до новой родины, до Иссык-Куля, еще было очень далеко. Лето и зиму, весну, лето, и осень, еще лето и зиму, еще весну, еще лето и осень пробирались они сквозь дремучие леса, по знойным степям, по зыбучим пескам, через высокие горы и бурные реки. Гнались за ними стаи волков, но Рогатая мать-олениха, посадив детей на себя, уносила их от лютых зверей. Гнались за ними на конях охотники со стрелами, крича: «Олениха похитила детей человеческих! Держи! Лови!» — и стрелы пускали вдогонку; и от них, от незваных спасателей, уносила детей Рогатая мать-олениха. Бежала она быстрее стрелы, только шептала: «Крепче держитесь, дети мои, — погоня!»

Привела наконец Рогатая мать-олениха детей своих на Иссык-Куль. Стояли они на горе — дивовались. Кругом снежные хребты, а посреди гор, поросших зеленым лесом, насколько глаз хватает море плещется. Ходят белые волны по синей воде, ветры гонят их издали, угоняют вдаль. Где начало Иссык-Куля, где конец — не узнать. С одного края солнце восходит, а на другом еще ночь. Сколько гор стоят вокруг Иссык-Куля — не счесть, а за теми горами сколько еще таких же снежных гор высится — тоже не угадать.

— Это и есть ваша новая родина, — сказала Рогатая мать-олениха. — Будете жить здесь, землю пахать, рыбу ловить, скот разводить. Живите здесь с миром тысячи лет. Да про-

длится ваш род и умножится. Да не забудут потомки ваши речь, которую вы сюда принесли, пусть им сладко будет говорить и петь на своем языке. Живите, как должны жить люди. А я буду с вами и с детьми ваших детей во все времена...

Вот так мальчик и девочка, последние из киргизского племени, обрели себе новую родину на благословенном и вечном Иссык-Куле.

Быстро время прошло. Мальчик стал крепким мужчиной, а девочка — зрелой женщиной. И тогда поженились они, стали мужем и женой. А Рогатая мать-олениха не покинула Иссык-Куль, жила в здешних лесах.

Однажды на рассвете разбушевался вдруг Иссык-Куль, зашумел. Роды наступили у женщины, мучилась она. А мужчина испугался. Взбежал на скалу и стал громко звать:

— Где ты, Рогатая мать-олениха? Слышишь, как шумит Иссык-Куль? Твоя дочь рождает. Приходи скорей, Рогатая мать-олениха, помоги нам...

И послышался тогда издали звон переливчатый, словно караванный колоколец позванивает. Все ближе и ближе доносился тот звон. Прибежала Рогатая мать-олениха. На рогах своих, подцепив за дужку, принесла она детскую колыбель — бешик. Бешик был из белой березы, а на дужке бешика серебряный колокольчик гремел. И поныне гремит тот колоколец на бешиках иссык-кульских. Качает мать колыбель, а колокольчик серебряный позванивает, будто бежит издали Рогатая мать-олениха, спешит, колыбель березовую несет на рогах...

Как только явилась на зов Рогатая мать-олениха, так и разродилась женщина.

— Этот бешик для вашего первенца, — сказала Рогатая мать-олениха. — И будет у вас много детей. Семеро сыновей, семеро дочерей!

Обрадовались мать и отец. Назвали первенца своего в честь Рогатой матери-оленихи — Бугубаем. Вырос Бугубай, взял красавицу из племени кипчаков, и стал умножаться род Бугу — род Рогатой матери-оленихи. Стал большим и сильным род бугинцев на Иссык-Куле. Чтили Рогатую мать-олениху бугинцы как святыню. На бугинских юртах над входом вышивали знак — рога марала, чтобы издали было видно, что юрта принадлежит роду Бугу. Когда отражали бугинцы набеги врагов, когда состязались на скачках, раздавался клич: «Бугу!» И всегда бугинцы выходили победителями. А

в лесах иссык-кульских бродили тогда белые рогатые маралы, красоте которых завидовали звезды в небе. То были дети Рогатой матери-оленихи. Никто их не трогал, никто в обиду не давал. При виде марала бугинец сходил с седла, уступая дорогу. Красоту любимой девушки сравнивали с красотой белого марала...

Так было, пока не умер один очень богатый, очень знатный бугинец — у него овец было тысячи тысяч, лошадей — тысячи тысяч, а все люди вокруг в пастухах у него были. Великие поминки устроили его сыновья. Созвали они на поминки самых знаменитых людей со всех концов земли. Для гостей поставили тысячу сто юрт на берегу Иссык-Куля. Не счесть, сколько скота было зарезано, сколько кумыса выпито, сколько яств кашгарских было подано. Сыновья богача ходили важные: пусть знают люди, какие богатые и щедрые наследники остались после умершего, как они его уважают, как почитают его память... («Э-э, сын мой, худо, когда люди не умом блещут, а богатством!»)

А певцы, разъезжая на аргамаках, подаренных им сыновьями покойника, красуясь в подаренных собольих шапках и шелковых халатах, наперебой восхваляли и покойного, и наследников.

— Где еще увидишь под солнцем такую счастливую жизнь, такие пышные поминки? — поет один.

— Со дня сотворения мира такого еще не бывало! — поет второй.

— Нигде, только у нас так почитают родителей, воздают памяти родительской честь и славу, чтут их святые имена, — поет третий.

— Эй, певцы-краснобаи, что вы тут галдите! Разве есть на свете слова, достойные этих щедрот, разве есть слова, достойные славы покойного! — поет четвертый.

И так состязались они день и ночь. («Э-э, сын мой, худо, когда певцы состязаются в славословии, из певцов они превращаются во врагов песни».)

Много дней, как праздник, справлялись те знаменитые поминки. Очень хотелось кичливым сыновьям богача затмить других, превзойти всех на свете, чтобы слава о них пошла по всей земле. И надумали они установить на гробнице отца рога марала, дабы все знали, что это усыпальница их славного предка из рода Рогатой матери-оленихи. («Э-э, сын мой, еще в древности люди говорили, что богатство рождает гордыню, гордыня — безрассудство».)

Захотелось сыновьям богатея оказать памяти отца эту неслыханную честь, и ничто их не удержало. Сказано — сделано! Послали охотников, убили охотники марала, срубили его рога. А рога саженьи, как крылья орла на взлете. Понравились сыновьям маральи рога, по восемнадцать отростков на каждом — значит, жил восемнадцать лет. Хорош! Велели они мастерам установить рога на гробнице.

Старики возмутились:

— По какому праву убили марала? Кто посмел поднять руку на потомство Рогатой матери-оленихи?

А им отвечают наследники богача:

— Марал убит на нашей земле. И все, что ходит, ползает, летает в наших владениях, от мухи до верблюда, — это наше. Мы сами знаем, как нам поступать с тем, что наше. Убирайтесь.

Слуги отхлестали стариков плетками, посадили на коней задом наперед и погнали их с позором прочь.

С этого и пошло... Великое несчастье свалилось на потомство Рогатой матери-оленихи. Чуть ли не каждый стал охотиться в лесах на белых маралов. Каждый бугинец долго считал установить на гробницах предков маральи рога. Дело это теперь почиталось за благо, за особое уважение к памяти умерших. А кто не умел добыть рога, того считали теперь недостойным человеком. Стали торговать маральими рогами, стали запасать их впрок. Появились такие люди из рода Рогатой матери-оленихи, что сделали своим ремеслом добычу маральих рогов и продажу их за деньги. («Э-э, сын мой, а там, где деньги, слову доброму не место, красоте не место».)

Гиблое время наступило для маралов в иссык-кульских лесах. Не было им пощады. Бежали маралы в недоступные скалы, но и там доставали их. Напускали на них своры гончих собак, чтобы выгоняли маралов на стрелков в засаде, били без промаха. Косяками губили маралов, выбивали их целыми стадами. Об заклад бились, кто достанет такие рога, на каких отростков больше.

И не стало маралов. Опустели горы. Не услышать марала ни в полночь, ни на рассвете. Не увидеть ни в лесу, ни на поляне, как он пасется, как скачет, запрокинув на спину рога, как перемахивает через пропасть, точно птица в полете. Народились люди, которые за всю свою жизнь ни разу не видели марала. Только слышали о них сказки да видели рога на гробницах.

А что случилось с Рогатой матерью-оленихой?

Обиделась она, крепко обиделась на людей. Говорят, когда маралам совсем не стало житья от пуль и гончих собак, когда осталось маралов столько, сколько на пальцах нетрудно перечесать, поднялась Рогатая мать-олениха на самую высокую горную вершину, попрощалась с Иссык-Кулем и увела последних детей своих за великий перевал, в другой край, в другие горы.

Вот какие дела бывают на земле. Вот и сказка вся. Хочешь верь, хочешь нет.

А когда Рогатая мать-олениха уходила, сказала она, что никогда не вернется...

## 5

Снова стояла осень в горах. Снова после шумного лета все настраивалось на осеннюю тишину. Улеглась окрест пыль скотогона, погасли костры. Стада ушли на зиму. Люди ушли. Опустели горы.

Уже в одиночку летали орлы, скупко роняя клекот. Глуше шумела вода в реке: привыкла река за лето к руслу, притерлась, обмелела. Трава перестала расти, приувядала на корню. Листья устали держаться на ветках и кое-где начинали опадать.

А на самые высокие вершины по ночам уже ложится молодой серебристый снег. К утру темные гряды хребтов становились седыми, как заливки чернобурых лисиц.

Настывал, нахолаживался ветер в ущельях. Но пока еще дни стояли светлые, сухие.

Леса за рекой, напротив кордона, быстро входили в осень. От самой реки и вверх, до границы Черного бора, бездомным пожаром шел по крутому мелколесью осенний пал. Самыми яркими — рыже-багряными — и самыми цепкими на подъем были осиновые и березовые чащи: они добирались до подснежных высот большого леса, до царства сумрачных сосен и елей.

В бору было чисто, как всегда, и строго, как в храме. Только коричневые твердые стволы, только смолистый сухой запах, только бурые иглы, сплошь усыпавшие подножие леса. Только ветер, неслышно текущий между верхушками старых сосен.

Но сегодня с утра над горами галдели не смолкая растревоженные галки. Большая, яростно орущая стая непрестан-

но кружила над сосновым лесом. Галки всполошились сразу, заслышав стук топоров, и теперь, крича наперебой, точно их ограбили среди бела дня, преследовали двоих людей, спускавших с горы срубленную сосну.

Бревно волокли на цепях конной упряжкой. Орозкул шел впереди, держа коня под уздцы. Набывчившись, цепляя плащом за кусты, он шел, тяжело дыша, как вол в борозде. За ним позади бревна поспевал дед Момун. Ему тоже было нелегко на такой высоте, задыхался старик. В руках у него была березовая вага, которой он поддевал на ходу бревно. Бревно то и дело утыкалось то в пеньки, то в камни. А на спусках так и норовило вывернуться поперек склона и покатиться вниз. Тогда не миновать беды — расшибет насмерть.

Опасней тому, кто боится бревно вагой, — но чем черт не шутит: Орозкул уже несколько раз испуганно отпрыгивал прочь от упряжки, и всякий раз обжигало его стыдом, когда он видел, что старик, рискуя жизнью, удерживает бревно на скате и ждет, пока Орозкул вернется к лошади и возьмет ее под уздцы. Но недаром говорят: чтобы скрыть свой позор, надо опозорить другого.

— Ты что, на тот свет хочешь отправить меня? — орал Орозкул на тестя.

Вокруг никого не было, кто бы мог услышать и осудить Орозкула: где видано, чтобы со стариком так обращались? Тесть робко заметил, что ведь и он сам может попасть под бревно, — зачем же кричать на него так, как будто он нарочно все делает.

Но это еще сильнее раздражало Орозкула.

— Ишь ты какой! — негодовал он. — Тебя расшибет, так ведь ты пожил уже свое. Что тебе? А я разобьюсь, кто возьмет твою неродящую дочь? Кому она нужна, такая бесплодная, как хлыст шайтана?..

— Трудный ты человек, сын мой. Нет у тебя уважения к людям, — ответил на это Момун.

Орозкул даже приостановился, смерил старика взглядом.

— Такие старики давно у очагов лежат, задницу себе греют на золе. А тебе зарплата идет, какая ни есть. А откуда она, эта зарплата? Через меня. Какого же тебе еще уважения нужно?

— Да ладно уж, к слову сказал, — смирился Момун.

Так они шли. Преодолев еще один подъем, остановились на откосе передохнуть. Лошадь взмокла вся, покрылась мылом.



А галки все так же не успокаивались, все кружились. Их было тьма, и галдели они так, словно задались целью сегод-ня весь день только и делать, что кричать.

— Зиму раннюю чуют, — промолвил Момун, чтобы поговорить о другом и тем смягчить гнев Орозкула. — Это они к отлету сбиваются. Не любят, когда им мешают, — добавил он, точно извиняясь за неразумных птиц.

— А кто им мешает? — резко обернулся Орозкул. И побагровел вдруг. — Заговариваешься ты что-то, старик, — тихо проговорил он с угрозой в голосе.

«Ишь, — подумал он, — на что намекает! Что ж это, из-за его галок и сосну не тронь, и ветку не сломи? Как бы не так! Пока что я здесь еще хозяин». Он зыркнул глазами на орущую стаю: «Эх, пулемет бы!» — и, отвернувшись, нехорошо выругался.

Момун промолчал. Ему не привыкать к матершине зятя. «Опять нашло на него, — опечалился старик про себя. — Выпьет — звереет. С похмелья тоже — не скажи ничего. И почему только люди становятся такими? — сокрушался Момун. — Ты ему добро — он тебе зло. И не застыдится, и не одумается. Вроде бы так и должно быть. Всегда правым себя считает. Только бы ему было хорошо. Все вокруг должны угрожать ему. А не захочешь — заставит. Хорошо еще когда сидит такой вот в горах, в лесу, и под рукой у него народу — раз-два, и обчелся. А ну, окажись он у власти повыше? Не приведи боже... И нет им переводу, таким. Всегда урвут свое. И никуда ты от такого не денешься. Везде он ждет тебя, сыщет тебя. И чтобы жилось ему вольготно, душу из тебя вытрясет. И прав останется. Да, нет таким переводу...»

— Ну, довольно стоять, — прервал Орозкул размышления старика. — Пошли, — приказал он.

И они двинулись.

Сегодня с самого утра Орозкул был не в духе. Утром, когда надо было переправляться с инструментом на тот берег в лес, Момун спешил отвезти внука в школу. Совсем из ума выжил старик! Каждое утро седлает коня, отвозит мальчишку в школу, потом снова скачет, привозит его из школы. Возится с этим брошенным пригулком. Подумаешь, в школу нельзя опаздывать! А тут такое дело, бог знает, как оно получится, — так с этим можно ждать, так выходит? «Я, — говорит, — мигом обернусь, стыдно перед учительницей, если мальчишка опоздает на урок». Нашел кого стыдиться! Ну и дурак! Да кто она такая, учительница эта? Пять лет в одном

пальто ходит. Только видишь с тетрадами, с сумками. Голосует на дороге — все ей в район требуется, все ей чего-то не хватает, — то угля для школы, то стекла, то мела, а то и тряпок. Да разве порядочная учительница пойдет в такую школу? Название какое придумали — карликовая школа. Она и вправду карликовая. Какой от нее толк? Настоящие учителя в городе. Школы сплошь из стекла. Учителя в галстуках. Но то в городе... Начальство там какое ездит по улицам. А какие машины! Так и хочется остановиться и замереть, вытянуться, пока она проскользит, машина эта черная, блестящая, плавная. А они, городские люди, будто и не замечают этих машин, некогда — спешат, бегут куда-то. Вот там, в городе, жизнь так жизнь! Туда бы двинуться, там бы где пристроиться. Там умеют уважать человека по должности. Раз положено — значит, обязан уважать. Большая должность — больше уважения. Культурные люди. И за то, что побывал в гостях или подарок какой получил, бревна таскать или что-нибудь вроде этого делать там не приходится. Не то что здесь — полсотню, от силы сотню он тебе даст, лес увезет да еще жалобу накатает на тебя: взяточник Орозкул, такой-сякой... Темнота!

— Да-а, в город бы... Эх, послал бы ко всем чертям и горы эти, и леса эти, и бревна эти, трижды проклятые, и жену эту пустобрюхую, и старика безмозглого с пашенком этим, с которым он возится, как с невидалью какой. Эх, выиграл бы я, как сытый конь на овсе! Заставил бы себя уважать: «Орозкул Балажанович, разрешите войти к вам в кабинет?» А там и женился бы на городской. А почему бы и нет? Скажем, на артистке какой-нибудь, красавице, что поет да пританцовывает с микрофоном в руке; говорят, для них главное, чтобы человек при должности был. Взял бы такую под ручку, а сам при галстуке. И — в кино. А она каблучками стучит и духами пахнет. Прохожие носом тянут. Смотришь, и дети народились бы. Сына на юриста выучил бы, а дочку, чтобы на рояле играла. Городские дети сразу заметные — умные. Дома только по-русски говорят — станут они забивать себе головы деревенскими словами. Он бы своих так и воспитал: «Папочка, мамочка, хочу то, хочу это...» Разве же своему чаду что пожалеешь? Эх, многим бы нос утер, показал бы, кто он есть! А чем он хуже других? Те, что наверху, лучше его, что ли? Такие же люди, как он. Просто им повезло. А ему нет. Увильнуло счастье. Да и сам виноват. После курсов для лесничих надо было в город, в тех-

никум податься, а то и в институт. Поторопился — на должность потянуло. Хотя и маленькая, но должность. Вот и ходи теперь по горам, таскай бревна, как ишак. А тут еще галки эти. И чего орут, чего кружатся? Эх, пулемет бы...

Было с чего расстраиваться Орозкулу. Отгулял лето. Надвигалась осень, а вместе с летом уходила пора гостеваний у чабанов и табунщиков. Как это поется: «Отцвели цветы на джайлоо, пора собираться в низовья...»

Осень настала. Приходилось Орозкулу рассчитывать за почет, за угощения, за долги, за обещания. Да и за хвастовство: «Тебе что? Два кругляка сосновых на матицы, только-то? О чем тут говорить! Приедешь, увезешь».

Наболтал, подношенья получал, водку пил, — а теперь задыхаясь, обливаясь потом, проклиная все на свете, пер эти кругляки по горам. Боком они выходили ему. Да и вообще вся жизнь его боком шла. И вдруг мелькнула в голове отчаянная мысль: «А плюну на все и уйду куда глаза глядят!» Но он тут же понял, что никуда не уйдет, никому нигде не нужен и нигде такой жизни, какой хочет для себя, не сыщет.

Попробуй уйти отсюда или отказаться от обещанного! Его свои же друзья-приятели выдадут. Народ пошел никудышный. В позапрошлом году своему же сородичу бугинцу пообещал за дареного ягненка сосновое бревно, а осенью не захотелось ему лезть наверх за сосной. Это сказать легко, а ну, попробуй, доберись туда, да спиши, да приволоки ее. И если к тому же сосна не один десяток лет прожила на свете, ну-ка, повозись с ней! Да ни за какое золото не захочешь браться за такое дело. А в те дни как раз заболел старик Момун, слег в постель. В одиночку же не справиться было, да и никто не справится один на один с бревном в горах. Свалить, может, и свалит сосну, да не стащит вниз... Знал бы наперед, что случится, сам бы с Сейдахматом полез за сосной. Но Орозкул поленился карабкаться в горы и решил отделаться от сородича первой попавшейся лесинной. Тот ни в какую: подавай ему настоящее сосновое бревно — и все тут! «Ягненка брать умеешь, а слово сдержат нет?» Орозкул рассвирепел, выставил его со двора: не хочешь брать — убирайся. А тот парень не промах, настрочил на объездчика Сан-Ташского заповедного леса Орозкула Балажанова жалобу, и такое там расписал — и правду, и неправду, — что впопору было расстрелять Орозкула как «вредителя социалистического леса». Долго потом таскали Орозкула по разным проверочным комиссиям из района, из лесного министерст-

ва. С трудом выпутался... Вот тебе и родственник! А еще: «Все мы дети Рогатой матери-оленихи. Один за всех, и все за одного!» Да ерунда все это, какая там, к черту, олениха, когда за копейку готовы друг другу в горло впитаться или в тюрьму засадить! Это в прежние времена люди верили в олениху. До чего же глупые и темные были тогдашние люди, смешно! А теперь все культурные, все грамотные! Кому нужны они, эти сказки для малых детей!

После того случая Орозкул дал зарок: больше никому, никаким знакомым, никаким соплеменникам, пусть хоть трижды будут они детьми Рогатой матери-оленихи, не даст ни сучка, ни хворостинки.

Но возвратилось лето. Забелели юрты на зеленых горных лугах, загомонили стада, потянулись дымки у ручьев и рек. Солнце сияло, кумысом пьянящим пахло, цветами пахло. Хорошо сидеть на свежем воздухе подле юрты, на зеленой траве, в кругу друзей-приятелей, наслаждаться кумысом, молодым мясом. А потом ахнуть стакан водки, чтобы замутилось в башке. И почувствовать, что под силу тебе дерево вырвать с комлем или голову свернуть вон той горе... Забывал Орозкул в такие дни о своем зароке. Сладко ему было слышать, как называли его большим хозяином большого леса. И опять обещал, опять принимал подношенья... И опять какая-то из реликтовых сосен в лесу не подозревала, что дни ее сочтены, вот только наступит осень.

А осень незаметно прокрадывалась в горы со сжатых полей и принималась шнырять кругом. И там, где она пробежала, рыжела трава, рыжели листья в лесу.

Ягоды зрели. Ягнята росли. Делили их на отары — ярокчек отдельно, баранчиков отдельно. Женщины прятали сушеный сыр в зимние мешки. Мужчины принимались советовать, кому первому открывать обратный путь в долины. А перед уходом те, что сговаривались летом с Орозкулом, предупреждали его, что в такой-то день, в такой-то час придут на кордон с машинами, приедут за обещанным лесом.

Вот и сегодня вечером приедет машина с прицепом, чтобы увезти два сосновых бревна. Одно уже было внизу, уже переправлено через реку и доставлено к тому месту, куда подъедет машина. Второе — вот оно, волокут его вниз. Если бы мог Орозкул сейчас вернуть все, что съел и выпил под эти бревна, он тотчас бы сделал это, лишь бы избавиться от труда и мучений, которые сейчас вынужден терпеть.

Увы, нет способа изменить свою проклятую судьбу в горах: машина с прицепом прибудет сегодня вечером, чтобы ночью вывезти бревна.

Хорошо еще, если все благополучно обойдется. Дорога проходит через совхоз, прямо возле конторы, другого пути нет, а в совхоз, бывает, навевается милиция, госинспекция, и мало ли еще кто может оказаться там из района. Попадется им лесовоз на глаза: «Откуда везете лес и куда?»

Спина у Орозкула холодела при этой мысли. И злоба вскипала в нем ко всем и ко всему — к галдящим галкам над головой, к несчастному старику Момуну, к Сейдахмату, лентяю, догадавшемуся три дня тому назад уехать в город продавать картошку. Ведь знал он, что предстоит стаскивать бревна с гор! Улизнул, выходит... И вернется теперь только тогда, когда кончит свои дела на базаре. Не то приказал бы ему Орозкул вдвоем со стариком бревна приволочь, не мучился бы сам.

Но Сейдахмат был далеко, галок тоже достать нечем. На худой конец можно было бы излупить жену, но до дома добираться еще долго. Оставался старый Момун. Задыхаясь и все больше свирепея от горного удушья, матерясь на каждом шагу, Орозкул шел напролом через кусты, не жалея ни лошади, ни идущего за ним старика. Пусть подохнет лошадь, пусть подохнет этот старик, пусть он сам подохнет от разрыва сердца! Раз ему нехорошо — значит, и другим не должно быть хорошо. Пусть провалится этот мир, где все устроено не так, как требуется, не так, как положено Орозкулу по его достоинствам и по должности!

Уже не владея собой, Орозкул повел коня по кустарнику прямо на крутой спуск. Пусть Расторопный Момун попляшет вокруг бревна. И пусть попробует не удержать! «Прибью старого дурака — и все тут», — решил Орозкул. В другое время он никогда не посмел бы сунуться с бревном-волокушей на такой опасный откос. А тут бес попутал. И не успел Момун остановить его, успел лишь крикнуть: «Куда ты? Куда? Остановись!» — как бревно крутнулось на цепи и, сминая кусты, покатилося вниз. Бревно было сырое, тяжелое. Момун попытался было подставить вагу, чтобы не дать бревну скатиться вниз. Но удар оказался такой силы, что вагу вышибло из рук старика.

Все произошло в одно мгновение. Лошадь упала, и ее на боку потащило вниз. Падая, она сшибла Орозкула. Он катился, судорожно цепляясь за кусты. И в этот момент какие-

то рогатые животные испуганно шарахнулись в густой листве. Высоко и сильно подпрыгивая, они скрылись в березовой чаще.

— Маралы! Маралы! — вне себя от испуга и радости вскричал дед Момун. И замолк, будто не веря своим глазам.

И вдруг в горах стало тихо. Галки разом улетели. Бревно задержалось на скате, подмяв под себя молодые крепкие березки. Лошадь, путаясь в сбруе, сама встала на ноги.

Орозкул, весь оборванный, отползал в сторону. Момун бросился на выручку к зятю.

— О пресвятая мать, Рогатая олениха! Это она спасла нас! Ты видел? Это дети Рогатой матери-оленихи. Вернулась наша мать! Ты видел?

— Еще не веря, что все обошлось, Орозкул встал, мрачный, пристыженный, и отряхнулся:

— Не болтай, старик. Хватит! Выводи вон коня из постромков.

Момун послушно кинулся выпутывать лошадь.

— О пречудная мать, Рогатая олениха! — продолжал он радостно бормотать. — Вернулись маралы в наши леса. Не забыла нас Рогатая мать! Простила наш грех...

— Все бормочешь? — огрызнулся Орозкул. Он уже оправился от испуга, и прежняя злоба глодала его душу. — Сказки свои рассказываешь? Сам тронулся умом, так думаешь, и другие поверят твоим дурацким выдумкам!

— Я видел своими глазами. Это были маралы, — не сдавался дед Момун. — А разве ты не видел, сын мой? Ты же видел сам.

— Ну, видел. Вроде промелькнули штуки три...

— Верно, три. Мне тоже так показалось.

— Ну и что из того? Маралы так маралы. Тут вон человек чуть шею себе не свернул. Чего же радоваться? А если это были маралы, то пришли они, значит, из-за перевала. Там, в Казахстане, на той стороне гор, в лесах, говорят, водятся еще маралы. Там тоже заповедник. Возможно, заповедные маралы. Пришли так пришли. Нам какое дело. Казахстан нас не касается.

— Может, приживутся у нас? — помечтал дед Момун. — Остались бы...

— Ну хватит! — оборвал его Орозкул. — Пошли.

Им надо было еще долго спускаться с бревном, а потом переправить его через реку волоком, в упряжи. И тоже трудное это дело. А затем, если удастся благополучно перета-

щить бревно через реку, надо еще дотянуть его до пригорка, где будет грузиться машина.

Ох, сколько трудов!..

Орозкул чувствовал себя совсем несчастным. И все вокруг казалось ему устроенным несправедливо. Горы — они ничего не чувствуют, ничего не желают, ни на что не жалуются, стоят себе и стоят; леса входят в осень, а потом в зиму войдут и не видят в этом ничего трудного. Галки и те летают себе на свободе и орут, сколько им влезет. Маралы, если то действительно были маралы, пришли из-за перевала и будут бродить в лесу как хотят и где хотят. В городах люди беспечно шагают по асфальтированным улицам, ездят на такси, сидят в ресторанах, предаются забавам. А он заброшен судьбою в эти горы, он несчастлив... Даже этот Расторопный Момун, тесть его никудышный, и тот счастливее, потому что он верит в сказки. Глупый человек! Глупцы всегда довольны жизнью.

А Орозкул ненавидит свою жизнь. Она не по нем. Эта жизнь для таких, как Расторопный Момун. Ему-то что надо, Момуну? Сколько живет, столько и горб гнет изо дня в день без отдыха. И в жизни ни один человек не был у него в подчинении, а он подчинялся всем, даже старухе своей, он даже ей не прекословит. Такой горемыка и сказкой будет счастлив. Увидел маралов в лесу — до слез дошел, точно встретил братьев родных, которых сто лет по свету искал.

Эх, что там говорить!..

Они вышли наконец на последний рубеж, откуда начинался длинный крутой спуск к реке. Остановились передохнуть.

За рекой, во дворе кордона, возле дома Орозкула что-то дымило. По дыму можно было догадаться — самовар. Значит, жена уже ждала его. Но от этого Орозкулу не стало легче. Дышал он широко ртом, воздуха не хватало. В груди болело, и в голове, как эхо, стучали удары сердца. Пот со лба разъедал глаза. А впереди еще такой долгий и крутой спуск. И дома ждет пустобрюхая жена. Ишь, самовар поставила, угодить хочет... Он вдруг почувствовал острое желание разбежаться и пнуть ногой этот пузатый самовар, да так, чтобы полетел он ко всем чертям. А потом наброситься на жену и бить ее, бить в кровь, насмерть. Мысленно он наслаждался этим, слыша вопли жены, ее проклятия судьбе своей горемычной. «Ну и пусть, — думал он. — Пусть! Мне плохо, почему ей должно быть хорошо?»

Его мысли прервал Момун.

— Я и забыл, сын мой, — спохватился он и поспешно пошел к Орозкулу. — Мне ведь в школу надо, малыша забрать. Уроки-то кончились.

— Ну и что? — нарочито спокойно произнес Орозкул.

— Не сердись, сын мой. Оставим бревно здесь. Спустимся. Ты пообедаешь дома. А я тем временем проскочу на коне в школу. Заберу мальчишку. Вернемся и переправим бревно.

— И долго ты думал, старик, пока это придумал? — съязвил Орозкул.

— Да ведь плакать будет мальчишка.

— Ну и что? — вскипел Орозкул. Наконец-то было за что проучить старика в полной мере. Весь день Орозкул искал, к чему бы придраться, а теперь Момун сам давал ему повод. — Он будет плакать, а мы будем дело бросать? Утром морочил голову — в школу повезу. Хорошо, отвез. Теперь из школы привезу? А я что? Или мы здесь в игрушки играем?

— Не надо, сын мой, — попросил Момун. — В такой день! Я-то ладно, но мальчишка будет ждать, будет плакать в такой день...

— Что — в такой день? Какой это такой особый день?

— Маралы вернулись. Зачем же в такой день...

Орозкул опешил, даже замолчал от удивления. Он уже и забыл про этих маралов, которые вроде бы промелькнули быстрыми, скачущими теньями, когда он катился по колючим кустарникам, когда душа у него от страха ушла в пятки. Каждую секунду его могло приутюжить сорвавшимся со склона бревном. Не до маралов было и не до болтовни этого старика.

— Ты за кого меня принимаешь? — тихо и яростно сказал он, дыша в лицо старику. — Жаль, что нет у тебя бороды, а не то потаскал бы, чтобы не считал других глупее себя. Да на кой хрен мне твои маралы! Буду я еще думать о них. Ты мне зубы не заговаривай. Давай становись к бревну. И пока не перетащим через реку, и не зайкайся ни о чем. Кто там в школу ходит, кто там плачет — дела мне нет никакого. Хватит, пошли...

Момун, как всегда, повиновался. Он понимал, что не вырвется из рук Орозкула, пока бревно не будет доставлено на место, и молча отчаянно работал. Больше он не проронил ни слова, хотя душа исходила криком. Внук ждет его возле школы. Все ребята уже разбежались по домам, и только он один, его сирый внук, глядит на дорогу и ждет деда.



Старик представлял себе, как дети всем классом выскочили, топая, из школы, как стали разбегаться по домам. Проголодались. Еще на улице они чувят запах приготовленной им еды и, радостные, возбужденные, пробегают под окнами своих домов. Матери ждут уже. У каждой есть улыбка, от которой голова идет кругом. Худо ли самой матери, хорошо ли ей, а на улыбку для своего ребенка у нее всегда сил хватит. И если даже мать прикрикнет построже: «А руки? Руки кто будет мыть?» — все равно в глазах у нее спрятана та же улыбка.

У момуновского внука с тех пор, как он стал учиться, руки всегда были в чернилах. И деду это даже нравилось: значит, парень делом занимается. И вот стоит сейчас на дороге его внук, с руками в чернилах, держа свой любимый портфель, купленный этим летом. Он, наверно, устал ждать и уже беспокойно поглядывает, прислушивается — не появится ли на пригорке дед верхом на коне. Ведь он всегда вовремя приезжал. Когда мальчик выходил из школы, дед, уже спешившись, ждал его неподалеку. Все расходились по домам, а внук бежал к деду. «Вон дедушка. Побежим!» — говорил мальчик портфелю. И, добежав, смущенно кинулся бы к деду, обнял его и ткнулся лицом в живот, вдыхая привычный запах старой одежды и сухого летнего сена: в эти дни дед переправлял на выюках сено с того берега, зимой по глубокому снегу не доберешься до него, лучше перевезти с осени. И долго потом Момун ходил, пропахнувший горьковатой сенной пылью.

Дед сажал мальчика позади себя на круп лошади, и они ехали домой то дорожной рысцой, то шагом, то молча, то переговариваясь о чем-нибудь незначительном, и незаметно приезжали. Через седловину между горками спускались к себе, в Сан-Ташскую падь.

Неистовое влечение мальчика к школе раздражало бабу. Едва проснувшись, он быстро одевался и перекладывал книги и тетради в портфеле. Бабу сердило и то, что он кладет на ночь портфель рядом с собой. «И чего это ты прилип к этому поганому портфелю? Хоть бы стал он тебе женой, нас от калыма за невесту избавил...» Мальчик пропускал мимо ушей бабкины слова, да и не очень понимал, о чем идет речь. Главным для него было не опаздывать в школу. Он выбегал во двор, торопил деда. И успокаивался лишь тогда, когда школу было уже видно.

Однажды они все же опоздали. На прошлой неделе чуть свет Момун переправился верхом на тот берег. Решил сде-

лать с утра одну езду за сеном. Все бы ничего, но по пути вьюк развязался, сено высыпалось. Пришлось снова перевязывать весь вьюк, снова навьючивать коня. Второпях увязанное сено снова рассыпалось у самого берега.

А внук уже ждал на той стороне. Он стоял на шербатам камне, размахивал портфелем и что-то кричал, звал. Старик заспешил — веревки запутались, не развяжешь, стянулись в узлах. А мальчишка все кричал, и старик понял, что он уже плачет. Тогда он бросил все — сено и веревки, — сел на лошадь — и побыстрей к внуку, через брод.

Пока переправился, тоже время прошло: через брод не поскачешь — воды много, течение быстрое. Осенью еще не так страшно, а летом сшибет коня с ног — и пропал. Когда Момун наконец перебрался через реку и подъехал к внуку, тот уже плакал навзрыд. На деда не смотрел, только плакал и приговаривал: «Опоздал, опоздал в школу...» Старик свесился с коня, поднял мальчика к себе в седло и поскакал. Была бы она рядом, эта школа, сам бы бегал мальчишка. А то ведь всю дорогу не переставая плакал, и никак не мог старик успокоить его. Так и привез ревушего в школу. А уроки уже начались. Повел прямо в класс.

Извинялся, извинялся Момун перед учительницей, обещал, что в другой раз такого не случится. Но больше всего потрясло старика то, как плакал внук, переживал свое опоздание. «Дай-то бог, чтобы всегда так тянуло в школу», — думал дед. Однако почему все-таки так плакал парнишка? Значит, есть в его душе обида, невысказанная, своя обида...

И теперь, идя обочь бревна, забегая то на одну, то на другую сторону, подталкивая, подтыкивая бревно вагой, чтобы оно нигде не цеплялось, чтобы скользило быстрее с горы, Момун все думал: как-то он там, внук?

А Орозкул не спешил. Он шел коноводом. Да и не очень поспешишь тут — спуск долгий, крутой, приходится идти по склону наискось. Но разве нельзя было уважить его просьбу — оставить пока бревно, а потом вернуться и забрать? Эх, была бы сила, взвалил бы он бревно на плечо, шагнул через реку, сбросил бы его на то место, где будет грузиться машина! Натe, мол, получите свое бревно — и отстаньте. А сам пустил бы Момуна к внуку.

Но где там! Надо еще добраться до берега, по камням, по галечнику, а там через брод волочить бревно конем на ту сторону. А конь уже замучился — сколько прошел он по горам то вниз, то вверх... Хорошо еще, если все обойдется, а

ну как застопорится бревно в камнях на середине реки или конь споткнется и упадет?

И когда они пошли по воде, дед Момун взмолился: «По-моги, Рогатая мать-олениха, не дай застрячь бревно, не дай коню упасть!» Разувшись, перекинув сапоги через плечо, закатав штаны выше колен, с вагой в руках дед Момун поспевал за плывущим бревном. Бревно волокли наискось против течения. Насколько чиста и прозрачна была вода в реке, настолько и холодна. Осенняя вода.

Старик терпел: пусть, ноги не отваяются, лишь бы быстрее переправить бревно. И все-таки бревно застряло, как назло, село на камни в самом порожистом месте. В таких случаях надо дать коню немного передохнуть и затем понукнуть его как следует, хорошим рывком можно снять бревно с камней. Но Орозкул, сидя на нем верхом, нещадно нахлестывал камчой уже ослабевшего, притомившегося коня. Конь оседал на задние ноги, скользил, спотыкался, а бревно не трогалось с места. Ноги старика окоченели, в глазах у него стало темнеть. Голова кружилась. Обрыв, лес над обрывом, облака в небе наклонились, падали в реку, уплывали по быстрому течению и снова возвращались. Плохо становилось Момуну. Проклятое бревно! Было бы оно сухое, вылежавшееся, тогда разговор другой, — сухой лес сам по воде плывет, только удерживай его. Это же только спилили и сразу поволокли через реку. Кто же так делает! Вот и получается. У темного дела конец худой. Оставлять сосну на высушку Орозкул не решает: нагрянет инспекция, акт составит — порубка ценных деревьев в заповедном лесу. Потому, как спилили, так побыстрее стаскивает бревно с глаз долой.

Орозкул бил коня каблуками, плетью, бил его по голове, матерился, орал на старика, — будто он, Момун, был виноват во всем, а бревно не поддавалось, оно все больше залеживалось в камнях. И лопнуло терпенье старика. В первый раз за всю жизнь он повысил голос во гневе.

— Слазь с коня! — решительно подошел он к Ороzkулу, стягивая его с седла. — Разве ты не видишь, что конь не тянет? Слазь сейчас же!

Удивленный Орозкул молча подчинился. Прыгнул прямо в сапогах с седла в воду. С этой минуты он как бы оглушел, оглох, потерял себя.

— Давай! Подналяг! Вместе давай!

По команде Момуна они налегли на вагу, приподнимая бревно с места, высвобождая его из затора камней.

До чего же умное животное конь! Он рванулся именно в этот момент и, спотыкаясь, скользя по камням, натянул постромки в струну. Но бревно чуть стронулось с места, заскользило и снова застряло. Конь сделал еще рывок и не удержался, упал в воду, забарахтался, путаясь в сбруе.

— Коня! Коня поднимай! — толкнул Момун Орозкула.

Вместе с трудом им удалось помочь лошади встать на ноги. Конь дрожал от холода, едва стоял в воде.

— Распрягай.

— Зачем?

— Распрягай, тебе говорят. Перепрягать будем. Снимай постромки.

И опять Орозкул молча повиновался. Когда лошадь была выпряжена, Момун взял ее за поводья.

— А теперь пошли, — сказал он. — Вернемся потом. Пусть конь отдохнет.

— А ну-ка стой! — Орозкул перехватил поводья из рук старика. Он как бы проснулся. Он снова вдруг стал самим собой. — Ты кому дуришь голову? Никуда ты не пойдешь. Бревно вывезем сейчас. Вечером за ним люди приедут. Запрягай коня без разговоров, слышишь!

Момун молча повернулся и, ковьяля на заочневших ногах, пошел бродом к берегу.

— Ты куда, старик? Куда, говорю?

— Куда! Куда! В школу. Внук там ждет с самого полдня.

— А ну вернись! Вернись!

Старик не послушался. Орозкул оставил лошадь в реке и уже почти у берега, на галечнике, настиг Момуна, схватил его за плечо, крутанул к себе.

И они оказались лицом к лицу.

Коротким движением руки Орозкул сорвал с плеча Момуна перекинутые голенищами старые кирзовые сапоги и наотмашь дважды ударил ими тестя по голове и по лицу.

— Пошли! Ну! — прохрипел Орозкул, отшвыривая в сторону сапоги.

Старик подошел к сапогам, поднял их с мокрого песка, и, когда распрягнулся, на губах у него выступила кровь.

— Негодяй! — сказал Момун, сплевывая кровь, и перебросил сапоги снова через плечо.

Это сказал Расторопный Момун, никогда никому не прекословивший, это сказал посиневший от холода, жалкий старикашка с перекинутыми через плечо старыми сапогами, с пузырящейся на губах кровью.

— Пошли!

Орозкул потащил его за собой. Но Момун с силой вырвался и, не оглядываясь, молча пошел прочь.

— Ну, старый дурень, теперь держись! Я тебе это припомню! — прокричал ему вслед Орозкул, потрясая кулаком.

Старик не оглянулся. Выйдя на тропу возле «Лежащего верблюда», он сел, обулся и быстро пошел домой. Нигде не задерживаясь, направился прямо в конюшню. Оттуда вывел серого коня Алабаша, неприкосновенного орозкуловского выездного коня, на которого никто не смел садиться и которого не запрягали, чтобы не попортить скаковую статью. Точно на пожар, Момун выехал со двора без седла, без стремян. И когда он проскакал мимо окон, мимо все еще дымящегося самовара, выскочившие наружу женщины — старуха Момуна, его дочь Бекей и молодая Гульджамал — поняли сразу, что со стариком что-то случилось. Никогда он не садился верхом на Алабаша и никогда не скакал так по двору сломя голову. Они не знали еще, что это был бунт Расторопного Момуна. И не знали еще, во что обойдется ему этот бунт на старости лет...

А со стороны брода возвращался Орозкул, ведя в поводу выпряженную лошадь. Лошадь припадала на переднюю ногу. Женщины молча смотрели, как он приближался ко двору. Они еще не догадывались, что творилось в душе Орозкула, что он нес им в тот день, какие беды, какие страхи...

В мокрых, хлюпающих сапогах, в мокрых штанах, подойдя к ним грузными, тяжелыми шагами, он мрачно глянул на женщин исподлобья. Жена его, Бекей, забеспокоилась:

— Что с тобой, Орозкул? Что случилось? Да ты же мокрый весь. Бревно уплыло?

— Нет, — отмахнулся Орозкул. — На, — передал он поводья Гульджамал. — Отведи коня в конюшню. — А сам пошел к дверям. — Пошли в дом, — сказал он жене.

Бабка тоже хотела было пойти вместе с ними, но Орозкул не пустил ее на порог.

— А ты иди, старуха. Нечего тебе здесь делать! Иди к себе и не приходи.

— Да ты что? — обиделась бабка. — Что ж это такое? А старик-то наш, как он? Что случилось?

— Спроси у него самого, — ответил Орозкул.

В доме Бекей стащила с мужа мокрую одежду, подала ему шубу, внесла самовар и стала наливать в пиалу чаю.

— Не надо, — отверг жестом Орозкул. — Дай мне выпить.

Жена достала непочатую поллитровку, налила в стакан.

— Полный налей, — приказал Орозкул.

Залпом опрокинув в себя стакан водки, он завернулся в шубу и, укладываясь на кошме, сказал жене:

— Ты мне не жена, я тебе не муж. Иди. Чтобы ноги твоей в доме не было. Иди, пока не поздно.

Бекей вздохнула, села на кровать и, привычно сглатывая слезы, тихо сказала:

— Опять?

— Что опять? — взревел Орозкул. — Вон отсюда!

Бекей выскочила из дому и, как всегда, заламывая руки, заголосила на весь двор:

— И зачем только родилась я на свет, горемычная!..

А в это время старик Момун скакал на Алабаше к внуку. Алабаш — быстрый конь. Но все равно опаздывал Момун на два с лишним часа. Он встретил внука на пути. Учительница сама вела мальчика домой. Та самая учительница, с обветренными, грубыми руками, в том самом неизменном пальто, в котором ходила она пятый год. Утомленная женщина выглядела хмурой. Мальчик же, давно наплакавшись, со вспухшими глазами, шел рядом с ней, с портфелем своим в руках, какой-то жалкий и униженный. Крепко отчитала учительница старика Момуна. Он стоял перед ней спешившись, опустив голову.

— Не привозите ребенка в школу, — говорила она, — если не будете забирать его вовремя. На меня не рассчитывайте, у меня своих четверо.

Опять извинился Момун, опять обещал, что больше такого не повторится.

Учительница вернулась в Джелесай, а дед с внуком отправились домой.

Мальчик молчал, сидя на лошади перед дедом. И старик не знал, что сказать ему.

— Ты очень голоден? — спросил он.

— Нет, учительница мне хлеба дала, — ответил внук.

— А почему ты молчишь?

Мальчик ничего не сказал и на это.

Момун виновато улыбнулся:

— Обидчивый ты у меня. — Он снял фуражку с мальчика, поцеловал его в макушку и снова надел ему фуражку на голову.

Мальчик не обернулся.

Так они ехали, оба подавленные и молчаливые. Момун

не давал воли Алабашу, строго придерживая поводья — не хотелось трясти мальчика на неоседланном коне. Да и спешить теперь стало вроде ни к чему.

Конь вскоре понял, что от него требуется, — шел легкой полуиноходью. Пофыркивал, копытами стучал по дороге. На таком бы коне ехать в одиночку, песни петь негромкие — так, для самого себя. Мало ли о чем поет человек наедине с собой? О несбывшихся мечтах, о годах прошедших, о том, что было тогда еще, когда любилось... Нравится человеку повздыхать о той поре, где осталось что-то навсегда недостижимое. А что, собственно, — человек и сам толком не понимает. Но изредка ему хочется думать об этом, хочется почувствовать самого себя.

Добрый это попутчик — хороший конь хорошего хода...

И думал старик Момун, глядя на стриженный затылок внука, на его тонкую шею и оттопыренные уши, что от всей его жизни неудачливой, от всех его дел и трудов, от всех забот и печалей остался теперь у него только вот этот ребенок, это еще беспомощное существо. Хорошо, если дед успеет поставить его на ноги. А останется он один — трудно придется. Сам с кукурузный початок, а уже характер свой. Ему бы попроще быть, поласковой... Ведь такие, как Орозкул, возненавидят его и будут терзать, как волки загнанного оленя...

И тут вспомнил Момун про маралов, про тех, что давеча промелькнули быстрыми, стремительными теньями, что исторгли из груди его возглас удивления и радости.

— А ты знаешь, сынок? К нам маралы пришли, — сказал дед Момун.

Мальчик живо оглянулся через плечо:

— Правда?

— Правда. Сам видел. Три головы.

— А откуда они пришли?

— По-моему, из-за перевала. Там тоже есть заповедные леса. Осень нынче стоит как лето, перевал открыт. Вот они и пришли к нам в гости.

— А они останутся у нас?

— Понравится, так останутся. Если не трогать их, они и будут жить. Кормов у нас вдосталь. Тут хоть тысячу маралов держи... В прежние времена, при Рогатой матери-оленихе, тут их было видимо-невидимо...

Чувствуя, что мальчик оттаивает, слыша эту весть, что обида его забывается, старик принялся снова рассказывать о

былых временах, о Рогатой матери-оленихе. И сам, увлекаясь своим рассказом, думал: как просто вдруг стать счастливым и принести счастье другому! Вот так бы и жить всегда. Да, вот так, как сейчас, как в этот час. Но жизнь не так устроена — рядом со счастьем постоянно подстерегает, вламывается в душу, в жизнь несчастье, неотлучно следующее за тобой, извечное, неотступное. Даже в этот час, когда они с внуком были счастливы, в душе старика рядом с радостью стояла тревога: что там Орозкул? Что он готовит, какую расправу? Какое задумал наказание ему, старику, посмевавшему слушаться? Ведь Орозкул этого так не оставит. Иначе он не был бы Орозкулом.

И чтобы не думать о несчастье, ожидавшем его дочь и его самого, Момун рассказывал внуку о маралах, о благородстве, о красоте и быстроте этих животных так самозабвенно, точно мог этим отвлечь неизбежное.

А мальчику было хорошо. Он и не подозревал, что ждет его дома. У него горели глаза и уши. Как, неужели вернулись маралы? Значит, все это правда! Дед говорит, что простила Рогатая мать-олениха людские преступления против нее и разрешила детям своим вернуться в иссык-кульские горы. Дед говорил, что сейчас пришли три марала, чтобы разузнать, как тут, и если им понравится, то все маралы снова вернуться на родину.

— Ата, — прервал деда мальчик. — А может быть, пришла сама Рогатая мать-олениха? Может быть, она хочет посмотреть, как тут у нас, а потом позвать своих детей, а?

— Может быть, — неуверенно промолвил Момун. Он заппнулся. Старик почувствовал себя неловко: не слишком ли он увлекся, не слишком ли мальчик уверовал в его слова! Но не стал разуверять деда Момун своего внука, да теперь уже это было бы и слишком поздно. — Кто знает, — пожал он плечами. — Может быть, может быть, пришла и сама Рогатая мать-олениха. Кто знает...

— А вот мы узнаем. Давай, ата, пойдем на то место, где ты видел маралов, — сказал мальчик, — я тоже хочу посмотреть.

— Но они же не стоят на одном месте.

— А мы пойдем по следам. Будем долго-долго идти по их следам. А как увидим их хоть краешком глаза, вернемся. И тогда они подумают, что люди не будут трогать их.

— Ребенок ты, — усмехнулся дед. — Приедем домой, там видно будет.



Они уже подъезжали к кордону по тропе позади домов. Дом сзади — как человек со спины. Все три дома не подавали никаких знаков, что происходило внутри их. И во дворе тоже было пусто и тихо. Недоброе предчувствие сжало сердце Момуна. Что могло произойти? Избил Орозкул его несчастную Бекей? Напился пьяный? Что еще могло случиться? Почему так тихо, почему никого нет в этот час во дворе? «Если все в порядке, надо вытащить это злосчастное бревно из реки, — подумал Момун. — Ну его, Орозкула, лучше с ним не связываться. Лучше сделать что хочет да плюнуть на все это. Ослу ведь не докажешь, что он осел».

Момун подъехал к конюшне.

— Слезай. Вот мы и приехали, — стараясь не выдать своего волнения, сказал он внуку так, как будто они прибыли издалека.

А когда мальчик с портфелем своим побежал было домой, дед Момун остановил его:

— Постой, вместе пойдем.

Он поставил Алабаша в конюшню и, взяв мальчика за руку, пошел к дому.

— Ты смотри, — сказал дед внуку, — если меня будут ругать, ты не бойся и не слушай всякие там разговоры. Тебя это не касается. Твое дело в школу ходить.

Но ничего такого не произошло. Когда они пришли домой, бабка только глянула на Момуна долгим осуждающим взглядом и, поджав губы, снова принялась за свое шитье. Дед тоже ничего не сказал ей. Хмурый и настороженный, он постоял посреди комнаты, потом взял с плиты большую чашку с лапшой, прихватил ложки и хлеб, они сели с внуком за поздний обед.

Ели молча, а бабка даже не глядела в их сторону. На ее дряблом, коричневом лице застыл гнев. Мальчик понял, что произошло что-то очень плохое. А старики все молчали.

Так страшно, так тревожно становилось мальчику, что и еда не шла в горло. Хуже нет, когда за обедом люди молчат и думают о чем-то своем, недобром и подозрительном. «Может быть, это мы виноваты?» — мысленно сказал мальчик портфелю. Портфель лежал на подоконнике. Сердце мальчика покатилося по полу, вскарабкалось на подоконник, поближе к портфелю, и зашептало с ним.

«Ты ничего не знаешь? Почему дедушка такой печальный? В чем он виноват? И почему он опоздал сегодня, почему приехал на Алабаше и без седла? Ведь такого никогда

не бывало. Может быть, увидел маралов в лесу и поэтому задержался?.. А вдруг и нет никаких маралов? Вдруг это неправда? Что тогда? Зачем он рассказывал? Ведь Рогатая мать-олениха очень обидится, если он обманул нас...»

Покончив с обедом, дед Момун сказал негромко мальчику:

— Ты иди во двор, дело есть одно. Поможешь мне. Я сейчас.

Мальчик послушно вышел. И как только он закрыл за собой дверь, раздался голос бабки:

— Ты куда?

— Пойду бревно вывезу. Давеча оно застряло в реке, — ответил Момун.

— А, спохватился! — вскричала бабка. — Опомнился! Ты иди посмотри на свою дочь. Ее Гульджамал увела к себе. Кому она нужна теперь, твоя неродящая дура. Пойди, пусть она скажет, кто она теперь. Как собаку паршивую, выгнал ее из дому муж.

— Ну что же, выгнал так выгнал, — сказал с горечью Момун.

— Ишь ты! Да кто ты сам? Дочери твои беспутные, так думаешь внука выучить на начальника, что ли? Жди! Было бы из-за кого на рожон лезть. Да еще на Алабаша вскочил и помчался. Гляди какой! Знал бы свое место, помнил бы, с кем ты связываешься... Он тебе шею свернет, как курице. С каких это пор ты стал перечить людям? С каких это пор стал героем? А дочь свою и не думай приводить к нам. На порог не пушу...

Мальчик понуро побрел по двору. В доме еще раздавались крики бабки, потом дверь хлопнула, и Момун выскочил из дому. Старик направился к дому Сейдахмата, но на пороге его встретила Гульджамал.

— Лучше не надо сейчас, потом, — сказала она Момуну. Момун растерянно остановился. — Плачет, избил он ее, — зашептала Гульджамал. — Говорит, что теперь они жить вместе не будут. Проклинает она вас. Говорит, что во всем отец виноват.

Момун молчал. Что сказать? Теперь даже родная дочь не хотела видеть его.

— А Орозкул там пьет у себя. Зверь зверем, — шепотом рассказывала Гульджамал.

Они призадумались. Гульджамал сочувственно вздохнула:

— Хоть бы Сейдахмат наш приехал поскорей. Должен бы сегодня вернуться. Вывезли бы вместе это бревно да избавились хоть от этого.

— Разве дело в бревне? — покачал головой Момун. Он задумался и, увидев рядом внука, сказал ему: — Ты иди поиграй.

Мальчик отошел в сторону. Пошел в сарай, взял спрятанный там бинокль. Отер его от пыли. «Плохи наши дела, — грустно сказал он биноклю. — Кажется, это мы с портфелем виноваты. Была бы где-нибудь другая школа. Ушли бы мы с портфелем туда учиться. И чтобы никто не знал. Только вот деда жалко — искать будет. А ты, бинокль, с кем будешь смотреть на белый пароход? Думаешь, я рыбой не сделался бы? Вот посмотришь. Поплыву к белому пароходу...»

Мальчик спрятался за стогом сена и стал смотреть вокруг в бинокль. Невесело и недолго смотрел. В другое время не наглядисься: стоят осенние горы, покрытые лесами осенними, наверху снег белый, внизу огонь красный.

Мальчик положил бинокль на место и, выходя из сарая, увидел, как дед повел через двор коня в хомуте и сбруе. Он направлялся к броду. Мальчик хотел побежать к деду, но его остановил окрик Орозкула. Орозкул выскочил из дому в исподней рубашке, с шубой на плечах. Лицо его было багровым, как воспаленное вымя.

— Эй ты! — грозно крикнул он Момуну. — Куда ведешь коня? А ну, поставь на место. Без тебя вывезем. И не смей трогать. Ты теперь здесь никто. Я тебя увольняю с кордона. Убирайся, куда хочешь.

Дед горько усмехнулся и повел коня обратно в конюшню. Момун вдруг стал совсем стареньким и маленьким. Шел, шаркая подошвами и не глядя по сторонам.

Мальчик задохнулся от обиды за деда и, чтобы никто не видел, как он заплакал, побежал берегом реки. Тропинка впереди туманилась, пропадала и снова ложилась под ноги. Мальчик бежал в слезах. Вот они, его любимые прибрежные валуны: «Танк», «Волк», «Седло», «Лежащий верблюд». Мальчик ничего не сказал им — ничего они не понимают, стоят себе и стоят. Мальчик обнял горб «Лежащего верблюда» и, приваливаясь к рыжему граниту, заплакал навзрыд, горько и безутешно. Он долго плакал, постепенно стихая и успокаиваясь.

Наконец поднял голову, протер глаза и, глянув перед собой, оцепенел.

Прямо перед ним, на другом берегу, у воды стояли три марала. Настоящие маралы. Живые. Они пили воду и, кажется, уже напились. Один — тот, что с самыми большими,

тяжелыми рогами, — снова опустил голову к воде и, потягивая ее, казалось, рассматривал в мелкой заводи свои рога, как в зеркале. Он был буроватого цвета, грудастый и мощный. Когда он вскинул голову, с его волосатой светлой губы упали в воду капли. Пошевеливая ушами, рогач внимательно глянул на мальчика.

Но больше всего на мальчика смотрела белая, бокастая олениха с короной тонких ветвистых рогов на голове. Рога у нее были чуть поменьше, но очень красивые. Она была в точности такая, как Рогатая мать-олениха. Глаза большущие, ясные. А сама — как кобылица статная, приносящая каждый год по жеребенку. Рогатая мать-олениха смотрела на мальчика пристально, спокойно, точно вспоминала, где она видела этого большеголового ушастого мальчишку. Глаза ее влажно поблескивали и светились издали. Из ноздрей легкий парок поднимался. Рядом с ней, повернувшись задом, объедал ветки тальника молодой комолый телок. Ему ни до чего не было дела. Он был упитанный, крепкий и веселый. Бросив вдруг глотать ветки, он резко подпрыгнул, задел олениху плечом и, попрыгав еще вокруг, стал ласкаться. Терся своей безрогой головой о бока Рогатой матери-оленихи. А Рогатая мать-олениха все смотрела и смотрела на мальчика.

Затаив дыхание, мальчик вышел из-за камня, как во сне, протянув руки перед собой, подошел к берегу, к самой воде. Маралы несколько не испугались. Они спокойно взирали на него с того берега.

Между ними протекала быстрая, прозрачно-зеленоватая река, вскипая, переливаясь через заторы подводных камней. И если бы не эта река, разделявшая их, то можно было бы, казалось, подойти и потрогать маралов. Маралы стояли на ровном, чистом галечнике. А за ними — там, где кончалась полоса галечника, — красной стеной пламенели осенние кущи тугайного леса. А выше — глинистый обрыв, над обрывом золотисто-багряные березы и осины, и еще выше — большой лес и белый снег на скалистых кряжах.

Мальчик закрыл глаза и снова открыл. Перед ним была все та же картина, а чуть ближе краснолиственного тугая стояли на чистом галечнике все те же сказочные маралы.

Но вот они повернулись и пошли гуськом через галечник в лес. Впереди — большой марал, в середине комолый телок, за ним Рогатая мать-олениха. Она оглянулась, еще раз посмотрела на мальчика. Маралы вошли в тугай, пошли через

кусты. Красные ветви качались над ними, и осыпались красные листья на их ровные, упругие спины.

Потом они пошли по тропке вверх, поднялись на обрыв. Здесь остановились. И опять мальчику почудилось, что маралы глядели на него. Большой марал вытянул шею и, запрокидывая рога на спину, прогремел, как труба: «Ба-о!» «Ба-о!» Его голос прокатился над обрывом, над рекой долгим эхом: «А-о, а-о!»

И тут только мальчик опомнился. Со всех ног он кинулся бежать домой по знакомой тропе. Он бежал во весь дух. Он пронесся по двору и, шумно распахнув дверь, крикнул, задыхаясь, с порога:

— Ата! Маралы пришли! Маралы! Они здесь!

Дед Момун глянул на него из угла, где сидел, скорбный и тихий, и ничего не сказал, точно не понимал, о чем идет речь.

— Ладно тебе шуметь! — шикнула бабка. — Пришли так пришли, не до них сейчас.

Мальчик тихо вышел. На дворе было пусто. Осеннее солнце уже заваливалось за Караульную гору, за соседнюю гряду голых сумеречных гор. Густым негреющим заревом рдело солнце на холодеющих горных пустынях. И отсюда это стылое зарево растекалось окрест зыбким отсветом по верхам осенних гор. Леса покрывались вечерней мглой. Стало зябко. Ветер потянул со снегов. Мальчик дрожал. Его знобило.

## 6

Его знобило и тогда, когда он лег в постель. Он долго не мог уснуть. На дворе уже чернела ночь. Голова болела. Но мальчик молчал. И никто не знал, что он заболел. Забыли. Да и как тут было не забыть!

Дед совсем сбился с толку. Места себе не находил. То выйдет, то зайдет, то присядет, пригорюнившись и тяжело вздыхая, то снова встанет и куда-то уйдет. Бабка злобно ворчала на старика и тоже шастала взад и вперед, во двор выходила, возвращалась. На дворе раздавались какие-то неясные, отрывистые голоса, чьи-то торопливые шаги, чья-то ругань, — кажется, опять ругался Орозкул, кто-то плакал всхлипывая...

Мальчик тихо лежал и все больше уставал от всех этих голосов и шагов, от всего того, что происходило в доме и во дворе.

Он закрывал глаза и, скрашивая одиночество свое, свою

забытость, вспоминал то, что случилось сегодня, то, что хотелось ему видеть. Он стоял на берегу большой реки. Вода текла так быстро, невозможно было долго смотреть, голова кружилась. А с другого берега глядели на него маралы. Все три марала, которых он видел под вечер, теперь снова стояли там. И все повторялось снова. С мокрой губы большого рогача упали в заводь те же капли, когда он вскинул голову от воды. А Рогатая мать-олениха все так же пристально смотрела на мальчика добрыми, понимающими глазами. А глаза у нее были большущие, темные и влажные. Мальчик очень удивлялся, что Рогатая мать-олениха может вздыхать по-человечески. Печально и горестно, как его дед. Потом они уходили через кусты тугая. Красные ветви качались над ними, и осыпались красные листья на их ровные, упругие спины. Они поднялись на обрыв. Здесь остановились. Большой марал вытянул шею и, запрокидывая рога на спину, прогремел, как труба: «Ба-о! Ба-о!» Мальчик улыбнулся про себя, вспоминая, как голос большого марала прокатился над рекой долгим эхом. После этого маралы скрылись в лесу. Но мальчику не хотелось с ними расставаться, и он стал придумывать то, что ему хотелось видеть.

И снова стремительно протекала перед ним большая быстрая река. Голова кружилась от скорости течения. Он прыгнул и перелетел через реку. Плавно и мягко опустился неподалеку от маралов, которые все так же стояли на галечнике. Рогатая мать-олениха подозвала его к себе:

— Ты чей будешь?

Мальчик молчал: ему стыдно было говорить, чей он.

— Мы с дедом тебя очень любим, Рогатая мать-олениха. Мы тебя давно ждали, — промолвил он.

— И я тебя знаю. И деда твоего знаю. Он хороший человек, — сказала Рогатая мать-олениха.

Мальчик обрадовался, но не знал, как поблагодарить ее.

— Хочешь, я сделаюсь рыбой и поплыву по реке в Исык-Куль к белому пароходу? — вдруг сказал он.

Это он умел. Но Рогатая мать-олениха ничего не ответила на это. Тогда мальчик стал раздеваться и, как бывало летом, поеживаясь, полез в воду, держась за ветку прибрежного тальника. Но вода оказалась не ледяной, а горячей, жаркой, душной. Он поплыл под водой с открытыми глазами, и мириады золотистых песчинок, мелких подводных камушков закружились вокруг гудящим роем. Он стал задыхаться, а горячий поток все тащил его.

— Помоги, Рогатая мать-олениха, помоги мне, я тоже твой сын, Рогатая мать-олениха! — громко кричал он.

Рогатая мать-олениха побежала следом по берегу. Быстро бежала, ветер свистел в ее рогах. И сразу ему стало легче.

Он был в поту. Помня, что дед в таких случаях еще теплей укутывал его, мальчик укрылся получше. В доме никогда не было. Фитиль в лампе уже нагорел, и потому она тускло светила. Мальчик хотел встать, напиться, но со двора раздались опять какие-то резкие голоса, кто-то на кого-то кричал, кто-то плакал, кто-то успокаивал. Слышались возня, топот ног... Потом у самого окна, ахая и охая, протопали двое, точно бы один тащил другого. Дверь с шумом распахнулась, и бабка, разъяренная, тяжело дыша, буквально втолкнула деда Момуна в дом. Никогда не видел мальчик деда своего таким перепуганным. Казалось, он ничего не соображал. Глаза старика растерянно блуждали. Бабка толкнула его в грудь, заставила сесть.

— Сиди, сиди, старый дурак, и не лезь, когда не просят. Первый раз, что ли, у них такое? Если хочешь, чтобы все уладилось, сиди и не суйся. Делай, что я тебе говорю. Слышишь? А не то сживет он нас, ты понимаешь, сживет со свету. А куда нам на старости лет идти? Куда? — С этими словами бабка хлопнула дверью и снова торопливо умчалась.

В доме опять стало тихо. Слышалось только хриплое, прерывистое дыхание деда. Он сидел на приступке у плиты, стиснув голову трясущимися руками. И вдруг старик упал на колени и, вздевая руки, застонал, обращаясь неизвестно к кому:

— Возьми меня, забери меня, горемычного! Только дай ей дитя! Сил моих нет глядеть на нее. Дай хоть одного-единственного, пожалей нас...

Плача и шатаясь, старик встал и, хватаясь за стены, нашарил двери. Он вышел, прикрыл за собой дверь и там, за дверьми, глухо рыдал, зажимая себе рот.

Мальчику стало худо. Опять зазнобило. То в жар, то в холод кидало. Он хотел встать, пойти к деду. Но руки и ноги не слушались, голова налилась болью. А старик плакал за дверью, и во дворе снова бушевал пьяный Орозкул, отчаянно вопила тетка Бекей, умоляли, уговаривали их голоса Гульджамал и бабки.

Мальчик ушел от них в свой воображаемый мир.

Снова стоял он на берегу быстрой реки, а на другом берегу, на галечнике, стояли все те же маралы. И тогда взмо-

лился мальчик: «Рогатая мать-олениха, принеси тетке Бекей люльку на рогах! Очень прошу тебя, принеси им люльку! Пусть будет у них ребенок», — а сам бежал по воде к Рогатой матери-оленихе. Вода не проваливалась, но и он не приближался к тому берегу, а как будто топтался в бегах на месте. И все время умолял, заклинал Рогатую мать-олениху: «Принеси им люльку на рогах! Сделай так, чтобы не плакал наш дед, сделай так, чтобы дядя Орозкул не бил тетку Бекей. Сделай так, чтобы родился у них ребенок. Я всех буду любить, и дядю Орозкула буду любить, только дай ему своего ребенка. Принеси им люльку на рогах!..»

Чудилось мальчику, что зазвенел вдали колоколец. Он звенел все слышней. То бежала по горам мать-олениха и несла на рогах своих, подцепив за дужку, детскую колыбель — березовый бешик с колокольцем. Заливался колыбельный колоколец. Очень спешила Рогатая мать-олениха. Все ближе и ближе звенел колокольчик...

Но что это? К звону колокольчика присоединился далекий гул мотора. Где-то шел грузовик. Гудение машины нарастало все сильнее, все явственней, а колокольчик оробел, телинькал с перебоями и вскоре совсем затерялся в шуме мотора.

Мальчик услышал, как, погромыхая железом о железо, подъехала ко двору машина. Собака с лаем кинулась на задворье. На минуту колыхнулся в окне отраженный свет фар и сразу погас. И мотор заглох. Хлопнули дверцы кабины. Переговариваясь между собой, приезжие — судя по голосам, человека три — прошли мимо окна, за которым лежал мальчик.

— Сейдахмат приехал, — раздался вдруг обрадованный голос Гульджамал, и слышно было, как она заторопилась навстречу мужу. — А мы заждались!

— Здравствуйте, — ответили ей незнакомые люди.

— Ну, как вы тут? — спросил Сейдахмат.

— Да ничего. Живем. Что так поздно?

— И то скажи — удачно. Добрался до совхоза, жду-пожду попутную машину. Хотя бы до Джелесая. А тут как раз вот они к нам за лесом, — рассказывал Сейдахмат. — Темно по ущелью. Дорога — сама знаешь.

— А Орозкул где? Дома? — поинтересовался один из приезжих.

— Дома, — неуверенно ответила Гульджамал. — Приболел малость. Да вы не беспокойтесь. Переночуете у нас, место есть. Идемте.



Они двинулись. Но через несколько шагов приостановились.

— Здравствуйте, аксакал. Здравствуйте, байбиче.

Приезжие здоровались с дедом Момуном и бабкой. Стало быть, те устыдились приезжих, встретили их во дворе, как положено встречать чужих. Может быть, и Орозкул устыдится? Хоть бы уж не позорил себя и других.

Мальчик немного успокоился. Да и вообще ему стало чуть легче. Голову ломило меньше. Он даже подумывал, не встать ли и не пойти посмотреть на машину — какая она, на четырех колесах или на шести? Новая или старая? А прицеп какой? Однажды весной нынешней к ним на кордон заезжал даже военный грузовик — на высоких колесах и курносый, точно ему нос отрубили. Молодой солдат-шофер пустил мальчика посидеть в кабине. Здорово! А прибывший военный с золотистыми погонами ходил вместе с Орозкулом в лес. Чего это? Никогда такого не бывало.

— Вы что, шпиона ищите? — спросил мальчик солдата.

Тот усмехнулся:

— Да, шпиона ищем.

— А к нам еще ни один шпион не приходил, — грустно проронил мальчик.

Солдат рассмеялся:

— А зачем он тебе?

— Я бы гонялся за ним и поймал бы его.

— Ух ты, какой прыткий! Мал еще, подрасти.

И пока военный с золотыми погонами ходил с Орозкулом по лесу, мальчик с шофером разговорились.

— Я люблю все машины и всех шоферов, — сказал мальчик.

— Это почему же? — поинтересовался солдат.

— Машины — они хорошие, сильные и быстрые. И они хорошо пахнут бензином. А шоферы — они все молодые, и все они дети Рогатой матери-оленихи.

— Что? Что? — не понял солдат. — Какой это Рогатой матери?

— А ты разве не знаешь?

— Нет. Никогда не слышал о таком чуде.

— А кто ты?

— Я из Караганды, казах. В школе шахтерской учился.

— Нет, чей ты?

— Отца, матери.

— А они чьи?

- Тоже отца, матери.
- А они?
- Слушай, да так можно без конца спрашивать.
- А я сын сыновей Рогатой матери-оленихи.
- Кто это тебе сказал?
- Дедушка.
- Что-то не то, — сомневаясь, покачал головой солдат.

Его заинтересовал этот головастый мальчишка с оттопыренными ушами, сын сыновей Рогатой матери-оленихи. Солдат, однако, был несколько сконфужен, когда выяснилось, что он не только не знает, откуда его род начинается, но даже и обязательного колена семерых отцов не знает. Он знал только своего отца, деда, прадеда. А дальше?

— Разве тебя не учили запоминать имена семерых предков? — спросил мальчик.

— Не учили. А зачем это? Я вот не знаю, и ничего. Живу нормально.

— Дед говорит, что если люди не будут помнить отцов, то они испортятся.

— Кто испортится? Люди?

— Да.

— А почему?

— Дед говорит, что тогда никто не будет стыдиться плохих дел, потому что дети и дети детей о нем не будут помнить. И никто не будет делать хорошие дела, потому что все равно дети об этом не будут знать.

— Ну и дед у тебя! — искренне подивился солдат. — Интересный дед. Только забивает он тебе голову всякой чепухой. А ты ведь большеголовый... И уши у тебя такие, как локаторы у нас на полигоне. Не слушай ты его. К нам бы на политзанятия его, мы бы его мигом образовали. Вот ты вырастешь, выучишься — и уезжай давай от деда. Темный, некультурный он человек.

— Нет, я от деда никогда не уйду, — возразил мальчик. — Он хороший.

— Ну, это пока что. А потом поймешь.

Сейчас, прислушиваясь к голосам, мальчик вспомнил об этой военной машине и то, как он тогда так и не сумел толком объяснить солдату, почему здешние шоферы, по крайней мере те, которых он знал, считались сыновьями Рогатой матери-оленихи.

Мальчик говорил ему правду. В его словах не было никакой выдумки. В прошлом году, как раз в такую же осеннюю

пору или, кажется, чуть позднее, в горы за сеном приехали совхозные машины. Они проезжали не мимо кордона, а, немного не доезжая до него, сворачивали по дороге в ложину Арчу и уходили наверх — туда, где летом накопили сено, чтобы затем осенью вывезти в совхоз. Заслышав небывалое гудение моторов на Караульной горе, мальчик побежал на развилку. Сразу столько машин! Одна за другой. Целая колонна. Он насчитал их пятнадцать штук.

Погода стояла на изломе, со дня на день мог повалить снег — и тогда «прошай, сено, до следующего года». В этих местах, если не успеешь вовремя вывезти сено, потом о нем и не думай. Не проедешь. Видимо, замешкались в совхозе с разными делами; и когда время поджало, решили одним разом, всеми машинами вывезти заготовленное сено. Но не тут-то было!..

Мальчик, однако, об этом не знал, да ему-то, собственно, какое дело? Суматошный, радостный, он просто бежал навстречу каждой машине, немного пробежал наперегонки с ней, потом встречал следующую. Грузовики катились все новенькие, с красивыми кабинами, с широкими стеклами. А в кабинах сидели молодые джигиты, все как на подбор безусые, а в иных кабинах по двое парней. Напарники ехали накладывать и увязывать сено. Все они казались мальчику красивыми, бравыми, веселыми. Как в кино.

В общем-то мальчик не ошибался. Так оно и было. Машины у ребят были исправные, и они быстро мчались, миновав спуск с Караульной горы, по щебенистой, твердой дороге. Настроение у них было отличное — погода неплохая, а тут еще, откуда ни возьмись, какой-то ушастый и головастый сорванец выбегает навстречу каждой машине, ошалев от дикой радости. Как тут было не посмеяться и не помахать ему рукой и не пригрозить ему шутя, чтобы он еще больше веселился и озорничал...

А самый последний грузовик, так тот даже остановился. Выглянул из кабины молодой парень в солдатской одежде, в бушлате, но только без погон и без военной фуражки, а в кепке. Это был шофер.

— Здравствуй! Ты чего тут, а? — приветливо подмигнул он мальчишке.

— Так просто, — не без смущения ответил мальчик.

— Ты деда Момуна внук?

— Да.

— Я так и знал. Я ведь тоже бугинец. Да тут все ребята

поехали бугинцы. За сеном катим. Теперешние бугинцы друг друга и не знают, поразбредлись... Деду привет передай. Скажи, что видел Кулубека, сына Чотбая. Скажи, что вернулсЯ Кулубек из армии и теперь шофером в совхозе. Ну, бывай! — И на прощание он подарил мальчику какой-то военный значок, очень занятный. На орден похожий.

Машина зарычала, как барс, и унеслась, догоняя своих. И так захотелось вдруг мальчику уехать с этим приветливым, бравым парнем в бушлате, с братом-бугинцем. Но дорога уже опустела, и пришлось ему возвращаться домой. Гордый вернулся, однако рассказал деду о встрече. А значок нацепил на грудь.

В тот день под вечер ударил вдруг ветер сан-ташский, оттуда, с хребта поднебесного. Обрушился шквалом. Листья над лесом взметнулись столбом и, поднимаясь в небо все выше, с гулом понеслись над горами. И вмиг закрутилась такая непогодь, глаз не раскроешь. И сразу снег. Белая тьма нагрянула на землю, закачались леса, река взбурлила. И сыпал, вьюжился снег.

Кое-как успели загнать скотину, убрать кое-что со двора, кое-как успели дров побольше наносить в дом. А потом уже и носа из дому не показывали. Куда там — в такую раннюю да страшную метель.

— К чему бы это? — недоумевал и тревожился дед Момун, растапливая печь. Он все прислушивался к свисту ветра, то и дело подходил к окну.

За окном быстро сгушалась крутящаяся снежная мгла.

— Да сядь ты на место! — ворчала бабка. — Первый раз такое, что ли? «К чему бы это?» — передразнила она. — К тому, что настала зима.

— Так уж и враз, в один день?

— А почему бы и нет? Спрашивать тебя будет? Надо ей, зиме, вот она и явилась.

В трубе завывало. Мальчик вначале оробел, да и замерз он, помогая деду по хозяйству; но вскоре дрова разгорелись, тепло стало, запахло в доме смолой горячей, дымком сосновым, и мальчик успокоился, утрелся.

Потом ужинали. Потом легли спать. А на дворе валил, крутился снег, ветер лютовал.

«В лесу, наверно, совсем страшно», — думал мальчик, прислушиваясь к звукам за окнами. Ему стало не по себе, когда вдруг стали доноситься какие-то смутные голоса, выкрики какие-то. Кто-то кого-то звал, кто-то откликался.

Вначале мальчик решил, что ему показалось. Кто мог в такое время появиться на кордоне? Но и дед Момун, и бабка насторожились.

— Люди, — сказала бабка.

— Да, — неуверенно отозвался старик.

А потом забеспокоился: откуда в такой час? И стал торопливо одеваться. И бабка заторопилась. Встала, лампу засветила. И мальчик, испугавшись чего-то, быстро оделся. Тем временем люди подошли к дому. Много голосов, и много ног. Скрипя наметанным снегом, прищельцы загрели подошвами по веранде, забарабанили в дверь:

— Аксакал, откройте! Замерзаем!

— Кто вы?

— Свои.

Момун открыл дверь. И вместе с клубами холода, ветра и снега в дом ввалились облепленные снегом те самые молодые шоферы, которые проезжали днем в урочище Арча за сеном. Мальчик сразу узнал их. И Кулубека в бушлате, подарившего ему военный значок. Одного они вели, поддерживая под руки, он стонал, волочил ногу. И в доме сразу поднялся переполох.

— Астапралла!<sup>1</sup> Что с вами? — в один голос запричитали дед Момун и бабка.

— Потом расскажем! Там идут еще наши, человек семь. Как бы с дороги не сбились. А ну садись сюда. Ногу подвернул, — быстро говорил Кулубек, усаживая стонущего парня на приступку у печи.

— Где ж они, ваши? — заторопился дед Момун. — Я сейчас пойду, приведу их. А ты беги, — сказал он мальчику. — Скажи Сейдахмату, чтобы он скорей с фонарем прибежал, электрическим.

Мальчик выскочил из дома и захлебнулся. До конца своей жизни он помнил эту грозную минуту. Какое-то косматое, холодное, свистящее чудовище схватило его за горло и начало трепать. Но он не дрогнул. Он вырывался из цепких лап и, защищая голову руками, бежал к дому Сейдахмата. Тут всего шагов двадцать-тридцать, а ему казалось, что он бежит далеко, сквозь бурю, как батыр на выручку своих воинов. Сердце его преисполнилось отвагой и решимостью. Он казался себе могучим и непобедимым; и пока добежал до дома Сейдахмата, успел совершить такие геройские подвиги.

---

<sup>1</sup> Астапралла — упаси господи.

ги, от которых дух захватывало. Он прыгал через пропасти с горы на гору, он разил мечом полчища врагов, он спасал горящих в огне и тонущих в реке, он гонялся на реактивном истребителе с развевающимся красным знаменем за косматым, черным чудовищем, убегающим от него по ущельям и скалам. Его реактивный истребитель пулей летел за чудовищем. Мальчик строчил в него из пулемета и кричал: «Бей фашиста!» И везде при этом присутствовала Рогатая мать-олениха. Она была горда им. Когда мальчик подбежал уже к двери Сейдахматова дома, Рогатая мать-олениха сказала ему: «А теперь спаси сыновей моих, молодых шоферов!» — «Я спасу их, Рогатая мать-олениха, клянусь тебе!» — сказал мальчик вслух и забарабанил в двери.

— Скорее, дядя Сейдахмат, идемте спасать наших! — Он выпалил эти слова так, что и Сейдахмат, и Гульджамал отпрянули в страхе.

— Кого спасать? Что случилось?

— Дедушка сказал, чтобы с фонарем бежать электрическим, шоферы из совхоза заблудились.

— Дурак! — обругал его Сейдахмат. — Так бы и сказал. — И кинулся собираться.

Но это несколько не обидело мальчика. Откуда было знать Сейдахмату, какие подвиги он совершил, чтобы добраться к ним, какую клятву произнес. Не очень смутился мальчик и тогда, когда узнал, что семеро шоферов были встречены дедом Момуном и Сейдахматом сразу же возле кордона и приведены домой. Ведь могло случиться и не так! Опасность легка, когда опасность миновала... В общем, нашлись и эти люди. Сейдахмат повел их к себе. Даже Орозкул пустил человек пять на ночевку — его тоже пришлось разбудить. А все остальные набились в дом к деду Момуну.

А метель в горах не утихала. Мальчик выбегал на веранду и через минуту уже не понимал, где право, где лево, где верх, где низ. Кружила, ярилась метельная ночь. Снегу навалило по колена.

И только теперь, когда все совхозные шоферы были найдены, когда они обогрелись, отошли от страха и холода, дед Момун осторожно выведал, что же случилось с ними, хотя и так было ясно, что застигла их непогода в пути. Ребята рассказывали, а старик и бабка вздыхали.

— Ой-ой-ой! — дивились они случившемуся и благодарили бога, прижимая руки к груди.

— А оделись вы, ребята, так легко, — упрекала бабка,

разливая им горячий чай. — Разве можно приезжать в горы в такой одежонке? Дети вы, дети!.. Все красуетесь, на городских хотите походить. А если бы сбились с пути, да до утра, не приведи господи, заковенели бы, как ледышки.

— Кто же знал, что случится такое? — отвечал ей Кулубек. — Зачем нам тепло одеваться? Если что, так машины у нас обогреваются изнутри. Сиди себе как дома. Крути баранку. В самолете — вон он на какой высоте летит, — эти горы сверху все равно что холмики, за бортом мороз сорок градусов, а внутри люди в рубашках ходят...

Мальчик лежал на овчине между шоферов. Приткнулся возле Кулубека и во все уши слушал разговор взрослых. Никто не догадывался, что он даже рад был, что приключился вдруг такой буран, заставивший этих людей искать прибежища у них на кордоне. Втайне он очень хотел, чтобы не стихал буран много дней, — по крайней мере, дня три. Пусть они живут у них. С ними так хорошо! Интересно. Дед, оказывается, всех знает. Не самих, так отцов и матерей.

— Ну вот, — чуть-чуть даже горделиво говорил дед внуку, — увидел своих братьев, бугинцев. Будешь знать теперь, какие они у тебя есть. Вон какие! Ох и рослые пошли нынешние джигиты! Дай бог вам здоровья! Помню, в сорок втором году зимой привезли нас в Магнитогорск на строительство...

И дед принялся рассказывать хорошо известную мальчику историю, как выстроили их, трудармейцев, привезенных с разных концов страны, в длиннющий строй по ранжиру, и оказалось, что киргизы почти все в конце, малорослые. Устроили им перекличку, а потом перекур. Подходит к ним какой-то верзила, рыжий и здоровенный. И громко так это:

— Откуда такие? Маньчжуры?

Среди них был старый учитель. Тот и ответил:

— Мы киргизы. А когда мы воевали с маньчжурами неподалеку отсюда, то Магнитогорска тогда и в помине не было. А ростом были мы такие, как ты. Вот кончим воевать и подрастем еще...

Дед вспомнил этот давнишний случай. Посмеиваясь, довольный, оглядел еще раз своих ночных гостей.

— Прав оказался тот учитель. В городе когда бываю или по дороге присматриваюсь: красивый, рослый народ пошел. Не то что в прежние времена...

Парни понимающе улыбались: любит старик побалагурить.

— Рослые-то мы рослые, — сказал один из них. — Да вот завалили машину в кювет. Сколько нас, а силенок не хватило...

— Ну, куда там! Грузенная сеном, да при такой метели, — оправдывал их дед Момун. — Случается. Бог даст, завтра все уладится. Главное, чтобы ветер утих.

Парни рассказывали деду, как они приехали на верхний сенокос Арчи. Там стояли три большие скирды горного сена. Начали грузить сразу со всех трех скирд. Укладывали возы высоко, выше дома, так что сверху потом приходилось опускаться на арканах. И так нагружали машину за машиной. Кабин не видно, только ветровые стекла, капоты и колеса. Хотелось, раз уж приехали, вывезти все, чтобы не возвращаться. Знали, что если останется сено, то уже до следующего года. Работали споро. Тот, чья машина была готова, отгонял ее в сторону и помогал укладывать другую. Уложили почти все сено, осталось на два воза, не больше. Перекурили, договорились, кто за кем будет держаться, и все вместе выехали колонной. Осторожно ехали, чуть ли не ошупью спускались с гор. Сено — груз не тяжелый, но неудобный и даже опасный, особенно в узких местах и на крутых поворотах.

Ехали и не подозревали, что ждет их впереди.

Спустились с плоскогорья Арчи, потянулись ущельем, а на выходе из ущелья, под вечер уже, встретил их ураган, снег ударил.

— Такое началось, что спина сразу взмокла, — рассказывал Кулубек. — Сразу тьма, ветер такой, что баранку вырывает из рук. Боишься, вот-вот опрокинет машину. А тут еще дорога такая, что по ней и днем-то опасно...

Мальчик слушал, затаив дыхание, замерев, не спуская сияющих глаз с Кулубека. Все тот же ветер, все тот же снег, о которых шла речь, бушевали за окном. Многие шоферы и грузчики уже спали вповалку на полу, одетые, в сапогах. И все то, что они пережили, теперь заново переживал этот головастый мальчишка с тонкой шеей и оттопыренными ушами.

Через несколько минут дорога стала невидимой. Машины, как слепцы без поводыря, держались одна за другой и все время сигналили, чтобы не отбиться в сторону. Снег шел стеной, залеплял фары, «дворники» не успевали счищать со стекол наледь. Пришлось ехать, высунувшись из кабин: но разве это езда? А снег все валил и валил. Колеса стали бук-



совать. Колонна остановилась перед крутым подъемом. Моторы бешено ревели — все бесполезно... Выскочили из кабин и на голос друг друга, перебежками от одной машины к другой, собрались в голове колонны. Как быть? Костер развести невозможно. Сидеть в кабинах — значит сжечь остаток горючего, которого и так едва-едва хватило бы теперь до совхоза. А не отапливать кабины — запросто можно замерзнуть. Растерялись ребята. Всесильная техника стояла бессильной. Что делать? Кто-то предложил вывалить из одной машины сено и всем закопаться в нем. Но ясно было, что стоит только развязать воз, как от сена не останется и клочка: унесет буря — и глазом не успеешь моргнуть. А машины тем временем все больше заносило снегом, уже сугробы намело под колесами. Совсем растерялись ребята, заледенели на ветру.

— И вдруг вспомнил я, аксакал, — рассказывал Кулубек деду Момуну, — что встретил на дороге, когда ехали мы на Арчу, вот его, младшего брата-бугинца, — указал он на мальчика и ласково погладил его по голове. — Бегал у дороги. Остановился я. Как же — поздоровался. Поговорили мы. Правда? Ты чего не спишь?

Мальчик, улыбаясь, кивнул головой. Но если бы знал кто, как горячо и гулко заколотилось его сердце от радости и гордости. Сам Кулубек говорил о нем. Самый сильный, самый смелый и самый красивый среди этих парней. Вот бы таким стать!

И дед похвалил его, подсовывая в огонь дрова:

— Он у нас такой. Любит слушать разговоры. Видишь, уши как развесил!

— И как я вспомнил о нем в ту минуту, сам не знаю! — продолжал Кулубек. — И говорю ребятам, кричу почти, ветер глушит слова. «Давай, — говорю, — добираться до кордона. Иначе погибнем здесь». — «А как, — кричат мне ребята в лицо, — как добираться? Пешком не пойдем. И машины бросать нельзя». А я им: «Давай, — говорю, — выталакивать машины на гору, а там дорога идет на спуск. Нам бы только до Сан-Ташской пади, — говорю, — а там пешком доберемся к нашим лесникам, там недалеко». Поняли ребята. «Давай, — говорят, — командуй». Ну, раз такое дело... Начали с головной машины: «Осмоналы, залезай в кабину!» А все мы, сколько нас было, подперли машину плечами. И пошел! Сначала вроде двинулось дело. Потом выдохлись. А назад отступить нельзя. И чудилось, что не машину мы прем

наверх, а целую гору. Воз-то какой — скирда на колесах! И знаю только, что ору сколько мочи есть: «Давай! Давай! Давай!» — но сам себя не слышу. Ветер, снег, не видать ничего. Машина воеет, плачет, как живая. Из последних сил взбирается. И мы тут. И сердце, кажется, лопнет, разлетится на куски. В голове мутится...

— Ай-ай-ай! — сокрушался дед Момун. — Выпало же вам такое. Никак сама Рогатая мать-олениха оберегла вас, детей своих. Вызволила. А не то, кто знает... Слышишь? И не утихает на дворе, все крутит, метет...

Глаза мальчика слипались. Он заставлял себя не спать, а веки снова слипались. И в полусне, слушая урывками разговор старика и Кулубека, мальчик путал явь с воображаемыми картинками. Ему казалось, что он тоже там, среди этих молодых парней, застигнутых бураном в горах. Перед его взором крутая дорога, восходящая на белую-белую, заснеженную гору. Метель жгла щеки. Глаза резало. Они толкали вверх огромную, с дом, автомашину с сеном. Медленно, очень медленно поднимались они по дороге. А грузовик уже не идет — сдает, пятится. Так страшно. Так темно. Ветер такой жгучий. Мальчик от страха сжимался, боясь, что машина сорвется и раздавит их. Но тут откуда-то появилась Рогатая мать-олениха. Она уперлась рогами в машину, стала помогать им, толкать ее наверх. «Давай, давай, давай!» — кричал мальчик. И машина пошла. Вылезли на гору, и машина поехала вниз сама. А они тащили наверх вторую, а потом третью и еще много машин. И всякий раз им помогала Рогатая мать-олениха. Ее никто не видел. Никто не знал, что она рядом с ними. А мальчик видел и знал. Он видел: всякий раз, когда становилось неважно, когда становилось страшно, что сил не хватит, подбегала Рогатая мать-олениха и рогами помогала им выкатить машину наверх. «Давай, давай, давай!» — подхватывал мальчик. И все время он был рядом с Кулубеком. Потом Кулубек сказал ему: «Садись за руль». Мальчик сел в кабину. Машина дрожала и гудела. И руль крутился в руках сам по себе, свободно, как обруч с бочки, с которым он играл в автомобиль — еще малышом. Стыд испытывал мальчик, что руль у него оказался такой, игрушечный. И вдруг машина стала крениться, падать набок. И упала с грохотом, и разбилась. Мальчик громко заплакал. Очень стыдно стало. Стыдно было смотреть в глаза Кулубека.

— Ты чего? Ты чего, а? — разбудил его Кулубек.

Мальчик открыл глаза. И обрадовался, что все это оказалось сном. А Кулубек поднял его на руки, прижал к себе.

— Приснилось? Испугался? Эх ты, а еще герой! — Он поцеловал мальчика жесткими, обветренными губами. — Ну, давай я тебя уложу, спать надо.

Он уложил мальчика на полу, на кошме, между спящих шоферов, и сам лег рядом с ним, придвинул его поближе к себе, под бок, и прикрылся полой бушлата.

Рано утром мальчика разбудил дед.

— Проснись, — тихо сказал старик. — Оденься потеплее. Поможешь мне. Вставай.

За окном мутно просвечивал утренний полумрак. В доме все еще спали вповалку.

— На, обуй валенки, — сказал дед Момун.

От деда пахло свежим сеном. Значит, он уже задал корм лошадям. Мальчик влез в валенки, и они с дедом вышли во двор. Снегу намело изрядно. Но ветер поутих. Изредка только пошевеливалась поземка.

— Холодно! — вздрогнул мальчик.

— Ничего. Вроде развидняется, — пробурчал старик. — Надо же! С первого раза как закрутило. Ну да ладно, лишь бы бедой не обернулось...

Они вошли в хлев, где стояли пять момуновских овец. Старик нашарил на столбе фонарь, зажег его. Овцы оглянулись в углу, заперхали.

— Держи, будешь мне светить, — сказал старик мальчику, передав ему фонарь. — Зарежем черную ярку. Гостей полон дом. Пока встанут, мясо чтобы было у нас готово.

Мальчик светил фонарем деду. Еще посвистывал ветер в щелях, еще холодно и сумрачно было на дворе. Старик вначале бросил у входа охапку чистого сена. Привел на это место черную ярку и, прежде чем повалить ее, связать ноги, призадумался, присел на корточках.

— Поставь фонарь. Садись и ты, — сказал он мальчику. А сам зашептал, раскрыв ладони перед собой: — О великая прародительница наша, Рогатая мать-олениха. Приношу тебе в жертву черную овцу. За спасение детей наших в час опасный. За белое молоко твое, которым ты вскормила наших предков, за доброе сердце твое, за материнское око. Не покидай нас на перевалах, на бурных реках, на скользких тропах. Не покидай нас вовеки на нашей земле, мы твои дети. Аминь!

Он молитвенно провел ладонями по лицу, вниз от лба к

подбородку. Мальчик сделал то же. И тогда дед повалил оццу на землю, связал ей ноги. Вынул из ножен свой старый азиатский нож.

А мальчик светил ему фонарем.

Погода утихомирилась наконец. Раза два испуганно проглянуло солнце сквозь разрывы бегущих туч. Кругом лежали следы прошлой бурной ночи: сугробы вкривь и вкось, смятые кусты, согнувшиеся в дугу от тяжести снега молодые деревца, поваленные старые деревья. Лес за рекой стоял молчаливый, тихий, какой-то подавленный. И сама река точно бы ушла ниже, берега ее narосли снегом, стали круче. Вода шумела тише.

Солнце оставалось неустойчивым — то проглянет, то скроется.

Но ничто не омрачало и не тревожило душу мальчика. Тревоги прошлой ночи забылись, буран забылся, а снег ему не мешал — так даже интересней. Носился туда-сюда, только комья летели из-под ног. Ему было весело оттого, что в доме полно народу, оттого, что парни выспались, громко говорили, смеялись, оттого, что с аппетитом ели сваренную для них баранину.

Тем временем и солнце стало налаживаться. Чище и дольше светило. Тучи понемногу рассеивались. И даже потеплело. Неурочный снег стал быстро оседать, особенно на дороге и тропах.

Правда, мальчик заволновался, когда шоферы и грузчики стали собираться в дорогу. Вышли все во двор, попрощались с хозяевами кордона, поблагодарили за кров и хлеб. Их провожали на лошадях дед Момун и Сейдахмат. Дед взял вязанку дров, а Сейдахмат — большой оцинкованный бак, чтобы греть воду для застывших моторов.

Все двинулись со двора.

— Ата, и я пойду, возьми меня, — подбежал мальчик к деду.

— Ты же видишь, я везу дрова, а Сейдахмат везет бак. Некому тебя взять. И зачем тебе туда? Устанешь ходить по снегу.

Мальчик обиделся. Надулся. И тогда его взял с собой Куллубек.

— Пошли с нами, — сказал он и взял его за руку. — Назад поедешь с дедом.

И они пошли на развилку — туда, куда спускалась дорога с сенокоса Арча. Снегу лежало еще порядочно. Не так



«Джамия».



«Белый пароход».

просто оказалось поспевать в шаг с этими крепкими парнями. Мальчик стал уставать.

— Ну-ка, давай садись ко мне на спину, — предложил Кулубек. Он ловко взял мальчика за руку и ловко вскинул его к себе за плечи. И понес так привычно, словно каждый день носил его на спине.

— Здорово это получается у тебя, Кулубек, — сказал шофер, идущий рядом.

— А я всю жизнь братьев и сестер носил, — похвалился Кулубек. — Я ведь старший, а нас было шестеро, мать на работе в поле, отец тоже. А теперь у сестер уж дети. Вернулся из армии холостой, на работу еще не поступал. А сестренка — та, что старшая, — «Приезжай, — говорит, — к нам, живи у нас, ты так хорошо нянчишь детей». — «Ну нет, — говорю ей, — хватит! Я теперь своих буду носить...»

Так они шли, поговаривая о разном. Хорошо и покойно было мальчику ехать на крепкой спине Кулубека.

«Вот был бы у меня такой брат! — мечтал он. — Я бы никого не боялся. Попробовал бы Орозкул накричать на деда или тронуть кого, сразу притих бы, если б Кулубек глянул на него построже».

Машины с сеном, оставленные вчерашней ночью, стояли километрах в двух выше развилки. Занесенные снегом, они походили на зимние стога в поле. Казалось, никто и никак не сдвинет их с места.

Но вот разложили костер. Нагрели воду. Стали заводить мотор заводской ручкой, и мотор ожил, зачихал, заработал. А дальше дело пошло быстрее. Каждую следующую машину заводили с буксира. Каждая заведенная, разогретая машина тащила затем ту, которая стояла за ней в колонне.

Когда все грузовики заработали, подняли двойным буксиром ту машину, которая завалилась ночью в кювет. Все, кто был, помогали ей вылезть на дорогу. И мальчик тоже примостился с краешка, тоже помогал. Он все время опасался, что кто-нибудь скажет: «А ты чего путаешься под ногами? А ну, беги отсюда!» Но никто не сказал этих слов, никто не прогнал его. Может быть, потому, что Кулубек разрешил ему помогать. А он здесь самый сильный, и его все уважают.

Шоферы еще раз попрощались. Машины тронулись. Сначала медленно, потом быстрее. И потянулись караваном по дороге среди заснеженных гор. Уехали сыновья сыновей Рогатой матери-оленихи. Они не знали, что волей детского

воображения впереди них по дороге невидимо бежала Рогатая мать-олениха. Длинными, стремительными прыжками неслась она впереди автоколонны. Она охраняла их от бед и несчастий на трудном пути. От обвалов, от снежных лавин, от пурги, от тумана и прочих невзгод, от которых за многие века кочевой жизни киргизы натерпелись столько бед. Разве не об этом просил дед Момун Рогатую мать-олениху, принося ей в жертву черную овцу на рассвете?

Уехали. А мальчик тоже уезжал вместе с ними. Мысленно. Он сидел в кабине рядом с Кулубеком. «Дядя Кулубек, — говорил он ему. — А впереди нас бежит по дороге Рогатая мать-олениха». — «Да ну?» — «Правда. Честное слово. Вот она!»

— Ну, ты чего задумался? Что стоишь? — заставил его очнуться дед Момун. — Садись, домой пора. — Он наклонился с лошади, поднял мальчика на седло. — Тебе холодно? — сказал старик и потеплей укутал внука полами шубы.

Мальчик тогда еще не ходил в школу.

А теперь, просыпаясь по временам от тяжелого сна, он с беспокойством думал: «Как же я пойду завтра в школу? Ведь я заболел, мне так плохо...» Потом он забывался. Ему казалось, что он переписывает в тетрадь слова, написанные учительницей на доске: «Ат. Ата. Така»<sup>1</sup>. Этими письменами первоклассника он заполнял всю тетрадь, страницу за страницей. «Ат. Ата. Така. Ат. Ата. Така». Он уставал, в глазах рябило, и становилось жарко, мальчик открывался. А когда лежал открытым и мерз, опять посещали его разные видения. То он плывал рыбой в студеной реке, плыл к белому пароходу и никак не мог доплыть. То попадал в снежную метель. В дымном холодном вихре буксовали автомашины с сеном на крутой дороге в гору. Машины рыдали, как рыдают люди, и все буксовало на месте. Колеса, бешено вращаясь, становились огненно-красными. Колеса горели, пламя шло от них. Упираясь рогами в кузов, Рогатая мать-олениха выкатывала машину с возом сена на гору. Мальчик помогал ей, старался изо всех сил. Обливался горячим потом. И вдруг воз сена превратился в детскую колыбель. Рогатая мать-олениха сказала мальчику: «Побежали быстрее, отнесем бешик тетке Бекей и дяде Орозкулу». И они пустились

<sup>1</sup> Ат, ата, така — лошадь, отец, подкова.



бежать. Мальчик отстал. Но впереди, в темноте, все звенел и звенел колыбельный колокольчик. Мальчик бежал на его зов.

Он проснулся, когда слышались шаги на веранде и скрипнула дверь. Дед Момун и бабка вернулись как будто немного успокоенные. Приезд посторонних на кордон, видимо, заставил Орозкула и тетку Бекей приутихнуть. А может быть, Орозкул устал пьянствовать и уснул наконец. На дворе не слышно было ни криков, ни ругани.

Около полуночи луна встала над горами. Она зависла туманным диском над самой высокой ледяной вершиной. Гора, окованная вечным льдом, высилась во мраке, призрачно поблескивая неровными гранями. А вокруг в полном безмолвии пребывали горы, скалы, черные и неподвижные леса, и в самом низу билась и шумела река на камнях.

В окно косым потоком падал неверный свет луны. Этот свет мешал мальчику. Он ворочался, жмурил глаза. Хотел попросить бабку, чтобы она занавесила окно. Но не стал: бабка была сердита на деда.

— Дурак, — шептала она, ложась спать. — Если не знаешь, как жить с людьми, то хоть бы уж помалкивал. Слушался бы других. Ты уже у него в руках. Жалованье идет тебе от него, пусть грошовое. Зато каждый месяц. А без жалованья — кто ты есть? Стар, а ума не нашил...

Старик не отвечал. Бабка умолкла. Потом вдруг неожиданно громко сказала:

— Если у человека отбирают жалованье, он уже не человек. Он никто.

И опять старик ничего не ответил.

А мальчик не мог уснуть. Голова болела, и мысли мешались. О школе думал — тревожился. Он еще ни разу не пропустил ни одного дня и теперь не представлял себе, как быть, если завтра не сможет поехать в свою школу в Джеле-сае. Думал мальчик и о том, что если Орозкул выгонит деда с работы, то бабка житья не даст старику. Как им быть тогда?

Почему люди так живут? Почему одни злые, другие добрые? Почему есть счастливые и несчастливые? Почему есть такие, которых все боятся, и такие, которых никто не боится? Почему у одних есть дети, у других нет? Почему одни люди могут не выдавать жалованье другим? Наверное, самые лучшие люди те, которые получают самое большое жалованье. А вот дед получает мало, и его все обижают. Эх, как бы сделать, чтобы деду тоже дали побольше жалованья! Может быть, тогда и Орозкул начал бы уважать деда.

От этих мыслей голова мальчика разбалчивалась все больше. Опять вспомнил он про маралов, виденных под вечер у брода за рекой. Как-то им там ночью? Одни ведь они в холодных и каменных горах, в черном, непроглядном лесу. Страшно ведь очень. А вдруг волки нападут, что тогда? Кто принесет тетке Бекей волшебную колыбель на рогах?

Он заснул тревожным сном и, засыпая, умолял Рогатую мать-олениху принести березовый бешик для Орозкула и тетки Бекей. «Пусть будут у них дети, пусть будут у них дети!» — заклинал он Рогатую мать-олениху. И слышал отдаленный звон колыбельного колокольчика. Спешила Рогатая мать-олениха, подцепив на рога волшебную колыбель...

## 7

Рано утром мальчик проснулся от прикосновения руки. Рука деда была холодная, с улицы. Мальчик невольно пожегся.

— Лежи, лежи. — Дед согрел руки дыханием, пощупал его лоб, потом положил ладонь на грудь, на живот. — Да ты, никак, занемог, — огорчился дед. — Жар у тебя. А я думаю, что он лежит? В школу пора.

— Я сейчас, я встану, — приподнял голову мальчик, и все закружилось у него перед глазами, и в ушах зашумело.

— И не думай вставать. — Дед уложил мальчика на подушку. — Кто повезет тебя в школу больного? Ну-ка, покажи язык.

Мальчик попытался настоять на своем:

— Учительница заругает. Очень не любит она, кто пропускает школу...

— Не заругает. Я сам скажу. Ну-ка, давай покажи язык.

Дед внимательно осмотрел язык и горло мальчика. Долго искал пульс: задубелые от грубой работы, жесткие пальцы деда каким-то чудом улавливали толчки сердца в горячей, потной руке мальчика. Убедившись в чем-то, старик успокаивающе произнес:

— Бог милостив. Ты просто озяб немного. Холод вошел в тебя. Ты сегодня полежи в постели, а перед сном я натру тебе ступни и грудь горячим курдючным жиром. Пропотеешь — и, бог даст, встанешь утром, как дикий кулан.

Вспомнив о вчерашнем и о том, что еще ждет его, старика, Момун помрачнел, сидя на постели внука, вздохнул и призадумался. «Бог с ним», — прошептал со вздохом.

— Это когда же ты заболел? Что ж ты молчал? — обратился он к мальчику. — Вечером, что ли?

— Да под вечер. Когда увидел маралов за рекой. Я прибежал к тебе. А потом мне стало холодно.

Старик сказал почему-то виноватым голосом:

— Ну, ладно... Ты лежи, а я пойду.

Он поднялся, но мальчик задержал его:

— Ата, а там сама Рогатая мать-олениха, да? Та, что белая, как молоко, глаза вот такие, смотрит, как человек...

— Дурачок ты, — осторожно улыбнулся старик Момун. — Ну, пусть будет по-твоему. Может, то и она, — сказал он глухо, — пречудная мать-олениха, кто знает?.. Я вот думаю...

Старик не договорил. В дверях появилась бабка. Она спешила со двора, она уже что-то разведала.

— Иди, старик, туда, — с порога заговорила бабка. Дед Момун сразу сник при этом, стал жалким, пришибленным. — Там они хотят выволочь бревно из реки машиной, — говорила бабка. — Так ты иди, делай все, что прикажут... Ох ты, боже мой, молоко-то еще некипяченое! — спохватилась бабка и принялась разжигать плиту, греметь посудой.

Старик хмурился. Хотелось ему что-то возразить, что-то сказать. Но бабка не дала ему рта раскрыть.

— Ну ты чего уставился? — возмущилась бабка. — Чего артачишься? Не нам с тобой артачиться, горе ты мое. Ну кто ты есть такой против них? К Орозкулу вон люди приехали какие. Машина у них какая. Нагрузишь, так десять бревен увезет по горам. А Орозкул на нас и не глядит даже. Как я ни уговаривала, как ни унижалась. Дочь твою не пустил на порог. Сидит она, неродиха твоя, у Сейдахмата. Глаза повыплакала. И проклинает она тебя — отца своего безмозглого...

— Ну, хватит, — не стерпел старик и, направляясь к двери, сказал: — Молока дай горячего, заболел вон мальчонка.

— Дам, дам молока горячего, иди, иди, ради бога. — И, выпроводив старика, она еще бурчала: — И чего на него нашло такое? Никогда никому не перечил, тише воды, ниже травы был — и на тебе вдруг! Да еще на коня орозкуловского вскочил, да еще поскакал. И все это из-за тебя, — стрельнула она злым взглядом в сторону мальчика. — Было бы за кого на рожон лезть...

Потом она принесла мальчику горячего молока с желтым топленным маслом. Молоко обжигало губы. А бабка настаивала, принуждала:

— Пей, пей погорячее, не бойся. Простуду только горячим выгонишь.

Мальчик обжигался, слезы выступили у него на глазах. И бабка вдруг подобрела:

— Ну, остуди, остуди немного... И надо же, приболел ты у нас в такое время! — вздохнула она.

Мальчику давно уже не терпелось помочиться. Он встал, чувствуя во всем теле какую-то странную, сладкую слабость. Но бабка упредила:

— Постой, я сейчас принесу тебе тазик.

Неловко отвернувшись, мальчик заструил в тазик, удивляясь тому, что моча такая желтая и горячая.

Он чувствовал себя гораздо легче. Голова болела меньше.

Мальчик лежал в постели спокойно, благодарный бабке за ее услугу, и думал, что надо к утру выздороветь и обязательно отправиться в школу. Он думал еще о том, как он расскажет в школе о трех маралах, появившихся у них в лесу, о том, что белая матка маралья — это и есть сама Рогатая мать-олениха, что с ней телок, большой уже и крепкий, и с ними здоровенный бурый марал с огромными рогами, что он сильный и охраняет от волков Рогатую мать-олениху и ее детеныша. И думал, что он расскажет еще о том, что если маралы останутся у них и никуда не уйдут, то Рогатая мать-олениха скоро принесет дяде Орозкулу и тетке Бекей волшебную колыбель.

А маралы спустились утром к воде. Они вышли из верхнего леса, когда короткое осеннее солнце наполовину поднялось над горной грядой. Чем выше поднималось солнце, тем светлей и теплей становилось внизу среди гор. После ночного оцепенения лес оживал, наполнялся движением света и красок.

Пробираясь между деревьями, маралы шли не торопясь, греясь на солнечных полянках, пощипывая росную листву с веток. Они шли в том же порядке — впереди самец-рогач, посредине телок и последней — крутобокая матка, Рогатая мать-олениха. Маралы шли по той же тропе, по которой вчера Орозкул с дедом Момуном спускали к реке злополучное сосновое бревно. След волока оставался на горном черномезе еще свежей, пропаханной бороздой с рваными ключьями дерна. Тропа эта выводила к броду, где было оставлено засевшее на речном пороге бревно.

Маралы направлялись к этому месту, потому что оно удобно для водопоя. Орозкул, Сейдахмат и двое людей, прибывших за лесом, шли сюда с тем, чтобы посмотреть, как лучше подогнать машину, чтобы, подцепив трос, выволочь бревно из реки. Дед Момун неуверенно шел позади всех, понурился головой. Он не знал, как ему быть после вчерашнего скандала, как вести себя, что делать. Допустит ли Орозкул его к работе? Не прогонит ли, как вчера, когда он хотел на коне вытащить бревно? А что, если скажет: «А тебе что здесь? Сказано ведь, что ты уволен с работы!» Что, если обругает при людях и отправит домой? Сомнения одолевали старика, он шел, как на пытку, и все же шел. Сзади следовала бабка. Она шла вроде бы сама по себе, вроде бы из любопытства. Но, по сути, она конвоировала старика. Она гнала Расторопного Момуна на примирение с Орозкулом, на то, чтобы он заслужил у Орозкула прощение.

Орозкул ступал важно, по-хозяйски. Шел, отдуваясь, посапывая, и строго поглядывал по сторонам. И хоть болела с перепоя голова, он испытывал мстительное удовлетворение. Оглянувшись, он увидел, как семенил следом дед Момун, точно преданная собака, побитая хозяином. «Ничего, ты еще у меня не то запоешь. Я теперь на тебя и не гляну. Ты для меня пустое место. Ты еще сам повалишься мне в ноги», — злорадствовал Орозкул, вспоминая, как истошным криком орала прошлой ночью у его ног жена, когда он пинал ее, гнал ее пинками с порога. «Пусть! Вот отправлю этих с бревнами, я их еще сведу, пусть погрызутся. Теперь она отцу глаза поведет. Озверела, как волчица», — думал Орозкул в промежутках разговора на ходу с приезжим человеком.

Человека этого звали Кокетай. То был дюжий черный мужик, колхозный счетовод с приозерья. С Орозкулом он давно вел дружбу. Лет двенадцать тому назад построил Кокетай себе дом. Орозкул помог лесом. Продав по дешевке кругляки на распиловку досок. Потом мужик женил старшего сына, поставил и молодым дом. И тоже Орозкул снабдил его бревнами. Теперь Кокетай отделял младшего сына, опять потребовалось лесу на стройку. И опять старый друг Орозкул выручал. Беда, как трудна жизнь! Одно сделаешь — ну, думаешь, теперь спокойно поживу. Ан жизнь еще что-нибудь придумает. И без таких людей, как Орозкул, теперь не обойдешься...

— Бог даст, на новоселье пригласим вскоре. Приезжай, погуляем на славу, — говорил Кокетай Орозкулу.

Тот пыхтел самодовольно, папиросой дымил:

— Спасибо. Когда зовут — не отказываемся, а не зовут — не напрашиваемся. Позовешь, так приеду. Не впервой мне у тебя гостить. Я вот думаю сейчас: а не подождать ли тебе вечера, чтобы по темноте выехать? Главное, через совхоз незамеченным проехать. А не то, если засекут...

— Оно-то верно, — заколебался Кокетай. — Да долго ждать до вечера. Выедем потихоньку. Поста ведь нет на дороге, чтобы проверить нас?.. Случайно если наткнешься на милицию или на кого еще...

— То-то и оно! — пробурчал Орозкул, морщась от изжоги и головной боли. — Сто лет ездить по делам, и ни одна собака по дороге не встретится, а лес повезешь раз в сто лет — и влипнешь. Это всегда так...

Они замолчали, каждый думал о своем. Орозкул крепко досадовал теперь, что пришлось вчера бросить бревно в реке. А не то был бы лес готов, погрузили бы его еще ночью и на рассвете отправил бы машину с глаз долой... Эх, и угрозило же вчера случиться такому делу! Это все старый дурень Момун, бунтовать решил, из-под власти хотел выйти, из подчинения. Ну ладно же! Что-что, а это тебе не пройдет так просто...

Маралы пили воду, когда люди пришли к реке на противоположный берег. Странные существа эти люди — суетливые, шумливые. Занятые своими делами и разговорами, они и не замечали животных, стоящих напротив, через реку.

Маралы стояли в красных утренних кустах речного тугая, войдя по щиколотку в воду, на чистом галечнике прибрежной отмели. Пили они небольшими глотками, не торопясь, с перерывами. Вода была ледяная. А солнце пригревало сверху все горячее и приятней. Утоляя жажду, маралы наслаждались солнцем. На спинах высыхала упавшая с веток по пути обильная роса. Легкий дымок курился со спин маралов. Покойное и благостное было утро того дня.

А люди так и не замечали маралов. Один человек вернулся к машине, другие остались на берегу. Пошевеливая ушами, маралы чутко улавливали доносившиеся до них изредка голоса и замерли, вздрогнув кожей, когда на том берегу появилась автомашина с прицепом. Машина гремела, рокотала. Маралы шевельнулись, решили уйти. Но машина вдруг остановилась, перестала греметь и гудеть. Животные помедлили, потом все же осторожно двинулись с места — люди на том берегу слишком громко говорили и слишком суетливо двигались.

Маралы тихонько пошли тропкой в мелком тугае, их спины и рога то и дело показывались среди кустов. А люди так и не замечали их. И лишь когда маралы стали пересекать открытую прогалину сухого паводкового песка, люди увидели их как на ладони. На сиреновом песке, в ярком солнечном освещении. И застыли с разинутыми ртами, в разных позах.

— Смотри, смотри, что такое! — первым вскрикнул Сейдахмат. — Олени! Откуда они здесь?

— Что кричишь, что шумишь? Какие тебе олени, маралы это. Мы их вчера еще видели, — небрежно изрек Орозкул. — Откуда они? Пришли, стало быть.

— Пай, пай, пай! — восхищался дюжий Кокетай и от возбуждения расстегнул душивший его ворот рубашки. — А гладкие какие, — восхитился он, — отъелись...

— А матка-то какая! Смотри, как ступает, — вторил ему шофер, выгарашив глаза. — Ей-богу, с кобылицу-двулетку. Первый раз вижу.

— А бык-то! Рожища-то, смотри! Как только он их носит! И не боятся ничего. Откуда они такие, Орозкул? — допытывался Кокетай, с вожделием поблескивая свиными глазками.

— Заповедные, видать, — ответил Орозкул важно, с чувством хозяйского достоинства. — Из-за перевала пришли, с той стороны. А не боятся? Непуганые, вот и не боятся.

— Эх, ружье бы сейчас! — ляпнул вдруг Сейдахмат. — Мяса центнера на два потянет, а?

Момун, до сих пор робко стоявший в стороне, не утерпел:

— Да что ты, Сейдахмат. Охота на них запрещена, — сказал он негромко.

Орозкул искоса метнул на старика хмурый взгляд. «Ты еще у меня тут голос подаешь!» — подумал он с ненавистью. Хотел обругать его так, чтобы наповал убить, но сдержался. Все же посторонние присутствовали.

— Нечего попусту поучать, — раздраженно проговорил он, не глядя на Момуна. — Запрещена охота там, где они водятся. А у нас они не водятся. И мы за них не отвечаем. Ясно? — грозно глянул он на растерявшегося старика.

— Ясно, — покорно ответил Момун и, опустив голову, отошел в сторону.

Тут бабка еще раз украдкой дернула его за рукав.

— Ты бы уж молчал, — прошипела она укоризненно.

Все как-то пристыженно потупились. Снова принялись смотреть вслед уходящим по крутой тропинке животным. Маралы поднимались на обрыв гуськом. Впереди бурый самец, горделиво неся свои мощные рога, за ним комолый телок, и замыкала это шествие Рогатая мать-олениха. На фоне чистого глинистого сброса маралы выглядели четко и грациозно. Каждое их движение, каждый шаг их были на виду.

— Эх, красота какая! — не удержался от восторга шофер, лупоглазый молодой парень, очень смиренный с виду. — Жаль, что не захватил фотоаппарат, вот было бы...

— Ну, ладно, красота, — недовольно перебил его Орозкул. — Нечего стоять. Красотой сыт не будешь. Давай подгози машину задом к берегу, прямо в воду, с краю чтобы. А ты, Сейдахмат, разувайся, — распорядился он, упиваясь в душе своей властью. — И ты, — указал он шоферу. — И давайте цепляйте трос к бревну. Да поживей. Дело еще будет.

Сейдахмат принялся стаскивать с ног сапоги. Они ему были тесноваты.

— Что смотришь, помоги ему, — тычком незаметным толкнула старика бабка. — И разувайся, сам лезь в воду, — подсказывала она злобным шепотком.

Дед Момун кинулся стаскивать сапоги с Сейдахмата и сам быстренько разулся. Тем временем Орозкул с Кокетаем командовали машиной:

— Давай сюда, сюда давай.

— Левее немного, левее. Вот так.

— Еще немножко.

Заслышав внизу непривычный шум машины, маралы на тропе убыстряли шаг. Тревожно оглядываясь, выскочили на обрыв и скрылись в березах.

— О, исчезли! — спохватился Кокетай. Он воскликнул это с сожалением, точно из рук добыча ушла.

— Ничего, никуда они не денутся! — отгадывая его мысли и довольный этим, хвастался Орозкул. — Сегодня до вечера не уедешь, будешь моим гостем. Сам бог велит. Попотчую я тебя на славу. — И, хохотнув, хлопнул друга по плечу. Орозкул мог быть и веселым.

— Ну, коли так, как велишь, ты хозяин, я гость, — покорился дюжий Кокетай, обнажая в улыбке могучие желтые зубы.

Машина стояла уже на берегу, задними колесами в воде, в полколеса. Глубже захватить шофер не рискнул. Теперь



предстояло протащить трос к бревну. Если хватит длины троса, то выволочь бревно из плена подводных камней труда особого не составляло.

Трос был стальной — длинный и тяжелый. Надо было тащить его по воде к бревну. Шофер разулся неохотно, с опаской поглядывал на воду. Он еще не решил окончательно: стоит ли лезть в реку в сапогах или лучше будет разувиться. «И пожалуй, лучше босиком, — думал он. — Все равно вода залетится за голенища. Глубина вон какая, почти до бедра. А потом ходи весь день в мокрой обуви». Но он также представлял себе и то, какая, должно быть, холодная сейчас вода в реке. Этим и воспользовался дед Момун.

— Ты не разувайся, сынок, — подскочил он к нему. — Мы пойдем с Сейдахматом.

— Да не стоит, аксакал, — возразил, смутившись, шофер.

— Ты гость, а мы здешние, ты садись за руль, — уговорил его дед Момун.

И когда они с Сейдахматом, продев кол в моток стального троса, потащили его по воде, Сейдахмат возопил благим матом:

— Ай, ай, лед, а не вода!

Орозул с Кокетаем посмеивались снисходительно, подбадривали его:

— Терпи, терпи! Найдем чем согреть тебя!

А дед Момун не издал ни звука. Он даже не почувствовал леденящего холода. Вобрав голову в плечи, чтобы стать незаметнее, шел босыми ногами по скользким подводным камням, моля Бога лишь об одном, чтобы Орозул не вернул его, чтобы не прогнал, не обругал при людях, чтобы простил его, глупого, несчастного старика...

И Орозул ничего не сказал. Он вроде бы и не заметил усердия Момуна, не считая его за человека. А в душе торжествовал, что все же сломил взбунтовавшегося старика. «Так-то, — ехидно посмеивался Орозул про себя. — Приполз, упал мне в ноги. Ух, нет у меня большей власти, не таких бы крутил в бараний рог! Не таких заставил бы ползать в пыли. Дали бы мне хотя бы колхоз или совхоз. Я бы уж порядок навел. Распустили народ. А сами теперь жалеют: председателя, мол, не уважают, директора не уважают. Какой-нибудь чабан, а говорит с начальством, как ровня. Дураки, власти недостойные! Разве же с ними так надо обращаться? Было ведь времечко: головы летели — и никто ни звука. Вот это было — да! А что теперь? Самый никудышный из нуку-

дышных и тот вон вздумал вдруг перечить. Ну-ну, поползай у меня, поползай», — злорадствовал Орозкул, поглядывая изредка в сторону Момуна.

А тот, бредя по ледяной воде, скорчившись, тащил трос вместе с Сейдахматом и довольствовался тем, что Орозкул, кажется, простил его. «Ты уж прости меня, старого, что так получилось, — мысленно обращался он к Орозкулу. — Не утерпел вчера. Поскакал к внуку в школу. Одинокий ведь он, вот и жалеешь. А сегодня он в школу не пошел. Приболел что-то. Забудь, прости. Ты ведь мне тоже не чужой. Думаешь, не хочу я счастья тебе и дочери? Если бы Бог дал, если бы услышал я крик новорожденного жены твоей, моей дочери, — не сойти мне с места, пусть Бог тут же возьмет мою душу. Клянусь, от счастья плакал бы. Только ты не обижай мою дочь, прости меня. А работать — так пока я на ногах, я все сработаю. Все сделаю. Ты только скажи...»

Стоя в сторонке на берегу, бабка жестами и всем видом своим говорила старику: «Старайся, старик! Видишь, он простил тебя. Делай, как я тебе говорю, и все уладится».

Мальчик спал. Один раз только он проснулся, когда где-то прогрехотал выстрел. И снова уснул. Измученный вчерашней бессонницей и болезнью, сегодня он спал глубоким и спокойным сном. И во сне он чувствовал, как приятно лежать в постели, свободно вытянувшись, не испытывая ни жара, ни озноба. Он проспал бы, наверно, очень долго, если бы не бабка с теткой Бекей. Они старались говорить вполголоса, но загремели посудой, и мальчик проснулся.

— Держи вот большую чашку. И блюдо возьми, — оживленно шептала бабка в передней комнате. — А я понесу ведро и сито. Ох, поясница моя! Замаялась. Столько работы сделали. Но, слава богу, я так рада.

— Ой, не говори, энеке, и я так рада. Вчера умереть готова была. Если бы не Гульджамал, наложила бы руки на себя.

— Скажешь еще, — урезонила бабка. — Перцу взяла? Пошли. Сам Бог послал дар свой на примирение ваше. Пошли, пошли.

Выходя из дома, уже на пороге, тетка Бекей спросила бабку про мальчика:

— А он все спит?

— Пусть поспит пока, — ответила бабка. — Как будет тогово, принесем ему шурпы погорячей.

Мальчик больше не уснул. Со двора слышались шаги и голоса. Тетка Бекей смеялась, и Гульджамал и бабка смеялись в ответ ей. Доносились и какие-то незнакомые голоса. «Это, наверно, те люди, которые приехали ночью, — решил мальчик. — Значит, они еще не уехали». Не слышно, не видно было только деда Момуна. Где он? Чем занят?

Прислушиваясь к голосам снаружи, мальчик ждал деда. Ему очень хотелось поговорить с ним о маралах, которых он видел вчера. Скоро ведь зима. Надо бы им сена побольше оставить в лесу. Пусть едят. Надо их так приручить, чтобы они совсем не боялись людей, а приходили бы прямо через реку сюда, во двор. И здесь им давать что-нибудь такое, что они больше всего любят. Интересно, что они любят больше всего? Телка-мараленка приучить бы, чтобы везде ходил следом. Вот здорово было бы. Может быть, он и в школу ходил бы с ним?..

Мальчик ждал деда, но тот не появлялся. А пришел вдруг Сейдахмат. Очень довольный чем-то. Веселый. Сейдахмат покачивался, улыбаясь сам себе. И когда он подошел ближе, в нос ударил спиртной запах. Мальчик очень не любил этот дурной, резкий запах, напоминавший о самодурстве Орозкула, о страданиях деда и тетки Бекей. Но в отличие от Орозкула Сейдахмат, когда напивался, добрел, веселел, и вообще становился какой-то безобидно глуповатый, хотя он и трезвый-то не отличался умом. Между ним и дедом Момуном происходил в подобных случаях примерно такой разговор:

— Что усмехаешься, как дурачок, Сейдахмат? И ты надрался?

— Аксакал, я тебя так люблю! Честное слово, аксакал, как отца родного.

— Э-эх, в твои-то годы! Другие вон машины гоняют, а ты языком своим не управляешь. Мне бы твои годы, да я бы, по крайней мере, на тракторе сидел бы.

— Аксакал, в армии командир мне сказал, что я не способен по этой части. Зато я пехота, аксакал, а без пехоты — ни туды и ни сюды...

— Пехота! Лодырь ты, а не пехота. А жена у тебя... У бога глаз нет. Сто таких, как ты, не стоят одной Гульджамал.

— Потому мы и здесь, аксакал, — я один, и она одна.

— Да что с тобой говорить. Здоровый, как бык, а ума... — дед Момун безнадежно махал рукой.

— Му-у-у-у-у, — мычал и смеялся вслед ему Сейдахмат.

Потом, остановившись посреди дрова, запевал свою странную, невесть где услышанную песню:

С рыжих, рыжих гор  
Я приехал на рыжем жеребце.  
Эй, рыжий купец, открывай двери.  
Будем пить рыжее вино!

С бурых, бурых гор  
Я приехал на буром быке.  
Эй, бурый купец, открывай двери,  
Будем пить бурое вино!..

И так могло продолжаться бесконечно, ибо приезжал он с гор на верблюде, на петухе, на мыши, на черепахе — на всем, что могло передвигаться. Пьяный Сейдахмат нравился мальчику даже больше, чем трезвый.

И потому, когда появился подвыпивший Сейдахмат, мальчик приветливо улыбнулся ему.

— Ха! — воскликнул Сейдахмат удивленно. — А мне сказали, что ты болеешь. Да ты вовсе не болеешь. Ты почему не бегаешь на дворе? Так не пойдет... — Он повалился к нему на постель и, обдавая спиртным духом и запахом сырого, парного мяса, который шел от его рук и одежды, стал тормошить мальчика и целовать. Щеки его, заросшие грубой щетиной, обожгли лицо мальчика.

— Ну, хватит, дядя Сейдахмат, — попросил мальчик. — А где дедушка, ты не видел его?

— Дед твой там, это самое, — Сейдахмат неопределенно покрутил руками в воздухе. — Мы это... Бревно вытаскивали из воды. Ну и выпили для согрева. А сейчас он, это самое, мясо варит. Ты вставай. Давай одевайся — и пошли. Как же так! Это неправильно. Мы все там, а ты один здесь.

— Дедушка не велел мне вставать, — сказал мальчик.

— Да брось ты, не велел. Пойдем посмотрим. Такое не каждый день бывает. Сегодня пир. И чашка в жиру, и ложка в жиру, и рот в жиру! Вставай.

С пьяной неуклюжестью он стал одевать мальчика.

— Я сам, — пробовал отказать мальчик, испытывая смутные приступы головокружения.

Но пьяный Сейдахмат не слушал его. Он считал, что делает благо, поскольку мальчика бросили одного дома, а сегодня такой день, когда и чашка в жиру, и ложка в жиру, и рот в жиру...

Пошатаваясь, мальчик вышел вслед за Сейдахматом из

дома. День в горах стоял ветренный, полуоблачный. Облака быстро перемещались по небу. И пока мальчик прошел веранду, погода дважды резко изменилась — от нестерпимо яркого солнечного дня до неприятной сумрачности. Мальчик почувствовал, как у него от этого заболела голова. Подгоняемый порывом ветра, в лицо ударил дым костра. Глаза зашипало. «Стирают, наверно, сегодня белье», — подумал мальчик, потому что обычно костер раскладывали во дворе в день большой стирки, когда воду грели на все три дома в громадном черном котле. В одиночку этот котел и не поднимешь. Тетка Бекей и Гульджамал поднимали его вдвоем.

Мальчик любил большую стирку. Во-первых, костер на открытом очаге, — побаловаться можно с огнем, не то что в доме. Во-вторых, очень интересно развешивать выстиранное белье. Белые, синие, красные тряпки на веревке украшают двор. Мальчик любил и подкрадываться к белью, висящему на веревке, касаться щекой влажной ткани.

В этот раз никакого белья во дворе не было. А огонь под казаном разложили сильный — пар густо валил из кипящего казана, до краев наполненного большими кусками мяса. Мясо уже уварилось: мясной дух и запах костра зашекотали обоняние, вызывали во рту слюну. Тетка Бекей в новом красном платье, новых хромовых сапогах и цветистом полущалке, сбившемся на плечи, наклонившись над костром, снимала поварешкой пену, а дед Момун, стоя подле нее на коленях, ворочал горячие поленья в очаге.

— Вон он, твой дед, — сказал Сейдахмат мальчику. — Пошли.

И сам только было затянул:

С рыжих, рыжих гор  
Я приехал на рыжем жеребце, —

как из сарая высунулся Орозкул, бритоголовый, с топором в руке, с засученными рукавами рубашки.

— Ты где пропадаешь? — грозно окликнул он Сейдахмата. — Гость тут дрова рубит, — кивнул он на шофера, колотившего поленья, — а ты песни поешь.

— Ну, мы это в два счета, — успокоил его Сейдахмат, направляясь к шоферу. — Давай, брат, я сам.

А мальчик приблизился к деду, стоявшему на коленях подле очага. Он подошел к нему сзади.

— Ата, — сказал он.

Дед не слышал.

— Ата, — повторил мальчик и тронул деда за плечо.

Старик оглянулся, и мальчик не узнал его. Дед тоже был пьян. Мальчик не мог припомнить, когда он видел деда хотя бы подвыпившим. Если и случалось такое, то разве где-нибудь на поминках иссык-кульских стариков, где водку подносят всем, даже женщинам. Но чтобы так просто — этого еще не случалось с дедом.

Старик обратил на мальчика какой-то далекий, странный дикий взгляд. Лицо его было горячим и красным, и, когда он узнал внука, еще больше покраснело. Оно залилось пылающей краской и тут же побледнело. Дед торопливо поднялся на ноги.

— Ты что, а? — глухо сказал он, прижимая к себе внука. — Ты что, а? Ты что? — И кроме этих слов, он не мог произнести ничего, словно утратил дар речи.

Его волнение передалось мальчику.

— Ты заболел, ата? — с тревогой спросил он.

— Нет-нет. Я так просто, — пробормотал дед Момун. — Ты иди, походи немного. А я тут дрова, это самое...

Он почти оттолкнул внука от себя и, будто отвернувшись от всего мира, снова повернулся лицом к очагу. Он стоял на коленях и не оглядывался, никуда не смотрел, занятый лишь собой и костром. Старик не видел, как внук его растерянно потоптался и пошел по двору, направляясь к Сейдахмату, коловшему дрова.

Мальчик не понимал, что произошло с дедом и что происходило во дворе. И лишь подойдя поближе к сараю, он обратил внимание на большую грудку красного свежего мяса, наваленного кучей на шкуру, разостланную по земле волосом вниз. По краям шкуры еще сочилась бледными струйками кровь. Поодаль, там, куда выбрасывали нечистоты, собака, урча, мотала требуху. Возле кучи мяса сидел на корточках, как глыба, какой-то незнакомый, огромный темнолицый человек. То был Кокетай. Он и Орозкул с ножами в руках разделявали мясо. Спокойно, не торопясь перекладывали они расчлененные мослы с мясом в разные места на растянутой шкуре.

— Удовольствие одно! А запах какой! — говорил басом черный дюжий мужик, принюхиваясь к мясу.

— Бери, бери, бросай в свою кучу, — щедро предлагал ему Орозкул. — Бог дал нам из своего стада в день твоего приезда. Такое не каждый день случается.

Орозкул при этом пыхтел, то и дело вставал, оглаживая

свой тугой живот, точно он объелся чего-то; и сразу было заметно, что он уже крепко выпил. Задышался, сипя, и вскидывал голову, чтобы передохнуть. Его мясистое, как коровье вымя, лицо лоснилось от самодовольства и сытости.

Мальчик оторопел, холодом обдало его, когда он увидел под стеной сарая рогатую маралью голову. Отсеченная голова валялась в пыли, пропитанной темными пятнами стекшей крови. Она напоминала корягу, выброшенную с дороги. Возле головы валялись четыре ноги с копытами, отрезанные в коленных суставах.

Мальчик с ужасом глядел на эту страшную картину. Он не верил своим глазами. Перед ним лежала голова Рогатой матери-оленихи. Он хотел бежать отсюда, но ноги не повиновались ему. Он стоял и смотрел на обезображенную, мертвую голову белой маралицы. Той самой, что вчера еще была Рогатой матерью-оленихой, что вчера еще смотрела на него с того берега добрым и пристальным взглядом, той самой, с которой он мысленно разговаривал и которую он заклинал принести на рогах волшебную колыбель с колокольчиком. Все это вдруг превратилось в бесформенную кучу мяса, ободранную шкуру, отсеченные ноги и выброшенную вон голову.

Надо было ему уйти, а он стоял, окаменев, не соображая, как и почему все это произошло. Черный дюжий мужик, тот, что разделявал мясо, поддел из кучи острием ножа почку и протянул ее мальчику.

— На, мальчик, изжарь на углях, вкусно будет, — сказал он.

Мальчик не шевелился.

— Возьми! — приказал Орозкул.

Мальчик протянул руку, не чуя ее, и стоял теперь, сжимая в холодной руке еще теплую, нежную почку Рогатой матери-оленихи. А Орозкул тем временем поднял за рога голову белой маралицы.

— Ох и тяжелая! — показал он ее на весу. — Рога одни сколько весят.

Он пристроил голову боком на колоду, взял топор и принялся вырубать рога из черепа.

— Ай да рога! — приговаривал он, с хрястом всаживая острие топора в основание рогов. — Это мы деду твоему, — он подмигнул мальчику. — Как помрет, поставим рога ему на могилу. Пусть теперь скажет кто, что мы его не уважаем. Куда больше! За такие рога не грех хоть сегодня помереть! — хохотнул он, нацеливаясь топором.

Рога не поддавались. Оказалось, не так просто их вырубить. Пьяный Орозкул рубил невпопад, и это бесило его. Голова свалилась с колоды. Тогда Орозкул стал рубить ее на земле. Голова отскакивала, а он гонялся за ней с топором.

Мальчик вздрагивал, всякий раз невольно пятился, но не мог заставить себя уйти отсюда. Как в кошмарном сновидении, прикованный к месту жуткой и непонятной силой, он стоял и дивился тому, что остекленевший, немигающий глаз Рогатой матери-оленихи не бережется топора. Не моргнет, не зажмурится от страха. Голова давно уже извалялась в грязи и пыли, но глаз оставался чистым и, казалось, все еще смотрел на мир с немым, застывшим удивлением, в котором застала его смерть. Мальчик боялся, что пьяный Орозкул попадет по глазу.

А рога не поддавались. Орозкул все больше выходил из себя, свирепел и, уже не разбирая, бил по голове как попало — и обухом, и лезвием топора.

— Да так поломаешь рога. Дай мне, — подошел Сейдахмат.

— Прочь! Я сам! Черта с два — поломаешь! — прохрипел Орозкул, взмахивая топором.

— Ну как хочешь, — плюнул Сейдахмат, направляясь к себе домой.

За ним последовал тот самый черный дюжий мужик. Он тащил в мешке свою долю мяса.

А Орозкул с пьяным упорством продолжал четвертовать за сараем голову Рогатой матери-оленихи. Можно было подумать, что он совершал долгожданную месть.

— Ах ты, сволочь! — с пеной у рта пинал он голову сапогом, точно мертвая голова могла его слышать. — Ну нет, врешь! — налетал он с топором снова и снова. — Не я буду, если не доконаю тебя. На тебе! На тебе! — крушил он топором.

Череп трещал, отлетали по сторонам осколки костей.

Мальчик коротко вскрикнул, когда топор невзначай пришелся поперек глаза. Из развороченной глазницы хлынула темная, густая жидкость. Умер глаз, исчез, опустел...

— Я и не такие головы могу разможжить! И не такие рога обломаю! — рычал Орозкул в припадке дикой злобы и ненависти к этой безвинной голове.

Наконец ему удалось проломить череп и в темени, и на лбу. Тогда он бросил топор, схватился обеими руками за рога и, прижимая ногой голову к земле, крутанул рога со звер-



ской силой. Он вырывал их, и они затрещали, как рвущиеся корни. То были те самые рога, на которых мольбами мальчика Рогатая мать-олениха должна была принести волшебную колыбель Орозкулу и тетке Бекей...

Мальчику стало дурно. Он повернулся, уронил почку на землю и медленно побрел прочь. Он очень боялся, что упадет или что его стошнит тут же, на глазах у людей. Бледный, с холодной, липкой испариной на лбу, он проходил мимо очага, в котором ошалело горел огонь, над которым клубился горячий пар из котла и у которого, повернувшись ко всем спиной, сидел по-прежнему лицом к огню несчастный дед Момун. Мальчик не стал беспокоить деда. Ему хотелось быстрее добраться до постели и лечь, укрыться с головой. Не видеть, не слышать ничего. Забыть...

Навстречу ему попала тетка Бекей. Нелепо разряженная, но с сине-багровыми следами орозкуловых побоев на лице, худющая и неуместно веселая, носилась она сегодня в хлопотах «большого мяса».

— Что с тобой? — остановила она мальчика.

— У меня голова болит, — сказал он.

— Да милый ты мой, болезный, — сказала она вдруг в приступе нежности и принялась осыпать его поцелуями.

Она тоже была пьяна. От нее тоже противно разлило водой.

— Голова у него болит, — бормотала она умиленно. — Родненький ты мой! Ты, наверно, кушать хочешь?

— Нет, не хочу. Я хочу лечь.

— Ну так идем, идем, я тебя уложу. Что же ты будешь один-одинешенек лежать. Ведь все будут у нас. И гости, и наши. И мясо уже готово. — И она потащила его с собой.

Когда они проходили снова мимо очага, из-за сарая появился Орозкул, упревший и красный, как воспаленное вымя. Он победоносно свалил возле деда Момуна вырубленные им маральи рога. Старик привстал с места.

Не глядя на него, Орозкул поднял ведро с водой и, запрокидывая его на себя, стал пить, обливаясь.

— Можешь помирать теперь, — бросил он, отрываясь от воды, и снова припал к ведру.

Мальчик слышал, как дед пролепетал:

— Спасибо, сынок, спасибо. Теперь и помирать не страшно. Как же, почет мне и уважение, стало быть.

— Я пойду домой, — сказал мальчик, чувствуя слабость в теле.

Тетка Бекей не послушалась.

— Нечего тебе там одному, — и почти насильно повела его в дом. Уложила на кровать в углу.

В доме у Орозкула все уже было готово к трапезе. Наварено, нажарено, наготовлено. Всем этим оживленно занимались бабка и Гульджамал. Бегала между домом и очагом на дворе тетка Бекей. В ожидании большого мяса баловались слегка чаем Орозкул и черный дюжий Кокетай, полулежа на цветных одеялах, с подушками под локтями. Они сразу как-то заважничали и чувствовали себя князьями. Сейдахмат наливал им чай на донышки пиал.

А мальчик тихо лежал в углу, скованный, напряженный. Снова его знобило. Он хотел встать и уйти, но боялся, что стоит ему только слезть с кровати, как его тут же вырвет. И потому он судорожно держал в себе этот комок, застрявший в горле. Боялся шевельнуться лишний раз.

Вскоре женщины вызвали Сейдахмата во двор. И появился он затем в дверях с горой дымящегося мяса в огромной эмалированной чашке. Он с трудом донес эту ношу и поставил ее перед Орозкулом и Кокетаем. Женщины внесли за ним еще разные кушанья.

Все стали рассаживаться заново, приготовили ножи и тарелки. Сейдахмат тем временем разливал водку по стаканам.

— Командиром водки буду я, — гоготал он, кивая на бутылки в углу.

Последним пришел дед Момун. Странный, слишком уж жалкий вид против обычного имел сегодня старик. Он хотел приткнуться где-нибудь сбоку, но черный дюжий Кокетай великодушно попросил его сесть рядом с ним.

— Проходите сюда, аксакал.

— Спасибо. Мы тут, мы ведь у себя, — пробовал отказаться дед Момун.

— Но все же вы самый старший, — настоял Кокетай и усадил его между собой и Сейдахматом. — Выпьем, аксакал, по случаю такой удачи вашей. Вам первое слово.

Дед Момун неуверенно прокашлялся.

— За мир в этом доме, — сказал он вымученно. — А там, где мир, там и счастье, дети мои.

— Правильно, правильно! — подхватили все, опрокидывая в глотки стаканы.

— А вы что ж? Нет, так не пойдет! Желаете счастья зятю и дочери, а сами не пьете, — упрекнул Кокетай засмушавшегося деда Момуна.

— Ну, разве что за счастье, я что ж, — заторопился старик.

На удивление всем, он ахнул до дна почти полный стакан водки и, оглушенный, замотал старой головой.

— Вот это да!

— Наш старик не чета другим!

— Молодец ваш старик!

Все смеялись, все были довольны, все хвалили деда.

В доме стало жарко и душно. Мальчик лежал в тягостных муках, его все время мутило. Он лежал с закрытыми глазами и слышал, как опьяневшие люди чавкали, грызли, сопли, пожирая мясо Рогатой матери-оленихи, как угощали друг друга вкусными кусками, как чокались замызганными стаканами, как складывали в чашку обглоданные кости.

— Не мясо, а молодой жеребенок! — похвалил Кокетай, причмокивая губами.

— А что ж мы, дураки, что ли, жить в горах и не есть такого мяса, — говорил Орозкул.

— Верно, для чего мы здесь живем, — поддакивал Сейдахмат.

Все хвалили мясо Рогатой матери-оленихи: и бабка, и тетка Бекей, и Гульджамал, и даже дед Момун. Мальчику тоже совали и подавали на тарелке мясо и другие кушанья. Но он отказывался, и, видя, что ему нездоровится, пьяные оставили его в покое.

Мальчик лежал, стиснув зубы. Ему казалось, что так легче будет удержать тошноту. Но еще больше мучило его сознание собственной беспомощности, то, что не в силах был ничего поделать с этими людьми, убившими Рогатую мать-олениху. И в своем детском праведном гневе, в отчаянии мальчик придумывал разные способы отмщения, как бы он мог наказать их, заставить понять, какое страшное злодеяние совершили они. Но ничего лучшего не сумел придумать, кроме как мысленно позвать на помощь Кулубека. Да, того самого парня в солдатском бушлате, приехавшего с молодыми шоферами за сеном в ту бурную ночь. Это был единственный человек из всех, кого знал мальчик, кто мог бы одолеть Орозкула, сказать ему всю правду в глаза.

...По зову мальчика Кулубек примчался на грузовике, выскочил из кабины с автоматом наперевес:

— Где они?

— Там они!

Побежали вдвоем к дому Орозкула, рванули двери.

— Ни с места! Руки вверх! — грозно приказал с порога Кулубек, направляя автомат.

Все обалдели. Оцепенели от страха кто где сидел. Куски застряли у них в глотках. С мослами в жирных руках, с жирными щеками и жирными ртами, объевшиеся, пьяные, они не смогли даже шевельнуться.

— А ну, встань, гадина! — Кулубек приставил автомат к виску Орозкула, и тот затрясся весь, заикаясь, упал к ногам Кулубека.

— По-щади, не-не убивай ме-ме-меня!

Но Кулубек был неумолим.

— Выходи, гадина! Конец тебе! — крепким пинком поднадал он под жирную задницу Орозкула, заставил его встать, выйти из дома.

И все, кто был, перепуганные и молчаливые, вышли во двор.

— Становись к стене! — приказал Кулубек Орозкулу. — За то, что ты убил Рогатую мать-олениху, за то, что ты вырубил ее рога, на которых она приносила люльку, — тебе смерть!

Орозкул упал в пыль. Заползал, завыл, застонал:

— Не убивайте, у меня ведь и детей нет. Один я на всем свете. Ни сына у меня, ни дочери...

И куда девалась его надменность, его спесь! Жалкий и ничтожный трус. Такого даже убивать не захотелось.

— Ладно, не будем убивать, — сказал мальчик Кулубеку. — Но пусть этот человек уйдет отсюда и больше никогда не возвращается. Не нужен он здесь. Пусть уходит.

Орозкул встал, подтянул штаны и, боясь оглянуться, затрусил прочь — жирный, обрюзгший, с обвисшими галифе. Но Кулубек остановил его:

— Стой! Мы тебе скажем последнее слово. У тебя никогда не будет детей. Ты злой и негодный человек. Тебя никто здесь не любит. Тебя не любит лес, ни одно дерево, даже ни одна травинка тебя не любит. Ты фашист. Уходи — и чтобы навсегда. А ну, побыстрей!

Орозкул побежал без оглядки.

— Шнель! Шнель! — хохотал ему вслед Кулубек и для страху пальнул из автомата в воздух.

Радовался мальчик и ликовал. А когда Орозкул скрылся из виду, Кулубек сказал всем другим, виновато стоящим у дверей:

— Как же вы жили с таким человеком! И не стыдно вам?

Облегчение почувствовал мальчик. Совершился справедливый суд. И так поверил он в свою мечту, что забыл, где находится, по какому случаю пьянствовали в доме Орозкула.

...Взрыв хохота вернул его из этого блаженного состояния. Мальчик открыл глаза, прислушался. Деда Момуна в комнате не было. Вышел, наверно, куда-то. Женщины убрали посуду. Готовились подавать чай. Сейдахмат что-то громко рассказывал. Сидевшие смеялись его словам.

— Ну и что дальше?

— Рассказывай!

— Нет, слушай, ты Расскажи, ты повтори еще раз, — чуть не умирая от смеха, просил Орозкул. — Как ты его напугал? Ой, не могу!

— Так вот, значит, — Сейдахмат охотно принялся повторять уже рассказанное. — Только мы стали подъезжать к маралам, а они стояли на опушке в лесу, все три. Только мы привязали коней к деревьям, старик мой вдруг хватает меня за руку. «Не можем, — говорит, — мы стрелять маралов. Мы бугинцы, дети Рогатой матери-оленихи!» А сам смотрит на меня, как ребенок. Умоляет глазами. А я — хоть стой, хоть падай — подыхаю со смеху. Но не засмеялся. А, наоборот, так это серьезно. «Ты что, — говорю, — в тюрьму хочешь угодить?» — «Нет», — говорит он. «А ты знаешь, что байские сказки это, придуманные в темные байские времена, чтобы, значит, запугивать бедняцкий народ!» А он тогда и рот раскрыл. «Да что ты?» — говорит. «Вот то-то, — говорю, — ты эти разговорчики оставь, а не то не посмотрю, что старик, напишу на тебя куда следует».

— Ха-ха-ха! — рассмеялись дружно сидевшие.

И больше всех Орозкул. Уж он-то хохотал в усладу.

— Ну а потом подкрадываемся мы. Другой бы зверь давно сиганул бы, и след простыл, а эти полоумные маралы не бегут, вроде бы и не боятся нас. Ну, тем лучше, думаю, — прихвастывая, рассказывал пьяный Сейдахмат. — Я впереди с ружьем. Старик позади. И тут на меня сомнение напало. В жизни я еще воробья не подстрелил. А тут такое дело. Не попаду — рванут по лесу, и ищи их. Попробуй угонись за ними. Уйдут за перевал. Кому это нужно, такую дичь упускать? А старик у нас охотник, медведя валит в свое время. Я ему и говорю: «Вот тебе ружье, старик, стреляй». А он ни в какую! «Сам, — говорит, — стреляй». А я ему: «Да я же пьяный», — говорю. И сам шатаюсь, вроде на ногах не стою.

Он видел, когда мы вывезли бревно из реки, с вами же вместе бутылочку распили. Вот я и прикинулся.

— Ха-ха-ха!..

— «Я не попаду, — говорю, — уйдут маралы, второй раз не вернутся. А нам с пустыми руками не стоит возвращаться. Сам знаешь. А то смотри. Зачем нас сюда послали?» Молчит, а ружье не берет. «Ну, — говорю, — как хочешь». Бросил я ружье и вроде бы ухожу. Он за мной. «Мне, — я говорю, — все равно, выгонит меня Орозкул, пойду в совхоз работать. А ты куда на старости?» Молчит. И я так это, потихоньку, для картины, значит:

С рыжих, рыжих гор  
Я приехал на рыжем жеребце.  
Эй, рыжий купец, открывай двери!..

— Ха-ха-ха!..

— Поверил, что я и впрямь пьян. Пошел за ружьем. Я тоже вернулся. Пока мы пререкались, маралы наши ушли чуть подальше. «Ну, — говорю, — смотри, уйдут, не догонишь. Стреляй, пока они не пуганы». Взял старик ружье. Стали подкрадываться. А он все шепчет, как полоумный: «Прости меня, Рогатая мать-олениха, прости...» А я ему свое: «Смотри, — говорю, — промажешь — убегай вместе с маралами куда глаза глядят, лучше не возвращайся».

— Ха-ха-ха!..

В пьяном чаду и хохоте мальчику становилось все жарче и душнее, голова раскалывалась от разбухающей, не умишающейся в голове боли. Ему казалось, что кто-то пинал ногами его голову, что кто-то рубил его голову топором. Ему казалось, что кто-то метит топором в его глаза, и он мотал головой, старался увернуться. Изнемогая от жара, он вдруг очутился в холодной-холодной реке. Он превратился в рыбу. Хвост, туловище, плавники — все рыбье, только голова оставалась своей и к тому же болела. Он поплыл в приглушенной, темной подводной прохладе и думал о том, что теперь навсегда останется рыбой и никогда не вернется в горы. «Не вернусь, — говорил он сам себе. — Лучше быть рыбой, лучше быть рыбой».

И никто не заметил, как мальчик слез с кровати и вышел из дома. Он едва успел зайти за угол, как его начало рвать. Хватаясь за стену, мальчик стонал, плакал и сквозь слезы, задыхаясь от рыданий, бормотал:

— Нет, я лучше буду рыбой. Я уплыву отсюда. Я лучше буду рыбой.

А в доме Орозкула за окнами гоготали и выкрикивали пьяные голоса. Этот дикий хохот оглушал мальчика, причинял ему нестерпимую боль и муки. Ему казалось, что дурно ему оттого, что он слышит этот чудовищный хохот. Отдышавшись, он пошел по двору. Во дворе было пусто. Возле угасшего очага мальчик наткнулся на смертельно пьяного деда Момуна. Старик лежал здесь в пыли рядом с вырубленными рогами Рогатой матери-оленихи. Обрубок маральной головы грызла собака. Больше никого не было.

Мальчик наклонился над дедом, потряс его за плечо.

— Ата, пойдем домой, — сказал он. — Пойдем.

Старик не отвечал, он ничего не слышал, он не мог поднять голову. Да и что ему было отвечать, что сказать?

— Ну вставай, ата, пойдем домой, — просил мальчик.

Кто его знает, понимал ли он умом своим детским или же невдомек было ему, что старый Момун лежал здесь в расплату за сказку свою о Рогатой матери-оленихе, что не по своей воле посягнул он на то, что сам внушал ему всю жизнь, — на память предков, на совесть и заветы свои, что пошел он на это дело ради злосчастной своей дочери, ради него же, внука...

И теперь, сраженный горем и позором, старик лежал, как убитый, лицом вниз, не отзываясь на голос мальчика.

Мальчик присел возле деда, пытаясь расшевелить его.

— Ата, ну подними голову, — просил он. Мальчик был бледен, движения его были слабы, руки и губы дрожали. — Ата, это я. Ты слышишь? — говорил он. — Мне очень плохо, — заплакал он. — У меня голова болит, очень болит.

Старик застонал, шевельнулся, но не смог прийти в себя.

— Ата, а Кулубек приедет? — спросил вдруг мальчик сквозь слезы. — Скажи, Кулубек приедет? — тормозил он его.

Он заставил деда перевалиться на бок и вздрогнул, когда к нему повернулось лицо пьяного старика, запятнанное грязью и пылью, с жалкой свалывшейся бородашкой, и почудилась мальчику в ту минуту голова белой маралицы, изрубленной давеча топором Орозкула. Мальчик отпрянул в страхе и, отступая от деда, проговорил:

— Я сделаюсь рыбой. Ты слышишь, ата, я уплыву. А когда придет Кулубек, скажи ему, что я сделался рыбой.

Старик ничего не отвечал.

Мальчик побрел дальше. Спустился к реке. И ступил прямо в воду...

Никто еще не знал, что мальчик уплыл рыбой по реке.  
На дворе раздавалась пьяная песня:

С горбатых, горбатых гор  
Я приехал на горбатом верблюде.  
Эй, горбатый купец, открывай двери,  
Будем пить горькое вино!..

Ты уплыл. Не дождался ты Кулубека. Как жаль, что не дождался ты Кулубека. Почему ты не побежал на дорогу? Если бы ты долго бежал по дороге, ты непременно встретил бы его. Ты бы узнал его машину издали. И стоило бы тебе поднять руку, как он тотчас бы остановился.

— Ты куда? — спросил бы Кулубек.

, — Я к тебе! — ответил бы ты.

И он взял бы тебя в кабину. И вы поехали бы. Ты и Кулубек. А впереди по дороге скакала бы никому не видимая Рогатая мать-олениха. Но ты бы видел ее.

Но ты уплыл. Знал ли ты, что никогда не превратишься в рыбу. Что не доплывешь до Иссык-Куля, не увидишь белый пароход и не скажешь ему: «Здравствуй, белый пароход, это я!»

Одно лишь могу сказать теперь — ты отверг то, с чем не мирилась твоя детская душа. И в этом мое утешение. Ты прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая. А молнии высекаются небом. А небо вечное. И в этом мое утешение.

И в том еще, что детская совесть в человеке — как зародыш в зерне, без зародыша зерно не прорастает. И, что бы ни ждало нас на свете, правда пребудет вовеки, пока рождаются и умирают люди...

Прощаясь с тобой, я повторяю твои слова, мальчик: «Здравствуй, белый пароход, это я!»



# ПЛАХА

---

---

*Роман*



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I

Вслед за коротким, легким, как детское дыхание, дневным потеплением на обращенных к солнцу горных склонах погода вскоре неуловимо изменилась — заветрило с ледников, и уже закрадывались по ущельям всюду проникающие резкие ранние сумерки, несущие за собой холодную сизость предстоящей снежной ночи.

Снега было много вокруг. На всем протяжении Прииссыкульского кряжа горы были завалены метельным свеем, прокатившимся по этим местам пару дней тому назад, как полыхнувший вдруг по прихоти своевольной стихии пожар. Жутко что тут разыгралось — в метельной кромешности исчезли горы, исчезло небо, исчез весь прежний видимый мир. Потом все стихло, и погода прояснилась. С тех пор, с умиротворением снежного шторма, скованные великими заносами горы стояли в цепенеющей и отстранившейся ото всех на свете стылой тишине.

И только все настойчивей возрастающий и все прибывающий гул крупнотоннажного вертолета, пробирающегося в тот предвечерний час по каньону Узун-Чат к ледяному перевалу Ала-Монгю, задымленному в ветреной выси кручеными облаками, все нарастал, все приближался, усиливаясь с каждой минутой, и наконец восторжествовал — полностью завладел пространством и поплыл всеподавляющим, гремучим рокотом над недоступными ни для чего, кроме звука и света, хребтами, вершинами, высотными льдами. Умножаемый среди скал и распадков многократным эхом, грохот над головой надвигался с такой неотвратимой и грозной силой, что казалось, еще немного — и случится нечто страшное, как тогда — при землетрясении...

В какой-то критический момент так и получилось — с крутого, обнаженного ветрами каменистого откоса, что оказался по курсу полета, тронулась, дрогнув от звукового удара, небольшая осыпь и тут же приостановилась, как разгово-

ренная кровь. Этого толчка неустойчивому грунту, однако, было достаточно, чтобы несколько увесистых камней, сорвавшись с крутизны, покатались вниз, все больше разбегаясь, раскручиваясь, вздымая следом пыль и щебень, а у самого подножия проломилась, подобно пушечным ядрам, сквозь кусты краснотала и барбариса, пробили сугробы, достигли накатом волчьего логова, устроенного здесь серыми под свесом скалы, в скрытой за зарослями расщелине близ небольшого, наполовину замерзшего теплого ручья.

Волчица Акбара отпрянула от скатившихся сверху камней и посыпавшего снега и, пятясь в темень расщелины, сжалась, как пружина, вздыбив загревок и глядя перед собой дико горящими в полутьме, фосфоресцирующими глазами, готовая в любой момент к схватке. Но опасения ее были напрасны. Это в открытой степи страшно, когда от преследующего вертолета некуда деться, когда он, настигая, неотступно гонится по пятам, оглушая свистом винтов и поражая автоматными очередями, когда в целом свете нет от вертолета спасения, когда нет такой щели, где можно было бы схоронить бедовую волчью голову, — ведь не расступится же земля, чтобы дать укрытие гонимым.

В горах иное дело — здесь всегда можно ускакать, всегда найдется где затаиться, где переждать угрозу. Вертолет здесь не страшен, в горах вертолету самому страшно. И однако страх безрассуден, тем более уже знакомый, пережитый. С приближением вертолета волчица громко заскулила, собралась в комок, втянула голову, и все-таки нервы не выдержали, сорвалась-таки — и яростно взвыла Акбара, охваченная бессильной, слепой боязнью, и судорожно поползла на брюхе к выходу, лязгая зубами злобно и отчаянно, готовая сразиться, не сходя с места, точно надеялась обратить в бегство грохочущее над ущельем железное чудовище, с появлением которого даже камни стали валиться сверху, как при землетрясении.

На панические вопли Акбары в нору просунулся ее волк — Ташчайнар, находившийся с тех пор, как волчица затяжелела, большей частью не в логове, а в затишке среди зарослей. Ташчайнар — Камнедробитель, — прозванный так окрестными чабанами за сокрушительные челюсти, подполз к ее ложу и успокаивающе заурчал, как бы прикрывая ее телом от напасти. Притискиваясь к нему боком, прижимаясь все теснее, волчица продолжала скулить, жалобно взывая то ли к несправедливому небу, то ли неизвестно к кому, то ли

к судьбе своей несчастной, и долго еще дрожала всем телом, не могла совладать с собой даже после того, как вертолет исчез за могучим глетчером Ала-Монгю и его стало совсем не слышно за тучами.

И в этой воцарившейся разом, подобно обвалу космического беззвучия, горной тишине волчица вдруг явственно услышала в себе, точнее внутри чрева, живые толчки. Так было, когда Акбара, еще на первых порах своей охотничьей жизни, придушила как-то с броска крупную зайчиху: в зайчихе, в животе ее, тоже почудились тогда такие же шевеления каких-то невидимых, скрытых от глаз существ, и это странное обстоятельство удивило и заинтересовало молодую любопытную волчицу, удивленно наставив уши, недоверчиво взирающую на свою удушенную жертву. И настолько это было чудно и непонятно, что она попыталась даже затеять игру с теми невидимыми телами, точь-в-точь как кошка с полуживой мышью. А теперь сама обнаружила в нутре своем такую же живую ношу — то давали знать о себе те, которым предстояло при благополучном стечении обстоятельств появиться на свет недели через полторы-две. Но пока что ненародившиеся детеныши были неотделимы от материнского лона, составляли часть ее существа, и потому и они пережили в возникающем, смутном, утробном подсознании тот же шок, то же отчаяние, что и она сама. То было их первое заочное соприкосновение с внешним миром, с ожидающей их враждебной действительностью. Оттого они и задвигались в чреве, отвечая так на материнские страдания. Им тоже было страшно, и страх тот передался им материнской кровью.

Прислушиваясь к тому, что творилось помимо воли в ее ожившей утробе, Акбара заволновалась. Сердце волчицы учащенно заколотилось — его наполнили отвага, решимость непременно защитить, оградить от опасности тех, кого она вынашивала в себе. Сейчас бы она не задумываясь схватилась с кем угодно. В ней заговорил великий природный инстинкт сохранения потомства. И тут же Акбара почувствовала, как на нее горячей волной нахлынула нежность — потребность приласкать, пригреть будущих сосунков, отдавать им свое молоко так, как если бы они уже были под боком. То было предощущение счастья. И она прикрыла глаза, застонала от неги, от ожидания молока в набухших от красноты, крупных, выступающих двумя рядами по брюху сосцах, и томно, медленно-медленно потянулась всем телом, на-

сколько позволяло логово, и, окончательно успокоившись, снова придвинулась к своему сивогривому Ташчайнару. Он был могуч, шкура его была тепла, густа и упруга. И даже он, утрюмец Ташчайнар, и тот уловил, что испытывала она, мать-волчица, и каким-то чутьем понял, что происходило в ее утробе, и тоже, должно быть, был тронут этим. Поставив ухо торчком, Ташчайнар приподнял свою угловатую, тяжеловесную голову, и в сумрачном взоре холодных зрачков его глубоко посаженных темных глаз промелькнула какая-то тень, какое-то смутное приятное предчувствие. И он сдержанно заурчал, прихрапывая и покашливая, выражая так доброе свое расположение и готовность беспрекословно слушаться синеглазую волчицу и оберегать ее, и принялся старательно, ласково облизывать голову Акбары, особенно ее сияющие синие глаза и нос, широким, теплым, влажным языком. Акбара любила язык Ташчайнара и тогда, когда он заигрывал и ластился к ней, дрожа от нетерпения, а язык его, разгораясь от бурного прилива крови, становился упругим, быстрым и энергичным, как змея, хотя попервоначалу и делала вид, что это ей, по меньшей мере, безразлично, и тогда, когда в минуты спокойствия и благоденствия после сытной еды язык ее волка был мягко-влажным.

В этой паре лютых Акбара была головой, была умом, ей принадлежало право зачинать охоту, а он был верной силой, надежной, неутомимой, неукоснительно исполняющей ее волю. Эти отношения никогда не нарушались. Лишь однажды был странный, неожиданный случай, когда ее волк исчез до рассвета и вернулся с чужим запахом иной самки — отвратительным духом бесстыжей течки, стравливающей и скликающей самцов за десятки верст, вызвавшим у нее неудержимую злобу и раздражение, и она сразу отвергла его, неожиданно вонзила клыки глубоко в плечо и в наказание заставила ковлять много дней кряду позади. Держала дурака на расстоянии и, сколько он ни выл, ни разу не откликнулась, не остановилась, будто он, Ташчайнар, и не был ее волком, будто он для нее не существовал, а если бы он и посмел снова приблизиться к ней, чтобы покорить и ублажить ее, Акбара померилась бы с ним силами всерьез, не случайно она была головой, а он ногами в этой пришедшей сивой паре. Сейчас Акбара, после того как она немного поуспокоилась и пригрелась под широким боком Ташчайнара, была благодарна своему волку за то, что он разделил ее страх, за то, что он тем самым возвратил ей уверенность в себе, и по-

тому не противилась его усердным ласкам, и в ответ раза два лизнула в губы, и, преодолевая смятение, которое все еще давало себя знать неожиданной дрожью, сосредоточивалась в себе, и, прислушиваясь к тому, как непонятно и беспокойно вели себя еще не народившиеся щенята, примирилась с тем, что есть: и с логовом, и с великой зимой в горах, и с надвигающейся исподволь морозной ночью.

Так заканчивался тот день страшного для волчицы потрясения. Подвластная неистребимому инстинкту материнской природы, переживала она не столько за себя, сколько за тех, которые ожидались вскоре в этом логове и ради которых они с волком выискивали и устроили здесь, в глубокой расщелине под свесом скалы, сокрытой всяческими зарослями, навалом бурелома и камнепада, это волчье гнездо, чтобы было где потомство родить, чтобы было где свое пристанище иметь на земле.

Тем более что Акбара и Ташчайнар были пришлыми в этих краях. Для опытного глаза даже внешне они различались от их местных собратьев. Первое — отвороты меха на шее, плотно обрамлявшие плечи наподобие пышной серебристо-серой мантии от подгрудка до холки, у пришельцев были светлые, характерные для степных волков. Да и ростом акджалы, то бишь сивогривые, превышали обычных волков Прииссыккульского нагорья. А если бы кто-нибудь увидел Акбару вблизи, его бы поразили ее прозрачно-синие глаза — редчайший, а возможно, единственный в своем роде случай. Волчица прозывалась среди здешних чабанов Акдалы, иначе говоря, Белохолкой, но вскоре по законам трансформации языка она превратилась в Акбары, а потом в Акбару — Великую, и между тем никому невдомек было, что в этом был знак провидения.

Еще год назад сивогривых здесь не было и в помине. Появившись однажды, они, однако, продолжали держаться особняком. Попервоначалу пришельцы бродили во избежание столкновений с хозяевами большей частью по нейтральным зонам дешних волчьих владений, перебивались как могли, в поисках добычи забегали даже на поля, в низовья, населенными людьми, но к местным стаям так и не пристали — слишком независимый характер имела синеглазая волчица Акбара, чтобы примыкать к чужим и пребывать в подчинении.

Всему судия — время. Со временем сивогривые пришельцы смогли постоять за себя, в многочисленных жестоких

схватках захватили себе земли на Прииссыккульском нагорье, и теперь уже они, пришлые, были хозяевами, и уже местные волки не решались вторгаться в их пределы. Так, можно сказать, удачно складывалась на Иссык-Куле жизнь новоявленных сивогривых волков, но всему этому предшествовала своя история, и если бы звери могли вспоминать прошлое, то Акбаре, которая отличалась большой понятливостью и тонкостью восприятия, пришлось бы заново пережить все то, о чем, возможно, и вспоминалось ей порой до слез и тяжких стонов.

В том утраченном мире, в далекой отсюда Моюнкумской саванне, протекала великая охотничья жизнь — в нескончаемой погоне по нескончаемым моюнкумским просторам за нескончаемыми сайгачьими стадами. Когда антилопы-сайгаки, обитавшие с незапамятных времен в саванных степях, поросших вечно сухостойным саксаульником, древнейшие, как само время, из парнокопытных, когда эти неутомимые в беге горбоносые стадные животные с широченными ноздрями-трубами, пропускающими воздух через легкие с такой же энергией, как киты сквозь ус — потоки океана, и потому наделенные способностью бежать без передышки с восхода и до заката солнца, — так вот когда они приходили в движение, преследуемые извечными и неразлучными с ними волками, когда одно спугнутое стадо увлекало в панике соседнее, а то и другое, и третье, и когда в это поголовное бегство включались встречные великие и малые стада, когда мчались сайгаки по Моюнкумам — по взгорьям, по равнинам, по пескам, как обрушившийся на землю потоп, земля убежала вспять и гудела под ногами так, как гудит она под градовым ливнем в летнюю пору, и воздух наполнялся вихрящимся духом движения, кремнистой пылью и искрами, летящими из-под копыт, запахом стадного пота, запахом безумного состязания не на жизнь, а на смерть, и волки, пластаясь на бегу, шли следом и рядом, пытались направить стада сайгаков в свои волчьи засады, где ждали их среди саксаула матерые резчики — то звери, которые бросались из засады на загривок стремительно пробегающей жертвы и, катаясь кубарем вместе с ней, успевали перекусить горло, пустить кровь и снова кинуться в погоню; но сайгаки каким-то образом часто распознавали, где ждут их волчьи засады, и успевали пронестись стороной, а облава с нового круга возобновлялась с еще большей яростью и скоростью, и все они, гонимые и преследующие, — одно звено жестокого бы-

тия — выкладывались в беге, как в предсмертной агонии, сжигая свою кровь, чтобы жить и чтобы выжить, и разве что только сам Бог мог остановить и тех и других, гонимых и гонителей, ибо речь шла о жизни и смерти жаждущих здравствовать тварей, ибо те волки, что не выдерживали такого бешеного темпа, те, что не родились состязаться в борьбе за существование — в беге-борьбе, — те волки валялись с ног и оставались издыхать в пыли, поднятой удаляющейся, как буря, погоней, а если и оставались в живых, уходили прочь в другие края, где промышляли разбоем в безобидных овечьих отарах, которые даже не пытались спастись бегством, правда, там была своя опасность, самая страшная из всех возможных опасностей, — там, при стадах, находились люди, боги овец и они же овечьи рабы, те, кто сами живут, но не дают выживать другим, особенно тем, кто не зависит от них, а волен быть свободным...

Люди, люди — человекобоги! Люди тоже охотились на сайгаков Моюнкумской саванны. Прежде они появлялись на лошадях, одетые в шкуры, вооруженные стрелами, потом появлялись с бабахаящими ружьями, гикая, скакали туда-сюда, а сайгаки кидались гурьбой в одну, в другую сторону — поди разыщи их в саксаульных урочищах, но пришло время, и человекобоги стали устраивать облавы на машинах, беря на измор, точь-в-точь как волки, и валили сайгаков, расстреливая их с ходу, а потом человекобоги стали прилетать на вертолетах и, высмотрев вначале с воздуха сайгачьи стада в степи, шли на окружение животных в указанных координатах, а наземные снайперы мчались при этом по равнинам со скоростью до ста и более километров, чтобы сайгаки не успели скрыться, а вертолеты корректировали сверху цель и движение. Машины, вертолеты, скорострельные винтовки — и опрокинулась жизнь в Моюнкумской саванне вверх дном...

Синеглазая волчица Акбара была еще полуяркой, а ее будущий волк-супруг Ташчайнар был чуть постарше ее, когда пришел им срок привыкать к большому загонным облавам. Поначалу они не поспевали за погоней, терзали сваленных антилоп, убивали недобитых, а со временем превзошли в силе и выносливости многих бывалых волков, а особенно стареющих. И если бы все шло, как положено природой, быть бы им вскоре предводителями стай. Но все обернулось иначе...

Год на год не приходится, и весной того года в сайгачьих стадах был особо богатый приплод — многие матки при-



носили двойню, поскольку прошлой осенью во время гона сухой травостой зазеленел раза два наново после нескольких обильных дождей при теплой погоде. Корма было много — отсюда и рождаемость. На время окота сайгаки уходили еще ранней весной в бесснежные большие пески, что в самой глубине Моюнкумов, — туда волкам добраться нелегко, да и погоня по барханам за сайгаками — безнадежное дело. По пескам антилоп никак не догнать. Зато волчьи стаи с лихвой получали свое осенью и в зимнее время, когда сезонное кочевье животных выбрасывало бессчетное сайгачье поголовье на полупустынные и степные просторы. Вот тогда волкам сам бог велел добывать свою долю. А летом, особенно по великой жаре, волки предпочитали не трогать сайгаков, благо другой, более доступной добычи было достаточно — сурки во множестве сновали по всей степи, наверстывая упущенное в зимнюю спячку, им надо было за лето успеть все, что успевали другие животные и звери за год жизни. Вот и суетилось вокруг сурочье племя, презрев опасность. Чем не промысел — поскольку всему ведь свой час, а зимой сурков не добудешь — их нет. И еще разные зверушки да птицы, особенно куропатки, шли в прикорм волкам в летние месяцы, но главная добыча — великая охота на сайгаков — приходилась на осень и с осени тянулась до самого конца зимы. Опять же всему свое время. И в том была своя, от природы данная целесообразность оборота жизни в саванне. Лишь стихийные бедствия да человек могли нарушить этот изначальный ход вещей в Моюнкумах...

## II

К рассвету воздух над саванной несколько поостыл, и только тогда полегло — дышать живым тварям стало свободней, и наступил час самой отрадной поры между зарождающимся днем, обремененным грядущим зноем, нещадно пропекающей солончаковую степь добела, и уходящей душевной, горячей ночью. Луна запыхала к тому времени над Моюнкумами абсолютно круглым желтым шаром, освещая землю устойчивым синеватым светом. И не видно было ни конца, ни начала этой земли. Всюду темные, едва угадываемые дали сливались со звездным небом. Тишина была живой, ибо все, что населяло саванну, все, кроме змей, спешило насладиться в тот час прохладой, спешило пожить. Попискивали и шевелились в кустах тамариска ранние птицы, дело-

вито сновали ежи, цикады, что пропели не смолкая всю ночь, затурчали с новой силой, уже высывались из нор и оглядывались по сторонам проснувшиеся сурки, пока еще не приступая к сбору корма — осыпавшихся семян саксаула. Летали с места на место всей семьей большой плоскоголовый серый сыч и пяток плоскоголовых сычат, подросших, оперившихся и уже пробующих крыло, летали как придется, то и дело заботливо переключаясь и не теряя из виду друг друга. Им вторили разные твари и разные звери предрасветной саванны...

И стояло лето, первое совместное лето синеглазой Акбара и Ташчайнара, уже проявивших себя неутомимыми загонщиками сайгаков в облавах и уже вошедших в число самых сильных пар среди моюнкумских волков. К их счастью, — надо полагать, что в мире зверей тоже могут быть и счастливые, и несчастные, — оба они, и Акбара и Ташчайнар, наделены были от природы качествами, особо жизненно важными для степных хищников в полупустынной саванне, — мгновенной реакцией, чувством предвидения на охоте, своего рода «стратегической» сообразительностью, и, разумеется, недюжинной физической силой — быстротой и натиском в беге. Все говорило за то, что этой паре предстояло великое охотничье будущее и жизнь их будет полна тяготами повседневного пропитания и красотой своего звериного предназначения. Пока же ничто не мешало им безраздельно править в Моюнкумских степях, поскольку вторжение человека в эти пределы носило еще характер случайный и они еще ни разу не сталкивались с человеком лицом к лицу. Это произойдет чуть позже. И еще одна льгота, если не сказать привилегия, их от сотворения мира заключалась в том, что они, звери, как и весь животный мир, могли жить изо дня в день, не ведая страха и забот о завтрашнем дне. Во всем целесообразная природа освободила животных от этого проклятого бремени бытия. Хотя именно в этой милости таилась и та трагедия, которая подстерегала обитателей Моюнкумов. Но никому из них не дано было заподозрить об этом. Никому не дано было представить себе, что кажушаяся нескончаемой Моюнкумская саванна, как ни обширна и как ни велика она, — всего лишь небольшой остров на азиатском субконтиненте, место величиной с ноготь большого пальца, окрашенное на географической карте желто-бурым цветом, на которое из года в год все сильнее насаждают неуклонно распахиваемые целинные земли, напирают неисчислимые

домашние стада, бредущие по степи вслед за артезианскими скважинами в поисках новых ареалов прокорма, наступают каналы и дороги, прокладываемые в пограничных зонах в связи с непосредственной близостью от саванны одного из крупнейших газопроводов; все более настойчиво, долговременно вторгаются все более технически вооруженные люди на колесах и моторах, с радиосвязью, с запасами воды в глубины любых пустынь и полупустынь, в том числе и в Моюнкумы, но вторгаются не ученые, совершающие самоотверженные открытия, коими потомкам надлежит гордиться, а обыкновенные люди, делающие обыкновенное дело, дело, доступное и посильное почти любому и каждому. И тем более обитателям уникальной Моюнкумской саванны не дано было знать, что в самых обычных для человечества вещах таится источник добра и зла на земле. И что тут все зависит от самих людей — на что направят они эти самые обыкновенные для человечества вещи: на добро или худо, на созидание или разор. И уж вовсе неведомы были четвероногим и прочим тварям Моюнкумской саванны те сложности, которые донимали самих людей, пытавшихся познать себя с тех пор, как люди стали мыслящими существами, хотя они так и не разгадали при этом извечной загадки: отчего зло почти всегда побеждает добро...

Все эти человеческие дела по логике вещей никак не могли касаться моюнкумских зверей и животных, ибо они лежали вне их природы, вне их инстинктов и опыта. И, в общем-то, до сих пор пока ничто всерьез не нарушало сложившегося образа жизни этой великой азиатской степи, раскинувшейся на жарких полупустынных равнинах и всхолмлениях, поросших только здесь произраставшими видами засухоустойчивого тамариска, эдакой полутравой, полудеревом, каменно-крепким, крученым, как морской канат, песчаным саксаулом, жесткой подножной травой и более всего тростниковым стрельчатым чиём, этой красой полупустынь, и при свете луны, и при свете солнца мерцающим наподобие золотого призрачного леса, в котором, как в мелкой воде, кто — ростом хотя бы с собаку — ни поднял головы, увидит все вокруг и будет виден сам.

В этих краях и слагалась судьба новой волчьей пары — Акбары и Ташчайнара, а к тому времени — что самое важное в жизни животных — они уже имели своих тунгучей-первенцев, троих щенят из выводка, произведенных на свет Акбарой той памятной весной в Моюнкумах, в том памят-

ном логове, выбранном ими в ямине под размытым комлем старого саксаула, близ полувывсохшей тамарисковой рошцы, куда удобно было выводить волчат на обучение. Волчата уже держали стоймя уши, обретали каждый свой нор, хотя при играх между собой их уши снова по-щенячьи топырились, да и на ногах чувствовали они себя довольно крепко. И все чаще увязывались они следом за родителями в малые и большие вылазки.

Недавно одна из таких вылазок с отлучкой от логова на целый день и ночь чуть было не кончилась для волков неожиданной бедой.

В то раннее утро Акбара повела свой выводок на дальнюю окраину Моюнкумской саванны, где на степных просторах, особенно по глухим падам и буеракам, произрастали стеблевые травы с тягучим, ни на что не похожим, привораживающим запахом. Если долго бродить среди того высокого травостоя, вдыхая пыльцу, то вначале наступает ощущение необыкновенной легкости в движениях, чувство приятного скольжения над землей, а затем появляется вялость в ногах и сонливость. Акбара помнила эти места еще с детства и навевалась сюда раз в году в пору цветения дурман-травы. Охотясь по пути на мелкую степную живность, она любила слегка попить в больших травах, поваляться в жарком настое травяного духа, почувствовать парение в бегах и потом заснуть.

В этот раз они с Ташчайнаром были уже не одни: за ними следовали волчата — трое нескладно длинноногих щенков. Молодняку надлежало как можно больше узнавать в походах окрестности, осваивать сызмальства будущие волчьи владения. Пахучие луга, куда вела на ознакомление волчица, были на краю тех владений, дальше простирался чужой мир, там могли встретиться люди, оттуда, с той неоглядной стороны, доносились порой протяжно завывающие, как осенние ветры, паровозные гудки, то был враждебный волкам мир. Туда, на этот край саванны, шли они, ведомые Акбарой.

За Акбарой трусил Ташчайнар, а волчата резво носились от избытка энергии и все норовили выскочить вперед, но волчица-мать не давала им своевольничать — она строго следила, чтобы никто не смел ступить на тропу впереди нее.

Места шли вначале песчаные — в зарослях саксаула и пустынной полыни, солнце всходило все выше, обещая, как всегда, ясную, жаркую погоду. Уже к вечеру волчье семей-

ство прибыло к краю саванны. Прибыло в самый раз — за-светло. Травы в этом году были высоки — почти по холку взрослым волкам. Нагревшись за день на жарком солнце, невзрачные соцветья на мохнатых стеблях источали сильный запах, особенно в местах сплошных зарослей густ был этот дух. Здесь, в небольшом овражке, волки сделали привал после долгого пути. Неугомонные волчата не столько отдыхали, сколько бегали вокруг, принохиваясь и присматриваясь ко всему, что привлекало их любопытство. Возможно, вольче семейство осталось бы здесь на всю ночь, благо звери были сыты и напоены — по пути удалось схватить несколько жирных сурков да зайцев и разорить много всяких гнезд, жажду же утолили в родничке на дне попутного оврага, — но одно чрезвычайное происшествие заставило их срочно покинуть это место и повернуть восвояси, к логову в глубине саванны. Уходили всю ночь.

А случилось то, что уже на закате, когда Акбара и Ташчайнар, захмелевшие от запахов дурман-травы, растянулись в тени кустов, неподалеку вдруг раздался человеческий голос. Прежде человека увидели волчата, игравшие наверху овражка. Звереныши не подозревали, да и не могли предполагать, что неожиданно появившееся здесь существо — человек. Некий субъект почти голый — в одних плавках и кедах на босу ногу, в некогда белой, но уже изрядно замызганной панаме на голове — бегал по тем самым травам. Бегал он странно — выбирал густые поросли и упорно бегал между стеблями взад-вперед, точно это доставляло ему удовольствие. Волчата вначале притаились, недоумевая и побаиваясь, — такого они никогда не видели. А человек все бегал и бегал по травам, как сумасшедший. Волчата осмелели, любопытство взяло верх, им захотелось затеять игру с этим странным, бегающим как заводной, невиданным, голокожим двуногим зверем. А тут и сам человек приметил волчат. И что самое удивительное — вместо того чтобы насторожиться, подумать, отчего вдруг здесь оказались волки, — этот чужак пошел к волчатам, ласково протягивая руки.

— Смотри-ка, что это? — приговаривал он, тяжело дыша и отирая пот с лица. — Никак волчата? Или это мне почудилось от кружения? Да нет, трое, да такие пригожие, да такие большие уже! Ах вы, мои звереныши! Откуда вы и куда? Что вы тут делаете? Меня-то нелегкая занесла, а вы что тут, в этих степях, среди этой проклятой травы? Ну идите, идите ко мне, не бойтесь! Ах вы, дурашливые мои зверики!

Неразумные волчата и в самом деле поддались на его лапки. Виляя хвостиками, игриво прижимаясь к земле, они поползли к человеку, надеясь пуститься с ним наперегонки, но тут из овражка выскочила Акбара. Волчица в мгновение оценила опасность положения. Глухо зарычав, она кинулась к голому человеку, розово освещенному предзакатными лучами степного солнца. Ей ничего не стоило с размаху полоснуть его клыками по горлу или по животу. А человек, совершенно обалдевший при виде яростно набегающей волчицы, присел, в страхе схватившись за голову. Это-то его и спасло.

Уже на бегу Акбара почему-то переменяла свое намерение. Она перескочила через человека — голого и беззащитного, — которого можно было поразить одним ударом, перескочила, успев при этом разглядеть черты его лица и остановившиеся в жутком страхе глаза, почуяв запах его тела, перескочила, развернулась и снова перепрыгнула во второй раз уже в другом направлении, бросилась к волчатам, погнала их прочь, больно кусая за репицы и оттесняя к оврагу, и тут столкнулась с Ташчайнаром, страшно вздыбившим загривок при виде человека, куснула и повернула его, и все они, гурьбой скатившись в овраг, в мгновение ока исчезли...

И тут только тот голый и нелепый тип спохватился, бросился бежать... И долго бежал по степи, не оглядываясь и не переводя дыхания...

То была первая нечаянная встреча Акбары и ее семейства с человеком... Но кто мог знать, что предвещала эта встреча...

День клонился к концу, исходя нещадным зноем от закатного солнца, от накалившейся за день земли. Солнце и степь — величины вечные: по солнцу измеряется степь, насколько оно велико, освещаемое солнцем пространство. А небо над степью измеряется высотой взлетевшего коршуна. В тот предзакатный час над Моюнкумской саванной кружила в выси целая стая белохвостых коршунов. Они летели без цели, самозабвенно и плавно плыли, совершая полет ради полета в той всегда прохладной, подернутой дымкой, безоблачной выси. Летели один за другим в одном направлении по кругу, как бы символизируя тем вечность и незыблемость этой земли и этого неба. Коршуны не издавали никаких звуков, а молча смотрели, что происходило в тот момент внизу, под их крыльями. Благодаря своему исключительному всевидящему зрению, именно благодаря зрению (слух у них

на втором месте) эти аристократические хищники были поднебесными жителями саванны, опускавшимися на грешную землю лишь для прокорма и на ночлег.

Должно быть, в тот час с той непомерной высоты им были как на ладони видны волк, волчица и трое волчат, расположившиеся на небольшом бугорке среди разбросанных кустов тамариска и золотистой поросли чия. Дружно высунув языки от жары, волчье семейство отдыхало на том пригорке, вовсе не предполагая, что является объектом наблюдения поднебесных птиц. Ташчайнар полулежал в своей любимой позе — скрестив лапы впереди, приподняв голову, — он выделялся среди всех мощным загривком и мосластостью, тяжеловесностью телосложения. Рядом, подобрав под себя толстый куцый хвост, чем-то похожая на застывшую скульптуру, сидела молодая волчица Акбара. Волчица прочно упиралась перед собой прямыми сухожильными ногами. Ее белеющая грудь и впалое брюхо с торчащими, но уже утратившими припухлость сосцами в два ряда подчеркивали поджарость и силу бедер волчицы. А волчата, тройня, крутились подле. Их непоседливость, приставучесть и игривость вовсе не раздражали родителей. И волк и волчица взирали на них с явным попустительством: пусть, мол, резвятся себе...

А коршуны все летали в поднебесье и все так же хладнокровно просматривали, что делалось внизу в Моюнкумах при закатном солнце. Неподалеку от волков с волчатами, немного в стороне, в тамарисковых рощах, паслись сайгаки. Их было немало. Довольно большое стадо паслось почти рядом, разбредясь в тамарисках, на некотором удалении от другого, еще более многочисленного скопления. Если бы коршунов интересовали степные антилопы, они бы, обозревая саванну, тянущуюся на десятки километров в ту и в другую сторону, убедились, что сайгакам несть числа — их сотни и тысячи, ибо они искони изобиловали в этом благодатном для них полупустынном ареале. Пережидая вечерний зной, сайгаки по ночам шли на водопой к столь редким и далеким источникам влаги в саванне. Отдельные группы уже сейчас, быстро набирая ход, потянулись в ту сторону. Им надлежало преодолеть большие расстояния.

Одно из стад следовало так близко от пригорка, где находились волки, что тем явственнее были видны сквозь прозрачно освещенный травостой чия их быстро скользящие бока и спины, приспущенные головы самцов с небольшими

рожками. Они всегда движутся с опущенной головой, чтобы не испытывать лишнего сопротивления воздуха, ибо в любой момент готовы рвануться бегом. Так устроила их природа в ходе эволюции, и в том главное преимущество сайгаков, спасавшихся от любой опасности бегством. Даже если они ничем не встревожены, сайгаки обычно идут размеренным галопом, неумоимо и неуклонно, не уступая пути никому, кроме волков, поскольку их, антилоп, множество и в этом уже их сила...

Сейчас они следовали мимо семейства Акбары, скрытого кустами, галопирующей массой, поднимая за собой ветер, пронизанный духом стада и пылью из-под копыт. Волчата на пригорке заволновались, инстинктивно взбудоражились. Все трое напряженно принюхивались к воздуху и, не понимая еще, в чем дело, порывались бежать в ту сторону, откуда доносился этот волнующий стадный дух, им очень хотелось кинуться в те стеблистые поросли чия, среди которых угадывалось мелькание многих бегущих тел. Однако волки-родители, ни Акбара, ни Ташчайнар, не шевельнулись и не изменили своих поз, хотя им ничего не стоило буквально в два прыжка очутиться рядом с проходившим стадом и погнать его, яростно, неудержимо преследовать на измор, так, чтобы в общем беге том, в беге-состязании на грани смерти, когда сдается, что земля и небо меняются местами, изловчиться на каком-нибудь крутом вираже и на лету свалить пару-другую антилоп. Такая возможность была вполне реальной, но могло случиться и так, что не повезло бы, не удалось бы нагнать добычу, случалось и такое. Как бы то ни было, Акбара и Ташчайнар и не подумали начать погоню — хотя, казалось, добыча, можно сказать, сама шла в руки, они не трогались с места. На это имелись свои причины — они были сыты в тот день, и устраивать в такую несусветную жару при набитых желудках бешеную гонку, погоню за неуловимыми сайгаками было бы смерти подобно. Но главное — для молодняка еще не пришла пора такой охоты. Волчата могли сломаться — раз и навсегда, если бы, задохнувшись в беге, отстали от недостижимой цели — больше они бы не пытались дерзать, утратили бы кураж. Зимой, в сезон больших облав — вот когда набравшие сил полуярки, к тому времени уже почти годовалые, могли бы испытать себя, могли бы убедиться, насколько хватит их крепости, могли бы приобщиться к делу, а пока не стоило портить игру. Но то будет преславный час!



Акбара слегка отпрянула от докучавших ей в нетерпении охотничьего азарта волчат, пересела на другое место, все так же провожая цепким взором движение антилоп, следовавших на водопой, скользя бок о бок в серебристых чиях, как рыбы в нересте, плывущие в верховья по реке — все в одну сторону и все не отличимые друг от друга. Во взоре Акбары, однако, сквозило свое понятие вещей: пусть удаляются сейчас сайгаки, придет день урочный, все, что есть в саванне, никуда из нее не уйдет. Волчата же тем временем стали надоедать отцу, пытаюсь растормошить угрюмца Ташчайнара.

А Акбара представила себе вдруг зимы начало, великую полупустыню, в один прекрасный день сплошь белую на рассвете от новоявленного снега, которому срок на земле день или полдня, но тот снег — сигнал волкам к большой охоте. С того дня охота на сайгаков станет главным делом в их житье. И грянет тот день! С туманцем понизовым, с морозным инеем на грустных белых чиях, на подогнувшихся от снега кустистых тамарисках и с дымным солнцем над саванной — волчица представила себе тот день так явственно, что вздрогнула невольно, как будто бы вдохнула нечаянно морозный воздух, как будто бы ступила упругими подушечками лап, сомкнутыми в цветочные созвездия, на снежный наст и совершенно четко прочла сама свои матерые следы и следы волчат, уже подросших, окрепших и определивших свои наклонности, что можно было видеть уже по следам, и рядом самые крупные отпечатки — могучие соцветия с когтями, как с клювами, чуть выступающими из гнезд, — от лап Ташчайнара, они всех глубже и всех сильнее промнутся в снег, ибо Ташчайнар здоров, тяжеловат в подгрудке, он — сила, он молниеносный нож по глоткам антилоп, и всякая настигнутая сайга окрасит белый снег саванны током алой крови, как птица взмахом горячих красных крыльев, ради того, чтобы жила другая кровь, сокрытая в их серых шкурах, ибо их кровь живет за счет другой крови — так повелено началом всех начал, иного способа не будет, и тут никто не судя, поскольку нет ни правых, ни виноватых, виновен только тот, кто сотворил одну кровь для другой. (Лишь человеку дан иной удел: хлеб добывать в труде и мясо возвращать трудом — творить для самого себя природу.)

А те следы по первоснегу Моюнкумов — соцветия волчьи, большие и чуть поменьше, потянутся рядком в тумане понизовом и останутся в подветренной ложине среди ку-

стов — здесь волки подождут, осмотрятся, оставят тех, кому в засаде быть...

Но вот час вожделенный приближается — Акбара подкрадется, насколько можно подползти, пластаясь по снегу, прижимаясь к обледенелым травам, не дыша приблизится к пасущимся сайгакам так близко, что увидит их глаза, не всполошенные еще, и кинется затем внезапно, как тень, — и грянет звездный час волка! Акбара так живо представила себе ту первую облаву — урок молодняку, что взвизгнула невольно и едва удержалась на месте.

Ах как пойдет погоня по саванне перевозимней! Сайгачьи стада прочь понесутся стремглав как от пожара, и белый снег вмиг прочертится черным земляным шрамом, и она, Акбара, за ними следом, идущая всех впереди, а за нею, почти впритык, ее волчата, молодые волки, все трое первенцев, ее потомство, что изначальное предназначение и явило на свет ради такой охоты, а за ними ее Ташчайнар, отец могучий, неукротимый в беге, преследующий лишь одну цель — загнать сайгаков так, чтобы погнать на засаду и тем преподнести урок охоты отпрыскам своим. Да, то будет неукротимый бег! И в устремленности грядущей не только сама добыча была желанна в тот час Акбаре, сколько то, чтобы поскорее охота состоялась, когда бы понеслись они в степной погоне подобно птицам быстрокрылым... В этом смысл ее волчьей жизни...

То были мечты волчицы, внушенные ее природой, кто знает, может быть, ниспосланные ей свыше, мечты, которым суждено будет позднее вспомниться горько, до боли в сердце, и сниться часто и безысходно... И будет вой волчицы как плата за те мечты. Ведь все мечты так — вначале рождаются в воображении, а затем по большей части терпят крушение за то, что посмели произрастать без корней, как иные цветы и деревья... И ведь все мечты так — и в том их трагическая необходимость в познании добра и зла...

### III

Зима вошла в Моюнкумы. Однажды уже выпадал снег, достаточно обильный для полупустыни, — тот снег забелил ненадолго всю саванну, явившуюся самой себе в то утро белым безбрежным океаном с застывшими на бегу волнами, где есть где разгуляться ветру и перекаати-полю и где наконец установилась такая тишина, как в космосе, как в беско-

нечности, поскольку пески успели напитаться влаги, а увлажненные такыры смягчились, утратив свою жесткость... А перед этим над саванной прогоготали гусей осенних косяки, так высоко и звонко пролетали они в сторону Гималаев над Моюнкумскими степями, отправляясь с летовок от северных морей и рек на юг, к исконным водам Инда и Брахмапутры, что, будь у обитателей саванны крылья, все поддались бы зову. Но каждой твари свой рай предопределен... Даже степные коршуны, парившие на той высоте, и те лишь уклонялись в сторону...

А у Акбары к зиме волчата заметно поднялись и, утратив неразличимость детскости, все трое превратились в угловатых переростков, но уже каждый со своим норовом. Понятно, волчица не могла дать им имена: раз богом не определено, не переступишь, зато по запаху, что людям не дано, и по другим живым приметам она легко могла и отличить и звать к себе в отдельности любого из своего потомства. Так, у самого крупного из волчат был широкий, как у Ташчайнара, лоб, и воспринимался он потому как Большеголовый, а средний, тоже крупнячок, с длиннющими ногами-рычагами, которому быть бы со временем волком-загонщиком, тот воспринимался Быстроногим, а синеглазая, точь-в-точь как сама Акбара, и с белым пятном в паху, как у самой Акбары, игривая любимица Акбары значилась в ее сознании бессловесном Любимицей. То подрастал предмет раздора и смертельных схваток среди самцов, едва придет ее любовная пора...

А первый снег, выпавший незаметно за ночь, тем ранним утром был праздником нечаянным для всех. Вначале волчата-переростки оробели было от запаха и вида незнакомого вещества, преобразившего всю местность вокруг логова, а потом понравилась им прохладная отрада, и закрутились, забегали вокруг наперегонки, барахтались в снегу, фыркали и взлаивали от удовольствия. Так начиналась та зима для первенцев, в конце которой им предстояло расстаться с волчицей-матерью, волком-отцом и друг с другом, расстаться для новой жизни каждого из них.

К вечеру снег еще подсыпал, и на другое утро еще до восхода солнца в степи было уже светло и прозрачно, как днем. Покой и тишина разлились всюду, и острый голод по-зимнему дал о себе знать. Волчья стая прислушивалась к округе — пора было на промысел, добывать прокорм. Акбара ждала для облавы на сайгаков сообщников из других стай.

Пока что никто не дал об этом знать. Все слушали и ждали тех сигналов. Вот Большеголовый сидит в нетерпеливом напряжении, еще не ведая, какие тяготы несет охота, вот Быстроногий тоже наготове, а вот Любимица — глядит в синие глаза волчицы преданно и смело, а рядом прохаживается отец семейства — Ташчайнар. И все ждали, как повелит Акбара. Но был над ними еще верховный царь — царь Голод, царь утоления плоти.

Акбара встала с места и двинулась трусцой, ждать дальше было некогда. И все последовали за ней.

Все начиналось примерно так, как грезилось волчице, когда волчата были еще малы. И вот то время наступило — самая пора для групповых облав в степи. Пройдет еще немного времени, и с холодами одинокие волки сколотятся в волчьи артели и до конца зимы будут промышлять сообща.

Тем временем Акбара и Ташчайнар уже вели своих перворожденных на испытание, на первую для них великую охоту на сайгаков.

Волки шли, прилаживаясь к степи, то шагом, то трусцой, печатая на том нетронutom снегу цветы следов звериных как знаки силы и сплоченной воли, где пригибаясь шли среди кустов, а где скользили, как тени. И все теперь зависело от них самих и от удачи.

Акбара похода избежала на один пригорок, чтобы оглядеться, и замерла, вглядываясь в дали синими глазами и запахи ветра перебирая нюхом. Великая саванна пробуждалась, насколько хватало глаз, в тумане легком виднелись стада сайгаков — то были крупные скопления поголовья с молодняком-годовиком, который отделялся в ту пору в новые стада. Тот год был приплодным для сайгаков, благоприятным и для волков.

Волчица задержалась на том взлобке, поросшем чиём, чуть подольше: требовалось сделать выбор наверняка — определить по ветру, куда, в какую сторону податься, чтобы безошибочно начать охоту.

И именно в тот момент послышался вдруг странный гул откуда-то со стороны и сверху, какое-то гудение пошло над степью, но вовсе не похожее на гроыхание грозы. Тот звук был совершенно незнаком, и он все рос и рос, так, что и Ташчайнар не удержался и тоже выскочил вверх к волчице, и оба попятились от страха — на небе что-то происходило, там появилась какая-то невиданная птица, чудовищно грохочущая, она чуть кособоко летела над саванной, едва не

зарываясь носом, а за ней на отдалении летела еще одна такая же махина. Затем они удалились, и постепенно шум затих. То были вертолеты.

Итак, два вертолета пересекли небо Моюнкумов, как рыбы, не оставляющие следов в воде. Однако ни наверху, ни внизу ничто не изменилось, если не считать того факта, что то была разведка с воздуха, что в эфир в тот час шли открытым текстом радиосообщения пилотов о том, что они видели и где, в каких квадратах, какие есть подъездные пути по Моюнкумам для вездеходов и прицепных грузовиков...

А волки, что ж, какой с них спрос, пережив сиюминутное смятение, они вскоре забыли о вертолетах и снова затрусили по степи к сайгачьим урочищам, не ведая ни сном ни духом, поскольку им то не дано, что все они, все обитатели саванны, уже замечены, уже отмечены на картах в пронумерованных квадратах и обречены на массовый отстрел, что их погибель уже спланирована, и скоординирована, и уже катится к ним на многочисленных моторах и колесах...

Откуда было знать им, степным волкам, что их исконная добыча — сайгаки — нужна для пополнения плана мясосдачки, что ситуация в конце последнего квартала «определяющего года» сложилась для области весьма нервная — «не выходили с пятилеткой» и кто-то разбитной из облуправления вдруг предложил «задействовать» мясные ресурсы Моюнкумов: идея же сводилась к тому, что важно не только производство мяса, а фактическая мясосдачка, что это единственный выход не ударить лицом в грязь перед народом и перед взыскательными органами свыше. Откуда было знать им, степным волкам, что из центров в области шли звонки; требование момента — хоть из-под земли, но дать план мясосдачки, хватит тянуть: год, завершающий пятилетку, что скажем мы народу, где план, где мясо, где выполнение обязательств?

«План будет непременно, — отвечало облуправление, — в ближайшую декаду. Есть дополнительные резервы на местах, поднажмем, потребуем...»

А степные волки тем часом, ничего не подозревая, старательно подкрадывались окольными путями к заветной цели, ведомые все той же волчицей Акбарой, бесшумно ступая по мягкому снегу, приблизились к последнему рубежу перед атакой, к высоким комлям чиев и затерялись среди них, напоминая такие же буроватые кочки. Отсюда Акбариным волкам все было видно как на ладони. Бессчетное стадо

степных антилоп — все как на подбор одной от сотворения мира масти, белобокие, с каштановым хребтом, — паслось, пока не ведая опасности, в широкой тамарисковой долине, жадно поедая подножный ковыль со свежим снегом. Акбара пока еще выжидала, необходимо было выждать, чтобы перед броском собраться с духом, и всем разом выскочить из укрытия, и с ходу кинуться в погоню, а уж тогда облава сама подскажет маневр. Молодые волки от нетерпения судорожно подергивали хвостами и ставили уши торчком, вскипала кровь и у сдержанного Ташчайнара, готового вонзить клыки в настигнутую жертву, но Акбара, пряча пламень в глазах, не давала пока знака к рывку, ждала наиболее верного момента — только тогда можно было рассчитывать на успех: сайгаки в один миг берут такой разбег, который немислим ни для одного зверя. Надо было уловить этот момент.

И тут поистине точно гром с неба — снова появились те вертолеты. В этот раз они летели слишком скоро и сразу пошли угрожающе низко над всполошившимся поголовьем сайгаков, дико кинувшихся вскачь прочь от чудовищной напасти. Это произошло круто и ошеломительно быстро — не одна сотня перепуганных антилоп, обезумев, потеряв вожаков и ориентацию, поддалась беспорядочной панике, ибо не могли эти безбидные животные противостоять летной технике. А вертолетам точно только того и надо было — прижимая бегущее стадо к земле и обгоняя его, они столкнули его с другим таким же многочисленным поголовьем сайгаков, оказавшимся по соседству, и вовлекая все новые и новые встречные стада в это моюнкумское светопреставление, сбивали с толку панически бегущую массу степных антилоп, что еще больше усугубило бедствие, обрушившееся на парнокопытных обитателей никогда ничего подобного не знавшей саванны. И не только парнокопытные, но и волки, их неразлучные спутники и вечные враги, оказались в таком же положении.

Когда на глазах Акбары и ее стаи случилось это жуткое нападение вертолетов, волки сначала притаились, от страха вжимаясь в корневища чиев, но затем не выдержали и бросились наутек от проклятого места. Волкам надо было исчезнуть, унести ноги, двинуться куда-нибудь в безопасное место, однако именно этому не суждено было осуществиться. Не успели они отбежать подальше, как послышалось содрогание и гудение земли, как в бурю, — неисчислимая сайгачья масса, гонимая по степи вертолетами в нужном тому

направлении, со страшной скоростью катилась вслед за ними. Волки, не успев ни свернуть, ни притаиться, оказались на пути живого всесокрушающего потока громадного, набегавшего, точно туча, поголовья. И если бы они на секунду приостановились, то неминуемо были бы растоптаны и раздавлены под копытами сайгаков, настолько стремительна была скорость этой плотной, потерявшей всякий контроль над собой животной стихии. И только потому, что волки не сбавили шагу, а, наоборот, в страхе припустили еще сильнее, они остались в живых. И теперь уже они сами оказались в плену, в гуще этого великого бегства, невероятного и немислимого, — если вдуматься, ведь волки спасались вместе со своими жертвами, которых они только что готовы были растерзать и растащить по кускам, теперь же они уходили от общей опасности бок о бок с сайгаками, теперь они были равны перед лицом безжалостного оборота судьбы. Такого — чтобы волки и сайгаки бежали в одной куче — Моюнкумская саванна не видывала даже при больших степных пожарах.

Несколько раз Акбара пыталась выскочить из потока бегущих, но это оказалось невозможным — она рисковала быть растоптанной мчащимися бок о бок сотнями антилоп. В этом бешеном убийственном галопе Акбарины волки пока еще держались кучно, и Акбара пока еще могла видеть их краем глаза — вот они среди антилоп, распластавшись, ускоряют бег, ее первые отпрыски, выкатив от ужаса глаза, — вот Большоголовый, вот Быстроногий и едва поспекает, все больше слабея, Любимица, а вместе с ними и он обращен в панический бег — гроза Моюнкумов, ее Ташчайнар. Разве об этом мечталось синеглазой волчице — а теперь вместо великой охоты они бегут в стаде сайгаков, бесильные что-либо предпринять, уносимые сайгаками, как шепки в реке... Первой сгнула Любимица. Упала под ноги стада, только визг раздался, заглушенный мгновенно топотом тысяч копыт...

А вертолеты-облавщики, идя с двух краев поголовья, общались по рации, координировали, следили, чтобы оно не разбежалось по сторонам, чтобы не пришлось снова гоняться по саванне за стадами, и все больше нагнетали страху, принуждая сайгаков бежать тем сильнее, чем сильнее они бежали. В шлемофонах хрипели возбужденные голоса облавщиков: «Двадцатый, слушай, двадцатый! А ну поддай жару! Еще поддай!» Им, вертолетчикам, сверху было прекрас-

но видно, как по степи, по белой снежной пороше катилась сплошная черная река дикого ужаса. И в ответ раздавался бодрый голос в наушниках: «Есть поддать! Ха-ха-ха, глянька, а среди них и волки бегут! Вот это дело! Попались серые! Крышка, братишки! Это вам не “Ну, погоди!”».

Так они гнали облаву на измор, как и было рассчитано, и расчет был точный.

И когда гонимые антилопы хлынули на большую равнину, их встретили те, для которых старались с утра вертолеты. Их поджидали охотники, а вернее расстрельщики. На вездеходах-«уазиках» с открытым верхом расстрельщики погнали сайгаков дальше, расстреливая их на ходу из автоматов, в упор, без прицела, косили, как будто сено на огороде. А за ними двинулись грузовые прицепы — бросали трофей один за одним в кузова, и люди собирали дармовой урожай. Дюжие парни не мешкая, быстро освоили новое дело, прикалывали недобитых сайгаков, гонялись за ранеными и тоже приканчивали, но главная их задача заключалась в том, чтобы раскатать окровавленные туши за ноги и одним махом перекинуть за борт! Саванна платила богам кровавую дань за то, что смела остаться саванной, — в кузовах вздымались горы сайгачьих туш.

А побоище длилось. Врезаясь на машинах в гущу загнанных, уже выбивающихся из сил сайгаков, отстрельщики валили животных направо и налево, еще больше нагнетая панику и отчаяние. Страх достиг таких апокалиптических размеров, что волчице Акбаре, оглохшей от выстрелов, казалось, что весь мир оглох и онемел, что везде воцарился хаос и само солнце, беззвучно пылающее над головой, тоже гонимо вместе с ними в этой бешеной облаве, что оно тоже мечется и ищет спасения и что даже вертолеты вдруг онемели и уже без грохота и свиста беззвучно кружатся над уходящей в бездну степью, подобно гигантским безмолвным коршунам... А отстрельщики-автоматчики беззвучно палили с колена, с бортов «уазиков», и беззвучно мчались, взлетая над землей, машины, беззвучно неслись обезумевшие сайгаки и беззвучно валились под прошивающими их пулями, обливаясь кровью... И в этом апокалиптическом безмолвии волчице Акбаре явилось лицо человека. Явилось так близко и так страшно, с такой четкостью, что она ужаснулась и чуть не попала под колеса. «Уазик» же мчался бок о бок, рядом. А тот человек сидел впереди, высунувшись по пояс из машины. Он был в стеклянных защитных — от ветра — наглаз-



никах, с иссиня-багровым, исхлестанным ветром лицом, у черного рта он держал микрофон и, привскакивая с места, что-то орал на всю степь, но слов его не было слышно. Должно быть, он командовал облавой, и если бы в тот момент волчица могла услышать шумы и голоса и если бы она понимала человеческую речь, то услышала бы, что он кричал по радиции: «Стреляйте по краям! Бейте по краям! Не стреляйте в середину, потопчут, чтоб вас!» Боялся, что туши убитых сайгаков будут истоптаны бегущим следом поголовьем...

И тут человек с микрофоном заметил вдруг, что рядом, чуть не бок о бок с машиной среди спасающихся бегством антилоп скачет волк, а за ним еще несколько волков. Он дернулся, что-то заорал хрипло и злорадно, бросил микрофон и выхватил винтовку, перекидывая ее на руку и одновременно перезаряжая. Акбара ничего не могла поделать, она не понимала, что человек в стеклянных наглазниках целится в нее, а если бы и понимала, все равно ничего не смогла бы предпринять — скованная облавой, она не могла ни увильнуть, ни остановиться, а человек все целился, и это спасло Акбару. Что-то резко ударило под ноги, волчица перекувыркнулась, но тут же вскочила, чтобы не быть растоптанной, и в следующее мгновение увидела, как высоко взлетел в воздух подстреленный на бегу ее Большеголовый, самый крупный из ее первенцев, как он, обливаясь кровью, медленно падал вниз, медленно перекидываясь на бок, вытягивался, суча лапами, возможно, исторгнул крик боли, возможно, предсмертный вопль, но она ничего не слышала, а человек в стеклянных наглазниках торжествуя потрясал винтовкой над головой, и в следующее мгновение Акбара уже перескочила через бездыханное тело Большеголового, и тут вновь ворвались в ее сознание звуки реального мира — голоса, шум облавы, несмолкающий грохот выстрелов, пронзительные гудки автомашин, крики и вопли людей, хрип агонизирующих антилоп, гул вертолетов над головой... Многие сайгаки падали с ног и оставались лежать, били копытами, не в силах двигаться, задыхались от удушья и разрыва сердца. Их прирезали на месте подборщики туш, наотмашь полоснув по горлу, и, раскачав за ноги, судорожно дергающихся, полуживых кидали в кузова грузовиков. Страшно было смотреть на этих людей в облитой кровью с головы до ног одежде...

Если бы с небесных высей некое бдительное око глядело на мир, оно наверняка увидело бы, как происходила облава

и чем она обернулась для Моюнкумской саванны, но и ему, пожалуй, не дано было знать, что из этого последует и что еще замышляется...

Облава в Моюнкумах кончилась лишь к вечеру, когда все — и гонимые, и гонители — выбились из сил и в степи стало смеркаться. Предполагалось, что на другой день с утра вертолеты, заправившись, вернутся с базы и облава возобновится; предполагалось, что такой работы здесь хватит еще дня на три, на четыре, если верить тому, что в западной, самой песчаной части Моюнкумских степей находится, по предварительному вертолетно-воздушному обследованию, еще много непуганых сайгачьих стад, официально именуемых нескрытыми резервами края. А поскольку существовали нескрытые резервы, из этого неминуемо вытекало необходимость скорейшего вовлечения в плановый оборот упомянутых резервов в интересах края. Таково было сугубо официальное обоснование моюнкумского «похода». Но, как известно, за всякими официальными заключениями всегда стоят те или иные жизненные обстоятельства, определяющие ход истории. А обстоятельства — это в конечном счете люди, с их побуждениями и страстями, пороками и добродетелями, с их непредсказуемыми метаниями и противоречиями. В этом смысле моюнкумская трагедия тоже не была исключением. В ту ночь в саванне находились люди — вольные или невольные исполнители этого злодеяния.

А волчица Акбара и ее волк Ташчайнар, уцелевшие из всей стаи, трусили впотьмах по степи, пытаясь удалиться как можно дальше от мест облавы. Передвигаться им было трудно — вся шерсть на подбрюшине, в промежностях и почти до крестца промокла от грязи и слякоти. Израненные, избитые ноги горели, как обожженные, каждое прикосновение к земле причиняло боль. Больше всего им хотелось вернуться в привычное логово, забыться и забыть, что обрушилось на их бедовые головы.

Но и тут им не повезло. Уже на подходе к логову они неожиданно наткнулись на людей. С края родной ложбины, вклинившись в низенькую, ниже колес, тамарисковую рощицу, возвышалась громада грузовой автомашины. В темноте возле грузовика слышались человеческие голоса. Волки немного постояли и молча повернули в открытую степь. И почему-то именно в этот момент, прорезая тьму, мощно вспыхнули фары. И хотя они светили в противоположную сторону, этого оказалось достаточно. Волки припустили,

прихрамывая и прискакивая, и понеслись куда глаза глядят. Акбара особенно тяжело припадала на передние лапы... Чтобы перетруженные ноги остужались, она выбирала места, где уцелел утренний снег. Печально и горько тянулись по снегу скомканные цветы ее следов. Волчата погибли. Позади осталось недоступное теперь логово. Там теперь были люди...

Их было шестеро, шестеро вместе с водителем Кепой, шестеро сведенных случаем людей, подборщиков битой дичи, заночевавших в тот день в саванне, с тем чтобы с утра пораньше приняться за дело, оказавшееся столь выгодным,— полтинник за штуку. Хоть и набили они уже три кузова, далеко не всех пристреленных и задавленных в облове сайгаков удалось собрать засветло. Наутро предстояло найти оставшихся, побросать их за борт для отправки и перегрузки на прицепной транспорт, который увозил добычу из зоны Моюнкумов.

В тот вечер очень рано выкатилась над горизонтом луна, достигшая полной округлости и отовсюду видимая в блеклой, местами еще приснеженной степи. Лунный свет то высветлял, то затенял деревца, овраги, взлобки саванны. Но резкий силуэт огромной грузовой машины, столь непривычной в этих безлюдных местах, долго еще нагонял страху на волков: оглянувшись назад, они всякий раз поджимали хвосты и прибавляли ходу. И тем не менее они останавливались и снова вглядывались напряженно, как бы пытаясь проникнуть в суть происходящего,— что делают люди на месте их старого логова, почему они там остановились и долго ли еще будет стоять там эта громадная, пугающая их машина. То был, кстати, МАЗ — вездеход военного исполнения, с брезентовым верхом, с колесами столь мощными, что им, казалось, еще сто лет не будет износа. В кузове машины среди десятка битых сайгачьих туш, оставленных для отправки на завтра, лежал человек, руки его были связаны, точно его взяли в плен. Он чувствовал, как все больше остывают и затвердевают лежащие рядом туши сайгаков. И все-таки их шкуры согревали его, а иначе ему пришлось бы худо. В промежутке брезентового шатра над кузовом виднелась луна, он смотрел на большую луну, как в пустоту, на его бледном лице было написано страдание.

Теперь участь его зависела от людей, вместе с которыми он прибыл сюда, как полагали они, подобно им подзаработать на моюнкумской облове...

Трудно установить, что такое людская жизнь. Во всяком случае, бесконечные комбинации всевозможных человеческих отношений, всевозможных характеров настолько сложны, что никакой сверхсовременной компьютерной системе не под силу синтезировать общую кривую самых обычных человеческих натур. И эти шестеро, а точнее пятеро, поскольку шофер вездехода Кепа, приданный им как водитель, был сам по себе, к тому же он единственный среди них был человеком семейным, хотя, по сути, очень даже близким по духу, неотличимым от других,— словом, эти шестеро могли служить примером тому, что бывают и противоположные случаи, когда можно обойтись и без компьютерного интегрирования, а также и тому, что пути Господни неисповедимы, когда речь идет о пусть даже самом пустяковом коллективе людей. Значит, так было угодно Господу, чтоб все они оказались людьми поразительно однозначными. По крайней мере, когда они только выехали в Моюнкумы...

Прежде всего это были люди бездомные, перекаати-поле, кроме, разумеется, Кепы: у троих из них ушли жены, все они были в той или иной степени неудачниками, а следовательно, были по большей части озлоблены на мир. Исключением мог считаться разве что самый молодой из них со странным, ветхозаветным именем Авдий — упоминался такой в Библии в Третьей книге Царств,— сын дьякона откуда-то из-под Пскова, поступивший после смерти отца в духовную семинарию как подающий надежды отпрыск церковного служителя и через два года изгнанный оттуда за ересь. И теперь он лежал в кузове МАЗа со связанными руками в ожидании расплаты за попытку, по определению самого Обера, бунта на корабле.

Все они, за исключением Авдия, были завзятыми или, как они еще величали себя, профессиональными алкоголиками. Опять же вряд ли в их число входил Кепа, как-никак права водительские приходилось беречь, не то жена бы ему глаза повыцарапала, но в Моюнкумах в ту ночь он таки крепко поддал, не хуже чем другие, а под сомнением в этом смысле опять же оказался Авдий-Авдюха — ему-то что, ски-тальцу, ан нет, тоже заартачился, не стал пить, чем вызвал еще большую ненависть Обера.

Обер — так для краткости велел он именовать себя подчиненным ему подборщикам туш, имея в виду, наверно, что слово это означало старший, а он и в самом деле до разжа-

лования был старшим лейтенантом дисциплинарного батальона. Когда его разжаловали, доброжелатели сокрушались, что он-де погорел за служебное усердие, так же считал и он сам, глубоко задетый в душе несправедливостью начальства, однако о подлинной причине изгнания своего из армии предпочитал не распространяться. Да и ни к чему это было, дело прошлое. В действительности фамилия Обера была Кандалов, а изначально, возможно, и Хандалов, но это никого не волновало — Обер он и есть обер в полном смысле этого слова.

Вторым лицом в этой хунте — а хунтой они окрестили свою команду с общего согласия, — единственным, кто слабо возразил, был Гамлет-Галкин, бывший артист областного драматического театра: «Ну ее к шутам, хунту, не люблю я, ребята, хунты. Мы ведь отправляемся на сафари, пусть мы будем сафарой!» — но к его предложению никто не присоединился, возможно, малопонятная «сафара» проигрывала на фоне энергичной «хунты», — так вот вторым лицом хунты оказался некто Мишаш, а если полностью — Мишка-Шабашник, тип, надо сказать, бычьей свирепости, который мог послать куда подальше даже самого Обера. Привычка Мишаша приговаривать по каждому поводу «бля» была для него что вдох, что выдох. Идею связать и бросить Авдия в кузов машины подал именно он. Что и было незамедлительно проделано хунтой.

Самое скромное место в этой хунте занимал артист Гамлет-Галкин, спившийся, преждевременно сошедший со сцены и перебивавшийся случайными заработками, а тут как раз подвернулась такая пожива — кидай за ноги в кузов каких-то то ли антилоп, то ли сайгаков, какая ему разница, и получай столько, сколько за месяц не заработаешь, и вдобавок еще премию от Обера, хоть и за счет отчислений от всего подряда, — ящик водки на всю братию. И наконец, самый покладистый и безобидный среди них — местный малый из ближайших моюнкумских окрестностей, Узюкбай, или попросту — Абориген. Абориген-Узюкбай, что в нем было бесценно, был начисто лишен самолюбия, все, что ни скажи ему, на все согласен и за бутылку водки готов двинуть хоть на Северный полюс. Краткая история Аборигена-Узюкбая сводилась к следующему. Прежде был трактористом, потом стал беспробудно пить, бросил трактор среди ночи на проезжей дороге, врезалась в него проходившая машина, погиб человек. Узюкбай отсидел пару лет, жена с детьми тем вре-

менем от него ушла, и он очутился в городе в качестве неучтенной рабсилы, подвизался грузчиком в продмаге, выпивал в подъездах, где и обнаружил его сам Обер, и Узюкбай последовал за ним без оглядки, да и не на что ему было оглядываться... Оберу-Кандалову нельзя было отказать — он действительно обладал социально ориентированным нюхом...

Вот так и сошлись они во главе с Обером-Кандаловым, и вот так на волне облавы объявились в Моюнкумской саванне...

И если говорить о судьбе и о судьбах, о разного рода житейских обстоятельствах, предопределяющих события, то, видит Бог, у Обера-Кандалова не было бы никаких забот с неудавшимся семинаристом Авдием, если бы тому довелось в свое время доучиться и дослужиться до рукоположения в соответствующий сан. Кстати, бывшие однокашники Авдия по семинарии, когда-то такие же легкомысленные, как и все ученики, выбрав однажды жизненный путь, оказались куда устойчивей, а самое главное — благоразумней, чем Авдий, сын покойного дьякона, и уже успешно продвигались после завершения духовного образования по ступеням церковной карьеры. Будь в их числе и Авдий — а поначалу он значился среди наиболее высокоодаренных, любимых отцами-богословами юношей, — тогда Оберу-Кандалову и Авдию вряд ли пришлось встретиться, хотя бы потому, что Обер-Кандалов искренне считал попов недоразумением времени и никогда в жизни не переступал церковного порога даже из любопытства.

Если бы да кабы... Однако кто мог знать, что такое произойдет. Если бы знать наперед... Но кто у кого просит заполнить анкету, когда вербует на один выезд — отправиться за компанию подзаработать. Это же все равно что поехать с коллективом на картошку. Разве что вместо клубней предстояло собирать убитых на облаве животных... Знал бы Обер-Кандалов, что повстречавшийся ему на вокзале скиталец Авдий — чокнутый, ненормальный, не пришлось бы ему в моюнкумских песках ломать себе голову, как с ним поступить, куда его девать, как избавиться без вреда для себя от этого дикого Авдия, едва не сорвавшего все то, что он устроивал с таким усердием, посредством чего надеялся реабилитировать свое прошлое. Кто бы мог подумать, что таким странным, невероятным, причем глупым образом все свяжется в один узел. От этих мыслей Оберу-Кандалову очень

хотелось выпить, что называется, ударить по-черному, а он здорово это умел — полстакана залпом, потом еще, оглушить, взвинтить себя так, чтобы никаких тебе преград, чтобы полностью сознание отшибить... и тогда дать по мозгам... Но и этого он боялся, потому что знал, как тяжело будет потом...

И откуда он взялся, этот Авдий, на его голову! И опять, если говорить о судьбе и судьбах, о разного рода жизненных обстоятельствах, предопределяющих причины других событий, то все это завязывалось задолго до этого и вдали отсюда...

Изгнанный из духовной семинарии как еретик-новомысленник, Авдий работал в ту пору внештатным сотрудником областной комсомольской газеты. Редакция газеты была заинтересована в нем, в недавнем семинаристе, недурно пишущем на любимые читателями темы. Преданный церковью анафеме, он был выгоден для наглядной антирелигиозной пропаганды. Несостоявшегося семинариста, в свою очередь, заинтересовала возможность выступать в молодежной печати на близкие ему морально-нравственные темы. Пропускаемые при этом на страницы газеты его несколько непривычные размышления безусловно привлекали читателей, и не только молодых, особенно на фоне заунывно-дидактических призывов и социальных заклинаний, захлестнувших областную печать. И пока вроде бы взаимные интересы соблюдались, но мало кто знал, а вернее, за исключением одной души никто не знал, какие помыслы вынашивал этот молодой, да ранний обновленец. Авдий Каллистратов надеялся со временем, с упрочением своего журналистского имени, найти некую приемлемую форму, некую пограничную идеологическую полосу, позволившую бы ему высказывать столь актуальные и столь жизненно важные, по его убеждению, новомысленнические представления о Боге и человеке в современную эпоху в противовес догматическим постулатам архаичного вероучения. Вся смехотворность заключалась в том, что перед ним стояли две абсолютно неприступные и несокрушимые крепости, сила которых зиждется на их обоюдной незыблемости и тотальной взаимонеприемлемости, с одной стороны — неподвластные времени, тысячелетние неизменные пасхальные концепции, ревностно оберегающие чистоту вероучения от каких бы то ни было, пусть даже благонамеренных новомыслей, и с другой стороны — в корне отвергающая религию как таковую могучая логика научного атеизма. А он, несчастный, между ними был все равно как между жерновами. И, однако, в нем горел свой огонь. Обу-

реваемый собственными идеями «развития во времени категории Бога в зависимости от исторического развития человечества», еретик Авдий Каллистратов надеялся, что рано или поздно судьба предоставит ему возможность приоткрыть людям суть своих умозаключений, ибо, как он полагал, все идет к тому, что людям и самим захочется узнать о своих отношениях с Богом в постиндустриальную эпоху, когда могущество человека достигнет наикритической фазы. Умозаключения Авдия носили пока не устоявшийся, дискуссионный характер, но и такой свободы мысли официальное богословие не простило ему и, когда он отказался покаяться в ереси новомыслия, чины епархии изгнали его из духовной семинарии.

У Авдия Каллистратова было бледное высокое чело; как многие люди его поколения, он носил волосы до плеч и отпустил плотную каштановую бородку, что, впрочем, если и не очень украшало, зато придавало его лицу благостное выражение. Серые навывкате глаза его лихорадочно поблескивали, в них выражался непокой духа и мысли, который был присущ его натуре, что приносило ему великую отраду от собственных постижений, а также многие тяжкие страдания от окружающих людей, к которым он шел с добром...

Ходил Авдий большей частью в клетчатых рубашках, в свитере и джинсах, в холод натягивал пальтецо и старую меховую шапку, еще отцовскую. Таким он и появился в Мюнкумской саванне...

И то, что он валялся в тот час связанный в кузове машины, наводило его на разные горькие мысли. Но острее всего он чувствовал в этот раз свое одиночество. Ему припомнилось полузабытое изречение какого-то восточного поэта: «И среди тысячной толпы — ты одинок, и находясь с собой наедине — ты одинок». И тем горше и мучительнее думалось ему о ней, о той, которая с некоторых пор стала самым близким существом на свете, постоянно сопутствующим ему в мыслях, как ипостась его собственной сути, — и в этот час он не мог отделить ее от себя, не мог не обращать к ней свои чувства и переживания, и если действительно существует телепатия как сверхчувственное общение близких натур в особо напряженном состоянии, она непременно должна была в ту ночь испытывать странное томление духа и предошущение беды...

Теперь ему наконец открылась справедливость парадоксальных слов все того же восточного поэта, над которыми



он прежде посмеивался, не верил, что можно утверждать: «Пусть не полюбится тому, кто истинно любить предрасположен...» Что за чушь! А теперь он тихо плакал, думая о ней, сознавая, что, не зная он о ее существовании, не любил ее так затаенно и отчаянно, как собственную жизнь перед смертью, не было бы этой неутраченной боли, этой тоски, этого необоримого, безумного и мучительного желания не медленно, тотчас же вырваться, освободиться и бежать к ней среди ночи через саванну на ту затерянную в трансконтинентальной протяженности железной дороги станцию Жалпак-Саз, чтобы очутиться, как и тогда, хоть на полчаса, возле ее дверей, в том прибольничном домике на границе великих пустынь, в котором она живет... Но не в силах освободиться, Авдий проклинал свою, возможно, и ненужную ей преданность — ведь именно ради нее он вернулся, приехал во второй раз в эти азиатские края, очутился здесь, в Мюнкумах, где и лежал теперь связанный, оскорбленный и униженный. Но его чувства к ней были тем острее, чем неосуществимей было желание видеть ее, тем мучительнее было сознание одиночества, и чувства эти открывали ему вместе с тем и всю благодать слияния с Богом, ибо теперь ему открылось, что Бог, являя себя через любовь, дарует тем самым человеку наивысшее счастье бытия, и щедрость Бога тут бесконечна, как бесконечно течение времени, а предназначение любви неповторимо в каждом случае и в каждом человеке...

— Слава Всевышнему! — прошептал он, глядя на луну, и подумал: «Если бы она знала, как велика Божья милость, когда Он вселяет в сердце любовь...»

И тут возле машины раздались шаги, и кто-то, сопя и рыгая, полез в кузов. То был Мишаш, а вслед за ним показалась и голова Кепа. Кажется, они уже успели поддать — резко шибануло в нос водкой.

— Ты что, бля, лежишь? А ну давай поднимайся, сукапоп, Обер требует тебя на ковер, перевоспитывать будет, — говорил Мишаш, как медведь в берлоге, продвигаясь через сайгачьи туши в машине.

Кепа, хихикая, в свою очередь добавил:

— Ковра не будет, на собственной заднице, на землеце моюнкумской посидишь.

— Ковер ему еще, — пробасил Мишаш, отпрыгивая, — да за такое дело, бля, в Сибирь! Охмурить нас задумал, чуть ли не монахами решил сделать, да не на тех, бля, нарвался!

## IV

За это время Авдий Калистратов отправил Инге Федорвне несколько писем на станцию Жалпак-Саз, и она отвечала ему до востребования на городскую почту, ибо к тому времени постоянного адреса у него уже не было. Матери он лишился еще в детстве, и отец его, дьякон Калистратов, оставшись вдовцом, тратил всю свою доброту и немалую начитанность, и богословскую и светскую, на сына и дочь, что была старше Авдия на три года. Сестра Авдия, Варвара, уехала учиться в Ленинград, хотела поступить в педагогический институт, но ее там не приняли как дочь служителя культа, поскольку это открыло бы ей доступ к школьному обучению, и тогда она прошла по конкурсу в политехнический да так и осела в Ленинграде, вышла замуж, обзавелась семьей и работала сейчас чертежницей в каком-то проектно-институте. Авдия же дорога лежала в духовную сферу, этого хотел он сам, и этого очень хотел отец, особенно после истории с поступлением в пединститут дочери Варвары. Когда Авдий начал учиться в семинарии, дьякон Калистратов ходил счастливый и гордый — он радовался тому, что мечта его сбылась, что не напрасны были его труды и внушения, что Господь вынял его мольбам. Вскоре, однако, он умер, и, возможно, в том была милость судьбы, ибо он не перенес бы той еретической метаморфозы, которая случилась с его сыном Авдием, увлекшимся новомыслием на поприще вечного, как мир, богословия — учения, данного раз и навсегда, в бесконечности и неизменности божественной силы.

А когда Авдий Калистратов стал сотрудничать в областной молодежной газете, та небольшая квартирка, в которой дьякон Калистратов прожил с семьей многие годы, была затребована для вновь назначенного служителя церкви, а бывшему семинаристу Авдию Калистратову предложили освободить ее как лицу, не имеющему никакого отношения к церкви.

Авдий вызвал в связи с этим сестру Варвару, чтобы она по своему усмотрению увезла в Ленинград нужные ей родительские вещи, в основном старинные иконы и картины, как память и наследство. Себе Авдий оставил отцовские книги. То была последняя встреча брата и сестры — у каждого была своя планида. Больше они не виделись, отношения их были вполне нормальные, но жизненные пути раз-

ные. С тех пор Авдий жил на частных квартирах, сначала в отдельных комнатах, потом в углах, так как отдельные комнаты стали ему не по карману. Оттого-то и письма писались ему до востребования.

И именно в этот период наметилась первая поездка Авдия Каллистратова в Среднюю Азию от редакции областной комсомольской газеты. Непосредственным поводом к тому послужила идея Авдия изучить и описать пути и способы проникновения в молодежную среду европейских районов страны наркотического средства — анаши, растения, произрастающего в Средней Азии, Чуйских и Примоюнкумских степях. Анаша — родная сестра знаменитой марихуаны, особый вид дикой южной конопли, содержащей в листьях и особенно в соцветиях и пыльце сильнодействующие одурманивающие вещества, вызывающие при курении эйфорию, иллюзию блаженства, а с увеличением дозы фазу угнетения и вслед за этим агрессивность — форму невменяемости, опасную для окружающих.

Историю этой поездки Авдий Каллистратов подробно описал в своих путевых очерках, описал он, и как неожиданно столкнулся в степи с волчьим семейством, описал все пережитое — с болью и тревогой, как очевидец, как гражданин, озабоченный распространением одурманивающего зелья. Но публикация очерков, вначале принятых в редакции на ура, задержалась, а затем и вовсе остановилась.

Обо всех своих неудачах и переживаниях Авдий Каллистратов и писал Инге Федоровне, которую он считал даром судьбы, самым близким себе человеком, — ведь она, подобно реке, оживляла и воскрешала его для повседневного бытия. Вскоре он понял, что переписка с Ингой Федоровной — главное событие в его жизни и, возможно, то самое предназначение, которое оправдывает его существование.

Отправив ей письмо, он затем жил этим, заново восстанавливая в памяти все написанное и как бы комментируя себя. То была странная форма общения на расстоянии — непрерывное излучение во времени и пространстве его страждущей души.

«...Потом я думал много дней, не шокировали ли Вас начальные слова моего письма: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!» Я их привел, будучи воспитанным в этих традициях, они всегда служат мне камертоном перед серьезным разговором, настраивая на молитвенное состояние духа, и я не стал изменять этому правилу, хотя я и лишний раз на-

помню Вам о своем происхождении из духовного сословия и семинаристском прошлом. Мое отношение к Вам не позволяет мне умалчивать о каких бы то ни было обстоятельствах, касающихся меня.

И еще думалось о том, что пишу на Вы, а, расставаясь, мы были уже на ты. Простите, но что-то произошло со мной, хотя я так недолго вдалеке от Вас. Впрочем, все чудачки пытаются найти себе какое-нибудь нелепое оправдание. Но это к слову. Позвольте все же на расстоянии обращаться к Вам на Вы. Так я чувствую себя гораздо удобнее. А если нам суждено будет встретиться, о чем отныне мои затененные и оттого особо сокровенные мечты (эти мечты мне как дети, я их взращиваю и не могу без них, представляю, какое счастье любить своих детей, если любить их, как мечту), а мечты эти родились как устремление духа к божественному совершенству, вечно притягательному и бесконечному, так вот благодаря этим мечтам я, сам того не подозревая, противостою угрозе небытия, возможно, потому, что любовь — антитеза смерти, она потому и являет собой ключевой момент жизни вслед за таинством рождения, все это я повторяю, как заклинание, чтобы нам суждено было встретиться, и обещаю при встрече не утруждать Вас — обещаю обращаться на ты... А пока так много есть чего сказать...

Инга Федоровна, Вы помните, надеюсь, что мы условились, как только появятся в газете мои материалы, ради которых я приезжал в Ваши края, незамедлительно слать их Вам авиапочтой. К сожалению, я не уверен, что мои очерки о юнцах-подростках, о гонцах за анашой и обо всем том, что связано с этим печальным явлением наших дней, появятся в ближайшее время. Я говорю наших дней, потому что анаша произрастала на этих землях, как сорная трава, с незапамятных времен, а лет пятнадцать тому назад — Вы сами знаете, да что же я рассказываю Вам, специалисту, но, простите, я все равно буду рассказывать, Инга Федоровна, именно Вам, и только это придает теперь какой-то смысл всему этому предприятию — так вот, лет пятнадцать тому назад, как утверждают местные жители, никто и не помышлял собирать эту злую штуку, или, как именуют ее анашисты, травку, ни для курения, ни для иного потребления. Это зло возникло совсем недавно, и в немалой степени под влиянием Запада. И вот теперь мне предлагают ограничиться какой-то докладной запиской в какие-то инстанции — это просто уму

непостижимо. Понимаю, что тут особый разговор, ведь ложное опасение, что остросенсационный материал о наркомании среди молодежи — оговоримся для порядка: среди части малосознательной молодежи — причинит якобы ущерб нашему престижу, может вызвать лишь гнев и смех. Ведь это и есть страусовая политика... Зачем он нужен, этот престиж, если за него надо платить такую цену!

Представляю, Инга Федоровна, как Вы снисходительно улыбались, читая эти строки, улыбались скорей всего моему наивному возмущению, а может быть, и наоборот, хмурились, что, кстати, Вам очень идет. Когда вы хмуритесь, Ваше лицо становится чистым и глубоким, как у юных монахинь, всерьез озабоченных постижением божественной сути, ведь подлинная красота этих невест христовых в их одухотворенности. Скажи я это вслух, да еще и в присутствии других людей, это выглядело бы попыткой лести. Но я уже сказал, что в моем отношении к Вам нет абсолютно ничего, что я должен был бы преуменьшать или преувеличивать. И если Ваш озабоченный лик вызывает у меня в памяти Богоматерь в живописи Возрождения, отнесите это в крайнем случае к моему недостаточному искусствоведческому опыту. Как бы то ни было, я уповаю на то, что Вы Верите в мою искренность... Ведь с этого все началось — Вы поверили мне с первого слова и открыли для меня новую полосу жизни...»

\* \* \*

Сегодня снова был в редакции газеты по поводу своего материала, и опять то же самое — все на месте, никакого движения, никакого просвета. Никто не может толком объяснить, почему мои степные очерки, встреченные поначалу редакцией с таким ликованием, теперь ни у кого не вызывают энтузиазма, а ведь сколько откровенных признаний вызвали затронутые проблемы. Главный редактор газеты всячески избегает теперь встречи со мной, дозвониться ему невозможно, секретарша все ссылается на его занятость — то у него заседание, то планерка, то его вызвали в вышестоящие, как она любит подчеркивать, инстанции.

И снова я иду одиноко по знакомым улицам, как будто бы сторонний человек, случайно приехавший сюда, как будто бы я здесь не родился и не вырос, так пусто и отчужденно на душе моей. Иные знакомые со мной не здороваются — я для них церковный отлучник, изгнанный из семина-

рии еретик, и прочее, и прочее. И только одно греет мое сердце, одна желанная забота всегда со мной — мое письмо. Иду и думаю о том, что напишу, что в очередном письме я расскажу обо всем, что мне кажется интересным для нее, обо всем, что может дать мне повод поделиться с ней своими думами. Никогда не предполагал, что думать о любимой женщине и писать ей письма станет смыслом моей жизни. Я только и жду хотя бы малейшей возможности поехать туда, где мы встретились. Скорей бы! Иду и думаю об этом. Наверно, и у других людей были такие дни, когда они тоже на какое-то время находили в любви главный смысл жизни и были ею счастливы, но в отличие от них я не перестану любить до самой смерти, и смысл моего житья будет только в этом...

Вот уже и листья падают на бульваре. А ведь то, о чем я писал, происходило в начале лета. Редакция в те дни приветствовала мою идею, торопила. Я же не предполагал, что, когда вопрос коснется дела, редакция уйдет в кусты. Не думал никак, что странный принцип — оповещать в массовой печати только о том, что для нас благоприятно, престижно, — настолько силен.

А в те дни я больше был поглощен предстоящей мне длительной поездкой в незнакомые и притягательные для меня, провинциального россиянина, южные края. Замысел состоял в том, чтобы поехать не как сторонний наблюдатель, а как один из гонцов за анашой, влившись в их тайную компанию. Конечно, возрастом я постарше их, но не настолько старше с виду, чтобы это настораживало. В редакции прикинули, что в старых джинсах и разбитых кроссовках я вполне могу сойти за простецкого малого, если к тому же сбрую бороду. Так я и сделал — бороду на то время сбрил. Никаких записных книжек я с собой не брал, надеялся на память. Мне важно было проникнуть в ту среду, выяснить, почему именно эти ребята оказались туда вовлеченными, что двигало ими кроме соблазна наживы и спекуляции; мне необходимо было изучить изнутри личные, социальные, семейные и не в последнюю очередь психологические моменты этого явления.

С тем я и приготовился. Это было в мае. Именно в это время начинает цвести конопля-анаша, и именно в эти дни приступают к сбору ее цвета те, кто специально отправляется за этим зельем в Примоюнкусские и Чуйские степи. Обо всем этом мне поведал мой знакомый, учитель истории одной из школ нашего городка Виктор Никифорович Горо-

децкий. Когда мы оставались наедине, беседуя о разных разностях, он называл меня в шутку отцом Авдием. Сам он сравнительно молодой человек, однокашник моей сестры Варвары. А вот племянник его, сын его родной сестры, Паша, Пахом, которого Виктор Никифорович, оказывается, сам нарек этим именем, так вот Паша этот, как выяснилось впоследствии, попал в анашистскую компанию. Ни родители, ни Виктор Никифорович не знали об этом.

Как-то Паша отпросился у родителей съездить в Рязань к деду, у которого он часто бывал. Дней через пять после его отъезда Виктор Никифорович получил телеграмму от следователя транспортной прокуратуры Джаслибекова с какой-то далекой казахстанской станции. В телеграмме сообщалось, что его племянник Паша находится под стражей — его задержали в связи с преступным провозом наркотиков по железной дороге.

Виктор Никифорович сразу понял, почему именно ему, а не родителям адресовал следователь Джаслибеков телеграмму. Паша боялся отца, человека резкого и крутого. Виктор Никифорович немедленно вылетел в Алма-Ату, а оттуда через сутки добрался на поезде до той степной станции. Застал он Пашу в отчаянном состоянии. Ему грозил немедленный суд и приговор по особому указу со сроком не менее трех лет в колонии строгого режима. Суд был неизбежен — состав преступления налицо. Виктор Никифорович пытался, как мог, втолковать племяннику, что другого исхода, к сожалению, нет, что по закону за преступление следует наказание. Советовал, как держаться, что говорить на суде, обещал все объяснить родителям, обещал приезжать к нему на свидания в колонию. Все это происходило в присутствии Джаслибекова. И тут вдруг Джаслибеков говорит:

— Виктор Никифорович, если вы поручитесь, что ваш племянник впредь не повторит подобное преступление, я отпущу его под свою ответственность. Мне почему-то показалось, что вы сможете наставить этого молодого человека на путь истинный. Если же он еще раз попадется с провозом анаши, его будут судить как рецидивиста. Вот решайте сами.

Ну, конечно, Виктор Никифорович несказанно обрадовался, тут же поручился за Пашу, не знал, как и благодарить следователя, и тогда Джаслибеков сказал:

— А вас, Виктор Никифорович, я просил бы помочь нам там, на местах у вас. Попробуйте поднять в прессе серье-

ный разговор на эту тему. Ведь вы учитель. Мы боремся с самими преступлениями, когда они уже совершены или в процессе совершения. А вот кто и что гонит таких, можно сказать, мальчишек в даль, в безлюдные места, в среду деклассированных элементов, а то и отпетых рецидивистов, мы не знаем, а ведь мы этих подростков судим, вынуждены, обязаны судить. Очень хорошо, что вы, в частности, сразу откликнулись, незамедлительно приехали и тем очень помогли мне, а многие родственники — и таких большинство — не приезжают вовсе. И так попадает человек пятнадцать лет от роду в колонию строгого режима. А что там? Что с ними происходит, чему они там научатся? Никчемными, искалеченными людьми — вот какими они выйдут оттуда. Сами понимаете, тюрьма не от хорошей жизни. Виктор Никифорович, душа болит, на все это глядя. Верите ли, только в прошлый сезон по нашему участку дороги мы судили более ста подростков, а скольких мы пропустили, не смогли задержать, а они все едут и едут отовсюду, от Архангельска до Камчатки, прут, как рыба на нерест. Сколько же можно? Всех ведь не пересудишь. У них возникла целая система промысла. Среди них есть проводники — и здешние, и нездешние, — которые ведут их в места произрастания анаши, их мы тоже судим. А что они творят с поездками? Останавливают в степи товарняки, в пассажирский-то они не смеют сунуться, там сразу их схватят. Кто-то снабжает их специальным составом, порошок такой, если посыпать ночью на шпалы, на рельсы, то в лучах фар возникает иллюзия, будто дорога занялась огнем. Шпалы горят, рельсы горят. Конечно, машинист останавливает состав — в степи всякое может случиться, выбегает на дорогу, но нет, ничего не горит, все в порядке. А анашисты тем временем залезают в вагоны со своими сумками, с чемоданами. Составы нынешние такие — на целый километр, попробуй уследи, а они забираются и едут до узловой станции. Там покупают билеты. Пассажиров-то вон сколько! Узнай, кто есть кто. Правда, милиция в последние годы завела специальных собак, они анашу по запаху находят. Вот вашего племянника и обнаружили с помощью собаки...

И еще много кое-чего узнал Виктор Никифорович в тех местах. Он-то и посвятил меня в эти дела. Но еще до этого я был внутренне готов к такому разговору. Меня давно терзала мысль — найти исхоженные тропы к умам и сердцам своих сверстников. Я видел свое призвание в поучении до-



бру. Может, несколько самонадеянно было с моей стороны полагать, что в этом мое предназначение, но, во всяком случае, мне этого искренне хотелось, и, пожалуй, не в последней степени это объясняется моим происхождением. В некоторых статьях своих я уже говорил, хотя и в самых общих чертах, о пагубности алкоголизма среди молодежи, примерно то же писал и о наркомании, ссылаясь на печальный опыт Запада. Но все это было, по сути, с чужих слов, из вторых рук. А для яркого и в то же время проникновенного материала, где были бы мои собственные размышления и переживания по поводу всем известных и в то же время суеверно избегаемых многими как чумы случаев наркомании среди молодежи, особенно среди подростков, приводящих к печальным последствиям — от саморазрушения личности до садистских убийств, — так вот, для такого материала мне не хватало знания проблемы изнутри и реалий. А тут как раз получилось, что Виктор Никифорович Городецкий, столкнувшийся с этим явлением на собственном опыте, решил поделиться своими думами и душевными огорчениями. Чтобы оторвать Пашу от прежних друзей-товарищей, промышлявших анашой, вся семья, отец, мать, дети, вынуждена была, обменяв квартиру на меньшую, переехать в другой город. Обо всем этом Виктор Никифорович и рассказал мне с печалью и горечью.

Это и подтолкнуло меня решительно взяться за задуманное дело.

\* \* \*

Я прибыл в Москву, где должен был отправиться с Казанского вокзала в конопляные степи. Дело в том, что именно здесь, на Казанском, формировалась первоначально группа гонцов, они так себя и называли — гонцы. Эти гонцы, как я потом убедился, съезжались из самых разных городов Севера и Прибалтики, причем наиболее оживленными точками являлись Архангельск и Клайпеда, должно быть, потому, что анашу там могли перепродавать морякам, уходящим в плавание. Чтобы напасть на след гонцов, я должен был найти на Казанском вокзале носильщика с нагрудным знаком восемьдесят семь по кличке Утюг, или Утя, и передать ему привет от одного из бывших приятелей, упомянутого Пашей. Утюг имел знакомство в билетных кассах — он обеспечивал, безусловно за какую-то мзду, проезд. Но

узнать, кто именно это устраивал, мне не удалось, видимо, звено кто-то возглавлял, хотя и тайно. Так вот, этот Утя обеспечивал организованный выезд группы гонцов, то есть он должен был добыть всем билеты на один поезд, но желательно в разных вагонах. Сойдясь поближе с гонцами, я узнал, что первая заповедь всех добытчиков анаши состояла в том, чтобы в случае провала ни за что не выдавать друг друга, поэтому на людях им надо было поменьше общаться между собой.

И вот знакомая площадь трех вокзалов, где я столько раз бывал, приезжая и уезжая из Москвы. Чудовищная толчея, особенно в метро и на вокзалах, — не пробьешься, не протиснешься от многолюдья, и кого только и откуда только не закрутит, как щепку, живой водоворот площади трех вокзалов, и все равно любил и наезжать в Москву, любил, вырвавшись уже ближе к центру на относительный простор, бродить по улицам, толкаться в букинистических магазинах, стоять у афиш и реклам и, если удастся, отправиться в очередной раз в Третьяковку или Пушкинский музей.

В этот раз, выйдя на Ярославском вокзале с электрички и следуя в потоке толпы к Казанскому вокзалу, я поймал себя на мысли, как хорошо, оказывается, мне жилось и чувствовалось прежде, когда я, предоставленный самому себе и своим неприхотливым побуждениям, не был обременен ничем и никакие заботы не ограничивали особенно моего времени и моих странствий по московским улицам. Сейчас же мне нужно было как можно быстрее разыскать на огромном, кишашем, как муравейник, Казанском вокзале того самого связника-носильщика по кличке Утюг с нагрудным знаком восемьдесят семь. Боже, сколько же их, этих носильщиков, а вернее тележников, на Казанском вокзале, если этот значился восемьдесят седьмым, — уж, наверно, не меньше ста. И действительно, в этом столпотворении оказалось не так просто его обнаружить. Потратив, по меньшей мере, полчаса на то, чтобы обойти все возможные стоянки тележников, я наконец нашел его на перроне у поезда, отходящего в Ташкент. Кого-то Утюг погружал, поспешно переносил с тележки в вагон чемоданы и коробки, бойко перебрасывался на ходу шутками с проводниками и повторял расхожее привокзальное присловье: «Деньги есть — Казан поеду, деньги нет — Чешма пойду». Я подождал в стороне, — пока он освободится, пока отъезжающие скроются в вагоне, а провожающие рассредоточатся вдоль состава по окнам ку-

пе. И тут он вышел из тамбура, запыхавшись, суя чаевые в карман. Эдакий рыжеватый детина, эдакий хитрый кот с бегущими глазами. Я чуть было не допустил оплошность — едва не обратился к нему на «вы» да еще чуть не извинился за беспокойство.

— Привет, Утюг, как дела? — сказал я ему насколько возможно бесцеремонней.

— Дела как в Польше: у кого телега, тот и пан, — бойко ответил он, точно мы с ним сто лет были знакомы.

— Значит, ты и пан, — заключил я, указывая на его тачку.

— А ты думал! Мы, брат, тоже знаем, у кого денег куры не клюют. А тебе чего, чавыча? Подвезти, может, что-нибудь надо? Изволь!

— Подвезти я и сам могу, — пошутил я. — Дело у меня есть.

— Ну говори, какое дело.

— Не здесь, давай отойдем.

— Айда, чавыча, отойдем.

И мы пошли по длинному перрону к зданию вокзала. Ташкентский поезд тронулся, уплывая мимо вереницей окон и вереницей лиц за стеклами, а на соседнем пути встал другой состав, прибывший откуда-то. Поезда стояли в несколько рядов, народ суетился, спешил, громкоговоритель то и дело выкрикивал номера отправляющихся и прибывающих поездов.

Когда мы дошли до вокзального здания, Утюг свернул тележку в уголок, где не было народа, и там, оглядевшись по сторонам, я передал ему привет от Пашкиного друга, которого звали Игорем, но у гонцов он прозывался Моржом. Почему Моржом, кто знает.

— А Морж где сам? — осведомился Утюг.

— Доходит, — ответил я. — Язва желудка замучила.

— Как в воду глядел, — с сожалением, но и не без торжества хлопнул себя Утюг по лбу. — Говорил я ему, чавыча, еще в прошлый раз говорил, не дури, Моржок, не лезь на хухок. Он же экстру применял, ну и перехватил через край. Вот тебе и язва.

Я изобразил на лице сочувствие, хотя, откровенно говоря, не понимал, что это за экстра — водка или еще что. Но, слава богу, догадался не уточнять. Как выяснилось позже, под экстрой подразумевалось экстрагированное из пластилина — конопляно-пыльцовой массы, напоминающей детский пластилин, — самое ценное сырье (насчет пластилина

я, кстати, знал, Виктор Никифорович рассказывал), особое конечное наркотическое вещество наподобие опиума. Это и была экстра. В химических лабораториях экстра могла быть преобразована в порошок для инъекций, как героин. Это таким, как Морж, и прочим гонцам было недоступно, зато они при большом желании могли употреблять экстру — держать ее под языком, жевать, запивать водкой, глотать вместе с хлебом. Употреблять экстру называлось у них врезать по мозгам. Но самым доступным и простым было все же курить анашу — кто во что горазд — в чистом виде, в смешанном составе с табаком. Это, наверно, не хуже, чем врезать по мозгам, правда, действие дыма более быстротечно, нежели другие способы.

Все это и многое другое из жизни самих гонцов я постепенно узнавал в поездке на «халхин-гол», под «халхин-голом» опять уже подразумевались места произрастания анаша. С этим «халхин-голом» я снова чуть не попал впросак.

— А ты, чавыча, тоже на «халхин-гол»? — спросил Утюг как бы между делом.

Я вначале запнулся, не поняв, что это за «халхин-гол» такой, а потом как-то смекнул:

— Да вроде. В общем-то да, а то чего бы мне...

— Ну тогда вот так. Насчет билетов, чавыча, не беспокойся. Все будет. Ну а насчет остального — это уже когда вернетесь с травкой, сам Дог разберется. Это дело не мое.

Кто такой был Дог, который обеспечивал нас билетами, и в чем он должен был потом разобраться, я и не знал и так и не выяснил до самого конца. Зато в том разговоре с Утюгом я узнал, что отъезд наш в «халхин-гол» может состояться не раньше чем на другой день. Прежде всего потому, что съехались еще не все гонцы. Двое гонцов из Мурманска должны были прибыть ночным поездом. И еще один, не знаю откуда, мог приехать только к утру. Это меня несколько не волновало, побыть лишний денек в Москве тоже что-нибудь да значило.

Прощаясь со мной до завтра, когда я в условленный час должен был прийти на Казанский вокзал (а что мне было туда приходиться, когда так и так пришлось бы ночевать на вокзале), Утюг поинтересовался, есть ли у меня рюкзак и полиэтиленовые пакеты, чтобы складывать травку, то есть анашу. Рюкзак и пакеты у меня имелись в чемоданчике. И он порекомендовал мне поискать в магазинах какую-нибудь герметически закрывающуюся стеклянную или пластмассо-

вую коробочку, чтобы собирать в нее пыльцовую массу — так называемый пластилин.

— Не будешь лопухом, соберешь малость пластилинчику, хотя дело это и непростое, — пояснил он. — Сам я никогда не ездил, но много слышал. Тут есть один, Алеха, так он за два сезона «Жигуль» отхватил. Ездит теперь себе по Москве поплеывает... А трудов-то — от силы дней на десять...

С тем мы и расстались. Я закинул свой чемоданишко в камеру хранения и пошел пройтись по Москве.

Стоял конец мая. Пожалуй, нет для Москвы лучшей поры, чем эти дни перед началом лета. Хотя ведь и осень, ранняя осень, когда прозрачность воздуха, золотистость листвы отражаются даже в глазах прохожих, тоже несказанно прекрасна. Но мне больше по душе именно московское предлетье — и днем отраднo на улицах, и белыми ночами, когда царствует до утра пересвет ночной зари и в городе, и в звездном небе над городом.

Я поспешил вырваться с вокзала на свежий воздух, но вспомнив, что в центр лучше добраться на метро, снова окунулся в многолюдное движение. До вечернего часа пик было еще далеко, и я через чередующиеся, гудящие смены тьмы и света свободно доехал до самого центра. На площади Свердлова заглянул в мой любимый сквер. Круглый сквер зеленел и пестрел, как благодатный островок среди охватившего его кольцом непрерывного движения и обступивших строений. И я почти безотчетно двинулся в потоке прохожих вначале к Манежу — думал, там какая-нибудь выставка окажется, но Манеж был закрыт, и я тогда побрел мимо старого МГУ, мимо Пашкова дома на Волхонку и оттуда к Пушкинскому музею. Не знаю, отчего на душе у меня было так покойно и благостно — может быть, это от московских улиц в центре перед часом пик исходит такое умиротворение, а может быть, оно исходит от кирпичного силуэта Кремля, подобно незыблемому горному кряжу, господствующему в этой части города. «Что видели эти стены и что еще увидят?» — думалось мне, и в уличных размышлениях, наплывающих сами по себе, я забыл, что недавно сбрил бороду, и оттого все время прикасался к голому подбородку; забыл на какое-то время и то, что я пытался постичь в гнездившемся на Казанском вокзале мутном средоточии зла.

Нет, все-таки судьба есть, она определяет и хорошие, и худые события. И надо же случиться такому везению, о кото-

ром, направляясь в Пушкинский музей, я даже не помышлял. Ведь я-то шел, надеясь в лучшем случае на какие-нибудь новинки в экспозиции музея, хоть и это было не обязательно, — походил бы себе и так просто по залам, освежил старые впечатления. А тут у самого входа, перед садиком, какая-то парочка, идя навстречу, остановила меня.

— Слушай, паря, тебе не нужен билетик? — предложил некий тип при ярком зеленом галстуке и в новых рыжих туфлях, которые ему явно жали. На лице у него и его спутницы были нетерпение и скука.

— А что, билетов нет, что ли? — поинтересовался я, так как никаких очередей не видно было.

— Да нет, это на концерт. Только бери оба.

— На какой концерт? — спросил я.

— А кто его знает, хор какой-то церковный.

— В музее? — удивился я.

— Берешь или не берешь? Отдаю два билета за тройку, бери.

Я схватил оба билета и поспешил в музей. Я не слышал, чтобы в Пушкинском устраивались концерты. Но оказалось, как выяснил я у администратора, что с некоторых пор при музее действовало нечто вроде лектория классической музыки, главным образом избранной камерной музыки в исполнении знаменитых музыкантов. А в этот раз — вот уж диво! — в зале, именуемом Итальянским двориком, предстоял концерт староболгарского храмового пения. Вот уж чего мне и не снилось! Неужели будет исполняться отец славянской литургии Иоанн Кукузель? К сожалению, администраторша подробностей не знала. Сказала только, что ожидаются важные гости, чуть ли не сам болгарский посол. Пусть это меня не касалось, но я разволновался и обрадовался, ибо от отца своего еще был наслышан о болгарских песнопениях, а тут на тебе — такой подарок перед рискованной для меня поездкой. До начала концерта оставалось еще полчаса, и я не стал бродить по музею, а вышел на улицу подышать и успокоиться.

Ах, Москва, Москва, на одном из семи взгорьев этих близ Москвы-реки, под конец майского дня! Все отраднo и осмысленно в граде, когда на душе ни тени и царит недолгая гармония бытия. Мне дышалось свободно и глубоко, в небе была ясность, на земле — тепло, и я ходил взад-вперед вдоль чугунной ограды сада перед музеем.

Мне стало жаль, что я никого не жду, — может быть, по-

тому что у меня было два билета. И как понятно и естественно было бы, если бы она с минуты на минуту должна была подоспеть и я увидел бы ее на другой стороне улицы, как она собирается перейти дорогу, боясь, что опоздает, а я, волнуясь за нее, такую прекрасную, неосторожную и глупую, делал бы ей отчаянные знаки, чтобы она ни в коем случае не перебежала улицу, — вон сколько машин несется, сколько людей повсюду, и только она одна среди всех несла в себе счастье, отпущенное мне, а она улыбнулась бы мне — ведь она догадалась бы о моих мыслях по выражению моего лица. И тогда я сам, упреждая ее, побежал бы к ней на ту сторону улицы, за себя я не боялся, я ловкий, а перебежав, посмотрел бы ей в глаза и взял бы за руку. Вообразив себе ни с того ни с сего такую сцену, я действительно почувствовал вдруг тоску по любви и в который раз подумал, что до сих пор не встретилась мне та, которой предопределено судьбой быть моей любимой. Но существует ли она, такая предопределенная, не придумал ли я ее и не усложняю ли простые вещи? Об этом я много думал и каждый раз приходил к печальному выводу, что пожалуй, сам во всем виноват, — то ли слишком многого ожидаю, то ли неинтересный я для девушек человек. Во всяком случае мои сверстники оказались в этом смысле гораздо удачливее и сноровистее. Оправданием могло послужить лишь то, что духовная семинария препятствовала окунуться в молодую жизнь. Но и после ухода из семинарии я нисколько не преуспел на этом поприще. Почему? Вот если бы действительно она явилась сейчас, та, которую я готов полюбить, то я первым делом сказал бы ей: пойдём послушаем храмовое песнопение и в том обретем себя. Но потом на меня напали сомнения. А что, если это покажется ей скучно и однообразно, не совсем понятно, а главное, одно дело — ритуальное пение в храме, а другое — в светском здании при разнородной публике. Не получится ли, как если бы баховские хоралы стали исполнять на физкультурном стадионе или в казарме авиадесантников, привыкших к бравурным маршам?

К Пушкинскому музею стали подъезжать сверкающие гляncем машины, прикатил даже интуристский автобус. Значит, настало время. У входа в Итальянский дворик уже толпились люди. Чем-то они все походили друг на друга, и женщины, и мужчины, — так бывает, когда люди сообща ожидают какого-то действия, события. Кто-то спрашивал лишний билетик. Я отдал один билет студенту, близоруко-

му, должно быть, или не в тех очках. И сам был не рад. Он стал отсчитывать в толпе мелочь, ронял ее, я его просил прекратить, сказал, что билеты были мне подарены и потому один из них я дарю ему, но он ни в какую и, когда я уже проходил в зал, бросил мне ту мелочь в карман куртки. Конечно, деньги мне были нужны, я жил, как говорится, на вольных, но скудных хлебах, и все же... Смутило меня и то, что столичная публика была соответственно одета, а я был в старых поношенных джинсах, в куртчонке нараспашку, в здоровых башмаках и еще с обритой бородой, к чему я так трудно привыкал, точно бы мне чего-то не хватало, — ведь я собрался в далекий путь-дорогу, в какие-то неведомые конопляные степи с невесть какими добытчиками анаши. Но всё это были незначительные мелочи...

В высоком, в два этажа Итальянском дворике все экспонаты остались, как мне показалось, на местах, только в середине зала поставили плотными рядами стулья, на которых мы и разместились. Ни сцены, ни микрофонов, ни занавеса — ничего такого не было. Там, где положено быть президиуму, стояла с краю небольшая кафедра. Минуты через две все места были уже заняты, кое-кто даже толпился у входа. Видимо, среди присутствующих было много знакомых, между собой все оживленно переговаривались, и только я один молчал, был сам по себе.

Но вот откуда-то сбоку из дверей вышли две женщины. Одна из них, служительница Пушкинского музея, представила другую — болгарскую, как она выразилась, коллегу из софийского музея при соборе Александра Невского. Разногласица в зале стихла. Болгарка, серьезная молодая женщина, гладко причесанная, в хороших туфлях, с красивыми ногами, что почему-то бросилось мне в глаза, строго глянув поверх больших затемненных очков, приветствовала нас и на сносом русском языке сделала небольшой доклад. Рассказала, что наряду с бесценными экспонатами церковного зодчества, старинными рукописями, образцами иконописи и книгопечатания они демонстрируют в своем музее, крипте — полуподвальных залах собора, на вечерних концертах, как сообщила она с улыбкой, и экспонаты в живом исполнении — средневековые церковные песнопения. С этой целью по приглашению Пушкинского музея они-де и прибыли с капеллой «Крипт».

— Попросим! — предложила она под аплодисменты.

Певцы вошли, собственно, они оказались здесь же, за



дверьми, через которые и мы проходили. Их было десять человек, всего десять. Причем все молодые, можно сказать, мои ровесники. Все в одинаковых черных концертных костюмах, с жесткими бабочками на белых манишках, все в черных ботинках. Ни тебе инструментов, ни микрофонов, ни эстрадных звукоусилителей, ни даже помоста для сцены и никаких, конечно, световых манипуляторов — просто в зале несколько приглушили свет.

И хотя я был уверен, что сюда собрались слушатели, имеющие представление, что такое капелла, мне почему-то стало страшно за певцов. Столько народу собралось, да и молодежь наша привыкла к электронному громогласию, а они — как безоружные солдаты на поле боя.

Певцы плотно выстроились плечо к плечу, образовав небольшое полукружие. Лица их были спокойны и сосредоточенны, точно они вовсе не боялись за себя. И еще одну странность я заметил — все они почему-то казались похожими друг на друга. Возможно, потому, что в этот час ими владела общая забота, общая готовность, единый, душевный порыв. Ведь в такие мгновения все, может быть, и очень важное в другое время в повседневной жизни каждого, начисто исключается из помыслов — точно так перед началом боя все думают лишь о том, как одержать победу.

Между тем ведущая, все так же серьезно поглядывая через затемненные очки, дала перед началом концерта коротенькую историческую справку о своеобразности болгарской церкви, идущей от византийских корней, но со своими особенностями, со своей литургией, коснулась также некоторых деталей, относящихся к национальным традициям болгарского пения. И объявила начало концерта.

Певцы были готовы. Они еще немного помолчали, настраивая дыхание, еще тесней сплотились плечами, и тут стало совсем тихо, зал точно опустел — до того всем было интересно, что же смогут эти десятеро, как они отважились и на что надеются. И вот по кивку стоящего справа третьим от края — видимо, ведущего в этой группе — они запели. И голоса взлетели...

В той тишине как бы медленно тронулась с места божественная воздушная колесница со сверкающими ободами и спицами и покатила по незримым волнам за пределы зала, оставляя за собой долго не стихающий, всякий раз вновь возрождающийся из неисчерпаемых запасов духа торжественный и ликующий след голосов.

Уже с зачина стало ясно, что этой капеллой достигнута такая степень спетости, такая подвижность и слаженность голосов, которую практически немислимо достигнуть десяти разным людям, какими бы вокальными данными и мастерством они ни обладали, и если бы это песнопение проходило в сопровождении любых, особенно современных, музыкальных инструментов, то несомненно такое уникальное здание на десяти опорах разрушилось бы. Редкая судьба могла устроить такое чудо — чтобы именно они, эти десятеро, отмеченные свыше, родились примерно в одно и то же время, выжили и обнаружили друг друга, прониклись сыновним чувством долга перед праотцами, некогда выстрадавшими Его, придуманного, недостижимого и неотделимого от духа, — ведь лишь из этого могло возникнуть такое непередаваемое истовое пение. И в этом была сила их искусства, сильного лишь страстью, упоением, могуществом исторгаемых звуков и чувств, когда заученные божественные тексты лишь предлог, лишь формальное обращение к Нему, а на первом месте здесь дух человеческий, устремленный к вершинам собственного величия.

Слушатели были покорены, зачарованы, повергнуты в раздумья; каждому представился случай самому по себе, в одиночку, примкнуть к тому, что веками слагалось в трагических заблуждениях и озарениях разума, вечно ищущего себя вовне, и в то же время вместе со всеми, коллективно воспринять Слово, удешаляющее силу пения от сопричастности к нему множества душ. И в то же время воображение увлекало каждого в тот неясный, но всегда до боли желанный мир, слагающийся из собственных воспоминаний, грез, тоски, укоров совести, из утрат и радостей, изведенных человеком на его жизненном пути.

Я не понимал и, по правде говоря, не очень и желал понимать, что происходило со мной в тот час, что приковало мои мысли и чувства с такой неотразимой силой к этим десятирем певцам, с виду таким же, как и я, людям, но гимны, которые они распевали, словно исходили от меня, от моих собственных побуждений, от накопившихся болей, тревог и восторгов, до сих пор не находивших во мне выхода, и, освобождаясь от них и одновременно наполняясь новым светом и прозрением, я постигал благодаря искусству этих певцов изначальную сущность храмового песнопения — этот крик жизни, крик человека с вознесенными ввысь руками, говорящий о вековечной жажде утвердить себя, облег-

читать свою участь, найти точку опоры в необозримых просторах вселенной, трагически уповая, что существуют помимо Него еще какие-то небесные силы, которые помогут ему в этом. Грандиозное заблуждение! О, как велико стремление человека быть услышанным наверху! И сколько энергии, сколько мысли вложил он в уверения, покаяния, в славословия, принуждая себя во имя этого к смирению, к послушанию, к безропотности вопреки бунтующей крови своей, вопреки стихии своей, вечно жаждущей мятежа, новшеств, отрицания. О, как трудно и мучительно это давалось ему. Ригведа, псалмы, заклинания, гимны, шаманство! И столько еще было произнесено в веках нескончаемых молеб и молитв, что, будь они материально ощутимы, затопили бы собой всю землю, подобно горько-соленым океанам, вышедшим из берегов. Как трудно рождалось в человеке человеческое...

А они пели, эти десятеро, Богом сопряженные вместе, с тем чтобы мы погружались в себя, в кружащие омуты подсознания, воскрешали в себе прошлое, дух и скорби ушедших поколений, чтобы затем вознеслись, воспарили над собой и над миром и нашли красоту и смысл собственного предназначения, — однажды явившись в жизнь, возлюбить ее чудесное устройство. Эти десятеро пели так самозабвенно, так богодостойно — быть может, сами того не ведая, — что пробуждали в душах высшие порывы, которые редко когда охватывают людей в обыденной жизни, среди постылых забот и суеты. И оттого собравшихся безотчетно переполняла благодать, их лица были взволнованны, у некоторых поблескивали слезы в глазах.

Как я радовался, как благодарил случай, приведший меня сюда, чтобы подарить мне этот праздник, когда мое существование словно бы вышло на вневременной и внепространственный простор, где чудодейственно совмещались все мои познания и переживания, — и в воспоминаниях о прошлом, в сознании настоящего и в грезах о будущем. И среди этих размышлений мне подумалось, что я еще не любил, и тоска по любви, которая жила в моей крови и ждала своего часа, дала о себе знать щемящей болью в груди. Кто она, где она, когда и как это будет? Несколько раз я оглядывался невольно на двери — возможно, она пришла и стоит там, слушает и ждет, когда я увижу ее. Как жаль, что ее не было в тот час в том зале, как жаль, что невозможно было тогда разделить с ней то, что меня волновало и питало

мое воображение. И еще я думал — только бы судьба не устроила из этого нечто смешное, такое, что потом самому будет стыдно вспоминать...

Почему-то вспомнилась мне мать в раннем детстве... Помню ясное зимнее утро, редко падающий снежок на бульваре, она, глядя мне в лицо улыбающимися глазами, застегивает пуговицы на распахнутом моем пальтеце и что-то говорит, а я бегу от нее, и она весело догоняет меня, и плывет над нашим городком колокольный звон из церкви на пригорке, где в тот час служит мой отец, провинциальный дьякон, человек, истово верующий и в то же время, как я теперь догадываюсь, прекрасно понимавший всю условность того, что создано человеком от имени и во имя Бога... А я, при всем сочувствии к нему, пошел совсем иным путем, не таким, как он желал. И мне становилось тягостно от сознания того, что отец ушел в мир иной в согласии с собой, а я мечусь, отрицаю прошлое, хотя и восторгаюсь при этом былым величием, могучей выразительностью этой некогда все сильной идеи, пытавшейся, распространяясь из века в век, обращать души необращенных на всех материках и островах, с тем чтобы навсегда, на все времена утвердиться в мире, в поколениях, в воззрениях, сдерживая и отводя, как громоотвод молнию в землю, вечный вызов мятежных человеческих сомнений в глубины покорности. Благодарность им — Вере и Сомнению, силам бытия, обоюдно движущим жизнь.

Я родился, когда силы сомнения взяли верх, порождая в свою очередь новые сомнения, и я продукт этого процесса, преданный анафеме одной стороной и не принятый со всеми моими сложностями другой стороной. Ну что ж, на таких, как я, история отыгрывается, отводит душу... Так думал я, слушая староболгарские песнопения.

А песни те пелись одна за другой, пелись в том зале, как это минувших времен. Библейские страсти в «Жертве вечерней», в «Избиении младенцев» и в «Ангеле вопияше» сменялись суровыми пламенными песнями других мучеников за веру, и хотя все это во многом мне было известно, меня неизъяснимо пленяло само действие — то, как эти десятеро завораживали, претворяли знакомое в великое искусство, сила которого зависит от исторической вместимости народного духа — кто много страдал, тот много познал...

Вслушиваясь в голоса софийских певцов, опьяненных, вдохновленных собственным пением, вглядываясь в их ми-

мику, я вдруг обнаружил, что один из них, второй слева, единственный светлый среди смугловатых и черноволосых болгар, очень похож на меня. Поразительно было увидеть человека, так похожего на тебя самого. Сероглазый, узкоплечий — его, наверное, тоже в детстве звали хилияком, — с длинными светлыми волосами, с такими же жилистыми тощими руками, он, возможно, так же преодолевал свою застенчивость пением, как мне подчас приходится преодолевать свою скованность, переводя разговор на близкие мне теологические темы. Можно представить себе, как глупо это выглядит, когда я завожу такие серьезные разговоры при знакомстве с женщинами. И обликом сероглазый певец был такой же — впалые щеки, нос с легкой горбинкой, лоб перерезан двумя продольными складками и — самое примечательное — борода точь-в-точь такая, как у меня до того, как я ее сбрил. Потянувшись невольно к бывлой бороде, я снова вспомнил, что назавтра мне предстоит отправиться в путь-дорогу вместе с добытками анаши. И диву дался, подумав об этом: куда я еду, зачем? Какой контраст — божественные гимны и темные страсти привокзальных Утюгов по дурному дыму от дурной травы. Но во все времена настоящая людская жизнь с ее добром и злом протекала за стенами храмов. И наша современность не исключение...

Вот такое совпадение обликов обнаружил я на том концерте. Потом я уже не спускал глаз со своего двойника, следя за тем, как он пел, как вытягивалось его лицо, как разверзался рот, когда он брал самые высокие ноты. И сочувствуя ему, я представлял себя на его месте, точно бы он был моим перевоплощением. Таким образом я как бы участвовал в процессе пения. Во мне все пело, я слился с хором воедино, испытывая необыкновенное, доходящее до слез чувство братства, величия, общности, точно мы встретились после долгой разлуки — возмужалые, сильные и торжествующие голоса наши возносятся к небесам, и земля под нами прочна и незыблема. И так мы будем петь сколько будет петься, петь бесконечно...

Так пели они и я с ними. Такое состояние чудесного забытья я испытываю обычно, когда слушаю старинные грузинские песни. Мне трудно объяснить отчего, но стоит запеть хотя бы троим грузинам, пусть самым обыкновенным, — и изливается душа, и дышит искусство простое и редкое по соразмерности, по силе воздействия духа. Наверно, это у них особый дар природы, тип культуры, а может,

просто от Бога. Мне не понятно, о чем они поют, мне важно, что я пою вместе с ними.

Думая об этом, я слушал певцов, и меня вдруг посетило озарение, мне открылась суть прочитанного однажды грузинского рассказа «Шестеро и седьмой». Небольшой рассказ, каких полно в периодической печати, и нельзя сказать, чтобы он чем-то выделялся, рассказ больше фабульный, чем психологический, скорее романтического склада, но финал этой истории запомнился мне надолго, финал почему-то зашел во мне занозой.

Содержание рассказа, а вернее баллады, «Шестеро и седьмой» (сложную фамилию ее малоизвестного автора я не помню) тоже весьма тривиальное. Пылает революция, идет кровопролитная гражданская война, революция утверждает себя в последних схватках с врагом, и в Грузии, стало быть, типичный исторический исход — советская власть побеждает, все больше вытесняя последние остатки вооруженных контрреволюционеров даже из самых глухих горных селений. Действует основной в таких случаях закон — если враг не сдается, его уничтожают. Но жестокость порождает ответную жестокость — это тоже давний закон. Особенно яростно сопротивляется отряд удалого Гурама Джохадзе, отличного знавшего окрестные горы, бывшего пастуха-конника, а ныне дерзкого неуловимого налетчика, запутавшегося в классовой борьбе. Но и его дни уже сочтены. В последнее время он терпит поражение за поражением. В отряд Гурама подослан чекист, который, рискуя быть раскрытым — со всеми вытекающими отсюда последствиями, входит в доверие Гурама Джохадзе, становится одним из его соратников. Он устраивает так, что, отступая после большого боя с поредевшим от потерь отрядом, Гурам Джохадзе попадает на речной переправе в засаду. Когда они на бешеном скаку достигают берега и бросаются в реку, чекист сваливается с коня возле зарослей: у него якобы обрывается подпруга. А большая ватага конников Джохадзе преодолевает на разгоряченных лошадях перекаты широкой горной реки, и на самой ее середине, где они открыты со всех сторон, два заранее установленных и замаскированных станковых пулемета косят их с двух берегов, берут их в перекрестный кинжальный огонь. Дикая свалка, люди погибают, захлебываясь в горной реке, но Гурам Джохадзе — судьба его бережет! — успевает вырваться из-под обстрела, поворачивает вспять и благодаря своему могучему коню уносится вдоль берега по

зарослям. А за ним мчатся несколько верных всадников, оставшихся в живых, и среди них чекист, немедленно присоединившийся к ним, как только он понял, что операция не вполне удалась и что главарь уходит от расправы.

Этот пулеметный расстрел на реке означал окончательный разгром отряда Джохадзе, фактически полное его истребление.

Когда, оторвавшись наконец от преследователей, Гурам Джохадзе останавливает загнанного коня, выясняется, что от отряда вместе с Гурамом Джохадзе осталось всего семь человек, и седьмым был чекист — звали его Сандро. Отсюда, очевидно, и название рассказа — «Шестеро и седьмой».

Сандро имел приказ во что бы то ни стало ликвидировать главаря банды — Гурама Джохадзе. Голова его оценивалась в большую сумму. Но дело было даже не в сумме, а в том, как осуществить этот приказ теперь, когда уже было ясно, что Джохадзе больше не вступит в бой, где его можно было бы подстрелить; ведь нынче, когда он остался, по сути дела, один, как загнанный в ловушку зверь, он, рассчитывая лишь на себя, на свою личную ловкость, будет чрезвычайно бдителен. Было ясно, что Джохадзе не отдаст свою жизнь без борьбы до последнего издыхания...

И вот развязка этой истории — она взволновала меня больше всего...

После жестокого разгрома на реке Гурам Джохадзе, знавший все ходы в ущельях, поздним вечером того дня останавливается в одном труднодоступном месте — в горном лесу близ турецкой границы. И все они, шестеро и седьмой, едва расседлав коней, валяются от усталости наземь. Пятеро тут же засыпают мертвым сном, а двое не спят. Не спит чекист Сандро, его мучает забота — он обдумывает, как ему теперь быть, как лучше достичь своей цели, как осуществить возмездие. Не спит после сокрушительной катастрофы и удалой Гурам Джохадзе — он переживает разгром отряда, его мучает завтрашний день. И лишь один Бог ведает, о чем еще думали эти двое непримиримых врагов, разделенных революцией.

Полная луна стояла справа от их изголовья, лес шевелился по-ночному тяжело и глухо, внизу неумолчно шумела по камням река, и горы вокруг замерли в каменном молчании. И тут Гурам Джохадзе неожиданно вскочил, словно чем-то обеспокоенный.

— Ты не спишь, Сандро? — удивленно спросил он седьмого.

— Нет, а ты что вскочил?

— А ничего. Сон не идет, не ложится мне что-то на этом месте, луна сильно светит. Пойду лягу в пещере. — И Джохадзе взял свою бурку, оружие и седло под голову и, уходя, добавил: — Об остальном поговорим завтра. Теперь нам некогда осталось разговаривать.

И с этим ушел, устроился в устье пещеры — в бытность свою пастухом он не раз укрывался здесь от непогоды — вот и теперь то ли укрылся переживать свою бескрайнюю беду, то ли предчувствие подсказало ему расположиться так, чтобы к нему ниоткуда не подойти и чтобы он, наоборот, видел любого, кто приближается к пещере. Сандро забеспокоился: как понять этот, казалось бы, здравый поступок главаря? Что, если он начал о чем-то догадываться?

Так прошла у них та ночь, а наутро Гурам Джохадзе велел седлать коней. И никто не знал, что у него на уме и что намерен он предпринять. И когда лошади были уже оседланы и все молча стояли перед ним, держа коней под уздцы, он со вздохом сказал:

— Нет, не годится так уходить с родной земли. Будем сегодня прощаться с землей нашей, взрастившей нас, а потом разберемся кто куда. Но пока мы еще здесь, будем как у себя дома.

Он отправил двоих конников в ближайшее селение, где у него были верные люди, за вином и едой, еще двоих, Сандро и другого парня, оставил собирать сушняк для костра и стеречь лошадей, а сам с двумя оставшимися пошел на охоту — подстрелить, если удастся, какую-либо дичь, а то и косяку на прощальный ужин.

Чекисту Сандро ничего не оставалось как подчиниться и ждать подходящего момента, когда он может привести в исполнение приказ. Но пока что такой удобной ситуации не возникало.

Вечером все шестеро и седьмой снова собрались вместе: на краю леса возле пещеры разложили костер, расставили на холстине, привезенной из селения, хлеб, вино, соль, еду, что передали им на прощание верные люди Гурама Джохадзе. Костер разгорелся вовсю. Семеро приблизились к огню.

— Все ли кони оседланы и все ли готовы стать на стрельбу? — спросил Гурам Джохадзе.

В ответ все молча кивнули головами.

— Слушай, Сандро, — заметил Гурам Джохадзе, — дрова



ты хорошие собрал, сильно горят, но почему ты оставил их так далеко от костра?

— Не беспокойся, Гурам, это моя забота, отвечать за огонь буду я. А ты скажи свое слово.

И тогда Гурам Джохадзе сказал:

— Други мои, мы проиграли свое дело. Когда стороны воюют, кто-то побеждает, кто-то терпит поражение. На то они и воюют. Мы проливали кровь, и нашу кровь проливали. Много сынов и с той и с другой стороны сложили свои светлые головы. Что было, то было. Прощения прошу у погибших друзей и погибших врагов. Когда враг погибает в бою, он перестает быть врагом. Будь я сейчас на коне, я все равно просил бы прощения у погибших. Но судьба отвернулась от нас, потому и народ в большинстве своем отвернулся от нас. И даже земля, на которой мы родились и выросли, не желает, чтобы мы оставались на ней. Нам нет на ней места. И нет нам прощения. Если бы я был победителем, я бы не миловал своих врагов, говорю это как перед Богом. Сейчас у нас только один выход — унести свои головы в чуждальние стороны. Вон за той большой горой — Турция, рукой подать, а чуть в стороне, за хребтом, над которым поднимается луна, — Иран. Выбирайте, кому куда. Сам я отправляюсь в Турцию, в Стамбул, буду там грузчиком на пароходах. Каждый из нас должен сейчас решить, где ему преклонить голову. Нас осталось семеро. И через некоторое время мы, один за другим, отправимся на чужбину в семь разных сторон. Разбредясь по свету, каждому предстоит испить свою горькую чашу. Больше мы никогда не увидимся. Это последний день, когда мы, семеро оставшихся в живых, вместе и когда мы видим и слышим друг друга. Так давайте же попросаемся друг с другом и попросаемся с землей нашей, попросаемся с грузинским хлебом и солью, попросаемся с нашим вином. Такого вина больше нигде не пригубишь. Простившись, мы разойдемся каждый в свою сторону. Мы ничего не уносим с собой, даже песчинки с грузинской земли. Родину невозможно унести, можно унести только тоску, если бы родину можно было перетаскивать с собой, как мешок, то цена ей была бы грош: Так выпьем напоследок и споем напоследок наши песни...

Вино было бурдючное, крестьянское, в нем сочеталось земное и небесное. Оно пробудило удалой хмель и желание излить свою печаль, в душах заново боролись веселье и грусть. И песня полилась сама по себе, как пробивается

вдруг родник среди камней на горном склоне, и всему, что будет соприкасаться с его водой на всем пути, — тому цвести и умножаться. И тихо завели они песню отцов, и тихо нарастала она, гортанно журча, как родник со склона, — все семеро превосходно пели, ибо нет непоющего грузина, пели слаженно, каждый по-своему и в свою силу, и песня разгоралась, подобно костру, вокруг которого они стояли.

Так начиналось прощальное песнопение семерых, вернее шестерых и седьмого, который, однако, не забывал ни на минуту о том, что ему предстояло совершить. Никто из них, и прежде всего Гурам Джохадзе, не должен был уйти безнаказанно за границу. Этого он, чекист, допустить не мог — так гласил полученный им приказ. И он должен был выполнить этот приказ.

А песни пелись одна за другой, и пилось вино, которое чем больше пьешь, тем охотнее оно пьется, и тем сильнее горит душа, жаждущая снова и снова вина и песни.

Они стояли в кругу, иногда возложив руки на плечи друг другу, иногда уронив их плетьюми, а когда хотели, чтобы их услышала божественная сила, неведомая и неотвратимая, но всевидящая и всезнающая, воздевали руки к небу. Как же так, если Бог все видит и все знает, куда он гонит их с земли своей? И почему так устроено, что люди воюют и борются между собой, что льется кровь, льются слезы, и каждый считает себя правым, а другого неправым, и где же истина, и кто ее вправе изречь? Где тот пророк, который бы их рассудил по справедливости?.. Не об этом ли, не об этих ли вылившихся в напеве страданиях, пережитых давным-давно, осмысленных отцами как изначальный опыт добра и зла, прочувствованных в их красоте и вечности, пелось в тех старинных песнях, сохраняемых в памяти народа? И потому в устах тех семерых от одной песни рождалась другая, и они не размыкали круга, но седьмой, Сандро, время от времени покидал круг, чтобы поднести дров и подложить в костер. Не зря, пожалуй (на все ведь есть своя причина в жизни), не зря сложил он сушняк в лесу огромной кучей, зато теперь сам заведовал огнем. И песни он пел, как все, от души — ведь песни принадлежат всем в равной мере. Нет песен, которые бы пелись только царями, а другим их нельзя было бы петь, как нет таких песен, которые были бы достойны только черни. Пой, веселись, грусти и плачь, танцуй, куда жив...

Кого ты любил, кого, трепеща, ждал на свидание, кто разлюбил тебя, и как страдал ты и как хотел, непонятой,

умереть, и чтобы песню твою предсмертную услышала бы она, и как ласкала мать тебя в детстве, и где голову отец сложил, как други бились в бою кровавом, каким богам ты душу открывал в порыве чистом и бескорыстном; и думал ли, что такое рождение человека, и думал ли, что смерть всегда с тобой, пока ты дышишь, а после смерти смерти нет, но жизнь выше смерти, нет меры в мире выше жизни — и потому избегни смертоубийства, но коли враг пришел на землю, землю свою защити; и честь любимой береги, как землю родную; изведаль ли, что есть разлука и что разлука тяжка, как тяжело на себя взвалить гору, что без любимой ничто не отраднo: ни цвет, ни свет, ни день грядущий, — да и мало ли о чем поется в песнях — всего не перескажешь...

И не было в ту ночь людей родней и ближе меж собой, чем эти семеро грузин, поющих горестно и вдохновенно в час разлуки. Стихия песен сближала их еще тесней. Как много все же сумели предки пережить и придумать впрок для потомков задушевных слов, полных бессмертной гармонии. Как по полету можно отличить птицу, так по песне грузин грузина отличит за десять верст и скажет, кто он, откуда он, что с ним, что на душе у него, — на свадьбе развеселой был или горе его томит...

Уже луна довольно высоко поднялась над горами, луна заливала мягким светом всю землю — лес вкрадчиво покачивался темными верхушками от дуновения ветра, река приглушенно шумела, поблескивая, переливаясь влажным серебром по валунам, ночные птицы, как тени, неслышно пролетали над головами поющих у костра, и даже лошади, оседланные, терпеливо ждущие хозяев, прядали чуткими ушами, и в глазах их плясали огненные блики... Тем лошадям был уютован путь в чужие страны, и тот час приближался...

Но песням, казалось, конца не будет, за все отпеться решил, должно быть, Гурам Джохадзе: «Так пойте, други, пейте вино, нам больше вместе не собраться в круг, и слух наш не ублажат грузинские напевы»... То пели порознь, то вместе, то танцевали под собственный аккомпанемент истово и яро, как перед смертью, и снова становились в круг те семеро, вернее шестеро и седьмой. Сандро же то и дело выходил из круга — дрова подбрасывал в огонь, и жарко-жарко горел костер.

Решили спеть последнюю песню, потом еще, еще одну на прощание, все не унимались и снова собрались в круг, склонили головы — и задумчиво и мощно нарастал, как гул

из-под земли, напев. Сандро же снова отошел за дровами, хотя костер горел ярко. То был точный расчет — со стороны он отчетливо видел каждого из шестерых, стоящих в кругу, а тем, что пели у спящего зрение костра, он плохо был виден... Тяжелый маузер был уже готов — на взводе. Настал неотвратимый час расплаты, час возмездия. Вскинул многозарядный скорострельный маузер, опустил на руку для опоры и первым выстрелом, прогрохотавшим во тьме подобно грому, свалил главаря Гурама Джохадзе и тут же, не умерли еще слова песни, слетавшие с уст, уложил подряд всех остальных, и они даже не успели понять, что произошло. И так и еще раз в порочной круговерти убиений, и еще раз за пролитую кровь кровь пролил.

Да, законы человеческих отношений не поддаются математическим исчислениям, и в этом смысле Земля вращается, как карусель кровавых драм... Так неужто карусели этой дано кружить до самого скончания света, пока вращается Земля вокруг Светила?

Огонь был метким, и лишь один вдруг судорожно приподнялся на руках, но Сандро подскочил к нему и уложил выстрелом в затылок... Кони шарахнулись в испуге и снова замерли на привязях...

Костер еще горел, река шумела, лес и горы — все на месте, и луна на своем месте в невозмутимой высоте, только оборвалась песня, так долго звучавшая в тот вечер...

Лицо Сандро в ночи было бело как мел, он задыхался, схватил бурдюк с оставшимся на дне вином и, обливаясь, захлебываясь, стал пить, чтобы залить огонь внутри... Потом отдышался, спокойно обошел убитых, что в разных позах лежали вокруг костра. Затем снял оружие убитых, привесил к лукам их седел, сбросил уздечки и недоуздки с конских голов и отпустил коней на волю. Отпустил всех семерых коней, в том числе и своего гнедого. И смотрел, как они, почувавши свободу, гуськом пошли в низовья, в предгорное селение к людям... Ведь лошади всегда идут туда, где живут люди... Но вот стих и цокот подков, и скрылись в зыбкой лунной придымленности идущие цепочкой силуэты лошадей внизу...

Все было сделано. Сандро еще раз молча обошел шестерых, сраженных наповал, и, отойдя чуть в сторону, приставил дуло маузера к виску. Еще раз выстрел прозвучал в горах коротким эхом. Теперь он был седьмым, отпевшим свои песни...

Так завершилась та грузинская баллада.

Об этом я вдруг вспомнил, слушая в музее болгарских певцов, исполнявших староболгарские церковные песнопения. Эти песнопения были созданы людьми, возвышенно и даже исступленно взывающими из тьмы веков к Всевышнему, сотворенному ими же, к нереальности, превращенной ими же в духовную реальность, людьми, убежденными, что они так одиноки в этом мире, что лишь в песнях и молитвах они найдут Его.

Я вспомнил и пережил всю ту историю в какие-то секунды. По сравнению со скоростью мышления скорость света — ничто; мысль, что, уходя в прошлое, может двигаться в обратном направлении во времени и в пространстве, быстрее всего...

Теперь я поверил, что так оно и могло быть в те годы в самом деле. В заключение рассказа «Шестеро и седьмой» автор писал, что Сандро, то есть седьмой, был посмертно награжден каким-то орденом.

Но когда б трагедии гражданских войн не оборачивались трагедиями нации, когда б сопротивление одних истории нововходящей и нетерпение других в борьбе за ускорение этой же истории не переменили жизнь на корню, откуда бы эти страшные борозды на пашне революции и разве имела бы грузинская баллада такой исход?.. Цена ценою познается... Ведь тот, седьмой, мог бы торжествовать, остаться жить, но он не остался — по причинам труднообъяснимым. Всякий может истолковать их по-своему. А мне в тот час, когда я плыл в ладье болгарских песнопений под белым парусом возвышенного духа, что вечно бороздит вдали открытый океан бытия, подумалось, что причиной такого завершения грузинской были послужили песни, в которых заключалась вера всех семерых...

Когда открытие делаешь для себя, все в тебе согласно и наступает просветление души. Глядя, как праведно, преданно и вдохновенно сияли глаза софийских певчих, поющих заветные гимны, как лица их от напряжения покрылись обильным потом, завидовал, что я не среди них, что я не тот, не мой двойник.

И на той волне нахлынувшего просветления подумалось вдруг: откуда все это в человеке — музыка, песни, молитвы, какая необходимость была и есть в них? Возможно, от подсознательного ощущения трагичности своего пребывания в круговороте жизни, когда все приходит и все уходит, вновь

приходит и вновь уходит, и человек надеется таким способом выразить, обозначить, увековечить себя. Ведь когда все кончится, когда наступит тот грядущий через миллиарды лет конец света и планета наша умрет, померкнет, какое-то мировое сознание, пришедшее из других галактик, должно непременно услышать среди великого безмолвия и пустоты нашу музыку и пение. Вот ведь что неистребимо вложено в нас от сотворения — жить после жизни! Как важно осознавать человеку, как необходимо быть уверенным ему в том, что такое продление себя возможно в принципе. Наверное, люди додумаются оставить после себя какое-то вечное автоматическое устройство, некий вокально-музыкальный вечный двигатель — это будет антология всего лучшего в культуре человечества за все времена, и верилось мне, когда я наслаждался пением певчих, что те, кто услышит эти слова и музыку, смогут понять, почувствовать, какими противоречивыми существами, какими гениями и мучениками были люди на земле, единственные обладатели разума.

Жизнь, смерть, любовь, сострадание и вдохновение — все будет сказано в музыке, ибо в ней, в музыке, мы смогли достичь наивысшей свободы, за которую боролись на протяжении всей истории, начиная с первых проблесков сознания в человеке, но достичь которой нам удалось лишь в ней. И лишь музыка, преодолевая догмы всех времен, всегда устремлена в грядущее... И потому ей дано сказать то, чего мы не смогли сказать...

Посматривая на часы, я не без ужаса ожидал, что кончится концерт в любимом мною Пушкинском музее и мне предстоит отправиться на Казанский вокзал, совсем в иной мир, и погрузиться в совсем иную жизнь, ту, что колобродит испокон веков в омурах суеты и коловращений, где божественные песни не звучат, да и ничего не значат... Но именно поэтому я должен быть там...

## V

Минуло полдня, поезд уже шел по приволжским краям, и в купированных вагонах успел установиться свой, насколько это возможно, стабильный дорожный быт, рассчитанный на много дней пути, а в общем вагоне, в котором ехал Авдий Каллистратов, шла, можно сказать, коммунальная жизнь. Народ ехал разный, и у каждого была своя причина следовать в поезде. И все это было в порядке вещей —

людям надо, люди едут. И среди них — гонцы за анашой, попутчики Авдия Каллистратова. Он догадывался, что гонцов в этом поезде ехало с добрый десяток, но сам он пока знал только двоих — тех, к которым приставил его на вокзале разбитной носильщик Утюг. То были мурманские молодчики — один постарше, Петруха, лет двадцати, и второй совсем еще мальчик, шестнадцати лет, звали его Леней, но и он, Леня, отправлялся на промысел уже во второй раз. Оттого считал себя бывалым волком и даже кичился тем. Держались мурманчане поначалу сдержанно, хотя и знали, что Авдий, Авдяй, как стали они его звать на северный лад, свой человек, что начинает он в гонцах по рекомендации надежных людей. Разговаривать намеками о делах пришлось в основном в тамбуре, на перекурах. Народ теперь не терпел уже курящих в вагоне — при таком скоплении и при без того спертом воздухе. Вот и выходили в тамбур поболтать да покурить. Первым обратил внимание, что курит Авдий не так, как следовало бы людям их пошиба, Петруха:

— А ты, Авдяй, сроду не курил, что ли? Как дамочка какая, боишься что ли, затянуться?

Пришлось соврать:

— Курил когда-то, да бросил...

— Оно и видно, а я вот сызмальства привык. А наш Ленька — тот куряга так куряга, как дед какой смолит, да и выпить при случае не пропустит. Сейчас нам, правда, нельзя, зато потом врежем.

— Так ведь мал он еще!

— Кто мал, Ленька? Мал, да удал. Ты-то вот вроде впервой движешься по крупному делу, это тебе не шабашка какая. А он уже все ходы-выходы знает.

— И травку тоже потребляет или в гонцах только ходит? — поинтересовался Авдий.

— Ленька-то? А то как же, курит. Теперь все курят. Так ведь курить надо с умом, — стал рассуждать Петруха. — Иные есть — наглотаются до умопомрачения, такие в дело не годятся. Это тухляки. Завалят всю малину. Травка — она какая, она — радость приносит, на душе рай от нее.

— А отчего радость?

— А оттого, вон, скажем, маленький ручеек протекает, его перешагнуть да переплюнуть, а для тебя он — река, океан, благодать. Вот тебе и радость. А ведь радость — дело какое, откуда взять ее — радость? Ну, к примеру, хлеб купишь, одежду купишь, обувку тоже купишь, водку все пьют тоже

за деньги. А от травки, хоть и деньги платятся немалые, — приятность особая: ты будто во сне, и все вокруг ну прямо как в кино. Только разница в том, что кино глазают сотни да тысячи, а тут ты сам по себе только, и никому нет дела, а кто сунется, тому можно и в рыло дать, не твое, мол, дело, как хочу, так и живу, не лезь в чужой огород. Вот ведь оно какой оборот! — И помолчав, намекнул хамовато, шуря острые глаза: — А то, Авдяй, попробуешь, может, травки, покайфуешь для приятности, могу уделить из личных запасцев...

— Да я уж своего попробую, — отказался Авдий, — вот когда свой пай добуду, тогда другое дело.

— Тоже верно, — согласился Петруха, — свое есть свое. — Помолчал и решил высказаться дальше: — В нашем деле, Авдяй, главное — осторожность, потому как все вокруг наши враги: каждая бабка, каждый ветеран с медалехой, каждый пенсионер, а о других и говорить нечего. Всем так и хочется, чтобы нас засудили да рассовали подальше по каторгам, чтобы с глаз долой. А потому правило у нас такое — веди себя вроде ты никто, неприметная серая птичка, пока свой куш не сорвал. А потом знай наших! Когда деньги в кармане, пошли они все к такой-то матери... А если что, Авдясь, умри-подохни, но своих не выдавать. Это закон. А не выдержишь, так и так — хана, пришить могут как собаку. Хоть и в зоне, а все равно достанут.

Выяснялось постепенно, что Петруха где-то на строительствах разных работал, а как лето наступало, отправлялся в приморские края, знал места, богатые анашой. Говорил, заросли есть такие, особенно по балкам, завались, хоть на весь мир хватит. Дома у него только мать была престарелая, пьющая. Братья разъехались кто куда, в Заполярье, на газопровод. Зашибают, как выразился, бедолаги, деньги то в холодах, то в гнусе сплошном. А он прогуляется разок в Азию-косоглазию, и хоть весь год живи поплеывай себе в потолок, только бы слюны хватило. А у его напарника Ленки дела семейные обстояли еще хуже. Матери не знал. Определен был в Дом малютки. А когда было ему года три, какой-то мурманский капитан дальнего плавания, что главным образом на Кубу ходил, заявился с женой в приют и взял по всем правилам мальчишку на усыновление. Детей своих у них не было. А через пять лет все пошло прахом. Жена капитана укатила с кавалером куда-то в Ленинград. Капитан запил, перешел на портовые работы. Ленка училась в школе кое-как, жил то у тетки капитана, то у брата его,



бухгалтера, а у того жена — цербер, и так и пошло все одно к одному, и отбился малый от рук, остервенел. Ушел от капитана насовсем. Пристроился у одного инвалида войны, бывшего подводника, одинокого, доброго, но влияния на Леньку не имевшего. Парень жил как хотел. Захотелось куда-то закатиться — закатился. Захотелось вернуться — объявился. И вот уже второй сезон Ленька отправлялся гонцом за анашой, да и сам, похоже, пристрастился к этому зелью дурному, а ведь ему всего шестнадцать лет, и впереди вся жизнь...

Аудию Каллистратову стоило немалой выдержки не реагировать на все вопиющие подробности, поскольку он поставил себе задачу — постичь природу этих явлений, затягивающих в свои тенета все новых и новых молодых людей. И чем больше вникал он в эти печальные истории, тем больше убеждался, что все это напоминало некое подводное течение при обманчивом спокойствии поверхности житейского моря и что помимо частных и личных причин, порождающих склонность к пороку, существуют общественные причины, допускающие возможность возникновения этого рода болезней молодежи. Причины эти на первый взгляд были трудно уловить — они напоминали сообщающиеся кровеносные сосуды, которые разносят болезнь по всему организму. Сколько ни вдавайся в эти причины на личном уровне, толку от этого мало, если не вовсе никакого. Тут необходимо было как минимум написать целый социологический трактат, а лучше всего открыть дискуссию — в печати и на телевидении. Вон он чего захотел, ну точно пришелец... А он и был таковым, если учесть его семинаристскую ограниченность и неведение повседневной жизни. Потом он убедится: никто не заинтересован в том, чтобы о подобных вещах говорилось в открытую, и объяснялось это всегда соображениями якобы престижа нашего общества, хотя, по сути дела, речь шла прежде всего о нежелании рисковать лишний раз своим положением, зависящим от мнения и настроения других лиц. Видимо, для того чтобы поднять тревогу о неблагополучии в какой-то части общества, помимо всего прочего нужно было еще не бояться поступить во вред себе. К счастью и несчастью своему, Авдий Каллистратов был свободен от бремени такого затаенного страха. Но пока все эти житейские открытия были впереди. Он только вступал на этот путь, только соприкасался с той стороной действительности, которую он из сострадания к заблудшим душам жаж-

дал познать на собственном опыте, чтобы помочь хотя бы некоторым из этих людей и не нравоучениями, не упреками и осуждением, а личным участием и личным примером доказать им, что выход из этого пагубного состояния возможен лишь через собственное возрождение и что в этом смысле каждому из них предстоит совершить революцию в масштабах хотя бы своей души. Но опять же он не предполагал, как дорого придется платить за такие идеи.

Молод был. Разве что только молод был... А ведь как изучал в семинарии историю Христа — переносил Его муки на себя в такой степени, что плакал навзрыд, когда прочел, как в Гефсиманском саду Его предал Иуда! О, какое крушение мироздания видел он в том, что Христа распяли в тот жаркий день, на той горе на Лысой. Но не подумал в ту пору малоопытный юнец: а что, если существует на свете закономерность, согласно которой мир больше всего и наказывает своих сынов за самые чистые идеи и побуждения духа? Быть может, стоило подумать: а что, если это есть форма существования и способ торжества таких идей? Что, если это так? Что, если именно в этом — цена такой победы?

Хотя еще в самом начале был как-то об этом разговор с Виктором Городецким, которого, несмотря на небольшую разницу в годах, Авдий величал Никифоровичем. А разговор зашел перед тем, как Авдий уже решился порвать с духовной семинарией.

— Что мне сказать? Видишь ли, отец отрок, ты не обижайся, Авдий, что подчас отцом отроком тебя зову, но сочетание уж было хорошее, — размышлял Городецкий, когда они пили чай у него дома. — Ты уйдешь из семинарии, а скорей всего тебя отлучат от церкви, я уверен, что наставники твои не допустят, чтобы ты покинул их, бросив им вызов... Тем более что ты уходишь по причине, так сказать, редкой и очень неприятной для церкви — не потому, что ты какую-нибудь несправедливость испытал, не из-за обиды, притеснений и не потому, что поскандалил с каким-нибудь лицом церковным, нет, отец отрок, церковь перед тобой ни в чем не виновата... Ты порываешь, так сказать, по чисто идейным соображениям.

— Да, Виктор Никифорович, это так. Прямых причин нет, это было бы слишком просто — обида. Дело вовсе не во мне, а в том, что традиционные религии на сегодняшний день безнадежно устарели, нельзя всерьез говорить о религии, которая рассчитана была на родовое сознание пробуж-

дающихся низов. Сами понимаете, если история сможет выдвинуть новую центральную фигуру на всемирном горизонте верований — фигуру Бога-современника с новыми божественными идеями, соответствующими нынешним потребностям мира, тогда еще можно надеяться, что вероучение будет чего-то стоить. Вот причина моего ухода.

— Понимаю, понимаю! — снисходительно улыбнулся Городецкий и, прихлебывая чай, продолжал: — Звучит все это вроде ошеломляюще. Но прежде чем коснуться твоей теории, должен сказать тебе, что сижу сейчас, чай пью и радуюсь самым натуральным образом, что мы с тобой не в средние века живем. Да за такую неслыханную ересь где-нибудь в католической Европе, в Испании или в Италии, только за то хотя бы, что ты осмелился сказать, а я имел неосторожность выслушать тебя, нас бы с тобой, отец мой отрок, вначале четверговали бы, потом сожгли бы на костре, потом перемололи бы останки в порошок и развеяли бы по ветру. Ух как люто расправилась бы инквизиция с нами, и с каким удовольствием! Уж если священная инквизиция сожгла одного несчастного только за то, что в доносе на него было сказано, будто он позволил себе загадочно улыбнуться при упоминании непорочного зачатия, то надо думать...

— Виктор Никифорович, прости, но придется тебя перебить, — усмехнулся Авдий, нервно застегивая пуговицы черного семинаристского сюртука. — Я понимаю, что немало развеселил тебя, но без шуток, если бы в наше время существовала инквизиция и если бы завтра мне грозило сожжение на костре за мою ересь, я не отказался бы ни от одного своего слова.

— Верю, — согласно кивнул Городецкий.

— Я пришел к этой идее не случайно. Я пришел к ней, изучив историю христианства и наблюдая над современностью. И я буду искать новую, современную форму Бога, даже если мне никогда не удастся ее найти...

— Это хорошо, что ты упомянул об истории, — прервал его Городецкий. — Теперь послушай меня. Твоя идея о новом Боге — это абстрактная теория, хотя в чем-то и чрезвычайно актуальная, выражаясь языком наших интеллектуалов. Это твои соображения, как прежде говорили, умственные выкладки. Ты программируешь Бога, а Бог не может быть умозрительно придуман, как бы это заманчиво и убедительно ни выглядело. Понимаешь, если бы Христос не был распят, он не был бы Господом. Эта уникальная лич-

ность, одержимая идеей всеобщего царства справедливости, вначале была зверски убита людьми, а затем вознесена, воспета, оплакана, выстрадана, наконец. Здесь сочетаются поклонение и самообвинение, раскаяние и надежда, кара и милость — и человеколюбие. Другое дело, что потом все было извращено и приспособлено к определенным интересам определенных сил, ну да это судьба всех вселенских идей. Так вот подумай, что сильнее, что могущественней и притягательней, что ближе — Бог-мученик, который пошел на плаху, на крестную муку ради идеи, или совершенное верховное существо, пусть и современно мыслящее, этот абстрактный идеал.

— Я думал об этом, Виктор Никифорович. Вы правы. Но я не могу отрешиться от мысли, что настала пора пересмотреть прошлое, каким бы оно ни было незыблемым, представление о Боге, давно не соответствующее новым познаниям мира. Ведь это же очевидно. Не будем спорить. Очень возможно, что я иду от абстракции, ищу то, что не подлежит поискам. Ну что ж! Пусть мои мысли не совместимы с каноническим богословием. Я ничего не могу поделаться с собой. Я был бы счастлив, если б кто-нибудь мог переубедить меня.

Городецкий понимающе развел руками:

— Я тебя понимаю, отец Авдий. Но при всем при этом должен предостеречь тебя — богоискательство, в представлении церковников, самое страшное преступление против церкви, это равносильно тому, что ты вознамерился бы перевернуть весь мир вверх дном.

— Я это знаю, — спокойно сказал Авдий.

— Но еще больше не любят богоискательства в миру. Ты об этом думал?

— Это парадоксально, — удивился Авдий.

— Поживешь — увидишь...

— Но как же так? Здесь их позиции смыкаются?

— Не то что смыкаются, но никому это не нужно...

— Странно, самое нужное, выходит, никому не нужно...

— Думаю, тяжело тебе придется, отец Авдий. Я тебе не завижусь, но и не останавливаю, — сказал напоследок Городецкий.

Прав он был. Во всем прав. Некоторое время спустя Авдий Каллистратов имел возможность в этом убедиться.

Небольшая история эта произошла перед тем, как быть ему изгнанным из семинарии. В этот день к ним в городок прибыло встреченное ректором на вокзале с большим по-

чением важное лицо — Координатор патриархии по учебным заведениям отец Дмитрий. В семинаристской среде его так и звали — отцом Координатором. Благообразный и благообразный человек средних лет, каким в идеале он и должен был быть, отец Координатор прибыл на этот раз в связи с чрезвычайным происшествием, виновник которого, один из самых лучших семинаристов, Авдий Каллистратов встал на путь ереси — открытой ревизии Священного Писания, выдвинув сомнительную идею о Боге-современнике. Разумеется, отец Координатор прибыл как наставник и миротворец, с тем чтобы силой своего авторитета вернуть заблудшего юношу в лоно церкви, не вынося размолвку за ее стены. В этом смысле церковь мало чем отличается от светских институтов, для которых честь мундира важнее всего. Будь на месте Авдия Каллистратова человек более опытный в житейском плане, он так бы и воспринял отеческое намерение Координатора, но Авдий совершенно искренне не понял видного церковника, чем сильно осложнил его расчеты.

Авдий был вызван на беседу к отцу Координатору в середине дня и пробыл при нем часа три, никак не меньше. Поначалу отец Координатор предложил помолиться совместно у алтаря в академической церкви, устроенной в одном из залов главного корпуса.

— Сын мой, ты, безусловно, догадываешься, что у меня к тебе серьезный разговор, однако не будем спешить, благоволи проводить меня к алтарю Божьему, — попросил он Авдия, глядя на него выпуклыми красноватыми глазами, — чувствую, нам надо вначале помолиться совместно.

— Спаси вас, Господи, владыка, — сказал Авдий, — я готов. Лично для меня молитва есть контрапункт постоянных размышлений о Всевышнем. Мне кажется, мысль о Боге-современнике никогда не покидает меня.

— Не будем столь поспешны, сын мой, — сдержанно промолвил отец Координатор, поднимаясь с кресла. Он даже пропустил мимо ушей дерзновенную фразу о Боге-современнике, о контрапункте, многоопытный клирик не пожелал обострять разговор с самого начала. — Помолимся. Должен тебе сказать, — продолжал он, — чем больше я живу на свете, тем больше убеждаюсь в благодати Божией, в беспредельной его милости к нам. И счастлив, что дано это почувствовать в самозабвенной молитве. Бесконечно всепрощение Господне. Поистине Всевышний бесконечен в любви своей к нам. Возможно, наши молитвы для него всего лишь

легкомысленный лепет, но в них наше нерасторжимое единство с Богом.

— Вы правы, владыка, — проговорил Авдий, стоя в дверях.

И затем, поскольку зелен был еще и нетерпелив, не выдержал требуемую приличием паузу в беседе и сразу выложил свой козырь:

— Осмелюсь заметить, однако, что Бог в нашем понятии бесконечен, но поскольку мысль на земле развивается от познания к познанию, напрашивается вывод: Бог тоже должен иметь свойство развития. А как вы думаете, владыка?

И тут отец Координатор не смог уйти от ответа.

— Однако же ты горяч, сын мой, — проговорил он, глухо покашливая и оправляя на себе плотное облачение. — Не пристало так судить о Боге, пусть и по молодости. Нам не дано познать предвечного Творца. Он существует вне нас. Даже материализм признает, что мир существует вне нашего сознания. А Бог и подавно.

— Простите, владыка, но лучше называть вещи своими именами. Вне нашего сознания Бога нет.

— И ты уверен в этом?

— Да, потому и говорю.

— Ну что ж, не будем сразу ставить точки над «i». Допустим, мы устроим небольшую учебную дискуссию. К ней мы вернемся после молитвы. А пока, будь милостив, проводи меня в храм.

Уже один тот факт, что отец Координатор оказал Авдию честь помолиться вместе в академической церкви, по логике вещей должен был быть понят как знак доброжелательства, и семинарист, которому угрожало исключение, казалось бы, должен был воспользоваться этой благоприятной для него ситуацией.

Они шли по коридору — впереди отец Координатор, сбоку на полшага позади Авдий Каллистратов. Глядя на прямую осанку священника, на его уверенную поступь, на черную, свободную, ниспадающую до полу рясу, придававшую ему особую величественность, Авдий почувствовал в нем ту сложившуюся веками силу, которая в каждом человеческом деле, охраняя каноны веры, прежде всего соблюдает собственные интересы. С ней-то, этой исконно противостоящей силой, и предстояло ему столкнуться на пути поисков истины в жизни. Но пока они оба шли к Тому, в которого верили, каждый по-своему, и именем которого обязаны были внушать другим людям общие для всех мысли о мире и ме-



«Плаха».



«Плaha».



сте в нем человека. И тот и другой уповали на Него, поскольку Он был всезнающ и всемилостив. Итак, они шли...

В академической церкви в тот час было пусто, и потому она показалась не такой уж малой. В остальном это была церковь как церковь, разве что в глубине притемненного алтаря лик Христа в строгом обрамлении потемневших волос, с пристальным, взыскующим взглядом слишком уж белел, выхваченный матовой подсветкой. К Нему обратили взоры и мысли оба коленапреклоненных человека — пастырь и молодой обученец, пока еще не лишенный свободы собственного суждения. Каждый из них пришел сюда в надежде как бы на персональную беседу с Ним, ибо Он мог вести синхронный диалог в любое время суток с неисчислимым количеством желающих к Нему обратиться, практически со всем человечеством одновременно в любых точках земного пространства. В этом и была Его вездесущность.

И на этот раз все обстояло так же: творя молитву, каждый желал изложить вместе с тем и свои тревоги, и печали, и оправдания своих действий, исходящих из веры в Него, и каждый попытался соотнести себя с воображаемой вселенной, в которой он занимал столь микроскопическое место на столь микроскопический срок, и каждый, осеняя себя крестом, благодарил Творца за то, что ему суждено было родиться на свет, и каждый просил, когда настанет последний из последних дней, дать ему умереть с Его именем на устах...

Потом они снова вернулись в тот кабинет, и здесь состоялся открытый разговор с глазу на глаз.

— Так вот, сын мой, я не стану читать тебе нравоучений, — произнес для начала отец Координатор, располагаясь поудобней в кожаном кресле напротив Авдия Каллистратова, сидящего на стуле, смиренно положив руки на худые колени, остро выступающие из-под серого семинаристского одеяния.

Авдий был готов к крутому разговору, и это несколько удивило его — он не увидел в глазах владыки ни гнева, ни иных недобрых побуждений, наоборот, отец Координатор внешне был весьма спокоен.

— Слушаю, владыка, — ответил покорно семинарист.

— Так вот, повторяю, я не стану распекать тебя и читать тебе нотации. Такие примитивные способы воздействия не для тебя. Но те речи, что ты себе позволяешь — и не так по легкомыслию, как по горячности, — не могут не вызывать досады. Но и при этом ты, наверно, заметил, что я говорю

с тобой как с равным. Более того, ты достаточно умен... Скажу тебе откровенно: в интересах церкви, чтобы ум твой не противостоял ее учению, а служил бы безраздельно и безусловно заветам Господа. И я не скрываю этого. Хотя мог бы и за уши отодрать тебя по-отечески, поскольку хорошо знал твоего покойного батюшку и в добром был с ним взаимопонимании. Человек он был воистину христианских добродетелей и к тому же весьма образованный. Но вот судьба свела и с тобой, Авдий, с сыном покойного дьякона Иннокентия Каллистратова, выражаясь канцелярским языком, многие годы бывшего служителем церкви. И что же выходит? Не скрою, вначале был весьма наслышан о тебе с положительной стороны, но привели меня сюда теперь, как сам понимаешь, обстоятельства тревожного свойства. Получается, что ты встал на путь ревизии вероучения, будучи, если взять твой статус, всего лишь обученцем. Из твоих даже чисто случайных высказываний я успел убедиться, что заблуждения твои, пожалуй, больше возрастного характера. Хотелось бы так думать. Дело в том, что молодости в силу целого ряда причин свойственна особая самонадеянность, которая по-разному проявляется у разных лиц в зависимости от темперамента и воспитания. Слышал ли ты когда-нибудь, чтобы пожилой человек, изведавший немалые жизненные муки, разуверился бы в Боге к концу жизни или стал бы толковать на свой лад божественные понятия? Нет, такое если и случается, то, несомненно, случается крайне редко. Суть божественного все глубже познается именно с возрастом. Ведь все европейские философы, в частности так называемые французские энциклопедисты, начавшие в смутную предреволюционную эпоху атеистический штурм религии, который длится уже без малого триста лет, были, кстати сказать, молодыми людьми, не так ли?

— Да, владыка, они были молоды, — подтвердил Авдий.

— Ну вот видишь. Не говорит ли это о том, что молодости свойствен эдакий — модное сейчас слово — экстремизм, прежде всего потому, что это ее возрастная особенность?

— Да, но эти молодые люди, которые, на ваш взгляд, владыка, оказались экстремистами, имели, скажем для справедливости, к тому же еще довольно основательные убеждения, — вставил Авдий.

— Безусловно, безусловно, — поспешил согласиться отец Координатор, — но это особый вопрос. Во всяком случае, они не были священнослужителями, их отношение к рели-

гии было их частным делом, с них другой и спрос, а ты, сын мой, будущий пастырь.

— Тем паче, — перебил его Авдий, — ведь по идее люди должны всецело верить мне и моим познаниям.

— Не спеши, — нахмурился отец Координатор, — если ты не намерен взять в толк сказанное мной для твоего же блага, давай поговорим по-другому. Ну, во-первых, не тобой первым, не тобой последним овладевает дух противоречия на стезе постижения веры. Таких, как ты, засомневавшихся, церковь на своем веку знавала немало. Ну и что? В каждом великом деле неизбежны издержки. Такие преходящие моменты, случайности были и будут. Важно то, что они имеют совершенно неизбежный исход: или решительный отказ субъекта от своих сомнений и решительный его поворот с еще большим усердием и рвением к неукоснительному признанию истинной веры, из чего вытекает прощение его вышестоящими отцами, или, в случае же упрямства и несогласия, исторжение оного еретика из лона церкви и предание его анафеме. Тебе ясно, что третьего пути не дано, что третий путь исключается? Новомыслие твое не может быть принято. Тебе ясно?

— Да, владыка, но я допускаю, что третий путь необходим не так мне, как самой церкви.

— Ну-ну, — насмешливо покачал головой отец Координатор. — Это же надо такое нагородить! — воскликнул он и с горьким злорадством предложил: — Так изложи, будь милостив, что это за третий путь ты уготовал Священной церкви. Уж не революцию ли какую? Ведь такого еще не знала история...

— Преодоление вековой закостенелости, раскрепощение от догматизма, предоставление человеческому духу свободы в познании Бога как высшей сути собственного бытия...

— Остановись, остановись! — запротестовал отец Координатор. — Эта самодетельность смешна, дорогой!

— Ну если вы исключаете самостоятельность мысли как таковую, то, к сожалению, владыка, нам не имеет смысла дальше разговаривать!..

— Вот именно — не имеет смысла! — разгорячился отец Координатор и встал с места. Голос его загудел: — Очнись, юноша, отринь гордыню! Ты на гибельном пути! Ты мнишь, несчастный, что Бог лишь плод твоего воображения, а потому сам человек почти Бог над Богом, тогда как само сознание сотворено небесной силой. Дай волю новомыслию, и ты на нет сведешь тысячелетние заветы и запреты, так дорого

оплаченные людьми в прозрениях и муках, чтобы пронести божественные устои через все поколения. Вот куда ты метишь, ратуя за раскрепощение от догматизма, тогда как догматы даны по благодати Господа. Без новомыслий церковь может стоять, как стояла, а без догматов вероучения быть не может. И если уж на то пошло, запомни: догматизм — первейшая опора всех положений и всех властей. Запомни. Ты, якобы улучшая Бога новомыслием, на самом деле игнорируешь его. И ты готов собою подменить его! Но благо не от тебя и не от подобных тебе зависит, как Богу с нами быть, — твое же богохульство уничтожает только тебя самого. А Господь пребудет неизменно и вечно! Аминь.

Авдий Каллистратов стоял перед отцом Координатором с побелевшими губами: ему было мучительно его бурное негодование.

И все-таки он не отступался:

— Простите меня, владыка, не стоит приписывать небесным силам, что проистекает от нас самих. Зачем было бы Богу создавать нас столь несовершенными, если бы Он мог избежать того, чтобы мы, Его творения, сочетали в себе одновременно две противоположные силы — силы добра и силы зла. Зачем бы Ему понадобилось делать нас столь подверженными сомнениям, порокам, коварству даже в отношениях с Ним самим. Вы ратуете за абсолют вероучения, за конечное раз и навсегда постижение сущности мира и нашего духа, но это же нелогично — неужто за две тысячи лет христианства мы не в состоянии добавить ни одного слова к тому, что было сказано едва ли не в добиблейские времена? Вы ратуете за монополию на истину, но это по крайней мере самообман, ибо не может быть такого учения, даже богоданного, которое бы раз и навсегда познало истину до конца. Ведь если это так, значит, это мертвое учение.

Он замолчал, и в наступившей тишине слышно стало, как зазвонил за окном колокол городской церкви. Так близок и так знаком был тот колокольный звон — символическая связь между человеком и Богом, и Авдию хотелось улпгть, удалиться, исчезнуть, как эти звуки, в бесконечности...

— Ты слишком далеко заходишь, молодой человек, — промолвил отец Координатор холодным, отчужденным тоном. — Мне не следовало бы заводить с тобой теологические споры, ибо твои познания весьма незрелы и даже сомнительны, — не говоришь ли ты по наущению врага рода человеческого — дьявола? Но одно скажу тебе на прощание:

тебе с такими мыслями не сносить головы потому, что и в миру не терпят тех, кто подвергает сомнению основополагающие учения, ведь любая идеология претендует на обладание конечной истиной, и ты с этим непременно столкнешься. А жизнь мирская куда жестче, чем может показаться, и ты еще заплатишься за свое недомыслие и еще припомнишь наш разговор. Но довольно, готовься уходить из семинарии, ты будешь отлучен от церкви — дома Божьего!

— Моя церковь всегда будет со мной, — не отступался Авдий Каллистратов. — Моя церковь — это я сам. Я не признаю храмов и тем более не признаю священнослужителей, особенно в сегодняшнем их качестве.

— Что ж, мальчик, дай Бог, чтобы все обошлось, но можешь быть уверен: мир научит тебя слушаться, ибо там существует насущная необходимость — добывать себе кусок хлеба. И эта необходимость до сих пор повелевала жизнью миллионов таких, как ты...

Предостережения эти потом действительно припомнились не раз и не два, но всякий раз Авдию Каллистратову казалось, что главное в его предназначении, некий высший смысл — еще впереди, как черта видимого горизонта, что все перипетии и житейские невзгоды на пути к нему лишь временны и что настанет день, когда многие люди последуют его примеру, а не в этом ли цель его существования?

В те дни, когда он ехал вместе с гонцами за анашой в конопляные степи, глядя с утра до вечера на пустынные просторы из окна поезда, он говорил себе: «Ну вот, теперь ты сам по себе, ни с чем не связан, кроме задания редакции, во всем остальном ты волен распоряжаться собой по своему усмотрению. Ну и что, что тебе открылось в хождении по мукам? Вот она, жизнь, как она есть, и ты лицом к лицу с ней. Как и сто лет назад, народ едет в поезде откуда-то и куда-то, и ты один из пассажиров, и гонцы среди них тоже пассажиры как пассажиры, но потенциально они люди отчаянные — ведь они паразитируют на одном из самых страшных пороков. Тот горький дым, казалось бы, ничто, сладкий дурман, но он разрушает человека в человеке. А как ты защитишь их, когда они сами себя приносят в жертву? Знаешь ли ты, отчего все это происходит? В чем кроются причины? Молчишь — не знаешь, с какого конца подойти, как объяснить, что предпринять? А не ты ли рвался с неудержимой силой из стен семинарии на стремнину жизни, чтобы хоть в чем-то изменить ее к лучшему? Соученики по

семинарии тебя идеалистом окрестили. Не зря, наверно. А сейчас ты уже думаешь, нуждаются ли эти гонцы в тебе, необходимо ли им, чтобы ты вмешивался в их дела и поступки. Да и что ты можешь для них сделать? Переубедить, заставить жить другой жизнью? И пока ты терзаешься, думаешь, что да как, они едут с твердо намеченной целью, и жаждут удачи для себя, и видят в том счастье свое. Но как их разубедить, как повернуть их лицом к истине? А если не вмешаться, не помочь, они рано или поздно будут осуждены, брошены по колониям, но воспримут это не как вину, а как беду. Другое дело — суметь отвратить от зла, очистить покаянием, заставить самих отречься от этого преступного промысла и увидеть подлинность счастья в другом. Как это было бы прекрасно! Но в чем они должны увидеть свое счастье? В наших рекламируемых ценностях? Но ведь они порядком обесценены и вульгаризированы. В Боге, в котором они с детства видят дедкино-бабкино посмешище, сказку, и не больше? И в конечном счете что может слово перед возможностью занять запросто большие деньги? У всех ныне на устах расхожий афоризм — спасибо к делу не пришьешь, а деньги — это деньги! А эти деньги, что делают гонцы, наверно, не только наши, но очень даже возможно, что и чужие, — вон сколько гонцов едет из портовых городов — из Мурманска, Одессы, Прибалтики, а говорят, и с Дальнего Востока. Куда уходит анаша и производное от пластилина и экстры? Да разве дело в этом — куда уходит? Почему это происходит, почему возможно такое в нашей жизни, в нашем обществе, которое на весь мир провозгласило, что наша социальная система недоступна для пороков. О, если бы удалось так сделать, написать такой материал, чтобы откликнулись на него многие и многие, как на кровное дело свое, как на пожар в собственном доме, как на беду собственных детей, только тогда слово, подхваченное многими небеспристрастными людьми, может пересилить деньги и победить порок! Дай-то Бог, чтобы так оно и получилось, чтобы сказано оно было не впустую, чтобы если и вправду «Вначале было слово», то чтобы оно и осталось в своей изначальной силе... Так бы жить, так бы думать...

Но, Боже, опять же к тебе обращаюсь: что есть глагол перед звонкими деньгами? Что есть проповедь перед тайным пороком? Как одолеть словом материю зла? Так дай же силы, не покидай меня в моем пути, я один, пока один, а им, одержимым жаждой легкой наживы, несть числа...»

\* \* \*

Оставив позади саратовские земли, поезд Москва — Алма-Ата уже вторые сутки шел по казахстанским краям. Впервые оказавшись на туранской стороне континента, Авдий Каллистратов поражался в поездке размаху и масштабам края, обретенным некогда Россией географическим пространством — перед взором расстилались поистине неоглядные дали: если взять вместе с Сибирью, мысленно представлял он себе, это же почти полсвета суши... И так редки тут поселения... Города, деревни и аулы, станции, разъезды, случайные скотные дворы и дома примыкали к железной дороге, как редкие мазки на необъятном степном холсте, лишь загрунтованном, но так и оставленном в незакрашенном сером однообразии. В здешней стороне повсюду простирались открытые степи, сейчас они находились в той поре цветения, когда великие и малые травы достигают своего апофеоза, преобразующего лик земли всего на несколько дней, чтобы снова затем пожухнуть под нещадным солнцем и затем целый год ждать весны...

В приоткрытые окна вагонов наплывами доносились густые запахи цветущих степных трав, особенно сильные, если поезд задерживался на каком-нибудь безвестном полустанке, открытом со всех четырех сторон света, и тогда хотелось выскочить из душного вагона и побегать на воле по тем травам, невзрачным с виду, но таким полынню-пахучим, отдающим одновременно соком и сухостью почвы. Странно, думал Авдий, неужели и та проклятая конопля-анаща растет так же привольно и так же заманчиво пахнет? Пожалуй, запах у нее должен быть куда сильнее и резче, судя по тому, что рассказывают гонцы в минуту откровенности, но главное, говорят они, анаща длинная и стеблистая, и заросли ее высотой чуть ли не до пояса. Однако далеко не везде растет она, эта дикая конопля, есть у нее свои места произрастания, и слава богу, что не везде, что за ней надо ехать и ее надо разыскивать, была б она доступнее, можно представить себе, что творилось бы... Вот и едут гонцы из далеких портовых городов, из одного края света в другой, едут как завороченные в поисках одурманивающей анащи... Еще далеко, им еще ехать да ехать — и неизвестно, чем все это обернется, что выйдет из этой затеи.

А бывало, что Авдий Каллистратов, забывая на время о цели своей тайной поездки, рисовал в воображении, кем и в какие времена населялись эти края, вспоминал в связи с

этим прочитанные книги, фильмы, которые ему доводилось видеть в школьные годы, и радовался тому, что встречались еще приметы и следы ушедшей жизни: стада бурых верблюдов, разбросанные по степи, как покинутые города, кладбища-мазары, небольшие аулы в несколько кибиток, а то и промелькнет юрта — одна-одинешенька, насколько видит глаз, и страшно становилось за обитателей этого затерянного в мире ветхого жилища, проносились перед взором всадники то в одиночку, то группой, иные еще, как в былые времена, в островерхих шапках, на лошадях в старинной сбруе... И думалось ему: как могли люди жить здесь и не умереть от тоски и безводья в этих великих пространствах? А как им по ночам? Что чувствует человек здесь перед лицом ночного космоса, как, наверное, страшно и жутко ему от ощущения полного своего одиночества в беспредельности мира, и потому, должно быть, проходящие здесь поезда в радость и насколько не действуют на нервы, как бывает в больших городах. А может быть, наоборот, величие степных ночей рождает в душах великие стихи, ведь что такое поэзия, как не самоутверждение человеческого духа в мировом пространстве...

Но такие размышления отвлекали его ненадолго, снова приходило на ум, что он следует вместе с гонцами за анашой, что имеет дело с точки зрения закона с преступными лицами и до поры до времени ему придется в интересах задуманного им социально-нравственного репортажа для газеты мириться с этой жизнью, с тем злом, которое анашисты несут в себе. Он чувствовал при этом невольный под ложечкой холодок, неприятное ощущение в желудке, смутную до озноба тревогу, будто он сам был одним из гонцов, одним из замешанных в этих преступных делах. И тогда он понимал внутреннее состояние тех, кто живет с тайным грузом на душе, понимал, что как ни велика земля, как ни радостны новые впечатления, но все это ничего не стоит, ничего не дает ни уму ни сердцу, если есть в сознании хоть крохотная болевая точка, она определяет исподволь и самочувствие человека, и его отношения с окружающими. Приглядываясь к гонцам, с которыми он делил теперь свой путь в конопляные степи, пытаясь разговорить их, вызвать на откровенность, Авдий Каллистратов предполагал, что при всей своей внешней самоуверенности каждый из гонцов-попутчиков, должно быть, угнетен своим промыслом и неотступным страхом перед неотвратимым возмездием, и жалел их. Ведь ничем иным не объясняется их бравада, вызывающий



жаргон, карты, водка, их удаль — пан или пропал, ибо не видят они для себя иного хода жизни. Вызволить души этих людей из-под власти порока, раскрепостить их, раскрыть им глаза на самих себя, освободить от вечно преследующего страха, отравляющего их, как яд, разлитый в воздухе, — вот чего хотелось Авдию Каллистратову, и, призывая себе на помощь все свои познания и пусть не богатый, но все же и не малый житейский опыт, он пытался найти подступы к осуществлению этого возвышенного намерения и теперь понимал, что, уйдя из семинарии, расставшись с официальной церковью, в душе он оставался проповедником и что нести людям слово истины и добра так, как он понимал его, — самое великое, что он мог бы совершить на своем жизненном пути. А для этого не обязательно быть рукоположенным, для этого надо быть преданным тому, чему поклоняешься. Но между тем он пока еще не представлял себе в полной мере того, на что отваживался по велению разума и сердца, влекомый благими пожеланиями. Ведь одно дело прекраснодушно мечтать и в мечтах нести спасение от пороков, а другое — творить добро среди реальных людей, вовсе не жаждущих, чтобы их наставлял на путь добродетели какой-то Авдий, такой же гонец-добытчик, кативший на край света так же, как и они, за длинным рублем. Какое им дело до того, что Авдий Каллистратов был одержим благородным желанием повернуть их судьбы к свету силой слова, ибо непоколебимо верил, что Бог живет в слове и, чтобы слово возымело божественное действие, оно должно идти от истины подлинной и безупречной. В это он верил, как в мировой закон. Но он пока не знал одного: что зло противостоит добру даже тогда, когда добро хочет помочь вступившим на путь зла... Это ему предстояло еще узнать...

## VI

Горбатые отроги снежных гор, возникшие на рассвете четвертого дня, возвестили о приближении поезда к низовьям Чуйских и Примоюнкумских степей, куда они и направлялись. Снежные горы были лишь общим ориентиром в этих пространствах, с удалением в степные просторы и они должны были исчезнуть из поля зрения. Но вот появилось солнце на краю земли, и в несчетный раз все осветилось мирным светом, и поезд, полный людей с такими разными судьбами, не доезжая гор, сверкнул длинной вереницей ва-

гонов в степи и свернул в затянутые маревом равнины — туда, откуда не видны горы...

На станции Жалпак-Саз гонцам-добытчикам предстояло сходить и дальше двигаться своим ходом на свой страх и риск — каждый сам по себе, но по единому замыслу и под единой командой. Это-то больше всего и занимало Авдия Каллистратова — кто он такой, Сам, главный в этом деле, неусыпное око которого следило за ними, о котором упоминали вскользь и негромко.

До станции Жалпак-Саз оставалось часа три езды. Гонцы зашевелились в сборах. Вызывая с утра недовольство пассажиров, Петруха долго отмывался в туалете после ночной попойки, перед тем как отправиться к Самому за последними указаниями. В прошлый вечер он с друзьями начал с шампанского, которое для них было детской забавой, — они пили его стаканами, как лимонад, а потом перешли на водку, и это дало себя знать. Малолетний Ленька — так тот совсем сомлел, и Авдию с трудом удалось поднять его на ноги. Только упоминание о том, что скоро Жалпак-Саз, заставило Леньку пересилить себя и сесть на полке, свесив лохматую голову на безвольной тощей и грязной шее. Кто бы мог подумать, что этот мальчишка зарабатывает неплохие деньги преступным путем и что жизнь его уже загублена.

Поезд шел ровно и ходко по ровным степным просторам, и где-то в каком-то вагоне находился Сам, к которому и поспешил осоловелый Петруха, опрокинув стакан густого и черного, как деготь, чая для окончательного протрезвления. Видимо, Сам не очень-то жаловал выпивох. За всю дорогу Авдию Каллистратову так и не удалось увидеть Самого хотя бы издали, а ведь ехали все в одном поезде. Кто он, каков из себя? Попробуй угадай его среди сотен пассажиров. Но кто бы он ни был, он был осторожен, как камышовый зверь, затаившийся в чаще, за всю дорогу ничем не выдал себя. Вскоре Петруха вернулся от Самого, как побитая собака, угрюмый, обозленный, очень посерьезневший. Разумеется, Сам крепко выматерил его за ночной перепой как раз накануне прибытия. Его можно было понять — с того часа, как поезд прибудет в Жалпак-Саз, самое время действия для добытчиков анаши, а олух Петруха надрался так, что будет всю неделю маяться головной болью. Недовольно глянув на Авдия, будто тот был в чем-то перед ним виноват, Петруха буркнул:

— Пошли, разговор есть.

Они подались в тамбур. Там закурили. Стучали, гремели колеса.

— Ты вот что, Авдьяй, значит, запомни, — начал Петруха.

— Да слушаю, — поморщился Авдьяй.

— А ты не больно вороти нос, — обозлился Петруха. — Кто ты такой есть?

— Да что ты, Петр, — постарался утихомирить его Авдьяй, — зачем зря обижаться? Ну я не пью, ты выпиваешь, так что из этого, зачем ругаться? Ты лучше скажи, что будем дальше делать?

— Дальше будет, как Сам скажет.

— Ну вот об этом я и говорю. Что Сам-то сказал?

— Твое дело малое, — оборвал его Петруха. — Ты для нас новый, а потому пойдешь со мной и Ленькой, в общем, трое нас будет. А другие ребята, кто сам по себе идет, а кто и на пару с дружком.

— Ясно. Только куда идти-то?

— А это не твоя печаль, со мной пойдешь. Выйдем в Жалпак-Сазе. А дальше добираться надо самим. На попутных машинах до совхоза «Моюнкумский», а дальше безлюдье — там пойдем уже пешка.

— Вот как?

— А ты как думал, на «жигульке», что ли, тебя доставят? Нет, братец! Там ведь, если заметят кого, могут и зацапать, а если кто на машине или на мотоцикле едет, совсем хана!

— Ну и ну! А Сам-то где будет, он с кем идет?

— А тебе какое дело? — возмутился Петруха. — И чего ты все спрашиваешь о нем? Идет, не идет! А может, он и совсем не идет! Он что, тебе подотчетный, или как это понимать?!

— А никак. Раз он у вас главный, надо в случае чего знать, где он.

— Вот как раз об этом тебе знать и не надо! — высокомерно заявил Петруха. — Не наше это с тобой дело, где он будет да как. Понадобится ему, так он тебя хоть из-под земли достанет. — Петруха многозначительно помолчал, как бы оценивая произведенное впечатление, и потом добавил, глядя в упор мутными, все еще не протрезвевшими глазами: — А тебе, Авдьяй, Сам передавал: ежели будешь работать как надо, будешь постоянно наш ходок, а ежели, не ровен час, курвой окажешься, лучше тебе сейчас из дела выйти. Вот сойдем мы на станции, и валяй потихоньку на все четыре стороны, мы тебя не тронем, ну а как войдешь в дело — все, назад ходу нет. Скурвишься — на земле тебе места не будет. Понял?

— Понял, конечно, что тут понимать. Не маленький, — отвечал Авдий.

— Ну так вот, запомни: я тебе передал, ты слышал, чтобы потом никаких — не знал да не понял, простите да помилуйте.

— Хватит, Петр, — прервал его Авдий. — Не повторяй без толку. Я ведь тоже сам себе голова. Знаю, на что иду, и знаю, что мне надо. Ты лучше послушай теперь мой совет. С сегодняшнего дня завяжи и Леньку не спаивай. Он дурачок. Да и тебе зачем? Вот двинемся в те края, податые да на такой жаре — какие же мы добытчики будем?

— Согласен, — отрезал Петруха и с облегчением улыбнулся, скривив мокрые губы. — Что верно, то верно. Верь, Авдяй, сам не возьму ни капли в рот и Леньке не позволю. Все, крышка!

Они помолчали, довольные тем, что разговор завершился к общей пользе. Поезд, раскачиваясь, поспешал к узловой станции Жалпак-Саз, где происходит пересмена тяги и машинистов. Многие пассажиры, которым предстояло выходить, уже собирали вещи. Ленька тоже обеспокоенно выглянул в тамбур.

— Вы чего тут? — поинтересовался он, морщась от головной боли. — Собираться ведь надо. Через часок приезжаем.

— Не бойсь, — отвечал Петруха. — Что нам собираться? Чай, не девки. Рюкзачок за плечи — и айда.

— Леня, — подозвал к себе мальчишку Авдий. — Подойди ко мне. Голова болит? — Ленька виновато покачал головой. — Вот мы с Петром постановили: с сегодняшнего дня чтобы ни капли. Согласен? — Ленька молча закивал головой. — Ну иди, мы сейчас подойдем. Успеем, не беспокойся.

— Да времени еще навалом, — сказал Петруха, глянув на часы. — Целый час с лишним. — А когда Ленька ушел, сказал: — Это ты верно насчет Леньки-то. Сам же, гаденыш, рвется пить, а выпьет — на ногах не стоит. Но теперь — basta! Дело есть дело. Это мы в дороге малость побаловались. А потом, не думай, я на Ленькины деньги не пил, может, сам он что... но я пью на свои.

— Да разве в этом дело, — отозвался с горечью Авдий. — Просто жалко мальчишку.

— Это ты верно, — вздохнул с пониманием Петруха. Откровенный разговор навел, должно быть, Петруху на какую-то давно не дававшую ему покоя мысль. — Слушай, Авдяй, а до этого, до нас то есть, ты чем промышлял или работал где? Может, ты из фарцовщиков будешь? Ты не зажимайся,

нам теперь или за одним столом гулять в ресторане, или одну парашу выносить из камеры. Кидай хоть так, хоть эдак!

Авдий не стал скрывать:

— Никакой я не фарцовщик. И зажиматься мне нечего. До этого я в духовной семинарии учился.

Такого оборота Петруха, должно быть, никак не ожидал.

— Постой, постой! В семинарии, говоришь, — так, значит, ты на попа учился?

— Да, выходит, так...

— Ого! — вытарашил глаза Петруха и дурашливо присвистнул, сложив губы дудочкой. — Так чего же ты ушел оттуда, или погнажи за что?

— И то и другое. В общем, ушел я.

— А чего так? Бога не поделили, что ли? — озорно продолжал Петруха. — Вот смеху-то!

— Выходит, не поделили.

— Ну вот скажи, раз ты все так знаешь... Бог есть или нет?

— На это трудно ответить, Петр. Для кого он есть, а для кого его нет. Все зависит от самого человека. Сколько будут люди жить на свете, столько они будут думать, есть Бог или нет.

— Ну а где же он, Авдй, если он, скажем, есть?

— Он в наших мыслях и в наших словах...

Петруха примолк, обдумывая сказанное. Громче и явственней застучали колеса вагонов — их звук доносился в оставленную не закрытой какими-то прошедшими через вагон пассажирами дверь тамбура. Петруха прикрыл дверь, прислушался к приглушему стуку колес и наконец сказал:

— Выходит, у меня его нет. А у тебя, Авдй, он есть?

— Не знаю, Петр. Хотелось бы думать, что есть, хотелось бы, чтобы был...

— Значит, тебе это нужно?

— Да, для меня это необходимо...

— Вот и пойми тебя, — огрызнулся Петруха. Что-то его, видимо, задело. — А на хрен в таком случае едешь ты с нами, коли тебе Бог нужен?

Авдий решил, что пока не время и не место углублять разговор.

— Но деньги ведь тоже нужны, — сказал он примирительно.

— Э, вон ты как запел. Или Бог, или шальные деньги. А сам все же за деньгами двинулся!

— Да, пока получается так, — вынужден был признать Авдий.

Этот разговор послужил для Авдия Каллистратова толчком к размышлению. Во-первых, он отчетливо уяснил для себя, что Сам, тот, который незримо держал поездку гонцов за анашой под своим контролем на протяжении всего пути, крайне недоверчив, расчетлив и, должно быть, жесток и что, если он заподозрит что-то неладное в каком-нибудь звене проводимой им операции, он не остановится ни перед чем, чтобы отомстить или обезопасить себя и стоящих за ним. Этого надо было ожидать — на то она и торговля наркотиками. Второе, что понял он из дорожных разговоров с Петрухой и другими, — на гонцов имеет смысл воздействовать словом, что долг проповедника — доверительный разговор, внушение словом без оглядки на грозящую опасность: несли же некогда самоотверженные миссионеры слово Христа диким африканским племенам, рискуя жизнью своей, ибо спасение души ценой жизни может оказаться конечным итогом, судьбой, смыслом его жизненного пути, — так он спасет душу.

На станцию Жалпак-Саз прибыли они около одиннадцати часов дня. Станция была узловая, пересадочная, две ветки отходили отсюда в сторону завидневшихся на рассвете далеких снежных гор, и потому проезжих в разные концы здесь было много, что для гонцов имело свои удобства: можно затеряться в той станционной суете. И все обошлось как нельзя лучше. Авдий удивился, как запросто и деловито просочились они в обеденное время в привокзальную столовую. Вместе с Авдием их было человек двенадцать (так показалось ему), тех, кому предстояло отправиться дальше в степи за анашой. Сидели гонцы за столиками разобщенно, по одному, по двое, но на виду друг у друга, хотя между собой открыто не общались и внешне не выделялись среди дорожной толпы — таких, как Ленька, и более взрослых парней, как Петруха, было полно. Все куда-то и откуда-то ехали в разгар летнего сезона — типичное смешение азиатских и европейских лиц... И хотя сюда то и дело заходили работники милиции для наблюдения за порядком, и хотя на станции на каждом шагу встречался милиционер, их это не беспокоило. Пообедали они быстро, уступив место другим жаждающим своей очереди перекусить дежурными блюдами, и после этого по какому-то неуловимому знаку незаметно рассредоточились — каждый со своим багажом: с вещмешком, с портфельчиком, в которых несли они хлеб, консервы и прочие нужные им вещи. Вот так гонцы разехались по

местам, растворились в бескрайних просторах здешних степей Примоюнкумья.

Петруха, а с ним Авдий и Ленька отправились втроем, как и было задумано и санкционировано Самим, которого Авдию так и не удалось увидеть. Но в том, что Сам незримо руководил всей операцией, не было никакого сомнения. Ехали они с Петрухой в самый отдаленный конец, чуть не к Моюнкумам, на попутной грузовой машине до отделения совхоза «Учкудук» за четвертак, выплачиваемый Петрухой из денег, отпущенных Самим. На всякий случай сочинили они себе легенду: они-де шабашники. Авдий — плотник, самый нужный в здешних краях человек, что, кстати, соответствовало истине: Авдий и в самом деле был неплохим плотником. Отец с детства научил. Петруха положил ему в вещмешок, тоже на всякий случай, немудреный инструмент — рубанок, топор, долото, — предусмотрительно захваченный им из дому. Себя и Леньку Петруха должен был выдавать за штукатуров и маляров — они, мол, на каникулах, учащиеся ПТУ и ехали, стало быть, на отхожий промысел, в далекий «Учкудук», в Примоюнкумье подзаработать у степняков на постройках домов. Версия вполне правдоподобная.

День стоял знойный, но в открытом грузовике было легче — не так припекало и продувало свежим степным ветерком. Правда, дорога, как и всякий проселок, была никудышная — вся разбитая.

Когда машина притормаживала у колдобин, пыль из-под колес настигала тучей — оставалось только отмахиваться да откашливаться. Единственное, что примиряло с тяжелой дорогой, — окружающие пространства, невольно появлялась мысль: были бы крылья, полетел бы над землей... «Теперь я как бы воочию убедился, что земля — это планета, — думал Авдий, стоя у кабины. — А как тесно человеку на планете, как боится он, что не разместится, не прокормится, не уживется с другими себе подобными. И не в том ли дело, что предубеждения, страх, ненависть сужают планету до размеров стадиона, на котором все зрители заложники, ибо обе команды, чтобы выиграть, принесли с собой ядерные бомбы, а болельщики, невзирая ни на что, орут: гол, гол, гол! И это и есть планета. А ведь еще перед каждым человеком стоит неизбывная задача — быть человеком, сегодня, завтра, всегда. Из этого складывается история. Куда мы едем сейчас, ради какой жизненно важной надобности люди ищут отравы себе и другим, что их толкает на это и что они находят в том страшном круге отречения от самих себя?»

\* \* \*

В Учкудуке, в этом поистине затерянном и Богом забытом казахском поселке, они с ходу нашли себе работу — подрядились на пару дней штукатурить и столярничать в недостроенном доме одного чабана. Сам чабан находился с отарой на отгоне, семья была с ним, а стройка пустовала, порученная соседу-родственнику на тот случай, если объявятся вдруг, как в прошлом году, шабашники. Они объявились, будто наперед знали, — Петруха, Авдий, Ленька, три гонца-молодца.

Жили они в том же строении, благо крыша была и погода стояла жаркая. Очажок устроили на дворе и кое-что варили даже. Надо сказать, работали как звери. Петруха сам поднимался спозаранку, будил немедленно своих артельщиков, Авдия и Леньку, и они принимались за дело, вкалывали до самой темноты. Ужинали уже при свете костерка, и только тогда Петруха позволял себе немного передохнуть и поразмышлять.

— Ты вот, Авдяй, смотрю, очень доволен даже — работаешь. Что-то, как положено, с хозяина, конечно, получим. Но такие деньги, если хочешь знать, нам тьфу! На один зуб! Это мы так, для отвода глаз. А вот как двинемся да на хорошее место выскочим, чтобы в две руки обрывать тот цвет, там дело другое — один денек помотался по степи, зато целый год живи, как министр. Ленька, ты-то знаешь! Так ведь?

— Знаю немного, — отвечал все больше помалкивавший Ленька.

— Только смотрите, ребята, — строго предупреждал Петруха, — никому ни слова, ни соседу, ни другим здешним, они люди добрые, и все равно — умри, но никому ни слова. Особенно если кто заявится да начнет расспрашивать. Ты, Авдяй, говори: мол, знать не знаю, ведать не ведаю, вон, мол, наш бригадир, это я, стало быть, с ним, мол, и разговаривай, а я человек маленький, ничего не знаю. Ясно?

Что тут еще ответишь — ясно, значит ясно... Но не это беспокоило Авдия, а то, что вынужден был помалкивать, не мог пытаться как-то повлиять на ребят, вступивших на скользкий путь, жаждущих любой ценой добыть те преступные деньги, — такого вмешательства требовала его душа, но он не мог себе этого позволить. Если бы даже Авдию удалось силой мысли и слова поколебать их, заставить задуматься о своем падении, если бы даже допустить, что эти двое послушают голос разума и решат порвать с такой жизнью, они не



посмеют и не смогут этого сделать по той простой причине, что они уже крепко-накрепко повязаны некоей жесткой круговой порукой с другими, имеющими неписаное право карать их за измену. Но как разорвать этот порочный круг? Утешало Авдия лишь то, что он может послужить благородному делу, узнав на своем опыте, как действуют гонцы-анашисты, и затем, изложив это в большом газетном материале, раскрыть глаза людям. И это будет, как он надеялся, началом моральной борьбы за души оступившейся части молодежи. Лишь это помогало Авдию примириться с тем, что он невольно оказался замешанным в их дела, состоял в группе Петрухи.

На третий день их пребывания в Учкудуке произошел один небольшой случай — Авдий ему не придал большого значения. Петруха же, узнав о нем, очень обеспокоился. Сам Петруха в тот час отлучился с соседом-стариком, инвалидом войны, они поехали на его коляске в центральную усадьбу совхоза консервами, сигаретами да сахаром запастись, так как на другой день с рассветом решили двигаться в степь — вроде бы уходили шабашничать в другое место.

Ленька доштукатуривал дом внутри, а Авдий, пристроившись в тени, сбивал для сарайчика дверь. Когда с улицы вдруг донеслось тархатение мотоцикла, Авдий оглянулся, приставил ладонь к глазам. Возле дома остановился, гудя, большой мотоцикл, водитель легко спрыгнул с сиденья. К удивлению Авдия, мотоциклистом оказалась совсем молодая женщина. Как только она управляет с этой тяжелой машиной, да еще по таким дорогам?! Женщина сдернула с головы круглый шлем с болтающимся ремешком, сняла ветрозащитные очки, встряхнув головой, разметала по плечам густые светлые волосы.

— Запарилась! — улыбнулась она, показав белый ряд зубов. — А запылилась-то как, боже ты мой! — радостно воскликнула она, отряхивая с себя пыль. — Здравствуйте!

— Здравствуйте, — смущенно ответил Авдий. Дурацкие наставления Петрухи подействовали на него. «Кто она? Зачем сюда приехала?» — подумалось Авдию.

— А хозяин на месте? — спросила мотоциклистка, все так же приветливо улыбаясь.

— Какой хозяин? — не понял Авдий. — Хозяин дома, что ли?

— Ну да, конечно.

— Так вроде он сейчас не тут, а где-то на отгоне.

— А вы что, не видели его?

— Нет, не видел. Нет, видел, только мельком, он тут приезжал недавно. Но я с ним не разговаривал.

— Странно, как же вы с ним не разговаривали, — вы, кажется, здесь работаете, строите ему дом?

— Простите, но я действительно не успел с ним поговорить. Он тогда, кажется, спешил. С ним разговаривал мой старшой. Его зовут Петром. Сейчас его нет. Он скоро должен приехать.

— Да мне это ни к чему, извините, если что. Просто мне хотелось повидать Ормана — он чабан и знает то, что меня интересует. Потому и заскочила по пути, думала застану его. Ну извините, я, кажется, помешала.

— Да нет, что вы.

Мотоциклистка снова надела шлем с болтающимся ремешком, завела мотор, отъезжая, глянула на Авдия сквозь стекла наглазников и мельком кивнула. Авдий же в ответ, сам того не замечая, помахал ей рукой. И долго потом мысли его были заняты этим, казалось бы, незначительным, случайным эпизодом. И вовсе не потому, что в душу его закралось подозрение: так ли безобиден ее неожиданный визит накануне их выхода за добычей и не вынюхивает ли она чего, — нет, совсем о другом думал он. Уже после того как она укатила, оставляя позади клубы пыли, он представил ее себе, зримо, подробно, точно бы задался целью на всю жизнь запомнить ее. И теперь отмечал, с удивлением и удовольствием, что она была хорошо сложена, невелика ростом, чуть выше среднего, но все в ней было женственно и соразмерно, как и хотелось ему. «Нет, кроме шуток, — говорил он так, будто спорил с кем-то. — Женщина такой и должна быть! Вот именно такой и должна быть женщина». Авдию запомнились необыкновенно тонкие черты ее одухотворенного лица, карие, едва ли не черные глаза, сияющие живым блеском, при том что волосы ее, свободно падавшие на плечи, обрамляя лицо, были совсем светлые, и это сочетание темных глаз и светлых волос придавало ей особую прелесть. И все в ней ему нравилось: и небольшой, едва заметный шрам на левой щеке (может быть, в детстве упала?), и то, как ладно она была одета — джинсы, куртка, поношенные сапоги с отвернутыми голенищами, — и то, как уверенно она вела мотоцикл: ведь сам Авдий умел ездить разве что на велосипеде... И еще как он оконфузился, когда она спросила насчет хозяина, а он: видел, нет, не видел, нет, видел... просто как мальчишка, и чего это он так растерялся?

Занятно, очень занятно было Авдию Каллистратову думать о ней, хотя, казалось бы, и вспоминать не о чем — приехала, внезапно уехала, только и всего. И все же кто она такая, откуда она появилась, судя по всему, она откуда-то приехала, но зачем и что делать такой женщине в этих пустынных местах?..

Петруха, узнав, что к ним заезжала странная женщина на мотоцикле, не на шутку всполошился и долго и занудно выспрашивал, что она говорила, да чем интересовалась и что Авдий ей отвечал. Пришлось пересказывать их разговор несколько раз слово в слово.

— Тут что-то не то, тут что-то не то, — с сомнением качивал головой Петруха. — Жаль, что меня не было, я бы с ходу раскусил, что за птица такая. Видишь, Авдяй, хоть ты и умный и грамотный, а я б лучше тебя справился, расспросил бы ее, раз такое дело. Выяснил, кто такая да что ей нужно, а ты, друг, растерялся, вижу, что растерялся, хоть я тебя на такой случай и предупреждал.

— Что ты переживаешь? — пытался урезонить его Авдий. — Ну чего тут такого, чтобы так бояться?

— А то, что на наш след могут выйти легавые. Что, как ее подослали высмотреть да разузнать?

— Да брось ты чепуху городить!

— Интересно, что ты потом скажешь, когда за решеткой очутишься или когда Сам с тебя спросит, а уж он спросит построже, чем легавые: шкуру сдерет, а то и чикнет. Ты хоть понимаешь, что такое — чикнуть?

— Успокойся, Петр, чему быть, того не миновать. Об этом надо было раньше думать. Вот Ленька, малыш еще, а кто его затянул в такое дело? Или хотя бы ты, сколько тебе лет — двадцать будет или нет? А ты как болван, шагу ступить не смеешь — как бы не прогнать Самого. Подумал бы лучше над тем, как оно дальше будет, тут есть над чем поразмыслить.

Но заход Авдия не имел успеха — Петруха сразу обозлился.

— Ты это брось, Авдяй, и Леньку не трожь. Если ты на попа учился, забудь об этом. От твоих хороших слов пользы грош, а при нем, при Самом, мы деньги загребам. Ясно? Ленька сирота — кому он нужен, а с деньгами он сам с усам. Хочу — пью, хочу — ем. А твоими баснями сыт не будешь, а уж насчет того, чтобы погулять с дружками на славу, чтобы столы ломились и чтобы девки на эстраде так пели, чтоб до печеночек принимало, — и не мечтай. Вон у меня бра-

тья-братухи, трудяги-работяги, а глянул бы, как им дается этот рубль! Работают не разгибаясь. А мне нипочем рублевойкой подтереться! Деньги не любит только дурак, верно ведь, Ленька?

— Верно, — блаженно улыбаясь, тот согласно кивал головой, не усомнившись ни в чем.

Но это был лишь доступ к более основательному разговору, когда представится случай. Авдий понимал, что не следует слишком далеко заходить — иначе кто поверит, что он гонец-анашист, жаждущий прежде всего добыть деньги.

На другой день поднялись с рассветом. На краю земли едва занялась заря, раскинувшиеся поодаль дворы поселка еще спали, и даже собаки не лаяли, когда трое гонцов бесшумно пробирались огородами в открытую степь. По словам Петрухи, идти было не так далеко. Он знал, куда путь держать, и обещал, как только увидит где коноплю-анашу, сразу показать ее Авдию.

Вскоре такой случай представился. Довольно прочное, стеблистое, прямое растение с плотной бахромой соцветий вокруг стебля оказалось той самой анашой, ради которой они ехали из Европы в Азию. «Боже мой, — думал Авдий, глядя на анашу, — с виду такое обычное, почти как бурьян, растение, а столько дурманной сладости в нем для иных, что жизнь кладут на это зелье! А здесь оно под ногами!» Да, то была анаша, солнце уже поднялось и начало припекать, а они стояли среди безлюдного степного простора, где нет ни единого деревца, и вдыхали, разминая пальцами лепестки, прилипчивый запах терпкой дикой конопли. А ведь какие только причудливые видения не порождает анаша у курильщиков на протяжении многих веков! Авдий пытался представить себе былые восточные базары (он читал о них в книгах) в Индии, Афганистане или Турции, где-нибудь в Стамбуле или в Джайпуре у старых крепостных стен, у ворот некогда знаменитых дворцов, где анашу открыто продавали, покупали и там же и курили и где каждый на свой лад, в меру своей фантазии предавался разнообразным галлюцинациям — кому мерещились услады в гаремах, кому выезды на золоченых шахских слонах под роскошными балдахинами при стечении пестрого люда и трубном громогласии на праздничных улицах, кому мрачная тьма одиночества, порождаемая в недрах омертвелого сознания, тьма, вызывающая клочущую ярость, желание сокрушить и испепелить весь мир. Немедленно, сейчас, один на один!.. Не в этом ли крылась

одна из роковых пагуб некогда процветающего Востока? И неужели то сладостное помутнение разума тайлось в дикой конопле, запросто и обыденно произраставшей в этих сухих степях?..

— Вот она, родная! — приговаривал радостно Петруха, обводя широким жестом степные просторы. — Глянь, а вон еще и еще! Это все она — анаша! Но только здесь не будем собирать — это что! Это так себе! Я поведу вас в такие места, аж голова поплывет кругом...

И они пошли дальше и через час набрали на такие густые заросли анаши, что от одного духа ее повеселели, как от легкого опьянения. Конопля здесь было сколько душе угодно. И они стали собирать и листья, и цвет анаши и расстилали собранное для просушки. Петруха утверждал, что просушивать следует часа два, не больше. Работа спорилась... И все шло как нельзя лучше. Но вдруг откуда-то послышался гул вертолета. Он низко летел над степью и, кажется, направлялся в их сторону.

— Вертолет, вертолет! — по-мальчишески громко и радостно заорал Ленька и дергано запрыгал.

Но Петруха — тот не растерялся.

— Ложись, дурак! — закричал он и пустил матом.

И все они легли ничком, попрятались в траве — вертолет прошел чуть стороной, так что вряд ли вертолетчики заметили их, но Петруха потом все не мог успокоиться и долго выговаривал Леньке — ему казалось, что вертолет специально прилетал высматривать гонцов.

— А что, — рассуждал он, — сверху все видно, каждую мышку. А нас, дураков, видно за сто верст. Он как увидит, так и сообщит куда надо по рации. А если нагрянет милиция на машинах, здесь деваться некуда — только руки вверх, и крышка!

Но вскоре и он забыл об этом, надо было работать. Именно в тот день и произошел совершенно немислимый случай: Авдий встретился с волчьим семейством. А произошло это так.

Сделали перекур, подзакусили немного, и тут Петруха и сказал:

— Слушай, Авдий, ты вроде прижился уже у нас, стал свой в доску. Так вот я тебе что скажу. Значит, так, есть у нас один закон для новеньких, таких, как ты. Если первый, значит, раз на дело идешь, должен вроде сделать Самому уплату или подарок, как хошь понимай.

— Какой еще подарок? — развел руками Авдий, удивленный таким оборотом дела.

— Да ты постой, ты чего всполошился? Ты что думаешь, в магазин, что ли, за подарком бежать надо? Тут не добежишь. А я вот, значит, о чем толкую. Надо тебе пластилинчику подсобрать, ну хоть бы со спичечный коробок. Побегаешь тут по травкам, я тебе расскажу, как это делается, а тот пластилин, стало быть, при встрече преподнесешь вроде в дружбу, ды ты же умный человек, все понимаешь сам — он главный, ты подчиненный, такое тебе от него доверие...

Авдий задумался: а ведь для него есть тут свой резон — подношение пластилина, пыльцовой массы анаши, самого ценного продукта, могло открыть доступ к Самому. Возникла возможность увидеть наконец Самого. А как бы это было нужно!.. Вдруг удастся разговориться с Самим, под чьей властью были все гонцы. «Власть, власть, где два человека, там уж и власть!» — горько усмехнулся Авдий Каллистратов.

— Хорошо, — сказал он, — значит, соберу я пластилин и отдам его Самому. А когда отдам, на станции, что ли?

— Точно не знаю, — признался Петруха. — Может, завтра и отдашь.

— Как завтра?

— А так. Восвояси пора возвращаться. Хватит. А завтра — двадцать первое число. Завтра нам, как штык, до четырех дня надо быть на месте. Вот и двинемся.

— На каком месте?

— А на таком, — чванился своей осведомленностью Петруха. — Соберемся, тогда узнаешь. На триста тридцатом километре.

Авдий больше не стал спрашивать — понял и так, что триста тридцатый километр — это какой-то участок железной дороги на Чуйской ветке; важно было другое — встреча с Самим скорее всего могла состояться там и скорее всего завтра. Так не лучше ли, не теряя времени, приступить к сбору этого самого пластилина?

Дело оказалось немудреное, но до предела выматывающее и по способу варварское. Надо было, раздевшись догола, бегать по зарослям, чтобы на тело налипала пыльца с цветений конопли, что он и делал. Ну и пришлось же побегать Авдию Каллистратову в тот день — никогда в жизни он столько не бегал! Пыльца эта, едва видимая, почти микроскопическая, почти бесцветная, хотя и налипала, но собрать с тела этот почти незримый слой оказалось не так-то про-

сто — в результате всех усилий пластилина получалось ничтожно мало. И только сознание, что это необходимо для встречи с главным, величаемым Самим, для того чтобы, накопив материал, вскрыть потаенные пружины поведения гонцов и через слово, через газету огласить криком боли всю страну, — только это заставляло Авдия бегать и бегать взад-вперед под жарким солнцем.

В той беготне Авдий порядком удалился от дружков, выискивая в степи наиболее густые заросли анаши. И тут наступил какой-то момент удивительного состояния легкости, парения то ли наяву, то ли в воображении. Авдий и не заметил, как это случилось. В небе щедро светило солнце, воздух был пронизан теплом, порхали и пересвистывались какие-то птицы, особенно заливались жаворонки, мелькали бабочки и другие насекомые и тоже издавали разные звуки, — словом, рай земной, да и только, и в том раю, раздевшись догола, оставив на себе только панаму, очки, плавки и кеды, Авдий Каллистратов — белокожий тощий северянин, охмелевший от пыльцы, носился как заводной взад-вперед по степи, выбирая наиболее высокий и густой травостой. Вокруг него клубилась потревоженная пыльца цветущей, зазывающей себя конопля, и от долгого вдыхания того летучего дурмана в воображении Авдия, естественно, возникали разные видения. Особенно отраднo было одно: он мчитcя на мотоцикле, устроившись позади вчерашней мотоциклистки. Причем его нисколько не смущало то обстоятельство, что он сидит не за рулем могучего мотоцикла, как подобало бы настоящему мужчине, а пассажиром, пристроившись позади — там, где обычно сидят женщины. Но что делать, если он не умеет водить мотоцикл да и вообще далек от техники. Его вполне устраивало то, что он ехал вместе с ней на одном мотоцикле. Ее волосы развевались на ветру, выбиваясь из-под шлема, касались его лица, как руки ветра, липли к губам, к глазам, шекотали шею, и это было прекрасно; иногда она оглядывалась, озорно улыбалась ему, сияла глазами — как ему хотелось, чтобы так продолжалось вечно... без конца...

Очнулся он, лишь когда увидел возле себя троих волчат. Вот те на! Откуда они взялись? Он не верил своим глазам. Три волчонка, виляя хвостиками, хотели приблизиться к нему, поиграть с ним — робели, но не убегали. Голенастые, как подростки, с полуторчащими, нестойкими ушами, остромордые еще и с живыми и до смешного доверчивыми гла-

зами. Это почему-то так тронуло Авдия, что, позабыв обо всем, он стал ласково подзывать их к себе, забавлять и подманивать, а сам весь сиял от расположенности человеческой, и именно в этот момент он увидел — блеск белой молнии, белый оскал набегающей на него волчицы. Это было так неожиданно, так стремительно, но и так медленно и страшно, что он и не почувствовал, как сами собой подогнулись колени и как он присел на корточки, схватившись за голову, — он и не ведал, что именно это спасло ему жизнь: а волчица была уже в трех шагах и в яростном прыжке вдруг перемахнула через его голову, обдав звериным духом, и в ту минуту их глаза встретились, Авдий увидел огненный синий взор волчицы, ее бесподобно синие и жестокие глаза, и морбз прошел по коже, а волчица тем временем еще раз стремительно, как ветер, перескочила через него, и кинулась к волчатам, и с налета погнала их прочь, пустив в ход зубы, и заодно круто завернула с пути высунувшегося из оврага страшного зверя — громадного волка со вздыбленным загривком, и все они вмиг исчезли, словно бурей их унесло...

А Авдий, унося ноги, долго бежал по степи, и страх криком выходил из него. Он бежал, а голову мутило, тело отяжелело, и земля качалась под его заплетавшимися ногами — ему хотелось упасть, свалиться, заснуть, и тут его начало рвать, и он почувствовал, что настал его смертный час. И все-таки у него хватило воли отбегать каждый раз в сторону от мерзкой блевотины и бежать дальше, пока новый приступ рвоты не скрючивал его в три погибели, вызывая адские боли и резь в животе. Изрыгая пыльцовую отраву, мучаясь от судорог, Авдий, стеная, бормотал: «О Боже, прекрати, хватит! Никогда, никогда больше не буду собирать анашу! Хватит с меня, я не хочу, не хочу видеть и слышать этот запах, о Боже, сжался надо мной...»

Когда наконец рвота отпустила и он собрался уже идти искать свою одежду, к нему подбежали Петруха с Ленькой. Рассказ о встрече с волками страшно подействовал на них. Особенно перепугался Ленька.

— Ну не дрейфь ты! Чего так дрожишь? — напустился на него Петруха. — Когда люди за золотом шли, какие были случаи, и ничего, все равно шли... А ты каких-то волков испугался — так ведь их уже и след простыл...

— Так то за золотом, — сказал Ленька, помолчав.

— А какая тебе разница? — огрызнулся Петруха. Этим и воспользовался Авдий.



— Разница есть, Петр, — промолвил он. — И очень большая разница. От золота тоже много зла, но его открыто добывают, а анаша — она отравя для всех. На себе испытал, чуть концы не отдал, всю степь облевал...

— Да перестань, отравился малость с непривычки, кто тут виноват, — недовольно махнул рукой Петруха. — Тебя что, тащили сюда? Ты все о Боге, да что хорошо, да что плохо, чего ты нам игру портишь? Чего ты все воду мутишь? А как деньги, так ты тут — прикатил, чуть волкам в пасть не попал!

— Я хочу не мутить, а очистить воду. — Авдий решил, что придется раскрыться больше, чем рассчитывал. — Вот ты, Петр, вроде умный парень, но не может быть, чтобы ты не понимал, что на преступление идешь...

— Иду! А ты на что идешь?!

— Я иду, чтобы спасти!

— Спасать! — зло крикнул Петруха. — Это как же ты будешь спасать нас? Ну-ка расскажи!

— Для начала — покаемся пред Богом и пред людьми...

К удивлению Авдия, они не рассмеялись. Только Петруха сплюнул, будто в рот ему гадость какая попала.

— Покаемся! Придумал тоже, — проворчал он. — Это ты кайся, а мы будем деньги делать. Нам нужны деньги, понял, — просто и ясно! А ты — покайся! И если шутишь, Авдий, шути поосторожней! Узнает Сам, что ты тут сбиваешь нас, до мест своих не доберешься, запомни! Я тебе как другу говорю. И нас не смущай, для нас деньги — прежде всего! Ленька, скажи, что тебе нужно — Бог или деньги?

— Деньги! — ответил тот.

Авдий промолчал. Решил повременить, отложить разговор.

— Ну хватит, поговорили, и довольно, будем собираться, — примирительно распорядился Петруха. — А с твоим пластилином, Авдий, так, стало быть, ничего и не получилось?

— К огорчению, нет. Как кинулась на меня волчица — сам не знаю, где что оставил. И одежда где-то, пойду искать...

— Одежда-то найдется твоя, куда она денется, а вот пластилинчику наскрести уже не успеешь. Сегодня уходить пора. Ладно, расскажем, как дело было, поймет. А не поймет, в следующий раз собираешься...

С рюкзаками, набитыми травой анашой, до самой полуночи шли они в сторону железной дороги. Идти было не так тяжело, какая уж там тяжесть — подсушенная трава, но сильный запах анаши, не приглушаемый даже полиэтиленовыми пакетами, кружил голову, клонил ко сну. В полночь

гонцы завалились спать где-то в степи, с тем чтобы на рассвете двинуться дальше. Ленька втиснулся между Авдием и Петрухой — после того случая боялся волков. Понять нетрудно было — мальчишка еще. Получилось все наоборот, так хотелось спать на ходу, а когда легли, Авдий долго не мог заснуть. То, что Ленька попросился в серединку, его очень тронуло, кто бы мог подумать — эдакий парнишка, волков боится, — но какова должна быть власть порока, исковерканных сызмальства представлений о жизни, если даже Ленька давеча не моргнув глазом ответил, что деньги для него важнее Бога. Бог, конечно, имелся в виду условно, как символ праведной жизни. Вот о чем думалось Авдию...

Есть своя красота в степных ночах в летнюю пору. Тишина безмерная, исходящая от величия земли и неба, теплынь, напоенная дыханием многих трав, и самое волнующее зрелище — мерцающая луна, звезды во всей их неисчислимости, и ни пылинки в пространстве между взором и звездой, и такая там чистота, что прежде всего туда, в глубину этого загадочного мира, уходит мысль человека в те редкие минуты, когда он отвлекается от житейских дел. Жаль только, ненадолго...

А думалось Авдию о том, что все пока что сошлось, как он того хотел: добрался до конопляных степей, увидел все воочию и, как говорится, попробовал все на себе. Теперь оставалось самое сложное — сесть на поезд и уехать. Для гонцов наиболее опасный момент был провезти анашу. Задерживала их милиция главным образом на азиатских станциях, в российской части в этом смысле было полегче. А уж если удавалось добраться до Москвы и далее до места, это уж полный триумф. Великое зло бытия торжествовало, обернувшись маленьким успехом маленьких людей...

Смириться с этим Авдию было трудно даже в мыслях, но и предпринять что-либо, чтобы не просто пресечь, скажем, данное преступление, а перековать мышление, разубедить и переубедить гонцов, это — он понимал — ему не по силам. Тот, кто ему противостоял, находясь где-то здесь, в этих степях, тот, кто незримо держал в руках всех гонцов, и в том числе имел контроль и над ним, Авдием, тот, кто именовался среди них Самим, был гораздо сильнее его. И именно он, Сам, был хозяином, если не более того, — микродиктатором в их походе за анашой, а он, Авдий, примкнувший к ним, как бродячий монах к разбойникам, был по меньшей мере смешон... Но монах, господний идеалист и фанатик, при

всех обстоятельствах должен оставаться монахом... Это и ему предстоит...

Думалось ему еще о том, какой странный случай пережил он минувшим днем, — эти волчата, неразумные длинноногие переростки, принявшие человека за некое смешное безобидное существо, с которым они не прочь были порезвиться, и вдруг эта синеглазая разъяренная волчица. Какой гнев вскипел было в ней, и как затем все обошлось, и какой смысл в том, что она дважды перепрыгнула через него? И если на то пошло, что стоило ей и ее волку растерзать его вмиг, голого — если не считать панамы и плавок — и беззащитного городского идиота, настолько голого и беззащитного, что только в анекдоте могло быть такое. И вот надо же — судьба в лице этих зверей смилоствовала над ним: не значит ли это, что он еще необходим этой жизни? Но как хороша, как стремительна была необыкновенная синеглазая волчица в своем яростном порыве, в страхе за детенышей. Да, конечно, она была права по-своему, и спасибо ей, что не налетела, не наделала беды, ведь и он был ни в чем не повинен. И думая об этом, Авдий тихо рассмеялся, представив, что, если бы увидела его тогда та самая мотоциклистка, вот посмеялась бы! Потешалась бы небось, как над клоуном в цирке. Но потом его охватил страх: а что, если мотоцикл вдруг заглохнет где-то посреди безлюдной степи, она одна, а тут налетят волки?! И тогда он стал суеверно заклинять синеглазую волчицу: «Услышь меня, прекрасная мать-волчица! Ты здесь живешь и живи так, как тебе надо, как велено природой. Единственное, о чем молю, если вдруг заглохнет ее мотоцикл, Бога ради, ради твоих волчьих богов, ради твоих волчат, не трогай ее! Не причиняй ей вреда! А если тебе захочется полюбоваться на нее, такую прекрасную на могучей двухколесной машине, беги рядом, по обочине, беги тайно, обрети крылья и лети сбоку. И может, если верить буддистам, ты, синеглазая волчица, узнаешь в ней свою сестру в человеческом облике? Может же быть такое — ну и что, что ты волчица, а она человек, но ведь вы обе прекрасны, каждая по-своему! Не буду скрывать от тебя — я бы полюбил ее всей душой, да дурак я, конечно, дурак, кто же еще! Только безнадежные дураки могут так мечтать. А если бы она каким-то образом узнала, о чем я думаю, то-то посмеялась бы, то-то нахохоталась бы! Но если бы это порадовало ее, пусть смеется...»

Было еще относительно темно — только-только свет над степью разлился, когда Петруха стал будить Авдия и Лен-

ку. Пора было вставать да двигаться к трехсот тридцатому километру. Чем раньше, тем лучше. Потому что не они одни, а еще две-три группы гонцов должны были к тому времени сойтись в том месте с добытой и уже подсушенной анашой. Предстояло остановить какой-нибудь проходящий товарняк, незаметно сесть в него и добраться так до станции Жалпак-Саз, а уж там просочиться на другие поезда. В общем, для гонцов начинался самый опасный отрезок пути. Всей операцией вроде бы должен был руководить Сам. Он ли их встретит, они ли его отыщут на трехсот тридцатом километре, Петруха толком не объяснил. То ли не знал, то ли не желал говорить.

И снова вскинули рюкзаки на плечи и двинулись за Петрухой. Удивляло Авдия топографическое чутье, память Петрухи. Он заранее предсказывал, где какой овраг, где родничок в притенении, где ложбинка или балочка. И сожалел Авдий, что такие способности, такая память в Петрухе пропадают! Наездами здесь бывал, а как все знает!

Так я, говорил он, родом из крестьянской семьи. Рассказывал еще Петруха, что, по слухам, километрах в двухстах от этих мест начинается пустыня Моюнкум, а там, дескать, сайгаков этих, антилоп степных, видимо-невидимо и что вроде хорошие люди, у которых добрые служебные газики, наезжают на охоту чуть ли не из самого Оренбурга. И приезжают-то как — закуска живая бегают, а выпивон какой хошь с собой привозят. Да, царская охота! Но и опасность вроде немалая, бывали случаи, что машина выходила из строя, а охотники погибали от жажды, заплутавшись в степи. А зимой, случалось, и буран застигал степной. Потом находили, мол, только косточки. А один охотничек даже умом тронулся — его потом на вертолете искали. Вертолет за ним летит, хочет его спасти, а он от вертолета бежит, прячется. Долго за ним гонялись, а когда поймали, он уж разговаривать разучился. А жена, говорят, тем временем за другого успела выскочить! Вот стерва! Все они такие! Вот я и не думаю жениться! Есть у меня в городе одна баба классная, подкинешь ей на шмотки, так лучше нет, и слово дает — никаких ребеночков не будет. А самое главное — мотягу уже купил, чехословацкий спортак в сарае стоит, а теперь, значит, «жигуль» — это не проблема, вот бы где «Волгу», ту, новую, что на «мерседес» похожа, вот где бы такую отхватить с кассетником, чтобы включил бы, а она тебе поет, в печенки лезет. Блат нужен, всюду плата и переплата. Да на своей

«Волге»-то покатить в Воркуту — пусть братуханы поглядят. Хе-хе, жены-то их от зависти лопнут. А в багажнике выпивон на выбор, все больше иномарка. Ну и своя водочка — лучше нет, конечно. Как тут не позавидовать, вроде Иванушка-дурачок, а на тебе... А потому и хожу в гонцах и вас, милые дружочки, веду пожитьяся, живи, когда лафа, а нет — соси лапу до вздутия живота...

Слушая эту, казалось бы, ничемную, непритязательную болтовню Петрухи, занимавшего тем самым себя и своих попутчиков, Авдий думал о своем, о том, что человек раздрается между соблазном обогащения, подражанием тотальному подражанию и тщеславию, что это и есть три кита массового сознания, на них всюду и во все времена держится незыблемый мир обывателя, пристанище великих и малых зол, тщеты и нищеты воззрений, что трудно найти такую силу на земле, включая и религию, которая смогла бы перебороть всемогущую идеологию обывательского мира. Сколько самоотверженных взлетов духа разбивалось об эту несокрушимую, пусть и аморфную твердыню... И то, что он шел в этот час на явку добытчиков анаши, свидетельствовало о том же — дух беспомощен, хоть и неустанен... И так-ва, выходит, его планида... Всю дорогу он мысленно готовил себя к встрече с Самим — он должен был быть готов к бою...

Они вышли на трехсот тридцатый километр часа на два раньше — и в третьем часу были уже на месте. Приближаясь к балке, что шла вдоль железной дороги, Петруха предупредил: рюкзаки прятать там, где укажет, не высовываться, не разгуливать на виду у проходящих поездов. Все время ждать его указаний.

Устали все же порядком — еще бы, столько пройти за день! Приятно было растянуться в балке на шелковистом лугу, где вперемешку с шалфеем рос ковыль. Приятно было слышать, как возникал вдали гул поездов, как он нарастал, как гудели и подрагивали рельсы под набегающими тяжело-весными километровыми составами, как грозно пролетали поезда, громохоча колесами и принося с собой дух железа и мазута, и как долго еще не умолкал вдали шум движения, постепенно растворяясь в океане окружающей тиши... Пролетали и пассажирские поезда, один — в одну, другой — в другую сторону, Авдий встрепенулся было — он с детства любил стоять смотреть, куда несутся пассажирские поезда, кто мелькает в окнах, чьи фигуры и лица. Ах, счастливы, возьмите меня с собой! В этот раз, однако, и этих мимолет-

ных радостей он был лишен — пришлось притаиться за кустиком и не поднимать головы. А что хуже того — ему предстояло быть соучастником или хотя бы очевидцем бандитской остановки одного из товарных поездов на этом участке. Нет, никто не собирался грабить состав, но остановка поезда позволяла гонцам заскочить в вагоны, а дальше уже все шло само собой. Дальше им предстояло укатить, спрятавшись в товарняке...

Поезда шли туда-сюда. Потом наступили длительная пауза и полная тишина. Авдий было задремал, но тут раздался свист. Петруха прислушался, тоже свистнул — и в ответ ему еще раз раздался свист.

— Ну, вы тут ждите спокойно, — сказал Петруха, — а я пойду, меня вызывают. И чтобы без меня никуда, слышал, Авдий, слышал, Ленька? Товарняк застопорить не такое простое дело. Тут надо действовать с головой.

С этими словами он исчез. Вернулся он примерно через полчаса. И странный какой-то он вернулся, Петруха. Что-то в нем неуловимо изменилось, глаза были вороватые, избегали прямых взглядов. Авдий не любил в таких случаях давать волю своей подозрительности, гнал от себя ненужные мысли. Мало ли что может показаться — вдруг у человека просто живот болит... И потому спокойно осведомился:

— Ну что, Петр, как дела-то?

— Пока ничего, все нормально. Скоро будем действовать.

— Товарняк останавливать, что ли?

— Ну ясно. Самое верное в нашем деле — укатить на товарняке. А самое лучшее — если б на ночь глядя прикатить на станцию да поставить бы состав на запаску.

— Вот оно как.

Они помолчали. Петруха закурил и сказал как бы между прочим, затягиваясь сигаретой:

— Тут у нас один друг ногу подвернул, Гришаном зовут. Я сейчас его повидал. Не повезло Гришану. С ногой разве что насобираешь — куда там, с палкой ходит. Обидно, конечно, человеку. Так вот, может, скинемся все понемногу, сколько нас тут будет, гавриков, — человек десять? Каждый понемногу отсыплет от себя анашишки, смотришь, и выручим парня.

— Я готов, — отозвался Авдий. — Ленька вон спит, но думаю, и он не поскупится.

— Ну, Ленька-то — он свой оголец! А ты, Авдьясь, пошел бы да поговорил бы с Гришаном. Как, мол, да что, человек

ты грамотный, вроде и настроение бы поднял захромавшему...

— А Сам где, там, что ли? — неосторожно спросил Авдий.

— Да что ты все — Сам да Сам, — рассердился Петруха. — Откуда мне знать? Я тебе про Гришана, а ты мне про Самого. Надо будет, он найдет нас, а не надо, наше дело маленькое. Что ты все беспокоишься?

— Да ладно тебе. Ну спросил ненароком. Успокойся. А где он, Гришан-то? В какой стороне?

— А иди вон туда — вон он там, в тенечке, под кустом сидит. Иди, иди!

Авдий и направился в ту сторону и вскоре увидел Гришана — тот сидел среди трав на маленьком раскладном стульчике, держа палку в руках. Кепочка прикрывала ему лоб. Верткий, кажется, был человек — не успел Авдий подойти, а он уж оглянулся и в кулак кашлянул. Неподалеку от него сидели еще двое. Всего их было трое. И Авдий понял, что это и был Сам... Замедляя шаги, он почувствовал, как пронизало его холодом и сердце учащенно заколотилось...

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

— Привет пострадавшему, — сказал Авдий как можно обыденнее, пытаясь умерить тем сердцебиение в груди.

Гришан, сидевший на своем крохотном раскладном, как у рыбаков, стульчике, поигрывая палкой, прищурил один глаз.

— Привет-то привет, а от кого привет?

Авдий невольно улыбнулся:

— От того, кто для начала должен осведомиться о твоём самочувствии.

— А, вон как! Очень признателен, положительно признателен, хоть и только для начала. В безлюдной степи такое внимание вдвойне дорого. Еще бы! Все мы человеки, не так ли?

«А он многословен и если к тому же еще и начитан, то беда. Вот уж чего не ожидал так не ожидал. Рисуется, выдаст себя за говоруна, — подумал Авдий. — К чему бы? Или

это игра Самого?» И еще отметил Авдий про себя отсутствие каких-либо примечательных черт в облике Гришана. Все в нем было заурядно: в меру шатен, выше среднего роста, худощав, одет не броско, как обычно одеваются в его возрасте, — джинсы, заношенная рубашка на «молнии», неприметная кепочка, которую в случае чего можно сунуть в карман. Если бы Гришан не прихрамывал и из-за этого не ходил с толстой суковатой палкой, его трудно было бы выделить, повсюду он бы затерялся в толпе. Разве что глаза Гришана запомнились бы, если за ним понаблюдать побольше. Выражение его юрких карих глаз все время менялось, возможно, он и сам не замечал, как часто шурился, косился, играл бесцветными бровями, напоминая загнанного в угол хищного зверька, который хочет кинуться, укусить, но не решается и все-таки храбрится и принимает угрожающую позу. Возможно, такому впечатлению способствовал обломанный верхний резец, обнажившийся при разговоре. «А ведь мог поставить себе какую-нибудь золотую коронку, но почему-то не делает этого, — подумал про него Авдий. — Возможно, не желает иметь лишнюю примету».

— С ногой-то что? Подвернул? Недоглядел, стало быть? — поинтересовался он из вежливости.

Гришан неопределенно покачал головой.

— Да, можно сказать, повредил малость. Недоглядел, ты прав, Авдий, так, кажется, тебя зовут?

— Да, я именуюсь Авдием.

— Имя-то редкое какое, библейское, — нарочито растягивая и смакуя слова, размышлял Гришан. — Авдий — определенно имечко церковно-приходского разлива, — задумчиво заключил он. — Да, когда-то люди с Богом жили. Вот откуда на Руси — Пречистенские, Боголеповы, Благовестовы. И фамилия у тебя, Авдий, должно быть, соответствующая?

— Каллистратов.

— Вот видишь, все совпадает... Ну а я попроще зовусь, по-пролетарски — Гришаном. Да не это важно. Так вот, прав ты, Авдий Каллистратов, недоглядел я с ногой. Страшноватый вывод напрашивается из этого: человек, коли он не последний дурак, непременно должен себе под ноги смотреть. И байка о дурной голове, от которой ногам покою нет, о том же. Как видишь, иinvalidствую. Банальная история, собственно.

— И на чем это отразилось? — спросил Авдий, имея в виду намеки Петрухи.



— Не понял, — насторожился Гришан.

— Я о том, что эта банальная история отразилась на твоём деловом успехе — так надо понимать? — пояснил Авдий.

— Ну, это уже другой разговор! — Гришан сразу переменялся, отбросил пустой наигрыш. — Если ты о деле речь ведешь, тогда ты прав. Но не это сейчас главное, не это меня беспокоит. Я, да ты и сам, конечно, догадываешься, иначе зачем бы я сейчас с тобой разговаривал, зачем мне это пустопорожнее бле-бле-бле... Словом, я тут вроде распорядителя, что ли, или, скажем, старшины армейского, и для меня самое главное пробиться через линию фронта, сохранив живую силу.

— Чем могу быть полезен в таком случае? Да и вообще стоило бы поговорить, — предложил Авдий. — Мне ведь тоже об этой живой силе есть что сказать...

— Ну, коли такое совпадение интересов, тут уж не поговорить, а потолковать надо, — уточнил Гришан. — Я как раз на это и нацеливался. Ну вот, к примеру, напрашивается вопрос, так сказать, между нами, девочками, говоря, — хитровато намекнул он и, помолчав, велел тем двоим гонцам, что, не вмешиваясь в разговор, сидели в сторонке:— А вы, чем без дела сидеть, ступайте, готовьтесь!

И они молча ушли выполнять то, что было, видимо, заранее обговорено. Отдав распоряжение, Гришан взглянул на часы.

— Через часок начнем посадочную операцию. Посмотришь, как это делается, — пообещал он Авдию. — У нас здесь строго. Дисциплина, как в десанте. А мы и есть настоящий десант беззаветно преданных Родине. С большой буквы. И ты тоже должен действовать, как прикажут. Без всяких там «могу», «не могу». Если все сработает как надо, к вечеру доберемся до этого самого Жалпак-Саза.

Гришан многозначительно замолчал. Потом, бросив злорадный взгляд на Авдия, сказал с усмешкой, обнажив щербатый зуб:

— А теперь о главном. О том, что тебя к нам привело. Ты не торопись, не спеши. Так вот, в так называемом преступном мире, в котором ты странным образом очутился, о чем речь будет еще впереди, экспозиция твоя такова: ты — гонец, ты повязан с нами и ты слишком много знаешь. Ты, похоже, не дурак, но ведь ты сам полез в капкан. Так что теперь, будь ласка, оплачивай мое высокое доверие не менее высокой ценой.

— Что ты имеешь в виду?

— Думаю, ты сам догадываешься...

— Догадываться — одно, говорить впрямую — другое.

Оба замолчали, пережидая, когда прогрехочет проходящий мимо состав, — каждый по-своему готовился к неизбежному теперь поединку. Авдию в ту минуту подумалось о том, как странно складываются людские отношения: даже сюда, в голую степь, где, казалось бы, все равны, где у всех одинаковые шансы, всем одинаково грозят провал и уголовная ответственность, а при удаче всех ждет одинаковый успех, люди, как свою кровь, принесли с собой неистребимые законы, согласно которым у Гришана, в частности, было некое неписанное право повелевать, потому что он был здесь хозяином.

— Так ты велишь говорить впрямую? — прервал молчание Гришан. — Хорошо, — неопределенно протянул он и вдруг, как бы спохватившись, лукаво добавил: — Слушай, а правда, что на тебя волки нападали?

— Да, было дело, — подтвердил Авдий.

— А не кажется ли тебе, Авдий Каллистратов, что судьба оставила тебя в живых для того, чтобы ты ответил мне сейчас на несколько вопросов, — обнажил в улыбке осколок зуба Гришан.

— Пусть так.

— Тогда кончай крутить. Ты мне должен объяснить здесь, сейчас и не сходя с места: чего ты мутишь моих ребят?

— Одна поправка, — перебил его Авдий.

— Какая? Что за поправка к биллю?

— Я пытаюсь наставить их на путь истинный, а значит, слово «мутить» тут никак не подходит.

— Это ты брось, товарищ Каллистратов. Истинный, не истинный — на этот счет у каждого свое понятие. Ты эти штучки оставь. Здесь не место изощряться в словопрениях. Я хочу знать: что тебе надо понять, чего ты для себя доби- ваешься, святой отец?

— Ты подразумеваешь какую-то личную выгоду?

— Безусловно, а то что же? — широко развел руками Гришан и торжествующе-глумливо улыбнулся.

— В таком случае — ничего, абсолютно ничего, — отрезал Авдий.

— Прекрасно! — почти радостно вскричал Гришан. — Лучшего и не придумаешь! Все совпадает. Так ты, выходит, из той сияющей породы одержимых идиотов, которые...

— Остановись! Я знаю, что ты хочешь сказать.

— Значит, ты подался в Моюнкумы под видом добытчика анаши, затесался к нам, стал у нас прямо как свой, и не потому, что деньгу большую возлюбил, как Христа, и не потому, что деваться было некуда после того, как тебя выперли из семинарии и тебе нигде ходу не было? Да будь я на месте этих попов, я бы в два счета пинками тебя вышиб — ведь ты такой даже им и то не нужен. Они ведь в старые игры играют, а ты все взаправду, все всерьез...

— Да, всерьез. И ты принимай меня всерьез, — заявил Авдий.

— Еще бы! Ты что же, считаешь, что я тебя не понимаю, а я тебя насквозь вижу, вижу, кто ты есть. Ты — чокнутый, ты — фанатик собственного идиотизма, потому ты и подался сюда, а иначе что бы тебя сюда занесло? Прибыл, стало быть, с благородной целью этаким мессией, чтобы открыть глаза нам — падшим, промышляющим добычей анаши, торгующим и спекулирующим запрещенным дурманом. Прибыл распространять извечные спасительные идеи, от которых, как мочой, за три версты несет прописными истинами. Прибыл отворотить нас от зла, чтобы мы раскаялись, изменились, чтобы приняли обожаемые тобой стандарты тотального сознания. Вот ведь и Запад утверждает, что у нас все на один манер мыслят. — Гришан неожиданно проворно для пострадавшего от ушиба человека поднялся с полотноного своего стульчика и шагнул к Авдию, вплотную приблизив свое разгоряченное лицо к его лицу. — А ты, Спаситель-эmissар, подумал прежде о том, какая сила тебе противостоит?

— Подумал, и потому я здесь. И предупреждаю тебя: я буду добиваться своего ради вас же самих, чего бы мне это ни стоило, ты уж не удивляйся.

— Ради нас самих же! — скривился Гришан. — Не беспокойся, не удивляюсь, чего ради мне удивляться тому, на чем свихнулся еще тот, кого распяли, Спаситель рода человеческого... Раскинул руки в гвоздях на кресте, голову свесил, скорчил мученическую рожу и на тебе — любуйтесь, плачьте и поклоняйтесь до конца света. Недурно, понимаешь ли, придумали себе иные умники занятие на все века — спасти нас от самих же себя! И что же, кто спасен и что спасено в этом мире? Ответь мне! Все, как было до Голгофы, так оно есть и до сих пор. Человек все тот же. И в человеке ничто с тех пор не изменилось. А мы все ждем, что вот придет кто-то спасти нас, грешных. Тебя вот, Каллистратова, недоставало в этом деле. Но вот и ты явился к нам. Явился не за-

пылился! — скорчил комическую мину Гришан. — Добро пожаловать, новый Христос!

— Обо мне можешь позволять себе говорить что угодно, но имени Христа не упоминай всеу! — одернул его Авдий. — Ты возмущаешься и удивляешься тому, что я здесь появился, а это не удивительно — ведь мы неотвратимо должны были встретиться с тобой. Вдумайся! Неужто ты этого не понимаешь? Не я, так кто-то другой непременно должен был бы столкнуться с тобой. А я вычислил эту встречу...

— Быть может, ты и меня вычислил?

— И тебя. Наша встреча с тобой была неотвратима. Вот я и явился не запылиться, как ты говоришь.

— Вполне логично, черт побери, — мы же не можем обходиться друг без друга. И в этом есть, наверно, какая-то своя сволочная закономерность. Но не ликуй, Спаситель Каллистратов, твоя теория на практике ничего не даст. Однако хватит философствовать, хотя ты и довольно занятный субъект. Хватит, с тобой все ясно! Вот мой добрый совет тебе, коли уж так обернулось: иди, Каллистратов, своей дорогой, спасай прежде всего свою головушку, тебя никто сейчас не тронет, а то, что собрал в степи, если хочешь, можешь раздать, сжечь, пустить по ветру — воля твоя. Но смотри, чтобы наши с тобой пути никогда больше не пересеклись! — И Гришан выразительно постучал палкой по камню.

— Но я не могу принять твой совет. Для меня это исключается.

— Послушай, да ты настоящий идиот! Что тебе мешает?

— Я перед Богом и перед собой в ответе за всех вас... Тебе, быть может, не понять этого...

— Нет-нет! Отчего же?! — вскричал Гришан, от гнева бледнея и возвышая голос. — Я, между прочим, вырос в театральной семье, и поверь мне, я оценил и понял твою игру. Но не слишком ли ты увлекся, ведь после любого, даже гениального, исполнения в заключение дают занавес. И сейчас занавес, товарищ Каллистратов, опустится при одном-единственном зрителе. Смирись! И не заставляй меня брать лишний грех на душу. Уходи, пока не поздно.

— Ты о грехе толкуешь. Я понимаю, что ты имеешь в виду, но устраниться, видя злодеяние своими глазами, для меня равносильно тяжкому грехопадению. И не стоит меня отговаривать. Мне вовсе не безразлично, что будет, скажем, с малолетним Ленькой, с Петрухой, да и с другими ребятами, что состоят при тебе. Да и с тобой в том числе.

— Потрясающе! — перебил его Гришан. — С какой же стати ты берешь на себя право вмешиваться в нашу жизнь? В конце концов, каждый волен распоряжаться своей судьбой сам. Да я тебя впервые в жизни вижу, да кто ты есть такой, чтобы печься обо мне и других, будто тебе даны какие-то полномочия свыше! Уволь! И не испытывай судьбу. Если ты чокнутый, иди с богом, а мы как-нибудь обойдемся без тебя. Понял?!

— Но я не обойдусь! Ты требуешь полномочий — так вот, мандатов мне никто не выдавал. Правота и сознание долга — вот мои полномочия, а ты волен считаться или не считаться с ними. Но я неукоснительно их выполняю. Вот ты тут заявил, что вправе сам решать свою судьбу. Звучит прекрасно. Но не бывает изолированных судеб, нет отделяющей судьбу от судьбы грани, кроме рождения и смерти. А между рождением и смертью мы все переплетены, как нити в пряже. Ведь ты, Гришан, и те, кто оказался под твоей властью, сейчас ради своей корысти несете из этих степей вместе с анашой несчастье и беду другим. Соблазном мимолетным вы вовлекаете людей в свой круг — круг отчаяния и падения.

— А ты что нам за судья? Тебе ли судить, как нам жить, как поступать?

— Да я вовсе не судья. Я один из вас, но только...

— Что «но только»?

— Но только я сознаю, что над нами есть Бог как высшее мерило совести и милосердия.

— Опять Бог! И что ты хочешь этим нам еще сказать?

— А то, что Божья благодать выражает себя в нашей воле. Он в нас, он через наше сознание воздействует на нас.

— Слушай, к чему такие сложности? Ну и что из этого следует? Нам-то что это даст?

— Как что! Ведь благодаря силе разума человек властвует над собой, как Бог. Ведь что такое искреннее осознание порока? По-моему, это осуждение зла в себе на уровне Бога. Человек сам определяет себе новый взгляд на собственную сущность.

— Чем отличается твой взгляд от массового сознания? А мы от него бежим, чтобы не оказаться в плену толпы. Мы не вам чета, мы сами по себе.

— Ошибка. Свобода лишь тогда свобода, когда она не боится закона, иначе это фикция. А твоя свобода под вечным гнетом страха и законного наказания...

— Ну и что из этого? Тебе-то какая печаль — ведь это наш выбор, а не твой?

— Да, твой, но он касается не только тебя. Пойми, есть выход из тупика. Покайтесь вот здесь, прямо в степи, под ясным небом, дайте себе слово раз и навсегда покончить с этим делом, отказаться от наживы, что сулит черный рынок, от порока и ищите примирения с собой и с тем, кто носит имя Бога и единым разумом объединяет нас...

— И что тогда?

— И тогда вы вновь обретете человеческую суть.

— Красиво звучит, черт возьми! И как просто! — Гришан нахмурился, поигрывая суковатой палкой, переждал, пока пронесся скрытый за увалом еще один грузовой состав, и, когда шум поезда стих, в наступившей тишине произнес, жёстко и насмешливо сверля взглядом разоткровенничавшегося Авдия:— Вот что, достопочтенный Авдий, я терпеливо выслушал твои суждения, как говорится, хотя бы любопытства ради и должен крупно тебя разочаровать: ты ошибаешься, если в своем самодовольстве полагаешь, что только тебе дано говорить с Богом в мыслях своих, что я не имею контакта с ним, что привилегия такая только у одного тебя, у праведно мыслящего, а я ее лишен. Вот ты сейчас чуть не захохотался от удивления, слух твой резануло, что с Богом может быть в контакте и такой, как я?

— Совсем нет. Просто слово «контакт» тут несколько непривычно. Напротив, я рад это услышать из твоих уст. Возможно, в тебе что-то переменилось?

— Нисколько! Что за наивность. Так знай, Калистратов, только смотри не стань зайкой — у меня к Богу есть свой путь, я вхож к нему иначе, с черного хода. Не так твой Бог разборчив и недоступен, как тебе мнится...

— И чего ты достигаешь, попав к Богу с черного хода?

— Да не меньшего, чем ты. Я помогаю людям изведать счастье, познать Бога в кайфе. Я даю им то, чего вы не можете дать им ни своими проповедями, ни своими молитвами... Своих людей я приближаю к Богу куда оперативнее, чем кто-либо.

— Приближаешь к Богу, купленному за деньги? С помощью зелья? Через дурман? И это ты называешь счастьем познания Бога?

— А что? Думаешь небось, святотатство, богохульство! Ну да! Я оскверняю твой слух. Конкурент твой, понимаешь ли! Дорогу тебе перебежал. Да, черт побери, да, деньги, да, нар-

котики! Так вот, деньги, если хочешь знать, — это все. Ты что думаешь, у денег особый Бог? А в церквах и прочих учреждениях вы что, без денег обходитесь?

— Но это же совсем другое дело!

— Оставь! Не заливай! На свете все продается, все покупается, и твой Бог в том числе. Но я, по крайней мере, даю людям покайфовать и испытать то, что вы сулите лишь на словах и вдобавок на том свете. Лишь кайф дает блаженство, умиротворение, раскованность в пространстве и во времени. Пусть блаженство это мимолетно, пусть призрачно, пусть оно существует лишь в галлюцинациях, но это счастье, и достижимо оно только в трансе. А вы, праведники, лишены даже этого самообмана.

— Одно ты верно сказал — все это самообман.

— А ты как хотел? Получить правду всего за пять копеек? Так не бывает, святой отец! За неимением иного счастья кайф его горький заменитель.

— Но кто тебя просит заменять то, чего нет?! Ведь это злой умысел — вот что это такое!

— Полегче, полегче, Каллистратов! Ведь я, если разобратся, ваш помощник!

— Как так?

— А вот так — и ничего тут странного нет! Человеку так много насулили со дня творения, каких только чудес не наобещали униженным и оскорбленным: вот Царство Божие грядет, вот демократия, вот равенство, вот братство, а вот счастье в коллективе, хочешь — живи в коммунах, а за прилежность вдобавок ко всему наобещали рай. А что на деле? Одни словеса! А я, если хочешь знать, отвлекаю неустроенных. Я громоотвод, я увожу людей черным ходом к несбыточному Богу.

— Да ты куда опаснее, чем я ожидал! Какую мировую смуту ты мог бы заварить — представить страшно! В тебе, быть может, умер маленький Наполеон.

— Бери выше! Почему не большой? Дали б мне волю, я бы мог так развернуться! Если б мы на Западе вдруг оказались, я бы еще не такими делами ворочал. И тогда ты не дерзнул бы со мною полемизировать, а смотрел бы на то, что есть добро, а что есть зло, так, как мне угодно...

— Не сомневаюсь. Но страшного в твоих словах тоже не вижу. Все, что ты говоришь, не ново. Ты, Гришан, паразитируешь на том, что люди изверились, а это культивировать куда удобнее. Все плохо, все ложь, а раз так — утешься в

кайфе. А ты попробуй, если клеймишь все, что было, дать людям новый взгляд на мир. Вера — это тебе не кайф, вера — продукт страданий многих поколений, над верой трудиться надо тысячелетиями и ежедневно. А ты на позорном промысле желаешь перевернуть чередование дня и ночи, извечный порядок. И, наконец, начинаешь ты за здоровье, а кончить придется за упокой — ведь вслед за кайфом, так тобою перевозносимым, наступает полоса безумия и окончательная деградация души. Что ж ты не договариваешь до конца? Выходит, кайф твой — провокация: ведь придя к Богу мнимому, тут же попадаешь в объятия сатаны. Как с этим быть?

— А никак. На свете за все есть расплата. И за это тоже. Как за жизнь есть расплата смертью... Тебе не приходило это в голову? Что притих? Тебе, святоша, конечно, не по нутру моя концепция!

— Концепция антихриста? Никогда!

— Ха-ха! Что стоит твое христианство без антихриста? Без его вызова? Кому оно нужно? Какая в нем потребность? Вот и выходит, что я вам необходим! А иначе с кем вам бороться, как продемонстрировать воинственность своих идей?

— Ну и изворотлив ты — прямо уж! — невольно рассмеялся Авдий. — Готов играть на противоречиях. Но не витийствуй. Нам с тобой не найти общего языка. Мы антиподы, мы несовместимы — вот почему ты гонишь меня отсюда. Ты меня боишься. Но я все равно настаиваю: покайся, освободи гонцов из своей паутины. Я предлагаю тебе свою помощь.

Гришан неожиданно промолчал. Нахмурился, стал молча ходить взад-вперед, опираясь на палку, потом приостановился.

— Если ты думаешь, товарищ Каллистратов, что я тебя боюсь, ты очень ошибаешься. Оставайся, я тебя не гоню. Сейчас мы будем пробираться на товарняк. Устроим, так сказать, организованный набег на транспорт.

— Скажи лучше — разбойничий, — поправил Авдий.

— Как тебе угодно, разбойничий так разбойничий, но не с целью грабежа, а с целью нелегального проезда, а это вещи разные, ведь твое государство лишает нас свободы передвижения...

— Государство оставь в покое. Так что ты хочешь мне предложить?

— Ничего особенного. При разбойничьей, как ты изволил уточнить, посадке, — кивнул Гришан в сторону железнодорожных путей, — все будут в сборе, все на виду. Вот и



попробуй переубеди их, малолетних Ленек и разбитных Петрух, спасай их души, Спаситель! Я ничем, ни единым словом тебе не помешаю. Считай, что меня нет. И если тебе удастся повести этот народ за собой, обратить его к своему Богу, я тут же удалюсь, как и полагается удаляться при поражении. Ты понял меня? Принимаешь мой вызов?

— Принимаю! — коротко ответил Авдий.

— Тогда действуй! А о том, о чем мы здесь говорили, никто и знать не будет. Скажем, потолковали о том о сем.

— Спасибо! Но мне скрывать нечего, — ответил Авдий.

Гришан пожал плечами.

— Ну, смотри, как сказано в Библии, «ты говоришь!».

Был уже седьмой час вечера одного из последних дней мая. Но солнце по-прежнему ярко и горячо светило над степной равниной, и подозрительно застывшие серебристые облака, что весь день стояли как на приколе, поначалу бледные, к вечеру сгустились и темнеющей полосой нависли над самым горизонтом, поселив чувство необъяснимой тревоги в душе Авдия. Очевидно, надвигалась гроза.

А поезда все шли в ту и в другую стороны, с севера на юг и с юга на север, и земля подрагивала и сотрясалась под их тяжелыми колесами. «Сколько земли, сколько простора и света, а человеку все равно чего-то недостает, и прежде всего — свободы, — думал Авдий, глядя на необъятные степные просторы. — И без людей человек не может жить, и с людьми тяжело. Вот и сейчас — как быть? Что сделать, чтобы каждый, кто попал в сети Гришана, поступил бы, как велит ему разум, а не так, как принуждают его действовать сообщники из страха или из стадного чувства, и прежде всего потому, что не в силах побороть влияние этого иезуита от наркомании. Нет, каков! Страшная, опаснейшая бестия. Как мне быть, что предпринять?»

И час настал. Перед тем как остановить товарняк, гонцы, схоронясь за травами и кустарниками, рассредоточились группами по два-три человека вдоль железной дороги. Свист был условным знаком. Когда вдали показался состав, возникший, как ползущая змея, на далеком изгибе пути, все, едва раздался свист, приготовились к броску. Рюкзаки, чемоданы с анашой были под рукой. Авдий вместе с Петрухой и Ленькой втроем залегли за кучей щебня, оставшегося от ремонтных работ на железной дороге. Неподалеку от них держался Гришан с двумя другими гонцами: одного, рыжеголового, звали Колей, другого, горбоносого и ловкого, говорив-

шего с кавказским акцентом, звали Махачем — по всей вероятности, он был из Махачкалы. Об остальных Авдий ничего не знал, но ясно было, что еще двое-трое гонцов нашли себе удобные укрытия и тоже готовились к решающему броску. Что касается тех двоих, которых Гришан послал химичить на путях, устроить иллюзию пожара на мосту и тем вынудить машиниста остановить локомотив, то они находились далеко впереди по движению поезда, возле дорожного указателя с пометкой «330 км». Здесь железная дорога проходила по небольшому мосту, перекинутому через глубокий овраг, размытый весенними паводками. Там, в этом уязвимом месте, и химичили двое, которые среди гонцов прозывались диверсами.

Поезд стремительно надвигался, и Авдий понимал, что все очень нервничает, как и что у них получится, удастся ли быстро заскочить в вагоны и каким еще окажется состав, а что, если сплошь из цистерн — куда тогда пристроиться? А, неровен час, еще окажется охраняемый военный эшелон, тогда и вовсе хана.

Ленька трясущимися от волнения руками закурил сигарету. Петруха тут же гневно цыкнул на него:

— А ну брось! Убью, падла.

Но тот, синюшный и бледный, продолжал жадно затягиваться взахлеб, и тогда Петруха метнулся к нему зверем, ударил наотмашь по голове, сбил фуражку. Однако и Ленька не остался в долгу — ответил ударом на удар и, изловчившись, пнул Петруху ногой. Петруха и вовсе остервенел — и между ними завязалась яростная потасовка.

Авдию пришлось привстать:

— Прекратите, сейчас же прекратите. Петруха, не трогай Леньку. Как тебе не стыдно!

Но Петруха со злости накинулся на Авдия:

— А ты-то чего лезешь, поп — толоконный лоб! Что встал, чурка, тебя же за версту видно! — И изо всех сил дернул за штанину. Разгоряченные стычкой, переругиваясь и тяжело дыша, они откатились на свои места.

А поезд был уже на подходе. Волнение гонцов невольно передалось и Авдию. Момент, что и говорить, был чрезвычайно напряженный и опасный.

Авдий с детства любил следить за поездами: ведь он еще застал послевоенные паровозы, те романтические машины, выбрасывавшие могучие столбы дыма и клубы пара, оглашавшие гудками окрестность, — но он не представлял себе, что

с таким трепетом будет ожидать поезд, ведь ему предстояло незаконно и более того — насильственно проникнуть в него.

А тяжелый товарный состав, влекомый парой локомотивов в едином сцепе, все надвигался, его приближение было почти что осязаемым до мурашек, до гусиной кожи. Далеко было прежним паровозам до нынешних дизелей. Их сила таилась внутри, но они тащили за собой такой длинный хвост вагонов, что казалось, ему нет конца. А бесчисленные колеса все катились и катились, из-под вагонов неслись порывистый ветер, гул и дробный перестук. Авдий глядел на эту стремительно и четко движущуюся махину, и ему не верилось, что этот чудовищно тяжелый и огромный состав можно остановить.

Вагоны — платформы, цистерны, лесовозы, грузовые и крытые контейнеры — пронеслись один за другим, вот уже пронеслась мимо половина состава, и Авдий подумал, что ничего не выйдет, что все это напрасная затея: невозможно остановить раскатившуюся на такой скорости махину, но вдруг скорость поезда начала падать, колеса стали крутиться все медленнее, раздался скрежет тормозов, и эшелон, судорожно дергаясь, будто спотыкаясь, постепенно сбавил ход. Авдий глазам своим не верил: состав почти остановился. Но тут раздался пронзительный свист, в ответ ему раздался такой же свист.

— Пошли! — скомандовал Петруха. — Вперед!

Подхватив рюкзаки и сумки, они ринулись к замедляющим ход вагонам. Все происходило быстро и стремительно, как при налете из засады. Надо было, ухватившись или зацепившись за что-нибудь, успеть вскарабкаться в любой вагон, на любую площадку — только бы вскочить, а там уже можно на ходу перебраться по крышам и устроиться поудобнее. Дальше все для Авдия шло как в кошмарном сне: он метался перед вставшей чуть не до неба глухой стеной вагонов, подсознательно удивляясь тому, как они высоки и как резок запах мазута от колес, готовых в любую секунду покатиться дальше. Но, несмотря на все это, Авдий лихорадочно карабкался, кому-то помогал, и кто-то помогал ему. Поезд раза два угрожающе дернулся, состав заскрежетал и залязгал — того и гляди попадешь под колеса. Однако все обошлось как нельзя лучше. И когда поезд еще раз дернулся и снова быстро пошел наверстывать упущенное время, Авдий огляделся и обнаружил, что находится в порожнем товарном вагоне вместе со своими неразлучными сподвижниками —

Петрухой и Ленькой, был здесь и Гришан. Одному Богу ведомо, как он умудрился заскочить в поезд с ушибленной ногой, при нем были еще те двое — Махач и Коля. Все были бледны и тяжело дышали, но лица их были радостны и довольны. Авдию не верилось, что все так удачно получилось и что самый сложный момент был позади. Теперь добытчики анаши уезжали в сторону Жалпак-Саза, а там уже путь лежал на большую землю, в большие города, в многолюдье...

Ехать предстояло часов пять. Им повезло: в порожнем вагоне, который они оккупировали, оказались брошенные, должно быть, за ненадобностью после выгрузки товаров пустые деревянные ящики — гонцы приспособили их для сидения. Расположились, как велел Гришан, чтобы снаружи их не заметили. В вагоне было достаточно светло, если открыть двери только с одной стороны, к тому же оконца наверху были открыты для продува.

При первой же остановке на каком-то разъезде они наглухо задвинули дверь и затихли, переживали остановку в духоте и жаре, но возле состава никто не появился. Петруха осторожно выглянул и доложил, что все в порядке — никого вокруг не видно. Как только прогрохотал мимо встречный пассажирский, поезд снова тронулся, на следующем полустанке Махач успел раздобыть целую канистру холодной воды, и жизнь в вагоне возобновилась — все оживились, перекусили сухарями, консервами и уже размышлялись, как здорово они поедят горячего в столовой на станции Жалпак-Саз.

А поезд шел своим маршрутом по Чуйским степям в сторону гор...

Тем долгим майским вечером было еще светло. Говорили о том о сем, но больше всего о еде, о деньгах. Петруха вспомнил о своей шикарной бабе, которая ждала его в Мурманске, на что Махач с чисто кавказской экспрессией заметил:

— Слушай, Петруха, дорогой, ты, кроме Мурманска, нигде не можешь бабу делать? Что, в Москве уже нельзя немощко делать? Ха-ха-ха! Что, в Москве нэт баб?

— Ты сопляк еще, Махачка, что ты понимаешь в этом деле? — обозлился Петруха. — Сколько тебе лет-то?

— Сколько-сколько! Сколько есть, все мои! У нас, на Кавказе, такие, как я, уже давно детей делают! Ха-ха-ха!

Всех развеселил этот разговор, даже Авдий невольно улыбался, поглядывая время от времени на Гришана, а тот, сидя в сторонке, снисходительно ухмылялся. Он по-прежнему

му примостился на своем складном стульчике и держал в руках все ту же суковатую палку. На других гонцов он походил разве что тем, что курил такие же, как и все остальные, дешевые сигареты.

Так они ехали веселой компанией, обживая порожний товарный вагон. Ленька прикорнул в уголке вагона, другие тоже собирались поспать, хотя солнце еще не догорело на краю земли и освещало все вокруг. Покуривая, переговариваясь о чем-то незначительном, гонцы вдруг примолкли, затем, поглядывая на Гришана, стали перешептываться.

— Слушай, Гришан, — обратился к нему Махач, — что мы тут сидим, понимаешь, на общем собрании мы решили — немного кайфанем, а? Время есть, кайфанем? У меня, дорогой тамада, есть такой смак, пех-пех, только багдадский вор такой курил!

Гришан бросил быстрый взгляд на Авдия: ну, мол, как? И, помолчав, выждав время, бросил: «Валяйте!»

Все оживились, сгрудились вокруг Махача. А он достал откуда-то из куртки анашу, тот самый смак, который мог курить только багдадский вор. Скрутил большую папиросину, затянулся первым и пустил самокрутку по кругу. Каждый благоговейно вдыхал дым анаши и передавал самокрутку следующему. Когда очередь дошла до Петрухи, тот жадно затянулся, зажмурил глаза, потом протянул самокрутку Авдию:

— Ну, Авдьясь, глотни и ты малость! Что ты, лысый? На, курни! Да не жмись ты, ей-богу, ты что, девка?

— Нет, Петр, я курить не буду, и не старайся! — наотрез отклонил Авдий предложение Петрухи.

Тот сразу оскорбился:

— Как был попом, так и останешься! Подумаешь, поп-перепоп! Тебе как лучше хочешь сделать, а ты в душу плюешь!

— Я тебе в душу не плюю, Петр, ты не прав!

— Да тебя разве переговоришь! — махнул рукой Петруха и, затянувшись еще раз, передал самокрутку Махачу, а тот с кавказской ловкостью протянул ее Гришану.

— А теперь, дорогой тамада, твоя очередь! Твой гост!

Гришан молча отвел его руку.

— Ну, смотри, хозяин — барин! — жалеючи покачал головой Махач, и самокрутка вновь пошла по кругу. Взахлеб затянулся Ленька, за ним рыжий Коля, за ним Петруха и снова Махач. И вскоре настроение куривших начало меняться, глаза их то туманились, то поблескивали, губы рас-

плылись в беспричинных, счастливых улыбках, и только Петруха все не мог забыть обиды, все бросал искоса недовольные взгляды на Авдия и бурчал себе под нос что-то про попов, мол, все они гады такие.

Сидя на своем стульчике, Гришан молча, невозмутимо наблюдал из своего угла за сеансом курения с иронически-вызывающей, снисходительной ухмылкой супермена. Юркие уничтожающие взгляды, которые он кидал время от времени на Авдия, стоящего у открытых дверей, говорили о том, что он доволен происходящим и безусловно догадывается, чего это стоит праведному Авдию.

Авдий понял, что Гришан, разрешишь гонцам покайфовать в пути, устроил для него показательный спектакль. Вот, мол, каково? Гляди, как я силен и как бессильны твои высокие порывы в борьбе со злом.

И хотя Авдий делал вид, что вроде бы ему безразлично, чем они тут занимаются, в душе он возмущался, страдал от своего бессилия что-либо противопоставить Гришану, предпринять что-либо практическое, что могло бы вырвать гонцов из-под влияния Гришана. И вот тут-то Авдию изменила выдержка. Он не в силах был совладать с гневом, все больше переполнявшим его. И последней каплей опять же послужило предложение Петрухи курнуть от его бычка, от той самокрутки, которая с каждой затяжкой облюновалась все больше, пока не приобрела наконец зловещий желто-зеленый оттенок.

— На, Авдьясь, да не вороти морду, попик ты наш! Я ж от чистого сердца. В нем, в бычке, самая сладость, аж мозги киселем расползаются! — развязно приставал Петруха.

— Не лезь! — раздраженно оборвал его Авдий.

— Чего еще не лезь! Я к тебе со всей душой, а ты выпендриваешься, морду строишь!

— Ну, дай сюда, дай! — сказал в сердцах Авдий и, протянув руку за тлеющим бычком, поднял его над головой, как бы демонстрируя Петрухе, и бросил в открытую дверь товарняка. Это произошло так быстро, что все, включая и Гришана, на некоторое время онемели от неожиданности. В наступившей тишине явственнее, гулче и грозней стал слышен стук быстро бегущих по рельсам колес. — Видел? — вызывающе обратился Авдий к Петрухе. — Все видели, что я сделал? — обвел он гневным взором добытчиков. — И так будет всегда!

Петруха, а за ним и все остальные недоуменно и вопро-

шающе обернулись к Гришану: как, мол, это понимать, хо-зяин, это что еще за выскочка тут объявился?

Гришан демонстративно молчал, насмешливо переводя взгляд с Авдия на оскорбленные лица гонцов. Первым не вытерпел Махач:

— Слушай, тамада, ты что молчишь? Ты что, нэмой?

— Нэт! Я нэ нэмой! — передразнил его Гришан и жестко добавил, не скрывая злорадства: — Я дал этому типу слово молчать. А в остальном разбирайтесь сами! Больше я ничего не скажу...

— Это вэрно? — недоуменно спросил Махач Авдия.

— Верно, но это еще не все! — выкрикнул Авдий. — Я дал слово разоблачить его, — кивнул он на Гришана, — этого дьявола, завлекшего вас этим пагубным соблазном! И я не буду молчать, потому что правда за мной! — И сам не понимая, что с ним творится, что он делает и что выкрикивает, выхватил свой рюкзак из кучи других рюкзаков с анашой. Все, кроме Гришана, от неожиданности повскакивали с мест, недоумевая, что же задумал этот скромный поп-перепоп Авдий Каллистратов.

— Вот, ребята, смотрите! — затряс Авдий рюкзаком высоко над головой. — Мы везем здесь пагубу, чуму, отраву для людей. И это делаете вы, гонцы, одурманенные легкими деньгами, ты, Петр, ты, Махач, ты, Леня, ты, Коля! О Гришане и говорить нечего. Вы и сами знаете, кто он такой есть!

— Постой, постой, Авдий! А ну, милый, дай-ка сюда мешок! — двинулся к нему Петруха.

— Отойди! — оттолкнул его Авдий. — И не лезь! Я знаю, как уничтожить эту отраву людскую.

И не успели гонцы опомниться, как Авдий, рванув завязку рюкзака, стал вытряхивать из дверей поезда анашу на ветер. И зелье — а как много, оказывается, было собрано желто-зеленых соцветий и лепестков конопли — полетело вдоль железнодорожного полотна, кружась и паря, как осенние листья. То улетали на ветер деньги — сотни и тысячи рублей! На какое-то мгновение гонцы замерли, как завороченные глядя на Авдия.

— Видали! — закричал Авдий и вышвырнул в дверь и сам рюкзак. — А теперь последуйте моему примеру! И мы покаемся вместе, и Бог возлюбит и простит нас! Давайте, Ленька, Петр! Выбрасывайте, выкидывайте проклятую анашу на ветер!

— Он спятил! Он заложит нас на станции легавым! Хватай его, бей попа! — заорал вне себя Петруха.

— Стойте, стойте! Послушайте меня! — пытаюсь что-то им объяснить, кричал Авдий, видя, как разъярились накурившиеся анаши гонцы, но было уже поздно. Гонцы бросились на него, как бешеные собаки. Петруха, Махач, Коля наперебой молотили его кулаками. Один Ленька тщетно старался разнять дерущихся.

— Да перестаньте же! — беспомощно бегал он вокруг. Но ему не удавалось их остановить — где ему было сладить сразу с троими. Завязалась жестокая рукопашная.

— Бей! Тащи! Выкидывай его из вагона! — ревел разъяренный Петруха.

— Души попа! Бросай вниз! — вторил ему Махач.

— Не надо! Не убивайте! Не надо убивать! — вопил бледный, трясущийся Ленька.

— Отстань, сволочь, зарежу! — вырвался от Леньки остервенелый Коля.

Авдий отбивался что было сил, стараясь отодвинуться подальше от открытых дверей, пробиться на середину качающегося из стороны в сторону вагона: он теперь воочию убедился в свирепости, жестокости, садизме наркоманов — а ведь давно ли они блаженно улыбались в эйфории. Авдий понимал, что схватка идет не на жизнь, а на смерть, понимал, что силы далеко не равны. Их трое, здоровенных лютующих парней, — где ему с ними справиться, ведь за него один Ленька, а он не в счет. Гришан же все это время по-прежнему сидел на своем месте, как зритель в цирке или в театре, но не скрывал своего злорадства.

— Ну и ну! Вот это да! — посмеиваясь, глумился он. Стравил-таки их, заранее вычислил, что столкнутся, и теперь пожинал плоды победы — глядел, как убивают на его глазах человека.

Авдий сознавал, что только вмешательство Гришана могло изменить его участь. Стоило ему крикнуть: «Спаси, Гришан!» — и гонцы сразу бы утихомирились. Но прибегнуть к помощи Гришана Авдий не мог ни при каких обстоятельствах. Оставалось одно — пробираться в глубину вагона, забиться в угол, а там пусть изобьют, измолотят, пусть сделают с ним что угодно, но только чтобы они не выбросили его на ходу — ведь это верная смерть...

Но добраться до угла было не так-то просто. Удары наотмашь, пинки отшвыривали его прочь к зияющему проему дверей. Задержись он там лишнюю секунду, и гонцы не задумываясь выпихнут его из вагона. И Авдий поднимался



снова и снова, упорно стремился прорваться в дальний угол, надеясь, что наркоманы выдохнутся или опомнятся. Первым в той яростной схватке, получив по голове, свалился Ленька. Это Коля саданул его, чтоб не мешал творить расправу над попом, над праведником, а стало быть, над врагом гонцов — Авдием. Бешено работали кулаками гонцы — ведь речь шла о бешеных деньгах.

— Бей, бей! Под дых, под дых его! — бесновался Петруха и, схватив сзади Авдия, заломил ему руки назад, подставив под удары Махачу, а тот, точно озверевший бык, в ярости сокрушительно ударил его в живот — и, согнувшись в три погибели, харкая кровью, Авдий рухнул на пол бегущего вагона. И тогда они втроем поволокли его к двери, но он все еще сопротивлялся, обдирая ногти, судорожно цеплялся руками за доски настила, пытаясь отбиться, вырваться, а злоеший Гришан как ни в чем не бывало сидел в углу вагона на своем стульчике нога на ногу с невозмутимо-торжествующим выражением на лице и что-то насвистывал, поигрывая суковатой палкой. И была еще возможность попросить пощады, крикнуть: «Спаси, Гришан!» — и не исключено, что тот снизошел бы, проявил великодушие и остановил бы смертоубийство, но Авдий так и не разомкнул рта, и, прочертив его головой кровавый след по настилу, они поволокли его к самому проему вагона, и здесь, в дверях, произошла еще одна, последняя, схватка. Сбросить Авдия на ходу они опасались, потому что могли сорваться вместе с ним. Авдий изловчился повиснуть в дверях, вернее за дверями, уцепившись за железную скобу поручня.

Встречный ветер обрушился шквалом, прижал к дверям, но Авдию удалось нащупать левой ногой какой-то металлический выступ и повиснуть, удерживаясь на весу, и никогда, наверное, в нем не было столько сил, столько жажды выжить, как в тот момент, когда он пытался превозмочь беду. Если бы его оставили в покое, он, возможно, сумел бы вскарабкаться, вползти назад в вагон. Но гонцы били его ногами по голове, как по футбольному мячу, поносили его последними словами, исколотили в кровь, а он уцепился мертвой хваткой за поручень. Последние минуты были особенно ужасны. Петруха, Махач и Коля совсем остервенели. Тут и Гришан не выдержал, подскочил к дверям: теперь-то уж можно не притворяться, можно полюбоваться, как расшибется насмерть Авдий Каллистратов. И Гришан стоял и ждал того неизбежного момента, когда гонцы добьют Авдия. Ни-

чего не скажешь — Гришан отменно знал свое дело. Он убивал Авдия Каллистратова чужими руками. А завтра, если мертвого Каллистратова найдут и не поверят, что он упал или выбросился из поезда в самом худшем случае, Гришан будет чист — он лично не прикладывал рук. Скажет: ребята повздорили, подрались, и в результате несчастный случай — оступился в драке.

Последнее, что запомнил Авдий, — пинки по лицу, обувь гонцов окрасилась кровью, и встречный ветер гудел в ушах, как полыхающий огонь. Тело Авдия, налитое свинцовой тяжестью, все больше тянуло вниз, в страшную, неулолимую пустоту, а поезд мчался, преодолевая сопротивление ветра, мчался все по той же степи, и никому на свете не было дела до него, обреченного, висящего на волоске от гибели. И солнце на закате того бесконечно длинного дня, ослепляя его выкатившиеся в муке и ужасе глаза, срывалось вместе с ним в черную бездну небытия. Но как ни пинали его, Авдий не размыкал рук, и тогда Петруха нанес ему последний, решающий удар, схватив палку Гришана, которую Гришан как бы невзначай держал на виду — вот, мол, пожалуйста, бери и бей, бей по рукам, чтоб расцепились...

И Авдий сплошным комком боли полетел вниз, не чувствуя уже, как покатился по откосу, расширяясь и обдираясь, как промчался мимо места его падения хвост эшелона, как скрылся поезд, унося его бывших попутчиков, как смолк шум колес.

Вскоре солнце угасло, наступила тьма, и на западе в синзо-свинцовом небе сгустились грозовые тучи...

А мимо того злополучного места уже мчались другие поезда, и тот, кто не стал молить о пощаде, чтобы продлить свою жизнь, лежал поверженный на дне железнодорожного кювета. А все, что он узнал в неистовом поиске истины, все, что утверждал, было теперь отброшено прочь, погублено. И стоило ли, не щадя себя, отказывать себе в шансе уцелеть? Ведь речь шла ни мало ни много — о собственной жизни, всего-то нужно было произнести три слова: «Спаси меня, Гришан!» Но он не сказал этих слов...

Поистине нет предела парадоксам Господним... Ведь был уже однажды в истории случай — тоже чудак один галилейский возомнил о себе настолько, что не поступился парой фраз и лишился жизни. И оттого, разумеется, пришел ему конец. А люди, хотя с тех пор прошла уже одна тысяча девятьсот пятьдесят лет, все не могут опомниться — все об-

суждают, все спорят и сокрушаются, как и что тогда случилось и как могло такое произойти. И всякий раз им кажется, что случилось это буквально вчера — настолько свежо потрясение. И всякое поколение — а сколько их с тех пор народилось, и не счесть — заново спохватывается и заявляет, что, будь они в тот день, в тот час на Лысой горе, они ни в коем случае не допустили бы расправы над тем галилеянином. Вот ведь как им теперь кажется. Но кто мог тогда предположить, что дело так обернется, что все забудется в веках, но только не этот день...

И тогда тоже, кстати, была пятница, и тот, кто мог спастись, тоже не догадался ради своего спасения сказать в свою пользу двух слов...

## II

Жарким было то утро в Иерусалиме, и предвещало оно еще более жаркий день. На Арочной террасе Иродова дворца, под мраморной колоннадой, куда прокуратор Понтий Пилат велел поставить себе сиденье, прохладно обдувало ноги в сандалиях чуть сквозящим понижу ветерком. Высокие пирамидальные тополя в большом саду едва слышно шелестели верхушками, листва их в этом году преждевременно пожелтела.

Отсюда, с каменистой возвышенности, с Арочной террасы дворца, открывался вид на город, очертания которого расплывались в зыбучем мареве — воздух все более накалялся, — даже окрестности Иерусалима, всегда четко видные, лишь смутно угадывались на границе с белой пустыней.

В то утро над холмом, широко распахнув крылья, точно подвешенная к небу на невидимой нити, беззвучно и плавно кружила одинокая птица, через равные промежутки времени пролетая над территорией большого сада. То ли орел, то ли коршун, кроме них ни у одной птицы не хватало бы терпения так долго и однообразно летать в жарком небе. Перехватив случайный взгляд, брошенный на птицу Иисусом Назарянином, стоящим перед ним переминаясь с ноги на ногу, прокуратор вознегодовал и даже оскорбился. И сказал желчно и жестко:

— Ты куда очи возводишь, царь Иудейский? То твоя смерть кружит!

— Она над всеми нами кружит, — тихо отозвался Иисус, как бы говоря с самим собой, и при этом невольно притро-

нулся ладонью к заплывшему, в черном отеке глазу: у базара, когда его вели на суд синедриона, на него накинута с побоями толпа, науськиваемая священниками и старейшинами. Иные жестоко били его, иные плевали в лицо, и понял он в тот час, как люто ненавидели его люди первосвященника Каиафы, и понял, что никакой милости ему не следует ожидать от иерусалимского судилища, и тем не менее по-человечески дивился и поражался свирепости и неверности толпы, будто бы никто из них до этого не догадывался, что он бродяга, будто бы до этого не они вникали, затаив дыхание, его проповедам во храмах и на площадях, будто бы это не они ликовали, когда он въезжал в городские ворота на серой ослице с молодым осликом позади, будто бы не они с надеждой провозглашали, кидая под ноги ослице цветы: «Осанна Сыну Давидову! Осанна в вышних!»

Теперь он хмуро стоял в разодранной одежде перед Понтием Пилатом, ожидая, что последует дальше.

Прокуратор же был сильно не в духе, и прежде всего, как ни странно, он был раздражен на себя — на свою медлительность и необъяснимую нерешительность. Такого еще с ним не случалось ни в его бытность в действующих римских войсках, ни тем более в бытность прокуратором. Не смешно ли, в самом деле, — вместо того чтобы с ходу утвердить приговор синедриона и избавить себя от лишних трудов, он затягивал допрос, тратя на него и время, и силы. Ведь так просто, казалось бы, вызвать ожидающего его решения иерусалимского первосвященника и его прихвостней и сказать: нате, мол, берите своего подсудимого и распорядитесь им, как порешили. И, однако, что-то мешало Понтию Пилату поступить этим простейшим образом. Да стоит ли этот шут того, чтобы с ним возиться?..

Но подумать только, каков оказался этот чудак! Он, мол, царь Иудейский, возлюбленный Господом и дарованный Господом иудеям как прямая стезя к справедливому Царству Божиему. А царство это такое, при котором не будет места власти кесаря и кесарей, их заместников и прислужнических синагог, а все-де будут равны и счастливы отныне и во веки веков. Какие только люди не домогались верховной власти, но такого умного, хитрого и коварного еще никто не знал — ведь случись самому дорваться до кормила власти, наверняка бы правил точно так же, ибо иного хода жизни нет и не будет в мире. И сам-то злоумышленник отлично знает об этом, но ведет свою игру! Подкупает доверчивых

людей обещанием Нового Царства. Если правду говорят, что каждый судит о другом в меру своей подозрительности, то тут был именно тот случай: прокуратор приписывал Иисусу те помыслы, которые в тайная тайных, не надеясь на их осуществление, лелеял сам. Именно это больше всего раздражало Понтия Пилата, и от этого осужденный вызывал в нем одновременно и любопытство, и ненависть. Прокуратор полагал, что ему открылся замысел Иисуса Назарянина: не иначе как этот бродяга-провидец задумал затеять в землях впоследствии хотел обладать сам. Нет, каков! Кто бы мог подумать, что этот жалкий иудей смел мечтать о том, о чем не мог мечтать, вернее, не позволял себе мечтать, сам повелитель малоазиатских провинций Римской империи Понтий Пилат. Так убеждал, так настраивал, к такому умозаключению подводил себя многоопытнейший прокуратор, допрашивая бродягу Иисуса довольно необычным способом: всякий раз ставя себя на его место, — и приходил в негодование от намерений этого неслыханного узурпатора. И от этого Понтий Пилат все больше распался, все больше терзался сомнениями — ему хотелось и немедленно скрепить прокураторской подписью смертный приговор, вынесенный Иисусу накануне старейшинами иерусалимского синедриона, и оттянуть этот момент, насладиться, выявив до конца, чем грозили римской власти мысли и действия этого Иисуса...

Ответ обреченного бродяги на его замечание по поводу птицы в небе покорило прокуратора своей откровенностью и непочтительностью. Мог бы и промолчать или сказать что-нибудь заискивающее, так нет же, видите ли, нашел чем утешиться: смерть, мол, над всеми нами кружит. «Ты смотри, сам на себя накликает беду, будто и в самом деле не боится казни», — сердился Понтий Пилат.

— Что ж, вернемся к нашему разговору. Ты знаешь, несчастный, что тебя ждет? — спросил прокуратор сильным голосом, в который раз вытирая платком пот с коричневого лоснящегося лица, а заодно и с лысины, и с плотной крепкой шеи. Пока Иисус собирался с ответом, прокуратор похрустел вспотевшими пальцами, выкручивая каждый палец по отдельности — была у него такая дурная привычка. — Я спрашиваю тебя, ты знаешь, что тебя ждет?

Иисус тяжело вздохнул, бледнея при одной мысли о том, что ему предстоит:

— Да, римский наместник, знаю, меня должны казнить сегодня, — с трудом выговорил он.

«Знаю!» — издевательски повторил прокуратор, с усмешкой, полной презрения и жалости, оглядывая стоящего перед ним незадачливого пророка с ног до головы.

Тот стоял перед ним понурясь, нескладный, длинношей и длинноволосый, с разметанными кудрями, в разодранной одежде, босой — сандалии, должно быть, потерялись в схватке, — а за ним сквозь ограду дворцовой террасы виднелись городские дома на отдаленных холмах. Город ждал того, кто стоял на допросе перед прокуратором. Гнусный город ждал жертвы. Городу требовалось сегодня в этот зной кровавое действие, его темные, как ночь, инстинкты жаждали встряски — и тогда бы уличные толпы захлебнулись ревом и плачем, как стаи шакалов, воющих и злобно лающих, когда они видят, как разъяренный лев терзает в ливийской пустыне зебру. Понтию Пилату приходилось видеть такие сцены и среди зверей, и среди людей, и внутренне он ужаснулся, представив себе на миг, как будет проходить распятие на кресте. И он повторил с не лишенным сочувствия укором:

— Ты сказал — знаю! «Знаю» — не то слово. В полной мере ты узнаешь это, когда будешь там...

— Да, римский наместник, я знаю и содрогаюсь при одной мысли об этом.

— А ты не перебивай и не торопись на тот свет, успеешь, — проворчал прокуратор, которому не дали закончить мысль.

— Прости покорно, правитель, если случайно перебил тебя, я не хотел этого, — извинился Иисус. — Я вовсе не топлюсь. Я хотел бы пожить еще.

— И ты не думаешь отречься от слов своих непотребных? — спросил в упор прокуратор.

Иисус развел руками, и глаза его были по-детски беспомощны.

— Мне не от чего отречься, правитель, те слова предопределены Отцом моим, я обязан был донести их людям, исполняя волю Его.

— Ты все свое твердишь, — в раздражении Понтий Пилат повысил голос. Выражение лица его с крупным горбатым носом, с жесткой линией рта, обрамленного глубокими складками, стало презрительно-холодным. — Я ведь вижу тебя насквозь, как бы ты ни прикидывался, — сказал он не допускающим возражения тоном. — Что на самом деле значит донести до людей слова Отца твоего — это значит обол-

ванить, прибрать к рукам чернь! Подбивать чернь на беспорядки. Может быть, ты и до меня должен донести его слова — я ведь тоже человек!

— У тебя, правитель римский, нет пока надобности в этом, ибо ты не страждешь и тебе ни к чему алкать другого устройства жизни. Для тебя власть — Бог и совесть. А ею ты обладаешь сполна. И для тебя нет ничего выше.

— Верно. Нет ничего выше власти Рима. Надеюсь, ты это хочешь сказать?

— Так думаешь ты, правитель.

— Так всегда думали умные люди, — не без снисходительности поправил его прокуратор. — Поэтому и говорится, — поучал он, — кесарь не Бог, но Бог — как кесарь. Убеди меня в обратном, если ты уверен, что это не так. Ну! — И насмешливо уставился на Иисуса. — От имени римского императора Тиверия, чьим наместником я являюсь, я могу изменить кое-что в положении вещей во времени и пространстве. Ты же пытаешься противопоставить этому какую-то верховную силу, какую-то иную истину, которую несешь якобы ты. Это очень любопытно, чрезвычайно любопытно. Иначе я не стал бы держать тебя здесь лишнее время. В городе уже ждут не дождутся, когда приговор синдриона приведут в исполнение. Итак, отвечай!

— Что мне ответить?

— Ты уверен, что кесарь менее Бога?

— Он смертный человек.

— Ясно, что смертный. Но пока он здравствует — есть ли для людей другой Бог выше кесаря?

— Есть, правитель римский, если избрать другое измерение бытия.

— Не скажу, что ты меня рассмешил, — в наигранном оскорблении морща лоб и приподнимая жесткие брови, проронил Понтий Пилат. — Но ты не можешь меня в этом убедить по той простой причине, что это даже не смешно. Не знаю, не пойму, кто и почему тебе верит.

— Мне верят те, кого толкают ко мне притеснения, вековая жажда справедливости, — тогда семена моего учения падают на удобренную страданиями и омоченную слезами почву, — пояснил Иисус.

— Хватит! — безнадежно махнул рукой прокуратор. — Бесплезная трата времени.

И оба замолчали, думая каждый о своем. На бледном челе Иисуса проступил обильный пот. Но он не утирал его ни

ладонью, ни оборванным рукавом хламиды, ему было не до того — от страха к горлу подкатила тошнота, и пот заструился вниз по лицу, падая каплями на мраморные плиты у худых жилистых ног.

— И после этого ты хотел бы, — внезапно осипшим голосом продолжил Понтий Пилат, — чтобы я, римский прокуратор, даровал тебе свободу?

— Да, правитель добрый, отпусти меня.

— И что же ты станешь делать?

— Со словом Божиим пойду я по землям.

— Не ищи дураков! — вскричал прокуратор и вскочил вне себя от гнева. — Вот теперь я окончательно убеждаюсь, что твое место только на кресте, только смерть может унять тебя!

— Ты ошибаешься, правитель высокий, смерть бессильна перед духом, — твердо и внятно произнес Иисус.

— Что? Что ты сказал? — поразился Понтий Пилат, не веря себе и подступая к Иисусу; лицо его, искаженное от гнева и удивления, пошло темно-коричневыми пятнами.

— То, что ты слышал, правитель.

Набрав воздуха в легкие, Понтий Пилат резко вскинул руки к небу, собираясь что-то сказать, но в это время слышались гулкие шаги подкованных кавалерийских сапог.

— Чего тебе? — строго спросил прокуратор вооруженного легионера, идущего к нему с каким-то пергаментом.

— Велено передать, — сказал тот коротко и удалился.

То была записка Понтию Пилату от жены: «Прокуратор, супруг мой, не причиняй, прошу тебя, непоправимого вреда этому скитальцу, прозываемому, как сказывают, Христом. Все говорят, что он безобидный праведник, чудесный исцелитель всяких недугов. А то, что он якобы Сын Божий, Мессия и чуть ли не царь Иудейский, так это, может быть, на него наговорили. Не мне судить, так ли это. Сам знаешь, что за скандальный и одержимый народ эти иудеи. А что, если это правда? Ведь очень часто то, что на устах презренной толпы, потом подтверждается. И если так окажется и на этот раз, тебя же потом проклянут. Сказывают, что служители синагог здешних да городские старейшины испугались и возненавидели этого Иисуса Христа из-за того, что народ вроде за ним подвинулся, и из зависти священники его оклеветали и натравили на него невежественную толпу. Те, что вчера молились на него, сегодня побивали его камнями. Мне кажется, Понтий, что если ты согласишься на казнь



этого юродивого, то вся худая слава впоследствии падет на тебя, супруг мой. Ведь нам не вечно сидеть в Иудее. Я хочу, чтобы ты вернулся в Рим с достойными тебя высокими почестями. Не делай этого, Понтий. Давеча, когда его вела стража, я видела, какой он красивый, ну прямо молодой бог. Кстати, мне сон привиделся накануне. Потом расскажу. Очень важный. Не навлекай проклятия на себя и на свое потомство!»

— О боги, боги! Чем я вас прогневал? — простонал Понтий Пилат и в который раз пожалел, что не отправил сразу же без лишних слов и проволочек этого невменяемого и неистового лжепророка со стражей к палачам туда, за городские сады, где на взгорье должна была совершиться казнь, которой требовало иерусалимское судилище. И вот теперь и жена вмешивается в его прокураторские дела, в чем ему виделась если не скрытая работа сил, стоящих за Иисусом Христом, то, во всяком случае, сопротивление небесных сил этому делу. Но небожителей земные дела мало интересуют, а жена — что она понимает своим женским умом в политике, зачем ему пробуждать вражду первосвященника Каиафы и иерусалимской верхушки, преданной и верной Риму, ради этого сомнительного бродяги Иисуса, поносящего кесарей? Откуда она взяла, что этот тип красив, как молодой бог? Ну, молод. Только и всего. А красоты никакой особой в нем нет. Вот он стоит, побитый в свалке, как собака. И что в нем нашла она? Прокуратор задумчиво прошел несколько шагов, обдумывая содержание записки, и снова со вздохом сел в кресло. А меж тем у него промелькнула еще мысль, что уже не раз приходила ему на ум: казалось бы, сколь ничтожны люди — гадят, мочатся, совокупляются, рождаются, мрут, вновь рождаются и мрут, сколько низостей и злодеяний несут они в себе, и среди всего этого отврата и мерзости откуда-то вдруг — провидение, пророки, порывы духа. Взять хотя бы этого — он так уверовал в свое предназначение, что точно во сне живет, а не наяву. Но хватит, придется его отрезвить! Пора кончать!

— И все же вот что я хочу знать, — обратился прокуратор к Иисусу, все так же молчаливо стоящему на своем месте, — допустим, ты праведник, а не злоумышленник, сеющий смуту среди доверчивых людей, допустим, говоря о Царстве справедливости, ты оспариваешь право кесаря владеть миром, допустим, я поверю тебе, так вот скажи мне: что заставляет тебя идти на смерть? Открой мне: что тобою дви-

жет? Если ты вознамерился таким способом воцариться над народом израилевым, я тебя не одобряю, но я тебя пойму. Но зачем же ты вначале рубишь сук, на котором собираешься сидеть? Как же ты станешь кесарем, если ты отрицаешь власть кесаря? Сам понимаешь, сейчас в моей воле оставить тебя в живых или послать на казнь. Так что же ты молчишь? Онемел от страха?

— Да, наместник римский, я страшусь свирепой казни. И кесарем я вовсе не собираюсь быть.

— Тогда покайся на всех городских площадях, осуди себя. Признай, что ты лжепророк, лжепророк, не уверяй, что ты царь Иудейский, чтобы чернь отхлынула от тебя, чтобы не соблазнять их напрасным и преступным ожиданием. Никакого Царства справедливости быть не может. Справедливо всегда то, что есть. Есть в мире император Тиверий, и он и есть незыблемый оплот мироустройства. А Царство справедливости, речами о котором ты подбиваешь легкомысленных роптать, — пустое дело! Подумай! И не морочь голову ни себе, ни другим. А впрочем, кто ты такой, чтобы римский император тебя остерегался, — какой-то безвестный скиталец, сомнительный пророк, базарный горлопан, каких полно-полно на земле Иудеи. Но ты соблазн поселя своим учением, и этим сильно озабочен ваш первосвященник, поэтому раскрой свой обман. А сам удались в Сирию или в другие страны, и я, как римский прокуратор, попробую тебе помочь. Соглашайся, пока не поздно. Что ты опять молчишь?

— Я думаю о том, наместник римский, что оба мы столь различны, что вряд ли пойдем друг друга. Зачем же я буду кривить душой и отречься от учения Господа таким образом, чтобы тебе и кесарю было выгодно, а истина страдала?

— Не темни, что выгодно для Рима — то превыше всего.

— Превыше всего истина, а истина одна. Двух истин не бывает.

— Опять лукавишь, бродяга?

— Не лукавил ни прежде, ни теперь. А ответ мой таков: первое — не пристало отречься от того, что сказано во имя истины, ибо ты сам того хотел. И второе — не пристало брать на себя грех за не содеянное тобой и бить себя в грудь, чтобы от молвы чернящей отбелиться. Коли молва лжива, она сама умрет.

— Но прежде умрешь ты, царь Иудейский! Итак, ты идешь на смерть, какой бы ни был путь к спасению?

- К спасению мне только этот путь оставлен.  
— К какому спасению? — не понял прокуратор.  
— К спасению мира.  
— Довольно юродствовать! — потерял терпение Понтий Пилат. — Значит, ты добровольно идешь на гибель?  
— Стало быть, так, ибо другого пути у меня нет.  
— О боги, боги! — устало пробормотал прокуратор, проведя рукой по глубоким морщинам, избороздившим его лоб. — Жара-то какая, не к перемене ли погоды? — буркнул он себе под нос. И принял окончательное решение: «Зачем мне все это? К чему стараюсь выгородить того, кто не видит в том проку? Тоже чудака я!» И сказал:— В таком случае я умываю руки!  
— Воля твоя, наместник, — ответил Иисус и опустил голову.

Они вновь замолчали и, должно быть, оба почувствовали, как за пределами дворцовой ограды, за пышными садами, где изнывали в зное городские улицы в низинах и на всхолмлениях иерусалимских, точно бы набухла глухая зловещая тишина, готовая вот-вот разорваться. Пока до них оттуда доносились лишь неясные звуки — гул больших базаров, где с утра смешались люди, товары, тягловые и вычюные животные. Но между этими мирами было то, что разделяло их и охраняло верхний от нижнего: за оградой прохаживались легионеры, а пониже, в рощице, стояло кавалерийское оцепление. Видно было, как лошади отмахивались хвостами от мух.

Заявив, что он умывает руки, прокуратор почувствовал некоторое облегчение, ибо теперь он мог сказать себе: «Я сделал все, что от меня зависело. Боги свидетели, я не подталкивал его к тому, чтобы он стоял на своем, предпочтя учение собственной жизни. Но поскольку он не отрекается, пусть будет так. Для нас это даже лучше. Он сам себе подпisał смертный приговор...» Думая об этом, Понтий Пилат готовил тем самым и ответ жене. И еще подумал он, искоса глянув на Иисуса Назарянина, со смутной улыбкой молчаливо ждущего своей заранее предопределенной участи: «Что сейчас на уме у этого человека? Небось теперь он сам же горько сожалеет, понимает, во что ему обойдется его премудрое учение, от которого он не смеет отступить. Попал в собственный капкан. Попробуй теперь вывернись: один Бог на всех — на все земли, на весь род людской, на все времена. Одна вера. Одно Царство справедливости на всех. Куда он метит? Что и говорить, всем бы этого хотелось, на том он

и решил сыграть! Но вот так жизнь и учит нас, вот так крадет чрезмерную хитроумность. Вот так оборачивается покушение на трон, не предназначенный отроду. Чего захотел! Решил смутить чернь, взбунтовать против кесарей, и чтобы от толпы к толпе пошла та зараза по миру. Весь исконный порядок мироустройства решил опрокинуть вверх дном. Отчаянная голова! Ничего не скажешь! Нет, такого никак нельзя оставлять в живых. С виду вон какой, избитый, смиренный, а что в нем таится — ведь вон что затеял, только великому уму такой план под силу. Кто бы мог это в нем предположить!»

В мыслях этих находил прокуратор Понтий Пилат согласие с собой. Успокаивало его и то, что теперь не придется вести неприятного разговора с первосвященником Каиафой, открыто требующим от имени синедриона утвердить решение суда по поводу Иисуса Назарянина.

— Не сомневайся, мудрый правитель, ты достигнешь согласия с собой и будешь во всем прав, — проронил Иисус, точно бы отгадывая мысли прокуратора.

Понтий Пилат возмутился.

— Ты обо мне не беспокойся, — грубо накинулся он на Иисуса, — для меня дело Рима превыше всего, ты о себе подумай, несчастный!

— Извини, высокий правитель, не стоило мне вслух говорить эти слова.

— Вот именно. И чтобы тебе не пришлось пожалеть, когда уже будет поздно, подумай еще, пока я отлучусь, и если не переменишь к моему возвращению свое решение, я произнесу последнее слово. И не мни, что ты царь Иудейский, опора мира, что без тебя земле не обойтись. Напротив, все складывается не в твою пользу. И время твое давно истекло. Только отречением ты еще мог бы спасти себя. Ты понял?

— Понял, правитель...

Понтий Пилат встал с места и пошел в покои, поправляя на плечах просторную тогу. Костистый, большоголовый, лысый, величественный, уверенный в достоинстве своем и всемогущий. Когда он шел вдоль Арочной террасы, взгляд его снова упал на ту птицу, царски парящую в поднебесье. Он не мог определить, был ли то орел или кто другой из той же породы пернатых, но не это волновало его, а то, что птица была для него недосягаема, была неподвластна ему, — и не отпугнешь ее, равно как не призовешь и не прогонишь. Резко вскинув бровь, прокуратор метнул неприязненный взгляд

ввысь: ишь ты, кружит да кружит, и дела ей ни до чего нет. И все ж подумалось ему, что эта птица словно император в небе. Не случайно, видимо, императорское величие символизирует орел — голова с мощным клювом, хищный глаз, прочные, как железо, крылья. Таким и должен быть император! В выси — на виду и не доступен никому... И с той высоты править миром — и никакого равенства ни в чем и ни с кем, даже боги должны быть у императора свои, отдельные от других, безразличные к подданным, презирующие их. Вот на чем стоит сила, вот что заставляет бояться власти, вот на чем стоит порядок вещей в мире. А этот Назарянин, который упорствует в своем учении и который вознамерился уравнивать всех от императора до раба, ибо Бог, мол, един и все люди равны перед Богом, утверждает: мол, Царство справедливости грядет для всех. Он смутил умы, взбудоражил низы, вознамерился переустроить мир на свой лад. И что из этого получилось? Та же толпа потом била его и плевала в лицо ему, лжепрозорливцу, лжепророку, обманщику и прохиндею... И однако что же это за человек такой? При всей безнадежности своего положения ведет себя так, будто не он терпит поражение, а те, кто его осуждает...

Так подумал прокуратор Понтий Пилат, наместник римского императора, можно сказать, сам полуимператор, во всяком случае в этой части Средиземноморья, когда отлучился с допроса, чтобы оставить Иисуса Назарянина на несколько минут наедине с собой, — пусть тот почувствует зияющую бездну, над которой висит. Надо было сломить его дух, заставить униженно ползать, отречься от Бога единого для всех, от всеобщего равенства, чтобы потом, как гада с переломленным хребтом, вышвырнуть из израильских земель — пусть бродяжничает и сгинет без вести, недолго бы так протянул, свои ученики и прибили бы, изверившись в нем...

Так думал, борясь со своими сомнениями, многоопытнейший правитель Понтий Пилат, изыскивая наиболее верный, наиболее выгодный и наиболее показательный путь искоренения новоявленной крамолы. Уходя с Арочной террасы, он полагал, что осужденный наедине с собой прочувствует, что ему грозит, и к моменту возвращения прокуратора падет к его ногам. Если бы прокуратор знал, что в те короткие минуты этот странный человек думал совсем не об этом или, вернее, совсем не так, а ушел в воспоминания, ибо воспоминания — это тоже удел живых и одно из последних благ на пороге прощания с жизнью.

Едва прокуратор удалился, как из боковых ниш немедленно вышли четверо стражников и встали по краям Арочной террасы, точно бы осужденный мог отсюда бежать. И он позволил себе обратиться к ближайшему легионеру:

— Могу ли я сесть, добрый стражник?

— Садись, — ответил тот, ударяя копьём о каменный пол.

Иисус присел на мраморную приступку у стены, согбенный, с бледным, заострившимся лицом в окаймлении длинных, ниспадающих волнами темных волос. И, прикрыв глаза ладонью, ушел в себя, забылся. «Напиться бы, — думал он, — искупаться бы где-нибудь в реке». Он живо представил себе проточную воду у берегов — вода струится, лобзая землю и прибрежные травы, и ему почудился плеск воды, как будто работали весла, приближая лодку к тому месту, где сидел он, как будто кто-то хотел взять его в лодку и увезти, уплыть с ним отсюда. То была мать, это она подплывала к нему в тревоге и страхе. «Мама! — прошептал он неслышно. — Мама, если бы ты знала, как мне тяжело! Еще прошлой ночью в Гефсимании на Масличной горе я изнывал, ужасался от тоски, навалившейся, как черная ночь, не находил себе места и, бодрствуя с учениками, все не мог успокоиться и в предчувствии страшном дошел до кровавого пота. И тогда я обратился к Господу, Отцу моему Небесному. «Отче, — сказал я. — О если бы ты благословил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». И вот она — чаша сия, до краев полная, не обходит, не минет, приближается неотвратно, и свершится то, что и ты, наверное, предвидишь. И если это так, значит, ты знала, что будет со мною, и тогда, о боже, как же ты жила все эти годы, мама родная, родительница, давшая дыхание, с какой мыслью и с какой надеждой ты растила меня, предназначенного замыслом Божиим для этого великого и ужасного дня, самого несчастного из всех дней, ибо нет больше горя для человека, чем собственная смерть, но для матери, когда на глазах у нее погибает плод чрева ее, род ее, — горе двойное. Прости меня, мать, не я определил судьбу твою, а Отец мой Всевышний, так обратим к Нему свои взоры без ропота, и да будет воля Его!»

Вспомнив мать свою Марию, припомнил он в тот час, как в младенчестве, когда было ему лет пять, приключился с ним один случай. В ту пору семья их пребывала в Египте, куда бежала от царя Ирода, посягавшего на жизнь новорожденного дитяти — будущего Иисуса Христа, ибо сказано бы-

ло волхвами, что то царь Иудейский родился. К тому времени мальчик уже подросток, и протекала там неподалеку большая полноводная река, возможно, то был Нил — велика была река, широка. Мария ходила туда с малышом полоскать белье, как и многие женщины той местности. А в тот день, когда они были у реки, причалил один старец лодку к берегу и подошел к ним, поздоровался ласково с Марией и ее малышом. «Отец! — окликнула его Мария. — Не позволишь ли покатать на своей лодочке сыночка моего? Так он хочет этого, плачет, несмышленьш». — «Да, Мария, — отвечал старец, — я для этого и привел эту лодку, чтобы ты поката-ла на ней маленького Иисуса». Марию не удивило, что он знал их имена, она подумала, что это кто-нибудь из окрестных жителей. Но когда решила попросить, чтобы старец сел на весла, тот вдруг исчез, точно в воздухе растворился. Но и это не смутило Марию, уж очень хотелось мальчику покататься на лодке, уж очень он радовался и бегал вокруг, прыгая от возбуждения, очень торопил мать свою. И тогда она бросила белье на камнях прибрежных, взяла сыночка, усадила его в лодку, а сама отвязала лодку, столкнула ее с мели, вскочила в нее, усадила малыша на колени, и они поплыли по течению. Как чудесно было тихо скользить по сверкающей воде почти у самого берега — на прибрежных отмелях колыхались тростники, пестрели цветы, яркие птицы шумно порхали в кустах, напевали и посвистывали, в теплом парном воздухе гудели, роились, стрекотали насекомые. Как чудесно им было! Мария запела негромкую песню и была счастлива, а сынку ее так интересно было плыть на лодке. И это еще больше радовало Марию. Тем временем — и не так уж далеко они отплыли от места и не так уж далеко были от берега — большая коряга, лежавшая на мелководье, ожила и, взбурлив волны, грозно и стремительно поплыла к ним. То был громадный крокодил — его выпученные глаза алчно устремились на них. Мальчик испугался и закричал. Мария оцепенела и не знала, что предпринять. Ударом хвоста крокодил чуть было не опрокинул лодку. Бросив весла, Мария крепко прижала к себе дитя. «Господи! — взмолилась она. — Это он! Твой сын Иисус! Данный тобой! Не оставляй его, Господи! Спаси его!»

Женщина настолько перепугалась, что могла лишь зажмурить глаза да заклинать того, кто был Всем во Вселенной и Отцом Небесным ее ребенка. «Не оставляй нас, он еще нужен будет тебе!» — вскричала она. Лодка же, остав-

шись без управления, поплыла, подталкиваемая снизу крокодилом. Когда наконец Мария осмелилась открыть глаза, крик радости вырвался из ее груди — лодка причалила к берегу, точно бы ее кто-то привел туда, и крокодил, повернув назад, уплывал вдаль. Не помня себя, Мария выскочила из лодки и побежала по берегу, плача от потрясения и смеясь от счастья. Она бежала, прижимая к себе малыша, и все твердила, целуя его и обливая слезами: «Иисус! Иисус! Ненаглядный мой сыночек! Тебя Отец узнал! Он тебя спас! Это Он тебя спас! Он тебя возлюбил, ты Его возлюбленный сын, Иисус! Ты станешь премудрым, Иисус! Ты будешь Учителем, Иисус! И ты откроешь глаза людям, Иисус! И они пойдут за тобой, Иисус, и ты не отступишься от людей никогда, никогда, никогда!» Так, причитая, ликовала «благословенная между женами».

Так причитала и ликовала она от радости, что чудом спасся Сын Божий, и невдомек ей было, что то было знамение Господне, чтобы люди знали, кто он, подрастающий Иисус, сын плотника Иосифа, скрывшегося ради спасения младенца от Ирода в Египет. Ибо, как только Мария с дитятею выскочила из лодки на берег и побежала, лодка куда-то исчезла, уплыла по реке, а женщины, стиравшие белье в реке, сбжавшиеся на ее крик, уверяли потом, что, когда она бежала с малышом на руках, вокруг его головы виднелось золотистое сияние. И все обрадовались этому. И тронуты были до слез, когда маленький Иисус, прильнув к матери, крепко обнял ее за шею и, вдыхая материнский дух, сказал: «Мама, когда я вырасту, я поймаю того крокодила за хвост, чтобы он больше не пугал нас!» Все посмеялись словам детским, а потом стали припоминать, кто же мог быть хозяином лодки. Тут открылось, что никто в округе того человека не знал и никто его больше никогда не видел. Плотник Иосиф многие дни пытался разыскать загадочного лодочника, чтобы извиниться перед ним и возместить ему убыток, но так и не нашел его...

Вот какая приключилась однажды история с младенцем Иисусом в Египте, и теперь он припомнил ее на Арочной террасе, когда просил прощения у матери за причиняемые ей горе и страдания. «Я с тобой прощаюсь сейчас, мать, — говорил он ей, — не обижайся, если не успею или не смогу обратиться к тебе, когда меня будут казнить. Страшусь я смерти, и ноги мои холодеют, хотя сегодня так невыносимо жарко. Прости меня, мать, и не ропщи в мой тяжкий час на



долю свою. Мужайся. А у меня иного пути к истине в чело- веках, которые самое тяжкое бремя Творца, нет, кроме как утвердить ее через собственную смерть. Иного пути к чело- векам не дано. И я иду к ним. Прости и прощай, мама! А жаль, что крокодила того я так и не схватил за хвост. Гово- рят, они очень долго живут, два-три человеческих века, эти крокодилы. А если бы и поймал, отпустил бы с миром... Пусть себе... И еще вот подумалось, мама, если тот лодоч- ник был ангел в облике старца, может быть, мне суждено свидеться с ним в мире ином... Припомнит ли он тот слу- чай? Слышу шаги, идет мой палач поневоле — Понтий Пи- лат. Прощай, мать, заранее прощай».

Понтий Пилат вернулся на Арочную террасу тем же твер- дым шагом, каким и покидал ее. Стража тут же удалилась, и опять эти двое остались на террасе один на один. Вырази- тельно глянув на Иисуса, вставшего с места при его появле- нии, прокуратор понял, что все идет так, как ему хоте- лось, — жертва сама неуклонно приближалась к последней черте. Однако и в этот раз он решил не рубить сплеча — де- ло и без того развивалось в нужном направлении.

— Ну что ж, как я погляжу, разговор окончен, — сказал Понтий Пилат с ходу. — Ты не передумал?

— Нет.

— Напрасно! Подумай еще!

— Нет! — покачал тот головой. — Пусть будет так, как должно быть.

— Напрасно! — повторил Понтий Пилат, хотя и не сов- сем уверенно. Но в душе дрогнул — его поколебала реши- тельность Иисуса Назарянина. И в то же время он не хотел, чтобы тот отрекся от себя и стал бы искать спасения, про- сить пощады. И Иисус все понял.

— Не сокрушайся, — улыбнулся он смиренно. — Я верю, слова твои чистосердечны. И понимаю тебя. Мне тоже очень хочется жить. Лишь на пороге небытия человек пони- мает, как дорога ему жизнь. И мать свою мне жаль — я так люблю ее, всегда любил, с самого детства, хотя и не выка- зывал того. Но как бы то ни было, наместник римский, за- помни: ты мог бы, скажем, спасти одну душу, и на том бы- ло бы великое тебе спасибо, а я обязан спасти многих и да- же тех, которые явятся на свет после нас.

— Спасти? Когда тебя уже не будет на земле?

— Да, когда меня не будет среди людей.

— Пеняй на себя, больше мы к этому разговору не вер-

немся, — решительно заявил Понтий Пилат, не желая более рисковать. — Но ответь мне на последний мой вопрос... — сказал он, задерживаясь возле своего кресла, и замолк, задумавшись, нахмурив мохнатые брови. — Скажи мне, ты в состоянии сейчас вести разговор? — добавил вдруг доверительно. — Если тебе не до этого, не утруждай себя, я не буду тебя задерживать. Тебя ждут на горе.

— Как тебе угодно, правитель, я в твоём распоряжении, — ответил собеседник и поднял на прокуратора прозрачно-синие глаза, поразившие того силой и сосредоточенностью мысли — будто Иисуса и не ждало на горе то неминуемое.

— Спасибо, — также неожиданно поблагодарил вдруг Понтий Пилат. — В таком случае ответь мне на последний вопрос, теперь уж любопытства ради. Поговорим как свободные люди — я от тебя ни в чём не завишу, да и ты теперь, как сам понимаешь, на пороге полной свободы, так что будем откровенны, — предложил он, усаживаясь на своё место. — Скажи мне, говорил ли ты ученикам, приверженцам своим, причем, как ты сам понимаешь, я в твоё учение не верю, так вот, говорил ли ты приверженцам своим, уверял ли их, что коли тебя распнут, ты на третий день воскреснешь, а воскреснув, вернешься в один прекрасный день на землю и учинишь Страшный суд и над теми, кто сейчас живёт, и над теми, кто ещё явится на свет, над всеми душами, над всеми поколениями от сотворения? И что это будет якобы второе твоё пришествие в этот мир. Так ли это?

Иисус странно усмехнулся, как бы говоря себе: вон оно, мол, что, — и, переступая босыми ногами по мрамору, помолчал, точно бы решая для себя, стоит ему отвечать или нет.

— Это все Иуда Искариот наговорил? — спросил он насмешливо. — И тебя это очень беспокоит, римский наместник?

— Я не знаю, кто такой Иуда, но так мне передавали уважаемые люди, старейшины. Так что ж, все это, выходит, пустые слова?

— Думай как хочешь, правитель, — холодно ответил Иисус. — Никто не навязывает тебе того, что чуждо твоему уму.

— Ведь я всерьёз, я не смеюсь, — поспешил заверить прокуратор. — Просто я думаю, что другой такой возможности побеседовать у нас с тобой уже не будет. Как только тебя отсюда уведут, обратной дороги у тебя не будет. Но для себя я хочу выяснить, как можно после смерти вновь явиться на землю не рождаясь и учинять суд над всеми душами?

И где этот суд будет — в небесах или еще где? И как долго должны ждать доверившиеся тебе люди этого дня, чтобы удостоиться вечного покоя? Позволь мне высказать вначале, как я на это смотрю. Расчет твой прост, ты рассчитываешь на то, что каждый хочет и на том свете удобной жизни. Ах этот смертный человек, и вечно-то он чего-то вожделеет, вечно-то он чего-то жаждет. Так просто заманить его посулами — и он даже там, в загробной жизни, побежит за тобой, как собака. Но, допустим, пусть будет так, как учишь ты, пророк, но твоя жизнь уже на исходе, продлить ее ты можешь только беседой...

— Я мог бы и вовсе ее не продлевать.

— Но ты же не пойдешь на гору, оставив мой вопрос без ответа. В моем понятии такой уход хуже смерти.

— Продолжай.

— Так вот, допустим, твое учение верно, тогда скажи: когда наступит тот день второго твоего пришествия? И если ожидание будет длиться долго, невообразимо долго, то зачем это человеку? Ведь в том, что не исполнится в течение жизни, для него мало проку. А потом, по правде говоря, и предсказать нельзя, чтобы можно было дожидаться такого невероятного события. Или же ждать надо, слепо веря? И что это даст? Какая в том польза?

— Сомнения твои понятны, правитель римский, ты мыслишь грубо, по-земному, как учителя твои, греки. Не обижайся на замечание мое. Пока стою я пред тобой, как бранный человек, ты вправе спорить. К тому же мы с тобой уж очень разные — как вода и огонь. И суждения наши разнятся, с разных концов мы с тобой ко всему подходим. Так вот, о том, что тебя волнует, правитель... То, что второго пришествия ждать придется бесконечно долго, это верно. В этом ты прав. Когда наступит тот день, никто не может предсказать, ибо это начертано в замыслах. Того, кем мир сотворен. То, что для нас продлится тысячелетия, для него, возможно, одно мгновение. Но суть в другом. Создатель наделил нас высшим в мире благом — разумом. И дал нам волю жить по разумению. Как распорядимся мы небесным даром, в этом и будет история истории людей. Ведь ты не станешь отрицать, наместник римский, что смысл существования человека в самосовершенствовании духа своего, — выше этого нет цели в мире. В этом красота разумного бытия — изо дня в день все выше восходить по нескончаемым ступеням к сияющему совершенству духа. Тяжелее всего человеку быть че-

ловеком изо дня в день. А посему — как долго ждать придется того дня, в который ты не веришь, правитель, зависеть будет от самих людей.

— Вот как! — Понтий Пилат возбужденно вскочил, схватился за спинку кресла. — Постой, постой, чтобы такое от людей зависело — это же неслыханно! Я, не верующий в твое учение, постичь этого не могу. Если бы люди могли по воле своей удалять или приближать подобное явление, уж не уподобились бы они богам?

— Ты в чем-то прав, правитель римский, но прежде я хотел бы отделить молву от истины. Молва об истине — великая беда. Молва — как ил в воде, что со временем превращает глубокую воду в мелкую лужу. В жизни всегда так — любую великую мысль, родившуюся на благо людям, достигнутую в прозрениях и страданиях, молва, передавая из уст в уста, вечно искажает во зло и себе, и истине. Вот к чему и речь веду, наместник, — к тому, что те небылицы, которым ты веришь, есть молва, а истина в другом.

— Не хочешь ли открыть ту истину?

— Да, попробую. Не буду избегать разговора. К тому же я говорю об этом в последний раз. Так знай, правитель римский, промысел Божий не в том, что однажды, как гром в ясную погоду, грянет день, когда Сын Человеческий, воскреснув, спустится с небес править суд над народами, а все наоборот будет, хоть цель и останется та же. Не я, кому осталось жить на расстоянии перехода через город к Лысой горе, приду, воскреснув, а вы, люди, пришествуете жить во Христе, в высокой праведности, вы ко мне придете в неузнаваемых грядущих поколениях. И это будет мое второе пришествие. Иначе говоря, я в людях вернусь к себе через страдания мои, в людях вернусь к людям. Вот о чем речь. Я буду вашим будущим, во времени оставшись на тысячелетия позади, в том Промысел Всевышнего, в том, чтобы таким способом возвести человека на престол призвания его — призвания к добру и красоте. В том смысл моих проповедей, в том истина, а не в молве ходячей и не в небылицах всяких, опошляющих высокие идеи. Но путь тот будет наитягчайшим среди всех для рода людского и бесконечно долгим, и этого ты, наместник римский, справедливо опасаться. Путь этот начнется с рокового дня, с убийства Сына Божия, и в вечном покаянии да пребудут поколения, всякий раз заново содрогаясь цене той, которую я сегодня заплачу во искупление греховности людей, во их прозрение и пробужде-

ние в них божественных начал. На то и родился я на свет, чтоб послужить людям немеркнущим примером. Чтоб люди уповали на мое имя и шли ко мне через страдания, через борьбу со злом в себе изо дня в день, через отвращение к порокам, к насилию и кровожадности, столь пагубно поражающим души, не заполненные любовью к Богу, а стало быть, к подобным себе, к людям!

— Постой, Иисус Назарянин, ты отождествляешь Бога и людей?

— В каком-то смысле да. И более того, все люди, вместе взятые, есть подобие Бога на земле. И имя есть той ипостаси Бога — Бог-Завтра, Бог бесконечности, дарованной миру от сотворения его. Наверное, ты, правитель римский, не раз ловил себя на мысли, что желания твои всегда к завтрашнему дню обращены. Сегодня ты жизнь приемлешь такой, какая есть, но непременно хочешь, чтоб завтра было иным, и если даже тебе сегодня и хорошо, все равно желаешь, чтобы завтра было еще лучше. И потому живут надежды в нас, неугасимые, как свет Божий. Бог-Завтра и есть дух бесконечности, а в целом — в нем вся суть, вся совокупность деяний и устремлений человеческих, а потому, каким быть Богу-Завтра — прекрасным или дурным, добросердечным или карающим, — зависит от самих людей. Так думать позволительно и необходимо: того желает от мыслящих существ сам Бог-Творец, и потому о завтрашней жизни на земле пусть заботятся сами люди, ведь каждый из них какая-то частица Бога-Завтра. Человек сам судья и сам творец каждого дня нашего.

— Постой, а как же Страшный суд, столь грозно провозглашаемый тобою?

— Страшный суд... А ты не думал, правитель римский, что он давно уже свершается над нами?

— Не хочешь ли ты сейчас сказать, что вся наша жизнь — Страшный суд?

— Ты не далек от истины, правитель римский, пройти тем путем, что начинался в муках и терзаниях с проклятия Адаму, через злодеяния, чинимые из века в век одними людьми над другими людьми, порождающими зло от зла, неправду от неправды, — это, наверно, что-то значило для тех, кто пребывал и пребывает на белом свете. С тех пор, как изгнаны родоначальники людей из Эдема, какая бездна зла разверзлась, каких только войн, жестокостей, убийств, гонений, несправедливостей, обид не узнали люди! А все

страшные прегрешения земные против добра, против естества, совершенные от сотворения мира, — что все это, как не наказание почище Страшного суда? В чем изначальное назначение истории — приблизить разумных к божественным высотам любви и сострадания? Но сколько ужасных испытаний было в истории людей, а впереди не видно конца злодеяниям, бурлящим, как волны в океане. Жизнь в таком аду не хуже ли Страшного суда?

— И ты, Иисус Назарянин, намерен остановить историю во зле?

— Историю? Ее никто не остановит, а я хочу искоренить зло в деяниях и умах людей — вот о чем моя печаль.

— Тогда не будет и истории.

— Какой истории? Той, о которой ты печешься, наместник римский? Ту историю, к сожалению, не вычеркнешь из памяти, но если бы ее не было, мы оказались бы гораздо ближе к Богу. Я тебя понимаю, наместник. Но подлинная история, история расцвета человечности, еще не начиналась на земле.

— Постой, Иисус Назарянин, оставим меня пока в стороне. Но как же ты, Иисус, намерен привести к такой цели людей и народов?

— Провозглашением Царства справедливости без власти кесарей, вот как!

— И этого достаточно?

— Да, если бы этого захотели все...

— Занятно. Ну что ж, я выслушал тебя внимательно, Иисус Назарянин. Ты прозреваешь далеко, но не слишком ли ты самонадеян, не слишком ли ты уповаешь на людскую веру, забывая о низменной природе площадей? Ты в этом очень скоро убедишься за городской стеной, однако истории тебе не повернуть никак, эту реку никому не повернуть. Меня же одно удивляет: к чему ты зажигаешь пожар, в котором прежде всех сгоришь сам? Без кесарей не может жить мир, не может существовать могущество одних и покорность других, и напрасно ты тщишься навязать иной, придуманный тобой порядок как новую историю. У кесарей есть свои боги — они чтут не твоего отвлеченного Бога-Завтра, что в бесконечности всех «завтра» лишен определенных границ и принадлежит всем на равных основаниях, как воздух, ибо все, что можно равно дать, то ничто, то малоценно, то пустое, оттого-то кесарям и дано владычествовать именем своим над каждым и над всеми. А среди всех кесарей, правя-

ших в мире, достославного Тиверия отличили боги — его держава, Римская империя, простерлась на полмира. И потому под эгидой Тиверия я властвую над Иудеей и в этом вижу смысл жизни своей, и совесть моя спокойна. Нет выше чести, чем служить непобедимому Риму!

— Ты не исключение, наместник римский, чуть не каждый жаждет властвовать хотя бы над одним себе подобным. В том-то и беда. Ты скажешь, так устроен мир. Порок всегда легко оправдать. Но мало кто задумывается над тем, что это есть проклятие рода людского, что зло властолюбия, которым заражены все — от старшины базарных подметальщиков до грозных императоров, — злейшее из всех зол, и за него однажды род человеческий поплатится сполна. Погибнут народы в борьбе за владычество, за земли, до основания, до самого корня друг друга изничтожат.

Понтий Пилат нетерпеливо вскинул руку, прервав речь собеседника:

— Остановись, я не ученик твой, чтобы благоговейно внимать тебе! Остановись! На словах сокрушить можно все что угодно. Но что бы ты ни предрекал, Иисус Назарянин, напрасны усилия твои. Мир, управляемый властями, не может быть иным. Как он на том стоял, так на том и будет стоять: кто сильнее — у того и власть, и впредь миром будут править сильные. И порядок этот неизменен, как звезды на небе. Их никому не передвинуть. Напрасно ты болеешь за род людской, напрасно готов спасти его ценою жизни своей. Людей не научат ничему ни проповеди в храмах, ни голоса с неба! Они всегда будут следовать за кесарями, как стада за пастухами, и, преклоняясь перед силой и благами, почитать будут того, кто окажется беспощадней всех и могущественней всех, и славить будут полководцев и их битвы, где кровь хлынет потоками во имя владычества одних и покорения и унижения других. В том и будет доблесть духа, воспетая, передаваемая из поколения в поколение, в честь того будут возноситься знамена и звучать трубы, кровь будет вскипать в жилах, будет приноситься клятва — ни вершка чужим не отдавать; и от имени народа будут возводиться в необходимость военные действия, воспитываться ненависть к врагам отечества: пусть собственный царь процветает, а другого задавить, поставить на колени, поработить вместе с народом его, а землю отнять, — да в этом же вся сладость жизни, весь смысл бытия с незапамятных времен, а ты, Назарянин, хочешь все это осудить, проклясть, ты славишь

убогих и бессильных, ты благодости повсюду хочешь, забывая при этом, что человек — зверь, что он не может без войн, как плоть наша не может без соли. Подумай, в чем твои ошибки и заблуждения, хотя бы в этот час, перед тем как тебе идти с конвоем на Лысую гору. А на прощание я скажу тебе: ты видишь корень зла во властолюбии великом людей, в покорении земель и народов силой, но этим ты только усугубляешь свою вину, ибо кто против силы, тот против сильных. Не иначе как намекаешь ты на нашу Римскую империю своим провозглашением Царства справедливости, хочешь воспрепятствовать растущему могуществу Рима, всемирному его владычеству над миром, да только за одно такое намерение ты трижды заслуживаешь казни!

— Зачем так щедро, правитель добрый, вполне достаточно, я думаю, и одной казни. Но все-таки продолжим наш разговор, хоть я и понимаю, как сейчас маются под знойным солнцем палачи, ожидая меня на Лысой горе, так вот, продолжим наш разговор, но теперь уже по моему последнему, предсмертному желанию. Итак, наместник римский, ты уверен, что то и есть сила, что ты считаешь силой. Но есть сила иного рода — сила добра, и постичь ее, пожалуй, труднее и сложнее, и для добродетели не меньше мужества требуется, чем для войн. Послушай же меня, наместник, так получилось, что ты последний человек, с кем у меня разговор перед Лысой горой. И я имею желание открыться тебе, но ты не думай, я тебя не о помиловании буду просить...

— Это было бы просто смешно.

— Потому и объявляю заранее, чтобы ты, наместник римский, спокоен был на этот счет. Теперь уже лишь ты один об этом будешь знать. Терзался дух мой прошлой ночью, как думалось мне поначалу, беспричинно. Нет, не душно было в Гефсимании — на загородных всхолмлениях ветерок гулял. А только места я себе не находил, томление, страх и тоска обуревали меня, и звуки тягостные вроде бы из сердца моего в небо уходили. Мои приверженцы, ученики мои, пытались бодрствовать со мной, однако облегчение не приходило. И знал я, что час предназначенный наступит, что смерть грядет неотвратимая. И ужас обуял меня... Ведь смерть каждого человека — это конец света для него.

— Отчего же так? — не без злорадства глянул Понтий Пилат на подсудимого. — А как же быть, Назарянин, с идеей загробной жизни? Ведь ты же утверждал, что жизнь со смертью не кончается.



— Опять же судишь по молве, правитель! В загробном мире беззвучно дух витает, как тень в воде, — то отраженье неуловимой мысли скользит в пространстве запредельном, но плоти туда дороги нет. Ведь то совсем иная сфера, иного, не подлежащего познанию бытия. И времени течение там иное, не подлежащее земному измерению. А речь идет о жизни измеримой, жизни на земле. Меня томило странное предощущение полной покинутости в мире, и я бродил той ночью по Гефсимании, как привидение, не находя себе покоя, как будто я один-единственный из мыслящих существ остался во всей вселенной, как будто я летал над землей и не увидел ни днем ни ночью ни одного живого человека, — все было мертво, все было сплошь покрыто черным пеплом отбушевавших пожаров, земля лежала сплошь в руинах — ни лесов, ни пашен, ни кораблей в морях, и только странный, бесконечный звон чуть слышно доносился издали, как стон печальный на ветру, как плач железа из глубин земли, как погребальный колокол, а я летал как одинокая пушинка в поднебесье, томимый страхом и предчувствием дурным, и думал — вот конец света, и невыносимая тоска томила душу мою: куда же подевались люди, где же мне теперь приклонить голову? И взроптал я в душе своей: вот, Господи, тот роковой исход, которого все поколения ждали, вот Апокалипсис, вот завершение истории разумных существ — так отчего же случилось такое, как можно было так погибнуть, исчезнуть на корню, потомство в себе истребив, и ужаснулся я в догадке страшной: вот расплата за то, что ты любил людей и в жертву им себя принес. Неужто свирепый мир людской себя убил в свирепости своей, как скорпион себя же умерщвляет своим же ядом? Неужто к этому дикому концу привела несовместимость людей с людьми, несовместимость границ имперских, несовместимость идей, несовместимость гордынь и властолюбий, несовместимость пресыщенных безраздельным господством великих кесарей и следовавших за ними в слепом повиновении и лицемерном славословии народов, вооружившихся с ног до головы, кичащихся победами в неисчислимых междоусобных битвах? Так вот чем кончилось пребывание на земле людей, унесших с собой в небытие божественный дар сознания. О Господи, взроптал я, зачем же наделил ты умом и речью, свободными для созидания руками тех, что себя в себе убили и землю превратили в могильник общего позора! Так плакал я и стenal один в безмолвном мире и проклинал удел

свой и Богу говорил: то, на что Твоя рука не поднялась бы, сам человек преступно совершил... Так знай же, правитель римский, конец света не от меня, не от стихийных бедствий, а от вражды людей грядет. От той вражды и тех побед, которые ты так славишь в упоении державном...

Иисус перевел дыхание и продолжил:

— Такое вот видение было мне прошлой ночью, и долго думал я над ним, не спал, все бодрствовал в молитвах и, укрепившись духом, намерен был поведать ученикам моим об этом ниспосланном мне Отцом видении, но тут толпа большая явилась в Гефсиманию, и среди них Иуда. Иуда быстро обнял меня, поцеловал холодными устами. «Радуйся, Равви», — сказал он мне, а пришедшим до того сказал: «Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его». И они меня схватили. И теперь, как видишь, я стою перед тобой, наместник римский. Я знаю, мне сейчас на Лысую гору. Однако ты был милостив ко мне, правитель, и тем доволен я, что перед смертью удалось мне поведать о том, что пережил я вчера в Гефсимании.

— А ты уверен, что я, внимая тебе, всему поверил?

— Это дело твое, наместник, верить или не верить. Скорее всего ты мне не веришь, ведь мы с тобой — как две разные стихии. Но при этом ты выслушал меня. Ведь не можешь же ты сказать себе, что ты ничего не слышал, и не можешь запретить себе об этом думать. А я могу сказать себе, что не унес с собой в могилу то, что открылось мне в Гефсимании. Совесть моя теперь спокойна.

— Скажи, Назарянин, а ты, случайно, не предсказывал ли на базарах?

— Нет, правитель, почему ты так спросил?

— Не пойму, то ли ты играешь, то ли ты в самом деле лишен страха и не боишься мучительнейшей казни. Неужто, когда тебя не станет, тебе так важно, что ты успел сказать, а что не успел, кто тебя выслушал, а кто нет? Кому это все нужно? Не суета ли это, все та же суета сует?

— Не скажи, правитель, не суета это! Ведь мысли перед смертью возносятся прямо к Богу, для Бога важно, что думает человек перед смертью, и по ним Бог судит о людях, некогда созданных им как наивысшее творение среди всего живого, ибо последние из наипоследних мыслей всегда чисты и предельно искренни и в них одна правда и нет хитрости. Нет, правитель, извини, но напрасно ты думаешь, что я играю. В младенчестве я играл в игрушки, больше никогда.

А что до того, боюсь ли я мучений, скрывать тут нечего, я тебе о том уже говорил. Боюсь, очень боюсь! И Господа моего, Отца Всеблагого, молю, чтобы силы дал достойно перенести уготованную мне участь, не низвел бы меня до скотских воплей и не срамил иным путем... Так я готов, наместник римский, не задерживай меня больше, не стоит. Мне пора...

— Да, ты сейчас отправишься на Лысую гору. Так сколько же тебе лет, Иисус Назарянин?

— Тридцать три, правитель.

— Как ты молод! На двадцать лет меня моложе, — с жалостью заметил Понтий Пилат, покачивая головой, и, призадумавшись, сказал:— Насколько мне известно, ты не женат, стало быть, детей у тебя нет, сирот после себя не оставишь, так и запишем. — И умолк, собрался было что-то еще сказать, но, передумав, промолчал. И хорошо, что промолчал. Чуть было конфузу не наделал. А женщину ты познал? — об этом намеревался спросить. И сам смутился: что за бабье любопытство, как можно, чтобы почтенный муж спрашивал о таких делах.

Глянув в этот момент на Иисуса Назарянина, уловил по его глазам, что тот догадался, о чем хотел спросить прокуратор, и наверняка не стал бы отвечать на такой вопрос. Прозрачно-синие глаза Иисуса потемнели, и он замкнулся в себе. «С виду такой кроткий, а какая в нем сила!» — подивился Понтий Пилат, нащупывая ногой соскользнувшую с ноги сандалию.

— Ну хорошо, — повернул он вопрос в другую сторону, как бы компенсируя несостоявшийся разговор по поводу женщины. — А вот сказывали, что ты вроде подкидыш, так ли это?

Иисус улыбнулся открыто и добродушно, обнажая белые ровные зубы.

— Возможно, что и так в некотором роде.

— А точнее, так или не так?

— Точно, точно, правитель добрый, — подтвердил Иисус, чувствуя, что Понтий Пилат начинает раздражаться, ибо и этот вопрос был не очень к лицу прокуратору. — Я был «подкинут» моим Отцом Небесным через Духа Святого.

— Хорошо, что больше ты никому не будешь морочить голову, — устало процедил сквозь зубы прокуратор. — А все же кто мать, тебя родившая?

— Она в Галилее, Марией зовут ее. Чувствую, что она сегодня подоспеет. Всю ночь была в дороге. Это я знаю.

— Не думаю, что ее обрадует конец ее сына, — мрачно изрек Понтий Пилат, собираясь завершить затянувшийся разговор с этим юродивым из Назарета.

И прокуратор выпрямился под сводами Арочной террасы во весь рост, величественный, большоголовый, с крупным лицом и с твердым взглядом, в снежно-белой тоге.

— Стало быть, уточним для порядка, — постановил он и принялся перечислять: — Отец — как бишь его? — Иосиф, мать — Мария. Сам родом из Назарета. Тридцати трех лет от роду. Не женат. Детей не оставил. Подстрекал народ к мятежам. Грозился разрушить великий храм Иерусалимский и за три дня воздвигнуть новый. Выдавал себя за пророка, за царя Иудейского. Вот вкратце и вся история твоя.

— Не будем говорить о моей истории, а вот тебе скажу: ты останешься в истории, Понтий Пилат, — негромко изрек Иисус Назарянин, взглянув прямо и серьезно в лицо прокуратора. — Навсегда останешься.

— Еще что! — небрежно отмахнулся Понтий Пилат. Ему все-таки польстило это высказывание, но вдруг, переменив тон, торжественно изрек:— В истории останется славный император Тиверий. Да будет славно его имя. А мы лишь его верные сподвижники, не более того.

— И все-таки в истории останешься ты, Понтий Пилат, — упрямо повторил тот, кто отправлялся на Лысую гору, за стены Иерусалима...

А та птица, то ли коршун, то ли орел, что кружила с утра над Иродовым дворцом, точно поджидая кого-то, наконец покинула свое место и медленно полетела в сторону, куда повели окруженного многочисленным конным конвоем, связанного, как опасного преступника, того, с кем так долго беседовал сам прокуратор всей Иудеи Понтий Пилат.

Прокуратор же все стоял на Арочной террасе, с удивлением и ужасом следя за странной птицей, летевшей вслед за тем, кого вели на Лысую гору...

— Что бы это значило? — прошептал прокуратор в недоумении и тревоге...

### III

Тот летний дождь в степи, что так долго собирался, еще с вечера темнея и вызревая на горизонте в безмолвных всполохах молний и передвижении туч, начался лишь глубокой ночью. Его тяжелые капли, с силой барабанившие по сухой

земле, хлынувшие затем потоками, ощутил на своем лице Авдий Каллистратов, приходя в сознание, — они были первым даром жизни.

Авдий лежал там же, в кювете подле железной дороги, куда скатился с откоса, когда его сбросили с поезда. Первое, что он подумал: «Где я? Кажется, дождь». Он застонал, хотел передвинуться и от дикой боли в боку и свинцовой тяжести в голове снова впал в беспамятство, но через некоторое время все-таки пришел в себя. Спасительный дождь возродил его к жизни. Дождь лил щедро и могуче, и вода, стекая с откоса, скапливалась в кювете, где лежал Авдий. Пробираясь к человеку, она вспучивалась пузырями, поднималась все выше к горлу, и это заставило Авдия превозмочь себя, попытаться действовать, чтобы выползти из этого опасного места. В первые минуты, пока тело преодолеvalo себя, привыкая к движению, это было особенно мучительно. Авдию с трудом верилось, что он остался жив. Ведь как жестоко его избивали в вагоне, на какой страшной скорости спихнули с поезда, но какая все это ерунда по сравнению с тем, что жив, жив вопреки всему! Жив и может передвигаться, пусть ползком, слышит и видит, и радуется этому спасительному дождю, что хлещет как из ведра, омывая его разбитое тело, остужая руки, ноги и гудящую горячую голову, и будет ползти, пока хватит сил, — ведь скоро рассветет, и настанет утро, и снова начнется жизнь... И тогда он придумает, что ему делать, надо лишь как-то встать на ноги...

Тем временем, прорезая дождь и тьму, один за другим с грохотом пронесли несколько ночных поездов... И им он тоже был рад, все, что говорило о жизни, радовало его как никогда...

Авдий не хотел прятаться от дождя, даже если бы и мог, он понимал, что этот живительный дождь ему необходим. Только бы руки-ноги были целы, а уж ссадины, ушибы и даже жгучую боль в правом боку он готов был перенести безропотно... Ему все-таки удалось выползти, выкарабкаться на безопасное место, на небольшой пригорочек, и теперь он лежал под дождем, собираясь с духом, чтобы жить дальше...

Так возник он вновь из небытия, и, возникнув, восстанавливал все то, что составляло суть его жизни, и дивился тому, какой удивительной ясности и объемности мысли осеняют его...

И он сказал Тому, которого уводили от Понтия Пилата на Лысую гору: «Учитель, я здесь! Что мне делать, чтобы вы-

зволить Тебя, что мне делать, Господи? Как мне спасти Тебя? О как мне страшно за Тебя теперь, когда я вновь ожил!»

Исторический синхронизм — когда человек способен жить мысленно разом в нескольких временных воплощениях, разделенных порой столетиями и тысячелетиями, — присущ в той или иной мере каждому человеку, не лишенному воображения. Но тот, для кого события минувшего так же близки, как сиюминутная действительность, тот, кто переживает былое как свое кровное, как свою судьбу, тот мученик, тот трагическая личность, ибо, зная наперед, чем кончилась та или иная история, что повлекла она за собой, все предвидя, он лишь страдает, не в силах повлиять на ход событий, и приносит себя в жертву торжеству справедливости, которому никогда не состояться. И эта жажда утвердить правду минувшего — свята. Именно так рождаются идеи, так происходит духовное сращение новых поколений с предыдущими и предпредыдущими, и на том свет стоит, и жизненный опыт его постоянно увеличивается, приращивается — добро и зло передаются из поколения в поколение в нескончаемости памяти, в нескончаемости времени и пространства человеческого мира...

И потому было сказано: вчерашние не могут знать, что происходит сегодня, но сегодняшние знают, что происходило вчера, а завтра сегодняшние станут вчерашними...

И еще было сказано: сегодняшние живут во вчерашнем, но если завтрашние забудут о сегодняшнем, это беда для всех...

Авдий очень волновался, отчаивался, когда наступил тот день накануне первого дня Пасхи, и душным предпраздничным вечером пытался разыскать в нижнем городе дом, где совершалась накануне Тайная вечеря с учениками, где преломил Он хлеб, сказав, что это тело Его, и разлил вино, сказав, что это кровь Его, ведь уже тогда можно было предупредить о грозящей опасности, о предательстве Иуды Искариота, о необходимости срочно, безотлагательно покинуть этот страшный город, поспешить как можно скорее в путь. В поисках этого дома он метался в уходящих сумерках по кривым и запутанным улочкам, зачем-то вглядываясь в лица прохожих и проезжих, точно бы у него могли быть здесь знакомые, но ни среди поспешавших в тот час к семейным трапезам горожан, ни среди тех, кто еще заглядывал в лавки перед их закрытием, он не обнаружил никого, кому бы мог довериться. А многие прохожие так и вовсе не знали,

кто это такой — Иисус Христос. Мало ли в городе было бродяг. Какой-то сердобольный горожанин стал его звать к себе на Пасху. Но Авдий, поблагодарив, отказался. Он надеялся предупредить Учителя. От волнения, от света в окнах, от сильных запахов в воздухе, разносившихся от очагов с едой, от парной духоты, исходившей от обильно политых для прохлады дорог и дворов, у него разболелась голова. Его стало мутить. И тогда он кинулся за город, в Гефсиманию, надеясь застать Учителя с учениками еще там в саду в молитве и беседе. Но напрасно! И здесь в тот поздний час он никого не обнаружил. В саду было безлюдно, и под тем большим фикусовым деревом, где схватила Учителя вооруженная толпа, тоже никого уже не было. Ученики отсюда разбежались, как и предсказывал сам Учитель...

Луна плыла над дальним морем и над сушей, уже перевалило за полночь — близился роковой день, последствия которого не избудутся веками и долго еще и разно будут сказываться на истории человечества. Но в Гефсимании и прилегающих к ней всхолмлениях, поросших садами и виноградниками, в тот час было тихо, лишь птицы ночные пели по кустам, лягушки перекликались и журчал, катился, переливаясь при луне по каменистым древним стокам, неспящий Кедрон с кедровых гор, делясь на ручьи и вновь собираясь в единый поток. Все пребывало на своих местах и существовало, как испокон века, — тихо и благостно было на земле в ту ночь, и только он, Авдий, не находил себе покоя оттого, что все свершалось, как должно было свершиться, и он не мог ничего ни остановить, ни предотвратить, хотя знал наперед, чем все кончится. Напрасно плакал он и взывал в отчаянии к Богу-Завтра. И примириться не мог со свершившимся спустя одна тысяча девятьсот пятьдесят лет от того, когда это произошло, и в поисках себя, перенесясь в минувшее бытие, мысленно вернулся в то начало, от которого через все круговращения времени протянулась нить и к его судьбе. Искал ответа, то устремляясь вспять на тысячулетия, то вновь возвращаясь в сегодняшнюю реальность под степной дождь, что лил на голову и плечи, то отрешаясь, то трезво взвешивая факты.

И позволял себе в благих порывах волонтеризм по отношению к истории — концепцию Страшного суда над миром, сложившуюся гораздо позже, вкладывал в уста людей, живших задолго перед этим, — уж очень не терпелось Авдию, чтобы об этом сказано было самому Понтию Пилату, по-

скольку не исчезла тень Пилата, всесильного наместника империи, и по сей день. (Ведь есть же потенциальные пилаты и теперь!) И в таком опережении событий Авдий Каллистратов исходил из того, что изначальные законы мира действуют всегда, хоть и обнаруживают себя гораздо позже. Так и с идеей Страшного суда — давно уже ум человеческий терзала идея грядущего возмездия за все несправедливости, что творились на земле.

Но кто же такой был Иисус, от которого идет отсчет, как от нуля, в трагическом самосознании духа? И зачем все это надо было? Неужто лишь для того, чтобы у нас была причина для вечного покаяния? И почему с тех пор, как он взошел на крест, так долго не успокоятся умы? Ведь с тех дней многое, что претендовало на бессмертие, забылось и обратилось в прах. Всегда ли помнилось при этом, что жизнь людей вседневно совершенствуется: что было сегодня ново, то наутро старо, что было лучше, завтра меркнет перед еще более прекрасным, так почему же сказанное Иисусом не устаревает и не теряет свою силу? А все, что произошло от его рождения до казни на столбе, и более того — что пошло от него затем во времена и поколения, неужто так необходимо и неизбежно было для человечества? И в чем, наконец, заключался смысл этого пути в истории людей? Что постигли они? К чему пришли? И если сокровенной целью была идея человеколюбия — идея гуманизма, как утверждают ученые умы, то есть путь человека к самому себе, к бесконечному совершенству духа в самом себе как наделенном разумом существе, то как же изначально сложно, тяжело и жестоко задуман был тот путь — кем и зачем? Могли ли люди просуществовать без этого каждым по-своему толкуемого гуманизма — от христианского до вселенского, от социально-эгоистического, классового, до принципиально абстрактного? И к чему в наш век давно обветшавшая на том пути религия?

Действительно, к чему? Ведь всем уже давно все ясно, даже детям. Разве материалистическая наука не вбила осиновый кол в могилу христианского вероучения, и не только его одного, не смела их решительно и властно с пути прогресса и культуры — единственного верного пути? Теперешнему человеку, казалось бы, нет нужды исповедовать веру, ему будет вполне достаточно знать об этих умерших учениях в порядке общей исторической осведомленности, не более. Ведь все это изжило себя, все изведено и пройдено. Но к че-



му мы пришли, что у нас есть взамен той милосердной, жертвенной, давно отброшенной на обочину, злорадно высмеянной реалистическими мировоззрениями идеи? Что у нас есть подобное, вернее, превосходящее? Ведь новое несомненно должно быть лучше старого. И оно есть, это новое! Есть! На подходе новая могучая религия — религия превосходящей военной силы. В какие еще эпохи человеку доводилось изо дня в день, всю жизнь от рождения и до смерти существовать всецело в зависимости от того, развяжут войну эти силы или воздержатся? Кто же теперь боги как не они, владельцы этого оружия? Вот разве что пока еще нет церквей, где молились бы на макеты ядерных снарядов на алтаре да били поклоны генералам... Чем не религия?

Таким раздумьям о житье-бытье предавался порой Авдий Каллистратов, и в этот раз, когда в неизмеримой протяженности мышления ему дано было проникнуть в минувшее как в данность, в суть тех событий, что были до него, — так новая вода протекает мимо старых берегов, — и тогда он вернулся к истоку тех дней, к той предпасхальной ночи в пятницу, чтобы разыскать Учителя, успеть сказать ему о своей тревоге, сообщить ему о тревоге наступающих через столетия времен, сообщить, что появился на исторической арене новый Бог — Бог Голиаф, подобно чуме поразивший сознание всех до одного жителей планеты своей религией, развратной и универсальной, религией превосходящей военной силы. Как отозвался бы Учитель, как ужаснулся бы: куда грядет в этом бешеном состязании за военное превосходство род людской? И если бы Он вторично решил взвалить на себя ношу грехов наших и взошел бы на крест, то и тогда навряд ли тронул бы души людей, поработанные агрессивной религией превосходящей военной силы...

Но к огорчению своему, Учителя он не застал. Иуда уже выдал его, и Его схватили и увели, и плакал Авдий в опустевшей Гефсимании обо всем, что было, и обо всем, что будет, один во всем саду и во всем мире. Так, спеша вспасть, он объявился в Гефсимании, перешагивая через прашуров своих, в ту пору еще обитавших в северных чашобных лесах и поклонявшихся еще рубленным из бревен идолам, которым даже имя его — Авдий — еще не было известно. Оно только еще со временем будет заимствовано, а ему самому предстоит еще родиться в далеком двадцатом веке...

И долго сидел Авдий, рыдая, под тем фикусовым деревом, где был опознан, схвачен и уведен Учитель, и сокру-

шался Авдий так, как будто что-то могло от этого измениться в судьбах мира...

Потом он встал и, опечаленный, пошел в город. Там, за стенами ночного Иерусалима, жители спокойно спали спокойным сном в ту предпасхальную ночь, еще ни о чем не подозревая, и только он один в тревоге и смятении бродил по городу и думал: где Учитель, что с ним теперь? А потом его осенило, что еще не поздно спасти Учителя, и он стал стучаться в окна, во все окна, что попадались по пути: «Вставайте, люди, беда грядет! Пока еще есть время, спасем Учителя! Я уведу его в Россию, есть островок заветный на реке нашей, на Оке...»

По разумению Авдия, на том заветном островке посреди реки Учитель мог бы находиться в полной безопасности — там бы Он предавался размышлениям над превратностями мира, и, быть может, там родилось бы новое озарение, и Он прозрел бы новый путь человечеству в даль времен и даровал бы людям божественное совершенство, дабы путь к мессианской цели, возложенной Им на себя как непреложный долг, лежал бы не через кровь, и не пришлось бы расплачиваться за него мучениями и унижениями, которые Он, безумный, готов принять ради людей, за правду, опасную гонителям и потому искореняемую столь беспощадно: ведь ради счастья будущих поколений наложил Он на себя тот гибельный долг, неизбежный на избранном им пути освобождения человека от гнета собственной причастности к извечным несправедливостям, ибо в естественных вещах несправедливости не существует, она бытует лишь меж людьми и идет от людей. Однако можно ли достичь цели таким антиисторическим способом и есть ли какая-либо уверенность в том, что этот урок Учителя не будет забыт всякий раз, когда, преследуя свою корысть, человек захочет забыть Учителя, заглушить и задавить свою совесть и найдет себе множество оправданий: мол, он-де вынужден был якобы злом отпечать на зло; как отвратить венец творенья — человека от пагубных страстей, вседневно сопутствующих ему и в благоденствии, и в невзгодах, и в бедности, и в пресыщении богатством, и когда он имеет власть, и когда он никакой власти не имеет; как отвратить венец творенья — человека от неумной жадности господства над другими, как отвратить от постоянных сползаний к вседозволенности: ведь самодовольство и надменность влекут человека повелевать и принуждать, когда он в силе, а когда не в силе, угодливостью,

лицемерием и коварством стремиться к той же цели, и в чем же тогда подлинная цель жизни, в чем ее смысл, и кто, наконец, в состоянии ответить на этот вопрос так, чтобы ни одна душа не усомнилась в истинности и чистоте его ответа.

И ты, Учитель, идешь на лютейшую казнь, дабы человек внял добру и состраданию — тому, что в первооснове отличается разумного от неразумного, ибо тяжко пребывание человека на земле, глубоко затаились в нем истоки зла. И разве достигим таким путем абсолютный идеал — ум, окрыленный свободой мышления, возвышенная личность, изжившая в себе анахронизм зла отныне и во веки веков, как изживают заразную болезнь? О если бы это было достижимо! Боже, зачем же Ты взвалил на себя такое бремя, чтобы исправить неисправимый мир? Спаситель, остановись, ведь те, ради которых Ты пойдешь на крест, на мученическую смерть, они же потом над Тобой надсмеются. Да, да, иные будут просто хохотать, иные будут издеваться над тщетой Твоей спустя тысячелетия, когда материалистическая наука, не оставив от веры в Бога камня на камне, объявит неблудницей все, что с Тобой было: «Чудак! Глупец! Кто его просил? Зачем, к чему было устраивать тот спектакль с распятием? Кого этим удивить? Что это дало, что это изменило в человеке хотя бы на волосок, хотя бы на йоту?» Так будут думать те поколения, которым Твой подвиг будет казаться чуть ли не нелепым, которые к тому времени постигнут устройство материи до ее изначальной сущности и, преодолев земное тяготение, вступив в космические сферы, оспаривать будут вселенную друг у друга в алчбе кошмарной, стремясь к галактическому господству, и хоть и бесконечно пространство, но им и вселенной будет мало, ибо в отместку за неудачу на земле они готовы будут в угоду своим амбициям саму планету развеять в прах, планету, на которой Ты пытался возвестить культ милосердия. Так Ты подумай, что для них Бог, когда они себя выше Бога считают, что им чудак, повисший на кресте, когда, уничтожив всех разом, они самую память Твою сотрут с лица земли. О бедный, о наивный мой Учитель, бежим со мной на Волгу, на Оку, на тот уединенный островок посреди реки, и там ты будешь пребывать как на звезде небесной, всем отовсюду видной, но никому не доступной. Подумай, еще не поздно, у нас есть еще ночь и утро, быть может, Ты сумеешь еще избежать жестокой участи? Опомнись, неужто путь, Тобою избранный, единственно возможный путь?

Обуреваемый такими мыслями, Авдий с глубокой мукой во взоре бродил по улицам и площадям ночного жаркого Иерусалима, пытаясь вразумить Того, кто самим Господом послан был на землю для участи ужасной и трагической как вечный пример и укор людям... Но таково свойство человека, что этого укора никто впрямую на свой счет принимать не будет и каждый отыщет себе оправдание: мол, он тут ни при чем, мол, без него вершатся судьбы мира и пусть себе вершатся... Сколько неизбывной иронии тайлось в том замысле, страдающем недооценкой человеческой природы...

Уже в который раз прохаживаясь у городских ворот, Авдий встретил бродячую собаку о трех лапах — четвертую, подбитую, она поджимала к животу. Умно и грустно посмотрела на него собака.

— Ну что, хромец, — сказал он псу, оглядывая его. — Ты такой же бездомный, как и я. Пошли со мной.

И до самого рассвета пес бродил вместе с Авдием. Все как есть понимал тот пес. А утром вновь в заботах и хлопотах проснулся город, с утра базары и рынки наполнили груженые выюками верблюды, пригнанные из песков бедуинами, ослы и мулы, перевозившие грузы помельче, конные повозки с поклажей, носильщики с тюками на плечах — все пришло в действие, все — страсти, товары, галдеж — завертелось в общем колесе купли-продажи... Однако многие иерусалимцы стеклись к белостенному городскому храму и оттуда взбудораженной толпой двинулись к римскому прокуратору Понтию Пилату. Примкнул к ним и Авдий Каллистратов: он понял, что речь идет о судьбе Учителя. И он пошел с ними к Иродову дворцу, но вооруженная стража не пропустила их к наместнику. И они остановились у дворца в ожидании. Народу все прибывало, хотя жара стояла с самого утра. Разные страсти влекли сюда разных людей. Какие только разговоры ни ходили в той беспокойной толпе: одни говорили, что пророка Иисуса Назорея прокуратор помилуется властью, данной ему Римом, отпустит, чтобы он убрался из Иерусалима куда подальше и никогда больше сюда не возвращался, другие говорили, что одному из приговоренных в честь Пасхи даруют жизнь и что помилованным этим будет Иисус, третьи попросту верили, что его спасет сам Яхве на глазах у всех, но все — и те, и другие, и третьи — ждали, ждали, не ведая, что происходило там, за оградами и стенами дворца. И много было таких в толпе, кто посмеивался над беднягой, расплачивающимся головой за потешный

свой трон, глумилися над обреченным чудачком и сетовал: что, мол, прокуратор тянет, рубить так рубить сплеча, чего еще нянчиться, солнце вон как припекает, и до полудня все изжарится на Лысой горе. Этот Иисус Назорей, он-де кого хочешь заговорит, кому угодно голову задурит. Ясное дело — треплет там языком и смущает прокуратора, чего доброго наместник римский еще возьмет да отпустит его, а тогда зачем же мы здесь стоим... И Иисус Назарянин хорош — наобещал с три короба, только где оно, его Царство Новое, а теперь его самого вздернут, как собаку... Так-то оно бывает...

Слушая их речи, Авдий возмущался. «Не смейте так говорить! Неблагодарные, низменные душонки! Как можно так осквернять и опошлять великую борьбу человеческого духа с самим собой. Вам гордиться надо им, люди, его мерой мерить себя!»— в отчаянии кричал Авдий Каллистратов, обливаясь слезами в толпе иерусалимской. Но никто его не слышал, никто не замечал его присутствия. Ведь ему еще предстояло родиться в далеком двадцатом веке...

\* \* \*

Дождь, что хлынул среди ночи, постепенно пошел на убыль. Ушел, как пришел, еще куда-то пролиться ливнем. И наконец и вовсе стих, лишь изредка срываясь сверху запоздавшими каплями. А время близилось к рассвету, омытому и усыпанному звездами рассвету, — небо, еще темно-агатое в глубине, после дождя все больше светлело по краям. Прохладой веяло от влажной почвы, от вытянувшихся за ночь трав.

Но, пожалуй, никто из обитавших в степи живых существ не ощутил в тот час радости бытия столь остро и благодарно, как Авдий Каллистратов, хотя самочувствие его оставляло желать лучшего.

Но при этом Авдию повезло: раскаленный накануне воздух не успел охладиться за ночь, и он не замерз. И хотя он промок с головы до ног, и ушибы и травмы тоже давали знать, но он, презрев боль, сосредоточился и в ясновидении своем, дававшем ему возможность ощущать себя одновременно и в прошлом и в настоящем, воспринимал жизнь заново, открывал ее как дар судьбы и оттого еще больше ценил саму возможность жить и мыслить. В тот час, когда дождь кончился, Авдий сидел под железнодорожным мос-

том, куда с трудом, собрав последние силы, доковылял впопыхах...

Под этим мостом было относительно сухо, и он забрался сюда, как бродяга, и доволен был тем, что нашлось такое место, где он мог переждать дождь и предаться размышлениям. Под мостом было гулко и звонко, как под высокими сводами средневекового собора. Когда над головой проходили поезда, это походило на орудийный шквал, обрушивающийся издали и постепенно уходящий вдаль. Хорошо, просторно думалось в ту ночь Авдию, и мысль, родившись, развивалась уже сама по себе и беспредельно и беспрепятственно влекла за собой его дух. Авдий думал то о Христе и Понтии Пилате, мысленно переносился в те времена, и грохот проносящихся над ним поездов не мешал ему ощущать себя в древней Иудее среди гомонящей толпы на Голгофе и как бы видеть своими глазами все, что там происходило, то припоминал Москву, свое недавнее пребывание там и посещение Пушкинского музея, где пела болгарская капелла, и вспоминал своего двойника, так поразительно похожего на него болгарского певца, и перед ним вставало его лицо с разверстым ртом. Какие возвышенные звуки исторгали голоса болгарских певцов, как возносили они его душу и мысль! Отец его, дьякон Каллистратов, очень любил церковное пение и, слушая его, плакал от умиления. Однажды кто-то передал отцу текст удивительной молитвы одной современной монахини. Молодая еще в те годы женщина, бывшая воспитанница, а затем и воспитательница детдома, приняла постриг в годы войны после того, как ее возлюбленный, с которым они прожили всего полтора месяца, погиб на военном корабле, потопленном германской подлодкой. Дьякон Каллистратов, читая тот «документ души», в котором соединялись и плач, и молитва, всякий раз ронял слезу. Он очень любил, когда Авдий, тогда еще мальчишка, стоя в красном углу дома у старого пианино, читал ему вслух чистым отроческим голосом молитву о потопленном корабле. И Авдий заучил ее наизусть, ту молитву монахини, бывшей детдомовки:

«Еще только светает в небе, и пока мир спит перед восходом солнца, обращаю к Тебе, Всевидящий и Всеблагий, свою насущную молитву. Прости, о Господи, что своеволие проявляю и прежде вспоминаю не о Тебе, а снова докучаю своим делом, но я живу ради того, чтобы молитву сию проносить, пока я есть на этом свете.

Ты, Сострадающий, Благословенный, Правый, прости меня, что досаждаю тебе обращениями неотступными. В мольбе моей своекорыстия нет — я не прошу и толики благ земных и не молю о продлении дней своих. Лишь о спасении душ людских взывать не перестану. Ты, Всепрощающий, не оставляй в неведении нас, не позволяй нам оправданий искать себе в сомкнутости добра и зла на свете. Прозрение ниспосли людскому роду. А о себе не смею уст разомкнуть. Я не страшусь как должное принять любой исход — гореть ли мне в геенне или вступить в царство, которому несть конца. Тот жребий наш Тебе определять, Творец Невидимый и Необъятный.

Прошу лишь об одном, нет выше просьбы у меня, рабы Твоей, инокини, повинующейся словам любви Твоим, отшельницы, в отчаянии своем презревшей земную юдоль, отвергнувшей напрочь тщеславие и суету, чтобы в помыслах своих приблизиться к духу Твоему, Господи.

Прошу лишь об одном, яви такое чудо: пусть тот корабль плывет все тем же курсом прежним изо дня в день, из ночи в ночь, покуда день и ночь сменяются определенным Тобою чередом в космическом вращении Земли. Пусть он плывет, корабль тот, при вахте неизменной, при навсегда зачехленных стволах из океана в океан, и чтобы волны бились о корму и слышался бы несмолкаемый их мощный гул и грохот. Пусть брызги океана обдают его дождем свистящим, пусть дышит он той влагой горькой и летучей. Пусть слышит он скрип палубы, гул машин из трюма и крики чаек, с попутным ветром следующих за кораблем. И пусть корабль держит путь во светлый град на дальнем океанском берегу, хотя пристать к нему вовеки не дано...

Вот и все, более ничего не прошу в молитве своей ночедневной. И ты прости, Всеблагий и Милосердный, что докучаю просьбой странной, молитвой о затонувшем корабле. Но Ты — твердыня всех надежд высоких, земных и неземных. Ты был и остаешься Вездесущим, Всемогущим и Сострадающим началом всех начал. И потому с мольбой к Тебе идем как в прошлом, так и ныне и в грядущих днях. И потому, когда меня не станет и некому будет просить, пусть тот корабль плывет по океану и за пределом вечности. Аминь!»

Он и сам не понимал, почему ему опять припомнилась в ту ночь молитва монахини. И когда промелькнула еще мысль о том, что если бы встретила ему та девушка, что

приезжала в Учкудук на мотоцикле, он и ей бы прочел эту молитву, самому стало смешно. Поневоле рассмеялся Авдий, дураком непутевым себя обозвал и представил, как бы она поглядела на него, скорчившегося под мостом в самом плачевном виде, словно скиталец-вор или незадачливый разбойник. И что при этом она подумала бы о нем, а он, видишь ли, еще молитву о корабле хочет ей прочесть. Сумасшедшим посчитала бы его она и, конечно, была бы права. Но даже сейчас, рискуя унизить себя в ее глазах, он хотел бы увидеть ее...

И до самого рассвета Авдий сидел под мостом, а над его головой громыхали проносящиеся по степи поезда. Больше всего, однако, ему думалось о том, где теперь гонцы, бывшие попутчики его, что с ними. Наверно, пробились уже через Жалпак-Саз и покатали дальше. Где теперь Петруха, Ленька и другие? Где теперь неуловимый, как оборотень, Гришан? И сожалел Авдий, что допустил промах, грубую ошибку, что Гришан восторжествовал, что победило его черное дело, что все так плохо кончилось. И все равно Авдий считал, что испытания, выпавшие на его долю в эти дни, были ему необходимы. Хоть ему и не удалось перевоспитать гонцов, но материал для выступления в газете он добыл интересный, и добыл собственным трудом.

Эти соображения несколько успокаивали Авдия, но душа его болела, и прежде всего за Леньку. Вот кого можно было бы вывести на путь истинный, но не удалось.

Припомнилось Авдию теперь все, что довелось ему узнать и увидеть в Примоюнкусских степях — и та встреча его с волками, и то, как серая волчица перепрыгнула через его голову, вместо того чтобы вонзить в него клыки. Странно было это, очень странно — и навсегда запомнил он лютый и мудрый взгляд ее синих глаз.

Но вот над железной дорогой снова взошло солнце, и жизнь пошла по новому кругу. Чудесно было в степи после ночного дождя. Еще не наступила жара, и все степные просторы, сколько было видно вокруг, дышали чистотой, и пели в небе жаворонки. Заливались, порхали степные птицы между небом и землей. А по степи, передвигаясь от горизонта к горизонту, шли поезда, напоминая о жизни, бурлящей далеко отсюда.

Гармония и умиротворенность царили в то утро в степи, напитавшейся минувшей ночью благодатной влагой небес.

Как только пригрело солнце, Авдий решил просушить



одежду, стал снимать ее и ужаснулся — одежда была до того изодрана, что в ней стыдно было появиться на людях. Тепло же его все покрывали ссадины, кровоподтеки и огромные синяки. Хорошо, что у него не было при себе зеркала, — увидев себя в зеркале, он бы испугался страшного вида своего, но и без зеркала понимал, что с ним: к лицу невозможно было притронуться.

И все-таки у него достало мудрости внушить себе, что все могло обернуться гораздо хуже, что он остался жив, а уже одно это — великое счастье.

Когда он раздевался под мостом, обнаружилась еще одна неприятность — паспорт и те немногие деньги, что были у него в карманах, пришли в негодность. Паспорт, изодранный при падении и намокший под дождем, превратился в комок сырой бумаги. А из денег более или менее сохранились всего две купюры — двадцатипятирублевка и десятка. На эти деньги Авдию предстояло добраться до Москвы и далее до Приокска.

Невеселые мысли одолели Авдия Каллистратова. После изгнания из семинарии Авдию выпало жить в довольно стесненных условиях. С согласия сестры Варвары пришлось продать старое пианино, на котором она в детстве училась играть. В комиссионном магазине дали за пианино полцены, объясняя это тем, что музыкальные инструменты ныне не дефицит, их навалом, даже старые магнитофоны и то девать некуда, а пианино и подавно. Пришлось согласиться и с такой ценой, поскольку другого выхода не было. И вот теперь остался совсем без ничего. Лучше не придумаешь!

Начался новый день, а значит, надо было жить, и снова материя бытия брала идеалиста Каллистратова за горло.

Всю ночь он провел под мостом в раздумьях, и теперь ему надо было решать, как выбраться отсюда, а кроме того, надо было подумать и о хлебе насущном.

И тут Авдию улыбнулось счастье. Когда рассвело, выяснилось, что под мостом, под которым он укрывался, проходила проселочная дорога. Правда, судя по всему, машины здесь ходили не часто. Неизвестно, сколько еще пришлось бы ждать попутки, и Авдий решил своим ходом добираться до ближайшего разезда, а там доехать как-то до Жалпак-Саза. Решив двинуться в путь, Авдий стал осматриваться вокруг: не найдется ли какой-либо палки, чтобы опираться на нее в пути. Правое распухшее колено, разбитое при падении с поезда, сильно болело. Оглядываясь вокруг, Авдий посме-

ялся: «А вдруг Гришан выкинул ту палку, которой Петруха меня добил? Теперь-то она ни к чему ему!» Палки, разумеется, он не нашел, зато заметил, что по степи в сторону моста катит какая-то машина.

Это был грузовик с самодельной фанерной будкой над кузовом. В кабине рядом с шофером сидела женщина с ребенком на руках. Машина сразу затормозила. Шофер, дюжий темнолицый казах, не без удивления разглядывал Авдия из приоткрытого окна кабины.

— Парень, тебя что, цыгане избили? — неизвестно почему спросил он.

— Нет, не цыгане. Сам выпал из поезда.

— Ты не пьяный?

— Я вообще не пью.

Шофер и женщина с ребенком сочувственно заохали, заговорили между собой по-казахски, в их речи часто повторылось слово «бичара»<sup>1</sup>.

— Давай, слушай, садись, мы в Жалпак-Саз едем. А иначе умрешь один в степи, бичара. Тут машины не часто ходят.

Едва сдерживая слезы, предательски подступившие к горлу, Авдий обрадовался, как мальчишка.

— Спасибо, брат, — сказал он, прикладывая руку к груди. — Я как раз хотел попросить, чтобы вы меня захватили, если вам по пути. Трудно мне идти, с ногой плохо. Спасибо.

Шофер вышел, помог Авдию забраться в машину.

— Давай иди сюда. Я тебя приподниму, бичара. Да ты лезь, не бойся: там шерсть. Сдавать везу из совхоза. Как раз мягко будет тебе. Только смотри не кури.

— А я вообще некурящий. Не беспокойтесь, — заверил его Авдий самым серьезным образом. — Я всю ночь был под дождем, промок весь, а здесь согреюсь, отойду...

— Ладно, ладно! Я так просто сказал. Отдыхай, бичара.

Женщина выглянула из кабины, что-то сказала шоферу.

— Жена спрашивает, ты кушать хочешь? — пояснил шофер, улыбаясь.

— Очень хочу! — честно признался Авдий. — Спасибо. Если у вас есть что-нибудь, дайте, пожалуйста, я вам буду очень благодарен.

Авдию почудилось, что бутылка кислого овечьего молока и лепешка испеченного на очаге свежего хлеба, пахучего и белого, посланы ему свыше за муки той ночи.

---

<sup>1</sup> Бичара — несчастный, бедолага.

Поев, Авдий крепко уснул на тюках с овечьей шерстью, от которых разлило жиром и потом. А машина катила по степи, еще сохранившей свежесть после ночного ливня. И этот путь был Авдию на пользу — как выздоровление после болезни.

Проснулся он, когда машина остановилась.

— Приехали. Тебе куда надо? — выйдя из кабины, шофер стоял уже у заднего борта, заглядывая в кузов. — Парень! Ты жив?

— Жив, жив! Спасибо, — отозвался Авдий. — Мы уже в Жалпак-Сазе, выходит?

— Да, на станции. Нам сейчас на склад живсырья, а тебе куда?

— А мне на вокзал. Спасибо еще раз, что выручили. И жене вашей спасибо большое. Слов нет, чтобы вас отблагодарить.

Слезая с кузова с помощью шофера, Авдий застонал от боли.

— Совсем плохо тебе, бичара. Ты пойди в больницу, — посоветовал Авдию шофер. — Надо палку тебе, тогда легче ходить будет.

До здания вокзала Авдий добирался целых полчаса. Хорошо еще по пути подобрал какой-то обломок доски, приспособил его как костыль под мышкой — так ему стало легче ковылять.

А над путями, над конструкциями эстакад, прожекторов и грузовых кранов, над проходящими и уходящими составами, над привокзальной площадью, вернее сказать, над всем пристанционным городком в степи гремели по селектору команды, разносились гудки локомотивов, то и дело радиослужба оповещала о прибытии и отбытии пассажирских поездов. После пребывания в глуши Авдий сразу почувствовал кипение жизни. Кругом сновали и спешили озабоченные люди — недаром Жалпак-Саз считался одной из самых крупных узловых станций Туркестана.

Теперь Авдию предстояло решать, как уехать, на каком поезде, да и вообще как дальше быть, имея на все про все тридцать пять рублей. А билет в плацкартном вагоне только до Москвы — и то если в кассе будут места — стоит тридцать рублей. А на что жить? Как быть с ногой, ушибами и ссадинами? Обратиться в местную больницу или поскорее уезжать отсюда? Углубившись в свои мысли, Авдий проковылял через станционные помещения, душные и людные. В

изодранной одежде, в синяках да еще с этой нелепой доской-горбылем вместо костыля он невольно привлекал внимание — многие на него оглядывались. Уже выйдя на перрон к расписанию поездов, Авдий заметил, что за ним следит милиционер.

— А ну постой, парень! — остановил его милиционер, приближаясь. Раздраженный, строгий взгляд его не предвещал ничего хорошего. — Ты чего здесь делаешь? Кто ты такой?

— Я?

— Да, ты.

— Да вот хочу уехать. Расписание смотрю.

— А документы есть?

— Какие документы?

— Обыкновенные: паспорт, удостоверение личности, справка с места работы.

— Есть, только я, это самое...

— А ну предъяви.

Авдий замаялся:

— Понимаете ли, я, это самое, товарищ, товарищ...

— Товарищ лейтенант, — подсказал раздражительный милиционер.

— Так вот, товарищ лейтенант, я должен вам сказать...

— Что ты должен сказать — это мы потом узнаем. Давай документы.

Авдий не сразу достал из кармана комок сырой бесформенной бумаги, что был некогда его паспортом.

— Вот, — протянул он милиционеру. — Это мой паспорт.

— Паспорт! — милиционер презрительно глянул на Авдия. — Ты чего мне голову дуришь? И это паспорт! Бери его назад и пошли проследуем в отделение участка. Там разберемся, кто ты такой.

— Да я, товарищ лейтенант... — смущаясь своего вида, доски-костыля и быстро собирающихся вокруг случайных зевак, неуверенно заговорил Авдий, — я, понимаете ли, корреспондент газеты.

— Какой ты корреспондент! — возмущился милиционер: уж очень явно и нагло лгал задержанный. — А ну пошли, корреспондент!

Стоящие вокруг зеваки злорадно засмеялись.

— Ишь что придумал — корреспондент он!

— А может, еще министром иностранных дел назовешься?

Пришлось ковылять за раздражительным лейтенантом через зал ожидания. И теперь уже все, кто встречался на пу-

ти, оглядывались на Авдия, перешептывались и посмеивались. Когда они проходили мимо одного семейства, расположившегося с вещами на большой деревянной скамейке, до слуха Авдия донеслись обрывки фраз.

Маленькая девочка. Мама, мама, смотри, кто это?

Женщина. Ой, детонька, это бандит. Видишь, его поймал дядя милиционер.

Мужской голос. Да какой это бандит. Мелкий жулик, воришка, не больше.

Женский голос. Ой не скажи, Миша. Это он с виду такой жалкий. А попадись ему в темном переулке — прирежет...

Но самая ужасная неожиданность ожидала Авдия Каллистратова впереди. Войдя вслед за лейтенантом в одну из дверей многочисленных привокзальных помещений, он очутился в довольно просторной милицейской комнате с окном, выходящим на площадь. Какой-то младший милицейский чин, сидевший у телефона за столом, при появлении лейтенанта привстал.

— Все в порядке, товарищ лейтенант, — доложил он.

— Садись, Бекбулат. Вот еще один залетный, — кивнув на Авдия, сказал лейтенант. — Видишь, какой красавец! Да еще корреспондент!

Оглядевшись с порога по сторонам, Авдий чуть не вскрикнул — так ошеломило его зрелище, представшее его глазам. В левом углу около входной двери за грубо сваренной из арматурного железа решеткой, поделившей комнату от пола до потолка, сидели, точь-в-точь как звери в зверинце, гонцы — добытки анаши: Петруха, Ленька, Махач, Коля, двое гонцов-диверсов и еще какие-то ребята — всего человек десять — двенадцать, почти вся команда за исключением Гришана. Самого среди них не было.

— Ребята, что с вами? Как же это случилось? — невольно вырвалось у Авдия.

Никто из гонцов не откликнулся. Они даже не шевельнулись. Гонцы сидели в клетке на полу впритык один к другому, очень изменившиеся, отчужденные и мрачные.

— Это не твои ли? — странно усмехнулся раздражительный лейтенант.

— Ну конечно! — заявил Авдий. — Это же мои ребята.

— Вот оно что! — удивился лейтенант, внимательно глянув на Авдия. — Он что ваш, что ли? — спросил он гонцов.

Никто не отозвался. Все молчали, опустив глаза.

— Эй вы, я вас спрашиваю! — разозлился лейтенант. — Что молчите? Ну что ж, подождем. Вы у меня еще заплачете, как караси на сковороде, вы меня попомните, когда каждому отвалят по триста семнадцатой статье, вы еще запоете про дальние края. И не надейтесь, что малолетние, мол, что прежде не судились. Это не в счет. Да, да, не в счет. Вы пойманы с поличным! — кивнул он на знакомые Авдию рюкзаки и чемоданы с анашой, разбросанные по полу. Иные из них были открыты, иные порваны, кое-где анаша рассыпалась, и в комнате стоял тяжелый дух степной конопли. На столе возле телефона валялись спичечные коробки и стеклянные баночки с пластилином. — Вы у меня помолчите! Обиделись, видите ли! Вы у меня с поличным попались! — повторил лейтенант, суровея, и голос его зазвенел от гнева. — Воя улики! Вот вещественные доказательства! Вот ваш дурман! — Он стал пинать рюкзаки с анашой. — Из вашей шайки только один мерзавец ускользнул от облавы. Но и он будет сидеть в этом углу за решеткой, мерзавцы вы эдакие. Встать! Кому говорю — встать! Ишь расселись. Стоять и смотреть сюда. Не отводить глаз! Кому велено не отводить глаз! Такие подонки, как вы, стреляли в меня из-под вагонов, и от меня вам пощады не дожидаться! Сволочи, сопляки, а уже начинают вооружаться! Что же дальше-то будет? Я ваш враг навек, а я умею бороться. По всем поездкам и на всех путях я буду хватать вас, как бешеных собак, вам нигде не укрыться от меня! — в ярости кричал он. — Так я вас спрашиваю, кто он, этот оборванец, выдающий себя за корреспондента? Кто он, этот тип? — И, схватив Авдия за руку, он подтащил его к решетке. — Отвечайте, пока я вас добром спрашиваю! Он ваш?

Какое-то мгновение все молчали. И, глядя в мрачные лица гонцов, Авдий никак не мог освоиться с тем, что лихие парни, которые вчера еще останавливали поезда в степи, кайфовали и сбрасывали его на ходу из вагона, теперь сидели в клетке — без брючных ремней, без обуви, босоногие (должно быть, это делалось, чтобы они не сбежали, когда их выводят по нужде), жалкие и ничтожные.

— В последний раз вас спрашиваю, — задыхаясь от возбуждения, переспросил лейтенант. — Этот тип, которого я задержал, ваш или не ваш?

— Нет, не наш, — зло ответил за всех Петруха, неохотно подняв глаза на Авдия.

— Как же не ваш, Петр? — поразился Авдий, подступив

на самодельном костыле к самой решетке. — Вы что же, забыли меня? — укорил он тех, кого отделяла от него решетка. — Мне вас так жаль, — добавил он. — Как же это случилось?

— Тут не место для ваших соболезнований, — оборвал его лейтенант. — Сейчас я буду допрашивать каждого в отдельности, — пригрозил он гонцам. — И если кто соврет — а это все равно выяснится, — тому добавят статью. Ну-ка говори ты, — обратился он к Махачу.

— Нэ наш, — ответил тот, скривив мокрые губы.

— А теперь ты, — приказал лейтенант Леньке.

— Не наш, — ответил Ленька и тяжело вздохнул.

— Не наш, — буркнул рыжеголовый Коля.

И все они до одного не признали Авдия.

Поведение гонцов, как это ни странно, задело Авдия Каллистратова. То, что все они отреклись от него односложно, коротко, наотрез, оскорбило и унизило его. Авдий почувствовал, что его бросило в жар, голова раскалывалась.

— Как же так, как же вы можете говорить, что не знаете меня? — в растерянности недоумевал он. — Да я же...

— Вот что, корреспондент «Нью-Йорк таймс», — издевательски прервал его лейтенант. — Довольно слов. «Да я», «да я». Ты вот что, ты давай не морочь мне голову. И без тебя хватает дел. Иди-ка ты отсюда, не путайся под ногами. И не лезь к этим. Против таких, как они, есть закон и закон беспощадный — за изготовление, распространение наркотиков и торговлю ими немедленное осуждение. С такими, как они, разговор короткий. А ты, друг корреспондент, иди быстрее отсюда. Иди и не попадайся больше на глаза.

Наступило молчание. Авдий Каллистратов переминался с ноги на ногу, но не уходил.

— Ты слышал, что тебе сказал товарищ лейтенант? — подал голос милиционер, который все это время заполнял за столом какие-то бумаги. — Иди, пока не поздно. Скажи спасибо и иди.

— А ключ у вас есть от этих дверей? — указал Авдий на замок, висящий на железной двери.

— А тебе-то что? Есть, конечно, — ответил лейтенант, не понимая толком, к чему клонит Авдий.

— Тогда откройте, — сказал Авдий.

— Еще чего! Да ты кто такой? — возмутился лейтенант. — Да я тебя!

— Вот-вот, я и хочу, чтобы меня сейчас же посадили за

решетку. Мое место там! — Лицо Авдия пылало, на него снова накатило бешенство, как тогда в вагоне, когда он выбрасывал на ветер драгоценную анашу. — Я требую, чтобы меня арестовали и судили, — выкрикивал Авдий, — как и этих несчастных, что заблудились в мире, где столько противоречий и неисчислимых зол! Я должен нести такую же ответственность, как и они. Ведь я занимался тем же, что и они. Откройте дверь и посадите меня вместе с ними! На суде они подтвердят, что я виновен так же, как и они! Мы покаемся в своих грехах, и это послужит нам очищением...

Тут милиционер отложил в сторону бумаги и вскочил.

— Да он же сумасшедший, товарищ лейтенант. Посмотрите только на него. Сразу видно, что он ненормальный.

— Я в здравом уме, — возразил Авдий. — И я должен понести равное с ними наказание! В чем же мое сумасшествие?!

— Постой, постой, — заколебался лейтенант. Очевидно, за всю свою нелегкую службу в транспортной милиции он никогда еще не сталкивался с такого рода диким случаем: ведь Расскажи кому об этом, не поверят.

Наступило молчание. И тут кто-то всхлипнул, потом, давясь слезами, зарыдал. Это плакал, отвернувшись к стене, Ленька. Петруха зажимал ему рот и что-то угрожающе шептал на ухо.

— Вот что, товарищ, — вдруг смягчившись, сказал Авдию лейтенант. — Пошли поговорим, я тебя выслушаю со всем вниманием, только в другом месте. Выйдем поговорим. Пошли, пошли, послушайся меня.

И они снова вышли в зал ожидания, битком набитый разным проезжим народом. Лейтенант подвел Авдия к свободной скамейке, предложил сесть и сам сел рядом.

— Очень тебя прошу, товарищ, — с неожиданной доверительностью сказал он, — не мешай нам работать. А если что и не так, не сердись. Уж очень трудная у нас работа. Да ты и сам видел. Я тебя прошу, уезжай, куда тебе надо. Ты свободен. Только больше к нам не приходи. Понял, да?

И пока Авдий собирался с мыслями, думая, как бы объяснить лейтенанту свое поведение и высказать свои соображения насчет участи задержанных гонцов, тот встал и, раздвигая толпу, ушел.

Проезжие от нечего делать снова стали искоса поглядывать на Авдия: слишком уж он выделялся даже среди этой разношерстной толпы. Избитый, с лицом в синяках, в изодранной одежде, с доской под мышкой вместо костыля, Ав-





«Плаха».



*«Тавро Кассандры».*

дий вызывал у людей и любопытство, и презрение разом. К тому же его только что привел сюда милиционер.

А Авдию становилось все хуже... Жар поднимался, и голова болела невыносимо. События минувшего дня, ночной ливень, распухшая непослушная нога и, наконец, новая неожиданная встреча с гонцами, которым теперь грозило страшное возмездие за их преступление, — все это не прошло для него бесследно. Авдия стало знобить, бросило сначала в дрожь, потом снова в жар. Он сидел съежившись, во брав голову в плечи, не в силах встать с места. Злополучный костыль валялся у его ног.

И тут перед помертвевшим взглядом Авдия все поплыло как в тумане. Расплываясь, утрачивая четкие очертания, лица и фигуры людей вытягивались, съеживались, накладывались друг на друга. Авдия мутило, мысли мешались, ему было трудно дышать. Авдий сидел сам не свой в этом душном, парном, многолюдном зале среди случайных людей. «Ой, как худо мне, — думал он, — и до чего же странно устроены люди. Никто никому не нужен. Какая пустота вокруг, какая разъединенность». Авдий ожидал, что это состояние скоро пройдет, что он снова станет самим собой и тогда попытается чем-то помочь тем, кому грозило тюремное заключение. То, что они только вчера выбрасывали его на ходу из поезда, надеясь, что он разобьется насмерть, сейчас отошло на второй план. Эти преступники, мерзавцы, тупые убийцы должны были бы вызывать в нем ненависть, желание отомстить, а не сострадание. Но идеалист Авдий Каллистратов не желал усваивать уроки жизни, и никакая логика тут не помогала. Подсознательно он понимал, что поражение добытчиков анаши — это и его поражение, поражение несущей добро альтруистической идеи. Ему оказалось не по силам повлиять на добытчиков, чтобы спасти их от страшной участи. И вместе с тем он не мог не понимать, как уязвим он из-за этого своего всепрощения, к каким роковым последствиям оно может привести...

И все-таки мир не без добрых людей, отыскиались они и в той толпе случайных людей на вокзале. Какая-то пожилая женщина, седая, повязанная платком, сидящая с вещами на скамейке напротив Авдия, очевидно, поняла, что человеку нездоровится и он нуждается в помощи.

— Гражданин, — начала было она и тут же чисто по-матерински спросила: — Сынок, тебе нехорошо? Уж не заболел ли ты?

— Похоже, что заболел, но вы не беспокойтесь, — попытался улыбнуться Авдий.

— Это как же не беспокоиться? Ой батюшки, да что же это такое, уж не упал ли ты откуда? А жар у тебя сильный, — сказала она, притронувшись ко лбу Авдия. — И глаза совсем больные. Ты вот что, сынок, никуда не уходи, а я пойду узнаю, может, тут врачи какие есть или, может, тебя в больницу какую определяют. Нельзя же тебя так оставить...

— Да не беспокойтесь, не стоит, — говорил ей Авдий слабым голосом.

— Нет, нет. Ты посиди тут маленько. Я вмиг обернусь...

Поручив присматривать за вещами соседке с малыши детьми, сердобольная женщина куда-то ушла.

Сколько она отсутствовала, Авдий не помнил. Ему стало совсем худо. Теперь он понял, в чем дело: у него сильно болело горло. Невозможно было даже сглотнуть слюну. «Наверное, ангина», — подумал Авдий. Он настолько ослабел, что ему хотелось лечь, растянуться прямо на полу — пусть на него наступают — и забыться, забыться, забыться...

Авдий уже было стал засыпать, как вдруг толпа в зале ожидания разом зашевелилась, послышался гул голосов. Открыв глаза, он увидел, что из милицейской комнаты выводят гонцов. Их со всех сторон окружал наряд милиции. Раздражительный лейтенант шел впереди — люди расступались перед ним, за ним следовали гонцы в наручниках. Они шли под конвоем один за другим — Петруха, Махач, Ленка, Коля, двое диверсов и другие, всего человек десять. Их выводили из вокзала.

Пересиливая себя, Авдий с трудом поднял костыль и кинулся вслед за гонцами. Ему казалось, что он передвигается очень быстро, но почему-то он так и не смог догнать подконвойных. Столпившиеся зеваки тоже мешали Авдию пробраться к гонцам. Но как гонцов увозили, он увидел: неподалеку от дверей вокзала стояла закрытая машина с зарешеченной дверцей позади — двое милиционеров подхватывали гонцов под мышки и заталкивали внутрь.

Потом в машину сел конвой и дверца захлопнулась. В кабину рядом с водителем сел лейтенант, и машина покатила прочь от вокзальной площади. Толпа высказывала всевозможные предположения.

— Бандитов поймали. Целую шайку.

— Не иначе как те, что убивали людей по квартирам.

— Ой страх-то какой!

— Да разве ж это бандиты? Пацаны какие-то.

— Пацаны, говоришь? Теперешние пацаны кого хочешь убьют и глазом не моргнут.

— Да нет же, люди добрые, это добытки анаши. Ну да, те самые, что анашу провозят. Тут их ой сколько ловят на товарняках...

— Сколько ни лови, а они все прут...

— Да что же это такое...

Так закончилась горькая эпопея гонцов. И Авдий чувствовал в душе необъяснимую опустошенность...

Плохо соображая, где он прежде сидел, Авдий потащился в зал ожидания. Шел наугад, с трудом волоча ноги, и тут ему встретилась та самая седая женщина.

— Да вот он, вот! — сказала она медсестре в белом халате. — Куда же ты ушел, сынок, ведь мы тебя обыскались. Вот и медсестра пришла. У тебя небось жар, так они боятся, не заразная ли у тебя болезнь.

— Не думаю, — слабым голосом ответил Авдий. Медсестра пощупала лоб Авдия.

— Высокая температура, — сказала она. — А расстройство есть? Понос с гнилостным запахом, — уточнила она.

— Нет.

— Ну все равно. Надо пройти в медпункт. Там доктор посмотрит еще.

— Да я готов.

— А вещи ваши где?

— Вещей у меня нет.

#### IV

В жалпаксазской станционной больнице, куда положили Авдия Каллистратова, врач Алия Исмаиловна, хмуроватая казашка, осмотрев больного, строго сказала:

— Положение у вас достаточно сложное. Травму ноги должен посмотреть специалист. А пока будем лечить антибиотиками, чтобы заражение не распространилось. Но вы, больной, должны рассказать мне все, что с вами было. Я спрашиваю вас не из любопытства, а как врач...

Среди всевозможных встреч и разлук хоть раз в жизни случается то, что не назовешь иначе как встречей, ниспосланной Богом. Но как велик риск, что подобная встреча ни к чему не приведет, человек постигает лишь потом — и тогда ему на мгновение становится страшно при мысли, а что

если бы та встреча оказалась напрасной... Ведь исход встречи зависит уже не от Бога, а от самих людей.

Нечто похожее произошло с Авдием Каллистратовым. Вечером третьего дня к нему в больницу пришла она — та, о которой он мог лишь мечтать, потому что не знал, кто она, а мечтать ведь можно обо всем на свете...

Днем после уколов и таблеток температура несколько снизилась и к вечеру уже не поднималась выше тридцати семи и трех. Но опухоль на ноге пока еще не спала, и одно ребро с правой стороны оказалось сломанным, на рентгене обнаружилась трещина. В целом же дела шли на поправку. На субъективное самочувствие Авдий не мог пожаловаться. Врач Алия Исмаиловна оказалась врачом-терапевтом в полном смысле слова, исцеляющим не только знаниями, но и самим своим обликом. Все ее назначения, сама манера разговаривать внушали пациенту спокойствие и уверенность, помогали ему сопротивляться болезни. Ее психотерапия была сдержанной и мудрой, и Авдий после всех перипетий и потрясений особенно остро ощутил, как необходимы подчас человеку людские заботы и внимание. Откровенно говоря, он даже обрадовался, что заболел и попал в руки хорошего врача, — так ему было покойно и славно в тихой и скромной стационарной больнице, расположенной в маленьком парке.

Окно с белыми занавесками, выходящее на аллею, было приоткрыто. Жара еще не спала. Двое соседей по палате вышли во двор подышать и покурить, а Авдий лежал в одиночестве и то и дело измерял себе температуру. Ему очень не хотелось, чтобы температура снова поднялась. Мимо окна простучали острые каблучки, и женский голос справился о нем у дежурной сестры. Кто бы это мог быть? Голос показался Авдию знакомым. Вскоре сестра открыла дверь в палату.

— Вот он здесь лежит.

— Здравствуйте! — сказала посетительница. — Это вы Каллистратов?

— Я, — не веря своим глазам, ответил Авдий.

Это была та самая поразившая воображение Авдия девушка, которая приезжала на мотоцикле в Учкудук. Авдий так растерялся, что почти не слышал ее, о смысле ее слов он догадывался лишь потому, что давно готов был с полуслова понимать ее. Оказалось, что девушку зовут Ингой Федоровной. И пришла она сюда потому, что Алия Исмаиловна, с которой она дружит вот уже третий год — с тех пор, как

приехала сюда заниматься научной работой, рассказала ей о нем, и он ее очень заинтересовал: ведь они, то есть он, Авдий, и она, Инга Федоровна, занимаются в чем-то близкими вопросами, связанными с анашой, поскольку она ведет работу по изучению моюнкумской популяции, — дальше следовало какое-то сложное латинское название той самой степной конопли-анаши, — и потому она пришла познакомиться с ним и узнать, не требуется ли ему какая-то информация... Ведь журналисту, насколько она может судить, необходимы и научные сведения.

О боже, какая там еще научная информация, когда он, оглушенный ее неожиданным появлением, лишь каким-то чудесным образом угадывал, о чем идет речь, и видел только ее глаза, и казалось ему в тот миг, что ни у кого больше нет таких глаз, — так астроном открывает неизвестную звезду среди миллиона подобных звезд, а ведь для непосвященного человека все звезды абсолютно одинаковы. Он, казалось, воспарил от одного ее взгляда...

Все это Авдий восстановил потом, оставшись наедине и немного успокоившись, а в те первые минуты он выглядел полным идиотом. Правда, Инга Федоровна могла это отнестись за счет высокой температуры. Ведь только идиот может ляпнуть сразу: «Откуда вы узнали, что я все время думал о вас?» Она в ответ лишь удивленно подняла брови, отчего сделалась еще красивей, и загадочно улыбнулась. Восприми она эту дурацкую по своей примитивности фразу как банальность или пошлость, как бы потом казнил, как проклинал бы себя Авдий. Но милостив Бог, у нее хватило такта не придать его словам особого значения. И они с удовольствием вспоминали, как она приезжала в Учкудук, как они впервые увиделись, и посмеялись тому мимолетному, но запомнившемуся обоим случаю. А еще больше позабавил Ингу Федоровну рассказ о том, как днем позже Авдий и вместе с ним двое бывалых гонцов, Петруха и Ленька, прятались в травах, когда над степью появился вертолет. Оказывается, она, Инга Федоровна, на том вертолете летела вместе с небольшой научной экспедицией из Ташкента: один из ташкентских НИИ занимается химико-биологическим уничтожением конопли-анаши в местах ее произрастания. Теперь Авдию стало ясно, что борьба с этим злом велась в двух направлениях: искоренение наркомании и искоренение растений, содержащих наркотики. И, как водится в мире, решить эту проблему было не так-то просто. В част-

ности, из объяснений Инги Федоровны выходило, что найти химические вещества для уничтожения конопли не только в фазе вегетации, но и как вида, нанося удар по системе размножения, вполне возможно, но этот метод нес с собой еще большее зло — он разрушал почву: земля минимум на двести лет выходила из строя. Губить природу ради борьбы с наркоманией — это ведь тоже палка о двух концах. В задачу Инги Федоровны как раз входили исследования, направленные на поиски оптимальных способов решения этой сложной экологической проблемы. О Боже, подумал Авдий, если бы природа обладала мышлением, каким тяжелым грузом вины легла бы на нее эта чудовищная взаимосвязь между дикорастущей флорой и нравственной деградацией человека.

\* \* \*

Называя возникшие у него отношения с Ингой Федоровной «новой эпохой в своей судьбе», Авдий Каллистратов не допускал никакого романтического преувеличения. Буквально на второй день по возвращении в Приокск он написал ей большое письмо, и это при том, что почти на каждой железнодорожной станции, где поезд стоял более пяти минут, он отправлял ей открытку. Было что-то неумемное, не вмещавшееся в обычное понятие влюбленности в том напряжении чувств, в той страсти, какие испытывал Авдий с тех пор, как ему довелось встретить Ингу Федоровну на своем жизненном пути.

Он писал ей: «Что со мной творится — уму непостижимо! Я ведь считал, что я довольно сдержанный человек, что разум и эмоции находятся у меня в необходимом равновесии, а теперь я не в состоянии анализировать себя. А впрочем, к своему удивлению, я и не хочу ничего анализировать. Я весь во власти невиданного счастья, свалившегося на меня подобно горному обвалу, я видел в одном документальном фильме, как белая снежная лавина сметает все на своем пути, — и я счастлив, что эта лавина обрушилась на меня. Не было и нет на свете другого такого счастливого человека, только мне так повезло, и я, как фанатичный дикарь, пляшущий с бубном, благодарю судьбу за все испытания, которые она послала мне нынешним летом: ведь она оставила меня в живых, дав узнать то, что можно узнать лишь в водовороте жизни. Я бы сказал, что в пределах одной лич-



ности любовь — это настоящая революция духа! А коли так, то да здравствует революция духа! Сокрушающая и возрождающая одновременно!

Прости, Инга, за этот сумбур. Но я люблю тебя, у меня нет ни сил, ни слов, чтобы выразить все, что ты значишь для меня...

Теперь разреши перевести дух. Я уже побывал в редакции. Коротко рассказал что и как. Меня торопят с очерком, мой очерк ждут. Возможно даже, что получится серия очерков на эту злободневную тему. И если мои ожидания оправдаются, я смогу надеяться на постоянную работу в этой газете. Но пока еще рано об этом говорить. Главное, с завтрашнего дня собираюсь садиться за работу. Ведь я умышленно не вел никаких записей. Придется все последовательно восстанавливать в памяти.

Как бы то ни было, судьбы гонцов, которых — что вполне закономерно — ожидает справедливый и строгий суд за распространение наркотиков, не оставляют меня в покое. Ибо они для меня живые люди со своими горькими, изломанными судьбами. Особенно жалко мне Леньку. Пропадает парнишка. И вот тут возникает та нравственная проблема, о которой мы с тобой много говорили, Инга. Ты совершенно права, Инга, что любое злодеяние, любое преступление людское в любой точке земли касается нас всех, даже если мы находимся далеко, и не подозреваем об этом, и не хотим ничего об этом знать. И что греха таить, подчас даже посмеиваемся: смотрите, мол, до чего дошли те, кого мы привычно называем противниками нашими. Но газеты правильно делают, что пишут о преступлениях, происходящих за нашими пределами, в этом есть глубокий смысл. Ибо в мире существует некий общий баланс человеческих тягот, люди — единственные мыслящие существа во вселенной, и это их свойство — хотим мы того или нет — превышает все, что их разделяет. И мы придем к этому, несмотря на все наши противоречия, и в этом спасение разума на земле.

Как мне отрадно, Инга, ведь я могу писать тебе о том, что меня особо волнует, ибо найду нужный отклик в твоей душе — в этом я уверен. Я боюсь надоесть тебе своими бесконечными письмами — меня тянет писать их одно за другим, без остановки, иначе я не выдержу. Я все время должен быть с тобой, хотя бы мысленно. До чего бы мне хотелось снова оказаться в Моюнкумских степях и снова увидеть тебя в первый раз на том самом мотоцикле, на котором ты по-

явилась в Учкудуке и сразу покорила меня, поборника церковного новомыслия. Стыдно признаться, но я был настолько поражен твоим появлением, что и теперь не могу отделаться от чувства робости и восторга. Ты спустилась с небес, как богиня в современном обличье...

И теперь, вспомнив об этом, не могу простить себе, что не сумел, когда мне довелось соприкоснуться с гонцами, сделать так, чтобы в балансе человеческих мучений прибавилась бы, пусть на мизерную долю, доля худа и прибавилась бы доля добра. Я рассчитывал, что они убоятся Бога, но деньги оказались для них превыше всего. И вот теперь меня мучает мысль, как помочь хотя бы тем гонцам, с которыми меня столкнула судьба, с которыми я имел какой-то опыт общения. Я имею в виду прежде всего раскаяние. Вот к чему мне хотелось указать им путь. Раскаяние — одно из великих достижений в истории человеческого духа — в наши дни дискредитировано. Оно, можно сказать, полностью ушло из нравственного мира современного человека. Но как же может человек быть человеком без раскаяния, без того потрясения и прозрения, которые достигаются через осознание вины — в действиях ли, в помыслах ли, через порывы самобичевания или самоосуждение?.. Путь к истине — повседневный путь к совершенству...

О Боже, опять я за свое! Прости меня, Инга. Это все оттого, что чувства переполняют меня, оттого, что я постоянно думаю о тебе. Мне постоянно кажется, что я не высказал и тысячной доли того, что хотелось бы высказать тебе...

Как бы мне хотелось быстрее, как можно быстрее — ведь уже целую неделю мы порознь — снова увидеть тебя...

И эта нарастающая тоска — единственное, что меня сейчас тревожит. А все остальные житейские проблемы чудесным образом утратили вдруг свое значение и кажутся мне совсем не важными...»

\* \* \*

Стоял уже конец июля, и наступил день, когда я вышел из редакции газеты удрученный. Я был очень опечален, ибо в отношении редактора к моим степным очеркам произошла внезапная перемена. Да и мои товарищи в редакции, вдохновлявшие меня на поездку за ударным материалом, теперь тоже вели себя как-то странно, словно они были в чем-то виноваты передо мной.

А мне это было очень тяжело. Когда я чувствую, что люди испытывают какую-то вину передо мной, для меня это так мучительно, что мне хочется быстрее освободить их от угрызений совести, чтобы ничто не смущало их при виде меня. Ибо тогда я сам чувствую себя виноватым в их вине...

Уходя из редакции, я дал себе слово больше не приходить сюда и не мозолить больше никому глаза — пусть сами приглашают, когда понадобится. А если не понадобится, ничего не поделаешь. Буду знать, что ничего не вышло и не на что надеяться.

Я шел по бульвару этой самой прекрасной порой российского лета, и ничто не радовало меня. Сколько сил и стараний я приложил, чтобы написать свои степные очерки, чтобы передать в них мою гражданскую боль, я писал их как откровение и исповедь, но тут вторглись какие-то соображения о престиже страны (подумать только, чего ради мы создаем тайны от самих себя?), которые грозят похоронить мои с таким трудом добытые очерки. Передать не могу, до чего мне было обидно. И что самое странное — редактор позволил себе сказать:

— А впрочем, надо подумать, может быть, стоит изложить все это в докладной записке в вышестоящие инстанции. Для принятия соответствующих мер.

Да, так и сказал.

А я не утерпел и возразил ему:

— До каких пор мы будем уверять, что даже катастрофы у нас самые лучшие?

— При чем тут катастрофы? — нахмурился редактор.

— А при том, что наркомания — это социальная катастрофа.

С тем я и ушел. И единственное, что облегчало мое существование, — это были письма Инги, которые я перечитывал всякий раз, как только у меня щемило сердце при воспоминании о ней. Есть, безусловно, есть на свете телепатия — иначе чем объяснить, что ее письма предвосхищали то, о чем я думал, то, о чем болела моя душа, то, что больше всего волновало и тревожило меня. Эти письма все больше питали мои надежды и вселяли в меня уверенность: нет, судьба не обманула меня и тем более не насмеялась надо мной, ведь современным молодым женщинам нравятся во все не такие, как я, неудачник, семинарист, с архаичным церковным представлением о нравственных ценностях. Ведь как проигрывал я на фоне суперменствующих молодцов. И

однако в письмах Инги я находил столько доверия, не боюсь сказать, уважения и, самое главное, недвусмысленного ответного чувства, что это окрыляло меня и возвышало в собственных глазах. Какое счастье, что встретилась мне именно она, моя Инга! И не в том ли магия любви — в обоюдном стремлении друг к другу...

Нас пока еще не касались никакие житейские проблемы. И тем больше радовало меня то, что они существуют и что их надо решать. Мне необходимо было найти постоянное рабочее занятие, приносящее постоянный заработок. Пока еще я жил на продажу отцовских старинных книг, что очень тяготило меня. Я подумывал о том, чтобы уехать к Инге в Азию, обосноваться там, устроиться на работу и быть рядом с ней. Я готов был поступить подсобным рабочим в ее экспедицию и делать все, чтобы она успешно вела свои исследования. Ведь исследования эти были отныне небезразличны для меня. В них соединились наши общие интересы: я пытался искоренить наркоманию путем нравственных усилий, она пыталась решить эту задачу с другой стороны — научным путем. И очень подкупал меня ее энтузиазм. Ведь нельзя было сказать, что ее работа числилась среди модных, особо престижных направлений или заведомо сулила быстрого служебную карьеру. Строго говоря, Инга была едва ли не единственным человеком, занимающимся вопросом уничтожения дикорастущей конопля-анаши всерьез, как научной проблемой. Немаловажную роль в выборе направления ее работы, мне кажется, сыграло и то, что она была местной, джамбульской жительницей и училась она опять же в Ташкенте, и все это, вместе взятое, не могло, конечно, не повлиять на характер ее интересов.

У Инги были и свои сложности в жизни. С прежним мужем, военным летчиком, они не жили уже почти три года. Разошлись, когда у них родился сын. Сейчас, кажется, летчик собирался жениться на другой. Потому-то им и необходимо было встретиться в последний раз, чтобы поставить точки над «i», прежде всего относительно их сына. Игорек находился у бабушки с дедом в Джамбуле, в докторской семье, но Инга очень хотела, чтобы малыш постоянно жил с ней. И когда она написала мне в письме, что надеется осенью взять сыночка с собой в Жалпак-Саз — ей обещали место в детском саду железнодорожников, я очень порадовался за нее и ответил, что она может во всем полностью полагаться на меня.

И тогда она написала мне, что ей очень хотелось бы осенью в ее отпуск поехать вместе со мной в Джамбул навестить малыша и ее родителей. Надо ли говорить, как тронул меня этот ее план совместной поездки. И я ответил ей, что готов в любую минуту приехать к ней и быть в ее распоряжении, и что вообще во всей своей жизни я хотел бы исходить из наших общих, и прежде всего ее, интересов, и что счастье свое я вижу в том, чтобы быть ей полезным и нужным.

Все шло к тому, что осенью нам предстояло определить свою судьбу. Я жил этим. И очень, очень волновался, думая о том, как мы поедem в Джамбул к Игорьку и Ингиным родителям. Ведь от этой поездки очень многое зависело. Но на нее требовались какие-то денежные средства. Один проезд чего стоил. В этом смысле я рассчитывал на серию своих моюнкумских очерков, но, увы, тут все сорвалось, и не по моей вине. Тогда я подрядился временно работать ночным корректором в областной типографии, и это давало мне небольшой заработок...

И вот наступил день, когда я получил письмо от Инги, где она спрашивала, смог бы я приехать в Жалпак-Саз в последние дни октября — тогда на ноябрьские праздники мы бы вместе отправились в Джамбул...

Я бежал на городской телеграф, как сумасшедший, чтобы послать ей телеграмму... Надо было поскорей продать книги и на эти деньги отправиться в путь.

## V

Обер-Кандалов обнаружил Авдия Каллистратова на вокзале, когда высматривал себе команду для поездки на облаву в Моюнкумы.

Кто бы ни поручил это дело Обер-Кандалову, он глядел в корень: Кандалов — бывалый человек, подвизавшийся в должности коменданта при железнодорожной пожарной охране, в прошлом военный, причем из штрафбата (а это что-то да значит!), подходил для экстренной операции в степи как нельзя лучше. Кстати, у Кандалова при этом были свои тонкие соображения. Он рассчитывал, что, оказав услугу облуправлению с выполнением плана мясосдачи, таким образом реабилитирует себя и при ходатайстве нужных областных инстанций восстановится в партии. Ведь исключили его не за какие-то хищения или грубые злоупотребления, а все-

го-навсего за такое редкое и, главное, абсолютно не наносящее никакого ущерба государству дело, как мужеложство в штрафбатовских казармах, к которому он принуждал, используя служебное положение. Ну был такой грех, ну принуждал он, сверхурочный старшина, иных идеологически сомнительных личностей, особенно сектантов разных да наркоманов, так чего их жалеть? И сколько можно за это бить? Хватит того уже, что от него ушла жена, потому он и стал пить горькую, хотя и прежде не был трезвенником. А ведь если разобраться, он очень нужный человек. Вот поручили серьезное дело, так он в момент сколотил группу. Пошел глубокой ночью на вокзал, пригляделся к народу, наметанным глазом обнаружил, кто задавлен нуждой и согласится отправиться с ним в Моюнкумы, чтобы хорошо и быстро подзаработать. Так он набрел и на Авдия Каллистратова.

Авдия заставила принять предложение Кандалова не только нужда: произошло нечто столь непредвиденное и тревожное для него — он не застал Ингу Федоровну в Жалпак-Сазе, хотя прибыл по ее письму, — что он впал в уныние, хотя и не ясно было, стоило ли так переживать. Летел самолетом, а для этого надо было приехать в Москву, в Москве целый день доставал билет, из Алма-Аты ехал поездом. Домчался, можно сказать, за пару дней, а когда наконец добрался до домика во дворе лаборатории близ больницы, то нашел его запертым, а в скважине замка записку от Инги Федоровны. В этой записке она просила получить от нее письмо до востребования на вокзальной почте. Авдий, естественно, бросился на почту. Письмо ему сразу выдали. Он с замирающим сердцем зашел в скверик и здесь, сидя на скамейке, прочел:

«Авдий, родной мой, прости. Если бы я знала, что выйдет такая неувязка, я дала бы тебе знать, чтобы ты пока не выезжал. Боюсь, что моя телеграмма тебя не застала и ты уже в пути. Дело в том, что в Джамбул прибыл неожиданно мой бывший муж, с тем чтобы затеять судебное дело по поводу нашего Игорька. Я вынуждена срочно выехать в Джамбул. Возможно, я чем-то спровоцировала его на этот приезд: я ему открыто написала, что собираюсь начать новую жизнь с человеком, который мне глубоко интересен. Я должна была поставить его в известность, поскольку у нас сын.

Прости еще раз, мой любимый, что так получилось. Возможно, оно и к лучшему: все равно рано или поздно при-

шлось бы решать этот вопрос. Так уж лучше с самого начала покончить с этим.

Когда ты приедешь, дверь будет заперта. Ключ я оставлю нашей лаборантке Сауле Алимбаевой. Она прелестный человек. Ты ведь знаешь, где наша лаборатория. Возьми, пожалуйста, у нее ключ и живи у меня. Чувствуй себя как дома и подожди меня. Жаль, что Алия Исмаиловна сейчас уехала в отпуск, с ней тебе было бы интересно пообщаться. Ведь она к тебе относится с большим уважением. Думаю, за неделю я обернусь. Постараюсь сделать все, чтобы отныне нам ничего не мешало. Я очень хочу, чтобы ты увидел Игорька. Думаю, вы подружитесь, и очень хочу, чтобы мы жили все вместе, а перед этим, как и собирались, съездили к моим родителям и ты бы познакомился с ними, с Федором Кузьмичом и Вероникой Андреевной. Не огорчайся, Авдий, любимый мой, и не грусти. Я постараюсь сделать все как лучше.

Твоя Инга.

P.S. Если приедешь в нерабочее время, адрес Алимбаевой: ул. Абая, 41. Мужа ее зовут Даурбек Иксанович».

Письмо, которое Авдий прочитал залпом, повергло его в раздумье. Он был ошеломлен: дела принимали новый оборот, которого он никак не ожидал. Авдий не пошел за ключом, а остался в зале ожидания, решив вначале поразмыслить. Потом, поместив чемодан, чтобы не мешал, в камеру хранения, пошел в сквер, посидел там, побродил возле знакомой больницы и, найдя уединенную тропинку между станцией и городком, стал ходить по ней взад-вперед...

В степи стояла поздняя осень. Было уже прохладно. Размытые, рыхлые облака, как барашки в океанской дали, белели в выцветшем за лето октябрьском небе, деревья наполовину облетели, и под ногами валялись жухлые багряно-коричневые листья. Огороды тоже были уже убраны и оголились. На улицах Жалпак-Саза было пустынно, уныло. В воздухе, слабо поблескивая, летала паутина, неожиданно прикасаясь к лицу. Все это наводило на Авдия грусть. А на станции, подавляющей своей индустриальной мощностью огромное степное пространство, стоял грохот, лязг, шла жизнь, не останавливающаяся ни на минуту, подобно пульзу. Все так же на бесчисленных путях маневрировали поезда, сновали люди, хрипели на всю округу по радио диспетчера.

И опять Авдию вспомнились те летние дни, вспомнился конец эпопеи гонцов. И в который раз в этой связи возвращался Авдий Каллистратов к размышлениям о раскаянии. И чем больше думал, тем больше убеждался, что раскаяние — понятие, возрастающее по мере жизненного опыта, величина совести, величина благоприобретенная, воспитывающаяся, культивирующаяся человеческим разумом. Никому, кроме человека, не дано раскаиваться. Раскаяние — это вечная и неизбывная забота человеческого духа о самом себе. Из этого вытекает, что любое наказание — за проступок ли, за преступление — должно вызвать в душе наказуемого раскаяние, иначе это равносильно наказанию зверя.

С этими мыслями Авдий вернулся на вокзал. И вспомнился ему тот раздражительный лейтенант, и захотелось поинтересоваться, припомнит ли тот его, и узнать, как сложилась судьба гонцов, добытчиков анаши — Петрухи, Леньки и других. К этому побуждала Авдия и еще одна причина: он всеми силами старался отвлечься от того, что томило и беспокоило его, как сгушающаяся гроза на горизонте, — от мыслей об Инге Федоровне. Всю свою жизнь и свое будущее теперь он пропускал сквозь эту призму — его жизнь определялась состоянием дел в далеком Джамбуле. Нет, раз он бессилен что-либо предпринять, нельзя думать об этом, надо бежать, бежать от этих мыслей. Но, к сожалению, раздражительного лейтенанта Авдию обнаружить не удалось. Когда Авдий постучал в дверь милицейской комнаты, к нему подошел какой-то милиционер.

— Вам чего?

— Да я, понимаете ли, одного лейтенанта хотел увидеть, — начал объяснять Авдий, предчувствуя, что из этой затеи ничего не выйдет.

— А как фамилия его? Лейтенантов у нас много.

— К сожалению, фамилия его мне не известна, но если бы увидел, я бы сразу его узнал.

— А зачем он вам?

— Как бы вам объяснить — поговорить хотел...

Милиционер с интересом оглядел его:

— Ну, посмотри, может, и найдешь своего лейтенанта.

Но в комнате за столом у телефона на этот раз сидел и с кем-то разговаривал незнакомый человек. Авдий извинился и вышел. Выходя, глянул мельком на железную клетку, где сидели прежде пойманные преступники. На этот раз она была пуста.



И опять, как он ни старался того избежать, Авдий вернулся к неотступно томящим его мыслям. Что с Ингой? Он все еще не шел за оставленным Ингой ключом: знал, что, оказавшись один на один с терзающими душу мыслями в пустом доме Инги, он еще сильнее почувствует свое одиночество. Он мог ждать и на вокзале, если бы знал, что с Ингой и когда она вернется. Авдий пытался представить себе, что происходит сейчас там, в Джамбуле, как тяжело приходится его любимой женщине, а он ничем не может ей помочь. А что, если ее родители, чтобы не лишать ребенка отца, будут настаивать, чтобы она наладила отношения с мужем. Да, дело вполне могло принять и такой оборот, и тогда ему ничего не оставалось бы, кроме как вернуться восвояси. Авдий зримо представил себе блестящего военного летчика, эффектного, в форме и погонах, какого-нибудь майора, не меньше, и понимал, что на его фоне он, Авдий, сильно бы проигрывал. Авдий был уверен, что для Инги всякие там звания и внешний блеск роли не играют, но кто знает, а вдруг для родителей Инги имеет значение, кого видеть в зятях — военного летчика, отца Игорька, или странного человека без определенных занятий?

Вечерело. С наступлением темноты Авдий еще больше мрачнел. На битком набитом людью вокзале царил полутьма, было душно, накурено, и уныние Авдия достигло крайней степени. Ему казалось, что он в темном и мрачном лесу. Совсем один. Осенний ветер гудит в верхушках деревьев, скоро начнется снегопад, и снег засыплет лес и его, Авдия, с головой, и все потонет в снегу, все забудется... Авдию хотелось умереть, и если бы он в тот час узнал, что Инга не вернется или вернется не одна, а с тем чтобы, забрав вещи и книги, уехать со своим военным летчиком, он не раздумывая бы вышел и лег под первый поезд...

Именно в тот тягостный час, уже поздно вечером, Авдия Каллистратова обнаружил на вокзале Жалпак-Саза Обер-Кандалов, подбиравший подходящую команду для моюнкумской «сафары». Видимо, Обер-Кандалов был не лишен проницательности, во всяком случае он безошибочно понял, что Авдий в душевном разброде и не находит себе места. И действительно, когда Обер-Кандалов предложил Авдию махнуть на пару дней в Моюнкумскую саванну подзаработать на выгодной шабашке, тот сразу же согласился. Он готов был на все, лишь бы не сидеть в одиночестве и не ждать у моря погоды. К тому же ему подумалось, что, пока он вер-

нется из Моюнкумов с заработанными деньгами, возможно, появится и Инга Федоровна и все прояснится: или он (о счастье!) останется навсегда с любимой, или ему придется уехать и найти в себе силы выжить... Но такого исхода он страшился...

И в тот же вечер Обер-Кандалов отвез Авдия в расположение пожарной охраны, где тот и переночевал на свободной койке...

А утром следующего дня всей командой отправились с колонной машин на облаву в Моюнкумскую саванну. На веселое дело ехали...

\* \* \*

И теперь они творили над Авдием Каллистратовым суд. Пятеро заядлых алкоголиков — Обер-Кандалов, Мишаш, Кепа, Гамлет-Галкин и Абориген-Узюкбай. Если точнее, то Гамлет-Галкин и Абориген-Узюкбай только при сем присутствовали и пытались, правда робко и жалко, как-то смягчить свирепость тех троих, вершивших суд.

А дело было в том, что на Авдия к вечеру накатило опять такое же безумие, как тогда в вагоне, и это послужило поводом для расправы. Облава на моюнкумских сайгаков на него так страшно подействовала, что он стал требовать, чтобы немедленно прекратили эту бойню, призывал озверевших охотников покаяться, обратиться к Богу, агитировал Гамлет-Галкина и Узюкбая присоединиться к нему, и тогда они втроем покинут Обер-Кандалова и его приспешников, будут бить тревогу, и каждый из них проникнется мыслью о Боге, о Всеблагом Творце и будет уповать на Его безграничное милосердие, будет молить прощения за то зло, которое они, люди, причинили живой природе, потому что только искреннее раскаяние может облегчить их.

Авдий кричал, воздевал руки и призывал немедленно присоединиться к нему, чтобы очиститься от зла и покаяться.

В своем неистовстве он был нелеп и смешон, он вопил и метался, точно в предчувствии конца света, — ему казалось, что все летит в тартарары, низвергается в огненную пропасть.

Он хотел обратиться к Богу тех, кто прибыл сюда за длинным рублем... Хотел остановить колоссальную машину истребления, разогнавшуюся на просторах Моюнкумской саванны, — эту всесокрушающую механизированную силу...

Хотел одолеть неодолимое...

И тогда по совету Мишаша его скрутили веревками и бросили в кузов грузовика прямо на туши битых сайгаков.

— Лежи там, бля, и подыхай. Нюхни сайгачьего духу! — крикнул ему Мишаш, хрипя от натуги. — Зови теперь своего Бога! Может, Он, бля, тебя услышит и спустится к тебе с неба...

Стояла ночь, и луна взошла над Моюнкумской саванной, где прокатилась кровавая облава и где все живые твари и даже волки увидели своими глазами крушение мира...

Крушители же, за исключением Авдия Каллистратова, на беду свою очутившегося в тот день в Моюнкумах, единодушно торжествовали...

И за это его собирались судить...

\* \* \*

Стащив Авдия с кузова, Мишаш и Кепа приволокли его к Оберу и силой заставили встать перед ним на колени. Обер-Кандалов сидел на пустом ящике, раскинув полы коробящегося плаща и широко растопырив ноги в кирзовых сапогах. Освещенный светом подфарников, он казался неестественно громадным, насупленным, до крайности злоеющим. Сбоку, возле костерка, все еще пахнувшего подгорелым шашлыком из свежей сайгачатины, стояли, поживаясь, Гамлет-Галкин и Абориген-Узюкбай. Они уже были изрядно под хмельком и оттого в ожидании оберовского суда над Авдием нелепо улыбались, о чем-то шушукаясь, подталкивая друг друга и перемигиваясь.

— Ну что? — изрек наконец Обер, презрительно взглянув на Авдия, стоящего перед ним на коленях. — Ты подумал?

— Развяжите руки, — сказал Авдий.

— Руки? А почему они у тебя связаны, ты об этом подумал? Ведь руки связывают только мятежникам, заговорщикам, бунтарям, нарушителям порядка и дисциплины! Нарушителям порядка, слышал? Нарушителям порядка!

Авдий молчал.

— Ну ладно, попробуем развязать тебе руки, посмотрим, как ты поведешь себя, — смилостивился Обер. — А ну развяжите ему руки, — приказал он, — они ему сейчас будут нужны.

— И на хрена, бля, развязывать, — недовольно бурчал Мишаш, разматывая веревку за спиной Авдия. — Таких на-

до, как шенят, топить сразу. Таких надо в три погибели гнуть, в землю вгонять.

Только теперь, когда его развязали, Авдий почувствовал, как затекли у него плечи и руки.

— Ну что, просьбу твою мы выполнили, — сказал Обер-Кандалов. — У тебя есть еще шанс. А для начала на, выпей! — И он протянул Авдию стакан водки.

— Нет, пить я не буду, — наотрез отказался Авдий.

— Да подавись ты, шваль! — Резким движением Обер выплеснул содержимое стакана прямо в лицо Авдию. Тот, от неожиданности чуть не захлебнувшись, вскочил. Но Мишаш и Кепа снова навалились, придавили Авдия к земле.

— Врешь, бля, будешь пить! — рычал Мишаш. — Я ж говорил, таких топить надо! А ну, Обер, налей-ка еще водки. Я ему в глотку залью, а не будет пить, приблю, как собаку.

Края стакана, хрустнувшего в руке Мишаша, порезали Авдию лицо. Захлебнувшись водкой и собственной кровью, Авдий вывернулся, стал отбиваться руками и ногами от Мишаша и Кепы.

— Ребята, не надо, бог с ним, пусть не пьет, сами выпьем! — жалобно скулил Гамлет-Галкин, бегая вокруг дерущихся. Абориген-Узюкбай юркнул за угол машины и испуганно выглядывал оттуда, не зная, как быть: то ли остаться на месте — водки вон сколько еще не допили, — то ли бежать от беды подальше... И только Обер-Кандалов, восседая на своем ящике, как на троне, точно за цирковым представлением следил.

Гамлет-Галкин подскочил к Оберу:

— Останови их, Обер, дорогой, ведь убьют — под суд пойдем!

— Под суд! — высокомерно хмыкнул Обер. — Какой еще тебе суд в Моюнкумах? Я здесь суд! Поди потом докажи как и что. Да, может, его волки задрали. Кто видел, кто докажет?

Авдий потерял сознание, упал им под ноги, и они принялись пинать его сапогами. Последняя мысль Авдия была об Инге: что будет с ней, ведь никто и никогда не сможет любить ее так, как он.

Он уже не слышал ничего, в глазах у него помутилось, и ему почему-то привиделась серая волчица. Та самая, которая тем жарким летом перепрыгнула через него в конопляной степи...

— Спаси меня, волчица, — вдруг вырвалось у Авдия.

Он точно бы интуитивно почувствовал, что волки, Акбара и Ташчайнар, сейчас приближаются к своему логову, занятому в ту ночь людьми. Зверей тянуло к привычному ночлегу, вот почему они возвратились, надеясь, вероятно, что люди уже покинули их лошину и отправились куда-нибудь подальше...

Но громада грузовика по-прежнему устрашающе темнела все на том же месте — оттуда доносились крики, возня, звук тупых ударов...

И снова волкам пришлось повернуть в степь. Измученные, неприкаянные, они удалялись вслепую, куда глаза глядят... Не было им жизни от людей ни днем ни ночью... И медленно брели они, и луна освещала их темные силуэты с поджатыми хвостами...

А суд, вернее самосуд, продолжался... Пьяные в дым облавщики не замечали, что подсудимый Авдий Каллистратов, когда его в очередной раз сбивали кулаками, почти не пытался вставать.

— А ну, вставай, поповская морда, — понуждали его крепкими пинками и матом то Мишаш, то Кепа, но Авдий лишь тихо стонал. Рассвирепевший Обер-Кандалов схватил обвисшего, как мешок, Авдия, поднял над землей и, держа за шиворот, стал выговаривать, еще больше стервенея от своих слов:

— Так ты нас, сволочь, Богом решил утратить, страху на нас нагнать, глаза нам Богом колоть захотел, гад ты эдакий! Нас Богом не запугаешь — не на тех нарвался, сука. А сам-то ты кто? Мы здесь задание государственное выполняем, а ты против плана, сука, против области, значит, ты — сволочь, враг народа, враг народа и государства. А таким врагам, вредителям и диверсантам нет места на земле! Это еще Сталин сказал: «Кто не с нами, тот против нас». Врагов народа надо изничтожать под корень! Никаких поблажек! Если враг не сдастся, его уничтожают к такой-то матери. А в армии за такую агитацию дают вышку — и разец! Чтоб чистое было на нашей земле от всякой нечисти. А ты, крыса церковная, чем занимался? Саботажем! Срывал задание! Под монастырь хотел нас подвести. Да я тебя придушу, выродка, как врага народа, и мне только спасибо скажут, потому как ты агент империализма, гад! Думаешь, Сталина нет, так управы на тебя не найдется? Ты, тварь поповская, становись сейчас на колени. Я сейчас твоя власть — отрекись от Бога своего, а иначе конец тебе, сволочь эдакая!

Авдий не удержался на коленях, упал. Его подняли.

— Отвечай, гад! — орал Обер-Кандалов. — Отрекись от Бога! Скажи, что Бога нет!

— Есть Бог! — слабо простонал Авдий.

— Вот оно как! — как ошпаренный заорал Мишаш. — Я ж говорил, бля, ты ему одно, а он тебе в отместку другое!

Задохнувшись от злобы, Обер-Кандалов снова затряс Авдия за шиворот.

— Знай, боголюбец, мы сейчас тебе устроим такой концерт, век не забудешь! А ну тащите его вон на то дерево, подвесим его, подвесим гада! — кричал Обер-Кандалов. — А под ногами костерок разведем. Пусть подпалится!

И Авдия дружно поволокли к корявому саксаулу, раскинувшись на краю лощины.

— Веревки тащи! — приказал Обер-Кандалов Кепе.

Тот кинулся к кабине.

— Эй вы там! Узюкбай, хозяин страны, мать твою перетак, и ты, как тебя там, артист дерьмовый, вы чего в стороне стоите, а? А ну набегай, наваливайся! А нет, и нюхнуть водки не дам! — припугнул Обер-Кандалов жалких пьянчуг, и те сломя голову бросились подвешивать несчастного Авдия.

Хулиганская затея вдруг обрела зловеющий смысл. Дурной фарс грозил обернуться судом Линча.

— Одно, бля, плохо — креста и гвоздей не хватает в этой поганой степи! Вот, бля, беда, — сокрушался Мишаш, с треском обламывая сучья саксаула. — То-то было бы дело! Распят бы его!

— А ни хрена, мы его веревками прикрутим! Не хуже, чем на гвоздях, висеть будет! — нашел выход из положения Обер-Кандалов. — Растянем за руки и за ноги, как лягушку, да так прикрутим, что не дрыгнется! Пусть повисит до утра, пусть подумает, есть Бог или нет! Я с ним такое воспитательное мероприятие проведу, до смерти запомнит, зараза поповская, где раки зимуют! Я и не таких в армии дрессировал! А ну навались, ребята, а ну хватай его! Поднимай вон на ту ветку, да повыше! Крути руку сюда, ногу туда!

Все произошло мгновенно, поскольку Авдий уже не мог сопротивляться. Привязанный к корявому саксаулу, прикрученный веревками по рукам и ногам, он повис, как освеженная шкура, вывешенная для просушки. Авдий еще слышал брань и голоса, но уже как бы издали. Страдания отнимали все его силы. В животе, с того боку, где печень, не-

стерпимо жгло, в пояснице точно что-то лопнуло или обрвалось — такая была там боль. Силы медленно покидали Авдия. И то, что пьяные мучители тщетно пытались развести огонь у него под ногами, его уже не беспокоило. Все было ему безразлично. С костром, однако, ничего не получилось: отсыревшие от выпавшего накануне снега трава и сучья не желали гореть... А плеснуть бензина никому не пришлось в голову. С них хватило и того, что Авдий Каллистратов висел, как пугало на огороде. И вид его, напоминающий не то повешенного, не то распятого, очень всех оживил и взбудоражил. Особенно вдохновился Обер-Кандалов. Ему мерещились картины куда более действенные и захватывающие — что там один повешенный в степи!

— Так будет со всяким — зарубите это на носу! — грозил он, окидывая взглядом прикрученного к саксаулу Авдия. — Я бы каждого, кто не с нами, вздернул, да так, чтобы сразу язык набок. Всех бы перевешал, всех, кто против нас, и одной вереницей весь земной шар, как обручем, обхватил, и тогда б уж никто ни единому нашему слову не воспротивился, и все ходили бы по струнке... А ну пошли, комиссары, тяпнем еще разок, где наша не пропадала...

Поддакивая Оберу, они шумно двинулись к машине, а Обер затянул, видимо, одному ему известную песню:

Мы натянем галифе, сбоку кобура,  
Раз-два, раз-два...

Разгоряченные «дружки комиссары» подхватили: «Раз-два, раз-два» — и, пустив по кругу еще пару поллитровок, распилили их из горла.

Через некоторое время машина, вспыхнув фарами, завелась, развернулась и медленно поползла прочь по степи. И сомкнулась тьма. И все стихло вокруг. И остался Авдий, привязанный к дереву, один во всем мире. В груди жгло, отбитое нутро терзала нестерпимая, помрачающая ум боль... И уходило сознание, как оседающий под воду островок при половодье.

«Мой островок на Оке... Кто же спасет тебя, Учитель?» — вспыхнула искрой и утасла его последняя мысль...

То подступали конечные воды жизни...

И привиделась его угасающему взору большая вода, бесконечная сплошная водная поверхность без конца и без края. Вода бесшумно бурлила, и по ней катили бесшумные белые волны, как поэмка по полю, неизвестно откуда и не-

известно куда. Но на самом едва видимом краю того беззвучного моря смутно угадывалась над водой фигура человека, и Авдий узнал этого человека — то был отец его, дьякон Каллистратов. И вдруг послышался Авдию его собственный отроческий голос — голос читал вслух отцу его любимую молитву о затопленном корабле, как тогда дома в детстве, стоя возле старого пианино, но только теперь расстояние между ними было огромное, и отроческий голос звонко и вдохновенно разносился над мировым пространством:

«Еще только светает в небе, и пока мир спит...

...Ты, Сострадающий, Благословенный, Правый, прости меня, что досаждаю Тебе обращениями неотступными. В мольбе моей своекорыстия нет — я не прошу и толики благ земных и не молю о продлении дней своих. Лишь о спасении душ людских взывать не перестану. Ты, Всепрощающий, не оставляй в неведении нас, не позволяй нам оправданий искать себе в сомкнутости добра и зла на свете. Прозрение ниспошли людскому роду. А о себе не смею уст разомкнуть. Я не боюсь как должное принять любой исход — гореть ли мне в геенне или вступить в царство, которому несть конца. Тот жребий наш Тебе определять, Творец Невидимый и Необъятный...

Прошу лишь об одном, нет выше просьбы у меня...

Прошу лишь об одном, яви такое чудо: пусть тот корабль плывет все тем же курсом прежним изо дня в день, из ночи в ночь, покуда день и ночь сменяются определенным Тобою чередом в космическом вращении Земли. Пусть плывет он, корабль тот, при вахте неизменной, при навсегда зачехленных стволах из океана в океан, и чтобы волны бились о корму и слышался бы несмолкаемый их мощный гул и грохот. Пусть брызги океана обдадут его дождем свистящим, пусть дышит он той влагой горькой и летучей. Пусть слышит он скрип палубы, гул машин из трюма и крики чаек, с попутным ветром следующих за кораблем. И пусть корабль держит путь во светлый град на дальнем океанском берегу, хотя пристать к нему веками не дано... Аминь».

Голос его постепенно утихал, все больше удалялся... И слышал Авдий свой плач над океаном...

И всю ночь в тиши над необъятной Моюнкумской саванной в полную силу лился яркий, ослепляющий лунный свет, высвечивая застывшую на саксауле распятую человеческую фигуру. Фигура чем-то напоминала большую птицу с раски-



нутыми крыльями, устремившуюся ввысь, но подбитую и брошенную на ветки.

А в полутора километрах от этого места стоял в степи тот самый военного образца грузовик, крытый брезентом, в котором, учинив свое черное дело, спали вповалку на тушах сайгаков, в сивушной, изрыгнутой во сне блевотине оберкандаловцы. И колыхался в воздухе густой надсадный храп. Они отъехали поодаль, чтобы оставить Авдия на ночь в одиночестве, — хотели проучить его: пусть почувствует, что он без них, тогда уж наверняка отречется от Бога и преклонится перед силой...

Такое наказание Авдию изобрел бывший артист Гамлет-Галкин после того, как еще и еще приложился к горлу, когда пил водку как безвкусную мертвую воду. Эту идею Гамлет-Галкин высказал, желая угодить Обер-Кандалову, — пусть, мол, боголюбец натерпится страху. Пусть подумает: мол, вздернули-прикрутили и уехали насовсем. Ему бы вдогонку кинуться, но не тут-то было!

Утром, когда уже начало рассветать, волки осторожно приблизились к месту своего бывшего логова. Впереди шла Акбара, за ночь ее бока опали, провалились, за ней угрюмо прихрамывал башкастый Ташчайнар. На старом месте было пусто, люди за ночь куда-то исчезли. Но звери ступали по этой земле, если применимо к ней такое сравнение, как по минному полю, с чрезвычайной осторожностью. На каждом шагу они натыкались на нечто враждебное, чуждое: угасший костер, пустые банки, битое стекло, резкий запах резины и железа, застрявший в колеях, оставленных грузовиком, и везде все еще источавшие сивушное зловоние распитые бутылки. Собираясь навсегда покинуть это загаженное место, волки пошли краем лощины, как вдруг Акбара резко отпрянула и замерла на месте как вкопанная — человек! В двух шагах от нее на саксауле, раскинув руки и свесив набок голову, висел человек. Акбара кинулась в кусты, следом за ней Ташчайнар. Человек на дереве не шевелился... Ветерок пошвыстывал в сучьях, шевелил волосы на его белом лбу. Акбара прижалась к земле, напряглась подобно пружине, готовилась к прыжку. Перед ней был человек, существо, страшней которого нет, виновник их волчьих бед, непримиримый враг. Наливаясь чудовищной злобой, Акбара в ярости слегка подалась назад, чтобы взметнуться и броситься в рывке на человека, вонзить клыки в его горло. И в ту решающую секунду волчица вдруг узнала этого человека. Но где

она его видела? Да это же тот самый чудак, с которым она уже встречалась летом, когда они всем выводком отправились дышать пахучими травами. И припомнились Акбаре в то мгновение и летний день, и то, как играли ее волчата с этим человеком, и то, как пощадила она его и перепрыгнула через него, когда он со страху присел на землю, закрывая руками голову. Припомнилось ошеломленное выражение его испуганных глаз и то, как он, голокожий и беззащитный, кинулся прочь...

Теперь этот человек странно висел на низкорослом саксауле, точно птица, застрявшая в ветках, и непонятно было волчице, жив он или мертв. Человек не шевелился, не издавал ни звука, голова его свесилась набок, и из угла рта сочилась тонкая струйка крови. Ташчайнар собрался было броситься на висевшего человека, но Акбара оттолкнула его. И, приблизившись, пристально вгляделась в черты распятого и тихо заскулила: ведь все те, летошние ее волчата погибли. И вся жизнь в Моюнкумах пошла прахом. И не перед кем было ей лить слезы... Этот человек ничем не мог ей помочь, конец его был уже близок, но тепло жизни еще сохранялось в нем. Человек с трудом приоткрыл веки и тихо прошептал, обращаясь к поскуливавшей волчице:

— Ты пришла... — И голова его безвольно упала вниз.

То были его последние слова.

В эту минуту послышался шум мотора — в степи показался грузовик военного образца. Машина наезжала, вырастая в размерах и тускло поблескивая обтекаемыми стеклами кабины. Это возвращались на место преступления обер-кандаловцы...

И волки не задерживаясь потрусил дальше и пошли и пошли, все больше прибавляя ходу. Уходили не оглядываясь — моюнкумские волки покидали Моюнкумы, великую саванну, навсегда...

\* \* \*

Целый год жизни Акбара и Ташчайнар провели в приалдашских камышах. Там родился у них самый большой выводок — пятеро волчат, вот какой был помет! Волчата уже подрастали, когда зверей опять постигло несчастье — загорелись камыши. В этих местах строились подъездные пути к открытой горнорудной разработке — возникла необходимость выжечь камыши. И на многих сотнях и тысячах гек-

таров вокруг озера Алдаш подверглись уничтожению древние камыши. После войны в этих местах были открыты крупные залежи редкого сырья. И вот в свой черед разворачивался в степи еще один гигантский безымянный почтовый ящик. А что в таком случае камыши, когда гибель самого озера, пусть и уникального, никого не остановит, если речь идет о дефицитном сырье. Ради этого можно выпотрошить земной шар, как тыкву.

Вначале над камышовыми джунглями летали на бреюшем полете самолеты, разбрызгивая с воздуха какую-то горячую смесь, чтобы камыши в нужный миг враз занялись пламенем.

Пожару дали старт посреди ночи. Обработанные воспламеняющимся веществом камыши вспыхивали как порох, во много раз сильнее и мощнее, чем густой лес. Пламя выбрасывалось до небес, и дым застилал степь так, как туман застилает землю в зимнюю пору.

Едва только потянуло гарью и запылал в разных концах огонь, как волки заметались в камышах, пытаясь спасти волчат. Перетаскивали их в зубах то в одно, то в другое место. И началось светопреставление в приалдашских зарослях. Птицы летали над озером тучами, оглашая степь на много верст вокруг пронзительными криками. Все, что веками жило в камышах, начиная от кабанов и кончая змеями, впало в панику — в камышовых чащобах заметались все твари. Та же судьба постигла и волков: огонь обступил их со всех сторон, спастись можно было только вплавь. И, бросив троих волчат в огне, Акбара и Ташчайнар, держа двух других в зубах, попытались спасти их вплавь через залив. Когда наконец волки выбрались на противоположный берег, оказалось, что оба щенка, как ни старались волки держать их повыше, захлебнулись.

И опять Акбаре и Ташчайнару пришлось уходить в новые края. На этот раз их путь лежал в горы. Инстинкт подсказывал волкам, что горы теперь единственное место на земле, где они смогут выжить.

Волки шли долго, оставив позади дымящиеся, застилающие горизонт пожары, содеянные людьми. Шли через Курдайское нагорье, несколько раз им пришлось пересекать ночью большие автотрассы, по которым мчались машины с горящими фарами, и ничего страшнее этих стремительно бегущих огней не было в их походе. После Курдая волчья пара перешла в Ак-Тюзские горы, но тут им показалось не-

безопасно, и они решили уйти еще дальше. Преодолев Ак-Тюзский перевал, волки попали в Прииссыккульскую котловину. Дальше идти было некуда. Впереди лежало море...

И здесь Акбара и Ташчайнар еще раз заново начали свою жизнь...

И опять родились волчата — на этот раз появилось на свет четыре детеныша.

То была последняя, отчаянная попытка продолжить свой род.

И там, на Иссык-Куле, завершилась страшной трагедией эта история волков...

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### I

Люди ищут судьбу, а судьба — людей... И катится жизнь по тому кругу... И если верно, что судьба всегда норовит попасть в свою цель, то так оно случилось и на этот раз. Все произошло на редкость просто и оттого неотвратимо, как рок...

Надо же было Базарбаю Нойгутову подрядиться в тот день к геологам проводником. Базарбай и знать не знал, что геологам потребуется провожатый, геологи сами его разыскали, сами предложили.

Добрались они сюда, в Таман, по тракторной колее, по которой подвозят корма для овец.

— Почему это место называется Таман? — спросил один из них.

— А что такое?

— Да так, любопытно...

— Таман — это подошва. Видишь, вот подошва сапога. А здесь подошва гор, потому и называется Таман.

— Вот оно что! Значит, отсюда и Тамань, и знаменитая Таманская дивизия!

— Этого не скажу, браток. Про то генералы знают. А наше дело, сам понимаешь, пастушье.

Так вот, добрались геологи до Тамана, а дальше, заявляют, путь им известен только по карте, поэтому лучше будет, если их проводит по горам кто-нибудь из местных. Отчего бы и нет! Тем более не бесплатно. Всего и делов-то — про-

вести четырех мужиков с вьюком в ущелье Ачы-Таш, там они, геологи эти, вроде пробы какие-то будут брать, известное дело, на золото — они одно золото и ищут. А если найдут, то большие премиальные за то получают. Ну это, допустим, их забота, а самому Базарбаю предстояло к вечеру вернуться в таманскую кошару, где он зимовал со своей отарой. Вот и все дела.

А парни оказались насчет денег совсем не кумекающие, даром что городские, и стоило Базарбаю заартачиться: некогда, дескать, мне в провожатых ходить, того и гляди начальство совхозное нагрянет, вам-то что, а с меня спрос, где скажут, старший чабан Базарбай Нойгутов, почему отлучается, когда окотная кампания на носу, кто тогда будет отвечать? — тут братцы эти сразу накинули, пообещали четвертак.

Вот дурни! А чего с ними цацкаться — деньги казенные, казна не обеднеет. Сами небось так и норовят прихватить деньгу, где что плохо лежит. Так пусть платят. А Базарбаю проводить геологов до места раз плюнуть — сел верхом да и поехал. Он и так чуть не через день мотается по своим и нужным и ненужным делам, особенно если где свадьба или поминки, где выпивкой пахнет. А когда за зарплатой в совхозную контору уезжает, вся бригада: и пастух, и двое подпасков, и ночник, и особенно жена (она тоже числится в рабочих), а в расплодную и помощники-сакманщики — все переживают.

Приезжает Базарбай ночью вдрызг пьяный, на коне еле держится, а ведь деньги людям везет. И никак жена-подлюга пожаловалась директору совхоза: вот уж месяца три как кассир Боронбай сам стал привозить в кошару получку. Говорит, по закону положено, чтобы каждый самолично расписывался в ведомости. Ну и пусть его ездит, если охота...

А тут четвертак, почитай, дуриком сам в карман лезет. Правда, тропа в Ачы-Таше каменистая, а где и такая обрывистая, что аж дух захватывает, недолго и шею свернуть, что ж, горы на то и горы, это тебе не по стадиону бегать кругами да еще медаль за это на шею. А чему удивляться — справедливости как не было в мире никакой, так и нет — ты тут зимой и летом в горах, ни тебе асфальта, ни тебе водопровода, ни света электрического, вот и живи как хочешь, ходи круглый год за овцами по вонючему назьму, а там шустрик эдакий в тапках белых пробежится резвенько по стадиону или гол забьет в ворота — и самому удовольствие, и народ

на стадионе с ума сходит от радости, и слава тому шустрику, и в газетах везде и повсюду пишут, а кто горбатится с утра до вечера, без выходных, без отпусков, тому едва на прокорм хватает. Ну выпьешь с досады, так тоже потом жена заест, и сам не рад. А ведь приплод дай, чтобы ни одна матка яловой не осталась, привес дай, шерсть тонкорунную дай, всё грозились синтетику найти вместо руна, только где она, эта синтетика, а как стрижка, так сто контролеров налетят, точно стервятники, и выметают подчистую — до последней шерстинки им все отдай.

На валюту, мол, нужна тонкорунная шерсть... Сильно нужна, видать, им эта валюта... И все это как в прорву уходит. Пропади оно все пропадом — и овцы, и люди, и вся эта жизнь постылая...

Такие невеселые думы одолевали Базарбая в пути. Потому он всю дорогу помалкивал, лишь изредка оборачивался к едущим позади геологам — предупреждал, где какая опасность... Муторно было на душе. И все из-за подлюги бабы... Вот ведь зараза! Обязательно встрянет — обязательно ей хай поднять надо. Раскричалась и в этот раз, да еще при посторонних. А не то дурнота подступит. И вот так вся жизнь кувырком идет! Недаром говорили исстари: жена ночью кошкой ластится, а днем — змеей. Надо же! Разоралась! Тебе бы, говорит, только куда смотаться, и зачем они тебе сдались, эти геологи, тут дел невпроворот, овцы пошли плодиться, малышня висит на шее, старшие в интернате совсем хулиганами заделались, а как на каникулы приедут, им бы все жрать, хоть лопни да подай, а помощи от них никакой, курят как опупелые, да поди еще и водку хлещут, кому за ними в интернате следить, директор — пьяница, а и дома с кого им пример брать? Ты сам только и норовишь куда закатиться, тебе только где бы выпить. Хорошо еще конь сам довозит, не то давно бы околел спьяну где-нибудь на дороге...

И вот ведь паскуда! Сколько бил-учил, всю жизнь в синяках ходит, оттого и прозвали ее Кок Турсун — Сизая Турсун, а попридержать язык свой поганый все ума не хватает.

И в этот раз, подлюга, раскричалась при геологах некстати. А ведь сколько раз, бывало, душил, так что глаза выкатывались! После давала слово не перечить, да где там! Но он нашел способ заткнуть ей глотку. Позвал в дом вроде для разговора, а как вошла, притиснул молчком к стене, лицом к лицу — из нее и дух вон; тут он и разглядел в потухшем

уже, посиневшем, морщинистом лице жены, в помутневших от страха глазах всю тоску и безотрадность прожитых лет, все неудачи и злобу на жизнь прочел он в ее помертвевшем взоре, в поползшем на сторону беззубом черном рте, и противен он стал самому себе и прошипел грозно:

— У, сука, попробуй у меня вякни еще, раздавлю, как гниду! — И отшвырнул в сторону.

Жена молча подхватила ведра и, хлопнув дверью, пошла во двор. А он перевел дух, вышел, сел на коня и двинулся с геологами в путь...

Хорошо еще конь добрый — единственная его отрада, хороший конек, из коннозаводских, какой-то чудак выбраковал его за масть, не разберешь, какой он из себя — то ли гнедой, то ли бурый. Да разве в том дело? Резвый конек, по горам сам знает, куда ступать, и главное, выносливый, ну что твой волк. Все время под седлом, а с тела не спал. Что и говорить, конь у него хорош, пожалуй, ни у кого из окрестных чабанов такого коняги не найдешь, разве что у Бостона, у этого передовика совхозного, ну и тип, редкий, надо сказать, скаред, всю жизнь почему-то недолюбливают они друг друга, так вот у него конек что надо и масти нарядной, золотистый дончак, Донкулюком прозывается. Повезло Бостону. Холит коня Бостон, а как иначе — должен на коне выглядеть молодцом, теперь у него жена молодая, вдова Эрназара, того самого, который года три назад провалился в расщелину во льдах на перевале Ала-Монгю, да так и остался там...

В горы большей частью двигались гуськом и потому молчали, да и настроение у Базарбая после скандала с женой не очень-то располагало к разговорам. Так и ехали. Зима была уже на исходе. Оказывается, на бокогреях — солнечных склонах, доверчиво обнажившихся из-под снега, — попахивало уже весной. Тихо и ясно было в тот час на земле. На противоположной стороне перламутрово синееющего в низине великого горного озера уже высоко поднялось над горами полуденное солнце.

Вскоре Базарбай привел геологов в горловину ущелья — и вот в последний раз мелькнуло перед взором чистое зеркало Иссык-Куля, и вот уже обзор позади скрылся за горами. Угрюмо нависая над головой, сплошь пошли скальные кручи. Кругом камень, дикое безлюдье, и чего они тут выискивать будут? — недоумевал Базарбай, поглядывая по сторонам. Он решил, как только доведет геологов до места, сра-

зу же возвращаться. Ущелье Ачы-Таш не такое длинное, как соседнее, идущее параллельно ему ущелье с выходом к приозерью. Про себя он решил, что на обратном пути перевалит в Башатское ущелье. Там путь к дому покороче. Распрошавшись с геологами, так и сделал, но перед этим, положив в карман вожделенную двадцатипятирублевую бумажку, все-таки свернул:

— Вы ведь, друзья, мужики вроде, — усмехнулся он, надменно поглаживая усы, — да и я не мальчонка, что ж, мне уезжать от вас с сухим горлом, что ли?

Базарбай рассчитывал всего лишь на стаканчик, а они расщедрились на поллитровку — эдакую зеленоватую бутылочку производства местного пищекома. На, мол, выпей дома! От такой нечаянной радости Базарбай вмиг повеселел. Засуетился, показал, где лучше разбить палатку, где нарубить колючек для костра, долго тряс руки, прощаясь с каждым по очереди, и не стал даже подкармливать коня овсом, что прихватил в переметной суме-курджуне. И так выдюжит, ему не впервой. Поскорее взгромоздился в седло и двинулся в обратную дорогу. Как и задумал, вскоре нашел тропку и, перевалив полузаснеженную грядку, спустился в Башатское ущелье. Тут, в ущелье, по склонам рос негустой лес да и посветлее было — не так мрачно, как в Ачы-Таше, но главное, много текло ручьев и родников, потому это место и называлось Башатским — Родниковым — ущельем.

Бутылочка в кармане дождевика поверх полушубка не давала ему покоя. Он то и дело поглаживал ее и все примерялся, где, возле какого ручья будет лучше приостановиться. Норму он свою знал — половину бутылки мог употребить, запить водой и ехать дальше. Для Базарбая в таких случаях главное было как-то сесть в седло, а там конь надежный, сам довезет. Многострадальная Кок Турсун правду говорила, что Базарбая черт под мышку держит — ни разу еще не падал с седла.

Но вот наконец приглянулся ему один ручей по пути, подмерзший, упоенно булькающий по камням под прозрачной кромкой хрупкого припая. Место показалось Базарбаю удобным. Кругом заросли тальника и барбариса, и снега немного, и коня можно напоить и подкормить. Он разнуздал лошадь, сдернул курджун с овсом с седла, распустил завязку и подсунул развязанной стороной коню под морду. Конь захрустел овсом, зажевал, облегченно вздыхая, прикрывая глаза и как бы стряхивая с себя усталость. А Базарбай рас-



положился поудобней на коряге возле воды, достал поллитровку, любуясь, посмотрел на свет, но ничего особого не увидел, разве что заметил — день уже шел к концу, тени в горах ложились косо, до заката солнца оставался час с лишним, если не меньше. Но торопиться Базарбаю было некуда. Предвкушая знакомое отупляющее действие водки, он не спеша откупорил толстым ногтем поллитру, понюхал, помотал головой, приложился к бутылке. Сделал судорожно несколько больших обжигающих глотков. Затем пригоршней зачерпнул из ручья воды и хлебнул вместе с обломками льда. Захрустел льдинками — аж в мозгу хруст отдался. Лицо Базарбая исказила безобразная гримаса, он хмыкнул, затем крикнул, прикрыл глаза, ожидая, когда дурман ударит в голову. Ждал того мгновенья, когда весь окружающий мир — горы, скалы — станет зыбким, поплывет как в тумане, взлетит, ждал, когда разгоряченной голове его почудятся смутные звуки и шумы, и замер, зажмурился, готовый отдаться опьянению. И в минуту расслабления услышал где-то рядом невнятное поскуливание, как будто ребеночек захныкал, — что же это могло быть? Где-то там за зарослями барбариса, за завалом камней, кто-то опять затыкал совсем пощеничьи... Базарбай насторожился, еще раз машинально хлебнул из бутылки, затем отставил ее, прислонив к камню, крепко вытер губы и встал. Еще раз прислушался, напрягая слух. И смекнул: точно, он не ошибся. Какие-то зверята подавали голоса.

То было волчье логово, то поскуливали волчата Акбары и Ташчайнара, тоскуя из-за затянувшегося отсутствия родителей. После великого бегства из Моюнкумской саванны, после вынужденно холостого года, вслед за пожаром в приалдашских камышах то был не по сезону ранний помет — к весне у Акбары народилось четверо щенков.

А Базарбай уже шел к логову, высматривая лазы. Будь Базарбай трезвый, он, наверное, подумал бы прежде, стоит ли туда лезть. Не сразу отыскал он нору в расщелине. Выручил опыт — тщательно рассматривая снежный наст, он обнаружил четкую цепочку следов — понятное дело, соблюдая предосторожность, волки ступали все время по старым следам. Дальше Базарбай нашел в кустах среди завалов камней целое кладбище обглоданных, полуизгрызанных костей. Значит, звери нередко притаскивали сюда часть добычи и не спеша доедали здесь. Судя по количеству мослов и сочленений, оставшихся от волчьих трапез, звери жили здесь давно.

Теперь отыскать ход в логово не составляло труда. Трудно сказать, почему Базарбай не побоялся лезть в расщелину, где могли оказаться и взрослые звери. Но проголодавшиеся несмышленыши, все время поскуливая, выдавали себя с головой и как бы звали к себе.

Знали бы сосунки, что не от хорошей жизни Акбара пошла в этот раз на охоту с Ташчайнаром — для волков наступили тяжкие предвесенние дни, когда вся живность отошала, когда наиболее слабые дикие козы и архары в окрестностях были уже выбиты, когда в ожидании приплода козы стада ушли в труднодоступные скалы, а домашние отары по этой же причине содержались теперь только в закрытых кошарах. В этих условиях кормить молоком постоянно подсаывающий выводок было не так-то легко. Акбара отошала, была на себя не похожа — головастая, цыбастая, сосцы обвисли. Волки вообще-то исключительно выносливые звери — могут несколько дней подряд обходиться без пищи, но кормящая волчица не может так ограничивать себя в еде. Жизнь вынуждала Акбару рисковать — идти на большую охоту, но если бы ей суждено было погибнуть, погибли бы и ее сосунки.

Ташчайнар, как всегда, следовал за ней. Им нужно было быстро обернуться — быстро выйти на добычу, быстро одолеть ее, нажраться мяса, заглывая пищу кусками, и быстро прибежать назад в логово переваривать пищу, для волчицы ведь главное — питать сосунков молоком.

В тот день путь оказался осклизлым на солнцепеках и жестким от зимней стылости в теневых местах. Однако волки, не сбавляя хода, напористым скоком шли по горам. В это время года, когда мелкая живность хоронится под землей, а до диких и домашних стад не добраться, жизнь осложняется тем, что охотиться на крупных животных — на лошадей, на рогатый скот, на верблюдов — нельзя без напарника. Как ни могуч был Ташчайнар, ему не дотащить крупную добычу до логова. В последний раз, дня два тому назад, он загрыз осла, забредшего в предгорья. Ночью Акбара отлучилась от логова и нажралась ослиного мяса, но ведь не каждый день осла бродят так беспечно по предгорьям. Обычно при них бывают люди. Вот почему Акбара пошла на вылазку сама — насытиться на месте охоты.

Поначалу Акбара чувствовала себя неуверенно, все тревожилась, раз-другой даже хотела вернуться с пути — беспокоилась за волчат: им постоянно требуется и тепло, и моло-

ко, — но пересилила себя, заставила забыть на время о логове. А когда уже у приозерной зоны вышли на след, охотничий инстинкт возобладал в ней над всем.

Акбаре и Ташчайнару повезло: идя по свежему следу, они попали в обширную лошину, где одиноко паслись на отшибе три яка, должно быть, отбившихся от стада, — волки с ними уже имели дело год тому назад, и тоже по крайней нужде. Тогда им, пришлым волкам, ничего другого не оставалось, как брать то, что подвернется. А теперь времени было в обрез. Людей поблизости не оказалось, и волки, оглядевшись, открыто пошли в атаку. Завидев подбегающих волков, яки пустились в бегство, неуклюже взбрыкивая и ревя, но волки настигали, и яки остановились — бока у них ходили ходуном — и пошли рогами на волков. Другого выхода у них не было. На какое-то мгновение в мире воцарилось изначальное равновесие: солнце в небе, пустынные горы, полная тишина, отсутствие людей в равной мере принадлежали как жвачным, так и хищникам. Жвачные хотели избежать столкновения, но хищники не могли просто так повернуться и уйти, не могли забыть о терзавшем их голоде. Они неминуемо должны были вступить в борьбу и загрызть хотя бы одного из яков, чтобы выжить самим и дать жизнь потомству. Яки были не крупные, но и не мелкие, средней упитанности, к концу зимы обросшие косматой шерстью. И эти быки с конскими хвостами поняли неизбежность борьбы. В страхе и злобе они опустили головы к земле, глухо мыча и роя копытами землю. А в небе по-прежнему светило солнце, и горы, где уже начал таять снег, безмолвно обступали открытую желтую лошину, где лицом к лицу встретились травоядные и плотоядные. Волки кругами ходили около яков, перемещались прыжками, выжидая удобный момент. Времени у Акбары было в обрез — волчата ждали ее возвращения. И она кинулась первая, рискуя собой, к тому яку, которого сочла послабее. Глаза яка были налиты кровью, и все же Акбара разгадала в его взгляде неуверенность, хотя она могла и ошибиться. Но раздумывать было уж поздно. Акбара кинулась яку на шею. Дело решали секунды. Пока взбешенный як, тряся головой, пытался скинуть волчицу, чтобы пригвоздить ее рогами к земле, Ташчайнар должен был подскочить с другого боку, впиться яку клыками в горло, да так, чтобы с ходу рассечь ему шейные артерии, пустить кровь, вывести из строя мозг.

Так оно и случилось. Но перед этим як все же успел

сбросить Акбару, прижать ее к земле и теперь ревел и подкидывал ее рогами — еще бы чуть-чуть, и он окончательно раздавил и затоптал бы ее, но Акбара выскользнула из-под рогов, как змея, и снова прыгнула на голову яка, вгрызлась в его крепкий загривок, поросший жесткой, режущей пастью, как осока, шерстью. В этом нападении проявилась ее жестокая волчья сущность, сказалось жестокое волчье предназначение — убить, чтобы жить. Но тут ей попалась жертва не из безобидных — не сайгак и не заяц, безропотно покоряющиеся насилую. Свирепый як, хоть и истекал кровью, мог еще долго сопротивляться, а то и выйти победителем. И все-таки воссияла звезда-хранительница Акбары: почти в ту же минуту Ташчайнар бросился сбоку и вцепился в глотку яка, увлеченного схваткой с волчицей. Убийственный бросок, убийственная хватка были у Ташчайнара. В этот бросок он вложил всю свою силу. Як зашатался, захрипел, захлебываясь собственной кровью, и рухнул с перерезанным горлом, мыча и содрогаясь. Глаза его стекленели. Пока шла битва, два других яка, оставшиеся в живых, пустились наутек, отбежав на приличное расстояние, перешли на шаг и не торопясь побрели дальше по ложине как ни в чем не бывало.

А волки кинулись терзать еще полуживого быка. Им некогда было разбираться, с какого конца его поедать. Акбара рвала яку пах, помогая себе лапами и когтями, и тут же заглатывала куски еще горячего, живого мяса. Ей нужно было наглотаться как можно больше таких кусков и как можно быстрее отправиться назад к логову, где ее ждали малые волчата. Ташчайнар не отставал от нее. Свирепо урча, он сокрушал мощными челюстями сочленения суставов, раздирая тушу на бесформенные части, как варвар-мясник.

Все шло как полагалось. Сначала звери нажрут мясца, потом кинутся в путь, чтобы побыстрее добраться до логова, а ночью снова вернуться, чтобы еще раз наесться и оттащить оставшееся мясцо куда-нибудь про запас, но это потом. А пока волки, давясь, глотали куски...

А в той расщелине под свесом скалы, где было логово, проголодавшиеся волчата поневоле поскуливали, сбивались клубком, чтобы согреться, расползались и снова собирались кучкой, и когда снаружи послышался шорох — это в логово вползал Базарбай, — они еще пуще заскулили и устремились на неверных ножках к выходу, чем очень облегчили человеку его задачу. Базарбай весь взопред от напряжения. Он

пробрался в тесный лаз ощупью, в одном пиджаке, полушубок скинул, похватал волчат, побросал троих одного за другим к себе за пазуху и, держа последнего, четвертого, пятерней за шиворот, выполз на свет. А когда выполз, зажмурился — так сверкали высокие горы. Вдохнул полной грудью воздух. Тишина стояла оглушающая. Он слышал лишь свое дыхание. Волчата за пазухой заелозили, а тот, которого он держал за шиворот, попытался высвободиться. Базарбай заторопился. Все так же тяжело дыша, он подхватил полушубок, рванулся к ручью, а уж дальше все пошло как по писаному. Четверых волчат, которых он решил похитить и продать, очень удобно будет поместить в курджун. В том, что сумеет продать их выгодно, он был более чем уверен: в прошлом году один чабан продал в зообазу целый выводок, за каждого волчонка огреб по полсотни.

Базарбай выхватил курджун с овсом из-под морды хрумящего коня, быстро высыпал овес на землю, сунул по паре волчат в каждую сумку, перебросил курджун через седло, подвязал его седельными ремнями, чтобы не болтался, взнуздal коня и не мешкая вдел ногу в стремя. Надо было убираться, пока не поздно. Вот это удача так удача! Но нужно было унести ноги, пока не появились волки, — это Базарбай хорошо понимал. О недопитой бутылке с водкой, прислоненной к камню, он вспомнил, когда уже был в седле. Но и на водку плюнул. Бог с ней, он столько выручит за волчат, что купит не один десяток таких поллитровок. С тем и торопил коня. Надо было как можно скорее, пока не зашло солнце, выбраться из ущелья.

Потом Базарбай и сам будет удивляться, как это он не подумал, не поостерегся — у него ведь и оружия при себе не было — полезть в логово. А что, если бы волчица, а то и сам волк оказались поблизости... Ведь на что олениха смиренная, а и та защищает своих детенышей — кидается на врага...

Но обо всем этом подумается ему позднее. И самому станет тошно, когда померещится расплата за содеянное. А в тот час он понукал гнедо-бурого коня, чтобы тот бежал побыстрее по каменистому дну Башатского ущелья, и все поглядывал на солнце, садящееся за спиной, в глубине гор, откуда как бы вдогонку надвигались ранние сумерки. Да, надо было поспешать, побыстрее выбираться в предгорья, к обширному приозерью — там места открытые, куда хочешь, туда и скачи — в любую сторону, не то что в тесном ущелье...

И чем ближе Базарбай был к приозерью, к обжитым просторам, тем увереннее и даже нахальнее становился он. Ему уже хотелось похвалиться удачей, и он подумал, а не стоит ли по дороге завернуть к какому-нибудь чабану из своих собутыльников, чтобы показать добычу, да обмыть ее, ну хотя бы по сто грамм за каждого из четверых, — ведь он в долгу не останется, как только сбудет живой товар. Он начинал сожалеть, что впопыхах оставил у ручья недопитую чуть не на две трети поллитру: эх, хватить бы на ходу прямо из горла... До чего ж хотелось ублажить себя! Но рассудок все-таки подсказывал, что с этим успеется, прежде надо довести волчат в целости да покормить, они хоть и живучие, а все же сосунки, только-только прозрели, вон глаза-то какие несмышленные... Как-то им там, в курджуне, как бы не подошли. Базарбай и не подозревал, что за ним уже гонится страшная погоня и что один Бог знает, чем все это кончится...

Наевшись до отвала мясом убитого яка, волки тропой возвращались в логово. Первой — Акбара, за ней Ташчайнар. И больше всего им хотелось добраться до волчат в норе под скалой, залечь с ними в круг, успокоиться, а потом, передохнув хорошенько, вернуться к недоеденной туше яка, оставленной в лошине.

Такова жизнь, не потому ли говорят: волка ноги кормят... Если бы только ноги... Ведь на тушу могут позариться и другие волки — бывают такие, что им и на чужое нипочем посягнуть, и тогда без драки не обойтись, и нешуточной, кровопролитной драки. Но право есть право, и сила на стороне права...

Еще издали, еще на подступах к логову сердце Акбары почуяло что-то неладное. Точно какая-то птица летела рядом с ней подобно тени, что-то ужасное чувствовалось ей в свете предзакатного солнца. Тревожный багровый отсвет на снежных вершинах становился все темней и мрачней. И с приближением к логову она убыстрила бег — на Ташчайнара и не оглядываясь, наконец и вовсе понеслась вскачь, охваченная необъяснимым предчувствием. И тут тревога пронзила ее еще острее, она уловила в воздухе чужой запах: пахло крепким конским потом и еще чем-то отвратительно дурманным. Что это? Отчего бы это? Волчица кинулась через ручей, через лазы в кустах к расщелине под свесом скалы, юркнула в логово, вначале замерла, затем зафыркала, как охотничья собака, обнюхивая все углы опустевшего и осиротевшего гнезда, метнулась вон и, столкнувшись у вы-

хода с Ташчайнаром, мимоходом злобно задрала его, точно он был виноват, точно он был враг, а не отец и не волк-супруг. Ни в чем не повинный Ташчайнар в свою очередь ринулся в логово и нагнал волчицу уже на берегу ручья. Акбара, вынюхивая следы, вне себя бегала взад-вперед, узнавая по ним о случившемся. Кто-то здесь был, свежие следы говорили ей о совсем недавнем пребывании человека — вот куча рассыпанного овса, отдающего конской слюной, вот куча лошадиного навоза, а вот и нечто в бутылке, дурманное, отвратительное по запаху, и волчица содрогнулась, втянув в себя запах спиртного, а вот следы человека на снегу. Следы кирзовых сапог. В таких сапогах ходят чабаны. Страшный враг, прибывший сюда на коне с каким-то омерзительным жидким веществом в бутылке, опустошил гнездо, похитил детенышей! А что, если он их сожрал! И снова Акбара бросилась на ни в чем не повинного Ташчайнара, кусала его, как бешеная, затем, глухо рыча, бросилась бежать туда, куда уводили следы. Ташчайнар — за ней.

Волки безошибочно шли по следу — все вперед и вперед, к выходу из ущелья, все вперед и вперед — туда, в людскую сторону к приозерью вели следы...

А Базарбай, миновав ущелье, ехал рысцей уже по открытой местности, по отлогим взгорьям, где простирались летние выпасы, и вот уже завиднелся вдаль темнеющий край озера. Еще часок — и он дома. Солнце тем временем село на самый край земли, улеглось между горными вершинами и меркло, догорая. Студеным ветерком потянуло со стороны Иссык-Куля. «Как бы звереныши не померзли», — подумал Базарбай, но завернуть их было не во что, и он решил посмотреть, как там они, в курджуне, живы ли. А то привезешь мертвяков — кому они нужны! Он спешил, хотел развязать седельные ремни, чтобы снять сумку да поглядеть, что там, но конь стал мочиться, расставив ноги, разбрызгивая мочу. И вдруг, круто остановив обильную струю, дико храпя, шархнулся в сторону, едва не вырвав поводья из рук Базарбая.

— Стой! — заорал Базарбай на коня. — Не балуй!

Но конь, точно от огня, испуганно метнулся в сторону. И тут Базарбай и не глядя догадался, в чем дело. Спиной, вмиг похолодевшей, он почуял набегающих волков. Базарбай рванулся к коню и едва схватился за гриву, как лошадь, храпя и взбрыкивая, бешено понеслась. Пригнувшись от ветра, Базарбай оглядывался по сторонам. Пара волков бежа-

ла неподалеку. Оказывается, конь давеча перепугался, когда звери с разбега выскочили на бугор. И теперь волки старались выйти ему наперерез. Базарбай взмолился, вспомнил богов, которым в другие дни, бывало, плевал в бороды. Поносил геологов, свалившихся как снег на голову: «Чтоб вам подавиться тем золотом!» Каялся, просил прощения у жены: «Вот тебе слово! Останусь в живых, никогда пальцем не трону!» Жалел, что позарился на волчат: «И зачем надо было трогать, зачем полез в ту дыру? Стукнул бы о камень башкой одного за другим — и делу конец, а теперь куда их, куда?» Сумка накрепко привязана седельными ремнями — на ходу не выкинешь. А тут еще стало быстро смеркаться, сумерки растеклись, заполнили безлюдные пространства — никому нет дела до его страшной участи. Только верный конь мчит во весь опор, обезумев от страха. Но больше всего сожалел Базарбай, что не было при нем ружья — уж он бы им влепил по пуле, уж он бы не промахнулся. Эка невидаль ружье, у каждого чабана оно дома есть, но кто ж его постоянно носит с собой! Эх, кабы знать! Базарбай орал что есть мочи, чтобы застрашать зверей. Вся его надежда была на коня — хорошо, что он из коннозаводских...

Гонка была не на жизнь, а на смерть...

Так они мчались по сумеречным взгорьям — всадник на коне с похищенными волчатами в переметной суме, а за ним Акбара и Ташчайнар. А волки, учуяв запах похищенных детенышей, о своем молились, о своем сокрушались. Если б конь споткнулся хоть раз, хоть на одно мгновение! Если бы они не нажрались до этого бычьего мяса до отвала, разве так бы они бежали, разве не настигли бы уже похитителя и не разнесли бы с ходу в клочья, чтобы кровавым возмездием утвердить справедливость в извечно жестокой борьбе за продолжение рода. То ли дело в моюнкумских степях во время облавы на сайгаков, когда вдруг в стремительном беге волки нажимали еще сильнее, чтобы завернуть уходящую добычу в нужную сторону. Но на облаву волки выходили натошак, заранее готовясь к молниеносному броску.

Особенно было трудно бежать Акбаре, наевшейся про запас, чтобы кормить детенышей. Но и она не сдавалась, мчалась что есть сил, и если бы ей удалось настичь верхового, ни секунды не колеблясь, ринулась бы в схватку, чем бы это для нее ни кончилось. Разумеется, рядом с ней был Ташчайнар, несокрушимая сила и опора, но ведь умирает каждый за себя... А она готова была принять любую смерть, только



бы достичь, только бы догнать этого человека на резвом коне... только бы...

И хотя конь под Базарбаем был резвый, он с ужасом заметил, что волчья пара медленно, но верно настигает его сбоку, с правой стороны, отрезая ему путь к приозерью. Коварные звери намеревались повернуть всадника, загнать в горы — и тогда он неминуемо рано или поздно встретится с ними лицом к лицу. Так и выходило — вне себя от страха, конь все время норовил податься от набегающих справа волков в сторону гор. Однако конем управлял человек, мыслящее существо, способное разгадать их маневр, и в этом заключается просчет зверей.

И еще одно обстоятельство спасло Базарбая. Когда благодарением судьбы впереди завиднелись огни ближайшей кошары, это — вот уж повезло так повезло! — оказалась кошара Бостона Уркунчиева. Да-да, того самого Бостона, передовика-кулака, которого он так невзлюбил. Но сейчас ему было не до того, кто кому нравится или не нравится, — какая разница, любая живая душа была ему сейчас желанна, как своя жизнь. Главное, человеческое жильё встретилось на пути — вот в чем радость, вот в чем спасение! И он возликовал, пришпорил коня каблуками, и конь с новой силой понесся туда, где были люди, отары. Однако для Базарбая прошла целая вечность, прежде чем он осмелился сказать себе, что может надеяться на благополучный исход, но вот уже затарахтел, как пулемет, Бостонов электродвижок, вот уже переполошились чабанские псы и с тревожным лаем кинулись ему навстречу. Впрочем, и волки не отставали — они надвигались все ближе и ближе, конь выбивался из сил, и до Базарбая уже доносилось запаленное дыхание зверей. «О боже Баубедин, только спаси, — взмолился Базарбай, — принесу тебе семь голов скота в жертву!»

«Спасся-таки! Спасся!» — ликовал Базарбай.

Конечно, не пройдет и часа, как он забудет о своих обещаниях, так уж устроен человек...

Но в тот момент, когда к нему подбежали чабаны, он буквально свалился к ним на руки, то и дело повторяя:

— Волки, волки за мной гнались! Воды, воды дайте!

А волки, судя по всему, кружили где-то рядом, не уходили, выжидали, упорствовали. На бостоновском зимнике поднялся переполох — пастухи забежали, закрывали двери загонов, перекрикивались в наступившей тьме, один из них залез на крышу, дал из ружья несколько залпов. Собаки

подняли громкий несмолкающий лай, но со двора не выбегали. Держались поближе к свету. Трусость псов возмущала хозяев.

— Ату его! Взять! Да это не волкодавы, а дерьмодавы! — науськивал кто-то псов хриплым голосом. — А ну вперед! Акташ, Жолбарс, Жайсан, Барпалан! Вперед! Ату, ату его! Эх вы, хвосты поджали, боитесь схватиться с волками!

— Собака есть собака, — возражал ему другой голос. — Чего разорался? Верхового они могут стянуть с седла за сапог, а с волком им не совладать! Что ты хочешь! Против волка ни одна собака не пойдет. Оставь их, пусть себе лают!

Но не сразу, совсем не сразу вспомнил Базарбай, почему за ним гонятся волки. Только когда парень, которому было велено прохаживать Базарбаева коня, спросил вдруг: «Базарбай-байке, а что это у вас в курджуне? Вроде шевелится что-то», — тут он и спохватился.

— В курджуне? Да это же волчата! Черт бы их побрал, четьре щенка-болтюрука<sup>1</sup>. Взял их прямо из логова в Башате. Потому волки и гнались за мной.

— Вот оно что! Вот это здорово. Вот это огреб так огреб! Прямо из логова? Хорошо еще ноги унес...

— А не подошли они в курджуне? Не задохнулись, не подавились они там при скачке?

— Скажешь тоже! Что это, урюк, что ли? Они, брат, живучие, как собаки.

— Давай глянем! Какие они из себя?

Переметную суму с волчатами сняли наконец с седла и понесли в дом Бостона. Такое важное дело должно было произойти в доме Бостона, главного здесь человека, хозяина кошары, хотя самого Бостона в тот вечер не было дома: проходило очередное собрание в районе, и в очередной раз передовик Бостон Уркунчиев должен был сидеть в президиуме.

Базарбая повели в Бостонов дом чуть ли не как героя, и ему ничего не оставалось как покориться. В конце концов, так он оказался здесь пусть ненароком, но гостем.

Нельзя сказать, что прежде Базарбай не переступал порога этого дома. За многие годы, что он чабил по соседству с Бостоном, километрах в семи отсюда, Базарбай побывал здесь раза три: первый раз, когда были поминки по пастуху Эрназару, провалившемуся в ледяную расщелину на перева-

---

<sup>1</sup> Болтюрук — волчонок-сосунок.

ле Ала-Монгю, во второй опять же приезжал на похороны — полгода спустя после гибели Эрназара померла прежняя жена Бостона (и хорошей, сказывали, женой была покойная Арзыгуль), так вот, тогда приехал Базарбай на похороны, как и все окрестные чабаны и жители, народу было тьма, а уж сколько коней, тракторов, грузовиков — и не счесть. А в третий раз он побывал здесь, правда, не по своей воле, когда областное начальство решило устроить производственный семинар, чтобы Бостон Уркунчиев передал пастухам свой опыт; не хотелось ему ехать, но куда денешься, заставили, вот и пришлось чуть не полдня слушать лекцию, как да что делать, чтобы ягнята не дохли, а шерсти и мяса давали побольше. Одним словом, как выполнять план. Подумаешь, хитрость какая — он и без них все знает: зимой корма подавай вовремя, летом в горах пораньше вставай и попозже ложись, в общем, хорошо работай, не спускай со скота глаз. Радетелем будь. Как Бостон, да и не он один. Однако у одних лучше, у других хуже получается. Так ведь одним везет, а другим не везет. Вот, скажем, работает у Бостона на базе движок — всю ночь свет, электричество и в домах, и в сараях, и вокруг двора. А почему? Сумел он выбить себе два агрегата — один выходит из строя или становится на профилактический ремонт, другой подключается. А у всех других чабанов — и у Базарбая в том числе — по одному движку круглый год. А с одним движком морока: то он работает, то нет, то привезли горючее, то не привезли, то что-то сломалось, то парень, что смыслит в этом деле, плюнет на все да подастся в город — там молодежи во сто раз лучше жить и работать. Вот так и получается — по отчетам во всех чабанских бригадах электричество, а на деле ничего этого нет...

И конечно же, кто хорош? Бостон хорош, непьющий к тому же. А кто плох? Базарбай и ему подобные, они вдобавок и пьющие. А раз ты плох, пусть бы тебя гнали в шею, так нет же, попробуй заяви об уходе, чуть ли не милицию на тебя напустят, паспорт отберут, никаких документов не дадут, иди работай, дорогой, не уходи, нынче никто не хочет чабанить, таких дураков мало, все хотят жить в городах: там отработал свои часы — и гуляй себе культурно, а нет, на квартире у себя отдыхай на всем готовом, топить печь не надо, свет круглые сутки, хоть днем, хоть ночью, водопровод под носом, нужник и тот рукой подать, в коридорчике... А при отаре какое уж житье? В расплодную без малого с полутора тысячами голов скота управляйся, ни минуты покоя ни

днем ни ночью, все полторы тысячи над душой стонут, попробуй тут не полазить по навозу, не озверей, не избежь жену, не избежь помощников, не напейся... А потом: кто плох? Базарбай и ему подобные...

А чуть что, в глаза тычут — посмотри на Бостона Уркунчиева, вот передовик, вот образец... Так бы и дал в морду этому передовику-куркулю! А Бостону везет, к нему и люди идут лучшие, и не уходят от него, работают, как одна семья. Базарбай да и многие другие чабаны давно уже плюнули на свои заглохшие движки, живут по старинке, при керосиновых лампах да ручных фонарях, а у Бостона электрогенераторный агрегат МИ-1157 прямо как часы за кошарой стучит, так что слышно далеко вокруг и свет от него далеко видно. Тем и волков отпугнули — давеча как гнались, вот-вот настигнут, а как завидели свет да слышали стук движка, враз остановились.

Собаки все лают. Где-то бродят еще, должно быть, волки, но подойти поближе боятся...

Да, везет, определенно везет Бостону — вон как у него на подворье все ладно, и в доме яркий свет, чистота, хоть и на овечьем становище живут. Пришлось разуться, сбросить кирзачи да портянки в прихожей и в одних носках вязаных пройти по кошмам в комнату.

Уж если человеку везет, везет во всем. Вот ведь раньше не замечал Базарбай, что вдова Эрназара, погибшего на перевале, такая видная собой баба и нестарая. А теперь она, Гулюмкан, жена Бостона и хоть и пережила горе, а судя по виду, счастлива. Лет-то ей под сорок, а может, и того меньше, две дочери от Эрназара в интернате учатся, а она возьми да роди еще недавно Бостону, и опять же повезло человеку — сына ему родила, а две дочери Бостона от прежней жены, те вроде замуж уже повыскакивали. И приветливая какая Гулюмкан, и неглупая, нет, совсем неглупая, знает, что они с Бостоном не терпят друг друга, а виду не подала, приняла его радушно, переживала, сочувствовала. Проходи, мол, сосед наших соседей, проходи, присаживайся на ковер, ой, да что же за напасть такая, слыханное ли дело, чтобы волки гнались по пятам, слава Богу и духам предков — арбакам, что спасли тебя от беды, а самого нет дома: опять какое-то собрание в районе, должно быть, скоро вернется, обещали подбросить на директорском газике, садись, надо же чаю выпить после такого случая, а подождешь немного, так и горячим скоро накормлю.

А Базарбай, поскольку уж попал в такой переplet, решил все-таки испытать хозяйку, насколько она искренна с незванным гостем, да и потом уж очень выпить хотелось, прийти в себя после пережитого, и он набрался нахальства.

— Чай — это питье для баб, — сказал без обиняков. — Ты уж извини, но чего-нибудь покрепче не найдется в доме богатея Бостона? Слава-то о нем куда как далеко идет!

Такая уж гнусная натура была у Базарбая: даже если бы и не дали ему выпить, все равно был бы доволен тем, как сразу переменялась в лице Бостонова жена. Не по нутру пришлась ей прямота Базарбая. А чего тут церемониться — не беки какие-нибудь, не ханы, такие же скотоводы совхозные.

— Ты уж извини, — ответила она, хмурясь. — Сам-то Бостон не очень, понимаешь ли, до этого дела охоч...

— Знаю, знаю, не пьет твой Бостон! — небрежно перебил ее Базарбай. — Я это так, к слову. Спасибо за чай. Думал, хоть сам не пьет, а гости бывают...

— Да нет, почему же, — засмушалась Гулюмкан и посмотрела на Рыскула, сидевшего рядом с Базарбаем, у его колен лежала злополучная персметная сума с волчатами.

Рыскул приподнялся было — собрался идти за водкой, — но тут в дверях появился второй Бостонов помощник — не доучившийся в пединституте студент Марат, разбитной малый, который, изрядно покурлесив по области, теперь остепенился и осел у Бостона.

— Слушай, Марат, — обратился к нему Рыскул. — У тебя где-то припрятана поллитровка. Я знаю. Не бойся, если что, отвечать перед Бостоном буду я. Давай свою бутылку поскорее, обмоем добычу Базарбая.

— Обмыть! Так это я мигом! — довольно хохотнул Марат.

И вот уже после первого полстакана, прогнавшего досаду, Базарбай, у которого страх уступил место привычной самоуверенности и бесцеремонности, растянулся на ковре, точно у себя дома, и стал рассказывать, что да как было, и волчат показал. Развязал оба мешка курджуна, достал волчат и тут сам впервые хорошенько их рассмотрел. Вначале волчата были вялы, почти ни на что не отзывались, все старались спрятаться, словно искали защиты, а потом ожили, согрелись, заползали по кошме, поскуливали, тыкались мордочками в людей, глядя ничего не понимающими, несмышленными глазами, — искали мать, искали ее сосцы. Хозяйка жалостливо покачала головой:

— Так ведь они же, бедняги, оголодали! Детеныш, хоть он и волчий, а есть детеныш. Что как подохнут они у тебя с голоду? Зачем это?

— С чего бы им подохнуть? — оскорбился Базарбай. — Эти твари живучие. Два дня чем-нибудь покормлю, а там сдам в район. На зообазе знают, как их выхаживать. Начальство, если захочет, оно все умеет — волка и то приручит и заставит в цирке выступать, и за цирк люди деньги платят. Может, и эти в цирк попадут.

Тут все, хоть хозяйка и заразила их своей жалостью, заулыбались. Но женщины, сбежавшиеся посмотреть на живых волчат, стали перешептываться.

— Базарбай, — сказала Гулюмкан, — у нас тут есть ягнята, сироты-сосунки, их молоком прикармливают, а что, если принести волчатам те ягнячьи бутылочки?

— А что! — не удержался от смеха Базарбай. — Овцы будут выкармливать волков. Вот это здорово! Давайте попробуем!

И наступил час, вспоминая о котором, каждый из них впоследствии преисполнится ужасом. Людей потешало и то, что кормили диких зверей овечьим молоком, и то, что волчата были доверчивые и забавные, и то, что один щенок из выводка — самочка — оказался синеглазым, сроду никто не слышал, чтоб у волчицы были синие глаза, такого и в сказках не встретишь. И то, как веселился совсем еще маленький мальчуган, Бостонов сынишка-последыш Кенджеш. То-то радовался Кенджеш — сразу четыре зверенка в доме. Взрослых умиляло, как этот полуторагодовалый карапуз лепетал на своем, только ему понятном языке, как разгорелись у него глазенки, как увлеченно он играл с волчатами. И четверо волчат почему-то лгнули к ребенку, точно бы угадывая, что он для них тут самое близкое существо. Взрослые переговаривались: смотри, мол, дите чувствует детей, — старались выяснить у Гулюмкан, что говорит малыш волчатам. А Гулюмкан, счастливо улыбаясь, тискала сыночка, ласково приговаривая:

— Кучок, кучюгум, щенок, щенок мой! Видишь, прибежали к тебе маленькие волчата. Смотри, какие они мяконецкие, серенькие. Ты будешь с ними дружить, да?

Тут Базарбай и произнес фразу, которую потом тоже будут вспоминать:

— Был один волчонок в доме, а стало пять. Хочешь быть волчонком? А то давай подкину тебя, Бостонова последыша, в логово, будешь расти вместе с ними...

Все от души смеялись шуткам, пили чай. Базарбай с Маратом, раскрасневшись от выпитого, прикончили поллитровку, закусывали салом и жареным мясом, все более оживляясь по мере выпитого. На дворе же наступила тишина — собаки перестали лаять, а самый большой пес Жайсан — рыжая лохматая громадина — вдруг появился на пороге неприкрытой двери. Пес задержался в дверях, вилял хвостом, не решаясь переступить порог. Ему бросили кусок хлеба, он подхватил кусок на лету, громко клацнув зубами. И тогда подвыпивший Марат схватил для смеха одного волчонка и поднес его псу.

— А ну, Жайсан, взять его! Взять, говорю! — И поставил перед псом дрожащего тщедушного звереныша.

К удивлению присутствующих, Жайсан злобно заворчал, поджал хвост, втянул голову и кинулся наутек.

И только потом, уже во дворе, под окном, залаял трусливо и жалко. Все захохотали, и громче всех Базарбай:

— Зря стараешься, Марат! Нет такой собаки, чтобы от одного волчьего духа не обделалась! Ты что хочешь, чтобы ваш Жайсан был львом? Такому не бывать!

Все перестали смеяться, когда маленький Кенджеш расплакался — ему стало жалко волчонка, и, опасаясь за него, он заковылял к нему, чтобы оберечь от непонятных проделок взрослых людей.

А Базарбай, покидав в курджун четверых злополучных волчат, вскоре уехал. Конь его к тому времени отдохнул, его переседлали, и он бодрой рысью покинул Бостоново зимовье. Рядом с Базарбаем трусили верхами Марат и Рыскул с ружьями за плечами, оба тоже подвыпили, но Марат опьянел сильнее и оттого был сверх меры словоохотлив. Эти крепкие парни вызвались проводить Базарбая, чтобы хоть как-то сгладить тот досадный случай, который произошел перед отъездом непрошеного гостя из дома Бостона.

Уже собираясь выходить, Базарбай, довольный, что оказался в центре внимания в Бostoновом доме, передал курджун с волчатами Марату: на, мол, перекинь через седло, — а сам снял со стены ружье, висевшее рядом с огромной волчьей шкурой. Он внимательно осмотрел ружье, оно ему понравилось — добротное, поблескивающее вороненой сталью, радующее глаз ладной формой нарезное многозарядное ружье для крупной дичи. Волчью шкуру, висевшую как трофей на стене, Бостон добыл метким выстрелом из этого ружья. Об этом знали все.

— Послушай, Гулюмкан, — не спеша сказал Базарбай, переводя пьяный взгляд с ружья на хозяйку. Попадись ему эта Гулюмкан, мелькнула у него мысль, в укромном месте... Он привык брать женщин нахрапом, иногда прямо в поле или у дороги, когда это удавалось, когда — нет, но не жалел ни в том, ни в другом случае, и, сравнивая исподволь Гулюмкан со своей битой-перебитой Кок Турсун, он живо представил себе, как бы сейчас вмазал ей наотмашь за то, что она, а не Гулюмкан досталась ему, за то, что опостыле-ла, и пересилив себя, добавил: — В доме у вас хорошо, ты хорошая хозяйка. Да, что я хотел сказать? Понимаешь, Гулюмкан, я боюсь, как бы волки опять не погнались за мной. Что, если я прихвачу с собой это ружье, а завтра передам с кем-нибудь из своих...

— Ради бога, повесь на место, — строго сказала Гулюмкан. — Бостон никому не позволяет притрагиваться к этому ружью. Он не любит, когда трогают его ружье.

— А ты сама без него не можешь распорядиться ружьем? — мрачно усмехнулся Базарбай, живо представляя себе, как бы он притиснул эту бабу, представься ему удобный случай.

— Да ты что! Придет Бостон и увидит, что нет ружья, зачем мне это... К тому же я и не знаю, где патроны. Бостон их сам где-то прячет. Ни одного патрона никому не дает.

Базарбай мысленно обругал Босто́на по-черному; костерил и себя: разве не знал он, какой занудный скупердяй этот самый Бостон, и жена его, оказывается, ничуть не лучше; чуть было не сказал ей, мол, подавись ты этим ружьем, но тут Рыскул выручил его, разрядил, что называется, обстановку.

— Зря беспокоишься, Базаке. Мы с Маратом проводим тебя верхами, если хочешь, с ружьями до самого дома, — заверил он, смеясь. — Времени у нас навалом, вся ночь впереди, а это ружье ты в самом деле лучше не трожь, повесь на место. Тебе ли не знать: Бостон он и есть Бостон, он порядок любит!

Они собрались уже выходить, но Рыскул вынужден был задержаться еще на пару минут — успокоить Бостонова малыша: Кенджеш задал ревака, зачем, мол, дядя побросал волчат в мешок и куда их уносят. Малыш вертелся, вырывался из объятий матери, требовал вернуть полюбившихся ему зверят...

А когда выехали со двора, недоучившийся студент Марат



завел рассказ про один потешный случай, который, как он полагал, мог развеселить попутчиков:

— Недавно в районе у нас был скандал на весь мир — кишки надорвешь! Не слыхал, Базаке?

— Да нет, не слыхал, — признался Базарбай.

— Нет, в самом деле скандал на весь мир. Клянусь!

— Давай, давай, студент! — подначил его Рыскул, понукая каблуками коня.

— Звонит, значит, один областной начальник редактору нашей районной газеты. Почему, говорит, у вас на страницах газеты «Заря социализма» идет пропаганда капиталистической Америки? А редактор — мы с ним когда-то вместе учились, трус и подхалим каких мало — от таких слов даже заикаться начал. «М-мы об Америке н-ничего н-не п-писали! Из-звини-те, к-какая т-та-к-кая п-про-пропаганда?» А тот ему: «Как не писали? А это что за заголовок черным по белому — “Бостон зовет нас за собой”?» — «Так это же наш передовой чабан Бостон Уркунчиев, о нем, о его работе написано». — «Это ясно, что о нем писали, но многие читают в газетах только заголовки». Ха-ха-ха! Вот это номер, а! Здорово? «Так как же быть?» — спрашивает редактор. А начальник ему: «Прикажите передовику изменить имя».

— Постой, — перебил Базарбай, — а что, в Америке тоже есть свой Бостон?

— Да нет же, — веселился Марат. — Бостон — это город в Америке, один из главных городов, разве что чуть меньше Нью-Йорка, а у нас бостон — серая шуба. Бос — серая, тон — шуба. Теперь ясно?

— Тьфу ты, черт побери! И правда! — согласился Базарбай, сожалея, что все это дело яйца выеденного не стоит и потому нанести никакого вреда Бостону не может. — Так оно и есть. Бостон — серая шуба...

В тот час ночь накрыла своим звездным покровом все — и горы, и небо, и озеро вдаль, чья могучая горбатая спина еле угадывалась в темноте. И трое всадников, балагурия, ехали к Таману и не подозревали, что той ночью завязались крепким — не распуташь — узлом тяжкие судьбы... И вот уже все тише и невнятной доносились и их речи, и цокот копыт по камням... Остался позади привычный стук Бостонова движка, свет от него выхватывал из тьмы, окутавшей горную сторону, небольшой круг чабанского жилья и преддверья.

А где-то неподалеку таились волки...

## II

Гулюмкан с большим трудом уговорами и ласками удалось уложить малыша спать, сама она не ложилась — ждала мужа. Он вот-вот должен был вернуться. И когда на дворе дружно взлаiali собаки, она, накинув на плечи теплую шаль, прильнула к окну. Прорезая тьму горящими фарами, директорский газик развернулся возле большой кошары, где держали овцематок. Гулюмкан видела, как вылез из кабины Бостон, как, попрощавшись, хлопнул дверцей и как машина, круто развернувшись, укатила обратно. Гулюмкан знала, что муж не сразу придет домой. В таких случаях он сначала обходил овечьи загоны и сараи, заглядывал под сенной навес, расспрашивал ночника Кудурмата как и что, как день прошел, не было ли падежа, выкидышей, не народились ли ягнята...

Растапливая плиту заранее приготовленными для этой цели дровами, чтобы встретить мужа горячей — с пылу с жару — едой и хорошим чаем, без которого Бостону жизнь была не в жизнь, Гулюмкан прислушивалась, когда зазвучат мужнины шаги на пороге, и заранее радовалась, представляя, как маленький Кенджеш заворочается в теплой постели, зачмокает губами от прикосновения холодных с морозца усов отца. Обычно Бостон сам укладывал малыша, перед этим долго возился с ним, а бывало, и сам купал его в корыте, предварительно хорошо истопив дом и закрыв все двери и окна. Соседи считали, что Бостон стал к старости слишком чадолюбив — прежде он не был таким, прежде он работу любил больше, чем детей, те, старшие его дети, уже сами родители, у них своя жизнь. Они бывают только наездами, а последыш всегда самый сладкий, и любят его больше всего. Все это так, но кому как не ей, Гулюмкан, понятна истинная и горькая причина привязанности Бостона к малышу Кенджешу. Ведь никогда не думали они — ни он, ни она, — что доведется им стать мужем и женой и что народится у них сын: ведь если б не погиб ее прежний муж Эрназар на перевале и если б не умерла вслед за тем первая жена Бостона Арзыгуль, никогда бы этому не бывать. Они стараются не вспоминать о былом, хотя и знают: наедине каждый из них думает о прошлом... А малыш — это то общее, связывающее их, что досталось им слишком дорогой ценой. Ведь путь на перевал прокладывал Бостон, и помощник его Эрназар погиб у него на глазах, остался там, на дне

глубокой расщелины... Только малыш мог заполнить ту брешь в его душе, ибо издавна сказано — лишь рождение может возместить смерть.

Но вот раздались шаги, и Гулюмкан проворно вышла на встречу мужу, помогла скинуть сапоги, принесла воду, мыло, полотенце. Молча лила воду на руки мужа, но пока они не заводили разговор, он у них пойдет потом, за чаем, тогда Бостон, начав со своей любимой присказки: «Ну а теперь послушай, чего только на свете не бывает», подробно расскажет, что видел, что узнал нового, и в такие минуты, особенно когда они наедине, им обоим хорошо. Свой разговор, разговор между близкими людьми, — как знакомая пристань, где заранее известно, где мель, а где глубоко. Помнится, уже после поминок, когда прошел год со смерти Арзыгуль и они наконец решились пожениться, вот тогда и приехал Бостон с гор к ней, в ее вдовый дом на окраине приозерного поселка, и тогда они, оставив Бостонова коня на коновязи, сели в местный автобус, неловко чувствуя себя на людях впервые вместе, и поехали в районный загс, где постарались поскорее подписать нужные бумаги, и поскорее ушли оттуда, а потом, не желая больше садиться в автобус и не желая встречаться со знакомыми на улице, пошли к озеру и дальше берегом в ее вдовый дом. В сухой, безветренный осенний день яркая синь Иссык-Куля была, как всегда, чиста и безмятежна. И вот тогда на тропке у берега, заросшего лиственным леском, Бостон увидел две лодки на причале и остановился. Лодки покачивал тихий прибой, под ними было видно песчаное дно.

«Смотри, кругом вода, горы, земля — это жизнь. А эта пара лодок, как мы с тобой. Куда нас понесет волна — будет видно. Что с нами было и что мы пережили — пока мы живы, это никуда от нас не денется. И давай будем всегда вместе. Я, можно сказать, старик. Зимой стукнет сорок девять. А у тебя малые еще, надо их учить да определить на место... Пошли, будем собираться. Снова поедешь в горы, дочь рыбака, только на этот раз со мной... Невмоготу мне одному жить...»

Гулюмкан, сама не зная почему, расплакалась, и он долго успокаивал ее... И потом, когда они оставались наедине и вели разговор про жизнь, Гулюмкан часто вспоминала ту пару лодок на озере. Оттого и думалось ей — разговор с близким человеком все равно как знакомая пристань. На этот раз, однако, от нее не ускользнуло, что муж озабочен

больше обычного. При свете помигивающей лампочки в прихожей Бостон, рослый, на голову выше ее, комкая полотенце, вытирал нарочито медленно большие огрубелые руки. Хмур был взгляд его прищуренных зеленоватых глаз, загорелое, обветренное лицо с тяжелым крупным подбородком было темно-красное, цвета потемневшей меди. Что бы это все значило? Вытерев руки, Бостон первым делом подошел к малышу, опустил на колени у смастеренной им самим деревянной кровати, поцеловал сына обветренными губами, нашептывая ласковые слова, и заулыбался невольно, когда Кенджеш, почувствовав поцелуй, зашевелился во сне.

— Кудурмат сказал, что Базарбай тут без меня побывал, — проронил он, садясь за еду. — Нехорошее это дело...

Гулюмкан, поняв его по-своему, покраснела и едва не вспылила от обиды:

— А что мне еще оставалось делать? Ворвались в дом всей гурьбой. Волчат, мол, показать хотим. И Кенджеш тут как тут — ему-то забава... Ну, подала я им чай...

— Да я не об этом. Бог с ним, как пришел, так и ушел. Только сдается мне, нехорошее это дело...

— А что тут плохого? — не понимая, к чему он ведет, сказала Гулюмкан. — Так ведь ты и сам стрелял волков-то. Вон прошлогодняя шкура висит, и отделали ее на славу, — кивнула она на волчью шкуру на стене.

— Висит-то она висит, — ответил Бостон, протягивая жене опорожненную пиалу. — Правда твоя, случилось и мне подстрелить волка, раз уж так устроено на свете, что есть волк и есть человек. Но логова волчьего я никогда не разорял. А Базарбай, подлая его душа, волчат уворовал, а волков, зверей свирепых, оставил на воле. Это же он нам пакость подстроил. Волки живут здесь — деваться им некуда, и теперь, понимаешь, они в страшной злобе...

Слова его ошеломляюще подействовали на Гулюмкан. Она завздохала по-бабьи, поправила съехавшую на плечо косу.

— Вот беда-то! И что его принесло, непутевого, в наши края? Зачем надо было трогать логово? Да и жалко их — ведь любая тварь тоже детенышей своих любит, кто этого не знает. И как я сразу не сообразила.

— Я вот что думаю, — озабоченно продолжал Бостон. — Какие же это волки? Не те ли самые? — Бостон помолчал и добавил: — По словам Кудурмата выходит, что волки гнались за Базарбаем со стороны Башатского ущелья.

— Ну и что?

— А то, что как бы это не оказались те самые, пришлые волки — Ташчайнар и Акбара. Есть такая пара.

— Ой, да оставь ты свои шутки! — залилась смехом Гулюмкан. — Неужто у волков имена есть, как у людей? Скажешь тоже!

— Какие шутки! Не до шуток мне. Мы этих волков знаем. На здешних они не похожи. Иным случалось видеть их. Лютая, сильная пара, в капкан не попадают, подстрелить их не удается. И надо же, чтобы этот прохиндей, алкаш Базарбай на их логово наткнулся, выкосил под корень все их отродье. А ты еще удивляешься, что у них имена есть! Самец — Ташчайнар, такой сильный, что может лошадь свалить. А волчица Акбара — анабаша<sup>1</sup>, умная зверюга, ой какая умная! И оттого особенно опасная.

— Да перестань, отец моего сына, не шути! Что я тебе, ребенок? — недоверчиво усмехнулась Гулюмкан. — Ты про них рассказываешь так, будто с ними с детства живешь... Ну как такое может быть?

Бостон снисходительно улыбнулся, но, призадумавшись, решил успокоить жену.

— Да ладно, — сказал он, помолчав, — выкинь все это из головы. Просто я тебя позабавить хотел. Давай-ка стели постель. Поздно уж очень. Утром надо пораньше подняться, сама знаешь, до большого окота пара дней осталась. А иные матки могут и в ночь или к утру разродиться, особенно те, у которых двойня, а то и тройня!

Уже когда, загасив свет, они лежали в постели, Бостон, засыпая, а засыпал он быстро, рассказал немного о собрании в районе, на котором уже не в первый раз обсуждали, почему современная молодежь не идет в овцеводство и что тут делать да как быть, и вот тут-то и послышался на дворе топот конских копыт. Гулюмкан вскочила с постели, подбежала к окну в исподнем, лишь шаль на плечи накинула, и увидела, что у большой кошары спешились двое всадников с ружьями.

— Это наши вернулись, Рыскул с Маратом, — сказала она. — Ездили Базарбая провожать.

— Вот дурни! — пробормотал Бостон и с тем заснул.

Гулюмкан же уснула не сразу. Прикрыла потеплее сыночка в кроватке его самодельной — вечно он раскрывается

---

<sup>1</sup> Анабаша — матка-предводительница.

во сне, сбрасывает с себя одежду. Беда, не ребенок — вечно не дает спать, особенно когда спать хочется. А сегодня сон не шел к ней. День выдался уж очень суматошный, дурной какой-то. И всему помеха Базарбай. Свалился как снег на голову. А Бостону это нож острый. Такой он человек, Бостон, не любит шума и суеты, не любит таких хамов, как Базарбай, пусть тот ничего дурного ему и не сделал. Конечно, Базарбай ему не друг, завидует, что у Бостона дела хороши... А сколько на это надо трудов положить, Базарбаю невдомек. Завтра как с раннего утра впряжется, так и до поздней ночи, и везде сам, и везде хозяйский глаз нужен...

Гулюмкан подходила к окну, всматривалась в алюминиевую тьму ночи, луна ярко светила над горбатыми горами, и звезды — все до единой — мерцали в полную силу. К утру луна зайдет, и звезды погаснут, но в тот поздний час ночь казалась вечной, неизбывной. В глубокой тиши предгорий раздавался лишь привычный стук движка, стоявшего на отшибе.

Трудно сказать, долго ли проспала Гулюмкан, возможно, всего лишь задремала, но тут сквозь сон среди поднявшегося вдруг собачьего лая послышался какой-то длительный вой. Гулюмкан невольно проснулась, перебарывая сон, и теперь уже явственно услышала тягостный, возносящийся к небу, надрывный волчий вой. Вой нагонял жуть. Гулюмкан стало не по себе, и она поближе придвинулась к мужу, прижалась. Но тут вой перешел уже в горестный плач — в нем звучали нестихающая боль, стон и вопль страдающего зверя.

— Это она, Акбара! — охрипшим со сна голосом проговорил Бостон, резко приподнимая голову с подушки.

— Какая Акбара? — Гулюмкан даже не поняла, о чем идет речь.

— Волчица! — сказал Бостон и, вслушиваясь в волчий вой, добавил: — И он, Ташчайнар, тоже ей подвывает. Слышишь, ревет, как бык на бойне.

Они замерли, затаив дыхание. Оу-оу-у-у-уа-а-а-а! — И снова дикие, полные тоски рыдания далеко разнеслись в бескрайней ночи.

— Что это она, о чем воет? — испуганно прошептала Гулюмкан.

— Как что? Горюет зверь!

Они помолчали.

— Эка беда! — Бостон досадливо выругался. — Ты лежи тут да посмотри, чтобы ребенок не проснулся. Да ты не

бойся, не маленькая! Ну воеет волчица где-то поблизости, плачет по волчатам, что ж теперь поделаешь? А я пойду гляну, что в кошарах делается.

С этими словами он наспех оделся, не гася света, вышел обуваться, потом вернулся в комнату, погасил свет и ушел, захлопнув за собой дверь прихожей. Она слышала, как он прошагал под окнами, бормоча какие-то ругательства, как окликал собаку: «Жайсан, Жайсан! Поди сюда!» — и как постепенно шаги его стихли. И тут снова донесся затяжной вой волчицы, ей басовито-утробно подвывал волк. В их вое клокочущая ярость, угроза сменялись плачем, а потом в нем вновь нарастали безумные отчаяние и злоба, и вновь их сменяла мольба...

Невозможно, невыносимо было слушать этот вой. Гулюмкан зажала уши, потом пошла, накинула крючок на двери, словно волки могли ворваться в дом, и, дрожа и кутаясь в шерстяной платок, вернулась к постели, не зная, что и делать, страшась, что волки снова завоюют и разбудят малыша. Больше всего она боялась, что Кенджеш проснется и перепугается.

А волки все выли, и чудилось, что они кружат где-то около, переходят с места на место, бродят окрест. В ответ им злобно и визгливо лаяли собаки, но покинуть пределы двора не смели. И вдруг раздался один оглушительный выстрел, за ним другой. Гулюмкан поняла, что Бостон и ночник Кудурмат палят для остратки.

После этого все стихло. Смолкли собаки. Смолкли и волки. «Ну слава богу, а то прямо напасть какая-то!» — подумала с облегчением Гулюмкан. И все-таки на душе у нее было тревожно. Она взяла спящего Кенджеша, унесла к себе в большую постель, положила посередине, чтобы ребенок находился между родителями. Тем временем вернулся и Бостон.

— Сон перебили, чтоб им всем неладно было, — сердито бурчал он, должно быть, имея в виду и волков, и собак, и все с ними связанное. — Ну и скотина этот Базарбай, ну и скотина! — негодовал он, укладываясь снова в постель.

Гулюмкан не стала тревожить мужа расспросами, и так волки не дали ему нормально поспать. Ведь утром спозаранку ему надо быть на скотном дворе — он не из тех чабанов, которые могут позволить себе встать попозже.

У Гулюмкан отлегло от души, когда она увидела, как муж успокоился, как радовался, прижимая к себе малыша, шепча ему ласковые слова. Любил Бостон своего Кенджеша, по-

тому и дал ему имя — Кенджебек, то есть младший бек, младший князь в роду. Во все времена пастухи мечтали выйти в князья, но в том и была ирония судьбы, что во все времена пастухи оставались пастухами. И Бостон был в этом смысле не исключение.

Они снова заснули, в этот раз с малышом посередке, но вскоре проснулись опять от заунывного волчьего воя. И опять залаяли во дворе растревоженные собаки.

— Да что же это такое! Что это за жизнь! — в сердцах посетовала Гулюмкан и сама пожалела о своих словах: Бостон молча встал и начал одеваться впотьмах. — Не уходи, — попросила она. — Пусть их воют. Я боюсь. Не надо, не уходи!

Бостон не стал перечить жене. И так лежали они в темном доме темной ночью в горах, невольно прислушиваясь к вою волков. Уже давно минула полночь, уже дело шло к рассвету, а волки все надсаживались, донимая людей горестным, злобным воем.

— Всю душу вымотали, и чего только им надо? — не выдержала Гулюмкан.

— Чего им надо? Ясное дело, детенышей своих требуют, — ответил Бостон.

— Так они же не здесь, детеныши эти. Их давным-давно увезли.

— А откуда им об этом знать? — ответил Бостон. — Они звери, они знают одно: их сюда привел след и здесь для них все — конец, свет клином сошелся. Поди попробуй объясни им. Жаль, что меня не было тогда дома. Я бы этому скотине Базарбаю за такое шею свернул. Добычу взял он, а расплачиваться нам...

И в подтверждение его слов над кошарой разносился вой, то заунывный и тягостный, то яростный и злобный — это волки, ослепленные горем, кружа, блуждали во тьме. Особенно надрывалась Акбара. Она голосила, как баба на кладбище, и Гулюмкан вспоминала, как сама она голосила и билась головой о стены, когда погиб на перевале Эрнар, — ее охватила невыносимая тоска, и ей стоило немалых усилий, чтобы сдержаться и не рассказать Бостону, о чем думала и что чувствовала она в эти минуты.

И так лежали они, не смыкая глаз, лишь малыш Кенджеш, невинный младенец, спал непробудным сном. И, слушая неумолчный вой Акбары по похищенным волчатам, еще сильнее тревожилась мать о своем ребенке, хотя ничто ему не угрожало.



Над горами забрезжил ранний рассвет. Уходила, растворяясь, тьма в небесах, отслужив ночную службу, меркли звезды, четче прорисовывались дальние и ближние горы, и земля становилась землей...

В этот час волки, Акбара и Ташчайнар, уходили в горы, в сторону Башатского ущелья. Их силуэты то вырисовывались на возвышенностях, то растворялись во мгле. Волки понуро трусили — нелегко им дались утрата детенышей и неумолчный вой всю ночь напролет. Отсюда им было бы по пути завернуть в ту лошину, где оставалась большая часть туши яка, убитого накануне. Обычно они не преминули бы вновь насытиться до отвала свежатиной, но на этот раз Акбара не пожелала возвратиться к законной добыче, а Ташчайнар не посмел сделать это без нее, анабаши.

На восходе солнца уже вблизи логова Акбара стремглав рванулась бежать, как если бы ее ожидали сосунки. Эти самообман и самообольщение передались и Ташчайнару, и теперь уже они оба неслись по ущелью — их гнала вперед надежда поскорее увидеть свой выводок.

И все повторилось — юркнув в лазы среди зарослей, Акбара вбежала в расщелину под свесом скалы, снова обнюхала пустые углы, холодную подстилку, снова убидалась, что их, ее детенышей-сосунков, нет, и, не желая смириться, выскочила из норы, и, ошалев от горя, снова задрала Ташчайнара, неловко столкнувшегося с ней у входа, и снова заметалась у ручья, вынюхивая следы Базарбаева пребывания накануне. Здесь все было отвратительно и враждебно — особенно прислоненная к камню початая бутылка водки. Резкий и едкий дух вывел волчицу из себя, и она рычала, кусала себя, грызла землю, а потом заскулила протяжно, задрав морду, заплакала в голос, как будто ее смертельно обидели, и из ее необыкновенных синих глаз покатались градом мутные слезы.

И некому было утешить ее в горе, некому было ответить плачем на ее плач. Холодны были великие горы...

### III

Утром другого дня, часов примерно около десяти, Базарбай Нойгутов собрался седлать лошадь, чтобы навеститься в райцентр, но тут заметил направляющегося к ним всадника. Интересно, что ему понадобилось на Таманском зимовье? Всадник в желтой дубленой шубе нараспашку и

лисьей шапке ехал дорожной полурысью с западной стороны, по подножью малого склона. Хорошо, отменно сидел он в седле. Базарбай сразу узнал конного и, взглядевшись получше в золотистого дончака, убедился, что не обознался — это был сам Бостон Уркунчиев верхом на Донкулюке. Неожиданное появление Бостона неприятно удивило Базарбая, настолько неприятно, что он отложил в сторону седло и решил дождаться своего соседа-недруга. А чтобы Бостон не подумал, что он его встречает, принялся обтирать коня пучком соломы. Делал вид, будто занят делом. У Базарбая было такое странное ощущение, словно Бостон застиг его врасплох. Он окинул взглядом подворье, кошары, пастухов, занятых поутру делами, — все ли в порядке. Конечно, на зимовье у Бостона порядка побольше, Бостон на работе зверь зверем, но на то он и передовик (злые языки поговаривали — в те славные годы быть бы ему сосланным, как кулаку, в Сибирь), а Базарбай что — обычный, рядовой азиатский чабан. Таких, как он, не счесть по горам да по степям, они и пасут те миллионные стада, копыта которых не дают траве подняться над землей, стаптывая ее на корню. А потом ведь с каждого свой спрос. Бостон — одно дело, он — другое. Пока Бостон приближался, в голове заметались мысли. «И чего это наш кулак вдруг пожаловал с утра пораньше? Никогда такого не бывало! — недоумевал Базарбай. — К чему бы это? С какой стати?» Решил было пригласить Бостона в дом, раз такое дело, но, представив себе свое жилище, запущенный бригадный дом и прежде всего свою жену, несчастную, злобную Кок Турсун (разве ее можно сравнить с Гулюмкан!), отказался от такой мысли.

Приближаясь к Таманскому зимовью, Бостон придержал на краю двора коня, огляделся по сторонам и, заметив подле навеса самого хозяина, направился к нему. Они сдержанно поздоровались — Бостон так и не слез с седла, Базарбай продолжал заниматься своим делом. Впрочем, ни один не увидел в том для себя обиды.

— Хорошо, что я тебя застал, — сказал Бостон, приглаживая ладонью усы.

— Как видишь, я на месте. А что такое, если не секрет?

— Какой тут секрет, дело есть.

— Ну, такой человек, как ты, по пустому делу не придет, — надменно проронил Базарбай. — Верно я говорю?

— Верно.

— Тогда слезай с коня, если по делу прибыл.

Бостон молча спешил, привязал Донкулюка к коновязи. Как всегда, и на этот раз не забыл — ослабил подпругу, чтобы конь отдохнул от ремней, стесняющих грудь, чтобы двигался вольней. Затем осмотрелся вокруг, как бы оценивая, что творится во дворе.

— Что стоишь? Что высматриваешь? — с плохо скрываемым раздражением окликнул его Базарбай. — Садись вот на колоду, — предложил он, и сам пристроился на тракторной крышке, валявшейся под ногами.

Они посмотрели друг на друга все с таким же глухим неодобрением. Все в Бостоне не нравилось Базарбаю — и что шуба на нем добрая, обшитая по краям черной мерлушкой, и что распахнута она на его широкой груди, и что сам он здоровый и глаза у него ясные, и что лицо цвета темной меди, а ведь Бостон его, Базарбая, лет на пять старше, не нравилось и то, что вчера Бостон наверняка лежал в постели с Гулюмкан, хотя какое, казалось бы, ему дело до этого.

— Так выкладывай, слушаю тебя, — кивнул Базарбай.

— Понимаешь, я по какому делу, — начал Бостон, — видишь, вон и курджун прихватил, подвязал к седлу. Ты этих волчат отдай мне, Базарбай. Надо их вернуть на место.

— На какое место?

— Подложить в логово.

— Вон оно что! — ехидно скривился Базарбай. — А я то думал, с чего бы это наш передовик пожаловал с утра. Дела свои бросил и прискакал. Ты, наверное, забываешь, Бостон, что я у тебя не в пастухах хожу. Я такой же чабан, как и ты. И ты мне не указ.

— При чем тут указ — не указ! Ты что, не можешь спокойно выслушать? Если ты думаешь, волки забудут о том, что вчера произошло, ты крепко ошибаешься, Базарбай.

— А мне-то что! Пусть их не забудут, мне-то какое дело до этого, да и какое тебе дело?

— А такое, что вчера мы глаз не сомкнули всю ночь, волки воем выли в две глотки. Эти звери не успокоятся, пока им не вернут детенышей. Я знаю волчью натуру.

Бостон явился к нему просителем. И от этого подмывало Базарбая покуражиться, поиздеваться, показать себя. Чтобы сам Бостон пришел к нему кланяться — такое и во сне не привидится. И Базарбай решил, раз уж подвернулся такой случай, не упустить своего. И вдобавок мелькнула злорадная мысль: хорошо, что не было им ночью покоя, хо-

рошо, что не до ласк Гулюмкан было Бостону. Всегда бы так! И он сказал, искоса метнув на Бостона взгляд:

— Не морочь мне голову, Бостон! Тоже нашел дурака! Не для этого я брал выводок, чтобы возвращать его чуть не с поклонами. Много ты о себе понимаешь! И потом у тебя свои, а у меня свои интересы. И мне плевать, спалось тебе там с твоей бабой или не спалось, мне от этого ни жарко ни холодно.

— Подумай, Базарбай, не отказывайся с ходу.

— А чего тут думать?

— Напрасно ты так, — еле сдерживаясь, сказал Бостон. Он понял, что совершил большую ошибку. Теперь ему оставалось прибегнуть к последнему средству. — В таком случае, — сказал он, все еще пытаясь не терять самообладания, — давай сторгуемся по-честному — ты продаешь, я покупаю! Тебе все равно продавать этих волчат, так продай их мне. Называй свою цену — и по рукам!

— Не продам! — Базарбай даже привскочил. — Тебе ни за какие деньги не продам! Подумаешь, нашелся — продай! У тебя деньги, а у меня нет! Да плевал я на то, что у тебя деньги. Я их пропью, волчат, но тебе не продам, слышал? Мне плевать, кто ты и что ты! Слушай, садись-ка ты поскорей на коня и уезжай подобру-поздорову!

— Не говори глупости, Базарбай. Давай поговорим как мужик с мужиком. Какая тебе разница, кому продать волчат?

— А такая! Не тебе меня учить. И без тебя ученый. А если хочешь, я тебе такое устрою, что на своем партийном собрании, где ты все выступаешь, я, мол, всем передовикам передовик, всех уму-разуму учишь, так вот я тебе там такое устрою, что позабудешь, откуда солнце всходит и куда заходит. Такое устрою, что век не забудешь!

— Ну и ну! — искренне удивился Бостон, невольно отгораживаясь от Базарбая рукой. — Ты постой меня пугать, объясни, за что ты так взъелся?

— За что взъелся? А за то! Ты против властей идешь. Ясно! Один ты умный! Начальство требует уничтожить повсюду хищников, а ты решил волков миловать, решил размножать — так выходит? Подумай сам кулацкой своей головой! Я целый выводок извел, стало быть, большую пользу государству принес, а ты хочешь подложить их в логово. Пусть растут, пусть плодятся — так, что ли? Да еще меня подкупить хочешь!

— Не тебя подкупить я хочу — глаза б мои на тебя не глядели, — а купить волчат. Только напрасно ты меня страшашь чуть ли не судом. Ты вначале подумай, пораскинь мозгами, что ты делаешь и кто ты после того есть! Ты вначале взрослых волков убери, если ты такой герой! И прежде всего волчицу, раз ты наткнулся на логово. А если тебе слабо, скажи другим, вот, мол, так и так, и пусть этим займется тот, кому это по силам.

— А кто это — уж не ты ли?

— А хотя бы и я! А теперь попробуй найди этих волков — ищи ветра в поле. Раз ты разорил их логово, теперь волка и волчицу и не выследить, и не убить. Теперь они будут резать по округе всю живность, весь скот, в любой час мстить будут человеку — попробуй справишься с ними. Ты об этом подумал?

— Рассказывай, рассказывай, ишь выискался адвокат волчий. Пойди докажи — кто тебе поверит? Рассказываешь о волках как о людях, привык вкручивать мозги. Да я тебя вижу насквозь! Я тебе другое скажу. Если ты приперся сюда на меня давить... — Базарбай, не договорив, сорвал шапку с лысой головы, подскочил к Бостону: ни дать ни взять крутолобый бык, — и они сошлись вплотную, лицом к лицу, оба сопели, их душила ненависть.

— Ну, что еще ты хочешь мне сказать? — охрипшим от напряжения голосом сказал Бостон. — А то некогда мне!

— Я всегда знал, что ты жмот, себе на уме, только под себя гребешь, потому и по собраниям таскаешься — без тебя там, пастуха, не обошлись. Только никто не знает, что ты от зависти подыхаешь как собака, когда кому что-то светит. Не ты, видишь ли, взял добычу, не ты огреб выводок, тебе вот и неймется, вот ночи и не спишь, когда у кого хоть какая-то удача!

— Тыфу ты! — не стерпел Бостон. — И я еще разговариваю с таким гадом! Да сам я дурак! Знал бы, не приехал! Кончай разговор! Все! Теперь если и отдашь волчат — не возьму. Иди, делай свое дело!

Бостон, раздосадованный не на шутку, подошел к коновязи, резко выдернул чумбур, подтянул рывком подпругу так, что конь зашатался, переступая ногами, и с маху сел в седло. Он был настолько зол, что не услышал, как его окликала жена Базарбая. Бедная женщина самую малость опоздала. Выйдя из дому, она заметила, что муж ее с кем-то громко разговаривает, размахивает руками. «С кем это он? —

подумала она. — Да никак сам Бостон пожаловал, впрочем, с чего бы это ему к нам приехать?» Но тут же поняла, что между мужчинами какой-то спор, и поспешила к ним. Однако добежать не успела — Бостон уже отъехал на золотистом дончаке, и вид у него был разгневанный. Нахлобучив лисью шапку, он хлестанул коня и унесся прочь, полы шубы развевались, как крылья.

— Бостон! Бостон! Постой! Послушай меня! — крикнула Кок Турсун, но Бостон не обернулся — кто знает, то ли не услышал, то ли не захотел откликнуться.

— Ты чего человека обидел? Из-за чего у вас спор? — подступилась Кок Турсун к Базарбаю.

— Не твое дело! И не ори, чего тебе понадобилось его звать? Кто он тебе?

— Да ведь раз в сто лет приехал к тебе, а ты?! И кто только тебя такого родил на свет? Изверг ты, не человек!

Слова жены лишь распалили Базарбая, он взвился, вскопчил на колоду и заорал вслед Бостону:

— Мать твою затопчу! Не на такого напал! Привык, чтобы все голову перед тобой гнули! Мать твою...

— Перестань! Прекрати! — Кок Турсун отважно кинулась к мужу, стащила его с колоды. — Лучше меня избежь, зачем позоришь человека? За что?

— Отойди, зараза! — оттолкнул ее Базарбай. — Какое твое дело? Он, видишь ли, решил, что Базарбай будет лебезить перед ним. На, мол, ради бога, волчат, пусть будет потвоему! Не на того напал!

— Так это ты из-за волчат? — подивилась Кок Турсун. — Было бы из-за чего! Прямо конец света! Конец света! Срам-то какой...

#### IV

В тот день волки снялись с места. И не просто снялись, а покинули логово, не вернулись на ночь и стали бродить на стороне — то уныло отлеживались где придется, то вновь рыскали по округе, особенно не скрывались, вели себя нагло, точно перестали остерегаться людей. В те дни многие окрестные чабаны замечали их в самых неожиданных местах. И всегда волчица с низко пригнутой головой шла впереди, точно бы одержимая безумием, а волк неизменно следовал за ней. Впечатление было такое, будто эта пара ищет свою погибель — настолько очевидно они пренебрегали

опасностями. Несколько раз, вызвав невиданный переполох среди собак, они проходили вблизи жилищ и кошар. Псы поднимали злобный лай, бесновались, выходили из себя, делали вид, что вот-вот кинутся в атаку, но волки упорно не обращали на них внимания и, даже когда им вслед стреляли, не убыстряя шага, продолжали свой путь, словно не слышали выстрелов. Одержимость этих странных волков стала притчей во языцех. И еще больше заговорили о них, когда Акбара и Ташчайнар нарушили волчье табу и стали нападать на людей. В одном случае они средь бела дня осадили тракториста прямо посреди дороги. Он вез сено в прицепной тележке. Заклинило руль, и тракторист, молодой парень, полез вниз поглядеть, в чем дело. Он долго возился там, орудуя ключами, и вдруг заметил невдалеке двух волков, ступающих по таявшему снегу, — они шли к нему. Больше всего его поразили волчьи глаза. С лютым, как он потом рассказывал, оцепеневшим взглядом они приближались к нему, причем волчица была чуть ниже в холке и синеглазая. Глаза у нее влажные и пристальные. Хорошо парень не растерялся, успел заскочить в кабину и прихлопнуть дверцу. Хорошо мотор завелся от стартера, а то все пришлось заводить сплеча, от рукоятки. А тут прямо-таки повезло. Трактор затрахтел, и волки отпрянули, но уйти не ушли, а все норовили приблизиться то с одной, то с другой стороны.

В другой раз лишь чудом уцелел подросток-пастушок. И тоже дело было днем. Он отправился верхом на ослике за топливом, отъехал недалеко от дома — ему надо было привезти хворосту на растопку. Пока он резал серпом в кустарнике сухостойный хворост, откуда-то выскочили два волка. Ослик даже не успел подать голоса. Нападение произошло мгновенно, молчком и кроваво. Мальчик бежал, не выпуская серпа из рук, и, добежав до кошары, упал и стал кричать не своим голосом. Когда люди из кошары с ружьями побежали к кустарнику, волки беспешной трусцой скрылись за холмом. Даже выстрелы не заставили их убыстрить шаг...

А чуть погодя волки устроили настоящую бойню среди суягных маток, выгнанных погастись неподалеку от кошары. Никто не видел, как и что произошло. Спихватились только тогда, когда оставшиеся в живых животные примчались в страхе во двор. Полтора десятка суягных маток лежали растерзанные на пастбище. Всех их убили зверски, пере-

резав горло, убили бессмысленно — не для насыщения, а ради умерщвления.

И пошел счет злодеяниям Акбары и Ташчайнара. И пошла о них страшная слава. Но люди видели лишь внешнюю сторону дела и не знали подлинной подоплеки, подлинных причин мести — не ведали о безысходной тоске матери-волчицы по похищенным из логова волчатам...

Базарбай гулял, куражился — пропивал дуриком доставшиеся ему деньги, куролесил в те дни по прибрежным курортным ресторанам, пустынным и мрачным в мертвый сезон, зато водки было всюду навалом. И везде Базарбай, напившись так, что даже лысина багровела, вел один разговор — о том, как он здорово отшил этого возомнившего о себе и возгордившегося Бостона, этого жмота и змея, этого неразоблаченного тайного кулака, которого в прежние времена приставили бы к стенке как классового врага, и все тут. Жаль, что те времена минули. Такого типа пустить в расход — святое дело! А что! В двадцатые, тридцатые годы любой милиционер мог пристрелить кулака ли, богатея ли прямо у него на дворе. Об этом книги написаны, и по радио читали, как один кулак прижимал, обсчитывал батрака, а его за это пустили в расход средь бела дня у всех на глазах, чтобы неповадно было обижать бедноту. Но больше всего Базарбай любил рассказывать, сам возбуждаясь от своих слов, как он дал Бостону от ворот поворот, как он его костерил да материл, когда тот заявился к нему на Таман. Базарбаевы собутыльники, по большей части слонявшиеся в зимнее время от безделья домотдохчу<sup>1</sup>, гоготали так, что стекла звенели в промозглых и смрадных от табачного духа помещениях общепита, поддавали и подначивали пьяного Базарбая, еще больше разжигая его бахвальство. Эти разговоры доходили и до ушей Бостона. Вот почему произошел большой скандал на совещании у директора совхоза.

Накануне всю ночь проворочался Бостон от бессонницы, от нахлынувших вдруг тягостных дум. А все началось с того, что опять закружили поблизости от зимовья волки и опять затянули ту невыносимую, душу выворачивающую песню, и опять, дрожа от страха, прижималась Гулюмкан к мужу, а потом не выдержала, принесла снова спящего Кенджеша в постель и поглаживая его, прикрывала телом, точно ему что-то угрожало. Не по себе становилось от этого Бо-

<sup>1</sup> Домотдохчу — сезонные рабочие домов отдыха.



стону, хоть он и понимал, что женщине простительно бояться темноты и непривычных звуков.

Несколько раз порывался Бостон пойти и дать залп из ружья, но жена не отпускала, не желала ни на минуту оставаться одна. Потом она все же уснула тревожным, чутким сном, но Бостон так и не смог одолеть бессонницу. Всякие мысли лезли в голову. И получалось, что чем дольше он жил на белом свете, тем трудней и сложней становилось жить, и не столько даже жить, сколько понять смысл жизни. То, о чем прежде не думалось или думалось невнятно, где-то в глубине души, теперь возникало в мыслях с настоятельной необходимостью ответить себе, что есть что.

Вот ведь с самого детства жил своим трудом. Судьба ему выпала тяжелая: отец его погиб на войне, когда он во втором классе учился, потом умерла мать, старшие братья и сестры жили сами по себе, иных уже и не было в живых, и он всем был обязан только себе, только своему труду, он, как теперь понимал, шел к некоей поставленной самому себе цели упорно, неуклонно изо дня в день, работал не покладая рук и считал, что только в этом и может заключаться смысл жизни. Так же истово он заставлял трудиться и всех, кто работал под его началом. Многих из тех, кто прошел его школу, он вывел в люди, научил работать, а через это и ценить саму жизнь в труде. Тех же, кто не стремился к этой цели, Бостон откровенно не любил и не понимал. Считал таких людей никчемными. Был с ними сух и неприветлив. Знал, что многие его за это поносили за глаза, называли жмотом, кулаком, сожалели, что Бостон поздно вато родился, а не то гнить бы его костям в снегах Сибири. Ни на какую хулу Бостон, как правило, не отвечал, ибо никогда не сомневался, что истина на его стороне, иначе и не могло быть, иначе свет перевернулся бы вверх дном. В этом он был убежден так же, как и в том, что солнце восходит на востоке. И лишь однажды слепая судьба поставила его на колени и заставила горько каяться, и с тех пор познал он тяжесть и горечь сомнений...

## V

С Эрназаром, покойным мужем Гулюмкан, до того трагического случая они проработали вместе три года. Хороший был работник, ничего не скажешь, и человек надежный — именно такой нужен был Бостону в его бригаде. Эр-

назар сам пришел к нему, и с того и началась их общая работа. Как-то осенью приехал он к Бостону в Бешкунгей, где стояла тогда отара перед зимой. Поговорить, сказал, приехал. За чаем как раз и поговорили. Надоело, сетовал Эрназар, работать с кем попало; как ни старайся, а если старший чабан не хозяин, мало проку в одном старании. Вот годы идут, две дочери подрастают, смотришь, замуж скоро выдавать, время-то быстро катится, и сколько ни работаю, а сам весь в долгах, дом построил, кто не знает, во что это обходится, а у тебя, Боске, так называл он его уважительно, не скрою, можно и поработать, и заработать. За шерсть, за приплод, за привесы всегда у тебя, Боске, премиальные идут, и немалые. Вот и надумал просить тебя, если не возражаешь, поговори с директором, пусть перебросит меня к тебе первым чабаном, твоей правой рукой. Не подведу, сам понимаешь, иначе не стал бы этот разговор заводить...

Бостон знал Эрназара и до этого, как-никак в одном совхозе жили, причем Гулюмкан приходилась отдаленной родственницей его жене Арзыгуль. Стало быть, свои люди. Но главное, Бостон сразу поверил в Эрназара и потом никогда не пожалел об этом.

Вот с этого все и началось, с этой немудреной житейской истории. Сработаться им было несложно, потому что Эрназар, как и сам Бостон, был прирожденный хозяин, с точки зрения других — дурак, каких мало: к совхозному скоту относился как к своему, будто он лично ему принадлежал. Большой, что ли? А отсюда вытекало и все остальное — и трудился как на себя, и заботился о хозяйстве как о своем кровном. Трудолюбие было в натуре Эрназара. Он был и наделен им от природы, и развил его в процессе жизни, качество это вселенского порядка, им, этим качеством, должны быть наделены все люди, только одни его развивают в себе, это качество, а другие нет. Ведь если подумать, сколько их, лодырей, везде и повсюду — и взрослых, и юных, и мужчин, и женщин. Словно люди не понимают, сколько несчастий и убожества в их жизни проистекает и проистекало во все времена от лени. Но Бостон и Эрназар были истинными тружанами и потому родственными душами. Работалось им дружно и согласно, и понимали они друг друга с полуслова. Однако случилось так, что, пожалуй, именно эта черта и сыграла свою роковую роль в их жизни...

Впрочем, так это или не так, кто знает... Дело в том, что еще задолго до появления бригадных и семейных производ-

ственных подрядов Бостон Уркунчиев, вероятно, в силу какой-то своей интуиции, настаивал при каждом удобном случае, чтобы за ним, вернее, за его бригадой, закреплена была бы земля в постоянное пользование. Простая цель эта, правда, бесхитростно высказанная, но с точки зрения иных ортодоксов вызывающая, сводилась к тому, что пусть, мол, у меня будет своя пастбищная территория, то есть своя земля, пусть у меня будут свои кошары и за них я сам буду в ответе, а не завхоз-комендант, у которого голова не болит, если крыша течет, пусть у меня будут в горах летние выпасы, чтобы не гонять меня с отарой куда попало, и пусть все знают, что те выпасы закреплены за мной, Бостоном, а не за кем другим, и чтобы всем этим распоряжался я сам как хозяин, как работник, и тогда я сделаю во сто раз больше и дам гораздо больше продукции сверх плана, нежели на обезличенной земле, где я работаю все равно как батрак-джалдама<sup>1</sup>, который следующей осенью перейдет неизвестно куда.

Нет, не проходила эта Бостонова идея. Вначале все соглашались, да, это, конечно, правильно, разумно, за всеми бы так закрепить участки, пусть люди чувствуют себя хозяевами и чтобы дети, семья знали об этом и вместе трудились на своей земле, но стоило кому-нибудь из бдительных местных политэкономистов засомневаться: а не есть ли это посягательство на священные принципы социализма? — как все немедленно шли на попятную и начинали говорить обратное, доказывали то, что не было нужды доказывать. Никто не хотел быть заподозренным в ереси. И лишь Бостон Уркунчиев — невежественный пастух — упрямо продолжал твердить свое почти на каждом совхозном или районном собрании. Его слушали, восхищались и посмеивались: а что, мол, ему, Бостону, что думает, то и говорит, терять ему нечего, с работы его не снимут, карьеру не поломают. Счастливец! И каждый раз ему давали отповедь с теоретических позиций — особенно усердствовал в этом деле парторг совхоза Кочкорбаев, типичный грамотей с дипломом областной партшколы. С этим Кочкорбаевым отношения у Бостона были почти анекдотичные. Столько лет тот был парторгом совхоза, но Бостону так и не удалось разобраться — то ли Кочкорбаев прикидывался наивным буквоедом (наверное, это давало ему какие-то преимущества), то ли и в самом деле был им. С виду эдакий краснощекий скопец — гладень-

---

<sup>1</sup> Джалдама — арендатор.

кий, как яичко, всегда при галстукe, всегда с какой-то папкой, всегда озабоченный — дела-дела, — быстро ходит и быстро говорит, точно газету читает. Иногда Бостону думалось: может быть, он и во сне говорит как по писаному.

— Товарищ Уркунчиев, — упрекал Бостона с трибуны парторг Кочкорбаев, — вам давно пора понять, что земля у нас общенародное достояние. Так записано в конституции. Земля в нашей стране принадлежит народу, только народу и никому другому. А вы требуете себе, можно сказать, чуть ли не в частную собственность зимние и летние пастбища, кошары, корма и прочий инвентарь. Этого мы допустить не можем — мы не имеем права искажать принципы социализма. Вы поняли, куда вы клоните и куда хотите нас завести?

— Никуда я не хочу никого заводить, — не сдавался Бостон. — Если хозяин не я, а народ, пусть народ идет и работает в моей кошаре, а я посмотрю, что из этого выйдет. Если я не хозяин своему делу, кто-то в конце концов должен же быть хозяином?

— Народ, товарищ Уркунчиев, еще раз повторяю — советский народ, государство.

— Народ? А я кто, по-вашему? Что-то я не возьму в толк. Почему я не государство? Вроде ты, парторг, молодой, ученый, только чему вас там учили, если мне твоих слов не понять?

— Я, товарищ Уркунчиев, не пойду у вас на поводу, потому что вы разводите кулацкую демагогию, но запомните — ваше время прошло, и мы никому не позволим посягать на основы социализма.

— Ну, смотрите, вам, начальству, виднее, — огрызнулся Бостон, — только я все равно на своем стою, работать-то мне, а не кому другому. Чуть что — вы мне рот затыкаете: народ, народ! Народ — хозяин! Ну, хорошо. Пусть тогда народ и рассудит: скота становится из года в год все больше и больше, сорок тысяч голов только мелкого скота в совхозе — такое прежде никому и не снилось, земли свободной все меньше, а планы растут. Вот смотрите сами: раньше я настригал шерсти по три килограмма семьсот граммов с головы, а лет двадцать тому назад начинал — все знают — с двух килограммов, то есть за двадцать лет с большим трудом дал прибавку в кило семьсот. А теперь за один год план повысили на полкилограмма. Откуда я возьму его? Я что, колдовать должен? А не выполню план, бригада ничего не полу-

чит. А у них семьи. Зачем тогда людям работать, круглый год ходить за овцами? А как можно выполнить такой план, когда каждый чабан только и кружит, как коршун, чтобы перехватить у другого выпас получше, потому что земля общая, никто ей не хозяин. И сколько же драк чабанских было из-за выпасов, а ты, парторг, сам ни хрена не делаешь и директору руки вяжешь! Что я, не вижу, что ли?

— Что я делаю или не делаю — об этом судить райкому. Но только и райком не пойдет на вашу опасную авантюру, товарищ Уркунчиев!

И так всякий раз разговор уходил в песок...

А тут опять же судьба привела в чабанскую бригаду Эрназара, и у Бостона появился близкий единомышленник и союзник. Жены их, Арзыгуль и Гулюмкан, посмеивались, бывало, над ними: два сапога пара подобрались дружки — ни сна, ни отдыха, им бы только работать. Вот тогда и родился у них замысел погнать на лето скот за перевал Ала-Монгю. Идея эта принадлежала Эрназару. Что, говорит, перебиваться все лето по предгорьям, за каждую травинку с соседями за грудки хвататься, не лучше ли двинуть на лето за перевал, на Кичибельский выпас. Старики говорят, что в прежние времена баи-скотоводы будто бы ходили туда с табунами и отарами. В те еще времена и сложили песню «Кичибель». Они знали, что хоть Кичибельское джайляу и не очень большое, зато травы там, сказывают, былинные. За пять дней скот набирает вес, как за целый месяц на откорме.

Бостон и прежде подумывал об этом, но с Кичибелем было много неясностей. Колхозные животноводы еще до войны ходили на лето в Кичибель через единственно возможный перевалочный путь — через ледяной Ала-Монгю. В войну, когда в аилах остались лишь старики да дети, уже никто не отваживался на такой поход. А потом бедствующие колхозы объединились в один большой совхоз с нелепым названием, состоящим из шести слов какого-то очередного ...летия, который местные переименовали в «Берик» по названию речки Берик-суу, и в той суете объединений и превращений забыли постепенно о том, что летом целых два месяца, а то и больше, можно выгуливать скот за заснеженным перевалом великого Ала-Монгю. А может быть, никому уже и не хотелось преодолевать такую высоту: ведь чтобы перегонять скот через такой трудный горный путь, требуется энтузиазм, одержимость хозяина, желающего как

можно лучше содержать своих животных. Не оттого ли в старые времена, встречаясь, киргизы спрашивали друг у друга: «Мал жан аманбы?» — то есть в здравии ли скот и души. В первую очередь говорили о скоте. Что ж, жизнь есть жизнь...

Загоревшись этой стародавней идеей, Бостон и Эрназар прикинули с карандашом в руках все кичибельские варианты: даже по самым минимальным подсчетам, учитывая, что животные, преодолевая перевал в ту и другую сторону, сбросят вес, игра стоила свеч. Дело сулило большую выгоду — ведь прямых затрат, если не считать провоза соли-лизунца, кроме оплаты труда, практически никаких. Правда, пока еще это были лишь заманчивые расчеты.

Бостон решил прежде всего обратиться к управляющему отделением, затем к директору совхоза, а к парторгу обращаться не стал. Не любил он парторга, не раз убеждался — пустослов, знай предостерегает: этого нельзя, того нельзя, ему бы только на собраниях выступать, пересказывать, что в газете написано, да шеголять в галстук. А директору, голове совхоза, Бостон рассказал о замысле: так, мол, и так, Ибрагим Чотбаевич, собираемся с Эрназаром воскресить для пользы дела старые пастбища за перевалом Ала-Монгю. Вначале, мол, пойдем на пару разведывать путь, глянем, какие места на Кичибеле и какие травы, а потом, по возвращении, двинем туда гуртом на все лето. И если получится все, как желательно, пусть тот выпас Кичибельский закрепят за ним, за Бостоном, ну а если кто из чабанов пожелает пробиваться вслед за ним за перевал, пожалуйста, и тому места хватит, главное, чтобы он, Бостон, знал, какие выпасы ему выделят и на что он может рассчитывать в течение сезона. С этим и пришел к вам, через два дня решили мы с Эрназаром двинуться на перевал Ала-Монгю, а дела пока женам и помощникам перепоручим.

— Кстати, Боске, а как жены смотрят на вашу затею? — поинтересовался директор. — Ведь дело это нешуточное.

— Вроде с пониманием. К чему Бога гневить, моя Арзыгуль с головой баба, да и Гулюмкан, жена Эрназара, та хоть и помоложе, но, сдается, совсем не глупая. И между собой они, гляжу я, здорово поладили. Вот еще чему я рад. А то хуже нет, когда бабы грызутся. Тогда жизнь не в жизнь... Бывали прежде случаи...

И еще кое о чем переговорили они с директором. Оказалось, что осенью в Москву на выставку с труднопроизноси-

мым названием ВДНХа или ВДНХы намечалась поездка передовиков района и будто бы Бостон значился в списке чуть не первым.

— А нельзя ли, Ибрагим Чотбаевич, мне с женой поехать? Моя Арзыгуль давно мечтает Москву повидать, — признался Бостон.

— Я тебя понимаю, Боске, — улыбнулся директор, — поживем — увидим, как говорится. Почему бы нет? Надо только согласие парторга получить. Я поговорю с ним насчет этого.

— С парторгом? — призадумался Бостон.

— Да ты не сомневайся, Боске. Что он, из-за тебя будет придирааться к твоей жене, что ли? Не по-мужски ведь.

— Да не в этом дело. Подумаешь, поедем — не поедем. Велика беда. Я вот о чем хотел поговорить с тобой, директор. Скажи, тебе очень нужен такой парторг в хозяйстве? Никак не можешь обойтись без него?

— А что?

— Ну, мне важно знать. Вот, скажем, есть у телеги четыре колеса — и все на месте, а если взять и приделать пятое колесо, оно и само не катится, и другим не дает. Так нужно это колесо или нет?

— Видишь ли... — Директор, рослый, крупный мужчина с раскосыми глазами на широком грубоватом лице, посерьезнел, стал перекладывать бумаги на столе, прикрыл глаза усталыми веками. «Недосыпает, все крутится», — подумал Бостон. — Честно говоря, толковый парторг нужен, — сказал он после паузы.

— А этот?

Директор коротко глянул ему в лицо.

— Зачем нам с тобой это обсуждать? Раз его райком прислал, что тут поделаешь.

— Райком. Вот видишь, — вырвалось у Бостона. — Мне иной раз сдается, будто он все прикидывается, что ему для чего-то надо так себя вести. Зачем ему все время стращать людей, точно я социализм хочу подорвать? Ведь это же неправда. Ведь я если чего и требую, так для дела. Землю эту я не продам, не отдам кому-то, она как была совхозная, так и останется. И все равно я, пока живу, пока работаю, буду жить своим умом.

— Да что ты мне все толкуешь, Боске. Нельзя делать того, что ты предлагаешь.

— А почему нельзя?

— Потому что нельзя.

— Разве это ответ?

— Что я еще могу тебе ответить?

— Я тебя понимаю, Ибрагим Чотбаевич. Ты однажды погорел, хотел как лучше, а тебе по шее, понизили — перевели из райкома в совхоз.

— Правильно, и больше не хочу, чтобы мне давали по шее: ученый уже.

— Вот видишь, каждый думает прежде всего о себе. Я не против, о себе надо думать, только думать надо по-умному. Наказывать надо не того, кто что-то новое сделал, а того, кто мог сделать и не сделал. А у нас все наоборот.

— Тебе хорошо рассуждать, — усмехнулся директор.

— Всем так кажется. А мне надоело жить как в гостях. Из гостя какой работник? Сам понимаешь. Ну день-два поначалу повкалывать, а потом надоест... А у нас что получается: работаешь, работаешь, а Кочкорбаев тебя все по носу щелкает — ты гость, ты не хозяин.

— Вот что, Боске, давай договоримся так: ты на меня не ссылайся, но делай так, как сочтешь нужным...

С тем и расстались...

Через три дня на рассвете они с Эрназаром двинулись в Кичибель. Все еще спали, когда они сели на коней. Бостон ехал на кауром мерине, Донкулюк его — в ту пору двухлетка — еще был молод, а в горы лучше отправляться на тихоходной лошади, ведь на перевал не поскачешь галопом. У Эрназара тоже был под седлом добрый конь. Лошади к тому времени года были уже в теле, шли быстро. Каждый вез с собой курджун овса — на случай ночевки в снегах. Везли с собой и шубы овчинные тоже на этот случай.

Бывает, сам путь приносит радость. Особенно если попутчик подберется по душе да разговор неторопливый неприхотливо течет. А в тот день погода выдалась на редкость ясная — впереди возвышались горы, снежный хребет за снежным хребтом, каждый следующий все более кряжистей и снежней, а если оглянуться, позади в низине лежало насколько хватало глаз великое озеро. И всякий раз хотелось оглянуться на застывшую, как притемненное зеркало, синеву Иссык-Куля.

— Эх, увезти бы хоть чуток синевы Иссык-Куля в курджуне, — пошутил Эрназар.

— А лошадь чем будешь кормить вместо овса — синевой? — резонно ответил ему Бостон.



И оба рассмеялись. Им редко удавалось освободиться от повседневных, тяжких чабанских забот, и хотя ехали они с тем, чтобы разведать перегон через перевал, а впереди им предстояло еще более трудное и мучительное дело, в тот час обоим было хорошо, и тропа предков пока была к ним милостива. Эрناзар ехал в отличном настроении — все-таки его идея пошла в дело. С самой войны, целых сорок лет никто не ходил за тот перевал, а они с Бостоном отважились.

Эрназар, к слову сказать, любил порассуждать, порасспросить. И собой был видный малый, в армии, оказывается, служил в последних кавалерийских частях после войны. Выправка была у него что надо, хотя и прошло столько лет. Гулюмкан, смеясь, рассказывала, что ее Эрназар однажды чуть было артистом не стал. Приехал какой-то кинорежиссер и стал уговаривать Эрназара сняться в кино. Если бы, говорит, твой Эрназар жил в Америке, играть бы ему ковбоя в кино. А Гулюмкан ему и ответь: «Знаю я ваше кино, слышала, одного табунщика взяли сниматься, так он и сгинул — какая-то артистка увела его. А я своего Эрназара не отпущу». Смех один!

А Бостон подумывал, как бы осенью, когда они возвращаются с Кичибеля, помочь Эрназару получить под начало бригаду. Пусть человек работает постоянно, давно пора доверить ему чабанство, негоже держать его так долго в подпасках, был бы он, Бостон, директором совхоза или партторгом, знал бы каких людей, когда и куда ставить, но, как говорят в народе, «бири кем дуние» — в мире всегда что-то не так.

В горах им уже не встречались трактора и верховые, все реже попадались на пути зимовья и кошары, менялся и ландшафт: природа была здесь чужая, более суровая, холодная. К вечеру, еще до захода солнца, Бостон и Эрназар добрались по каменистому ущелью до подножия перевала Ала-Монгю. Можно было бы, пока не стемнело, проехать еще дальше, но рассудили, что при перегоне скота, даже если выйти на заре, при звездах, все равно за целый день большего расстояния в горах покрыть не удастся, а раз так, значит, здесь, в ущелье, под самой завязкой перевала, и придется останавливаться на ночь. Скотоводы называют такую ночь шыкама, ночь перед штурмом перевала. К тому же место для шыкамы оказалось очень удобным — речка стекала с ледников, здесь был ее исток, можно было выбрать место

под склоном, куда не достигал бы ветер с ледников. Чабаны хорошо знали, что пронизывающий и опасный ветер с ледников всегда начинается с полуночи и держится до восхода солнца. Укрыть многочисленный скот от ледникового ветра на ночь и утром со свежими силами начать шторм перевала — в этом хитрость шыкамы.

Спешившись и расседлав притомившихся коней, путники начали устраиваться на ночлег. Облюбовали место под небольшим утесом, набрали кое-какого топлива — Эрназар не поленился спуститься по ущелью довольно далеко, туда, где росли низкорослые горные деревья. Потом поужинали у огня провизией, что захватили с собой из дома, даже чай вскипятили в жестяном чайнике и, довольные, стали укладываться после долгого пути на покой.

В высотах под перевалом быстро стемнело, и сразу стало холодать — точно зима нагрянула. Путь из лета в зиму составил всего лишь день верховой езды. Стужей повеяло с ледников Ала-Монгю — ведь они были совсем недалеко, эти вековечные ледники, как говорится, рукой подать. Бостон вычитал в какой-то газете, что льды эти лежат на высотах уже миллионы лет и что благодаря им и возможна здесь, в долинах, живая жизнь — льды постепенно подтаивают и дают начало рекам, которые несут свои воды в жаркие низины и поля, вот как мудро устроено все в природе.

— Эрназар, — сказал уже перед сном Бостон, — а холодно какой! Чувствуешь, как пробирает? Хорошо, что шубы захватили.

— Шубы что, — отозвался Эрназар. — В прежние времена еще спасались молитвой, она так и называлась — перевальная. Помнишь ее?

— Да нет, не помню.

— А я помню, как ее дед читал.

— Ну-ка прочти.

— Да я ведь как помню — с пятого на десятое.

— Все лучше, чем никак. Давай начинай!

— Ну, хорошо. Я буду говорить, а ты повторяй. Слышишь, Бостон, повторяй: «О, Владыка студеного неба, синий Тенгри, не ужесточи пути нашего через перевал ледяной. Если тебе надо, чтобы скот полег в метель, возьми взамен ворону в небе. Если тебе надо, чтобы дети наши задохнулись от стужи, возьми взамен в небе кукушку. А мы подтянем подпруги коней, прикрепим покрепче вьюки на бычьих горбах и обратим к тебе наши лица, только ты, Тенгри,

не становись на нашем пути, пропусти нас через перевал к травам зеленым, к водооям студеным, а возьми взамен эти слова»... Кажется, так, а дальше не помню...

— Жаль...

— Да что жалеть? Теперь такие молитвы никому не нужны, теперь учат в школах, что все это отсталость и темнота. Вон, мол, в космос летают люди.

— А при чем тут космос? Что, если в космос летаем, так надо и забыть прежние заклинания? Кто в космос летает, тех по пальцам перечесать можно, а сколько нас на земле и землей живет? Отцы наши, деды наши землей жили, что же нам в космосе? Пусть они себе летают — у них свое дело, у нас свое.

— Легко сказать, Боске, а такие, как наш парторг Кочкорбаев, что ни собрание, поносят все старое, говорят — не так свадьбы справляете, почему не целуетесь на свадьбах, почему невеста с тестем не танцуют в обнимку? Имена и то не те даете детям — есть, говорит, утвержденный свыше список новых имен, а все старинные надо заменить. А то вдруг прицепится — не так хороните, говорит, не так оплакиваете покойника. Как людям плакать, и то указывает: не по-старинному, говорит, надо плакать, по-новому.

— Да, знаю я, Эрназар, будто это мне неизвестно. Вот попади я в Москву, а меня вроде осенью собираются на выставку послать, вот тогда, честное слово, пошел бы в ЦК, мол, хочу узнать: нужны ли нам в самом деле такие, как Кочкорбаев, или это наше горе? И ведь ничего не скажи ему, чуть что — за глотку берет, ты, говорит, против партии. Он один, видишь ли, вся партия. И никто ему не перечит. Вот ведь как у нас. Сам директор его обходит сторонкой. Ну да бог с ним! Беда в том, что таких, как Кочкорбаев, немало и в других местах... Давай-ка спать, Эрназар. Ведь завтра у нас самый трудный день...

Так в разговорах о том о сем заснули в ту ночь двое чабанов в ущелье под великим ледяным перевалом Ала-Монгю. Звезды уже сияли в призрачной темной выси над горами, все до единой, сколько их ни есть, высыпали в небе, и удивительно было Бостону, что такие крупные и тяжелые, каждая с его кулак, звезды не падали, а висели в небе и неустанно мерцали, и холодный ветер свирепо свистел в камнях... Всегда ему места не хватает, богу ветров Шамалу... Всегда он недоволен и всегда что-то в себе таит...

\* \* \*

Такой же порывистый холодный ветер врывается с тонким присвистом сквозь оконные щели и в ту глухую ночную пору, когда под тягостный вой волков Бостону заново вспомнилось все пережитое. И он снова перебирал в памяти старое, прошедшее, и душу его бередила обида, причиненная никчемными людьми, которые даже несчастья других используют для глумления и клеветы. О, как сильны они в этом гнусном своем древнем деле! Кого угодно заставят страдать, кого угодно заставят мучиться бессонницей — от царя до пастуха. И так нехорошо становилось Бостону от этих безысходных мыслей, что подчас вой волков, опять объявившихся в эту ночь, казался ему воплем его измученной души. Ему чудилось, что это больная душа бродит во тьме за кошарами, это она, его ослепшая от горя душа, плачет и воет вместе с волчицей Акбарой. И не было никаких сил выносить вой волчицы и хотелось заткнуть ей глотку. «Вот ведь какая настырная! Ну что ты с ней поделаешь? Чего тебе надобно от меня? — раздражался Бостон. — Ничем я тебе не смог помочь. Я старался, но не получилось, Акбара, поверь, не вышло. И не вой больше! Нет их, нет здесь твоих волчат, хоть сто верст пробеги, пропиты они и распроданы кто куда. И теперь их тебе не найти! Так уймись же! Сколько ты будешь карать нас? Уходи, уходи, Акбара! Забудь наконец. Понимаю, тяжело тебе, но уйди, исчезни, и не приведи бог, чтобы ты попалась мне на глаза, пристрелю тебя, несчастную, не посмотрю ни на что, пристрелю, потому что нет от тебя житья, и не доводи меня, и без тебя тошно, тебя я могу убить, но что мне делать с теми, кто глумится над бедой моей, так хоть ты уйди, исчезни, чтобы больше никогда не слышать твой вой! И еще кое-кого убил бы я, и, клянусь матерью, не дрогнула бы моя рука. Есть у нас с тобой общий враг — у тебя, Акбара, он похитил детенышей, а меня эта пьяная тварь поносит поганым языком своим. И когда я думаю об этом и о том, как тогда, срывая ногти, лез в ту ледяную пропасть и как звал Эрناзара и плакал один-одинешенек в беспощадных горах, не хочется жить, совсем не хочется. И не стал бы я жить, плевал бы на все, если бы не этот малыш. Вот он здесь, рядом, свернулся комочком, спит, мать принесла его поближе ко мне. Ну, ясное дело, женщина боится волчьего воя, а малыш спит, потому что он чист, потому что он дитя невинное, потому что дан он мне за муки мои, за то, что мне пережить пришлось, в

нем кровь и плоть моя, он мой слепок последний. Но ведь я не просил себе такой судьбы, она сама пришла, как приходит день, как наступает ночь, верно говорят, от судьбы не уйдешь, а этот гад Базарбай такой гнусный поклеп на меня возводит, что так бы и придушил его, как собаку, потому как нет на него управы. А кто подпевает ему — первый наш парторг, точно делать ему нечего, подхватывает, что этот пьянчуга плетет, обездолить хочет моего малыша... Как же мне не понять твоего горя, Акбара!» Так думал Бостон, маясь бессонницей в ту ночь, но даже он при всем его уме и чуткости не мог представить себе всю меру страданий Акбары. Пусть не было у нее слов, но были муки, хоть ей и не дано было выразить их словами. И никак не могла она избавиться от этих сжигавших ее мук. Разве могла она выскокить из своей шкуры? Разве не пыталась она бесцельно и непрерывно метаться по горам и поймам вместе с Ташчайнаром, неотступно следующим за ней всюду и всегда, в надежде загонять себя, свалиться с ног, умереть от усталости, издохнуть? Разве не пыталась она утишить, заглушить неутихающую боль утраты, яростно, отчаянно нападая вместе с Ташчайнаром на всех, кто попадался им на пути? Разве не пыталась она вернуться в свое логово под скалой, чтобы еще раз убедиться, что оно пусто, чтобы окончательно убить в себе всякую надежду, чтобы не обманываться больше сновидениями?..

О, как это тяжело! В тот вечер, скитаясь бесцельно по окрестностям, Акбара вдруг круто повернула к Башатскому ущелью и поскакала, все убыстряя бег, точно какое-то дело требовало ее немедленного присутствия. Ташчайнар, как всегда, шел следом за волчицей, не отставая от нее ни на шаг. А Акбара все убыстряла бег и бежала как безумная по камням, по сугробам, по лесам... И по знакомой тропе через старый лаз, через заросли барбариса проникла в нору, и в который уже раз убедилась, что логово пусто, что оно давно нежилое, и опять завывла, заскулила жалобно, обшаривая и обнюхивая все, на чем мог сохраниться запах сосунков: «Где они, что с ними? Где вы, щенята, четыре комочка-молочника? Когда бы вы выросли, когда бы окрепли ваши клыки, когда бы пошли вы рядом со мной, как прочны были бы мои бока, как не знали бы устали мои ноги».

Акбара металась, бегала возле ручья, где все еще разило отвратительно гадким запахом из горлышка бутылки и лежали вмержшие в землю остатки расклеванного птицами овса...

Потом она снова вернулась в логово, улеглась, уткнув морду в пах. Ташчайнар прилег рядом, согревая ее густым, плотным мехом.

Была уже ночь. И снилось Акбаре, что волчата у нее под боком, здесь, в логове. Они неуклюже копошились, прильнув к сосцам. Ах, как давно ей хотелось отдать им молоко, все, что скопилось, до боли, все до капли... И так жадно сосали щенята, причмокивая и захлебываясь от избытка молока, и так сладостно растекалось по телу волчицы томительное ощущение материнской неги, только вот молоко почему-то не убывало... И волчицу-мать беспокоило: почему так получалось, почему сосцы ее не облегчались, а щенки не насыщались? Но зато все четверо детенышей тут, рядом, под боком, вот они — и тот, что шустрее всех, с белым кончиком хвоста, и тот, что дольше всех кормился и засыпал с сосцом в пасти, и третий, драчливый и плаксивый, и среди них самочка — крохотная волчица с синими глазами. Это она — будущая новая Акбара... А потом снилось волчице, будто она не бежит, а летит, не касаясь земли, — снова в Моюнкумах, в великой саванне, и рядом с ней четверо волчат, и они тоже не бегут, а летят, и с ними отец, Ташчайнар, несущийся огромными прыжками. Солнце ярко светит над землей, и прохладный воздух течет, струится, как сама жизнь...

И тут Акбара проснулась и долго лежала не шелохнувшись, придавленная жестокой явью. Потом осторожно встала, так осторожно, что даже Ташчайнар не услышал, и, осторожно ступая, вышла из логова. Первое, что она увидела, выйдя наружу, была луна над снежными горами. Луна в ту ясную ночь казалась такой близкой и так резко выделялась на звездном небе, что казалось — до нее ничего не стоит добежать. Волчица подошла к говорливо булькающему ручью, уныло побродила по берегу, опустив голову, потом присела, поджав хвост, и долго глядела на круглую луну. В ту ночь Акбаре как никогда четко и ясно привиделась богиня волков Бюри-Ана, находившаяся на луне. Ее корявый силуэт на поверхности луны был очень похож на саму Акбару — богиня Бюри-Ана сидела там как живая, с откинутым хвостом и раскрытой пастью. Акбаре показалось, что лунная волчица видит и слышит ее. И, высоко задрав морду, она обратилась к богине, плача и жалуясь, и клубы пара вылетали у нее из пасти: «Взгляни на меня, волчья богиня Бюри-Ана, это я, Акбара, здесь, в холодных горах, несчастная и одинокая. О,

как плохо мне! Ты слышишь, как я плачу? Ты слышишь, как я вою и рыдаю, и вся утроба моя горит от боли, а сосцы мои разбухли от молока, и некого вспоить мне, некого вскормить, лишилась я моих волчат. О, где они и что с ними? Сойди же вниз, Бюри-Ана, сойди ко мне, и мы сядем рядышком, повоем, порыдаем вместе. Сойди же вниз, волчья богиня, и я поведу тебя в те края, где я родилась, в степи, где не осталось места для волков. Сойди сюда, в эти каменные горы, где тоже нет нам места, видно, нигде нет места волкам... А если не сойдешь, Бюри-Ана, возьми меня, сирую волчицу, мать Акбару, к себе. И буду я жить на луне, жить с тобой и плакать о земле. О, Бюри-Ана-а-а, слышишь ли ты меня? Услышь, услышь, услышь меня, Бюри-Ана, услышь мой плач!»

Так плакала, так выла на луну Акбара той ночью средь холодных гор...

\* \* \*

Когда минула ночь-шыкама на перевале, первым поднялся Эрназар и, кутаясь в шубу, пошел глянуть на стреноженных лошадей.

— Холодно? — спросил Бостон, с опаской выглядывая из-под шубы, когда Эрназар вернулся.

— А тут всегда так, — отозвался Эрназар. — Сейчас холодно, а чуть солнышко выглянет, сразу потеплеет. — И он прилег на попону.

Рано еще и сумрачно было в тот час в горах.

— Как там наши лошади?

— Нормально.

— Я вот думаю: будем скот гнать, не помешает палатку поставить здесь на ночь, все теплее будет.

— Отчего не поставить, — согласился Эрназар. — В два счета поставим. Лишь бы путь проложить, а остальное от нас зависит.

С восходом солнца в горах и впрямь потеплело. Воздух быстро прогрелся, и, едва посветлело, они оседлали лошадей.

Прежде чем сесть в седло, Бостон еще раз огляделся, обвел глазами обступающие кручи и скалы. Дики и высоки были они, и человек казался ничтожно малым рядом с ними. А они бросали вызов этим горам. «Перевал нас не испугает, — подумал Бостон, — речь идет о жизни. А когда речь

идет о жизни, человека ничего не может испугать, ему всюду дорога — в море, под землей, в небе. Пройдем и мы».

Для начала они отыскивали старую тропу с отодвинутыми с пути камнями и мысленно проследили, как она пойдет через перевал. Получалось, что перевал проходил через заснеженную седловину между двумя вершинами. Туда и двинулись. Там, за этой седловиной, очевидно, и начинался спуск на другую сторону хребта Ала-Монгю, там и находился джайляу Кичибель, где, как рассказывали старики, растет березовый лес и течет быстрая горная река. Нередко вот так прячет природа заветные свои места в дальние уголки, делает их неприступными. Но когда речь идет о хлебе насущном, человеку приходится добиваться своего — ему необходимо жить на земле...

Тропа становилась все круче. Когда начался снежный наст под ногами, лошадям стало труднее идти — чем дальше они шли, тем глубже был снег. Светило солнце, ветер стих, и в полной тишине учащенное дыхание лошадей слышно было так хорошо, как собственное дыхание.

— Ну что? — оглядываясь, спрашивал Бостон Эрназара. — Если снег будет овцам выше брюха, нам туго придется. Что скажешь?

— Не без того, конечно, Боске, идем-то куда! Но главное, чтобы недолго нам было туго. Тогда в случае чего пророем тропу для овец, а кое-где и протопчем.

— Я тоже об этом подумал. Надо нам с собой лопаты привезти. Запомни на будущее, Эрназар, что нам надо прихватить лопаты.

Когда снег стал лошадям выше колена, чабаны спешились и повели лошадей на поводу. Тут воздуха стало не хватать, пришлось дышать ртом. Снежная белизна слепила глаза — понадобились темные очки, в которых теперь все ходят по улицам. Пришлось скинуть и шубы, бросить их на седла. Лошади тяжело дышали, вспотели, бока их ходили ходуном. К счастью, до той критической седловины было, в общем-то, не так далеко...

Солнце уже стояло в зените над вечным нагромождением оцепеневших заснеженных гор. Ничто не предвещало изменения погоды, если не считать нескольких облачков, лежавших на их пути. Сквозь них, или, вернее, по ним, можно было пройти, как по вате. Даже не верилось, что в этот час в низовьях Прииссыккуля было настолько жарко, что отдыхающие загорали на пляжах у озера.



Им оставалось еще метров пятьсот, и теперь они уже думали о том, что хорошо бы по ту сторону перевала дело пошло не хуже...

Наконец перевал был взят, и Бостон с Эрназаром остановились передохнуть. Они совсем запарились. Запыхались. Да и лошади изрядно устали. Счастливые и довольные, они смотрели вниз на пройденный ими путь.

— Ну все, Боске, — сказал, улыбаясь, Эрназар. Глаза его сияли от радости. — С отарой здесь можно пройти. Конечно, если погода будет.

— То-то и оно. При тихой погоде, конечно.

— Вот мы с тобой шли два с половиной часа, — сказал Эрназар, глянув на часы. — И вроде ничего, а?

— А с овцами часа три придется идти, — заметил Бостон, — а то и больше. Но главное, мы убедились — можно идти через перевал. А теперь пошли дальше. Вон с того места, думается мне, уже виден спуск, а может быть, откроется и Кичибель. Там сейчас должно быть зеленым-зелено...

И они пошли дальше. Кругом лежал чистый снег, где ровной пеленой, где вздыбленный и взвихренный ветрами в сверкающие сугробы. Но угадывалось, что где-то впереди стихия снега кончалась и начинался иной мир. Им хотелось поскорее пробиться туда и увидеть своими глазами Кичибель — цель их пути. Так шли они по самой седловине между горами, как между верблюжьими горбами, и заветное зрелище казалось совсем близко. Бостон, пропахивая снег, шел впереди, ведя коня на поводу, как вдруг что-то дрогнуло у него под ногами. Он услышал позади вскрик.

Бостон резко оглянулся и оторопел: Эрназар скрылся, куда-то исчез — не было видно ни его, ни его коня. Только снег клубился там, где он только что шел.

— Эрназар! — страшно вскрикнул Бостон и сам испугался своего крика, гулко раскатившегося в мертвенной тишине.

Бостон кинулся к тому месту, где клубился снег, и лишь чудом остановился, отпрянул — перед ним зияла пропасть. Черным мраком и мерзлотной стужей веяло из того провала. Тогда Бостон лег на снег и подполз на животе к самому краю, не осознавая, вернее, не осмеливаясь осознать, что произошло. И весь он, со всеми его ощущениями и мыслями, превратился в страх, и страх этот сковал его тело. И тем не менее Бостон все полз и полз, какая-то сила помогала ему двигаться, заставляла дышать. Бостон полз, упиравсь

локтями, смахивая налипающий на лицо снег. Он понял, что под ним лед, и ему вспомнились рассказы о разломах и трещинах, таившихся под снегом, куда проваливались, бывало, целые табуны, вспомнилось проклятие: «Джаракага кет» — чтоб тебе провалиться в бездонную трещину. Но за что такое проклятие обрушилось на Эрناзара, да и не только на Эрназара, а и на него самого?

Не иначе как за то, что он ненасытный, все ему мало, всем он недоволен... Если бы знал он, что может случиться такая беда...

Бостон пополз к кромке разлома — и перед ним открылся рваный черный обрыв, уходящий вниз рваной стеной. Он задрожал от ужаса.

— Эрназар, — прошептал тихо Бостон — у него враз пересохло горло, — затем заорал диким, срывающимся голосом: — Эрназар, где ты? Эрназар! Эрназар! Эрназар!

И когда смолк, услышал, как показалось ему, снизу стон и еле различимые слова: «Не подходи». И закричал Бостон:

— Эрназар! Брат мой! Я сейчас! Сейчас! Потерпи! Сейчас я тебя выгашу!

Он вскочил, рискуя провалиться, вспахивая снег, побежал к лошади, стал сдирать с нее сбрую: моток веревки и топор, что они на всякий случай прихватили, были приторочены к седлу Эрназара и вместе с ним рухнули в пропасть. Бостон выхватил нож из ножен, обрезал концы кожаных ремней — подхвостника, нагрудника, стремян, подпруги, поводьев, узды и чумбура — срастил и связал все в один ремень. Порезался в кровь — руки тряслись от напряжения. И снова кинулся он к разлому, снова дополз до самого края, лез, не выбирая дороги, задыхаясь точно в агонии, точно боялся, что вот-вот умрет и не успеет спасти Эрназара.

— Эрназар! Эрназар! — звал он. — Вот веревка, есть веревка! Слышишь, есть веревка! Ты слышишь? Эрназар! Брат мой, откликнись!

Связанный из сбруи ремень, намотав один конец на кулак, он спустил в пропасть. Но никто не ухватился за ремень, никто не откликнулся на его зов. И не знал он, далеко ли спустился брошенный им ремень и какова глубина у этой пропасти.

— Откликнись, Эрназар! Откликнись! Хоть одно слово, Эрназар! Брат мой! — звал и звал его Бостон, но эхо доносило из пропасти его собственный голос, и от этого Босто-

ну стало жутко. — Где ты, Эрназар! — зывал Бостон. — Ты слышишь, Эрназар? Что же мне делать? — И не в силах совладать с собой, зарыдал, стал громко выкрикивать бессвязные слова. Он жаловался отцу, погибшему на фронте, давно умершей матери, детям, братьям, сестрам, а особенно горячо жаловался он своей жене Арзыгуль. Нет, не укладывалась в его сознании случившаяся беда... Погиб, погиб Эрназар! И никто не мог утешить его в горе... Отныне оно будет жить в нем всю жизнь... И вскричал тогда Бостон: «Ты разве не слышал наших заклинаний?! Что же ты наделал и кто ты есть после этого?» — сам не понимая, к кому обращается.

Встал, шатаясь, понял, что уже вечереет, и почувствовал, что на перевале меняется погода. Откуда-то напоззли тучи, порывами набегала холодная поземка. Но что же было делать? Куда идти? Лошадь, брошенная им на тропе, уже ушла назад — он видел, как она спускается вниз, но догнать ее не мог. Да и что толку от коня, если он порезал всю сбрую вплоть до подпруги и стремянных ремней. В злости Бостон пнул никчемное седло. Так стоял он, вспухший, почерневший, без шапки (шапка его давеча скатилась вниз, в расщелину), озираясь, среди скал и вечной мерзлоты на перевале Ала-Монгю совершенно один. Пронизывающий ветер на перевале наводил безысходную тоску на его и без того потрясенную душу. Куда теперь идти и что делать? Как удачно все начиналось, и откуда только взялась эта страшная расщелина на их пути? Осмотрев цепочку собственных следов, он понял, что Эрназар упал в расщелину по чистой случайности — сам он прошел буквально в полутора метрах от края разлома, а Эрназар, на беду, взял чуть правее — и свалился вместе с конем в ледяную расщелину, скрытую под снегом.

Помочь другу он практически ничем не мог. Но и смириться тоже не мог. Бостон вдруг подумал: а что, если Эрназар еще жив, что, если он только потерял сознание, — тогда его необходимо срочно вызволить из пропасти, пока он не закоченел там окончательно. И тогда, может быть, его удастся спасти. И, бросив шубу на снег, он бросился вниз бегом, хоть и трудно было бежать по тем местам. Надо найти способ поскорее известить совхоз о случившейся беде, думал он, тогда они пришлют на помощь людей с веревками, заступами, фонарями, и тогда он сам спустится на веревках в расщелину, найдет Эрназара и спасет его.

Он несколько раз падал, с ужасом думал: «Только бы не сломать ногу!» — и снова вставал и ускорял шаг.

Бостон бежал, надеясь еще догнать лошадь, хотя на лошади теперь не было даже уздечки. Погода портилась с каждой минутой. В воздухе уже носилась снежная пороша. Но не это беспокоило Бостона — он знал, что внизу снегопада не будет, даже если на перевале начнется пурга. Его страшило, что же будет с Эрназаром. Дождется ли он спасателей, если он еще жив. Скорей, скорей — стучало у него в мозгу. Его беспокоило, что сумерки сгущались, а в темноте быстро не побежишь.

Лошадь Бостону так и не удалось догнать. Почувыв свободу, каурый коняга поскакал в родные места.

Но хорошо знакомым ему предгорьям Бостон шел напрямик, сильно сократив свой путь. Он был измучен не так ходьбой по бесконечным оврагам и пашням, как тяжкими, не оставляющими его ни на минуту мыслями о случившемся. Голова его гудела от бесконечных планов спасения Эрназара. То ему казалось, что он не должен был уходить с перевала и оставлять Эрназара одного, и пусть бы его самого замела метель. То чудилось, как в крошечной тьме ледяного подземелья стонет умирающий Эрназар, а наверху над горами свищет яростная пурга. Когда же он представлял себе, что скажет семье Эрназара, его детям, его жене Гулюмкан, ему становилось и вовсе невыносимо и казалось, что он сойдет с ума.

И все-таки не только неудачи подстерегали его, выпала ему и удача. В тот день кто-то из чабанов играл свадьбу в предгорьях. Женил сына-студента, прибывшего на каникулы. Гости разъехались поздно, последние отправились далеко за полночь на грузовике. Ярко светила луна. Веяло озерной прохладой в предгорьях. В далекой низине едва угадывалось смутно мерцающее зеркало Иссык-Куля. Людям хотелось петь, и они пели одну песню за другой.

Заслышав песни, Бостон успел выскочить на дорогу и отчаянно замахал руками. На этом-то грузовике он и прибыл во втором часу ночи в совхоз «Берик».

Грузовик остановился возле дома директора совхоза. Залаяла собака, норовя схватить Бостона за сапог. Не обратив на нее внимания, он застучал кулаком по окну.

- Кто там? — раздался встревоженный голос.
- Это я. Бостон Уркунчиев.
- Что случилось, Боске?
- Беда.

\* \* \*

На другой день к полудню спасатели уже шли гуськом к перевалу Ала-Монгю. Их было шестеро вместе с Бостоном. До того предела, куда можно было доехать, людей подбросили на вездеходе. Теперь они шли на подъем с веревками и инструментом. Молча, упорно шли вслед за Бостоном, сберегая дыхание. С часу на час должен был подлететь к перевалу вертолет из города, сбросить им на помощь троих опытных альпинистов.

Бостон думал о том, что вчера в это же время они с Эрназаром шли этой же тропой на перевал и не ведали, что подстерегает их...

Он понимал, что даже если Эрназар был жив первое время после падения, то целые сутки на дне ледяной пропасти он вряд ли вынесет. И однако, несмотря ни на что, ему хотелось верить в чудо.

После пурги, бушевавшей минувшую ночь, на перевале было снежно и тихо. Снег блестел до боли в глазах. К сожалению, пурга начисто замела все вчерашние следы, и теперь Бостон не мог точно определить, где находится тот разлом во льдах. Но, как всегда, в жизни нет худа без добра — кто-то из спасателей нашел в снегу брошенную Бостоном накону перед уходом шубу, а в нескольких шагах от шубы нашлось и брошенное седло. Ориентируясь по этим вещам, удалось довольно точно определить место расщелины, замеченной за ночь. К тому времени подоспели и альпинисты. Они-то и спустились в расщелину, по их словам, глубиной едва ли не с шестиэтажный дом...

Поднявшись наверх, альпинисты заявили, что достать Эрназара не могут. Его тело накрепко вмерзло, впаялось в толщу льда, так же как и труп его коня. Альпинисты объяснили, что от резких ударов лед может сместиться, начнется обвал, и тогда спасатели сами окажутся жертвами, будут раздавлены... Альпинисты сказали, что Бостону остается только спуститься в расщелину и попрощаться с Эрназаром. Другого выхода нет...

И еще долгое время, годы и годы, Бостону снился один и тот же навечно впечатавшийся в его память страшный сон. Ему снилось, что он спускается на веревках в ту пропасть, освещая ледяные стены ручным фонариком. При нем еще один запасной фонарик на тот случай, если он уронит первый. Вдруг он обнаруживает, что запасной фонарик куда-то исчез, запропастился, и от этого ему не по себе. Тре-

можно и жутко. Хочется кричать. Но он продолжает медленно спускаться все глубже и глубже в чудовишное ледяное подземелье, и наконец свет фонаря выхватывает из тьмы вмерзшего в лед Эрназара: Эрназар (так оно и было) стоит на коленях, шуба задралась ему на голову, лицо его залито кровью, губы крепко сжаты, глаза закрыты. «Эрназар! — зовет его Бостон. — Это я! Слышишь, я хотел оставить тебе запасной фонарь — здесь так страшно и темно, — но я потерял его. Понимаешь, Эрназар, потерял. И все равно я отдам тебе свой. На, возьми мой фонарь. Возьми, Эрназар, прошу тебя!» Но Эрназар не берет у него фонарь и никак не откликается. Бостон плачет, содрогается от рыданий и просыпается в слезах.

И весь день потом ему не по себе — в такие дни Бостон мрачен и угрюм. Об этом сневидении он никогда никому не рассказывал, ни одной душе, и тем более — Гулюмкан, даже после того, как она стала его женой. Никому из семьи Эрназара не рассказывал он также и о том, что спускался в пропасть проститься с Эрназаром.

Когда он вернулся с перевала домой, в бригаде все уже знали о случившейся трагедии. И не было для Бостона ничего тяжелее, чем видеть убитую горем, плачущую Гулюмкан, ему казалось, лучше бы ему сгинуть там, на перевале, лучше бы ему еще тысячу раз спуститься в ту пропасть и заново пережить весь тот ужас. Гулюмкан тяжело переносила гибель мужа. Боялись, как бы она не лишилась рассудка. Она все время рвалась куда-то бежать: «Не верю, не верю, что он погиб! Отпустите меня! Я найду его! Я пойду к нему!»

И однажды ночью она действительно сбежала. Намаявшись за день, Бостон собирался было отдохнуть, вот уже несколько дней кряду ему не удавалось раздеться и лечь в постель — приходилось встречать соболезнающих: люди ехали со всей округи, многие по старинному обычаю начинали оплакивать Эрназара еще издали: «Эрназар, родной ты мне, как печень моя, где увижу тебя?» — и он помогал им спешиться, успокаивал их... А в тот день вроде вечер выдался более или менее свободный, и Бостон, раздевшись до пояса, умывался у себя во дворе, поливая себе из ковша. Арзыгуль была у Гулюмкан: эти дни она почти все время находилась у соседки.

— Бостон, Бостон, где ты? — вдруг послышался крик Арзыгуль.

— Что случилось?

— Беги скорее, догони Гулюмкан! Она куда-то убежала. Дочки ее плачут, а я не смогла ее остановить.

Бостон едва успел надеть майку и, как был с полотенцем на шее, вытираясь на ходу, побежал догонять обезумевшую Гулюмкан.

Догнал он ее не сразу.

Она быстро шла впереди по пологому оврагу, направляясь в сторону гор.

— Гулюмкан, остановись, куда ты?! — окликнул ее Бостон.

Она уходила не оглядываясь. Бостон прибавил шагу, он подумал, что Гулюмкан в таком состоянии может сейчас бросить ему в лицо обвинение, которого он больше всего боялся, скажет, что это он, Бостон, погубил Эрназара, и эта мысль как крутым кипятком ожгла его, ведь и сам он казнился, терзался этим, и не было покоя его душе. И что тогда ответит он ей?

Разве он станет оправдываться? Да и для нее есть ли толк в оправданиях? Как доказать, что бывают роковые обстоятельства, над которыми человек не властен? Но и эти слова не утешали, и не было в природе таких слов, чтобы душа смирилась с тем, что произошло. И не было слов, чтобы объяснить Гулюмкан, почему он еще жив после всего, что случилось.

— Гулюмкан, куда ты? — Запыхавшись от бега, Бостон поравнялся с ней. — Остановись, послушай меня, пойдем домой...

Еще было достаточно светло в тот вечерний час, горы еще просматривались в тихом сумраке медленно угасающего дня, и когда Гулюмкан обернулась, Бостону показалось, что от нее, как призрачное излучение, исходило горе, черты ее лица были искажены, словно она смотрела на него из-под толщи воды. Ему было невыносимо больно видеть ее страдания, больно за ее жалкий вид — ведь еще вчера она была цветущей, жизнерадостной женщиной, — больно за то, что она бежала не помня себя, за то, что помятое шелковое платье, в которое ее нарядили, разъехало на груди, за то, что новые черные ичиги казались на ней траурными сапогами, а коса ее была расплетена в знак траура.

— Ты куда, Гулюмкан? Куда идешь? — сказал Бостон и невольно схватил ее за руку.

— Я туда, к нему на перевал, пойду, — сказала она каким-то отрешенным голосом.

Вместо того чтобы сказать: «Да ты в уме ли? Когда же ты туда доберешься? Да ты там околеешь в одночасье в таком тонком платье!» — он стал просить ее:

— Не надо сейчас. Скоро уже ночь, Гулюмкан. Пойдешь как-нибудь в другой раз. Я сам покажу тебе это место. А сейчас не надо. Пойдем домой. Там девочки плачут, Арзыгуль тревожится. Скоро ночь. Пошли, прошу тебя, Гулюмкан.

Гулюмкан молчала, согнувшись под тяжестью горя.

— Как же я буду жить без него? — горестно прошептала она, качая головой. — Как же он остался один совсем, не похороненный, не оплаканный — без могилы?

Бостон не знал, как ее утешить. Он стоял перед ней, поникий, виноватый, в выбившейся, обвисшей на худых плечах майке, с полотенцем на шее, в кирзовых сапогах, в которых чабан неизменно ходит и зимой и летом. Несчастный, виноватый, удрученный. Он понимал, что ничем и никак не может возместить утрату этой женщине. И если бы он мог оживить ее мужа, поменявшись с ним местами, он бы, ни минуты не думая, сделал это.

Они молчали, каждый думал о своем.

— Пошли. — Бостон взял Гулюмкан за руку, — Мы должны быть там, куда люди приходят вспоминать Эрназара. Должны быть дома.

Гулюмкан припала к его плечу и, словно отцу родному изливая горе, что-то неразборчиво бормотала, захлебываясь рыданиями, содрогаясь. Он поддержал ее под руку, и так, вместе горюя и плача, они вернулись домой. Угасал тихий летний вечер, полный терпких запахов цветущих горных трав. Навстречу им, ведя за руки Эрназаровых девочек, шла Арзыгуль. Увидев друг друга, женщины обнялись и с новой силой заплакали, точно после долгой разлуки...

Полгода спустя, когда Арзыгуль уже лежала в районной больнице, а Гулюмкан давно переехала в рыбацкий поселок на побережье, Бостону вспомнился тот вечер, и глаза его затуманились от нахлынувших чувств.

Бостон сидел в палате у жены, возле ее кровати, и с болью в душе смотрел на ее изможденное, обескровленное лицо. День был теплый, осенний, соседи по палате все больше гуляли во дворе, и потому и состоялся тот разговор, начала который сама Арзыгуль.



— Мне хочется тебе о чем-то сказать. — Медленно выговаривая слова, Арзыгуль с трудом подняла глаза на мужа, и Бостон заметил, что она еще сильнее пожелтела и исхудала за эту ночь.

— Я тебя слушаю. Что ты хотела сказать, Арзыгуль? — ласково спросил Бостон.

— Ты доктора видел?

— Видел. Он сказал...

— Постой. Не важно, что он сказал, об этом потом. Пойми, Бостон, мы должны серьезно поговорить с тобой.

От этих слов у Бостона сжалось сердце. Он достал платок из кармана и вытер на лбу пот.

— А может, не стоит об этом, выздоровеешь — тогда поговорим. — Бостон попытался отвести назревающий разговор, но по взгляду жены понял, что настаивать нельзя.

— Всею свое время, — упрямо шевелила бледными губами больная. — Я тут все думала — а что еще делать в больнице, если не думать? Думала о том, что прожила с тобой хорошую жизнь и судьбой своей я довольна. К чему Бога гневить — детей вырастили, на ноги поставили, теперь они могут жить самостоятельно. Про детей у меня с тобой отдельный разговор будет. Но тебя, Бостон, мне жалко. Больше всех мне жалко тебя. Неумелый ты, к людям подхода у тебя нет, ни перед кем не кланяешься. Да и немолод ты уже. После меня не сторонись людей. Я к тому, что после меня не ходи в бобылях, Бостон. Справишь поминки, подумай, что тебе делать дальше, я не хочу, чтобы ты жил один. У детей ведь своя жизнь.

— Зачем ты все это, — глухо проронил Бостон. — Об этом ли нам говорить?

— Об этом, Бостон, об этом! О чем же еще? Об этом и говорят напоследок. После смерти ведь не скажешь. Так вот думала я тут и о тебе, и о себе. Часто приходит ко мне Гулюмкан. Сам знаешь, не посторонний она для нас человек. Так уж обернулась жизнь, что осталась она вдовой с малыми детьми. Достойная женщина. Мой тебе совет — женись на ней. А уж там сам решай, как тебе поступить. Каждый волен сам за себя решать. Когда меня не станет, скажи ей об этом нашем разговоре... А вдруг и выйдет так, как мне хотелось. И у Эрназаровых детей будет отец...

Приезжие на Иссык-Куль часто подтрунивают над иссыккульцами: живут у озера, а озера не видят — все неког-

да им. Вот и Бостон в кои веки вырвался к берегу, а то все издали да мимоходом любовался иссык-кульской синью.

А в этот раз, выйдя к вечеру из больницы, пошел сразу на берег — потянуло побыть в одиночестве у синего чуда среди гор. Бостон глядел, как ветер гонит по озеру белые буруны, вскипающие ровными, будто борозды за невидимым плугом, рядами. Ему хотелось плакать, хотелось исчезнуть в Иссык-Куле — хотелось и не хотелось жить... Вот как эти буруны — волна вскипает, исчезает и снова возрождается сама из себя...

\* \* \*

И все-таки волки доняли Бостона — они так долго, так невыносимо выли вокруг кошта, что вынудили его встать с постели. Но сначала они разбудили Кенджеша. Малыш проснулся с плачем, Бостон придвинул сынишку поближе, стал успокаивать его, обнимая и прижимая к себе:

— Кенджеш, а Кенджеш! Я же здесь. Ну, чего ты, глупыш? И мама здесь — вот она, видишь? Хочешь кис-кис? Хочешь, чтобы свет зажег? Да ты не бойся. Это кошки кричат. Это они так воют.

Гулюмкан проснулась и тоже принялась успокаивать малыша, но тот не унимался. Пришлось зажечь свет.

— Гулюм, — сказал жене Бостон уже от дверей: он пошел включить свет. — Пойду все же припугну зверей. Так дальше невозможно.

— Сколько времени сейчас?

Бостон глянул на часы.

— Три часа без двадцати.

— Вот видишь, — огорчилась Гулюмкан. — А в шесть тебе вставать. Куда это годится? Эта проклятая Акбара сведет нас с ума. Что за наказание такое?!

— Ну успокойся. Что ж теперь делать? Я мигом обернусь. Да не бойся ты-то хоть. Вот наказание, ей-богу. Я снаружи запру дверь на замок. Не беспокойся. Ложись спать.

И он прошел под окнами, громко стуча кирзачами, надежными наслех на босу ногу. Бостону хотелось наконец столкнуться с волками, и потому он нарочито громко скликал собак, ругал их последними словами. Он был готов на все — так осточертели ему остервеневшие от горя волки.

Помочь им он ничем не мог. Оставалось только надеяться, что ему удастся пристрелить волков, если он их увидит, благо у него была полуавтоматическая винтовка.

Однако волков он не встретил. И тогда, проклиная весь свет, вернулся домой. Но и заснуть он тоже не смог. Долго лежал в темноте, в голове неотвязно крутились беспокойные, наболевшие мысли.

А думалось ему о разном. И больше всего о том, что из года в год добросовестно работать становится все труднее и что у нынешнего народа, особенно у молодежи, совсем стыда не стало. Слову теперь никто не верит. И каждый прежде всего свою выгоду ищет. Ведь до войны, когда строили знаменитый Чуйский канал, люди съехались со всех концов страны, работали бесплатно и добровольно. А теперь никто не верит, сказки, мол, рассказываете, мыслимы ли такие дела. В чабаны теперь никого на аркане не затащишь. И все об этом знают, но делают вид, будто это временное затруднение. А скажешь об этом, обвинят в клевете. Поешь, дескать, с чужого голоса! И никому не хочется подумать всерьез, что же дальше-то будет. Единственное, что успокаивало, радовало его, — Гулюмкан не ругала его, не пеняла, что ему приходится круглый год чабанить без выходных и отпусков. Отару оставить невозможно было, стадо не отключишь, не вырубишь рубильник, не остановишь, за стадом нужен пригляд круглые сутки. Вот и выходит, куда ни повернись, везде не хватает рук. И не потому, что нет людей, а потому, что люди не хотят работать. Но почему? Ведь без труда жить нельзя. Это же гибель. Может быть, дело в том, что надо жить и трудиться иначе? Самый больной вопрос был, где брать для работы в расплодных пунктах сакманщиков, чтобы ухаживать за народившимися ягнятами. Опять же молодежь туда не шла. Там нужно было круглые сутки дежурить. Не за страх, а за совесть следить за приплодом, и поэтому туда молодых парней силой не загонишь. Современной молодежи не хочется возиться в грязи и жить на отшибе. Да и платили там мало, в городе за восьмичасовой рабочий день на фабрике или на стройке парень или девушка могли заработать куда больше. «А как же мы всю жизнь вкалывали там, где требовались рабочие руки, а не там, где выгодно? А теперь, когда пришла пора молодым братья за дело, от них толку мало — ни стыда у них, ни совести», — обижались старики. Этот конфликт, постепенно приведший к непониманию и отчуждению поколений, давно уже бередил души людей. И опять в памяти Бостона всплыл все тот же разговор. Не удержался он тогда. И зря. Опять все свое выступление он посвятил тому, что человек должен работать как на

себя. Другого пути он не видит, а для этого необходимо, чтобы работник был лично заинтересован в том, что делает. Бостон уже не раз говорил, что оплата должна зависеть от результатов труда, а главное — чтобы для чабана земля была своя, чтобы чабан за нее болел, чтобы помощники и их семьи болели за эту землю, иначе ничего не выйдет...

Отповедь ему, как всегда, дал парторг Кочкорбаев. Газеткиши, человек-газета, как прозвали Кочкорбаева в совхозе, сидел по правую сторону директорского стола, боком к Бостону. Насупив брови — ему, должно быть, было не по себе, — то и дело поправляя для солидности галстук, Кочкорбаев недружелюбно косился на Бостона. Директор совхоза Чотбаев легко представлял себе ход кочкорбаевской мысли. Он хорошо изучил за многие годы совместной работы его несокрушимую, неистребимую, раз и навсегда заученную логику демагога: опять, мол, вылез этот Бостон Уркунчиев, кулак и контрреволюционер нового типа. Жизнь его бьет под дых, а он все свое. Загнать бы его куда подальше, как в прежние времена...

На рабочем совещании в тот день присутствовал и новый инструктор райкома, скромный с виду молодой человек, которого люди в «Берике» пока еще не знали. Он внимательно слушал выступавших и все заносил в свой блокнот. Чотбаев предполагал, что Кочкорбаев не упустит случая показать себя при новом инструкторе райкома. И не ошибся. После выступления Бостона Кочкорбаев попросил слова вроде бы для реплики. И заговорил как по писаному: он умел излагать вопрос совсем как газета, и в этом была его сила.

— До каких пор, товарищ Уркунчиев, — обратился он к Бостону, как всегда официально, на «вы», — до каких пор вы будете смущать людей своими сомнительными предложениями? Тип производственных отношений внутри социалистического коллектива давно определен историей. А вы хотите, чтобы чабан, как хозяин, решал, с кем ему работать, а с кем нет и кому сколько платить. Что это такое? Не что иное, как атака на историю, на наши революционные завоевания, попытка поставить экономику над политикой. Вы исходите лишь из узких интересов своей отары. Для вас это вопрос вопросов. Но ведь за отарой стоит район, область, страна! К чему вы нас хотите привести — к извращению социалистических принципов хозяйствования?

Вскипев, Бостон вскочил с места.

— Я никого никуда не зову. Я устал уже об этом говорить. Никого я никуда не зову, не мое пастушье дело, что там происходит в области, в стране, а то и в мире. И без меня хватает умников. А мое дело — отара. Если парторг не хочет знать, что я думаю о своей отаре, зачем вызывать меня на такие совещания, отрывать от дела? Пустопорожние разговоры не для меня. Может, для кого они и важны, но я в них не разбираюсь. Товарищ директор, ты меня больше не зови! Не надо меня отрывать от работы. Мне такие совещания не нужны!

— Ну как же так, Боске? — Чотбаев беспомощно заерзал на месте. — Ты передовик, лучший чабан совхоза, опытный работник, мы хотим знать, что ты думаешь. Для того и вызываем тебя.

— Ты меня удивляешь, директор. — Бостон не на шутку разгорячился. — Если я передовик, кому как не тебе, директор, знать, чего мне это стоит. Так почему же ты молчишь? Стоит мне раскрыть рот, и Кочкорбаев не дает мне слова вымолвить, придирается, все равно как прокурор, а ты, директор, сидишь да помалкиваешь как ни в чем не бывало, будто тебя это не касается.

— Постой, постой, — прервал его Чотбаев.

Директор явно переполошился: он попал в очень трудное положение — на этот раз ему не удастся сохранить нейтралитет между Бостоном и Кочкорбаевым. В присутствии инструктора директору придется занять определенную позицию. А до чего не хотелось связываться с Кочкорбаевым, этим человеком-газетой, чья демагогия могла привести в действие грозные силы: ведь Кочкорбаев был далеко не единственным звеном в цепочке, руководствующейся начетническими принципами. И в этот раз Кочкорбаев намеренно обострил обсуждение, с ходу обвинив чабана — ни мало ни много — в «атаке на наши революционные завоевания», ну кто после этого посмеет ему возразить? Однако надо было как-то выходить из положения.

— Постой, постой, Боске, ты не горячись, — сказал директор и встал из-за стола. — Давайте разберемся, товарищи, — обратился к собранию Чотбаев, лихорадочно обдумывая, как примирить стороны. Конечно, Бостон прав, но с Кочкорбаевым шутки плохи. Как же быть? — О чем у нас идет речь? — рассуждал директор. — Чабан, насколько я понимаю, хочет быть хозяином отары и земель, а не лицом, работающим по найму, и говорит он не только от своего

имени, а от имени и своей бригады, и чабанских семей, и этого тоже нельзя не принимать во внимание. Тут, мне кажется, есть свой резон. Чабанская бригада — это и есть наша малая экономическая ячейка. С нее и надо начинать. Как я понимаю, Уркунчиев хочет взять все в свои руки: и поголовье, и пастбище, и корма, и помещения — словом, все, что необходимо для производства. Он собирается внедрить бригадный расчет, чтобы каждый знал, что может заработать, если будет работать как на себя, а не как на соседа, от и до. Вот как я понимаю предложение Уркунчиева, и нам стоит к нему прислушаться.

— А я как парторг совхоза, которым мы с вами, товарищ Чотбаев, руководим, понимаю так, что поощрять частнособственническую психологию в социалистическом производстве не к лицу кому бы то ни было, и особенно руководителю хозяйства; — с торжеством в голосе укорил директора Кочкорбаев.

— Но поймите, это предлагается в интересах дела, — начал оправдываться директор. — Ведь молодежь не идет в чабанские бригады...

— Значит, у нас плохо ведется агитационно-массовая работа, надо напомнить молодежи про Павлика Морозова и его киргизского собрата Кычана Джакыпова.

— А это уже по вашей части, товарищ Кочкорбаев, — вставил директор. — Вам и карты в руки. Напоминайте, агитируйте. Вам никто не мешает.

— И будем агитировать, напрасно вы беспокоитесь, — с вызовом бросил парторг. — У нас намечен целый комплекс мероприятий. Но очень важно вовремя пресекать частнособственнические устремления, как бы хорошо их ни маскировали. Мы не позволим подрывать основы социализма.

Слушая эту полемику, которая велась на полном серьезе, Бостон Уркунчиев впал в уныние, страх неволью подкатил к горлу. Ведь он сказал только, что ему хочется наконец потрудиться на земле по своему разумению, а не по чужой подсказке.

— Никому никаких уступок и поблажек, — продолжал Кочкорбаев. — Социалистические формы производства обязательны для всех. Мои слова адресованы прежде всего товарищу Уркунчиеву. Он все время добивается для себя каких-то исключительных условий.

— Не только для себя, — перебил его Бостон. — Такие условия нужны всем, тогда у нас и работа ладиться будет.

— Сомневаюсь! И вообще, что это за манера такая — ставить свои условия? Сделайте то да сделайте это. Хватит уже того, что вы, товарищ Уркунчиев, в погоне за персональным выпасом для своей отары погубили человека на перевале Ала-Монгю. Или этого вам мало?

— Продолжай, продолжай! — отмахнулся в сердцах Бостон. Невыносимо стало обидно и больно, что о гибели Эрназара говорили вот так, мимоходом и походя.

— Что — продолжай, продолжай? Разве я неправду говорю? — уколол его Кочкорбаев.

— Да, неправду.

— Как же неправду, когда труп Эрназара до сих пор лежит во льдах на перевале. И может быть, еще тысячу лет там пролежит.

Бостон промолчал, уж очень неприятно ему было, что на собрании завели об этом разговор. Но Кочкорбаев все не унимался.

— Что молчите, товарищ Уркунчиев? — подлил он масла в огонь. — Разве не вы пошли открывать для себя новый, персональный джайляу?

— Да, шел для себя, — резко ответил Бостон. — Но не только для себя, а и для всех, в том числе и для тебя, Кочкорбаев. Потому что я тебя кормлю и пою, а не ты меня. И сейчас ты плюешь в колодец, из которого пьешь!

— Что это значит? — возмутился Кочкорбаев, лицо его налилось кровью. — Я всем обязан только партии!

— А партия, думаешь, откуда берет, чем тебя кормить? — огрызнулся Бостон. — С неба, что ли?

— Что это значит, что это за безответственные речи?! — взвился Кочкорбаев, судорожно поправляя галстук.

Назревал скандал. И Кочкорбаев, и Бостон стояли — один у стола, другой у стены — как приговоренные к смерти, казалось, еще немного, и кто-нибудь из них рухнет на пол. Положение несколько выправил молодой инструктор райкома.

— Успокойтесь, товарищи, — неожиданно подал он голос из угла, где сидел, делая записи в блокноте. — Мне кажется, чабан Уркунчиев в принципе прав. Труженик, как мы любим говорить, создатель материальных благ, имеет право сказать свое слово. Только надо ли было заходить так далеко?

— Да вы его не знаете, товарищ Мамбетов, — торопливо подхватил Кочкорбаев. — Претензии Уркунчиева вообще не

имеют границ. Вот, к примеру, недавно один чабан, Нойгутов, да, именно Нойгутов Базарбай, обнаружил в горах волчье логово. Ну и изъял выводок, так сказать, экспроприировал, то есть забрал подчистую четырех волчат, чтобы ликвидировать стаю на корню. Поступил, как и следовало поступить. И что же вы думаете? Этот Уркунчиев стал буквально преследовать Нойгутова. Вначале хотел подкупить, а когда этот номер у него не прошел, потому что Нойгутов человек принципиальный, Уркунчиев стал ему угрожать, требовать, чтобы Нойгутов вернул волчат на место не иначе как для того, чтобы эти хищники и дальше размножались. Да что же это такое? Как это понять? Может быть, товарищ Уркунчиев, ко всему прочему вы хотите завести еще и своих личных волков? Собственных, персональных, так сказать. Может быть, совхоз обязан обеспечить вам еще и волков? Сначала своя земля, свои овцы, а потом и свои волки! Так, что ли? Или как вас надо понимать — пусть волки размножаются, режут наши стада, живут за счет общенародной собственности?

Бостон к тому времени успел уже взять себя в руки и сказал довольно спокойно:

— Все верно насчет волков, только одна беда — волки ведь не разумеют, что посягают на общенародную собственность.

Присутствующие невольно рассмеялись, а Бостон, воспользовавшись паузой, продолжал:

— Не о волках надо бы здесь говорить. Но коли уж зашел о них разговор, скажу и я свое слово. Во всяком деле разумение должно быть, на то мы разумными и родились. А у иных из нас разума не хватает, а хвастовства хоть отбавляй. Вот, к примеру, тот случай с волчатами. Как уже было сказано, Базарбай изъял, а попросту говоря, утащил, спер из норы волчат, а уж шуму сколько вокруг — чуть не в герои его записали. А этот герой не подумал, что прежде надо было выследить самих волков-родителей да пристрелить их, матерых, а уж потом думать, что делать с их щенятами. А он поторопился волчат продать, а деньги пропить. Почему я просил Базарбая отдать волчат мне или продать — чтобы на детенышей подманить в засаду волка да волчицу, а не оставлять на воле разлютовавшихся после разорения их гнезда волков. Надо же понимать, что разлютовавшийся волк стоит десятых волков, вместе взятых. Он не успокоится, пока не отомстит. Все чабаны знают, как свирепствует сейчас



в округе пара, у которой отняли детенышей, Акбара и Ташчайнар — клички у них такие. И никак теперь не унять их, они могут и на человека напасть — с них станется. Иных дурных людей называют — я об этом и в газетах читал, и в книгах — провокаторами. Вот Базарбай он и есть волчий провокатор, он волков подбил лютовать. Я ему уже говорил и опять скажу прямо в лицо: он поступил как трусливый провокатор. И тебе, парторг, скажу прямо в лицо: не пойму я, что ты за человек. Столько лет уже ты в нашем совхозе, а до сих пор только и знаешь что газеты почитать да страшать таких, как я, пастухов, мол, мы и против революции, и против советской власти, а сам в хозяйстве ничего не смыслишь и ничего не знаешь, иначе не стал бы обвинять человека в том, что он хочет размножать волков. Бог с ними, с волками, это твое обвинение просто курам на смех. Но другое твое обвинение, товарищ Кочкорбаев, я без ответа оставить не могу. Да, Эрназар погиб на перевале. Но почему мы с ним пошли на перевал? Не от хорошей жизни! Что мы там искали? А ты подумал, парторг, что нас понесло туда, подумал, что, не будь у нас страшной нужды в выпасах, мы не стали бы так рисковать? И нужда эта с каждым днем все страшнее становится. Вот и директор тут сидит, пусть он скажет, когда он начинал директорствовать, какие травы, какие пастбища, какие земли были! А что теперь? Пыль да сушь кругом, каждая травинка на счету, а все потому, что запускают в десять раз больше овец, чем на такие площади можно, и овечьи копыта становятся пагубой для них. Вот почему мы с Эрназаром и двинулись на Кичибель. Мы хотели как лучше, но нас подстерегало несчастье. Наш поход плохо кончился. И на том я отступился от этой цели и умолк, беда заставила меня умолкнуть, не до того было. А сложись все иначе, поехал бы в том году в Москву на выставку, пошел бы к самым главным руководителям нашим и рассказал бы о тебе, Кочкорбаев. Ты кичишься тем, что только и думаешь о партии, а вот нужны ли партии такие люди, как ты, которые сами ничего не делают и только вяжут руки другим?

— Вы, однако, зарвались! — не стерпел Кочкорбаев. — Это клевета! И вы, Уркунчиев, строго ответите за свои слова в партийном порядке.

— Я и сам хочу ответить за все на партийном собрании. И если я действительно не то делаю и не так думаю, тогда гоните меня в шею, значит, не место мне в партии, и нече-

го меня шадить. Но и тебе, Кочкорбаев, надо подумать об этом.

— Мне нечего думать, товарищ Уркунчиев. Моя совесть чиста. Я всегда с партией.

Бостон перевел дух, точно бежал в гору, и, глядя на инструктора райкома, сказал:

— А тебя, новый товарищ инструктор, очень прошу доложить в райком. Пусть с нами разберутся на партийном собрании. Дальше я так жить не могу.

Вскоре Бостон Уркунчиев убедился, что вокруг его стычки с Кочкорбаевым начинают нагнетаться события. Как раз в тот день он ездил по своим делам на Побережье. В Прииссыккулье вот-вот должны были зацвести сады. Шли последние дни весны, а Бостон все не успевал опрыскать яблони у себя в саду и на бывшем дворе Эрназара. У Бостона и Гулюмкан теперь было два дома и два сада, и оба нуждались в присмотре. А происходило это потому, что чабанская жизнь проходит в горах, и вечно не хватает времени сделать нужное по хозяйству. Все откладываешь, а потом глядь — и время прошло, и все сроки прошли. Но как бы там ни было, опрыскать сад было необходимо, иначе вредители размножатся с поразительной быстротой, перепортят завязь и погубят урожай. В этот раз Гулюмкан не сдержалась и крепко выговорила Бостону: мол, он все тянет, что бы ему поехать пораньше, договориться с кем-нибудь из соседей, раз сам не успевает. Пусть соседи за плату сделают эту работу.

— Какая от тебя помощь по дому? — в раздражении бросила Гулюмкан. — День и ночь толчешься в отаре да на собраниях сидишь. Если сам не можешь довести сад до ума, посиди денек с Кенджешем дома — за этим дурачком глаз да глаз нужен, — а я спущусь на Побережье, сделаю вместо тебя все, что полагается порядочному хозяину.

Права была Гулюмкан — ничего не попишешь, пришлось молча выслушать ее.

С тем и выехал Бостон поутру на Побережье, чтобы заняться садом. Ехал на Донкулюке. Как говорят исстари, весной и трава набирает силу, и конь. К тому же Донкулюк был в самой поре: поблескивая огненным глазом, взмахивая гривой, он от избытка сил все порывался бежать. Но у Бостона было не то настроение, чтобы скакать сломя голову. Он



«Тавро Кассандры».



*«Тавро Кассандры».*

придерживал ретивого коня — ему хотелось по дороге спокойно подумать о том о сем. Минувшей ночью он плохо спал. Долго ворочался, не мог забыть, как парторг обвинил его в гибели Эрназара. Вернувшись домой с собрания, рассказал вкратце жене что да как, а об этом обвинении умолчал. Не хотелось лишний раз напоминать Гулюмкан о бывшем муже, хоть и много лет прошло с его гибели, потому что тогда не избежать тягостного разговора, от которого будет худо и ей, и ему, ведь непогребенный Эрназар лежит на перевале Ала-Монгю вмерзший навечно в лед на дне страшной, как ночь, пропасти. Так лучше уж умолчать об этом обвинении. А едва Бостон начал засыпать, как опять явились волки. И опять на пригорке за большой кошарой надсадно завыла Акбара, оплакивая похищенных волчат. И низким, утробным басом вторил ей Ташчайнар. И если прежде, слыша волчий вой, Бостон проникался жалостью к волкам, сочувствием к их беде, то теперь в нем поднималась злость, хотелось убить наконец этих настырных зверей, лишь бы не слышать их воя, который звучит проклятием и ему, а он-то в чем виноват? Минувшей ночью он пришел к решению во что бы то ни стало уничтожить волков, и у него даже созрел план, как это сделать. К тому же в тот день, когда он на совещании схватился с Кочкорбаевым, Акбара и Ташчайнар порешили трех овец из его отары. Подпасок рассказал, что волки подобрались к отаре, и как он ни кричал, как ни махал палкой, они ничуть не испугались, а порезали трех овец и скрылись. Бостона этот случай вывел из себя. Если так будет продолжаться, подумал он, нам останется только уйти отсюда, позорно бежать от волков. Акбара и Ташчайнар не понимали, что своим неумолчным воем подписывают себе в тот час смертный приговор. Теперь Бостон твердо знал, что ему делать, и готов был немедленно приступить к исполнению своего замысла, если бы ему не пришлось на другое утро отправиться по хозяйственным делам на Побережье. Но он так и решил: вначале, чтобы жена не упрекала, навести порядок в саду, а потом уж расправиться с волками.

Вот о чем думал в пути Бостон...

С опрыскиванием и весенней окопкой яблонь он управился в один день. Ему удалось найти в селе расторопного парня, и тот взялся за плату быстро сделать эту работу. Бостон пообещал ему одного ягненка от своих черных овец.

Покончив с делами, Бостон решил купить новую игрушку Кенджешу. Хотелось порадовать сыночка. Такой славный мальчуган бегает по дому, через месяц с небольшим ему уже исполнится два года. Забавный, бойкий мальчишка радовал своими выходками стареющего Бостона. Каждое новое словечко малыша приводило отца в восторг. Через него постигал Бостон глубинный, сокровенный смысл жизни, таящийся в привязанности к дитяти и к его матери. То была конечная и высшая точка предназначенной Бостону судьбы. Он хотел любить жену и малыша, а сверх того ничего не требовал и не желал от жизни, ибо разве это не высшее благо, ниспосланное нам. Он об этом никогда не говорил, но про себя знал, что так оно и есть. И верил, что жена разделяет в душе его чувства.

Бостон спешился возле раймага «Маданият», прошел внутрь и купил заводную лягушку, лупоглазую, смешную, — то-то малыш будет забавляться! Выйдя на улицу, он собрался сесть на коня, как вдруг почувствовал голод и вспомнил, что с утра ничего не ел. Столовая была совсем рядом с раймагом, и он, на беду, решил зайти туда. Едва Бостон вошел в полутемный зал, пропитавшийся запахом дешевой пищи, которой кормили здесь проезжих шоферов, и сел неподалеку от входа за стол, как тут же услышал за спиной голос Базарбая. Бостон не оглянулся — он и так понял, что тот гуляет здесь с друзьями. «Сидит пьет средь бела дня с прихлебателями, и хоть бы хны, ни стыда, ни совести у человека», — неприязненно подумал Бостон. Хотел было встать и уйти от греха подальше, но потом подумал: а, собственно, с какой стати, почему он должен уходить не поев? Заказал борщ, котлеты, а тем временем Базарбаю уже, должно быть, доложили, что в углу сидит Бостон. И сразу голоса за спиной враждебно приутихли, а затем снова загалдели. И вскоре к Бостону был послан один из Базарбаевых приятелей, некий Кор Самат, Кривой Самат, местный забулдыга и сплетник, которому еще в молодости выбили в драке глаз.

— Салам, Бостон, салам! — С многозначительной усмешкой Самат протянул руку Бостону — и ничего не поделаешь, пришлось ее пожать. — Ты чего здесь в одиночестве? — приступился он к Бостону. — А мы с Базарбаем сидим. Давно не встречались, решили собраться. Пошли к нам. Сам Базарбай зовет.

— Скажи, что некогда мне, — ответил Бостон как можно сдержаннее. — Я сейчас вот доем и сразу уеду в горы.

— Да успеешь еще — куда они денутся, твои горы?

— Нет, спасибо. Дела.

— Ну смотри, зря ты так, зря, — бросил, уходя, Кор Самат.

Вслед за ним явился и сам Базарбай уже заметно навеселе, а за Базарбаем потянулись и другие.

— Слушай, ты чего нос воротить? Тебя зовут как человека, а ты? Ты что, лучше других себя считаешь? — с ходу начал цепляться Базарбай.

— Я же сказал, некогда мне, — спокойно ответил Бостон и демонстративно начал хлебать из тарелки борщ, к которому в другой раз он бы после первой ложки ни за что не приотронулся.

— У меня к тебе дело есть, — сказал Базарбай и нахально сел против Бостона.

Остальные остались стоять в ожидании захватывающей сцены.

— Какие у нас с тобой могут быть дела? — ответил Бостон.

— Нам бы стоило поговорить, к примеру, хотя бы о тех волчатах, Бостон. — Базарбай нахмурился и покачал головой.

— Мы с тобой уже говорили о них, стоит ли второй раз возвращаться к этому?

— По-моему, стоит.

— А по-моему, нет. Не мешай мне. Я сейчас доем и пойду отсюда.

— Куда спешишь, собака? — Базарбай резко встал и, нагнувшись, приблизил к Бостону искаженное злобой лицо. — Куда спешишь, сволочь? Мы с тобой еще про волков не поговорили. Ведь ты при всем народе у директора в кабинете назвал меня провокатором, сказал, что из-за меня волки лютуют. Думаешь, я не знаю, что такое провокатор? Думаешь, я фашист, а ты один у нас честный?

Бостон тоже вскочил с места. Теперь они стояли лицом к лицу.

— Перестань трепать языком, — осадил Базарбая Бостон. — Фашистом я тебя не называл — не догадался, а стоило бы. А то, что ты провокатор и безмозглый злодей, — верно. Я это тебе и прежде говорил и сейчас скажу. Но лучше будет, если ты вернешься на свое место и перестанешь ко мне лезть.

— А ты не указывай, кому где быть и что делать! — не на шутку разъярился Базарбай. — Ты мне не указ. Плевал я на

тебя. Пусть я, по-твоему, провокатор, а ты-то сам кто такой? Думаешь, люди не знают, кто ты есть? Думаешь, погубил Эрназара — и все шито-крыто. Да ты, гад, снюхался с его женой, еще когда Эрназар был жив, а твоя старуха должна была помереть. Тогда ты и решил столкнуть Эрназара в пропасть на перевале, а сам жениться на этой суке Гулюмкан. Попробуй докажи, что это не так. Почему не ты в пропасть провалился, а Эрназар? Шли-то вы одной дорогой. Думаешь, никто ничего не знает! Но он-то погиб, а ты остался жив. Да кто вы после этого, ты и твоя сука Гулюмкан? Эрназар на перевале вмерз в лед, остался без могилы, как собака, а ты, гад, обжимаешь его бесстыжую жену, суку продажную, и живешь себе припеваючи! А еще партийный! Да тебя надо гнать взашей из партии. Ишь, передовик нашелся какой, стахановец! Да тебя под суд надо!

Бостон еле сдержался, чтобы не кинуться с кулаками на Базарбая, не измолотить мерзкую рожу. Тот явно вызывал его на драку, на скандал, на смертельную схватку. Но он сделал над собой усилие, стиснул челюсти и сказал задыхающемуся от злости Базарбаю:

— Мне не о чем с тобой разговаривать. Твои слова для меня ничего не значат. И я равняться на тебя не буду. Думай и говори обо мне что хочешь и как хочешь. А сейчас прочь с дороги. Эй, парень, — окликнул он официанта, — на, получи за обед! — Сунул ему пятерку и молча пошел прочь.

Базарбай ухватил его за рукав:

— А ну постой! Не спеши к своей суке! Может, она с каким-нибудь чабаном крутит, когда тебя нет, а ты им помешаешь!

Бостон схватил с соседнего стола порожнюю бутылку из-под шампанского.

— Убери-ка руку! — тихо процедил он, не отводя глаз от вмиг побелевшего Базарбая. — Не заставляй меня повторять, убери руку! Слышишь? — сказал он, раскачивая увесистую темную бутылку.

Так и вышел Бостон на улицу, крепко сжимая бутылку в руке. Лишь вскочив в седло, опомнился, кинул бутылку в кювет, дал волю Донкулюку, пустил его во весь опор. Давно не мчался он с такой бешеной скоростью — эта жуткая скачка помогла ему прийти в себя, и, отрезвев, он ужаснулся: ведь какая-то ничтожная доля секунды отделяла его от убийства, спасибо Бог спас, не то раскроил бы одним уда-



ром череп ненавистного Базарбая. Люди, ехавшие на прицепном тракторе, удивились и, не веря глазам своим, долго смотрели ему вслед: что это случилось с Бостоном, такой солидный человек, а скачет, как ветреный подросток. Не скоро отдышался Бостон — окончательно пришел он в себя, лишь напившись холодной воды у ручья. Тогда он отряхнулся, сел в седло и уже больше не гнал Донкулюка. Ехал шагом и все радовался, что избежал смертоубийства.

Но по дороге, припоминая, как все получилось, снова помрачнел, насупился. И совсем не по себе стало Бостону, когда вспомнил вдруг, что забыл на подоконнике в столовой того самого игрушечного лягушонка, купленного для Кенджеша, такую славную забаву — лупоглазого, большеротого заводного лягушонка. Конечно, покупка была не ахти какая дорогая, можно было и в другой раз купить малышу игрушку, в том же самом раймаге «Маданият», но почему-то ему подумалось, что это плохая примета. Нельзя было, ни в коем случае нельзя забывать предназначенную для малыша вещь. А он забыл...

Собственное суеверие раздражало его, возбуждало в нем желание каким-то образом сопротивляться нежелательному ходу событий. При мысли, как он устроит засаду волкам и перестреляет этих проклятых зверей, чтобы и духу их поблизости не было, злоба душила его.

И что за наваждение такое, думал он, ведь сегодняшняя стычка с Базарбаем в столовой, чуть было не закончившаяся смертоубийством, опять же началась со спора из-за этих волков...

Осуществить свое намерение Бостон наметил на другой день. За ночь продумал, предусмотрел все детали операции и, пожалуй, впервые за их совместную жизнь утаил от жены важный для него замысел. Не хотелось Бостону заводить разговор о волках и волчатах, явившихся причиной скандала с Базарбаем, не хотелось говорить о чем-либо, что могло напомнить о гибели Эрназара на перевале. И поэтому дома он больше молчал, забавлялся с малышом, односложно отвечал на вопросы Гулюмкан. Знал, что его молчание будет беспокоить жену, вызывать у нее недоумение, но иначе вести себя не мог. Он прекрасно понимал, что и его стычка с Базарбаем, и грязная брань, обрушенная на их головы, рано или поздно станут известны и ей. Но пока он молчал — не хотелось повторять то, что говорил о них этот чудовищный Базарбай, слишком это было мерзко и отвратительно.

Думалось ему также и о том, как странно, тяжело и не-просто сложилась их с Гулюмкан жизнь. Сколько скрытого недоброжелательства и откровенной вражды видели они от людей с тех пор, как стали мужем и женой, какой только клеветы о них не распространяли. И, однако, Бостон не сожалел о том, что связал свою жизнь со вдовой Эрназара. Ему уже трудно было представить себе, как бы он жил без нее, ему требовалось постоянно чувствовать рядом ее присутствие... Да нет, это была бы какая-то совсем другая жизнь. А его жизнь могла быть только с ней, и пусть подчас она и недовольна им и бывает, что и несправедлива, но она ему предана, а это самое главное. Но между собой они об этом никогда не говорили, это разумелось само собой. И если бы Бостона спросили, что для него значит этот малыш, этот непоседливый мальчуган, знающий всего несколько слов, этот улыбочивый, ясноглазый непоседа на пухлых ножках, этот последыш, Бостон ничего не сумел бы сказать. У него не нашлось бы для этого слов. Чувство это было выше слов, ибо в малыше он видел себя в Богом данной невинной ребячьей ипостаси...

Но душой он понимал и осознавал все, и, лежа ночью рядом с женой и малышом, он успокоился, отошел, подобрел. Ему хотелось забыть о том случае в столовой. Он даже подумал, что, если волки не заявятся этой ночью, он, пожалуй, отложит засаду, а то и вовсе отменит свое решение. Бостону хотелось спокойствия...

Но, как назло, около полуночи волки объявились снова. И опять на пригорке за большой кошарой застонала, завыла Акбара, и ей вторил низкий басовитый вой Ташчайнара. И опять проснулся от испуга и захныкал Кенджеш, а Гулюмкан заворчала спросонья, проклиная жизнь, в которой нет покоя от разлютовавшихся волков. И Бостон вновь озлился, ему захотелось выскочить из дому и погнаться за волками хоть на край света, и снова припомнилось, как поносил его, как оскорблял и унижал его подлый и ничтожный Базарбай, и он пожалел, что не проломил ему голову бутылкой. Ведь стоило только Бостону опустить тяжеленную бутылку на голову ненавистного Базарбая, и тому бы пришел конец. И ничуть не раскаялся бы, думалось Бостону, ничуть, наоборот, только радовался бы, что уничтожил наконец эту гнусную тварь в человеческом образе... А волки все выли...

Пришлось взять ружье и опять отправиться хотя бы припугнуть их. Вместо того чтобы выстрелить раз или два, Бос-

тон выпалил один за другим пять зарядов в ночную тьму. Потом вернулся домой, но заснуть уже не мог, неизвестно почему взялся чистить ружье. Он пристроился в углу передней комнаты и, согнувшись над своей охотничьей винтовкой «Барс», сосредоточенно чистил ее, точно она была срочно необходима ему. За этим делом он еще раз продумал, как расправиться с волками, и решил действовать немедленно, едва рассветет.

А в то же время Акбара и Ташчайнар, вспугнутые выстрелами, удалялись в ущелье скоротать там остаток ночи. У этой неприкаянной пары больше не было постоянного места, и они ночевали где придется. Акбара, как всегда, шла впереди. Обросшая перед линькой длинными, свалывшимися лохмами, в темноте она была страшна. Глаза ее горели фосфорическим блеском, язык вывалился — можно было подумать, что она бешеная. Нет, не унималось горе волчицы, лишившейся детенышей, не могла она забыть своей потери. Чутье тупо подсказывало ей, что волчата в Бостоновой кошаре — больше им быть негде, ведь там скрылся похититель, за которым в тот злополучный день они гнались по пятам. Дальше этого ее звериный ум не проникал. И потому дико лютовали волки в те дни, беспорядочно били скот в окрестностях — и не столько чтобы утолить голод, сколько из неуемной, неутолимой потребности заглушить, заесть, завалить мясом и кровью сосущее чувство пустоты и злобы на мир. А нажравшись убоины, волки тянулись к тому месту, где они потеряли след волчат. Особенно страдала Акбара — не могла никак смириться. Не было дня, чтобы она не ходила к тому месту, и не было дня, чтобы они с Ташчайнаром не бродили вокруг да около Бостонова становища. На это и рассчитывал Бостон, решивший во что бы то ни стало уничтожить волков.

На другой день с утра Бостон распорядился не выгонять отару на выпас, а держать ее в двух кошарах и дать животным побольше зерновой подкормки и поить из поилок во дворе. А сам отобрал из отары штук двадцать маток с махонькими ягнятами, по большей части с двойнями, чтобы сильнее шумели и блеяли, и погнал это небольшое стадо в безлюдную, бездорожную сторону.

Никого с собой не взял. Шел один, погонял стадо длинной палкой. На плече нес начищенное и надраенное ночью

ружье, заряженное на всю обойму. Шел не торопясь, долго. Надо было как можно дальше уйти от жилья.

День стоял теплый, по-настоящему весенний. Горы впитывали в себя солнечное тепло, преобразуя его в зеленоющую на буграх и впадинах траву. Редкие белые-белые кучерявые облака безмятежно нежились в небесной голубизне. Жаворонки пели, среди камней токовали горные куропатки — словом, благодать. Лишь взметнувшиеся ввысь на всем протяжении горизонта грозные снежные хребты, где в любую минуту могла начаться вьюга, и черные тучи, пригнанные невесть откуда диким ветром, которые могли затмить солнце, напоминали о том, что благодать эта не вечна.

Но пока ничего не предвещало дурных перемен. Небольшое стадо овцематок с ягнятами, беспорядочно перекликаясь, шло туда, куда его гнал человек. Ягнята резво попрыгивали, кидались к маткам пососать на ходу молока. Но Бостон с самой ночи был настроен мрачно. И чем больше он думал, тем больше злился и на волков, и на Базарбая, виновника этой ужасной истории. С Базарбаем он не хотел связываться, памятуя о том, что не тронь — не воняет, а волков надо было ликвидировать, перестрелять, уничтожить — другого выхода он не видел. Расчет его был прост: голоса маток и ягнят непременно приманят волков, а он засядет в засаде. Волки набросятся на маток с ягнятами, и при известном везении он вполне может их подстрелить. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает... Так оно и вышло...

Почти до самого полудня звери никак себя не обнаруживали. Расположив овец в укромной, хорошо просматривавшейся лошине, Бостон залег на ее краю, затаившись с ружьем среди камней и редкого кустарника. Стрелял он метко, с детства ходил на охоту, уже не один иссык-кульский волк был на его счету. И потому не сомневался, что сумеет подстрелить волков, лишь бы удалось их приманить. Шумливые матки и ягнята-двойни все время подавали голоса, окликали друг друга, однако время шло, а звери все не появились, хотя в другие дни часто устраивали набеги, вымещали злобу на окрестных стадах, и, как правило, всегда в дневное время.

Солнце стало припекать: Лежа на фуфайке под кустом, Бостон в другое время, наверное, и вздремнул бы, но сейчас не мог себе этого позволить. Да и на душе было сумрачно: тяжело было сознавать, что его обвиняют в гибели Эрназа-

ра. Враги его, и Кочкорбаев, и Базарбай, объединились, и каждый на свой лад облыжно оговаривал его, загонял в тупик. И не понимал он, почему так устроена жизнь: за что, почему самые разные люди ненавидят его? А тут еще эти волки привязались, вынимают душу. От этого и дома покоя нет. И то ли еще будет, когда до жены дойдут слухи о его стычке с Базарбаем. Столовая была полна народу, когда Базарбай поносил последними словами и его жену, и его самого, а сколько среди них недоброжелателей...

А волки все не шли, и Бостон уже начинал терять терпение. И тем не менее напрягал зрение и слух — выжидал, был начеку. Важно было приметить зверей как можно раньше, чтобы выстрелить в них, едва они бросятся на овец. Уловить момент, когда волки объявятся, было не так просто: у домашних овец нет нюха, да и зрение у них никудышное, словом, глупее и нерасторопнее нет на свете животных. Для волков овцы самая легкая добыча, и спасти овец от волков может лишь человек, и потому волкам приходится иметь дело лишь с человеком. Так было и в этот раз...

Беспечные овцы и сейчас не почуяли опасности. Они паслись, отвлекаясь лишь на зов ягнят, то и дело покорно подставляя им сосцы, и больше никаких забот не знали. Опасность заметил лишь Бостон...

Пара белобоких горных сорок, хлопотливо суетившихся поблизости, вдруг беспокойно застрекотала, стала перелетать с места на место. Бостон насторожился, взвел курок, но высовываться не стал, а, напротив, еще старательнее схоронился. Действовать надо было наверняка. Он готов был пожертвовать несколькими овцами, лишь бы выманить хищников на открытое место. Но волки, видимо, почуяли опасность — не исключено, что их оповестили о ней те же сороки. Кончив стрекотать в одном месте, они поспешили туда, где сидел в засаде Бостон, и здесь тоже подняли нахальный, громкий стрекот, хотя Бостон, казалось бы, не должен был привлечь их внимание — он, не шевелясь, сидел за кустом. Как бы то ни было, волки выскочили не сразу — оказалось, что они разделились: Акбара, ползя между валунами, подкрадывалась с дальнего конца, а Ташчайнар с противоположного (как потом выяснилось, он полз неподалеку от того места, где хоронился с ружьем Бостон).

Но все это обнаружилось не сразу.

Ожидая появления волков, Бостон настороженно озирался, но никак не мог понять, с какой стороны появятся зве-

ри. Вокруг царили покой и тишина: овцы мирно паслись, ягнята резвились, сороки перестали стрекотать — слышно было лишь, как неподалеку бежит с горы ручей и поют в кустах птицы. Бостон уже устал от долгого ожидания, но тут среди камней промелькнула серая тень, и овцы резко шарахнулись в сторону и неуверенно замерли в испуганном ожидании. Бостон весь напрягся, он понял — это волки подпугнули стадо, чтобы узнать, где затаился человек: в таких случаях любой пастух поднимает крик и бежит к овцам. Но у Бостона была другая задача, и поэтому он ничем себя не выдал. И тогда среди каменных глыб снова метнулась серая тень, и хищник в два прыжка настиг всполошившихся овец. То была Акбара. Бостон вскинул ружье, ловя на мушку цель, и собрался уже нажать курок, когда легкий шорох позади заставил его обернуться. В ту же секунду он не целясь выстрелил в упор в набегающего на него огромного зверя. Все произошло в мгновение ока. Выстрел настиг Ташчайнара уже в прыжке, но упал он не сразу; а, злобно оскалив зубы, свирепо сверкая глазами, хищно вытянув вперед когтистые лапы, какое-то время еще летел по инерции к Бостону и рухнул замертво всего в полуметре от него. Бостон тотчас же повернул ружье в другую сторону, но момент был уже упущен — Акбара, оставив сваленную с ходу овцу, успела метнуться за камни. С ружьем наперевес кинулся он за волчицей, надеясь достать ее пулей, но увидел лишь, как Акбара перемахнула через ручей. Выстрелил и промахнулся...

Бостон перевел дух, удрученно огляделся вокруг. От напряжения он побледнел и тяжело дышал. Главной своей цели он не достиг — Акбара ушла. Теперь дело еще больше осложнилось — подстрелить ее будет не так-то просто: волчица будет неуловима. Впрочем, думал Бостон, не оглянись он вовремя на Ташчайнара и не срази его первой же пулей, все могло обернуться гораздо хуже. Обдумывая происшедшее, Бостон понял, что, приближаясь к стаду, звери заподозрили опасность и разделились, и когда Ташчайнар заметил, что человек с ружьем угрожает волчице, не подозревающей о засаде, он не раздумывая кинулся на врага...

Собрав разбежавшихся с перепугу овец, Бостон пошел взглянуть на убитого волка. Ташчайнар лежал, завалившись на бок, ощерив громадные желтые клыки, глаза его уже остекленели. Бостон потрогал голову Ташчайнара, громадная голова — лошади впору, как только зверь носил такую тяжесть, а лапы — Бостон поднял их, взвесил и невольно вос-

хитился: такая сила чувствовалась в этих лапах. Сколько их хожено ими, сколько задрано добычи!

После некоторых колебаний Бостон решил не обдирать Ташчайнара. Бог с ней, со шкурой, не в шкуре дело. Тем более что волчица уцелела — торжествовать нет причин.

Бостон еще постоял в задумчивости, потом взвалил на плечо прирезанную волчицей овцу и погнал стадо домой.

А позже вернулся, прихватив лопату и кирку, и весь остаток дня рыл яму, чтобы закопать труп Ташчайнара. Возиться пришлось долго, грунт оказался каменистый. Иногда Бостон приостанавливал работу и затихал, осторожно поглядывая по сторонам, не покажется ли, часом, волчица. Бьющее без промаха ружье Бостона лежало рядом, стоило только протянуть руку...

Но Акбара пришла лишь глубокой ночью... Легла возле свежей кучи земли и пролежала тут до самого рассвета, а с первыми лучами солнца исчезла...

## VI

Стояли весенние дни, можно даже сказать — начало лета. Овцеводам пора было перекочевывать на летние пастбища. Те, кто зимовал в предгорьях, переходили в глубинные долины и ущелья — на новый горный травостой, чтобы постепенно приближаться к перевалам. Те, кто зимовал на полях, на стойловом содержании, выходили на запасные весенние выпасы. Пора была хлопотная: перегон скота, перевоз домашнего скарба и, что тяжелее всего, стрижка овец; все это, вместе взятое, создавало напряженную обстановку. К тому же каждый торопился как можно раньше поспеть на летовку и занять лучшие места. Одним словом, дел было невпроворот... И у каждого были свои заботы...

Во всей округе лишь Акбара оставалась неприкаянной. Лишь ее никак не касалась кипящая вокруг жизнь. Да и люди, можно сказать, забыли о ней: после потери Ташчайнара Акбара ничем о себе не напоминала, даже у зимовья Бостона и то перестала выть по ночам.

Беспросветно тяжело было Акбаре. Она сделалась вялой, безучастной — ела всевозможную мелкую живность, что попадалась на глаза, и большей частью уныло коротала дни где-нибудь в укромном месте. Даже массовое перемещение стад, когда по горам передвигаются тысячные поголовья и под шумок ничего не стоит утащить зазевавшегося ягненка,

а то и взрослую овцу, оставляло ее совершенно равнодушной.

Для Акбары мир как бы утратил свою ценность. Жизнь ее теперь была в воспоминаниях о прошлом. Положив голову на лапы, Акбара целыми днями вспоминала радостные и горестные дни и в Моюнкумской саванне, и в Приалдашских степях, и здесь, в Прииссыккульских горах. Снова и снова вставали перед ее взором картины минувшей жизни, день за днем прожитой вместе с Ташчайнаром, и всякий раз, не в силах вынести тоски, Акбара поднималась, понуро бродила окрест, снова ложилась, примостив постаревшую голову на лапы, снова вспоминала своих детенышей — то тех четверых, что недавно похитили у нее, то тех, что погибли в моюнкумской облаве, то тех, что сгорели в приозерных камышах, — но чаще всего вспоминала она своего волка, верного и могучего Ташчайнара. И порой вспоминала того странного человека, которого встретили они в зарослях конопли, — вспоминала, как он, голокожий, беззащитный, забавлялся с ее волчатами, а когда она ринулась на него, готовая с налета перекусить ему горло, в испуге присел на корточки, заслонив голову руками, и побежал от нее без оглядки... И как потом, уже в начале зимы, она увидела его на рассвете в Моюнкумской саванне распятого на саксауле. Вспоминала, как всматривалась в знакомые черты, как он, приоткрыв глаза, что-то тихо прошептал ей и умолк...

Теперь прошлая жизнь казалась ей сном, безвозвратным сном. Но вопреки всему надежда не умирала, теплилась в сердце Акбары — порой ей казалось, что когда-нибудь ее последний помет обнаружится. И потому ночами Акбара кралась к Бостонову зимовью, но уже не выла истошно, привычно и грозно, а лишь прислушивалась издали: вдруг ветер донесет тьякканье подросших волчат или их знакомый сладостный запах... Если бы возможно было такое чудо! Как рванулась бы Акбара к своим ненаглядным волчатам — не побоялась бы ни людей, ни собак, вызволила бы, унесла бы детей своих из плена, и они помчались бы как на крыльях прочь отсюда в другие края и там зажили бы жизнью вольной и суровой, как и полагается волкам...

Бостону же в эти дни не давали покоя многие докуки — мало ему забот с перекочевкой, так навязались еще дурацкие казенные дела. Кочкорбаев, как и обещал, написал все-



таки жалобу на Бостона Уркунчиева в вышестоящие инстанции, и оттуда прибыла комиссия разбираться, кто прав, кто виноват, но сама разошлась во мнениях. Одна часть комиссии считала, что чабана Бостона Уркунчиева необходимо исключить из партии, потому что он оскорбил личность парторга и тем нанес моральный ущерб самой партии, другая считала, что этого делать не следует, потому что чабан Бостон Уркунчиев выступил по делу и критика его имела целью повышение производительности труда. Вызывали в комиссию и Базарбая Нойгутова. Брала у него письменные объяснения по поводу волчат, которых Бостон Уркунчиев якобы требовал вернуть в логово... Словом, завели дело по всем правилам...

На два последних вызова Бостон не явился. Передал, что ему надо перегонять скот в верховья, переезжать туда с семейством на все лето, что сроки поджимают, и потому пусть разбираются без него, а он согласен на любое наказание, которое комиссия сочтет нужным, чем очень обрадовал Кочкорбаева, которому такое поведение Бостона было только на руку.

Но иного выхода у чабана не было. Перегон на летние выпасы уже начался, а опоздать с перегоном Бостон бы себе никогда не позволил. В последние годы скот угоняли своим ходом днем раньше, а вслед за этим перевозили переносное жилье и весь домашний скарб до тех мест, куда могли пройти машины, дальше же снова передвигались дедовским, вьючным способом. Но и это сильно облегчало и, главное, ускоряло перегон скота. Вот и Бостон вначале отогнал скот на летовку, оставив при отаре своих помощников, а за ночь вернулся назад, чтобы на другой день, погрузив на машину семейство и домашний скарб, уехать до осени в горы.

И наступил тот день...

Но ему предшествовала ночь, когда Акбара вернулась в свое старое логово. Впервые после гибели Ташчайнара. Одинокая волчица избегала старого логова под свесом скалы — знала, что оно пусто и что там ее никто не ждет. И все-таки однажды исстрадавшейся Акбаре захотелось вдруг побежать знакомым путем, юркнуть через лазы в логово — а вдруг там ждут ее детеныши. Не справилась она с искушением, поддалась самообману.

Акбара бежала как сумасшедшая, не разбирая пути, по воде, по камням, мимо ночных костров, засветившихся на летних стойбищах, мимо злобных собак, а вдогонку ей громыали выстрелы...

Так бежала она, одинокая и обезумевшая, по горам под высокой, стоявшей в небе луной... И когда добежала до логова, так заросшего новой порослью травы и барбариса, что и не узнать, не посмела войти в свое давно осиротевшее, забытое жилище... А перебороть себя, уйти прочь тоже не было сил... И вновь обратилась Акбара к волчьей богине Бюри-Ане, и долго плакалась, скуля и воя, долго жаловалась на свою горемычную судьбу и просила богиню взять ее к себе на луну, туда, где нет людей...

Бостон той ночью был в дороге. Возвращался после отгона скота назад на зимовье. Можно было, конечно, дожидаться утра и потом двинуться в путь. Но тогда он прибыл бы на кошт только к вечеру, и ему пришлось бы ждать целый день и только потом погрузиться на грузовик и отправиться вслед за гуртами, а он не мог себе позволить потерять столько времени. К тому же на коште почти никого не оставалось, кроме Гулюмкан с малышом да еще одной семьи, которые ждали, когда придет их очередь выезжать на лето-вку, а мужчин и вовсе не было.

Вот почему Бостон так спешил той ночью, благо Донкулюк, как всегда, шел сноровисто и уверенно. Хорошо шел, душа радовалась. Скорый шаг у Донкулюка. При лунном свете поблескивали уши и грива золотистого дончака, на плотном крупе, как рябь на воде ночью, переливались мускулы. Погода стояла ни жаркая, ни холодная. Пахло травами. За спиной у Босто́на висело ружье — мало ли что может случиться ночью в горах. А уж дома Бостон вернет ружье на место, и неразряженное ружье будет висеть на гвозде с полной обоймой в пять патронов.

Бостон рассчитывал прибыть на кошт еще на рассвете, часам к пяти, и похоже было, что так оно и будет. Этой ночью он лишний раз убедился, как привязан к жене и сыну: он уже через день затосковал по ним и теперь спешил домой. И больше всего его тревожило в пути, как бы волчица Акбара не стала снова бродить возле жилища и не подняла свой жуткий вой, наводя страх на Гулюмкан и Кенджеша. Успокаивал Бостон себя лишь тем, что после убийства волка волчица перестала приходить — во всяком случае, ее не стало слышно.

Но напрасно беспокоился в ту ночь Бостон.

В ту ночь Акбара в Башатском ущелье жаловалась Бюри-Ане у старого логова. И даже если бы Акбара оказалась возле Бостонова кошта, она никого не потревожила бы — по-

сле гибели Ташчайнара она лишь скорбно вслушивалась в доносящиеся со становища голоса...

И вот настал тот день...

Бостон проснулся в то утро, когда солнце светило уже вовсю: прибыв на рассвете, он поспал по возвращении часа четыре. Он бы поспал и еще, но его разбудил сынишка. Как ни старалась в то утро Гулюмкан не пускать Кенджеша к отцу, в какой-то момент, занятая сборами, она не уследила за малышом. И малыш, что-то лопоча, бесцеремонно трепал отца по щекам. Бостон открыл глаза, улыбаясь, обнял Кенджеша, и удивительная нежность к мальчишке с особой силой охватила его. Отрадно было сознавать, что Кенджеш, его плоть и кровь, растет здоровым и подвижным, что в свои неполные два года он смышлен, любит родителей, что и лицом и складом характера он похож на него, только глаза, влажно блестящие, как черные смородины, материнские. Всем удался мальчик, и, глядя на него, Бостон гордился, что у него такой чудесный сын.

— Что ты, сынок? Мне вставать? А ну, потяни меня за руку! Потяни, потяни, вот так. Ого, какой силач! А теперь обними меня за шею!

Гулюмкан тем временем успела уже вскипятить любимый мужем густой калмыцкий чай с жареной мукой, с молоком и солью, и поскольку не только отары, а даже собаки и те были далеко в горах, Уркунчиевы могли позволить себе хоть раз в году выпить чай без помех, в тишине и спокойствии. Мало кто понимает, как редко выпадает такой отдых чабанской семье. Ведь скотина требует внимания беспрерывно, круглый год и круглые сутки, а когда в стаде чуть не тысяча голов, а с приплодом и все полторы, то о таком свободном от забот утре чабанская семья может только мечтать. Они сидели, наслаждаясь покоем, перед тем как приступить к сборам, — ехали ведь на все лето. Машина ожидалась к полудню, и к этому часу весь домашний скарб должен был быть собран.

— Ой, прямо не верится, — все приговаривала Гулюмкан, — как хорошо, какая благодать, какава тишина! Не знаю, как тебе, а мне уезжать не хочется. Давай никуда не поедем. Кенджешик, скажи отцу, что не надо никуда ехать.

Кенджешик что-то лепетал, подсаживался то к отцу, то к матери, а Бостон добродушно соглашался с женой:

— А что? Почему бы нам и не прожить здесь все лето?

— Сказал тоже, — смеялась Гулюмкан, — да ты через

день так припустишь за своей отарой, что за тобой на Донкулюке не утонишься!

— И верно, не утонишься даже на Донкулюке! — поддакивал довольный Бостон и поглаживал жесткие усы. Это означало, что он счастлив.

Так чаевничали они за низким круглым столом, взрослые сидели на полу, а малыш бегал около. Родители хотели его накормить, но малыш уж очень расшалился в то утро, бегал, резвился, никак не усадишь его есть. Двери распахнули — при закрытых дверях становилось жарко, — и Кенджеш то и дело беспрепятственно выскакивал наружу, носился по двору, наблюдал за маленькими проворными, пушистенькими цыплятами, сновавшими возле квочки. То была курица их соседа, ночника Кудурмата. Сам он был уже на летовке, а жена его Асылгуль собиралась отправиться вместе с Уркунчиевыми на машине. Она уже заглянула к ним, сказала, что собрала вещи, осталось только посадить курицу с цыплятами в корзину, но это она успеет сделать, когда придет машина. А пока она собирается простирнуть да просушить белье.

Так проходило то утро. Солнце уже изрядно припекало. Все были заняты своими делами. Бостон с женой увязывали узлы, укладывали посуду. Асылгуль устроила постирушку — слышно было, как она то и дело выплескивает из дверей мыльную воду. А маленького Кенджеша предоставили самому себе, и он то выбегал из дому, то опять забегал в дом и все крутился возле цыплят.

Заботливая квочка тем временем повела цыплят подальше от дома покопаться за углом в земле. Малыш подался за цыплятами, и незаметно они оказались за глухой стеной сарая. Здесь, среди лопухов и конского щавеля, было по-летнему покойно и тихо. Цыплята попискивали, рылись в мусоре, а Кенджеш, тихо смеясь, разговаривал с цыплятами, все пытаясь их погладить. Кенджеша квочка не боялась, но когда вблизи, неслышно ступая, появилась большая серая собака, курица встревожилась, недовольно закудахтала и предпочла увести цыплят подальше. Кенджеша же большая серая собака с удивительными синими глазами ничуть не испугала. Она кротко смотрела на малыша, дружелюбно помахивая хвостом. То была Акбара. Волчица давно уже бродила около зимовья.

Волчица решила так близко подойти к человеческому жилью потому, что, начиная с минувшей ночи, на подворье

было пусто, не слышались ни людские, ни собачьи голоса. Влекомая неутихающей материнской тоской, неумирающей надеждой, она осторожно обошла все кошары, все стойла, нигде не обнаружила своих утраченных волчат и подошла вплотную к человеческому жилью. И вот Акбара стояла перед малышом. И непонятно, как ей открылось, что это детеныш, такой же, как любой из ее волчат, только человеческий, и когда он потянулся к ее голове, чтобы погладить добрую собаку, изнемогающее от горя сердце Акбары затрепетало. Она подошла к нему, лизнула его щечку. Малыш обрадовался ее ласке, тихо засмеялся, обнял волчицу за шею. И тогда Акбара совсем разомлела, легла у его ног, стала играть с ним — ей хотелось, чтобы он пососал ее сосцы, но он вместо этого сел на нее верхом. Потом соскочил и позвал ее за собой. «Жюр! Жюр!»<sup>1</sup> — кричал он ей, заливаясь счастливым смехом, но Акбара не решалась идти дальше, она знала, что там люди. Не двигаясь с места, волчица грустно поглядывала синими глазами на мальчугана, и он снова подошел к ней и гладил ее по голове, а Акбара вылизывала детеныша, и ему это очень нравилось. Волчица изливала на него накопившуюся в ней нежность, вдыхала в себя его детский запах. Как отрадно было бы, думалось ей, если бы этот человеческий детеныш жил в ее логове под свесом скалы. Осторожно, чтобы не поранить шейку, волчица ухватила малыша за ворот курточки и резким рывком перекинула на загравок — таким манером волки утаскивают из стада ягнят.

Мальчик вскрикнул пронзительно, коротко, как раненый заяц. Соседка Асылгуль, шедшая к сараю развешивать белье, поспешив на крик Кенджеша, заглянула за угол, бросила белье на землю и кинулась к дверям Бостона.

— Волк! Волк ребенка утащил! Скорее, скорее!

Бостон не помня себя сорвал со стены ружье и бросился из дома, следом за ним Гулюмкан.

— Туда! Туда! Вон Кенджеш! Вон волчица его тащит! — вопила соседка, в ужасе хватаясь за голову.

Но Бостон уже и сам увидел волчицу — она трусила, неся на загривке дико орущего малыша.

— Стой! Стой, Акбара! Стой, говорю! — закричал во весь голос Бостон и побежал вдогонку за волчицей.

Акбара припустила, а Бостон несясь вслед за ней с ружьем и кричал не своим голосом:

---

<sup>1</sup> Жюр — пошли.

— Оставь, Акбара! Оставь моего сына! Никогда больше я не трону твоего рода! Оставь, брось ребенка! Акбара! Послушай меня, Акбара!

Он словно забыл, что для волчицы его слова ровным счетом ничего не значат. Крики, погоня лишь напугали ее, и она побежала быстрее.

А Бостон, не умолкая ни на минуту, преследовал Акбару.

— Акбара! Оставь моего сына, Акбара! — взывал он.

А чуть поотстав, с отчаянными воплями и причитаниями бежали Гулюмкан и Асылгуль.

— Стреляй! Стреляй быстрее! — кричала Гулюмкан, забыв, что Бостон не может стрелять, пока волчица несет на себе малыша.

Крики, погоня лишь взбудоражили Акбару, распалили волчий инстинкт, и она решила не выпускать своей добычи. Мертвой хваткой держа малыша за шиворот, волчица упорно бежала вперед, уходила все дальше в горы и, даже когда позади прогремел выстрел и пуля просвистела у нее над головой, не бросила своей ноши. А малыш все плакал, звал отца, звал мать. И Бостон снова выстрелил в воздух, не зная, чем еще устроить волчицу, но и этот выстрел не испугал ее. Акбара продолжала удаляться в сторону каменных завалов, а уж там ей ничего не стоило запутать следы и скрыться из виду. Бостон пришел в отчаяние: как спасти ребенка? Что делать? За что такое чудовищное наказание свалилось на них? За какие грехи?

— Брось мальчика, Акбара! Брось, прошу тебя, оставь нам нашего сына! — задыхаясь и хрипя, как запаленная лошадь, молил он на бегу похитительницу.

И в третий раз выстрелил Бостон в воздух, и снова пуля просвистела над головой зверя. Каменные завалы все приближались. В обойме теперь было всего два патрона. Понимая, что еще минута — и он упустит последний шанс, Бостон решил выстрелить по волчице. С разбега припал на колени и стал целиться: он метил по ногам, только по ногам. Но ему никак не удавалось прицелиться — грудь ходила ходуном, руки тряслись, перестали слушаться. И все же он попытался собраться с силами и, глядя в дергающуюся прорезь прицела, как скачет, точно бы плывет по бурным волнам, волчица, прицелился и спустил курок. Мимо. Пуля, взбурлив пыль рядом с целью, прошла понизу. Бостон перезарядил ружье, дослал в патронник последний патрон, снова прицелился и даже не услышал собственного выстрела,

а только увидел, как волчица подпрыгнула и завалилась на бок.

Вскинув винтовку на плечо, Бостон будто во сне побежал к упавшей Акбаре. Ему казалось, что он бежит так медленно и долго, словно плывет в каком-то пустом пространстве...

И вот наконец, похолодев, точно на дворе стояла стужа, он подбежал к волчице. И согнулся в три погибели, закачался, корчась в немом крике. Акбара была еще жива, а рядом с ней лежал бездыханный, с простреленной грудью малыш.

А мир, утративший звуки, безмолствовал. Он исчез, его не стало, на его месте остался только бушующий огненный мрак. Не веря своим глазам, Бостон склонился над телом сына, залитым алой кровью, медленно поднял его с земли и, прижимая к груди, попятился назад, удивляясь почему-то синим глазам издыхающей волчицы. Потом повернулся и, онемев от горя, пошел навстречу бегущим к нему женщинам.

Ему почудилось, что жена его растет у него на глазах, и вот уже ему навстречу шагает гигантская женщина с огромным деформированным лицом, простирая к нему огромные деформированные руки.

Он брел как слепой, прижимая к груди убитого им малыша. За ним, вопя и причитая, брела Гулюмкан, ее поддерживала под руку голосащая соседка.

Бостон, оглушенный горем, ничего этого не слышал. Но вдруг оглушительно, точно грохот водопада, на него обрушились звуки реального мира, и он понял, что случилось, и, воздев глаза к небу, страшно закричал:

— За что, за что ты меня покарал?!

Дома он уложил тело малыша в его кровать, уже приготовленную к предстоящей погрузке на машину, и тут Гулюмкан припала к изголовью и завывала так, как выла ночами Акбара... Рядом с ней опустилась на пол Асылгуль...

Бостон же вышел из дому, прихватив с собой ружье. Одну обойму вставил в магазин, другую сунул в карман, точно собирался на бой. Затем кинул седло на спину Донкулюка, одним махом вскочил на коня и уехал из дома, не сказав ничего ни жене, ни соседке Асылгуль...

А отъехав чуть подальше от кошта, дал волю Донкулюку, и золотистый дончак помчал его по той же дороге, по которой в конце зимы он скакал к Таманскому зимовью.

Тот, кого он хотел застать и кого непременно нашел бы даже под землей, был на месте.

На подворье Базарбая Нойгутова в тот день тоже грузили машину — отправляли домашний скарб на летние выпасы. Занятые этими хлопатами люди не заметили, как за коша-рой появился Бостон, как он спешился, как скинул ружье, как перезарядил его, поставил на боевой взвод, а затем снова повесил на плечо.

Его заметили, лишь когда он уже приблизился к месту погрузки. Базарбай, спрыгнув с грузовика, удивленно уставился на него.

— Ты чего? — сказал он Бостону, поскребывая в затылке и вглядываясь в его черное, как обугленная головешка, лицо. — Ты чего тут? Чего так смотришь? — всполошился он, предчувствуя что-то недоброе. — Опять насчет волчат, что ли? Делать тебе нечего? Попросили меня, я и написал.

— Плевать мне, что ты там написал, — мрачно бросил Бостон, не отрывая от него тяжелого взгляда. — Не до этого мне. Я хочу тебе сказать, что ты недостойн жить на этом свете, и я сам порешу тебя!

Базарбай не успел даже заслониться, как Бостон вскинул ружье и, почти не целясь, выстрелил в него. Базарбай зашатался, кинулся было спрятаться за грузовик, но второй выстрел настиг его, угодив в спину, и Базарбай, трижды перекутившись, ударился головой о кузов и, рухнув на землю, судорожно заскреб ее руками. Все это произошло так неожиданно, что поначалу никто не двинулся с места. И только когда несчастная Кок Турсун с воплем упала на тело мужа, все разом закричали и побежали к убитому.

— Ни с места! — громко приказал Бостон, озираясь по сторонам. — Чтоб никто ни с места! — пригрозил он, направляя дуло на каждого по очереди. — Я сам отправлюсь сейчас туда, куда следует. И потому предупреждаю, чтоб никто ни с места! В случае чего у меня патронов хватит! — И он похлопал себя по карману.

Все остановились как громом пораженные, никто ничего не мог понять, ничего сказать, словно все потеряли дар речи. Только несчастная Кок Турсун продолжала причитать над телом ненавистного мужа:

— Я всегда знала, что ты кончишь, как собака, потому что ты и был собака! Убей и меня, убийца! — рванулась жалкая и безобразная Кок Турсун к Бостону. — Убей и меня, как собаку. Я и так света белого сроду не видала, зачем мне такая жизнь! — Она попыталась еще что-то выкрикнуть: мол, она предупреждала Базарбая, что нечего ему было похищать вол-



чат, что это до добра не доведет, но этот изверг ни перед чем не останавливался, даже диких зверей и то пропивал, — но тут двое пастухов зажали ей рот и оттащили подальше.

И тогда, окинув суровым взглядом стоящих вокруг, Бостон негромко, но жестко сказал:

— Хватит, я сам отправлюсь сейчас куда следует, сам на себя заявлю. Повторяю — сам! А вы все оставайтесь на своих местах. Слышали?

Никто не вымолвил ни слова. Потрясенные случившимся, все молчали. Глядя на лица людей, Бостон вдруг понял, что с этой минуты он преступил некую черту и отделил себя от остальных: ведь его окружали близкие— люди, с которыми изо дня в день, из года в год вместе добывал хлеб насущный. Каждого из них он знал, и они его знали, с каждым из них у него были свои отношения, но теперь на их лицах читалось отчуждение, и он понял, что отныне он отлучен от них навсегда, как если бы его ничто и никогда не связывало с ними, как если бы он воскрес из мертвых и тем уже был страшен для них.

Ведя на поводу коня, Бостон пошел прочь. Он уходил не оглядываясь, уходил в приозерную сторону, чтобы сдать себя там властям. Шел по дороге, понурился голову, а за ним следовал его верный Донкулюк.

То был исход его жизни...

— Вот и конец света, — сказал вслух Бостон, и ему открылась страшная истина: весь мир до сих пор заключался в нем самом и ему, этому миру, пришел конец. Он был и небом, и землей, и горами, и волчицей Акбарой, великой матерью всего сущего, и Эрназаром, оставшимся навечно во льдах перевала Ала-Монгю, и последней его ипостасью— младенцем Кенджешем, подстреленным им самим, и Базарбаем, отвергнутым и убитым в себе, и все, что он видел и что пережил на своем веку, — все это было его вселенной, жило в нем и для него, и что теперь, хотя все это и будет пребывать, как пребывало вечно, но без него — то будет иной мир, а его мир, неповторимый, невозобновимый, утрачен и не возродится ни в ком и ни в чем. Это и была его великая катастрофа, это и был конец его света...

На пустынной полевой дороге к Приозерью Бостон вдруг круто обернулся, обнял коня за шею, повис на нем и зарыдал громко и безысходно.

— О, Донкулюк, один ты не понимаешь, что я натворил! — плакал он, содрогаясь всем телом от рыданий. — Как мне быть? Сына своими руками убил и, не похоронив, ухожу и любимую женщину оставляю одну.

Потом закрутил чумбур, поводья уздечки на шее Донкулюка, закрепил стремена на луке седла, чтобы не колотили коня по бокам.

— Иди, иди домой, иди куда хочешь! — попрощался он с Донкулюком. — Больше мы не увидимся!

Ударил коня ладонью по крупу, шуганул его, и конь, удивляясь своей свободе, пошел на кошт.

Бостон же продолжал свой путь...

А синяя крутизна Иссык-Куля все приближалась, и ему хотелось раствориться в ней, исчезнуть — и хотелось, и не хотелось жить. Вот как эти буруны — волна вскипает, исчезает и снова возрождается сама из себя...

# ТАВРО КАССАНДРЫ

( из ересей XX века )

---

---

*Роман*



*Когда Кассандра отвергла любовь Аполлона, он наказал ее тем, что никто не верил ее вещим предсказаниям...*

(Из древнегреческой мифологии)

*А блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем.*

(Екклесиаст)

## I

**И** на сей раз — в начале было Слово. Как когда-то. Как в том бессмертном Сюжете.

И все, что произошло затем, явилось следствием Сказанного.

Многие, однако, кому суждено было первыми столкнуться со столь неожиданным происшествием, никак не предполагали, что со временем им предстоит наперебой описывать в мемуарах именно эту историю как самое потрясающее событие в их жизни. Причем все они, очевидцы, были обречены начинать свои воспоминания расхожей фразой: «Невероятные события того дня развивались, как в детективном романе».

Впрочем, так оно и было. Сотрудники газеты «Трибюн» вдруг получили распоряжение главного редактора, согласно которому на время экстренного заседания редколлегии, спешно собравшейся на руководящем этаже, строго запрещалось звонить куда бы то ни было, отвечать на звонки и факсы и, более того, пропускать в помещение редакции посетителей.

С этого экстренного заседания все и началось.

Опубликовать на страницах газеты подобное заявление — такое разве что во сне могло привидеться! Но надо было решаться и надо было действовать. Вопрос стоял неумолимо: или — или. И «Трибюн», достаточно энергично и ревностно поддерживавшая свой имидж «властительницы дум на всех континентах», не удержалась-таки от искушения (разумеется, дьявольского, как утверждали потом оппоненты), слишком велика была ставка — сенсация мирового масштаба. Редакция получила эксклюзивное право на этот материал и решила крупно рискнуть, пошла ва-банк, пошла на молниеносную публикацию неслыханного в истории человечества документа.

Вот тогда-то, в начале событий, один из редакционных обозревателей бросил запомнившиеся многим слова. «Ну,

все, ребята,— сказал он, держа в руках сырой оттиск полосу,— историю зашкалило за пределами мыслимого! И ведь благодаря нам, нашей «Трибюн»! Эту планку теперь никому не одолеть, выше не прыгнешь, а все остальное, как говорится, увидим — жизнь покажет. Чем все это кончится? Посмотрим! — Он покачал головой и добавил многозначительно:— Впрочем, коллеги, извините, должен предупредить, теперь пусть каждый подумает о себе — что будет через час, неизвестно».

Откровенно говоря, было чего опасаться. Каждый это понимал. Настроение в редакции в тот день менялось час от часу, то полное отчаяние всех — от главного редактора до стажеров с журналистского факультета, набивавших здесь руку для будущих репортажей,— все скрывались за дверьми, не выходили из-за столов и избегали говорить друг с другом, то, напротив,— безумный ажиотаж, когда все носились по коридорам и кабинетам, гадя и блестя глазами от возбуждения. Однако впору было подумать и о другом — не кинуться ли баррикадировать двери и окна на случай натиска разъяренной толпы, которая, вне всяких сомнений, не должна была заставить себя долго ждать, ибо налицо были все причины, чтобы прихлынувшая уличная публика (ее не удержала бы никакая полиция) била вдребезги стекла, рашибала об пол телефоны, крушила мебель и оргтехнику и под объективами телевизионщиков, подоспевших на скандал, свирепо трясла за грудки газетчиков, посмевавшихся буквально в одночасье смутить весь мир, столкнуть человека воистину с самим Богом...

Но откуда ничего не ведавшие гудящие толпы людские привычно катились по улицам великого американского города, привычно протекали живыми реками вдоль стеклянных небоскребов, а рядом так же непрерывно двигались по улицам сияющие потоки машин, над головами пролетали ослепительные блестевшие вертолеты. Еще никто не пришел в ужас, не вскричал на площади, потрясая крамольной газетой, кощунственно вторгшейся в таинства миропорядка, никогда не вызывавшего прежде никаких сомнений, еще никто не бросил подстрекательского клича, чтобы всколыхнуть всех вокруг и двинуться на исчадие ада...

«Трибюн» спешила, опасаясь конкуренции. Задержись выпуск номера, переверстываемого буквально на ходу, хоть на полчаса, и материал этот, прибывший из космоса, опубликовала бы другая газета в любой другой части света, чем

бы это для нее ни обернулось. «Трибюн» не могла упустить своего шанса, даже если это вызвало бы всемирный потоп, который смыл бы в пучину все живое на земле, после чего никакая газета никому и нигде уже не потребовалась бы...

А океан, это хранилище всемирного потопа, грядущего и скорее всего неизбежного, в тот день могуче зыбился меж материками, неуловимо покачивая всей своей подвижной массой земной шар, играл гигантскими течениями, самовозбуждаясь и вскипая мгновенными грядями волн, мерцал и блистал на всем своем огромном пространстве.

Футуролог смотрел на кипящую магму океана с высоты, любовался ею в иллюминатор авиалайнера, летевшего над Атлантикой. И то, что он созерцал, восхищало его в этот солнечный день, хотя ничего необыкновенного не было, — обыденное и, более того, вынужденное зрелище для сотен авиапассажиров — внизу океан, вода, волны, однообразие, пустынный горизонт. Ему же думалось о том, как прекрасно, что крохотное око человеческое способно обозреть безграничное мировое пространство. И это не случайно. Никому, даже подоблачному орлу, не дано такое панорамное виденье. Да, благодаря техническим достижениям, ставшим второй, рукотворной реальностью, человек обнаруживал в себе все новые ресурсы вселенской приспособляемости и достигал божественного могущества. Ведь только Богу дано целиком обозреть землю, несясь над миром незримым вихрем на незримой высоте. Вот о чем думалось Футурологу на досуге, под устойчиво равномерный гул самолета. Как хорошо остаться наедине с собой... Слегка захмелевший от выпитого виски, золотисто переливавшегося на дне большого бокала со льдом, он не сопротивлялся приятному возбуждению в крови, напротив, ему хотелось подольше сохранить столь редкое чувство вольной принадлежности самому себе. И то, что кресла рядом пустовали, соседей, которые могли бы отвлечь его разговорами, в ряду не было, тоже было редким везением.

Футуролог возвращался из очередной поездки в Европу. Опять международная конференция, сбор интеллектуалов, опять нескончаемые дискуссии, ставшие образом жизни этой космополитической среды, дискуссии, перетекающие одна в другую в круговороте мнений и предреканий. Речь снова шла о перспективах мировой цивилизации, об опас-

ности монополярности развития и тому подобном — всегда актуальных проблемах, на осмысление которых уходила, можно сказать, вся жизнь гарвардского ученого мужа, и чем глубже, казалось бы, постигал он с годами эту науку оракула, тем сильнее становилось ощущение сизифовой неизученности упорно изучаемого — перспектив живущего изо дня в день рода человеческого. И думалось порой, что за докука — вечно стремиться упреждать судьбу, вечно маяться в поисках смысла жизни, того, что никогда никому не откроется ни сегодня, ни завтра, ни через тысячу лет?! Но попробуй откажи себе в этом неизбежном забеге мысли в будущее, возможно ли не изводиться, не отчаиваться, не пытаться разглядеть то, что еще только маячит на горизонте?! Судьба без образа будущего — бесплодна. Но насколько трудно временами, призывая себя к научной невозмутимости, к позиции «над схваткой», решаться объективно прогнозировать, предсказывать, куда, в какие пропасти норовит закатиться так называемое колесо истории, да и колесо ли это, возможно, нечто иное, что-нибудь вовсе не способное катиться, что-нибудь вроде сплющенного от страшного удара велообода с разлетевшимися спицами, — ведь этой форме движения так и не нашлось емкого определения в науке. Приблизительность, эскизность, декларативность — вечные признаки «колокольной» футурологии, эмпиричной и драматичной одновременно и тем не менее берущейся все истолковывать и предугадывать. От иных прогнозов, сделанных с той высоченной, но шаткой «колокольной», попросту хотелось бежать, как от черной дождевой тучи, самому становилось страшно от своих же прогнозов, от ощущения роковых круговертей истории, и прежде всего от наступления неукротимых сил, открыто помогающих везде и повсюду власти и только власти, порождая новое зло взамен старого, ибо всякая власть, что бы она ни заявляла о своих целях, кровообращением своим имеет повелевание. Для души, вопреки всему алчущей истины и недостижимого идеала, футурология в этом смысле была заведомым терзанием и мукой. И, однако, отказаться от извечных попыток предугадать будущее, что пытался делать еще бессловесный первобытный человек, отказаться от этого совершенно бескорыстного занятия, возможно, из мессианских побуждений предрекать суматошным отродьям людским пути предполагаемого развития, Футурологу было трудно, все равно что отречься от самого себя. Сколько лет отдано этому! Удержаться же на

высоте в современном прагматичном обществе «предсказателям» не так-то просто. Прошли те славно-античные времена, когда дельфийские пифии прорицали и гибель, и триумфы от имени богов. Увы, в XX веке отношение к оракулам куда как надменнее и язвительнее.

Однако и это не так страшно. Футуролог и его коллеги жили в своем кругу, своими профессиональными интересами. К примеру, его нынешняя поездка в Европу была связана не только с симпозиумом, но и с презентацией его новой книги, изданной во Франкфурте-на-Майне. Кто-то на приеме полушутя сказал по этому поводу, обыгрывая немецкое слово «майн», что, мол, великий город на Майне опубликовал великую книгу «Майне Хераусфордерунг» («Мой вызов самому себе»), которую вряд ли кто может опровергнуть, кроме разве что самого автора. А в той книге он поотряхнулся от левачества, как от липучего репья. Это действительно был вызов самому себе, вернее, былым увлечениям молодости. Преодоление экстремистского поветрия века приходилось начинать с самого себя.

После презентации он провел пресс-конференцию, раздавал автографы, затем состоялась непродолжительная поездка по Рейну, там же, на прогулочном пароходе, он дал интервью «Шпигелю». Фотографировали стареющего апостола футурологии на фоне медленно проплывающих прибрежных рейнских скал. И опять любезная шутка — старые скалы, мол, очень подходят к его облику, и сам он значителен, как старая скала. На что он ответил с усмешкой: «Можете так и озаглавить интервью — “Размышления Старой скалы”». И пришлось Старой скале порассуждать вслух. А вопросы были всякие. Что значит — бросить вызов самому себе в науке и, стало быть, в жизни? Не есть ли это ревизия собственного опыта и убеждений? Что думает апостол: пессимизм — всегда фатальный итог жизни? Что он думает об авантюризме в футурологии? И, наконец, насколько хорошо он себя чувствует? Как ему это рейнское вино?! Ну, это здорово! Американцы всегда такие. Особенно немецкого происхождения!

И вот теперь, как спортсмен, спешащий в раздевалку после напряженного матча, чтобы поскорей отключиться от всего, сбросить накопившееся напряжение, Роберт Борк пытался в самолете отвлечься, не думать о том, о чем размышлял постоянно. И однако думалось. О новой, быть может, итоговой монографии. Предстояло завершить незавер-



шаемое — свою «Песнь песней». Если удастся, конечно. Если удастся на основе многолетних исследований вывести мысль к порогу новых научных предвидений. По мнению Роберта Борка, современному человечеству предстояло столкнуться с совершенно новыми проблемами, его ожидали неведомые прежде, общие для всех испытания, как если бы вдруг охладилось солнце или, напротив, стало горячее, это коснулось бы всех и всюду. Осмысливая эти новые проблемы, человечество должно будет обнаружить в себе способность не только осознать трагическую возможность своей гибели, но, что чрезвычайно важно, это осознание должно послужить толчком к обнаружению новых способов выживания и отыскания дальнейших путей и форм развития, что, в свою очередь, должно привести к новому образу жизни, к новому типу мышления, написать об этом, предсказать путь грядущего развития — это и была бы его, Роберта Борка, «Песнь песней»... Но удастся ли? Работа огромная... А время неумолимо...

Океан под крылом все так же бескрайне зыбился, мерцая бликами, играющими на волнах. Солнце, безоблачная высь, простор, стремительный полет — движение, как бы застывшее навечно над океаном... Часа через полтора должна была показаться береговая черта материка, и тогда начнется посадка, и тогда кончится эта небесная пауза, и снова, с первых шагов в гомонящем аэропорту, он окунется в людской омут.

А пока полет продолжался, и Футуролога ждало в пути нечто неожиданное и необычайное.

Он был неважнецким фотографом-любителем, но тем не менее всегда носил с собой фотоаппарат и шелкал всякий раз без разбору все что вздумается. Особенно злоупотреблял он разного рода небесными пейзажами. Жена его Джесси приходила в отчаяние от количества никудышных фотографий, заполонивших их дом. В минуты раздражения она называла его фотомусорщиком и грозилась устроить хороший костер, но это не охлаждало его пламенного увлечения. Иронизируя над собой, он говорил: «Я стратосферщик и в науке — в абстракциях витаю, и в фотографии — облака ловлю в объектив!» Вот и в этот раз, подумав, что стоило бы что-нибудь такое снять, пополнить свою коллекцию каким-нибудь причудливым облачком, вольно гуляющим по небосклону, словно дитя в хорошую погоду, он прильнул к окну, изготавливая фотоаппарат. Ничего достойного, к сожа-

лению, не обнаружилось, небо вокруг было чистое, лишь несколько бродячих тучек слонялись далеко внизу.

И тут, на развороте самолета по курсу, он вдруг увидел с накренившегося борта большое стадо плывущих в океане китов. Он увидел их настолько отчетливо, настолько едино-объемно в пространстве и движении, это было столь ошеломительно, что дух захватило. А ведь они, киты, ему часто снились. Да, снились смутными видениями, плывущими в океане. И, вроде бы, звали его с собой. И вот теперь киты наяву. Невероятное зрелище! Киты плыли клином, как журавли в небе. Голов двадцать. Самолет выровнялся, но киты внизу были еще видны. Могуче вспарывая волны, извергая бушующие над головами фонтаны брызг, то погружаясь в пучину, то вновь всплывая гороподобными телами, они шли в единой устремленности, не отклоняясь и не нарушая сложившегося хода.

Забыв обо всем, увлеченный силой и волей движения китового стада, Роберт Борк вдруг представил себе, что и сам он плывет в этом гигантском заплыве, среди китов, что он киточеловек, что вода стекает сверкающими потоками с его спины, как грозовой ливень с холма. И он плыл в бушующем океане, понимая проснувшимся вдруг чутьем издонным, что отныне будет связан с китами до конца дней своих; и открылась в душе его тайная суть этой встречи: то, что постигнет китов, постигнет и его, то, что произойдет с ним, произойдет и с китами...

Стало быть, снились они ему не случайно? Нет, совсем не случайно. Но куда они плыли в этот час так поспешно? Куда они звали его с собой, с каким умыслом? Совсем не уверенный, что что-нибудь получится на таком расстоянии, он все-таки щелкнул фотоаппаратом.

В следующее мгновение он выхватил из выемки кресла трубку авиателефона — позвонить домой. Быстро набирая на телефонном табло банковский счет, код города, номер домашнего телефона, он сбился на какой-то цифре, снова начал набор. Ему необходимо было рассказать жене о том, что он видит. Он был в таком состоянии, когда человек не может молчать, не может с кем-то не поделиться. «Ну что же Джесси так долго не снимает трубку?! Где она? Может быть, выехала? Едет встречать, так рано? Надо позвонить в машину!» Именно ей, жене, спешил он рассказать об увиденных китах, точно не мог сделать это по приезде. Недаром близкие друзья посмеивались над Футурологом — он даже во сне ей верен.

А киты в океане уже скрывались, уже исчезали из виду...

— Джесси! — вскричал он, когда та откликнулась в трубку.— Помнишь, я говорил тебе, что мне снились киты?!

— Да, а что? Что с тобой? Где ты?

— Я только что видел их! Я встретил китов в океане! Ты понимаешь, это было, это было что-то грандиозное, такого я никогда в жизни не видел... Это...

— Постой, постой, что ты так возбужден? Ради Бога успокойся... Расскажешь потом, дома. Киты!.. Тут у нас такое творится, что и не знаю, что тебе сказать! Все в шоке. Все читают «Трибюн»! Есть у вас в салоне газеты сегодняшние? Хотя, конечно, откуда... Пока вы летите, тут такое творится! Это экстренный выпуск «Трибюн», о нем только что объявили по радио и телевидению... Все кинулись читать...

— А что такое? Политическая сенсация?

— Да нет. Если бы! Я не знаю, как тебе объяснить. Я еще читаю. Это — совсем иное.

— Но все-таки о чем речь? Что это?

— Послание космического монаха папе римскому! А вообще-то обращение ко всем, ко всем людям...

— Что-что? Что это за космический монах? Не смеши, пожалуйста. Разве существует институт космических монахов?

— Я не могу объяснить. Это огромный материал. Все читают.

— О чем это послание? В чем его суть? Ну, в двух словах!

— Этот космический монах утверждает, что он совершил великое научное открытие. Получается, что люди теперь, вроде бы, сами смогут решать, рождаться им на свет или нет.

— Да ты что, Джесси?! — Футуролог опешил.— Ничего не понимаю. Бред какой-то. Как можно подобное утверждать?! А где же Бог?

— Не знаю. Возможно, и Бог согласен с этим.

— Ничего себе! Что ты говоришь?! Ты понимаешь, что ты говоришь?! Что там у вас творится?

— Приедешь — прочтешь. Все звонят друг другу... Все в растерянности, многие так возмущены, что готовы стереть «Трибюн» с лица земли. Друзья говорят, что именно ты должен высказаться. Разобраться, сказать, что все это значит и что будет дальше...

— А кто он, этот космический монах? Кто-нибудь из астронавтов, спятивших на орбите?

— Да это тот самый невозвращенец, помнишь, промелькнуло как-то в печати, что один член экипажа космической научной станции отказался возвращаться на Землю?

— Помню, конечно. Писали, что он русский, летал с американцем и японцем. Не помню только, как его зовут.

— В послании он именует себя монахом Филофеем.

— Филофей? Это его настоящее имя?

— Не знаю.

— Это русское имя. От русских сейчас всего можно ожидать. Они такого навидались на своем веку... Отшельник, стало быть, уединился в космическом скиту и кидает оттуда идеи?! Это ново!..

## II

### *ПАПЕ РИМСКОМУ!*

*Ваше Святейшество, прежде чем извиниться за беспокойство, причиняемое Вам из столь отдаленных мест во Вселенной — с околоземной орбиты, где я нахожусь в экспедиции на космической научно-исследовательской станции вот уже третий год, мысленно преклоняю перед Вами колени, святой отец, и истово целую Вашу руку. Простите грешную душу мою и, если сочтете возможным, выслушайте мои, могущие показаться на первый взгляд абсолютно абсурдными, более того, вредными — с точки зрения нравственно-исторического опыта — выводы из практических наблюдений и идеи, кровно выстраданные мною, быть может, по воле и внушению — осмелюсь предположить — самого Провидения. Иначе я не стал бы тревожить Вас, святой отец, прекрасно понимая, сколь большой дерзостью выглядит мое обращение к Вам. Надеюсь, однако, что в контексте письма мотивы моего обращения станут понятны.*

*Итак, начну сразу с сути. Судьбе угодно было сподвигнуть мою скромную особу на познание прежде неведомого свойства зарождающегося духа — рефлексии человеческого эмбриона, открытие и осознание существования которой, весьма возможно, приблизит нас к таинствам Божественного Промысла. Мне выпала удача экспериментально выявить скрытую до сего эту рефлексию, и я рассматриваю это как новый шанс совершенствования эволюции рода человеческого.*

*И потому покорно прошу Вас, святой отец, выслушать меня.*

*Повторяю, мне удалось совершить величайшее открытие, последствия которого, несомненно, скажутся на дальнейшей*

жизни человечества. Я вынужден говорить о себе подобным образом потому, что никто другой пока не в состоянии оценить того, что достигнуто, поскольку никто не имеет представления о характере открытия, не имеющего каких-либо аналогов.

Я утверждаю, что в первые недели внутриутробного развития человеческий зародыш способен интуитивно предугадывать то, что ожидает его в грядущей жизни, и проявить свое отношение к потенциальной судьбе. Если это отношение негативно, у эмбрионов возникает сопротивление грядущему появлению на свет Божий.

Многу выявлен знак-сигнал, которым эмбрион выражает это свое негативное отношение к рождению. Этот знак-сигнал проявляется в виде небольшого пигментного пятна на лбу у женщины, вынашивающей такой плод. Я назвал это пятно тавром Кассандры, а зародыш, подающий негативные сигналы, — кассандро-эмбрионом.

Поразительная способность проявлять свое отношение к грядущему и подавать сигналы бедствия свойственна человеческому эмбриону лишь в первые недели после зачатия. Затем эта способность угасает, что связано с тем, что плод постепенно примиряется с ожидающей его неизбежностью.

Неприятие кассандро-эмбрионом предстоящей жизни, безусловно, имело место на протяжении всего бытия человеческого. Но никто никогда не придавал, да и сейчас не придает значения пигментному пятнышку на лбу у некоторых беременных женщин. Я не только расшифровал значение подобного пятна, но и нашел способ более явственно выявлять его, делать его более заметным. Для этого я провожу сеансы облучения, посылаю на Землю из космоса зондаж-лучи. Направленные с орбитального модуля, они усиливают импульсы кассандро-эмбриона в чреве матери. И небольшое пигментное пятнышко, которое раньше люди принимали за прыщик, под воздействием зондаж-лучей начинает пульсировать и мерцать. Зондаж-лучи незримы в атмосфере и совершенно безвредны для организма. Они направляются мною из космоса практически на все континенты, на всю планету. Цель этого облучения — тотальное выявление кассандро-эмбрионов. Идет «космический опрос» эмбрионов. Суть того, что сообщает кассандро-эмбрион, можно передать примерно так: «Будь на то моя воля, я предпочел бы не родиться. В ответ на ваш запрос я посылаю сигналы, которые вы можете разгадать как предчувствие рока, беды, ожидающей меня, а значит, и моих близких, в будущем. И если вы эти сигналы разгадаете, то знайте, я, кассандро-эмб-

*рион, предпочитаю исчезнуть, не родившись, не принося никому лишних тягот. Вы запрашиваете — я отвечаю: я не хочу жить. Но если, невзирая на мою волю, меня принудят родиться на свет, я приму судьбу такой, какой она мне выпала, как и все люди во все времена. Как быть, решайте сами, и прежде всего зачавшая меня мать. Но сначала постарайтесь меня услышать и понять. Я— кассандро-эмбрион! Пока еще не поздно распрощаться со мной, и я к этому готов. Я, кассандро-эмбрион, буду много дней давать о себе знать, я, кассандро-эмбрион, буду посылать вам свои сигналы. Я, кассандро-эмбрион, не хочу родиться, не хочу, не хочу, не хочу... Я — кассандро-эмбрион!»*

*Разумеется, такая интерпретация сигнала кассандро-эмбриона в каждом отдельном случае никого ни к чему не обязывает. Мерцающее на челе забеременевшей женщины тавро Кассандры вскоре потускнеет и исчезнет бесследно. И все забудется, если пожелать забыть, если пожать плечами и потом ни о чем не думать...*

*Но наука не может пожать плечами. Статистические данные, полученные на космическом компьютере, свидетельствуют о том, что количество кассандро-эмбрионов с каждым годом возрастает.*

*Чем вызвано такое нарастание незримого бедствия — готовности эмбрионов уклониться от потока жизни, исчезнуть в небытии, не вступать в борьбу за существование — и что оно предвещает? Есть ли смысл извлекать уроки, собственно, из мистической стихии, лежащей за пределами нашего обыденного опыта? И если да, то правомерно ли экстраполировать страх едва зародившегося организма на реальную жизнь вовне? И не эта ли жизнь и является первопричиной апокалиптического самоощущения плода в материнском лоне? Мать — это слепок мира. Не становится ли она, мать, невольным проводником фатальных влияний окружающей действительности на плод?*

*Все эти вопросы требуют ответа.*

*Но прежде чем продолжить, я попытаюсь объяснить, почему я обращаюсь в данной ситуации именно к Вам, Ваше Святейшество, к главе римско-католической церкви.*

*Побудило меня обратиться к Вашей равноапостольской особе не только то, что Вы наместник Иисуса Христа, преемник св. Петра, что Вы обладаете в силу этого мировым авторитетом, это само собой, но и то, что Ваша личность интегрирует в себе нравственные убеждения и духовные ценнос-*

ти огромного числа людей, населяющих Землю. И, обращаясь к Вам, я обращаюсь ко всем современникам своим и, кто знает, возможно, и к потомкам нашим.

Разумеется, Вы вправе считать мое обращение неуместным, дерзким и прочее и прочее, но в любом случае рассмотрение затронутой выше проблемы «эмбрионального пессимизма» невольно коснется чувствительной темы католического видения чудесного проявления Божественной воли — таинства рождения...

Я не католик, но это обстоятельство нисколько не умаляет моего искреннего уважения к католической вере. В моем представлении любая религия, не закосневшая в упоении собственной исключительностью, может служить резонатором для множества голосов, как небо служит простором для полета разных птиц... Окажись я в этом смысле птицей перелетной над католическим небосклоном, был бы счастлив...

Да, я всегда разделял в душе католические нравственно-этические догматы, находя в них общеприемлемые для всех нормы, наилучшим образом отвечающие логике жизни и в силу этого обладающие универсальной значимостью. В особенности когда речь идет о том, что постоянно терзает наши души сомнениями и муками, — о проблеме абортот. Не эта ли радикальная акция, ставшая столь же банальным делом, как открывание консервной банки, оборачивается для нас всякий раз мучительной наглядностью судьбы — так несложно, так просто, значит, решается, быть или не быть человеку! Родиться или не родиться, жить или не жить ему! Все зависит от разного рода привходящих причин, от превратностей, подчас сугубо житейских. И — говорят многие — при чем тут Бог? Бог тут ни при чем. Бог дал начало благословенной жизни. А дальше все решаем мы сами, люди, имеющие право сохранить или, напротив, уничтожить завязь. На этом многолюдном «толковище» неутихающих споров позиция католической церкви, отстаивающей безусловный запрет абортов, мне представляется наиболее верной, я бы сказал, соответствующей изначальному устройству жизни, какова она от сотворения, ибо в каждом крохотном зародыше, в каждом возобновляющемся варианте заключен неповторяющийся шифр движения вечности, каждое зародившееся существо закодировано в чередности времен с последующим воспроизведением себе подобного, и все это изначально заложено Творцом в конструкции мироздания...

Да, потому и хочется напомнить вслед за католиками, что аборт означает прямое разрушение Божественного замысла.

Много раз сказано о том, что аборт — насильственный акт, равносильный умышленному убийству, что аборт находится в прямом противоречии с первозаповедью «Не убий!», с библейским благословением «Плодитесь и размножайтесь!».

Все это, разумеется, так. Но есть ведь и другая позиция. Разве не раздаются повсеместно голоса, призывающие не вмешиваться в решение зачавшей женщины, а то и прямо агитирующие — якобы в интересах личности и общества — прибегать к абортам без лишних сомнений... И трудно возразить что-либо, когда будущая участь еще только зачатого существа заранее обусловлена поджидующими его в мире невзгодами — беспросветной нищетой и болезнями, насилием, пороками и унижениями... И потому категоричные транспаранты над головами участниц женских шествий, вроде «Мой живот — мой!», что означает попросту: «И катитесь все от меня по-дальше!» — мало кого шокируют, как мало кого отвращают циничные заявления спившихся женщин на сносках, что, мол, выпью еще, а завтра выкину из себя эту гадость, тунеядца, и буду гулять, буду шиковать, и никаких проблем... И что мне ваш Бог, и что мне ваш грех?! Да плевать мне на все, коли на меня все плюют!.. Будущего человека выкидывают в момент, как некий отброс... И тому находятся многочисленные оправдания, не лишённые самой жестокой логичности.

Массовые выступления против деторождения повсюду множатся, заявляя о себе самым вызывающим образом, напирая декларациями в парламентах, шумя в феминистских движениях, на площадях и улицах, в толпах... Во многих странах свобода от продолжения рода не только затребована, но и вырвана. Не тупик ли это жизни?

И в то же время наглядна жуткая участь беременных женщин, бросаемых повсюду на произвол судьбы. Кому нужны вынашиваемые ими дети? Так думают многие, очень многие и в пустынях Африки, и на улицах сверкающих городов. Все больше углубляется пропасть между необходимостью и возможностью. И в то же время... И в то же время не утихают в нас сомнения и терзания — так ли мы живем, все ли делаем, чтобы не пресекался род человеческий?

Но сколько же можно в самоистязаниях мысленных жалобно сетовать и беспомощно вопрошать — остановить ли нам продление потомства, поскольку счастья на Земле не находим, или перекинуться на другие планеты, если бы вышла на то соответствующая Санкция? Настолько все безысходно!

Обо всем этом много толковалось, и много истрчено поле-



мического пыла, и все уже пресыщены мазохизмом, я же вынужден говорить об этом заново, точно я действительно свалился с Луны. Я вынужден обращаться через Вас к человечеству, потому что на всех обрушилась новая, неведомая прежде беда: мы узнали, что эмбрионы взывают к нам, и теперь нельзя не думать об этом!

Возможно, это не только беда, а и новое испытание духа, ниспосланное нам свыше в провиденье дальнейшего пути рода человеческого. Но куда выйдем мы на пути этом неизведанном? Что ждет нас впереди? Куда нам деться от гласа кассандро-эмбрионов, говорящих в нас о нас?

Открылась бездна, о которой мы не подозревали. Наступил срок мировой... Будем ли мы жить вне истины?

Именно поэтому я обращаюсь к Вам, святой отец, с этим посланием, чтобы вы могли, если сочтете нужным, со всей определенностью оценить открытое мною явление, для человечества столь же неожиданное, как если бы в небе появилось вдруг из глубин Вселенной второе солнце рядом с первым...

Я в большом смятении. Оптическое оборудование станции сближает меня с Землей, казалось бы, настолько, что расстояние почти не играет роли в восприятии земной действительности, и все же физически — я в космосе. И как бы мне хотелось в этот момент внезапного осознания человечеством подлинного положения вещей находиться непосредственно на Земле нашей грешной, среди людей. Но мой долг — находиться на посту. Я обязан быть на орбите, на научной станции, поскольку я, космический монах Филофей, несу полную ответственность за свои действия, а именно — за неуклонно и систематически проводимые мной сеансы облучения зондаж-лучами, направленные на выявление флюидов кассандро-эмбрионов. Метод этого, провоцирующего появление тавра Кассандры облучения, разработанный мной, целиком на моей совести.

И я очень обеспокоен возможной реакцией землян. Люди еще никогда не сталкивались с такого рода безопасционным вызовом. И люди столкнутся с собой внутри себя...

Я боюсь за психическое состояние людей. Я боюсь, что, когда они узнают, что означает эта крохотная точка мерцающего эпителия на лбу у будущих матерей, это обернется для всех великим шоком.

В минуты слабости я мысленно взываю к Богу, плача и сетуя, что именно мне суждено было первым понять тайну эсхато-эмбрионов, распознать знак Кассандры, сей проклятый знак беды, затаявшейся в генетическом подполье и лишь

теперь обнаруженной. Даже Фауст, заглянувший в глаза изощренной дьявольщине, и тот не позавидовал бы мне. Я прошу Господа сжалиться надо мной, освободить меня, слабого человека, от непосильного груза. Никому и никогда такого не выпадало. Но почему же именно я?..

Никто и ничто не принуждает меня к тому, что я совершаю сейчас, обращаясь к Вам, Ваше Святейшество! Может быть, стоило бы мне умолчать, унести с собой в могилу эту открывшуюся мне тайну? Поступи я так, кто был знал о ней, кто бы мог бросить мне укор и обвинения?..

Так зачем же я несу эту неслыханную ересь людям? Не затем же, чтобы породить бессмысленный переворот в умах, анархию и смуту духа, чтобы искалечить семьи, посеять тяжкие сомнения в каждом, кто призадумается и ужаснется — есть ли смысл в продолжении бытия в потомках, а стало быть, и в самой юдоли земной? Как быть дальше? Чем компенсировать утрату незыблемости устройства жизни, унаследованного еще от Адама и Евы?

Много раз спрашивал я себя и много раз отвечал себе... Ни при каких обстоятельствах, ни из каких соображений не имею я права умалчивать о том, что открылось мне в скрытой эмбриональной стихии, — ведь, повторяю, число кассандро-эмбрионов непрерывно растет. Причина этого — в эскалации в подкорке мирового сознания ощущения порочности и гибельности вечно экстремального людского бытия. Тавро Кассандры — закадровый голос эмбрионального эсхата, напряженно и отчаянно ожидающего уже в утробе матери приближения конца света. Это убивает в нем естественную тягу к жизни.

И разве можно теперь, в наши дни, в условиях постиндустриального общества, скрывать от мира подобное положение вещей?! Нет, безусловно, такое сокрытие было бы преступлением против человечества, против самих себя.

Мы находимся в преддверии нового скачка нашего самосознания, ибо отныне мы, как бы ни хотели, не сможем закрывать глаза на тот факт, что эмбрион не безучастен к тому, в какой генетической ойкумене он возникает в качестве будущей личности, то есть каковы мы: мы — жизнеобразующее начало, мы — эпоха, мы — личности. Он тревожно глядит в перископ своей судьбы — зазеркальной подводной лодки, носимой в зазеркальном море будущей жизни. А не стоит ли нам самим взглядеться в этот перископ кассандро-эмбриона? Не мы ли сами причина сокрушающих нас штормов?

Страшусь думать: не есть ли кассандро-эмбрион проявле-

ние нашего самоотречения от своей предназначенности в мире? Как же могли мы, по идее богоподобные существа, доткаться до такого состояния? Сколь же надо было «преуспеть» людям, в какого свойства делах и мыслях, чтобы подвести эволюцию к подобным апокалиптическим сдвигам уже на стадии зародыша!

В этом факте дает о себе знать все то, что годами, веками накапливалось, суммировалось в генах, как в компьютерной памяти. Сегодня нам дано обнаружить экранное отражение этой рефлексии эмбриона — тавро Кассандры. И велением судьбы именно я посылаю из космоса выявляющие это тавро зондаж-лучи. И потому слово сегодня за мной. И я, космический монах Филофей, хочу высказаться до конца. Это мой долг.

*Позвольте, Ваше Святейшество, принося извинения за злоупотребление Вашим временем, продолжить свое, возможно, излишне многословное послание.*

Как же нам быть дальше, зная, что являет собой тавро Кассандры? Чтобы понять это, надо, наконец, открыто признать: зло, совершенное субъектом, не уходит физически вместе с ним, с кончиной его века, а остается в генетическом лесу фатальным семенем, ожидая вероятного часа икс, когда оно даст о себе знать подобно mine замедленного действия.

Кстати, о mine замедленного действия, уже реальной, а не в переносном смысле. Происходило это в Афганистане, когда туда был брошен так называемый ограниченный контингент советских войск. Политическая подоплека недавних событий достаточно хорошо известна, а я веду речь конкретно о том, как устраивались воюющими пришельцами так называемые «трупные» ловушки. Тело врага подбрасывали в окрестностях его селения, где-нибудь поблизости от дороги, на приметном месте, подложив под убитого специальную мину на боевом взводе. Сами же «контингенички» залегали в засаде с кинокамерой, чтобы заснять то, что произойдет. Стоило людям кинуться к убитому, чтобы унести труп для погребения, как раздавался взрыв и пришедших убивало на месте. А на пленке высокой чувствительности запечатлевались со всеми подробностями последние мгновения... Вот к убитому афганцу подбегает жена. Соседи пытаются удержать ее, но она в слезах, с криком кидается к трупу мужа, и мощный взрыв накрывает ее и пришедших с ней. И не стало людей. И все подробно заснято. А в другом кадре — перепуганные дети. Они бегут с

плачем к распростертому на земле отцу, и снова взрыв раскидывает окровавленные тела по сторонам... Случайный путник, не посмеявший равнодушно проследовать мимо убитого при дороге. Слезает с седла, склоняется, переворачивает убитого за плечо, чтобы глянуть, кто бы это мог быть, и снова ослепительный взрыв. И снова смерть. И лошадь с раскрытым черепом убегает прочь нелепым скачем, потом валится с ног, дергается судорожно, хрипит. И все это снято... Таким образом фиксировались наиболее выразительные из операций по устройству «трупных» ловушек. И то, что было таким способом запечатлено, засчитывалось как выполненное боевое задание и где-то в штабах оценивалось соответствующим образом. Как-ие-то люди, просматривавшие пленку, видели в этих эпизодах воплощение своих указаний и целей. Но кто они, с профессиональным удовлетворением следившие за событиями на экране? И те, кто преступно подстраивал такие ловушки смерти, тщательно фиксируя результаты своей работы на кинопленке, кто же они, откуда они? Их родословная неизвестна, их предков не сыскать. Остается только гадать по следам, уходящим в туманную размытость минувшего.

И напрашивается вопрос — откуда они, вечно живущие впрок и всегда в пику самому Господу, на которого мы, злоупотребляя Его неиссякаемой милостью, неизменно полагаемся как на высший гарант, вознося в душе молитвы в надеждах, — так вот откуда они, те, от кого тянется неистребимый генетический задел стартующих в нас злодеяний? Откуда? От кого они сами?! Риторический, разумеется, вопрос... Но от этого не легче. Откуда все это тянется? То ли от первобытного пращура, сжигавшего в пещере заживо замурованных, то ли от сладострастного маньяка, вымещавшего свою садистскую патологию на муках задушенной жертвы, то ли еще от кого-то, да мало ли от кого в той сатанинской бездне мрака и жестокостей, накопленных за тысячелетия; и как не вспомнить в этом вековечном списке о тех, кто был палачом у подножья восседавшего на троне такого же палача, или о тех, уже знакомых нам по опыту, одержимо-яростных глашатаях в стаях партийных, кто клекотал с балконов и трибун, возжигая революции и войны с тем большим остервенением, чем слаще предвкушал чудовищно, эротически желанную власть.

Кровь и власть — вот тот гумус, на котором семена зла всходят вовеки... Зло сменяется злом, оставляя семена для следующего зла...

Так стоит ли ходить по дебрям прошлого с факелом, высвечивая мертвенные лики, когда в памяти многих еще жива эпоха, способная сказать нам немало в этом смысле, — эпоха Сталин-Гитлера, или же, наоборот, Гитлер-Сталина. Двухединная сущность их стоила человечеству столько крови, что мировая статистика все еще, спустя многие десятилетия, не может подытожить истинное число жертв, вовлеченных в их междоусобную войну, кровавую, мировую, когда сцепились в противоборстве не на жизнь, а на смерть две головы физиологически единого чудовища. Мог ли быть фашизм без большевизма? Мог ли быть Гитлер без Сталина и наоборот? Леденеет кровь живущих в XX веке при мысли о разнорожденных, но единокрестившихся в карме преисподней Сталин-Гитлере и Гитлер-Сталине.

И кто знает, не пытался ли в свое время кассандро-эмбрион, которому грозило явиться на свет то ли Гитлером, то ли Сталиным, не пытался ли он, несчастный зачаток будущего некрофила, оповестить внешний мир и прежде всего вынашивавшую его во чреве мать, о своем предощущении будущего через тавро Кассандры, не испытывал ли он инстинктивного содрогания, желая уклониться от той зловещей роли, которая ему предстояла?!

Трудно сказать, что было бы, не появившись они на свет... В таких случаях обычно говорят — историю не переделаешь. И, однако, обречена ли она была развиваться непременно по кровавой кривой, вычерченной Гитлером и Сталиным для восхождения на кровавую вершину жестокости и античеловечности, не виданных ни в какие предыдущие времена? Эти двое побратимов во зле сумели столкнуть миллионы людей между собой и, в конечном счете, человечество с самим собой, как если бы население планеты той поры поставило себе целью самоликвидироваться, самоуничтожиться, исчезнуть навсегда, продемонстрировав напоследок бездну человеконенавистнических деяний. И если не вдаваться во все причины, приведшие историю к такому кромешному исходу, стоит подумать над тем, насколько соответствующими оказались для успешной реализации зловещего тиранического комплекса, безусловно, депонированного в наследственности субъектов, о коих идет речь, тогдашние люди, тогдашнее мировое сознание, вскормившее и взлелеявшее сталинизм и гитлеризм себе же на беду.

Те воды утекли. Никто не скажет, какие невосполнимые шансы прогресса и благоденствия были упущены историей, сколько людского горя, скольких несчастий можно было бы избежать, предотвратить в истоках, обладай люди научным

методом провиденья и, в частности, знай они о кассандро-эмбрионах, подающих сигналы через тавро Кассандры. Увы, о том, что таится в собственной генетической структуре, человечество узнало слишком поздно...

Но вот сказано новое слово на пути познания трансцендентальных способностей эмбрионов. Ожидают ли нас вслед за этими открытиями чудеса? Нет. Никому не изменить изначально предпосланных человечеству энергии Добра и, наряду с ней и вопреки ей, — энергии Зла. Они равные величины. Но человеку даны преимущества разума, заключающего в себе неисчерпаемое движение вечности, и, если человек хочет выжить, если он хочет достичь вершин цивилизации, ему необходимо побеждать в себе Зло. Ведь вся жизнь людей протекает в беспрестанных к тому попытках, и в том главное наше предназначение.

Вот приоткрылась неизвестная прежде тайна, существующая в нас самих. Кто скажет, не совершен ли в данном случае колоссальный прорыв в ранее незатребованные пределы живого духа? Не обнаружены ли новые кванты внутреннего мира?

Так ли это или нет — трудно сказать, но я хотел бы еще раз обратить внимание общества на то, что открытие кассандро-эмбрионов приносит в нашу жизнь ряд новых проблем, с которыми мы никогда не сталкивались.

Кто скажет, как следует относиться к сигналу кассандро-эмбриона? Как вести себя родителям? Придавать ли тавру Кассандры фатальное значение? Или, напротив, выкинуть из головы? Махнуть рукой, благо, через недели две странная точечка, тихо мерцавшая особенно заметно по ночам, когда зачавшая мирно спит, исчезнет, угаснет сама по себе, и все, Бог даст, забудется.

Да, можно, наверное, и так. И все равно невольно вспомнится родителям об этом, когда новорожденный появится на свет в положенный срок, вспомнится. И в дальнейшем, не исключено, припомнится; возможны различные критические ситуации в детстве, в судьбе матери, в жизни семьи, и всякий раз сердце будет больно сжиматься от напоминаний непрошенных, и будут являться всякие мысли о том эфемерном пятнышке, порождая неизбежные вопросы. Странно, мол, подумается, почему этот знак коснулся только их дитя, ее дитя. Был ли подобный знак у других матерей, а если был, то так же ли скрывают они это от всех и от себя, стараются не вспоминать, забыть как нечто мистическое? А что если каким-то образом и ребенок подзревает об этом, пусть это

таится лишь в его подсознании, смутно, как зыбкий сон, и вообще, отражается ли это как-то на его психике?

Но ведь это только первая волна вопросов и сомнений. На дальнем горизонте их куда больше, и они куда сложнее. Разве не подумают родители при этом о себе, о своей прямой или косвенной вине? Может быть, они, она, он во всем были виноваты? И это самое тяжкое, поскольку самообвинения всегда гипертрофированы. И тут неизбежно возникает мучительный вопрос, что именно могло повлиять, чем объяснить, что именно их плод подавал сигналы бедствия, — вот о чем будут думать родители. И нетрудно представить себе, как они обреченно будут включать в круг всевозможных факторов, воздействовавших каким-то образом на эмбриона, не только себя как биологических зачинателей, но и все, с чем связан их быт, их жизнь в обществе: их социальное положение, претензии, амбиции, убеждения — все, что обуславливает, формирует и сотрясает жизнь человека, со всеми вытекающими отсюда житейскими понятиями — что справедливо, что несправедливо, что хорошо, что плохо и т. д.

Подобная взаимосвязанность самых различных проявлений бытия следует из того, что зарождение плода есть центральное событие в Пространстве и Времени, это завязь истории в архетипах природы.

Кассандро-эмбрион обладает необыкновенно обостренной интуицией, особым предощущением эпохи. Поэтому осмысление его импульсов — это прежде всего повод для нашего собственного осмысления мира, который мы хаотически сооружаем вовне и внутри себя. В этом смысле тавро Кассандры, возможно, открыто нам по замыслу Всевышнего как толчок к новому проникновению в суть действительности, к анализу прежде не доступного нам. И каждый волен делать выводы соответственно своим понятиям и устремлениям души.

Пользуясь этим правом в данном случае, говорю и я, космический монах Филофей, находясь на орбитальной станции и ведя отсюда свои наблюдения. Обращаюсь к землянам. Задумаемся ради искомого смысла жизни, дарованной нам Творцом, о том, что порождает эсхатологический комплекс у кассандро-эмбриона в его начальном приближении к миру, в котором мы живем.

Всякие предположения могут быть на этот счет. Есть они и у меня. Совершенное оборудование космической станции позволяет мне принимать телевизионные передачи, которые ведутся в разное время на разных континентах. Оптические приборы дают возможность видеть все на поверхности Земли

с разных точек и в разных ракурсах. У меня перед взором панорама повседневной жизни землян, более широкая, чем если бы я находился на Земле. Я не праздный наблюдатель, моя программа космически-земная, я — экспериментатор, взявший на себя, не побоюсь этого сказать, величайшую ответственность перед нынешним и будущим человечеством. И это не громкая фраза, так оно и есть. А потому я не могу позволить себе ни единого слова, не отвечающего, насколько мне дано судить, исчерпывающей истине. Я верю, что мои исследования направлены на предупреждение от рукотворного, творимого нами самими в душах наших конца света. Я пытаюсь сказать во всеулышание то, что не позволяют нам сказать самим себе вечно доминирующие над нами эгоизм и ханжество.

Я провожу эксперименты по системному выявлению тавра Кассандры, не оповещая об этом ничего не подозревающих женщин. Это все равно как если бы все попадали под один дождь. И хотя эти незримые зондаж-лучи совершенно безвредны для здоровья, всякий раз при мысли о том, что я причиняю людям душевную боль, мне становится не по себе.

Но я не могу избавить их от переживаний в тех случаях, когда в ответ на космический «запрос» будет иметь место явственная мета сигнальной реакции кассандро-эмбриона. Тут уж судьба, и от этого никуда не деться. Важно понимать, что судьба эта, будучи конкретно-индивидуальной, в то же время обнимает всех, все общество в целом, поскольку причины этой беды — мировые.

Хотим мы того или нет, кассандро-эмбрионы и тавро Кассандры — реальность. И потому я буду неуклонно продолжать свои космические исследования, о чем объявляю открыто, сострадая тем, кого это коснется или уже коснулось на Земле. Люди должны знать правду о себе. В этом мой долг перед Богом. Но здесь начинаются и мои адские тревоги, святой отец, о которых я не могу умолчать, и потому выношу их на общий суд.

Повторяю, я осознаю, что несу ответственность и перед кассандро-эмбрионом, тайну которого я открыл и разглашаю (но ведь он сам добивается разглашения!), и перед матерью, его зачавшей, ибо, не знай она значения тавра Кассандры, жила бы себе спокойно.

И даже сейчас, когда я набираю на компьютере вот эти живо бегущие строки, мне тяжело, мысль о том, имею ли я право поступать таким образом, мучает меня.

Я оглядываюсь в стенах орбитального корабля, отлетаю в невесомости подальше от компьютера, растерянно блуждаю



взором, как бы ища нечто такое, что отвлекло бы меня, сохранило бы мою внутреннюю уверенность в том, что я прав, сообщая о своем открытии миру, и взгляд мой падает на телеэкраны по обеим сторонам станционного корпуса. Все экраны светятся, живут, идут телепередачи из разных стран, на разных языках. Вот она, земная действительность, во всех своих ипостасях и неповторимой разности, от рекламы до спорта, от судебного репортажа до встречи в аэропорту официального лица и т. д. и т. п.

Среди всего этого глобального пейзажа мое внимание привлекает к себе экран, на котором какая-то шумная, назлектризованная уличная демонстрация. И почему-то полицейские, их немало, идут вместе с протестующими демонстрантами. Все улицы запружены, съемка ведется с разных точек, в том числе и с высоты, звучат взволнованные голоса. Голос репортера, передающего с места событий, голос диктора студии токут в уличном гуле и криках. Где это происходит? Кажется, в Италии. Так далеко и так близко — все рядом: блеск глаз, жестикующая, нервное выражение лиц. Да, это в Сицилии. Наспех написанные транспаранты над головами. Ну, конечно! Опять мафия! Опять террористы! На этот раз убит главный судья, вслед за прокурором! Коварно, наглядно и беспощадно. Дистанционно управляемым взрывом на проезжей части улицы все разнесено в клочья и сожжено — всё и все, кто оказался в тот роковой момент рядом, когда проезжали тут на автомобиле судья и его охранники. Сработано все «безупречно» и на виду у всех.

Демонстранты в отчаянии... Они прут рекой. Но против кого они выступают? Что может эта масса людей? Не найдутся ли сами мафиози среди демонстрантов, смеясь в душе над ними? Демонстрация схлынет через час-другой, а они останутся при своих интересах, называясь громко мафией, картелями, синдикатами и даже империями. Под их невидимым диктатом находятся уж целые страны, колонии мафии!..

Демонстранты идут... А над ними вдруг появляется стремительно летящий вертолет, густо разбрасывает листовки и тут же исчезает за крышами. Это происходит на моих глазах. Люди хватают листовки, падающие им на головы. На листовках изображена смерть — череп с костями... О смерти нагло уведомляет мафия. Всем смерть, всем, кто против мафии! Взрыв ревущего негодования сотрясает людей. На глазах у многих слезы. Я останавливаю взгляд на молодой женщине в полицейской форме, в берете, сбитом набок, с развязавшимся галстуком. Женщина-полицейский с видеорекамерой, судя по все-

му, ведет оперативную съемку. Она успела заснять вертолет. Хотя что это даст? Мафиози не так глупы — вертолет будет перекрашен, искрошен, все что угодно. Вот ее помощники с микрофонами. Они о чем-то быстро, возбужденно говорят. Я их понимаю. Сколько полицейских гибнет ежедневно в мире от рук мафии! И им это грозит. И ей тоже. Но что я вижу, на лбу ее обнаженном характерное пятнышко — тавро Кассандры! Да, как знал! Я приближаю и укрупняю этот кадр и убеждаюсь, что не ошибся. Боже мой, хотя ей, сотруднику полиции, сейчас не до этого, но знает ли она, что глубинное ее неприятие мира, против которого она сейчас вместе с демонстрантами протестует, передалось ее будущему ребенку. Вот он, сигнал бедствия на лбу ее. Да, это практический результат одного из моих орбитальных сеансов по выявлению ответной реакции кассандро-эмбрионов на зондаж-лучи.

И я думаю о том, что если этому или какому-либо иному кассандро-эмбриону суждено будет появиться на свет, то со временем именно он (или она) может оказаться одним из самых ужасных преступников.

Многим людям, всему обществу принесет он страдания и несчастья, пойдет на уголовные преступления по той, помимо всего прочего, причине, что в нем скажется подспудный комплекс врожденной мстительности — его вынудили родиться, его вынудили принять этот мир! Сам он впоследствии ничего не будет помнить о драматическом начале внутриутробной жизни своей, но комплекс мстительности даст опасные всходы. Хорошо, если повезет, если он, этот кассандроноворожденный, окажется впоследствии в такой среде, которая сможет интегрировать его негативный генетический задел, нейтрализовать его; в других же обстоятельствах для развития зла никаких усилий не потребуется, — так же как камень сам катится под гору, все больше набирая скорость, так и при этом исходе судьбы — все катится само собой.

Вслушиваясь в сигналы кассандро-эмбрионов, я думаю об их будущем и сострадаю им. То, что исходит от них, — это бумеранг, это мы сами, перевоплощенные в нашем непрерывном грехопадении в импульсы нарастающего страха. И потому эти сигналы — голоса кассандро-эмбрионов — должны быть услышаны на Земле, а смысл их взываний воспринят с пониманием.

Нет, это не сиюминутность, речь идет о вечности. Вечность вечна сама по себе, а человеку положено добиваться, продлевать кредит на вечность из рода в род единственным способом — нравственным самосовершенствованием. Про-

гресс — лишь техническое приложение к идее. Ядерное оружие в руках фанатичного диктатора, готовящегося уничтожить, если потребуется, весь мир, — яркая тому иллюстрация.

Будут ли земляне озабочены сигналами кассандро-эмбрионов, воспримут ли их как предвестие генетического заката и, стало быть, заката человеческой цивилизации?

Боюсь предсказывать. Боюсь, что сомнения и терзания замкнутся в пределах каждого частного случая и каждый знак Кассандры вызовет соответственно свою развязку, свой финал...

Опасаясь, что большинство женщин — и вряд ли мужьям станут им препятствовать — постараются побыстрее избавиться от такого не совсем обычного плода. Первое, что придет им на ум, — аборт как самый радикальный выход. И моральное оправдание тому, можно сказать, бесспорно — к чему, мол, плодить заведомо несчастных людей? Их и без того хватает на свете. И кто посмеет осудить их, прибегнувших к аборту?! Кто? Общество? История? Мораль? В истории общества — истоки зла, оседающего генетическим страхом, а мораль так часто уклончива перед циничным натиском действительности.

И вот тут, Ваше Святейшество, я считаю своим долгом уточнить свою позицию. Будучи убежденным сторонником католического запрета на аборт, я, тем не менее, не мог бы высказать категорического осуждения в адрес тех, кто, обнаружив тавро Кассандры, предпочтет прибегнуть к аборту, при том, кстати, что такой исход отвечал бы и стремлению самих кассандро-эмбрионов.

В результате мы сталкиваемся с чрезвычайно сложным противоречием. Радикальные действия (аборты) не решают, а скорей, напротив, усугубляют ключевые проблемы мирового сознания — остаются незатронутыми причины, порождающие эсхатологический комплекс у зародыша.

Вот череда невзгод, о которых не может не думать будущая мать:

- голод,
- трущобы,
- болезни и среди них СПИД,
- войны,
- экономические кризисы,
- социальные штормы,
- преступность,
- проституция,
- наркомания и наркомафия,
- межэтнические побоища,

- расизм,
- катастрофы экологические, энергетические,
- ядерные испытания,
- черные дыры и т.д. и т.д.

Все это рукотворно, все это порождено самими людьми. Масштабы бедствий людских приумножаются из поколения в поколение. И все мы в том соучаствуем. И вот, наконец, Провидение останавливает нас на краю бездны, дает о себе знать через тавро Кассандры...

Я еще раз заявляю, что мои космические исследования по выявлению сигналов кассандро-эмбрионов не преследуют никаких целей, кроме как помочь понять людям — дальше так жить нельзя, дальше грядет вырождение!

Только искоренение бед и пороков каждым человеком, начиная с себя, и всеми вместе, всем родом людским, может обновить перспективу жизни. Утопия? Опять утопия?! Нет, это не очередная утопия. Это стезя выживания духа живого, иного пути нет...

Верю, что найдутся мужественные люди, которые не отступят, не кинутся немедленно избавляться от кассандро-эмбрионов; этим людям фатальные сигналы скажут о многом: об ответственности всех и каждого за образ жизни, за судьбу потомков, о том, что предстоит невиданное борец человека с самим собой... Такие люди будут добиваться лучшей жизни.

В это я верю.

А теперь очень коротко о себе.

Разумеется, никто меня не постригал в монахи, я самозванный, иначе говоря, условный космический монах, и имя условное я себе выбрал сам, нарек себя Филофеем, были монахи с таким именем на Руси. Я сам избрал для себя отшельническую жизнь в космическом скиту. Когда наш международный экипаж — американец, японец и я (до недавнего времени советский ученый и научный руководитель космической лаборатории) — завершив свою программу, должен был возвращаться на Землю, я отказался покидать орбитальную станцию, перейти в прибывший за нами многоразовый космический «челнок». Я сделал заявление на этот счет и настаивал на свободе личного выбора. Держа опасную бритву у горла, я вынудил моих коллег оставить меня в покое. И добился своего...

Вот уже пятый месяц, сто тридцать седьмой день, нахожусь я в полном одиночестве на орбите, проводя свои исследо-

вания. Запасы жизнеобеспечения на станции позволяют мне находиться здесь еще очень долго. И если верно, что нет худа без добра, то это относится и к моему случаю. Распад советской империи, от чего больно содрогнулся весь мир, оказался мне на руку. В хаосе событий бывшие советские наземные службы забыли обо мне и об орбитальной станции, именовавшейся прежде «Восход-27». Боюсь, что не скоро вспомнят, боюсь, им не до меня, боюсь, что они, возможно, будут еще долго заняты нелепым дележом космического имущества между новыми государствами, возможно, попытаются разделить и орбитальную станцию, на которой я обосновался, а возможно, будут делить и сам космос... Но это их дело. Я сделал свой выбор и выполняю свой долг. Я буду опрашивать человечество — выявлять сигналы кассандро-эмбрионов — до последнего часа своего...

На Земле меня никто не ждет. Никого у меня нет на свете. Сам я подкидыш, воспитывался в детдоме. Подбросить младенца на крыльцо детдома мою мать, судя по всему, вынудили крайние обстоятельства. О том, как складывалась моя жизнь, что побудило меня отправиться в космос, сейчас рассказывать не буду — это особая тема, особый рассказ.

Ваше Святейшество, еще раз преклоняю голову перед Вашим светлым Ликом. Не обессудьте. Единственное, чего я хочу, обращаясь через Вас к людям, — чтобы они знали истину.  
Филофей, космический монах.  
В миру — Андрей Крыльцов.

К тексту послания папе римскому, переданного с орбитального компьютера, была приложена записка, адресованная редакции газеты «Трибюн»:

*«Уважаемый редактор!*

*В соответствии с нашей договоренностью предоставляю редакции «Трибюн» эксклюзивное право на публикацию послания.*

*Я прекрасно понимаю, какую тяжкую ношу берет на себя «Трибюн», решившись на такой шаг. Ценю Ваше мужество.*

*Был бы признателен, если бы редакция передавала мне наиболее интересные отклики на мое обращение. Мне необходимо иметь представление о реакции землян.*

*С благодарностью*

*Филофей, космический монах,  
орбитальная станция РХ».*

## III

Ему опять снились киты. Он долго плыл среди них в океане. Он смотрел им в глаза, заливаемые волнами, и понимал выражение китовых глаз. Он и сам был китом. И плыли они клином, как тогда, когда он увидел их с самолета. Необъяснимая сила влекла их вперед, к черте горизонта, словно там что-то ждало их. Горизонт удалялся, а они все плыли, рассекая волны могучими телами. Вода в океане становилась все горячее. Накаты волн обжигали. И чем дальше, тем трудней и страшней было плыть в горячих волнах. И он увидел и понял вдруг, почему так нестерпимо закипал океан. Над океаном появилось сразу два солнца. Два огненных багрово-коричневых шара жарко пылали в небе, как спаренные прожектора. И какое солнце было истинным, вечным, а какое — откуда-то приблудшим, но, может быть, соперничающим с настоящим, трудно было понять. Он сильно перепугался. И стал кричать рядом плывущим китам: «Смотрите, смотрите, киты, братья мои! Два солнца в небе! Сразу два солнца! Вы слышите? Это плохо! Океан вскипит, и мы погибнем! Два солнца — страшно!»

Роберт Борк еще долго кричал в бушующем океане среди мечущихся китов и проснулся в горячем поту, с оглушительно бьющимся сердцем, отдающимся эхом в ушах. И не сразу поверил, пока приходил в себя, что это был сон. Два солнца, ослепительно пылавшие над океаном, запечатлелись так, точно он видел их наяву. Киты ему снились не раз, но чтобы такое, чтобы два солнца изжигали сверху! Жутко, жутко!..

И тут он понял, откуда явилось во сне второе солнце. Осенило тревожно и ясно. И удивился даже, что не сразу сообразил. «Надо же!» — усмехнулся Футуролог и глянул на часы у зеркала. Был уже седьмой час утра. Жена еще спала в соседней комнате.

Борк вышел на открытую веранду, где обычно делал утреннюю зарядку. Но в этот раз мысли были отвлечены другим. И все, что окружало его в их загородном доме, утратило для него обычный интерес. Даже каменный сад на площадке возле бассейна, любовно устроенный по японскому образцу (хотелось верить — согласно расположению звезд), где по утрам Футуролог любил — по слухам, распространяемым Джесси комически-ужасным шепотком, — колдовать, а по его словам, вычерчивать на песке магические знаки, се-

годня был начисто забыт. Не до забав было сегодня. Предстояло просмотреть всю прессу, а ее было навалом, предстояло звонить разным лицам по разным вопросам — ухватывать ситуацию на лету.

Страсти по поводу кассандро-эмбрионов уже поднимались повсюду. В том, что этого следовало ожидать, Роберт Боркнисколько не сомневался. Сам он испытывал прилив будоражащей энергии, как в былые, молодые годы, когда то и дело возгорались в университетских кругах шумные дискуссии по проблемам современной цивилизации, когда и впрямь казалось, что будущее человечества можно сконструировать в моделях почитаемого в ту пору интеллектуального «Римского клуба», стоит только переубедить консервативных оппонентов. События вокруг тавра Кассандры пробуждали в Борке забытый азарт, готовность идти на риск, на открытые столкновения ради идеи.

А события захватили Борка еще в аэропорту. Джесси встречала его в толпе у выхода с увесистой газетой в руке и помахивала ею над головой, как букетом, странно улыбаясь, с каким-то и виноватым, и озорным, и тревожным выражением лица. Но выглядела она даже помолодевшей, будто омытая внезапно прихвотившим ливнем. Джесси была на девять лет моложе Борка, но побаливала временами, с давлением, случалось, тягостно маялась и тускнела от этого, а в тот час в аэропорту она показалась мужу наэлектризованной, динамичной, как в молодые, далекие уже годы. О, как мешал он ей в те дни пробиться в великие музыканты! А ведь она была виолончелисткой не из последних. И не будь его, чокнутого Борка, намертво прилипшего к ней, возможно, карьера Джесси не ограничилась бы оркестровой ямой. Но у всех своя судьба.

Среди первых слов, сказанных ею в аэропорту, в толчее у турникетов, была бесшабашная, отчаянная фраза, выражавшая одновременно и радость от встречи:

— Не знаю, Роберт, какие магические знаки ты начертал перед отъездом среди своих дурацких камней, но как иначе объяснить случившееся? Никак, Роберт, никак, хоть лопни! Этому нет объяснения. Но это неслыханно! Поверь мне, от этого кинет в дрожь весь мир!

— Значит, мои иероглифы чего-то да стоят?! — ответил ей в тон Фуруролог.

— Ну, в общем, доигрался, мой дорогой Фуруролог, доигрался в магию... Теперь вот разбирайся.

Уже в машине — Джесси была за рулем — Борк развернул газету, но, проглядев полосы, тут же отложил:

— Нет, это надо дома, в спокойной обстановке внимательно прочесть, — и сложил очки.

— А ты думал! — понимающе усмехнулась Джесси. — Если бы не из космоса, а на углу кто-нибудь вещал такое, ему бы просто морду набили! Представляешь: эмбрион, зачаточек, чуть ли не мыслит! Что-то предполагает! И сообщает, что не хочет рождаться на свет! И об этом всерьез! Как можно?!

— Ну, не совсем, наверное, так, — озадаченно шевельнул плечами Борк. Ему показалось, что жена судит с налета, что с ней редко когда бывало, и почему-то захотелось, чтобы она на этот раз оказалась права. — Возможно, имеется в виду сам факт существования зачаточной рефлексии. Но как бы то ни было, есть повод для размышлений. Если бы, допустим, открылась непорочная форма восприятия нашего грешного мира как контрольная точка отсчета... Понимаешь, мне об этом сейчас вдруг подумалось. А такое действительно могло бы быть только на эмбриональном уровне. Да и то в фантастических представлениях. Хотя как сказать. Впрочем, не будем сейчас об этом. Приедем, я прочту, тогда поговорим, если всерьез... А ты знаешь, я сейчас тебя рассмешу.

И Футуролог принялся рассказывать жене о немецкой дотошности и педантичности и в то же время о внутренней раскованности европейцев, что роднило их с американцами. Однажды рано утром он увидел на пустынной рейнской набережной в Дюссельдорфе человека, едущего вдоль реки на велосипеде и распевającego во весь голос как ни в чем не бывало знаменитую арию, причем велосипедист был при галстуке, белом воротничке, в лаковых туфлях и чуть ли не в цилиндре, точно он только что с оперной сцены. И никого не было в тот час на набережной, ни души, кто бы мог оценить его пение. Но велопевцу никто и не требовался. Он был сам для себя, и при нем был полноводный Рейн, по которому двигались с утра пораньше грузовые баржи и пароходы... И солнце летнее всходило. Борк в восхищении готов был бежать за чудачком-вокалистом, до того это было экстравагантно, смешно и величественно. Полная раскованность, полное счастье. Хотелось кинуться в Рейн, плыть навстречу тому поющему велосипедисту, что катил себе по бесконечной набережной, помахать ему рукой, прокричать из воды



что-нибудь веселое, хотелось бежать рядом с ним и забыть все заботы на свете.

Они посмеялись чудачу, мчась по автобану.

«Теперь домой, домой. Теперь работать, работать, черт подери!» — говорил себе Борк в предвкушении того, что скоро снова будет дома, в кабинете своем, за письменным столом. Думал об этом, испытывая ставшее уже привычным двойное чувство — облегчения, как всегда бывало по возвращении, при встрече с Джесси в аэропорту, и в то же время с определенным укором в душе самому себе за отсутствие на неделе, за упущенные дни. А сколько их было, таких упущенных дней, цену которым человек познает слишком поздно.

На сей раз, однако, к привычному настроению примешивалось нечто иное, вызванное тем, о чем он узнал еще на борту самолета. Казалось бы, это странное известие обречено было на обычную участь сногшибательной сенсации — вспыхнуть и угаснуть. Но чем больше Борк думал об услышанном, тем больше удивлялся, улавливая в себе непонятное ощущение причастности к тому, что произошло, и причем в такой степени, что не мог уже устраниваться, выкинуть из головы эту совершенно не касающуюся его историю. Как если бы он очутился случайно в судебном зале, где был оглашен неожиданный и неслыханный приговор, по которому не только подсудимый, но все, кто в тот момент находился на слушанье дела, были признаны виновными только за то, что присутствовали на судебном процессе. И отменить этот вердикт нельзя было только потому, что он был уже оглашен...

Поистине странное состояние порождало соприкосновение с космической новостью, поистине странное, неожиданное и необъяснимое. Вот и Джесси за рулем, судя по всему, находилась под впечатлением космической новости. Это он видел по ее лицу, по ее глазам. Природа наградила Джесси сияющим взором, неуловимо меняющиеся переливы и оттенки которого так много говорили Роберту Борку. С первого дня их знакомства на каком-то благотворительном концерте, когда он увидел ее среди молодых музыкантов, а она его сидящим близ сцены среди зрителей, после чего они стали встречаться, с того первого дня он научился читать по ее глазам «зиму и лето жизни» и знал все, что у нее на душе, и она знала о нем все. И эта их способность понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда определяла их согласие и семейное счастье.

Он решил не отвлекать жену болтовней — сосредоточенную, умолкшую, что на нее было не похоже. Особых причин для озабоченности у нее не было. Как нередко бывает в таком возрасте, уклад их жизни был привычно прочен; единственное, чего они не могли рассчитать и предопределить, — того, что от Бога, ведь каждому отпущен свой срок, свой век. А пока они старались посылно реализовывать свои творческие возможности, насколько хватит «квоты» времени и здоровья. И Борк понимал: если Джесси сейчас не по себе, то только потому, что она ошарашена этим посланием космического монаха Филофея.

«Дома поговорим, — думал Роберт Борк. — Может, позвонить сейчас кому-нибудь из университетских друзей, потолковать, пока едем? — И хотел было уже поднять трубку, но передумал. — Не сейчас, надо сначала внимательно прочесть этого космического оракула, а уж потом...»

— Включить радио? — отгадывая мысли мужа, спросила Джесси.

— Не стоит. Зачем мне галдящее радио? Мне с тобой и так хорошо.

— Охотно верю, очень охотно, — с мрачноватой насмешливостью откликнулась Джесси, ловко обгоняя очередную машину.

— А если то, о чем нам сообщили оттуда, — поднял глаза Борк, — действительно существует, то, конечно, никто не останется в стороне.

— Неужели ты думаешь, что такое действительно возможно?

— Не знаю. Но если это так, может последовать обвальная реакция.

— Типун тебе на язык, Футуролог! — вполне серьезно обеспокоилась Джесси. — Это же страшно, когда массы!

— Если люди увидят себя в беспощадном свете, генетика из тайнства биологии может превратиться в политику.

— Ну уж ты чересчур, Роберт, — попыталась Джесси как-то приглушить усиливающуюся тревогу. — Но кто его знает, — стала она рассуждать, — вот звонили перед моим отъездом в аэропорт Шнаеры, Артур и Элизабет, они тоже очень обеспокоены. А Джон наш, Кошут, звонил из Атланты, спектакль там ставит, тот вдруг припомнил, что-де на дискуссии по фукуямовской теории конца истории ты предрекал новую трагедию, новое испытание на пути человечества. Вот, говорит, и накаркал твой футуролог, изылек из ресур-

сов мирового зла, как из мешка с барахлом, взамен мировой войны войну в самом себе, в человеке, проблему — стоит ли ему родиться. Помолчал бы, говорит, твой футуролог, может, и не было бы такого оборота. А то открыл ворота вслепую, вот оно и явилось. Я ему говорю — что оно? А он — оно и есть оно. Ему и названия нет.

— Ну да, узнаю, узнаю Кошута, — Борк иронически пожал плечами. — Хохмит, как всегда, сам в театре ставит трагедии, мир переворачивает вверх дном: Шекспир, Эсхил и прочее, а я, видишь ли, ворон, каркающий на заборе. Спасибо. Хорош мой лысый дружок...

— Ой, не говори, чудной он. Помнишь, как однажды вдруг говорит: завидую тебе, у тебя и жена прелесть, и шевелюра еще та. А у меня, мол, что? А ты ему: жену ты можешь еще отобрать, а вот шевелюру, пусть и седую, и косматую, никак! А у него аж слезы на глазах, вроде и смеется и плачет, артист!

Борк задумчиво кивал в ответ. Впервые он возвращался домой с непривычным, а точнее, с неслыханным грузом на душе, свалившимся извне, невидимым, ничем не обозначаемым и все равно постоянно присутствующим.

— Боб, а ты действительно видел китов в океане? — прервала его мысли Джесси.

— Ну как же! Я потому тебе и звонил, — оживляясь вновь, заговорил он. — Ты представляешь? Этого словами не передать. В океане, вообрази себе, движутся, как корабли, грандиозные животные, плывут, как журавли в небе, треугольником. Зрелище! А тебя рядом нет. Но, хорошо еще, дозвонился. — Борк помолчал и затем продолжил, увлекаясь: — И как бы тебе объяснить, понимаешь, я сейчас думаю, что это было вовсе не случайно. Вот послушай. Во Франкфурте в этот раз кроме знакомой публики был один новый участник, из Австралии. Из Мельбурнского университета. Все-таки австралийцы отличаются чем-то особенным от всех нас, не знаю почему, может, потому, что они на окраине мира? Или просто этот человек такой? Я его про себя дельфинологом называл, потому что он увлекается дельфинами. Это его хобби. Он живой, с пытливым умом, говорит интересно. Так вот, зашел у нас разговор, случайно, конечно, о китах, начали с дельфинов. И этот разговор о китах, пусть тебе покажется смешным, очень сблизил нас. Мне было так интересно! Ведь наука до сих пор не может ответить на вопрос, что означает феномен группового самоубийства китов.

— Это когда они выбрасываются на берег? Ты это имеешь в виду?

— Да, именно это. Так вот, что заставляет китов, полных сил и, надеюсь, умственного здоровья, вдруг, ни с того ни с сего, как сговорившись, подплыть ночью к берегу и швырнуть себя на отмель, где воды по шиколотку, на издыхание? И там, не делая даже попытки рвануться назад в океан, киты погибают. Зачем они это делают, отчего, почему?

— Но постой,— перебила его Джесси, увлеченно засияв глазами.— Сколько раз об этом писали в газетах. И что, твой австралиец знает, отчего это происходит?

— В том-то и дело. Ведь мы с ним как рассуждали? Что это явление — самоубийство китов — противоречит биологическому закону самосохранения вида. То есть — природе вопреки. Такого нет в животном мире.

— Зато среди людей сколько угодно.

— Это совсем другое. Категорически другое. И не об этом речь. Тут совсем иная картина, Джесси.

Роберт Борк замолчал, окидывая взглядом выбегающую из леса на бугор мощную автостраду с броскими придорожными знаками и табло на обочинах и невольно безотчетно любуюсь знакомым, столько раз виденным пейзажем. На какую-то долю минуты он почувствовал себя очень счастливым — на пути домой, с Джесси за рулем, готовый открыть ей великую, как полагал он, тайну китов, предвосхищая заранее, как поразится она услышанному, как потом, увлеченные открытием, они будут снова и снова возвращаться к этой теме, обсуждая ее с разных сторон. И это будет счастьем. Ведь счастье — в единении душ. И ему захотелось, приехав, посидеть вдвоем на веранде, послушать поставленную Джесси музыку (она неисправима — классика для нее выше всего) и позволить себе любимого белого вина... Но мелькнула мысль о космическом монахе, и он подумал, что идиллии сегодня может и не быть.

— Что ты замолчал, Боб, я жду. Решил меня заинтриговать?

— Да нет. Просто собираюсь с мыслями. Вот ты спрашиваешь — знает ли он, этот австралиец Киффер, причины самоубийства китов. Как тебе сказать. Он предполагает то, чего другие не могут себе даже представить. Понимаешь, это не какое-то логическое умозаключение. Я бы сказал, это особое нравственно-философское виденье. Да, да. Не улыбайся и не удивляйся. Именно так. Австралиец выдвигает

гает версию мирового плана. Понимаешь, среди всех млекопитающих киты, наряду с дельфинами, — самые умственно развитые существа. К сожалению, они не обладают даром речи, и это создает непреодолимый пока барьер между нами и ними.

— Боже мой, ты привык читать доклады, Роберт. Но я не совсем понимаю, о каком нравственно-философском виденье ты говоришь?

— Ни один ученый не мог объяснить природу этого странного явления. А Киффер вдруг приоткрыл передо мной картину вселенского характера.

— Так в чем же суть его гипотезы?

— Он пришел к потрясающему выводу. В акте группового самоубийства китов он видит реакцию мирового разума на земные события.

— Ну это совсем фантастика, Роберт!

— Не скажи, не скажи, дорогая моя. Я захвачен этой гипотезой. Ведь человеку дана некая абсолютная привилегия на обладание разумом, на вселенскую миссию, а если мы не в состоянии совершенствоваться, не в состоянии активно осваивать универсум, что от нас требуется и для чего мы и существуем на свете, то, стало быть, мы — паразиты, не оправдывающие своего назначения, никчемные твари. Но извини, я несколько увлекся. Мне просто хотелось сказать о том, что сколько нам, человеческому роду, дано, столько же на нас и возложено. И прежде всего возложено: гармонизировать, совершенствовать бытие, а сюда включается все, что исходит от нас — и в помыслах, и на практике. Гармония бытия! Сколько, однако, на этот счет великих и ничтожных мыслей рождается, сколько злорадства и пошлости выявляется в нас почти на каждом шагу, а ведь гармония — это еще и самоограничение, борьба с духовной распущенностью. И тут возникает естественный вопрос — а что есть совесть, о которой во все времена каждый лукаво толкует по-своему, когда и как ему удобно, а что она значит сама по себе, перед природой, перед историей, перед будущим мира и перед Богом, наконец, который нас сотворил и которого мы творим?

— Роберт, — не утерпела жена. — Воистину, в тебе пропал пламенный проповедник, жить бы тебе в Средние века. Но очень возможно, что инквизиторы с удовольствием сожгли бы тебя на костре за ересь твою. Как можно творить Бога?

— Ах, вот оно что! Вот и ты, Джесси, становишься до-тошным догматиком. Как можно?! Как можно?! Спалить бы меня не удалось. Творить можно словом. Да, да. На то нам и дано свыше слово. Все, что происходит в нас и с нами, вершится через слово. И все, что рукотворно, в конечном счете — это реализация слова. Мост через реку — вначале это было словом. Я большее скажу, слово — потенциал вечности, заключенный в нас. Мы умираем, но слово остается. И потому оно — Бог. Вот и мечемся мы в слове, в словах — то на крыльях летим в бесконечность, то под уздцы неизбежности ведомы словом, как мулы... Но я ведь о другом. О другой как раз, совершенно диаметрально противоположной ипостаси бытия — об изначальном отсутствии слова. А это — вся природа. К примеру, те же киты. В этом смысле трагические создания. Лишенным дара речи, им дано обладать уникальной интуицией, особым, только им свойственным мышлением и духом, особым энергоинформационным биополем. Об этом можно судить хотя бы по их младшим братьям-дельфинам.

— Но все-таки, Роберт, что же тебе, допустим, открылось?

Роберт Борк замолчал, приостанавливая себя перед тем, как высказать то, что было для него столь важным. И поймав себя на мысли, что всякий раз по пути в аэропорт или из аэропорта почему-то возникает желание говорить о вещах необыденных, о которых меньше говорится в домашней обстановке.

— Понимаешь ли, — продолжил он. — Киффер утверждает, и мне это кажется небезосновательным, что киты — это живые радары в открытых океанах, это улавливатели подспудных сигналов космоса; быть может, именно они, киты, первыми узнают, когда назревает извержение вулканов, и безмолвно режут от напора внутриземной энергии, но, должно быть, самое трагическое для них, несокрушимо выносливых в таких штормах и бурях, что не всякому кораблю по силам, самое страшное для них, когда обрушиваются на них сигналы людских стихий, людских злодеяний, вызывающих непостижимый для нас дисбаланс в состоянии мирового духа. Вот что, вероятно, наиболее мучительно для них, как альпийский фен, дующий с гор, — ты знаешь, о чем я говорю, об этом существует целая литература, — ветер, изнуряющий психику горных жителей. Ведь как бы ни был страшен вулкан, он извергнет лаву и затем утихнет, угаснет.

А ветры зла людского не угасают. Вот в чем суть. Так уж устроено в нашей жизни: добродетели — всегда дефицит, зла — всегда в избытке, всегда через край. И вот представь себе, когда совершается на земле нечто такое, чего мы не в силах остановить и чему даже находим оправдание в потемках душ и разломах сознания, убивая, истязая, подавляя, омерзительно обманывая самих себя, киты плывут к нам в отчаянии и страхе. Потому что разум мировой грозит рухнуть, самоликвидироваться, а значит, кануть в бездну, исчезнуть. И это страшит всякую тварь безмолвную концом света. Этого живые существа интуитивно боятся. Почему, думаешь, крысы бегут с тонущего корабля? Именно поэтому. Лишенные дара речи, киты не могут выразить, насколько они страдают за нас и как это давит, душит, разрывает их изнутри, требуя выхода, требуя разрядки. Ты пойми, как это мучительно! Помнишь, кто-то нам рассказывал, как увидел на улице немую девушку. Мать ее убил отец-мерзавец, а она, несчастная, бегала, не могла объяснить людям, что произошло, и хотела кинуться под трамвай. Нечто подобное, только в иных, вселенских масштабах, происходит, видимо, с китами. Они, наверное, стойко переносят в океане тревогу за полыхающие лесные пожары, содрогаются от оползней в горах, когда ледники движутся, утюжат все по пути, но сдвигов в человеческом поведении, злодеяний, садистских и неискоренимых, — вот этого они не в силах превозмочь, — такого, понимаешь ли, нагнетания губительных страстей человека, носителя мирового разума. Думаем ли мы о том, что нам доверен мировой разум, субстрат, а вернее, ипостась вечности? Сомневаюсь. Где-то среди нас, в стихии нашей, происходит срыв, обвал, извращение нравственности, незримая радиация зла и страха распространяется из того обвала по миру, нарушается космическая справедливость, думаю, что существует такая справедливость, искажается гармония бытия, и тогда киты не выдерживают и тоже срываются, плывут к берегу и выкидываются разом, выбрасывают себя на погибель, совершают самоубийство. И вот, представь себе, лечу только что над Атлантикой и смотрю, вдруг на развороте под крылом — стадо китов в океане. Я обомлел, когда увидел, как шли они журавлиным клином среди волн, дух захватило, и в то же время я подумал почему-то: куда они, какая сила гонит их, куда и зачем?

— Ну теперь-то понятно, отчего ты вдруг кинулся звонить мне с борта самолета. А я не могла сообразить: какие

киты, что происходит? Конечно, после того, что ты себе вообразил, как не позвонить?!

— Думаю, что не просто вообразил.

— Ну-ну, — снисходительно улыбнулась жена. — Футуролог мой дорогой! — Она смотрела на него с легкой иронией. — С тобой такое бывает. Но занятно, ничего не скажешь, очень даже занятно. А вдруг и на самом деле это своеобразная форма протеста? Как знать. Ой, Роберт, нам надо заправиться, смотри — бензин на исходе. Пока мы с тобой мчались и про китов гадали...

Они свернули к бензоколонке, и все вернулось в привычное русло повседневной жизни, враз отступили и космический монах, и киты, и всякого рода абстракции. Потом они двинулись по улицам предместий, до дома оставалось уже совсем немного.

Почувствовав вдруг нахлынувшую усталость, Борк сказал:

— Джесси, сегодня не будем отвечать на звонки. Поставь на автомат, запишется. Устал. Отдохнуть надо с дороги...

— На один звонок я уже дала санкцию. Извини, но тебе сегодня вечером будет звонить Оливер Ордок. Я ему сказала, что ты сегодня прилетаешь. А то ведь он собирался звонить тебе в Европу.

— Оливер Ордок?

— Ну да. Он же выставил свою кандидатуру в президенты. Ты это знаешь?

— Знать-то знаю. Сейчас они все по первому кругу стартуют. Ну, от него не открутишься. Это настойчивый человек. Будет звонить до упора.

— Ну, извини, Боб. Я не могла отказать.

— Позвонит так позвонит. Ради бога. Оливер Ордок. Давненько мы с ним не созванивались. Помнишь, он ведь был вице-губернатором, занимался наукой, образованием штата, занятостью населения. Помогал в организации у нас международных научных конференций, вместе ездили, если помнишь, в Москву в первые годы горбачевской перестройки. Тогда там собирали политологов, футурологов со всего света. Ордок участвовал как политолог и как представитель администрации штата. Да, перестройка, перестройка! Все мы было восторнулись и на Востоке, и на Западе, что и говорить! Романтическое время. Он-то помоложе меня, хотя и ему уже, пожалуй, порядочно.

— Пятьдесят шесть, — подсказала Джесси. — В газетах так и пишут: пятидесятишестилетний Оливер Ордок.



— А, ну вот. Примерно так я и думал. Выходит, отважился наш Оливер Ордок, решил судьбу испытать. О, магия высшей власти! А вдруг да получится?.. Избирательная кампания, что море открытое, пойдет волнами, глядишь, и вынесет к берегу. Если сумеет вызвать общественный прилив. Чутье проявить. Ордок в этом смысле вполне в своей стихии. Человек он хваткий, не глубокий, но и не глупый.

— Да, помню я то время. Хорошо помню. Тогда в Москве, когда мы там были, а, да, это в восемьдесят шестом, когда ты выступал в Кремле, в том огромном зале старинном, на форуме, Горбачев сам вел встречу. Ордок тоже был с нами. Помнишь? И недурно выступил, кажется, удачно.

— Недурно. Совсем недурно. В нем энергия, энтузиазм оратора. Он всегда был человеком момента. Хотя, повторяю, капитальных знаний у него нет. Да они, наверное, и не нужны в таких случаях. Для массового сознания важна прежде всего актуальность программы кандидата. И харизматизм личности.

— Ой, Роберт, довольно, что это мы — то про китов, а теперь вот на Оливере Ордоке зациклились. Будто у нас других забот нет. Скоро уже дома будем. Заболтались: Ордок да Ордок...

— А в этом и суть современного популизма, Джесси. Все сходят с ума по одной личности, а она как бы за всех сходит с ума. И мы с тобой в Америке не исключение.

— Ясное дело. Только чего он кинулся вдруг звонить тебе срочно в Европу? С чего бы?

— А тут и гадать нечего. Думаю, этот космический монах у многих уже вызвал головную боль, враз, так сказать, с палталыку сбил. Думаю, что именно в этом причина. Хотя трудно сказать.

— А ты тут при чем? С таким же успехом и ты, Боб, мог бы позвонить Ордоку по поводу космического феномена. Привет, мол, старик, как насчет послания папе римскому из космоса? Помнишь, в Москве у русских в таких случаях говорят: известно ли вам, с чем едят этот вопрос? Так и ты мог бы — с чем будем кушать сенсацию, дорогой Ордок? Почему бы и нет?

— Конечно. И все-таки ты сама говоришь, что многие мне уже звонили. Почему люди решили, что именно я должен давать объяснения по поводу этого сумасброда космического? Надо мне побыстрее разобраться, что это все-таки такое. А если это просто фейерверк?

— Коли фейерверк, подурачимся, повеселимся.

— Ой, не скажи, Джесси. Такие фейерверки до добра не доводят.

— Ну вот, тебе только дай повод. Не зря жизнерадостные французы прозвали тебя глобальным пессимистом. Забудем пока все это, хотя бы на подъезде к дому. Слишком много на один раз — и монах Филофей на орбите, и киты твои в океане, а у меня завтра серьезная репетиция с оркестром... О Боже...

— Мне самому хочется сегодня спокойно побыть с тобой, Джесси... Вот мы и приехали...

#### IV

Спокойно отдохнуть не получилось. Уже в восьмом часу вечера раздался телефонный звонок. Бодрый женский голос поинтересовался, принося извинения за столь позднее беспокойство, может ли мистер Борк поговорить с кандидатом в президенты мистером Ордоком. Затем в разговор вступил сам Ордок. При том, что ему всегда были свойственны словоохотливость и подчеркнутая открытость, в этот раз он к тому же был явно возбужден. Приятельски-непринужденный разговор растянулся минут на сорок с лишним. Роберту Борку пришлось выслушать по ходу дела много нужного и ненужного, пришлось высказаться и самому.

Началось все с шутливого захода:

— Хеллоу, Роберт, с приездом, и должен сказать тебе: в этот раз я ожидал твоего возвращения как никто другой на американском континенте, за исключением, разумеется, твоей замечательной половины, и уже готов был сам двинуться в Европу, надеясь обнаружить тебя на рейнских берегах где-нибудь среди прекрасных франкфуртянок!

— Спасибо, Оливер. Франкфуртянки действительно хороши. Но думаю, что разыскивал ты меня не только поэтому. Что-нибудь происходит? Давненько не виделись.

— О да. Происходит слишком многое, больше, чем хотелось бы. Сам понимаешь, черт меня дернул, — кстати, по поводу черта я еще расскажу тебе поразительную историю, случившуюся со мной на днях, — так вот, пока ты ездил по европам, пустился я во все тяжкие в предвыборной кампании.

— Знаю, знаю. И надеюсь, это всерьез.

— Очень даже всерьез. В сопровождении финансирующих аккомпаниаторов, довольно солидных и, главное, кров-

но заинтересованных. Но не об этом речь, как-никак то — оркестр, а арии-то петь — твоему самоуверенному другу, то бишь мне! Что это значит, не тебе рассказывать. Только будет ли толк? Серьезный вопрос. Однако отступать я не собираюсь. В общем, не стану долго распространяться. Ты сам прекрасно представляешь. Нарабатываю рейтинг на встречах с широкой публикой (толпой называть не хочу, ни-ни, ни в коем случае, да, конечно, коллективный интеллект, я это подчеркиваю на всех встречах, я за развитие коллективного интеллекта на всех уровнях). Но все-таки скажу тебе по-свойски, кстати, у тебя в статьях я как-то вычитал о бифуркационных стихиях, так вот, популизм равносителен вхождению во взрывоопасную зону: не так наступишь, не так ответишь, не так среагируешь, одних удовлетворишь, других — нет, и все от тебя чего-то ждут, и надо быть готовым ко всему. Но главное — доходчиво изложить публике свое виденье проблем. Вот чего они ждут, избиратели, — решения проблем. Да-да, решения проблем. Алло, алло, ты слышишь меня? Так вот, Роберт, извини, что рассказываю тебе, ученому, про все это, самому даже неудобно. Но такая теперь участь моя. Я должен быть понятен каждому прохожему на улице.

— Не волнуйся, Оливер. Я слушаю, слушаю тебя.

— Спасибо. Главное, я пытаюсь донести до избирателей свою, так сказать, стратегическую программу американского будущего, как она представляется мне на фоне нынешней кризисной обстановки в мире. Кризисной, подчеркиваю! А когда, собственно, жизнь была не кризисной, говорю я себе. Всегда, во все времена. И всегда кто-то должен был взять на себя риск повести за собой других. Кризис в этом смысле — необходимое условие, чтобы за тобой пошли, чтобы тебе поверили. Дай Бог здоровья конституции и существующим законам, но, будь на земле тишь да благодать, кто кого стал бы слушать? Кто за кем бы пошел, не будь кризиса? Я так понимаю. Ну и вот, ведущая, концептуальная идея моя исходит из вечной проблемы — как устроить жизнь на завтра для всех и для каждого. Ясно, конечно, каждый жаждет для себя изменений к лучшему и не столько думает, как это сделать, как ждет немедленных благ небесных. Пусть тебе не покажется смешным, но люди, понимая, не понимают, их надо убеждать и убеждать. Они этого жаждут.

Пока Ордок излагал свои суждения и переживания на этот счет, Борк чутко улавливал в потоке его речи не толь-

ко знакомые мотивы предвыборной маеты претендующего на президентский пост, но и нечто пока скрытое в подтексте, некую цель, к которой тот осторожно приближался, как плот к берегу.

Судя по всему, Ордок стремился и произвести приятное впечатление на собеседника, и подчеркнуть тот риск, на который он-де отважился ради интересов граждан и принципов демократии, и выяснить под завесой словоизлияний что-то, волнующее его. С тем он и звонил, так надо было понимать.

Борк живо представил себе его на другом конце провода, в просторном кабинете с большими овальными окнами, который тот занимал в последнее время в помещении партии в качестве лидера ее местного отделения, за столом, среди телефонов и прочей выразительной оргтехники, на вращающемся черном кожаном кресле, сидящим, чуть откинувшись, как встрепенувшаяся птица, глядящим отсутствующим взором в окна пятнадцатого этажа на такие же стеклянные этажи высотных зданий, стоящих напротив. При всей общительности и открытости Оливера Ордока существовали о нем самые разные мнения — за и против, не обходилось и без досужих разговоров о его чрезмерной скупости и т. п. И что у него собачий нюх политика-популиста. А о ком подобных разговоров не бывает? Тем более когда человек, начавший с адвокатской папки, вдруг молниеносно привлекает к себе общественное внимание, набирает, на зависть другим, очки, делает карьеру, казалось бы, из воздуха, вопреки критическим представлениям о нем близко знающих его.

Ордок выдвинулся вначале на профсоюзном поприще, затем в экологическом движении, замелькал на телеэкранах и страницах прессы, проявляя при этом немалые способности, вполне отвечающие расхожим запросам времени, или, как сам он любил подчеркивать, запросам человека с улицы. Он безошибочно угадывал, поистине как собака, бегущая по следу зверя, общественное настроение низов и воздействовал на эту стихию, стойчески относясь к элитарной критике. На том и выигрывал. Безусловно, успех обнадеживал, придавал уверенности, преображал человека. Ордок даже внешне как-то вдруг неузнаваемо изменился. Куда-то исчезли даже странные серо-белые пятна, которыми были покрыты его птичье лицо и жилистая шея. А ведь еще недавно иной раз возникало впечатление, что лицо его с характерными темными кругами под глазами, чем-то напоминавшее

лицо экзальтированного Геббельса, нечаянно обрызгано супом. Так вот, один его недруг, врач по профессии, в свое время утверждал, что пятна на лице Ордока — психический показатель его честолюбивых вождельний, жажды власти. Что если бы судьба не улыбнулась Ордоку наконец-таки, такими «кричащими» пятнами покрылось бы все его тщедушное тело, с головы до пят, и таким он ушел бы в могилу. Но так ехидствовали злые языки. Понимающие же люди, напротив, сочувствовали Ордоку, так как эти пятна были проявлением редкой болезни на нервной почве, которая называлась «витилиго». Чудесное же исчезновение с лица Ордока суповой пятнистости объясняли резким внутренним преобразованием его благодаря удовлетворенности, достижению, наконец, долгожданных целей. Смешно, конечно, но получалось, что избавление от косметического дефекта действительно произошло в связи с успехами Ордока на политической арене. Впрочем, житейская мелочь эта уже и забылась. Теперь Оливер Ордок выглядел на экранах вполне нормально, без каких-либо даже намеков на былую пятнистость. Он был энергичен, со всегда напряженным выражением юрких черных глаз, постоянно словно ищущих что-то. По собственному признанию Ордока, ему всегда хотелось увидеть того, кто ему противостоит. И тогда он шел напрямую и брал того на абордаж. К тому же Ордок прекрасно говорил: хорошо поставленный голос, четкая дикция, эффектные жесты, то есть то, что и требовалось трибуну, алчущему внимания толпы.

Но больше всего занимала Борка в Ордоке одна совершенно немислимая и, должно быть, редчайшая его способность, которая поражала настолько, что в нее трудно было поверить. И действительно, расскажи кому-нибудь, — ни за что не поверит, скажет, что такого не может быть. Борк же знал об этом не понаслышке, а лично, поскольку они с Оливером Ордоком были выпускниками одного университета, хотя и учились в разные годы — Борк чуть пораньше, а тот чуть попозже, Борк на историческом, а Ордок на юридическом факультете. С тех пор прошло немало времени, не один десяток лет, но романтическая принадлежность к университетскому братству, как водится, сближала их. Редчайшая же способность Ордока заключалась в том, что он помнил буквально все телефонные разговоры, которые когда-либо вел в своей жизни! Именно телефонные разговоры и только телефонные разговоры! Он мог сказать с точностью

до дня и часа, с кем и когда он общался по телефону десять — пятнадцать лет тому назад, даже по незначительному поводу; предположим, звонил в справочное бюро аэропорта, или ему позвонили вдруг с бензоколонки в одна тысяча девятьсот семьдесят первом году, 12 августа в среду, в три часа дня. Объяснение такой особенности памяти, такому несусветному накоплению мусора в голове никто не находил. Роберт Борк даже не скрывал того, что он то завидовал странной способности Ордока, то приходил от нее в ужас. Думал по этому поводу то совершенно серьезно, то со смешком и страхом, ведь зачем-то человеку дана такая нелепая способность, а зачем? Дана свыше как награда или, напротив, преподнесена как наказание из преисподней? Кто знает?

Об этом вдруг вспомнилось Роберту Борку и в этот раз, когда он вслушивался в телефонное многословие однокашника. И подумалось: «А возможно, если будем живы лет через десять, вспомнит он и этот наш разговор, а я уже, конечно, не буду об этом помнить ничего, но чем черт не шутит, а вдруг запомню и я... А зачем?..»

Между тем Ордок перешел к тому, что и было целью его звонка:

— Так вот, Роберт, к чему я веду разговор, ты уж прости, что приходится начинать издалека; произошло событие, в котором мне чрезвычайно важно разобраться, как говорится, с ходу. Разумеется, ты уже в курсе дела, об этом уже вся Америка гудит. Этот космический монах, как его там именуют, — Филовей, кажется? Филовей?

— Филофей, — поправил Борк. — Его зовут Филофей. Я прочел его послание час назад.

— Я так и предполагал, Роберт. Так вот, лично на меня эта проблема кассандро-эмбрионов, как кирпич, свалилась. Лучше бы землетрясение случилось. Лучше бы не знаю что... Я в полной прострации, извини меня. Никогда со мной такого не бывало. Я не понимал до сих пор, что такое бездна, а теперь стою на краю. Я привык искать оппонента и сражаться с ним на виду у всех, а тут неизвестно, как вести себя, с кем иметь дело, с кем, если потребуется, скрестить копыя. То есть я хочу сказать, это что-то абстрактное. И в то же время оно касается, по сути дела, всех и каждого, и все мы застигнуты врасплох, быть может, допускаю, только ты и такие, как ты, суперинтеллектуалы, не дрогнули в мыслях.

— Извини, Оливер, — перебил его Борк, — я в таком же положении, как и ты, как и все. И скажи откровенно: поче-

му ты решил обратиться по этому поводу именно ко мне? Мы с тобой из одного университетского инкубатора, я готов тебя слушать сколько угодно, но все-таки?

— Я буду откровенным. Мысль эта возникла не у меня. Первым высказал идею обратиться к тебе за разъяснением и советом мой помощник — Энтони Юнгер. Это молодой парень, не только деловитый, но и начитанный, интересуется философией. Я его ценю. Так вот, когда сбежались с вытаращенными глазами и каждый с «Трибюн» в руках все мои советники и помощники, обалдевшие что называется, мне стало не по себе. Завтра у меня в округе большая встреча с публикой, с народом. Сам понимаешь: демократия и народ — суть единая. И я готов к чему угодно, готов к любым вопросам, но когда я представил, что меня спросят об этих кассандро-эмбрионах, знаешь ли, на душе стало как-то так, как будто тигр стоит за углом. Кто мог предположить, что грянет вдруг гром из космоса?! А впереди — целая серия уже запланированных встреч с избирателями. Вот и прикидываю, как быть. Наш избиратель американский, сам знаешь, крайне дотошный, а то и просто скандальный. Да об этом знают все, весь мир следит за нами и, бывает, давится со смеху от неумности нашей американской. Демократия — как самоцель! Вот именно! Но извини ради Бога, опять отвлекся. Так вот, о чем я? Да, завтра мои избиратели непременно захотят узнать не только, все ли коренные зубы у меня на месте, и получить подтверждение от моего дантиста, но и мое мнение по поводу послания этого самого космического монаха. А что мне сказать? Руками разводить — ни да ни нет?! Для политика это совсем негоже!

— Ты уверен, что тебя обязательно будут спрашивать об этом?

— Не сомневаюсь! И гадать не стоит!

— В таком случае напрашивается одно — принять открытие Филофея к сведению как своего рода пароксизм нашего самосознания, как корректирующую поправку к самим себе, выявленную через космос. Как новый ракурс внутреннего виденья, обретаемый через космическое зондирование. Не так ли?

— Наверное, так, но не знаю, я пока не готов к подобным заявлениям. Хорошо говорить с тобой, но как объяснить людям, что предполагаются подобная поправка, добавка, пароксизм, ракурс. Какая разница? О чем толкует этот монах с небес — о каких-то кассандро-эмбрионах, о их от-

казе рождаться, в общем, о таких неслыханных вещах, которые для нас за гранью опыта. Но если бы это касалось только научной области, то еще полбеды. А ведь Филофей обращается к папе римскому, а по сути, ко всему человечеству. Да и что еще скажет сам папа? И станет ли вообще отвечать? Не завидую я ни папе, ни себе тем более. Папа в Ватикане, монах в космосе, а я перед толпой!

— Позволь, позволь, Оливер, во-первых, не ты один, — попытался было Борк уточнить положение вещей. — Тут все...

— Понимаю, понимаю, но извини, я доскажу. Я знаю, о чем ты хочешь сказать. О том, что это проблема сугубо личного характера, что, мол, каждый человек сам и только сам должен решать, приемлет ли он такой, с позволения сказать, пароксизм. Да, но это так кажется на первый взгляд, Роберт. Мы не должны забывать, наше время — время уличных апелляций и требований толпы, перекладывания личных забот на административную систему. СПИД и тот ставится в вину административной системе. Нынешний человек — такое существо, чуть что не так — винит прежде всего не себя, а систему. А тут такая новость прикатила от космического монаха, куда ее валить, на кого повесить? И как быть? В общем, тут есть над чем подумать. Но ведь многие изловчатся и в этот раз — я имею в виду собратьев своих, политиков, — изловчатся так, чтобы это дело поставить себе на службу предвыборную. Даже кровопролитную войну можно повернуть себе на пользу. Я вот о чем.

— Да, друг, сегодня ты в ударе. И я тебя понимаю, Оливер. Не думай, однако, что послание Филофея для меня не загадка. Я тоже в шоке. Хотя должен сказать, если оппоненты не сумеют опровергнуть, развенчать утверждения Филофея, если поистине все это так и действительно сделано феноменальное открытие, касающееся биопсихологического фактора зарождения духа, интуиции у эмбриона и, в частности, эсхатологического комплекса, я бы назвал его «филофеевым комплексом», то отныне это будет в жизни человека занимать такое же место, как воля и страх, как рождение и смерть.

— Даже так? Ну, ничего себе, ничего не скажешь! Радикальный подход! — В голосе Ордока послышалось неподдельное изумление и огорчение. — И что же в таком случае дальше?

— Что ты имеешь в виду?



— А что я могу иметь в виду? Высокие материи, о которых мы с тобой толкуем, — это само по себе, но мне ведь надо будет отвечать на вопросы избирателей вполне конкретно, высказать свое отношение к «филофееву комплексу». Не хотелось бы недоразумений на этот счет.

— Ну да, я тебя понимаю, — согласился Борк. — Следует подумать...

— А может быть, я просто перезвоню тебе через часок? Право, Роберт, не по себе становится, и не стал бы я тебя беспокоить, но тут одной моей амбициозности — я этого в себе вовсе не отрицаю, амбициозный я человек — и самоуверенности моей, с которой я держусь перед аудиторией, будет явно недостаточно. Ведь это, как я начинаю соображать с твоей подачи, абсолютно новый постулат человеческой данности. А ведь мы, американцы, сам понимаешь, во всем должны быть пионерами и обо всем иметь свое, независимое и ориентирующее всех других мнение. И если сегодня нагрянут из галактики, не дай Бог, инопланетяне, то завтра мы должны опубликовать наши с ними совместные фотографии в обнимку. А иначе мы не американцы!

— Да, уж это точно, так и есть, — посмеялся Борк и добавил: — Конечно, тут требуется не телефонный разговор, а нечто большее, какой-то форум, во всяком случае, специальная конференция, и не одна, и не только у нас в Америке, но и в других странах, особенно остро откликнутся густо населенные регионы, в первую очередь Россия, Китай, Индия, Япония. Могу себе представить, какие там пойдут круги по воде от Филофеева камня. Но вернемся к нашему разговору. Что делать, как быть завтра? Ведь ты, Оливер, собирался выступать со своей предвыборной программой? Так ведь? У тебя уже были встречи с избирателями, у тебя свои приоритеты, свои доводы, свои способы влияния, как оно и должно быть у каждого претендента. В прессе уже промелькнули данные о рейтинге кандидатов. Прикидки. Прогнозы. У тебя вроде совсем не плохо. Знаю и твоих конкурентов.

— В том-то и дело. Фигуры очень сильные, энергичные. О них никак нельзя забывать, тем более сейчас, когда включается в игру такой неожиданный фактор! Филофеев комплекс!

Борк попытался его успокоить:

— Но я думаю, что сейчас, пока не осмыслена ситуация, говорить об этом напрямую рановато. Ведь как кандидата в президенты тебя эта тема непосредственно не касается.

Оливер Ордок тяжело повздыхал.

— Ты не совсем прав, Роберт, — возразил он. — Разумеется, я не несу за всю историю никакой ответственности. Но меня волнует, как эта ситуация может отразиться на моих предвыборных делах. Теперь послушай меня, Роберт. Что касается моего обращения к тебе, как я уже говорил, я делаю это с подачи моего молодого советника Энтони Юнгера, а это свидетельствует, кстати, о том, что нынешняя молодежь тебя хорошо знает и духовно ориентируется на тебя. Я отнял у тебя много времени, так ведь и звоню я тебе не случайно, а потому, что ты известный футуролог и прочее, и кому, как не таким, как ты, интеллектуалам, консультировать нас, практиков от политики. Мои соперники на выборах бывалые политики, я среди них новичок. Сейчас, ты знаешь, первый тур, и, если не предусмотреть заранее верные политические ходы, я вылетчу из игры. Кого предпочтут в этой ситуации избиратели? Какую, собственно, занять позицию? Откровенно говоря, я не хотел бы прослыть консерватором, совсем ни к чему, но и революционность — всегда опасная крайность. Скатиться с беговой дорожки в самом начале по причине какой-либо нелепицы, недоразумения, скажем, в связи с этой космической историей — совсем обидно. Казалось бы, я ко всему готов, просчитаны все варианты предвыборной борьбы, все возможные осложнения на пути к олимпу. И тут на тебе — такая оказия: привет от космического монаха! Что сказать — что я с ним, или послать его ко всем космическим чертям? Честное слово, во сне не привиделось бы! Но деваться некуда. Я хотел бы знать твое мнение на этот счет не из праздного любопытства, как ты сам понимаешь, а по необходимости. Не потерять бы голоса ненароком. Вот в чем проблема.

— Хорошо, Оливер, я, кажется, все понял, — отвечал Роберт Борк, удивляясь энергии и напору Ордока. (Борьба за политическое выживание — чего-то ведь стоит?!)

Кровь прилила к голове, в ушах зашумело, когда Борк представил себе на мгновение, какие лихие страсти спровоцированы в мире, какая брешь оказалась пробита отныне в сознании людей неожиданным, как комета, явлением из космоса монаха Филофея. К добру ли все это обернется, к худу ли? И надо было отвечать на прямо поставленный вопрос.

— Если бы ты, Оливер, и не участвовал в предвыборной гонке, — проговорил Борк, машинально покачивая головой,

точно его собеседник на том конце провода мог его видеть, — то все равно было бы, что в этой ситуации обсудить. Дело не только в том, что я нахожусь под впечатлением послания Филофея. Дело в том, что, как ни пытался я пробудить в себе голос сомнения, пока не нахожу оснований для опровержения его выводов. Наоборот, начинаешь верить.

— Верить?.. Но к чему это приведет, Роберт?

— К тому, чему пришло время. Вопрос стоит отныне так — принимаем ли мы к сведению открытие Филофея, или опровергаем с фактами в руках, или делаем вид, что ничего особенного не происходит, и отмахиваемся от Филофея, как от надоевшей мухи. И то, и другое, и третье — пока все в нашей власти. Да, если уклониться от проблем, поднятых Филофеем, жизнь в общем-то будет протекать так же, как протекала веками, но одно дело, когда мы не знали о тавре Кассандры, когда мы понятия не имели о генетической трагедии кассандро-эмбрионов, и совсем другое, когда мы знаем об этом и можем в этом убедиться. Как быть? Пренебречь, прикинуться, что ничего нам не грозит от самих себя, или глянуть правде в глаза, предостичить апокалиптический исход, услышать голоса кассандро-эмбрионов? Как быть? Вчера еще человечество об этом ничего не подозревало, сегодня оно оповещено. То есть диагноз поставлен. И вследствие этого человек как бы заново открывает себя в себе — кто он есть в прорастающем семени своем, в зарождающемся духе, куда влекут его пороки прежних поколений, переданных по наследству, в какую генетическую темь. Разглядим ли мы себя в том страшном зеркале? Или закроем глаза и будем загонять себя все дальше и дальше в угол? Я так понял трактат Филофея.

— М-да-а, — натужно промычал в телефонной трубке Оливер Ордок и тяжело замолчал.

— Я понимаю тебя, понимаю, почему ты молчишь. Но мое мнение совсем не обязывает тебя ни к чему. Ты слышишь?

— Да. И все-таки мне важно было узнать твое мнение, Роберт. Деваться мне некуда — я могу или выиграть, или проиграть, в зависимости от того, сумею ли занять нужную позицию. Понимаешь? Проиграть никак не желательно. Ради чего, спрашивается? Я понимаю, допустим, я встал на сторону забастовщиков или, напротив, пошел в первых рядах демонстрантов против апартеида или, наоборот, не нашел нужным этого делать, и так далее. То есть тут ясно, за

что горишь, черт возьми! За дело! А тут за что? За химерическую гипотезу какого-то сумасшедшего с космической станции рисковать карьерой, возможно, будущего президента страны? Какая нелепость! И надо же случиться такому именно сейчас, не раньше, не позже! Извини, что изливаю свои сомнения и огорчения.

— Я тебя слушаю, Оливер. Вот только мне кажется, что напрасно ты относишься к открытию Филофея как к химерической гипотезе. Дело твое, конечно. Боюсь, что это уже не гипотеза, а реальность. А в таком случае — это явление, которое касается буквально всех людей на земле. Что там забастовка в той или иной отрасли, что там демонстрации на улицах городов и прочие политические события по сравнению с тем, что грядет с связи с открытием Филофея. Так что мы обязаны дать себе отчет, что тут к чему.

Они оба замолчали, одновременно задумавшись. И снова заговорил Оливер Ордок:

— Стало быть, ты, Роберт, предлагаешь поддерживать послание Филофея?

— Видишь ли, Оливер, ты привык к чисто политическому подходу. Это и понятно. Но я в данном случае исхожу не из субъективных побуждений. Невозможно не считаться с фактами и логикой Филофея. Открытие космического монаха говорит о том, что человечеству предстоит новые испытания. Поэтому пойми меня правильно. Ты — политик, твоя цель — уловить актуальность проблем. Тенденцию настроений. А я — ученый, футуролог. Ты интересовался моим мнением. Буду рад, если в чем-то оказался полезным.

— Большое спасибо тебе, Роберт. Буду следить за пресой. Ведь тебе, безусловно, предстоит выступать в печати и на телевидении по этому поводу.

— Слава Богу, Джесси догадалась пока не сообщать журналистам о моем приезде.

— А вот от меня, докучливого Ордока, выходит, Джесси тебя не уберегла. Но не сердись. Я уж на дружеских правах прорвался. Нагловатый, в общем-то, я тип и болтун хороший. Да, кстати, я же обещал тебе рассказать насчет черта.

— Насчет черта? А, да, вспомнил. Так что там насчет черта?

— Забавная история. Представляешь, недавно я проводил первую предвыборную встречу. В огромном зале народу битком. Тысяч пять! Волнуюсь. Изложил программу. Пошли вопросы. Посыпались. О чем только не допытывались, как

говорится — от и до! Диапазон — от сексменьшинств до международных отношений. Занимаюсь ли я спортом, как семья, какое хобби и прочее. И вдруг возникает у микрофона один тип и задает мне такой вопрос: «Мистер Ордок, будьте любезны, скажите, пожалуйста, какое отношение имеете вы к черту?» Я опешил. Зал замер! — «К черту? О каком черте идет речь?» — «О вас, мистер Ордок. Вы — черт!» — «То есть?» — «Вы, мистер Ордок, венгр по происхождению. На венгерском языке «ордог» означает «черт»! Вам не стоило бы этого забывать, мистер Ордок!» Зал так и грохнул от хохота. С меня горячий пот полил. А этот тип добавляет: «Простите, мистер Ордок. Ведь я не случайно. Я очень хочу, чтобы вы стали самым популярным чертом в Америке!» И опять смех в зале до потолка. Как тебе нравится, Роберт?

— Такое не придумаешь! Я и Джесси расскажу.

— Расскажи, расскажи, пусть посмеется.

— О'кей! Звони в случае чего.

— Непременно, — живо откликнулся Ордок, показалось, что он собирается попрощаться, но тут в разговоре возник совершенно неожиданный поворот. — Слушай, Роберт, в моей наивной голове мелькнула сейчас бесшабашная мысль, — сказал Ордок, хмыкнув в трубку. — А что если, представь себе, допустим, да-да, допустим такое: в связи с тем, что неожиданно возник на пути нашем этот космический монах и как быть с ним, никто не знает, так вот, не стать ли тебе в нашей команде главным консультантом по этой части? На период кампании, конечно. Ну, соответствующая тому оплата. Но не в этом суть, извини ради Бога, это и оговаривать не стоило.

— Спасибо, Оливер, спасибо за предложение, — заторопился Борк, чтобы не вдаваться в ненужную тему. — Но скажу сразу: столько своей работы — не поспеваю. С тобой должны быть на бегу молодые, расторопные, толковые ребята, чтобы с утра и до вечера рядом. Ведь это кампания, погоня за голосами. А я уже стар для этого.

— Не стоит, Роберт, не стоит. Не так уж ты стар, как тебе кажется. Ты себя преждевременно старишь. Поверь мне. Я ведь от души. Подумай при случае. Авось! На космического Филофея нужен соответственно земной Филофей! А?

— Ну тут сообща, сообща думать будем, — смущенно проговорил Борк. — В принципе ничто не мешает нам созваниваться, если потребуется.

— О'кей! Ты прав. Спокойной ночи! Джесси привет от меня.

— Она у телевизора сейчас.

— Ну ясно, сейчас все у экранов телевизоров. Все слушают рассуждения комментаторов. Но что будет завтра? Каким ветром потянет? Пока, Роберт!

— Пока.

## V

Положив наконец-то телефонную трубку, Роберт Борк покачал головой: вот как оно раскручивается — филофеевское послание действительно задевает всех. Мало ли было на земле проблем, веки неизбывных. А теперь вот — загадка кассандро-эмбрионов как снег на голову! И вспыхнет мировая истерика. И сколько душ будет сбито с толку! Настал час! Не уклониться, не избежать! Что-то грядет! Уже висит в воздухе! Пышет из алчущей пасти назревающих событий! Реакция на космическое послание Филофея последует незамедлительная и яростная, как если бы на многолюдном базаре кого-то обесчестили, оскорбили в религиозных чувствах и вмиг поднялся гвалт несусветный. Идеи Филофея скорее всего будут подвергнуты мощной обструкции, осмеяны, опорочены и прокляты, как это всегда бывало в иступленные эпохи, при многих великих и малых хождениях к новым богам, к новым спасительным истинам, к утопическим далям идеального устройства жизни. Так было всегда. Но неужели история снова, снова слепо повторится и на сей раз? И как всегда, захлебнется в себе, ничего не открыв и не постигнув ни сиюминутно, ни впрок? Ведь отрекающиеся от жизни кассандро-эмбрионы как следствие все возрастающей концентрации зла в поколениях, накопления зла из века в век, не исчезнут, с открытием Филофея знание о них предопределяет мучительную участь человечества — ожидать конца света. И другого исхода на горизонте не видно.

Думая обо всем этом, Роберт Борк невольно задавался вопросом, откуда такая страсть в нем самом, почему так близко к сердцу принимает он поступок столь отдаленного в пространстве космического монаха Филофея, почему так волнуется за него, почему оказался горячим сторонником, единомышленником автора кассандро-эмбрионального учения? Чем все это объяснить? И больше всего поразило Борка, что вся предыдущая жизнь его, все, что сумел он постиг-

нуть, весь его опыт и знания как бы обнаружили свое подлинное предназначение именно теперь, именно в связи с открытием Филофея. Сознание этого рождало в нем и недоумение, и в то же время чувство небывалого внутреннего удовлетворения, ощущение неожиданного выхода на искомый след — на искомую сверхзадачу, о которой мечталось, быть может, всю жизнь, и отсюда являлась готовность отставить открытие космического монаха как свое кровное дело. Он уже обдумывал свое выступление. Всплыло название — «О чем гласит фобия кассандро-эмбрионов?».

И подумалось ему в тот час, что в жизни бывают верховные минуты бытия: годами накапливаемое, обогащаемое изо дня в день являет вдруг молнию прозрения. Этому, несомненно, способствуют привходящие обстоятельства — согласие в семье, признанность в своем научном кругу, то есть все то, что повседневно сказывается на состоянии, на дееспособности человека, что принято называть, если без хинжества и пусть весьма банально, — счастьем. Обывательским счастьем, отчего оно не становится менее ценным.

Был уже поздний вечер; несмотря на усталость, Роберт Борк устроился в кабинете и включил компьютер. Того, что посетило душу в тот час, нельзя было упустить. Все это должно было найти свое выражение на бумаге, в слове.

В раскрытую дверь кабинета был виден горящий в гостиной камин. Круглый год, в любой сезон Джесси умудрялась разводить в камине огонь. Она любила музыку огня.

Первые летучие фразы родились легко. На чисто светящемся экране строки ложились наглядно, одна за другой, как пласты, опрокидываемые в поле плугом. В полуосвещенных боковым светом окнах кабинета отливала густой синевой плотная осенняя ночь. Знакомые силуэты деревьев в саду лишь угадывались. Луна шла краем неба, то и дело зарываясь в кучевые облака и вновь выныривая.

В тот час, отрадный для работы, предстал пред мысленным взором Роберта Борка целокупный мир, как бы обозреваемый с высоченной горы, затаившейся в мареве за экраном компьютера. В тот час Борк писал о неизбывной проблематичности пребывания человека среди себе подобных, целиком поглощавшей человеческие существа от рождения до смерти, и о попытке постижения главной сути бытия — человек не сотворен изначально добродетельным, отнюдь нет, для этого требуется неустанно прилагать душевные усилия и всякий раз, с каждым новым рождением, заново при-

ступать к этому — для достижения недостижимого идеала. И все в человеке должно быть направлено на это. Только тогда он — человек.

Размышляя над жизнью человеческой, Роберт Борк, однако, не предполагал, насколько та самая жизнь, которую он под впечатлением письма Филофея пытался аналитически осмыслить, чревата необъяснимым, непредвиденным, насколько она противоречива, коварна, крута. Не предполагал он, в частности, что с того часа, как он в разговоре с Оливером Ордоком, боровшимся за президентское кресло, высказал свое отношение к открытию монаха Филофея, судьба его была предreshена. С этого часа судьба его оказалась зависимой от судьбы Ордока. А, с другой стороны, также совершенно немыслимым образом оказалась увязана с судьбой Филофея, находившегося в тот час на орбите, в космическом уединении, в свою очередь ничего не ведавшего о Борке — ни сном ни духом.

Но как бы то ни было, случилось то, чему следовало стать. И узел судеб был уже нерасторжим. Об этом в ту лунную ночь еще никто не знал. Ни один из повязанных — ни тот, ни другой, ни третий... Но узел судеб был уже жестко стянут...

И катилась Луна в чреве ночи, неуклонно проделывая свой извечный путь над Землей в отведенные на то неукоснительные часы и минуты. И много зачатий, состоявшихся той ночью, были тотчас вовлечены лунным притяжением во вселенскую субстанцию, в продолжение круговорота вечности — рождения и смерти. Вечность жизни возобновлялась в чревах, в новоявленных оплодотворениях. И в каждом зачатии той ночью уже были обозначены в перспективе персонажи будущего. И всем им, зародившимся, были открыты двери свободы, двери рождения. И всякий зародившийся той ночью мог явиться со временем на свет кем угодно — и палачом, и казнимым, и безупречным, безбрачным богослужителем, и прочим, и прочим в этом ряду. Но, вопреки закону вечности, уклоняясь от зова жизни, объявились в череде зачатий той ночью и генетические нигилисты — кассандро-эмбрионы. Объявились, чтобы дать о себе знать свечением знака Кассандры на челе забеременевших женщин, объявились, чтобы бросить вызов уготованной судьбе-мачехе, объявились, чтобы с помощью Филофеевых зондаж-лучей передать изнутри внешнему миру свою безмолвную просьбу — просьбу разрешить им удалиться от жизни.



И плыли киты той ночью в океане мимо мигающего во тьме маяка на далеком обрывистом побережье. Перламутрово лоснящееся стадо китов на играющем лунном свете плыло во мраке упорно и безостановочно. Куда они плыли? Что их влекло? Что их гнало? И что хотел сказать им маяк на обрыве, отражавшийся в океанской воде и в китовых глазах?

И сидел той ночью у компьютера футуролог Роберт Борк в тревогах, сменявшихся надеждами, в надеждах, сменявшихся тревогами. И плыл он среди китов в океане, и киты знали, что он плывет вместе с ними. И так они плыли вместе, ибо судьба его и судьба китов все более переплетались... Плылось ему в океане так же, как и китам в бурлящих волнах, и так же отражался свет далекого маяка в его зрачках, как и в китовых...

\* \* \*

А ровно в три часа ночи по московскому времени вместе с боем знаменитых кремлевских курантов, всякий раз громогласно напоминавших всем четырем сторонам света о державном величии, устремившись круто вниз, слетела с гнезда на Спасской башне тамошняя сова. И полетела вдоль Кремлевской стены, как тень, бесшумно взмахивая широкими крыльями, неуловимо вращая на лету огромной головой с магнетически светящимися округло-пристальными глазами. Так летала она каждую ночь в одно и то же время, когда из Спасских ворот в полном безлюдии вокруг выходил, чеканя ударную поступь, отсчитывая ровно двести десять торжественно-ритуальных шагов, очередной наряд часовых к мавзолею Ленина. Мавзолей возник здесь уже на ее, совином, веку, и она пережила уже многих и многих молодых солдат, истуканами отстоявших свой срок в дверях мавзолея, охраняемого ежесекундно, круглосуточно, круглогодично, всегда.

Облетев площадь по всему периметру, покружив несколько раз над мавзолеем, мерцавшим в лунном свете гранитными гранями, покружив заодно и над сакрально-государственными захоронениями, располагавшимися в тылу мавзолея, под ельником, под самой Кремлевской стеной, и убедившись, что ожидаемые ею двое здешних призраков, одинаковых с виду, одинаково приземистых, одинаково башкастых, появлявшихся обычно в глухую полночную пору, судя по всему, и на этот раз не намерены возникнуть

(куда они запропастились, никак опять поссорились?!), сова подалась прочь, неуловимо взмыв перед лицом каменно застывших на посту часовых. Сова улетала разочарованная, что-то давно уже неразлучная пара одинаково приземистых, одинаково башкастых фантомов, шептунов-собеседников, не навевдалась побродить по Красной площади, потолковать о жизни, посудачить. А чем еще оставалось им заниматься, этим потусторонним субъектам?

И в самом деле, уж очень любили они поговорить, порассуждать о том о сем, о политике — непременно. И случалось, что призраки увлекались, горячились, до скандала доходило, спорили, ругались очень. Один в сердцах заявлял, что никогда больше не встретится с другим, что он его ненавидит, презирает, не желает быть рядом; другой отвечал, что деваться тому некуда, что история теперь им не подвластна, не то что прежде, а потому совершенно напрасно он так горячится, после смерти они, что опавшие листья, куда ветер понесет, и прочее в этом роде. Волею Провидения только сове дано было видеть и слышать этих неуживчивых, неугомонных призраков в их потусторонней, эфемерной зыбкости... Сова уже привыкла к ним за долгие годы, без них ей было скучно, вроде чего-то не хватало. Но она знала, никуда они не денутся, рано или поздно появятся. Вот вскоре должны состояться на площади большой парад и шествие, и ночью вслед за этим призраки непременно появятся, возбужденные, с фанатически блестящими, пьяными от увиденного глазами. Очень их будоражат гремящие барабаны, строевая музыка, солдатские шаги, отбиваемые по плацу, точно по сердцу. А лязг военной техники! И шествия, шествия как будоражат — многолюдные, громогласные, ликующие, с лозунгами и портретами тех, что стоят в тот час на мавзолее. И протекают толпы, как нерестовое движение, — все в одну сторону, голова к голове, — с криками «ура-аа».

Но призракам не дано появляться в дневную пору, на свету, а не то захотелось бы им переступить ход времени, вернуться из небытия в сиюминутную явь и самим включиться в действие, самим стоять на верхней трибуне мавзолея над экзальтированной людской рекой внизу... И все бы это вдруг остановилось, замерло, как в стоп-кадре, застыло бы в немой сцене навсегда, на века в неизъяснимо сладостном восторге истории... И застыли бы на лету самолеты, проносившиеся над Кремлем, и стаи вспугнутых голубей застыли бы в воздухе, и горение глаз, и орущие рты, и да-

же мысли, преданные и наичистейшие, застыли бы в извилинах мозгов... И солнце остановилось бы стоять навсегда в одном месте...

А в будни, особенно в ненастье, в затяжные дожди, в метельную поземку, когда на площади негде укрыться от ветра, когда часовые у мавзолея стоят в валенках с калошами, в ушанках, в рукавицах и выдыхают морозный пар, тут же оседающий белой изморозью на воротниках, на дулах парадного оружия, башкасто-приземистые фантомы — призраки, возможно, от непогоды становились ворчливыми, неуживчивыми, все больше жались по углам, искоса кидая взгляды на луну, перечили один другому, и тогда частенько доносились до слуха совы раздраженные возгласы: «Перестань меня убеждать в том, что не подлежит объяснению! Не существует аргументов против смерти, их не может быть, смерть — естественна. И я не хочу быть бессмертным, будучи умершим, не хочу эрзац-жизни! До каких пор будет это продолжаться?! Нет мне исхода, нет мне покоя, нет покаяния! Прежде не думал, а теперь из головы не выходит — зачем я родился, зачем только меня мать родила?! Ведь я не хотел, не хотел рождаться! А теперь я заложник гробницы! И это все дело твоих рук! Это твоя архисатанинская, архи-коварная идея! И никогда я с этим не примирюсь, никогда, никогда, запомни!» На что напарник отвечал ему сиплым голосом, невозмутимо посасывая навсегда угасшую трубку свою: «Слушай, я много раз объяснял тебе. Это была воля партии. Я объяснял тебе: ты нужен был партии в наглядном виде, в наличии, понимаешь, для мировой революции, для классовых клятвоприношений, ты нужен был партии после смерти и вопреки смерти. Ты — фараон революции, и тебя берегут, стерегут, тебе в твоём саркофаге поклоняются!» — «А я категорически не хочу этого! Я категорически протестую! Никому, категорически никому не дано игнорировать смерть. Это — абсурд!»

И летала сова над ними, и диву давалась, как яростно спорили они о том, о чем нигде в мире не услышишь...

Но сегодня их не было, полуночных призраков-спорщиков... Площадь пустовала...

Сова взмыла над зубчатой стеной Кремлевской крепости и, держа перед немигающим взглядом глаз своих всю округу, полетела дальше над обширно-пустынными крышами в дворцовые парки. Здесь она тихо ухала среди густых ветвей осенних, неподвижно оглядывая с высоты холма излучину

реки внизу, темные крыши спящих домов. Под мостом скулила приبلудная собака. Зябла, должно быть...

Сове казалось, что она слышит из великого отдаления, откуда-то с другого края света, как в ночном океане плывут киты, как движутся они гуртом, раздвигая гороподобными телами надвигающиеся волны. Вода гудела в бурлении вокруг китов. Вода сопротивлялась их движению, но они плыли, поспешая невзвесть куда. Тревогой веяло от их вулканически-горячего дыхания.

Сова на взгорье кремлевском чуяла — что-то должно произойти на земле. Всегда так бывало — киты впадали в отчаяние перед тем, как случиться в мире великой беде.

И тягостно ухала сова в Кремлевском парке, и уже бли-  
'зился рассвет...

\* \* \*

То, что произошло на другой день, не явилось для Роберта Борка некоей неожиданностью, подобное развитие событий можно было предвидеть. И все же такого крутого оборота он не ожидал...

С утра, когда он отправился в университет читать лекции, он еще принадлежал себе. А потом...

Во второй половине дня Борк возвращался домой. Возвращался, с трудом сосредоточиваясь за рулем машины. Хотелось поскорей оказаться дома, отыскать у Джесси аппарат для измерения давления, как он там называется... Она иногда измеряла давление себе, а заодно и ему. Обычно у него все было в норме, жаловаться на здоровье пока было грешно, он соглашался измерить давление со смешком, снисходя к причудам любимой жены. А теперь ему самому хотелось убедиться — все ли в порядке? Что-то не по себе было. Странное, ранее неведомое ощущение зыбкости окружающего мира охватило его. Жизнь как бы сместилась в чем-то, потеряла устойчивость, как на ветру, даже в выражении глаз и в голосах людей, с которыми он общался многие годы, что-то изменилось, а может быть, это происходило и в нем самом?

Даже автобан, прекрасно распланированный для скоростной езды, освоенный до мельчайших деталей, и тот показался чуть ли не малознакомым. Ехалось почему-то с опаской. Все стало вдруг иным, не совсем таким, как было... Все оставалось на месте, и все вокруг вроде бы утратило преж-

нее значение... И трудно было объяснить себе, что все это значило...

Машина Джесси стояла перед домом. На душе полегчало. Стало быть, жена еще не уехала на репетицию.

— Ну что, как дела? — Джесси поднялась ему навстречу. Она, как всегда, светилась улыбкой. — Что-нибудь еще случилось? Что-то ты непонятный какой-то. — Джесси глянула в лицо мужа, и ее взгляд, насмешливо-улыбчивый поначалу, невольно изменился. — Ты неважно себя чувствуешь?

— Да в общем ничего. Джесси, ты себе не представляешь, люди сошли с ума! — проговорил Борк, бросив портфель на диван и скидывая пиджак.

— Хочешь кофе?

— Да, непрочь. Были звонки?

— Были. О них потом. Расскажи, что там происходит, в городе.

— Что происходит? Да то, чего и следовало ожидать. Паника. У всех на устах Филофей. Вот что происходит. Я уж не говорю о газетах, радио и телевидении. Там ажиотаж, тщетная попытка разобраться что к чему.

— А они уже звонили, Си-эн-эн, «Голос Америки», радио «Свобода». Я сказала, что ты возвратишься только поздно вечером. Но продолжай.

— В университете — невозможно шагу ступить, все взбудоражены до предела. Пожар на лицах. Все толкуют только об одном. И оказывается, это страшно, когда все заиклены на том, что волнует буквально всех одновременно. Бешеные мысли идут вразнос. Теперь я понимаю, что умел делать Гитлер на площадях, какие вызывать стихии.

— Возможно, ты прав. Но что ты хочешь, Роберт, это же студенты. Они молоды, кипучи, страсти через край. А тут — Филофей!

— Пожалуй что да. В день убийства Кеннеди, помню, было нечто подобное. Сегодня какая-то дикая разноголосица, сумятица, сумбур. Одни, к примеру, утверждают, что Филофей недопустимо вторгся в тайну природы, и тут же опровергают себя — а разве могут быть тайны, вторгаться в которые недопустимо. Другие — чего тут переживать, пусть себе монах космический морализует на орбите, а нам, мол, плевать. Подумаешь, какой-то прыщик на лбу. А в ответ: плевать потому, что ты мужчина, а как быть женщине, узнавшей, что ее будущее дитя не хочет рождаться? И вообще, как быть дальше? Что делать со знаком Кассандры? Как

заставить себя забыть, не замечать того, что существует? Третьи несут что-нибудь несусветное. И четвертые, пятые, десятые и так далее. И, наконец, все вопиют: зачем вторгаться в генетический код — это запрограммированная судьба, не подлежащая вмешательству. Тысячелетиями люди жили по коду судьбы, и теперь вдруг ревизовать то, что неподвластно воле нашей. И так далее и тому подобное. Всего не передать. Для кого-то это прыщик, пустячок, а для кого-то катастрофа. Да, всего не передать. Но самое жуткое — Кассандра уже в действии. Говорят, одна студентка с юридического факультета глянула на лекции в зеркальце и с криком кинулась прочь из аудитории. У нее выступило на лбу то самое пятно, сигнал кассандро-эмбриона. А в другом случае и того хуже. Дорожная авария, и женщина, сидевшая за рулем, призналась, что загляделась в смотровое зеркальце — ей показалось, что на лбу у нее появилась подозрительная примета. Хорошо еще, обошлось без большой беды.

— Бог ты мой! — Джесси опустила на стул. — Вот свалилось всем на голову! Как же быть дальше? Должен же быть выход какой-то?!

— Не знаю, Джесси, не знаю. Что ты хочешь от меня? И потом, тебе ведь пора собираться на репетицию. Вернешься, поговорим. У меня тоже тяжело на душе.

— Никакой репетиции! Какая тут репетиция, когда творится черт знает что!

— Ну вот, начинается! И ты тоже! Весь оркестр тебя будет ждать, а ты тут будешь дома терзаться страстями по Филофею.

— А я позвоню, скажу, что заболела. В конце концов, я самая старая среди них. И вообще, я скоро буду бабушкой. Ты-то это прекрасно знаешь.

— Меня ждет та же участь, но только бабушка в мужском роде, — пытался рассмешить ее муж. — И буду очень рад, когда мы полетим к Эрике в Чикаго уже в качестве бабушки и дедушки. А сейчас, поверь мне, не стоит, Джесси, не срывать репетицию. Напрасно.

Джесси заколебалась.

— Ну хорошо. У меня еще целых полчаса, даже больше. Но что же будет теперь со всеми? Эрика уже на седьмом месяце беременности. А может быть, и у нее тоже была на лбу метка Кассандры? Ведь никто не знал тогда ни о чем. Представь, а если бы Эрика забеременела недавно?! Я бы ночи не спала. — Джесси замолчала и, немного успокоившись, доба-

вила:— Сейчас приготовлю тебе кофе, Роберт, а потом уже поеду.

— Я и сам могу, не беспокойся.

— Нет, я сейчас. Кстати, звонил среди прочих некто Энтони Юнгер от Ордока.

— Юнгер? А, понимаю. Ну и что он сказал?

— Сейчас приду, расскажу.

Пока жена готовила на кухне кофе в старой их кофеварке, действующей на пару и потому прозванной паровозом, Роберт Борк устало сидел в кресле, откинув обвисшие руки, и пребывал в странном состоянии, точно он был здесь посторонним. Он даже огляделся вокруг. Оглядел, как будто впервые, большую гостиную, обставленную массивной мебелью, в том же стиле были когда-то приобретенные Джесси в Венеции люстра и большое зеркало над камином. Рояль, виолончель. Золоченые корешки книг в стеклянных шкафах (основная часть книг находилась в библиотеке, на втором этаже, рядом с кабинетом). И весь этот дом, и сам он, отражавшийся в старинном венецианском зеркале, мохлястый и седогривый, как старый конь, некогда выделявшийся крупной статью, воспринимались им в тот час с чувством некой отчужденности; он как бы отстраненно видел свою былую жизнь, вещи, связанные с той жизнью, самого себя, малознакомого, замкнувшегося, погруженного в непривычные размышления. Он даже подумал: «Неужели мне надо больше всех, отчего я так переживаю, точно действительно пришел конец света?! Но может быть, вся предыдущая жизнь моя была всего лишь прологом, чтобы теперь ткнуться в неведомое? Шарить, как незрячий, в поисках скрытой двери? И что я постиг, подвизаясь в футурологии, прожив в общем-то спокойную, упорядоченную жизнь пресупевающего ученого мужа? И вот последний акт судьбы в лице космического Филофея. Что это значит? Момент истины? Расплата за аванс? Так ли это? Кто для меня Филофей? Никто, если подумать. Но что же я не уймусь? Значит, что-то меня с ним связывает? То киты снятся, а теперь...»

И отделаться не мог от этих мыслей, не мог уйти от сомнений. И о чем бы теперь ни подумалось, приходилось исходить из открытий космического монаха. Приходилось все сопоставлять — все, что было до, и все, что стало после...

Джесси принесла кофе, и опять разговор вернулся к прежней теме. Оказывается, Энтони Юнгер, отрекомендовавшийся почитателем трудов Роберта Борка, звонил от ко-

манды кандидата в президенты, пытался дозвониться Борку в университет, но не застал и просил передать, что будет еще звонить, во второй половине дня. Когда Джесси поинтересовалась, не может ли Борк сам ему позвонить, Юнгер ответил, что его будет сложно застать, он все время будет в бегах, у них сегодня суматошный день, готовится встреча Ордока с избирателями, а затем большая пресс-конференция, в общем, хлопот много, а ему очень хотелось бы поговорить с Борком. «Давно мечтал поговорить, а сейчас есть повод. Передайте, пожалуйста, у меня есть информация и вопросы. Очень хочу дозвониться».

И вскоре после отъезда Джесси на репетицию раздался звонок. Это было он, Энтони Юнгер.

— Мистер Борк, вам не кажется, что у нас с вами есть общий друг — по имени Филофей, и знакомство наше с вами, к сожалению, пока телефонное, происходит в общем-то с его подачи?

— Согласен. Этот космический монах многое будет определять теперь в нашей жизни.

— Об этом-то и речь, мистер Борк. И думаю, вам это виднее, чем кому-либо. И проблема теперь в том, каков будет ход событий, или, как образно выражаются русские, куда повернет дышло истории. Хочу похвастаться, чтобы вы знали, я недурно говорю по-русски. Стажировку прошел в Московском университете. Вдруг да окажусь вам полезным в этом качестве, буду рад.

— О, это замечательно, — не без удивления отозвался Роберт Борк, отмечая про себя уверенность и звучность речи Энтони Юнгера. «Весьма энергичная натура! — подумалось ему. — Сколько же ему лет?» — Я тоже бывал в России при Горбачеве, — откликнулся он на русскую тему. — Москва, Ленинград, Киев. А скажите, Энтони, сколько вам лет? Просто любопытства ради.

— О, пожалуйста! Хотел сказать для пушей солидности — тридцать, но буду точным — двадцать восемь с половиной, — ответил тот. — Пора, пора уже за ум братья. Что еще сказать? Москва мне многое дала — другой полюс жизни и знаний, но кагэбэ я завербован не был. Сразу заявляю!

Они оба засмеялись этой модной в Америке шутке.

— Извините, Энтони, по возрасту вы мне в сыновья годитесь. А поинтересовался я этим потому, что при серьезном разговоре важно знать возраст собеседника.

— Я тоже так думаю. Ну, о вас я знаю, пожалуй, все. Чи-



тал ваши книги, в последнее время очень внимательно перечитывал вашу статью «Девять дверей глобального дома».

— Да, это была попытка синтеза мировых идей в области футурологии. Спасибо, я очень польщен, — пробормотал Борк.

— А сам я, кстати, в академическом смысле неопределенный тип, — проронил с усмешкой Энтони, — собран из лоскутов знаний, судорожно хватался за все — от философии до астрологии, когда-то мечтал о космосе. Занимался и профсоюзными делами, и журналистикой, отсюда мое сближение с Оливером Ордоком. Он делает ставку на популизм, и в этом его сила. Ему нужно сейчас помочь в предвыборной гонке. Вот мы и стараемся. Я у него в команде занимаюсь связями со СМИ. Вот сегодня, к примеру, через три часа — публичная встреча с избирателями в спортзале «Альфа-Бейсбол». Масса народу, прямая телетрансляция. А затем, уже поздно вечером, — пресс-конференция и тоже с прямой трансляцией по нескольким каналам. Я все это вам говорю, мистер Борк, не случайно. Возможно, вам интересно будет посмотреть, что у нас, то есть у Ордока, получается, а что нет. Извините, у вас есть время, я не мешаю своими разговорами?

— Нисколько. Я тебя слушаю, Энтони.

— Так вот что мне хотелось бы отметить в этой связи, чтобы вы знали. Утром мы все собирались в кабинете Ордока, человек двадцать нас — помощников, экспертов и прочих, и первое, что он сообщил, — о том, что у него с вами был вчера продолжительный телефонный разговор о послании космического монаха.

— Да, был, — подтвердил Роберт Борк.

— Это прекрасно, что Ордок советовался с вами по поводу того, что у всех сейчас на уме и на языке. Политик он, активно набирающий популярность, но никак не пророк и...

— Энтони, любезный, — прервал его Борк. — Я знаю, что это ты надушил Ордока обратиться ко мне. Но ведь и я далеко не пророк. Ты думаешь, я обладаю способностью мгновенного прозрения? Я сам был бы готов обратиться к кому угодно, чтобы мне помогли во всем этом до конца разобраться. Ты звонишь ко мне так, как будто общепризнано, что я знаток всего этого. А я не могу гарантировать бесспорности своих суждений. Это надо учесть.

— Я рад, что это так! — удивил своим ответом Энтони Юнгер. И голос его зазвенел увлеченно.

— Чему же ты рад?

— Тому, что интуиция меня не подвела. Хотя и говорят, что в своем отечестве нет пророка, сейчас я еще раз убеждаюсь, что вы тот самый мыслитель, с которым и должен был прежде всего проконсультироваться политик, претендующий на президентское кресло. Ордоку сегодня предстоит держать речь, отвечать на вопросы целого стадиона избирателей. И дело не в том, удастся ли ему с ходу завладеть мешком общественного мнения и взвалить его себе на спину. Важно, что ваши взгляды станут таким образом достоянием масс. Я говорю это исходя из того, что сказал нам утром Оливер Ордок.

— А что он вам сказал?

— В общем, я понял, что он, опираясь на ваши оценки, склонен комментировать открытие Филофея как реальность, с которой нельзя не считаться всем людям, во всех слоях общества, во всех странах света. Не так ли? По-моему, так? Ордок примерно так сказал.

— Принять к сведению то, что есть данность, — это одно, это исходная точка. Но что дальше? Как быть с тем, что явилось и продолжает являться причиной появления касандро-эмбрионов? В социальном, историческом, психологическом плане? Вопросов тут масса.

— Вы правы, мистер Борк, — проронил Энтони и хотел сказать что-то еще, выразить свое понимание, но Борк снова заговорил:

— Я целиком поглощен этим событием, мне даже кажется, что я сам уже не тот, что был вчера, и надо заново осмысливать жизнь, хотя мне пора бы думать о ее завершении. Филофеевское открытие опрокидывает наши прежние взгляды на человеческую судьбу. Обнажилось то, в чем мы прежде не хотели себе признаваться. Прогресс, цивилизация, казалось нам, оправдывают то негативное, чем они сопровождаются. Лес рубят — щепки летят. Есть такая поговорка у русских.

— Да, очень распространенная. Сталин, к примеру, так оправдывал щепки массовых репрессий. Но продолжайте, я вас внимательно слушаю.

— Так вот. Что я хотел сказать? Филофеевское открытие обнаруживает, безжалостно обнажает то обстоятельство, что на протяжении всей истории, из поколения в поколение, люди систематически истязали друг друга и мир, в котором они живут, и в силу этого лишились очень многого на пути

своем; очень многое, чего они могли бы достичь в своем историческом совершенствовании, безвозвратно упустили. Ну, вот представьте себе даже схематически. Разве все эти нескончаемые войны, и так называемые славные в том числе, все эти революции, бунты, восстания, преступления, жестокость властей, деспотизм учений и идеологий — разве все это, вместе взятое, все, что постоянно корежит, выкручивает жизнь, судьбы, делает народы постоянно взаимоненавидящими, людей — алчными существами, разве все это, если исходить из Филофея, не находит свое выражение в бессловесном протесте кассандро-эмбрионов, число которых все возрастает? Отказ их от жизни — это ли не предчувствие конца света? И вот получается: эсхатологический миф, в который по инерции бытия мало кто верил до конца, становится наглядной реальностью. Обо всем этом я пишу в статье, над которой сегодня ночью начал работать. Оливер Ордок, разумеется, может иметь на Филофея и его открытие свою точку зрения, но в любом случае и он, и его команда — вы все должны понимать, с какого рода сложной материей мы имеем дело. Примерно об этом я и говорил вчера Ордоку.

— Каюсь, что я вовлек вас и сегодня в длиннющий телефонный разговор. А в душе радуюсь — я узнал то, что хотел узнать. Конечно, я с вами согласен, есть еще многое в филофеевской теории, о чем следует думать и думать. Но как бы то ни было, он задал нам неслыханную задачу. Всем до единого, всем смертным на земле! Вот это личность! Он повернул ключ Вселенной! И если придется нам, простите, отдуваться за все предыдущие века — а дело идет к тому, — за все, что было сотворено, как вы изволили выразиться, алчными существами, то есть нами, всеми нами и всеми до нас, то к кому же апеллировать, как не к самим себе?! Стало ясно, что зло не уходит бесследно, безответно вместе с теми, кто его творил, а оседает где-то в бункерах генетики до поры до времени. И выходит, кто-то рано или поздно должен расплачиваться за это отречением от самой жизни?!

— Да, получается так, Энтони. Дело в том, что мы мало думаем о соотношении добра и зла, неизменно сопрягая их в единой связке, мало думаем о том, что зло — преобладающая сила, что зло губит, постоянно убивает в нас наше истинное предназначение, губит наши вселенские ресурсы, не дает разуму поднять голову, чтобы распознать иные способы бытия, когда человек стал бы качественно иным, чем сейчас.

— Мистер Борк, а вы думаете, что, физически оставаясь такими, какие мы есть, люди могли бы обладать качественно другим интеллектом, могли бы быть существами с иной матрицей поведения?

— Вполне вероятно. Ведь мы были предоставлены сами себе, оказались единственными разумными существами во Вселенной. Никакой конкуренции ни с какими тварями. Мог ли у нас быть другой тип духовной эволюции, принципиально другое развитие? Об этом можно думать, спорить. В чем, однако, людям не отказать, так это в том, что, чего бы мы ни достигали в развитии науки и техники, мы всегда оставались и, к сожалению, остаемся зверьми, пожирающими себе подобных.

— Жаль, черт возьми, очень жаль. Выходит, космический монах накрыл нас с генетическим поличным?! Но, как это ни глупо, меня некоторым образом задевает то, что мы могли бы быть иными, чем мы есть. Нет ли, мистер Борк, в этом утверждении привычной идеалистической мелодии, уносящей нас в мазохистские переживания?

— Разумеется, есть, поскольку мазохизм — это жалоба в пустыне на отсутствие леса.

— И что же вы предлагаете, если такого леса нет и не будет?

— Пожалуй, одно — выращивать в себе лес новых прозрений.

— Что это значит?

— Что это значит? Цепкий ты журналист! В свете филофеевских открытий это может означать одно: нужно внять сигналам кассандро-эмбрионов, каждую мету Кассандры воспринимать как предупреждение. Только так можно остановить зреющий внутри нас конец истории от страха родиться на свет. Проникнуться сознанием того, что надвигается генетическая катастрофа, необходимо буквально каждому и всему человечеству в целом. Я как раз об этом и пишу в своей статье для «Трибюн». Извини, Энтони, по телефону всего не скажешь. Коротко говоря, ответственность человечества перед потомством отныне приобретает новый характер, возможно, это новый виток эволюции. Вчера примерно об этом же я говорил Ордоку. Он тоже озабочен.

— Да, мистер Борк, в этот раз нашему Ордоку придется туго еще и потому, что подобная ситуация не для его, как говорится, политического репертуара. Таких политиков, как Ордок, я называю турнирными. Ордок уверенно действует,

когда у него есть наглядный враг, и тогда он наступает, и это должно быть на виду, публично. В узком кругу он даже применяет понятие «необходимый враг». Вот тогда он на коне. А тут, видите ли, некая абстракция!..

— Не совсем так, Энтони. Такая абстракция может мгновенно превратиться в конкретику. Причем в очень жесткую. Поскольку дело касается жизни людей.

— Да, разумеется. Я просто хочу отметить психологическую особенность Ордока. Но это и форма его политического существования. Но это все к слову. Я заканчиваю, мистер Борк, виноват, с вами не наговорюсь. Не разрешайте мне звонить, а то вам жизни не будет.

— Хорошо, хорошо, Энтони. Возникнет необходимость, почему бы и не поговорить.

— Пока, мистер Борк. Значит, если захотите посмотреть передачу, — митинг в «Альфа-Бейсбол» с шести до восьми, а пресс-конференция в отеле «Шератон» — с девяти до десяти.

— Спасибо. Буду иметь в виду...

## VI

Тот осенний день просился быть увековеченным на живописном полотне — с пронзительной серебристостью воздуха, с бесшумно опадающей на глазах разномастной листвой, со стаями отлетающих птиц, прощально кружащихся над крышами загородных домов... И слышались где-то по соседству голоса играющих детей. Тишину, умиротворение дарил тот солнечный день всему живому — созерцание собственного бытия...

Так бы и завершился в черед своей тот чудесный Божий день, и ничто течению жизни, казалось бы, не мешало. Но приближалось некое событие, пока еще незримое, пока еще назревающее, пока еще накапливающее электричество, чтобы дать затем о себе знать. Для этого людям предстояло собраться вместе. И как можно большему количеству скопиться, как можно гуще и плотней сбиться в единую, горячо дышащую массу.

Роберт Борк посматривал на часы и ловил себя на том, что ждет предстоящей встречи Ордока с избирателями с таким волнением, точно это ему, Борку, предстояло выступить с речью, добываясь президентского кресла, точно это перед ним лично стояла задача, как выражались газетчики, овла-

деть текущим моментом, добиться у публики доверия и поддержки. Борк и сам не мог понять, с какой стати, почему он так волнуется. Казалось бы, ничего особенного — дежурное мероприятие в ходе предвыборной кампании и не более того. Стоило ли вообще думать об этом? Стоило ли придавать такое значение ординарному событию, так волноваться о том, что не имело к нему никакого отношения. Чудак и только! Болельщик нашелся.

Но как бы он ни посмеивался над собой, душа у него болела, он просто не находил себе места. Его все время тянуло из дома в каменный сад, где обычно, прохаживаясь неподалеку или вычерчивая на песке якобы магические знаки, слушал он в раскрытое окно доносящуюся от проигрывателя музыку. Слушал ее и сейчас. В этом искал он успокоения, в бетховенской симфонии, в ее мощи и космичности, надеясь, что музыка, как это бывало нередко, отвлечет его, уведет в свой мир, в иные переживания, к иным, ничем не регламентированным мыслям и фантазиям, которым он здесь обычно предавался. Он любил размышлять о том, что музыка — это одна из неисчислимых трансформаций солнечной энергии, что она исходит из недр Вселенной, а композитор, как радар, улавливает музыку из космоса, формирует ее, гармонизирует, делает ее конкретно звучащей. Иначе говоря, музыка — это звуковое преобразование вселенского Пространства и Времени. Разумеется, этими своими «открытиями» он не делился ни с кем, люди посмеялись бы над ним. Даже Джесси не знала. И еще была у него одна теория, о которой он тоже не распространялся, хотя очень хотелось иной раз и высказаться: думалось ему иной раз, что музыка дана людям в компенсацию трагической краткости человеческого века. Когда человек слушает музыку, погружается в нее, он вступает в надличностную категорию времени, он включается в течение бесконечности, и жизнь его удлиняется, продлевается в соприкосновении с вечностью, возможно, на десятилетия, столетия и более того, но продлевается не в линейном измерении, а в измерении, природа которого еще не раскрыта. И очень вероятно, что никогда не будет раскрыта.

В этот раз, однако, Борк убедился, что для подобного восприятия музыки нужна определенная предрасположенность, определенное настроение, как перед молитвой, как перед отплытием в море... Этого-то ему сегодня и не доставало. И музыка не помогала. К тому же Джесси задержива-

лась на репетиции. Был час пик и неизбежные в это время заторы на дорогах. А Борк дома тоже очутился как бы в заторе. Дело не двигалось, он не брался за то, что должен был срочно закончить. Ведь «Трибюн» хотела получить обещанную им статью как можно скорее. А он, прекрасно сознавая, что жатва сенсации на газетных полосах не терпит промедлений, не мог заставить себя сегодня сесть за компьютер. Все откладывал, уверяя себя, что в крайнем случае опять будет работать ночью, что не подведет газету. Досадовал, метался и вместе с тем предвкушал, какой прекрасный текст ляжет на бумагу; он это чувствовал почти физически, текст прорастал в нем, как трава после бурных дождей. Статья, что называется, сама просилась в работу.

Но он бездействовал в напряженном ожидании того, чего, казалось бы, не должен был ждать, что, казалось бы, не касалось его. Этот грандиозный предвыборный митинг, который должен был состояться в самой густонаселенной части города, в знаменитом спортзале, где будет битком всякого народу, почему-то мерещился ему чуть ли не возле его дома, на террасе, на газонах, в его каменном саду. Казалось, что толпа обступает его дом тяжелой массой, стесняя его дыханием... Он обзывал себя параноиком. Как может привидеться такое?

Он ходил взад-вперед то в дом, то из дому, поглядывал на часы, музыку слышал краем уха, на телефонные звонки не отвечал, а телефон звонил, и достаточно настойчиво. Большой телевизор в гостиной обходил стороной, не хотел преждевременно включать; о том, что могло передаваться в тот час по многочисленным каналам, можно было сказать не глядя — все та же телесуета... Джесси все еще задерживалась...

Он был в каком-то неприкаянном состоянии, не мог сосредоточиться. Но приходили и серьезные мысли. Например, о том, что в разговорах в университете, да и с журналистами из «Трибюн» почему-то не затрагивался тот факт, что обращение космического монаха Филофея было адресовано персонально папе римскому. А ведь легко было понять, что папа тем самым был поставлен в очень сложное положение — как быть, отвечать ли в прессе на столь нетрадиционное, если не сказать одиозное, обращение некоего самозванного монаха или нет, а если да, то что отвечать?

Роберт Борк живо представил себе, какие невероятные волнения могут возникнуть в разных религиях, когда про-

блема кассандро-эмбрионов станет предметом повсеместных обсуждений и споров. Вот где таилась одна из опасностей на пути филофеевских открытий.

Ведь религии, заключающие в себе и муки, и вдохновение вековечного порыва человеческого духа в жажде недосыгаемого слияния с Богом, в той же степени себе на уме — Бог Богом и даже Бог один для всех, но свое есть свое, а чужое — это чужое, свое и чужое — вещи несовместимые. Отсюда пристрастность, амбициозность, эгоистичность различных вероучений в утверждении своих приоритетов на обладание истиной, что главным образом и порождает противостояния в мировых структурах духовенства и, в свою очередь, отчужденность, взаимонепонимание верующих масс. Пожалуй, по этой-то причине в каждой религии найдутся определенные силы, полагал Роберт Борк, которые непременно попытаются обернуть открытие Филофея в свою пользу при любом раскладе — или предавая космического монаха анафеме и набирая тем самым политический капитал, или приспособливая открытие тавра Кассандры к своим доктринам, чтобы тем самым расширить диапазон культа и приумножить свое влияние на верующих.

И снова думалось ему о том, что, бывало, приходило на ум, поначалу тимоходом, а потом все настойчивее и настойчивее, о чем он тягостно размышлял в поездках по странам, на всякого рода международных научных конференциях, не осмеливаясь, однако, высказывать эти мысли напрямую. Что было бы, как обернулась бы жизнь отдельной личности, как сложились бы судьбы людские, если бы каждый человек на земле был волен исповедовать в равной мере все религии, если бы дано было человеку обрести повсеместно право ничем не регламентируемой, свободной причастности — если он, разумеется, верит в Бога — ко всем существующим религиям в одинаковой мере и с одинаковым «статусом», когда бы он был приверженцем не какой-то отдельной конфессии или секты, исключающих все остальные верования, а мог бы быть членом ассамблеи мировых религий и был бы признаваем ими всеми без каких бы то ни было оговорок, когда бы он мог считать себя и христианином, и мусульманином, и буддистом, и иудаистом и прочим в этом ряду верований, и каждой религии — его любовь и уважение; а ему — признание его всеми культами, и он бы свободно принимал их идеи и нормы, но не сектантские, не изоляционистские, а общерелигиозные. Тогда не было бы



между людьми негласных и гласных барьеров религиозного характера, что особенно важно для смешанных поликонфессиональных обществ в гигантских городах и густонаселенных странах. Может быть, такое положение вещей значительно облегчило бы, гармонизировало бы жизнь человеческую? Может быть, пришла такая пора, такая историческая эпоха, когда навстречу человеку все религии могли бы пойти сообща, а не порознь и не толкаясь локтями? Чтобы человек конца двадцатого века мог заявить в отличие от прошлых поколений — все религии мои, и я носитель всех религий, я вхож во все храмы всех культов, и во всех храмах я — желанный паломник... Я был рожден христианами, я был крещен, а погребен буду под стихи из Корана, сегодня я был православным с православными, вчера был мусульманином среди мусульман, в Японии я поклонялся Будде, в Швеции я вторил тезисам Лютера... Никому я не чуждый в своей вере в Бога, и мне нет чуждых молений, обращаемых человеком к Творцу нашему на всех языках и наречиях. Творцу, одинаково внемлющему всем нам, одинаково страдающему от злодеяний наших и одинаково отворяющему для всех нас Вселенную по мере мудрости и по мере добродетели нашей...

Религиозная ассамблейность не ослабила бы идею Бога ни в одной из существующих религий, а, напротив, придала бы им свойства универсальности, открытости, динамизма и, самое главное — обнажила бы человеколюбивую основу религий в ее исходной сути, в деяниях, а не только в прекрасных теориях...

Борк, безусловно, понимал, что это скорее всего странная, а возможно, и нелепая идея, и что вряд ли она осуществима, что можно думать об этом только для себя и про себя, что следует быть чрезвычайно осторожным в такого рода глобалистских высказываниях, чтобы не задеть истово верующих, их жизненной установки, что подобная идея может вызвать шок. Именно эти соображения сдерживали желание футуролога Борка огласить на свой страх и риск то, что вынашивалось им втуне. Воздерживался, даже когда очень подмывало, когда актуальность религиозного космополитизма была очевидна, как искомая истина, как совершенно необходимая модель нового духовного общения людей и религий. Это был бы совместный шаг в поисках Бога, а не разрозненные попытки соперничающих культов «преуспеть» прежде других.

Он хорошо представлял себе, какое страшное возмущение культовых иерархий может породить идея индивидуальной поликонфессиональности, какой шум поднимется, какие камни полетят на его бедную голову, в каких грехах, в каком кощунстве, в какой мировой ереси он будет обвинен. Если эгоизм и корысть — изначально присущие и чуть ли не биологические свойства человеческой природы, то никак не следовало сомневаться в том, что такие действия непременно последуют. И тогда даже участь злосчастного Салмана Рушди, приговоренной к смертной каре мусульманской иерархией, кровно оскорбленной за своего великого пророка, при сопутствующем безразличии других религий, даже такая участь могла бы показаться еще завидной: как-никак Салману Рушди пока удавалось находить себе укрытия, а ведь весьма вероятно, что у ратующих за поликонфессиональную интеграцию верующих не будет и такой возможности, что ему, еретику тому, везде отверженному и отовсюду гонимому всеми разгневанными культами, не найдется на земле места приклонить горемычную голову, что не будет ему пристанища нигде и никогда! «В этой ситуации тебе осталось бы разве что удалиться в космос, к Филофею, — иронизируя над собой, подумал Роберт Борк, и пришла вдруг мысль в голову: — А ведь в самом деле, может быть, судьба для того и удалила Филофея на космическую орбиту, чтобы он мог оттуда, с недосыгаемой высоты, сказать людям на Земле правду?»

Занятый этими нахлынувшими мыслями, Борк чуть было не пропустил начало трансляции предвыборной встречи. Глянул на часы — было уже шесть. Он кинулся в гостиную, к телевизору. Успел в самый раз! Ведущий приглашал телезрителей к экранам на прямую передачу из спортзала «Альфа-Бейсбол» встречи избирателей с независимым кандидатом в президенты Оливером Ордоком.

И открылась панорама многолюдия под сводами спортзала. Народу было — не окинуть взглядом. В эфире стоял приглушенный гул голосов, похожий на гул роящихся пчел. Перед Борком проплывали лица, их выражение, море лиц разных типов, цветов кожи. Оформление места действия свидетельствовало о том, что команда кандидата поработала совсем неплохо. Под куполом спортзала висел огромный воздушный шар с портретом улыбающегося Ордока. В разных местах маячили транспаранты: «Он знает социальные низы», «Ордок — будущий президент!», «Ордок выдвигает

новую экологическую программу», «Безработные верят в Ордока!», «Феминистки требуют приоритета!», «Отдадим голоса за нашего Ордока!» и тому подобные. Операторы работали мастерски, показывая плакаты крупным планом.

И все разворачивалось, как и положено на такого рода публичной встрече. С шумом, с гамом, с эстрадной музыкой, с бодрими голосами комментаторов, с полицейскими, невозмутимо наблюдающими за порядком. И сам Оливер Ордок выглядел, как и подобало виновнику торжества. Движения его были уверенными, при своем едва ли среднем росте он демонстративно высоко держал голову на выпрямленной жилистой шее. Улыбка оживляла его блеклые, стертые губы, глаза умело прятали за той же подвижной улыбкой настороженность и реактивность. Чем-то он очень напоминал бывалого конферансье, умеющего окупать свой небольшой рост бодростью, подвижностью, неожиданным тембром голоса. Ордок проходил к трибуне под дружелюбные аплодисменты зала, в сопровождении шедших по сторонам консультантов и помощников. С появлением кандидата в президенты кучкующиеся фоторепортеры мигом нацелились, наперебой защелкали аппаратами, засверкали вспышками. В эту неполную минуту эфирного времени атмосфера публичной встречи предстала именно такой, какой и следовало ей быть перед началом митинга, лишний раз подчеркивая при том американскую демократию в действии и деловитость устроителей предвыборной кампании.

И у Борка, непонятно почему весь день беспокоившегося, томившегося напряженным ожиданием, несколько отлегло от сердца под впечатлением обыденности демонстрируемого, и он даже упрекнул себя в излишней нервозности.

И действительно, в этой массе людей, внимание которых было сфокусировано на одном персонаже — на Оливере Ордоке, чья речь, усиленная микрофонами, раскатывалась под сводами огромного зала потоком слов и восклицаний, трудно было уловить нечто, выходящее за пределы нормы. Ордок выступал довольно умело, затрагивал актуальные проблемы, был счастливо прерываем несколько раз аплодисментами, когда попадал в цель, когда касался животрепещущих вопросов. Кандидат в президенты делал все от него зависящее, чтобы удовлетворить, завербовать, пленить толпу в обмен на ее политическое доверие к себе. Для этого он хлестко критиковал уходящего президента, критиковал конгресс, критиковал сенаторов, средства массовой информа-

ции, какие-то корпорации и компании, финансовые структуры, которые и по отдельности, и все вместе взятые чего-то недоделали, чего-то недодали, скрыли доходы, лишили возможных благ этих людей, а он обещал им все это восстановить и воздать многократно. И эта часть выступления ему очень удавалась, весь зал возбуждался, и на этом он, Ордок, расцветал, возрастал в своих глазах и во мнении собравшихся. Это был успех.

Роберт Борк внимательно следил за Ордоком, пытаясь представить себе, в какой мере тот держит в уме вчерашний их телефонный разговор. Нет, о послании космического монаха Ордок пока не обмолвился ни словом. Быть может, это было и к лучшему, быть может, на таком огромном политическом сборище и не следовало затрагивать подобное? Быть может, Ордок задался целью заговорить, увлечь, увести толпу в густой лес актуальных проблем повседневной жизни с тем, чтобы этим исчерпать регламент?

Но как бы то ни было, провести толпу, миновать феномен Филофея Ордоку не удалось. Первый же вопрос от микрофона в зале был именно об этом.

— Мистер Ордок, — раздался звонкий женский голос. — Мое имя Анна Смит, я школьная учительница. Не могли бы вы сказать, что вы думаете о послании из космоса монаха Филофея, опубликованном в «Трибюн»? — Женщина стояла у микрофона в проходе, выпрямившаяся и взволнованная.

Люди в зале колыхнулись, как на палубе корабля, на который внезапно налетела крутая волна. И гул голосов прокатился и угас в ожидании ответа. Это был момент, подобный тем, которые обычно называют поворотными.

— Да, уважаемая Анна Смит, — сказал после паузы Оливер Ордок, заметно сжавшись, изменившись в лице, — я читал этот документ и много думал о нем. И не скрою, предполагал, что вопрос такой возникнет и на нашей встрече, хотя, конечно, он, если уж на то пошло, не имеет прямого отношения к предвыборной кампании. Но то, что волнует вас, уважаемые избиратели, интересует и меня. Тем более что данный вопрос касается, надо полагать, всех и вся. Так вот что я хотел бы сказать в этой связи, — продолжал Ордок. — Конечно, я не сосредоточен на подобных проблемах, далеких от политики. Но мне думается, что открытие монаха, а вернее, большого современного ученого Филофея, говорит о том, что для человечества наступает время испыта-

ний. Увы, самооценка наша оказалась явно завышенной. Вы все читали газету, понимаете, о чем речь. Сигналы Филофея надо принимать как предупреждение о близящейся катастрофе. Так получается!

Телеобъективы тем временем ползали по залу, выхватывая, укрупняя лица присутствующих, замерших с напряженным ожиданием в глазах. Роберт Борк застыл перед экраном, очень сожалая, что в этот час он не в зале. Сумеет ли Ордок убедить людей?

— А что же делать? — переспросила тем временем учительница в наступившей тишине. Ее вопрос прозвучал искренне и отчаянно.

— Я думаю, — отвечал на это Оливер Ордок, — что каждый должен решать сам. — В зале послышался глухой рокот возгласов. — Ну а если по большому счету, — начал рассуждать Ордок, пытаясь погасить рокот в зале, — то, конечно, необходимо предусмотреть соответствующие программы предупреждения катастрофы, то ли социальной, как трактует Филофей, то ли биологической, принимать меры по борьбе с явлениями, вызывающими эсхатологическую реакцию кассандро-эмбрионов, то есть стремление отказаться от жизни.

— Позвольте мне сказать! — раздался еще один женский голос. Какая-то женщина типа мулатки, брюнетка со сверкающими металлическими серьгами, в желтой блузке с распахнутым воротом, весьма решительно возникла у микрофона в одном из проходов между рядами. — Я не могу молчать, и мы не должны молчать! — заявила она, оглядываясь по сторонам. — Да, у нас совсем не легкая жизнь в наших кварталах. Но мы всегда жили, желая иметь детей, радуясь их рождению. И пусть никто в это не вмешивается! Какое ему дело, космическому монаху?! Почему он преследует меня? Почему вмешивается в мою личную жизнь? Я категорически протестую!

В зале вновь пошел гул, и многие присутствующие согласно закивали головами, иные вставали с мест и махали руками в знак одобрения.

Ордок пытался успокоить мулатку:

— Да, я вас понимаю, мадам, но ведь появление тавра Кассандры от нас не зависит. Мы должны открыть глаза на то, что это — существующая реальность.

— Если с трибуны будущего президента потакать этому космическому монаху, тогда другой разговор! Пусть он явит-

ся сюда, пусть скажет нам, женщинам, чем мы прогневали небеса, на которые он забрался и шпыняет нас оттуда, позорит на весь мир! — не унималась женщина, сверкая штампованными серьгами и возбуждая вокруг волну солидарного с ней протеста. Возможно, она и дома умела закатывать сцены, а быть может, у нее не было ни дома, ни мужа. «Какое несчастье, — шептал себе Роберт Борк, — какое трагическое заблуждение. Она так страдает, и ее можно понять».

А женщина, еще больше неистовствуя, продолжала:

— Вам легко рассуждать, легко называть его гениальным ученым. Он, мол, открыл нам глаза. А для меня этот тип на орбите — негодяй! — выкрикнула она, выплескивая ярость.

При этих словах гудящий зал разом онемел, на секунду воцарилась полная тишина. Никто не одернул ее, никто не попросил ее придерживаться общественных правил поведения. Не посмел напомнить ей об этом и сам Оливер Ордок, оказавшийся в нелепом положении. И последовала сцена, потрясшая в Америке многих из тех, кто в тот час оказался у телевизора.

— Вот, смотрите, мне нечего скрывать, вот смотрите, как мне быть?! — выкрикнула женщина, нервно дыша, и ткнула пальцем в свой лоб. — Вот уже несколько дней на лбу у меня эта самая напасть, пятно, тавро Кассандры, как именуется эту гадость космический дьявол! — И лицо ее предстало на телеэкране крупным планом, и ясно стало видно в ту минуту на лбу у женщины зловещее багровое пятнышко, ритмично пульсирующее, как тревожный сигнал.

— Я уж и кремом, и пудрой замазывала, — проговорила она, прикрывая ладонью мелко дрожащие губы. — Не помогает. Не исчезает. Ни днем ни ночью! И выходит, я на контроле у этого злодея из космоса? И выходит, он мне тычет в глаза: смотри, мол, твой зародыш — против тебя же, против матери, против жизни, он шлет сигналы, чтобы его умертвили! Выходит, он не желает родиться, он боится жить? Так выходит? А кто ему внушает такое отращение к жизни, кто его толкает к смерти, еще не родившегося, кто его принуждает отречься от белого света? Кто вмешивается в мою личную жизнь? По какому праву меня облучают какими-то страшными зондаж-лучами из космоса? Вот мы сидим здесь, а он, этот, как нам внушают гениальный Филофей, шарит своими лучами из космоса, ищет в женщинах кассандро-эмбрионы. Контролирует нас! Тычет нам в глаза, какие мы дурные! А что поделать? Думаете, я одна такая? Да

и в этом зале наверняка есть такие же, как я, может быть, эти женщины еще не знают, что у них тавро Кассандры?! И вот что прикажете делать, люди? Как мне быть? Убить зародыша потому, что он страшится жизни? Значит, я, моя судьба, моя жизнь не устраивают его? Или я должна уготовить ему рай земной?! А как? Я бы и рада! Но как я могу исправить мир? Или мне самой повеситься? — И она тяжело зарыдала, рвя на себе волосы, безутешно мотая головой. К ней подбежали с ближних рядов какие-то люди и увели ее, обнимая за плечи.

И опять наступила в зале мертвая тишина. Тысячи людей сидели неподвижно, потупив глаза. И все как будто начисто забыли об Оливере Ордоке, ради которого собрались сюда. И телекамеры уже обходили его на трибуне, то пристально вглядываясь в лица сидящих, то давая общую панораму.

И только тогда появился Ордок на экране, когда он подал голос, чтобы произнести фразу.

— Я не думаю, что мы сможем здесь ответить на все эти вопросы. Возможно, стоит специально... — начал он, но его снова перебил голос из зала.

— Извините, мистер Ордок, — обратился мужчина от микрофона в дальнем углу, — я должен сказать, чтобы вы не думали ничего дурного. Мы за вас, но, видите, все страшно переживают. Я сам врач и я потрясен, я понимаю эту женщину, она в стрессе, и сколько еще будет таких! Как можно так вторгаться в нашу жизнь кому-то из космоса, кем бы там он ни был?! Во-первых, это нарушение нашей конституции. Возникает вопрос: мы живем в демократической стране или нет? Мы хозяева себе или нет? Где же соблюдение прав человека? Кто смеет попирает права личности? Кто может принуждать нас жить и действовать в соответствии с какой-то теорией, пусть это даже и научная концепция? Если я не приемлю ее, эту концепцию, если она не в моих интересах, то никто не имеет права навязывать мне тот или иной образ жизни путем лабораторного воздействия на меня. Я внимательно изучил послание Филофея. Я много думал. И тут я с вами не согласен, мистер Ордок, при всем моем уважении к вам. И считаю невозможным следовать рекомендациям Филофея. С научной точки зрения, возможно, он прав, вполне допускаю, но на практике — нет, он не прав. Мы не подопытные крысы!

— Верно! Bravo! Верно говорит! — раздались голоса с мест. И зал забурился.

Телекамеры скользили по лицам, выхватывая то одного, то другого орущего избирателя. В какое-то мгновение телеоператор дал крупным планом самого Ордока. На него страшно и жалко было смотреть. Он стоял на трибуне в полной растерянности, не зная, как ему быть, как остановить дикие страсти, вскипевшие в зале. И именно в ту минуту Борк заметил те самые суповые пятна, вновь появившиеся на лице Ордока, проступившие вдруг откуда-то изнутри, безобразное порождение тихой ярости. Эти суповые пятна, разбрызганные по лицу, были багрово-сизые, горячие и влажные — такое ощущение создавалось на расстоянии, с экрана. Борку и самому стало дурно от всего происходящего, от безысходного нежелания людей видеть в себе источник зла на земле. Да, неистребимого, неодолимого нежелания понять Филофея. Борку и Ордока стало по-настоящему жалко, тот оказался в унижительной ситуации. «Вот не повезло, так не повезло, — терзался Борк за своего одноклассника. — Самое главное, чтобы он не пал духом. Только бы он сумел переубедить зал, отстоять свою точку зрения. И тогда он завоюет прежние позиции. Но сумеет ли? О Боже, какая нелепость! Мы обречены, мы не виноваты, но мы обречены на слепоту, когда дело касается нас самих! Несчастный Филофей, если бы он сейчас оказался в этом зале!»

— Я прошу вас, мистер Ордок, от себя и, если ко мне присоединятся, от имени избирателей. Этого нельзя так оставлять! — превозмогая шум, выкрикивал у микрофона тот, что назвался врачом. — Никто не вправе проводить какие бы то ни было эксперименты над гражданами Америки! Этот космический монах имеет в виду все человечество скопом, это его дело, не наше. А мы — американцы. Мы — суверенные личности! Необходимо запретить проведение провокационных облучений на территории Соединенных Штатов! Пусть свое слово скажет конгресс, пусть свое слово скажут наши федеральные органы!

— Правильно, верно! Надо запретить! — доносились отовсюду крики. — Запретить!

— Спокойно, джентльмены! Прошу вас, дамы! — старался навести порядок от своего микрофона на сцене ведущий. Это был солидный человек в дорогих массивных очках, с четким пробором в напыженных волосах, строго одетый, судя по всему, для него такой оборот дела тоже явился полной неожиданностью. Он был взволнован, он все время дергал себя за галстук. — Я прошу соблюдать очередность у ми-



крофонов! — призывал он. — Я дам вам слово, только по порядку, прошу вас, пожалуйста, по очереди.

Но было уже поздно. Возле микрофонов в проходах стояли кучками одержимые желанием немедленно что-то заявить, что-то выпалить еще и еще вдогонку тому, что уже говорилось предыдущими ораторами.

И ведущему только и оставалось, что успевать регулировать чередование микрофонов:

— Первый микрофон! Слово второму! Пожалуйста! Третий микрофон! Пятый, седьмой, десятый...

От микрофона к микрофону незримым огнем бежала эстафета выступлений, обретающих нарастающую категоричность, и суть их сводилась к резкому неприятию открытий и идей Филофея, к радикальным призывам гнать его в шею с орбиты, что-де в космосе появился мировой провокатор, злостный вселенский смутьян; а один тип, видимо, из русских эмигрантов, обозвал даже Филофея, по аналогии с кагэбэшными доносчиками, космическим стукачом, доносящим на беременных женщин. Другой же вообще выдвинул предположение, что Филофей — российский агент влияния, заброшенный в космос, что у него задание погубить Америку изнутри, вызвать взрыв генетической бомбы в обществе; еще один высказал версию, что это дело рук международной мафии, которая-де задумала какую-то глобальную акцию с тем, чтобы контролировать современное общество. Выдвигались еще разные страшные версии, пришедшие на ум собравшимся. И дальше пошли в ход извечные стереотипы зла и коварства с добавлением космического — космический сатана, космический дьявол, космический анархист и даже вынужденный комплимент — космический Фауст...

Но поскольку большинство, многие-таки высказывались искренне, с душевной тревогой, хотя все как один против Филофея, с желанием во что бы то ни стало изгнать из умов и сердец устрашающие выводы из его социально-биологических открытий, ссылаясь при этом прежде всего на историю человечества, умножавшегося и прогрессирувавшего из века в век, не ведая ни о каких «знаках Кассандры», то все это производило поистине сильное впечатление, особенно когда женщины со слезами на глазах просили спасти их, защитить от вторжения зондаж-лучей в их личную жизнь. И наконец, в ходе выступлений, прозвучало требование предложить заняться космическим монахом самой ООН, поставить

вопрос в ООН, чтобы принять меры в интересах защиты человечества.

Тяжко, прискорбно было Роберту Борку наблюдать за этими сценами, убеждаясь с горечью, что попытка Филофея приоткрыть истинную сущность грядущего апокалипсиса, предопределенного не глобальной катастрофой внешнего мира, ожидаемой со дня сотворения, с чем не так трудно было всегда примириться, а оползем в недрах наследственности, вызываемым нескончаемыми, все более и более ухищренными и ожесточенными злодеяниями, не встречает понимания у большинства людей. Сказывался сидящий в человеке неизбывный, инстинктивный страх расплаты за вечно совершаемые грехи, за вину перед дарованной Богом жизнью. Однажды дарованной и неповторимой, данной каждому на долгий срок, но не навечно, изначально лимитированно и ограничено в Пространстве и Времени.

На Оливера Ордока невозможно было смотреть спокойно. Борк представлял себе, как гибнет Ордок в собственных глазах, и винил себя в том, что не сумел предвидеть такого оборота событий, хотя по-своему и предупреждал Ордока.

Ордок, по сути дела, оказался в идиотском положении. Он был забыт и брошен на трибуне, как будто эта встреча не имела к нему никакого отношения. Все выступления и реплики относились только к Филофею, именно Филофеем, находящийся невзвест где, в космических пространствах, был в центре внимания, а не он, Ордок, ради которого устраивался этот митинг. Микрофоны в проходах осаждались рвущимися сказать нечто монаху Филофею, а не ему, кандидату в президенты. А он меж тем продолжал зачем-то оставаться на трибуне. И на его глазах все превратилось в базар. А все, что было приготовлено и предусмотрено для внушения избирателям и телезрителям мысли о важности миссии Ордока, оказалось пустым. Воздушный шар под куполом спортзала с портретом улыбающегося Ордока теперь выглядел смешно, эдаким мыльным пузырем. Сам он, бессильный и униженный, был абсолютно растерян. К нему подбегали его советники и помощники, что-то шептали, но он продолжал стоять на трибуне в нелепом ожидании. Глаза его выражали ярость, на лице полыхали суповые пятна. Это был полный провал, провал на глазах всей страны.

Река митинга потекла в ином направлении. И кто знает, чем бы все это кончилось, если бы вдруг не была брошена соломинка утопающему. Откуда-то сбоку на сцену выскочил

молодой человек спортивного вида; он решительно подошел к ведущему, продолжавшему дергать себя за галстук и бессмысленно пытаться как-то руководить очередностью выступлений, и, сказав ему что-то, почти силой выхватил из его рук микрофон. И громко сказал, обращаясь к залу:

— Я прошу извинить меня за неожиданное вторжение. Я хочу сделать заявление! Это очень важно!

Шум приугас. В зале наступила недолговечная тишина. И нельзя было терять ни секунды.

— Мое имя Энтони Юнгер, — представился неожиданно появившийся на сцене молодой человек.

«Так вот он какой, значит, это и есть Энтони Юнгер. Видный парень», — подумалось Роберту Борку.

— Оно мало что вам говорит, мое имя, — сказал Юнгер. — Но я такой же избиратель нашего с вами округа, как и вы. Хочу воспользоваться своим правом выступить. К тому же я из команды мистера Ордока, я один из его консультантов. Прошу внимания. Наш митинг посвящен встрече с кандидатом в президенты, а не диспуту по проблемам, кинутым нам из космоса. И поэтому было бы разумно продолжить наше предвыборное обсуждение, а Филофеем заняться в другой раз, поскольку, судя по всему, об этой феноменальной новости предстоит еще немало думать и гадать. Поэтому предлагаю действовать согласно регламенту. Попросим мистера Ордока высказать свои выводы, не отвлекая его на филофеевские проблемы.

Это было более чем своевременно. Скандал удалось приостановить. Борк порадовался за Энтони Юнгера. Примерно таким он его и представлял себе. А дальше произошло то, чего никто, в том числе и Борк, не мог ожидать.

Следовало отдать Ордоку должное — он не упустил возможности перехватить инициативу.

— Да, я продолжу свое выступление, — изготовился он тут же, и что-то блеснуло в его глазах, что-то произошло в нем, судя по выражению его лица, преобразившегося вмиг. Он на что-то решился. — Да, уважаемые избиратели, для того я здесь и стою, чтобы продолжать свое выступление, как сказал сейчас об этом Энтони Юнгер. Но с одной лишь небольшой поправкой. — Он сделал паузу, оценивающе оглядывая сидящих, и пояснил: — Я как раз буду говорить о Филофее, именно о нем, о Филофее, — подчеркнул он. — Буду говорить в продолжение того, что говорилось здесь от микрофонов, в развитие того, что связано с психологическим

наступлением на нас из космоса, с радикальной критикой нашей генетической ситуации. Я буду говорить об этом в первую очередь, поскольку живу мнением избирателей, мнением народа. Вот мы здесь все вместе, и для меня это важнее всего. Здесь от микрофонов прозвучали выступления, близкие мне по духу. Я тоже примерно так думал об этом, о той неслыханной агрессии из космоса на наши права и свободы, которые для американской демократии являются высшими ценностями. И я согласен, правильно здесь отмечалось, что Филофей ведет из космоса подкоп под нашу жизнь. А я бы добавил еще — хочет он того или нет — под нашу демократию в конечном счете. Казалось бы, невероятно, но это так. Это подкоп, затеянный со злым умыслом, с античеловечной целью. И мы с вами еще раз убеждаемся, что коварству дьявола поистине нет границ. Об этом я и собирался высказаться, изложив вначале мнение некоторых известных и, казалось бы, компетентных людей, с которыми мне довелось побеседовать. Но перейти ко второй части выступления, выразить свое собственное отношение к посланию Филофея, как вы понимаете, я просто не успел. То, что говорили от микрофонов, как раз совпадает с тем, что хотел сказать я. И это замечательно, это укрепляет меня в моей позиции. Я полностью разделяю мнение, что над современным обществом неожиданно нависла небывалая опасность. Эта акция человека, назвавшегося монахом Филофеем, нацелена вроде бы на генетические исследования, а на самом деле — это агрессия, сокрушение нашего духа, нашей исторической уверенности в себе, в цивилизации нашей. И обратите внимание, эта агрессия ведется не только с космических высей, Филофей нашел себе союзников на Земле в лице отдельных людей, считающихся у нас большими авторитетами в науке и общественной жизни. Вот ведь как обстоит дело! И эти люди заодно с Филофеем ждут своего часа икс, готовые немедленно поднять на щит своего космического вдохновителя, чтобы именем его учинить на земле великую смуту, посеять сомнение в полноценности нашей и, главное, — опорочить наших женщин, отмечая их сатанинскими знаками — тавром Кассандры. Подумать только — тавро Кассандры, предсказательницы бед и несчастий! Ведь и названо оно вовсе не случайно. С каким коварным намеком! Так будем начеку! Начеку необходимо быть всей нации! Единомышленники Филофея в академических мантиях уже готовы воздействовать на людей через средства массовой

информации, принудить их поверить лжепророчеству из космоса. И никакого преувеличения, уверяю вас, это — заговор против человечества. Только так! Вот о чем тревога моя, уважаемые избиратели!..

Зал, как оказалось, только этого и ждал. Загипнотизированные речью кандидата в президенты, люди сидели, не сводя с него замороженных взглядов. Все, что говорил Оливер Ордок теперь, находило в их душах горячий отклик и полное понимание. Люди под сводами спортзала «Альфа-Бейсбол» дышали в тот час единым дыханием, внимали единому зову — слову Оливера Ордока. Безусловно, это была победа. Блестящая победа Ордока после его публичного падения. Он нашел путь к победе, он точно сманеврировал, он безошибочно изменил стратегию и теперь пожинал плоды.

И сам Ордок был уже не тот. Совсем другой человек стоял на трибуне. Видя, как безотказно действуют его слова на присутствующих, Ордок взлетал духом на вираже каждой фразы. И это было редкостное состояние упоения собой, непередаваемого, ненасытного вкушения удачи, состояние особой экспрессии и эрекции слова; ему казалось, что слова его, изливаясь, совокупаются с окружающими и прежде всего с восхищенно глядящими женщинами, и все они, независимо от пола, мужчины и женщины, подставлялись ему и охотно ловили его каждый для себя, и от этого прилиwała в нем мощь, как у жеребца, с громким ржаньем и жарким храпом набегающего на кобыл в табуне; каждое слово добавляло кипящей силы и предощущения близости совокупления со столь желанной и пока еще не достигнутой потенциальной властью. Казалось, сказывался в нем несмолкаемый зов к повелеванию себе подобными, идущий еще от тварей лесных, волчья воля к тому, чтобы не утратить, не расстаться вовеки с тем, что окажется под игом его. Но путь к медовому месяцу власти лежал через потоки речей, когда слова, сплывавшаяся рядами, шли на штурм противостоящей крепости, в данном случае — идей Филофея и его пока не поверженных единомышленников, о которых он намекал присутствующим, побуждая их к тому, чтобы они смыкались с ним и поднимались на борьбу по мановению его руки.

О, это был звездный час Оливера Ордока. И все единодушно восхищались им, кроме одного среди присутствующих в зале, несколько раз мелькнувшего на экране поблизости от трибуны. Энтони Юнгер сидел на краю сцены бочком, стиснув голову, точно пытался заслониться от попада-

ния в него камнем, и бросались в глаза напряженно вздувшиеся вены на крупных кистях его рук, ему было явно не по себе.

А Оливер Ордок тем временем развивал наступление, строил речь таким образом, чтобы вовлечь всех внимающих ему в зале и за его пределами в единый круг задетых за живое, навязать им свою волю и закрепить успех. Это был момент для него исключительный, как если бы он горячо обнимал, тискал и лобызал, опутывая словами, ту, что стремилась ему навстречу и готова была отдаться, ради чего необходимо было действовать быстро и наверняка.

— Когда я говорю о необходимости нашей с вами бдительности, — напоминал он, проникновенно обращаясь к присутствующим в «Альфа-Бейсбол», — то я руководствуюсь интересами общества, чтобы мы с вами не оказались роковым образом жертвами этой неслыханной космической авантюры. Ведь вопрос стоит в глобальном масштабе и в то же время затрагивает каждого, в частности всех присутствующих здесь, на предвыборной встрече, — как обезопасить себя от планетарных экспериментов Филофея, направленных на искажение и деструкцию человеческого генофонда, экспериментов, преследующих цель вызвать в обществе панику, ведущих к исчезновению в нас жизнеутверждающего начала!

— Не будет этого! — раздались в зале гневные голоса. — Этого мы не допустим!

— Я тоже так думаю, — продолжал Оливер Ордок. — И я положу на это все свои силы. И не остановлюсь ни перед чем. Но как, каким образом обезвредить возникшую космическую опасность и тех, кто на земле подставляет услужливо плечо Филофею, подогревает обстановку, а говоря попростому, — мутит воду? Я не намерен изображать из себя эдакого благородного джентльмена, ограничивающегося общими призывами, когда речь идет о судьбах людей и народов. Филофеевцы должны знать — нет и не может быть у нас с ними согласия и тем более готовности следовать за ними в генетическую западню, какие бы высокоинтеллектуальные доводы они ни приводили! В частности, я имел продолжительный разговор с одним футурологом, человеком, в научных кругах известным, имеющим мировое имя, но на деле оказавшимся главнейшим сторонником и, если хотите, идеологическим скаутом космического монаха. В бывшем Советском Союзе молодых людей, которые верой и правдой

служили вождю и счастливы были отдать за него жизнь, называли, если не ошибаюсь, комсомольскими активистами. Подручный Филофея похож на них, хотя ему совсем не мало лет, работает он в нашем университете и живет в одном из наших пригородов, — зовут этого человека Роберт Борк!

Наступила пауза, дыхание у сидящих разом перехватило, и затем разом понесся, побежал шепот: «Роберт Борк! Роберт Борк! Это Роберт Борк! Какой-то Роберт Борк!»

— Так вот, уважаемые избиратели. Как я ни пытался, разумеется, очень уважительно выслушивая научные доводы Роберта Борка, как я ни пытался тем не менее обратить его внимание на то, что непозволительно кому бы то ни было игнорировать судьбы живых людей, что Филофей, какие бы научные цели он ни преследовал, вторгается в нашу жизнь разрушительным образом, я увидел, что этот человек пойдет даже дальше, чем сам Филофей. Вот в каких людях под личиной учености скрывается мировое зло! Для Роберта Борка его философские бредни, его вселенские идеи, которыми он затуманивает голову собеседнику и оппоненту, гораздо важнее, чем судьба простого человека, живущего рядом. Этого простого человека со всеми его проблемами и бедами Роберт Борк игнорирует, приносит его в жертву филофеевскому учению, парализующему воспроизводство человеческого рода, лишаящему нас нашего будущего, какие бы соображения научного характера при этом ни выдвигались. Роберт Борк фанатичен, он всецело за Филофея и готов ему служить, как служат сатане.

— Но позвольте, мистер Ордок! Это же была частная беседа! — не удержался Энтони Юнгер, подбежавший к микрофону ведущего. Он стоял совершенно бледный, с искаженным лицом. — Как можно частную беседу выносить на общий суд?!

— Я не собираюсь делать из нашего с Борком разговора тайны, — невозмутимо парировал Ордок. — Если частная беседа затрагивает судьбы человечества, если такие люди, как Роберт Борк, одобряют, оправдывают действия Филофея и торят его теориям зеленую улицу в умах людей, прокладывая ему путь к контролю над всем миром, то с какой стати я должен разыгрывать церемонии?

Гром аплодисментов потряс своды «Альфа-Бейсбол». Телеоператоры метались по залу, выхватывая выражения лиц, чтобы запечатлеть эту небывалую сцену еще одной турнирной победы Оливера Ордока.

Энтони Юнгер попытался было сказать что-то:

— Мистер Ордок, вы не имеете права...

Но зал не дал ему договорить. Все как один стали громко аплодировать с тем, чтобы заглушить его слова, не дать ему вымолвить ни слова, уничтожить его на месте.

Юнгер, однако, продолжал что-то говорить, старался перекричать захлопывающую его публику, отчаянно размахивал руками, метался, но это только подлило масла в огонь, и все разом стали скандировать, чтобы окончательно загнать Юнгера в угол: «Ор-док! Ор-док! Ор-док! Ор-док!»

Затем, точно по команде, поднялись с мест и стоя, испуленно повторяя имя Ордока, стали бить в ладони: «Ор-док! Ор-док! Ор-док!»

Итак, торжество Ордока достигло апогея. О таком политическом успехе никто из его соперников не смел и мечтать. А его, неказистого с виду, почти тщедушного, с пятнистым птичьим лицом, очень напоминавшего чем-то Геббельса, всеобщий ажиотаж возносил на головокружительную высоту, в сферу магической удачи настолько стремительно, что мало кому могло прийти в голову, что Ордок в эти минуты был от радости на грани обморока. И все-таки он сумел взять себя в руки. Дело было сделано, оставалось его завершить, оставалось закрепить успех. А зал все гремел: «Ор-док! Ор-док!» Он преодолел-таки себя, остановил жестами и благодарными улыбками аплодисменты и скандирование зала и сказал в наступившей тишине:

— Кому-то тут стало обидно за Роберта Борка, так в чем дело? Собственно говоря, кто ему мешает. Пусть Борк появится и убедит публику в обратном, в том, что они с космическим Филофеем горят желанием принести пользу людям, народу, нации, будущим поколениям. Пусть даст мне достойную отповедь! Пожалуйста! Мы живем, слава Богу, в самом демократическом государстве. Да я думаю, Борк и не останется скромно в сторонке, а выступит. А если он вдруг опомнится, раздумает поддерживать Филофея, то, наверное, объяснится и, надеюсь, покается. В общем, пусть выступает, как хочет. Не к его ли услугам все американские газеты и журналы, да и только ли американские, пусть возгорается мыслью, а радио, а телевидение?! Но и я не останусь в стороне, могу заверить вас, уважаемые избиратели, и я попрошу себе скромного места в средствах массовой информации, но не с тем, чтобы поражать современников своими футурологическими теориями, я постараюсь, чтобы каждый чело-



век понял, что играть с огнем, то есть с учением Филофея, не стоит, что Борк вместе с Филофеем готов запалить мировой пожар. С того часа, как я вник в замыслы Борка, я не могу оставаться спокойным — его замыслы темны и страшны, он готов насаждать идею поголовного зондаж-облучения женщин везде и всюду и требовать поголовного покаяния человечества за свои, что называется, грехи. И все это выльется в новую филофеевскую религию, чтобы оттеснить, стало быть, традиционные религии, чтобы монопольно господствовать над людскими душами. Пусть и религии мировые подумают, как им быть отныне! Вот о чем следует позаботиться наперед, вот о чем я буду писать и говорить. О том, что мы должны вовремя унять этих ученых мужей — Филофея на орбите и Борка на земле. И я заявляю об этом для всех присутствующих здесь журналистов. Разумеется, унять законным путем, только так и никак иначе! Путем установления мирового запрета на подобные эксперименты. И в этом я рассчитываю на вашу поддержку и доверие!

Последовали рев и гром аплодисментов, все встали и принялись неистово хлопать и снова скандировать: «Ор-док! Ор-док!» И опять с наслаждением и смущением упрасивал Оливер Ордок публику прекратить пока овации.

— Я займу у вас еще несколько минут. Я хотел бы еще добавить в развитие сказанного...

И вдруг трансляция из спортзала резко оборвалась. Экран погас. Кто-то нервным движением руки выключил телевизор. Это была Джесси. Когда она вернулась домой, как она вошла, где находилась все это время — сидела ли где-то сбоку и все это смотрела и не могла двинуться, парализованная увиденным, или только недавно пришла, — Борк не знал. Опустошенный, убитый случившимся у него на глазах, он сидел в кресле, отрешенно глядя куда-то в пространство.

— Сколько можно?! Как ты можешь смотреть это?! — резко и жестко сказала Джесси мужу. — Хватит! Довольно!

Тот молчал.

— И в кабинете не смей включать телевизор! — проговорила она раздраженно. — Я отключу сейчас все телефоны! Все к черту, к дьяволу, все начисто, чтобы никто, ни одна душа, никаких звонков! Сейчас кинутся звонить кому не лень, все, кто видел, что там устроил твой Оливер Ордок! Какой абсурд! Какая подлость!

Борк молчал.

— Ну что ты молчишь?! — вскричала в отчаянии Джесси. — Подобного не было никогда в жизни!

— Тише, пожалуйста, — попросил Роберт Борк, — от того, что ты будешь кричать, ничего не изменится.

— А от того, что ты будешь молчать, тем более ничего не изменится!

И они оба замолчали, подавленные, взъерошенные. За окнами уже темнело. Уходил тот чудесный осенний день, что просился на живописное полотно, уходил в череду свою... Уходил, оставляя по себе боль и тревогу... Уходил в предвещии новых дней, неизвестно что несущих...

— Не могу, не могу поверить себе, — дрожащим голосом нарушила молчание Джесси. — Я допускала, что вокруг этой невероятной проблемы могут быть споры, но чтобы так подло и, низко обойтись с тобой!.. Как можно из корысти так опозорить человека на весь свет?! Я готова убить этого мерзавца! И он может оказаться президентом Америки?! Где же небо?! — горько зарыдала Джесси.

Борк поднялся, налил воды, подал жене. Она пила, обливаясь, лихорадочно стуча зубами о край стакана.

— Успокойся, Джесси, теперь послушай меня, — проговорил он и хотел погладить жену по голове.

Она уклонилась:

— Не буду я, не буду никого слушать, и ничего не говори мне, ради Бога! — Ее душили слезы.

— Ну, извини. Позволь мне быть возле... Извини...

Жена плакала, сотрясаясь всем телом, согнувшись в кресле рыдающим комком боли. И седая-то оказалась она уже, и постаревшая вдруг, чему он прежде не придавал значения, и все это горько увиделось в ту страшную минуту.

И ходил Роберт Борк по комнате налево и направо, взад и вперед, как в тумане, как в неизвестной местности, а не в доме своем. И страшно было ему и остановиться, и двигаться, чтобы не провалиться в какую-то пропасть, — столь оглушительным оказался неожиданный удар из-за угла.

Наблюдая иной раз по телевизору за боксерами на ринге, Борк задумывался, соперживая неудачнику, над тем, что испытывает боксер, брошенный одним ударом в нокаут, что творится с ним в ту минуту, сбитым с ног, озирающимся вокруг так, будто он с иной планеты. Теперь он знал, как это бывает. Теперь он знал, что мир окружающий, оставаясь на месте, рушится в самом человеке, внутри него — в кровотоках, сбитых с путей своих, гудящих в голове, как

стоки дождя по улице, в черном овраге мышления, размываемом этими бешеными потоками, в заикленности мыслей и в хаосе их.

Он долго ходил, долго и тяжело, а мысль, угнетенная бедой, металась в том черном овраге, в развалинах былого, что час назад было еще тем, чем он был сам для себя, своим «я», той тождественной себе данностью, которая определяла его личность. Теперь все это было разом опрокинуто, потоптано, выжжено Оливером Ордоком и массой людей, сбитых им с толку. Он физически ощущал свою вытоптанность и сожженность. Тело горело огнем. Такого прилюдного крушения в его жизни не бывало. И как-то сразу возник вопрос — что же дальше? Оставалось или покориться этой силе, демонстративно поправшей его «я» на глазах у всех, пустить себе пулю в лоб, не находя иного выхода из положения, — так думалось ему в тот час, — или собраться с силами навстречу схватке, веря в то, во что неизменно верится людям во все времена и особенно в моменты поражения — в конечное торжество справедливости, истины, правды, и еще есть много тому имен. Никогда не предполагал он, что настанет такой день и час, когда и ему придется сказать себе жестко и недвусмысленно: быть или не быть, жизнь или смерть! И еще одно горестное открытие сделал он в те минуты: для Джесси его трагедия — больше, чем личная, больше, чем трагедия мужа для верной жены. От этого на душе становилось еще тяжелее, и не было способа, не было такого слова, чтобы облегчить ее горе. Она слишком хорошо понимала суть происходящего.

— Роберт, — проговорила Джесси, всхлипывая.

— Да, Джесси, ты что-то хочешь сказать?

— Роберт, я вот сейчас думала... — начала она и замолкла. Он ждал. — Принеси, пожалуйста, мне полотенце из ванной.

Борк вернулся с полотенцем. Утирая им лицо, Джесси боролась с собой, подавляя приступы слез.

— Что ты хотела сказать, Джесси?

— Я думала, Роберт, о том, что то, что сегодня постигло тебя, да и Филофея, хотя он находится там, в космосе, — это из ряда трагедий идеализма. Я вспомнила твоего любимого Сократа. Как и тогда, и после, и многие времена спустя, идеалистической утопии противостоит толпа. Кто-то накидывает мешок на голову, и все наваливаются кучей.

— Быть может, и так, — отозвался он сдержанно.

— Так это, или не так, или примерно так, но ты же видел, Роберт, что это было. Я не говорю об Ордоке, его мы не разглядели, не стоило тебе с ним беседовать, он патологический тип, чтобы оказаться в президентском кресле — ради этого он пойдет на что угодно, на любую ложь, клевету и измышления. Я не о нем, будь он проклят. Но какая же страшная картина эти люди, заполонившие огромный спортзал! Это копыта, после которых на душе цветы не растут, а только чертополох колючий, и удавиться хочется. К черту все это! О Роберт, эта толпа, это быдло! Что это было, какое дикое зрелище! Боже мой! — И она снова зарыдала, уткнувшись в полотенце.

— Успокойся, Джесси, перестань, очень прошу тебя, ты принимаешь это слишком близко к сердцу. Я тебя понимаю, но давай подумаем, посмотрим несколько отстраненно, — уговаривал он жену. И, уговаривая ее, вынужден был прибегать к логике, не поддаваться слепому гневу и несколько успокаивался сам. — Ты во многом права, безусловно. И то, что сократовская трагедия вневременная, тоже верно. Но вот подумай. Хорошо, допустим, это так. Массы — это стадность, стихия или, как ты выразилась, копыта, но это и оплот общественной жизни. Никуда не денешься! Человеческий материал, на котором строится и держится жизнь. Существует одна парадоксальная особенность в устройении бытия, я бы сказал, в диалектике жизни — вечная трагедия: мыслитель открывает законы общества, а общество за это предаёт его анафеме, а впоследствии берет именно эти открытия на вооружение. Прозрение наступает через отрицание.

— Роберт, — с укоризной в голосе и взгляде перебила его жена, — можешь размышлять как угодно, но не старайся мне внушить что-то насчет прозрения. Истоптать, чтобы затем прозреть? Так, что ли? Нет, не могу смириться. И не до философствований сейчас нам с тобой. Наступает ночь. И тебе завтра утром предстоит сказать свое слово, если ты намерен это делать. Решайся.

— Да, я намерен.

— Роберт, я понимаю, что это значит, за Ордоком — масса, за тобой — никого, кроме разве этого молодого человека, как его, который подбегал к микрофону.

— Энтони Юнгер.

— Спасибо хотя бы ему. Но ясно, Роберт, тебе брошен прямой вызов, и ты не сможешь не принять его. Смотри, ес-

ли ты уверен, если действительно истина за тобой и Филофеем, твое право — утверждать эту истину, свое понимание во всеуслышание, несмотря ни на что.

— Вот в этом ты абсолютно права, Джесси, только так — во всеуслышание. Я уже думал об этом. После статьи в «Трибюн» я постараюсь сразу дать пресс-конференцию. И дальше видно будет, как пойдут события. Большая часть статьи уже готова, она у меня в компьютере, но после того, что произошло на этом митинге, многое мне открылось, многое обозначилось по-новому, мне кажется, в подтверждение правоты Филофея. В статье предстоит кое-что доработать, дополнить, усилить. Так что я не собираюсь уходить со сцены, не сыграв своей роли. Филофей прав, и я буду стоять за него.

— Коли так, нельзя терять времени. Сам понимаешь. Мы должны сосредоточиться. Это — война. Я так считаю, Роберт. Настоящая война!

— Согласен. Но только это война за противника, за врага, за его конечную победу над собой. Я имею в виду аплодировавших в спортзале. Вот ведь в чем суть этой войны, Джесси.

— Понимаю. Но на душе от этого не легче. Не желаю, вернее, не умею я этого принять. Не могу себя вывернуть. Прости меня. Радеть за врага, спасти, условно говоря, своего убийцу? Опять христианские постулаты?

— Не спеши. Это касается не только христиан, а и всех без исключения. К сожалению, мало кто желает понять, что все беды происходят оттого, что мы, люди, разумные существа, только и крутимся, чтобы избежать во что бы то ни стало, вопреки всему, ответственности за вечно искажаемую жизнь, и находим тому массу оправданий, не отличая добра от зла и не боясь этого нисколько, лишь бы выкрутиться. И убедить самих себя, что только так и можно жить и никак иначе. Разве не к этому свелся предвыборный митинг?! Ведь нет на земле никакого иного носителя зла, кроме нас самих, людей. И однако каждый видит источник вреда в другом, вне себя, вне своей группы, сословия, нации, государства и далее — расы, религии, идеологии... И катится жизнь в злодеяниях. Докатывается до протеста эмбрионов против жизни. Стоп! Дальше некуда! Дальше мутации и вырождение! Все это губительно, и чем дальше, тем больше, чем мы могущественней технологически, тем страшнее наши заблуждения и степень цинизма и попрааний. Филофей затронул

одну из струн расстроенного генетического оркестра, и сколько сразу неприятия и ярости!..

— Ой, Роберт, с меня довольно! — проговорила Джесси.— Ты лучше публично огласи эти мысли, чтобы люди услышали.

Они замолчали. И как ни старалась Джесси сдержаться, слезы опять начали душить ее.

— Прости меня, Роберт, не могу, не могу прийти в себя, я так оскорблена всем этим зрелищем, — говорила она плача. — На душе у меня такое после всего этого варварства толпы, как будто бы мы с тобой бредем в погорелом лесу, обугленном, сплошь выгоревшем. Уже все сгорело вокруг — ветви, стволы, кусты, и осталась только черная, опаленная земля, и вокруг ничего — пусто, все черно и мертво. Что будет? Что будет? Что-то будет! — шептала она.

Борку ничего не оставалось, как успокаивать жену. Не помнил он, чтобы случалась с ней такая истерика. Всегда собранная, всегда спешившая по разным делам и более рациональная, чем он сам, она была просто раздавлена цинизмом Ордока.

Но напоминание о том, что следует без промедления действовать, что время не терпит, заставило ее взять себя в руки.

— Я понимаю тебя, Роберт, — соглашалась она, перебарывая себя. — Иди в кабинет, работай. Заканчивай статью. Кофе, хочешь, — будет на кухне, хочешь, — буду приносить. Только работай. Только действуй. А я пойду в гостиную. Мне хочется играть. Буду играть Шостаковича. Пятую симфонию. А ты пиши. Я знаю, тебе есть что сказать. И не звони никуда, я тебя прошу. Телефоны я отключила, все три. Не включай. Иди. Меня ты снизу не будешь слышать. Я закрою двери и окна.

## VII

Временами звуки музыки все же доносились из гостиной на второй этаж. Виолончель невольно напоминала Борку той ночью, что есть на свете женщина, разделяющая с ним судьбу, наверное, до самой могилы. А возможно, и потом их души будут знать друг о друге и слышать сегодняшнюю бессонную виолончель на расстоянии расстояний...

И в ту ночь, сидя перед компьютером, на монитор которого набегали электронные строки завтрашнего газетного

текста, он снова услышал тревожное дыхание китов в океане. Куда они опять? Значит, где-то что-то произошло на земле?! Опять люди совершают непоправимое? Волны валили навстречу гора за горой, бурлила вода, растрчивая и одновременно восполняя энергию океана, и плыли киты. Вскоре и сам он оказался среди них. Океан переливался во тьме мерцающим светом компьютерного экрана, заключавшего в себе в тот час и далекий космос, и зачатия в материнских ложах в едином континууме вечности, находящем свое выражение в слове его, и, плывя в океане, он пытался найти объяснение вечного в образе Мировой души, которая для всех одна и у каждого своя в разъединенности и соединенности всего на земле... И набегали на экран строки, следуя одна за другой, слагаясь в единый текст: «Тавро Кассандры не знак позора и унижения, в чем пытаются убедить нас иные ораторы, преследующие свои политиканские цели, это — знак беды, крохотный сигнал о великой нашей беде, неожиданной, прежде неведомой людям, необозримой в глобальных масштабах и потому требующей исключительно подхода как роковое для человечества социально-биологическое явление. Открытие Филофея свидетельствует о том, что наше самосознание деформировано на генетическом уровне, деформировано по вине самого человека, из поколения в поколение живущего вопреки идеалам Мировой души. Трагедия в том, что мы избегаем, всячески уклоняемся, как это было, в частности, продемонстрировано на предвыборном собрании, от осознания причин, побуждающих кассандро-эмбрионов к отказу от борьбы за существование. Угасание желания жить есть угасание мировой цивилизации. Это и будет концом света. Иначе говоря, конец света заключен в нас самих. Это-то и улавливают кассандро-эмбрионы, обладая инстинктивной чувствительностью, и дают нам знать о своем страхе перед жизнью через пятно Кассандры, проявляющееся на челе беременных женщин, как на вселенском компьютерном экране. Следует бояться не самого тавра Кассандры, а причин, вызывающих в недрах генетики этот эсхатологический сдвиг... Мы совершим великую ошибку... Филофей не провокатор, он — космический пророк...»

И слышал Борк в тот час, как шумно плывут киты в океане, все с большим напором преодолевая встречные волны, и виделось ему, как светилась, горела тревогой вода на пути их — цветом компьютерного экрана...

\* \* \*

А на Красной площади в ту полнолуночную пору стрелки часов на знаменитой Спасской башне приближались к часу совы — к трем часам ночи. И сова ждала заветного момента, когда три раза пробьют Кремлевские куранты на все четыре стороны света, с тем чтобы в ту минуту сняться с места и, круто падая вниз с башенной высоты, взмыть у самой брусчатки, застилающей площадь, и полететь затем вдоль Кремлевской стены и далее, как всегда, бесшумно покружить, попетлять над Красной площадью, покружить над мавзолеем и посмотреть вокруг — что к чему на белом свете. И в этот раз сова ожидала встречи с приземисто-башкастыми призраками, надеясь подслушать, как обычно, о чем они будут толковать между собой. А поговорить на этот раз им было о чем, ой как было! Потому что накануне на Красной площади произошло страшное событие. Такого даже много видевшая на долгом своем веку сова не помнила и не могла предположить, что подобное возможно.

Но, с другой стороны, откуда ей было знать, этой странной спасскобашенной сове, то ли птице, то ли духу, общавшейся с призраками, откуда ей было понять то, чему даже здравомыслящие люди не находили вразумительного объяснения.

А начиналось все пополудни того осеннего дня, когда на Красную площадь стали стекаться огромные толпы людей для проведения митинга в защиту ВПК — военно-промышленного комплекса. Давно уже накапливался, как писали журналисты, в определенных кругах ропот, что перестроечная конверсия встала костью в горле «оборонки», что только в реставрации ВПК спасение убывающего могущества державы. Да, такие мнения носились в воздухе гарью тлеющего в лесу пожара. И вот он запалился, возгорелся, чему немало поспособствовали пожинавшие теперь свой урожай возбудители национал-опамятствования, силы, упорно натаскивавшие общественное мнение на возобновление торгового оружия, на возрождение ВПК — основы милитаристской государственности, — якобы загубленного так называемой перестройкой и так называемыми радикал-демократами в интересах Запада, коварно потирающего руки за кулисами.

На Красной площади собирался отовсюду притекающий люд. Большинство направлявшихся на митинг были приезжие — из разных «закрытых» городов, прежде именуемых



«почтовыми ящиками» и закодированных соответствующими номерами. Именно из этих рассекреченных в ходе конверсии «ящиков» валили коллективно прибывавшие на поездах на все вокзалы Москвы, они двигались к центру колоннами, перекрывая автомагистрали. К ним присоединялись и московские «оборонщики», национал-патриоты, тоскующие по Сталину пенсионеры и прочие, и прочие. Демонстранты казались странными типами из прошлого, словно только что опомнившимися от тяжелой контузии; они несли над головами воскресшие портреты кровавых диктаторов, совсем недавно еще яростно поносимых и прокливаемых на этих же улицах.

Число демонстрантов все росло, наглядно свидетельствуя о том, сколько же деятельного народа было занято прежде в сокрытых недрах ВПК. Полмира вооружали. А теперь почувствовали — земля уходит из-под ног — конверсия обрекала работавших в ВПК, если не перестроят производство, на безработицу. И они двинулись... Это напоминало половодье, когда бешеный поток на глазах несет и коряги, и валуны, и сорванные крыши, и никто не в силах остановить движения. Подобно этому несло по улицам в тот час свои «валуны, коряги и сорванные крыши» — призывы и требования, гласившие категорически: «Прекратить конверсию!», «Не дадим пустить ВПК по ветру!», «Да здравствует славный ВПК!», «Держава — превыше всего!», «Долой антигосударственные реформы!», «Танк — гарант стабильности», «Даешь валюту за оружие!», «Не мешайте конкурировать на мировом рынке оружия!», «Прекратить болтовню о гонке вооружения!» — и совсем абсурдные для непосвященных: «Вернуть почтовые ящики!», «Будем жить и трудиться в почтовых ящиках!» — и даже такие: «Заткнитесь, пацифисты, пока не поздно!», «У нас отняли холодную войну, чтобы нас перебороть!», «Не дадим превратить танк в кастрюлю!» — и, наконец: «Да здравствует производство вооружения — источник силы и национального богатства!», «Не допустим безработицы, не допустим утечки мозгов!», «Да здравствует холодная война — двигатель технического прогресса!», «Долой продажных гуманистов!» — и еще многое и многое в этом духе, благо, кусок картона с любой надписью ничего не стоил, но таил в себе силу, от которой голова, хмелея, шла крутом.

Хотели того или нет политики, распинавшиеся о необходимости военного превосходства державы и именовавшиеся державниками и государственниками, хотели того или нет

соорганизаторы международных ярмарок оружия, где завоевание первенства на торгах приравнялось к Божественному деянию в интересах нации и, самое главное, — сулило миллиардные суммы долларов чистой прибыли, от чего перехватывало дыхание, ведь одну треть тех миллиардов всякий раз обещали отстегнуть непосредственно в карман производителей на местах, хотели того или нет те, кто начал в массмедиа кампанию по прославлению не меркнувшей в истории славы нашего оружия, теперь уже никто из них не в силах был остановить того, что пробудилось, того, что происходило, — все были щепками в водовороте...

На Красной площади колыхалось море голов. Тысячи собравшихся и продолжавших прибывать участников митинга в защиту ВПК распирала пространство площади, и общий рев: «Вэ-Пэ-Ка!», «Ва-лю-та!», «Кремль — наш!», «Кремль — наш!» — сотрясал небо.

Съемки велись с вертолетов, но и сверху невозможно было охватить и передать масштаб грандиозной вулканической картины. На фоне общего митинга, речей, разносившихся через радиоусилители с мавзолея, в разных концах площади возникали еще и локальные мини-митинги со своими лозунгами, портретами и выкриками. На Лобном месте тусовались фиделисты, и это было сразу видно по портретам их кумира и лозунгам: «Фидель — мы с тобой!», «Социализм — или смерть!» И толпа вторила громко, взявшись за руки и в такт подскокам: «Социализм — или смерть!» В проходе возле Исторического музея колготились саддамиты. Исступленно и яро клокотал в этом омуте клик: «Сад-дам — ты наш брат!», «Сад-дам — ты наш брат!» И еще один очень выразительный выклик с выбросами вытянутых кулаков: «Кадда-када-Каддафи! Кадда-када-Каддафи!»

Подобных шумных сторонников имели на площади почти все страны, куда долгие годы шли массовые поставки оружия, свои приверженцы пританцовывали в честь Китая, Ирана, Пакистана, Индии, Северной Кореи и особенно арабских и африканских партнеров-покупателей. Но, понятное дело, Китай — соответственно своим масштабам и демографическим данным — обладал громадным числом приверженцев, скандировавших гениальную строку поэта Мао из «Песни павлина»: «Винтовка рождает власть! Винтовка рождает власть!» И в унисон, очень по-родственному, мощно ладили сталинисты: «Сталину слава!» — и дружно вздергивали над головами подобострастно отретушированные

портреты генералиссимуса. Но над всем этим граем поистине торжествовал калашниковский автомат: «Калаш — Кремль наш!» — перекрывало все возгласы и крики.

Были и малопонятные изыски на заданную тему, типа: «Стрельба влет — и небо в алмазах!» Надо ли это было понимать так: летит ракета, и сверху сыплются алмазы? Если бы! О, если бы!

И все это бурлило и кипело в котле массовой эйфории, и все это воспляло чувство поголовного могущества, нати́ска, единого плеча... Вот-вот и свершится нечто, и возликует огненная пиротехника страстей, и дрогнет небо, и явится Он: исполнитель воли... Но кто Он? Он, да и все! Он! Он!..

Но речи главных ораторов, раздававшиеся с трибуны мавзолея, были по-своему трезвы и убедительны. Свертывание производства оружия не сулит экономике ничего хорошего, лишь отдает мировой рынок в руки богатой-разбогатой Америки. Та не дремлет — штампует оружие круглый год, круглыми сутками и всех вооружает до зубов, и всеми повелевает. Чем мы хуже? И еще был один довод — безработица от конверсии приведет к сокрушительному социальному взрыву. И еще — конверсия губит на корню мощный интеллектуальный потенциал страны. И еще, и еще следовали снайперские попадания в точку. И каждое попадание вызывало приступы массового наслаждения ненавистью.

Но была и другая сила. В тот час на Манежной площади, на смежном пространстве, отделенном от митингующей толпы противников конверсии лишь рядами омонцовцев, гудел другой митинг, вскипали другие страсти.

Здесь митинговала другая публика, другая часть общества — демократы, реформаторы, пацифисты и прочая поросль перестройки, в общем — свобододолюбцы и либералы всех мастей и оттенков. Их тоже было много, площадь колыхалась от многолюдья, и у них были свои убеждения, свои призывы и лозунги, не менее радикальные и не менее ударные. Здесь тоже пестрели транспаранты и плакаты: «Долой привилегии ВПК!», «Мы не должны быть заложниками ВПК!», «ВПК — на руку милитаризму!», «ВПК — вампир бюджета!», «Долой сталинского монстра!» и так далее, и тому подобное, вплоть до «ВПК — конвейер смерти!», «ВПК — цепной пес партократов!», «ВПК — кабала народа!»

Та же, собственно, картина, что и на Красной площади, только с обратным знаком.

Тут демонстранты тоже осеняли себя портретами своих

кумиров и лидеров. Вздымали их над головами, представляли их на обозрение людям и богам, если, конечно, придавали последним значение.

Для различных корреспондентов и репортеров, поспешавших с аппаратурой то на один, то на другой митинг, то на Красную, то на Манежную площадь, события предоставляли невиданное изобилие оперативного материала. Но и при этом матерые репортеры не могли не обратить внимания на два плаката, которые своей непохожестью на все остальные бросались в глаза. Высоко держа на древках свои плакаты, ходили двое молодых людей — парень и девушка, судя по виду, скорее всего студенты. Очевидцы потом рассказывали, что держались они в толпе, не отдаляясь слишком друг от друга, чтобы можно было перекликаться, следили друг за другом глазами, ни с кем особенно не вступали в споры и выглядели несколько отстраненными, как бы погруженными в себя. На плакате, который держал парень, было начертано черной краской: «Человек не должен рождаться на свет, чтобы производить оружие!», а у девушки написанные красным слова звучали совсем деструктивно: «Я сожгу себя, если Кремль возобновит гонку вооружений!»

Ходили они в толпе, как два заблудших в море челнока, кому-то бросались в глаза, кому-то нет, кто-то брал подобные декларации в толк, кому-то это что-то говорило, а кому-то почти ничего — и не мудрено, поскольку всевозможные заявления, лозунги, протесты, предупреждения, радикальные, оглушительные речи и выступления сыпались на головы митингующих, как дождь, и на той и на другой стороне — и на Красной, и на Манежной площади.

Но так или иначе, то, чему суждено было случиться, случилось. Люди спохватываются обычно, когда уже поздно, в который раз убеждаясь, что в бурлящих толпах массовым психозом детонируются события, подчас поражающие как своей случайностью, так и роковой неизбежностью.

Солнце уже клонилося за кремлевские стены, уже спустились на ревущие толпы безвинные ранние сумерки, а митинги на смежных площадях продолжали надрываться и бешевать, и речи, гремевшие из репродукторов, зажигательные и фанатичные, все больше воспламеняли души и умы собравшихся и приближали кульминацию. И каждая сторона, на той и на другой площадях, взывала к справедливости, апеллировала к властям и народу, утверждала только свою правоту, только свою точку зрения, преподносила миру

только свои аргументы и выводы и накаляла себя, и ярилась, испытывая неудержимую потребность излиться немедленно в действии, разрядить накопившуюся энергию. Страсти накалялись почти синхронно, в репродукторах звучали взаимные обвинения, угрозы и оскорбления, каждая сторона называла другую, ненавистную, — гнусным сборищем врагов отечества. И уже вспыхнула первая потасовка. Пробиваясь через ряды омонцов, «милитаристы» и «антимилитаристы» стали бить друг друга плакатами и портретами на древках. Женщины дико визжали, мужчины орали и матерились. В ход пошли кулаки и пинки. Как ни старались омонцовы сдержат натиск, разогнать дерущихся — это только еще больше разъярило стороны. И началась, быстро взбурлила сплошная битва-драка, точно люди только этого и ждали и ради этого только и собрались. Очень пригодились обожаемые портреты и броские плакаты — ими били наотмашь по головам. Кровь, слезы и стоны, схватки сотен людей, мужчин и женщин, старых и молодых, хлынули на экраны всемирных телепередач, во всевозможных деталях и ракурсах, снимаемые сверху, с вертолетов, и со всех возможных наземных точек.

Вот тогда-то и оказались в гуще событий те двое — парень и девушка. И то, что они не пустили в ход свои плакаты, обернулось для них роковым образом. Красноплощадники-вэпэковцы били конверсистов, когда увидели вдруг, что тот парень упрямо держит над головой свой плакат и как бы тычет им в нос рассвирепевшим патриотам.

— Так ты что, сволочь, кому ты тычешь, кому дуришь голову?! — вскричал один из нападавших. — Это нам, значит, родиться не следовало?! Ах ты, гад! — И парня начали бить, а плакат изорвали и истоптали. Именно в этот момент к нему на выручку прорвалась та девушка со своим столь шокирующим, столь вызывающим транспарантом, с клятвой покончить самосожжением, если Кремль возобновит гонку вооружений.

Как сказать, насколько оправдан был поступок этой девушки — отправиться на митинг с подобной угрозой? Что двигало ею? Почему она это сделала — по молодости ли, по глупости или, наоборот, убежденность и отчаянность подвигли ее на этот шаг? И наконец, почему она не выбросила в толчее этот злосчастный плакат, прежде чем пробиться к другу, избиваемому оборонщиками-вэпэковцами?! Но она кинулась к нему с другим плакатом в руках, крича:

— Что вы делаете?! Не трогайте! Кто вам дал право?! Не смейте! Прекратите!

Напрасно. Парня молотили человек пять. Ну отпустили бы, избив, пусть ушел бы в синяках. Однако кто мог знать, чем это кончится, эта стычка, что таит в себе сама себя не ведающая, обезумевшая толпа?!

Взпэковцы встретили девушку разъяренной бранью:

— А ты, сука, мотай отсюда, а не то и тебе наложим!

И тут одна баба, безобразно орущая, попала в точку:

— Так ты шантажистка?! Сгореть решила?! Ой, глядите, люди, держите меня, сгорит сейчас эта сука-шантажистка, и Кремль наш рухнет! Сейчас, на глазах! Дайте ей по морде, чтобы забыла дорогу домой!

На девушку накинулись, порвали ей куртку. По лицу ее потекла кровь.

— Не смейте! Изверги! — кричала она, с ужасом размазывая кровь по лицу.

Ее плакат тоже вмиг изорвали и истоптали.

— Ну а теперь как? Сгоришь? Или слабо? Думай, прежде чем писать всякую ахинею! Что же ты не горишь?

И все произошло мгновенно.

— А ты брось в меня спичку! — судорожно выкрикнула девушка, вызвав взрыв злобного хохота.

Тотчас кто-то выхватил коробок, чтобы чиркнуть...

— А у кого зажигалка? Ха-ха-ха! Ты лучше поднеси к ней зажигалку! — предложил еще кто-то.

— Стой! Не смей! — вскричал не своим голосом ее друг, вырываясь из рук избивавших его. Не поспел. Горящая спичка упала девушке на плечо, на ее синтетическую курточку, и она занялась огнем.

Все оцепенели, затем отпрянули и кинулись врассыпную.

А она, объятая пламенем, побежала прочь, оглашая округу жутким воплем. И все смешалось на Красной площади, не меньше, чем в аду. Паника в толпе столь же страшна, как и кипение ее свирепых, разрушительных вождельний...

Молниеносно разнесшийся слух о том, что где-то рядом взорвалась брошенная кем-то бомба, или, кажется, кто-то живо сжигает себя, или еще что-то ужасное, полыхнул по толпам митинговавших, и люди, позабыв обо всем, поспешно побежали, давя друг друга, падая, крича, по улицам и переулкам, бросая под ноги сакральные портреты и пламенные призывы, будто в них и не было и не могло быть никакой необходимости. Люди бежали в безумии и страхе, бежали от себя.

Так зачем все это было, зачем бурлили и гремели у Кремля — никто не мог себе ответить. С той секунды, как вспыхнула огнем девушка, грозившая самосожжением — то ли из эпатажа, то ли в шутку, то ли всерьез, — начался новый отсчет времени. То, как она бежала крича, сгорая на бегу, было видно всем, кто оказался вблизи. Она упала на землю. Ее догнал тот парень и вместе с ним несколько омонцовцев, бежавших следом. Они поспешно принялись сбивать куртками огонь с тела горевшей девушки. Но было уже поздно. Ее друг в отчаянии упал на колени, схватившись за голову. В эту минуту рядом на враз опустевшей площади опустился вертолет, должно быть, ведший до этого съемку для телевидения. Из-под оглушительно вращающегося винта, пригибаясь от ветра и заслоняясь от шума, выбежали люди, подняли с земли тело девушки и, прихватив с собой того парня и пару омонцовцев, все вместе поднялись в воздух. Но кто-то один успел, не забыл все снять на пленку.

Вертолет, взлетая, двигался над Красной площадью, поравнялся со Спасской башней на уровне ее макушки и полетел дальше, над Каменным мостом, потом вдоль набережной Москвы-реки и скрылся из виду...

Вместе с вертолетом затерялась в дебрях города, как в лесу исчезающая птица, трагедия молодых людей, скорее всего студентов, так отчаянно, так страшно и безоглядно пожертвовавших собой ради идеи, в которую они уверовали... О романтика, вечная спутница утопий и их неизбежных крушений!

В тот же вечер центр города долго не утихал, переживал события дня. Нервное возбуждение выгнало многих на улицы, сказывалось в необычном оживлении лиц, голосов, походок. Люди собирались группами, спорили, гадали и все никак не могли объяснить, как могло случиться такое — брошена была всего лишь зажженная спичка, она могла погаснуть на лету, но вот не погасла, и девушка в одну секунду воспламенилась? Это же не фокус, не цирк?! Может быть, одежда ее была пропитана особым воспламеняющимся составом? Но к чему было устраивать такое — чтобы со смертельным исходом? А если нет, а если это совсем что-то другое, какое-то непостижимое метафизическое явление, когда человек загорается пламенем от высочайшего внутреннего напряжения? Говорят же, есть люди, которые ночью светятся фосфорическим светом. Как знать, кто знает?..

Тем временем надвигалась ночь. Людей на улицах становилось меньше. Зашевелились, хлопая дверцами автомашин

и тут же оплачивая уличных охранников и рэкетиров, любители ночного времяпрепровождения. В ночных заведениях зажигались огни, интимные подсветки, включалась электромузыка, обнажались бюсты, разлетались улыбки... Чтобы все забыть, ничего не помнить, ускакать от себя, ускользнуть от Бога...

На Красной площади в ту ночь стояла абсолютная тишина. Безлюдье. Ни души. Никто не хотел появляться на том месте, где днем бушевали дикие страсти, безумие, побоище. Тускло мерцало освещение. И повсюду валялись, точно брошенные на поле брани, потоптанные демонстрантами в драках и бегстве портреты, лозунги, плакаты.

И никому до них не было дела.

Луна стояла высоко над Кремлем. И летала сова, появившаяся в свой заветный час. Она скользила, как тень, то тут, то там, бесшумно взмахивая широкими крыльями, неуловимо вращая на лету огромною головой с магнетически светящимися округло-пристальными глазами. Тягостно ей было и жутко. Тихо кружа над мавзолеем, мелькнув перед взором каменно застывших часовых в его дверях, сова полетела дальше в поисках приземисто-башкастых призраков. И нашла их в затемненной сторонке, под кирпичной Кремлевской стеной. Нет, и в этот раз они не явили ничего нового. Они были невыразительны и в этот раз, но словно околовдваны. Взявшись за руки, башкасто-приземистые приплясывали на месте, монотонно приговаривая подхваченное из возгласов митинга: «Социализм — или смерть!» Да, так и твердили без усталости, неслышно, незримо, ужасно: «Социализм — или смерть!»

Сове эта кубинская ритмика вскоре наскучила. Она полетела дальше и напротив Спасских ворот встретила наконец живую душу — пьяную бабу, невестку откуда забредшую.

Та шла по ночной Красной площади в полном одиночестве, растрепанная и расхристанная, пьяная, и пела протяжно какую-то свою горькую песню:

Ах зачем, ах зачем  
Родилась я на свет?  
Ах зачем, ах зачем  
Меня мать родила?

Ах зачем, ах зачем  
Ты меня зачала?  
Не хотела того,  
Ты меня подвела.



Ах зачем, ах зачем  
Ты меня родила?  
Не хотела того,  
Ты меня подвела.

Ах зачем, ах зачем  
Родилась я на свет?  
Ах зачем, ах зачем  
Меня мать родила?..

Уходила наискось через площадь, шатаясь, спотыкаясь, и вскоре скрылась где-то у торговых рядов ГУМа. Еще некоторое время доносилась ее унылая песня, потом все стихло.

Сова же взмыла над Кремлевскими стенами, полетела в сады и здесь, среди густых ветвей, вдруг зарыдала, как та баба, и, рыдая, тягостно ухала.

Луна стояла высоко среди звезд, подсвечивая сверху вечным светом купола, шпили, крыши кремлевского взгорья, и опять чудилось сове, что доносится издалека дыхание китов, плывущих в океане. Куда и зачем они спешат? И нет им покоя. И волны не унимаются.

## VIII

Большая часть статьи для «Трибюн» была готова, оставалось написать заключение. Но чем ближе дело двигалось к завершению, тем сильнее охватывало Борка беспокойство: не излишне ли он погрузился в научное объяснение феномена тавра Кассандры, тогда как для подавляющего, а может быть, и абсолютного, большинства людей наверняка важнее всего было любым путем избавиться от «провокационных» действий Филофея в космосе, чтобы только ничего не видеть, ничего не слышать, забыть о сигналах кассандроэмбрионов. Прожженный политикан Оливер Ордок почувал именно это и соответственно сориентировался, и потому обрел успех. Безусловно, он одержал политическую победу. Хотя, конечно же, победу на ложном пути. Но как переубедить людей, как заставить людей понять, что они поддались массовому самообману?

Борк понимал, что политического опыта, политической сноровки в сравнении с Ордоком ему недостает. Да, они стали врагами. Так неожиданно и так неотвратимо! И хотел он, Борк, того или нет, предстояла борьба, неизбежная борьба. Как раз то, что требовалось Ордоку, — публичный турнир на пути к вожделенному президентству. В этом

смысле судьба щедро и выгодно предоставила ему Филофея в космосе, Борка — на земле.

Размышляя над этим, Роберт Борк поймал себя на мысли, как быстро можно втянуться в банальную политическую борьбу, как заразительно и цепко захватывала душу сжигающая страсть противостояния. Хотелось встретиться с Ордоком лицом к лицу. Хотелось подойти вплотную, взглядеться в его глаза и сказать, не повышая голоса, так, чтоб того пронзило насквозь: «Какая же ты сволочь!» И затем объявить всем, что Ордок сволочь и что такого типа нельзя допускать к власти, ибо это будет приход дьявола, и опасность в том, что никто не будет знать, что он — дьявол! «Нет, нет, только не это, только не это, — думал Борк, сам же отвращаясь от своих мыслей. — Пусть будет президентом, кем угодно; только без меня! Нет, нет, мое дело — не политическая борьба, моя задача — доказать людям, что, избегая правды о знаках Кассандры, они малодушничают, загоняют проблему вглубь, усугубляют свою беду. Но как, как убедить их, что правда страшна, но нельзя закрывать глаза, нужно искать выход?!»

На балконе, куда Борк вышел подышать, было по-ночному прохладно, осень давала о себе знать, — листва неумолчно шелестела во тьме, его охватила дрожь. Луна стояла низко, почти касаясь лесистого пригорка на выезде на автобан. Борк представил себе гольфовые поля на холмах за лесом, напоминавших пологостью и перекатами приморские дюны, сюда, бывало, в прежние годы он отправлялся погонять мяч.

И, странное дело, припомнился ему один сон. Оказывается, сны могут возвращаться в воспоминаниях как некая реальность. Снилось ему как-то, кажется, не так уж давно, что кругом гольфовые поля, луна светит, ночь, отраднo и вольно, но вот беда — мяч в лунке не поддается удару клюшки, не отлетает, не откатывается; сколько он ни размахивался, ни ударял, сколько ни старался, мяч оставался на месте. И тут появляется откуда-то сверху Макс Фрайд, коллега его покойный по кафедре, профессор. Полетим, говорит он, на Луну, там такие поля, будем играть в лунный гольф. Увлеченный Максом, он следует за ним, летит над полями, а позади Джесси бежит и зовет его назад. И плачет почему-то. К чему все это снилось? Странно и не очень странно, если поразмыслить. Макс был близким другом и всякой заумью, астрологией увлекался. По звездам старался определить, с каким счетом выиграет или проиграет в гольф.

Предсказания его иногда сбывались, но большей частью служили поводом поиздеваться над «магом». Может быть, дух Макса на том свете что-то предчувствовал, улавливал приближение, как он мог выразиться и непременно так бы и сказал,— негативного астрологического фактора и потому желал увести друга из-под удара, звал улететь на Луну. Поэтому и явился во сне, предупреждая заранее.

Да, будь Макс жив, он наверняка бы примчался прямо среди ночи к ним в Ньюбери после того, что произошло на митинге. Пусть ничего бы это не дало, но такой он был человек, несколько суматошный, но исключительно отзывчивый. Бывало, сопровождал Джесси на рояле несложные вещи, но очень недурно. Джесси посмеивалась: «У тебя, Боб, все друзья, как Макс,— потешные интеллигенты в классическом варианте. А вообще-то вам следовало бы основать монашеское братство, тебе стать главой ордена, эдаким догматичным наставником, а красавчик Макс твоей правой рукой был бы, везде бы поспевал. Вот тогда бы вы реализовались не только в науках, а и еще в чем-то, в чем-то совсем ином». Бедный Макс, ведь он был равнодушен к Джесси и временами превращал это в предмет своего дурацкого балагурства. Он любил под хмельком излить душу:

«Слушай, Роберт, должен тебе сказать со всей прямоотой, ты крепко помешал мне в жизни».

«Что так?»

«Если бы не ты, я признался бы Джесси в любви».

«Но, наверное, и сейчас не поздно?»

«Нет, только если бы тебя вообще не существовало как субъекта, только в таком случае я сказал бы ей об этом».

«Ну, слушай, тогда с этим ничего не попишешь. Как субъект я как раз существую».

«Вот именно. Теперь ты понимаешь, как ты крепко помешал мне».

«Макс, дружище, уж очень легкой жизни ты хотел бы. Ты попробуй свои шансы при этом самом субъекте, а в комфортных условиях, как ты желаешь, это неинтересно».

«Нет, на твоём фоне я не смотрюсь. Совсем».

«Ну отчего же. Женщины тебя обожают — ты видный, можно сказать, красавец, когда-то ты гонял на мотоцикле, и все ахали. Потом ты помоложе меня».

«Я — мотоциклист, а ты — ученый, имеющий мировую известность, я — мотоциклист, а ты — богатый человек, получаешь большие гонорары за книги, у тебя прекрасный дом

в фешенебельном Ньюбери, жена на виолончели исполняет тебе бахов и бетховенов, а я мчусь на мотоцикле, ты гоняешь мяч на модном Ньюбери-гольф, а я мчусь на мотоцикле; ты выступаешь в кремлях и белых домах, а я мчусь на мотоцикле...»

«Постой, постой, Макс, не прибедайся слишком. Ты отнюдь не только мотоциклист, да это и в прошлом. У тебя громкое имя в твоей науке — в политгеографии, вся планета в твоих руках. Да разве дело в планете, подумаешь, планета! Ты поосторожней, услышит вдруг наш разговор Анна, лучшая из прекрасных полячек, каким ты предстанешь мужем?! Скандал! И мотоцикл не поможет! А она-то в иллюзиях!»

«Да, Роберт, ты, кажется, подловил меня. Насчет Анны ты прав. А вот по поводу планеты — не совсем. В политгеографии надо знать все или ею не заниматься. Это особая, всеядная наука. Это банк информации, я бы сказал. Да, в этом смысле я — мировой банкир. Ротшильд двадцатого века. Я все знаю, все ведаю, ну и что? Говорят, Бог в небесах тоже все видит, все знает, все ведает, но ничего не может...»

Не стало человека. Погиб в автокатастрофе, уж очень любил скоростную езду. Анна постарела сильно. Сын их женился, живет отдельно. Джесси с Анной перезваниваются, иногда видятся. В последний раз Анна приехала этим летом. Отправились они все вместе на гольф-поля подышать, погулять, посмотреть, как играют. Хороший день провели, обедали там же, в ресторане гольф-клуба. И невольно вспоминали о прошлых временах, о Максе много говорили... Он очень любил здешние места. Всегда готов был примчаться...

О бедный друг Макс Фрайд. Что бы ты сказал сейчас, как бы ты отнесся ко всему, что происходит, когда все смешалось в умах и в душах. Незримый генетический ураган ударил, закружил. Теперь нужно выбирать: в страусиной позе спрятать голову в песок, как хотят многие, лишь бы пронесло, или глянуть Богу в глаза и, не отводя взгляда, принять его предупреждение людям, ибо Бог только предупреждает, а решать надо самим. Прав был в этом Макс Фрайд. И снился он не случайно. Тревожился, предчувствовал, стало быть. Звал, хотел спасти заранее от беды, звал на лунные гольф-поля...

Но как теперь сложится ситуация, ведь Ордок, по сути дела, подменил проблему, обвел общество вокруг пальца, отвлек, а чтобы к тому же обрести героический ореол, прилюдно вызвал его, Борка, на политическую дуэль. И он дол-

жен изготовиться, принять этот вызов, сказать свое слово о тавре Кассандры, защитить Филофея от демагогии и политических спекуляций. А как иначе назвать то, что устроил Ордок?! Боже, уже второй час ночи, опомнился Борк, надо садиться за работу. И действовать без промедления. Отступать некуда.

Возвращаясь в кабинет, задержался взглядом на зеркале у входа. Глаза красные от бессонницы. Сколько в них боли и тревоги. И седой совсем. Хорошо еще, не облысел, как другие. Старый, как та рейнская скала, мимо которой он проплывал недавно с немцами, шумными журналистами, они так и озаглавили его интервью — «Интервью со Старой скалой», совсем не подозревая, что совсем скоро, когда он будет лететь над океаном, над Атлантикой, сверкнет молния монаха Филофея и разразится гроза, и кинет всех во вселенскую панику, и появится под шумок на сцене этот бесовский тип — Оливер Ордок. Что же, выходит, предстоит биться...

Борк сел было к компьютеру, но послышались шаги. Снизил поднималась Джесси.

— Ну, как ты тут? — спросила она с порога.

— Да ничего, действую, — ответил он и хотел было рассказать ей о своем сне, вдруг припомнившись с чего-то, но не стал.

Джесси выглядела усталой, и все-таки что-то светилось в ее взоре.

— Я не хотела тебе мешать, Боб, но знаешь, я хочу тебя удивить.

— Чем ты можешь меня удивить?

— Вот принесла кипу бумаг. Они тебе могут пригодиться.

— Что это?

— Факсы. И от кого ты думаешь? От Энтони Юнгера.

— От Энтони Юнгера? — переспросил он. — А что он? Что он, собственно, пишет?

— Понимаешь, я ведь тебе сказала, что отключу все телефоны. Можно представить, как он пытался дозвониться. Но кто мог знать? А факс в холле я забыла отключить, в голову не пришло. А тут, слышу, что-то все время щелкает, гляжу — а тут уже куча рулонов. Вот почитай. На каждой странице он пишет сверху: «Ради Бога, только не отключайте факс!» И сейчас его факсы еще идут, страница за страницей. Что с ним происходит? Бедный парень. Ты почитай, я потом еще принесу.

Полная неожиданность. Два часа ночи. А кто-то не спит, пишет страницу за страницей, посылая факсы. Пишет Энтони Юнгер, лишь однажды говоривший с ним по телефону, едва знакомый. Но ведь на предвыборном митинге, когда Юнгер отважился, пусть и безуспешно, осадить Ордока на бешеном скаку его демагогии, он сделал принципиальный выбор, он, человек из команды Ордока, на глазах у всех отмежевался от своего лидера, перешел на сторону его политической жертвы. Каково ему пришлось потом, по окончании митинга, нетрудно себе представить. Сам Ордок и верная ему команда, безусловно, заклеили Юнгера как предателя. О карьере под сенью Ордока отныне ему нечего было и думать. Приятели, наверное, смеются: такого еще не бывало — сам себе путь отрезал. И после всего этого он еще нашел в себе силы кинуться на выручку, на помощь человеку, посрамленному Ордоком, заклеенному массовым митингом. Борку было неловко перед Энтони Юнгером, и в то же время на душе потеплело. Никогда еще никто со стороны не опекал его из сострадания, поскольку он всегда был самостоятелен и силен. А теперь, насильно затащенный на ринг, он уполз оттуда, поверженный, можно сказать, измороженный на потеху публике и пока закрылся от мира, пытаясь, стиснув зубы, встать на ноги, чтобы снова вступить в бой, теперь уже по своей воле и на свой страх и риск. Оттого-то, понимая все это, Юнгер буквально заклинал в первой строке каждой страницы: «Ради Бога, только не отключайте факс!»

«Мистер Борк, я понимаю, почему отключены Ваши домашние телефоны,— писал Юнгер.— Никогда не посмел бы досаждать, но поймите и меня. Если я не смогу сейчас хотя бы по факсу изложить то, что я обязан был бы сказать Вам, стоя перед Вами на коленях, для меня это действительно смерти подобно. После всего, что случилось на предвыборном митинге, я не нахожу себе места, я готов на все, даже на убийство, если бы это имело смысл. Простите меня за столь страшные признания. Но получается, что это я втянул Вас в эту безобразную историю с Ордоком, подставил Вас в качестве базарной мишени для демонстрации меткости этого безнравственного политического стрелка с большой популистской дороги. Не буду плакаться, извините, однако кусаю локти: кому я служил, кому

камни таскал, поделом мне за слепоту мою и неисправимую доверчивость! Но не обо мне сейчас речь, простите, ради Бога. Речь о том, как быть дальше. Как быть с тавром Кассандры?! Хочу...»

На этом страница обрывалась, а следующая начиналась с того же заклинания: «Ради Бога, только не отключайте факс!»

«Так вот, мистер Борк, как быть дальше?

Позвольте мне, несмотря на мою идиотскую роль в этом деле, высказать кое-какие соображения. Возможно, они окажутся полезными.

Мистер Борк, тяжело говорить, но скажу. Заранее каюсь, что осмеливаюсь предлагать Вам такое. Но мне терять нечего. Я уже перед Вами виновен настолько, что теперь мне все нипочем.

Я имею в виду, что Ордока можно обвинить, коли на то пошло, во лжи, поскольку он ссылаясь на личную с Вами беседу. Никаких свидетелей этой беседы не было и не могло быть. Вы с ним говорили по телефону. А возможно, и не говорили, а если говорили, то о чем-то другом. Это ход в его же, Ордока, стиле. Позором на позор. Разговор не записывался. Это я точно знаю. Ручаюсь. Решайте сами. Если сочтете такой ход возможным, я берусь организовать сенсационное опровержение. Массмедиа схватят наживку с ходу.

Но есть, конечно, и совсем иной путь борьбы. Если Вы, мистер Борк, убеждены в правоте Филофея и готовы ради истины стоять на своем, я, в свою очередь, готов идти с Вами до конца, хотя моя роль здесь, разумеется, чисто вспомогательная. Я смог бы быть Вашим оруженосцем. А то, что Вам предстоит битва, если Вы решите не уклоняться, — это безусловно.

Положение складывается так, что в данный момент Вы один в поле воин, единственный, возможно, на всей планете человек, открыто принявший сторону космического монаха, защищающий его эсхатологическую концепцию. После того, что произошло на предвыборном митинге, после «единого народного фронта», сплоченно поддержавшего Ордока, те немногие, кто, возможно, и имеет что сказать в защиту открытия Филофея, воздержатся, смолчат. А основная масса...»

«Ради Бога, только не отключайте факс!!!

Так вот, мистер Борк, судя по реакции избирателей на митинге, основная масса населения, можно даже утверждать, к сожалению, что, вероятно, практически все население страны настроено против космических экспериментов по выявлению тавра Кассандры. Люди не хотят слышать, не хотят знать о кассандро-эмбрионах, женщины не желают быть контролируемы зондаж-лучами. О событиях на митинге в «Альфа-Бейсбол» передали все информационные агентства. При этом рейтинг Ордока резко подскочил во всех штатах. Сейчас он по горячим следам сделал заявление, что будет неуклонно стоять на защите прав человека, неукоснительно охранять извечную святость женщины-матери и бороться с провокационными происками, как он выразился, филофейцев всех мастей, где бы они ни были — на Земле или в космосе. Вашу фотографию, мистер Борк, в эти часы постоянно демонстрируют на телеэкранах, сопровождая соответствующими комментариями. В Москве обнаружены фотографии Филофея, и они тоже пошли в ход.

Я пишу об этом, предполагая, что Вы не только отключили телефоны, но и выключили ТВ. Вы должны иметь представление о последствиях митинга, о том, как развиваются дальнейшие события. Боюсь, что этот процесс будет набирать силу и он не подконтролен...»

«Ради Бога, только не отключайте факс!!!

Так вот, мистер Борк, этот процесс не подконтролен, и потому Вы должны, мне думается, прежде всего решить для себя — какую позицию, какой путь действий Вы выберете в этих обстоятельствах. Ведь не исключено, что начнутся массовые протесты против того, чему уже дано название, — против «контролирования генофонда». Если вы готовите свою статью для «Трибюн», то подумайте, следует ли Вам появляться в редакции или лучше направить им материал факсом, телексом или через кого-то, потому что у входа в редакцию, как мне передали, уже топят пикетчики с плакатами, выкрикивая свои требования и угрозы. Они объявили, что будут вести круглосуточную осаду здания газеты. Полиция в таких случаях не всегда способна сдержать накаленную толпу. Извините, информация более чем неприятная.

И опять повторяю: Вы один в поле воин. Филофей — в космосе, он не доступен противникам, но и лишен возмож-



ности активно взаимодействовать с союзниками. Решайте, какой путь Вы избираете.

Вы поняли и поддержали то, чего не понимают или не хотят понимать из сиюминутных соображений другие, кому плевать на будущее, как и подобает временно проживающим на этом свете. Вы один, и это миссия одного. Почему так устроено, что великое свершение — чаще всего миссия одного, не знаю. В любом случае я с Вами, я готов Вам содействовать, готов делать все, что в моих силах, и не потому только, что, как я уже писал, чувствую себя виноватым перед Вами, так как это я подал Ордоку мысль побеседовать об открытии Филофея именно с Вами, а потому, главным образом, что я сам заразился идеями Филофея, его и Вашей озабоченностью будущим человечества. Возможно, до сих пор человек плутал, а теперь настало время сказать себе — или стань лучше, или готовься проследовать в палеонтологические пласты, как вымершие мамонты.

Извините, опять конец листа!»

«Ради Бога, только не отключайте факс. Я еще не все сказал... Мистер Борк, простите, буду ближе к делу. На мой взгляд, завтрашний — нет, он уже наступил, уже сегодняшний — день многое выявит. Уже начался шабаш сенсаций и слухов. Единственное, что может оказаться диссонансом в этой буре, — это Ваше выступление, Ваше виденье, Ваша убежденность и аргументированность суждений. Как Вы решили действовать? Будете ли устраивать пресс-конференцию? Если да, то я готов принять участие в организации, быть у Вас на подхвате.

Далее. К Вам в Ньюбери непременно понаедут с утра и, очень возможно, без предупреждения репортеры. Если Вы не хотите с ними встречаться, не забудьте вывесить где-нибудь на видном месте объявление, что Вы не желаете ни с кем видиться и просите не тревожить Вас.

Я бывал в Ньюбери, на гольф-полях, в пригородных парках. От нас, от Ридинга, где я живу, минут тридцать езды. Если пожелаете, я могу приехать, чтобы обсудить с Вами дела. Сообщаю Вам свои координаты на этот случай.

Мистер Борк, уже четвертый час ночи. А я все пишу и пишу в надежде, что мои факсы будут Вами прочитаны, когда Вы их обнаружите. Мне столько хотелось бы Вам сказать! Ведь события в мире, даже те, о которых повседневно сооб-

шает пресса, свидетельствуют о кризисе цивилизации. В этих условиях само появление новорожденного на свет напоминает выход на минное поле. Но где оно, это минное поле, в каких пределах жизни кроется: в помыслах ли, в действиях людей, в учениях мировых или в практике дня, — указать перстом невозможно.

Вот только что показали по телевидению: в Москве на Красной площади — я так любил там бывать — произошло страшное. Столкнулись два лагеря демонстрантов: сторонников военно-промышленного комплекса и ратующих за конверсию. В результате одна девушка покончила с собой, сгорела у всех на глазах. Невозможно смотреть на эти сцены. Комментаторы сообщают, что взрыв страстей был вызван плакатом, с которым явился на митинг один студент, друг этой девушки, сгоревшей. На том плакате... Я сейчас продолжу... кончается лист».

«Ради Бога, не отключайте факс, я должен рассказать о том, что произошло на Красной площади...

Мистер Борг, дело в том, что надпись на этом плакате гласила: «Человек не должен рождаться на свет, чтобы производить оружие!» И естественно, такое заявление было встречено бурей негодования именно тех, кого в России называют «оборонщиками», тех, кто оказался задействован государством и обществом, короче говоря, судьбой в военной промышленности, производящей средства уничтожения людей — от свинцовой пули-горошины (таких пулек «оборонщики» гарантируют сотню на каждого человека в мире) до сверхзвуковых самолетов, атомных подлодок, денно и нощно дежурящих в океанских глубинах, будучи готовыми по первому приказу к пуску межконтинентальных ракет. Это деньги и труд, выброшенный на ветер, — так считал и тот здравомыслящий студент. Наш американский ВПК заслуживает такого же отношения. Он тоже кует средства уничтожения себе подобных, тоже оправдывая это оборонными интересами.

Но, с другой стороны, и эти «себе подобные», которых следует по подобной логике убивать, для чего и изготавлиется все необходимое оружие, тоже не ангелы, тоже вооружены до зубов и тоже жаждут убивать во имя своей сверхценной идеи (теперь самые действенные кличи — националистические), во имя справедливости и — не в последнюю очередь — во имя своих экономических интересов.

Круг замыкается. Впрочем, он никогда и не размыкался, и никогда не было выхода из него. И как было не вскричать от этого студенту, как было не написать на плакате собственной рукой то, о чем люди думали, быть может, с тех пор, как обрели речь, о чем порывалась душа человеческая сказать во всеуслышание на протяжении всех времен торжества войны и оружия над разумом. Создав водородную бомбу, Сахаров в России понял именно это — и остановился, и пошел наперекор судьбе.

Оружия на земле становится все больше и больше, все и всюду хотят быть вооруженными. И не о том ли сигналил тавро Кассандры на ликах забеременевших женщин, не об этом ли беззвучно вопиют в чревах кассандро-эмбрионы, если на каждого рождающегося в мире человека припасено как минимум по сотне разрывных пуль и если он заранее обречен убивать или быть убитым?! Как же не сказать об этом было тому студенту?! И несчастная девушка, спалившая себя на Красной площади, уж не проснулось ли в ней то, что было не услышано и заглушено в ней в зародыше, отмеченном кассандровым комплексом?! Но кому было дело до ее эсхатологических тревог?

И возникает мысль, пусть идеалистически нелепая: что было бы, если бы человечество развивалось, не изобретая оружия и не зная войн? Был бы человек тем существом, которым он является сейчас, была бы наша цивилизация такой, какова она сейчас, или нечто совершенно иное царило бы на земле, и человек был бы качественно иным? Разве такой путь развития был изначально исключен? А если да, то по какой неизбежной причине, тем более если разум дан человеку свыше, если разум — явление надбиологическое?!

Вот Филофей, удалившись в космос, приоткрыл слегка мировую завесу, но тут же стало ясно, что люди знать не хотят о тайном проклятии.

Мистер Борк, если открытия Филофея не вызовут ничего кроме протеста, я все равно буду в них верить. В них я нахожу объяснение апокалиптических терзаний духа, усугубляемых повсюду бесконечным нравственным развалом душ.

К чему нас создал Бог, так думается поневоле, когда узнаешь, что в Карабахе, на войне, преступно ведущейся многие годы между армянами и азербайджанцами, так называемые полевые командиры торгуют телами убитых. Родные и близкие должны выкупать павшего в бою, чтобы предать его земле. И это превратилось в бизнес! Есть случаи, когда при-

стреливают своего же солдата в спину, чтобы заработать на его труп. Когда я прочитал об этом в газете, мне стало дурно. Разве могут подобные злодеяния не сказываться на душе и плоти людей, не изменять постепенно наследственной структуры, не отражаться на потомках?!

Вот еще пример невообразимой жестокости. В одном турецком городе был подожжен отель, где проходила конференция литераторов в поддержку Салмана Рушди. Там заживо сгорели не только участники конференции, но и обычные постояльцы. Все это сняли телерепортеры: здание в бушующем огне, заживо горящих людей, пожарных, пытающихся что-то сделать, а рядом — ликующую на площади огромную толпу фундаменталистской молодежи. Она славит устроителей пожара, она прыгает, танцует, воздевает кулаки, ликует, получает от этого страшного зрелища прямо-таки эротическое наслаждение. Возбужденные, мстительные лица молодых людей освещены смертным поясом пламени. И идет телесъемка. Но ведь это не игровое кино! Где мы, что с нами? Не об этом ли мы должны спросить с себя и по поводу заживо сожженных турецких семей в Германии?.. Вы, наверное, читали в газетах?..

Список подобных злодеяний можно продолжать и продолжать, и одно будет стоить другого, при этом ясно видна неуклонная тенденция: злодеяния в самых разных странах становятся все чудовищней. Филофей доказал, что все это накапливается, сказываясь на генах.

Прежде я верил в разум как высшую функцию Вселенной, но разум оказался вечным заложником Зла. И станет ли он когда-либо свободным? Разве тавро Кассандры не вопиет именно об этом, не взывает к нам?!

Простите, мистер Борк, надо срочно сменить закладку в факсе...»

«Мистер Борк, ради Бога не гневайтесь, мои рассуждения слишком длинны и, боюсь, не столь Вам интересны. Но сегодня ночью отворились затворы моей души. Я понимаю, что происходит с Вами. И я опасаясь за Вас и рассчитываю на Ваше мужество.

Думая над создавшейся ситуацией, я прихожу к выводу, что Филофей, находясь на орбите, не может оставаться в стороне от того, что происходит на Земле. Если Вы не против, следовало бы найти способ в срочном порядке связаться с ним; технически это чрезвычайно сложно, но я попытался бы сделать это через своих друзей в телекомпаниях и

космических институтах. Как Вы относитесь к этому? Если Вы согласны, дайте мне знать, и я сообщу Вам, насколько реально подобная попытка.

И наконец, самое, с моей точки зрения, главное. Зачем нужна связь с Филофеем, ведь не для того же, чтобы только увидеть его на экране и поприветствовать?! Мне представляется, что он должен ответить, и я не сомневаюсь, что такой ответ у него имеется, — каким путем он выявил тавро Кассандры и каковы доказательства того, что эта мета есть выражение негативного отношения эмбриона к будущей жизни, а не что-либо другое. Из его послания папе римскому это не совсем ясно. Наверное, и Вы обратили внимание на определенную в этом смысле недосказанность. Думаю, что и другие, особенно ученые-биологи, могут поставить перед ним этот вопрос. Так вот, мне представляется важным, чтобы Филофей объяснил то, что осталось неясным, ответил на вопросы.

Предоставьте мне возможность организовать связь с Филофеем. Вы же, не мне Вас учить, срочно готовьте необходимую философскую аргументацию.

Нам придется столкнуться с последствиями того, что учинил в умах улицы Оливер Ордок. Но такова судьба. И мы должны победить. Ради той же улицы!

Ваш Энтони Юнгер.

P.S. Если потребуются мои координаты — номера домашнего факса, телефона, адрес, — они на этих листах. Служебные — не нужны, там я больше не появлюсь...»

## IX

Было уже полпятого утра. Роберт Борк молча сидел над лежащими на письменном столе факсами. Джесси тоже была здесь, она тоже прочла их.

— Боже мой, что творится, что творится! — повторяла она уже в который раз.

— Ты бы прилегла, — посоветовал ей муж.

— Если ты хочешь остаться один, я сейчас уйду. Но вряд ли я засну. Мне не по себе. Я понимала — все это очень серьезно, но не представляла себе, что все в такой степени осложнится. Не знаю, что и сказать.

— Да, Джесси. Энтони Юнгер прав. Абсолютно прав, — задумчиво отозвался Борк. — Он послан нам самой судьбой. И его подход — это уже подход нового поколения. Иное ми-

ровосприятие. И умение действовать. Сразу чувствуется. Сам бы я, кроме статьи — а она получилась огромная, не знаю, на целую полосу, — сам я вряд ли стал бы что-нибудь еще предпринимать. Мы с тобой наглухо закрылись в доме. Но полностью изолироваться от происходящего невозможно. То, что Ордок спровоцировал...

— Лучше сказать — с цепи спустил!

— Да, с цепи спустил. Эта сила, которую он с цепи спустил, — страшная сила. И Ордок сознательно натравливает массы на Филофея и на меня.

— А ты уверен, что один сможешь переубедить стольких, уже настроенных против?

— Я не отступлю. Буду доказывать. Но как обернется, трудно сказать. Открытие феномена кассандро-эмбриона наносит сокрушительный удар по устоявшимся представлениям, по существующему образу жизни, по сложившемуся стереотипу мышления. Признать эсхатологическую реакцию кассандро-эмбрионов — значит подвергнуть сомнению все от и до, и прежде всего политические, социальные устройства, моральные устои. Ясно, что такая ломка всех стереотипов не устраивает никого, начиная от зачавшей женщины и кончая таким типом, как Ордок. Оттого и сопротивление, переходящее в агрессию.

— Но ведь они видят агрессора в самом Филофее!

— Да, они видят в нем агрессора. Для меня он пророк, для других — сатана. Возникла дилемма: или мы будем жить по-прежнему, в обстановке всеобщего самообмана, жить так, как жили всегда, или сумеем, осмыслив причины увеличения количества кассандро-эмбрионов, предупредить неизбежный апокалиптический обвал. Вот какой выбор стоит перед человечеством.

— Филофей сам пишет, что его открытие столь же неожиданное для людей, как если бы на небе появилось второе солнце. Но ведь это второе солнце может разрушить вековой уклад жизни! К тому же ваши противники обвиняют Филофея и в том, что его эксперименты есть нарушение прав человека. Куда больше?! Что ты на это скажешь?

— Нет, это не нарушение прав человека! На мой взгляд, нет. Я об этом пишу. Можешь прочесть. Знать о тавре Кассандры — наш долг, долг общества и долг личности, прежде всего долг зачавшей женщины, она сама должна быть заинтересована, если на то пошло, проверить, не посылает ли зародыш из ее чрева эсхатологические сигналы. Статистиче-

ские данные, касающиеся кассандро-эмбрионов, со временем станут одним из самых приоритетных социологических показателей, по которым будут судить о состоянии и развитии общества.

— Я с тобой, Роберт, допустим, согласна. Но если другие не захотят всего этого принимать? Если ты никого не убедишь?

— Многое будет зависеть от обстоятельств, от общей обстановки. Энтони Юнгер совершенно прав, да, надо подключить самого Филофея. Главный его козырь — данные научных наблюдений, с помощью которых был установлен эсхатологический характер реакции кассандро-эмбрионов. Нужно, чтобы он эти данные обнародовал. И все вместе взятое, от биологических факторов до философских выводов из них, нужно публично изложить еще раз, скажем, на пресс-конференции. И важно, чтобы сам Филофей был в прямом эфире! Если Юнгер сумеет осуществить свою идею, будет здорово. Я целиком — за. Сейчас пошлю ему факс, а дальше посмотрим, проживем — увидим...

Они замолчали, оба в халатах, взлохмаченные, осунувшиеся за ночь и как бы не принадлежащие сами себе, — впервые им в жизни выпала ночь нескончаемой тревоги, обнажившей за пределами их обычных забот нечто грозное, что надвигалось на них. Так расширяется Вселенная через боль и страдания.

Было уже светло за окнами, наступало утро.

День обещал быть, как и минувший, ясным, по-осеннему хрупким и ярким. Слышались отдаленные голоса птиц — опять собирались спозаранку отлетающие стаи. Роберт Борк представил себе, как они кружат в небе под лесным взгорьем, над гольф-полями и как они тронутся в дальний путь, полетят берегом океана, над бурлящей внизу белой каймой прибоя; хотелось вместе с ними двинуться, улететь отсюда, но предстояло продолжать то, что обернулось вдруг непреложным делом жизни.

О том, что мир не оставил их, не забыл и не собирался забывать, с наступлением утра стало ясно. А началось все с того, что поступил факс от дочери из Чикаго. Эрика писала в недоумении и тревоге: «Всю ночь не могла дозвониться. Ваши телефоны отключены, факс занят. Папа, что происходит? К чему ты все это затеял? Чикаго бурлит. Все против. Мы с Джоном в шоке. Умоляю: остановись. Мама, куда ты смотришь?!»

Джесси, естественно, сильно нервничает:

— Что делать, Роберт? Ты — отец. Дочь разволновалась, а она беременна. Зять тоже не в восторге. Я понимаю Джона: он член директорского совета, ему придется там выбрать линию поведения. Мы не можем не думать об этом.

— Правильно, все правильно, — вынужден был соглашаться Борк. — Но что я могу сказать в данной ситуации? Дело не исчерпывается семейным кругом. Если бы так!.. Успокойся, Джесси. Я напишу Эрике, позвоню, постараюсь объяснить, постараюсь успокоить. А потом молодые тоже ведь должны думать своей головой. Разумеется, для них, особенно для Джона, процветание компании прежде всего. Но жизнь за пределами автокомпании тоже существует, и ее проблемы не менее важны для всех и каждого. Ничего не имею против — хорошая пара, счастливая. Но сама понимаешь, эгоизм, социальный, кстати, должен иметь какие-то пределы.

— Ой, Роберт, тебе бы только лекции читать. Ладно, не забудь, когда освободишься, отправь Эрике факс. — С этими словами Джесси засобиралась, накидывая на плечи шерстяную кофточку. Вняла-таки совету Юнгера, отправилась пораньше вывесить объявление — просьбу к возможным посетителям не беспокоить и свои извинения в этой связи. Она уходила в сопровождении паглатой кошки, которую они дома считали кошко-собакой, поскольку это домашнее животное, будучи кошкой, умело быть, если не совсем, то почти собакой. Так по крайней мере угодно было думать хозяевам.

Когда Джесси уходила, хлопая дверьми, на ходу причесываясь и что-то говоря бегущей рядом кошко-собаке, Роберт Борк сел за факс передать законченную за ночь статью в «Трибюн», чтобы к приходу сотрудников редакции материал лежал у них на столах и с ходу был запущен в работу. То, что статья будет экстренно напечатана, у него не было сомнений; он сделал даже требовательную приписку, что текст может быть напечатан только в том виде, как предлагает автор, что никакие изменения недопустимы. Сомневаться в том, что статью напечатают, не приходилось по той простой причине, что у «Трибюн» иного выхода не оставалось. Отважившись на публикацию космического послания Филофея, газета не могла поступиться позицией — помимо всего прочего, она должна была сохранить свое лицо. Это был случай в своем роде беспрецедентный, когда газета могла сказать себе только так — быть или не быть...



Но о том, что могло последовать затем, тоже гадать не приходилось. Схватка вокруг газеты, вокруг Филофея и теперь уже вокруг его, Борка, имени обещала быть с первых же утренних часов жестокой и беспощадной. Если называть вещи своими именами, то предстояла борьба именно не на жизнь, а на смерть...

Четко отбивая каждую операцию сигнальным звонком, телефакс глотал предлагаемый ему текст страницу за страницей. И хорошо, что успел пропустить. Минуту спустя Роберт Борк уловил, что на улице происходит что-то неладное: в дом вбежала их кошка, вся такая взъерошенная, точно ей повстречался вдруг во дворе ненавистный ей приبلудный пес, что служило порой причиной долгого ее раздражения. Но вслед за этим Борк увидел через стекло, как нервно бежит по террасе в дом Джесси, сжимая в руках ворох каких-то бумаг и картон. Она ворвалась вне себя, бледная и задыхающаяся. Можно было подумать, что ее душили на улице, и вот она вырвалась из рук.

— Что случилось, что с тобой? — невольно подался к ней муж.

— Роберт! Это страшно, это невероятно! Выхожу, а какие-то негодяи, они там, за углом, поставили машины и сами стоят там... вот смотри, что они понаклеили!

Джесси швырнула на стол вместе с газетами то, что она содрала со стены и принесла с собой с улицы, — хамские, оскорбительные надписи, наспех намалеванные красками. Глянув на них, Борк и сам остолбенел. «Нам стыдно, что Борк живет на нашей улице!» — должно быть, кто-то из соседей написал. И еще: «Женоненавистник, чревокопатель Борк, вон из нашего Ньюбери!», «Феминистки Ньюбери презирают Борка!» Другие еще круче: «Борк — подлец!», «Борк — агент КГБ!», «Борку пулю в лоб!», «Не попадайся мне на углу, старик, придушу!» — Эмбрион по фамилии Кассандровый».

— Стало быть, решили начать с утра пораньше! — пробормотал Борк в замешательстве.

— С утра! Как видишь, с утра! А что будет дальше, Роберт?! Что же будет? Это же уму непостижимо!

Роберт Борк зашагал по комнате, стискивая руки за спиной так, что становилось больно.

— Нам следует быть готовыми ко всему, — жестко сказал он жене, стараясь не сорваться на крик. И это было очень трудно — сдерживаться, когда вскипала кровь. — Раз уж та-

кое началось, надо ждать худшего. Все это могло иметь более цивилизованные формы, если бы не вчерашний митинг. Ордок сдернул узду с событий, черт его подери!

— Если бы ты видел! — кивнула Джесси на улицу.— С каким хамским видом стоят они на углу. Какие-то типы. Покуривают возле своих машин. Я стала сдирать со стены эти гадости, а они мне свистят, хохочут.

— Какие они с виду? Местные?

— Откуда мне знать. В джинсах, куртках, как обычно. По-моему, среди них и женщины.

— Ну, ясно,— пробормотал Борк, хотя ничего ясного не было.

— В полицию надо обратиться, Роберт. Звони в полицию. Пусть принимают меры.

— Не спеши, успеем позвонить. Надо подождать. Если что, тогда — конечно.

— Да ведь это последняя степень падения! Это за пределами мыслимого! А ты — подождать! — Джесси опустила на стул и снова зарыдала.

— Джесси, милая, дорогая моя! Ну что ты так, ну возьми себя в руки! — склонившись к ней, беспомощно бормотал Борк, а она уже не могла говорить и только всхлипывала:

— Если бы ты знал! Если бы ты знал!

— Я принесу тебе успокоительное. Я сейчас, Джесси, перестань. Я сейчас!

Он бросился к ней в спальню за каплями, наткнулся на дверь, ударился о ее край и в этот момент заметил в углу валявшийся на полу скомканный кусок бумаги. Он понял, что это Джесси швырнула на ходу какой-то из листков. Что же там было такое, что она, даже будучи в полубезумии, откинула его прочь, чтобы муж не видел? Он прочел и понял. Дурно стало. «Борк, подставь задницу Филофею, а то у него бабы-то нет в космосе!» И соответствующий тому рисунок. И подпись: «Привет. Кассандро-эмбрион».

Он не помнил, как вышел во внутренний дворик, в свой каменный сад. И хотя призывал себя не поддаваться моральному террору, настраивал себя на то, что нужно прощать людям, не ведающим, что творят они сослепу и по убожеству ума, убеждал себя, что ему надлежит быть выше всей этой низости, легче не становилось. Вот и случилось: там, где посещали его, бывало, высокие думы и виделись внутреннему взору очертания вечности, не поддающиеся объяснению словом, и что пытался он выразить, вычерчивая на песке не-

кие таинственные знаки, над которыми жена посмеивалась, теперь пришлось ему сидеть, по-скотски униженному и оскорбленному. Не ирония ли, не издевка ли это судьбы за элитарность и непростительное для его возраста прекраснотушие? Как малоопытен он оказался, как плохо знал, сколь жесток и мстителен мир. Вот и вкусил похабщины на скло-не лет.

Солнце, появившееся над горизонтом, казалось пустым, ненужным. Не хотелось ничего ни видеть, ни слышать.

Он машинально развернул газету, которую почему-то держал в руках, когда выходил из дому. Это была местная ньюберийская газетка, экстренный выпуск. И опять он убедился, что быть ему волком в облаве. На первой полосе под большим аншлагом был помещен отчет с пресс-конференции Оливера Ордока, которую тот провел по завершении предвыборного митинга. Материал был получен от Ассошиэйтед Пресс. Фотография Ордока, и не одна, крупным планом — Ордок, яростно жестикулирующий на трибуне. И через всю полосу его слова: «Большевицкая чистка генофонда — не пройдет!»

Вот он куда швырнул копые: поскольку Филофей русский — то, значит, большевик. Абсурдно, но эффектно! Теперь понятно, почему в одном из листков Борка называли агентом КГБ. Все шло из одного загаженного источника. Ни говорить, ни думать об этом не хотелось. Угнетающая пустынность души.

Он обернулся, когда рядом раздался голос жены. Опухшая от слез, Джесси пыталась взять себя в руки.

— Вот только что срочный факс пришел от Энтони, — сказала она, присаживаясь рядом.

«Мистер Борк, — писал Энтони Юнгер. — Нам надо срочно поговорить по телефону. Пожалуйста, включитесь, отзовитесь. Речь пойдет о космическом телемосте. Если удастся его наладить, мы раскроем людям глаза. Надо обсудить, сможем ли мы установить технику у вас дома. Мистер Борк, кругом на нас наступают, но не падайте духом. Я буду звонить через 10 минут. Ваш Энтони Юнгер».

— Это уже дело. Энтони действует! — оживился Борк. — И вообще, надо включить телефоны, Джесси. Пусть звонят, никуда мы не денемся от звонков. Не сидеть же, отгородившись от мира!

— Пожалуй, ты прав. И вот еще одно послание следом пришло, — сказала Джесси. Это был факс от ректора универ-

ситета. Тот писал: «Мистер Борк, в ваших интересах очень прошу, не приезжайте в университет читать лекции».

— Все понятно, — проговорил Борк. — Пошли к телефону.

Звонок Энтони Юнгера был светлым лучом в то страшное утро:

— Мистер Борк, рад вас слышать. Факс хорошо, но слышать голос лучше.

— Ну, еще бы! Конечно! — отозвался Борк как можно более уверенным тоном. — И супруга моя, Джесси, приветствует тебя, Энтони.

— Очень хорошо. Спасибо ей. Думаю, что мы все увидимся сегодня. Очень нужно было бы.

— Слово за тобой, Энтони, предлагай. Твои ночные факсы спасли нас от заточения в башне из слоновой кости. Позволь посмеяться хотя бы над собой. Ну а как дальше? Надеюсь, что есть какие-то перспективы?

— Есть целая программа действий. Но прежде всего я хочу сказать вам, чтобы вы знали, мистер Борк, ваша статья, которую получила редакция, возможно, уже передается в космос Филофею, я это уточню через несколько минут. И делается это не только для того, чтобы познакомить Филофею с его первым земным, назову Вас так, — партнером по космогенетике. Так вот, возможно, Филофией уже знакомится с вашим текстом. Мы хотим организовать телемост и провести пресс-конференцию, в которой будут участвовать Филофей и вы.

— Энтони, дорогой, это захватывающе по замыслу. Но не представляю, как все это можно устроить. Да еще за такое короткое время.

— Не волнуйтесь, мистер Борк! Я не один. У меня верные друзья, большие связи, «Трибюн» целиком на нашей стороне, и она действует, если хотите, ради своего выживания. Но самое главное — все ретрансляторы телемоста заинтересованы в этой акции как в мировом шоу и, мало того, уже подсчитывают свои неожиданные и немалые прибыли от катающихся на льду. И поэтому работают вовсю.

— То есть? Кто катается на льду?

— Извините. Наверное, дурацкое сравнение. Да, мы на скользком льду. Но не будем сейчас об этом. Извините, я останавливаю себя. Времени в обрез. Я продолжу разговор из машины. Мы едем к вам, в Ньюбери. Нас четверо, я и трое ребят, отличных настройщиков космической связи из НАСА. Итак, нас четверо на двух машинах. Одна машина —

джип-фургон с техническим оборудованием. Все остальное объясню в пути. Мы рассчитываем быть у вас в Ньюбери минут через сорок, а то и раньше. Насколько я разобрался по карте, ваш дом в полумиле от супермаркета «Конфепанс», не так ли?

— Да, точно, в трех кварталах.

— О'кей! Стало быть, мы выезжаем. Итак, только не смейтесь, я — начальник штаба операции, Филофей — маршал космоса, а вы...

— Я подполковник при Джесси, — нашелся Борк. — Одну минутку, Энтони. Я понимаю, времени мало, но ты молодой человек, и вообще, так что имей в виду, расходы по космической связи с моим домом я беру на себя.

— Поздно, мистер Борк. Заинтересованные телекомпании все финансируют сами. У них свои виды. Не волнуйтесь. Впрочем, я тоже кое-что могу. Отец мой был известным адвокатом, так что... Не думайте об этой стороне дела. Думайте о кассандро-эмбрионах, о Филофее.

— Об Ордоке, — добавил Борк.

— В первую очередь. Он тоже разворачивает боевые действия. Об этом — с пути. Да, мистер Борк, извините, но я не рекомендовал бы вам выходить за пределы дома и вашей жене тоже. Даже в супермаркет. Воздержитесь. Не надо сегодня. Мы все привезем с собой. Выежаем.

Вскоре он позвонил с дороги. И этот небольшой промежуток времени между звонками показался супругам Боркам бесконечным, как после посадки на поезд с вещами, когда все, что было до того, осталось позади, как бы исчезло за горизонтом, а поезд не трогается. Они вдруг поняли, что их жизнь обрела иной темп — жесткий, измеряемый минутами от события до события, и что наступает решающий момент их судьбы. Не какой-то загадочной, неопределенной участи, а той, что складывалась из побуждений и действий вплотную прижившихся к ним враждебных сил.

— Мы уже выезжаем на автобан, — сообщил Энтони Юнгер. — Движение нормальное, пробок не вижу, должны прибыть вовремя, а пока поговорим о делах.

— Я слушаю, Энтони, мне хотелось бы знать, что происходит. Мы с Джесси несколько самоизолировались, ты знаешь, даже телевизор и радио не включаем.

— Мистер Борк, не буду преуменьшать, положение очень серьезное. Вы должны знать, что везде, во всех странах, картина одинакова — массовое неприятие.

— М-да-а,— пробормотал в трубку Борк.— Энтони, насколько я понимаю, люди не в состоянии воспринять Кассандро-эмбрионов как объективно существующую реальность. Да, конечно, это тяжелый психологический удар, возникает необходимость пересмотра всех жизненных основ. Так лучше отвергнуть, лучше затоптать змею сомнения...

— Вот именно,— отозвался Энтони.— Я бы сравнил это с тем, как если бы в конструкции моста, к примеру такого, как в Сан-Франциско над заливом, были обнаружены дефекты, но еще можно было бы ездить. Так зачем об этом думать? Скорей, скорей, побольше перевезти груза, а другие пусть думают потом, как быть с мостом. Но я хотел бы обратить ваше внимание, мистер Борк, пока у нас еще есть немного времени в пути — за рулем один из операторов, и я могу спокойно говорить с вами,— ну так вот, обратить ваше внимание на прелюбопытные вещи, а вы уж делайте выводы. Я перелистал газеты, слушал радио, телевидение и обнаружил две негативно-воинственные тенденции в отношении к открытию Филофея. Очень сильно задеты националистические самомнения. В Израиле это воспринято как попытка извести таким образом генофонд израильтян. Брошен клич найти щит против зондаж-лучей, изобрести нейтрализатор филофеевского облучения. В России мощное движение протеста вылилось в демонстрации с требованием немедленно вернуть Филофея из космоса, никакой он, мол, не монах, и, главное,— хватит нам одной перестройки, хватит гайдаровских реформ, не допустим генетической перестройки русского народа. Филофей — это Горбачев в космосе! Он служит Америке! Он хочет поставить Россию на колени! — Вот куда пошли страсти.

— Ну, это совсем печально, очень тяжело слышать, мне просто больно стало. Как же быть? — заволновался Роберт Борк.

— Но вы послушайте дальше. В Китае увидели опасность совсем в другом — в том, что это способ обесценить значимость их демографического превосходства. Там лозунг — не допустим демографической культивации! А в Индии брошен призыв замазывать тавро Кассандры ритуальным пятном.

— Ой-ой-ой,— поражался Борк,— что творится, Энтони!

— Но меня больше поражает другое, мистер Борк, вот интересно, что вы скажете на это. В Гамбурге с истеричным протестом выступили проститутки и сутенеры, знаменитые, припортовые. В Сицилии мафиози организовали, можно

сказать, всенародный поход по набережной Палермо. В Латинской Америке многочисленные протесты стихийного характера, особенно в районах подпольных наркоплантаций. Даже порноиндустрия не осталась в стороне — тоже протестует. Да, террористические организации, всевозможные революционеры — все яростно против. Будь Филофей в пределах досягаемости, они бы его... Кстати, военные круги в разных странах тоже очень недовольны. И что не совсем понятно — продюсеры кинобоевиков подняли голос.

— Ну, видишь ли, Энтони, — отозвался Роберт Борк, — я склонен полагать, что тут дает себя знать корпоративно-профессиональная стайность. Любая стая хочет жить и умножаться. Я бы так сказал. А тавро Кассандры на их пути — великая помеха, в перспективе им грозит остаться не востребованными — в обществе ослабеет потребность во многих из этих групп. И вот срабатывает инстинкт самосохранения, стая улавливает неблагоприятную ситуацию. И я их понимаю. Алло, алло, Энтони, что-то плохо стало слышно.

— Я прекрасно слышу вас, продолжайте, это очень интересный подход.

— Так вот. Да, слышимость наладилась. Так вот, я продолжу. Если под влиянием филофеевских открытий изменится менталитет человечества, если род людской будет по-иному смотреть на себя, постоянно прислушиваясь к сигналам эмбрионов, то предрасположенность к негативной самореализации индивида может заметно уменьшиться. И вряд ли кого тогда потянет заниматься сутенерством — в обществе, где не будет на то спроса, как не будет прежнего широкого набора проституток, и не только гамбургских. И мафии — то же самое, бандитизм, преступность — все взаимосвязано. И если в результате превентивных усилий поколений, для которых тавро Кассандры будет не позором, а предупреждением и, главное, — стимулом постоянного самосовершенствования людей, исчезнет генетическая предрасположенность к негативной самореализации индивида, то оправдан и переживаемый кризис. Невольно задаешься вопросом...

— Мистер Борк, не хотели бы вы высказать эти мысли во время космического телемоста?

— А почему бы и нет? Вопрос в другом: захотят ли меня слушать и услышать? Ведь протестующие, которых ты упоминал, боятся пасть в собственных глазах, боятся лишиться стабильности. Ведь в дальнейшем должны произойти корен-

ные изменения в мышлении, которое станет отторгать все порочное, гибельное в бытии, то, чего инстинктивно так опасаются кассандро-эмбрионы. Причем преобразование самосознания произойдет не в связи с благими моральными пожеланиями, это будет единственным реальным условием выживания и прогресса. В данный момент все это невозможно даже представить себе.

— Кстати, мистер Борк, уже много информации о протестах различных религиозных общин.

— Это и понятно. Тавро Кассандры по природе своей касается всех и вся в одинаковой степени. Реакция кассандро-эмбриона в этом смысле универсальна. Силам же, эксплуатирующим разделенность человечества на группы, блоки, течения, на своих и чужих и духовно паразитирующим на этой разделенности и противопоставленности, кассандро-эмбрионы совсем ни к чему. Они для них помеха, смута, общая, а не сектантская проблема. Такие силы будут всячески порочить Филофея и его открытие на всех языках и наречиях. Тут для меня ничего удивительного...

— Я с вами и в этом согласен, мистер Борк, мне этот разговор многое еще больше прояснил. Но извините, вынужден прерваться на минутку. Меня срочно по кодовому телефону. Нет, нет, вы не кладите трубку. Я сейчас узнаю, в чем дело, и мы продолжим. (Алло, алло. Какие новости? Да? Вот оно что! Это не совсем хорошо. Есть. Все понятно. Будем действовать.) Мистер Борк, извините, пожалуйста. Как говорится, по имеющимся сведениям, ситуация продолжает усложняться. Я попросил бы вас позвонить в местную полицию, предупредить, что к вашему дому от стоянки супермаркета направляется сейчас большая группа демонстрантов. Ясное дело, будут протестовать, шуметь под вашими окнами.

— Хорошо, Энтони, я сейчас позвоню в полицию. Жена давно уже предлагала это сделать, да я как-то не торопился. Нам уже с раннего утра клеили на стены разные листки. Джесси сейчас сама пойдет звонить полицейским.

— Да, мистер Борк, эта мера предосторожности будет не лишней. Тем более мне сказали только что, что «Трибюн» с вашей статьей уже выкинута читателям. Экстренный выпуск.

— Вот как?! — нервно воскликнул Роберт Борк.— Стало быть, газетчики времени не теряли.

— Естественно. Вы крупнейший футуролог, и ваше слово сейчас на вес золота. Конечно, вокруг статьи закипят



сейчас такие страсти! Это первый пушечный выстрел из осажденной крепости. Но это и единственный выстрел по Ордоку. Не скрою, меня это сильно огорчает. Думаю, что люди, разделяющие вашу позицию, есть и что их немало. Нестандартно мыслящие интеллектуалы не могут не задуматься над феноменом кассандро-эмбрионов. Ведь это поворотный пункт нашего самопостижения. Когда такое бывало в истории?! И казалось бы, все, кто ухватывает смысл этого явления, должны бы запеть весенними птицами на ветвях. Но — и я больше чем уверен в этом — к сожалению, подавляющее большинство интеллектуалов не посмеют встать против течения, сшибающего с ног. И в этом — весь он, элитарный субъект, против толпы — нет, не поднимет голоса, за углом перестоят. А тем временем Ордок бегаёт с факелом, буквально запалил мировой пожар в умах и в душах, успел подчинить себе и поднять плебс. Все вокруг кликом кличут. Всем не терпится действовать, сбиваться в толпы. Если уже проститутки вышли организованно на митинг, то что говорить об остальных?!

— Энтони, извини, я перебыю, хочу сказать к слову, как старший по возрасту. Ты еще совсем молод, и, когда ты говоришь о проститутках, тебе смешновато, я понимаю. А мне это представляется очень печальным. Конечно, они во все времена вели себя соответственно своему занятию, но такого, чтобы проститутки публично выходили ватагой на митинг протеста, такого, прости меня, я не слыхивал. Несмотря на профессиональный цинизм и самоуверенность, свойственную им, пришлось бедным проституткам и тут ощутить свою зависимость от жизненных обстоятельств. А ведь знак Кассандры — это плач по таким вот загубленным в генетических чашах цветам.

— Их подбили на выступление сутенеры от политики, как подбили они и других. Думаю, что сейчас и сам Ордок не в состоянии контролировать джинна, которого он выпустил из бутылки. Зачем далеко ходить за примерами. Вот я смотрю, что происходит на дороге. Смотрю и догадываюсь, что многие машины, обгоняя нас, мчатся именно к вам, в Ньюбери. И почти все в машинах, как и я, кстати, что-то кричат в телефоны. Выражение лиц не обещает ничего хорошего. В каждой машине народу битком. Мне сказали, что собираться они будут на стоянке у супермаркета.

— Ну да, Энтони, там очень удобное место для сборищ такого рода.

— Но если бы только там! Извините, меня опять отвлекают. (Алло, я слушаю, да, я Энтони Юнгер. Слушаю. Ясно. Да, да, говори, я слушаю. Я так и полагал. Хорошо. Держи меня постоянно в курсе. Понятно. О'кей! Мистер Борк, вот только что сообщили — в Нью-Йорке на улицах толпы демонстрантов. Особенно большое скопление народа перед зданием ООН. Полиция едва сдерживает. Демонстранты требуют санкции на удаление Филофея из космоса. Это уже международная акция. Что характерно, впереди идут зачавшие женщины, отмеченные в последние дни тавром Кассандры. Они с подкрашенными лбами и с плакатами: «Смотрите, нас клеймили тавром Кассандры. Спасите нас!» И многие мужчины и женщины, в знак солидарности, тоже идут с перечеркнутыми крест-накрест лбами. Вот такая ситуация.

— Да, Энтони, хорошего мало, что и говорить.

— Обсудим при встрече. Скоро будем. Главное, мистер Борк, установить аппаратуру, выйти на связь с Филофеем и тогда вместе подумать.

— Жду, Энтони. Я уже слышу возле дома какие-то голоса. Джесси побежала закрывать гараж. Вижу в окно. Какие-то типы кидают камни в бассейн — хулиганят. Надеюсь, полиция сейчас прибывает. Жду. Да, извини, Энтони, а сколько времени потребуется для налаживания связи с Филофеем?

— Ребята говорят, что-то около часа, ну, может, чуть побольше. Там видно будет. Тогда вы сумеете поговорить с Филофеем, так сказать, с глазу на глаз. Мне сообщили, что он уже получил по факсу оттиск вашей статьи. Нужно будет договориться о стратегии и тактике, как провести пресс-конференцию. Ну, по приезде еще поговорим. Мы скоро, ждите!

Шум на улице нарастал. В окно было видно, как спешили выходявшие из машин и те, что шли пешком от автостоянки у супермаркета. Собравшиеся стояли у ограды под деревьями, о чем-то оживленно переговариваясь, намалеванные краской плакаты и призывы уже держали на виду. Все — на одну тему, с открытыми угрозами: «Борк — тебе нет пощады!», «Задавим в берлоге монстра лжеучения!», «Выжечь на лбу профессора тавро Кассандры!», «Кто попирает права человека, тот сам их лишится!», «Мы не обязаны терпеть террориста от науки!», «Борк — подручный сатаны!», «Филофея и Борка — на одну перекладину!» и еще и еще...

И лихорадочно думалось Борку — кто они, эти люди? Почему и зачем они разом явились сюда? Никогда не виде-

лись, не знали, не подозревали о существовании друг друга. И вот пробил час — и сошлись. И теперь они гудят на улице в ожидании какого-то действия — белые, черные, мужчины и женщины, молодые и старые, приехавшие кто с громкоговорителем, кто с фото- и киноаппаратурой, многие с радиотелефонами, по которым они живо переговаривались с кем-то, находившимся в другом месте. И как странно, невероятно было убеждаться в том, что это именно та сила, о которой прежде он судил по историческим исследованиям и теоретическим статьям, которую видел отображенной на живописных полотнах, в театральных постановках и киносюжетах, авторы которых пытались обрисовать толпу и понять, чем объясняется непредсказуемость ее поведения.

И вот они здесь, те, что явились толпой. Они вплотную стоят вдоль ограды, из окон видны их лица. Чего они хотят добиться, чего жаждут? Какого исхода? Их руки незримо обжигает факел — эстафета от Варфоломеевской ночи, их ноги натываются на окровавленные булыжники римских бунтов, над головами — надсадный гул громадного осинового роя, ищущего выхода в излиянии яда. Вина ли их в том, беда ли, или некая чумная сверхсила согнала их сюда в наказание? Как быть, что сказать им, совсем недавно еще потрясавшим на площадях само небо криками восторга и преданности из сотен тысяч глоток при виде неотразимого фюрера, кидавшимся по мановению его руки по колено в крови и на запад, и на восток, и на юг, и на север; что сказать им, совсем недавно еще топтавшим друг друга в смертодавке перед гробом Сталина, чтобы только ухватить краем глаза облик обожаемого до мочеиспускания и тотчас изойти вместе с ним в иные миры, удаляясь в черном полете над континентом расстрелов и казней; что сказать им, вчера еще бежавшим ревущей ночной толпой по тегеранскому летному полю навстречу взлетающему авиалайнеру иранского шахиншаха, спасающегося от расправы и едва успевшего пронестись над головами пытавшихся ухватиться за шасси? Еще долго бежала обезумевшая толпа по взлетному полю, и мигали, удаляясь в выси, огни самолета, и стояли в небе не подвластные людям звезды, и бесновались эти люди, сжигаемые жадной несостоявшейся мести, взывая к Аллаху вернуть тот самолет немедленно назад...

И вот толпа здесь, на новом перепутье, у ворот его дома...

Он стоял у окна, рядом стояла Джесси. Их разговор чем-то напоминал плавание в безвоздушном пространстве:

- Слушай, Роберт, они не шутят.
- Совсем даже нет.
- Что же делать?
- Думаю, что мне надо появиться, я должен выйти к ним.
- Да ты что, Роберт?! Ты в своем уме?
- Вполне. Они должны понять, что я не прячусь от них.

Я хочу, чтобы они знали: бунт не может остановить генетическую деградацию, наоборот, насилие лишь ускорит приближение апокалиптического финала. Я хочу сказать им, что тавро Кассандры — это вызов, брошенный нам судьбой. Каждый сигнал кассандро-эмбриона касается всех нас. И если мы это поймем, то есть выход, есть шанс. Надо оглянуться, чтобы увидеть, что впереди.

— Замечательно, но прежде подумай, Роберт, кому ты все это собираешься объяснить. Это же не университетская лекция. Кто тебя будет слушать? Они не для этого сюда пришли!

— У меня нет другого выхода.

— То есть как? Ты же сам говоришь, что сейчас Энтони наладит связь с космосом, ты увидишь Филофея и сможешь все обсудить с ним, а вечером вы вместе с Филофеем проведете пресс-конференцию, изложите свое понимание проблемы. И люди, я надеюсь, поймут, наконец, что вы им бла-га желаете, а не зла.

— Пока я тебя слушаю, я соглашаюсь с тобой, Джесси, но только пока слушаю. Ведь эти люди, стоящие тут, не будут ждать пресс-конференции. Им нужна немедленная разрядка, они жаждут действий. Смотри сама, видишь, они все прибывают и прибывают, и чем больше их собирается, тем они становятся агрессивней. Пока не поздно, я должен открыто поговорить с ними.

— Не знаю, Роберт. Ты рискуешь.

— Что значит — рискую? Я должен объяснить им, что я думаю об открытии Филофея.

— Ты уже объяснил это в своей статье.

— Этого мало. Или вообще ничто. Эти люди не читают статей.

— Роберт, смотри, что они делают, — они жгут твои портреты!

— Мои портреты? Я что, политический лидер?

— Смотри! Это увеличенные ксероксы с твоей фотографии.

— Что я могу сказать. Жалко, сжигают бумагу.

— Но где же полиция?

— А при чем тут полиция? Полиция прибыла. Вон трое стоят сбоку от въезда. Ты разве не заметила их?

— Всего трое? Что же они молчат?

— А что они могут? Кому-то нравится жечь чьи-то портреты. Вот и все.

— Сколько раз видела подобное по телевизору. И вот в натуре. Как в Индии какой-то. В точности, как там! Ой, поскорее бы уж Энтони приехал! Как ты думаешь, почему их нет?

— Не знаю. В это время пробки бывают. Сама знаешь.

Они замолчали. Не хотелось ни сидеть, ни стоять, ни говорить, ни молчать.

А в это время толпа, загудев, задвигавшись, стала скандировать, как по команде: «Борка к ответу! Борка к ответу!»

Крик нарастал, наливался злобой. Становилось немого-ту. Люди требовали, чтобы Роберт Борк к ним вышел. Откуда-то появилась группа женщин с накрашенными лбами. Они принялись кричать, размахивая свежими номерами «Трибюн»: «Борк подлец! Борку выжечь тавро Кассандры! За тавро Кассандры — бить! Борк — подлец!» Другая группа орала: «Ордок прав! Ордок прав!»

Обстановка накалялась, толпа была фанатично возбуждена. Полицейские, зывавшие к порядку, оказались совершенно беспомощными. Один из них, с трудом выбравшись из толпы, куда-то звонил из машины, возможно, просил подмоги.

Залопонив собой все окружающее пространство, толпа неотвратно придвигалась к дому. От напора тел ломались скамейки, валялись наземь фонари на аллее. И орала глотки, и стоял несусветный вопль.

Увидев, что муж надевает пиджак, Джесси вскричала:

— Куда ты? Не смей!

Но он оттолкнул ее. И с этой секунды мир в его враз потемневших зрачках сместился куда-то за пределы прежнего восприятия. Они встретились с Джесси взглядами: боль с болью. И он сказал как бы откуда-то издалека:

— Не останавливай меня. Я должен испить эту чашу.

Лицо Джесси искривилось в отчаянии:

— Ты идешь на гибель!

— Даже если так,— глухо ответил Борк,— все равно я должен пойти.

Он схватил за чем-то с вешалки шляпу и решительно двинулся к выходу. Вышел, и его обдало накатившимся жаром, волной живого горения бушующей в ожидании его толпы. Воздух дрогнул от взрыва криков при его появлении. Задер-

гались транспаранты и плакаты, каждый норовил сунуть свой плакат ему в лицо. Он стоял у дверей, растерянно улыбаясь из своего далека, глядя на всех и не видя в отдельности никого. Резким жестом надел шляпу и на мгновение стал таким, каким был всегда — седым мосластым стариком, с крупными, подвижными чертами лица, с темными глубинами глаз в морщинистом прищуре, с еще крепкой шеей и крепкими зубами. Он был Старой скалой, как называли его однажды франкфуртские журналисты.

В наступившей паузе Борк клокочущим от волнения голосом успел произнести несколько слов:

— Кассандро-эмбрионы — это наша беда и наша вина. И мы должны держать ответ перед ними!

Какая-то женщина кошкой прыгнула к нему.

— А вот это ты видишь?! — ткнула она себе в клейменный лоб. — Ты видишь тавро мое от дьявола из космоса?! Читай вот! Сатана сатане поет! — и принялась яростно хлестать футуролога по лицу газетой с его статьей. Газета разлеталась в клочья, шляпа покатила на землю, и ее тут же растоптали, а женщина продолжала истошно орать, как орала, должно быть, у себя на кухне. — Ты еще у меня попишешь! Я еще и до космоса доберусь! Я еще этого Филофея придушу!

— Бей его! Бей! — запалаясь ее неистовством, вскричали стоящие вокруг. — Тащи его! Тащи сюда! — заорали те, что позади, и двинулись к нему с кулаками. Его потащили десятки рук, и все смешалось. Джесси оказалась в давке, но никто не обращал внимания на ее мольбы и слезы.

Съемочная группа телевизионщиков, пытавшихся заснять эту дикую сцену, тоже была смята, аппаратура валялась под ногами. Несколько полицейских, тщетно пытавшихся что-то предпринять, сами оказались щепками в водовороте. А Роберта Борка тащили куда-то, неизвестно куда, но куда-то. Каждый тянул в свою сторону, вцепившись ему в горло, схватив за волосы, раздирая края рта, превращая лицо старика в кровавое месиво. Толпа яростно давила и само себя, каждый всех, все каждого. И это еще больше разжигало злобу и ненависть. И в том брутальном движении куча беснующихся людей оказалась в каменном саду футуролога, возле бассейна, и именно здесь, где, бывало, выписывал он на песке некие таинственные знаки, пытаясь проникнуть в сокровище тайны Мирового духа, именно здесь и произошло неотвратимое. Кто-то, изловчившись, нанес Борку яростный удар по голове железным рифленным пру-

том, выдернутым из клумбы, где на нем держались вьющиеся стебли. Борк громко вскрикнул и, схватившись за голову, упал навзничь, корчась в судорогах и заливаясь кровью, но его продолжали бить.

В этот момент, однако, ощутилось в толпе какое-то новое движение, какие-то сильные люди начали раскидывать всех в стороны, пробиваясь к Борку. Это действовали подъехавшие наконец Энтони Юнгер с помощниками по наладке космической связи, теперь уже никому здесь не нужной. Им удалось быстро пробиться к избиваемому насмерть Борку.

— Кто это сделал?! Кто?! — Энтони Юнгер хватал и расшвыривал всех подряд. — Преступники, вы все преступники!

А над улицей снижался подлетевший полицейский вертолет. Сплошной свист винтов заглушил крики, поднялся сильный ветер. То была сцена, как в немом фильме, — беснующаяся неслышно толпа. Вертолет сел, из него начали выскакивать полицейские с дубинками. И только тогда толпа опамятствовала. Люди стали разбегаться. Многие кинулись в сторону супермаркета, к своим машинам. Многие уже поспешно выруливали и гнали прочь на бешеной скорости. Еще несколько минут — и ничего не стало.

Энтони Юнгер с двумя помощниками несли растерзанное тело Роберта Борка, еще один вел под руку спотыкавшуюся, обезумевшую Джесси.

Вместе с полицейскими все они поднялись в вертолет, затем помощники Юнгера спустились обратно, сели в свои машины с оборудованием для космической связи, а вертолет начал набирать высоту. Он взлетел почти вертикально над домом. И все умолкло.

Ни души не осталось вокруг, никого не было возле покинутого дома с побитыми дверями и окнами, с разбросанными скамейками и опрокинутыми фонарями, с истоптанным каменным садом чудаковатого футуролога. То была пустыня после погрома.

Через минуту вертолет уже летел над гольф-полями, где когда-то любил бывать Роберт Борк, совсем еще недавно снились ему эти лужайки света, зелени и простора, и покойный друг Макс Фрайд звал его на лунные гольф-поля.

Вертолет держал курс на городской госпиталь...

Энтони Юнгер склонился над Робертом Борком. Скинутой с себя рубашкой он перевязал ему голову, стараясь остановить кровотечение. Он держал его голову, обернутую рубашкой, на коленях, пытаясь заметить хоть какие-то при-

знаки жизни, все еще надеясь на чудо. В какое-то мгновение лицо футуролога вдруг будто прояснилось, едва заметно дрогнули веки, и Юнгер увидел его взгляд. Их глаза встретились. Возможно, Борк узнал Юнгера. Они увиделись впервые в жизни и тут же расстались. Навсегда, навечно. Голова Роберта Борка откинулась навзничь...

Юнгер зарыдал. Джесси непонимающе смотрела на бездыханного мужа. Полицейские старались выразить соболезнование скорбным покачиванием голов.

Вертолет снижался над госпитальным центром, но было уже поздно...

\* \* \*

В тот час в океане сильно штормило. Метеослужба срочно рассылала по компьютерным каналам предупреждения о большом шторме у побережья Атлантики. Самолеты, летевшие над атлантическим пространством, попадали в сильные болтанки, командиры кораблей то и дело просили пассажиров застегнуть ремни, не вставать с мест и радиовали о сложностях полета своим наземным службам. Стюардессы пытались улыбаться, но это было ни к чему, — Атлантика не шутила...

И только киты — вселенские радары, — как всегда, держали в себе все то, что испытывали, все то, что воспринимали они, эхо Вселенной. И с тем плыли киты журавлиным клином. Океан пытался разбросать их клин, повернуть их вспять. Но они плыли, борясь, погребаемые огромными волнами, вновь всплывая и вновь утопая...

Что за сила питала и гнала их, зачем и куда они плыли?

А на Красной площади в Москве была уже глубокая ночь. И приближался час совы. Она еще неподвижно дремала на Спасской башне под часами. И ждала, когда наступит время слететь вниз. Тревога терзала ее больше обычного... Что-то происходило в мире. Она это чуяла... Что-то происходило...

## Х

Объявленная в экстренном порядке пресс-конференция «Космос — Земля» состоялась в тот день в назначенный час и транслировалась по всем ведущим каналам.

Но до этого телекомпаниям пришлось пережить «предэфирный ураган». Как только стало известно о гибели футу-



ролога Роберта Борка, со всех концов мира обрушился шквал звонков и запросов, особенно много звонили из национальных компаний, запланировавших ретрансляцию сенсационной пресс-конференции. Все желали немедленно выяснить, каковыми могут оказаться последствия трагедии, удастся ли организовать телемост с Филофеем, кто будет вести с ним диалог и вообще реально ли ждать теперь пресс-конференции.

И вращалась Земля на пути своем неизменном, и приближался тот час... И все ждали...

И наконец на экранах телевизоров появились долгожданные титры. Вслед за этим дикторша объявила, что телевидение считает своим долгом вначале проинформировать о реакции в мире на убийство ученого Роберта Борка и о комментариях средств массовой информации в данной связи.

Нельзя не сказать, что комментарии были весьма тенденциозными. Начались они со стандартных выражений соболезнования и скорби, затем дикторша, едва сдерживая злорадную ухмылку, проскользнувшую во взгляде, продемонстрировала диаграмму — результаты экспресс-опроса по поводу имевшего место суда Линча над, как она выразилась, апологом филофеевского учения о кассандро-эмбрионах Робертом Борком: «Результаты удручающи и в то же время ошеломительны. Судите сами, уважаемые телезрители». Из диаграммы в виде разноцветных, для пушей наглядности, столбцов явствовало, что 83,7 процента опрошенных полностью одобрило расправу над футурологом, причем большинство респондентов этой группы — 76 процентов — заявили, что будь они на том месте, в Ньюбери, они, несомненно, и сами приняли бы личное участие в расправе над заклятым сообщником космического дьявола; 11 процентов опрошенных осуждали преступные действия дикой толпы, видя в том зловещие симптомы нравственной деградации общества, остальная, незначительная часть респондентов выразила свое полное безразличие к происшедшему.

Затем телезрителям были представлены результаты социологического анализа массовых выступлений того дня. Это был длинный перечень стран, городов, регионов, демографических, социальных и прочих срезов. Из чего опять же явствовало, что практически весь мир, все слои населения выступали в той или иной форме с протестом против того, чтобы космический монах продолжал посылать на землю зондаж-лучи для выявления знака Кассандры. Бросалось

при этом в глаза, что определяющую роль в умонастроениях и поведении людей играл фактор национализма.

Но самое страшное, как выяснилось, происходило в тюрьмах. Возможно, это было неосознанным ответом, подспудно вызревающим и разразившимся бунтом тех, кто когда-то был кассандро-эмбрионом, но вынужден был родиться, и вот теперь тайна отвращения их к миру оказалась вдруг обнаруженной Филофеем. А иначе чем было объяснить эти дикие сцены, эти битвы с охраной и вспомогательными полицейскими отрядами, когда стороны шли стена на стену — в касках, со щитами и дубинками одни и с голыми руками, но в яростной волчьей злобе другие, когда сшибались они в грохоте погромов и пламени пожаров. И что бы ни было внешней причиной бунтов заключенных в разных странах и разных городах, подоплека таилась в злополучном знаке Кассандры, так болезненно воспринятом отбывающими наказание за преступления.

И еще немало эксцессов того дня преподнесли журналисты, например репортаж из одного из портов, где моряки в знак протеста отказывались выходить в плавание. Корабли стояли у причалов, как покинутые жителями дома с пустыми окнами.

И все выступавшие требовали одного — сбить ракетой космического провокатора Филофея! Уничтожить орбитальную станцию — источник зондаж-лучей.

Только после оперативного обзора такого рода событий в разных точках планеты на экране наконец появился зал, где должна была начаться пресс-конференция. Сразу бросилось в глаза: народу в зале было битком. Люди стояли у стен, сидели в проходах на полу. Все взоры были прикованы к сцене, соответствующе оборудованной, — огромный экран, на котором должен был показаться с орбиты Филофей, стоял сбоку сцены, наискось к залу. За столом на сцене располагались, каждый у своей связки микрофонов, двое: Энтони Юнгер и ведущий телепередачи популярный Уолтер Шермет. Все в зале сильно волновались и это было заметно по застывшим в ожидании лицам, по настороженно светящимся глазам, по вытянутым шеям. У бывалых фоторепортеров, успевавших заснять с ходу самого черта с рогами, чуть ли не дрожали держащие аппаратуру руки, они стояли, как козы, пугливо столпившиеся перед бродом через реку.

Обычно речистый Уолтер Шермет, лысоватый, франтоватый, не совсем удачно пытался улыбаться на профессио-

нальный манер. Его эlegantность и актерская небрежность в этот раз не срабатывали, не вязались с моментом. Энтони Юнгер, напротив, был слишком углублен в себя. Мало кому было дело до того, что он был потрясен горем и лишь усилием воли заставлял себя держаться, так как ему предстояло заменить Роберта Борка, принять участие в диалоге с космическим Филофеем на глазах у миллионов телезрителей. К тому же в тот вечер прилетала из Дублина его невеста Кэтти с матерью, а он из-за пресс-конференции не успевал встретить их в аэропорту, что его очень удручало. Он был напряжен, на скулах проступили желваки. Энтони понимал: судьба кинула его на авансцену событий, чтобы он или устоял, убежденный в правильности выбора Роберта Борка, погибшего на его глазах, или сгинул под свист и камни улицы, под ухмылки и недоуменные пожатия плечами вчерашних приятелей из ордоковской команды, поглядывающих на заведенную ими, беснующуюся толпу и рассуждающих о том, что вполне может случиться, что Юнгеру придется разделить участь Борка.

Между тем накаленность массы возбужденных людей достигла своего апогея. Все ждали решающего момента — появления в телеэфире Филофея, чтобы, как сказал один из комментаторов, загнать его общей облавой в пожар мировой ненависти. И все шло к этому, и тот момент приближался, с обратным отсчетом секунд, как перед взрывом.

А днем, когда в госпитале было составлено заключение о насильственной смерти Роберта Борка, Джесси сказала, с трудом унимая слезы:

— Энтони, если тебя ждет судьба моего Роберта, мне нечего сказать. Истина была для него превыше всего, за что он и поплатился. Но подумай о себе. Ты молод. Тебе жить да жить. Есть ли смысл вслед за Робертом ставить на карту собственную жизнь?

Тяжко было в ту минуту продолжать разговор, и он ответил коротко:

— Я вас понимаю, Джесси. Но я не хотел бы избегать того, чего не избегал Роберт Борк.

Они стояли в холле госпиталя у большого окна, в стороне от больных и лечащих. Солнечный свет чисто струился в спокойное помещение сквозь стекла, небо так же покойно голубело за окном, покойно золотилась неподалеку кленовая листва на ветвях... Стара и убита горем была вдова футуролога. Чем-то она напоминала побитую бродячую соба-

ку, скулящую в овраге. Джесси не знала, как ей быть. Слезами исходила. И должно быть, чтобы как-то совладать с собой, она бормотала вслух то, о чем думала.

— Роберт всегда говорил, что любовь — это слияние двух рек. Я все смеялась: утонешь в великоречии своем, Боб! И теперь убеждаюсь, вот и нет моей реки. Остановилась, иссякла та река, и я брошена на пустом берегу...

И еще сказала она странную, загадочную фразу:

— О бедные киты, кто о вас вспомнит теперь, когда я буду играть на виолончели...

Эти слова настолько поразили Энтони, что он хотел было даже спросить, что она имеет в виду, но не посмел. От горя, должно быть, говорилось такое.

А потом им пришлось расстаться. Энтони надо было готовиться к телемосту. Времени оставалось в обрез. Джесси оставалась в госпитале в ожидании прибытия из Чикаго дочери и зятя.

С тем они и расстались до завтра. В одном Энтони повезло — ему удалось позвонить из госпиталя в Дублин и поговорить с Кэтти перед самым их выездом. Он волновался, ведь по их приезде предстояло думать о свадьбе.

Вот так сслестнулось в одночасье. Кто бы мог предполагать. Возможно, только метеориты сталкиваются так, летя навстречу друг другу сквозь Время и Пространство.

И разговор с Кэтти оказался непростым. Кэтти ждала его звонка, и чистый голос ее возвратил его на мгновение к тому, что было счастьем. Все было для него счастьем в ней — и прикосновение ресниц, и дыхание, и походка, счастьем, не требующим ни доказательств, ни подтверждений.

— Ой, наконец-то, Энтони! — воскликнула Кэтти. — Я так ждала твоего звонка. — И ему стало жарко от знакомого придыхания в трубке. — Мы с мамой через четверть часа уже выезжаем. Как ты там, Энтони? Ждешь?

— Извини, Кэтти. Я тоже очень нервничал, боялся, что уже не застаю тебя.

— Ну, ничего страшного, совсем скоро увидимся. Просто мне хотелось услышать твой голос.

— Понимаешь, возникла одна проблема. Сейчас нет времени объяснять. Потом я все расскажу. Я хочу, чтобы ты извинилась за меня перед мамой. К сожалению, я не смогу вас встретить в аэропорту. Садитесь на такси и...

— А что такое, Энтони? Случилось что-нибудь серьезное?

— Да. Очень. Это долгий разговор. Постараюсь покуро-

че. Сегодня вечером я должен участвовать в пресс-конференции вместо погибшего футуролога Роберта Борка.

— Как? По радио передали, что его убили возмущенные демонстранты. А ты тут при чем?

— Видишь ли, я был устройателем этого космического телемоста с Филофеем.

— С Филофеем? С тем самым?

— Да. С ним должен был выступать Роберт Борк.

— Ничего не понимаю, Энтони! Ничего!

— Я потом все расскажу. Обстоятельства сложились так, что собеседником Филофея теперь придется быть мне; я потом объясню тебе и маме, но другого выхода нет...

Кэтти понизила голос и он понял, что она прикрыла ладонью телефонную трубку:

— Хорошо, Энтони. Потом расскажешь. Пока я не буду ничего говорить маме. Она очень взволнована, негодует — какой-то безумец в космосе взбудоражил весь мир. И я не в восторге.

— Я ее понимаю и тебя понимаю, — ответил Энтони. — Но умоляю, сделай так, Кэтти, чтобы она не волновалась понапрасну. А потом я все подробно объясню. Я тебя очень жду, Кэтти. Я тебя люблю. Садитесь в аэропорту на такси и скорей приезжайте. Как только завершится пресс-конференция, я буду звонить, и мы встретимся. Не задерживайтесь, не опаздывайте на самолет. Пока, целую.

— Пока, Энтони. Пока... Хочу, чтобы у тебя все было хорошо... Я с тобой.

— И я с тобой. Жду...

Сидя на сцене, Энтони Юнгер подумал о том, что самолет, в котором летела из Ирландии Кэтти с матерью, пожалуй, уже приближается к атлантическому побережью.

А в зале тем временем истекали считанные секунды до начала трансляции космического телемоста. И явится на суд некто Филофей, вовлекший человечество в глобальную смуту. И за все ответит, за все ему отольется.

В который раз в тот день пронзала Энтони Юнгера мгновенная мысль: «А что если вдруг и у нас в семье случится такое несчастье — у Кэтти появится знак Кассандры? Что тогда? Как тогда быть? Ведь никто не составляет исключения, абсолютно никто. Никто не застрахован от того, что в его генотипе таится страх перед жизнью».

При том, что зал напряженно ждал включения космоса, многие вздрогнули от неожиданности, когда прозвучал сигнал и экран засветился. Наступила мертвая тишина. Ведущий заторопился, обращаясь к публике:

— Итак, мы начинаем трансляцию пресс-конференции находящегося на орбитальной станции ученого-биолога, именующего себя космическим монахом Филофеем. Не буду напоминать всем известные факты — чрезвычайного характера обращение Филофея к папе римскому и трагические события, следовавшие вслед за этим. А сейчас прошу внимания...

На экране несколько раз мелькнул размытый контур, заплывавшийся в мерцающей пурге эфира, затем изображение стало четче, и на экране возник лик человека, уже всем известного, но впервые представшего воочию перед взором телезрителей. И тут же, еще не успел никто обмолвиться ни единым словом, заработали разом сорвавшиеся с места фоторепортеры, расхватывая образ Филофея с экрана.

Уолтер Шермет вынужден был запротестовать, загромождаваясь от шквала вспышек:

— Прошу соблюдать порядок. Прекратите слепить нас. Мы начинаем работу.

Когда вспышек поуменилось, лик Филофея укрупнился, приблизился из космоса живыми чертами. То был шоковый момент. Так вот он собственной персоной, то ли великий пророк, то ли великий безумец, то ли сатана высшей пробы! Вот он — виновник истерии и несчастий! Вот он, облучающий женщин из космоса зондаж-лучами! Вот он, автор зловещего учения о знаке Кассандры!

На вид Филофею было лет пятьдесят с небольшим. С продолговатым лицом, с русыми волосами, свисавшими до сутулых плеч. И борода рыжеватого оттенка, с проседью. Он смотрел с экрана в зал, в лица присутствующих, как повстречавшийся вдруг на дороге путник, куда-то идущий с котомкой и посохом, приостановившийся уточнить, куда ли он держит путь, куда ему следовало. И вечереет уже, поспеет ли? Во взгляде — озабоченное внимание и целеустремленность. Примерно таким и представлял его себе Энтони Юнгер и в душе даже порадовался совпадению. Старинно-гравюрный, если можно так выразиться, облик космического монаха тем не менее вполне вязался с интерьером орбитальной станции. Держался Филофей уверенно и деловито. Возможно, способствовали этому колоссальная удаленность

его от Земли и дело, которому он отдавался в абсолютном уединении всецело. Глубокие морщины, тяжелые веки, пристально смотрящие серые глаза таили в себе нечто притягательное и скорбное.

В первые секунды трансляции Энтони Юнгер очень волновался еще и за то, насколько хорошо говорит Филофей по-английски. Ведь нередко человек может грамотно писать на иностранном языке, но не столь же свободно говорить, особенно на публике. Однако с первых же фраз Филофея Энтони успокоился — на английском космический монах российского происхождения говорил вполне нормально, лишь с легким акцентом.

А разговор начался стремительно, как только Уолтер Шермет с наигранной раскованностью и даже жеманством произнес:

— Добрый вечер, брат Филофей! Извините, мы не знаем, так ли следует обращаться к вам?

— Да, так, — отвечал космический монах и добавил: — Всякому, кому угодно будет, я брат.

— А если не всем угодно будет брататься? — сострил Уолтер Шермет.

— Тогда кому как заблагорассудится. Не беда. Но и для тех, кто меня не приемлет, я в душе своей брат.

— Почему вы говорите об этом столь самоуверенно? Не хотите ли тем самым возвыситься над греховным миром нашим?

— Мое призвание — сострадать каждому, как бы ко мне ни относились.

— Допустим. Ну, хорошо. Не будем, однако, начинать нашу встречу с выяснения взаимоотношений в этом плане, — продолжал остроумничать Уолтер Шермет. — Есть вещи куда как серьезней и, как вы, наверное, понимаете, куда как страшней, причем находящиеся в прямой связи с вами, брат Филофей, с вашей, так сказать, научной деятельностью на борту орбитальной станции. Поэтому, собственно, мы и собрались на пресс-конференцию. Да, но для начала я представляю вам публику. В зале — цвет журналистики. Идет прямая телетрансляция. Я ведущий, Уолтер Шермет. Рядом со мной — Энтони Юнгер. Он участвует в телемосте вместо футуролога Роберта Борка, погибшего сегодня утром в результате массовых волнений. Извините, приходится называть вещи своими именами: причиной этих трагических событий явились именно вы. Впрочем, Энтони Юнгер сам представится и выскажет свое мнение.

— Спасибо, Уолтер Шермет. Я знаю Энтони Юнгера, — перебил его Филофей, устремляя взгляд в сторону Юнгера.— Я знаю Энтони Юнгера по предвыборному митингу, трансляцию которого видел. Поскольку я нечаянно перебил вас, позвольте мне сказать, я ждал этой минуты, этой встречи, возможности сказать о том, о чем вы уже упомянули, — как достигает меня в космосе пламя пожара, возгоревшегося в умах и душах. Да, огонь тот запалил я сам. Да, это так. Но факел я выносил не для сожжения еретиков на кострах, а, полагал, для просвещения душ людских. Не получилось. Все обернулось тьмой. И боюсь, безнадежно. А я надеялся, быть может, наивно в моем-то возрасте, конечно, наивно, что правда восторжествует. Ошибся. Вместо просветления душ повсюду вызвал лишь хаос и смуту. Все это я вижу на экране своего телевизора. Видел я и то, что произошло сегодня в Ньюбери. Я ожидал телевизионной встречи с Робертом Борком, был предупрежден о ней, горел душой перемолвиться с ним словом, но увидел дикую расправу с человеком в его собственном доме. Тот самый бунт, о коем русские говорят — бессмысленный и беспощадный. И опять же — по моей вине! Находясь в космосе, я оказался прямой причиной гибели моего же, Богом посланного мне единомышленника. Я на коленях перед вами, люди! Но сейчас мое покаяние ничто. Ничем не вернуть убиенного Роберта Борка, даже ценой собственной жизни, которую я готов немедленно принести в жертву. Если бы...

И вот что я еще хочу сказать, прежде чем отвечать на ваши вопросы. Возможно, я не успею ответить на все вопросы зала, заранее прошу прощения. Мне уходить, вам жить, а жить — значит самим находить ответы. Поймите меня и простите, если можете. Единственное, что мне хотелось бы сказать напоследок: не ради громкой славы, не ради амбиций и не для превосходства над себе подобными сделал я общим достоянием свои открытия, которые могли бы оставаться втуне, и мир наш пребывал бы в счастливым неведении, как и до этого. Но не для того ли мы сотворены как смысл и содержание вечности, чтобы через постоянно совершенствующееся познание наше открывался нам мир, а иначе к чему быть мирозданию, с какой целью быть вечности, если она будет оставаться не востребованной и не осознанной нами, по слабости и по прихоти нашей уклоняющимися от истины, когда это нам удобно? Не снижаем ли мы статус разумных существ — ведь боги без нас не боги,



материя без нас пуста. И если мы утверждаем, что информация — путь прогресса, то не в непрерывающемся ли потоке все новой и всеохватывающей информации суть вечности? Бесконечность цивилизации — в бесконечности познания. Но когда мы избегаем познания в угоду себе, то есть вопреки истине, не избегаем ли мы тем самым столь желанной нам вечности?

Я прошу прощения у присутствующих за абстрактные рассуждения по поводу, казалось бы, абсолютно конкретных обстоятельств, но сегодня, когда мы убили Роберта Борка, мы убили с ним часть нашей вечности. Простите меня, я хочу...

— Позвольте, позвольте, брат Филофей! — перебил его с трудом сдерживавший себя Уолтер Шермет. — Рассуждения о высоких материях, разумеется, хороши, философия вечности любопытна. Но ведь вы вмешались в таинство рождения, — я имею в виду ваши космические эксперименты, провоцирующие появление знака Кассандры у зачавших женщин. Вы оказываете недопустимое давление на наше Эго. Вы стремитесь поставить нас под свой космический контроль. А с этим, позвольте вам напомнить, мало кто готов на Земле примириться! Я напоминаю — на Земле, на грешной нашей Земле, и не судите обо всем с космической высоты, где вы недосягаемы для возмущенных людей. Совершенно справедливо возмущенных. Извините, что я обнажаю свою позицию. Но в данном случае не до условностей, не до этикета ведущего. И я не могу не выразить протеста против ваших деяний. Кто вам позволил, какая сила толкнула вас, какими бы благими намерениями вы ни руководствовались, ввергать жителей планеты в массовую смуту ради своих научных открытий, а я бы сказал, ради гордыни своей?! Не есть ли это святотатство, особенно если вы монахи, пусть даже самозванный, как утверждают российские иерархи. Не идете ли вы против Божественных установлений?! Сказано в Писании — плодитесь и размножайтесь. И без всяких оговорок. А вы решили подвергнуть ревизии то, что не подлежит контролю кого бы то ни было. Не принесли ли вы таинство рождения в жертву адским силам? На мой взгляд, это именно так! И если мистер Ордок говорил об этом как политик, то я скажу как журналист, дорожащий мнением многомиллионной аудитории.

И тут поднялся шум в зале. Это было странное, диковинное зрелище: журналисты вскакивали с мест, рвались к микрофонам, размахивали руками так, как будто перед ними

не телеизображение, передаваемое из космоса, а сам Филофей на сцене. А он слушал их на экране, сжав губы и прищурившись, стараясь сохранять спокойствие.

Было видно, как лицо его свела судорога боли. И вряд ли эту встречу можно было называть пресс-конференцией. По разгулу страстей она ничем не отличалась от митинга. Каждый дорвавшийся до микрофона лишь называл себя, свою газету, информационное агентство и тут же требовал космического монаха к ответу. И никаких философий, практика жизни превыше всего! Филофею не давали рта раскрыть. Должно быть, ему стало дурно. Он вдруг исчез с экрана. В зале поднялся переполох. Экран пустовал.

— Где вы?! Что с вами?! — вскричал Уолтер Шермет.

Но вот он снова возник, держа в руках космонавтский скафандр.

Голоса в зале на мгновение стихли. Все были удивлены — к чему это? А Филофей стал молча облачаться в скафандр. Энтони Юнгер воспользовался этой паузой. Он поднялся с места и стал говорить, обращаясь к залу:

— Я прошу присутствующих выслушать меня, поскольку я один из устроителей этого телемоста. И у меня в этой связи есть свои обязанности и права. Прежде всего хочу сказать Уолтеру Шермету, что дальнейшее ведение пресс-конференции я просил бы уступить мне. Вы свое сказали, Уолтер Шермет. А то, что происходит в зале, мало чем похоже, к сожалению, на деловую журналистскую встречу. Пресс-конференция предполагает вопросы и ответы. Пока что профессиональных вопросов не последовало. Эмоции затмевают логику. Мне не раз приходилось принимать участие в пресс-конференциях, но такого еще не бывало! Даже когда разразилась недавняя война в Персидском заливе, вопросы были разноречивы и выражали разные позиции. А сейчас каждый пытается прозвучать в унисон, непременно в хоре. И все дружно подписывают один и тот же приговор.

— Позвольте, Энтони Юнгер, — не утерпел Уолтер Шермет, — но почему вы в таком случае пытаетесь навязать аудитории, да что там аудитории — всему миру свои мысли? И почему в то же время лишаете права выразить свою точку зрения других участников встречи?!

— Уважаемый Уолтер Шермет, я понимаю, ситуация такова, что можно в мгновение ока нажать громадный политический капитал, засвидетельствовав по телевидению свою преданность народным массам, выступив защитником об-

шествия, не так ли? Но истина от этого не прояснится. Не тот случай. И потому я призываю отрешиться, пока не поздно, от политики, от соблазнов ее, да, отойти, если это нам удастся, от любимой нашей политики в какой бы то ни было ее форме, иначе мы не приблизимся к существу проблемы. Постижение истины требует мужества и реализма.

— А в чем же ваша истина и ваше мужество?! — выкрикнул кто-то из зала.

Уолтер Шермет удовлетворенно кивнул головой, вызывая еще заулыбался. Зал насторожился, примолк.

— Насчет мужества, — произнес с расстановкой Энтони Юнгер в наступившей тишине, — не мне судить, насколько я обладаю им. Но обратимся к делу. Вот перед нами на экране человек, совершивший великое научное открытие, беспрецедентное в истории, я бы даже так сказал. По душе оно нам или нет — это вопрос другой. Это наука. Брат Филофей — а для меня он отец, отец Филофей, — пытается раскрыть нам глаза на значение проблемы кассандро-эмбрионов для человечества. Еще один наш выдающийся современник, погибший сегодня от рук толпы, футуролог Роберт Борк, расценил открытие Филофея как новый шаг в эволюции человеческого духа. Он выступил в печати. И это явилось его последним словом, его заветом. Я не претендую на собственные оригинальные оценки и выводы, но я хотел бы сказать: мы не должны игнорировать проблему кассандро-эмбрионов исходя из своих сиюминутных интересов. Вот о чем идет речь. И теперь зададимся вопросом к себе и по понятным причинам к самому отцу Филофею. Как быть отныне человеку перед лицом ставших известными людям кассандро-эмбрионов?

— Мистер Юнгер, — раздался в рядах женский голос. — Простите, не очень ли вы энергичны в постановке вопроса? О каком лице, тем более эмбриональном, может идти речь? Вы желали профессиональных вопросов. Так вот, ответьте для прессы, для миллионов читателей и телезрителей, которых вы продолжаете ввергать в шок и отчаяние, хотелось бы услышать ясно и недвусмысленно: что вас понуждает навязать обществу эту роковую проблему, когда вас об этом никто не просит, ни одна душа?

— Вот именно просит, мадам. И не то что не одна, — просят души, не поддающиеся счету. Голоса зародившихся апеллируют к нам, просят всех нас услышать их и подумать не столько о них, сколько о нас самих; а мы избегаем отве-

та им и ответа себе, мы малодушничаем, тем более что отмахнуться от этих несчастных эмбрионов очень легко, пусть ценой самообмана, и в этом мы все повинны, включая и нас с вами, мадам, и предшествующие поколения наши. Эти голоса, повторяю, обращенные ко всем нам, нуждаются в том, чтобы их расслышали, распознали, интерпретировали, что и сумел сделать великий Филофей. Я вынужден говорить о его величии в его присутствии, вот он перед нами на экране, но другого выхода у меня нет. Да, он великий. Вот вы настаиваете, чтобы я объяснил, что, как вы выразились, понуждает нас навязывать обществу эту роковую проблему. Разве, скажем, Эйнштейн в принудительном порядке вынужден был открыть теорию относительности? Так же и Филофей — это ученый, это наука, это призвание, это дар провиденья, это опыты и открытия, это работа ума. Я так понимаю. Такому открытию нельзя сопротивляться, как нельзя сопротивляться выходу солнца из-за горы. Нам, людям, обществу надо определиться — вот о чем речь... Мы должны сказать себе... Человечеству отныне нужна новая стратегия жизни...

В этот момент Уолтер Шермет резко поднял трубку телефона, стоящего на столе перед ним, и коротко бросил кому-то:

— Коммутатор, вы готовы? — и, не кладя трубку, нервно обратился к Энтони Юнгеру: — Вы хотите услышать ответ международной общественности на вашу с Филофеем риторику? Вы хотите убедиться?

— Что вы имеете в виду?

— То, что наша пресс-конференция демонстрируется на площадях городов в разных концах мира. Ведется синхронный перевод. Так давайте сообщая все находящиеся здесь посмотрим, что происходит на планете, какова реакция масс на суждения монаха Филофея и его сторонников. Еще раз напоминаю — разные точки мира, разное время суток, разные языки. Итак, внимание! — скомандовал он в телефонную трубку. — Включайте центральный монитор. Итак, давайте нам для начала Тяньаньмэнь, посмотрим, что делается в Пекине, столице самого многонаселенного государства.

На большом экране, засветившемся в центре сцены, возникла многолюдная площадь Тяньаньмэнь с промелькнувшим на фасаде неизменным портретом Мао Цзэдуна с каменным выражением лица, в сером кителе вождя. Страшное столпотворение на площади под каменным взглядом Мао напоминало бушующий людской океан. Китайцы неистов-

ствовали и орала, как на пожаре. Комментатор сообщал, что такое на площади было только в 1989 году, при подавлении студенческих волнений. «Слушайте единый выкрик Тянь-аньмэня, — продолжал комментатор. — Цитирую: “Смерть Филофею! Сбить врага социализма ракетой!”»

Зал глядел на Филофея, на бледность, проступавшую на его лице, различимую даже с экрана, на застывшего в напрядении у микрофона Энтони Юнгера, на Уолтера Шермета, который давал команды:

— А теперь — Москву, Красную площадь! Внимание!

То же самое происходило и на Красной площади. Пред-рассветное время. Горели костры. И ревели толпы: «Смерть самозваному Филофею! Сбить провокатора ракетой!» И странно было заметить над этой возбужденной, гомонящей толпой несколько раз промелькнувшую на экране, на что все невольно обратили внимание, ночную птицу, очень похожую на сову. Птица эта, точно она была на невидимой привязи, дергалась, металась в сумраке над мавзолеем, над Кремлевской стеной и снова над толпами орущих людей.

Не теряя темпа, Уолтер Шермет давал новые команды на включение трансляции с других точек земного шара: Берлин, Варшава, Монреаль, Рио-де-Жанейро, и везде царила та же стихия, раздавались те же вопли и выкрики, и всюду выносился тот же приговор: «Смерть Филофею!», «Сбить мерзавца ракетой!»

— Достаточно! Я прошу выслушать меня! — раздался с левого экрана голос Филофея.

— Да, мы слушаем вас, брат Филофей, — живо откликнулся, опять же не без ужимки и наигранной раскованности, Уолтер Шермет. Лысина его победно блеснула, когда он произнес, приосанившись: — Что вы скажете теперь, увидев демократию в действии?

— То, что собирался сказать и до этого, — ответил Филофей. И ясно стало по выражению его лица, что он на грани, что он на что-то решился. — Я вам признателен, мистер Уолтер Шермет, за то, что вы устроили репортаж с разных концов мира. Сомневаться после этого никак не приходится. Картина абсолютно ясна — я потерпел полный провал! Моей задачей было обратить внимание человечества на возможность избежать катастрофы и, более того, на возможность нового витка в эволюции. Путь один — прислушаться к эсхатологическим сигналам кассандро-эмбрионов и сделать выводы о необходимости совершенствования общества

в целом и каждого из нас в частности. И вот результат — из моей попытки ничего не вышло. Отношение современников к моим призывам — в корне отрицательное. Признаю — я потерпел поражение. И нет нужды продолжать дискуссию. Все. Пора подводить черту.

— Брат Филофей, вот теперь вы учитываете объективную обстановку, об этом и идет речь: нужно успокоить людей, успокоить общественность, не так ли? — подсказал Уолтер Шермет.

— Да, получается так, — согласился Филофей. — И поскольку я виноват в неслыханной смуте, приведшей к гибели Роберта Борка, то мне и ответ держать перед Богом и перед людьми. И вот час тот пробил — час суда за содеянное. И я рад, что в этот роковой для меня час у меня есть возможность быть на глазах у людей и они могут убедиться в искренности моей исповеди.

— Брат Филофей, — встрял опять тот же Уолтер Шермет, понимая, что он на виду у всего мира и за каждое слово ему воздастся сторицей. — Брат Филофей, — повторил он, — мы не требуем лично от вас каких-либо действий. Эмоции масс, конечно, острые, но вы вынудили людей...

— Да, да, я понимаю, — ответил Филофей. — Спасибо на добром слове. Но поступок мой не из числа заурядных недоразумений. И я должен за него отвечать. Я сознавал, что или достигну цели, если мир воспримет мое открытие, мои идеи как новое самопостижение духа, или потерплю сокрушительное поражение и стану жертвой собственного открытия, погибну под его обломками. Иного не дано. Я знал, на что иду. И вот мое заключительное слово. Я далек был от какого-либо умысла причинить людям вред. Но на деле все обернулось по-иному. Замысел обернулся во зло. И все мы сейчас — бессильны перед ним. Однако я не отрекаюсь от самого открытия, от феномена кассандро-эмбрионов, от их эсхатологических предвестий; люди должны знать, что конец света — в беспрерывном накоплении зла в нас самих, в наших деяниях и мыслях, и это сказывается на генетическом коде человека, приближая кризис. И будет поздно, когда грянет гром...

Зал зашумел. Раздались возмущенные голоса. Один из присутствующих начал яростно кричать в микрофон:

— Прекратите угрозы! Я требую прекратить немедленно шантаж общества! И я заявляю во всеулышание — мы имеем дело с демоном, рассчитывающим на космическое дик-

таторство над человечеством. Да, да, диктаторам прошлого лишь мерещилось такое всеисилие, они лишь мечтали о всемирном господстве, тот же Гитлер, тот же Сталин. Те приходили и уходили в потоках крови. А этот рвется к мировому господству через шантаж из космоса. Сейчас он не доступен народному гневу. И, пользуясь этим, помыкает человечеством!

Энтони Юнгер не выдержал и тоже кинулся к микрофону:

— Мистер, я не знаю, кто вы, надо хотя бы представить-ся залу, прежде чем кричать в микрофон.

— Мое имя самое обычное — Смит, Джон Смит.

— Так вот, Джон Смит! Намеренно или нет, но вы извращаете суть дела. Никто не попирает вашу свободу и права. Вы вправе жить так, как вам заблагорассудится. Но ученый, совершивший открытие, величайшее научное открытие в истории человечества, не может и не должен только ради того, чтобы не лишать вас душевного комфорта, скрывать от общества результаты своих научных исследований. Можно заставить Филофея отречься от истины, от себя, но факт остается фактом — кассандро-эмбрионы существуют. Знак Кассандры отныне будет неизбежным сигналом о таящемся в нас зле. И мы не должны обманывать себя, не должны скрывать от себя реальное положение вещей. Напротив, я считаю, что мы должны — как бы это точнее сформулировать, — вот существует такое понятие в военном деле — вызывать огонь на себя...

— Послушайте! Как вы смеее предлагать подобное — вызывать огонь на себя?! На кого вызывать огонь? Получается — на женщин! — разнесся на весь зал женский вопль. — В вас говорит мужской эгоизм! Кто позволил мужчинам решать за женщин? Проклятый патриархат и здесь дает о себе знать! Я не хочу вызывать огонь на себя! Я не хочу, чтобы у меня на лбу выступил знак Кассандры, это гадость и позор!

— Извините! — раздался с экрана голос Филофея. — Извините, ради Бога, не хотел бы вас перебивать, но не могу не сказать, что знак Кассандры — не порок и не позор. Совсем нет. Я уже объяснял, что это реакция кассандро-эмбриона, предупреждающая нас о зле, накапливаемом в нас из поколения в поколение. Конец света таится в нас самих — вот о чем дает нам знать это тавро. Прошу вас, успокойтесь. И прошу всех, кто в эту минуту внимает мне, позвольте сказать последнее, прощальное слово. Все, что я увидел и услышал за последние сутки, говорит о том, что открытие

мое оказалось явно преждевременным, оно оказалось не понятым моими современниками. И поэтому я принял твердое решение исчезнуть, уйти из жизни, уйти с миром и добром, благо, я могу это сделать в космосе, никем не удерживаемый. И в эти последние минуты я хочу повиниться перед всеми, кто меня слышит, видит или узнает обо мне позднее. Я причинил вам страдания, хотя исходил из самых чистых побуждений. И вот мой конец. Я сейчас выйду в открытый космос и на том завершу свой жизненный путь. Это судьба. Я уже готов к этому шагу, мне остается лишь надеть шлем. Но перед тем как покинуть свою космическую обитель, куда я стремился, ведомый предначертаниями моего Пушкина: «Туда б, в заоблачную келью, в соседство Бога скрыться мне», — так вот перед этим последним шагом я хочу заверить всех, кто меня видит и слышит, что все оборудование, с помощью которого велось направленное облучение планеты зондаж-лучами, мною уничтожено, ликвидировано. Уничтожены расчеты и разработки, уничтожены все записи, связанные с исследованиями, все, что было связано с открытием феномена тавра Кассандры. Все это исчезает, уходит вместе со мной. Будьте впредь спокойны, всего этого как не было никогда. Возможно, человеческая мысль когда-нибудь вновь обратится к этим явлениям, но это будет уже после нас, это дело будущего. А пока все вернется на круги своя. Никаких следов. Единственное, что может попасться на глаза, если кто-нибудь будет осматривать после меня орбитальную станцию, — это мои записи о своей жизни, мемуары космического монаха о судьбе, о времени, о том, как и почему открылась мне тайна кассандро-эмбрионов. Это единственное, что я оставлю после себя. И если, сын мой Энтони Юнгер, тебе это придется по душе, я с радостью завещаю эти записи тебе.

Дорогой Энтони, прости, что обращаюсь к тебе как к сыну, но это зов души. И я благодарен судьбе, что могу прилюдно так обратиться к тебе. Жизнь моя сложилась так, что я остался бездетным, и вот напоследок, в последние секунды, я буду думать, что у меня есть духовный сын — Энтони Юнгер.

Зал примолк. И снова раздался голос Филофея:

— Простите меня, люди! Всего не скажешь на прощанье. Но об одном не могу умолчать уходя. Меня то и дело называли самозванным монахом, самозванным Филофеем. Да, это так. Никто не постригал меня в монашество, никто не наре-



кал меня Филофеем. Но ведь суть не в церковной процедуре, суть в истовости веры в идею. И я хочу быть в этом правильно понятым.

Час настал. Я прощаюсь с вами. Я прощаюсь с планетой нашей. Я ее вижу всю целиком на одном из экранов, целиком, плывущую во вселенском пространстве, на другом экране — отдельные укрупненные пейзажи, до мельчайших подробностей: деревья, травы, камни. И вот — что-то странное, что-то не совсем пока понятное, какое-то невысказанное зрелище. Вы и сами в этом убедитесь, если технически возможно транслировать изображение с орбитального монитора на земные. Смотрите, смотрите, вот экран рядом со мной, справа от меня. Смотрите, на нем море, это океанское побережье. Атлантическое! Смотрите, какие могучие волны катятся по мелководью на береговой откос, и вы видите, что происходит?! Вы видите китов?! Вот они, их целое стадо! Они выплывают из океана, как горы, и смотрите, о ужас, о наказание небес, киты с разгона выбрасываются на берег! Смотрите, что с ними? Почему они выбрасываются из воды?! Почему они решили покончить с собой?! Что это значит? Что заставляет их так поступать? Что-то неладное, что-то невыносимое гонит их на погибель! Или это совпадение последних помыслов наших? В один день и час! Кажется, я начинаю понимать, начинаю улавливать, что движет китами, обрекающими себя на смерть. Жаль, что не сумею глубже проникнуть в суть этого явления, нет уже времени, чтобы постичь эту потрясающую загадку жизни. Вот так же было с Робертом Борком. Я начал понимать глубину его мышления, прочтя его статью. Но за написанным таилось еще что-то, недосказанное. Я ждал, что мы откроемся друг другу и явится нам новое понимание Духа. Но не успели, не суждено оказалось. Так и с китами. Обладай они речью, сколько бы мы познали... Но мне уже поздно... Мне кажется, я слышу их. Киты зовут меня с собой. И я ухожу с китами... Я тоже кит, убивающий себя, выбрасываясь на берег. И последнее — обращаюсь к Роберту Борку. Я виновен перед тобой, и я иду к тебе вместе с китами... Прощайте...

Все, что последовало затем с неотвратимой наглядностью, подействовало на зрителей ошеломляюще. Филофей уходил из жизни на виду у всего мира, у всех, кто в тот момент находился у телеэкранов. Каждое движение космического монаха подтверждало его решимость. Все понимали — они присутствуют при публичном самоубийстве. И никто не

мог ни предотвратить того, что было Филофеем задумано, ни окликнуть его на пороге...

В зале воцарилась напряженнейшая тишина. Никто не шевельнулся, никто не подал голоса. Все взоры были пригвождены к экрану, на котором протекали последние мгновения жизни космического монаха. Энтони Юнгер вдруг понял, что свобода смерти есть исполинская трагедия духа, ничем не компенсируемая, ничем не измеримая. Тем временем Филофей надел на голову громоздкий космический шлем. Было видно, как он пристегнул его к вороту комбинезона. И с этой минуты выражение лица его стало неразличимо. Все было готово. Предстояло идти к выходу за борт. Филофей оглянулся, возможно, что-то сказал, но слов уже не было слышно. Прощально махнув рукой, он направился к люку, чтобы выбраться в открытый космос. Створки люка раздвинулись, и Филофей шагнул в пустоту.

Он шагнул в межзвездное пространство, очутившись один на один с бесконечностью, где не было ни верха, ни низа, ни сторон, ни горизонта, ни границ, ни измерений.

Он завис в парении и поплыл в никуда, все дальше и дальше от космического корабля...

## XI

Он плыл, зависая в невесомости, и вскоре исчез из поля зрения...

Киты, выбросившиеся на берег, издыхали на мелководье мучительно и страшно, тараща выпученные глаза. Их туши валялись в разных местах, как обуглившиеся от пожара горы.

И кружила Земля вокруг Солнца...

На другое утро все газеты мира выкрикнули в один голос на первых полосах: «Первый акт самоубийства в космосе!», «Космический монах Филофей освободил человечество от тяжких испытаний знаком Кассандры!», «Царство ему Небесное!» — и еще многое в этом же сенсационном духе пронеслось по газетам, телеэкранам и радиоканалам...

В «Трибюн» было опубликовано несколько экстренных строк от Энтони Юнгера: «Отцы мои, Филофей и Роберт Борк, проложили след, по которому я пойду дальше...»

Но были и злорадно торжествующие выкрики: «Самозваному монаху не требуется Вознесения в Небеси. Он уже в космосе кверху пупом!»

Среди прочих ошеломительных новостей снова, уже в который раз, появилось загадочное сообщение: «На Западном побережье Атлантики большое стадо китов выбросилось из океана на материк. Все животные погибли».

Еще одно сообщение, странное, нелепое, было перепечатано из российских газет: «Минувшей ночью на Красной площади неизвестным лицом была заброшена на мавзолей мертвая птица — сова. Взрывного устройства при ней не обнаружено».

Два дня спустя состоялись похороны Роберта Борка. На кладбище было покойно. Осень. Чистое небо. В минуты прощальной молитвы Энтони Юнгер глянул ввысь и подумал о том, что оба они, выбравшие путь истины, заняли предначертанные им места: один — в космических пространствах, в потоках бесконечности, другой — в недрах земли, в стгустке вечности...

И с ними Истина...

## ЭПИЛОГ

«Время у меня на бикфордовом шнуре. И я спешу набрать на компьютере свое прощальное письмо. И вот поразительно, мне выдалось напоследок: я вижу сейчас, как на Земле световой день сменяется заново рожденным днем. Вот оно наглядное течение вечности, вот она зримая нескончаемость Времени. Но для созерцающего с орбиты субъекта настал предел.

В масштабах Вселенной век человека — это век мухи. Но человек одарен мышлением, и это удлиняет его жизнь. Но бывает и наоборот — резко сокращает. Сколько раз я безотчетно наблюдал таинство смены дня и ночи, не предполагая, что сам же и поставлю для себя на этом последнюю точку. Потому что настал мой Судный день, конечный день в моей многогрешной жизни. И Судный день уйдет вместе со мной, как и все, что связано с жизнью любого человека. Я сам определил себе Судный день, и в том моя горькая привилегия и обреченность.

После того как я допишу строки, я выступлю, если удастся, на космической пресс-конференции. А потом я должен буду свести счеты с жизнью, покончить с собой. Таков мой приговор себе. Я разрушил самосознание общества. Я ненавидим миллионами людей. Я повинен в смерти Ро-

берта Борка. Я в тупике. Я должен исчезнуть, перестать существовать. Иного исхода нет.

И хотя говорят, что перед смертью не надышишься, мне требуется досказать, договорить напоследок. Казалось бы, не все ли равно всеми проклятому на Земле, что станет с опостылевшим миром? Казалось бы, трава не расти! Пусть все катится в тартарары! Но я и на пороге уготованной себе смерти не могу скрыть своей тревоги: что станет с людьми, как откликнется завтра в умах и душах людских история с тавром Кассандры? Ведь, что бы то ни было, истина, преданная анафеме, не перестает быть истиной. Сегодня отвергнутая проблема завтра возникнет вновь, и никуда от этого не деться.

Судный день мой настал. Он был неотвратим. Обратного пути мне нет. Я оставляю вам, люди, свою исповедь. Из нее вам откроется, кто я, назвавший себя впоследствии космическим монахом, откуда я родом, как прожил годы жизни, чем занимался, как далось мне роковое открытие тавра Кассандры...

Прощаясь, скажу еще. Самые неожиданные переживания и мысли посещали меня в космосе. Не знаю, чем это объяснить. Всякий раз, глядя из космоса на Землю в поволоке облаков, думал я восхищенно: Боже, какое великое творение Земля! Ведь и Солнце, наверно, существует ради Земли, населенной людьми, а иначе к чему все это? Мир надобен человеку — оттого он и есть, чтобы человек его осознал, оттого он и существует. А иначе к чему вся эта галактика, какой смысл? Да и сам Бог!! Он надобен человеку — оттого он и Бог, оттого он и есть! Но заслуживает ли человек этих мировых начал? Этого грандиозного мироустройства? Вот загадка Вселенной!

Ну, мне пора. Осталось совсем немного. Скоро я выброшусь, выпрыгну из станции в открытое пространство. Далеко от Земли. Очень далеко. И смолкну.

Простите меня.

Филофей»

Письмо Филофея и текст его Исповеди на русском языке были переданы с борта бывшей обители космического монаха в первые же дни после прибытия туда команды астронавтов. В оперативном донесении командира корабля сообщалось, что в памяти персонального компьютера сохранилось оставленное Филофеем завещание, где он, обраща-

ясь к будущему персоналу космической станции, просил передать хранившуюся в компьютере его Исповедь в распоряжение Энтони Юнгера. «Энтони Юнгер вправе поступить с моими записями так, как сочтет нужным».

Текст был озаглавлен: «О пережитом, с тобой и после».

И далее говорилось:

«Никогда не предполагал прежде, что окажусь на орбитальной станции в космосе. Сюда привела меня наука. Но никто не знает, что в космос я отправился не только с научными целями, что я изгнанник, сам себя изгнавший за пределы Земли, сам себя объявивший впоследствии космическим монахом. Наверное, мне можно было бы назваться и «невозвращенцем», как в былые времена называли себя те, кто по политическим или каким-либо другим причинам отказывался вернуться из-за границы на родину, в Советский Союз, и тем самым бросал на виду у всего мира вызов властям великой державы.

Но нет, пожалуй, тут случай другой. Я не изгнанник и не невозвращенец, это трудно объяснимый уход в себя, уход в себя через космос. Интеграция духа с космосом, если на то пошло, хотя это, может быть, звучит и высокопарно. Но пребывание в космосе оказалось логическим завершением всей моей жизни, высшей и конечной точкой моего развития. Должно быть, в этом была своя необходимость, изначальное предопределение, судьба. Трудно поверить, что такое может быть, но чего не бывает на свете...

А начиналась она, судьба моя, тоже не так, как у всех. Всю жизнь по этой причине старался я не затрагивать эту вечно отодвигаемую мною в тень тайну моего происхождения, точнее, рождения.

Я был подброшен младенцем, закутанным поверх одеяла в мешковину, на крыльцо детского дома. Отсюда моя фамилия — Крыльцов, которую мне придумали в детдоме. Назвали меня Андреем и отчество извлекли отсюда же — Андреевич. Крыльцов Андрей Андреевич. Произошло это печальное событие, как сказали мне, в конце 1942 года, в зимнее снежное раннее утро. Я то утро смутно помню, хотя никто, конечно, в это не поверит. Но что делать, я говорю так, как есть. А помню я жесткий скрип снега под ногами матери. Помню, как она быстро шла тем зимним утром. Помню, как она судорожно прижимала меня к груди, то и дело испуганно вздрагивая, и я слышал сквозь наши тела, как гулко и больно билось ее сердце. Она шумно дышала на ходу и все

время что-то приговаривала торопливо, что-то шептала мне, какие-то слова, едва не плача и силясь сдержать слезы. В тот час, когда она несла меня, чтобы оставить на крыльце детского дома, я видел сквозь щель одеяльца ее лицо, глаза с ресницами, запорошенными снегом, и сверху серое небо, падавшие хлопья снега. Снег кружил. И возможно, она шептала мне: «А ты заплачь, громко заплачь, чтобы тебя быстрее услышали!»

Когда она положила меня на крыльце, я не сразу понял, к чему это. Мне было холодно, я мерз, и я ждал, что она вернется и возьмет меня на руки. Но она стояла в стороне, спрятавшись за кустами в сугробе, и не подходила. И тогда я заплакал, и потом открылась дверь, кто-то подошел, поднял меня на руки и унес...

А почему я говорю о сугробе, — потому что это единственное, что мне рассказывали потом: мол, обнаружили следы матери в сугробах и больше никогда никаких следов...

Теперь я представляю, каково ей было там стоять, за кустами, и не подходить на зов своего брошенного дитяти... И часто снится мне один и тот же сон — вот иду я по глубоким сугробам, ищу ее следы, а следы уводят в темный лес, и жутко мне, холодно, снегом заносит. И кричу я: «Мама! Мама!» — и просыпаюсь...

Но что заставило мою мать в то страшное утро решиться на такой страшный поступок? Если бы знать! Кто был мой отец? Знала ли это она сама? И много еще подобных вопросов осталось для меня без ответа, загадкой на всю жизнь.

В детдоме никто со мной не заводил разговоров на эту тему, да и сам я не стремился, хотя подчас и хотелось поделиться с кем-нибудь своими переживаниями, но кроме того, что я помнил, как мать несла меня на руках в то снежное зимнее утро, сказать мне было нечего. Да и никто не поверил бы, что я что-то помню.

Была, однако, одна-единственная женщина на свете, которая почему-то склонна была выслушивать меня, не высказывая сомнений, — Валерия Валентиновна, или, как ее звали сослуживцы, Вава. Мы, дети, тоже звали ее Вава, тетя Вава, и в этом было нечто домашнее, родственное. И, конечно, тетя Вава была самой любимой нашей воспитательницей.

Наш детдом находился на окраине города Рузы, рядом с поселком Малеевка. Это примерно в ста километрах от Москвы. Детдом наш №157 был создан сразу же после отступления немецких войск из Подмосковья как приют для

осиротевших детей прифронтовой полосы. Так вот Вава в то время работала по соседству, в Доме творчества композиторов, расположенном в Рузе, в лесопарке. Это был по сути питомник советских композиторов. Здесь, живя на казенном коште, каждый в персональном коттедже, композиторы разных краев и республик сочиняли музыку века — торжественные кантаты и хоралы, прославляющие самого величайшего вождя всех времен и отца народов товарища Сталина... Сюда иногда приезжали высокие партийные деятели на первое прослушивание произведений, посвященных этому человеку, ставшему из сына сапожника повелителем XX века. Иногда здесь устраивались и шефские концерты, куда допускались и мы, детдомовцы. Тетя Вава была администратором Дома творчества, но, впрочем, она и сама была неплохим пианистом. И это привело ее после войны в наш детский дом в качестве музыкального руководителя.

С осени сорок первого и до весны сорок второго в Рузе и ее окрестностях стояли немецкие танковые войска. Я к этим событиям, понятно, никакого отношения не имел, но между временем моего рождения и моей судьбой подкидыша была, видимо, какая-то связь, во всяком случае, я знаю, что тетя Вава над этим задумывалась и в разговорах со мной, уже подростком, бывало, на это намекала. Она сама пережила почти полугодовую немецкую оккупацию в Рузе и многое помнила. Когда мы оставались с ней одни в музыкальной комнате, она учила меня нотной грамоте, но, случалось, разговор наш выходил за пределы музыкальных штудий.

Вава, Вава! Хотел бы я иметь такую мать, незаметно стареющую на глазах, родимую, близкую душу. И вот что интересно, у меня никогда не было рядом матери, а у Вавы не было детей. Трудно сказать, почему так сложилась жизнь этой женщины, что помешало ей иметь ребенка. Не одиночество ли ее было причиной того, что она так прикипела к детям-сиротам?

— Андрюша, — говорила она мне, — ты, конечно, страдаешь оттого, что ты оказался подкидышем. Я тебя понимаю. Как об этом не думать. Но от таких мыслей не становится легче. Попробуй посмотри на себя со стороны. И ты увидишь другое. Если я не ошибаюсь, Бог дал тебе, Андрюша, большие способности. Честное слово! Вспомнишь как-нибудь мои слова. У тебя светлая голова, ты очень одаренный малый. Вот взять даже музыку, из тебя мог бы получиться хороший музыкант. Но кем быть, это ты уж сам ре-

шишь. Музыкай можешь заниматься для себя, а людям слушать иными делами. Вот закончишь школу, пойдешь учиться дальше, сам будешь строить свою жизнь. И все дороги откроются перед тобой, Андрюша, с твоими-то дарованиями. И ничто тебе не помешает. Пусть ничего не известно о твоей матери, но ведь и кто твой отец, — тоже абсолютно не известно, и что именно толкнуло, что принудило твою мать отречься от собственного ребенка и исчезнуть, трудно сказать. Так вот, по-моему, ты не должен ее осуждать. Нет, нельзя ненавидеть мать, даже если она и виновата. Не сердись, если скажу: ты должен быть благодарен ей. Да! Тебе это кажется странным. Но подумай, Андрюша. Это от нее, от родителей твоих у тебя отличные способности, ты их перенял по наследству, получил от матери, от нее и через нее. Никто не знает, чего ей это стоило — бросить тебя. Раз уж она пошла на это, значит, иного выхода у нее не было. Это, наверно, была единственная возможность сохранить тебе жизнь. Почему, я не могу сказать. Не знаю. И никто не знает. Но то, что у матери твоей не было другого выхода, и только так могла она спасти тебя, в этом я убеждена. Да, риск был велик, но, как видишь, ты жив и здоров. Что-что, а детдом в нашей стране — не пустое дело. По себе можешь судить. И опять же от матери, через нее, ты и собою недурен, и ростом не обижен, и телом не слаб. Многое тебе дано от природы, значит, от матери. Мой тебе совет: исходи из этого, что другого выхода у твоей матери не было. Вырастешь, еще многое поймешь.

С годами я приходил к выводу, что Вава имела в виду какие-то исключительные обстоятельства, нечто не подлежащее открытому обсуждению. Трудно сказать, насколько она сама была в своих предположениях уверена. Через несколько лет, когда я учился уже в Москве, в университете, Вава умерла. И осталась со мной на всю жизнь одна нечаянная обмолвка Вавы, версия без каких-либо фактов, ее подтверждающих либо опровергающих.

Я учился уже в девятом классе, когда рядом с нами, в поселке Малеевка, случилось большое несчастье. Женщина и ее дочь семнадцати лет покончили с собой. Мать повесилась, и дочь сделала то же самое вслед за ней. Жили они одиноко. Мать работала уборщицей в композиторском Доме творчества, дочь училась, подрастала, но все знали, что родила эта женщина свою дочь спустя полгода после отступления немецких войск из Подмосковья, и ни для кого не



было секретом, что родила она дочку от немецкого солдата, то есть от захватчика, от оккупанта, от фашиста и тому подобное. Соседи не давали ей житья, в школе девочке не было просвета... В тот день, потрясенная трагическим событием, Вава как-то странно обмолвилась, сама, быть может, того не заметив, но я болезненно запомнил ее слова. «Не могу в себя прийти, Наталья, — говорила она одной из воспитательниц. — Какой ужас! Какая лютая смерть! Мать и дочь накладывают на себя руки... До чего можно довести людей! И подумать только, за что?! Да, война войной, у нее свой счет. Воюют, убивают. Но сколько же можно злом исходить, унижать, тыкать в глаза?! Ну, случилось, ну, родила она, бедная, на свое горе от немца. Хлебнула лиха. Но за что же ей так мстить, какая дикость! А девчонка при чем?! В конце концов, никто не выбирает себе отца, мать, у каждого — каких Бог послал. За что им не давали житья?! Да неужели лучше было бы, если бы бросила мать своего ребенка под дверь подкидышем, а сама бы исчезла с глаз долой, чтобы никогда о ней ни слуху ни духу, чтобы умереть заживо, чтобы провалиться, как в могилу, — только чтоб ее ребенок был, как все...»

С тех пор проклюнулась во мне мысль, как цыпленок из скорлупы в урочный час: а что, если и мой отец был как раз таким, что матери только и оставалось, что кинуть младенца под дверь и самой бежать поскорее прочь, навсегда, необратимо, навеки...

Я пытался представить себе, вообразить, как и при каких обстоятельствах могло случиться подобное. Всякое думалось, по-всякому гадалось. И было состояние пустоты, оторванности, брошенности. Должно быть, такое состояние испытывает человек, оставшийся за бортом корабля в море... Корабль исчезает, не откликаясь на зов, и никого вокруг, волны, море. И нет берегов... Но кто-то ведь скинул его в это море?! Кто?

Хотелось знать, хотелось ответить себе на этот вопрос, не пойму, для чего требовалось мне это знать, какой смысл был в этом. В самом деле, что бы это мне дало? Ничего. Но ужасно хотелось знать: если отцом моим действительно был немецкий солдат, то что с ним потом случилось? В голову вдруг приходила наивнейшая, нелепейшая мысль — а зачем ему надо было стать моим родителем, кто его просил об этом, кто просил его прошагать через всю Европу, чтобы зародить меня и кануть в неизвестность? Да, хочешь знать

свое происхождение, хочешь, но не можешь, но продолжаешь думать. Хотелось знать, куда подевалась родившая меня мать. Да, хотелось знать, что постигло того немецкого солдата, отца моего, остался ли он жив или сложил голову; а вдруг он жив, здоров, пребывает где-то в Германии и ведать не ведает, что есть на свете у него сын, подкинутый в сорок втором году на крыльцо детского дома... Так это я его сын. А ему и дела нет... А вдруг узнает каким-то чудом и заявится?! Скажет, а вот и я, а где мой сын? И что тогда? Как быть дальше? Но к чему все эти фантазии? Даже если все это действительно было так, ему-то, этому немцу, зачем вся эта история, забытая, как плевок, ему-то зачем терзаться?..

Вот такие дикие, несусветные мысли роились во мне. Но о чем бы ни думалось в этой связи, перекрестком судеб людских непременно выступала война. И обнаруживалась трагедия детей, зачатых войной, родители которых сгнули в разверзшейся пропасти жизни. Холодом, отчуждением, отторжением, ненавистью веяло из той пропасти. И возникало в душе моей чувство внутреннего противостояния всему «нормальнорожденному», в отличие от меня, миру, хотелось доказать им, благополучно явившимся на свет, свое бесспорное превосходство, хотелось, чтобы общество увидело во мне необыкновенную личность, увидело во мне гения и вынуждено было признать мою гениальность, хотелось всегда быть готовым на силу ответить силой, на зло ответить злом...

С этим попутным ветром и выходил я в большую жизнь. Я всегда помнил, что я один, сам по себе в этом мире. У меня не было ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер, ни теток, ни племянников, ни двоюродных, ни троюродных — никого. Я был как бы свалившимся с луны. Возможно, это и помогло... Да, я сделал блестящую научную карьеру, я всецело посвятил себя науке, что позволило совершить гениальные — не буду скромничать — открытия на избранном мною поприще. Да, это так! Я служил науке, а наука служила мне, моей известности, моим амбициям, моему положению, моему конформизму...

И все это обернулось в итоге той судьбой, что привела меня в космос, на орбитальную станцию, где я самочинно объявил себя космическим монахом. Это стало, как ни парадоксально, моим безысходным апогеем. Не будет мне места на земле, я это понял...

И только здесь, в космосе, я понял, что судьба предоставила мне уникальную возможность открыто описать прожитое и пережитое, приведшее к бегству в космос. И я сказал себе: ты обязан бестрепетно осознать все, что было, признаться во всем себе и другим. В этом суть исповеди — ни малейшей пощады себе. Сказать все, до конца.

А ведь начиналась вся эта история, казалось бы, с совсем малого — с семинара в медицинском институте, где я увлекся изучением чуда зачатия и таинства явления человека на свет, возможно, опять же движимый в подсознании комплексом подкидыша, хотя в повседневности я никогда ни с кем не обсуждал эту болезную для меня тему и, следует подчеркнуть, в окружении моем тоже никогда не возникало подобных разговоров.

Думаю, что для работающих со мной я был важен прежде всего как научный руководитель, как жесткий шеф, как непререкаемый авторитет, пользующийся неизменной поддержкой верхов. И что греха таить, я не чужд был того, что является, на мой взгляд, треклятой загадкой людского рода, не чужд был тщеславия и властолюбия. Я все время стремился утвердиться в своих и чужих глазах, укрепить свой авторитет. И когда за спиной моей шептались: «Наш гендик», — это вовсе не означало «наш генеральный диктатор». И меня это нисколько не смущало, напротив. Это трудно объяснить, но ненасытная, неутолимая жажда власти — действительно одна из непостижимых загадок человечества, и я тоже жаждал повелевать, требовал дисциплины, требовал беспрекословного подчинения от сотрудников своей «закрытой» лаборатории, а затем, став директором, и института; талант и дисциплина — такова была моя установка при подборе кадров.

И благодаря этому к тому времени, когда я оказался в центре внимания как экспериментатор, как дерзкий зачинатель нового, неожиданного направления в биологии, я был уже величиной не только в науке, но и пользовался авторитетом как организатор, руководитель. Да, моя карьера складывалась весьма удачно, как потом я понял, не без содействия заинтересованных инстанций, но это разговор особый; я же, вдохновленный успехами, летел над полем науки, подобно шмелю, вырвавшемуся, накопив силы, в яростный полет; я летел от открытия к открытию, оглушая себя гулом

не ведомых прежде никому замыслов, готовый потеснить на этой ниве едва ли не самого автора технологии вечности — самого Всевышнего. Ведь я самолично решал, пусть в пределах научных экспериментов, кому родиться на свет Божий, как родиться, от каких родителей, независимо от того, желали ли бы они того или нет, если бы знали, что я могу сотворить из их семени...

Неудивительно, что теперь я говорю себе: отсюда и сомнение твое! Что и говорить, я был поистине оглушен умением управлять зачатием и рождением человека.

Впервые мысль о возможности выведения анонимно рождаемых людей путем искусственного оплодотворения возникла по аналогии с искусственным осеменением сельскохозяйственных животных. Там, в зоотехнике, это всегда было актуальной проблемой. Человек изменял породу животных в соответствии со своими хозяйственными интересами.

Как далеко ушла от этого экспериментальная биология, занявшись проблемами искусственного выведения человека, и не просто в целях научного познания, а с тем, чтобы управлять, а вернее, манипулировать человеческим рождением!..

Да, теперь я пытаюсь осознать, как могло случиться, что я вылетел в самооглушении из темного дулла науки, которой все безразлично, кроме собственной сути, но тогда я не думал, не подозревал, насколько безотчетно предаюсь этим опасным для рода людского занятиям, далеко выходящим за пределы нравственности. Для меня, тогда молодого ученого, существовал единственный критерий — научный приоритет. И ради торжества науки я вторгался туда, куда до меня не отважился ступить никто из предшественников, в зону, запретную для всех религий; я вызывающе бил ногою в дверь, на пороге которой следовало склониться перед Богом.

Вот куда тебя заносило! И, когда однажды тебя вызвали в партком института и очень уважительно, доброжелательно, и даже подобострастно извиняясь, поставили в известность, что твои труды отныне считаются секретными, что публикации о твоих ценных исследованиях не должны появляться в открытой печати, тем более за рубежом, ты и тогда не придал этому значения. А ведь это был первый ощуп твоей души. Будущие заказчики формировали из тебя нужного им исполнителя. Для тебя же важно было другое — «делать дело, двигать науку вперед».

Признаться, ты был Мефистофелем биологической преисподней. Холодный ум, аналитическая проницатель-

ность — вот те качества ученого, которые ты ставил выше всего. Ты не искал оправданий своей роли и не пытался разобраться — что побуждало тебя прилагать столько неукротимой энергии на этом окаянном пути. Кто же мог знать, что подкидыш желал быть прежде всего непревзойденным никем, гением века?! Занятый всецело научными проблемами, ты незаметно для себя оказался по ту сторону добра и зла, не дал себе труда вникнуть в извечные терзания людей, творцов и пленников своих же заповедей. Ты ими пренебрег, мытарствуя в веках в поисках смысла жизни, тебе было не до того. А высказывание великого философа Лосева, соотечественника твоего, твоего современника, который, размышляя о роли науки в истории человечества, обронил как бы специально для тебя актуальную мысль, ты удосужился отодвинуть от себя подальше. Лосев же, между прочим, писал по поводу нигилизма новоевропейского учения о бесконечном прогрессе общества и культуры, что, согласно европейской парадигме, ни одна эпоха не имеет смысла сама по себе, а лишь как подготовка и удобрение для другой эпохи, и каждая следующая эпоха тоже не имеет смысла сама по себе, а и она тоже — навоз и почва для грядущей эпохи, а равно и всех возможных эпох; цель же постоянно и неизбежно отодвигается все дальше и дальше, в бесконечные времена, неизменно оправдывая тем самым провозглашателей всех новых эдемов. Ты истолковал эту глубокую мысль Лосева в соответствии со своим стремлением обеспечить себе свободу рук, переложить собственную ответственность на потомков. Ты убедил себя, что твоя миссия — «двигать науку», совершать открытия, а как быть с их результатами, пусть решают другие. Твое дело — вырастить плод в инкубаторской матке, а что станет с искусственно выведенными людьми, тебя не касается.

В современном обиходе получила распространение блестящая по своему цинизму фраза: «Это ваши проблемы». А ты уже тогда придерживался этого принципа, отвечал своим оппонентам о судьбе искусственно зачатых: пусть это беспокоит их самих, следует оставить им самим их личные проблемы. Рожденным, с точки зрения социального положения, в равных с другими условиях, им, икс-зачатым, предстояло самим думать о себе, как и всем прочим. К науке как таковой все это, считал ты, не имеет прямого отношения. Все, что было за пределами технологии искусственного деторождения, тебя не волновало.

Да, ты был таким. Возможно, в своей научной области ты и в самом деле был гением, способным совершать мировые открытия и прогнозировать дальнейшее развитие науки. Но все твои поступки направлял все тот же подкидывш. Ты не признавался себе в этом, но именно подкидывш, некогда брошенный на крыльце, постоянно порывался доказать миру, что он может невозможное — он может повелевать рождением людей, заранее запрограммированных. Ты вершил эти судьбы в своей лаборатории, ты совершал то, что не осмеливался и не умел никто другой, — ты производил искусственно конструируемых людей по своему умыслу и рабочему графику, ты был одержим, ты упивался своей незримой властью над людьми.

И на всякий случай ты находил себе оправдание в том, что переживал и постигал в геополитических масштабах весь мир — в предошущении апокалипсиса XX века. Ведь никто не останавливал на скаку коня науки перед жуткой бездной термоядерных открытий, никто из ученых, действовавших в той области, не повернул вспять, не наступил себе на горло, чтобы не вторгаться в те смертоносные основы мироздания, обнажение которых несло глобальную угрозу бытию. Наука бесстрастно балансировала между гениальностью открытий и преступностью действий, увенчивая всемирной славой безымянных по стратегическим соображениям, но со временем объявлявшихся отцов атомных бомб, страдавших, чем ближе к концу жизни, тем больше, — как бы не остаться в безвестности. И их наука двигалась. Ведь ученым мужам важно было проникнуть в недра атома, не оглядываясь и невзирая ни на что, важно было поскорее завладеть той дьявольской силой, которая, вопреки физическому ничтожеству человеческих существ, давала им возможность претендовать на вселенское всемогущество. А что касается смертельной опасности, проистекающей из фанатизма этих научных идей, что касается неизбежных последствий открытий ядерщиков, то эти тяготы оставлялись на долю потомков. Это им предстояло маяться за одержимые открытия отцов, это им предстояло думать и решать, как быть, как дальше трансформировать материю для своего потребления. И все пока обходилось... На это ты и уповал...

Да, ты был твердо убежден: ученый не несет ответственности за результаты своих исследований так же, как приро-

да не несет никакой ответственности перед человеком. И ничто не могло тебя смутить, ничто не в силах было пошатнуть твою мессианскую уверенность в собственном предназначении.

Да, ты был восходящей звездой в том зазеркальном, сокрытом от взоров научном мире. И даже после того, как твоя жена Евгения покинула тебя в одночасье и бросилась прочь, как от чумы, укатила скитаться по областным театрам, на подмостках которых ей доставались разве что страдальческие старушечьи роли, так быстро она состарилась вдруг после всего, что ей пришлось узнать и пережить с тобой, даже после ее бегства ты не осекся, не содрогнулся, не глянул вокруг себя, не кинулся ей вдогонку, а самое главное, не пытался критически осмыслить то, что оказалось столь ужасным в ее глазах. Евгения не сразу вникла в смысл твоих изысканий, не сразу представила себе, в чем суть твоих экспериментов. Она была далека от научных интересов, жила в иной стихии — стихии искусства, но она была близка тебе, и ты прожил с ней многие годы, она проявляла терпимость к тому, что ты интересовался только работой, и даже к тому, что ты сам постоянно делал ей аборт, о чем впоследствии горько жалел, понимая, что рубил сук своей семейной жизни, вызывая неизбежное отвращение к себе нормальной женщины, все это не остановило тебя, ты не задумался, не попытался ответить себе — так ли ты уж прав, не считаешь в своем фанатическом увлечении наукой с чувствами и помыслами других, и прежде всего любящей тебя жены? Когда Евгения узнала, чем ты занимаешься, к чему с годами пришел и какие цели преследуешь при этом, она плакала перед тобой на коленях, умоляла бросить все, уехать куда-нибудь подальше от Москвы, куда-нибудь на Дальний Восток, где полно работы в научных центрах, где профессура высоко чтится и не хуже, чем в Москве, оплачивается, где и она сама нашла бы свое место в тамошней театральной среде, умоляла тебя начать новую жизнь, завести, наконец, детей, но ты не поддался на уговоры жены, на тебя не подействовал ее, как ты считал, наивный ужас перед твоими экспериментами, ее сантименты, ты не пожелал расстаться с вверенным тебе делом. И сколько бы ты потом ни сожалел, сколько бы ни каялся, было поздно... Жизнь уходит с кругов на иные круги...

Твое тщеславие не знало уема. Евгения уехала-таки, но тебе казалось — что уж так сокрушаться, найдешь себе дру-

гую, вот поосвободишься немного от дел, присмотришься — вокруг столько женщин — и, несомненно, сможешь выбрать себе по вкусу и, самое главное, морально не закомплексованную, без ненужных сомнений в нравственности дела, которым ты занят. И приведешь эту женщину в свой академический особняк на «феодалном» бульваре для избранных, рядом с такими же особняками атомщиков. Но всего этого не произошло, хотя казалось вполне возможным и доступным. И не до того тебе было, потому как надвинулись новые события, они-то и определили всю твою последующую жизнь и все то, что вынудило тебя удалиться в космос, на орбитальную станцию, и объявить себя космическим монахом.

К тому времени ты был достаточно известной личностью в академических кругах и уже пользовался особым вниманием курирующих науку политических органов. Надо быть справедливым, в этом смысле ЦК КПСС оказался на должном уровне. Насколько это так, ты мог убедиться на собственном опыте не раз и не два. Благодаря покровительству ЦК — легко, почти без хлопот и «пробиваний» твоему институту, и прежде всего твоей знаменитой лаборатории, предоставлялись любые фонды и привилегии. О, как быстро привыкает человек к милости верхов, к дворцовой приветливости, к барской отзывчивости. Всегда ли так было в мире и всегда ли так будет, спрашиваешь ты теперь себя. За примером не надо бежать далеко. Президент Академии наук, ведущий атомщик, по телефону и в личных беседах не забывал напомнить: «Андрей Андреевич, ради бога, ни в чем не ограничивайте себя. Работайте уверенно, страна готова обеспечить вашу программу всем необходимым. Все, что потребуется, — импортное оборудование, препараты, жилье для сотрудников, транспорт, короче говоря, все, что требуется, — просите, не стесняйтесь. Вы делаете архиважную работу...»

Тебе становилось не по себе от таких комплиментов якобы от имени всей страны, простиравшейся на полмира, от этой щедрости; тебя коробило от того, что сугубо научные эксперименты все больше привлекают функционеров, закруживших вдруг, как хищные пернатые, но ты отмалчивался, нет, ты не лебезил в припадке благодарности, но ты и не возражал, и не пытался сказать, что не следует рассматри-



вать тебя как безотказного исполнителя некоего сенсационного проекта, показавшегося столь привлекательным высшему руководству. Да, надо было своевременно остановить себя, надо было, как потом стало ясно, не давать оснований для уверенности в твоей несомненной лояльности... Но ты был то ли слаб, то ли беспринципен, то ли не чужд в душе карьеризма, стремления к липкой близости к власти предрезающим. И не потому ли оказалось само собой разумеющимся, что именно тебе предложили возглавить научную программу, весьма двусмысленную по замыслу. Именовалась она «Эмбриональная регуляция полов», но основной целью ее была разработка метода выведения анонимно рождаемых индивидов.

Такого еще не бывало на свете. И ты оказался причастен к этому, как разбойник, выбегающий наперерез движению естества. Выведение «иксродов», то есть анонимно производимых людей — рождаемых анонимной женщиной от анонимных родителей, — оказалось главной задачей твоей засекреченной лаборатории.

Термин «иксрод» — не твое изобретение, его придумали хваткие на всякого рода аббревиатуры партийные кураторы науки — вскоре стал своеобразным паролем, едва ли не революционным, ибо целью лабораторного выведения иксродов было формирование совершенно нового типа человека, будущего рыцаря идеологии. Иксроды должны были стать беззаветными революционерами XXI века. Именно это имелось в виду. В этом партийной верхушке виделся новый способ оживления и реставрации издыхающей мировой коммунистической идеологии. И, признайся, ухо твое вскоре стало привыкать к неологизму «иксрод», а душа — к делу, которым ты занимался, ты сумел-таки уверить себя, что твои эксперименты — это только наука, а что из них следует — не твоя проблема.

Стоп! Не спеши. Здесь надо расставить все точки над «i». Да, понятно, термин «иксрод» предложила инстанция, имея в виду далеко ведущую программу выведения нового типа человека. Но ведь в самом начале, при первом упоминании и стратегических целях программы, ты не возразил, не отказался, не пытался отмежеваться. И тебя мало смущало, что тебя величали новым Дарвином и что эта неслыханная в истории цивилизации программа вытекала из твоих теоретических и практических разработок, из твоих на этот счет прогнозов.

И было как бы совершенно естественно, что в ответ на предложение быть научным руководителем программы по выведению иксродов ты не согласился тотчас же, ты обещал подумать, но — не отказался! Да и следовало ли, да и возможно ли было отказываться? Ведь один в поле не воин. К тому времени ты уже был, можно сказать, официально ангажирован в той степени, когда категорическое отрицание чего-либо, исходящего от власть предержащих, почти исключается.

И это подтвердилось. В тот же день, когда ты в ответ на предложение президента Академии наук обещал подумать, ты был приглашен на Старую площадь, к члену Политбюро и секретарю ЦК КПСС по идеологическим вопросам и международному коммунистическому движению Конюханову Вадиму Петровичу.

На Старую площадь ты подъезжал почти привычно, не так часто, но все же несколько раз в году ты бывал здесь по разным поводам. И на этот раз ты подкатывал на своей директорской черной «Волге», поглядывая по сторонам на пробегающие машины, на толпы прохожих на московских улицах. Если бы они знали, куда и зачем ты следовал, то ничего дикого не было бы в том, если бы они перегородили улицу живой цепью и разбили бы вдребезги твою машину, и забили бы тебя камнями, Бог простил бы им эту лютовость.

Как всегда, послеполуденная Москва была переполнена людьми, особенно в центре города. Сознали они или нет, но, пожалуй, все проблемы бытия воплощались для них в тот час в поисках чего-то, в неисчислимых замыслах что-то достать, обрести и нескончаемых действиях в этой связи. Но абсолютно никому из них ни на секунду не могла прийти в голову мысль о том, что кто-то неподалеку задумал некое дело как совокупный вызов Природе, Истории, Богу, людям, всем, вместе взятым, после чего мир станет иным, как бы заново пересотворенным. А тот человек, который потенциально мог осуществить этот замысел, между прочим, катил мимо них в роскошном автомобиле, и никто из них в тот час, естественно, не догадывался, что этот человек работает на то, чтобы настало время, когда архаизмом станут понятия семьи, родословной, генетической преемственности поколений, что любой может в результате оказаться началом и концом — без малейшего представления о тех, от кого он

произошел и кого он породил. Эти функции взамен семьи надлежало нести Государству-Отцу...

Ну нет, конечно, то была не твоя личная глобальная программа. Идеологическое озарение посетило не тебя, а других, пусть даже так, но именно ты послужил тому, твоя наука послужила, твои эксперименты натолкнули черные силы тоталитарного государства на идею использовать их в своих целях. Об этом ты говоришь теперь, после всего, что произошло. Но и тогда ты смутно догадывался о том, какие практические выводы можно сделать из твоих открытий, однако считал, что тебя это непосредственно не касается, и старался не думать об этом напрямую, не рефлексировать. Оказалось, однако, что существует грандиозный замысел, что это далеко не утопия, что то, чем ты занимаешься, уже не только научные игры поощряемого властями экспериментатора. Ты понял это по прибытии в ЦК.

В этот раз у входа в проходной тебя встретил секретарь Конюханова и повез персональным лифтом, минуя все контрольные посты, на седьмой этаж. Конюханов уже ждал тебя. Он сам открыл двери и пригласил тебя в кабинет.

— Андрей Андреевич, рад вас видеть! — живо поблескивая взором через очки, приветствовал он тебя. Ничего наигранного в его радушии не было. — Заходите. Не так уж часто мы с вами видимся. Так давайте уж поговорим немного, отведем душу. Жду вас, для этого отложил сегодня нашу повседневную текучку, будь она неладна. Да, вы правы, надо бы почаще общаться, Андрей Андреевич. Но на все требуется время, время, время! Заходите! — И предупредил секретаря: — Никаких звонков. Меня — нет.

Следовало понимать, что данной их встрече придавалось какое-то исключительное значение. В общем, так оно и оказалось.

Конюханов умел вести себя, умел располагать к себе собеседника. Был учтив, вдумчиво слушал, продуманно говорил. Корректно был одет: строгий костюм, галстук под цвет, хорошая обувь. Должно быть, не переедал, не перепивал, держал себя в форме. Необыкновенно прозрачные очки очень подходили к его продолговатому аскетичному лицу. «Приклеить бы козлиную бородку, можно самого Дзержинского играть!» — почему-то подумалось тебе.

Мнение об этом секретаре ЦК бытовало вовсе не дурное, напротив, многие хорошо отзывались о нем как о широко мыслящем человеке. Среди членов Политбюро он был од-

ним из самых молодых, ему было под пятьдесят, и считался наиболее работоспособным. Карьеру делал на дипломатическом поприще, весьма продуманно и целеустремленно — в странах, для нас политически особо приоритетных: был советником, а затем послом в Северной Корее, Вьетнаме, на Кубе и в Китае, заслуги его были высоко оценены, и вот отсюда, с той горячей линии, его и выдвинули, причем, по общему мнению, вполне заслуженно и справедливо. А дальше, буквально перед самым отбытием на международный олимп, — Постоянным представителем в ООН, Конюханов вдруг был передвинут в партийные органы, в их высший эшелон, и с тех пор ведал всей идеологической и внешнеполитической работой в сфере международных коммунистических движений.

Вот то, что ты знал о Конюханове, и вот представился случай, когда ты увидел его в несколько ином ракурсе.

После общих фраз он заметил для начала разговора:

— Андрей Андреевич, начну издаലെка. Понимаете ли, если я скажу, что история человечества свершается в одночасье, в то мгновение, когда, допустим, кому-то пришла в голову некая молниеносная мысль, как говорят в таких случаях, в одно прекрасное мгновение, пожалуй, это будет чересчур. Известное дело — в жизни все до поры до времени развивается эволюционно. Но иногда вдруг возникает, так сказать, революционная ситуация, возникает коллизия, когда некая мысль, некая идея действительно способна враз перевернуть мир. И сейчас как раз такой момент. Только ради бога, не подумайте, что источник этой идеи — моя скромная персона. Я всего лишь попутная птица.

— В таком случае я какая птица? — не удержался ты, пытаюсь понять, к чему ведет собеседник.

— Немножко терпения. Это всего лишь присказка. А иначе не подойти к существу дела. Так вот, продолжу присказку. То, что я имею в виду, — исторический шаг, носящий революционный характер. В нем искорка от Французской, пламя от нашей, Октябрьской, так я полагаю. Это результат абсолютной свободы мышления, полного разрыва со стереотипами, но это именно то, что имел в виду еще Платон, — воздействие идеи на материю и преобразование материи в социально-политический идеал. Я понимаю, Андрей Андреевич, вы сейчас, пожалуй, в полном недоумении, к чему я все это, что за лекция? Но извините, вопрос имеет к вам, к вашей науке прямое отношение. Да, да! Не удивляйтесь!

Ты сидел с ним за большим столом, предназначенным для групповых совещаний. Секретарша принесла чай в тонких стаканах, вставленных в причудливо-узорчатые подставки. Ты понимал, что приглашен сюда по очень важному делу, по особо важному, иначе зачем все это, зачем столь пространное вступление к разговору. И ты пытался уловить, в чем Центральный Комитет партии увидел практический смысл твоих более чем специфических научных экспериментов. И постепенно картина вырисовывалась, поражая тебя масштабом, настораживая и в то же время захватывая своей дерзостью.

— Ну так вот, Андрей Андреевич, к чему, собственно,веду я наш разговор, — продолжил Конюханов. Он задумчиво придавил окуроч в хрустальной пепельнице и вскинул голову. — Пожалуй, я излишне усложняю, — усмехнулся он. — Привык к разного рода преамбулам. А мы с вами люди свои, Андрей Андреевич. Свои. И потому буду предельно откровенным и, насколько удастся, кратким. Вот это для меня тяжело. Но... Первое, что во главе угла, — партия верит вам, Андрей Андреевич. Верит. И задача, которую выдвигает перед нами история, — наша общая. Да, понимаю, наука и политика — вещи разные, но классовый подход неизбежен во всем и всюду. На том мы, марксисты-ленинцы, стоим, и в этом, бесспорно, наше историческое преимущество. Вот в данном случае ваши открытия, открытия, если можно так выразиться, рукотворной биологии, — ведь это далеко идущее вторжение в природу человека, собственно, это реконструкция человеческой личности — ее происхождения, места и роли в обществе, а в дальнейшем и возможность реконструкции всего человечества по матрице искусственно рождаемых. Как говорится, лиха беда начало. Вот куда поехала телега XX века!

Не мне вам объяснять, но в этом смысле я вполне согласен с оценкой нашего Отдела науки — такого не было со времен творения. В вашем лице наука достигла прямо-таки невиданного могущества. Как говорится — честь вам и слава! Неуловимая стихия зачатия и рождения становится управляемым делом. Вот и возникла мысль: а что, если попытаться внедрить это в массовом порядке? Это же революция, которой пока нет названия, настоящая революция в воспроизводстве человека как вида! А раз так, раз этот процесс управляем и контролируем и представляет собой новый фактор общественной жизни, новый рычаг истории, то, согла-

ситесь, — это уже дело политики. И здесь мы с вами встречаемся, Андрей Андреевич, уже как партнеры. Мы исходим из того, что партия не должна оставаться в стороне, эдаким любопытствующим наблюдателем, а напротив, не упуская времени, должна стать во главе этого процесса, направить его в соответствующее русло в целях и интересах нашего общества, нашей идеологии. Извините ради бога, Андрей Андреевич, я неисправимо многословен. Ну, вы понимаете, о чем речь. Вы все понимаете загодя, вы — гениальный человек. И вот что я еще добавлю. Нам нельзя забывать, чего бы это ни касалось — от открытий в космосе до открытий в экспериментальной биологии, — нам нельзя забывать нашей конечной цели, нашей всемирно-исторической роли. Вот что главное. К сожалению, определенные ревизионистские настроения бытуют даже у нас в ЦК, аппаратных кругах. Мне от вас нечего скрывать, мы — свои. Некоторые товарищи хотят легко и удобно жить при социализме в отдельно взятой стране, забывая, что мы должны думать о трудящихся всех стран! В соревновании с капитализмом мы должны победить. И пусть лозунг мировой революции сейчас впрямую не провозглашается, коммунизм победит на планете! Это — наша цель, и приближать ее мы должны всеми возможными путями, всеми средствами. В том числе и используя новейшие достижения науки. Поглощенный своими научными экспериментами, вы вряд ли подозреваете, Андрей Андреевич, что ваши уникальные достижения в экспериментальной биологии предвещают нечто глобальное в масштабах человеческого бытия. Да, да! Я это всерьез. На первый взгляд это трудно себе представить — ведь началом всему выступает всего-навсего лабораторно зачатый эмбрион, плод, возникший, так сказать, в пробирке. Но все дело в том, что рождающийся в результате этого человек — назовем его иксрод — личность анонимная, это ничейный, искусственно выведенный субъект, я так понимаю. Почему я пытаюсь объяснить хорошо вам известное? Дело в том, что для вас это предмет захватывающих лабораторных экспериментов, а для нас иксрод — новый тип человека. И, по нашим прогнозам, именно иксроду предстоит перевернуть старый мир во избавление от него трудящихся классов! Вот в этом вся соль. Именно он, иксрод, может стать со временем главной действующей фигурой в историческом процессе!

Я говорю об этом, может показаться, со слишком большим энтузиазмом. Не без того. И есть почему. Ведь фено-

мен иксродов удивительно многообещающ в политическом плане. Это будет именно та пробивная сила, которая, в отличие от нас, без оглядки, без страха и сомнений будет бороться за победу коммунизма во всем мире. Семья и прочие родственные отношения как архаичные институты старого мира насилия будут сброшены на свалку истории именно иксродами. Иксроды как носители небывалой свободы личности и духа будут прокладывать путь к новой эре человечества, давно предвиденной нашим революционным учением. Иксрод в перспективе не только ликвидатор старого, отжившего, но и создатель нового мира. Не сомневаюсь, великие люди, гении в иксродовой среде будут появляться гораздо чаще, чем в обычной, архаичной. Сами понимаете — тут полная свобода от семейных и прочих рутинных уз и забот. Дети производятся искусственно, обезличенно и соответственно воспитываются. Кстати сказать, некоторые товарищи в Отделе предлагают называть анонимно рожденных «сбаки-тами» — так называют кусок ценной породы неизвестного происхождения, но мне кажется, «иксрод» — лучше, точнее.

Пока мы лишь теоретизируем, лишь рассуждаем на интересующую нас тему, прогнозируем, что несет с собой это неслыханное явление новочеловека, но прогнозировать необходимо. Нельзя сидеть сложа руки, когда современная цивилизация гонит одну за другой новые волны и событий, и проблем. История нам этого бы не простила. И я хочу сказать в этой связи, что будущее во многом будет зависеть от того, кто сумеет захватить приоритет в глобальной борьбе миров. Победителем станет тот, кто широко раскроет двери в обществе новолюдям — иксродам, явное преимущество которых в том, что эти анонимно рожденные существа будут абсолютно свободными от семьи, от всевозможных родственных и клановых уз, от патриархальных и прочих связей, что повлечет за собой избавление от векового груза устаревшей этики. В политическом аспекте — это неосценимый выигрыш. Иксроды станут эталоном коллективизма и интернационализма. Они станут ударной силой коммунистического интернационала, и именно они нанесут Западу решающий политический удар!

Все это, как вы сами понимаете, в перспективе, однако общая концепция должна быть проработана и должна быть задействована. И партия глубоко заинтересована в том, чтобы такой ученый, как вы, Андрей Андреевич, разделял нашу позицию по данному вопросу. Вот в чем, собственно,

смысл нашей встречи. И я полагаю, что мы находим общий язык. Ведь на практике от вас, Андрей Андреевич, зависит главное, вы — творец технологии производства иксродов. А мы уж постольку-поскольку: идеология — это ветер в паруса, мощный ветер движения, но не паруса... Не так ли? Кстати, и компетентные органы проявляют большой интерес к вашей работе, у них есть на этот счет конкретные предложения.

Разговор еще продолжался. Ошеломленный услышанным из уст самого секретаря ЦК, пытался скрыть в себе то, что терзало и мучило меня в тот час. Я не привожу здесь своих замечаний и реплик по ходу беседы, они не столь существенны в том смысле, что не содержали в себе чего-либо отличного от позиции ЦК или, допустим, оспаривающего мнение Конюханова, в лучшем случае мои высказывания можно было бы принять за осторожные сомнения собеседника.

В чем же дело, почему я теперь вспоминаю об этой беседе с ужасом?! И теперь, уже в космосе, задним числом восклицаю: что затевалось-то, что задумывалось вокруг иксродов, к чему изготовлялись?! Пытаясь объективно воспроизвести ту памятную встречу, я излагаю все, как было, и в отношении себя, как я выглядел в тот час. Мое поведение, разумеется, не делает мне чести. Но тогда, на Старой площади, вряд ли я мог повести себя иначе, — это не в оправдание, я не герой и не хочу им быть, но честно скажу, вряд ли я мог повести себя иначе, не рискуя в перспективе тем, чтобы быть ущемленным, постепенно отстраненным от разработки своей главной темы, которую захватят мои же сотрудники, верные оруженосцы партии, — таких примеров в Академии наук было сколько угодно. Утрата руководящего положения и влияния часто оборачивалась катастрофой и страшней, чем потеря положения в науке. Да, во мне говорил классический конформист, прислужник властей, каковой была тогдашняя интеллигенция в подавляющем своем большинстве, что бы она сейчас ни заявляла о себе постфактум.

И еще один момент, индивидуальный, личный, но не менее существенный, мешал мне в том случае... Понимаю, что и это не оправдание, и все-таки... Как поджелудочная железа, постоянно выбрасывающая в организм ферменты, меня все время подгоняла и помыкала мной болезненная мысль о том, что думает попутно Конюханов о моем собственном



анонимном происхождении. Эта мысль не давала мне нормально чувствовать себя. Понимал ли он это или нет, или, увлеченный своими умозаключениями и идеями, начисто забыл, выпустил из вида, кто я, что я по происхождению, или напротив, умышленно эксплуатировал этот факт моей биографии — биографии подкидыша, обнаруженного когда-то в мешковине на крыльце русского детдома. Ведь фактически я и был иксродом, пусть и естественно рожденным, но именно таким, без рода, без племени, нестигаемым, невозмутимым, если не сказать — бессердечным в своих поступках, прославившим жестким специалистом своего дела, человеком, не расплывавшим своих способностей и времени ни на что другое, кроме целенаправленной деятельности. Судя по всему, партийных идеологов именно это и устраивало, именно такими им хотелось видеть настоящих иксродов. Я был подобием иксрода по воле судьбы. Хоть и не говорилось об этом в открытую, но я невольно представлял в качестве живого примера, в некотором роде прообразом... Я понимал это... Возможно, этим и объясняются странные ощущения, владевшие мной в тот день в одном из главных кабинетов на Старой площади.

Я чувствовал себя неуверенно — зыбко, смутно, переменчиво: душа терзалась в капкане. Получалось, что в стенах этого кабинета возникал как бы заговор с моим участием. Где проходит граница между научными опытами и преступлением, кто бы мог указать ту зыбку между?! В душу вкрадывались сомнения: а если это заговор против вековечных устоев человечества, выстрадавших в долгой цепи поколений, человечества, живущего пусть и страшной и нелепой жизнью, но неизменно, из рода в род, жаждущего совершенства, надеющегося на чудо в достижении утопических идей, исходя из чаяний предков, неизменно веривших в то, что если им не удалось, то дети, внуки обретут искомое счастье... Иксродам предстояло остановить движение того исторического колеса, положить конец Отцовству, Материнству, положить конец всему, что являлось продолжением опыта поколений для всех и для каждого на белом свете... Ситуация, не предвиденная в веках и немыслимая: вторично, вслед за Адамом и Евой, изгонялись из мира Отец и Мать, причем негласно, без раскатов громopodobного гнева с небесных высот, без проклятий, запечатлевшихся на все времена, изгонялись весьма прозаично — через исключение родительских обязанностей, изгонялись коварно и исподволь —

через манипуляции зародышами, изгонялись при этом в никуда... И во всей этой истории я невольно фигурировал в тоге главного действующего лица, гонителя и незримого палача Отцовства и Материнства...

Но в то же самое время я понимал, сколь возрастают моя роль, мое значение, сколь важным становится мое место под солнцем конъюнктуры. Во мне нуждались сильные мира сего как в исполнителе грандиозной акции.

Я сполна пожинал жатву подкидыша. Возможно, это было предназначено самой судьбой, как по некоему дьявольски задуманному сценарию, — меня как бы умышленно подталкивали отомстить миру именно таким невероятным образом, — я, иксрод по рождению, был призван выводить племя анонимно рождаемых иксродов по разработанной мною технологии. И кому-то очень на руку оказалось такое стечение обстоятельств — очень своевременно, очень кстати подвернулся я на этом повороте истории...

Прощаясь у дверей, Конюханов сказал:

— Андрей Андреевич, не знаю, как вы, а я получил огромное удовлетворение от нашей встречи...

Я ответил ему примерно такой же любезностью. И тогда он неожиданно продолжил разговор.

— Понимаете ли, Андрей Андреевич, я хочу вам объяснить один момент. К вам будут обращаться товарищи из органов, они по части... — Он не досказал и продолжил: — У них будут свои предложения, с тем чтобы содействовать вашей задаче. Ну это, конечно, вопросы технического, организационного порядка, можете не беспокоиться. У них, кстати, как всегда, все продумано и рассчитано, и в данном случае, я бы сказал, тоже со знанием дела...

Честно говоря, такое сообщение меня несколько обеспокоило.

— Вадим Петрович, — обратился я к Конюханову. — Коли вы уж упомянули об этом, за что я вам признателен, то не лучше ли мне услышать от вас лично, в чем будет выражаться содействие упомянутых товарищей. Ну, чтобы быть готовым к соответствующим контактам.

— Пожалуйста, — понимающе улыбнулся Конюханов. — С готовностью, Андрей Андреевич, с вами поделюсь, и это будет правильно, согласен. Информация у меня от нашего Отдела. А остальное узнаете непосредственно в процессе работы.

То, что довелось услышать дальше, действительно, с точки зрения чисто делового подхода, оказалось весьма и весьма

ма рациональным. Товарищи знали, чего хотели, и все продумали и предусмотрели.

Я размышлял об этом уже в машине. Снова глядя на многолюдные московские улицы, я вспоминал подробности беседы с Конюхановым, потрясенный тем, как внезапно мои лабораторные занятия переросли в крупную, строго засекреченную программу государственной значимости.

По проекту компетентных органов выведение иксродов предполагалось производить в два этапа. Первый — эмбрионально-инкубационный — возлагался целиком и полностью на мой институт, под мою личную ответственность, для чего я получал соответствующие права и средства. Самое сложное на этом этапе было связано с имплантацией лабораторно зачатого анонимного зародыша в чрево инкубы, женщины, предоставляющей свой организм для вынашивания подсаженного эмбриона, то есть для обычной девятимесячной беременности. После родов начинался второй этап, условно — молочно-грудной. Эта часть программы нас уже не касалась, возвращением и дальнейшим воспитанием иксродов должны были заниматься специальные интернаты. Примерно такой в общих чертах представлялась компорганам «индустрия» иксродов.

Проблемы? Как и везде, здесь возникали свои проблемы. Наиболее уязвимыми в этой технологии оказались, как ни парадоксально, не трансплантация зародыша в утробу женщины-донора, не выращивание там плода, а чисто субъективные факторы морально-этического порядка, связанные с психологией этих женщин, которых предлагалось именовать инкубами. Искусственно зачатый в лаборатории иксрод генетически не имел к инкубе никакого отношения. Стоит ли говорить, что далеко не каждая женщина, отнюдь не каждая, согласилась бы на такой «прокат», на «арендное» употребление своего материнского лона, на фиктивное материнство. Вокруг этой проблемы запросто мог возникнуть общественный скандал. И что тогда? Какой шум поднялся бы за границей, докатился бы до ООН и прочих гуманитарных организаций, так и ждущих какого-либо громкого дела!.. И вот тут надо отдать должное прозорливости и находчивости нашего всеведающего «трехбуквенника» — КГБ. Когда провожающий меня к дверям Конюханов излагал организационные идеи компорганов, я понял, как птица, оказавшаяся в пещере, откуда выход только один, я понял, что наша лаборатория, наш институт и я сам давно находились под бдя-

щим оком компетентных органов — настолько точно была схвачена суть проблемы. Работники КГБ предлагали свою методику и содействие в решении задачи. Предлагалось следующее: инкубы будут секретно вербоваться из числа женщин, осужденных и отбывающих сроки наказания. А таких в стране всегда было предостаточно. Десятки и сотни тысяч зэчек, осужденных по всевозможным статьям за всевозможные преступления, находились в многочисленных женских колониях и на поселении. Выбор инкуб из числа зэчек мог быть в этом смысле почти неограниченным. Требовалось мое согласие. Я обещал подумать.

Позднее я познакомился с деталями компоргановских предложений и опять же был поражен знанием дела и точностью в проведении намеченных задач. В инкубы должны были вербоваться зэчки из осужденных на долгие сроки от 10 до 25 лет лишения свободы. После соответствующего медицинского обследования зэчке предлагалась роль инкубы на следующих условиях: а) рождение одного иксрода уменьшало срок заключения наполовину, рождение второго иксрода давало право на полное освобождение; б) экинкуба обязана была вскармливать иксродмладенца грудью до трехмесячного возраста, а затем должна была безоговорочно передать его на государственное воспитание; в) по завершении послеродового периода экинкубу переводили в лагерь или на поселение в особо удаленных районах; г) экинкуба давала подписку о неразглашении сведений о ее роли, местопребывании, составе обслуживающего персонала; при нарушении условий подписки экинкуба подлежала вторичному осуждению.

Вот так в общих контурах выглядел компоргановский проект вербовки экинкуб. Я долго думал. Не скажу, что я был в восторге от этого проекта, но другого выхода я не видел. И я дал согласие.

Был у меня разговор с одним из работников компорганов. Приехал он в институт для беседы. Довольно умный человек. Когда я высказал сомнение в моральности вербовки инкуб из числа осужденных, он ответил, что пока другого варианта нет, а со временем в использовании заключенных отпадет необходимость — услуги инкуб будут оплачиваться, как, скажем, оплачиваются услуги проституток. И возможно, инкубаторское вынашивание анонимно рождаемых детей для определенного круга женщин станет профессией, причем довольно доходной.

Разговор наш был абсолютно прямым, откровенным, без всяких условностей. Он утверждал, что наступят времена, когда инкубаторство не только станет легальным, но, более того, этот тип деторождения окажется наиболее предпочтительным. И тогда понятия «Мать», «Отец» вообще уйдут в область преданий или будут иметь чисто условное значение.

Таким образом, замысел компорганов все больше обнажался в своей подспудной части и далеко идущих намерениях — шаг за шагом приоткрывалась особая их заинтересованность в контроле над выведением нового типа бескорневого человека. Предполагалось со временем поставить это дело на широкую ногу. Предусматривалось постепенно все шире внедрять анонимные роды анонимных детей профессиональными роженицами, организовано воспитывать иксродов в интернатах с тем, чтобы освобожденное от необходимости деторождения население могло всецело посвятить себя производительному труду, другим актуальным задачам, и прежде всего, конечно, делу неотвратимой мировой революции, — от этой цели коммунисты отступать не собирались. Иксроды поставят в мировой истории точку, и пойдет новый счет летоисчисления...

Он не выбирал выражений, мой собеседник, куратор: «Иксроды поставят точку, окончательную, давно необходимую. Вся эта шумиха, борьба за мир во всем мире и прочие красоты — сентиментальная болтовня. И если решающее слово за атомным ударом, то его произведет как раз иксрод. Ему терять нечего, его ничто ни с кем не связывает, он обезличен, его Родина — Система, давшая ему жизнь в пробирке. И рука его не дрогнет, когда надо будет нажать кнопку. Все дело в том — кто первый, кем возвращенный иксрод первым нанесет ядерный удар!»

Небольшой санаторий в подмосковных лесах, прежде принадлежавший профсоюзам, вскоре был передан нам как научно-исследовательская база. С полгода ушло на реконструкцию и оборудование кабинетов, палат, помещений для охраны и прочих служб.

Я не спешил особо. Но настала пора действовать. Сразу скажу, шел я на это с нелегкой душой и, возможно, поэтому подчеркнуто не интересовался личностями кандидаток в инкубы сверх того, что сообщалось о них в сопроводительных документах. Держал себя с ними строго официально,

разговаривал сухо, лаконично. Привозили их в клинику по одиночке, каждую в назначенный час в закрытой машине, одетую в гражданское платье, и все они были для меня на одно лицо — объекты предстоящей имплантации иксэмбриона. Обращался я к ним обезличенно — женщина: «Здравствуйте, женщина. Как вы себя чувствуете, женщина? Осторожно, женщина, я вас должен осмотреть, не двигайтесь». Только так. Соответственно и ко мне было установлено обращение — профессор. Ничего постороннего, ничего лишнего, все инкубы были важны лишь как полученные напрокат утробы. Ни одну из них я не запомнил в лицо, так как для дела это не требовалось.

И только одна оказалась исключением из правил... Но об этом позже... Вот об этом попозже бы...

Вот и пришел ты к Берегу, а дальше другая Река...

Ты маешься, ищешь любой повод, только бы отодвинуть мысли об этом, воспоминания об этом. Ну и что же? Разве не убеждаешься ты всякий раз в нелепости, химерности попытки убежать от себя? Умереть можно, но уйти от себя нельзя. В этом смысле человек, будучи смертным, вечен.

О Боже, что ты пытаешься объяснить необъяснимое, что ты кидаешься в бездну своей души, чтобы рассказать о том, что не подвластно слову, по крайней мере твоему слову?!

А ведь ты считал себя исключительно сильной личностью, и было бы странно, если бы ты не совладал с собой, когда это требовалось из соображений высшей целесообразности. Но в этот раз ты не смог преодолеть себя... А ведь ничто не предвещало того, с чем ты столкнулся, как комета, налетевшая на другую комету. Ведь все шло своим чередом.

Случилось это весной следующего года, когда первой группе зэкинкуб уже были имплантированы эмбрионы и она находилась под соответствующим медицинским наблюдением.

Эту женщину доставили в тот день на обследование, как привозили обычно и других, в сопровождении «фельдшера» — так на старомодный лад называли мы охрану инкуб. Когда ассистент и медсестра привели ее ко мне в кабинет, я бегло просматривал данные ее предварительных обследований. Все было в норме — общефизические показатели, гинекология, только это меня и интересовало — пригодность пациентки для вынашивания имплантированного плода, все остальное было делом спецслужб, то были их заботы. В этом смысле работа была поставлена четко, если не сказать безу-

коризненно, никаких проблем не возникало. Да и с чего им было возникать. Ведь в зонах и тюрьмах отбор кандидаток в инкубы производили квалифицированные сотрудники, тщательно изучавшие эчек на предмет их целевой пригодности; сами эчки, давшие согласие на вынашивание плода, были больше всех заинтересованы, чтобы только не случилось чего, чтобы не упустить такую невероятную возможность сокращения срока наказания: выносив и родив младенца, избавиться от многих лет заключения! Да такое никому и во сне не снилось! Понятно, что появлялись они у нас в клинике, трепеща от страха и надежд, умоляя небеса, чтобы ничто не помешало тому, что забрезжило на их страшном пути. Могло ведь случиться — возьмут да забракуют на последнем этапе клинической экспертизы: не годна, мол, в инкубы. Естественно, женщины волновались.

Новую эчку, препровожденную в кабинет, оставили сидеть на стуле возле двери. Коротко ответив на ее односложное «здравствуйте», я снова глянул на ее досье — на персональный номер заключенной и индекс места заключения, глянул еще раз на фамилию, которую тут же забыл, кажется, Лопатина. Фамилии обычно не запоминаются — они или очень сложные, или очень простые. Но вот имя пациентки показалось мне странным — Руна, что за имя, что-то в нем руническое, усмехнулся я и поднял голову. Первое, что бросилось в глаза, — то, что женщина была в очках. Стало быть, появилась среди инкуб и такая — в очках. У нее было интеллигентное лицо, и мне подумалось, что нелегко ей, должно быть, приходится в зоне, там, известное дело, мат-перемат, драки, таскание за волосы и прочее... А собой совсем не дурна, на воле наверняка была еще лучше, была, наверное, красавицей. Но вот смотрит как-то не так, как следовало бы в ее положении, — никакой повинной улыбочности, предупредительности во взгляде. Карие глаза за стеклами очков выражали лишь сдерживаемое любопытство. Можно было представить, что на воле она следила за собой, подводила брови, подкрашивала ресницы, преображалась перед зеркалом... Но это на вид и к слову, а ведь на ее счету какое-то серьезное преступление, недаром ведь осуждена на десять лет, недаром эчка... И теперь вот решила родить иксрода, чтобы скостить срок.

— Ну так вот что, женщина, — сказал я. — Контрольные анализы полагается сделать еще раз, повторно. Тогда станет ясно, как дальше.

Она молчала.

— Какие-нибудь жалобы есть?

— Что вы имеете в виду? — сказала она.

— Состояние здоровья. Ничего другого.

— Нет, пока нет.

— Необходимо строго следовать предписаниям подготовительного периода. Об этом тебе расскажут. Если все будет в порядке, имплантацию произведут в начале следующей недели, во вторник или в среду, не раньше. Так что придется подождать.

— А я и не спешу. Меня все это вообще не волнует.

Ее дерзкий ответ удивил меня. Такого здесь еще не бывало. Разглядывая очкастую повнимательней, я встал из-за стола и подошел к ней. Она тоже встала. И я строго сказал, чтобы ей неповадно было говорить со мной в такой манере:

— Если не к спеху, и тем более если тебя это вообще не волнует, то стоило ли огород городить? Ты с таким намерением сюда отправилась, ты знала, куда и зачем следуешь?

— Знала. Разумеется, знала.

— Ну и что? Я тебя спрашиваю, женщина. Зачем ты сюда ехала?

— Зачем? А затем, чтобы увидеть вас, профессор, и убедиться, что все это вовсе не детские байки!

— Только и всего?

— Поверьте — только и всего. Чтобы увидеть вас и сказать вам всю правду в глаза.

— Вон как?! — невольно вырвалось у меня. И я сказал коротко и жестко: — Ты письменное согласие давала?

— Да, давала.

— Ты понимаешь, что твое поведение будет расценено как нарушение подписки и ты схлопочешь новый срок?

— Понимаю.

— В этом есть острая необходимость?

— Есть острая необходимость в этом разговоре. Это необходимо для вас.

— Для меня? А мы что, решаем с тобой какие-то проблемы?

— Решаем. Будут ли люди размножаться, как велено природой и Богом, или по наущению дьявола — это проблема?

Я замолчал, точно наскочил внезапно на стену. Потом сказал, едва сдерживая бешенство:

— Для этого у меня есть собственная голова на плечах, мадам. Придется нам расстаться. Жаль, что ты не сократишь себе срок, а, напротив, удлинишь его. Тут уж пеняй на себя.



— То, что я должна была сказать, я сказала.

— Не слишком ли много ты берешь на себя? Не подводит ли тебя чувство меры?

— Я ээчка, Андрей Андреевич. — Она неожиданно назвала меня по имени-отчеству, и то, что слышишь механически сотни раз в день, в ее устах прозвучало странно. — Я ээчка и только, — повторила она. — И я знала, на что иду. И добилась своего. Я считала это своим долгом. И выполнила его, как могла. Может быть, этот разговор что-то пробудит в вас, заставит задуматься. Вот все.

— Ты мне здесь мораль не читай! — расвирепел я, все лучше понимая, что произошел неожиданный, но когда-то неизбежный в работе с инкубами сбой. — На твое место найдутся десятки желающих!

— Вот это самое страшное, — проговорила она. — И это на вашей совести. Целиком и полностью на вашей совести.

— Совесть совести рознь! — отрезал я.

— А такое я впервые слышу.

— Оставим философский диспут тем, у кого на это есть время. Тебя не для того сюда доставили. Отправляйся назад. Нам с тобой говорить не о чем.

Я нажал кнопку вызова. За ней пришли.

— Прощайте, — сказала она, уходя.

Я ничего не ответил.

Дверь захлопнулась. Я вернулся за письменный стол. Начались другие дела, другие заботы.

Но этот досадный случай не выходил из головы. Надо было дать указание, чтобы «правдоискательницу» отправили восвояси, туда, откуда она прибыла, в зону, кажется, под Костромой, и пусть там мнит о себе, что угодно. Но отложил на потом. Вспоминал эту ээчку среди дел, звонков, разговоров, никак не мог заставить себя забыть, но никому, ни единому из сослуживцев, даже тем, с кем был относительно близок, — никому не рассказал о том, что вывело меня из равновесия и продолжало саднить душу.

Странное, очень странное у меня было состояние, сам себя не узнавал. Решил за чем-то получше, поподробней познакомиться с ее делом. Откуда такая? Кто она вообще? За что сидит? По какой статье? Психически ненормальных в зонах, вроде бы, не должны были содержать. Но что это за необузданная женщина? Каким ветром отчаяния пригнало ее, какими мыслями и словами была она начинена и что могла еще наговорить, дай ей волю, чтобы побольнее уда-

ритель по моей совести, чтобы муторно мне стало, чтобы по-полз, волоча кровавый след муки.

Претенденты на совесть могут ничего не иметь, кроме своей категоричной точки зрения, и в этом их наступательная сила. Совесть, однако, требует прежде всего внутренней независимости, а иначе ее покупают и продают, как старье на базаре. Да и вообще, что есть банальнее на свете, нежели понятие совести? И эта зэчка явилась тут Америку открывать! Уж ей ли пристало говорить о совести — преступнице, уголовнице, осужденной?!

Но думая так, я сам себя начинал ненавидеть. Что ты оправдываешься, перед кем и за что?! Слаб оказался. И что ты все думаешь о ней?..

Я заново раскрыл ее дело. Лопатина Руна Федуловна, осуждена по статье 158-й за хранение и распространение антисоветских материалов... А, ну тогда ясно, разве не видно было сразу по полету, что за птица?! Как же, как же, таким всегда неймется, всегда им надо выступить с протестом, чтобы заявить о себе, и в этот раз нашла, выходит, где высунуться... Не замужем, разведена. Кто же станет жить с такой стервой. Ничего удивительного.

Потом меня отвлекли другие дела, и я задержался после работы, чтобы не брать с собой бумагу, подлежащих хранению только в служебных сейфах. Дочитал, все прочел, что касалось Руны Лопатиной. Ну и что мне подумалось в итоге? В общем-то, конечно, женщина своеобразная, с определенным взглядом на жизнь; как правило, такие личности появляются во все времена в радикальных кругах, в оппозиции, духовной, политической, правительственной. Среди них есть всякие. И такие, что мнят себя мессиями и ради идеи готовы принести в жертву всех, кто последует за ними... Но при чем тут Руна? Судя по всему, она идеалист-одиночка. А впрочем, кто ее знает. Как я могу судить, увидев ее один раз, услышав от нее всего несколько слов. Да, конечно, человек она нелегкой, куда как нелегкой судьбы, учительствовала, потом занималась кинодокументалистикой — писала документальные киносценарии о советской школе, а школьные всегда у нас были социально острыми.

Вспомнилась мне вдруг незабвенная Вава, Валерия Валентиновна, знала бы она, чем занимается ныне ее гениальный ученик! Но это были попутные мысли. А что касается Руны, то она, судя по всему, попала под суд из-за своего брата Лопатина Игоря Федуловича. Он-то как раз был про-

фессиональным киношником, окончил знаменитый ВГИК, и, по всей вероятности, не без его влияния и помощи Руна и занялась школьными киносюжетами. Как отмечалось в следующих материалах, бывшая учительница Руна Лопатина, подвизавшаяся в любительской секции при Киностудии имени Горького, способствовала распространению сомнительных в идейном смысле умонастроений среди любителей кино. Были свидетели, утверждавшие, что она, Руна, выступала за тенденциозное направление в искусстве, за документальные сюжеты, негативно представляющие советских людей и их быт. То было прелюдией к обвинению.

Главным обвиняемым по делу проходил ее брат, Игорь Лопатин, он обвинялся в том, что «будучи штатным кинооператором, использовал государственную аппаратуру и средства для уголовно наказуемой деятельности — снимал клеветнические, искажающие советскую действительность, порочащие советский общественный и государственный строй документальные ленты, с тем чтобы дезинформировать таким образом западную общественность». Причем подчеркивалось, что «подсудимый занимался этим преступным делом не бескорыстно, а продавал порочащие советское государство киноматериалы на Запад за валюту. Именно там, за рубежом, где эти материалы демонстрировались в кинозалах и по телевизионным каналам, наши спецслужбы выявили происхождение этих кинолент».

Как говорят в таких случаях, какие знакомые арии, какие знакомые истории, и кто знает, так это все или не так, но, как бы то ни было, в результате Руна Лопатина была обвинена в уголовном деянии. Она обвинялась в прямом пособничестве брату — он передавал ей «несанкционированно отснятые» ленты, а она их хранила у близкой подруги. Эти связи были отслежены. Кто-то навел-таки на след. Игорь был арестован, а когда Руна кинулась на квартиру к подруге предупредить, здесь ее уже поджидали сотрудники надлежащих служб. Так что взята она была с поличным. А дальше происходит неожиданное — в ходе процесса Руна предпринимает отчаянную попытку как-то облегчить участь брата. Она берет на себя основную вину, заявив, что это была ее идея — снять сцены жизни и быта советских людей, что она давала брату указания, что снимать и как снимать, что она сама, лично передавала отснятые пленки иностранным корреспондентам за валюту, что, по сути дела, младший ее брат был лишь исполнителем ее замыслов.

Вот такая история. И еще одна любопытная деталь: на суде Руну обвинили в интимной связи с американским журналистом, который, вернувшись к себе в Америку, написал якобы статью, где «высоко отзывался о своей любовнице, а к советскому обществу проявил, напротив, исключительно враждебное отношение», это была якобы месть за арестованную к тому времени преступницу. Руна же отрицала, что была любовницей американского журналиста, утверждая, что просто занималась с ним русским языком... В общем, не разбирай поймешь. Кто их знает, что там было, но как бы то ни было, все это окончилось для этой Руны весьма плачевно...

В тот день я уезжал с работы поздно. Были и рабочие дела, и странное желание получше познакомиться с прошлым Руны Лопатиной тоже изрядно меня подзадержало.

Привычно кивнув охране у ворот, я выехал аллеей на Успенское шоссе уже в сумерках. Включился в поток машин, спешивших в Москву.

Красивые здесь места и зимой, когда леса и пригорки в белых снегах, как во сне, и летом; когда зеленое цветение достигает своего апогея, когда за лесом вдруг выглянет на несколько секунд неожиданное видение — сияющий изгиб Москвы-реки. Восхитительная магия воды, неба, леса; я всегда старался не пропустить этого мгновения, чтобы глянуть через стекло и умчаться дальше, сохраняя перед взором оставшееся позади.

Останавливаюсь на этих деталях не случайно. Сколько раз, бесчисленное число раз пронесился я по этим местам в ту и другую сторону, но откуда было знать, что жизнь моя кровным образом окажется связана с этими придорожными пространствами?.. И настанет такое время, когда я не найду в себе сил ездить этим путем, буду ездить в обход...

А в тот раз, приближаясь к Москве, я думал о том, надо ли было давать указание, чтобы эту строптивую кандидатку в инкубы Руну Лопатину вновь привезли на следующий день в клинику. Да, я дал такое указание. Зачем я это сделал? И что я ей скажу? Разве не ясно, что, когда она давала согласие стать инкубой, цель ее была совсем иной, возможно, она, эта Руна, все-таки чокнутая, а возможно, в ней говорит мания надуманной праведности, исключительной совестливости и прочих не от мира сего добродетелей. Что с ней канителиться?! Да ее надо гнать в шею куда подальше, пусть погибает у себя в зоне. Нашла кого совестить, а сама-то она кто?! «А ты сам? А ты?! — тут же говорил я себе. — На-

шел себе мишень! Осужденная, бесправная зэчка, и ты с ней копыя скрещиваешь! Хорош, нечего сказать, хорош!»

Раза два тормоза чуть не сорвал на поворотах, колеса закрипели так, что прохожие кинулись в стороны, — задумался за рулем, не мог отогнать назойливо преследовавшие мысли. А ведь видел я эту Руну всего один раз, с чего же меня так проняло? Я припоминал, как поднялся из-за стола и подошел к ней, как она тоже встала со стула. И вот она стоит передо мной — зэчка, в одежде, в которую ее специально обрядили для доставки в загородную клинику пред очи профессора, — в черт его знает где сшитой серой кофте, мешковатой, длинной юбке, в грубых башмаках. Когда-то, когда вещи служили ее красоте и вкусу, она была хороша. Я думал о ее глазах, встревоженно, решительно и мужественно глядевших на меня. Ведь глаза — их называют зеркалом души, но это неверно, — глаза и есть сама душа, ее живое выражение. По-мальчишески угловатые, хрупкие плечи ее невольно ежились, а гибкие, тонкие руки она держала, скрестив. А ей бы распрямиться, а ей бы быть непринужденной, а ей бы улыбаться, ей бы идти по улице среди пестрой толпы. Не для диссидентства она предназначалась и вообще не для этой эпохи. Ей бы наряды прошлого века! Можно предать, как бы она выглядела... В то же время какую чушь порола! Остановить науку с помощью совести?! Вот ведь всегда так, всюду человек суется со своей совестью; что бы ни было, что бы ни произошло, дай ему ответ — по совести это или не по совести! И каждый на свой лад держит ту совесть за пазухой. И каждый кичится ею. И каждый заявляет о ней от имени Бога!.. Но на одной совести далеко не уедешь. Мало кто способен восстать против Бога с его совестью, которой он всех нас наделил и обуздал, мало кто способен попереть его прочь с дороги, когда надо брать в свои руки то, что всегда было его монополией, как его монополия власть над рождением. Хватит ему монополии на смерть, уж этого у него никто не отнимет! А что касается рождения, тут я с ним конкурирую, и мне не до совести... Понимает ли это Руна, нет, пожалуй, ей этого не понять. Оттого и явилась героиней, кричащей о совести... Ей бы подумать о себе, куда и как ей теперь...

В ту ночь в своем академическом особняке, одном из тех, что были дарованы еще Сталиным своей команде атомных бомбовиков, от пирога которых достался и мне солидный кусок, я не находил себе места. Толстые стены, громадные

окна, высоченные потолки. Но к чему я здесь? И вообще, к чему я, зачем живу? Снова заговорил во мне в ту ночь подкидыш. Я лишний, я сам иксрод, я «черная дыра» в людском роду. Кому от меня стало счастливее на свете, кто горячо возблагодарил жизнь, встретив меня, какая женщина? Евгения, бежавшая без оглядки? Что познала она, чудесная актриса, живя со мной? Холодный ум, бесчувственность, жестокость, аборт, собственноручно делаемые мужем? Да и те женщины, что мимолетно встречались на пути, вряд ли вспоминали потом об этих эфемерных встречах как о нечаянной вспышке счастья. Все, что было связано со мной, обнажалось пустынностью, безрадостностью...

Отсюда мысли мои незаметно вновь кочевали к ней, к сегодняшней этой зэчке, к Руне, женщине с именем из рунических времен. Но почему я думаю о ней? И что с ней в этот час? Страдает, наверное. Быть может, расчесала сейчас волосы, распустила их, чтобы был им отдых от темных мыслей, гнетущих ее, теснящихся в голове. А на воле, наверное, причесывалась по-иному, волосы у нее были пышные и волнистые, и тогда не приходилось стискивать их в узел на затылке, как предписано в зонах. Вздумав «раскрыть глаза» профессору, поставила себя в еще худшее положение, осложнила себе жизнь. Неужели она была к этому готова? И что она думает о сегодняшней нашей встрече? Быть может, она в чем-то права, но ведь одной совестью, одними благими намерениями мир не насытишь, не ублажишь, не изменишь звериной сущности человека, алчущего все большего места под солнцем; при таких аппетитах скоро солнца не хватит на всех, но еще страшнее, что он, человек, все больше и ненасытнее страдает господства над себе подобными. Потому и нужны новочеловеки — иксроды... А она хочет встать на их пути, преградить им доступ к жизни, к власти, к войне. Понять можно, но нет такой силы, чтобы одолеть неодолимое...

Очень часто вопрошал я впоследствии почти бессмысленно: почему в тот вечер я оказался полностью предоставленным самому себе? Почему не было никаких собраний, заседаний, встреч и прочей светской и политической толкотни, от которой в другие дни житья нет...

Я терзался той ночью и все никак не мог успокоиться. Смутила меня эта зэчка Руна, застигла врасплох — ведь ни-

кто из окружающих в нашем деле не сомневался, или мне так казалось?..

Но ведь и себя она не пожалела, демонстративно жертвовала собой! Как можно?! Зачем она принуждает меня выступать в неблагоприятной роли гонителя и прокурора? Неужели действительно только ради того, чтобы кинуть в лицо мне обвинение, она решилась лишить себя воли еще на долгие годы?! Хотя понять ее можно — это единственное, что могла она предпринять, задавшись целью высказать свою позицию, свою правду. Она не имеет возможности выразить это открыто, публично — ни на улице, ни на собрании, ни тем более зарубежным корреспондентам. Она замурована в зоне... И теперь ей грозит новое наказание... Хорошо, что никто не знает о том, что произошло между нами, хорошо, что я не обмолвился никому ни единым словом, хорошо, что дал указание, чтобы ее вызвали повторно. Да, завтра, к двум часам дня она будет доставлена. Еще не все потеряно, еще не все мосты сожжены. Может быть, удастся уберечь ее от нового суда.

Я все больше поддавался этой мысли, все больше нарастало во мне желание оградить ее, избавить от кары, и в этом стремлении своем я находил нечто, впервые познаваемое моей душой, я открывал себя, сам себя не узнавая. Что же произошло со мной? Движимый стремлением понять и защитить женщину, я постепенно приходил к выводу, что если Руна Лопатина предъявила мне счет, обрекая этим себя на мученичество, то не есть ли это веление свыше, не есть ли это самозащита Всемилостивого?.. Раньше я не мог понять, что такое Всемилостивость, в чем, собственно, она заключается и проявляется, и только теперь вдруг почувствовал: если я тот, кто в угаре самодовольства, манипулируя зародышами, отпихивает самого Бога, то не является ли зэчка Руна как бы посланницей, выразительницей Его Великодушия и Снисхождения?.. Нет ли в этом пробы на Добро во мне?!

От мыслей таких мне становилось и горько, и сладко. Я испытывал прилив благодарности к ней, к этой зэчке, заставившей меня очнуться, усомниться в себе, ощутить свое несовершенство и надменность. Я почувствовал, что хочу предстать перед ней иным. Как жаль, что невозможно было тотчас позвонить Руне в особый изолятор, где ее временно содержали. Как много я сказал бы ей, как много хотелось услышать в ответ. Если бы было можно сесть за руль и среди

ночи помчаться в тот изолятор, отыскать ее и вступить в разговор! Но это тоже оставалось лишь мечтой. Единственное, что я мог, — это ожидать завтрашней встречи; воображение мое рисовало, какой будет она, эта встреча. Когда Ру-ну приведут в кабинет и оставят для беседы, я подойду к ней и поздороваюсь за руку. «Извините, пожалуйста, Руна, нам необходимо вернуться к нашему разговору. Я готов выслушать ваши соображения со всей серьезностью, просил бы и вас об этом. Выслушайте и мои доводы». — «Прекрасно! — ответит она и чистосердечно признается: — А я думала, профессор, что больше никогда уже не увижу вас. Я ожидала, что утром меня вернут на круги своя, погонят, как проклятую, назад в мою зону, учинят надо мной суд и погонят дальше, в Сибирь или на Алтай, но вдруг приходит дежурный надзиратель и сообщает, что меня вновь вызывают к профессору Крыльцову Андрею Андреевичу. И вот тут я...»

«О Боже праведный! Какие глупости ты насылаешь на меня? — шептал я в отчаянии. — Какое ребячество, останови меня, я в детство впал!»

Да, разумеется, от великого до смешного лишь один шаг; но, пусть я смешон, я с легкой душой готов был к тому, чтобы все было именно так, как мне грезилось той ночью. Пусть было бы так, какое счастье даже само ожидание желанной нелепости!

И за всеми этими порывами, вдруг объявшими душу мою, возникало, как черная туча на горизонте, самое тяжкое для меня сомнение — действительно, имел ли я моральное право производить иксродов во чревах инкуб? Какие наивысшие цели могли оправдать мои действия? Не стану кривить душой, сомнения такого рода всегда таились во мне, но ни я и никто из моих коллег никогда не высказывали их. Достижения науки возвышали нас не только в собственных глазах, но и в глазах общества. Однако за примерами того, насколько несовместимы порой наука и совесть, как взаимосвязаны зачастую наука и преступления, в XX веке далеко ходить не надо.

И вот настал момент, когда заговорила совесть моя, которую разбудила тюремная узница. Признать античеловечность производства анонимных детей от анонимных родителей, выведения их с помощью инкуб — вот на что побудила меня Руна.

Что привело ее ко мне, что связало нас до смертного порога, пусть знает судьба... Не мне судить...



В ту ночь наступил перелом. Я готов был просить прощения у женщины, поразившей меня невиданной самоотверженностью, невысказанным поступком. Я готов был упасть перед ней на колени, чтобы отринуть зло, несомое мной роду человеческому. И если бы она приняла мою любовь и могла бы ответить взаимностью, то я просил бы ее руки... Да, да!

Я не представлял себе, каким образом могло бы это произойти, ведь она осуждена на многие годы, но если бы она сказала «да», то я пошел бы даже на то, чтобы бежать вместе с ней куда угодно — в лес, в горы, за моря, куда угодно, только бы быть вместе... И начать новую жизнь, пусть скитальческую, для меня это было бы искупление моего зловещего прошлого...

И, раз подумав об этом, я уже не мог остановить себя. Мое воображение не знало пределов. Я совершал революцию в себе, беспощадную, безоглядную. И предавался мечтам. Моя новая жизнь должна была начинаться с завтрашнего дня, с того часа, когда Руну приведут ко мне и мы останемся наедине. Я попытаюсь объяснить ей, что произошло во мне, рассказать о том катарсисе, который я пережил, заверить ее, что готов на все. Только бы она сказала «да», только бы она увидела во мне того, кого она может полюбить. Только бы она убедилась в моей искренности, только бы поверила, что нам необходимо быть вместе...

Было уже далеко за полночь, когда я уснул на диване беспокойным, чутким сном. И на рассвете слышал грозу, разразившуюся в небе. Громыхало над крышей, за окнами лил мощный дождь. Не открывая глаз, я видел, что происходит в природе, точно я сам творил ту грозу, я видел, как полыхали молнии в полнеба, я видел, как гнулись ветви деревьев под шквалом дождевых потоков, я видел, как стая птиц испуганно металась в грозовом пространстве, ища прибежище...

И сам я летел в том грозовом пространстве. Я вылетел в окно через форточку, вознеся над крышами, над улицами и парком. Летел вслепую и наугад среди молний и облаков, — ведь где-то на земле была тюрьма, где слышала грозу и она, женщина, отказавшаяся быть инкубой... «Руна! Руна! — кричал я. — Это я! Я ишу тебя!» О чем она думала в тот грозовой час, когда я кричал ей с небес?..

На другой день мне стоило немалых усилий держать себя в руках, делать вид, что я работаю, чтобы все службы на-

шей клиники, как всегда, четко функционировали. И все шло обычным порядком. И никто из коллег, никто из персонала не заметил, что я уже не тот...

Я ждал своего часа. Время шло мучительно медленно.

Я был у всех на виду, я, как всегда, исполнял свои обязанности. Но это был уже не я...

Время тянулось мучительно долго...

Назначенный час приближался. Я ждал Руну с минуты на минуту... Вот, вот... Но ее все не привозили.

Прошло еще четверть часа. Но — нет. Я дал задание позвонить и выяснить, выехала машина... Секретарь дозвонилась, ей сказали, что машина выехала, как положено, вовремя.

Я начинал беспокоиться. Что могло случиться? А вдруг авария по дороге?

Стрелки часов приближаются к трем. Когда же? Я звоню сам. Мне отвечают, что с машиной что-то случилось. В это время вбегает секретарша. На ней нет лица.

— Что случилось?! — кричу я.

— Пациентка погибла!

— Как погибла? Какая пациентка?

— Та, что мы ждем. Только что позвонили с дороги.

— Авария?..

— Нет, не авария. Она бежала...

— Бежала? И что?..

— Ее убили.

— Не понимаю!..

— Сказали, что сейчас подъедут и расскажут...

Да, соответственно указанию, данному мною накануне, заключенную Лопатину Р. Ш. № А-6-87 повезли на машине, с тем чтобы доставить ее в клинику в назначенное время.

В пути, уже за городом, на том участке дороги, где она проходит через лес близ берега Москвы-реки, зэчка стала жаловаться, что ее сильно тошнит, что она не может ехать дальше, стала просить и настаивать, чтобы машину остановили и дали ей возможность выйти, у нее начинается рвота...

Пришлось остановиться. Зэчка вышла, сделала несколько шагов от дороги и вдруг бросилась бежать, скрываясь в зарослях леса. Сопровождающая охранница кинулась ее догонять. Она приказывала ей остановиться. Но та продолжала бежать. Охранница кричала ей вслед, что будет стрелять. Для предупреждения выстрелила два раза в воздух. И все же пыталась догнать, чтобы схватить живьем. И тут впереди

возник берег изгибающейся Москвы-реки, и зэчка с ходу кинулась с берега в воду. Охраннице ничего не оставалось, как стрелять. Зэчка погибла. Тело ее удалось выгнать из воды...

Тысячу раз впоследствии спрашивал я себя — зачем она так поступила? Зачем? Почему? Что это? Результат безысходности? Страха? Отвращения? Ненависти? Или это было формой протеста?

Никто не ответил... Ушла, как пришла... Она оказалась первой жертвой наших экспериментов.

До позднего вечера я не выходил из кабинета. Сидел, закрывшись. И никто не мог представить себе, что творилось со мной. О, если бы она не помешала таким страшным образом тому, на что я был готов! Какое горе, что она погибла, какое горе, что она ушла, так и не узнав, что я хотел сказать ей о том, что правда на ее стороне, что достижения науки преходящи, на какие бы головокружительные высоты она ни поднималась, прогресс науки нескончаем, но он ничто в сравнении с совестью. И ничто не сравнимо с Духом, заключающим в себе смысл и развитие Вечности...

Я рыдал, сидя у себя в кабинете. Рыдал по женщине, которую видел только однажды... Я понимал, что без нее я несчастен на всю оставшуюся жизнь...

Вечером выехал на шоссе, но, приблизившись к тому месту, где все это произошло, к изгибу Москвы-реки за лесом, остановился и повернул назад. Это было место ее гибели, через эту рощу она бежала и кинулась в реку... Уехал обходным путем...

И если есть тому мера, дома почувствовал, познал сполна всю меру безысходности. Это ли не было наказанием моим?! Я кричал, я рыдал во весь голос в ночном доме... Ее нет. И она никогда не узнает, что я хотел сказать ей, в чем хотел исповедаться. Она до последнего момента думала обо мне как о выродке, использовавшем свои научные открытия для выведения иксродов... Не помогло и виски, хотя я пил и пил прямо из горлышка. Хотелось услышать музыку, которая, казалось, помогла бы, но не было такой музыки...

Эту музыку, возможно, всегда дремавшую во мне, я услышал случайно, годы спустя. Плыл на пароходе по Японскому морю. Вечером дело было. Темные контуры островов, застывших под звездным небом, выступали из моря в разных местах загадочными телами, сгустком Времени и Мате-

рии. Тишина стояла, прохлада, чуть слышные, невидимые всплески волн... Нас было несколько человек, советских ученых, прибывших на конференцию в Нагою. Мои коллеги и переводчики остались в баре. А я ходил по палубе, все не мог наглядеться на острова, таинственные и безлюдные. Береговые огни были очень далеки, едва заметны. К ним мы держали курс. На пароходе беспрерывно гремела рок-музыка, приглашающая дергаться и прыгать. А тут вдруг рок смолк. И послышалось задушевное пение. Это была японская энка — лирика, тоска по любимой, заклинание и непонимание, ожидание и прощание... И я подумал, что она где-то рядом, возможно, вон там, на том островке, и что она слышит это пение и знает, что я думаю о ней...

И я понял, что мне надо удалиться подальше от всего и всех...

В годы перестройки удалось положить конец выведению иксродов. Был у Горбачева. И через полгода отправился в космос, на орбитальную станцию. Здесь я стал космическим монахом Филофеем. Со стороны может показаться чудачеством. Но для меня это отнюдь не чудачество...

Мое прошлое не дает мне покоя, преследует меня. И, как кость в горле, стоит неразрешимый вопрос — что станется с иксродами, с теми, что успели родиться и теперь подрастают?... Покуда их происхождение остается тайной, об этом не знает никто. Вернее, знают немногие — мои бывшие коллеги. Можно представить, что они думают обо мне: вероотступник, кинулся в космос, сбежал... Но их отношение меня не трогает, вовсе не это меня гложет. Никто не знает, как я проклиная себя, как называю себя жалким мазохистом, сукиным сыном! Мне бы сейчас быть на Земле и поглядеть в глаза тем малышам, что родились в результате опытов нашей лаборатории!.. Зачем я пишу об этом? Да потому, что то, что мы сделали, — непоправимо. Что станется с этими людьми, казенными от рождения? А ведь завтра они поймут, кто они такие. Чем они отплатят обществу? Не возникнет ли у иксродов со временем неодолимого желания — отомстить человечеству, покончить со всем светом к чертям собачьим?! И то, что я здесь, в космосе, а они, иксроды, там подрастают, — это чудовищно. Другого слова не найдешь. Я мог бы сказать себе, что никогда не брал на себя ответственность за их будущее, а лишь решал научные проблемы их рождения.

Но разве это оправдание?! Где им искать виновных, тех, что натворили дел, а потом, когда все опрокинулось и пошло другими кругами, — разбежались. Даже КГБ сгинул. А может, и не сгинул... Но черт с ним...»

На этом Исповедь Филофея обрывалась.

Текст Исповеди, эту последнюю весть от Филофея, Энтони Юнгер получил в начале зимы.

Необыкновенная история, никому бы и в голову не пришло, горестно думал он в то зимнее утро, сидя за рулем и глядя на белые хлопья снега, кружащиеся за стеклами машины. Он был под впечатлением прочитанных ночью исповедальных записей Филофея.

Странно, думалось ему, никто так не умирал. И летает сейчас Филофей где-то над миром космической мумией, единственный в своем роде самоубийца за пределами планеты. Умиротворился-таки в безмолвии. И вот он снова напоминает о себе...

И впрямь можно подумать — какой-то высший замысел был в том, чтобы его судьба послужила уроком. Да. Но какой ценой?!

Но цена на таком пути всегда велика. Был ведь однажды великий Урок на все времена. Цена была — Голгофа. У каждого своя цена. Этот заплатил свою цену в космосе.

Неужто и в космосе слышится ему хруст снега под ногами его матери, несущей его к детдомовскому крыльцу? Неужто и в космосе слышится ему, как гулко бьется сердце матери, несущей его в последний раз, прижимая к груди?..

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. Золотов. Чингиз Айтматов — строки жизни</i> . . . . .	3
Материнское поле . . . . .	16
Лицом к лицу . . . . .	99
Джамиля . . . . .	165
Белый пароход . . . . .	209
Плаха . . . . .	315
Тавро Кассандры (из ересей XX века) . . . . .	599

†

**Айтматов Ч. Т.**

**А 36 Тавро Кассандры / Ил. В. С. Карасёва. — М.: Мол. гвардия, 2003. — 793[7] с.: ил. — (Проза века).**

**ISBN 5-235-02607-1**

В сборник крупнейшего современного прозаика Чингиза Айтматова, посвященный его 75-летию, вошли лучшие произведения писателя разных лет.

**УДК 821.512.154  
ББК 84(5Кл)**

**ISBN 5-235-02607-1**



**Айтматов Чингиз Торекулович  
ТАВРО КАССАНДРЫ**

Главный редактор **А. В. Петров**

Редактор **О. И. Ярикова**

Художественный редактор **К. Г. Фалин**

Технический редактор **Н. А. Тихонова**

Корректоры **Т. И. Маляренко, Г. В. Платова, Е. В. Феоктистова**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 19.05.2003. Подписано в печать 14.10.2003. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 42,0+0,63 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ 33679.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127030 Москва, Сущевская ул., 21. Internet: <http://mg.gvardiya.ru>. E-mail: [dset@gvardiya.ru](mailto:dset@gvardiya.ru).

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127030 Москва, Сущевская ул., 21.

**ISBN 5-235-02607-1**

*Повседневная жизнь каждого человека с ее рутиной, однообразным бытом представляется чем-то непреодолимо скучным. Но когда она становится историей, то окутывается романтическим флером, прорастает загадками. И чем дальше от нашего сегодня прошедшая эпоха, тем больше у нее загадок и тем неудержимее в нас стремление разгадывать их.*

**ЖИВАЯ ИСТОРИЯ:**

## **ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА**

Уже изданы и готовятся к печати:

*Ги Шоссинан-Ногаре*

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
ЖЕН И ВОЗЛЮБЛЕННЫХ  
ФРАНЦУЗСКИХ КОРОЛЕЙ»**

*П. Монтэ*

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
ДРЕВНИХ ЕГИПТЯН  
ВО ВРЕМЕНА ВЕЛИКИХ ФАРАОНОВ»**

*В. Марочкин*

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
РОССИЙСКОГО РОК-МУЗЫКАНТА»**

*Ж. Ленотр*

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
ВЕРСАЛЯ ПРИ КОРОЛЯХ»**

*М. Дефурно*

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
ИСПАНИИ В ЗОЛОТУЮ ЭПОХУ»**

*Ж. Брюнель-Лобришон, К. Дюамель-Амадо*

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
ВО ВРЕМЕНА ТРУБАДУРОВ. XII—XIII ВЕКА»**

Отзывы, творческие и коммерческие предложения:

787-63-85; 978-89-82; 787-63-75; 787-63-87

<http://mg.gvardiya.ru>, [dse1@gvardiya.ru](mailto:dse1@gvardiya.ru)



*Что свидетельствует ныне о быте ушедших эпох? Как выглядели жившие в них люди? Как были одеты, причесаны, как развлекались и любили друг друга, чем украшали себя женщины, какие кушанья подавались к столу, что считалось приличным, а что возмутительным? На эти и множество подобных вопросов ответят книги новой серии.*

## **ЖИВАЯ ИСТОРИЯ:**

# **ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА**

Уже изданы и готовятся к печати:

*А.-Г. Аман*

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
ПЕРВЫХ ХРИСТИАН. 95—197»**

*Э. Драйтова*

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
А. ДЮМА И ЕГО ГЕРОЕВ»**

*П. Фор*

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
ГРЕЦИИ  
ВО ВРЕМЕНА ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ»**

*И. Клауас*

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
В ЗАМКАХ ЛУАРЫ  
В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ»**

*М. Брион*

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
ВЕННЫ ВО ВРЕМЕНА МОЦАРТА И ШУБЕРТА»**

*Ф. Декрузет*

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
ВЕНЕЦИИ ВО ВРЕМЕНА К. ГОЛЬДОНИ»**

Отзывы, творческие и коммерческие предложения:

787-63-85; 978-89-82; 787-63-75; 787-63-87

<http://img.gvardiya.ru> [dset@gvardiya.ru](mailto:dset@gvardiya.ru)

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

# ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

в самое ближайшее время  
представит на суд читателей следующие издания:

Ю. Лошиц  
«ГОНЧАРОВ»

В. Томсинов  
«АРАКЧЕЕВ»

Ю. Селезнев  
«ДОСТОЕВСКИЙ»

Н. Старосельская  
«СУХОВО-КОБЬЛИН»

Л. Выскочков  
«НИКОЛАЙ I»

В. Андриянов  
«КОСЫГИН»

А. Варламов  
«ПРИШВИН»

П. Декс  
«ГОГЕН»

А. Бегунова  
«НАДЕЖДА ДУРОВА»



Отзывы, творческие и коммерческие предложения:  
787-63-85; 978-89-82; 787-63-75; 787-63-87  
<http://mg.gvardiya.ru>, [dsef@gvardiya.ru](mailto:dsef@gvardiya.ru)

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

# ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

в самое ближайшее время  
представит на суд читателей следующие издания:

М. Бувье-Ажан  
«АТТИЛА»

Н. Черкашин  
«АДМИРАЛ КОЛЧАК»

М. Вострышев  
«МОСКОВСКИЕ ОБЫВАТЕЛИ»

К. Жиль  
«МАКИАВЕЛЛИ»

С. Федякин  
«СКРЯБИН»

М. Брион  
«МОЦАРТ»

Ж.-П. Ру  
«ТАМЕРЛАН»

Р. де Кастр  
«БОМАРШЕ»

И. Клулас  
«ИАНА ПУАТЬЕ»



Отзывы, творческие и коммерческие предложения:  
787-63-85; 978-89-82; 787-63-75; 787-63-87  
<http://mg.gvardiya.ru>, [dset@gvardiya.ru](mailto:dset@gvardiya.ru)

Всех любителей  
гуманитарной литературы  
приглашаем посетить  
новый специализированный  
магазин-салон

# КНИЖНАЯ СЛОВОДА

ЖЗЛ

открытый при издательстве «Молодая гвардия»



В продаже самый широкий ассортимент  
биографических изданий,  
книги по истории, философии, психологии  
и другим отраслям гуманитарных знаний.

Наш адрес: ул. Новослободская, 14/19, строение 4.  
Проезд до станций метро «Менделеевская» (в минуте ходьбы)  
или «Новослободская».

Телефоны: 972-05-41, 787-64-77.

[www://mg.gvardiya.ru](http://mg.gvardiya.ru) © [book@gvardiya.ru](mailto:book@gvardiya.ru)